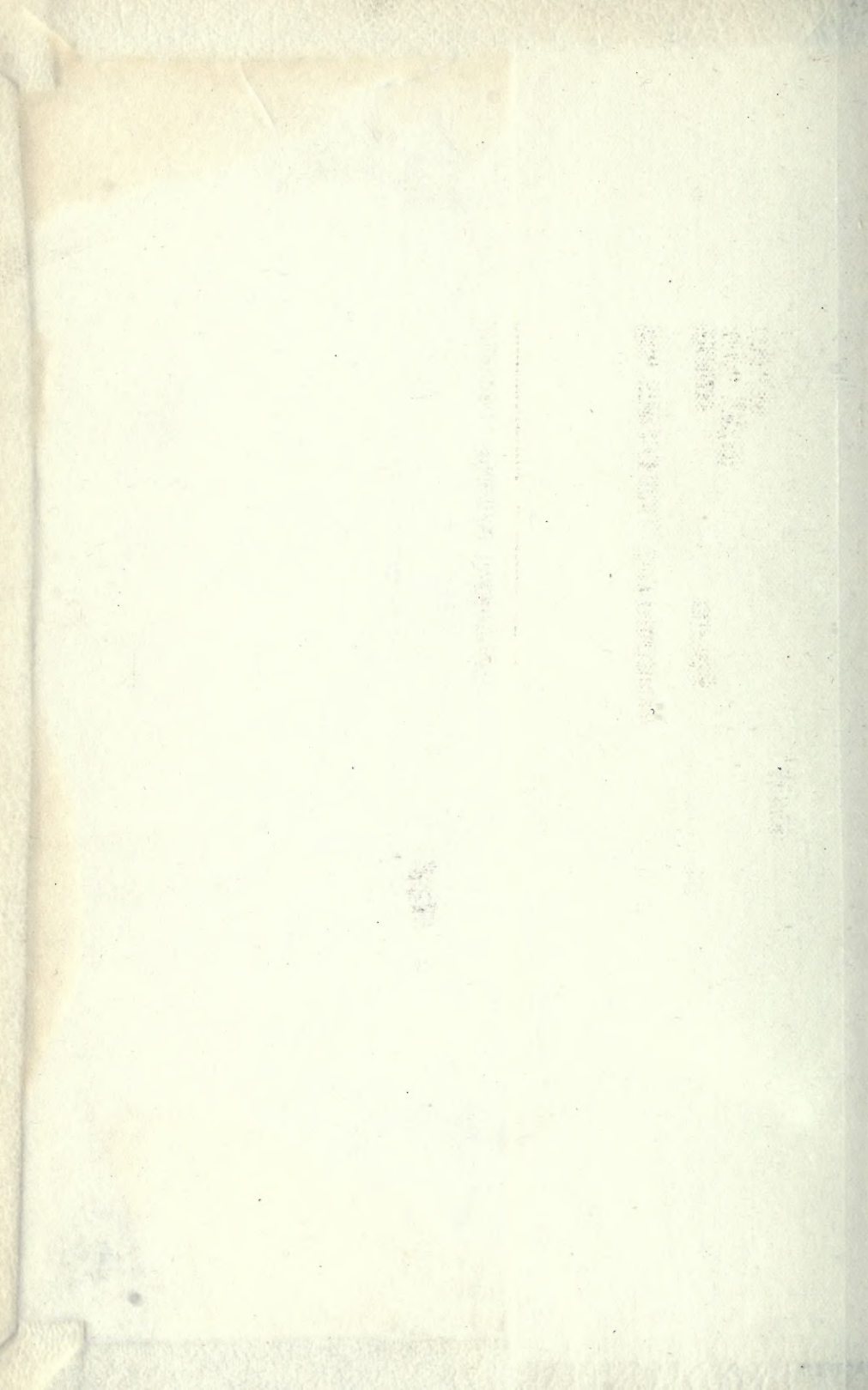


UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
3 1761 00581741 6



185

See Khamanov's.

See Priback

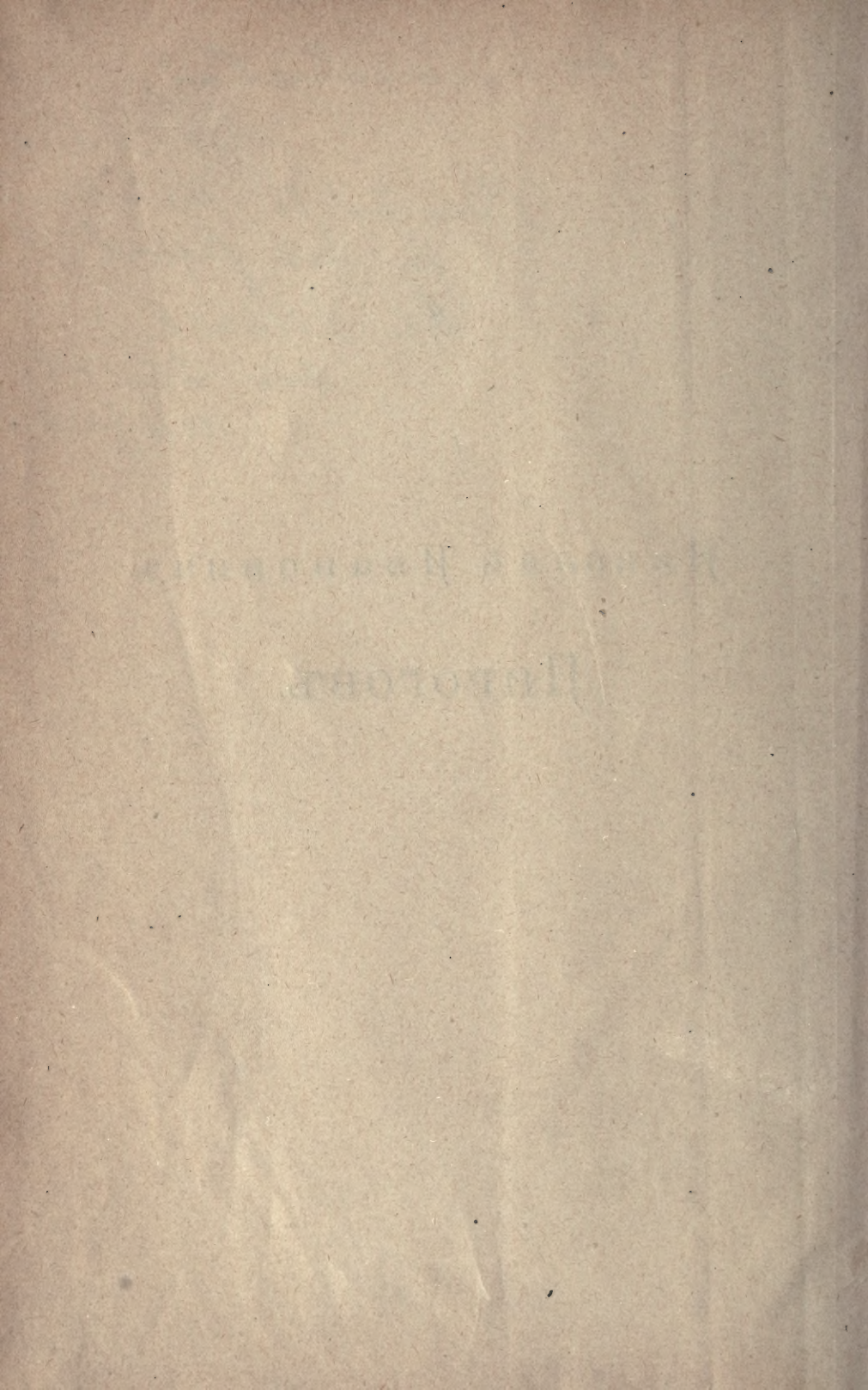
Presented to Mr. Hints
by his friend
R. E. Priback.

Dec. 25. 1918.

New York.

Николай Ивановичъ

Лироговъ.



СОЧИНЕНІЯ

Pirogov, Nikolai Ivanovich
III Н. И. ПИРОГОВА.
Sochineniia

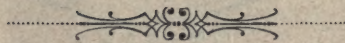
ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

t. 1st 2

Съ приложеніемъ статьи: «Прощаніе Кіевского учебнаго округа съ Н. И. Пироговымъ», съ портретомъ и факсимиле автора и съ двумя рисунками: 1) домъ, въ которомъ жилъ Н. И. Пироговъ; 2) старая деревенская церковь, въ которой находился прахъ Н. И. Пирогова до перенесенія его въ склепъ.

2. izd.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1900.

LB
675
P632
1900



Источникомъ для изданія перваго тома сочиненій Н. И. Пирогова, представляющихъ по преимуществу общественное значеніе и всеобщій интересъ, послужили сборники его трудовъ, появившіеся въ концѣ 50-хъ годовъ въ Одессѣ, гдѣ покойный былъ попечителемъ; къ нимъ присоединены офіціальныя изданія циркуляровъ по кievскому округу, которыми Н. И. Пироговъ управлялъ хотя не долгое время, но тѣмъ не менѣе оставилъ тамъ по себѣ прочныя воспоминанія, и какъ педагогъ, и какъ дѣятельный администраторъ, и, наконецъ, какъ человѣкъ, посвящавшій всего себя на пользу тому дѣлу, во главѣ котораго былъ поставленъ. Достаточно пробѣжать содержаніе перваго тома, чтобы убѣдиться въ томъ, что не было такого важнаго вопроса въ области педагогикѣ, котораго бы не коснулся Н. И. Пироговъ. Можно быть увѣреннымъ, что долгое время не утратятъ своей важности и значенія тѣ мысли, которыя онъ полагалъ въ основаніе воспитанія юношества, и потому настоящее изданіе принесетъ не малую долю

пользы, собравъ въ одно цѣлое то, что до сихъ поръ было разсѣяно по газетамъ и журналамъ или было напечатано впервые въ такихъ сборникахъ, которые въ настоящее время совершенно недоступны, такъ какъ они давно уже сдѣлались библиографическою рѣдкостью.

Спеціальныя труды Н. И. Пирогова по медицинѣ и хирургіи послужили недавно предметомъ довольно полнаго списка, составленнаго докторомъ медицины Л. О. Змѣевымъ; этотъ списокъ помѣщенъ въ „Русской Старинѣ“ 1886 г., въ ноябрьской книжкѣ журнала, подъ заглавіемъ: „Н. И. Пироговъ. Очеркъ его жизни и списокъ его трудовъ“. Списокъ, начинаясь съ первыхъ работъ Пирогова въ 1829 г., доходитъ до 1879 г., и такимъ образомъ обнимаетъ собою цѣлое пятидесятилѣтіе трудовъ покойнаго. Въ заключеніе этого списка приведены также всѣ статьи о Пироговѣ, какія являлись о немъ и его сочиненіяхъ въ послѣдніе годы его жизни и вскорѣ послѣ смерти.

Помѣщаемый при первомъ томѣ портретъ Н. И. Пирогова съ его факсимиле воспроизведенъ по литографіи начала 60-хъ годовъ, приложенной къ одному изъ сборниковъ его статей того времени; на портретѣ, помѣщенномъ при первомъ томѣ, Пироговъ на 20 лѣтъ старше, такъ какъ портретъ относится къ самому началу 80-хъ годовъ.

С.-Петербургъ.
19-го декабря 1886 г.



СТАТЬИ и ЗАМѢТКИ

1858 — 1863.

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ.

ОТРЫВКИ

ИЗЪ ЗАБЫТЫХЪ БУМАГЪ, ВЫВЕДЕННЫХЪ НА СВѢТЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫМИ
• СТАТЬЯМИ „МОРСКОГО СБОРНИКА“ О ВОСПИТАНІИ.

„Къ чему вы готовите вашего сына?“ — кто-то спросилъ меня.

— Быть человѣкомъ, — отвѣчалъ я.

„Развѣ вы не знаете, — сказалъ спрашившій, — что людей собственно нѣтъ на свѣтѣ: это одно отвлеченіе, вовсе не нужное для нашего общества. Намъ необходимы перегодъанты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди“.

Правда это или нѣтъ?

Только два рода людей не задаютъ себѣ вопросовъ при вступленіи въ жизнь.

Во-первыхъ, тѣ, которые получили отъ природы жалкую привилегію на идіотизмъ.

Во-вторыхъ, тѣ, которые, подобно планетамъ, получивъ однажды толчокъ, двигаются по силѣ инерціи въ данномъ имъ направленіи.

Оба эти рода не принадлежатъ къ исключеніямъ въ обществѣ, но и не могутъ считаться правилами.

Общество, къ счастію, успѣло такъ организоваться, что оно, для большей массы людей, само, безъ ихъ сознанія, задаетъ и рѣшаетъ эти вопросы и даетъ этой массѣ, пользуясь ея силою инерціи, извѣстное направленіе, которое оно считаетъ лучшимъ для своего благосостоянія. Но, живя въ обще-

ствѣ и для общества, мы должны жить еще и индивидуально, для самихъ себя.

Нашу индивидуальную жизнь мы должны согласовать всегда, въ извѣстной степени, съ направлениемъ общества.

Безъ этого, или мы придемъ въ разладъ съ обществомъ и будемъ терпѣть и бѣдствовать, или основы общества начнутъ колебаться и разрушаться.

Итакъ, если мы, кромѣ силы инерціи, заставляющей насъ слѣдовать данному намъ обществомъ направленію, чувствуемъ въ себѣ еще довольно сознанія. чтобы вникнуть въ нашу индивидуальность, мы задаемъ себѣ вопросы: въ чемъ состоитъ цѣль нашей жизни? Какое наше назначеніе? Къ чему мы призваны? Чего должны искать мы? Собственно, воспитаніе должно бы было намъ класть въ ротъ отвѣты.

Но это предполагаетъ два условія:

Во-первыхъ, что воспитаніе должно быть приноровлено къ темпераменту и различнымъ способностямъ каждаго—развивать или обуздывать ихъ.

Во-вторыхъ, что нравственныя основы и направленіе общества, въ которомъ мы живемъ, должны совершенно соответствовать направленію, сообщаемому намъ воспитаніемъ.

Первое условіе необходимо потому, что врожденныя склонности каждаго и его темпераментъ подсказываютъ, исполнѣ и всегда, что онъ долженъ дѣлать и къ чему стремиться.

Второе условіе необходимо потому, что безъ него,—какое бы направленіе ни было намъ дано воспитаніемъ,—мы, видя, что поступки общества не соответствуютъ этому направленію, непремѣнно удалимся отъ него и собьемся съ пути. Сбившись, намъ придется избирать одно изъ трехъ: или потерять всю нравственную выгоду нашего воспитанія, или вступить во вражду съ обществомъ, или же, наконецъ, отдаться на произволь.

Къ сожалѣнію, это такъ и есть.

Воспитаніе же начинается и оканчивается обыкновенно, для большей части изъ насъ, въ одни и тѣ же періоды жизни. Итакъ, если воспитаніе, начавшись для меня слишкомъ поздно, не будетъ соответствовать склонности и темпераменту, развившимся у меня слишкомъ рано, то какъ бы и что бы оно мнѣ ни говорило о цѣли жизни и моемъ назначеніи, мои рано

развившіяся склонности и темпераментъ будутъ мнѣ все-таки нашептывать другое.

Отъ этого—сбивчивость, разладъ и произволъ.

Во-вторыхъ, талантливые и проницательные воспитатели такъ же рѣдки, какъ и проницательные врачи, талантливые художники и даровитые законодатели.

Число ихъ не соотвѣтствуетъ массѣ людей, требующихъ воспитанія.

Это бы еще не бѣда. Добро и зло, вообще, довольно уравновѣшены въ насъ. Поэтому нѣтъ викакой причины думать, чтобы наши врожденныя склонности и темпераментъ влекли насъ болѣе къ худому, чѣмъ къ хорошему. А законы хорошо-устроеннаго общества, вкореняя въ насъ довѣренность къ прозорливости и правосудію правителей, могли бы устранить и послѣднее влеченіе къ злу.

Но вотъ бѣда: самыя главные основы нашего воспитанія находятся въ совершенномъ разладѣ съ направлениемъ, которому слѣдуетъ теперь общество. Мы—христіане, и слѣдовательно главною основою нашего воспитанія служить откровеніе.

Всѣ мы, съ нашего дѣтства, ознакомились съ мыслью о будущей жизни и должны считать настоящее приготовленіемъ къ будущему.

Вникая же въ существующее направленіе нашего общества, мы не находимъ въ его дѣйствіяхъ ни малѣйшаго слѣда этой мысли. Во всѣхъ обнаруживаніяхъ практической и даже отчасти умственной жизни общества мы находимъ одно чисто матеріальное; почти торговое стремленіе, основаніемъ которому служить идея о счастіи и наслажденіи въ жизни здѣшней.

Убѣждаясь, при вступленіи въ свѣтъ, въ этомъ разладѣ основной мысли нашего воспитанія съ направлениемъ общества, мы впадаемъ въ одну изъ трехъ крайностей:

Или мы теряемъ всю нравственную выгоду нашего воспитанія. Увлекаясь матеріальнымъ стремленіемъ общества, мы забываемъ основную идею откровенія. Только иногда, мелькомъ, въ рѣшительныя мгновенія жизни, мы прибѣгаемъ къ спасительному ея дѣйствию, чтобы подкрѣпить себя и утѣшить.

Или мы начинаемъ дышать враждою противъ общества. Оставаясь вѣрными основной мысли христіанскаго ученія, мы

чувствуемъ себя чужими въ мірѣ паганизма, недовѣрчиво смотримъ на добродѣтель ближнихъ, составляемъ секты, ищемъ прозелитовъ, дѣлаемся мрачными презрителями и недоступными собратами.

Или—мы отдаемся произволу. Не имѣя твердости воли устоять противъ стремленія общества, не имѣя довольно безчувственности, чтобы отказаться отъ спасительныхъ утѣшеній откровенія, довольно безнравственности, чтобы отвергать высокое, мы оставляемъ основные вопросы нерѣшенными, избираемъ въ наши путеводители случай, колеблемся и путаемся въ лабиринтѣ непоследовательностей и противорѣчій.

Итакъ, вотъ какая жалкая участь ожидаетъ насъ.

Общество твердитъ намъ: хочешь быть счастливымъ со мною, оставь основную нравственную мысль твоего воспитанія.

Мы сами, неприготовленные, незнакомые съ тѣмъ, что нравственная основа нашего воспитанія рѣзко противорѣчитъ направленію общества, въ которомъ мы начинаемъ жить, колеблемся, блуждаемъ и отдаемъ кормило року.

Вступая въ свѣтъ, подвергнутые этимъ тремъ крайностямъ, еще колеблющіеся, мы осматриваемся вокругъ себя и видимъ, что общество, судя по его поступкамъ, раздѣлилось на толпы.

Самая огромная толпа слѣдуетъ безсознательно, по силѣ инерціи, толчку, данному ей въ извѣстномъ направленіи. Развитое чувство индивидуальности вселяетъ въ насъ отвращеніе пристать къ этой толпѣ.

Другія толпы, несравненно меньшія въ объемѣ, болѣе или менѣе увлекаемыя въ направленіи огромной массы, слѣдуютъ различнымъ взглядамъ, стараясь то противоборствовать этому влеченію, то оправдать предъ собою свою слабость и недостатокъ энергіи.

Взглядовъ, которымъ слѣдуютъ эти толпы, наберется до десяти, а можетъ быть, и болѣе.

Вотъ первый взглядъ, очень простой и привлекательный:

Не размышляйте и не толкуйте о томъ, что необъяснимо. Это, по малой мѣрѣ, только потеря времени. Можно потерять и аппетитъ, и сонъ. Время же нужно для трудовъ и наслажденій. Аппетитъ—для наслажденій и трудовъ. Сонъ—для трудовъ и наслажденій. Труды и наслажденія—для счастья.

Учитесь философіи и особливо философіи Гегеля; размышляйте, отвлекайтесь, и вамъ все сдѣлается ясно.

Умъ вашъ просвѣтлѣетъ. Вы узнаете, кто вы, что вы.

Вы поймете, какъ дважды два—четыре, все, что кажется необъяснимымъ въ глазахъ ученой и неученой черни.

Вотъ другой взглядъ—высокій.

Ходите въ церковь, молитесь, вставая, ложась спать и даже предъ обѣдомъ, по святцамъ. Сохраняйте посты, не пропускайте обѣдни въ праздники, ежегодно говѣйте. Затѣмъ, не размышляйте и живите такъ, какъ живется.

Вотъ третій взглядъ—религіозно-простой.

Вы рождены наслѣдниками завѣтнаго грѣха. Вы живете въ юдоли бѣдствій и суеты, чтобы каяться и молить Искупителя о милосердіи. Только этимъ мы можемъ спасти себя отъ вѣчныхъ мученій. Безъ этого милосердія нѣтъ ни вѣры, ни добродѣтели, ни вѣчнаго блаженства. Молитесь, кайтесь, пойте псалмы и уповайте.

Вотъ четвертый взглядъ—религіозно-высокій.

Трудясь, исполняйте ваши обязанности. Будьте полезными другимъ и себѣ. Въ трудныхъ случаяхъ жизни, если одна обязанность противорѣчитъ другой, избирайте изъ двухъ золь меньшее. Впрочемъ предоставьте спасаться каждому на свой ладъ. Объ убѣжденіяхъ и вкусахъ не спорьте.

Вотъ пятый взглядъ—практическій.

Хотите быть счастливыми,—думайте себѣ, что вамъ угодно и какъ вамъ угодно, но строго соблюдайте приличія и обряды и умѣйте съ людьми уживаться.

Про начальниковъ и нужныхъ людей худо не говорите.

При исполненіи обязанностей не горячитесь. Говорите, чтобы скрыть, что вы думаете. Если не хотите служить ослами другимъ, то сами на другихъ верхомъ ѣздите. Только объ этомъ молчите и въ кулакъ себѣ смѣйтесь.

Вотъ шестой взглядъ—также практическій въ своемъ родѣ.

Не хлопочите и не заботьтесь. Стѣны лбомъ не прошибете. Что будетъ, то будетъ. Живите, куда живется, а когда время придетъ, такъ умрите.

Червякъ на кучѣ грязи! вы смѣшны и жалки, когда ме-

чаете, что все стремится къ совершенству, и вы—членъ этого общества прогрессистовъ.

Зритель и комедіантъ по-неволѣ какъ ни бейтесь, лучше ничего не сдѣлаете. Бѣлка въ колесѣ! вы забавны, думая, что бѣжите впередъ. Не зная, откуда взялись, умрите, не зная, зачѣмъ жили.

Вотъ седьмой взглядъ—очень печальный.

Заботьтесь, учитесь, работайте, наслаждайтесь, повсюду живете. Идите, стремитесь безпрестанно впередъ, отыскивая счастья. Но не ищите его въ далекомъ небѣ; оно у васъ подъ ногами. Какой вамъ лучшей жизни еще нужно? У васъ есть тѣло, которое чувствуетъ, мыслить, судить, рядить и, умирая, но не уничтожаясь, какъ фениксъ, возрождается.

Вотъ восьмой взглядъ—немного болѣе веселый.

Все устроено и настроено къ лучшему Высшимъ Подателемъ благъ. У васъ есть заботливое Провидѣніе. Зло—это одна фантазмагорія, для вашего развлеченія. Одна тѣнь, чтобы вы лучше могли наслаждаться свѣтомъ. Пойте благодарственные гимны и живите припѣваячи.

Вотъ девятый взглядъ—уже очень веселый.

Отдѣляйте теорію отъ практики. Принимайте какую угодно теорію для вашего развлеченія. Но на практикѣ узнайте, главное, какую роль вамъ предназначено играть. Узнавъ, держите ее до конца. Счастье—искусство. Достигнувъ его трудомъ и талантомъ, не забывайте; сдѣлавъ промахъ, не пеняйте, а исправляйтесь.

Вотъ взглядъ десятый и очень благоразумный.

Вступившій въ свѣтъ, ознакомившись понемногу съ этими взглядами, поступаетъ различнымъ образомъ, смотря по тому, какъ онъ былъ воспитанъ, какія имѣетъ склонности и какой темпераментъ.

Если онъ родился здоровымъ, или даже черезъ-чуръ здоровымъ, матеріальный его бытъ развился энергически, чувственность преобладаетъ въ немъ, онъ склоняется на сторону привлекательнаго и веселаго взглядовъ.

Если мозгъ его развитъ хорошо, воображеніе не господствуетъ надъ умомъ, инстинктъ не превосмогаетъ разсудка, а

воспитаніе было болѣе реальное, онъ дѣлается послѣдователемъ благоразумнаго или одного изъ практическихъ взглядовъ.

Если, напротивъ, при слабомъ или нервномъ тѣлосложеніи, мечтательность составляетъ главную черту характера, инстинктъ управляется не умомъ, а воображеніемъ, а воспитаніе не было реальнымъ, онъ увлекается то высокимъ, то религіознымъ взглядами, то переходитъ отъ печальнаго къ веселому и даже отъ веселаго къ привлекательному.

Если, наконецъ, воспитаніе сдѣлало изъ ребенка старуху, не давъ ему быть ни мужчиною, ни женщиною, ни даже старикомъ; если при тускломъ умѣ преобладаетъ воображеніе, или при тускломъ воображеніи простой, реальный умъ, то выборъ падаетъ на религіозные взгляды.

Воспріимчивость къ тому или другому взгляду усиливается вѣшними обстоятельствами и состояніемъ здоровья. Эти два условія, живость ума, слабость воли, любознаніе и опытъ заставляютъ насъ нерѣдко перемѣнять взгляды и быть поочередно ревностными послѣдователями то одного, то другого.

Если кто изъ насъ, при самомъ вступленіи въ свѣтъ или послѣ, переходя отъ одного взгляда къ другому, наконецъ, совсѣмъ остановился на какомъ-нибудь, то это значитъ—ему перевоспитывать себя не для чего; это значитъ—онъ доволенъ своимъ выборомъ; это значитъ—для него рѣшены основные вопросы жизни: и цѣль жизни, и назначеніе, и призваніе его обозначены.

Лишается ли онъ, избравъ одинъ изъ этихъ взглядовъ, нравственныхъ выгодъ своего воспитанія, или, пользуясь ими и придерживаясь не слишкомъ ревностно избраннаго имъ взгляда, думаетъ избѣжать этой альтернативы, мы едва-ли можемъ нарушить его убѣжденія. И должны ли? Онъ разрѣшилъ для себя роковые вопросы. Онъ счастливъ въ своемъ смыслѣ. Самъ Искушитель былъ посланъ благовѣствовать не для счастливыхъ и довольныхъ собою (Лук., гл. IV, 18).

Еслибы наше поприще всегда и оканчивалось этимъ выборомъ одного изъ десяти взглядовъ, еслибы послѣдователи этихъ взглядовъ шли параллельно другъ съ другомъ и съ толпою, подвижною по силѣ инерціи, то все бы тѣмъ и кончилось, что общество осталось бы вѣчно раздѣленнымъ на одну

огромную толпу и нѣсколько небольшихъ; все шло бы спокойно по старому; жаловаться было бы не на что.

Но вотъ бѣда: люди, имѣющіе притязаніе на умъ и чувство, не довольствуются этимъ выборомъ. Переходя отъ одного взгляда къ другому, вникая, они испытываютъ; все глубже и глубже роются въ рудникахъ души и, не находя въ себѣ внутренняго спокойствія, оставляютъ эти взгляды, чтобы проложить себѣ новые пути.

А ревностные послѣдователи этихъ взглядовъ не идутъ параллельно ни другъ съ другомъ, ни съ толпою. Пути ихъ пересѣкаются, направленія сталкиваются. Менѣе ревностные, слѣдуя вполонину нѣсколькимъ взглядамъ вмѣстѣ, составляютъ новыя комбинаціи.

Этотъ разладъ и раздоръ сектаторовъ, и при болѣе твердыхъ политическихъ основахъ общества, могъ бы поколебать его.

На бѣду эти основы шатки, толпа, движущаяся на нихъ, громадна, а правители близоруки.

Люди съ притязаніемъ на умъ и чувство не хотятъ быть ни смиренными поклонниками мертвой буквы, ни дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета, ни суемудрыми поборниками грубаго матеріализма, ни восторженными поклонниками одного разума.

Хотя этотъ идеаль и пахнетъ проповѣдью, но онъ дѣйствительно таковъ. Я знаю это по опыту.

Недовольные, оставшіе отъ послѣдователей различныхъ взглядовъ, они съ энтузіазмомъ стремятся къ этому идеалу и съ самоотверженіемъ ищутъ рѣшенія столбовыхъ вопросовъ жизни,—стараясь даже, во что бы то ни стало, перевоспитать себя.

Вотъ механизмъ, которымъ они стремятся достигнуть своей цѣли.

Но чтобы вполне понять его, начнемъ:

Пусть каждый или каждая изъ насъ представитъ себѣ, что вы принадлежите именно къ этому классу людей.

Итакъ, представьте же теперь, что вы, по милости другихъ особъ, которыхъ вы иногда и въ лицо не знаете, родились, какъ водится, на свѣтъ.

Васъ, не спросясь, окрестили.

Вы, въ свою очередь, также никого не спросясь, выросли. Понемногу, Богу одному извѣстно для чего, въ васъ родилось желаніе, что называется, осмотрѣться.

До сихъ поръ на всемъ пространствѣ земли вы составляли одинъ общій классъ счастливыхъ существъ, который самимъ Искупителемъ былъ поставленъ въ образецъ человѣчеству.

Теперь, осмотрѣвшись, вы уже распались на нѣсколько различныхъ видовъ.

Осмотрѣвшись, вы видите себя въ мундирѣ съ краснымъ воротникомъ; всѣ пуговицы застегнуты и все, какъ слѣдуетъ, въ порядкѣ. Вы и прежде слышали, что вы—мальчикъ. Теперь вы это видите на дѣлѣ.

Вы спрашиваете, кто вы такой?

Вамъ отвѣчаютъ, что вы—ученикъ гимназіи и со временемъ,—прибавляютъ въ полголоса,—можетъ быть, попадете въ кандидаты трехъ-сотъ (т.-е. въ университетъ). Вамъ весело.

Вотъ первый видъ.

Осмотрѣвшись, вы видите себя въ мундирѣ съ зеленымъ воротникомъ и съ золотою петлицею.

Вы спрашиваете: чтó это значить?

Вамъ отвѣчаютъ самодовольно, что вы — ученикъ школы правовѣдѣнія, будете навѣрное столоначальникомъ, потомъ прокуроромъ, и если, Богъ дастъ, успѣете состарѣться, то и сенаторомъ. Вы очень рады.

Вотъ второй видъ.

Осмотрѣвшись, вашъ взоръ останавливается на красномъ кантикѣ мундира и на погончикахъ воротника. Вы тоже спрашиваете.

Вамъ отвѣчаютъ громко и отрывисто, что вы—кадетъ и будущій офицеръ, генералъ, адмиралъ, генералъ-губернаторъ, министръ или, по крайней мѣрѣ, попечитель учебныхъ заведеній. Вы въ восхищеніи.

Вотъ третій видъ.

Вы осмотрѣлись и видите, что вы въ юнкѣ. Шнуровка, волосы и все въ порядкѣ. Вы и прежде слышали, что вы—дѣвочка; теперь вы это видите на дѣлѣ. Вы очень довольны, что вы не мальчикъ, дѣлаете книксенъ и спрашиваете: чтó теперь дѣлать?

Вамъ отвѣчаютъ: учитесь французскому языку, играйте на фортепіано, танцуйте и держите себя хорошо. Вы очень рады, дѣлаете опять книксенъ и ревностно принимаетесь за эти предметы.

Вотъ четвертый, но еще не послѣдній видъ.

Проходятъ годы. Выросши до-нельзя изъ себя, вы начинаете уже расти въ себя. Вы уже замѣчаете, что вы—студентъ, окончившій курсъ, правовѣдъ IX класса, офицеръ и дѣвушка-невѣста.

На этотъ разъ вы уже не спрашиваете, кто вы такой и что вамъ дѣлать? Вы увѣрены, что и сами знаете, что теперь дѣлать.

Священникъ объяснялъ вамъ откровеніе. Привилегированные гувернеры, инспекторы, субъ-инспекторы, гувернантки, а иногда и сами родители смотрѣли за вашимъ поведеніемъ. Всевидящее око администраціи наблюдало, чтобы науки и искусства были вамъ излагаемы въ духѣ извѣстныхъ началъ. Прозорливая цензура не давала вамъ читать безнравственныхъ книгъ. Отцы, опекуны, высокіе покровители и благотѣльное начальство открыли вамъ путь къ каррьерѣ.

Послѣ такой обработки, кажется, вамъ ничего болѣе не остается дѣлать, какъ только то, что пекущимся объ васъ хотѣлось, чтобы вы дѣлали. Это значитъ, чтобы вы, какъ струна, издавали извѣстный звукъ.

Звучать для общей гармоніи—согласитесь—есть завидная участь.

Но не тутъ-то было.

Вы достигли теперь уже того періода жизни, въ которомъ и умъ, и чувство начинаютъ сильно тревожить васъ: первый — задавая вамъ такіе вопросы, которыхъ вы не въ состояніи еще рѣшить; второе—поджигая противъ васъ безпрестанно инстинкты и чувственность.

Вы начинаете понемногу вникать и анализировать, чему васъ учили и что дѣлается вокругъ васъ.

Вы вспоминаете—васъ учили, что когда-то существовалъ другой міръ, въ которомъ люди и мыслили, и поступали не такъ, какъ должно. Они жили здѣсь просто, чтобы жить. Копили деньги и тратили ихъ. Ъли, пили, пѣли, плясали, ходили въ бани, нѣжились, бранились, дрались и кутили напропалую. Хоть между ними были и добрые, умные и степенные люди,

но всё они все-таки ходили въ потемкахъ, не зная, что есть еще что-то получше этой жизни. Правда, у нихъ были Андъ и Елисейскія поля. Но эти мѣста были гдѣ-то также на землѣ или въ землѣ, и то не для души, а для тѣней. Тѣнямъ самыхъ великихъ людей, почти полубоговъ, жилось не очень весело. Напримѣръ, тѣнь Ахилла объ этомъ очень жаловалась Одиссею: Лучше-бъ (говорила она) хотѣлъ я живой, какъ поденщикъ работая въ полѣ, Службой у бѣднаго пахаря хлѣбъ доставать свой насущный, Нежели здѣсь надъ бездушными мертвыми царствовать мертвыѣ.

(„Одиссея“, пер. Жуковскаго.)

Васъ учили, что Воплощенное Слово разсѣяло эту тьму и положило конецъ безтолковому разгулу. Міръ получилъ откровеніе.

Васъ учили, что откровеніе, приподнявъ таинственную завѣсу, показало отдаленный горизонтъ настоящей жизни и сказало: стремись туда.

Вы узнали, какая бездна отдѣляетъ васъ отъ развалинъ того міра, который только въ себѣ самомъ искалъ препоны взрывамъ страстей, не имѣя никакого будущаго за своими предѣлами.

Одушевленные благодѣтельнымъ словомъ откровенія, вы смотрите вокругъ себя, и что же?

Вы видите — окружающая васъ толпа разыгрываетъ тѣ же грязныя вахханаліи паганизма, которыя откровеніе объявило роковою препоною къ достиженію истиннаго счастья.

Вступивъ на поприще жизни, вы видите, что всё бѣгутъ съ него въ Калифорнію.

Видя это, вамъ невольно приходитъ на мысль, что вы мистифицированы.

Натурально, вы не хотите быть долго мистифицированными.

Вы начинаете еще глубже вникать, анализировать, и находите себя въ критическомъ положеніи.

Вамъ предстоитъ безутѣшная альтернатива: или дерзновенно отвергнуть заповѣдныя завѣщанія откровенія; или вступить во вражду съ міромъ, исходъ которой предвидѣть не трудно.

Отдаться произволу не позволяютъ вамъ ни умъ, ни чувство.

Надобно быть атлетомъ святотатства или самоотверженія, чтобы избрать одно изъ двухъ этой роковой дилеммы.

Не удалиться ли отъ свѣта, не сдѣлаться ли монахомъ? Фи! самоубійство не можетъ быть мыслью здороваго человѣка.

Вспоминая прежде съ нѣкоторымъ презрѣніемъ о духѣ древняго міра, вы начинаете теперь ему завидовать. Онъ былъ послѣдователенъ. Вступающимъ въ свѣтъ вельзя было жаловаться, что ихъ мистифицировали. Но завидовать, сѣтовать и колебаться ни къ чему не ведетъ. Время летитъ, нужно дѣйствовать.

Вотъ теперь-то вы и начинаете пристальнѣе разсматривать окружающее васъ. Теперь-то вы замѣчаете, что, кромѣ огромной толпы, безсознательно влекомой невидимою силой, есть еще и нѣсколько другихъ, мѣньшаго объема, дѣйствующихъ не безъ сознанія.

Теперь-то вы начинаете знакомиться со взглядами и поступками этихъ дѣйствующихъ группъ. Сначала это васъ интересуеть. Вы дѣлаетесь ревностными послѣдователями той или другой. Но вскорѣ то умъ, то чувство нашептываютъ вамъ возраженія. Снова колебаніе, сѣтованіе, упреки себѣ, другимъ и даже судьбѣ.

Вы сѣтуете: чтò стоило бы природѣ вылить насъ всѣхъ по этому благодатному типу круглоты и сочности, который всегда остается на сторонѣ веселаго взгляда? Тогда нашему праотцу, вѣрно, не вздумалось бы пускаться въ распознаваніе добра и зла, не существовало бы истощенныхъ адептовъ анализа. Антоній окружилъ бы длинношейнаго Цезаря толстяками, а не тощими Брутами. Эпикуръ былъ бы совершенно лишнимъ человѣкомъ на свѣтѣ. Плѣшивый Сократъ не нашелъ бы себѣ послѣдователей, а слѣдовательно и противниковъ, и не умеръ бы отъ болиголова. Будь я государь, я непременно велѣлъ бы развести поколѣніе по этому типу. Надобно же было вылиться другому, неокругленному, безсочному типу, который не хочетъ жить, наслаждаясь плодами земли. Это онъ все верхъ дномъ поставилъ. Это онъ вѣчно роется, никогда не устаетъ и ничѣмъ недоволенъ. Для него все ни по чемъ: факты — Эзоповы языки; преданія — миѳы; внутреннія убѣжденія — предразсудки. Одинъ анализъ — его кумиръ.

Сѣтованіямъ конца нѣтъ. Нѣтъ отъ нихъ и пользы.

Вамъ приходитъ на мысль: чѣмъ бѣгать за этими толпами,

и желать невозможнаго—переродиться, не лучше ли перевоспитать себя и потомъ уже серьезно и окончательно рѣшить вопросы жизни? Вздумано—сдѣлано. Вы тотчасъ же принимаетесь вникать въ себя; хотите вывести себя на чистую воду, узнать рѣшительно, что вы за человѣкъ?

Вы мало-по-малу узнаете, что внутренній человѣкъ въ васъ, слишкомъ рано развившись, пересиливалъ черезъ-чуръ наружнаго, ни на минуту не хотѣлъ отдохнуть въ немъ, безпрестанно рвался вонъ, деспотствовалъ, тиранилъ слабый составъ и игралъ имъ по своему произволу, разливался, кутилъ и не имѣлъ времени вникнуть въ себя.

Но паружный, несмотря на врожденную хилость, былъ еще довольно упругъ и тягучъ, чтобы выдержать эти напоры. Измученный, онъ еще противодѣйствовалъ.

Воспитатели были слишкомъ близоруки, чтобы замѣтить эту борьбу. Такъ прошла юность.

Вашъ внутренній человѣкъ, убѣдившись опытомъ, что онъ дѣйствуетъ противъ себя же самого, наконецъ, остепенился. Онъ приучается вникать въ себя и видеть, что ему осталось еще одно изъ двухъ: или сказать вѣчное прости отвлеченіямъ, не пытаться далѣе вникать въ себя, закабалить себя въ желѣзный панцырь формы, одѣть жизнь въ мундирный фракъ, въ накрахмаленную юпку и въ книгѣ бытія разбирать не смыслъ, а мертвую букву; или, съ утра до ночи роясь въ рудникахъ души, подстерегая мгновенія ея свободы, заставить ее самое рѣшить вопросы жизни.

Вотъ послѣдній періодъ жизни, въ который вамъ или нужно навсегда отказаться отъ искомаго идеала и спокойно заснуть подъ тѣнью формы; или, вступивъ опять въ борьбу съ самимъ собою, искать отдохновенія, лишь на закатѣ жизни, въ словахъ: „да, я страдалъ, но не напрасно“.

Но не забывайте: вы—человѣкъ, имѣющій притязаніе на умъ и чувство. Можно ли же сомнѣваться, на которое изъ двухъ падетъ вашъ выборъ?

Но не забывайте также: вы живете въ мірѣ противорѣчій и непослѣдовательности.

Проведя половину жизни, чтобы рѣшить ея роковые вопросы; испытавъ на себѣ вліяніе различныхъ взглядовъ; пред-

принявъ, наконецъ, перевоспитать себя и, во что бы то ни стало, достигнуть своего идеала, вы на самомъ распутыи этого поприща иногда вдругъ останавливаетесь: лѣнь и страхъ одолеваютъ васъ.

Наслажденіе подъ сѣнью мірскаго счастья и спокойной формы манить васъ на перепутьи. Тысячи и тысячи внѣшнихъ обстоятельствъ такъ заманчиво около васъ располагаются, что всё предположенія, которыя было-вытянулись предъ вами такою послѣдовательною нитью, вдругъ сбиваются.

Что вы привыкли-было считать твердыми убѣжденіями, оказалось ничтожною паутиной предположеній. Вы, покидая вашъ путь, доказываете, что убѣжденія даются не каждому: это даръ неба. Ни опытъ, ни время, ни логика еще не могутъ образовать ихъ. Прежде чѣмъ вамъ захотѣлось имѣть убѣжденія, нужно было бы узнать, можете ли вы ихъ имѣть.

Только тотъ можетъ имѣть ихъ, кто хоть однажды, но проникательно, взглянулъ въ себя. На это также способенъ не всякій. Для этого нужны: вдохновеніе, способность отвлекаться и упражненіе. Я прибавилъ бы еще: и молитва, еслибы я отличалъ ее отъ минуты отвлеченія и вдохновенія.

Итакъ, вы—человѣкъ съ умомъ и чувствомъ, вы—желающій перевоспитать себя, желающій достичь искомой цѣли жизни,—вы узнаете, наконецъ, что надобно начать съ отвлеченія, чтобы узнать себя, узнать, способны ли вы къ нравственнымъ убѣжденіямъ, и къ какимъ именно?

Иначе воротитесь лучше назадъ, пристаньте лучше къ той или другой толпѣ и будьте счастливы по-своему.

Прожить полжизни, чтобы узнавать и перевоспитывать себя!—неутѣшительно; но все же лучше, чѣмъ умереть, неузнавъ себя. А знаете, кто лучше всѣхъ себя знаетъ?—Дѣти. Изъ ихъ души еще не успѣлъ образоваться этотъ страшный двойникъ, убѣгая котораго, мы безпрестанно отыскиваемъ самозабвенія.

Дѣтьми и бѣдными умомъ нужно быть, по словамъ Исповителя, чтобы сдѣлаться причастниками откровенія и вѣчнаго блаженства. Не значить ли это: знать самихъ себя, какъ это знаетъ дѣтская простодушность, у которой нѣтъ другого себя, которой потому не нужно ни углубляться, ни отвлекаться? Не значить ли это довести себя, силою отвле-

ченія и вдохновеній, до полнаго самопознанія, слить свою двѣйственность, изгнать двойника изъ глубокихъ извилинъ души? Вотъ идеаль, вполне недосыгаемый, но къ которому мы должны безпрестанно стремиться.

Только на пути къ этому идеалу мы достигаемъ способности имѣть нравственные убѣжденія. Итакъ, вотъ начало перевоспитанія: узнать себя. Трудъ неимовѣрный! Постоянное напряженіе духа отвлеченіемъ, борьба съ самимъ собой, съ окружающимъ васъ. Вдохновеніе, можетъ быть, разстроитъ ваши нервы, истощитъ вашъ матеріальный бытъ. Не опасайтесь этого. Если преобладающая матерія можетъ управлять духомъ и даже совершенно оцѣпенить его, то чего не можетъ сдѣлать духъ надъ матеріею, назначенный управлять ею?!

Стремясь къ своему назначенію, онъ лучше знаетъ, какъ удержать ее въ опредѣленныхъ границахъ, какъ укрѣпить, какъ направлять ее для своихъ цѣлей. Посмотрите на атлетовъ челоѣчества—слабы ли были ихъ нервы? Не духъ, а инстинкты, то поощряемые, то удерживаемые воображеніемъ, бунтующимъ противъ воли,—вотъ что щекочетъ и бичуетъ ваши нервы.

Наконецъ, вамъ хотя однажды довелось, въ минуты вдохновенія, въ минуты внутренняго созерцанія, бросить одинъ изъ тѣхъ глубокихъ, рѣшительныхъ взглядовъ, и вы признали въ себѣ убѣжденіе.

Убѣдясь, что вы готовы выступить на путь самопознанія, вы становитесь наблюдателемъ у неизмѣримаго кратера души, подстерегаете быстролетныя мгновенія, когда затихаетъ изверженіе вѣчно-клокочущей лавы, чтобы хоть украдкою взглянуть въ эту страшную глубину.

Нашъ языкъ слишкомъ бѣденъ, чтобы изобразить весь этотъ механизмъ наблюденія надъ собою. Ему нужны сравненія, которыя, хотя бы отдаленно, могли выразить, что съ вами происходитъ.

Таково нравственное отвлеченіе и созерцаніе, ведущее къ самопознанію. Отвлекаясь отъ себя, чтобы созерцать самихъ себя, чтобы углубиться въ сокрытые рудники души, вы убѣждаетесь въ существованіи вашей двѣйственности. Чѣмъ болѣе жили, думали и чувствовали вы, тѣмъ болѣе запуталась

ваша двойственность въ извилистыхъ ходахъ, тѣмъ труднѣе проникнуть въ эти извилины, тѣмъ сложнѣе дѣлается механизмъ наблюденія, тѣмъ болѣе нужно отвлеченія твердости и постоянства.

Но и достигнувъ уже силою воли извѣстной опытности въ самосозерцаніи, не льстите себя надеждой когда-нибудь достигнуть матеріальной ясности и очевидности, не ищите строгой послѣдовательности въ вашихъ взглядахъ.

Кто думаетъ логически, посредствомъ силлогизмовъ, начертать начало самосозерцанія и составить изъ нихъ стройное, ясное цѣлое; еще болѣе,—кто, какъ абдеритскій Стилпонтъ, предлагаетъ ихъ каждому встрѣчному и поперечному, заключая неизбѣжной дилеммою: „если не принимаешь, то ты или глупецъ, или злодѣй“,—тотъ не понимаетъ сущности отвлеченія, тотъ не только не рылся въ себѣ, но и не заглядывалъ въ свой сокровенный лабиринтъ.

Нестройный хороводъ однихъ завѣтныхъ предчувствій, однихъ туманныхъ призраковъ мысли, вызванный вдохновеніемъ изъ бездонной глубины на видимый горизонтъ души—вотъ сущность отвлеченія. Какъ связать въ цѣлое эти украдкой сдѣланныя наблюденія надъ собою, эти отрывки самопознанія?

Какъ нерѣдко эти призраки заставляютъ содрогнуться самую отважную душу при одномъ появленіи на ея небосклонѣ? Но вы бросаетесь въ бѣгство отъ себя, замѣтивъ; что тотъ или другой призракъ, рисовавшійся только блѣдными очертаніями вдали, приближается къ вамъ, какъ страшная личина въ фантазмагоріи, начинаетъ яснѣть, быстро принимаетъ огромные размѣры и уже готовъ охватить васъ.

Итакъ, не думайте, что сущность истины для насъ ясна. Одни проявленія ея свѣтлы; но и они такъ свѣтлы, что мы еще не привыкли смотрѣть на нихъ. Что кажется обыкновенному уму чрезвычайно простымъ, яснымъ и отчетливымъ—еще не истина. Когда одни ея слабѣе проблески до насъ доходятъ отрывками; когда однимъ высокимъ умомъ, и то въ часы высокихъ вдохновеній, удастся иногда постигнуть тотъ или другой отрывокъ проявленія истины въ мірѣ матеріальномъ;—

то можемъ ли мы ожидать, чтобы мы могли получить ясныя свѣдѣнія о скрытомъ въ глубинѣ ея источникѣ?

Узнавъ въ самопознаніи, какъ много такого скрывается въ васъ, что при мгновенномъ появленіи уже наводитъ страхъ, вы начинаете постигать и какъ велико пространство, раздѣляющее мысль отъ ея проявленія въ словѣ и дѣлѣ?

И это первое открытіе въ самопознаніи—то доставляетъ вамъ утѣшеніе, то возбуждаетъ какую-то тоску по отчизнѣ.

Чѣмъ менѣе раздвоился внутренній бытъ вашъ, тѣмъ неразрывнѣе связаны у васъ мысль, слово и дѣло. Самая мысль тогда едва напоминаетъ вамъ о себѣ,—такъ она бываетъ тѣсно связана съ вашимъ сознаніемъ. Дитя не знаетъ или не чувствуетъ, что оно мыслить. Вы получаете свѣдѣніе объ ея существованіи только чрезъ слово и дѣло. Произнесенное и совершившееся дѣло, дѣйствуя обратно на ваши чувства, производитъ на васъ пріятное или непріятное впечатлѣніе, которое вы называете добромъ или зломъ. Вотъ весь нравственный процессъ, совершающійся въ нераздвоенномъ человѣкѣ. Но рано, необыкновенно рано, показываются въ нашемъ обществѣ начатки нравственной двойственности. Размышляя о нашемъ дѣтствѣ, мы едва вспоминаемъ о первомъ ея началѣ. По мѣрѣ нашего развитія, увеличивается и промежутокъ времени, раздѣляющій мысль отъ слова и дѣла. И въ этомъ промежуткѣ произносятся нерѣдко ваши слова, совершаются поступки, безсвязно противорѣчащіе слову и дѣлу, которымъ предстоитъ еще совершиться. Не слѣдите за собой, не углубляйтесь въ самопознаніи, и не запутаетесь въ этомъ лабиринтѣ противорѣчій и непослѣдовательности, въ отчаяніи начнете убѣгать себя и искать отрады въ самозабвеніи.

Но, находясь безпрестанно на стражѣ за собой, вы научаетесь мало-по-малу безстрашно и проникательно смотрѣть въ глубину души: вы узнаете, откуда берутся эти противорѣчія, и, проникая взоромъ отвлеченія все глубже и глубже, вы открываете еще безконечный матеріалъ для новыхъ мыслей, готовыхъ выпрыгнуть изъ глубины и стать между словомъ, дѣломъ и мыслью, уже созрѣвшею для проявленія на свѣтъ.

Слѣдя за собою все далѣе и далѣе, вы научаетесь отсылать эти вставочныя или вводныя мысли назадъ, къ

ихъ первобытному источнику, и чрезъ это не допускать ихъ созрѣвать до проявленія въ словѣ и дѣлѣ. Вы можете достигнуть еще большаго совершенства въ самопознаніи: вы достигнете способности удлинять и укорачивать промежутки времени, раздѣляющіе мысль отъ слова и дѣла, и даже вызывать, по вашему произволу, другія мысли въ это время, созерцать ихъ, нѣкоторыя изъ нихъ проявлять словомъ и дѣломъ, а нѣкоторыя, не допустивъ проявиться, отсылать назадъ, къ ихъ сокровенному источнику.

Такъ вы достигаете послѣдовательности, воспользовавшись первымъ открытіемъ самопознанія, чувствуете себя и лучше, и крѣпче, и готовиѣе продолжать проложенный путь. Такъ доставляетъ утѣшеніе первое открытіе самопознанія.

Но оно же и возбуждаетъ въ насъ чувство тоски по отчизнѣ.

Вы погружены въ созерцаніе, вы уже начинаете проявлять въ словѣ и дѣлѣ высокую мысль, вызванную отвлеченіемъ изъ глубины души. Въ это время неосуществленныя еще мысли, вызванныя вами цѣлымъ хороводомъ на горизонтъ души, то опять исчезаютъ, то снова появляются, по вашему произволу, и вдругъ вы ясно различаете между ними лишь тонкою пеленою мысли едва прикрытые инстинкты, а за ними поднимается грозною тѣнью и мысль о ничтожествѣ.

Перенесенные - было отвлеченіемъ въ высшую сферу, вы вспоминаете теперь о вашемъ земномъ назначеніи, и тоска по этой отчизнѣ начинаетъ томить васъ, напоминая вмѣстѣ и ничтожность, и разрушеніе.

Но и увлеченные мгновенно вашей матеріею къ грубымъ наслажденіямъ, вы, сроднившись съ отвлеченіемъ, также между вызванными мыслями замѣтите и тѣ, которыя своей чистотою и свѣтлостью напоминаютъ вамъ живо, что есть для васъ и другая отчизна, за предѣлами этихъ наслажденій.

Теперь только, испытавъ въ первыхъ началахъ самопознанія и утѣшеніе, и чувство тоски по двумъ отчизнамъ, получая все болѣе и болѣе ясныя понятія о вашей нравственной двойственности, научившись уже нѣсколько управлять ею и сближать двѣ ея стихіи, вы убѣждаетесь, наконецъ, что борьба съ этою двойственностью и съ матеріальнымъ ва-

шимъ бытомъ, безпрестанное стремленіе привести ее къ одному знаменателю—есть цѣль здѣшней жизни, ваше прямое назначеніе на землѣ.

Борьба, но не вражда. Не враждуя съ вашей матеріей, не враждуя съ окружающимъ васъ, вы должны вступить въ эту высокую, идеальную борьбу для недосигаемаго на землѣ идеала.

Такъ отвлеченіемъ и самопознаніемъ вы достигаете и до познанія началъ святаго откровенія, основную мысль котораго составляетъ эта же самая борьба на землѣ, для достиженія блаженства за гробомъ. Теперь вотъ непосредственныя слѣдствія этихъ убѣжденій.

Предавшись со всею теплотою души утѣшительному вліянію отвлеченія, съ твердымъ намѣреніемъ совершить свое перевоспитаніе, вы не можете уже быть адептомъ схоластицизма, послѣдователемъ формы, толковникомъ мертвой буквы. Въ событіяхъ міра, въ событіяхъ вашей индивидуальной жизни, въ окружающемъ васъ,—вездѣ вы стараетесь постигнуть господствующую, основную идею, или ясно проявляющуюся, или скрытую подъ грузомъ формы и буквы.

Такъ и въ откровеніи—этой основной книгѣ нашего нравственнаго бытія—васъ поражаетъ идеалъ жизни здѣшней, начертанный то въ умильной простотѣ, то подъ видомъ цвѣтистыхъ иносказаній, и олицетворенный въ земной жизни и дѣлахъ Искупителя.

Сосредоточивъ всѣ силы отвлеченія, чтобы постигнуть неизмѣримо высокое этого идеала, ваши взгляды на это высокое не будутъ понятны послѣдователямъ формы и читателямъ буквы. Для васъ самихъ эти взгляды, какъ результаты самосозерцанія, не могутъ быть такъ ясны, какъ математическія аксіомы; но какъ предчувствія, при извѣстномъ состояніи духа, они могутъ для васъ сдѣлаться яснѣе всѣхъ математическихъ аксіомъ, всѣхъ выводовъ опыта и всѣхъ историческихъ истинъ на свѣтѣ.

Поэтому, не навязывая никому и не домогаясь доказывать логически (по законамъ одного ума) истину того, что открыло вамъ отвлеченіе и самосозерцаніе, вы, однако-же, не скрывайте ее отъ другихъ, опасаясь упрековъ въ непослѣдовательности и

неясности. Кто упражнялся уже въ искусствѣ самопознанія, кто чувствуетъ, кто убѣжденъ, что для насъ, кромѣ истины математической, опытной и исторической, есть еще и другая, которая слишкомъ безпредѣльна, чтобы помѣститься въ тѣсныхъ границахъ этого размѣщенія,—тотъ пойметъ васъ. Но и тотъ, кто, повидимому, разгромилъ напоромъ своей логики несвязный рядъ вашихъ (отвлеченныхъ) убѣжденій,—и тотъ, повѣрьте, нерѣдко внутренне сознается: „еще такая побѣда, и я потерянъ“. Только не вдавайтесь въ схоластическія распри и произносите ваши убѣжденія настоящимъ ихъ голосомъ, т.-е. голосомъ чувства.

Такъ самосозерцаніе сообщаетъ вамъ и свои убѣжденія о сущности зла и о безсмертіи—двухъ предметахъ, о которыхъ безъ отвлеченія мы не можемъ имѣть даже самаго слабаго понятія.

Если мы, рассматривая одинъ матеріальный окружающій насъ бытъ, легко убѣждаемся, что для творящей силы природы не существуетъ наше различіе добра отъ зла, то еще менѣе оно можетъ существовать для Того, Кто сотворилъ вселенную. Разрушеніе цѣлыхъ міровъ, въ отношеніи къ недостигаемо-высокой идеѣ о Творцѣ, такъ же ничтожно, какъ и разрушеніе ничтожнѣйшей изъ инфузорій,—совершающееся по тѣмъ же предвѣчнымъ законамъ. Дуализмъ исчезаетъ за предѣлами земли, за предѣлами человѣческой ватуры и гроба.

Но самое простое наблюденіе открываетъ этотъ дуализмъ въ безпрестанной борьбѣ между наружнымъ и внутреннимъ человѣкомъ, между влеченіями инстинктовъ и силою воли; еще болѣе убѣждаемся мы въ существованіи другого, правдивнаго дуализма, чрезъ отвлеченіе и самопознаніе.

Эта-то двойственность и есть наше зло.

Оно обнаруживается въ мірѣ вещественномъ разладомъ чувственности съ волею и разсудкомъ; въ мірѣ же отвлеченномъ—мысли, готовой обнаружиться чрезъ слово и дѣло,—съ призракомъ или отраженіемъ ея, обнаруживающимся въ насъ, какъ будто бы это было внѣ насъ. Чѣмъ яснѣе для насъ очерки этого превратнаго отраженія, этого миража нашей мысли, готовой выступить или уже выступившей на свѣтъ, чѣмъ менѣе мы упражнялись въ самопознаніи, тѣмъ

болѣе мы подвержены оптическому обману души, считая то, что происходитъ въ насъ, происходящимъ внѣ насъ. Такъ простолюдинъ съ живымъ воображеніемъ представляетъ себѣ и совѣсть, и ангела-хранителя, и лукаваго искушителя.

Тотъ для себя не золь, кто не имѣетъ этой двойственности. Если природа снабдила организацію кого-нибудь всѣми свойствами къ убійству, грабежу, разврату, не давъ ему ни воли, ни разсудка, для удержанія инстинктовъ, ни малѣйшей способности къ отвлеченію, у того нѣтъ дуализма, и тотъ для себя не золь. Онъ относительно себя совершенно таковъ же, какъ и другой, котораго организація устроена для любви, добродѣтели, но также не снабжена способностью отвлекаться и созерцать себя. Но другое дѣло — въ отношеніи къ другимъ, его окружающимъ.

Тотъ, чьи поступки производятъ на насъ непріятныя, тягостныя впечатлѣнія, — въ нашихъ глазахъ золь, и, наоборотъ, — добръ, если эти впечатлѣнія приняты и не противорѣчатъ нашимъ интересамъ.

Кто не видитъ изъ этого, что понятія наши о добрѣ и злѣ, выводимыя изъ поступковъ другихъ, должны быть чрезвычайно относительно?

Даже въ мірѣ христіанскомъ, гдѣ высшимъ авторитетомъ обозначено въ рѣзкихъ чертахъ, что худо и что хорошо, мы видимъ безпрестанно, какъ различны и относительно наши понятія о томъ, что дѣлаетъ добро и зло. Самое убійство, грабежъ и ложь мы готовы извинить и считаемъ даже иногда высокимъ, если это только совершено подъ извѣстною формою. Это потому, что, во-первыхъ, тѣ самыя впечатлѣнія дѣйствуютъ не на всѣхъ одинаково пріятно или непріятно; во-вторыхъ, анализируя поступокъ, мы ищемъ познать мысль, управлявшую этимъ поступкомъ, и, несмотря на все наше отвращеніе къ іезуитамъ, судимъ также весьма перѣдко по ихъ началу: цѣль оправдываетъ средства. Итакъ, въ предвѣчныхъ законахъ природы наше различіе добра отъ зла исчезаетъ.

Понятіе о добрѣ и злѣ въ мірѣ общественномъ есть только относительное.

Но въ мірѣ индивидуальномъ это различіе существуетъ и основано на двойственности человѣческой нравственной природы.

Злодѣй, — если только природа не обидѣла его совершенно

способностью отвлекаться, — дрожить, видя благодатный образ иной мысли, являющийся туманнымъ призракомъ между мыслью, готовою олицетвориться въ убійствѣ, и совершеніемъ кроваваго дѣла. Увидѣвъ этотъ призракъ, онъ уже знаетъ, что онъ — злодѣй.

Добродѣтельный, — также способный къ самосозерцанію между благою мыслью и добрымъ дѣломъ, пугается, видя уродливый призракъ на горизонтѣ души, напоминающій ему, что для него было бы выгоднѣе, еслибы онъ остановился въ совершеніи поступка. Увидѣвъ его, онъ вспоминаетъ, что въ немъ есть зло.

Откровеніе, поставивъ намъ въ образецъ первобытную, нераздѣленную дуализмомъ, природу человѣка: дѣтскій возрастъ и бѣдную простоту духа, повелѣло, чрезъ борьбу съ собою и міромъ, стремиться къ уничтоженію нашей двойственности.

И злодѣю, и добродѣтельному открыта эта цѣль; только каждый изъ нихъ можетъ достичь ее не иначе, какъ противнымъ путемъ. Первый — чрезъ борьбу и самопознаніе привлекая къ себѣ все ближе и ближе отдаленный призракъ благодатнаго; второй — все болѣе и болѣе удаляя искаженный призракъ злого.

Побѣда надъ дуализмомъ ведетъ къ безсмертію, общанному откровеніемъ.

Кто изъ насъ, одаренный умомъ и чувствомъ, перевоспиталъ себя, чрезъ отвлеченіе и самопознаніе, до убѣжденія въ необходимости борьбы съ дуализмомъ, тотъ долженъ быть убѣжденъ, вмѣстѣ съ этимъ, и о предстоящемъ ему безсмертіи. Но не думайте, чтобы истинное самопознаніе требовало вражды къ вещественному міру, къ обществу и къ самому себѣ.

Только близорукіе послѣдователи религіозныхъ взглядовъ, только выступившіе въ свѣтъ съ направленіемъ хотя и высокимъ, но основаннымъ на ложно-понятыхъ началахъ откровенія, вступаютъ во вражду съ обществомъ, нерѣдко кончающуюся враждою къ себѣ.

Естественно ли думать, чтобы Искупитель, самъ Сынъ Человѣческій, требовалъ отъ насъ вражды къ обществу, къ нашимъ близкимъ, къ намъ самимъ, тогда какъ Онъ завѣщалъ намъ любовь и къ ближнимъ, и къ врагамъ, повелѣвалъ от-

давать цезарево цезарю и пришелъ не разрушать, но возстановить ветхій завѣтъ?!

Вражда предполагаетъ ненависть, осаждаемую откровеніемъ. Борьба же — присутствіе духа и сознаніе внутренней силы, доставляемое намъ вѣрою въ откровеніе и самопознаніемъ.

Въ откровеніи нужно отличать, что имѣло непосредственное приложеніе къ тогдашнему обществу, отъ того, что останется вѣчнымъ для цѣлаго человѣчества; нужно отличать идеалъ, къ которому мы должны безпрестанно стремиться, отъ дѣйствительности, съ которою мы должны безпрестанно бороться.

Это-то изложеніе рѣзкими чертами недосягаемаго и практически-дѣйствительнаго и свидѣлствуетъ о святости и вѣчной ненарушимости началъ, благовѣствуемыхъ откровеніемъ.

Итакъ, въ какое бы положеніе вы ни были поставлены обществомъ, обстоятельствами, судьбою, — боритесь безъ вражды. Любите то, съ чѣмъ вы вступаете въ борьбу; имѣйте привязанность къ тому, что вы хотите побѣдить. Тѣмъ слаще будутъ для васъ плоды побѣды, тѣмъ славнѣе торжество побѣдителя. Одно любите потому, что этого требуетъ ваша земная отчизна; имѣйте привязанность къ другому, потому что оно вселяетъ въ васъ смиреніе и скромность, напоминая вамъ о вашихъ слабостяхъ и несовершенствахъ, и заставляетъ васъ обращаться съ упованіемъ къ утѣшительнымъ источникамъ вашего нравственнаго бытія: святому откровенію и самопознанію.

Вѣчное блаженство и небесное царство — за твердость и постоянство въ борьбѣ. Адамъ, вѣчною смертію и мученіемъ угрожаетъ откровеніе за безсиліе и паденіе. Понятія — а потому и сужденія — наши объ отвлеченныхъ предметахъ всегда будутъ различны, смотря по различной степени образованія и организаціи общества, въ которомъ мы живемъ. Поэтому предоставимъ каждому представлять себѣ и вѣчное блаженство, и небесное царство, и вѣчное мученіе — такъ, какъ убѣждаетъ его собственное самопознаніе. Пусть матеріальный человѣкъ, не дошедшій еще чрезъ отвлеченіе до отдѣленія вполне своего вещественнаго бытія отъ духовнаго, представляетъ себѣ рай въ видѣ сада, адъ — въ видѣ раскаленной печи. Образуйте его, изощрите его самопознаніе; но

безъ этого не нарушайте его убѣжденій. Результаты ихъ такъ же утѣшительны, благодатны и высоки, какъ и результаты вашихъ отвлеченныхъ убѣжденій. Отрицатели высокаго, вѣчнаго, неземнаго въ откровеніи приводятъ, обыкновенно, въ доказательство своихъ мнѣній, что и міръ языческій зналъ безсмертіе, имѣлъ свой Аидъ и Елисейскія поля.

Если высокіе умы въ языческомъ мірѣ и имѣли убѣжденія о безсмертіи, сходныя съ нашими, то что доказываетъ это? Не то ли, что духъ Божій искони виталъ въ человѣчествѣ безъ его сознанія? Человѣчество, какъ и каждый человѣкъ, медленно совершенствовалось въ самопознаніи; шло же и идетъ не прямымъ путемъ къ этой высокой цѣли, но блуждая и уклоняясь, извилистыми тропами. Еще языческое осталось въ христіанствѣ; христіанское было и въ язычествѣ. И развѣ уменьшается благотворное дѣйствіе эеировація и высокое достоинство этого открытія, когда мы скажемъ, что оно уже было извѣстно за нѣсколько тысячелѣтій китайцамъ?!

Каковы ни были понятія язычниковъ и ваши о вѣчномъ блаженствѣ и адѣ, ожидающихъ человѣка за гробомъ,—въ томъ, вѣрно, согласится большая часть людей, упражнявшихся въ отвлеченіи, что самое утѣшительное въ этой мысли есть, именно, продолженіе жизни, продолженіе существованія, хотя и въ другомъ видѣ,—жизнь духа, лишеннаго всѣхъ слабостей и несовершенствъ матеріи.—Но и только. Будетъ ли это существованіе духа соединено съ сознаніемъ своего существованія, можетъ ли оно быть соединено съ наслажденіемъ или мученіемъ, объ этомъ мы не можемъ имѣть ни малѣйшаго понятія, покуда мы живемъ матеріально. Одна смерть можетъ рѣшить эти вопросы, да и то еще едва-ли для каждого изъ насъ.

Самое раздѣленіе духа отъ матеріи есть чисто условное, необходимое только при нашихъ настоящихъ, еще самыхъ поверхностныхъ понятіяхъ о матеріи. Если подумать, сколько заключается въ этомъ словѣ: матерія! Это—вся Вселенная, слѣдовательно Безграничное, Безпредѣльное. Много ли же намъ извѣстно о свойствахъ этого Безграничнаго? Не смѣшали ли послѣ этого близорукость тѣхъ, которые думаютъ, что они въ состояніи опредѣлить матерію, опредѣлить Безпредѣльное?! Много, много, если мы можемъ сказать еще что-нибудь о

нѣкоторыхъ свойствахъ матеріи нашей планеты, да и то давно ли самыя существенныя изъ нихъ (электричество, свѣтъ, магнетизмъ) подвергнуты тщательнымъ изслѣдованіямъ, и между нѣсколькими извѣстными намъ проявленіями этихъ свойствъ сколько еще скрывается неизвѣстныхъ!

Можемъ ли мы сказать съ увѣренностью: это — матерія, это — не-матерія, тогда какъ съ каждымъ днемъ мы узнаемъ существованіе новыхъ веществъ, которыя еще вчера для насъ не существовали? Даже на одной нашей небольшой планетѣ мы окружены, нѣтъ сомнѣнія, цѣлыми мірами неизвѣстныхъ еще существъ, требующихъ неимовернаго изощренія нашихъ грубыхъ чувствъ для своего проявленія. Намъ неизвѣстны даже границы, до которыхъ наши чувства могутъ быть изощрены. Гдѣ былъ для насъ, за нѣсколько столѣтій, цѣлый міръ инфузорій? Чтѣ было для насъ цѣлый микроскопическій міръ?

Кто же, самоувѣренный, убѣдитъ насъ, что, кромѣ этого грубаго, вещественнаго міра, постигаемаго нашими чувствами, не можетъ существовать и вокругъ насъ еще другой, скрытый отъ нихъ, составленный изъ вещества несравненно болѣе тонкаго, такъ тонкаго, что оно для нашего ограниченнаго ума уже переступаетъ предѣлы матеріи и дѣлается духомъ?

Если же невѣсомыя тѣла могутъ проникать и выполнять всѣ поры нашей матеріи и своимъ сотрясеніемъ оживлять ее, то какія поры могутъ остаться непроницаемыми для того, чтѣ въ неизмѣримой степени тоньше и эфирнѣе всѣхъ насѣкомыхъ?

Если же простыя чувства открываютъ въ невѣсомыхъ столько загадочныхъ, непостижимыхъ свойствъ, которыя рѣзко противорѣчатъ нашимъ понятіямъ объ обыкновенной матеріи, то какими свойствами не можетъ обладать это нѣчто, когда мы представимъ его несравненно менѣе матеріальнымъ, нежели всѣ невѣсомыя?

Если нашему разсудку трудно предположить въ матеріи сознаніе, то ему также трудно отвергать это свойство въ предполагаемомъ веществѣ, выступившемъ за предѣлы обыкновенныхъ понятій о матеріи.

Короче, нѣтъ опредѣленныхъ границъ, гдѣ оканчивается матерія, гдѣ начинается духъ, потому что намъ неизвѣстны еще ни границы, ни свойства матеріи.

Но если мы въ состояніи себѣ вообразить, что всѣ тончайшіе промежутки атомовъ, составляющихъ нашу грубую тѣлесную оболочку, содержатъ въ себѣ еще несравненно тончайшіе атомы духа, то можно также вообразить, что эти эфирные атомы, безпрестанно колеблясь, сохраняютъ еще и прежнюю форму матеріальной оболочки, облекавшей ихъ, даже тогда, когда она уже разрушилась и слилась съ стихіями земли.

Какъ видѣнія, какъ безплотныя тѣни, могутъ намъ представиться колеблющіеся атомы душъ нашихъ ближнихъ, сохранившіе еще наружный видъ грубой ихъ оболочки, привлекаемые сродствомъ съ атомами нашей собственной души, въ минуты тождественныхъ сотрясеній, во время всемірныхъ и частныхъ катастрофъ нашей жизни, когда нашъ духъ бываетъ сильнѣе расположенъ къ разьединенію съ тѣломъ.

Соединеніе грубой матеріи нашего тѣла съ эфирною духа, можетъ быть тѣсно до совершеннаго слитія, слабо до разьединенія. Чѣмъ грубѣе матерія, чѣмъ менѣе она проникнута эфиромъ духа, тѣмъ болѣе она препятствуетъ его колебаніямъ, тѣмъ тѣснѣе она облекаетъ его, тѣмъ менѣе способны атомы этого ээира принимать и удерживать наружный видъ нашей тѣлесной оболочки.

У однихъ еще при жизни мы видимъ стремленіе къ разьединенію духовнаго ээира отъ тѣлесной матеріи; у другихъ и самая смерть не способствуетъ его проявленіямъ; его индивидуальное существованіе оканчивается, сливаясь съ міровымъ ээиромъ невѣсомыхъ.

Чѣмъ болѣе во время нашей жизни духъ былъ наклоненъ къ разьединенію отъ матеріи, чѣмъ болѣе онъ находилъ пространства въ матеріи для обнаруживанія своего главнаго свойства—безпрерывнаго колебанія, тѣмъ сильнѣе была его власть надъ тѣломъ, тѣмъ способнѣе онъ дѣлался индивидуализироваться, принимать видъ наружной ихъ оболочки, ощущать ея впечатлѣнія и, сообщая ей свои невещественныя свойства, возвышать и облагораживать ее.

Кто будетъ отвергать, что связь и отношенія атомовъ этого духовнаго ээира къ атомамъ матеріи должны быть совершенно другія у Сократа и Ньютона, чѣмъ у кретина и

идіота? Но у всѣхъ насъ и грубая матерія, и этотъ тончайшій эѳиръ—безсмертны.

Матерія безсмертна, потому что, разрушаясь, принимаетъ новыя виды и никогда не исчезаетъ; а духовный эѳиръ, оставивъ матерію, сливается съ міровымъ эѳиромъ цѣлой вселенной. Но, сливаясь, онъ или утрачиваетъ свою особость, или же, получивъ однажды отъ матеріи сознаніе объ этой особости, сохраняетъ и ее навѣки.

Каждому изъ насъ дана, хотя и въ различной степени, способность обособить нашъ духовный эѳиръ, начиная его разъединять, еще въ нашей земной жизни, отъ тѣла, утончая, возвышая, облагораживая нашу матерію, раздвигая пространства между ея атомами, способствовать движеніямъ эѳира, дѣлать его все болѣе и болѣе воспріимчивымъ къ ощущеніямъ матеріальнымъ, изощрять его сознаніе черезъ самую же матерію, готовить его, чтобы онъ и за гробомъ сохранялъ это сознаніе.

Пусть будетъ это мечта для недоступныхъ къ отвлеченію, но для насъ она все-таки останется утѣшительною и высокою.

Жить на землѣ для усовершенствованія, для облагороженія матеріи; готовить себя чрезъ земное бытіе путь къ безсмертію, къ сохраненію сознанія о себѣ и за гробомъ;—кто, посмотрѣвъ съ этой точки на жизнь, не пойметъ, что при такомъ взглядѣ наши мысли, намѣренія, рѣчи и поступки получаютъ другое направленіе?! Но что же будетъ, когда мы усвоимъ этотъ взглядъ до степени убѣжденія? Тогда какой завѣтный идеалъ высокаго и святаго останется для насъ непривлекательнымъ, недостижимымъ? Какая жертва останется для насъ невозможною, чтобы жить для безсмертія, жить сознательно, вѣчно? Вотъ нашъ эдемъ, вотъ вѣчное блаженство откровенія. Утратить духовное сознаніе и слиться съ грубыми стихіями земли—вотъ вѣчный адъ.

Пусть же каждый изъ насъ рѣшитъ съ убѣжденіемъ этотъ столбовой вопросъ жизни: жить, совершенствуясь; отвлеченіемъ развивать сознаніе въ эѳирѣ Творящаго, Который вѣщаетъ въ насъ, стремясь безпрестанно слиться съ общимъ эѳиромъ вселенной; самопознаніемъ уничтожить дуализмъ, происходящій отъ сознанія бытія въ матеріи. Въ этой же жизни стремиться

къ разьединенію духа отъ тѣла, возвышая его до управленія матеріей, а матерію облагораживая до свойства быть управляемою духомъ. Только тотъ, кто въ здѣшней жизни проложилъ себѣ этотъ путь, достигнетъ безсмертія, только онъ одушевится предчувствіемъ, что его ожидаетъ за гробомъ. Кто былъ такъ несчастливъ, неспособенъ, лѣнивъ и ничтоженъ, что не хотѣлъ воспользоваться самою высшею способностью человека—развивать сознаніе себя до самопознанія и одерживать чрезъ то верхъ надъ матеріею,—тотъ долженъ отказаться отъ безсмертія, котораго онъ не въ состояніи былъ и предчувствовать. Много званыхъ, мало избранныхъ.

Итакъ, вотъ въ немногихъ словахъ механизмъ,—еслибы только слова достаточны были описать его,—которыя руководствуется человекъ съ умомъ и чувствомъ въ разрѣшеніи главнѣйшаго вопроса жизни.

Убѣдившись изъ опыта, что вы уже потеряли эдемъ души: дѣтскую простоту и единство, испытавъ, что у васъ мысль, слово, поступокъ уже раздѣляются бѣльшимъ или мѣньшимъ промежуткомъ времени, вы начинаете наблюдать, что происходитъ съ вами въ это время.

Вы вскорѣ узнаете (что, впрочемъ, вы уже и прежде чувствовали), что въ это время цѣлый сонмъ другихъ мыслей тѣснится между вашею главною мыслью и ея осуществленіемъ въ словѣ и дѣлѣ.

Эти вставочныя мысли—то слышатся вамъ, какъ отдѣльныя, неясныя звуки или какъ близкіе, вамъ знакомые, голоса, то являются предъ вами, какъ рѣзко обозначенныя тѣни вашей главной мысли, какъ призраки фантазмагорического калейдоскопа, безпрестанно принимая новыя виды, сливаясь и раздѣляясь, приближаясь и удаляясь,—или какъ одни туманныя пятна мыслей на необозримомъ млечномъ пути души. А за ними во мракѣ исчезаетъ бездонная глубь!—Если вы, смущенные въ этомъ хаосѣ тѣней и звуковъ, испугаетесь, закроете глаза и уши и перестанете слѣдить за этими призраками, чтобы ихъ изслѣдовать вблизи, то вы поступаете какъ робкія дѣти, которыя боятся потемокъ.

Вы знаете, какъ ихъ пріучаютъ не бояться. Разсмотрите вблизи и разслушайте, что васъ пугаетъ. Вы увидите тогда,

что эти призраки — одни только миражи или одни только цвѣтные лучи вашей главной мысли, которая разложилась на нихъ чрезъ призму души, переходя въ поступокъ и слово. Вы разслушаете въ невнятномъ говорѣ аккорды созвучныхъ мыслей, голоса давно забытыхъ убѣжденій, шопотъ и вопли инстинктовъ.

Вникайте, не теряйте терпѣнія. Вы приучитесь сначала разбирать въ этомъ хаосѣ тѣни отъ звуковъ, потомъ узнавать настоящій источникъ тѣхъ и другихъ, отличать грубые голоса матеріи отъ мелодическихъ звуковъ души; но, главное, для васъ проясвѣтъ связь между мыслью, которую вы хотите олицетворить, и этимъ хаосомъ, о существованіи котораго въ васъ вы, можетъ быть, прежде не догадывались.

Вотъ теперь-то начинаются судъ и расправа съ собою. Вы непремѣнно собьетесь съ толку, если вы не приучитесь выслушивать каждый голосъ и разглядывать каждый призракъ мысли порознь, чтобы узнать ихъ источникъ. Прежде всего старайтесь различать мысль, диктованную инстинктомъ. Преслѣдуйте сначала ту, которая родилась изъ самаго грубаго инстинкта. Вотъ первый путь къ борьбѣ, — первый случай къ испытанію воли, — самый трудный, потому именно, что онъ первый. Но, не прошедъ чрезъ него, вамъ невозможно будетъ бороться и съ вашимъ нравственнымъ дуализмомъ.

Но не такъ легко отличить голоса вопіющихъ инстинктовъ отъ призраковъ, вышедшихъ изъ этого дуализма. Не всегда громки и рѣзки бываютъ вопли чувственности. Только грубая натура матеріи выражается грубыми инстинктами. Чѣмъ болѣе она утончена воспитаніемъ, тѣмъ скрытнѣе дѣлается ея голосъ, тѣмъ труднѣе различить его. Безпристрастно, открыто и строго судите себя, — тогда вы разслушаете его.

Итакъ, вы дошли до борьбы воли съ матеріей. Вы скажете, что для этого еще не нужно искусства самопознанія; вы и прежде, живя въ обществѣ, должны были испытывать эту борьбу; вы скажете, что и животныя такъ борются, какъ бы ни былъ силенъ ихъ инстинктъ. Но знайте, — въ обществѣ вы сражаетесь съ чувственностью безсознательной и, слѣдовательно, безъ нравственной воли. Правда, законы, налагаемые приличіемъ, упражняютъ волю, но не сознательную; они исполняются чрезъ подражаніе — также родъ инстинкта, свойствен-

наго и животнымъ. То, что вамъ безъ искусства въ самопознаніи кажется побѣдою воли надъ чувственностью, есть только одна побѣда инстинкта надъ инстинктомъ. Хищный звѣрь, видя добычу, не бросится на нее, когда чувствуетъ, что не въ состояніи ее преодолѣть; инстинктъ самосохраненія торжествуетъ и надъ голодомъ. Но та борьба, къ которой ведетъ самопознаніе, основана на сознаніи нравственной воли. „Я хочу“ торжествуетъ надъ инстинктомъ.

Чѣмъ грубѣе и громче вопль инстинкта, тѣмъ легче замѣтить, откуда онъ выходитъ, тѣмъ легче борьба съ открытымъ противникомъ. Несравненно труднѣе разслушать тѣ клики, которые произносятся голосомъ чувственности, скрытой подъ видомъ нравственнаго дуализма. Вотъ самый пагубный ядъ, который развивается въ насъ, изъ насъ самихъ. Представьте себѣ: въ васъ созрѣла мысль совершить поступокъ, о которомъ вы увѣрены, что онъ будетъ пагубенъ для вашего врага. Вы дышите мстью, вы горите нетерпѣніемъ какъ можно скорѣе осуществить вашъ замыселъ на дѣлѣ. Вдругъ между вашею мыслью и поступкомъ изъ глубины души поднимается грозный призракъ, указывая перстомъ на книгу откровенія. Вы убѣждены — это совѣсть. Вы взволнованы, вы уже готовы молиться, готовы забыть и ненависть, и мщеніе. Призракъ исчезъ; свершилось доброе дѣло во имя самого Искупителя. Но душа не осѣнилась благодатью. Она не торжествуетъ побѣды.

Тотъ призракъ былъ не совѣсть. Онъ святотатнымъ перстомъ указалъ на откровеніе. То былъ инстинктъ самосохраненія подъ личиною дуализма души.

Васъ ненавидитъ женщина. Она отравила всю вашу жизнь, запятнала ваше имя, разорвала вашу привязанность къ дѣтямъ. Вы клянетесь отмстить ей, преслѣдовать ее до гроба. Вдругъ вы останавливаетесь предъ плачущею Магдалиною Тиціана. Тихая скорбь о кающейся грѣшницѣ, томное сочувствіе къ слезамъ, струящимся изъ глазъ, поднятыхъ къ небу, волнуютъ васъ, и вотъ — опять передъ вами призракъ, но не грозный; какъ ангелъ-примиритель, тихо нисходитъ онъ. Улыбкою любви и мира привѣтствуетъ онъ васъ. Забыта ненависть, погасло мщеніе. Торжественное „прощаю“ произнесено вами; вы молитесь за ту, которая смѣялась надъ вашими страданіями.

Вы счастливы. Но благодатнаго мира опять нѣтъ въ душѣ. Тотъ призракъ былъ не эеирный небожитель. То была одна чувственность пола подъ видомъ высокаго въ дуализмѣ души.

Гдѣ же—вы спросите—взять разсудка, хладнокровія и воли, чтобы провести этотъ анализъ рѣзкою чертою чрезъ все поприще жизни?—Вы начинаете анализировать, судить себя, и цѣлый рой новыхъ призраковъ вашего дуализма, вашей же чувственности летаетъ и жужжитъ вокругъ васъ, безпрестанно мѣшая вести ваши судебные протоколы. Ваша тайная полиція оказывается ненадежною. Она также на жалованьи у инстинктовъ. Вы начинаете упражнять волю, а она заводитъ интриги, обманываетъ васъ; хочетъ, какъ Цезарь, управлять, раздѣляя; поджигаетъ одинъ инстинктъ противъ другого, и сама, наконецъ, запутывается въ этой дипломатической сѣти.

Вотъ, наконецъ, когда вы узнаете, что ваша воля не подвластна вамъ. Она—надъ вами. Матерія и чувственность, духъ, раздѣленный дуализмомъ,—вотъ чтò ваше. А воля осѣняетъ васъ только какъ даръ верховной благодати. Одно лишь вдохновеніе сообщаетъ вамъ волю. Помните ли отвѣтъ Спасителя на слова Петра: „посмотри: смоковница, которую ты проклялъ, засохла“. „Имѣйте вѣру божію,—отвѣчалъ Иисусъ—истинно говорю вамъ, если кто скажетъ горѣ: двинься и бросься въ море—и не усомнится въ сердцѣ своемъ, но повѣритъ, что сбудется по словамъ его: будетъ ему, чтò ни скажетъ“.—Вникните въ глубокій смыслъ этого отвѣта.

Уничтожьте сомнѣніе въ себѣ, и мощная воля осѣнитъ васъ. А можно ли его уничтожить безъ вдохновенія?

Итакъ, вотъ финалъ самопознанія. Вы открыли въ себѣ храмъ святини. Вступите въ него съ упованіемъ, и могучая высшая воля снизойдетъ на васъ. Недаромъ человѣчество было всегда влекомо къ вдохновенію. Оно бессознательно чувствовало, гдѣ оно должно было искать своей опоры. Самопознаніе приводитъ къ тому же путемъ отвлеченія и убѣжденія сознательнаго, которое потому непоколебимо и твердо. Если послѣдователи торговаго направленія въ нашемъ обществѣ съ улыбкою намекаютъ намъ, что теперь вдохновенія нѣтъ и не нужно, то они не знаютъ, какая горькая участь ожидаетъ въ будущемъ

человѣчество, пресыщенное жизнью, утратившее небесный даръ, единственную связь его съ Верховнымъ Существомъ.

Безъ вдохновенія нѣтъ воли. Безъ воли нѣтъ борьбы, а безъ борьбы—ничтожество и смерть. Вотъ наша участь.

Не думайте, чтобы самопознаніе, открывъ предъ вами путь, заключило холоднымъ эпилогомъ: „имѣйте вдохновеніе“. Оно само уже есть даръ высшей воли, и, проникнувъ съ нимъ хотя однажды въ глубину души, вы уже выходите на свѣтъ другими; вы вынесли съ собою убѣжденіе о существованіи завѣтно-святого; вы молитесь, чтобы высшая воля одушевила васъ въ борьбѣ съ началомъ всѣхъ сомнѣній—дуализмомъ вашей души.

Мы всѣ способны къ вдохновенію, хотя не всѣ въ одинаковой степени и всякій по своему. Шаманъ и дервишъ дѣлаются вдохновенными чрезъ тѣлодвиженія. Для большей части изъ насъ нужны музыка и пѣніе. Спаситель показалъ намъ въ своей земной жизни, что для высшего вдохновенія нужно извѣстное состояніе тѣла и духа, достигаемое постомъ и уединеніемъ. Самопознаніе учитъ насъ тому же: не улучшивъ, не облагородивъ матеріи, не подвергнувъ ея грубыхъ атомовъ сотрясеніямъ эфирныхъ атомовъ духа,—мы дѣлаемся неспособными къ высшему вдохновенію, развивающемуся изъ созерцанія и отвлеченія. Вседневная, дюжинная жизнь, съ торговыми ея взглядами, увлекши васъ однажды своимъ потокомъ, не располагаетъ ни къ тому, ни къ другому. Уединеніе необходимо для этого.

Изъ этого не слѣдуетъ, что вамъ непременно нужно сдѣлаться аскетомъ. Живя наружно, какъ живутъ всѣ другіе, живите еще внутренно. Вы найдете тогда уединеніе и въ обществѣ; житейскія заботы не развлекутъ вашего отвлеченія. Среди шумящей толпы, въ самомъ разгулѣ ея вакханалій, вдохновеніе одушевитъ васъ.

Но покуда самопознаніе не привело васъ къ конечной ея цѣли, вы долго, долго не будете своими среди людей. Вы недовѣрчиво будете смотрѣть на нихъ. Вы будете любить ихъ, но по долгу, а не по убѣжденію. И можно ли ожидать, чтобы вы довѣрчиво и съ участіемъ смотрѣли на нихъ, когда цѣлый сонмъ противорѣчій и враждующихъ инстинктовъ—призраковъ

вашей дѣйствительности—толпится въ душѣ, заставляя васъ безпрестанно сомнѣваться въ себѣ и недовѣрчиво смотрѣть на себя? Вы безпрестанно примѣяете къ другимъ то, что дѣлается въ васъ. И это такъ. Вы лучше знаете ихъ, нежели они сами. Вотъ въ этомъ-то періодѣ самопознанія любопытство, самолюбіе и корысть подстрекаютъ васъ управлять другими. Какъ не воспользоваться плодами наблюденій надъ собою? Какъ не увѣриться на опытѣ, что точно то же происходитъ въ другихъ, что и во мнѣ? Еще одинъ шагъ, и вы, со всѣмъ запасомъ самопознанія, — игрушка вашего же эгоизма. Не вдохновеніе, не высшая воля, одинъ разумъ ставитъ васъ въ челѣ другихъ. Но, вотъ, самопознаніе уже раскрываетъ предъ вами свой финаль. Вдохновеніе все чаще и чаще навѣщаетъ васъ. Тогда другія желанія начинаютъ волновать васъ. Сомнѣніе и двойственность потрясены. Недовѣрчивость (къ себѣ и другимъ) ослаблена. Рождается потребность то сообщить другимъ, что свыше осѣнило васъ. Уже не женское любопытство, не эгоизмъ поджигаютъ васъ, — верховная воля управляетъ вами и стремится чрезъ ваши собственныя убѣжденія излиться на другихъ. Какая загрубѣвшая душа не вспомнитъ безъ участія о тѣхъ вѣкахъ, когда міръ былъ потрясенъ этими убѣжденіями, когда вдохновенные ученики, презирая смерть, шли по стопамъ Учителя, и ихъ вдохновеніе, съ потоками дымящейся крови, лилось на изумленное человѣчество?!

Итакъ, и бытописаніе, и наблюденіе самого себя показываютъ, что потребность сообщать другимъ, чѣмъ вы проникли сами, знаменуется торжествомъ надъ эгоизмомъ — пожертвованіемъ. Вы дѣлаетесь готовыми принести въ жертву ваши мечты о земномъ счастьи, которыми избалованное воображеніе и чувственность убаюкивали васъ съ вашего дѣтства. Вамъ не спалось спокойно безъ тихихъ колыбаній вашей колыбели. Но вдохновеніе прогнало этотъ сонъ. Не здѣсь назначено вамъ отдыхать отъ утомленій.

Кто не насмѣхался изъ васъ надъ искателями сильныхъ ощущеній? Кто съ изумленіемъ не видитъ, какъ въ нашемъ вѣкѣ реализма начинаетъ распространяться эта болѣзнь временъ рыцарства (среднихъ вѣковъ)? Убѣдитесь же, что никакое материальное направленіе въ свѣтѣ не въ состояніи уничтожить

вдохновенія въ человѣкѣ. Это исканіе сильныхъ ощущеній есть его проявленіе. Прежде цѣлыя массы людей, одушевленныхъ вдохновеніемъ, готовы были принести себя въ жертву и пролить кровь за свои убѣжденія. Теперь тѣ изъ нихъ, на которыхъ порою нисходитъ высшая воля, влекомые безъ сознанія этимъ ощущеніемъ, готовы также жертвовать собою. Но общество, уже привыкшее къ своей земной неволѣ, не требуетъ отъ нихъ ихъ жертвы. Чтѣ же остается имъ? Собою жертвовать для сильныхъ ощущеній! Посмотрите на искателей сильныхъ ощущеній съ этой точки, и смѣшныя восторженности донкихотства, странные припадки англійскаго сплина будутъ для васъ бессознательнымъ проявленіемъ высокаго въ человѣческой натурѣ,—борьбы и готовности жертвовать собою,—но покрытаго прахомъ земли, поднявшимся отъ скованныхъ стопъ рабскаго общества.

Такъ вы, наконецъ, разрѣшили для себя роковые вопросы жизни. Вы сдѣлались готовыми для нихъ пожертвовать и отдыхомъ, и сладкимъ сномъ земного бытія. Перевоспитаніе свершилось.

Вы озираетесь и видите, что уже давно истерты мундиръ и юпка, въ которыхъ вы увидѣли себя, когда вамъ вздумалось въ первый разъ осмотрѣться. Сбылись и не сбылись тѣ предвѣщанія, которыми вы такъ когда-то восхищались, смотря на воротникъ мундира, на вашъ корсетъ и на то, чтѣ подъ нимъ такъ тихо и такъ сладко волновалось.

Жизнь приближается къ закату.

Вы, уже не сбиваясь, идете по начертанному пути. Безъ вражды, одушевленные упованіемъ, вы доканчиваете однажды начатую борьбу. Эгоизмъ уже замѣняетъ готовность къ жертвѣ. Но тихая грусть падаетъ въ сердце.—Чтѣ это: не отдаленный ли вопль эгоизма? Нѣтъ, то голосъ тоски по отчизнѣ; онъ будетъ васъ провожать до самаго гроба. Онъ шепчетъ вамъ:

„Ищи участія, ищи сочувствія; ты можешь жертвовать,—авось найдешь его“.

Сочувствіе—это магнетизмъ души. Мы слишкомъ рано начинаемъ ощущать его присутствіе въ насъ, но слишкомъ поздно научены цѣнить его.

Свѣтло и торжественно вдохновеніе; оно, какъ праздничная одежда, облакаетъ духъ, призывающій высшую волю.

Томно и тихо сочувствіе; оно, какъ заунывная пѣснь, манитъ насъ къ земной отчизнѣ.

Какъ борьба жизни покажется намъ нестерпимою, когда вдохновеніе осѣнить, когда сочувствіе согрѣетъ насъ?!

Небесное дѣлается намъ отверстымъ чрезъ вдохновеніе; земное — возвышается чрезъ сочувствіе. Но, пройдя чрезъ школу самопознанія, боровшись полжизни съ окружающимъ и съ собою, узнавъ толпу, — кто не подумаетъ, въ минуты вдохновенія, когда сочувствіе напомнитъ ему о родинѣ: „не лучше ли хранить, какъ святыню, завѣтное, не расточать ея, потушить земную потребность участія, служить землѣ по долгу, по необходимости, не изъ любви къ отчизнѣ?“...

Не лучше ли, отчаявшись когда-нибудь найти участіе, сдѣлаться для людей холоднымъ исполнителемъ своего призванія, сочувствовать ихъ скорбямъ, помогать и утѣшать, не призывая ихъ взаимности ни голосомъ, ни взглядомъ?—И что въ этомъ суетномъ участіи Марѣи!

Марій же — много-ль на землѣ?

И можно ли надѣяться, чтобы вамъ сочувствовали, то-есть чтобы взяли на себя трудъ узнать васъ, тогда какъ вамъ самимъ стоило столько неимовернаго труда, столько борьбы и жертвъ, чтобы вымолить позволеніе отъ вашей собственной души смотрѣть въ нее, и то украдкою?

Посмотрите, какимъ участіемъ угощало человѣчество лучшихъ друзей своихъ!

Когда съ полнымъ сознаніемъ высокаго увлекалось оно вдохновеніемъ?—Оно искони было только однимъ искателемъ сильныхъ ощущеній.

Ему нужны цѣпи, пытки, потоки крови.

Вотъ что возбуждаетъ его сочувствіе. Какое благодѣянію принимало оно изъ рукъ своихъ покровителей, не омывъ его багряной влагою жизни?—Не Онъ, не воплощенное Слово любви и мира, но совершитель кровавыхъ дѣлъ—Варавва былъ подаренъ участіемъ. Вы скажете: — потомство? — Да, нѣтъ сомнѣнія, это—магнетическое слово, это—безсмертіе

земли. Безспорно, мы должны дорожить его сочувствіемъ. Безъ этой мысли самъ Искупитель не совершилъ бы искупленія.

Все, что живетъ на землѣ животною жизнью, все и въ грубомъ инстинктѣ, и въ идеалѣ высокаго проявляетъ мысль о потомствѣ и бессознательно и сознательно стремится жить въ немъ.

О, еслибы самопознаніе хотя бы только въ этой степени могло развиваться въ толпѣ, бѣгущей отъ отвлеченія! Еслибы до этой степени только убѣдилась она, что она живетъ для будущей жизни въ ея потомствѣ! Хотя бы этотъ слабый проблескъ идеи безсмертія одушевилъ ее,—то и тогда бы уже земное бытіе человѣчества исполнилось дѣлами, предъ которыми потомство преклонялось бы съ благоговѣніемъ. Тогда бы исторія человѣчества сдѣлалась для него святою скиніею завѣта. Одушевлять, а не остерегать, было бы ея назначеніемъ; передавая внукамъ дѣла отцовъ, завѣщевали бы жить для безсмертія въ потомствѣ.

Въ цѣлыхъ націяхъ, какъ и въ жизни частныхъ людей, направленіе различно. Есть націи, которыя живутъ для одного настоящаго. Онѣ кажутся намъ, также какъ и частные люди съ этимъ направленіемъ, практическими. Но основы ихъ общества шатки, также какъ шатокъ и семейный бытъ каждаго изъ членовъ этого общества.

Итакъ, когда потребность сочувствія однажды родилась въ васъ,—гдѣ естественнѣе искать ее, какъ не въ потомствѣ и всего человѣчества, и своей семьи? Что можетъ быть утѣшительнѣе мысли, какъ раздѣлить свои плоды, пріобрѣтенные самопознаніемъ, борьбою, жертвами и вдохновеніемъ, съ этими двумя семьями!

Не говорите, что не всякій можетъ дѣйствовать для потомства. Всякій—въ своемъ кругу. Одна суетность и близорукость ищутъ участія въ настоящемъ.

Вы дошли теперь до убѣжденія, что, живя здѣсь, на землѣ, вы привязаны участіемъ къ этой отчизнѣ, вы должны искать его; но, отыскивая, должны жить не въ настоящемъ, а въ потомствѣ.

Вамъ предстоитъ теперь снова разрѣшить еще одинъ вопросъ жизни. Но прежде, чѣмъ вы займетесь его рѣшеніемъ, бросьте бѣглый взглядъ назадъ. Посмотрите, какъ вы дошли до

этого вопроса. Этотъ взглядъ на прошедшее напомнить вамъ также, что не случаю, не произволу, не корыстной чувственности должны вы предоставить произнести приговоръ; его отголосокъ отзовется черезъ четверть столѣтїя, на поколѣнїи, которое, быть можетъ, уже будетъ попирать ногами давно забытый вашъ прахъ.

Вспомните, — наряженные въ мундиры, затянутыя въ корсетъ, во всемъ нарядѣ, выступили вы на поприще жизни. Сердце билось у васъ отъ радости, глядя на божїй свѣтъ. Вамъ казалось, что все веселится и танцуетъ вокругъ васъ. А если горе съ этой ранней поры не принуждало орошать слезами нищеты насущный хлѣбъ; если думы заботъ и тревоженїя всендневной жизни не тревожили дѣтскаго сна, вамъ и самимъ такъ и рвалось кружиться и ликовать въ хороводахъ шумной толпы. Въ этомъ чаду разгулья вамъ и въ голову не приходило сначала, что вы еще не воспитаны.

Какъ это могло быть, когда разноцвѣтный воротникъ мундира, корсетъ и юбка, стройно облекавшїе вашъ станъ, французскїй языкъ, на которомъ вы ловко объяснялись, стройные аккорды елавибордъ, на которыхъ вы бѣгло играли, такъ ясно показывали вамъ, что вы получили отличное воспитанїе!

Проживъ нѣсколько счастливыхъ лѣтъ въ этомъ убѣжденїи, и то, можетъ быть, случайно, вашъ умъ и чувство, которые, благодаря судьбѣ, какъ-то не успѣли еще оглохнуть и онѣмѣть отъ шума и гама, начали вамъ напѣтывать что-то въ родѣ наставленїй.

А, можетъ быть, еще къ тому само Провидѣнїе послало вамъ благодѣтеля, который коснулся искусной рукой до ослабѣвшихъ струнъ забытой арфы, — и гармоническіе аккорды зазвучали въ васъ.

Вы вырвались изъ хороводовъ.

Конецъ ликованью.

Вы уже бросили испытующїй взглядъ на кружащїяся толпы, съ которыми вы еще за часъ предъ этимъ такъ безсознательно кружились.

Предъ вашими глазами — Вальпургїева ночь земного бытїя.

Во тьмѣ, блуждая между очарованными группами, вамъ не легко выбраться на свѣтъ изъ вакханалїй чародѣйства.

Вамъ слышатся еще гдѣ-то вдали призывные аккорды ума и чувства.

Толкаясь, падая, вотъ вы остановились, чтобы, собравшись съ силами, спросить себя: гдѣ вы, куда ведетъ дорога, куда хотите вы?

Вы постигаете, что вы стоите на распутьи. Вы постигаете, что вникнуть надобно въ себя. Теперь-то началось для васъ, съ чего бы нужно было давно начать вамъ; нѣтъ, — собственно не вамъ, а тѣмъ, которые пустили васъ въ бушующій разгулъ, на этотъ пиръ своевольства.

Сѣтуя на прошлое, вы начинаете ужъ сами образовывать, перевоспитывать себя. Трудясь и роясь въ своей душѣ, вы, наконецъ, доходите до той степени самопознанія, до которой только суждено вамъ достигнуть на землѣ, — до вдохновенія.

Въ минуты вдохновенія вамъ открывается таинственный источникъ, струи котораго должны освѣжать и оживлять васъ на поприщѣ къ безсмертію, избранномъ вами.

Борьба пожертвованія уже не тревожитъ васъ.

То — долгъ вашъ, то — средство къ достиженію недостижимаго. И вотъ какъ.

Спокойно, свѣтло, какъ кристальная струя, слегка волнующая житейскимъ вѣтромъ, течетъ ваша жизнь, чтобы слиться съ волнами неизмѣримаго океана вѣчности.

Протекло полжизни.

Вы такъ уже сроднились съ мыслью о безсмертіи, предчувствія объ отдаленной вѣчности такъ утѣшительно господствуютъ въ васъ, что вы невольно переносите ихъ на земное бытіе, — и оно начинаетъ волновать васъ тайною тоскою по родинѣ. Оно напоминаетъ вамъ необходимость искать участія.

Вы убѣждаетесь, что, отыскивая земное участіе, вы проявляете вашу мысль о безсмертіи въ дѣлахъ и семьи, и общества.

Итакъ, вамъ предстоитъ рѣшить другой вопросъ жизни: какъ устроить вашъ семейный бытъ, какъ найти сочувствіе въ кругу вамъ близкихъ? Но знаете ли вы, что это — для того, кто цѣлыя полжизни провелъ, занимаясь рѣшеніемъ одного вопроса жизни?

Вы знаете ли, что это значитъ для него, когда онъ ищетъ сочувствія въ своей семьѣ?

Что, если онъ не будетъ понять тою, въ которой онъ искалъ сочувствія къ убѣжденіямъ, слившимся въ одно съ его существованіемъ, въ которой онъ искалъ сотрудницу въ борьбѣ за идеаль?

Что, если—спокойная, безпечная въ кругу семьи—она будетъ смотрѣть съ безсмысленной улыбкой идіота на завѣтную борьбу?

Или, какъ Марѳа, расточая всевозможныя заботы домашняго быта, будетъ проникнута одной лишь мыслью—угодить и улучшить матеріальное, земное бытіе?

Что, если, какъ Ксантиппа, она будетъ поставлена судьбою для испытанія крѣпости и постоянства воли? Что, если, стараясь нарушить ваши убѣжденія, купленные полжизнью перевоспитанія, трудовъ, борьбы, она не осуществитъ еще и основной мысли при воспитаніи дѣтей?

А знаете ли, что значить этотъ же вопросъ жизни для женщины, которая была такъ счастлива, что разрѣшила для себя, въ чемъ состоитъ ея призваніе, которая, оставивъ дюжинное направленіе толпы, отчетливо и ясно постигаетъ, что въ будущемъ назначена ей жизни цѣль.

Мужчина, обманутый надеждою на сочувствіе въ семейномъ быту,—какъ бы ни былъ грустенъ и тяжелъ этотъ обманъ,—еще можетъ себя утѣшить, что выраженія его идеи—дѣла—найдутъ участіе въ потомствѣ.

А каково женщинѣ, въ которой потребность любить, участвовать и жертвовать развита несравненно болѣе, и которой недоставало еще довольно опыта, чтобъ хладнокровнѣе перенести обманъ надежды!—скажите, каково должно быть ей на попрощѣ жизни, идя рука въ руку съ тѣмъ, въ которомъ она такъ жалко обманулась, который, поправъ ея утѣшительныя убѣжденія, смѣется надъ ея святыней, шутитъ ея вдохновеніями и влечетъ ее съ пути на грязное распутье?!

Гдѣ средства убѣжать всѣхъ этихъ горькихъ слѣдствій заблужденія?

Гдѣ средства съ полною надеждою успокоить вопіющую потребность къ сочувствію?.

Что можетъ служить ручательствомъ въ успѣхѣ?

Ни возрастъ женщинъ, ни наше воспитаніе, какъ видите, ни опытъ жизни—не вѣрные поруки.

Молодость влечетъ ихъ къ суетѣ. Воспитаніе дѣлаетъ куклу. Опытъ жизни родитъ притворство.

Еще счастлива та молодость, въ которой суета не совсѣмъ искоренила воспріимчивость души; въ которой свѣтъ, съ его мелочными приличіями, не успѣлъ оцѣпенить ее и сдѣлать недоступною къ убѣжденіямъ въ высокомъ и святомъ. Еще счастлива та молодость, когда толпы молодыхъ и старыхъ прислужниковъ, послѣдователей шаткихъ взглядовъ, воспользовавшись этой воспріимчивостью, не усыпили ея для высшихъ впечатлѣній, не уничтожили возможности понять, образовать себя.

Пусть женщина, окруженная ничтожествомъ толпы, падаетъ на колѣни предъ Провидѣніемъ, когда, положивъ руку на юное сердце, почувствуетъ, что оно еще бьется для святого вдохновенія, еще готово убѣждаться и жить для отвлеченной цѣли.

Правда, вступая въ свѣтъ, женщина менѣе, чѣмъ мужчина, подвергается грустнымъ слѣдствіямъ разлада основныхъ началъ воспитанія съ направленіемъ общества. Она рѣже осуждена бываетъ снискивать себѣ трудами насущный хлѣбъ и жить совершенно независимо отъ мужчины. Торговое направленіе общества менѣе тяготѣетъ надъ нею.

Въ кругу семьи ей отданъ на сохраненіе тотъ возрастъ жизни, который не лепечетъ еще о золотѣ.

Но зато воспитаніе ея обыкновенно превращаетъ ее въ куклу. Воспитаніе, наряжая ее, выставляя на показъ для зѣвакъ, обставляетъ кулисами и заставляетъ ее дѣйствовать на пружинахъ, такъ, какъ ему хочется. Ржавчина съѣдаетъ эти пружины, а чрезъ щели истертыхъ и изорванныхъ отъ времени кулисъ она начинаетъ высматривать то, что отъ нея такъ бережно скрывали. Мудрено ли, что ей тогда приходитъ на мысль попробовать самой, какъ ходятъ люди. Эманципація—вотъ эта мысль. Паденіе—вотъ первый шагъ.

Пусть многое останется ей неизвѣстнымъ. Она должна гордиться тѣмъ, что многого не узнаетъ. Не всякій—врачъ. Не всякій долженъ безъ нужды смотрѣть на язвы общества.

Не всякому обязанность велить въ помойныхъ ямахъ рыться, пытаться и нюхать то, что отвратительно смердитъ. Однако-же,

раннее развитіе мышленія и воли для женщины столько же нужно, какъ и для мужчины.

Чтобъ улаждать сочувствіемъ жизнь человѣка, чтобъ быть сопутницей въ борьбѣ,—ей также нужно знать искусство понимать, ей нужна самостоятельная воля, чтобы жертвовать, мышленіе—чтобъ избирать и чтобъ имѣть ясную и свѣтлую идею о цѣли воспитанія дѣтей.

Если женщины-педанты, толкуя объ эманципаціи, разумѣютъ одно воспитаніе женщинъ,—онѣ правы. Если же онѣ разумѣютъ эманципацію общественныхъ правъ женщины, то онѣ сами не знаютъ, чего хотятъ.

Женщина эманципирована и такъ уже, да еще, можетъ быть, болѣе, нежели мужчина. Хотя ей и нельзя, по нашимъ законамъ, сдѣлаться солдатомъ, чиновникомъ, министромъ. Но развѣ можно сдѣлаться мужчиной кормилицею и матерью-воспитательницею дѣтей до 8-лѣтняго ихъ возраста? Развѣ онъ можетъ сдѣлаться связью общества, цвѣткомъ и украшеніемъ его?

Только близорукое тщеславіе людей, строя алтари героямъ, смотреть на мать, кормилицу и няньку какъ на второстепенный, подвластный классъ. Только торговый матеріализмъ и невѣжественная чувственность видятъ въ женщинѣ существо подвластное и ниже себя.

Все, что есть высокаго, прекраснаго на свѣтѣ, — искусство, вдохновеніе, наука, — не должно слишкомъ сродняться съ вседневной жизнью: оно утратить свою первобытную чистоту, выродится и запылится прахомъ.

Итакъ, пусть женщины поймутъ свое высокое назначеніе въ вертоградѣ человѣческой жизни. Пусть поймутъ, что онѣ, ухаживая за колыбелью человѣка, учреждая игры его дѣтства, научая его уста лепетать и первыя слова, и первую молитву, дѣлаются главными зодчими общества. Краеугольный камень кладется ихъ руками.

Христіанство открыло женщинѣ ея назначеніе. Оно поставило въ образецъ человѣчеству существо, только-что отнятое отъ ея груди. И Марѳа, и Марія сдѣлались причастницами словъ и бесѣдъ Искупителя.

Не положеніе женщины въ обществѣ, но воспитаніе ея, —

въ которомъ заключается воспитаніе всего человѣчества,— вотъ что требуетъ перемѣны.

Пусть мысль воспитать себя для этой цѣли, жить для неизбѣжной борьбы и жертвованій проникнетъ все нравственное существованіе женщины, пусть вдохновеніе осѣнить ея волю,—и она узнаетъ, гдѣ она должна искать своей эманципации.

Но если ни возрастъ, ни воспитаніе женщины не служатъ ручательствомъ для разрѣшенія вопроса, то еще менѣе можетъ положиться искатель идеальнаго участія на опытъ жизни.

Если мужчину, который не жилъ отвлеченіемъ, холодитъ и сушитъ этотъ опытъ, то, пресыщенный, охолодѣвшій, обманутый жизнью, онъ рѣдко скрываетъ то, что онъ утратилъ безвозвратно. А женщина вооружается притворствомъ. Ей какъ-то стыдно самой себя—предъ свѣтомъ выказать эти горькія слѣдствія опыта. Она ихъ прикрываетъ остатками разрушенной святости. Инстинктъ притворства и склонность нравиться помогаютъ ей выдержать прекрасно роль подъ маскою на сценѣ жизни. Подложная восторженность, утонченное искусство выражать, и взглядомъ, и рѣчью, теплоту участія, и даже чистоту души,—всѣмъ этимъ, всѣмъ снабжаетъ ее суета въ исканіи побѣды. Ей дѣла нѣтъ тогда, какъ дорого окупится эта побѣда, когда, достигнувъ цѣли, она сдѣлается опять тѣмъ, чѣмъ была.

Что же, послѣ этого, остается искателю идеальнаго въ земной жизни?—Неужели, употребивъ полжизни на самопознаніе, не найдетъ онъ довольно твердости воли, довольно утѣшительнаго въ вдохновеніи, чтобы заглушить эту тоску по участію?

Нѣтъ, вдохновеніе открыло тотъ источникъ, гдѣ сомнѣніе превращается въ ничто. То—воля Высшаго. Опять подъ сѣнь священную верховной воли пусть склонитъ онъ главу свою. Тогда исчезнутъ призраки, затихнетъ гулъ различныхъ мыслей, поднявшихся изъ хаоса души.

Ихъ уничтожить и разсѣять свѣтлый лучъ и сладкозвучный голосъ этой воли.

Женщина, которой вдохновеніе не было сродно, которой не суждено быть Маріей, которая погружена въ житейскій бытъ, которая не научилась слышать гласъ этой воли,—та пусть останется въ своемъ кругу.

Она пусть ищетъ наслажденій, закабалить себя въ личія и форму, эманципируется и дѣлаетъ что ей угодно съ послѣдователями разныхъ взглядовъ, съ людьми, которымъ хорошо живется и безъ рѣшенія вопросовъ жизни. Ея пути не сходятся съ путями вѣрующаго въ идеаль.

Но та, которая въ минуты святаго вдохновенія, услышавъ призывный голосъ Высшей Воли: иди,—на благородное призваніе сочувствіемъ утѣшить участь, для будущаго жить въ борьбѣ, взаимной жертвою одушевлять готовность жертвовать собою,—та пусть протянетъ руку, сказавъ: „да, я готова“.



НОВОСЕЛЬЕ ЛИЦЕЯ.

Рѣчь, произнесенная г-мъ попечителемъ одесскаго учебнаго округа, Н. И. Пироговымъ, на торжественномъ актѣ Ришельевского лицея, 1-го сентября 1857 года.

Милостивые государи!

Не даромъ существуетъ обычай праздновать новоселье.— Не знаю, когда и у кого родилась первая мысль праздновать перемѣну жилища.

Думаю, что впервые эта мысль родилась у народа кочевого.

Все существованіе кочевого народа зависитъ отъ избраннаго имъ мѣста.

Но если у номадовъ все настоящее, то зато у осѣдлыхъ народовъ все будущее зависитъ отъ избраннаго мѣста.

У первыхъ одна чисто матеріальная, у вторыхъ и матеріальная, и умственная, и даже нравственная сторона жизни находятся въ зависимости отъ мѣста пребыванія.

Перенесемъ этотъ взглядъ отъ народовъ къ обществамъ и общественнымъ учрежденіямъ.

И у нихъ, также какъ у цѣлыхъ народовъ, есть своя жизнь, осуществляющая извѣстную идею, и свое будущее.

И то, и другое—не зависятъ ли также отъ выбора мѣста?

Никто, и изъ частныхъ людей, не перемѣнитъ безъ цѣли и надобности своего жилища; никто не переѣдетъ изъ одного мѣста въ другое, не задумавъ, сообразуясь съ обстоятельствами, перемѣнить образъ жизни. Итакъ, перемѣняя мѣстопребываніе,—будетъ ли то страна, провинція, городъ, улица, домъ и даже комната,—всѣ мы руководимся явною или скрытою мыслью о большей или меньшей перемѣнѣ нашего образа жизни.

Желая перемѣнить его, мы всѣ ищемъ лучшаго.

Каждый по своему: хорошо или худо.

Но, перемѣняя, и не зная никогда будущаго, мы обращаемся съ мольбою къ Богу, призываемъ друзей, сосѣдей, сверстниковъ и знакомыхъ, какъ бы желая ихъ сдѣлать нашими соучастниками въ предстоящемъ.

Такъ я объясняю себѣ празднество новоселья.

Такъ я смотрю и на новоселье нашего лица.

Мы празднуемъ переходъ въ новое зданіе.

Но съ какою цѣлью сооружено оно?

Назначается ли оно только замѣнить ветхія стѣны стараго лица новыми?

Своды ли, мраморъ ли и паркетъ половъ должны отличать новый лицей отъ стараго?

Если одно это, то основная мысль нашего торжества была бы, въ сущности, не выше и даже ниже той, которою, вѣроятно, руководствуются номады, перемѣняя кочевье.

Перемѣна кочевья есть необходимое условіе жизни цѣлаго народа. Перемѣна ветхихъ стѣнъ на новыя есть только одно удобство нѣсколькихъ людей.

Нѣтъ, мы не для этого празднуемъ новоселье лица. Не одна ветхость стѣнъ, не одно удобство и прихоть побудили правительство замѣнить старое новымъ.

Въ нашемъ новосельи обнаруживаются двѣ высокія мысли.

Оно, во-первыхъ, доказываетъ, что старѣй лицей съ честью отжилъ свое время.

Онъ и родился во время, когда потребность къ просвѣщенію въ краѣ начала только-что проявляться, и то только въ высшихъ слояхъ общества.

Онъ такъ успѣшно дѣйствовалъ на поприщѣ просвѣщенія, что поставленные учредителемъ предѣлы образованію сдѣлались узки. Ихъ не разъ уже измѣняли и расширяли. Но они все-таки оказываются узкими.

Больше ничего не нужно приводить въ доказательство успѣшной дѣятельности стараго лица. Этого одного довольно для безпристрастныхъ.

Во-вторыхъ, праздникъ нашего новоселья, останавливая невольно нашъ взглядъ на новомъ зданіи, заставляетъ думать,

что не понапрасну же увеличенъ объемъ его стѣнъ, не понапрасну увеличено помѣщеніе для учащихся, кабинетовъ, лабораторій.

Не напрасно пекущееся правительство, вмѣсто огромныхъ издержекъ на меблировку новаго зданія, обратило значительную сумму на приобрѣтеніе учебныхъ пособій.

Все это ясно говоритъ, что съ новосельемъ должна начаться и новая жизнь лицея, новый періодъ его дѣятельности, и новый лицей дѣйствительно долженъ сдѣлаться новымъ для Новороссіи.

Вотъ, мм. гг., почему мы празднуемъ день нашего новоселья.

Но будущее—не въ нашихъ рукахъ.

И мы начали нашъ праздникъ молитвою.

Мы пригласили и всѣхъ васъ быть нашими соучастниками и въ мольбѣ, и въ достиженіи высокаго будущаго лицея.

Мы всѣ стремимся, и сознательно, и безсознательно, олицетворить тотъ идеаль челоуѣка, который каждая нація создаетъ для себя въ различные періоды своего развитія. .

Лицей, какъ и всѣ другія учрежденія, назначенныя для воспитанія, образованія и просвѣщенія одной извѣстной части націи, пользуясь собственною жизнью, непремѣнно, какъ бы невольно, участвуетъ и въ этомъ общемъ національномъ стремленіи.

Въ каждомъ учебномъ округѣ высшее образовательное заведеніе можно сравнить съ маякомъ, назначеннымъ проливать свѣтъ на извѣстную окрѣжность.

Чѣмъ выше стоитъ такой маякъ, чѣмъ удобнѣе избрано мѣсто, на которомъ онъ стоитъ, и чѣмъ ярче онъ свѣтитъ, тѣмъ ярче и тѣмъ больше освѣщается вся окрѣжность.

Но, какъ бы маякъ ни былъ хорошо устроенъ, если мореплаватели, въ немъ нуждающіеся, не озаботятся, изъ собственныхъ же выгодъ, поддержать его, и, незнакомые съ его назначеніемъ, не воспользуются благодѣтельнымъ свѣтомъ,—маякъ будетъ только значиться безъ пользы на морской картѣ.

Правительство, какъ бы ни были мудры и высоки его предначертанія, не въ силахъ освѣтить всѣхъ желающихъ блуждать во мракѣ, беззаботныхъ и нерадивыхъ о собственномъ благѣ.

Сознательное стремленіе къ общей цѣли, живое участіе и содѣйствіе по мѣрѣ силъ, всегда, вездѣ и при всякой формѣ правленія, составляютъ необходимое условіе для успѣшнаго осуществленія каждой общественной мысли.

Настало время, когда мы всѣ ясно сознаемъ, что главною порукою за будущее благосостояніе нашего общества, и мало того, — главною его основою, — должно служить воспитаніе нашихъ дѣтей и даже отчасти перевоспитаніе насъ самихъ.

Нашъ благодѣтельный монархъ открываетъ намъ разные способы къ осуществленію этой мысли.

Но настало также время, когда сознательное содѣйствіе со стороны общества оказывается болѣе, чѣмъ когда-нибудь, возможнымъ и необходимымъ къ достиженію главной цѣли воспитанія.

Въ нашъ предприимчивый и практическій вѣкъ вездѣ, безпрестанно заводятся новыя общества, собираются огромные капиталы для предпріятій, сулящихъ выгоды и улучшенія матеріальнаго быта.

Но чтó же мы сами дѣлаемъ для высшаго, нравственнаго быта нашихъ дѣтей, безъ котораго шатки основанія и матеріальнаго?

Употребляемъ ли мы достаточно наши матеріальныя средства къ достиженію этой высокой цѣли?

Отреклись ли мы, хоть сколько-нибудь, отъ эгоизма и корыстныхъ взглядовъ на жизнь, чтобы осуществить высокій идеалъ воспитанія на нашемъ потомствѣ?

Стремимся ли мы съ одушевленіемъ и самопожертвованіемъ, забывъ хоть на время настоящее, жить въ нашемъ будущемъ?

Сознаемъ ли мы ясно все прекрасное и высокое этого будущаго?

Какъ смотритъ еще до сихъ поръ наше общество на воспитателей и наставниковъ будущаго поколѣнія цѣлой націи?

Цѣнятъ ли оно довольно ихъ призваніе, трудъ и заслуги?

Существуетъ ли довѣренность и полное сочувствіе между родителями и наставниками, и внушены ли эти чувства дѣтямъ?

Какъ смотритъ болѣшая часть самихъ наставниковъ на свое призваніе?

Многіе ли изъ нихъ изучали сами, или подъ руководствомъ

опытных педагоговъ, на дѣлѣ и съ любовью къ дѣлу, трудное искусство воспитанія?

Пусть каждый изъ насъ рѣшитъ эти вопросы, положивъ руку на сердце.

Что касается до меня, то какъ ни больно, но я долженъ признаться, что нахожу преобладающимъ взглядъ чисто-матеріальный на эту, послѣ религіи, самую высокую сторону нашей общественной жизни.

И богатые, и бѣдные, всѣ мы немногое, очень немногое, приносимъ въ жертву воспитанію нашихъ дѣтей.

Просвѣщеніе ума и образованіе есть для насъ не цѣль высокая жизни, а только средство, — и то невѣрное, — къ улучшенію матеріальнаго быта.

Правда, мы зато и страдаемъ, — и недовольствомъ, и невѣріемъ другъ къ другу.

Желая прогресса по-своему, мы бросились съ какою-то жадностью отыскивать недостатки и злоупотребленія въ нашемъ обществѣ.

Но мы забываемъ, что одна сатира еще никогда не исправляла общества.

Разрушая, нужно и созидать.

Для исправленія, кромѣ упрека, нужно еще другое, — и самое главное, — уяснить, сдѣлать сознательнымъ и, по возможности, достижимымъ тотъ идеалъ, къ которому каждый, исправляясь, долженъ стремиться.

Безъ полнаго сознанія этого идеала, не пробудивъ готовности со стороны общества сознательно участвовать въ достиженіи его, новое вино будетъ вливаться въ старые мѣхи, всѣ усилія сдѣлать ветхое новымъ останутся тщетными, и многозначительность нашего новоселья будетъ ничтожна.

А выраженіе этого сознанія и готовности должно искать въ воспитаніи.

Пусть же сочувствующій нашему новоселью родитель, отдавая сына или дочь на попеченіе одесскаго учебнаго округа, скажетъ предъ судомъ собственной совѣсти: „Я всѣмъ жертвую для воспитанія моего дитяти, и ничего другого не требую отъ воспитателей, какъ того, чтобы они наставили мое дитя быть человекомъ“.

Пусть каждый изъ питомцевъ начнетъ свое образованіе, слѣдуя словамъ отца: „ищи ничего другого, какъ быть человѣкомъ въ настоящемъ значеніи этого слова“.

Пусть каждый наставникъ, проникнутый высокою цѣлью своего земного назначенія, скажетъ съ самоотверженіемъ: „я не ищу ничего другого, какъ сдѣлать людьми вѣранныхъ мнѣ питомцевъ“.

Но какъ бы ни было велико сочувствіе въ нашемъ краѣ къ истинному прогрессу, котораго представителемъ мнѣ такъ бы хотѣлось почитать новый лицей, я знаю, что все-таки этотъ взглядъ на воспитаніе, вызванный новосельемъ лицея, покажется слишкомъ идеальнымъ, недостижимымъ и неновымъ.

Я скажу на это, что истина не старѣется, что жизнь безсознательныхъ идеальныхъ стремленій печальна, безцвѣтна и бесплодна.

И что же, наконецъ, въ моемъ идеалѣ воспитанія выражаютъ слова отца (сыну): „ищи быть и будь человѣкомъ“?

Конечно, не новое; напротивъ, старое и очень старое, но истинное. Конечно, не легкое, но достижимое.

Значать ли эти слова дѣйствительно, что я добиваюсь невозможнаго, что я ищу въ человѣкѣ земного совершенства, мечтательнаго гражданина вселенной, или тому подобнаго?

Нѣтъ; человѣкомъ, какъ я его понимаю, можетъ быть каждый, въ своемъ родѣ, приучившись съ раннихъ лѣтъ хорошо пользоваться различными свойствами души, которыми cadaго изъ насъ надѣлилъ Богъ въ извѣстной мѣрѣ.

Въ дѣлѣ воспитанія главное—намѣреніе и убѣжденіе; они зависятъ отъ воспитателей; успѣхъ—отъ Бога.

Всѣ мы, къ какой бы націи ни принадлежали, можемъ сдѣлаться чрезъ воспитаніе настоящими людьми, каждый различно, по врожденному типу и по національному идеалу человѣка, нисколько не переставая быть гражданиномъ своего отечества и еще рельефнѣе выражая, чрезъ воспитаніе, прекрасныя стороны своей національности.

Но всѣ эти идеалы человѣка, и слѣдовательно идеалы воспитанія, какъ бы различно ни проявлялся въ нихъ національный типъ, должны имѣть одну исходную точку—откровеніе.

Итакъ, словами: „ищи быть и будь человѣкомъ“—выра-

жается одна главная мысль воспитанія: научите дѣтей, съ раннихъ лѣтъ, подчинять матеріальную сторону жизни нравственной и духовной.

Итакъ, если отецъ, сознавая вполне значеніе этой мысли, скажетъ сыну: „будь человѣкомъ“, то это значитъ—онъ рѣшается воспитать сына безъ всякой задней мысли, и отдаетъ его въ школу изъ одного глубокаго убѣжденія, что образованіе необходимо, какъ пища.

Это значитъ, что отецъ, готовый всѣмъ жертвовать для нравственно-жизненной необходимости сына, твердо увѣренъ, что все прочее въ жизни должно придти само собою; а если и не придетъ, то онъ все-таки ничего не потеряетъ въ сущности.

Сынъ, помня слова отца, съ раннихъ лѣтъ приучается видѣть въ образованіи нравственную необходимость и цѣнить его, какъ самую жизнь.

Наставникъ, говоря: „я хочу сдѣлать людьми моихъ питомцевъ“, значитъ рѣшается предпочитать формѣ духъ, мертвой буквѣ живую мысль; значитъ, въ наукѣ онъ видитъ не просто одинъ сборникъ знаній, а мощное средство дѣйствовать на нравственную сторону ребенка. Исполняя эти слова, учитель уже не заставитъ ребенка изучать науку одними устами, но направить ее на развитіе той или другой душевной способности дѣтей, и каждый учитель сдѣлается вмѣстѣ и воспитателемъ.

Наконецъ, если цѣлое общество повторитъ эти многозначительныя слова всѣмъ и каждому изъ своихъ сочленовъ, то оно выразитъ, что воспитаніе для всѣхъ, безъ различія сословій и состояній, такъ же необходимо, какъ хлѣбъ и соль, и при такомъ убѣжденіи не пощадитъ никакихъ издержекъ для достиженія цѣли, соберетъ капиталы, учредитъ компаніи для распространенія просвѣщенія, обяжетъ всѣхъ содѣйствовать по мѣрѣ силъ, сдѣлаетъ для всѣхъ и каждого просвѣщеніе обязательнымъ, говоря всѣмъ и каждому: „будь человѣкомъ“.

Вотъ смыслъ моего идеала, не новаго, но и не недостижимаго.

Для достиженія нужны: серьезный взглядъ на жизнь, полное сознаніе нравственной необходимости воспитанія, содѣй-

ствіе духовное и матеріальное, теплая вѣра въ вѣчную истину и добро.

И вотъ, вѣра въ это, надѣясь на ваше общее сочувствіе и содѣйствіе, ожидая этого прекраснаго будущаго, новый лицей и празднуетъ свое новоселье. Празднуетъ, надѣмся, не напрасно. И я не напрасно обращаюсь къ вамъ—правительствующія лица края, къ вамъ—преосвященный владыко, къ вамъ—пастыри церкви, къ вамъ—граждане и родители, къ вамъ—наставники, къ вамъ—учащіеся, прося васъ принять къ сердцу эти искреннія желанія, прося васъ всѣхъ и каждого объ участіи и содѣйствіи истинному просвѣщенію въ краѣ, и скрѣпляю слабую рѣчь мою словами молитвы ко Всевышнему:

„Да пріидетъ царствіе Его!“



ОДЕССКАЯ ТАЛМУДЪ-ТОРА.

На дняхъ я посѣтилъ талмудъ-тору, и вышелъ изъ нея съ такимъ чувствомъ, которымъ не могу не подѣлиться.

Можетъ быть, многіе изъ читателей „Одесскаго Вѣстника“ скажутъ: какое намъ дѣло до жидовскаго приходскаго училища, когда насъ и наши христіанскія мало занимаютъ?

Но виноватъ ли я, если меня занимаетъ все общечеловѣческое, когда сущность его истекаетъ изъ вѣчныхъ истинъ откровенія, будутъ ли онѣ сознательно или безсознательно принимаемы націею?

Не болѣе, какъ за годъ, бѣдные, нищенствующіе сироты вѣтхозавѣтнаго поколѣнія гнѣздились, скученные, одѣтые въ рублище, на лавкахъ прежней талмудъ-торы, читая нараспѣвъ съ утра до вечера подъ фѣрулой своихъ меламдовъ. Черствый кусокъ хлѣба, который эти несчастныя дѣти приносили съ собою въ училище, служилъ имъ единственною пищею. Казалось, и учителя, и дѣти полагали всю свою надежду на духовное питаніе талмудическими сентенціями.

Всѣ занятія грязной, нечесанной толпы учениковъ и учителей ограничивались подстрочнымъ переводомъ съ еврейскаго на испорченный нѣмецкій жаргонъ, казавшійся для непривычнаго уха однимъ безтолковымъ крикомъ.

И вотъ, нѣсколько просвѣщенныхъ благотворителей, вникнувъ въ глубокій смыслъ словъ вдохновеннаго пророка, движимые высокимъ милосердіемъ къ своимъ соплеменникамъ, въ теченіе девяти мѣсяцевъ измѣнили и сущность, и видъ училища.

Я, нимало не приписывая себѣ никакой заслуги, — потому что ходатайствовалъ только у правительства о нѣкоторыхъ изъ

мѣненіяхъ въ программѣ ученія, — имѣю полное право безпристрастно хвалить то, о чемъ грѣшно бы было умолчать. Одну только приписываю себѣ услугу, оказанную дѣтямъ бѣдныхъ евреевъ: я содѣйствовалъ къ опредѣленію прусскаго подданнаго — г. доктора Гольденблюма. А ему, послѣ просвѣщенныхъ блюстителей школы, и должна быть отдана вся честь и вся заслуга преобразования. Но ни онъ, ни блюстители не могли бы совершить такъ быстро и съ такимъ успѣхомъ дѣло преобразования, еслибы все еврейское общество не приняло истинно-сердечнаго участія въ этомъ подвигѣ человеколюбія. Нельзя довольно одѣлать просвѣщенное милосердіе и ревность, съ которыми общество принялось за это дѣло.

Слишкомъ 200 мальчиковъ, преимущественно сиротъ, помѣщаются теперь въ чистыхъ и теплыхъ комнатахъ; всѣ одѣты въ опрятные байковые сюртуки; ни у одного не замѣтно нечесанныхъ, выключенныхъ волосъ, грязныхъ ногтей, разорванныхъ сапоговъ; а что главное, — дѣти высшихъ классовъ уже объясняются съ главнымъ учителемъ ихъ, г. Гольденблюмомъ, не на несносномъ еврейскомъ жаргонѣ, отвѣчаютъ на вопросы со смысломъ, отстаютъ, доведенные неусыпными трудами этого педагога, отъ безтолковаго голословія. Не болѣе трехъ недѣль тому назадъ, г. Гольденблюмъ ввелъ хоральное пѣніе, и уже 30 или 40 мальчиковъ поютъ складно молитвы и стихи на чистомъ нѣмецкомъ языкѣ. Прежде и въ хорошую погоду ученики не являлись по цѣлымъ недѣлямъ, предпочитая училищу праздное скитанье по улицамъ; теперь, — и въ грязь, и въ дождь, — училищеполно учениками. Заведены печатныя журнальныя книги для отмѣтокъ, въ классахъ введены условные знаки, вездѣ господствуетъ порядокъ. Обхожденіе съ учениками также переимѣнилось. Правда, въ низшихъ классахъ еще замѣчается иногда, что иной школьникъ, отвѣчая на вопросы гнѣвнаго мелама, отклоняетъ отъ него невольно голову въ сторону; но это только доказываетъ извѣстную истину, что никто столько не консервативенъ, какъ земледѣлецъ и старый учитель. — Зато ни одинъ старосвѣтскій еврей не отыщетъ теперь въ талмудъ-торѣ своего сына, назвавъ его Мошкою или Гершкою.

Но мало еще этого. Милосердіе еврейскаго общества къ бездомнымъ сиротамъ не ограничилось тѣмъ, что оно доставило

имъ ученѣе, одежду и обувь;—сверхъ этого, семьдесятъ изъ нихъ, бѣднѣйшихъ, обѣдаютъ въ училищѣ; имъ даютъ ежедневно въ часть отличный хлѣбъ и сытный, хорошо приготовленный супъ съ мясомъ и картофелемъ,—и того, и другого вдоволь. За столомъ—благочиніе и порядокъ. Еврейскія дамы, участвующія въ пожертвованіяхъ, ежедневно по-очереди, приглашаются къ столу и присутствуютъ при немъ, раздаютъ кушанье дѣтямъ и слѣдятъ за качествомъ пищи.

Итакъ, изумительные успѣхи учениковъ, перемѣна ихъ образа жизни, даже ихъ фizioномій, получившихъ здоровый, веселый видъ—и все это въ девять мѣсяцевъ!

Если,—неволью подумалъ я, выходя изъ школы,—человѣкъ чрезъ девять мѣсяцевъ родится на свѣтъ, то во столько же времени онъ можетъ переродиться. Послѣ этого намъ ничего болѣе не остается, какъ благодарить Бога, что Онъ далъ намъ два чудесныя свойства: привыкать и отвыкать. Привычка удерживаетъ насъ идти слишкомъ скоро впередъ, дѣлаетъ насъ осторожно-консервативными; а отвыкая, подъ руководствомъ благоразумныхъ наставниковъ, мы дѣлаемся прогрессистами.—Этими двумя неопѣненными свойствами человѣка разрѣшается вся задача его общественной жизни. Кто умѣетъ хорошо, кѣстати привыкнуть и отвыкнуть, тотъ и понялъ науку жить. Мудрое и вѣчное правило, которое столько же относится до приходскаго школьника, сколько и до знаменитаго гражданина, какого бы ни былъ онъ рода и племени, въ какомъ бы вѣкѣ ни родился и въ которой бы изъ пяти частей свѣта ни обиталъ!

Но намъ ли, живущимъ въ вѣкѣ смѣлыхъ предпріятій, въ вѣкѣ прогресса, еще удивляться, что двѣ сотни еврейскихъ мальчишекъ переродились въ девять какихъ-нибудь мѣсяцевъ? Такія ли еще чудеса совершаются теперь предъ нашими глазами!

Однако-же, если наша гражданственность, глядя свысока, не позволяетъ намъ удивляться такой простой вещи, то почему же наши христіанскія приходскія училища въ эти девять мѣсяцевъ не слѣдали никакого шага впередъ? Не я ли виноватъ?

По совѣсти говорю: нѣтъ. Или, если виноватъ, то безсознательно. Выслушайте и судите.

Если дѣла минувшихъ дней доказали намъ, что можно за-

ставить и въ худыхъ училищахъ нѣхота учиться, то еще никто не доказалъ, что можно заставить въ нихъ и хорошо учиться. Для этого необходимо одно изъ двухъ: или охота, или хорошее училище.

Извѣстно, охота пуще неволи; но тутъ нужно приманить, а не заставить.

А чтобы сдѣлать училище хорошимъ, нужно дѣйствовать не врозь, не порознь, а общими силами.

Чтобы дѣйствовать общими силами, нужно имѣть и общія убѣжденія. А гдѣ ихъ взять?

Словъ сколько угодно; а убѣждений—это дѣло иное.

Вотъ въ этомъ-то отношеніи нельзя не указать на евреевъ.

Еврей считаетъ священнѣйшею обязанностью научить грамотѣ своего сына, едва научившагося лепетать; это онъ дѣлаетъ по глубокому убѣжденію, что грамота есть единственное средство узнать законъ. Онъ это дѣлаетъ потому, что убѣжденъ въ вдохновенной истинѣ словъ Моисея: „Слыши, Израилю: Господь Богъ нашъ Господь единъ есть, и возлюби Господа Бога твоего отъ всего сердца твоего, и отъ всея силы твоя, и да будутъ слова сіи въ душѣ твоей и сердца твоимъ, и научи имъ сыновъ твоихъ“ (5. 6. 5).

Въ понятіи ветхозавѣтнаго человѣка грамота и законъ сливаются въ одно неразрывное цѣлое. У него нѣтъ ни споровъ, ни журнальной полемики о томъ, нужна ли его народу грамотность. Въ мысляхъ его, кто отвергаетъ необходимость грамотности, тотъ отвергаетъ законъ. Еврей, въ нашихъ глазахъ, есть старообрядецъ, старообычникъ, поклонникъ мертвой буквы, формалистъ—все, что хотите, но все—по убѣжденію.

А мы, которымъ открыта и благодать, и истина, которымъ дѣти поставлены въ образецъ, мы, вѣрующіе, что „Богъ бѣ Слово“, какъ мы убѣждены, что наши дѣти должны знать слово?—Мы вдаемся въ толки, рассуждая, споря и сомнѣваясь еще о томъ, что должно быть нашимъ кровнымъ убѣжденіемъ. Мы—и прогрессисты, и искатели сущности; но когда дѣло дойдетъ до дѣйствій по убѣжденію, то мы поспоримъ въ консерватизмъ и съ евреями.

Я знаю,—за то, что я теперь сказалъ, меня будутъ упре-

вать въ пристрастіи, въ ослѣпленіи, въ напраслинѣ; мнѣ скажутъ, что я слѣпъ и глухъ, если, живя въ просвѣщенномъ и человѣколюбивомъ обществѣ, не слышу и не вижу ежедневныхъ фактовъ, доказывающихъ и любовь къ просвѣщенію, и благотворительность, фактовъ погромаднѣе того, который я привелъ, говоря о какой-то мелочной талмудъ-торѣ. Я знаю, что многіе даже обидятся и за сравненіе, и за параллель. „Какъ можно смѣть сравнивать,—скажутъ,—нравственныя свойства, и еще чьи? семитическаго, отжившаго племени—съ нашими! Это неслыханная дерзость!“

Все это я знаю; но, тѣмъ не менѣе, рѣшаюсь говорить, что мнѣ кажется истинною правдою.

Не забудемъ: кому больше дано, съ того болѣе и спросится. Мы говоримъ, что мы любимъ просвѣщеніе. Да это немудрено: намъ нельзя сказать иначе, во-первыхъ, потому что мы привыкли къ этой фразѣ, а во-вторыхъ, мы стыдимся сказать противное, точно также какъ мы стыдимся показаться на улицѣ въ старомодномъ платьѣ. Вы приводите факты: вы содержите на вашемъ иждивеніи сиротскія и приходскія училища, вы дѣлаетесь ихъ почетными зрителями и попечителями. Но вѣдь мы знаемъ, Кто у насъ истинный распространитель просвѣщенія; вѣдь мы знаемъ, какъ одно Его слово. Его желаніе, для насъ дорого. Мы знаемъ хорошо, что отъ Него не скроется ни одинъ добрый поступокъ на общую пользу. Что же тутъ собственно нашего? это все Его. Мы творимъ только волю Пославшаго насъ. Но проникла ли эта высшая, благая воля до нашего сознательнаго, внутренняго убѣжденія? Сдѣлалась ли она нашею второю натурою, задушевною, неотъемлемою собственностью?—Вотъ это докажете мнѣ фактами.

Мы говоримъ, что мы благотворительны. Но, во-первыхъ, мы не должны бы были этого говорить: „Тебѣ же творящу милостыню, да не увѣсть шуйца твоя, что творить десница твоя“. А во-вторыхъ, если мы уже до того христіане, что милосердіе сдѣлалось нашимъ общимъ душевнымъ достояніемъ, то это значитъ—дѣла милосердія у насъ приняли уже характеръ общественнаго института. Но если такъ, то покажите мнѣ основныя начала этого института.—Мы всё, не отрeksiеся

отъ свѣта и его прелестей, поступаемъ еще никакъ не лучше юноши, который просилъ наставленія у Спасителя о томъ, что онъ долженъ сдѣлать, чтобы получить жизнь вѣчную. Мы, благотворя, соблюдаемъ только главные заповѣди. Но, соблюдая ихъ, какъ бы мы ни тѣпились общими силами совершать дѣла милосердія, мы подвергаемся опасности, при устройствѣ нашего общества, столько же повредить ему, сколько и помочь, если мы не согласимся сначала подчинить наши дѣйствія не только сердцу, но и разуму. Сердце требуетъ только, чтобы исполнена была заповѣдь; разумъ требуетъ, чтобы исполнилась не одна ея буква. Разумъ говорить, что въ настоящее время, какъ бы громадны ни были наши средства, мы все-таки только тогда сдѣлаемся истинными благотворителями, когда сосредоточимъ ихъ на одну, опредѣленную, сторону благотворительности, то-есть когда мы будемъ дѣйствовать ими для удовлетворенія одной какой-либо главнѣйшей потребности нищеты. Словомъ, при настоящемъ состояніи нашего общества и при ограниченности нашихъ средствъ, — которыя, какъ бы ни казались велики, все-таки, въ сущности, ничтожны относительно числа потребителей, — благотворитель долженъ быть непременно специалстомъ. Какъ современная наука, въ ея примѣненіи къ обществу, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе дѣлается спеціальною; какъ въ наукѣ едва-едва мы можемъ еще удержать общечеловѣческое направленіе въ школѣ, да и туда уже безпрестанно врывается ненасытная утилитарность съ ея спеціальными требованіями, такъ и въ общественной филантропіи общее безпредѣльное милосердіе съ каждымъ днемъ дѣлается все болѣе и болѣе неудобнымъ и даже вреднымъ въ его практическомъ приложеніи.

Но въ настоящее время, чѣмъ менѣе распространена въ обществѣ гражданственность, тѣмъ сильнѣе должно быть общечеловѣческое направленіе науки, тѣмъ болѣе университетское должно преобладать надъ факультетскимъ. Напротивъ, въ филантропіи, чѣмъ менѣе развита гражданственность общества, чѣмъ менѣе оно обыкло дѣйствовать сознательно и послѣдовательно, тѣмъ спеціальнѣе, тѣмъ сосредоточеннѣе должны быть дѣйствія благотворительности.

Общество, стоящее на высшей степени гражданственности,

уже до такой степени успѣло себѣ усвоить образованность, что, какъ бы сильно оно ни нуждалось въ спеціальности, все-таки спеціальность не истребитъ общечеловѣческаго начала науки. Специалисту въ такомъ обществѣ не такъ легко впасть въ рутину или сдѣлаться шарлатаномъ. Но попробуйте развить научную спеціальность на счетъ общечеловѣческаго въ обществѣ, еще не остепенившемся гражданственно, и вы получите между множествомъ грубыхъ ремесленниковъ, можетъ быть, нѣсколькихъ односторонне дѣльныхъ людей, но уже никакъ не представителей науки.

Въ филантропіи—другое дѣло. Интересы сословій и всѣхъ членовъ общества развитого такъ слиты между собою, всѣ отношенія и нищеты, и богатства, такъ сложны и такъ взаимно пересѣкаются, что трудно дѣлается, тронувъ одну сторону, не затронуть другую. Тутъ дѣла милосердія уже дѣйствительно должны быть возведены на степень общественнаго института, составленнаго изъ самыхъ различныхъ отраслей управленія; тутъ дѣлается уже необходимымъ и общій обзоръ, и централизація управленія, и общая систематичность дѣйствій.—Но этотъ же самый способъ филантропическихъ дѣйствій перенесите въ общество еще мало-развитое, и оно превратитъ сущность дѣла въ форму; оно понапрасну развлечется наружною громадностью обстановки, тогда какъ ему нужно бы было, сосредоточившись, избрать только одну, двѣ или нѣсколько сторонъ, смотря по величинѣ его средствъ.

Нетрудно научиться, а трудно умѣть приложить изученное къ дѣлу. Тутъ мѣшаютъ намъ и неумѣнье въ пору привыкнуть и въ пору отвыкнуть, и суетность, и другія дразни жизни.

Пусть же общество, еще не достигшее зенита гражданственности, сознательно разберетъ, чѣмъ оно должно пользоваться изъ настоящаго того общества, которое ушло дальше, и чѣмъ изъ его прошедшаго, оставивъ спокойно до поры и до времени то, за чѣмъ ему еще рано гоняться.

Мы знаемъ, что высочайшее дѣло и христіанства, и народнаго просвѣщенія, съ каждымъ годомъ и каждымъ днемъ распространяющее все болѣе и болѣе свѣтъ евангельскаго ученія, началось тихо и скромно, копѣчнымъ сборомъ, и достигло

огромныхъ размѣровъ только потому именно, что всѣ обширныя дѣйствія милосердныхъ распространителей слова божія ограничивались и теперь ограничиваются одною опредѣленною цѣлью: дать желающимъ средство читать Ветхій и Новый Заветъ.

Вотъ такъ должны начинаться всѣ благотворительныя общества. Пусть благотворители изберутъ сначала только одну или двѣ изъ главныхъ потребностей нищеты,—будетъ ли то квартира, топливо или пища,—и всѣ свои силы, все умѣнье, все милосердіе, всѣ средства сосредоточать на этомъ одномъ предметѣ. Конечно, это не такъ легко, какъ кажется. Тутъ нужно: во-первыхъ, единодушіе, строгое подчиненіе одной предназначенной цѣли другихъ, болѣе безграничныхъ чувствъ и желаній, какъ бы они ни были справедливы и похвальны; даже нѣкоторая степень жестокосердія, если такъ можно назвать твердость души, необходима для достиженія этой цѣли. Во-вторыхъ, нужно прямое и истинное участіе въ нравственной судьбѣ бѣднаго. Никогда милостыня не должна быть чисто-матеріальною; надобно, чтобы она помогала нравственно. Никогда помощь тому, кто имѣетъ силу или возможность работать, не должна доставаться совершенно даромъ; по крайней мѣрѣ, онъ долженъ быть увѣренъ, что она не достается ему безъ труда и работы. Вспомнимъ, что случилось съ знаменитыми національными мастерскими въ Парижѣ. Сегодня вы накормите даромъ одного, не имѣвшаго ни пищи, ни работы, и завтра же къ вамъ придутъ за тѣмъ же двое, имѣвшихъ и пищу, и работу. Кто не хочетъ, чтобы милосердіе противодействовало общественной нравственности, тотъ долженъ давать матеріальную помощь бѣдному не иначе, какъ принимая нравственно живое участіе въ судьбѣ его. Да и кто больше христіанинъ: тотъ ли, про кого всѣ нищіе говорятъ, что онъ даетъ милостыню, или тотъ, кто, истинно помогая, заставляетъ всѣхъ думать, что онъ только платитъ за труды, тогда какъ этотъ трудъ нуженъ не ему, а тому, кто трудился, и нуженъ нравственно?

Теперь, положимъ, что благотворители приняли мой совѣтъ; положимъ, что они составили общество съ ограниченою цѣлью доставить извѣстному числу неимущихъ жилище и топливо. Благотворители купили домъ или наняли отдѣльныя квартиры,

запаслись дешевымъ топливомъ; узнали обстоятельно положеніе нѣсколькихъ бѣдныхъ, трудящихся семействъ и отдали квартиры тѣмъ изъ нихъ, которые платили прежде по 3 рубля въ мѣсяцъ, за одинъ рубль; которые платили по 2 рубля — за полтину сер.; наконецъ, тѣмъ, которые не имѣли ни крова, ни работы, дали квартиру безъ платы и работу, съ тѣмъ, чтобы одною частью дохода съ нея выплачивались квартира и топливо. Не развлекаясь удовлетвореніемъ всѣхъ потребностей нищеты, ограничиваясь, по своимъ средствамъ, извѣстнымъ числомъ бѣдныхъ семействъ, всѣ члены этого спеціальнаго филантропическаго общества, сосредоточивая свое вниманіе на одинъ предметъ, изучили бы его основательно, узнали бы подробно и цѣну, и качество, и значеніе квартиры, и ея отношеніе къ работѣ въ жизни бѣднаго человѣка; а изъ суммы, собранной съ бѣдныхъ семействъ за помѣщеніе, составилъ бы новый капиталъ, который могъ бы быть обращенъ въ ихъ же пользу и для той же цѣли. Результатъ такой сосредоточенно-односторонней дѣятельности общества не замедлитъ обнаружиться, а примѣръ поощрить другихъ благотворителей къ образованію новаго общества, которое изберетъ своею цѣлью — удовлетворить другой потребности нищеты. Если, наконецъ, образуется нѣсколько такихъ частныхъ, спеціальныхъ обществъ, если они достаточно организуются, тогда, — но только тогда, — наступитъ время всѣмъ вмѣстѣ сблизиться. И обнаружится существенная, а не формальная потребность придти къ одному знаменателю.

Но въ настоящее время, когда мы, кажется, начинаемъ уже серьезно убѣждаться, что мы истиннаго прогресса можемъ достигнуть однимъ, единственнымъ путемъ воспитанія, теперь, — говорю, — кто истинно любитъ отечество, для кого грядущее потомство проявляетъ собою идею земного безсмертія, тотъ долженъ и милосердіе посвятить исключительно дѣтямъ.

Дѣти — вотъ современная спеціальность для нашихъ благотворителей.

Невольно опять обращаюсь къ евреямъ. Ихъ Маймонидъ, основываясь на устномъ преданіи, утверждаетъ, что слово: сынъ — въ Ветхомъ Завѣтѣ значитъ также и ученикъ; приходская школа евреевъ, или талмудъ-тора, значитъ: изученіе закона. Итакъ, грамота и законъ, сынъ и ученикъ, ученіе и

воспитаніе—сливаются въ одно въ понятіи ветхозавѣтнаго человѣка,—и эта тождественность, въ глазахъ моихъ, есть самая высокая сторона еврея.

Неужели же мы, озаренные свѣтомъ истины, должны въ этомъ отношеніи отстать отъ ветхозавѣтниковъ? Неужели толки о томъ, нужна ли грамота для дѣтей нашего народа, должны еще серьезно занимать насъ? Или еще болѣе: неужели мы еще должны бояться, что она вредна, и вѣрить въ цифру, будто бы математически доказывающую ея тлетворное вліяніе на нравственность простолюдина? Да развѣ благо Слова и его распространенія въ народѣ должно доказывать фактами и статистикой? Развѣ Истина, облеченная въ Слово, въ словѣ и чрезъ слово изучаемая, не есть сама себѣ доказательство? И еслибы въ доказательство вреда приводили, что не только половина, а всѣ грамотные простолюдины сдѣлались пьяницами и ворами именно оттого, что учились грамотѣ, то можетъ ли глубоко вѣрующій въ Воплощеніе Слова сказать что-нибудь другое въ отвѣтъ, какъ одно: не вѣрю?!

Если же кто-либо изъ противниковъ просвѣщенія смѣшиваетъ грамоту съ приложеніемъ ея къ жизни, то тѣмъ хуже для него.

Нѣтъ, у насъ еще нѣтъ убѣжденій. Мы споримъ о первыхъ основаніяхъ, и, слѣдовательно, сомнѣваемся еще и въ нихъ. Евреи, въ этомъ отношеніи, со всѣмъ ихъ старообрядчествомъ, со всѣмъ ветхимъ консерватизмомъ, могутъ служить образцомъ, какъ должно имѣть убѣжденія. Они, съ ихъ непреодолимою настойчивостью, успѣли въ дѣлѣ убѣжденія уничтожить тѣ огромные промежутки, которые у насъ раздѣляютъ мысль, слово и дѣло. Едва ребенокъ начинаетъ говорить, и еврей-отецъ, какъ бы онъ ни былъ бѣденъ, посылаетъ его уже къ меламду учиться. Бѣлая часть этихъ доморощенныхъ учителей-самозванцевъ скрывается въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ города, преслѣдуемая штатными смотрителями и полиціей. Я сказалъ бы, что если еще кто на свѣтѣ злоупотребляетъ грамотой, то это именно одни меламды. Но, увы! даже и этимъ тяжкимъ порицаніемъ еврея не могу воспользоваться къ возвышенію нашего собственнаго достоинства. Безутѣшная цифра, сообщенная публикѣ моимъ другомъ, В. И. Далемъ, не

позволяет похвалиться и нашим умѣньемъ въ распространеніи свѣта грамотою.

Итакъ, правда, грамотность не въ-прокъ суевѣрнымъ послѣдователямъ талмуда; не въ-прокъ она и нашимъ раскольникамъ. Несмотря на это, я уважаю и въ еврей, и въ раскольникъ глубокое, сознательное убѣжденіе, что она необходима,—убѣжденіе, котораго не имѣютъ не только многіе изъ православныхъ, но и такая голова, какъ В. И. Даль, которая одна многихъ стоитъ. Будемъ снисходительны и согласимся, что не одинъ еврей и раскольникъ, а вообще человѣкъ всѣмъ злоупотребляетъ, даже святынею. Этой нравственно-исторической аксіомы, кажется, доказывать не нужно. Итакъ, будемъ и правосудны—не станемъ общую человѣческую слабость сваливать на однихъ меньшихъ нашихъ братій. Откинемъ предубѣжденія, проникнемся мыслью сквозь безобразную грудю зла до самаго основанія, и увидимъ, что это зло есть не что иное, какъ переродившееся и искаженное добро.

И вотъ, еслибы мнѣ теперь, моими слегка набросанными мыслями, удалось убѣдить хоть бы одного христіанскаго благодѣлателя или благодѣлательницу, что все, сдѣланное еврейскимъ обществомъ для здѣшней талмудъ-торы, достойно подражанія, еслибы мнѣ удалось обратить просвѣщенное милосердіе хоть на одну изъ нашихъ приходскихъ школъ,—цѣль моя была бы совершенно достигнута.

И у насъ, между многими учениками приходскихъ училищъ, посылаемыми обыкновенно въ школу только для того, чтобы сбыть ихъ съ рукъ, есть, однакожъ, и такіе, которыхъ отцы хотятъ, чтобы они научились читать псалтырь и другія церковныя книги. И у насъ приходскіе школьники ходятъ за три и за четыре версты въ училище, носятъ также, какъ въ прежней талмудъ-торѣ, изорванные сапоги, ѣдятъ одинъ хлѣбъ и часто не являются въ училище по недостатку обуви или отвлекаемые работами по домашнему хозяйству. Учители также ведутъ списки. Но чѣмъ имъ завлечь или принудить ребенка, чтобы онъ посѣщалъ школу? Желудокъ вопіетъ сильнѣе головы. И если ребенокъ знаетъ, что, сходя въ школу, онъ останется послѣ голодень, то и по методѣ Ланкастера не заставишь его учиться.

Вотъ гдѣ обширное поприще для истинно-христіанскаго и, слѣдовательно, просвѣщеннаго милосердія.

Хлѣбъ и грамоту, хлѣбъ и правду, — вотъ что дайте, христіане-благотворители, грядущему поколѣнію нашего отечества. Слейте въ умъ вашемъ мысль о тѣлесной пищѣ въ одно съ мыслью о пищѣ духовной; дайте ту и другую тѣмъ существамъ, которыя разрѣшили устами Спасителя вопросъ: „кто убо велій есть въ царствіи небесномъ“, — и вы исполните завѣтъ Его лучше, чѣмъ раздавая пригоршнями милостыню встрѣчнымъ и поперечнымъ. Не безпокойтесь, что облагодѣтельствованные вами ученики приходской школы не будутъ подѣ безпрестаннымъ надзоромъ вашимъ, какъ дѣти сиротскихъ училищъ, и, продолжая оставаться подѣ вліяніемъ грубыхъ и закоренѣлыхъ въ предразсудкахъ родителей, не принесутъ тѣхъ плодовъ, которыхъ вы въ правѣ были ожидать отъ вашего милосердія. Родительскій домъ, вмѣщая даже предразсудки и пороки, не такъ вредно дѣйствуетъ на нравственность сына, какъ закрытое заведеніе, если пороки и безнравственность прокрались въ него подѣ эгидою формы.

Накормите, одѣньте, обуйте бѣдныхъ приходскихъ школьниковъ, пошлите вашихъ женъ посмотрѣть за раздачею пищи и ея качествомъ, хлопчите о выборѣ и достаточномъ содержаніи педагога, и у васъ также явится свой Гольденблюмъ, и ваша приходская школа также переродится, какъ еврейская талмудъ-тора.



БЫТЬ И КАЗАТЬСЯ.

Ученики 2-й одесской гимназіи обратились ко мнѣ съ просьбою о дозволеніи имъ играть на публичномъ театрѣ, по примѣру гг. студентовъ лицея, играть съ цѣлью помочь нѣкоторымъ изъ своихъ товарищей. Узнавъ, что и прежде ученикамъ гимназіи, воспитывающимся въ сиротскомъ домѣ, позволялось дѣйствовать на сценѣ, я также позволилъ.

Но совѣсть моя этимъ не успокоилась.

У меня родился нравственно-педагогическій вопросъ: можно ли позволять молодымъ людямъ, чтобы они прямо со школьной скамьи выступили на сцену и представлялись дѣйствующими лицами предъ публикою?

Извѣстно, что вездѣ, гдѣ вмѣстѣ съ гимназіею существуетъ высшее учебное заведеніе—университетъ или лицей, гимназисты стараются во всемъ подражать студентамъ. Извѣстно также, что такое подражаніе обыкновенно не ведетъ къ добру.—Но я смотрю на заданный себѣ вопросъ съ другой, болѣе общей, стороны. Спрашивается: вообще дозволяетъ ли здравая нравственная педагогика выставлять дѣтей и юношей предъ публикою въ болѣе или менѣе искаженномъ и, слѣдовательно, не въ настоящемъ ихъ видѣ? оправдываетъ ли цѣль въ этомъ случаѣ средство?

Не обязаны ли истинные правоучители смотрѣть на духовную сторону юноши и дитяти какъ на святой храмъ, о которомъ сказано: „храмъ мой, храмъ молитвы наречется“. Не обязанъ ли правоучитель изгонять изъ него все продающееся и покупающееся? Совмѣстима ли съ этимъ взглядомъ на духовную сторону юности выставка, возбуждающая суетность и

тщеславіе? Родитель или наставникъ, дозволяя себѣ выставять юношество въ искаженномъ видѣ на публичное созерцаніе, не вносить ли въ воспріимчивую душу начало лжи и притворства? Развѣ разыграть хорошо роль, принять кстати подготовленную позу, сѣмѣть сдѣлать удачный жестъ и живо выразить миною поддѣльное чувство, развѣ — говорю — все это не есть школа лжи и притворства? А шумныя похвалы, воздаваемыя именно тому притворству, которое сдѣлалось натуральнымъ, развѣ не пробуждаютъ желаніе усовершенствоваться, и въ какой душѣ? — еще не коротко знакомой съ наукою быть и казаться.

Но цѣль? — Да, на свѣтѣ еще существуетъ одна школа, которая цѣлью освящаетъ средства. И всѣ мы, — что грѣха таить, — употребляя названіе этой школы, какъ эпитетъ коварства и лжи, подчасъ позволяемъ себѣ пользоваться упрямостью ея догмъ. Но, согласитесь, нельзя же, не отказавъ себѣ въ послѣдовательности, защищать открыто ея ученіе, утверждая, что благая цѣль оправдываетъ выборъ средства, нравственно ненадежнаго.

Еслибы еще это средство было только неприлично важности и святости задуманной цѣли, но само по себѣ невинно, то почему бы не такъ. Свѣта мы, конечно, не исправимъ; онъ останется. несмотря на всѣ возгласы моралистовъ, такимъ, какимъ онъ былъ и есть. Такъ почему же въ практической жизни, — извѣстной своей непослѣдовательностью, — не воспользоваться человѣческими слабостями въ движенію общей благой цѣли, если эти слабости невинны и непредосудительны? Но другое дѣло, если мы вздумаемъ для этой цѣли развивать въ молодой душѣ такія склонности, которыхъ послѣдствій нельзя ни предвидѣть, ни исчислить. Тутъ уже, мнѣ кажется, цѣль никакъ не можетъ оправдать средства.

Дѣтскіе балы, дѣтскіе театры и всевозможныя зрѣлища, въ которыхъ дѣти являются дѣйствующими лицами, слава Богу, изобрѣтеніе не наше, а чужое, и потому извинительно и не знать, вѣмъ впервые и почему они введены были въ моду. Но, судя по вѣроятностямъ, такая мысль могла придти въ голову или родителямъ, желавшимъ похвастаться милымъ искусствомъ дѣтей, подъ предлогомъ доставить имъ удовольствіе, или же наставнику, желавшему, безъ сомнѣнія, съ какой-нибудь

педагогическою цѣлью, возбудить соревнованіе въ своихъ ученикахъ.

Я думаю, что родители были легкомысленны, а наставникъ близорукъ. Уже не одинъ разъ, и прежде, и послѣ, родители, подъ благовиднымъ предлогомъ утѣшить дѣтей, утѣшали свою суетность. Не разъ педагоги ошибались въ выборѣ средствъ, ослѣпленные случайной удачею или стараясь приноровиться ко вкусу общества. Признаюсь, я самъ еще недавно позволилъ дѣтямъ въ лицейскомъ пансіонѣ разыграть одну маленькую пьесу; но театръ былъ чисто домашній, зрителями были товарищи и наставники; я видѣлъ въ игрѣ только средство для изученія языка.

Я замѣтилъ и тутъ, однако-же, что, несмотря на всю безыскусственность и простоту обстановки, въ нѣкоторыхъ изъ актеровъ обнаруживался такой пріемъ суетности, который еще болѣе увеличивать было бы опасно. Потому, и дома, и въ учебныхъ заведеніяхъ, можно бы только, и даже должно, позволять дѣтямъ, отъ 12 до 14 лѣтъ, выучивать избранныя роли изъ различныхъ пьесъ, но безъ всякой обстановки и только единственно съ цѣлью упражненія въ языкѣ и способѣ выражать отчетливо мысли. Пусть наставникъ объяснить этимъ ученикамъ, что именно хотѣлъ выразить авторъ тѣмъ или другимъ оборотомъ рѣчи. Пусть покажетъ вмѣстѣ, какіе пріемы свойственны тому или другому характеру дѣйствующаго лица, — но безъ всякой обстановки, безъ огласки, безъ постороннихъ зрителей. Наставникъ и его ученики должны быть и публикою, и дѣйствующими лицами; школьная комната — сценою. Пусть воображеніе довершитъ и украситъ все остальное. Но опаснѣе сцена для мальчика въ 15 лѣтъ и болѣе. Въ этомъ возрастѣ, особливо на югѣ, дѣти, во что бы то ни стало, не хотятъ уже быть дѣтьми. Воображеніе въ эти лѣта уже начинаетъ терять свою калейдоскопическую подвижность. Оно уже не съ прежнею быстротою превращаетъ одинъ предметъ въ другой и не такъ легко замѣняетъ призракомъ дѣйствительное. Несмотря на то, юноша все-таки еще неясно различаетъ два свойства своего я: быть и казаться.

Должны ли же мы преждевременно давать поводъ юной душѣ обнаружить ея двойственность? Пусть „быть и казаться“

остаётся покуда въ жизни юноши однимъ и тѣмъ же. Скоро, слишкомъ скоро, и безъ всякихъ побужденій, проявляется въ его дѣйствіяхъ то, о чемъ апостолъ Павелъ сказалъ: „еже бо содѣваю, не разумѣю: не еже бо хочу сіе творю, но еже ненавижду, то содѣлываю“ (къ Римл. VII, 15).

И не выходя на театральную сцену, — и безъ того, на одвой сценѣ жизни, — онъ скоро научится лучше казаться, чѣмъ быть.

Подождите, дайте время развиться духовному анализу. Дайте время начать борьбу съ самимъ собою и въ ней окрѣпнуть. Тогда, кто почувствуетъ въ себѣ призваніе, пожалуй, пусть будетъ и актеромъ: онъ все-таки не перестанетъ быть человѣкомъ. И если и Тальма, и Каратыгинъ были только кажущимися героями, то, по крайней мѣрѣ, вашъ сынъ или ученикъ не будетъ однимъ только кажущимся актеромъ.

Но не лучше выставокъ дѣтей на паркетѣ и театральной сценѣ и публичныя выставки на сценѣ школьной. Это тоже театръ въ своемъ родѣ. Да еще на театрѣ выставляется, по крайней мѣрѣ, то, что должно быть выставлено: искусство притворяться и великій даръ заставлять себя чувствовать по собственной волѣ. А на публичныхъ экзаменахъ выставляется на показъ знаніе, котораго истина и значеніе ничѣмъ столько не оцѣняются, какъ скромностью.

Всѣ эти искусственныя и натянутыя попытки такъ-называемаго развитія ума и сердца развиваютъ только преждевременно двойственность души человѣка, еще не окрѣпшаго въ борьбѣ съ самимъ собою. Онъ довершаютъ только то, что и безъ нихъ начинаютъ слишкомъ рано общество, школа и, увы! самъ родительскій домъ.

Пусть каждый изъ насъ припомнитъ, когда онъ началъ казаться не тѣмъ, что онъ есть. И вѣрно, отвѣчая на этотъ вопросъ, немногіе изъ насъ похвалятся своею памятью. А когда мы вступили въ борьбу съ самими собою, — полагая, что мы всѣ уже вступили. — то мы, навѣрное, казались давно не тѣмъ, чѣмъ мы были. Неужели же мы захотимъ то же самое передать въ наслѣдство нашимъ дѣтямъ? Неужели всѣ попытки нравственной педагогики, всѣ успѣхи, все стремленіе человѣка къ совершенству — одна только пустая игра словъ, одинъ оболстительный вымыселъ?

Нѣтъ! мы не имѣемъ права не вѣрить въ истину. Еслибы мы принялись общими силами, мы бы много такого исправили въ нашихъ дѣтяхъ, чего не успѣли или не умѣли исправить наши отцы въ насъ. Правда, мы можемъ дать только то, что мы сами имѣемъ. Но кто хочетъ идти впередъ, не по однѣмъ только грязнымъ и пыльнымъ улицамъ, тотъ найдетъ въ душѣ довольно силы и вести борьбу съ собою, и слѣдить за первыми обнаруживаніями душевной двойственности у своихъ дѣтей. Первое ея проявленіе есть притворство и ложь. Трудно опредѣлить время жизни, въ которое они впервые обнаруживаются у ребенка. Я зналъ шестилѣтнюю дѣвочку, которая была уже такая виртуозка лжи, что трудно было различать длинные рассказы ея собственнаго изобрѣтенія отъ правды: такъ все въ нихъ было связано и отчетливо. Зналъ я еще и одного мальчика четырехъ лѣтъ, который на вопросъ: видалъ ли онъ колибри?—не желая, изъ хвастовства, сказать просто: не знаю, описалъ какъ нельзя подробнѣе видѣнную имъ колибри, которая, однако-же, оказалась просто вороною; а когда ему замѣтили, что колибри водятся не въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ жилъ, а въ Китаѣ, то онъ, нисколько не конфузясь, увѣрилъ, что большую черную птицу прислалъ въ подарокъ его маменькѣ китайскій императоръ. Про дѣвочку я послѣ ничего не слышалъ, но про мальчика знаю навѣрное: онъ теперь пересталъ такъ безбожно хвастать.

Изъ этихъ и изъ множества другихъ фактовъ нельзя ли заключить, что уже съ первымъ лепетомъ ребенка начинается и двойственность нашей духовной стороны? И да, и нѣтъ. Я не сомнѣваюсь, что у ребенка есть свой міръ, отличный отъ нашего. Воображеніе создало этотъ міръ ребенку, и онъ въ немъ живетъ и дѣйствуетъ по-своему. Взрослый, дѣйствующій какъ ребенокъ, есть въ нашихъ глазахъ или лгунъ, или сумасшедшій. И если дитя намъ не кажется ни тѣмъ, ни другимъ,—то именно потому, что оно—дитя. Итакъ, если мы, достигши извѣстнаго возраста, не перестаемъ жить въ мірѣ, созданномъ нашимъ дѣтскимъ воображеніемъ, мы дѣлаемся непремѣнно или лжецами, или взрослыми дѣтьми, т.-е. чудаками, помѣшанными, или назовите какъ угодно, только не обыкновенными людьми.

Мы привыкли называть сумасшедшимъ того только, въ дѣйствіяхъ котораго мы замѣчаемъ явную несообразность и непоследовательность. Но эта кажущаяся несообразность словъ съ дѣйствіями и одного поступка съ другимъ иногда только служить признакомъ помѣшательства, а иногда и нѣтъ. Кто сомнѣвается еще въ этой неопредѣленности и сбивчивости нашихъ понятій, пусть спроситъ у судебныхъ врачей, всегда ли и во всякомъ ли данномъ случаѣ имъ бываетъ легко рѣшить вопросъ о сумасшествіи.

Нелегко рѣшить также объ иномъ: заблуждается ли онъ, или лжетъ. Извѣстно, что привыкшій лгать, наконецъ, это дѣлаетъ вовсе несознательно.

Но если у взрослого, въ практической жизни, такъ трудно бываетъ провести точныя границы между здравомысліемъ и помѣшательствомъ, между убѣжденіемъ и ложью, то еще осторожнѣе мы должны оцѣнивать поступки ребенка.

У ребенка кажущаяся намъ непоследовательность поступковъ и мыслей, сознательная ложь и безсознательная, такъ незамѣтно переходитъ одна въ другую, что почти cadaго изъ дѣтей можно пазвать глупымъ и лгуномъ, — примѣняя къ нему слова и понятія, взятые изъ жизни взрослыхъ. Но въ этомъ-то и заключается именно ошибка и родителей, и наставниковъ, что они, не въ пору устарѣвъ, забыли про тотъ міръ, въ которомъ сами нѣкогда жили. И въ лжи, и въ несообразностяхъ дѣйствій, ребенокъ еще не перестаетъ казаться именно тѣмъ, что онъ есть, потому что онъ живетъ въ собственномъ своемъ мірѣ, созданномъ его духомъ, и дѣйствуетъ, слѣдуя законамъ этого міра. Чтобы судить о ребенкѣ справедливо и вѣрно, намъ нужно не переносить его изъ его сферы въ нашу, а самимъ переселяться въ его духовный міръ. Тогда, но только тогда, мы и поймемъ глубокой смыслъ словъ Спасителя: „аминь глаголю вамъ, аще не обратитесь и будете яко дѣти, не внидете въ царство небесное“.

Еслибы все человѣческое общество состояло изъ однихъ дѣтей, то двойственность души въ ребенкѣ никогда бы не обнаружилась, и онъ всегда бы казался тѣмъ, что онъ есть. Онъ всю окружающую природу переносилъ бы въ свой духовный міръ и дѣйствовалъ бы въ немъ, вѣрно, последовательно насъ.

Но мы, мы—взрослые—нарушаемъ безпрестанно гармонію дѣтскаго міра. Мы, насильственно врываясь въ него, переносимъ ребенка, на каждомъ шагу, къ себѣ, въ нашъ свѣтъ. Мы спѣшимъ ему внушить наши взгляды, наши понятія, наши свѣдѣнія, пріобрѣтенныя вѣковыми усиліями уже зрѣлаго человѣка. Мы отъ души восхищаемся нашими успѣхами, полагая, что ребенокъ насъ понимаетъ, и сами не хотимъ понять, что онъ понимаетъ насъ по-своему.

Мы не хотимъ ни „умалиться“, ни „обратиться и быть какъ дѣти“, и между тѣмъ хотимъ быть ихъ наставниками, и даже считаемъ себя въ правѣ пользоваться званіемъ наставника, не исполнивъ этого перваго и самаго главнаго условія.

Кто же теперь виноватъ, если мы такъ рано замѣчаемъ у нашихъ дѣтей несомнѣнные признаки двойственности души? Не мы ли сами немилосердно двоимъ ее?

Дѣйствительно, наши усилія вѣнчаются успѣхомъ. Но какимъ? Исторгая безпрестанно ребенка изъ его собственнаго духовнаго бытія, перенося его все чаще въ нашу сферу, заставляя его и смотрѣть, и понимать по нашему, мы, наконецъ, достигаемъ одного: онъ начинаетъ намъ казаться не тѣмъ, чтѣ онъ есть. И вотъ вѣнецъ нашей педагогики, вотъ non plus ultra всѣхъ нашихъ трудовъ и усилій!

Чего ни придумано у насъ къ достиженію этого результата? И дѣтскіе балы, и театры, и живыя картины, и костюмы, и даже школьная обстановка. А чтобы лучше убѣдиться, дѣйствительно ли ребенокъ намъ кажется не такимъ, какъ онъ есть,—мы изобрѣли и срочныя испытанія. Мало этого: напались и такіе педагоги, которые придумали изъ самихъ дѣтей сдѣлать орудія наблюденія за дѣтьми же. чтобы и тѣ, и другія какъ можно лучше двоили свой духовный бытъ и какъ можно точнѣе раздѣляли бы „быть и казаться“. Извѣстно до какихъ блестящихъ результатовъ на этой почвѣ достигли отцы-іезуиты. Если мы, при нашей обыкновенной методѣ воспитанія, много способствуемъ — хотя безсознательно и дѣйствуя по крайнему разумѣнію,—къ развитію въ ребенкѣ лжи и притворства, то іезуиты, не довольствуясь этимъ, уже сознательно доводятъ двойственность до степени клеветы.

Твердо вѣрющему въ стремленіе человѣчества впередъ, къ

усовершенствованію, кажется уже неприличнымъ утверждать, что и дѣти, и вообще люди въ старину, то-есть, когда-то, были лучше. Но, тѣмъ не менѣе, въ этой извѣстной поговоркѣ стариковъ и недовольныхъ есть доля и правды.

Во-первыхъ, для всякаго старика это, дѣйствительно, относительная истина. Онъ, принимая менѣе участія въ дѣйствіяхъ переходнаго состоянія отъ стараго къ новому, видитъ яснѣе худое, всегда сопровождающее каждый переходъ, чего современное ему свѣжее поколѣніе не примѣчаетъ, будучи само проводникомъ новаго. Во-вторыхъ, есть и дѣйствительно такіе періоды для человѣчества, въ которыхъ старое еще недостаточно состарѣлось, а новое, втекая цѣлымъ потокомъ, еще не успѣло ни созрѣть, ни амальгамироваться со старымъ.

Эти періоды такъ же вредны для нравственности, какъ у насъ на сѣверѣ раннія оттепели для посѣва: смена уносятся тающимъ снѣгомъ. И это уже не одна только относительная истина для стариковъ.

Чуть ли мы сами не живемъ въ одномъ изъ такихъ періодовъ.

Если такъ, то немудрено, что въ то время, когда старое было еще во всей своей силѣ, то-есть, еще не было старымъ и воспитаніе совершалось съ большею послѣдовательностью, и именно потому, что было болѣе одностороннимъ. Правда, и прежде, точно такъ же, какъ теперь, и даже больше, взрослые мѣряли дѣтей по своей мѣркѣ; особенный дѣтскій міръ и прежде для взрослыхъ такъ же мало существовалъ, какъ и теперь. Но средства, которыя они употребляли для сообщенія дѣтямъ своихъ понятій и взглядовъ, были грубѣе и именно потому лучше нашихъ. Наши отцы и праотцы, слѣдуя буквально правилу царя Соломона: „кто щадитъ жезлъ свой, ненавидитъ сына своего: любящій же наказуетъ прилежно“, переносили ребенка насильно изъ его внутренняго міра въ свой собственный, но зато скорѣе и отпускали назадъ.

Если уже нужно выбирать одно изъ двухъ, то, безъ сомнѣнія, лучше вторгаться въ духовно дѣтскій міръ съ жезломъ въ рукѣ, чѣмъ съ театральною афишею и бальнымъ костюмомъ. Ядъ и позолоченная отрава опаснѣе палки и синяковъ.

Воображеніе ребенка и развивается, и дѣйствуетъ по мѣрѣ

развитія внѣшнихъ чувствъ и понятія. У него мысль никогда не опережаетъ воображенія. Окружающая природа, для него еще новая, доставляетъ ему столько пищи, что оно постоянно въ работѣ. Это—калейдоскопъ въ безпрестанномъ вращеніи, чрезъ который дитя смотритъ на все окружающее. Берегитесь нарушать эту фантастическую игру вашими дѣйствіями. Вашею искусственною обстановкою, какъ бы она ни была обворожительна, вамъ все-таки не удастся замѣнить тѣ чудные образы, которые творитъ дѣтская фантазія. Вы только понапрасну привлечете ея дѣятельность и рано пробудите чувство недовольства. Ребенокъ, недовольный своимъ, будетъ самъ проситься въ вашъ міръ и выкажется уже въ немъ не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ своей сферѣ. Двойственность и пресыщеніе должны необходимо слѣдовать.

Итакъ, не мудрено, если въ старину, при менѣе искусственной обстановкѣ воспитанія, яснѣе обозначались высокіе и выдержанные характеры. Кто выходилъ невредимъ изъ школы жезла, тотъ выносилъ духъ, такъ же хорошо закаленный, какъ закалено тѣло дикихъ и номадовъ, купающихъ новорожденныхъ дѣтей въ студеной водѣ.

Но наша современная обстановка воспитанія еще слишкомъ нова, чтобы точно обсудить ея результаты. Только надъ однимъ іезуитскимъ способомъ воспитанія, который также не вовсе потерялъ современность, судъ исторіи уже произнесенъ. Вездѣ, гдѣ онъ господствовалъ, и теперь еще господствуетъ двойственность души. Насильственно раздѣленное іезуитствомъ, „быть и казаться“ породило и притворство, и коварство, и клевету съ ябедою и доносомъ.

Если все, что я сказалъ, заключаетъ въ себѣ хотя тѣнь истины, то скажите мнѣ: не лучше ли—предъ Богомъ и человечествомъ—замѣнить всѣ искусственныя попытки нашего собственнаго воображенія воспитаніемъ, основаннымъ на законахъ дѣйствиительно-фантастическаго міра дитяти?

Въ наше время, когда глубокіе умы посвятили себя изученію духовной стороны даже умалишенныхъ; когда начинаетъ обнаруживаться, что и эти отверженцы нашего общества имѣютъ свою собственную логику, свою послѣдовательность въ дѣйствіяхъ; когда наука, проникнувъ въ ихъ особый міръ,

ищетъ въ немъ связей съ нашимъ, должны ли мы — говорю — именно теперь оставаться хладнокровными къ духовному міру нашихъ дѣтей и не изучать его во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ?

Скажите, что можетъ быть поучительнѣе, что выше, что святѣе духовнаго сближенія съ этимъ божіимъ, чуднымъ дѣтскимъ міромъ? Кому не занимательно слѣдить за всѣми его обнаруживаніями, за всѣми проявленіями во времени и въ пространствѣ? Кому не весело самому помолодѣть душою? О! еслибы всѣ родители и педагоги по призванію вошли въ этотъ таинственно-священный храмъ еще дѣвственной души чловека! Сколько новаго и неразгаданнаго еще узнали бы они! какъ обновились бы, какъ поумнѣли бы сами! Одинъ взглядъ, брошенный въ него бѣднымъ швейцарцемъ, сердечно любившимъ дѣтей, произвелъ на свѣтъ цѣлую систему ученія, котораго плодами мы теперь только-что начинаемъ пользоваться.

Къ вамъ, матери семействъ, относится преимущественно мой совѣтъ! Въмѣсто того, чтобы посылать вашихъ дѣтей на театральную и бальную сцену, ступайте сами за кулисы дѣтской жизни! Наблюдайте отсюда за ихъ первымъ лепетомъ и первыми движеніями души; наблюдайте ихъ здѣсь и тогда, когда они возвратятся къ вамъ, утомленные играми и всегда готовые снова начать ихъ!

Я бы далъ и еще совѣтъ, но не знаю, какъ вы примете и этотъ. Подчиняясь однимъ влеченіямъ души къ добру и правдѣ, вы, можетъ быть, и безъ меня придумали что-нибудь лучшее. — Я самъ обращаюсь теперь за совѣтомъ, всегда уважая его, если онъ данъ отъ души, если въ немъ проглядываютъ смыслъ и любовь къ истинѣ и добру. Скажите мнѣ, отцы и педагоги, всѣ ли вы принимаете со мною этотъ дѣтскій міръ съ его особенными законами? Если — да, то скажите мнѣ откровенно: какъ вы въ него вступаете? и потомъ посоветуйте мнѣ, долженъ ли я и впредь позволять дѣтямъ и юношамъ играть на публичной сценѣ? Пусть будетъ вашъ совѣтъ, пожалуйста, и чисто-теоретическій — все равно, я приму его съ благодарностью.



НУЖНО ЛИ СЪЧЬ ДѢТЕЙ, И СЪЧЬ ВЪ ПРИСУТСТВІИ ДРУГИХЪ ДѢТЕЙ?

Не правда ли—мелочной и даже, такъ сказать, неприличный вопросъ для публики образованной и занятой серьезными дѣлами? Но для дѣтей розга—не мелочь, и сѣкутъ ихъ также и образованные, и занятые серьезными дѣлами люди. А я именно и хочу говорить только съ сѣкущими. Да, наконецъ, вспомнивъ бывалое, мало ли еще между нами найдется такихъ, которые чѣмъ-нибудь да обязаны розгѣ—хорошимъ или худымъ, но, по крайней мѣрѣ, думаютъ, что обязаны. Розга—предметъ немаловажный и не для однихъ дѣтей: о ней говорится и въ библіи, и въ педагогикѣ, и въ законовѣдѣніи. А въ жизни ребенка она—изъ важнѣйшихъ вещей важнѣйшая. Правда, для многихъ отцовъ, матерей и учителей высѣчь ребенка—все равно, что высморкаться. Я знавалъ и такихъ, которые увѣряли, что до 12 лѣтъ съ ребенкомъ нужно обращаться какъ съ котенкомъ или щенкомъ. Я не преувеличиваю—именно этими словами выразилъ мнѣ одинъ отецъ, — и не изъ простыхъ,—свой взглядъ на воспитаніе и увѣрялъ, что онъ такъ воспитывалъ всѣхъ своихъ дѣтей. Сынъ его, образованный по этой методѣ, мнѣ и теперь знакомъ; онъ—довольно извѣстный ученый, но человѣкъ ненадежный. Еще и многіе теперь живутъ изъ сѣченныхъ по субботамъ; и многіе изъ нихъ не нахвалятся этой методой, приписывая ей даже и то, что они дослужились до почета. Есть, наконецъ, и такіе, которые не повѣрятъ, чтобы можно было теперь еще терять время на разсужденія о томъ, чтѣ, по ихъ мнѣнію, всѣмъ и каждому извѣстно, чтѣ освящено временемъ, и потому не под-

лежитъ никакимъ возраженіямъ. Нашимъ училищнымъ уставомъ опредѣляется тѣлесное наказаніе только въ крайнихъ случаяхъ, когда всѣ другія исправительныя мѣры оказались недостаточными, и то только въ низшихъ классахъ. Но училищный уставъ писанъ не для родителей, а дѣти, поступающія 10-ти и болѣе лѣтъ въ школу, уже воспитывались до того, — такъ или иначе, — дома. Поэтому учителя и директоры училищ поставлены въ затруднительное положеніе, и нерѣдко недоумѣваютъ: должно ли продолжать начатое, или начинать новое. Сбѣченныхъ дѣтей не сбѣчь — значитъ терять надъ ними авторитетъ; а если сбѣчь, то нужно больнѣе. Человѣкъ, и еще болѣе дитя, скоро ко всему привыкаетъ; а выскыпи одного или двухъ, захочется попробовать и на другихъ: эта метода какъ-то проще и дѣйствиія ея нагляднѣе.

Большая часть сбѣкущихъ родителей и учителей, безъ сомнѣнія, дѣйствуютъ или по привычкѣ, или подражая. Недавно я видѣлъ двухъ-лѣтняго ребенка, который, держа въ рукѣ палку, билъ ею отца, смѣясь тѣмъ дѣтскимъ смѣхомъ, который такъ замаячивъ и для всѣхъ взрослыхъ. Въ движеніяхъ этой ручонки было такъ же мало смысла, какъ и въ наказующей рукѣ многихъ отцовъ и учителей.

Въ чемъ же состоитъ основная мысль тѣлеснаго наказанія вообще? 1) Выместить причиненную обиду. 2) Пристыдить. 3) Устрашить. Вотъ три чувства, на которыхъ человѣчество съ незапамятныхъ временъ основываетъ всѣ свои физическія исправительныя мѣры. Оставивъ мѣсть въ сторонѣ, какъ чувство, несвойственное ни христіанству, ни здоровой нравственности, руководившее только первобытныхъ законодателей младенствующаго общества, остановимся на двухъ современныхъ: — стыдѣ и страхѣ. — Но тотъ, кто хочетъ тѣлеснымъ наказаніемъ пристыдить виновнаго, не значитъ ли — хочетъ стыдомъ дѣйствовать на человѣка, потерявшаго стыдъ? Если бы онъ его еще не потерялъ, то для него достаточно была бы одна угроза быть тѣлесно наказаннымъ. Да и самое средство, направленное къ цѣли, не таково ли, что оно уничтожаетъ самую цѣль? Какъ вы хотите, чтобы удары розгою по обнаженному тѣлу ребенка могли пристыдить его, когда они именно и уничтожаютъ стыдъ, заставляя его дѣлать то, что онъ долженъ сты-

дѣлать? Пусть ребенокъ всегда стыдится заслужить такое наказаніе, — это не худо; но если онъ себя до него довелъ, то ужъ тутъ поздно стыдомъ дѣйствовать. Тутъ остается одинъ только страхъ. Но какой? не тотъ нравственный страхъ заслуженнаго наказанія, который возбуждается внутреннимъ чувствомъ совѣсти за нарушеніе предписываемыхъ ею правилъ, — а страхъ боли и истязаній. Неужели нужно у ребенка поставить совѣсть въ зависимость отъ розги? И ежели можно этого достигнуть, если можно достигнуть, наконецъ, того, чтобы физическая боль или одно воспоминаніе о боли пробуждало совѣсть, то желательно ли, утѣшительно ли это? Хорошо ли приучать совѣсть, это свободное чувство человѣка, — съ самыхъ юныхъ его лѣтъ, — къ зависимости отъ тѣлесныхъ или даже и духовныхъ, но болѣе зависимыхъ ощущеній? Или, можетъ быть, думаютъ, что одна мысль о боли достаточно устрашаетъ? При такомъ воззрѣніи, розга должна сдѣлаться для ребенка чѣмъ-то въ родѣ *metempero*. Одинъ взглядъ на нее, даже брошенный украдкой, уже долженъ страшить и потрясать. Тогда страхъ дѣлается чѣмъ-то среднимъ: ни чисто-физическимъ, ни чисто-нравственнымъ чувствомъ. Но въ такомъ случаѣ, чтобы быть послѣдовательными, мы не должны его допускать до конечнаго осуществленія. Есть нѣмецкая поговорка: „чортъ не такъ черенъ, какъ намъ его описываютъ“. Ее изобрѣли, вѣрно, тѣ, которые уже видѣли, по крайней мѣрѣ, во снѣ или въ бреду чорта. Трусъ, испытавъ однажды на дѣлѣ то, чѣмъ его пугало воображеніе, можетъ сдѣлаться вдругъ храбрецомъ. И ребенокъ, боявшійся одного взгляда на розгу, перестанетъ бояться, когда узнаетъ а *posteriori*, что она не такъ ужасна, какъ ему прежде казалось. Но, наконецъ, положимъ, вы достигли вашей цѣли; вамъ удалось возбудить самый лучшій физическій страхъ въ ребенкѣ, — чѣмъ вы будете его поддерживать? Вамъ еще понадобится его усиливать; ребенокъ ко всему скоро привыкаетъ. Гдѣ положить границу усиліямъ? А если онъ хоть на минуту освободится изъ-подъ дамоклова меча, если онъ хоть вскользь убѣдится, что его проступки могутъ остаться незамѣченными, какъ вы думаете — воспользуется ли онъ, или нѣтъ, своею мнимою свободою? Вотъ уже и двойственность, вотъ уже и опять — „быть и казаться“. Покуда розга

въ виду — все хорошо и въ приличномъ видѣ; когда исчезла изъ виду — кутежъ и разливъ. И это правственность! — Если же у васъ въ дому или въ школѣ обстоитъ все въ такомъ отличномъ порядкѣ, что ни одинъ проступокъ ребенка не можетъ остаться незамѣченнымъ, — то на что тогда розга? Лишь бы было это убѣжденіе, и преступленій бы не было: по крайней мѣрѣ, они случались бы какъ нельзя рѣже. — Но въ этомъ-то вся и загадка. Поселите это убѣжденіе, займитесь серьезно; это не такъ трудно, какъ кажется съ перваго взгляда, хотя, конечно, это сдѣлать труднѣе, чѣмъ приготовить хорошій березовый чай. Но и это еще далеко не все. Это только шагъ къ хорошему; но есть и еще лучшее. Сдѣлайте такъ, чтобы наказаніе за проступокъ было не внѣ, а внутри виновнаго — и вы дойдете до идеала нравственнаго воспитанія. Не забудьте, что я говорю это родителямъ: у нихъ въ рукахъ и мягкая масса для моделей, и форма. Но и учителя не должны забывать, что къ нимъ поступаетъ въ руки эта масса еще не совсѣмъ застывшею. Они могутъ изъ нея также еще кое-что вылѣпить.

Итакъ, розга — слишкомъ грубый и насильственный инструментъ для возбужденія стыда. А чувство стыда — это такой пѣжный, оранжерейный цвѣтокъ, который разомъ завянетъ, когда побываетъ въ грубыхъ рукахъ. Розга вселяетъ страхъ, — это правда, — но не исправительный, не надежный, а прикрывающій только внутреннюю порчу. Она исправляетъ только слабодушнаго, котораго исправили бы и другія средства, менѣе опасныя.

Я пишу все это только потому, что вѣрю въ слова покойнаго преосвященнаго Иннокентія. Онъ мнѣ сказалъ однажды: „всякая мысль, высказанная съ убѣжденіемъ, есть живое сѣмя, брошенное на землю; рано или поздно она пуститъ ростки“. Классъ сѣкущихъ, разумѣется, останется при своемъ убѣжденіи, — если онъ дѣйствуетъ точно по убѣжденію, а не по слѣпой привычкѣ и безтолковому подражанію; для нихъ розга, что ни говорите, все-таки останется незамѣнимою и неизбѣжною. — Но эти господа, согласные между собою въ основномъ принципѣ, не всѣ еще согласны въ способахъ, какъ его приводить въ дѣйствіе, и потому распадаются на нѣсколько сектъ.

Одна секта утверждаетъ, что надобно сѣчь сгоряча,

тотчасъ же на мѣстѣ преступленія, en flagrant délit. По ея мнѣнію, и наказуемый, и наказующій въ это время бывають въ такомъ особенномъ настроеніи духа, что первый лучше воспринимаетъ, а второй—лучше сообщаетъ. Другая секта откладываетъ наказаніе до болѣе удобнаго времени и совершаетъ его методически, съ толкомъ и съ разстановкою. Эту секту, въ ея высшемъ развитіи, составляли древніе наши педагоги, субботники, которые сѣкали всѣхъ своихъ питомцевъ по субботамъ сплошь и рядомъ, увѣряя, что виноватымъ это служить возмездіемъ за прошедшее, а невинатымъ пригодится въ будущемъ. Далѣе, третій родъ сѣкущихъ сторонниковъ, опасаясь возбудить въ дѣтяхъ, нелюбовь или ненависть къ наказующему, запрещаетъ сѣчь самимъ учителямъ и воспитателямъ, предоставляя это занятіе особеннымъ, нарочно къ тому подготовленнымъ, экспертамъ. Кажется, не нужно и упоминать, что такой дипломатическій расчетъ могли придумать только одни отцы-іезуиты. Впрочемъ, еще замысловатѣе четвертый классъ, который не такъ давно еще у насъ сѣкъ невинатаго, полагая этимъ исправить виноватаго, да еще и доказать ему свою любовь. Не нужно объяснять, что виновные были родныя дѣти, а невиноватые—слуги и пріемыши. Наконецъ, чтобы сдѣлать наказаніе нравственно полезнымъ не для одного только виновнаго, а и для другихъ его товарищей, пятый родъ адептовъ розги сѣчетъ не келейно, а торжественно, съ драматическою обстановкою, и самъ еще подраздѣляется на двѣ отрасли, изъ которыхъ одна призываетъ къ присутствію всѣхъ товарищей наказываемаго, чтобы ему было стыднѣе, а другая—вмѣняетъ это присутствіе въ наказаніе только однимъ провинившимся.—Вотъ съ этою-то отраслью, существованіе которой обнаруживается и въ Новороссіи, я хочу еще переговорить немного. Я уже ей сказалъ, что ея дѣйствія въ моихъ глазахъ безнравственны. Но она сомнѣвается. Будемъ судиться гласно.—Покуда все дѣло ограничивается только одною угрозою виноватому, что его заставятъ быть при наказаніи товарища или брата, то я ничего не имѣю сказать противъ этого. Если отецъ или учитель въ минуту гнѣва накажетъ ребенка передъ его братьями или соучениками, я также не сочту этого еще худымъ. Но если

воспитатель вмѣнить обдуманно въ наказаніе виноватымъ присутствовать при наказаніи другихъ, и заставить ихъ это сдѣлать, и не однажды, то, по моему, это значить—или не знать вовсе человѣческаго сердца, или имѣть о немъ самое худое мнѣніе, и тѣмъ именно его портить еще болѣе, нежели оно и безъ того уже испорчено. Чего вы хотите? Поселить въ присутствующемъ отвращеніе къ наказанію? Да вы поселяете одно отвращеніе къ наказующему. Вы хотите возбудить отвращеніе къ виновному? Но вы возбуждаете къ нему сочувствіе. Развѣ можно, не огрубѣвъ душою, безъ сожалѣнія слушать вопль и смотрѣть на борьбу сильнаго съ безсильнымъ? Какой родъ страха вы желаете развить въ вашемъ воспитанникѣ? Страхъ физическій или нравственный? Если первый,—то къ нему скоро привыкають, и онъ, смотря по характеру, рано или поздно переходитъ въ тупое равнодушіе, то прямо, то постепенно восходя отъ боязни до ужаса. А если второй, то вы не достигнете вашей цѣли розгою, будете ли ею дѣйствовать *a priori*, или *a posteriori*.

Его можетъ вселить только тотъ, кто его самъ имѣетъ, да и имѣетъ въ избыткѣ. Этотъ страхъ есть страхъ божій, который—насъ учили—есть и начало премудрости. Можетъ быть, вы и устрашите, но только однихъ трусовъ, да и тѣ будутъ бояться не наказанія, а наказующаго.

Желаете ли вы возбудить негодованіе на виновнаго въ его товарищахъ и одноклассникахъ,—а этого вы должны желать,—то вы не достигнете и этой цѣли, заставивъ, напротивъ, жалѣть его и сочувствовать его горю. Негодованіе обращается не на него, а на того, кто наказываетъ. Итакъ, исправительная мѣра, развивающая чувства, совершенно противныя тѣмъ, которыя вы хотѣли ею пробудить, по малой мѣрѣ, неприлична и неблагоприятна. Но если она еще къ тому можетъ зародить порочныя чувства, то она безнравственна. — Я знаю, что послѣдователи правилъ, упроченныхъ лишь временемъ, тяжелы на подъемъ,—и въ этомъ случаѣ они правы: время—важный аргументъ, когда оно вынесло на свѣтъ что-нибудь хорошее. Но въ этомъ-то вся и трудность. Докажите мнѣ, что при такой-то мѣрѣ дѣло шло хорошо,—да докажете еще, что хорошее именно и зависѣло отъ этой мѣры; тогда я первый

поклонюсь, пожалуй, и розгѣ, какъ бы я мало ни былъ расположенъ къ ней. А покуда, не испытавъ ничего другого и не доказавъ, что хорошее зависитъ именно отъ нея, если вы будете ссылаться на опытъ, — даже вѣковой, — я въ правѣ вамъ не повѣрить. Въ педагогикѣ, какъ и въ другихъ практическихъ наукахъ, логика все одна: все тоже вѣчное—*post hoc, ergo propter hoc* — должно непременно и непреложно доказывать пользу той или другой мѣры; да присоединяется и еще одно доказательство въ родѣ слѣдующаго: такой-то способъ или такое-то средство, очевидно, — энергическое, а потому оно не можетъ остаться безъ слѣдствій; оно должно непременно или помочь, или повредить; если же оно не вредитъ, то, слѣдовательно, помогаетъ. Вотъ хоть бы, наприкладъ, и въ медицинѣ: основываясь на такихъ силлогизмахъ, цѣлыя столѣтія все пускали кровь въ воспаленіяхъ легкаго. Врачъ, не пустившій кровь больному въ такомъ случаѣ, могъ попасть подъ судъ. Наконецъ, наплись люди, которые цифрою доказали, что страдающій воспаленіемъ легкаго можетъ выздороветь и безъ кровопусканія, да еще и чаще, и скорѣе выздоравливаетъ. А уже если есть на свѣтѣ энергическое средство, такъ — вѣрно — кровопусканіе; оно не розгѣ чета: не каплями, а фунтами лить кровь. Къ чему же тутъ служила вся оффиціальная логика? Умозаключенія были правильны, опытъ также подтверждалъ, время упрочивало факты, — да позабыли только одно: — испытать, не будетъ ли хорошо и иначе, безъ энергическихъ способовъ? А на повѣрку и вышло, что энергическое-то иногда прикидывается и на видъ вовсе такимъ не кажется.

1858 г.



ЧЕГО МЫ ЖЕЛАЕМЪ?

Отрывокъ изъ статьи: „Школа и жизнь“.

Кажется, очень легко отвѣчать на вопросъ: чего мы желаемъ? Но еслибы мы обо всемъ, начиная съ уличной продавки до государственнаго дѣла, должны были отвѣчать на эту тему, то немпогіе изъ насъ получили бы отмѣтку изъ логики: „cum eximia laude“. Да мало этого: мы, говоря по совѣсти, и не желаемъ спрашивать себя: чего мы желаемъ? Отчего же это? — или нѣтъ, — я спрошу прежде: правда ли это? и спрошу недаромъ, потому что, знаю, люди практическіе скажутъ тотчасъ же: „неправда“. Они дѣйствительно всегда спрашиваютъ себя, — а если и не спрашиваютъ, то все-таки хорошо знаютъ, чего хотятъ. И отвѣтъ ихъ всегда коротокъ и ясенъ, оттого, что они всегда преслѣдуютъ ближайшую цѣль, — что, впрочемъ, не мѣшаетъ имъ быть и дальновидными. Дальновидность мѣряется результатами. А преслѣдуя одну ближайшую цѣль за другою, можно дойти до результатовъ самыхъ блестящихъ. Истинный практикъ не заботится о послѣдовательности. Онъ непричастенъ аномаліи, извѣстной подъ названіемъ „логическаго ослѣпленія“.

Я дѣйствительно виноватъ, не сказавъ, что мой вопросъ касается не одной только ближайшей цѣли. Такая цѣль и слишкомъ ясна, и слишкомъ близка нашему я, чтобы затруднять отвѣтъ. Правда, иногда нелегко открыть фактъ, опредѣляющій ближайшую цѣль; нелегко иногда достигнуть такой цѣли, какъ бы она близка ни казалась; нужно иногда много воли и ума, чтобы вѣрно ея достигнуть; но опредѣлить ее

вообще нетрудно. И практическій геній совсѣмъ не тотъ, кто преслѣдуетъ далекія цѣли. Такія достоинства приписываютъ ему только его исторіографы и біографы. Онъ великъ тѣмъ, что умѣетъ настойчиво преслѣдовать одну цѣль за другою и достигать — одной за другою. Но вопросъ: чего мы желаемъ, поставленный въ моемъ смыслѣ, наврядъ-ли когда-нибудь занималъ великихъ практиковъ. Имъ было не до того. Изъ этого, однако-же, не слѣдуетъ, что онъ не долженъ занимать и насъ. У насъ болѣе досуга, чѣмъ у великихъ дѣятелей; а на-досугъ, имѣя въ виду не одну только ближайшую цѣль, не худо иногда спросить себя: чего мы желаемъ? Скажутъ, что сужденіе объ отдаленномъ, когда ближайшее и подручное еще не достигнуто, бесполезно. Скажутъ, что несравненно полезнѣе удовлетворить очевиднымъ и настоящимъ потребностямъ способами, которые окажутся подъ руками. Скажутъ, что, будь эти способы даже полумѣры, лишь бы были сподручны, то они дѣйствительнѣе самихъ мѣръ, назначенныхъ для достиженія далекихъ цѣлей. Нѣтъ спора, эти возраженія, взятые изъ опыта жизни, трудно одолѣть. Но, съ другой стороны, этотъ же самый опытъ не убѣждаетъ ли насъ, что, преслѣдуя нашими полумѣрами одно ближайшее, мы незамѣтно попадаемъ въ такой лабиринтъ, изъ котораго трудно бываетъ выбраться. Правда, не мы одни виноваты. Еще отцы и праотцы наши не однажды заводили насъ въ безвыходное положеніе. Но нельзя сказать по совѣсти, чтобы мы дѣятельно пытались выйти изъ него. Мы только попеременно дѣлаемъ шагъ впередъ и шагъ назадъ, преслѣдуя однѣ ближайшія и слишкомъ осязательныя цѣли. А привыкнувъ къ этому способу прогресса, мы отвыкаемъ — и потомъ даже боимся спросить себя: чего мы желаемъ? Да, я утверждаю, — и сознаюсь — утверждаю, основываясь на собственномъ опытѣ, — что намъ дѣлается жутко при этомъ простомъ вопросѣ. Мы чувствуемъ, что отвѣтъ на него слишкомъ ясно представить нашу собственную нищету духа, разслабленнаго противорѣчіями и непоследовательностями. Но, кромѣ боязни, внушаемой одною суетностью, этотъ вопросъ можетъ возбудить еще другое, болѣе серьезное, опасеніе. Спрашивая себя: чего мы желаемъ? мы невольно, хотя издалека, касаемся идеальной стороны того дѣла, о которомъ судимъ. А за-

трогивать эту сторону страшно. Она-то и наводит иногда логическое ослѣпленіе, которое дѣйствительно ни для кого не здорово. Но, побѣдивъ суетность, можно одолѣть и робость ума. Можно взглянуть и на идеаль, какъ бы онъ ни казался свѣтель или непроницаемъ. Конечно, тутъ все зависитъ отъ индивидуальнаго склада ума. Говорять, что каковъ человѣкъ, такова его и философія. Одинъ — подробно разбираетъ лицевую сторону дѣла. Другой — доводитъ до крайнихъ предѣловъ разныя стороны того же дѣла и рассматриваетъ въ немъ идеальныя противоположности. Почему же одинъ способъ воззрѣнія долженъ быть непременно лучше другого? Есть, правда, и на это мода: одинъ способъ бываетъ больше въ модѣ сегодня, чѣмъ вчера; но, по закону противодѣйствія, можетъ быть и на другой улицѣ праздникъ. И въ нашъ вѣкъ, который судить о вещахъ, какъ онъ есть на-лицо, проявляются такіе взгляды, что могутъ поспорить въ идеальности и съ стародавними. Съ другой стороны, если мое „чего мы желаемъ?“ и опасно, потому что затрогиваетъ идеальную сторону, то зато оно предохраняетъ насъ вѣрнѣе отъ противорѣчій и непослѣдовательностей. Того, кто не потерялъ еще способности быть собственнымъ экзаменаторомъ, этотъ вопросъ скоро выведетъ на чистую воду. На него самому себѣ нельзя отвѣчать увертливо. Да и идеальная сторона въ дѣлахъ совсѣмъ не такъ опасна, какъ кажется. Она не препятствуетъ дѣйствовать. Положимъ, вы предлагаете нововведеніе. Положимъ, что, спрашивая себя, чего вы желаете, вамъ невольно представляется идеаль вашего нововведенія, — это натурально; потому что мы всегда желаемъ болѣе, чѣмъ можемъ достигнуть. — Что же за бѣда? Если вы человѣкъ энергическій и истинный практикъ, т.-е., умѣете находить средства и ими дѣйствовать въ-время, то вамъ и нужды не будетъ до идеальной стороны дѣла. — Если же вы человѣкъ обыкновенный, то чѣмъ же опасно пристальнѣе всмотрѣться въ далекую перспективу идеала? Опасность логическаго ослѣпленія не должна устрашать васъ. Это ослѣпленіе происходитъ не столько отъ логическихъ слѣдствій одного идеальнаго начала, проведенныхъ до послѣдней крайности, сколько отъ ошибочнаго взгляда на самое начало. Я, напримѣръ, когда-то рассуждалъ съ однимъ логически-ослѣпленнымъ о гласности,

и услышалъ отъ него, что будто-бы мы въ каждой печатной книгѣ должны всегда читать между строкъ одобрителъную подпись правительства. Еслибы это было такъ, то, конечно, ни одно правительство не допускало бы ни противорѣчащихъ мнѣній, ни критики, потому что иначе оно одобряло бы и „да“, и „нѣтъ“. Но мало этого: мой логически-ослѣпленный собесѣдникъ доказывалъ, что нельзя ни хвалить, ни одобрять ни одну общественную мѣру и ни одно официальное лицо, утверждая, что если кто позволяетъ хвалить и одобрять, тотъ долженъ также позволить хулить и порицать. Не очевидно ли, что логическое ослѣпленіе произошло въ этомъ случаѣ не отъ крайнихъ слѣдствій принципа, выведенныхъ совершенно логически, но отъ ложно идеализированной стороны самого принципа. Всѣ заключенія ослѣпленнаго непременно бы распались, если бы онъ уяснилъ себѣ задачу всѣхъ общественныхъ охранительныхъ мѣръ, и на вопросъ: чего мы желаемъ отъ этихъ мѣръ? отвѣтилъ бы: того, чтобы онѣ не выходили изъ предѣловъ, за которыми въ видѣ контрабанды начинаются вредныя слѣдствія противодѣйствія. Впрочемъ, логическое ослѣпленіе отъ идеала—для большинства людей—рѣдко бываетъ продолжительно. Жизнь скоро убѣждаетъ, что всѣхъ противорѣчій и непослѣдовательностей совершенно избѣжать нельзя. Да они и не такъ вредны, если только вѣрно служатъ одному общему, послѣдовательно проведенному, началу. Итакъ, правильно рѣшая вопросъ: чего мы желаемъ?—намъ нечего опасаться логическаго ослѣпленія.

Если бѣдствія и грубое воспитаніе не сдѣлали насъ идиотами; если наша практичность не чрезъ мѣру озабочиваетъ насъ достиженіемъ ближайшей цѣли; если эта же самая практичность, односторонне развитая, не превратила насъ въ чистыхъ формалистовъ,—то, судя о томъ или другомъ дѣлѣ, какъ бы оно ни казалось намъ житейскимъ и всеневнымъ, намъ нельзя не коснуться идеальной его стороны. Коснувшись этой стороны, вы узнаете,—а если не узнаете, то почувствуете, какъ далеко вы отстоите отъ нея. Да не только это,—вы еще вдобавокъ узнаете и про самого себя, что вы за человѣкъ. Сравнимъ для примѣра два крайнихъ случая. Первый случай. Вы стоите на одной изъ низшихъ ступеней нашей чиновнаго-іерархической

лѣстницы. Вы ищете мѣста въ уѣздномъ или приходскомъ училищѣ. Покуда нѣтъ вакансіи, вы задаете себѣ вопросъ: чего вы желаете? Положимъ, что на первомъ планѣ вашего отвѣта рельефно выступить вся матеріальная обстановка дѣла: жалованье, квартира, чинъ, доходы. Но если вашъ отвѣтъ вамъ ничего болѣе не вынесетъ, какъ одну эту обстановку, то и этого довольно: вы, по крайней мѣрѣ, узнаете, что вы за человѣкъ. Положимъ, однако-же, хоть изъ ста одинъ разъ, что сѣдина волосъ и служба еще не сдѣлали изъ васъ закоснѣлаго практика, или черствѣйшаго формалиста:—вы непременно услышите еще въ вашемъ отвѣтѣ и отголосокъ съ другой, отдаленной стороны. Можетъ быть, вы услышите, что вамъ хотѣлось бы совѣстливо исполнить обязанности наставника. Такой отвѣтъ вызоветъ новый вопросъ объ обязанностяхъ, а сужденіе о нихъ доведетъ васъ и до значенія того скромнаго мѣста, которое вы ищете. Вотъ уже предъ вами и идеаль вашего дѣла, и вы узнаете, насколько есть у васъ желанія, насколько воли—приблизиться къ этому идеалу. Это значитъ—вы узнаете въ одно и то же время и чего вы ищете, и что вы за человѣкъ.

Другой случай. Вы—государственное лицо. Вы разсматриваете государственныя учрежденія какого-нибудь народа. Вы находите то или другое учрежденіе недостаточнымъ. Но, чтобы измѣнить его, вы дѣлаете себѣ предварительно вопросъ: чего вы желаете отъ государства? Имѣя въ виду одну ближайшую цѣль, вы скажете: я желаю, чтобы государство не находилось въ противорѣчій съ жизненною цѣлью народа, а, напротивъ, чтобы оно было ея выраженіемъ и потребностью. Но, бросивъ взглядъ на идеальную сторону вопроса, вы отвѣтите: я желаю, чтобы государство непрерывно и постоянно стремилось къ гармоническому развитію всѣхъ врожденныхъ силъ народа. Смотря по тому, который изъ этихъ двухъ отвѣтовъ вы положите основаніемъ вашихъ дѣйствій, они могутъ быть діаметрально противоположными. Принявъ за основаніе первый отвѣтъ, вы, можетъ быть, отвергнете цѣлый рядъ такихъ нововведеній, которыя, мощно содѣйствуя развитію народа, будутъ противорѣчить его жизненной цѣли, или наоборотъ. И тутъ же, полагая тотъ или другой отвѣтъ въ осно-

ваніе вашихъ дѣйствій, вы сказываетесь вмѣстѣ, что вы за человѣкъ.

Итакъ, я остаюсь при моемъ убѣжденіи, что, задавая себѣ вопросъ: чего мы желаемъ?—мы открываемъ себѣ путь къ идеальной сторонѣ каждаго дѣла; рѣшая этотъ вопросъ, мы узнаемъ, насколько мы еще отдалены отъ идеала, и съ тѣмъ вмѣстѣ узнаемъ самихъ себя. Ясно ли это для другихъ, — не знаю; но я, при моемъ складѣ ума, никогда не пойму, чтобы идеалъ, какъ ложный призракъ недосягаемаго совершенства, не могъ руководить насъ ни въ дѣйствіяхъ, ни въ сужденіяхъ. Идеальное мнѣ представляется нитью электрическаго телеграфа, одинъ конецъ котораго тянется къ намъ чрезъ всю земную жизнь, а другой—исчезаетъ въ безпредѣльности. Какъ идея времени, пространства, числа и мѣры, такъ и идея совершенства, служащая незримою мѣрою нашихъ дѣйствій, присущи человѣку.—Такъ или нѣтъ, но, по крайней мѣрѣ, я высказался, и вы, познакомившись съ складомъ моего ума, не удивитесь, когда услышите, что я мой взглядъ прилагаю и къ сужденію о дѣлѣ, близкомъ моему сердцу,—именно о дѣлѣ университетскомъ.

Семь цѣлыхъ вѣковъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ многозначительнымъ именемъ: „universitas“ назвались корпораціи, организованныя замѣчательными личностями въ Парижѣ, въ Салерно и въ Болоньѣ. Да еще и прежде, въ десятомъ столѣтіи, существовали высшія школы при Омміадахъ въ Испаніи, а изъ нихъ—кордовская,—основанная сыномъ Абдеррахмана Великаго и замѣчательная тѣмъ, что была мѣстомъ образованія папы Сильвестра II.—вѣроятно, служила поводомъ къ учрежденію медицинской школы въ Салерно. Съ тѣхъ давнихъ поръ много перемѣнъ испытали университетскія корпораціи. Но всѣ эти перемѣны можно подвести подъ три разряда. Однѣ—касались только учрежденія и администраціи. Другія—происходили въ самомъ духѣ, оживляющемъ всѣ разсадники просвѣщенія. Третьи—относились къ способамъ ученія. Каждая изъ этихъ трехъ перемѣнъ проходила различныя фазы, смотря по тому, какая мысль господствовала, измѣняя организацію, духъ и способъ ученія университетовъ.

Исторія среднихъ вѣковъ, приписывая первое начало школъ арабскимъ калифамъ и Карлу Великому, тѣмъ самымъ доказываетъ, что распространеніе просвѣщенія на Западѣ, точно такъ же, какъ и у насъ, шло прежде сверху внизъ. Но, пропустивъ все обончательное время переселенія народовъ и крестовыхъ походовъ, мы видимъ, также изъ исторіи, что въ началѣ тринадцатаго столѣтія частныя лица собираютъ вокругъ себя учениковъ, читаютъ публичныя лекціи, составляютъ небольшія общины и кладутъ первое основаніе университетамъ. — Потомъ правительства признаютъ законнымъ существованіе этихъ корпорацій и утверждаютъ за ними особенныя права. Сначала регенты и папы, а потомъ и одни регенты утверждаютъ эти права. Впослѣдствіи уже папы, императоры и короли сами основываютъ университеты по образцу первыхъ, самородныхъ общинъ, и также снабжаютъ ихъ особенными привилегіями. Такимъ образомъ университеты дѣлаются мало-по-малу *status in statu*. Наконецъ, когда правительства, на континентѣ Европы, ничего лучшаго не могли придумать для благосостоянія народовъ, какъ бюрократическую централизацію, то и университеты, вмѣстѣ съ другими учрежденіями, покоряются ея всемогущему вліянію.

Итакъ, перемѣны въ учрежденіяхъ университетовъ можно опредѣлить тремя періодами, сказавъ, что они родились подъ вліяніемъ умственной силы передовыхъ личностей, развились и окрѣпли подъ защитою правительствъ и, наконецъ, на-ряду съ другими государственными учрежденіями, подчинились механизму бюрократической централизаціи. Одни англійскіе университеты (за исключеніемъ шотландскихъ) остались до сихъ поръ такими же почти корпораціями, какими были и въ тринадцатомъ вѣкѣ; даже и тотъ изъ нихъ нисколько не подвергся дѣйствию централизаціи, который основанъ въ наше время (лондонскій университетъ, въ 1828 г.), подъ вліяніемъ вѣговъ, на акціяхъ. — Наши русскіе университеты со дня рожденія перваго изъ нихъ (московскаго) до сихъ поръ являются учрежденіями чисто правительственными, уже съ самаго начала централизованными. Потому, если въ нашихъ университетахъ встрѣчаются нѣкоторыя перемѣны въ учрежденіи, то онѣ касаются не основныхъ началъ, а болѣе частныхъ, какъ-то:

преобразованій гимназій и лицеевъ въ университеты (въ Казани и Кіевѣ), перемѣщеній центральной власти изъ одного вѣдомства въ другое, и т. п.

Измѣненія въ самомъ духѣ и направленіи университетовъ означаются на Западѣ также рѣзко-опредѣленными фазами. Мы видимъ, въ теченіе семивѣкового существованія университетовъ, попеременно господствующимъ то элементъ духовно-церковный, то народный (національный), то филантропическій, то чисто научно-образовательный. Хотя основателями первыхъ университетовъ были не одни духовныя лица, а часто — и даже чаще — свѣтскія, но съ тринадцатаго до шестнадцатаго столѣтія (за исключеніемъ, можетъ быть, одного университета въ Неаполѣ, учрежденнаго императоромъ Фридрихомъ II) всѣ университеты учреждались не иначе, какъ съ утвержденія папъ, а теологическіе факультеты даже и образовались подъ вліяніемъ нищенствующихъ монаховъ и священниковъ. Все это несомнѣнно доказываетъ, что церковь имѣла сильное вліяніе на духъ университетовъ: въ первое время, да и впослѣдствіи, даже послѣ реформаціи, мы замѣчаемъ еще сильное вліяніе церкви на теологическіе факультеты протестантскихъ университетовъ, ограничивающей свободу религіознаго ученія символическими книгами. Но съ самаго начала также обнаруживается въ университетскихъ корпораціяхъ и національный элементъ. Члены корпорацій раздѣляются прежде по народностямъ и потомъ уже по факультетамъ. Вліяніе національнаго элемента было по временамъ такъ сильно, что подавало не разъ поводъ къ серьезнымъ столкновеніямъ. Когда національное чувство обижалось предпочтеніемъ, оказаннымъ правительствомъ другой націи, то и профессоры, и студенты переселялись на новыя мѣста и основывали новую корпорацію. Такъ, лейпцигскій университетъ основали въ 1400 г. нѣмецкіе студенты и профессоры, вытѣсненные изъ Праги богемцами. Преобладанію національнаго элемента нужно приписать тѣ политическія движенія (приписываемыя „обществу буршеншафтовъ“), которыя обнаружили въ германскихъ университетахъ въ семнадцатыхъ годахъ нашего столѣтія и извѣстны подъ именемъ „вартбургскаго праздника“. — Филантропическій элементъ также не былъ чуждъ западнымъ университетамъ, хотя и никогда не

былъ господствующимъ. Извѣстно, что такъ-называемыя collegia, существующія еще теперь въ оксфордскомъ и кембриджскомъ университетахъ, и bursae германскихъ университетовъ были вначалѣ не что иное, какъ заведенія, учрежденныя для помѣщенія недостаточныхъ студентовъ, въ которыхъ они получали и квартиру, и столъ. А въ Оксфордѣ студенты (извѣстные подъ именемъ „servitors“) разсылались по скрестностямъ для собиранія милостыни, снабженные официальными дозволеніями отъ университетскаго начальства. Наконецъ, научно-образовательный элементъ, какъ присущій самому первому учрежденію западныхъ университетовъ, стремился всегда къ преобладанію надъ другими. Имѣя главнымъ основаніемъ свободу мысли и слова, онъ нерѣдко боролся и съ церковно-догматическими, и съ бюрократическими началами. Извѣстно, какую важную роль играли и въ дѣлахъ Гусса и Лютера Сорбонна и теологическіе факультеты въ Прагѣ и Виттенбергѣ. Извѣстно также, какое вліяніе въ дѣлахъ реформации оказали гуманисты, вышедшіе изъ нѣдръ средневѣковыхъ университетовъ. Трудно было университетамъ промѣнять свои средневѣковыя привилегіи на бюрократическія нововведенія. Но должно сознаться, что вмѣшательство бюрократіи, сравнительно съ дѣйствіями церкви, не столько препятствовало развитію научнаго элемента. Мы видимъ это, сравнивая германскіе университеты съ англійскими. Тогда какъ первые, несмотря на вліяніе бюрократизма, развили научный элементъ въ чистотѣ; вторые, оставшись во власти господствующей (англиканской) церкви, едва сохранили одинъ образовательный характеръ, да и то благодаря только неподражаемой системѣ государственнаго правленія Англіи. Изъ всѣхъ четырехъ элементовъ, которые попеременно вліяли на духъ западныхъ университетовъ, только одинъ образовательно-благотворительный (филантропическій) господствовалъ исключительно въ нашихъ университетахъ. — Говорятъ, что еще Петръ Великій въ проектѣ академіи „строго отдѣлилъ ея задачу отъ задачи университетовъ“. Я не читалъ этого проекта, и потому ссылаюсь на слова г. Шевырева. Если мысль Петра была дѣйствительно такова, то ясно, что и преобразователь нашъ не положилъ русскимъ университетамъ цѣлью быть двигателями науки. Тогда

какъ на Западѣ первые учредители университетовъ были вмѣстѣ и первыми представителями тогдашней науки, въ Россіи эту роль присуждено было играть „по преимуществу“ академикамъ. Впослѣдствіи и Петръ, и особливо его преемница, Екатерина I, кажется, имѣли намѣреніе дать самой академіи не одинъ научный, но и образовательный характеръ. Это видно, по крайней мѣрѣ, изъ страннаго проекта того времени выписывать для академіи чужеземныхъ учениковъ, за недостаткомъ собственныхъ, знакомыхъ съ русскимъ языкомъ. Долго и послѣ того существовали при нашей академіи наукъ такъ-называемые элѣвы, изъ которыхъ нѣкоторые сдѣлались профессорами. Хотя и въ другихъ странахъ академіи, съ ихъ чисто-научнымъ характеромъ, отдѣлены отъ университетовъ, но, сколько мнѣ извѣстно, ни одинъ университетъ на Западѣ еще не отвергалъ жизненной необходимости соединенія двухъ элементовъ—научнаго и образовательнаго—въ одно цѣлое. И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ положить границы тому и другому? Кто истинно двигаетъ науку, тотъ, по врожденной человѣку склонности, желаетъ и другихъ сдѣлать участниками этого движенія. Кто излагаетъ науку, тому естественно и желаніе быть ея двигателемъ. Да и у насъ, въ указѣ, данномъ Елисаветою (1755), объ учрежденіи московскаго университета, односторонняя мысль, приписываемая Петру, выражается уже не такъ ясно. Изъ словъ указа: „нужда необходимая о томъ стараться, чтобы способомъ пристойныхъ наукъ возрастало въ пространной нашей имперіи всякое полезное знаніе“, скорѣе можно заключать, что императрица имѣла намѣреніе сообщить оба характера будущей дѣятельности университета. Какъ бы то ни было, но опытъ, однако-же, подтвердилъ мысль Петра, если она дѣйствительно существовала. Наши университеты, въ самомъ дѣлѣ, получили и усвоили себѣ одинъ только образовательный характеръ, соединивъ его съ филантропическимъ элементомъ, явившимся въ призрѣніи бѣдныхъ студентовъ, въ стипендіяхъ и т. п. Даже сто лѣтъ спустя послѣ учрежденія перваго университета въ Россіи, на его юбилей, ораторъ рѣзко разграничиваетъ дѣятельность университета и академіи, говоря, что „дѣло университета преподавать молодому поколѣнію науки въ современномъ ихъ состояніи; дѣло академіи—двигать науку впередъ“.

Наконецъ, измѣненія третьяго рода, относящіяся до способа ученія, обнаружились во всѣхъ университетахъ въ двухъ видахъ. Онъ былъ и есть то обязательно-принудительный, то свободный. Въ первые вѣка существованія университетовъ преподаватели не были на жалованьи у правительства; они содержались гонорарами. При такой обстановкѣ трудно себѣ представить ученіе принудительно-обязательнымъ. Но оно и безъ принужденія должно было сдѣлаться обязательнымъ, отъ самаго способа изложенія науки, потому что до изобрѣтенія книгопечатанія учащіеся не имѣли другого способа изучать науку, какъ записывая лекціи своихъ наставниковъ, и, слѣдовательно, по-неволѣ должны были и посѣщать ихъ, и дорожить ими. Правда, учрежденіе коллегій и бурсъ указываетъ болѣе на принудительный характеръ образованія; но, вѣроятно, въ первое время, все дѣло ограничивалось исполненіемъ обязанностей корпоративныхъ, а не научныхъ. Впослѣдствіи, однако-же, ученіе въ коллегіяхъ приняло дѣйствительно принудительный характеръ, какъ это мы и теперь еще видимъ въ оксфордскомъ и кембриджскомъ университетахъ. Извѣстно, что ученики каждой коллегіи (а коллегій въ Оксфордѣ 20, въ Кембриджѣ 17) посѣщаютъ не публичныя лекціи профессоровъ, а обязаны заниматься отдѣльно, съ такъ-называемыми тьюторами, чтеніемъ, переводами классиковъ, рѣшеніемъ задачъ; отъ студентовъ требуется отчетъ о содержаніи прочитанныхъ книгъ и т. п. Совершенно свободное посѣщеніе и слушаніе лекцій осталось преимущественною принадлежностью германскихъ университетовъ. Что касается до насъ, то извѣстно, какъ часто колебались мнѣнія о пользѣ свободнаго и обязательнаго способа ученія, съ самаго начала учрежденія русскихъ университетовъ. Такъ, еще на моей памяти—ежедневныя переклички по спискамъ, ежедневныя репетиціи у однихъ и совершенно свободное посѣщеніе лекцій у другихъ профессоровъ одного и того же университета. Я помню, какъ, приноравливаясь къ обстоятельствамъ, испытывали сравнительныя выгоды перекличекъ послѣ лекцій, передъ лекціями и даже къ срединѣ лекцій. Я слушалъ лекціи у профессоровъ, дѣлавшихъ репетиціи ежедневно, не понимая, гдѣ они возьмутъ времени излагать науку. Я знаю также, что пробовали, для вѣрности, сажать студен-

товъ на нумерованныя мѣста и потомъ перекликать; знаю даже, что ихъ запирали въ аудиторіяхъ вмѣстѣ съ профессорами. Я присутствовалъ и при перекличкахъ по спискамъ, хранившимся въ карманѣ у профессоровъ, и по разграфованнымъ книгамъ. Но я также учился, и самъ читалъ лекціи въ одномъ изъ русскихъ университетовъ, въ которомъ никто не слыхивалъ ни о репетиціяхъ, ни о перекличкахъ. Въ недавнее время всѣ эти принудительные способы начали мало-по-малу исчезать изъ нашихъ университетовъ, и теперь наврядъ-ли существуютъ они гдѣ-нибудь въ прежней силѣ. Бесполезность ихъ, кажется, для всѣхъ сдѣлалась очевидною; касательно перекличекъ, кажется, всѣ убѣдились, что сидѣть на лекціи и слушать, т.-е. вникать, — двѣ совершенно различныя вещи. Какъ бы ни было велико ученое самолюбіе доцентовъ, но всѣ они, кажется, поняли, что гораздо пріятнѣе учить аудиторію свободныхъ любителей просвѣщенія, хотя неполную, но зато внимательную. Нѣсколько замѣчательныхъ обстоятельствъ были слѣдствіемъ нашего принудительнаго способа ученія. Они показываютъ, какъ легко мѣры, проводимыя нами, если онѣ ненормальны, могутъ породить и ненормальное понятіе о собственномъ достоинствѣ. Нѣкоторые изъ прежнихъ профессоровъ, слѣдуя ревностно системѣ перекличекъ, наконецъ, получили неизъяснимое отвращеніе отъ тѣхъ слушателей, имена которыхъ у нихъ не значились въ спискахъ. Слабостью ихъ пользовалась легкомысленно молодежь, и пугала воображеніе почтенныхъ доцентовъ именемъ „чужака“ (т.-е. посторонняго посѣтителя), заставляя ихъ прерывать чтеніе лекцій и изобрѣтать различныя эволюціи для изгнанія припелца. Сверхъ того, я не однажды слыхалъ, какъ нѣкоторые профессора горько жаловались на то, что студенты не посѣщаютъ ихъ лекцій. Что можно отвѣчать автору, который жалуется, что его книгу мало читаютъ? Конечно, — одно изъ двухъ: или читатели его не понимаютъ, или онъ не понимаетъ читателей. Въ обоихъ случаяхъ, кажется, онъ долженъ болѣе винить самого себя. Есть и еще одно слѣдствіе, которое, вѣроятно, осталось не въ одномъ только университетѣ отъ принудительнаго способа ученія; слѣдствіе это хотя и незначительно, но все-таки нехорошо тѣмъ, что приучаетъ молодыхъ людей смотрѣть на законъ какъ на

мертвую букву. Я хочу сказать о лекціонныхъ листахъ, подписываемыхъ профессорами и деканомъ въ удостовѣреніе будто-бы того, что владѣтель этого листа дѣйствительно посѣщалъ лекціи. Гдѣ переключки вывелись, а такіе листы остались, тамъ очевидно, что подписываніе ихъ въ видѣ удостовѣренія есть чистая комедія, которую разыгрываютъ и учащіе, и учащіеся. Но я долженъ сознаться, что вся эта, довольно забавная, обстановка принудительно-обязательнаго ученія еще не говоритъ противъ него; потому что нашъ университетскій способъ ученія собственно былъ не принудительный, а, какъ большая часть нами принимаемыхъ мѣръ, полупринудительный. Этимъ-то, я думаю, и должно объяснять его несостоятельность. Дѣйствительно, для достиженія цѣли можно сдѣлать только одно изъ двухъ: или принять систему обязательно-принудительнаго ученія, и принять ее вполне, со всѣми ея выгодами и недостатками; или же отвергнуть ее вполне и замѣнить системою свободнаго ученія. Принявъ первое, нужно, по крайней мѣрѣ, распорядиться такъ, какъ въ англійскихъ университетахъ: ввести коллегіи, тьюторовъ, замѣнить публичныя лекціи уроками и изъ открытаго заведенія сдѣлать закрытое. Принявъ послѣднее, не должно мѣшать его пополамъ съ первымъ; такое *mixtum compositum*, вмѣсто выгодъ, будетъ вмѣщать въ себѣ только одни недостатки обоихъ, одинъ другому противоположныхъ, способовъ. Но чтобы остановиться на одномъ изъ двухъ, нужно предварительно спросить себя: чего мы желаемъ, вводя тотъ или другой способъ ученія? А этотъ вопросъ приведетъ насъ непременно къ другому: чего мы желаемъ вообще отъ университетовъ? Требуемъ ли мы того, чтобы университетъ доставлялъ всѣ способы и средства къ образованію самостоятельныхъ дѣятелей науки, или же ограничиваемся мы только желаніемъ, чтобы университетъ образовалъ достаточное число людей хотя и дюжинныхъ, но полезныхъ для исполненія различныхъ потребностей общества и государства?

Изъ краткаго очерка измѣненій, которыя происходили въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ и въ учрежденіи, и въ способѣ ученія, и въ самомъ духѣ университетовъ, нетрудно убѣдиться, что правительства, общество и различныя сословія неодинаково смотрѣли на цѣль этихъ учрежденій и не одного и

того же отъ нихъ требовали. Университетскія корпораціи, при первомъ своемъ появленіи на свѣтъ, были, повидимому, не болѣе какъ выраженіемъ частнаго любознанія, свойственнаго каждому человѣку при извѣстной степени развитія. Къ пробужденію любознательности, вѣроятно, не мало содѣйствовало нравственно-духовное вліяніе нѣкоторыхъ передовыхъ личностей вѣка. Собственно же этимъ путемъ стремилась выразиться врожденная человѣку наклонность къ свободѣ мысли и слова, и учрежденіе университетскихъ общинъ на Западѣ было, въ ту эпоху умственного оцѣпенѣнія, первымъ признакомъ начинавшейся реакціи духа. Въ то время, когда идея государства еще не была выработана, когда законъ самосохраненія требовалъ, чтобы каждое сословіе, каждое занятіе, составляло особую корпорацію, понятно, что и научныя занятія должны были принять такой же видъ. Университеты сами организовали себя, сами писали себѣ уставы, сами себѣ назначали, изъ своей же среды, особенное управленіе, и потомъ уже обращались къ правительству, чтобы оно утверждало своею властью ихъ самобытное существованіе въ обществѣ. Но правительства, — и именно церковно-правительственная (папская) власть, — уже съ самаго начала стремились подчинить себѣ университетскую общину, и, безъ сомнѣнія, не съ одною цѣлью нравственнаго контроля, а съ тѣмъ, чтобы сдѣлать ихъ послушными орудіями своего вліянія на умы. И дѣйствительно, вліяніе университетовъ на современное общество, даже и въ первомъ періодѣ ихъ существованія, было немаловажно. Мы это видимъ, между прочимъ, изъ того, что при Людовикѣ IX (Святомъ) университетская община, не найдя у двора удовлетворенія за нанесенную ей обиду, ушла изъ Парижа, и французское правительство само искало съ нею примириться, чрезъ посредничество папы Григорія IX, увеличивъ потомъ еще болѣе ея права и привилегіи. Итакъ, хотя и нельзя думать, чтобы въ тѣ отдаленныя времена правительства ясно понимали всю силу нравственнаго вліянія университетовъ на общество; хотя и трудно рѣшить, въ какой мѣрѣ сами университеты сознавали имъ присущую нравственную силу; но все-таки можно принять, что и тогда уже и свѣтскія и духовныя власти предугадывали возможность оппозиціи въ этихъ общинахъ, а сами общины, болѣе или ме-

нѣе сознательно, чувствовали въ себѣ возможность противо-
дѣйствія. Впослѣдствіи мы видимъ, что университеты преслѣ-
дуютъ не одну научную цѣль, но получаютъ отчасти и поли-
тический характеръ. Сами правительства, какъ это мы видимъ
изъ исторіи прагскаго университета, стараются поддержать во-
шедшій въ университеты элементъ народности, и не только не
препятствуютъ, но даже стараются упрочить вліяніе универси-
тетовъ и на политическій ходъ событій. Мы знаемъ, что юристы,
получившіе образованіе въ университетахъ, становятся на сто-
ронѣ правительствъ въ борьбѣ феодальной власти съ монархи-
ческою. Правительства пользуются также вліяніемъ теологиче-
скихъ факультетовъ во время религіозныхъ споровъ и въ дѣ-
лахъ реформаціи. Наконецъ, когда въ Германіи научно-духов-
ное вліяніе университетовъ, послѣ реформаціи, и нравственно-
національное, послѣ народной войны 12-го года, дѣлается уже
слишкомъ могущественнымъ, правительства находятъ необхо-
димымъ противодѣйствовать излишней свободѣ мысли и слова
централизаціею и бюрократизмомъ. Итакъ, вопросъ: чего же-
лали правительства отъ университетовъ на Западѣ и
чего желали сами университеты, рѣшается различно.
Вообще, однако-же, можно сказать, что до послѣдняго вре-
мени къ дѣйствіямъ университетовъ, направленнымъ для дости-
женія научно-образовательной цѣли, всегда присоединялись еще
и другіе элементы. Въ наше время мы видимъ, что всѣ уни-
верситеты на Западѣ распались на два главные разряда, изъ
которыхъ одинъ, заключающій въ себѣ англійскіе универси-
теты, преслѣдуетъ болѣе образовательную цѣль; другой же раз-
рядъ, къ которому принадлежатъ германскіе университеты и
университетъ французскій, подчиняютъ эту цѣль другой, чисто-
научной.

Эта научно-образовательная цѣль западныхъ университе-
товъ, выражавшаяся сначала чисто гуманнымъ направле-
ніемъ образованія, впослѣдствіи, съ успѣхами наукъ, обнару-
живается въ направленіи гуманно-реальномъ и, наконецъ,
даже въ чисто-реальномъ. Когда просвѣщеніе въ массахъ,
или въ извѣстныхъ слояхъ общества, уже достаточно распро-
странилось; когда объемъ каждой отрасли свѣдѣній получилъ
громадные размѣры; когда соревнованіе усилилось и, съ тѣмъ

вмѣстѣ, увеличилось число адептовъ каждой науки,—то понятно, что учащимся не оставалось ничего болѣе, и для успѣха въ наукѣ, и для обезпеченія своего существованія, какъ ограничить кругъ своей умственной дѣятельности, сосредоточивъ ее всю на глубокое изученіе одной какой-нибудь науки и даже одной ея части. Понятно также, что выборъ долженъ былъ падать на отрасли свѣдѣній, которыя направлены къ удовлетворенію современныхъ потребностей общества. Направленіе же современнаго общества, съ развитіемъ торговли и другихъ международныхъ отношеній, сдѣлалось по преимуществу реальнымъ и практическимъ. А въ самихъ университетахъ, чтобы удовлетворить всѣмъ требованіямъ этого направленія, должна была обнаружиться необходимость и въ новыхъ специальныхъ учрежденіяхъ (институтахъ), и въ союзѣ съ другими гражданскими учрежденіями, представляющими болѣе средствъ для достиженія рѣальной цѣли. Правда, до сихъ поръ едва-ли не одинъ только медицинскій факультетъ обращался за помощью къ гражданскому и военному вѣдомствамъ, чтобы пользоваться ихъ филантропическими заведеніями для образованія врачей, и эти отношенія между факультетомъ и госпитальнымъ управленіемъ даже не такъ новы. Но очевидно, что и другимъ факультетамъ предстоитъ, болѣе или менѣе, та же необходимость. Какъ бы университеты ни были щедро снабжены средствами, эти средства, одни, по мѣрѣ распространенія реального направленія, все болѣе и болѣе будутъ оказываться недостаточными. Вотъ почему я убѣжденъ, что всѣмъ университетамъ предстоитъ коренное измѣненіе организаціи. Извѣсто, что первыя начала факультетовъ существовали еще до университетовъ. *Facultas artium liberalium*, съ его *trivium* и *quadrivium*, проявляется еще въ двѣнадцатомъ вѣкѣ въ монастырскихъ школахъ; къ нему присоединились потомъ факультеты теологическій, составленный изъ нищенствующихъ монаховъ и священниковъ, а наконецъ—юридическій и медицинскій. Но связь этихъ факультетовъ была основана или на народности, или она была болѣе административная. Внутреннее же или научное соединеніе основывалось, кажется, только на томъ, что учащіеся могли, а потомъ и должны были посѣщать лекціи не одного, но нѣсколькихъ факультетовъ. Средство наукъ

поддерживало эту связь и дѣлало ее органическою. Въ наше время открываются новыя условія, которыя, смотря по обстоятельствамъ, могутъ сдѣлаться для факультетовъ и соединительными, и разъединительными. Такъ, напримѣръ, потребность современной медицины очевидно обуславливаетъ ея соединеніе съ другими естественными науками—физикою и химією. Но, съ другой стороны, каждая изъ наукъ сдѣлалась такъ обширна, что цѣлой жизни становится мало даже для изученія одной ея части; и мнѣ кажется, что если не будетъ открыта новая формула связи университетскихъ факультетовъ, то имъ предстоитъ скорѣе разъединеніе, чѣмъ соединеніе. Они и теперь собственно соединены только въ небольшихъ германскихъ университетахъ; а въ столицахъ студенты различныхъ факультетовъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ случаевъ и лекцій профессоровъ, пріобрѣвшихъ особенную популярность, почти не имѣютъ никакого сближенія между собою. Современемъ, чѣмъ сильнѣе будетъ для факультетовъ необходимость проникать различными отраслями наукъ въ другія общественныя учрежденія, тѣмъ слабѣе сдѣлается корпоративно-органическая связь факультетовъ, и тѣмъ болѣе увеличится вѣроятность распаденія всей университетской корпораціи. Да и въ настоящее время, и у насъ и въ чужихъ краяхъ, кромѣ факультетовъ существуютъ уже высшія спеціальныя школы для той или другой отрасли наукъ,—а главное, и теперь уже эти школы подлежатъ въ системѣ централизаціи не тому вѣдомству, къ которому относятся университеты. Говоря иносказательно, и теперь уже различныя вѣдомства, вмѣсто того, чтобы пользоваться плодами одного дерева, выросшаго въ общемъ саду, добиваются, во что бы то ни стало, получать плоды изъ замороженныхъ питомниковъ. Учрежденіе такихъ спеціальныхъ школъ понятно въ странѣ—какъ Англія, гдѣ нѣтъ собственно ни министерства просвѣщенія, ни правительственной монополіи, гдѣ частные люди и частныя общества имѣютъ полное право заводить не только школы, но даже университеты. Но тамъ, гдѣ преобладаетъ начало централизаціонное, и гдѣ просвѣщеніе составляетъ монополію правительства, распредѣленіе учебныхъ учреждений въ различныхъ вѣдомствахъ было бы необъяснимо, еслибы мы не приняли въ соображеніе двухъ обстоя-

тельствъ: во-первыхъ, — то, что именно тамъ, гдѣ господствуетъ централизація, обыкновенно каждое вѣдомство стремится къ отдѣльности и независимости отъ другихъ, хотя бы и казалось, что этотъ принципъ долженъ бы всего болѣе способствовать гармонической связи частей одного цѣлаго; во-вторыхъ, — то, что каждое вѣдомство, имѣя потребность въ значительномъ числѣ специалистовъ, считаетъ удобнѣе образовать ихъ собственными средствами. Дѣйствительно, еслибы въ цѣломъ государствѣ на одномъ университетѣ лежала обязанность образовывать практическихъ специалистовъ по всѣмъ частямъ, еслибы университетъ проникалъ своими учебно-спеціальными учрежденіями, какъ корнями одного вѣкового дерева, во всѣ гражданскія и военныя вѣдомства государства, — то задача его была бы слишкомъ многосложна и едва-ли исполнима. Однако-же, при системѣ централизаціи, казалось бы, удобнѣе было подчинить всѣ учебныя спеціальныя учрежденія, вмѣстѣ съ университетами, одному вѣдомству. Казалось бы, что такое сосредоточеніе должно было способствовать гармоническому дѣйствию научно-образовательной дѣятельности въ различныхъ направленіяхъ, и вообще соотвѣтствовало бы болѣе самому свойству преобладающаго принципа. Но какъ существующіе факты доказываютъ начавшееся уже разъединеніе, то я остаюсь при томъ, что въ будущемъ всѣмъ университетамъ предстоитъ если не жизненная, то по крайней мѣрѣ морфологическая реформа. Если университетъ съ его факультетами можно сравнить въ настоящее время съ вѣковымъ стволомъ вѣтвистаго дерева, то будущіе университеты уподобятся деревьямъ, развѣтвленнымъ у самаго корня. Говоря просто, я думаю, что связь между отдѣльными факультетами университета перенесется сверху внизъ, такъ что ее нужно будетъ искать не въ самомъ университетѣ, а въ образовательныхъ учрежденіяхъ, приготовляющихъ къ университету.

Примѣняя все сказанное къ нашимъ русскимъ университетамъ, не трудно убѣдиться, что, какъ бы ни была выражена первоначальная мысль ихъ учрежденія, фактически они были, и досихъ поръ продолжаютъ быть, учебными учрежденіями, приспособленными преимущественно къ образованію людей должностныхъ на службу государству. Государство со-

знаетъ эту цѣль, предоставляя получившимъ ученые степени извѣстныя служебныя права. Что наши университеты соотвѣтствуютъ этому требованію, доказывается и числомъ слушателей, поступающихъ послѣ на службу, и степенью ихъ образованія. А что дѣятельность нашихъ университетовъ все-таки еще недостаточна для достиженія этой цѣли въ обширномъ государствѣ, доказывается существованіемъ другихъ спеціальныхъ заведеній (школы правовѣдѣнія, медико-хирургической академіи, педагогическаго института и проч.), пользующихся почти тѣми же правами. Наконецъ, что наши университеты никогда не имѣли главною задачею образовывать ученыхъ спеціалистовъ, это доказывается недостаткомъ въ выборѣ кандидатовъ на вакантныя каѳедры и часто встрѣчающеюся трудностью замѣстить выбывшихъ профессоровъ дѣльными спеціалистами. Итакъ, говоря по чистой совѣсти, наши университеты никогда не имѣли другихъ, болѣе западныхъ, цѣлей, да, судя по историческому развитію, и не могли ихъ имѣть. Въ нашихъ университетахъ никогда ни одна наука не излагалась въ полномъ ея объемѣ, и весьма немногія каѳедры были снабжены всѣми средствами, необходимыми для современнаго изложенія науки. У насъ никогда не было конкуренціи, столь благотѣльной для научнаго прогресса, и никогда одна и та же наука не преподавалась нѣсколькими профессорами. Наше университетское ученіе (можетъ быть, за исключеніемъ одного дерптскаго университета) никогда не было совершенно свободнымъ, и потому никто изъ учащихся не могъ посвятить себя съ самаго поступленія въ университетъ исключительному изученію одного предмета; всякій, имѣя въ виду обязательные курсы, срочное время пребыванія въ университетѣ и экзамены, спѣшилъ покончить и развязаться какъ можно скорѣе съ формальными требованіями, и потому никто не имѣлъ и времени заняться наукою для одной науки. Теперь, однако-же, когда поднялись различные современные вопросы, то послышались голоса и о преобразованіи нашихъ высшихъ школъ. Если эта потребность дѣйствительно обнаруживается, то поспѣшимъ задать себѣ опять вопросъ: чего мы желаемъ, въ настоящее время, отъ нашихъ университетовъ? Вѣроятно, мы всѣ теперь желаемъ, чтобы и у насъ служебно-образовательное направленіе на-

шихъ университетовъ приняло чисто-научный характеръ. Если такъ, то не значить ли это, что мы желаемъ преобразованія коренного и фундаментальнаго. Но, мнѣ кажется, мы оказались бы слишкомъ вѣрующими, еслибы вздумали вѣрить, что такой реформы можно достигнуть однимъ измѣненіемъ уставовъ, курсовъ, распредѣленія лекцій, программъ, испытаній и т. п. Для коренного преобразованія чего бы то ни было нужны не одни новые законы, а новые люди. Кто искренно желаетъ истиннаго прогресса, тотъ не долженъ много разсчитывать на дѣйствія такихъ мѣръ, какъ перемѣна уставовъ, распредѣленій и проч., которыя однѣ, сами по себѣ, хотя и быстро измѣняются—но только не сущность дѣла, а форму. Между тѣмъ первое и главное условіе прогресса есть твердая вѣра въ образовательную, творческую силу человѣческой личности. Безъ нея всѣ хитросплетенные уставы—мертвая буква. Такъ, по моему мнѣнію, для преобразованія нашихъ университетовъ нужно обратить все вниманіе на предварительное образованіе главныхъ дѣателей нашей науки. Кто, какъ я, лѣтъ тридцать тому назадъ видѣлъ хотя одинъ изъ нашихъ университетовъ, тотъ знаетъ, чему должно приписать прогрессъ въ теченіе этого времени. Надобно знать, въ какой мѣрѣ, въ то отдаленное время; научное въ университетѣ замѣнялось смѣшнымъ; какъ, за исключеніемъ немногихъ избранныхъ, все прочее, устарѣвшее поколѣніе преподавателей принадлежало скорѣе допотопнымъ временамъ, чѣмъ девятнадцатому столѣтію. Чего не дѣлалось за тридцать лѣтъ въ нашихъ университетахъ? Многіе изъ тогдашнихъ професоровъ теперь стали притчею. О иныхъ и теперь мы, старые ихъ слушатели, сойдясь вмѣстѣ, не можемъ вспомнить безъ смѣха. Нерѣдко на лекціяхъ изложеніе науки замѣнялось семейными хрониками и проповѣдями о нравственности; для другихъ, читать лекцію—значило читать слово въ слово, да и то съ ошибками, учебникъ, напечатанный когда-то лѣтъ за двадцать; у третьихъ, на лекціяхъ играли въ карты и бѣгали за чужаками. Все это прошло безвозвратно, и теперь едва вѣрится тому, чему когда-то былъ очевиднымъ свидѣтелемъ. И въ настоящее время существуетъ еще ветхое и несовременное въ нашихъ университетахъ; многое и многое

еще остается сдѣлать; но смѣшного уже не существуетъ болѣе: этотъ несомнѣнный шагъ къ прогрессу мы уже сдѣлали. Но кому принадлежитъ заслуга? Университетскій *conseil d'état* совершился (въ тридцатыхъ годахъ) посредствомъ введенія новыхъ элементовъ, и то были не новые уставы, а свѣжія личности. Новое поколѣніе профессоровъ подоспѣло разомъ и въ время для замѣны отжившаго. Началось съ того, что академикъ Парротъ предложилъ образовывать профессорскій институтъ изъ молодыхъ людей, окончившихъ или оканчивающихъ курсъ, изъ всѣхъ русскихъ университетовъ. Избранные должны были подвергнуться испытанію въ академіи наукъ, потомъ отправиться на два года въ дерптскій университетъ, для спеціальнаго изученія избранныхъ ими предметовъ, и отсюда на два же года за границу. Сколько я помню, Парротъ предлагалъ сдѣлать этотъ институтъ постояннымъ; а если нѣтъ, то, по моему убѣжденію, онъ бы долженъ былъ это предложить. Въмѣстѣ съ институтскими, въ числѣ которыхъ находился и я, были въ то же время посланы отъ гр. Сперанскаго воспитанники семинарій и духовныхъ академій. Сверхъ этого, къ намъ примкнуло и еще нѣсколько молодыхъ ученыхъ, выѣхавшихъ за границу на собственномъ иждивеніи. Такимъ образомъ были приготовлены и распределены по нашимъ университетамъ болѣе тридцати преподавателей. Въмѣстѣ съ этимъ обнаружилось и прогрессивное направленіе, именно въ тѣхъ университетахъ, на долю которыхъ досталась большая часть свѣжихъ силъ. — Съ другой стороны, я былъ также свидѣтелемъ, какъ весьма дѣльныя перемѣны въ уставахъ, но не поддержанныя личною силою исполнителей, остались безъ всякаго результата. Я не хочу этимъ сказать, что всѣ перемѣны учебныхъ постановленій бесполезны. Напротивъ, я сейчасъ предложу на судъ мое мнѣніе объ измѣненіи экзаменовъ и способовъ преподаванія. Но всѣ эти нововведенія предложу не съ тѣмъ, чтобы измѣнять мертвую букву, а чтобы дать болѣе широкій просторъ дѣйствію личности наставниковъ. Итакъ, въ животворныхъ и образовательныхъ силахъ личностей я нахожу единственное ручательство за истинный прогрессъ.

Учрежденіе особенныхъ, постоянныхъ институтовъ преподавателей при нашей академіи наукъ и при нѣкото-

рыхъ изъ нашихъ университетовъ; постоянное обновленіе университетовъ свѣжими силами; внесеніе новыхъ элементовъ въ научную дѣятельность,—вотъ, по моему убѣжденію, гдѣ намъ нужно искать главной помощи и противъ нашей апатіи, и противъ нашей инерціи, и противъ нашего непотизма. Какъ скоро окажется въ нашихъ университетахъ вліяніе силъ, постоянно освѣжаемыхъ новыми личностями; какъ скоро силы эти окажутся достаточными въ такой степени, что каждый научный предметъ будетъ раздѣленъ, по крайней мѣрѣ, между двумя преподавателями, то тогда и вопросъ о распредѣленіи лекцій, о испытаніяхъ, о способѣ ученія будетъ рѣшенъ положительно. А существующій теперь—полуобязательный, полусвободный—способъ ученія, какъ ни къ чему не служащая полумѣра, долженъ будетъ уступить мѣсто совершенно свободному. Если нельзя отвергать, что въ такомъ обширномъ государствѣ, какъ Россія, еще необходима цѣлая масса людей и слегка образованныхъ, для исполненія самыхъ вопіющихъ потребностей общества, то, съ другой стороны, нельзя отвергать и того, что для насъ также необходима и образовательная сила дѣятелей науки, для которыхъ нѣтъ лучшаго способа воспитанія, какъ университетское—свободное. Онъ одинъ можетъ развить талантъ и дарованіе. Если обязательный способъ ученія оксфордской и кембриджской коллегій развилъ высокія личности, то не забудемъ, что образовательную силу Англіи должно искать не въ однихъ ея университетахъ, а въ ея конституціи и ея неподражаемомъ самоуправленіи.

Но умноженіе свѣжихъ силъ въ нашихъ университетахъ, очевидно, потребуетъ и другого опредѣленія, и другого распредѣленія дѣятельности, и болѣшихъ матеріальныхъ средствъ. Во-первыхъ, при увеличеніи конкуренціи, посредствомъ такого института, понадобится опредѣлить точнѣе условія для занятія кѣедръ. Такъ, напримѣръ, нужно будетъ, сокративъ сроки эмеритуры, требовать, чтобы всѣ доценты, по истеченіи первой половины срока (примѣрно десяти лѣтъ), необходимаго для эмеритуры, представляли доказательства ихъ научной дѣятельности;—требовать, чтобы каждый составилъ, по крайней мѣрѣ, хотя одинъ учебникъ по избранному имъ предмету, и потомъ, по истеченіи этого срока, подвергался бы вторичному выбору

съ правомъ получить пенсіи, если не будетъ вновь избранъ, и т. п. Что касается до средствъ, необходимыхъ для содержанія института, то суммы, собираемыя за слушанье лекцій во всѣхъ университетахъ, по справедливости, должны бы были получить это назначеніе, и содержаніе такого института общими силами университетовъ было бы, безъ сомнѣнія, весьма осуществимо. Можетъ быть, могли бы найтись и другіе источники при общемъ содѣйствіи. Справедливо замѣчено, что наши медицинскіе факультеты теперь потому такъ переполнены, что изъ всѣхъ четырехъ факультетовъ — медицинскій только одинъ имѣетъ специально-практическое значеніе. Расширеніе реальной дѣятельности другихъ факультетовъ, доставивъ имъ право пользоваться нѣкоторыми изъ учрежденій другихъ вѣдомствъ, было бы, безъ сомнѣнія, дѣйствительнымъ средствомъ къ поощренію учащихся заниматься предметами физико-математическаго и естественнаго факультетовъ, остающимися до сихъ поръ безъ приложенія и не открывающими никакой дороги въ жизни. Занятія въ агрономическихъ, техническихъ и инженерныхъ заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ съ цѣлью практическаго образованія, безъ сомнѣнія, привлекло бы въ эти факультеты многихъ учащихся, а съ этимъ вмѣстѣ увеличилась бы и сумма, собираемая за ученіе. Сверхъ этого, мы знаемъ, что и въ Германіи, и въ Англіи существуютъ учебныя учрежденія на акціяхъ. У насъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе распространяются общества акціонеровъ, изъ которыхъ нѣкоторыя прямо уже касаются народнаго просвѣщенія. Я не вижу, почему бы нельзя было приложить этотъ способъ дѣйствія и къ учрежденію различныхъ практическихъ заведеній при нашихъ университетахъ. Впрочемъ, я не менѣе другихъ знаю, какъ теперь малоисполнимы еще эти предположенія объ увеличеніи матеріальныхъ средствъ; но я и не брался доказывать, въ какой мѣрѣ у насъ возможно коренное преобразование нашихъ университетовъ; я здѣсь доказываю, что наши университеты, рассматриваемые какъ образовательно-служебныя заведенія, достаточно удовлетворяютъ этой ограниченной цѣли; но какъ учрежденія, назначенныя для развитія чисто-научной и специально-научной дѣятельности, они требуютъ коренныхъ преобразованій, посредствомъ живыхъ, личныхъ силъ. Я доказываю,

что всѣ другія мѣры, предпринятыя съ этою цѣлью, оставляя главное основаніе ненормальнымъ, будутъ также ненормальными. Я утверждаю, что вся надежда на успѣхъ заключается именно въ томъ, чтобы придумать самое вѣрное средство для постояннаго обновленія нашихъ учебныхъ учрежденій свѣжими силами. Въ этомъ вся задача. Впрочемъ эти разсадники свѣжихъ и дѣятельныхъ личностей нужны и не для однихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Правда, и теперь университеты высылаютъ лучшихъ своихъ воспитанниковъ, достигнувшихъ ученыхъ степеней, за границу; и теперь эти молодые ученые, возвращаясь съ свѣжими силами, съ запасомъ свѣдѣній, или тотчасъ же опредѣляются на вакантныя мѣста, или имѣются въ виду для замѣщенія открывающихся вакансій.—Все это правда, и я хорошо знаю, что не всѣ согласятся со мною въ необходимости особыхъ учреждений (институтовъ) для этой цѣли. Но мнѣ, можетъ быть, удастся убѣдить несогласныхъ, разсмотрѣвъ механизмъ, которымъ ведутся какъ выборныя, такъ и другія учебныя дѣла въ нашихъ университетахъ. Университетъ, перенесенный съ Запада на нашу почву, остается и у насъ, съ нѣкоторыми измѣненіями, все еще учрежденіемъ коллегіальнымъ. Ученыя и учебныя дѣла рѣшаются въ совѣтѣ профессоровъ большинствомъ голосовъ. Этотъ способъ рѣшенія предполагаетъ обсужденіе предмета со всѣхъ сторонъ. Онъ предполагаетъ и свободу мысли и слова,—слѣдовательно, совѣтъ есть учрежденіе въ высшей степени гуманное и прогрессивное. Въ нашихъ университетскихъ совѣтахъ, какъ и вездѣ, должны быть и партіи; и дѣйствительно, между членами совѣтовъ есть и прогрессисты, и консервативные, и срединники, и защитники личныхъ интересовъ; но всѣмъ имъ недостаетъ двухъ условий: во-первыхъ, въ совѣтахъ нѣтъ внутренняго довѣрія къ собственному авторитету, и, во-вторыхъ, нѣтъ ревности къ собственнымъ убѣжденіямъ,—или, другими словами, нѣтъ глубокихъ, искреннихъ убѣжденій. Можно прибавить еще и третье: нѣтъ равномѣрнаго умѣнья вести дѣла. Этимъ искусствомъ владѣютъ только сторонники личныхъ интересовъ; прогрессисты же, по большей части, люди молодые, безъ связей, горячіе, восторженные, дѣйствующие по однимъ убѣжденіямъ, рѣдко успѣваютъ. Осѣдлыя личности (партикуляристы),

по самому свойству своего принципа, ищутъ связей и протекцій, и, находя ихъ сверху, берутъ верхъ. Они умѣютъ дѣйствовать на срединниковъ; къ нимъ почти всегда пристають и консервативные. Еще хуже, если голоса въ совѣтѣ раздѣляются не по взглядамъ, а по народностямъ. Въ такомъ случаѣ ни одно начало не можетъ быть проведено послѣдовательно; ревностные прогрессисты, примкнувъ къ большинству своихъ консервативныхъ соплеменниковъ, сами дѣлаются консервативными, и наоборотъ. Когда же въ совѣтѣ преобладають сторонники личныхъ интересовъ (партикуляристы), то этимъ уничтожается и собственное достоинство, и достоинство совѣта. Въ побѣжденныхъ рождается недовѣріе къ собственному авторитету, а вслѣдъ за тѣмъ распадаются и главныя основы коллегіальнаго учрежденія. Постоянно побѣждаемые дѣлаются равнодушными къ своимъ убѣжденіямъ, а побѣдители пріобрѣтають приверженцевъ и изъ числа тѣхъ, которые не раздѣляли прежде ихъ убѣжденій. Затѣмъ слѣдуетъ непотизмъ и упрочивается стабильизмъ. То же самое, только въ меньшемъ видѣ, повторяется иногда и въ педагогическихъ совѣтахъ гимназій.—Когда же коллегіальное учрежденіе достигло до такого состоянія, когда нравственная и образовательная его сила ослабѣла уже до такой степени, что вліяніе высшей власти сдѣлалось необходимымъ, то, какъ бы это вліяніе ни было благотворно и разумно, авторитетъ совѣта уже сильно потрясенъ, и онъ дѣйствуетъ тогда, можетъ быть, и хорошо, но не по собственнымъ убѣжденіямъ. Представимъ себѣ теперь, что избраніе будущихъ дѣятелей науки совершилось большинствомъ голосовъ при такой обстановкѣ коллегіальныхъ учреждений. Надежно ли это избраніе? Положимъ даже, что выборъ былъ счастливый; но избранный, окончивъ свое образованіе за границею, возвращается въ тотъ же университетъ, гдѣ началъ учиться. Какъ легко, выступая на новое поприще, онъ можетъ заразиться духомъ непотизма и завести связи и протекціи на почвѣ родного университета! Долго ли ему отстать отъ науки и принять другое направленіе? Наконецъ, положимъ, что всѣ университеты растутъ, дѣйствительно, лучшихъ своихъ питомцевъ для дальнѣйшаго образованія; гдѣ же искать между ними связи, единства и общаго духа, который одушевлялъ бы ихъ на пути къ

достиженію одной цѣли? Вотъ уже прошло тридцать лѣтъ,— а я и многіе изъ моихъ товарищей еще живо и съ наслажденіемъ вспоминаемъ то время, когда мы были воспитанниками профессорскаго института, дружно приготовляясь выступить на одно поприще. Единство направленія, разнѣнъ взглядовъ, вѣра въ науку, такъ сближали и одушевляли насъ, что мы всѣ считали себя однимъ семействомъ, имѣвшимъ и общую цѣль, и одно и то же будущее.

Итакъ, я остаюсь при моемъ мнѣніи, что нѣтъ вѣрнѣйшаго средства къ доставленію свѣжихъ и крѣпкихъ силъ нашимъ учебнымъ заведеніямъ, какъ учрежденіе общаго всѣмъ университетамъ разсадника, съ тѣмъ, чтобы каждый университетъ посылалъ туда своихъ избранныхъ. Только этимъ способомъ можно контролировать достоинство выбора, водворить единство направленія, воодушевить молодыхъ людей общимъ стремленіемъ къ одной цѣли и, наконецъ, дать имъ болѣе средствъ приготовиться къ дѣятельности на избранномъ ими поприщѣ. Эта мѣра, впрочемъ, нисколько и не противорѣчитъ общепринятымъ понятіямъ объ образованіи наставниковъ. Развѣ мы не видимъ, напримѣръ, что учителя гимназій образуются не однѣми гимназіями, а и вдали отъ нихъ—въ университетахъ? Безспорно, такое удаленіе будущихъ наставниковъ отъ училищъ, въ которыхъ они могли бы познакомиться съ педагогикой на практикѣ,—худо; но это неудобство легко поправить. Между тѣмъ еще было бы хуже поручать однѣмъ гимназіямъ образованіе гимназическихъ учителей. Какъ обновленіе племенъ и семействъ новыми связями родства считается лучшимъ средствомъ противъ нравственнаго одряхлѣнія, такъ и въ учебныхъ учрежденіяхъ ничто столь сильно не противодѣйствуетъ научному застою, апатіи и nepотизму, какъ введеніе свѣжихъ постороннихъ силъ. Но если учрежденіе, назначаемое для образованія учителей и наставниковъ, я назвалъ институтомъ, то это слово я отношу не къ формѣ, а къ сущности дѣла. Меня худо бы поняли, еслибы вздумали, напримѣръ, что я предлагаю будущихъ профессоровъ помѣстить, всѣхъ вмѣстѣ, въ одно зданіе, съ надписью у входа: профессорскій институтъ; что я требую отъ нихъ непремѣннаго посѣщенія лекцій, годовичныхъ экзаменовъ, ставлю ихъ подъ надзоръ ин-

спекторовъ по нравственной и ученой части. Нѣтъ! дѣло идетъ совсѣмъ не о томъ. Я поставляю задачею института, во-первыхъ, соединить избранныхъ единствомъ направленія и цѣли; во-вторыхъ, подготовить ихъ къ будущему призванію въ отдаленіи отъ родныхъ университетовъ и, слѣдовательно, на другой научной почвѣ; въ-третьихъ, снабдить ихъ всѣми необходимыми средствами для спеціальнаго изученія избранной ими науки, и наконецъ, въ-четвертыхъ, сблизивъ ихъ какъ можно болѣе между собою и съ наставниками, требовать, чтобы наставники постоянно руководили ихъ въ научныхъ занятіяхъ къ опредѣленной цѣли. Отъ такого сближенія, основаннаго на общемъ имъ научномъ интересѣ, я ожидаю всего болѣе благодѣтельныхъ слѣдствій. Приготовленіе избранныхъ—на предстоящее имъ поприще—въ отдаленіи отъ того университета, въ которомъ они получили свое первое образованіе, служило бы вмѣстѣ и повѣркою самаго выбора. Избиратели, зная это, были бы осторожнѣе и безпристрастнѣе; а правительство, посылая потомъ за границу молодыхъ людей, достаточно подготовленныхъ не однимъ, а двумя высшими учебными заведеніями, имѣло бы болѣе вѣрную гарантію въ научныхъ достоинствахъ кандидатовъ. Впрочемъ нѣтъ никакой необходимости, чтобы всѣ избранные отсылались отъ университетовъ въ одно мѣсто: они могутъ быть распредѣлены и группами. Одни изъ нихъ, смотря по тому, кто какой избралъ предметъ для спеціальнаго изученія, могутъ приготовляться при академіи наукъ, подъ руководствомъ ученыхъ ея членовъ; другіе—могутъ быть поручены тѣмъ изъ нашихъ университетскихъ профессоровъ, которые пріобрѣли извѣстность по спеціальнымъ занятіямъ какою-либо наукою. Въ доказательство, какъ много дѣйствуетъ такой способъ подготовленія специалистовъ, я могу привести собственный опытъ. Мнѣ было поручено приготовить къ практической хирургіи шестерыхъ молодыхъ людей, да еще избранныхъ и не университетами, а взятыхъ прямо со служебнаго поприща; несмотря на то, что война помѣшала имъ отправиться за границу, трое изъ нихъ, послѣ двухлѣтнихъ занятій, доказали на дѣлѣ, какой пользы можетъ ожидать и правительство, и общество, когда образованіе научныхъ специалистовъ будетъ исключительно поручаемо тѣмъ изъ наставниковъ, которые за-

служиваютъ имя экспертовъ. Хотя въ приведенномъ случаѣ и не было цѣли приготовить будущихъ профессоровъ, но я и тутъ убѣдился, что прежде испытать и при моемъ собственномъ образованіи, какъ мощно вліяетъ на развитіе таланта и знаній сближеніе наставника и учащихся, направленное къ достиженію одной опредѣленной научной цѣли.

Второе условіе, которое я почитаю не менѣе жизненнымъ для нашихъ университетовъ и нашей науки, состоитъ въ коренной реформѣ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Если живою силою личности я предлагаю обновить среду наставниковъ сверху, то я въ этой же одной силѣ вижу возможность и преобразования среды учащихся — снизу. Но и въ этомъ случаѣ спрошу предварительно: чего мы желаемъ отъ нашихъ училищъ?

Идеально-нормальное состояніе просвѣщенія въ обществѣ было бы то, еслибы всѣ, безъ различія, однимъ путемъ вступали въ жизнь: путемъ широкимъ — университетскимъ. — Это значило бы, что всѣ, безъ различія сословій и состояній, были бы обязаны пройти общій гимназическій курсъ, поступить въ университетъ, избрать одинъ изъ его факультетовъ, и потомъ уже выйти въ жизнь, слѣдуя одному избранному пути. Этимъ обязательнымъ для всѣхъ гражданъ способомъ просвѣщеніе равномѣрно распространилось бы черезъ всѣ среды общества, и избраніе того или другого рода жизни молодымъ человѣкомъ совпадало бы съ окончаніемъ его университетскаго ученія. Но если рано созрѣвшій реализмъ общества требуетъ совсѣмъ другого отъ образованія; если общество спѣшитъ располагать людьми-спеціалистами, и ему некогда долго ждать окончанія университетскаго ученія; если, съ другой стороны, это ученіе не по средствамъ каждому, и требуетъ со стороны учащихся большихъ пожертвованій, такъ что только одни люди съ достаткомъ могутъ учиться по двѣнадцати и по пятнадцати лѣтъ, пока попадутъ на путь жизни, — то мысль общаго гимназическо-университетскаго образованія, конечно, въ настоящее время неосуществима. Если такъ, — то должно, по крайней мѣрѣ, сохранить въ чистотѣ духъ истинно-университетскаго образованія, отдѣливъ его гуманно-реальное направленіе отъ направленія чисто-

реального. Итакъ, пусть высшія спеціальныя школы, назначенныя для удовлетворенія насущной потребности общества, остаются въ рукахъ различныхъ вѣдомствъ; но пусть и научное направленіе, съ присущимъ ему гуманно-реальнымъ элементомъ, сохранится въ гимназіяхъ и университетахъ во всей его чистотѣ. Пусть раздѣленіе школъ начнется внизу, а гимназіи, лишенныя теперешней своей двуличности, пусть будутъ приспособленными къ одному только университетскому ученію. Какъ ни грустно такое расщепленіе при самомъ корнѣ образованія, но если оно жизненно-необходимо для общества, то нужно, по крайней мѣрѣ, сохранить университетское начало въ первобытной его чистотѣ. Тогда остается еще надежда развить это начало впослѣдствіи, когда общество, по законамъ противодѣйствія, само убѣдится, наконецъ, въ его необходимости, и прибѣгнетъ снова къ нему за помощью.

• Но если мы требуемъ, чтобы университетское образованіе сохранилось въ первобытной его цѣлости, то это не значитъ, что оно должно сдѣлаться отсталымъ и несовременнымъ; это не значитъ также, что оно не должно быть нисколько реальнымъ и спеціальнымъ. Нѣтъ! основаніемъ истинно университетскому ученію служить наука, во всемъ ея обширномъ значеніи; а наука не можетъ быть не прогрессивна. Мы желаемъ отъ нашего университетскаго образованія только того, чтобы оно сохранило гуманное начало съ реальнымъ въ неразрывной связи, нисколько не выпуская изъ виду тѣхъ нововведеній, которыми обогатилась въ послѣднее время реальная сторона нашихъ знаній. Но и гуманное начало также вѣдь не осталось назади; оно также богато примѣненіями, и примѣненія эти касаются самой важной—нравственно-духовной стороны нашей жизни. Конечно, они не такъ наглядны, не такъ очевидны, отъ нихъ выигрываетъ не столько утилитарное направленіе общества; но зато ничто столько не содѣйствуетъ развитію самыхъ драгоцѣнныхъ свойствъ человѣческой натуры, — мысли и слова, — какъ гуманизмъ. Онъ выводитъ мысль изъ тѣснаго круга реальности на широкое поле, снимаетъ оковы, налагаемыя близорукою дѣйствительностью, и знакомитъ человека съ самою лучшею частью природы—съ внутреннимъ

человѣкомъ. Если и всегда слышались, а теперь еще громче слышатся, возгласы противъ гуманнаго начала образованія, то, во-первыхъ, порицатели принадлежатъ къ тѣмъ недовольнымъ, которые опасаются излишней свободы мысли и слова, будто-бы распространяемой гуманизмомъ. Но если нужно бояться этой свободы, то развѣ она не такъ же страшна и въ реализмѣ? Кто имѣетъ такой взглядъ, тотъ долженъ вообще опасаться науки. — Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, къ чему привелъ этотъ страхъ? Когда была въ модѣ германская философія, когда направленіе германской школы было, по преимуществу, гуманное, а между тѣмъ потребности общества дѣлались со дня на день болѣе и болѣе реальными, то естественнымъ наукамъ удалось, наконецъ, вытѣснить изъ школъ излишекъ гуманизма. Казалось бы, нужно было успокоиться. Вышло совсѣмъ другое: теперь уже естественнымъ наукамъ, наиболѣе способствующимъ развитію реального, приписываютъ вольнодумство и невѣріе, и начинается уже противодѣйствіе тѣмъ же самымъ орудіемъ, которое еще не такъ давно казалось опаснымъ.

Во-вторыхъ, порицаютъ гуманное направленіе люди, замѣчающіе недостатки не тамъ, гдѣ должно искать ихъ. Дѣйствительно, ничто такъ легко не принимается безжизненную, опѣпенѣлую форму, какъ гуманныя науки, если онѣ излагаются непризванными наставниками. И мертвые языки, и наука о древностяхъ, и самая исторія мертвятъ умъ учащихся, если мы не сумѣемъ воспользоваться тѣмъ живительнымъ началомъ, которое въ нихъ заключается. Многое для поверхностнаго наблюдателя кажется въ этихъ наукахъ бесполезнымъ хламомъ, которымъ учителя съ раннихъ лѣтъ забиваютъ головы своихъ учениковъ; многое и дѣйствительно нисколько не нужно для жизни, и не имѣетъ никакого непосредственнаго приложенія. Но кто хотя однажды испыталъ или на самомъ себѣ, или видѣлъ на другихъ, что могутъ сдѣлать эти науки для ума и сердца въ рукахъ опытныхъ и даровитыхъ наставниковъ, тотъ вѣрно, согласится, что нигдѣ не заключается столько образовательности для внутренняго человѣка, какъ въ ученіи, недаромъ названномъ гуманнымъ. Невиноваты гуманныя науки, если онѣ въ рукахъ нашихъ учителей сдѣлались чѣмъ-то ни къ чему непримѣнимымъ, отдѣльнымъ и безжизненнымъ.

Слѣдуетъ ли изъ этого, что онѣ въ образованіи человѣка могутъ быть совершенно замѣнены спеціально-мелкимъ реализмомъ? Слѣдуетъ ли изъ этого, что гуманное направленіе для насъ должно быть безвозвратно потеряно, и именно для насъ, едва выступившихъ на поприще гражданственности? Не слѣдуетъ ли скорѣе, что нужно обратить вниманіе на личность самихъ наставниковъ и серьезно заняться ихъ приготовленіемъ, ознакомивъ ихъ со всѣми способами изученія гуманитарныхъ наукъ? Наконецъ, реакція противъ гуманизма понятна еще въ странахъ, гдѣ гражданственность достигла высшей степени развитія; понятно это противодѣйствіе въ отечествѣ Гуттена, Эразма, Рейхлина; понятно оно, гдѣ гуманизмъ, проникнувъ до низшихъ слоевъ общества, уже давно навлекъ на себя нареканіе папистовъ и обскурантовъ. Тамъ, можетъ быть, онѣ вредилъ излишкомъ, способствуя абстрактному направленію умовъ и отвлекая ихъ отъ дѣйствительности. Гдѣ общечеловѣческое образованіе уже просвѣтило всѣ классы общества, тамъ можетъ развиться и самый утонченный—гуманный и реальный—спеціализмъ; тамъ просвѣщенное общество съумѣетъ уже само отличить истиннаго, научнаго спеціалиста отъ шарлатана, которому спеціализмъ служить только вывѣскою. Но другое дѣло—у насъ. Чтò будетъ изъ насъ, если мы, не приготовленные еще образовательною силою гуманизма, бросимся, очертя голову, на спеціальность? и какую спеціальность предпочтетъ наше большинство? Конечно, самую реальную и насущную,—то-есть, такую, которая, требуя какъ можно менѣе общечеловѣческаго образованія, общаетъ какъ можно болѣе прибыли и выгоды. Не значило ли бы это открывать входъ въ маловоспитанное общество грубому шарлатанству и давать пріютъ спекуляціи на невѣжество и легковѣрность?—Нѣтъ, не намъ возставать противъ истиннаго гуманизма, плодами котораго мы еще никогда и не пользовались. Не намъ сомнѣваться въ необходимости этого начала для образованія нашего юнаго общества. Даже желая отъ всей души сдѣлаться истыми спеціалистами, мы не должны забывать, что и для этого необходимо общечеловѣческое образованіе. Возьмите и сравните двухъ спеціалистовъ: одного — прошедшаго чрезъ школу гуманитарныхъ наукъ, другого—прямо напавшаго на реализмъ; я берусь вамъ ихъ

тотчасъ же отличить, и не только по дѣйствіямъ, но даже по мыслямъ. Если и въ классической землѣ гражданственности, если и въ Англіи, которую, вѣрно, никто не упрекнетъ въ непрактичности и въ недостаткѣ реализма, гуманитарныя науки продолжаютъ быть главною основою высшаго (университетскаго) образованія, то намъ ли, — едва выступившимъ на поприще гражданственности, — сомнѣваться въ образовательной ихъ силѣ? Мы можемъ, пожалуй, еще извиниться въ нашей апатіи къ общечеловѣческому началу прсвѣщенія тѣмъ, что мы вышли на это поприще поздно, когда реализмъ уже началъ оказывать противодѣйствіе; мы можемъ, пожалуй, сказать въ оправданіе, что для нашего общества жизненно-необходимы самыя дюжинныя реалисты. Но уже никакъ намъ не идетъ возставать противъ самаго принципа, основываясь на одиѣхъ только временныхъ и случайныхъ причинахъ, обусловливающихъ историческое развитіе нашего общества. Нѣтъ! наши университеты должны твердо и дружно отстоять неразрывную связь гуманитарнаго съ реальнымъ. Это ихъ задача, это ихъ святая обязанность и предъ обществомъ, и предъ лицомъ всего человѣчества. И если прежняя формула этой связи уже устарѣла, то наши университеты должны найти новую. И еслибы даже оказалось, что гуманизмъ на Западѣ отыгралъ свою роль, то мы должны привлечь стараго учителя людей на нашу сторону и открыть ему новое поприще въ гостепріимной Россіи.

Итакъ, если мы всѣ въ этомъ согласны, и если мы желаемъ отъ нашихъ учебныхъ заведеній, чтобы они вели въ жизнь и путемъ общечеловѣческаго, и путемъ спеціально-научнаго образованія, то опять спрашивается: гдѣ должна быть поставлена граница раздѣленія этихъ двухъ путей? Въ настоящее время всѣ три разряда нашихъ училищъ (приходскія, уѣздныя, гимназіи) такъ организованы, что ни одно изъ нихъ не приготовляетъ къ другому, и каждое открываетъ путь прямо въ жизнь. Во многихъ уѣздныхъ училищахъ можно начать учиться грамотѣ такъ же, какъ и въ приходскомъ; обыкновенное (недворянское) уѣздное училище не приготовляетъ къ гимназіи; окончивъ курсъ въ уѣздномъ, можно такъ же сдѣлаться чиновникомъ, какъ и по окончаніи курса въ гимназіи. Собственно же такихъ училищъ, которыя бы приготовляли исключительно

только къ университету, у насъ нѣтъ, и раздѣленіе двухъ путей у насъ поставлено, въ гимназіяхъ, въ четвертомъ классѣ, слѣдовательно какъ нельзя выше. Потому ни одно изъ трехъ разрядовъ нашихъ училищъ не имѣетъ точно опредѣленнаго направленія; нѣкоторыя же изъ нихъ, какъ дворянскія училища, имѣютъ болѣе сословный характеръ. Правда, такая организація имѣла цѣлью облегчить и расширить выходъ въ жизнь, и съ этимъ началомъ, имѣя въ виду огромную потребность государства въ практикахъ и служащихъ, можно бы было легко примириться; но только при двухъ условіяхъ.

Во-первыхъ, еслибы наши школы давали такое общечеловѣческое образованіе, которое могло бы быть непосредственно приложено къ различнымъ родамъ занятій, или же находились бы въ связи съ другими реальными школами. Во-вторыхъ, еслибы, сверхъ того, были и другія школы, назначенныя преимущественно для образованія, приготавлиющаго къ университету. Но ни то, ни другое условіе не исполнено. Для распространенія общечеловѣческаго образованія у насъ недостаетъ лицъ, знакомыхъ съ современными успѣхами педагогики; низшихъ реальныхъ школъ также почти вовсе не существуетъ, и если онѣ и существуютъ, то не имѣютъ надлежащей связи съ школами научно-образовательными. Для большей же части посвящающихъ себя занятіямъ реальными предметами (какъ, напримѣръ, для ремесленниковъ и торговаго сословія) ученіе въ школахъ вовсе не обязательно. Слѣдовательно, наше школьное общечеловѣческое образованіе не имѣетъ никакой связи съ реальнымъ направленіемъ общества. Съ другой стороны, наши гимназіи, назначенныя вести образованіе двумя путями, именно потому и не достигаютъ ни той, ни другой цѣли, а кромѣ ихъ мы не имѣемъ школъ, исключительно приготавливающихъ къ университету.

Для раціональной организаціи училищъ возможно только одно изъ двухъ: нужно или учредить два разряда училищъ, изъ которыхъ одинъ велъ бы, путемъ общаго образованія, въ реализмъ общественной жизни, а другой—преслѣдовалъ бы цѣль чисто-научнаго образованія, и приготавлиалъ бы исключительно къ университету; или же учредить первоначальныя школы, общія для того и другого направленія, и отсюда уже

начать раздѣленіе на два пути. Принявъ одинъ изъ этихъ двухъ способовъ преобразованія, можно будетъ легче дать и университету чисто-научное значеніе. Я выразилъ уже мое мнѣніе о будущности всѣхъ университетовъ. Для насъ, для нашего просвѣщенія, для нашей науки, мнѣ кажется, болѣе чѣмъ въ другихъ странахъ, необходимо стараться не приближать, но, сколько можно, отдалять время распадѣнія университета. Если наши университеты не въ состояніи проникнуть, посредствомъ своихъ факультетовъ, въ другія вѣдомства, и тѣмъ усилить свои средства, то мы и объ этомъ не должны слишкомъ сожалѣть. Тогда мы должны предоставить образованіе практическихъ реалистовъ, которые численно необходимы для государства. спеціальнымъ учрежденіямъ другихъ вѣдомствъ; а наши университеты пусть лучше станутъ на одну чисто-научную почву. Если же мы замѣчаемъ, что болѣшая часть нашихъ студентовъ недостаточно приготовлены къ свободнымъ и самостоятельнымъ занятіямъ наукою, то намъ нужно не понижать уровень университетскаго образованія, какъ это нѣкоторые полагаютъ, а, напротивъ, возвысить уровень гимназическаго, сдѣлавъ его исключительно приготовительнымъ къ университету, уничтоживъ двухстороннее раздѣленіе гимназическаго курса и продолживъ его до девяти и болѣе лѣтъ. Намъ нужно усилить и научныя требованія отъ учащихся въ университетѣ, продлить сроки ученія въ нѣкоторыхъ факультетахъ, положить правиломъ, что желающій получить ученую степень по одной отрасли наукъ долженъ предварительно имѣть ученую степень по другой, сродственной отрасли; отъ испытуемаго, напримѣръ, на степень доктора медицины требовать, чтобы онъ имѣлъ степень кандидата по физико-математическому и естественному факультетамъ, и т. п. Только этими способами—думаю—можно оградить чисто-научное значеніе нашихъ университетовъ. Если, съ одной стороны, умственная и научная дѣятельность наставниковъ будетъ постоянно обновляться свѣжими силами; если, съ другой стороны, образованіе въ гимназіяхъ будетъ исключительно направлено на приготовленіе къ университету; если, наконецъ, факультеты, не стѣсняясь урочными сроками времени, будутъ предоставлять учащимся заниматься спеціально наукою,—то, безъ сомнѣнія, чисто-научное значеніе универси-

тетовъ поднимется. Но зато, — нѣтъ сомнѣнія, — число учащихся, ищущихъ въ университетскомъ образованіи только средства, доставляющаго имъ или пропитаніе, или положеніе въ обществѣ, значительно уменьшится на первый разъ. И это хорошо; это необходимо для очищенія университетовъ и для поднятія ихъ чисто-научнаго значенія. Не университетъ, а спеціальныя школы гражданскаго и военнаго вѣдомствъ нужны для тѣхъ, которымъ нужна не наука, а хлѣбъ, и для тѣхъ научныхъ субалтерновъ, служба которыхъ необходима для государства (чиновниковъ, военныхъ и гражданскихъ лекарей). Тогда университетъ, съ его свободнымъ ученіемъ, поставитъ себѣ главною цѣлью развитіе таланта, самостоятельной дѣятельности ума и истинной любви къ наукѣ. Тогда и связь гуманнаго направленія съ реальнымъ въ нашихъ университетахъ будетъ еще надолго ограждена для пользы истиннаго просвѣщенія. Тогда можно надѣяться, что наши спеціалисты, избѣгнувъ вредной односторонности, будутъ и гуманно-образованными людьми.

Итакъ, преобразование нашей системы просвѣщенія нужно начинать не съ одного конца, а съ обоихъ. Дѣйствительно, если начать снизу (съ училищъ), то чтò можно сдѣлать? Можно измѣнить распредѣленіе наукъ по классамъ, можно улучшить программы, можно измѣнить курсы и испытанія; но все-таки не достанетъ главнаго — дѣльныхъ и опытныхъ педагоговъ. Откуда взять ихъ, если высшія учебныя учрежденія не будутъ преобразованы съ этою цѣлью и не будутъ оживляемы свѣжими силами? — Если начать сверху (съ университетовъ, то — спрашивается — гдѣ взять хорошо приготовленныхъ студентовъ, образованіе которыхъ подходило бы подъ уровень университетскаго ученія? — Слѣдовательно, не иначе, какъ начать съ обоихъ концовъ въ одно и то же время, можно ожидать успѣха. Образованіе въ высшихъ и низшихъ школахъ такъ органически связано, что, затронувъ одно, нельзя не тронуть другого. У насъ, въ сущности, тотъ же самый недостатокъ Петровскихъ и Екатерининскихъ временъ продолжается и до сихъ поръ. Какъ въ тѣ времена для нашего просвѣщенія не доставало главнаго — наставниковъ, такъ и теперь ихъ еще мало. Какъ тогда мы прибѣгали за помощью къ Западу, такъ и теперь еще мы не полагаемся на однихъ нашихъ доморощенныхъ наставниковъ.

Одно только перемѣнилось: тогда нужно было еще доставать учениковъ, которыхъ вздумали-было также выписывать изъ-за границы; теперь же, слава Богу, они есть на лицо. Но какъ тогда жаловались заграничныя знаменитости, выписанныя для насъ, что наши ученики слишкомъ плохи, какъ тогда высокопросвѣщеннымъ наставникамъ нужно было по-неволѣ спускаться до нашего уровня, такъ теперь жалуются наши отечественныя знаменитости въ университетахъ, что слушатели ихъ не понимаютъ. Поговариваютъ и теперь о томъ, что профессорамъ приходится спускаться до уровня гимназическихъ учителей, чтобы ихъ труды не пропадали даромъ. По-неволѣ, однако, спросишь: да какимъ же образомъ наши профессора сами достигли той степени образованія, на которой они теперь стоятъ? Вѣдь они также вышли изъ нашихъ школъ, изъ нашихъ университетовъ. Вѣдь не одному же пребыванію за границею они всѣмъ обязаны? Не будутъ же они отвергать, что они, по малой мѣрѣ, половиною своего образованія обязаны самимъ себѣ и тѣмъ университетамъ, въ которыхъ они начали свое ученіе. Скажутъ, что такихъ вообще немного, что всѣ эти наставники, которые вышли изъ нашихъ университетовъ и достигли высокаго научнаго образованія, составляютъ исключенія, что зато для сотни другихъ студентовъ университетское ученіе было гласомъ вопіющаго въ пустынь. Но, опять повторяю, согласимся сначала: чего мы желаемъ отъ университета?— Если главная его задача состоитъ въ развитіи таланта и самостоятельной личности, то отложимъ попеченіе когда-нибудь достигнуть образованія сотенъ даровитыхъ и самостоятельныхъ людей. Если университету удалось образовать и десятки, то уже должно благодарить Бога; а если ему удалось въ двадцатилѣтіе вывести на свѣтъ хотя одного истиннаго двигателя науки, то цѣль его вполне достигнута. Мы скажемъ, что талантъ и гений вездѣ себѣ проложитъ путь, что для него не нужны университеты, что развитіе талантовъ пропорціонально распространенію просвѣщенія въ массѣ. Все это правда, но только при извѣстныхъ условіяхъ. При извѣстномъ состояніи гражданственности общества невозможно установить научное образованіе такъ, чтобы оно приспособлялось и къ массивной посредственности, и къ даровитымъ личностямъ. Нельзя содер-

жать оранжереи и для сѣнокоса, и для тропическихъ растений. Знаю я, что талантъ для насъ не долженъ быть растеніемъ тропиковъ; онъ долженъ быть нашъ родной дубъ, а не пальма; но и для дуба все-таки нужна удобная почва, а главное, нужны хорошіе полѣсовщики: иначе его срубить на дрова вмѣстѣ съ сосной и березой. Не всегда также развитіе талантовъ находится въ прямомъ отношеніи съ распространеніемъ просвѣщенія въ массахъ. Еслибы всегда была такая соотвѣтственность, то въ наше столѣтіе мы встрѣчали бы на каждомъ шагѣ Бэконовъ, Коперниковъ и Галилеевъ. Нельзя, наконецъ, сказать и того, что для насъ сотни посредственныхъ необходимѣе одного талантливаго. Нѣтъ, у насъ еще нужнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, даровитые люди; мы не должны забывать, что каждый изъ нихъ можетъ подвинуть болѣе массу впередъ, чѣмъ сотни стоящихъ въ уровень съ нею, хотя и правда, что способъ образованія, приноровленный къ развитію даровитыхъ, дѣлается въ ущербъ самой массѣ. Я знаю, что мы въ настоящее время безъ посредственности—все равно, что машина безъ рукъ, безъ лошадей или безъ паровъ. Но повторяю: невозможно и вредно сближать два противоположныя стремленія. Нельзя вести однимъ и тѣмъ же путемъ и посредственностъ, стремящуюся удовлетворять насущнымъ потребностямъ общества, и даровитую любознательностъ, стремящуюся къ чисто-научнымъ цѣлямъ. Первая торопится выйти въ жизнь, чтобы какъ можно скорѣе приложить свои ограниченныя свѣдѣнія и извлечь изъ нихъ пользу; въ ней нуждается общество и вызываетъ ее безпрестанно на помощь. Ее нужно брать на выучку и научить въ срокъ. Для нея нужны курсы и опредѣленное по одной мѣркѣ minimum свѣдѣній, достаточное для насущной потребности общества. Съ нею нужно спѣшить образованіемъ, чтобы не оставить то или другое вакантное мѣсто незамѣщеннымъ. Для второй, срокъ ученія — жизнь, и мѣра — наука. Ей нельзя сказать: учись только тому, а не этому. Она учится, не опредѣляя ни minimum, ни maximum свѣдѣній. Ея не вызываетъ крикъ толпы на выручку, и потому ей некуда и не къ чему торопиться. Она всегда найдетъ вакантное мѣсто.—Я не отвергаю, что можно и въ одномъ и томъ же учебномъ учрежденіи образовывать и ту, и другую.—Можно организовать университетъ и

такъ, что онъ будетъ удовлетворять и насущнымъ потребностямъ общества, и высшимъ требованіямъ науки. Но это возможно только при двухъ условіяхъ: во-первыхъ, когда къ университетамъ примкнутъ спеціальныя учрежденія другихъ вѣдомствъ и увеличатъ его образовательныя средства; а во-вторыхъ, если вмѣстѣ съ этимъ университетское ученіе раздѣлится на два отдѣла, изъ которыхъ одинъ будетъ свободный и неограниченный срокомъ времени, а другой—срочный и обязательный. Въ какой мѣрѣ такое преобразование возможно и выгодно въ настоящее время, я не берусь теперь рѣшать. Но если оно неисполнимо, то я остаюсь при моемъ убѣжденіи, что нѣтъ другого, болѣе вѣрнаго, средства для развитія высшаго образованія, какъ то, чтобы дать нашимъ университетамъ чисто-научное значеніе, предоставивъ приготовленіе путемъ науки къ служебной должности спеціальнымъ школамъ другихъ вѣдомствъ.

Наконецъ, кромѣ преобразованій коренныхъ, я прилагаю мое: „чего мы желаемъ“ и къ измѣненіямъ второстепеннымъ учебныхъ постановленій, касающимся способовъ ученія и испытанія.

На вопросъ: чего мы желаемъ отъ университетскаго преподаванія?—я, конечно, не отвѣчу: изложенія науки по печатной программѣ, а скажу: я желаю, чтобы учащійся въ университетѣ усвоилъ себѣ науку образовательною силою мысли и слова. За исключеніемъ клиникъ и немногихъ другихъ практическихъ демонстрацій (при которыхъ наставникъ и его ученики мѣняются мыслями), на всѣхъ другихъ университетскихъ лекціяхъ учащіеся обыкновенно остаются пассивными слушателями. Между тѣмъ извѣстно, что ничто не возбуждаетъ столько умственной дѣятельности, какъ активное участіе въ научныхъ занятіяхъ. Въ то самое время, когда мы слѣдимъ за ходомъ мыслей другого, намъ самимъ многое приходитъ на мысль: у насъ тутъ же рождаются вопросы, сомнѣнія и возраженія. И всѣ наставники, если они желаютъ, чтобы ихъ слушатели усваивали себѣ науку, должны также желать, чтобы умъ слушателей на лекціяхъ былъ въ постоянной работѣ. Но обыкновенно слушателю приходится только напрягать свое вниманіе и бороться съ собственными мыслями,

которыя вырываются обнаружиться; въ этой борьбѣ онъ нерѣдко теряетъ нить въ изложеніи предмета; закрывшееся сомнѣніе остается у него нерѣшеннымъ, и онъ выноситъ съ лекціи многое неяснымъ и неразгаданнымъ. И потому я думаю, что учащійся долженъ оставаться пассивнымъ лицомъ на лекціяхъ только въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, когда преподаватель излагаетъ новыя научныя истины, еще не обнаруженные или ему одному извѣстныя и имъ однимъ познанныя; во-вторыхъ, когда преподаватель владѣетъ особннымъ даромъ слова. Понятно, что въ тѣ времена, когда книгопечатаніе еще не было распространено, не было и другого средства къ распространенію знаній, кромѣ устныхъ лекцій; понятно также, что и въ наше время истинные двигатели науки имѣютъ въ изустномъ преподаваніи мощное средство для перваго обнаруживанія новыхъ идей, еще не настолько выработанныхъ, чтобы выйти въ свѣтъ въ печатномъ сочиненіи; наконецъ, даръ слова также обнаруживаетъ свое волшебное дѣйствіе на учащихся путемъ изустнаго преподаванія. Но мы хорошо знаемъ, что не всѣ преподаватели отличаются даромъ изложенія, чего, при другихъ существенныхъ достоинствахъ, нельзя отъ нихъ и требовать. Мы знаемъ также, что учащіеся обыкновенно слышатъ такія истины, которыя уже обнаружены въ сотняхъ учебниковъ и не одному только преподавателю извѣстны. Итакъ, если не встрѣчается непреодолимаго препятствія въ громадномъ числѣ слушателей; если преподаватель излагаетъ уже извѣстныя данныя по учебникамъ и запискамъ, и если онъ не отличается особннымъ даромъ слова, я предложилъ бы ввести для многихъ предметовъ, вмѣсто обыкновенныхъ лекцій, Сократовскій способъ ученія въ видѣ бесѣдъ, главною цѣлью которыхъ было бы обсужденіе основныхъ и самостоятельныхъ вопросовъ науки. Учащіеся должны бы были готовиться у себя дома чтеніемъ указанныхъ имъ источниковъ, руководствъ или записокъ, а на бесѣдахъ для уясненія предмета они не только бы отвѣчали какъ на репетиціяхъ, но и сами бы спрашивали, судили и возражали. При этомъ способѣ преподаванія профессору не было бы никакой необходимости читать свои лекціи всякій день и терять время на систематическое изложеніе такихъ истинъ, которыя каждый слуша-

тель, знающій грамоту и хотя сколько-нибудь подготовленный, может самъ прочитатъ, не спѣша и хорошенько обдумавъ, въ любомъ учебникѣ. А каждый наставникъ могъ бы съ большею пользою употребить свое время на составленіе хорошихъ руководствъ, монографій и на разговорное объясненіе того, что дѣйствительно должно быть уяснено. Нѣтъ сомнѣнія, что такія бесѣды несравненно болѣе дали бы пищи для ума и болѣе бы содѣйствовали къ усвоенію науки самостоятельною дѣятельностью ума учащихся.

Перейдемъ къ испытаніямъ. Экзаменъ есть мѣра, означающая вообще недостаточную образованность общества. Онъ излишенъ тамъ, гдѣ само общество можетъ оцѣнить свѣдѣнія необходимыхъ для него людей. Экзаменъ есть привилегія цеховъ и кастъ, препятствующая конкуренціи и, слѣдовательно, только тогда необходимая, когда эта конкуренція вредна для общества. Еслибы, напримѣръ, общество могло само оцѣнить достоинство всякаго врача, то оно и безъ экзаменованныхъ врачей не обращалось бы къ шарлатанамъ. Итакъ, экзаменъ — это мѣра временно и условно необходимая. Если успѣхъ просвѣщенія подтвердить мнѣніе, которое уже и теперь слышится, что цехи и монополіи не столько полезны, сколько вредны къ развитію промышленности и торговли; то и ученыя касты, съ ихъ привилегіями, едва ли удержатся. Но покуда правительства должны еще ручаться предъ обществомъ за свѣдѣнія привилегированныхъ ими лицъ, и мы должны заняться рѣшеніемъ вопроса: чего мы желаемъ отъ экзамена? Если онъ есть ручательство одного привилегированнаго сословія предъ лицомъ общества; то — спрашивается — предъ кѣмъ же ручаются университеты вступительными своими экзаменами? Не предъ самими ли собою только и не предъ одними ли испытуемыми? Положимъ, обществу необходимо знать, что учитель, врачъ или юристъ, образовавшіеся въ университетѣ, дѣйствительно имѣютъ необходимыя свѣдѣнія для ихъ занятій; но какое дѣло обществу до того, что при поступленіи въ университетъ студенты дѣйствительно имѣютъ свѣдѣнія, необходимыя для высшаго образованія? Собственно и университету до этого также мало дѣла. Если большая часть вступающихъ не имѣетъ достаточныхъ свѣдѣній, то тѣмъ хуже для нихъ. Итакъ, если

вступительные экзамены необходимы, то они необходимы для самих учащихся, чтобы доказать имъ достаточность или недостаточность ихъ свѣдѣній для высшаго образованія. Мы скажемъ, что цѣль вступительныхъ испытаній совсѣмъ не та. Мы скажемъ, что тамъ, гдѣ образованіе составляетъ правительственную монополію, вступительными (университетскими) экзаменами повѣряется степень развитія гимназій и другихъ учебныхъ заведеній. Мы скажемъ, что если я возстаю противъ этихъ испытаній, то противорѣчу самъ себѣ, и, отворивъ всѣмъ настежь входъ въ университетъ, могу повредить его истинно-научному значенію, котораго я столько добиваюсь. Наконецъ,—мы скажемъ,—съ уничтоженіемъ вступительныхъ университетскихъ экзаменовъ, гимназіи навѣрное опустѣютъ, число студентовъ увеличится непомѣрно, и многіе изъ нихъ будутъ только понапрасну терять время, не-въ-прокъ ни себѣ, ни обществу, мѣшая истиннымъ adeptамъ науки хорошо пользоваться учебными средствами университета, и т. д. Но положимъ,—какъ это теперь и есть,—что университеты посредствомъ своихъ вступительныхъ экзаменовъ убѣдились въ недостаточности знаній большинства вступающихъ. Положимъ, что и дипломы объ успѣшномъ окончаніи полного гимназическаго курса—не вѣрные доказательства. Что же дѣлать въ такомъ случаѣ? Очевидно, представляются три возможные мѣры. Нужно: или измѣнить университетское ученіе, приспособивъ его къ уровню гимназическаго; или возвысить уровень гимназическаго; или же, наконецъ, принявъ правиломъ извѣстное „laissez faire“, предоставить все дѣло времени. Мысль понизить университетское ученіе до гимназическаго, и именно потому, что университетъ ушелъ слишкомъ далеко впередъ, мы кажется такъ странно и несвоевременную, что я не могу на ней остановиться, и потому я, не колеблясь, тотчасъ бы оправдалъ вторую мѣру, какъ единственную для улучшенія всего дѣла. Но вотъ бѣда. Гимназій гораздо болѣе, чѣмъ университетовъ, и ихъ нельзя такъ скоро поднять. Для университетовъ нужны сотни, для гимназій—тысячи дѣльныхъ преподавателей; если въ университетахъ нужны дѣятели, стоящіе въ уровень съ современною наукою, то въ гимназіяхъ необходимы наставники, владѣющіе, кромѣ свѣдѣній, особеннымъ педагогическимъ так-

томъ; между тѣмъ ни правительство, ни самый родъ занятій гимназическихъ наставниковъ не можетъ имъ доставить столько средствъ, чтобы они всѣ были обеспечены отъ самыхъ вопіющихъ житейскихъ нуждъ. Если это такъ, то, значить, ничего болѣе не остается, какъ оставить все дѣло улучшенія *in statu quo*. Но можно ли все оставлять на произволъ времени, тогда какъ труды экзаменаторовъ съ каждымъ годомъ возрастаютъ въ геометрической прогрессіи, и возрастаютъ бесполезно, потому что съ увеличивающимся числомъ поступающихъ въ университетъ нѣтъ никакой возможности соблюдать строгій контроль при испытаніяхъ. Уже во всѣхъ университетахъ обнаруживается новый родъ промышленности между учащимися, которая и теперь уже дѣлаетъ для экзаменатора невозможнымъ узнать подставныхъ самозванцевъ; а это зло можетъ современемъ развиться въ огромныхъ размѣрахъ. — Опытъ убѣждаетъ, что всѣ мѣры такого рода, какъ экзаменъ, только тогда достигаютъ благой цѣли, когда они будутъ приведены послѣдовательно, точно и съ безпристрастною строгостью. Иначе онѣ превращаются въ ничтожную формальность, и скорѣе вредятъ, чѣмъ помогаютъ. Но есть ли физическая возможность университетскимъ экзаменаторамъ, при всей огромной тратѣ времени въ ущербъ преподаванію наукъ, послѣдовательно провести вступительныя испытанія, когда нельзя положиться, какъ опытъ показываетъ, и на гимназическія, при которыхъ правосудные и просвѣщенные наставники могли бы гораздо легче оцѣнить достоинства своихъ учениковъ. Итакъ, мы приходимъ къ тому заключенію, что если мы искренно желаемъ предоставить нашимъ университетамъ чисто-научное значеніе, то мы должны также желать одного изъ двухъ: или пусть останутся вступительныя испытанія, но внѣ университетовъ; или же пусть университетъ откроетъ всѣмъ свободный входъ въ свое святилище наукъ, оставивъ каждому заботиться самому о собственномъ образованіи и самому судить — созрѣлъ ли онъ для университета, или нѣтъ, и требуя только при выходѣ строгаго отчета, чтобы отличить знаніе и талантъ отъ невѣжества и бездарности. — Первое средство могло бы осуществиться подъ видомъ экзаминаціонныхъ комиссій при гимназіяхъ, съ присутствіемъ университетскихъ депутатовъ. Такое учрежденіе

предохранило бы, по крайней мѣрѣ, университетъ отъ обмана подставными испытаніями, и профессоры, экзаменуя несравненно меньшее число учащихся, могли бы строже и отчетливѣе исполнить трудную свою обязанность.

Вторая мѣра, повидимому, опасна тѣмъ, что покровительствовала бы невѣжеству и праздности, и дѣлала бы подрывъ гимназическому ученію. Но эти опасенія, мнѣ кажется, скоро бы исчезли. Правда, на первое время число учащихся въ университетахъ слишкомъ бы увеличилось; многіе изъ университетскихъ профессоровъ не были бы поняты ихъ слушателями. Вся масса неподготовленной къ университетскому ученію молодежи устремилась бы въ тѣ факультеты, въ которыхъ преподаваніе требуетъ менѣе гимназическихъ свѣдѣній. Но стоило бы только однажды убѣдить учащихся на опытѣ, что университетъ требуетъ, не щадя, серьезнаго отчета при выходѣ, и — я твердо убѣжденъ — все скоро бы пришло опять въ порядокъ. Испытавъ это, учащіеся сами увидѣли бы ясно, какъ необходимо для университетскаго ученія предварительное солидное образованіе, и сами бы впередъ постарались о себѣ. Тогда они перестали бы торопиться окончаніемъ гимназическаго курса. Они и ихъ родители перестали бы хлопотать и просить у директоровъ и инспекторовъ о скорѣйшемъ переводѣ въ старшіе классы, несмотря на плохія отмѣтки. А если бы нѣкоторые изъ нихъ и поступили въ университетъ худо подготовленными, то у нихъ достало бы еще и въ университетѣ довольно времени, чтобы восполнить пробѣлы въ головѣ. Вѣдь истинное университетское ученіе — свободно и не ограничено урочными курсами и опредѣленными сроками времени. Скажите, положивъ руку на сердце: кто изъ насъ въ прежніе годы не учился „чему-нибудь и какъ-нибудь“? И неужели мы всѣ обязаны нашими свѣдѣніями только тому, что насъ принуждали учиться по курсамъ и срокамъ? Наконецъ, возьмемъ самое худшее. Положимъ, что дѣятельность нѣкоторыхъ факультетовъ, и именно тѣхъ, въ которыхъ безъ гимназическаго приготовленія нельзя сдѣлать ни шагу впередъ (филологическаго, математическаго), на время прекратится и аудиторіи ихъ опустѣютъ. Что же за бѣда? Вмѣсто того, чтобы профессорамъ приспособляться къ массамъ и, для поддержанія

одного имени факультета, унижать университетское учение до уровня гимназического, не лучше ли сдѣлаться самимъ учителями гимназій? Пусть при нихъ останутся ихъ права и содержаніе, но пусть они сами идутъ въ гимназіи готовить для себя же достойныхъ учениковъ. Почему же университетскимъ наставникамъ, если они искренно любятъ отечество и науку, не попытаться внести свое направленіе въ нѣдра гимназій, и только тогда возвратиться въ факультеты, когда они будутъ увѣрены, что образовали настоящихъ университетскихъ слушателей, изъ которыхъ, въ свою очередь, могли бы образоваться новые наставники.

Но какъ бы то ни было, изберется ли та или другая мѣра, нужно все-таки рѣшить окончательно, чего мы желаемъ отъ испытанія вообще, будетъ ли оно вступительное или окончательное? Я бы отвѣтилъ коротко и просто; опредѣлить не maximum, а извѣстное minimum свѣдѣній испытываемаго. Maximum свѣдѣній, для достиженія какой бы то ни было цѣли, безпредѣльно и бесконечно. Какъ ни разнообразьте ваши отмѣтки, какъ ни распредѣляйте число балловъ, вы никогда не обозначите всѣхъ степеней свѣдѣнія. Вы никогда и ни отъ кого не получите отчетливаго отвѣта на общій вопросъ: какъ велики свѣдѣнія такого-то въ той или другой наукѣ? Но поставьте вопросъ точнѣе и спросите: имѣетъ ли такой-то достаточно знанія, чтобы достигнуть той или другой цѣли въ какой-либо наукѣ? И вамъ можно будетъ отвѣчать положительно: да или нѣтъ; потому что для каждой цѣли есть извѣстное minimum, котораго уже непременно нужно достигнуть. Конечно, и различныя степени, и minimum знаній условны; но, безъ сомнѣнія, гораздо легче условиться въ одномъ, нежели во многомъ. Итакъ, только два слова: да или нѣтъ, должны быть отвѣтомъ экзаменатора на опредѣленный вопросъ о minimum свѣдѣній испытываемаго. Правда, внутренняя цѣнность и этихъ двухъ отмѣтокъ будетъ опредѣляться личностью экзаменатора; но все-таки эта цѣнность будетъ несравненно менѣе условна, нежели та, которая выражается словами, означающими безчисленныя степени хорошаго и худого. А замѣняя слова цифрами и оцѣнивая человѣческія свѣдѣнія

ариѳметическими выкладками, мы нисколько не поступаемъ точнѣе, и какъ бы ни хлопотали выразить всѣ оттѣнки знанія, — простыми ли, или десятичными дробями, — все будетъ напрасно, и именно потому, что и здѣсь мы не спросили себя: чего мы желаемъ?

1859 г.



УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВОПРОСЪ.

Ist es Ernst?

Я думаю, что первообразы университетовъ были ближе нашего къ идеалу. Основанные передовыми людьми своего времени, они были настоящими и единственными представителями современной науки. Не было различія между академіей и университетомъ. Кто двигалъ науку впередъ, тотъ и училъ. Ученіе приноровлялось къ наукѣ, а не къ знаніямъ учениковъ. До возраста учащихся не было университету никакого дѣла. И учителя, и ученики — были общими сподвижниками науки, *commilitones*. Съ развитіемъ гражданственности, съ распространеніемъ просвѣщенія въ массахъ, не могла сохраниться первобытная чистота идеала. Правительства, церкви, общество — заявили свои требованія. Безусловность чисто-научныхъ стремленій не могла устоять противъ условій жизни.

И вотъ, мы видимъ, уже давно, университеты не чисто-научными, а правительственными, церковными, учебно-общественными и національными учрежденіями. Давно внесены уже въ университетъ начала, чуждые его идеалу. Церковный догматъ, бюрократизмъ, элементы: національный, филантропическій и воспитательный, попеременно обусловливаютъ и измѣняютъ чисто-научныя, университетскія стремленія. Сама наука, все болѣе и болѣе проникая въ жизнь общества, выноситъ изъ нея и вноситъ съ собою въ университеты прикладное, утилитарное направленіе. Наконецъ, университеты въ системѣ общественнаго образованія занимаютъ высшее мѣсто въ ряду школъ, а чисто-научное начало, отдѣляясь отъ учебнаго, переходитъ въ академіи.

Что же университетъ въ наше время?

Его можно опредѣлить болѣе отрицательно, чѣмъ положительно. Можно сказать, что онъ пересталъ быть учрежденіемъ чисто-научнымъ, то-есть такимъ, которое назначено удовлетворять одной потребности знанія. Большинство въ немъ учатся съ извѣстною, практическою цѣлью. Въ немъ приготовляются для общества: служители церкви, судьи, врачи и наставники. Но нельзя его назвать и специально-учебнымъ учрежденіемъ. Тогда онъ пересталъ бы быть университетомъ. Тогда соединеніе всѣхъ факультетовъ въ одно цѣлое—существенная характеристика университета — перестала бы быть существенною. Сверхъ того, университетъ не есть специально-учебное учреждение и потому, что многія науки въ его факультетахъ не изучаются такъ специально, какъ этого требуетъ ихъ современное состояніе. Нельзя считать нынѣшній университетъ и такимъ учебнымъ учрежденіемъ, котораго цѣлью было бы одно высшее общечеловѣческое образованіе. Его факультеты для этого слишкомъ уже спеціальны. Нынѣшній университетъ не открытъ для любознательности различныхъ возрастовъ, половъ и сословій. Большинство учащихся въ немъ состоитъ изъ молодыхъ людей извѣстнаго пола и возраста. Но онъ не есть и воспитательное заведеніе. Оставшуюся въ нѣкоторыхъ университетахъ отъ среднихъ вѣковъ администрацію, конечно, нѣкто не будетъ считать за настоящій воспитательный элементъ. Наконецъ, ни одинъ университетъ въ свѣтѣ, несмотря на названіе, не представляетъ всеобъемлющаго научно-учебнаго учрежденія. Ни одинъ университетъ не есть универсальный представитель современной науки, во всѣхъ ея проявленіяхъ.

Во всѣхъ странахъ мы видимъ множество высшихъ учебныхъ и специально-научныхъ учреждений, которыя возникаютъ возлѣ университетовъ и не имѣютъ съ нимъ ничего общаго. И ни въ одномъ университетѣ мы не находимъ кафедръ не только всѣхъ, но даже и половины современныхъ наукъ. Не находимъ ни одного университета, снабженнаго пособіями для полнаго изложенія всѣхъ научныхъ предметовъ на дѣлѣ, хотя вездѣ замѣчается стремленіе къ сближенію науки съ жизнью.

Итакъ, все, даже до самаго названія, неопредѣленно въ университетѣ настоящаго времени.

Задача о цѣли и назначеніи его сдѣляется еще неопредѣленною, если мы, съ нѣкоторыми моралистами, перенесемъ вопросъ далѣе, на другую почву, и спросимъ: есть ли научное образованіе человѣка конечная цѣль, или только средство къ чему-то другому, еще высшему?

Но, не заходя такъ далеко, остановимся покуда на ближайшемъ и болѣе намъ доступномъ.

Знать и умѣть приложить знаніе къ дѣлу и жизни—эти два стремленія умственной дѣятельности человѣка проявляются при самыхъ первыхъ зачаткахъ общества. Они проявились и при учрежденіи университетовъ. Но одно изъ нихъ преодолеваетъ другое.

Жизнь общества, съ ея прикладными стремленіями, беретъ перевѣсъ надъ чисто-научнымъ. Поэтому прикладное направленіе не замедлило обнаружиться въ университетахъ.

Это и не могло быть иначе. И правительство, и церковь, и общество не могли не воспользоваться университетами для достиженія своихъ цѣлей. И странно было бы, съ ихъ стороны, выпускать изъ рукъ такой сильный рычагъ.

Но для прикладного, для утилитарнаго, которое съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе усиливается въ нашемъ обществѣ, университеты одни сдѣлались уже недостаточными. Для прикладного, которое пересилило чисто-научное стремленіе, понадобились еще другія, болѣе практическія, учрежденія; оно даже перешло и въ тѣ школы, которыхъ прямое назначеніе было готовить только къ университету. И отъ нихъ начали требовать, чтобы онѣ приготавливали прямо къ вступленію въ жизнь. Это утилитарное стремленіе грозитъ реформой университетамъ. Оно все болѣе и болѣе разрываетъ органическую связь между факультетами. Въ одной странѣ (Франціи) удалось ему почти совсѣмъ прервать эту связь.

Покуда, однако-же, чисто-научное начало еще живетъ въ университетахъ,—и къ чести человѣчества нужно думать, что оно никогда не умретъ; оно еще снабжаетъ ихъ свѣжими силами;—еще готовитъ передовыхъ людей обществу;—еще борется съ прикладнымъ, и этой борьбой облагораживаетъ его. Чисто-научное не разсталось еще съ учебною дѣятельностью и не вышло совсѣмъ изъ университета въ академію. Какъ ни

мельчаетъ это направленіе, какъ ни сгромаживается научный матеріалъ, какъ ни распадается наука на множество отраслей, какъ, наконецъ, правительство, церковь и общество ни обусловливаютъ чисто-научное направленіе, — университеты не перестаютъ еще сознать и поддерживать духовную связь наукъ и не перестаютъ стоять за свободу науки. Въ этой борьбѣ, въ этомъ высокомъ стремленіи — все достоинство нынѣшняго университета. Въ этомъ заслуга Германіи, — страны по преимуществу университетской.

Но, какъ бы ни было неопредѣленно значеніе современнаго университета въ Европѣ, мы видимъ, что оно выражается предъ нами болѣе или менѣе ясно въ трехъ направленіяхъ. Одно изъ нихъ, которое болѣе другихъ напоминаетъ средне-вѣковое происхожденіе, еще довольно сохранило чисто-научный видъ, едва сдѣлавъ нѣкоторыя уступки современнымъ требованіямъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно и всего болѣе подчинилось вліянію церкви и сословія, принявъ характеръ воспитательный, выразившійся и въ учебной сторонѣ, и въ цѣлой жизни учрежденія. Другое, удерживая отъ средне-вѣковой жизни одно только корпоративное начало и уступая болѣе вопіющему требованіямъ современной жизни, соединило въ себѣ чисто-научное съ прикладнымъ. Отстаивая упорно свободу и самостоятельность научнаго элемента, оно не разъ должно было уступать и вліянію церкви и бюрократизма; но устояло, — не сдѣлалось ни церковнымъ, ни сословнымъ, ни бюрократическимъ, и сохранило въ себѣ еще духовную связь наукъ и свою дорогую *Lehr-und Lernfreiheit*. Третье, наконецъ, удержавъ отъ среднихъ вѣковъ одни берреты и тоги профессоровъ да названіе университета, поддалось совершенно централизирующей власти правительства и сохранило научный характеръ, благодаря только способностямъ и прогрессивнымъ стремленіямъ націи. Университетъ, при этомъ направленіи, сдѣлался однимъ номинальнымъ и бюрократическимъ центромъ разныхъ учебныхъ учреждений.

Что же такое нашъ университетъ въ Россіи?

Если трудно было сказать что-нибудь положительное и общее о современномъ университетѣ въ Европѣ, то еще труднѣе это сказать про нашъ. Въ немъ еще болѣе отрицательнаго, еще менѣе положительнаго. Онъ не есть учрежденіе ни

реальное, ни свободно-научное, ни специальное, ни общеобразовательное, ни воспитательное, ни церковное, ни сословное; ни средневековое — корпоративное, ни филантропическое, ни чисто-бюрократическое.

Между тѣмъ каждое изъ этихъ началъ внесено въ него въ извѣстной степени. Положительнаго про нашъ университетъ можно сказать только то, что онъ есть учрежденіе правительственное и учебное, съ значительнымъ бюрократическимъ оттѣнкомъ и съ нѣкоторою примѣсью корпоративнаго, воспитательнаго и филантропическаго характера. Созданный, какъ и большая часть германскихъ университетовъ, правительствомъ, онъ никогда не былъ такъ формально подчиненъ вліянію господствующей церкви, какъ многіе изъ этихъ университетовъ, хотя въ ученіи и не могъ отступать отъ догмы православія. Основанный сильною централизирующею властью, въ то время, когда образованіе нуждалось еще во внѣшнемъ поощреніи сверху, онъ по необходимости долженъ былъ принять въ себя бюрократическое начало, котораго рѣзкій формализмъ долженъ былъ, также необходимо, смягчиться и ослабнуть подъ вліяніемъ научнаго элемента. Не имѣя вовсе средневековыхъ преданій, возникшій въ обществѣ, вовсе не имѣющемъ цеховыхъ стремленій, нашъ университетъ никогда не могъ сдѣлаться ни настоящею корпораціею, ни настоящимъ сословнымъ учрежденіемъ. Но нѣкоторыя права и коллегіальное начало, внесенное въ него уставомъ, а главное — одинаковость или сходство цѣлей, занятій, воспитанія и возрастовъ — успѣли развить въ немъ товарищество или что-то похожее на корпорацію; рѣзкое же различіе въ правахъ и образованности сословій сдѣлало его болѣе или менѣе сословнымъ. Устроенный по образцу германскихъ университетовъ, стремившихся къ свободѣ ученія, онъ не могъ получить опредѣленный, воспитательный характеръ. Но исключительно для него регламентированный полицейскій надзоръ заставилъ думать, что въ немъ дѣйствительно воспитываются молодые люди, также какъ бursы, стипендіи и казеннокошество могли заставить думать, что университетъ есть филантропическое учрежденіе.

При такой неопредѣленности характера и основныхъ началъ, еще менѣе опредѣленно должно было выразиться направ-

леніе. Правительство, учреждая университетъ, очевидно, имѣло нужду и въ спеціалистахъ, и вообще въ образованныхъ людяхъ. Оно желало черезъ университетъ получить и тѣхъ, и другихъ. Оно желало развити въ обществѣ присущую ему способность знать и умѣть приложить свое знаніе. Оно учреждало новые и преобразовывало существовавшій уже университетъ, въ то время, когда въ современномъ европейскомъ обществѣ начинали значительно развиваться утилитарныя стремленія, и потому прикладное должно было развиваться на счетъ чисто-научнаго. Мало этого, — чисто-научное и не могло быть въ нашемъ университетѣ преобладающимъ началомъ. Онъ не былъ обязанъ, какъ нѣкоторые изъ средневѣковыхъ университетовъ, передовымъ людямъ общества. Духъ же и стремленія централизирующей власти и самый духъ націи болѣе благопріятствовали прикладному, чѣмъ чисто-научному. Не было ни борьбы направленій, ни духовной связи между факультетами, ни средневѣкового корпоративнаго элемента, который бы также стремился поддерживать эту связь. Да и прикладное направленіе, не выработавшееся наукой на родной почвѣ, не могло развиваться и идти прогрессивно впередъ. Поощряемое только извнѣ, искусственной регламентаціей государства, оно могло только отчасти удовлетворять вопіющимъ его потребностямъ.

Итакъ, нашъ университетъ отличается совершенно отъ средневѣковаго англійскаго тѣмъ, что онъ нисколько не церковный, не корпоративный, не общественный, не воспитательный. Нашъ университетъ похожъ только тѣмъ на французскій, что въ него внесенъ — и еще сильнѣе и оригинальнѣе — бюрократическій элементъ; но онъ не есть еще департаментъ народнаго просвѣщенія, какъ французскій, и факультеты въ нашемъ еще не лишены такъ взаимной связи, какъ въ томъ. Наконецъ, нашъ университетъ еще менѣе похожъ на германскій, который ему служилъ образцомъ, потому что въ немъ нѣтъ самаго характеристичнаго: полной *Lehr- und Lernfreiheit* и стремленія научнаго начала преобладать надъ прикладнымъ и утилитарнымъ.

И вотъ, для насъ наступило время реформъ. Въ чемъ же должна состоять наша университетская реформа? Тутъ нѣмецкій вопросъ: *ist es Ernst?* — я думаю, не такъ ненуженъ, какъ

оно, можетъ быть, кажется. Заправду можно дѣлать только то, что внутренне необходимо и, при данныхъ условіяхъ, возможно.

Нѣтъ сомнѣнія, внутренняя необходимость въ опредѣленномъ направленіи и въ большей соотвѣтственности съ современными требованіями науки и общества ощущается почти всѣми, кому университеты близки къ сердцу или сколько-нибудь извѣстны. Даже и въ германскихъ университетахъ слышатся голоса о реформахъ. Въ нихъ нѣтъ уже прежняго наплыва студентовъ; утилитарныя школы многихъ уже отвлекли, да большинство и посѣщающихъ не остается вѣрнымъ университетскому призванію. У насъ, напротивъ, хотя число учащихся и растетъ, но врядъ-ли находить то, чего ищеть, и врядъ-ли ищеть того, что можетъ дать университетъ. Это потому, что направленіе нашего университета еще вовсе не опредѣлилось. Вакантныя кафедры его трудно замѣщаются. Это потому, что внутренняя, динамическая жизнь университета слаба до чрезвычайности. Матеріальное существованіе его членовъ не обезпечено. Научныя и учебныя средства недостаточны. Это значитъ, что и матеріальная сторона университета также скудна, хотя и относительно. Итакъ, причинъ внутреннихъ, вызывающихъ реформу, довольно. Но, несмотря на это, если мы будемъ откровенны, то согласимся, что все-таки самый главный толчокъ, заставившій у насъ такъ дѣятельно заняться реформою университета, былъ данъ обстоятельствомъ чисто-внѣшнимъ, — студенческими беспорядками. Оно внѣшнее потому, что не зависѣло отъ университета, — это я постараюсь доказать послѣ, если это еще требуетъ доказательствъ.

Но, какъ бы то ни было, если внутренняя необходимость реформы несомнѣнна, то другое дѣло — вопросъ о ея возможности при существующихъ условіяхъ.

Не говоря уже объ условіяхъ финансовыхъ, — безъ которыхъ ничего рѣшать нельзя, — трудность его рѣшенія представляется еще съ разныхъ сторонъ.

Во-первыхъ. Если инициатива реформы въ правительственномъ университетѣ и принадлежитъ самому правительству, то все-таки она не иначе можетъ быть приведена въ исполненіе,

какъ силами самого же университета. А существуютъ ли эти силы на лицо?

Во-вторыхъ. Правительство, реформируя, должно постоянно сообразоваться съ тѣмъ, насколько реформа совмѣстна съ основными началами государства. Тутъ будетъ идти дѣло о томъ, какъ согласить требованія современной науки съ требованіями самого государства. А это возможно не вполнѣ, а только въ нѣкоторой степени.

Въ-третьихъ. Реформа предпринимается и для того, чтобы удовлетворить потребностямъ общества. Но тамъ, гдѣ общественное мнѣніе еще не окрѣпло, гдѣ взгляды еще до того не установились, что университетъ является и учащимся, и отцамъ, и даже учащимъ, въ самыхъ разнохарактерныхъ, нерѣдко странныхъ видахъ, — тамъ угадать истинныя потребности общества хотя и можно (смотря на него сверху), но удовлетворить, съ сознательною пользою для всѣхъ, едва-ли возможно.

Не исполнивъ же этихъ трехъ условій, реформа не будетъ внутренняя и легко превратится въ одну внѣшнюю регламентацію.

Что же дѣлать? Не предпринимать реформы? Это значило бы отказаться отъ всякаго прогресса, который сдѣлался уже жизненною и потому безотлагательною потребностью. И если при реформѣ нельзя никакъ обойти эти три условія, то нужно, по крайней мѣрѣ, сдѣлать то, что имѣло бы какъ можно болѣе шансовъ ихъ сгладить.

Всякая реформа есть экспериментъ. А въ новомъ экспериментѣ, какъ бы осторожно ни пробовали, всегда есть два черныхъ шара: или онъ будетъ сдѣланъ неудачно; или онъ окажется неспособнымъ разрѣшить ту задачу, для рѣшенія которой былъ сдѣланъ. Противъ первой неудачи могутъ помочь только личныя качества экспериментаторовъ, а противъ второй — правило: испробовать рѣшеніе не однимъ, а нѣсколькими путями, и особливо когда имѣемъ передъ собою вопросъ сложный. Почему же и въ сложномъ дѣлѣ университетской реформы не испробовать нѣсколько путей? Почему бы реформа должна была у насъ выразиться непременно однимъ и тѣмъ же уставомъ для всѣхъ университетовъ? Взгляды на значеніе

университетовъ вообще не вездѣ еще установились, а наши университеты въ Россіи совсѣмъ не такъ одинаковы, какъ это можно заключить изъ того, что для нихъ пишется одинъ и тотъ же уставъ. Разлада и неурядицы отъ разнообразія университетовъ опасаться нечего. При разнообразномъ характерѣ одного и того же учрежденія правительственной власти еще легче убѣдиться, гдѣ, чѣмъ и почему лучше, или гдѣ, чѣмъ и почему хуже. Тутъ есть только одно кажущееся неудобство: это — то, что разнообразіе эксперимента, или реформы, противорѣчитъ началу централизаціи. Но въ дѣлѣ науки централизація и безъ того невозможна, а въ дѣлѣ управленія разнообразность университетовъ скорѣе поможетъ, чѣмъ повредитъ истинному, не-формальному, внутреннему порядку. Если различная организація и нарушитъ внѣшнюю связь университетовъ, зато скорѣе выработается изъ нея другая, внутренняя связь, которая болѣе удовлетворитъ требованію общества — знать и умѣть приложить знаніе къ дѣлу.

Итакъ, изъ трехъ условій, затрудняющихъ возможность коренной реформы нашего университета, первое — это адинамія, слабость жизненныхъ его силъ. Безъ воздѣйствія этой силы всякая реформа останется внѣшнею регламентаціею. Источникъ этой силы — наука, которая олицетворяется въ коллегіи профессоровъ. Но жизнедѣятельность коллегіи была такъ слаба въ нашемъ университетѣ, что она никогда не могла возстановляться сама собою. Правительство пытается возстановлять его періодически свѣжими силами и предотвращать безсиліе. Въ теченіе 30 лѣтъ во второй уже разъ дѣлается эта попытка. Она, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что молодые волонтеры, болѣе или менѣе соотвѣтствующіе будущему ихъ призванію, высылаются разомъ, — *en masse*, — въ заграничные университеты, для спеціальнаго образованія. Какъ бы ни казался искусственнымъ и даже насильственнымъ этотъ экспериментъ, онъ вызванъ необходимостью. На него указалъ старикъ Парротъ — и не ошибся. При второй регламентированной реформѣ, въ 1836 году, этотъ опытъ далъ средство отдалить, по крайней мѣрѣ на время, угрожавшую атрофію. Дерптскій университетъ, который тѣмъ отличается отъ другихъ русскихъ университетовъ, что онъ возобновляетъ свои силы, заимствуя ихъ прямо отъ Запада, ка-

зался тогда Парроту самымъ удобнымъ мѣстомъ приготовленія, искуса и сближенія будущихъ членовъ коллегіи. И въ этомъ онъ тогда не ошибся. Но онъ ошибся въ томъ, что думалъ найти въ этой попыткѣ такое средство, которое заставитъ жить наши университеты собственною жизнью. Второй опытъ, предпринимаемый ровно чрезъ 35 лѣтъ послѣ перваго, доказываетъ несостоятельность разсчета. Теперь уже, вѣрно, никто такъ разсчитывать не будетъ. Теперь нужно подумать, какъ бы упрочить жизнь коллегіи болѣе надежнымъ способомъ. Для этого нужно вникнуть, почему въ ней самой нѣтъ достаточнаго фонда производительной силы.

И вотъ, прежде всего, бросается въ глаза матеріальная сторона дѣла: —необезпеченное существованіе лицъ и недостатокъ средствъ. Какъ первое, такъ и второе, доказано уже математически. Но дѣло въ томъ, что эта причина, какъ бы она главною ни казалась, все-таки не главная. Увеличивая матеріальныя средства къ существованію и исполненію обязанностей, мы отнимемъ у людей поводъ и предлогъ дѣлать худое, но никакъ еще не сдѣлаемъ ихъ хорошими и, еще менѣе, лучшими. Правительство или общество, давая эти средства, получаетъ нравственное, внутреннее право — внѣшнее оно имѣетъ всегда — требовать точнаго исполненія извѣстныхъ обязанностей, —и только. Но кто не знаетъ, что въ дѣлѣ науки одно „исполненіе обязанностей“, какъ бы оно ни было формулировано, еще не придастъ ей ни силы, ни жизни.

Профессоръ, аккуратно преподающій въ узаконенные часы, составляющій учебники, пишущій всѣ отчеты, —и потому имѣющій полное право требовать, чтобы и его существованіе, и его учебная дѣятельность были обезпечены всѣми средствами, —можетъ быть все-таки не тотъ, который необходимъ для самостоятельной и производительной жизни коллегіи. И потому, обезпечивъ только существованіе людей, мы никогда не отнимаемъ у нихъ желанія имѣть еще больше: а кто не носитъ въ себѣ призванія, кого высшая сила не удерживаетъ на пути къ нравственному совершенству, того нельзя удержать и деньгами на пути науки. Никакое огромное содержаніе не удержать, на примѣръ, врача отъ прибыльной практики и отъ отсталости въ наукѣ, если онъ самъ не имѣетъ научнаго призванія. Иска-

тель выгодныхъ мѣстъ будетъ, и при обезпеченномъ существованіи, искать ихъ, также какъ и достаточный чиновникъ допустить злоупотребленіе за деньги, если его не будетъ удерживать нравственный взглядъ на себя и на общество. Кто не сдѣлалъ самоусовершенствованіе главною задачею жизни, того и обезпеченное существованіе не удержитъ на научномъ пути.

Мнѣ будетъ очень жаль, если мои мысли перетолкуютъ такъ, что я отвергаю необходимость увеличенія матеріальныхъ средствъ для существованія и занятій коллегіи; никто болѣе меня не убѣжденъ въ необходимости этого; я самъ много терпѣлъ и жаловался; но я также убѣжденъ опытомъ, что если, вмѣстѣ съ обезпеченіемъ существованія университетской коллегіи, мы не успѣемъ въ ней водворить еще другимъ способомъ научной жизни съ ея высшими стремленіями, то на одно улучшеніе матеріальнаго быта разсчитывать нельзя, точно также какъ нельзя разсчитывать и на то, чтобы усиленные вспомогательныя средства, богатая библіотека, обширные музеи, огромныя лабораторіи одни могли возбудить интересъ и рвеніе къ наукѣ. Они истинно плодотворны только тогда, когда появляются въ университетской жизни, какъ слѣдствія, а не какъ причины научной дѣятельности. Гдѣ господствуетъ духъ науки, тамъ творится великое и малыми средствами. Все это я привожу здѣсь потому, что не разъ слышалъ, какъ многіе приписывали главную причину апатіи и застоя въ нашей университетской жизни недостаточности матеріальныхъ средствъ.

Но, принявъ улучшеніе матеріальной стороны коллегіи, какъ одну изъ самыхъ существенныхъ потребностей, я предполагаю и въ отношеніи ея не дѣлать эксперимента однообразно. Для чего опредѣлять содержаніе не лицу, а должности, — тогда какъ въ университетской коллегіи главное — лицо, а не должность, духъ, а не форма? Вотъ талантъ, посвятившій себя всецѣло учебной дѣятельности: труды его уже обогатили науку; но они такого рода, что не могутъ ему принести никакой матеріальной выгоды. Онъ, кромѣ университетскаго содержанія, ни на что не разсчитываетъ, потому что отдаетъ все время и силы университету. — Вотъ другой: онъ приглашенъ, „за неимѣніемъ лучшаго“, для замѣщенія каѳедры. Его занятія такого рода, что, кромѣ университетскаго содержанія, они доставляютъ ему

еще огромные доходы и помимо университета, въ которомъ онъ „исполняетъ только аккуратно свои обязанности“. Что же общаго между этими двумя личностями? Одинъ,—находка и приобрѣтеніе для университета,—удесятеряетъ фондъ производительныхъ его силъ. Другой исполняетъ только должность.—Вотъ третій случай: профессоръ одного университета заслужилъ уже имя въ наукѣ. Его бы хотѣли имѣть у себя нѣсколько университетовъ. Онъ и самъ бы не прочь переѣхать мѣсто, по домашнимъ обстоятельствамъ; но университетъ, который онъ предпочелъ бы другимъ,—въ такомъ городѣ, гдѣ жизнь дорога. Будь у этого университета средства—и онъ получилъ бы профессора, увеличивъ его содержаніе по взаимному договору. Родилось бы соревнованіе, которое оказываетъ такую пользу для германскихъ университетовъ, старающихся другъ передъ другомъ привлечь къ себѣ личности, знаменитыя въ наукѣ. Словомъ, логичность принципа—назначать въ университетскихъ коллегіяхъ матеріальныя вознагражденія по степени личныхъ заслугъ и таланта, а не по должности—неоспорима. Точно также неоспорима необходимость соразмѣрять и бюджетъ научныхъ вспомогательныхъ средствъ—по свойству каждаго предмета, а не поровну. Остается только рѣшить, насколько этотъ принципъ примѣнимъ къ нашему университетскому быту. Почему бы не ввести его, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ университетахъ, которые, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, труднѣе могутъ привлечь къ себѣ дѣльныхъ преподавателей, и потому не выдерживаютъ конкуренціи? Можно, наконецъ, если это уже такъ необходимо, сохранить и содержаніе по штату, давъ право университету увеличивать его изъ особеннаго бюджета, по договору съ лицомъ, которое коллегія желаетъ приобрести, и по разрѣшеніи министерства. Вѣдь признается же возможнымъ (какъ видно изъ проектовъ) назначать различное содержаніе приватъ-доцентамъ; почему же для приватъ-доцентовъ это можно, а для профессоровъ нельзя? Для чего упускать изъ рукъ средство, которымъ университетъ могъ бы привлечь къ себѣ лучшія и дѣлательныя силы, войдя въ частные договоры съ лицами, заслужившими себѣ авторитетъ въ наукѣ? Почему не воспользоваться этимъ средствомъ для привлеченія свѣжихъ силъ и изъ-за моря? Неужели въ наше время, когда международныя

отношенія дѣлаются съ каждымъ днемъ сильнѣе, мы должны держаться узкаго взгляда на науку и общее достояніе всего человѣчества замкнуть и ограниченные предѣлы національностей? Этотъ взглядъ (какъ видно изъ обсужденій проектовъ) еще существуетъ у насъ. Онъ, правда, существуетъ еще и на Западѣ. Но для чего намъ брать за образецъ узкую односторонность другихъ? Чтò насъ можетъ заставить?—языкъ, нравы, религія? Но мы считаемъ знаніе языковъ необходимымъ для нашихъ студентовъ, а для преподаванія многихъ наукъ чужестранный языкъ еще не помѣха. Къ національной разнохарактерности мы привыкли, а для вѣротерпимости у насъ нѣтъ препятствій: наши университеты—не церковныя учрежденія. Лодеръ, Франкъ, Фишеръ, Струве, Зейдлицъ, Бушъ, читая намъ лекціи на латинскомъ, нѣмецкомъ и ломаномъ русскомъ языкахъ, одушевляли аудиторіи и возбуждали любовь къ наукѣ въ слушателяхъ. Всѣ мы, любившіе родину не менѣе другихъ, предпочитали ихъ единогласно доморощеннымъ и кровнымъ русскимъ наставникамъ. Моя милость читала также лекціи цѣлыхъ пять лѣтъ на ломаномъ нѣмецкомъ языкѣ; нѣмецкіе слушатели,—пусть справятся,—слушали меня такъ же охотно, какъ и русскіе; а нѣмцы чувствительнѣе нашего къ грамматическимъ промахамъ и ошибкамъ въ произношеніи. Я теперь знаю одного профессора анатоміи, котораго я самъ вызвалъ изъ-за границы; онъ уже 15 лѣтъ излагаетъ свою науку не на русскомъ языкѣ,—я не хвалю этого, — но знаю, какую онъ пользу приноситъ своимъ слушателямъ знаніемъ и ревностью къ наукѣ. Говорятъ, что ученые, вызванные изъ-за границы первою реформою нашихъ университетовъ, мало принесли выгоды нашему образованію. Это неправда! Они внесли свою долю образованія,—и долю значительную. Но они были призваны въ то время, когда не науки и не образованіе притягивали въ наши университеты студентовъ, а русская почва была тогда слишкомъ не по натурѣ западнаго ученаго. Я не утверждаю, что приглашеніемъ научныхъ авторитетовъ изъ-за границы мы упрочимъ духовную жизнь нашихъ университетовъ. Но безъ другихъ коренныхъ реформъ мы не упрочимъ ея и посылкою нашихъ молодыхъ ученыхъ за границу. И то, и другое—только вспомогательныя, палліативныя мѣры, и каждая изъ нихъ имѣетъ свои выгоды

и свои неудобства. Посылка за границу есть сильное поощре-
ніе молодежи къ дѣятельности и роднитъ сильнѣе науку съ на-
ціей; но результатъ для самой науки скрытъ въ будущемъ, —
въ невысказанной еще способности будущаго ученаго. Ему пред-
стоитъ еще уча учиться. Въ приглашеніи изъ-за границы авто-
ритета есть уже порука за науку, но оно не даетъ ручатель-
ства за то, успѣетъ ли онъ ее сроднить съ націей. Одно дру-
гого стоитъ. Отдѣлить учебное отъ научнаго въ университетѣ
нельзя. Но научное и безъ учебнаго все-таки свѣтитъ и грѣетъ.
А учебное безъ научнаго, — какъ бы ни была для національ-
ности приманчива его внѣшность, — только блеститъ. Это не
нужно терять изъ виду, и я возвращусь къ этому предмету
еще разъ послѣ.

Поищемъ теперь другой, менѣе внѣшней и менѣе матері-
альной причины, почему такъ слаба жизненная сила нашей
университетской коллегіи, отчего она требуетъ такихъ силь-
ныхъ періодическихъ реставрацій? Отчего силы ея не воз-
становляются постепенно и сами собою? Органическій ли это
порокъ, или только нервная адинамія?

Она слабою родилась на свѣтъ; въ ея организаціи не было
источника, откуда бы она могла черпать свѣжія силы; она не
воспитывалась самостоятельностью; ея хилое тѣло тщательно
предохраняли отъ заразы и повѣтрій. Цѣлыхъ 50 лѣтъ употреб-
лялись стимулы, чтобы поддержать ея жизнедѣятельность; и
они сдѣлались такъ необходимы, что теперь, когда она выхо-
дитъ изъ своего младенчества, — боятся, устранивъ ихъ, повре-
дить существованію. Между тѣмъ въ ней успѣли развиться
такіе недуги, которые свойственны старческому возрасту.

Казалось бы, коллегіальное начало, внесенное въ ея орга-
низацию, должно было сдѣлать корпорацію крѣпкою и само-
стоятельною; но на дѣлѣ вышло не такъ. Это начало настолько
же развиваетъ, насколько и само требуетъ извѣстной уже раз-
витости. Вступая въ коллегію, каждый членъ долженъ умѣть
цѣнить ее и, слѣдовательно, свое значеніе. Цѣль, интересы и
достоинство коллегіи должны сдѣлаться и его цѣлью, его ин-
тересами, его собственнымъ достоинствомъ. Ни одна сторона
ея, какъ бы она ни казалась отдаленною отъ индивидуальной
дѣятельности каждаго члена, не должна быть для него недо-

ступна. Каждый членъ долженъ быть проникнуть мыслью, что малѣйшее отступленіе отъ главной и общей цѣли коллегіи неминуемо повлечетъ за собою разладъ интересовъ и униженіе достоинства. Каждый долженъ помнить, что его заблужденія, недостатки и страсти рано или поздно отзовутся, вмѣстѣ съ его голосомъ, въ рѣшеніяхъ коллегіи, и могутъ повредить всему ея строю и цѣлому поколѣнію людей. Все это, конечно, идеальная сторона дѣла, и потому неудивительно, что первичные, вовсе не развитые, элементы нашей университетской коллегіи мало подходили къ идеалу; но они также мало соотвѣтствовали и требованіямъ коллегіальнаго начала, разсматриваемаго съ чисто-жизненной точки зрѣнія.

Неоспоримыя преимущества этого начала состоятъ въ томъ, что оно представляетъ болѣе шансовъ на сознательную разумность дѣйствій, поддерживаетъ въ лицахъ стремленіе къ достиженію общей пользы и устраняетъ личный произволъ. Но, несмотря на то, самое обыкновенное зло коллегій, — заражающее нерѣдко весь ихъ организмъ, — это преслѣдованіе личныхъ интересовъ, которые имѣютъ только то особенное, что они проявляются не подъ видомъ интересовъ одного, а нѣсколькихъ лицъ вмѣстѣ, и потому раздѣляютъ коллегію на нѣсколько партій. Этого рода партіи не должно, однако-же, смѣшивать съ тѣми, которыя образуются отъ различія направленій. Первые теряютъ изъ вида общую, главную цѣль коллегіи, унижаютъ ея достоинство, дѣлая ее орудіемъ мелкихъ интригъ и низкихъ происковъ. Вторыя, напротивъ, берутъ свое начало въ сильномъ, часто страстномъ, нерѣдко идеальномъ, стремленіи достигнуть общей цѣли, такъ что самыя ихъ заблужденія нерѣдко носятъ на себѣ отпечатокъ высокаго. Борьба ихъ, если она ведена неискусно, иногда кончается катастрофою и разрушеніемъ цѣлаго, но не униженіемъ, не нравственнымъ безсиліемъ.

Извѣстно, какъ личности въ коллегіи, хорошо организованной, группируются по направленіямъ, какъ крайнія изъ нихъ расходятся направо и налево, какъ въ самомъ центрѣ образуются оттѣнки и незначительные переходы къ крайностямъ и, наконецъ, все веденіе борьбы основывается на умѣньѣ стягивать группы, пользуясь ихъ силою взаимнаго тяготѣнія, дѣлая

взаимныя уступки въ пору, во-время и не во вредъ общей пользѣ и главной цѣли учрежденія. Гдѣ все это дѣлается, тамъ, значитъ, коллегія живетъ уже полною, самостоятельную жизнью.

Въ нашей университетской коллегіи есть также неизбежное раздѣленіе на партіи, но формула этого раздѣленія совершенно иная. Одну партію,—не скажу, въ чести коллегіи, что она самая значительная,—составляютъ преслѣдователи личныхъ интересовъ; вторую — прогрессисты, настоящіе и кажущіеся; третью — равнодушные. Здѣсь есть также различіе направленій, но основаніемъ ему служить не одно и то же начало: прогрессу не полагается, какъ охранительная сила, консерватизмъ, а личный интересъ, — и центръ составляетъ не умѣренность въ стремленіяхъ, а равнодушіе.

Прогрессисты выработали уже болѣе отчетливый взглядъ на свое призваніе, на цѣль и значеніе коллегіи; но они куда меньшинство и сами еще распадаются, по рѣзкимъ отлѣткамъ въ направленіи, на нѣсколько малыхъ и даже единичныхъ группъ. На нихъ-то и обнаруживается сила тяготѣнія двухъ другихъ партій, и большинству нетрудно бываетъ, чрезъ нѣкоторыя уступки, разъединить эти группы. Противъ обаятельной силы личныхъ интересовъ, если они проникли въ большинство, устоять трудно. Еще легче ему бываетъ привлечь на свою сторону равнодушныхъ. Близкое каждому личное расшевелить легче равнодушіе, чѣмъ далекое, общ. е. Да и равнодушною я называю сторону коллегіи только относительно, потому что она не такъ сильно и настойчиво проводитъ прогрессъ или личные интересы. Этотъ индифферентизмъ есть особенное явленіе, едва-ли не исключительно принадлежащее только намъ. Нельзя сказать, чтобы въ числѣ равнодушныхъ не было достойныхъ личностей, охотно занимающихся для себя наукою; но это натуры или слишкомъ добрыя, флегматическія и вялыя, или напуганныя и забитыя превратностями жизни, или не имѣющія вовсе общественнаго смысла. Ихъ еще можетъ разбудить личный интересъ, но волноваться ради общественнаго и высшаго имъ не подѣ силу; особливо пугаютъ ихъ неизбежныя крайности стремленій; а наука, которою занимаются иногда прилежно, настолько не одушевляетъ ихъ, чтобы

они могли увлечься этими стремленіями. Въ такомъ положеніи, вообще, теперь дѣло. Есть и нѣкоторые варианты. Въ наше время, конечно, прогрессисты не могли не воспользоваться привлекательною стороною ихъ направленія; возбужденные духомъ времени, они сгруппировались и сдѣлались смѣлѣе. Но къ ихъ знамени нашли выгоднымъ для себя примкнуть и нѣкоторые изъ другой партіи, видя, что прогрессъ можетъ сдѣлаться хорошимъ проводникомъ и личныхъ интересовъ. Какъ это, впрочемъ очень натуральное, явленіе ни затемняетъ свѣтлую сторону дѣла, оно все-таки знаменательно для жизни коллегіи, какъ и для жизни всего общества. Было время, когда знамя другого лагеря стояло въ коллегіи такъ высоко, что его нельзя было не замѣтить самому поверхностному наблюдателю. Было и такое время, когда университетская коллегія дѣлилась только на два лагеря, по національностямъ: на русскихъ или малороссовъ и нѣмцевъ. Прежде „нѣмецъ“ въ нашей коллегіи значилъ или авторитетъ въ наукѣ, слишкомъ вліятельный по своимъ связямъ, слишкомъ во всемъ отличный, не имѣвшій ничего общаго съ другими, и потому ни съ какой стороны недоступный; или же страшный оригиналъ въ глазахъ русскаго; или, наконецъ, чиновникъ, обладающій—и въ веденіи коллегіальныхъ, и въ преслѣдованіи частныхъ интересовъ—недосягаемою для русскихъ аккуратностью.

Національный элементъ и теперь еще играетъ немалую роль; но въ немъ выражается уже болѣе сознательно извѣстное направленіе. Направленія сближаютъ теперь національности; однако-же и въ наше время, въ нѣмецкомъ элементѣ коллегіи, и прогрессивность, и отсталость, и преслѣдованіе частныхъ интересовъ, и самое равнодушіе, имѣютъ все-таки особенный оттѣнокъ. Взгляды на жизнь, и при одинаковости направленій, какъ-то не сходятся, и это-то, вмѣстѣ съ другими, внѣшними условіями, въ каждой изъ трехъ партій коллегіи заставляетъ тотчасъ же отличать русскій и малорусскій элементъ отъ нѣмецкаго.

Понятно, что, при такомъ состояніи университетской коллегіи, въ ней не могло быть самостоятельной жизни. Правда, всегда велась, и даже сильно, борьба слишкомъ крайнихъ направленій и взглядовъ. Но участь рѣшалась не самою кол-

легією, а за предѣлами ея власти. И прогрессисты, и искатели личныхъ интересовъ искали ее въ высшей инстанціи, съ которою коллегія не имѣла никакой духовной связи, а одну только чисто-служебную. Можно себѣ легко представить, какъ это одно нарушало независимость и препятствовало развитію самостоятельной жизни, не говоря уже о томъ, что коллегіи и закономъ не дано было достаточно независимой организаціи. Никто изъ членовъ не понималъ, что для жизни и дѣятельности не все равно: рѣшается ли возникшее въ ней разногласіе ею же самою, или лицомъ, поставленнымъ закономъ внѣ и выше ея. Партіямъ было все равно, какъ достигались ихъ цѣли, тѣмъ или другимъ путемъ, лишь бы достигались. Даже и тогда, какъ разность направленій начала выражаться яснѣе, никому и въ голову не приходило хлопотать о правильной, коллегіальной тактикѣ, группировкѣ партій и компромиссахъ. Искусства располагать большинство въ пользу дѣла разумными уступками, не вредя его сущности, этого искусства, безъ котораго немислима дѣятельность ни одной коллегіи, никто не хотѣлъ знать. И то сказать: и служебныя отношенія, и законы, и начальство въ коллегіи были не таковы, чтобы могли развитъ и укрѣпить ея самостоятельность. Начальникъ, услышавъ о преніяхъ, улыбался и говорилъ: „тамъ у меня спорять“, а секретарь рѣшалъ нерѣдко все по-своему. Искатели личныхъ интересовъ, люди уже по своему направленію болѣе практичныя, дѣлались и болѣе вліятельными. Иногда же безгранично самолюбивый произволъ клонился на сторону прогрессивнаго меньшинства. Иногда и безъ участія коллегіи совершались дѣла истинно полезныя для науки, но не для самостоятельной жизни коллегіи. Университетъ былъ только по имени коллегіей. Ни преданіе, ни общественное мнѣніе, ни духъ времени и науки не поддерживали слабыхъ ея силъ. При такихъ условіяхъ не трудно было развитъ тремъ злымъ недугамъ: nepотизму, апатіи и бюрократическому формализму. Первымъ болѣютъ и лучше организованныя корпораціи; расположеніе ко второй кроется въ славянской натурѣ; третій родился отъ недостатка другихъ, болѣе высокихъ стремленій.

И вотъ, мы, наконецъ, дошли до того времени, когда реформа сдѣлалась для университета тѣмъ, чтò въ леченіи бо-

лѣзней называется: жизненнымъ показаніемъ. Правда, не всѣ терапевты этого мнѣнія; нѣкоторые еще предлагаютъ выжидательный способъ. Но старинное: „*anciens remedium melius quam nullum*“ — едва-ли здѣсь не на своемъ мѣстѣ. Тогда это будетъ третья реформа, которую переживаютъ наши университеты въ теченіе 50-ти лѣтъ. Первую изъ нихъ можно бы было назвать — по Мухину — „кентрологической“, потому что ученіе о стимулахъ служило ей основаніемъ. Оно служило и къ возрожденію, и къ рожденію. Вторая полезна была только тѣмъ, что при ней, хотя и не черезъ нее, вносились свѣжія силы въ университетъ и изгонялось уродливо-смѣшное. Кто вмѣстѣ со мною вспомнить, какъ, лѣтъ 35 тому назадъ, мы ходили на лекціи, чтобы посмѣяться, тотъ пойметъ меня. Но, къ сожалѣнію, эта реформа взаимнѣ комическаго принесла печальное. Ее можно бы было назвать, по тенденціи, анти-коллегиальною. Третья должна сдѣлаться коренною и жизненною.

Всѣ согласны въ томъ, что университетъ не можетъ быть не-коллегиальнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, collegia представляетъ болѣе ручательствъ противъ личнаго произвола; въ ней интересы каждой науки могутъ найти своего представителя; ею поддерживается связь наукъ и вырабатывается направленіе учебной дѣятельности. Итакъ, если нѣтъ лучшей формулы для научнаго и учебнаго учрежденія, то все вниманіе реформаторовъ должно быть обращено на организацію collegia. Организующія постановленія должны ее сдѣлать сильною, прогрессивною и производительною. Почти всѣ въ томъ также согласны, что для этого нужна автономія. Автономія воспитываетъ collegia; она дастъ ей болѣе внутренняго содержанія, но не уберегаетъ отъ nepotизма. Nepotизмъ — болѣзнь всѣхъ корпорацій — ведетъ къ застою; застой — къ упадку. Противъ этого зла есть только два надежныя средства: общественное мнѣніе и хорошій резервуаръ свѣжихъ силъ.

Но насколько у насъ возможна автономія collegia? Этотъ вопросъ заставляетъ меня обратиться къ другому условію, которое затрудняетъ возможность полной реформы. Какъ согласить полную автономію collegia съ началомъ централизаціи въ государствѣ? Легко было учредителямъ средневѣковыхъ университетовъ дѣлать изъ нихъ *status in statu*. Тогда

государственное начало было слабо, и государи и папы смотрѣли на университеты, какъ на сильные проводники своихъ интересовъ, и автономіи не трудно было развиваться. Теперь — другое дѣло. Въ Старомъ Свѣтѣ, кромѣ англійскаго университета, не осталось уже ни одного съ прежней автономіей, да и тамъ она уже сдѣлала уступки.

Теперь въ централизованномъ государствѣ вся автономія университета можетъ состоять только въ томъ, чтобы сдѣлать его какъ можно менѣе бюрократическимъ и какъ можно менѣе зависимымъ отъ бюрократіи. Автономія и чиновничество нейдутъ вмѣстѣ. Ученый, стремящійся къ независимости, это дѣло самое обыкновенное; чиновникъ съ этимъ стремленіемъ немыслимъ. Тамъ, гдѣ ученые — чиновники, а ихъ ученики — искатели чина, тамъ сейчасъ родятся такія понятія и отношенія, которыя рано или поздно превратятъ учебное мѣсто въ присутственное. Въ наукѣ есть своя іерархія; сдѣлавшись чиновною, она теряетъ свое значеніе. Говорятъ, что у насъ, при существованіи табели о рангахъ, вывести одни только университеты изъ этого строя — значило бы унижить образованіе въ глазахъ всѣхъ сословій. Но именно у насъ, чтобы дать университету настоящую самостоятельность, и нужно поставить его внѣ всего іерархическаго строя. Пусть свѣтитъ оттуда.

И чтѣ общаго имѣетъ дѣятельность корпораціи, соединенной въ одно цѣлое духовными интересами науки и взявшей на себя нравственную обязанность просвѣщать, съ дѣятельностью другихъ гражданскихъ сословій? Права этой корпораціи — въ свободѣ мысли и слова. Ея сила — въ силѣ правды. Ея призваніе сходно съ призваніемъ духовенства, которое потому-то на Западѣ и получаетъ, и распространяетъ свое просвѣщеніе въ университетѣ. Какъ бы гражданственность и образованіе у насъ ни были ничтожны, какъ бы почетъ и уваженіе ни были чиновны, какъ бы это чиновочитаніе ни было вкоренено въ понятіяхъ общества, университетъ, поставленный внѣ табели о рангахъ, не потеряетъ своего достоинства. Напротивъ, его исключительное положеніе заставитъ скорѣе смотреть на него какъ на нѣчто высшее, болѣе нравственное и болѣе духовное. Теряя данное ему зависимостью, онъ выиграетъ въ самостоятельности. Тогда, и только тогда, результаты

духовной дѣятельности коллегіи заставляютъ общество судить о ней не по правамъ ея на пріобрѣтеніе чиновъ, а по личнымъ ея достоинствамъ.

И, наконецъ, согласимся, — а не согласиться въ этомъ нельзя, — что чины и права на нихъ даны были нашему университету не столько для того, чтобы найти ему мѣсто въ государственномъ строѣ, сколько потому, что законодатель считалъ ихъ полезными стимулами. Примѣненіе къ нему извѣстной аксіомы: „ubi stimulus, ibi affluxus“, принесло дѣйствительно извѣстную долю пользы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и повредило внутреннему содержанію университета, поставивъ его въ ложное положеніе. Теперь мы уже убѣждены, что и безъ этого искусственнаго раздраженія приливъ свѣжихъ и здоровыхъ соковъ не прекратится. И если кто первый въ дѣлѣ новомъ долженъ дать собою примѣръ гражданскаго самообновленія, то это, вѣрно, университетъ. Выходя изъ строя, онъ выходитъ изъ ложнаго положенія, пріобрѣтаетъ самостоятельность и дѣлается нравственно выше. Это не значитъ, что онъ дѣлается вовсе безправнымъ. Во-первыхъ, автономія, если ей дадутъ должные размѣры, — уже настоящее и важное право; во-вторыхъ, право на свободу мысли и слова, которымъ университетская коллегія всегда, вездѣ и при самомъ стѣсненномъ положеніи общества, пользуется въ большихъ размѣрахъ; въ-третьихъ, наконецъ, право раздавать и пріобрѣтать ученые степени и званія, которыя, въ свою очередь, должны имѣть право на занятіе извѣстныхъ мѣстъ и должностей. За эти три преимущества университетъ смѣло можетъ отдать всѣ свои чиновническія привилегіи.

Автономія въ широкихъ размѣрахъ, какъ это и нужно при коренной реформѣ, можетъ быть дана только университету децентрализованному. Тогда каждый университетъ могъ бы сдѣлаться высшею ученою и учебною инстанціею для всего края. Тогда и кругъ автономическихъ дѣйствій въ каждомъ изъ нихъ могъ бы быть различенъ, смотря по мѣстнымъ обстоятельствамъ, дознаннымъ изъ опыта. На министерствѣ лежала бы обязанность контроля за законностью дѣйствій. Тогда и членамъ университета, какъ высшей учебной инстанціи, нужно бы было предоставить участіе въ дѣйствіяхъ мѣстнаго учи-

личнаго комитета. Министерство могло бы организовать контроль за правильнымъ ходомъ университетскаго самоуправленія также различно, не придерживаясь одной общей для всѣхъ формулы: чрезъ попечительства, ревизіи, непосредственныя сношенія съ совѣтами.

При централизаціи границы самоуправленія суживаются. Тогда каждый университетъ долженъ сообразоваться не съ мѣстными обстоятельствами, не съ потребностями, не съ убѣжденіями своего большинства, не съ обычаемъ и преданіемъ, но съ общимъ для всѣхъ російскихъ университетовъ уставомъ. Невыгоды такого порядка вещей очевидны, и они гораздо важнѣе, чѣмъ кажутся. Думаютъ обыкновенно такъ: если ученой коллегіи предоставлено слишкомъ много самой распоряжаться, то стоитъ только испортиться большинству, — а это нетрудно, — и все пойдетъ худо; а ограничивъ ее различными предписаніями, распоряженіями, и стѣснивъ надзоромъ ближайшаго начальства, можно, во-первыхъ, усилить голосъ лучшаго меньшинства; а во-вторыхъ, можно поправить и большинство. Все это правда. Но бѣда въ томъ, что при этомъ способѣ худая коллегія, въ сущности, все-таки останется худою, а будетъ только лучшею казаться. И если, несмотря на всѣ административныя мѣры, дѣло не пойдетъ на ладъ, то виноваты будутъ распоряженія и законы, а не лица. Отъ этого ни университетъ, ни общество ничего не выиграютъ; главное зло останется зломъ, только скрытымъ, менѣе чувствительнымъ, и въ рану никто не положитъ пальца. Не лучше ли же будетъ, если въ коллегіи самостоятельной, при порчѣ большинства, вся худая сторона дѣла обнаружится, какъ она есть. Тогда и обществу, и правительству можно будетъ ясно видѣть, гдѣ кроется причина и чтò нужно дѣлать. Тогда вся отвѣтственность падетъ на лица. При такой автономіи, которая дастъ коллегіи возможность пользоваться всѣми обстоятельствами для общей пользы, тò, именно, и отлично, что въ ней и хорошее, и худое, какъ на ладони, спрятать трудно, отговариваться нечѣмъ. Кому много дается, съ того много и взыскивается. Но если нашимъ университетамъ даны будутъ всѣ настоящія преимущества автономіи, то уставъ и не можетъ быть, въ сущности, для всѣхъ одинъ и тотъ же; останутся только однѣ,

самыя общія для всѣхъ черты. Въ чемъ, въ самомъ дѣлѣ, заключается вся сущность этой автономіи? Не въ правѣ ли располагать, по своему усмотрѣнію, бюджетомъ; распредѣлять его различно, сообразуясь съ потребностями; наблюдать за правильнымъ его употребленіемъ; выбирать изъ своей среды распорядителей; имѣть подъ своимъ наблюденіемъ всю административную часть университета; распоряжаться своею учебною дѣятельностью въ интересахъ науки и просвѣщенія края; и, наконецъ, отвѣтствовать въ законности и правильности своихъ дѣйствій, непосредственно, передъ высшею учебно-административною инстанціею? Но всѣ эти права могутъ ли быть даны совершенно въ одинаковомъ размѣрѣ и одинакимъ образомъ всѣмъ университетскимъ коллегіямъ? И будетъ ли практично, вводя такую коренную реформу, разсматривать всѣ наши университеты въ ихъ *statu quo*, какъ учрежденія ничѣмъ другъ отъ друга не отличныя, потому только, что они до сихъ поръ руководствовались однимъ и тѣмъ же уставомъ? Не извѣстно ли, что каждый изъ нихъ все-таки имѣлъ такія особенности, которыя не разъ требовали отступленій, дополненій и даже измѣненій устава? Не видимъ ли и теперь, что въ иномъ, напримѣръ, влияетъ уже преданіе, въ другихъ его вовсе нѣтъ; одними интересуется уже общество; другими — мало; въ однихъ ученая коллегія желаетъ принудительнаго, въ другихъ — свободнаго ученія; у однихъ бюджетъ больше, у другихъ — меньше? и проч., и проч. Для чего не дать возможности каждой университетской жизни выработаться и проявиться по своему? Развѣ мы не видимъ, какой благотѣльный результатъ принесла просвѣщенію Германіи разнообразность ея университетовъ? Чѣмъ это будетъ противно, или вредно, нашему государственному устройству? Вводя новый порядокъ вещей, правительство не лучше ли можетъ и наблюдать, и сравнивать въ разнообразіи формулъ всѣ ихъ выгоды и недостатки? Не облегчится ли въ будущемъ возможность улучшенія, введенная изъ результатовъ, добытыхъ опытомъ и при условіяхъ хотя и не одинакихъ, но все-таки сходныхъ между собою?

Двумя правами, приобретаемыми автономіею, наши университеты, какъ видно, не хотятъ воспользоваться вполне, считая ихъ или не слишкомъ важными, или опасаясь неурядицы,

или, наконецъ, не довѣряя себѣ. Это—право распоряжаться исполнѣ бюджетомъ и учебною дѣятельностью. Хотятъ непременно заранѣе опредѣленныхъ штатомъ должностей и содержаній, присвоенныхъ должностямъ. Про одинакость содержанія лицамъ, посвятившимъ себя наукѣ и ученью, я сказалъ уже, что это способъ въ принципѣ несправедливый, да и на практикѣ нисколько еще не доказавшій особенныхъ преимуществъ. У насъ, какъ кажется, видятъ въ различномъ содержаніи причину распрей и зависти; въ германскихъ университетахъ сидятъ одинъ возлѣ другого профессора, получающіе отъ правительства и сотни, и тысячи,—не ссорятся и не завидуютъ. Но и у насъ принимаютъ *de jure* и *de facto* различное вознагражденіе; а распредѣляютъ его по званіямъ и должностямъ, считая это не то что справедливымъ, а болѣе спокойнымъ. И у насъ экстраординарный, ничѣмъ не уступающій ординарнымъ, сидитъ спокойно вмѣстѣ съ ними;—это въ порядкѣ вещей, потому что для него не открылась еще ординарія, или потому, что онъ не докторъ. У насъ также никто не считаетъ предосудительнымъ, или неудобнымъ, прибавку жалованья профессору, исправляющему двѣ учебныя должности; но никто не хочетъ допустить, что должно дать болѣе содержанія тому, кто вдвое долженъ работать и вдвое менѣе получать, или тому, вѣмъ университетъ долженъ дорожить. У насъ еще непремѣнно хотятъ все, даже научныя заслуги и достоинства, цѣнить по штату и должностямъ. Также не хотятъ отстать и отъ штатнаго числа каедръ, говоря, что университетъ есть учрежденіе государственное, и если не опредѣлить штата, а принять принципъ замѣщенія по наличному числу достойныхъ кандидатовъ, то главнѣйшія каедры могутъ остаться вакантными, а другія—сдѣлаться дублетами,—и тогда для государства нельзя будетъ образовывать ученыхъ по полной программѣ. Но вѣдь штатъ также не помогаетъ противъ вакансій!—вакантныя каедры все-таки существуютъ, и это еще хорошо, что существуютъ; это значитъ, что наши университеты и теперь, безъ автономіи, не безъ заботы легки на выборъ,—иначе охотники непремѣнно бы нашлись. Но если хотятъ заправду дать автономію коллегіямъ, то прежде всего нужно имъ довѣрять; а довѣряя, нельзя предполагать, чтобы постановленія штата были

сильнѣе убѣжденій коллегіи, пріобрѣвшей автономію, или чтобы она не позаботилась всѣми силами о замѣщеніи какой-нибудь каѳедры основной науки, надолго оставляя ее вакантною. Если же и въ этомъ нельзя положиться на добросовѣстность нашихъ ученыхъ, то нечего и хлопотать объ автономіи. Если я привелъ, какъ примѣръ, что для образованія и науки лучше пусть одна каѳедра остается вакантною, если нѣтъ достойнаго кандидата, а другую пусть займутъ два авторитета, если они найдутся, то это былъ только примѣръ, точно также, какъ и то было только примѣрное указаніе противъ штатнаго числа каѳедръ, что нѣкоторыя науки, вовсе не вошедшія въ штатъ, могутъ, несмотря на него, родиться, а другія, вошедшія, умереть. Но примѣръ, въ сущности, совершенно справедливъ, если только справедливъ мой взглядъ, что не каѳедры, не штатъ каѳедръ, не имена наукъ и не отвлеченія, а лица составляютъ главную силу и значеніе ученой и учебной коллегіи.

Самостоятельная коллегія—это, значитъ, такая корпорація, которая беретъ на себя нравственную отвѣтственность предъ правительствомъ и предъ обществомъ распространять науку и просвѣщеніе. Чѣмъ свободнѣе она будетъ располагать своею научною и учебною дѣятельностью и данными ей средствами, тѣмъ болѣе на ней отвѣтственности, тѣмъ болѣе въ рукахъ ея условій оправдать передъ лицомъ общества данную ей довѣренность. Она сама опредѣлитъ свой ежегодный бюджетъ, сама назначитъ себѣ штатъ каѳедръ, въ который, по крайнему своему разумѣнію, включить, конечно, все, что считаетъ необходимымъ, пользуясь примѣромъ и опытомъ другихъ коллегій, не насилуя своихъ учрежденій; она сама старается найти достойныхъ представителей для каждой науки и, въ случаѣ продолжительныхъ вакантныхъ каѳедръ, замѣщаетъ ихъ сама же, временно, по найму, или другимъ способомъ. Короче,—дѣлаетъ все то же, что и теперь дѣлается, только лучше теперешняго, потому что будетъ дѣйствовать съ убѣжденіемъ и какъ лицо отвѣтственное. Этого нужно надѣяться, или, безъ этой надежды, лучше не вводить автономію. Да и само государство,—принимая даже, что его интересы противорѣчатъ интересамъ науки,—когда болѣе выигрываетъ: тогда ли, если университетъ ему дастъ подданныхъ, научившихся хоть одной наукѣ у дѣльныхъ и

талантливыхъ наставниковъ, или тогда, если онъ заставитъ ихъ слушать и экзаменоваться у всѣхъ штатныхъ посредственностей? Я знаю, что и автономія не гарантируетъ отъ посредственности. Но въ обоихъ случаяхъ, и при автономіи, и при штатѣ, выборъ—въ рукахъ коллегіи; только въ первомъ ей предоставлено будетъ выбирать свободно по убѣжденію и по нравственной обязанности; а во второмъ она принуждена будетъ это дѣлать по предписанію и по штату. Въ которомъ же изъ двухъ случаевъ можетъ встрѣтиться скорѣе выборъ съ предикатомъ: „за немѣніемъ лучшаго“?—Впрочемъ, нѣтъ никакого препятствія, и при полной автономіи, каждому университету составить для себя, по его научнымъ убѣжденіямъ, такой штатъ, какой ему кажется лучшимъ. И каждая автономическая коллегія должна отвѣчать передъ государствомъ еще болѣе, чѣмъ не-автономическая, что она по всѣмъ кафедрамъ имѣетъ достойныхъ представителей науки. Вѣдь и при одномъ общемъ штатѣ, который войдетъ, какъ законъ, въ уставъ всѣхъ российскихъ университетовъ, все-таки этотъ штатъ составитъ учеными и профессорами, по ихъ соображеніямъ, основаннымъ отчасти на сводѣ мнѣній различныхъ университетовъ, отчасти на собственномъ убѣжденіи. Отчего же предполагать, что эти же самые университеты,—когда отъ нихъ потребовали, то они могли составить для себя штаты,—а когда это предоставили на ихъ волю, то не могутъ? Или отчего предположить, что убѣжденія ученыхъ составителей одного общаго штата непременно справедливѣе убѣжденій, составлявшихъ частные штаты? Развѣ министерству народнаго просвѣщенія, при несуществованіи общаго штата, труднѣе будетъ, чѣмъ теперь, убѣдиться, почему какая-нибудь кафедра остается вакантною? Какая цѣль автономіи? Почему само министерство убѣждается, что она необходима для нашихъ университетовъ?—развѣ не потому, чтобы возвысить нравственное достоинство коллегіи, придать ей болѣе силы? Чѣмъ же болѣе—спрашиваю—можетъ обнаружиться это достоинство, какъ не тѣмъ, что каждая коллегія будетъ сама заботиться о своемъ возстановленіи и о цѣлости всѣхъ, представляемыхъ ею, научныхъ интересовъ? Поэтому, чѣмъ болѣе дадутъ ей средствъ выразить себя свободно, тѣмъ лучше, тѣмъ скорѣе можно будетъ о ней судить.

Мнѣ всегда казалась одностороннею тенденція предотвращать закономъ зло, а не развивать добро въ гражданахъ, и направлять весь ихъ разумъ только на уничтоженіе существующихъ, или въ будущемъ возможныхъ, злоупотребленій. Выходить обыкновенно такъ, что, какъ бы ни обдумывали и ни изощряли такое направленіе закона,—всегда окажутся непредвидѣнные лазейки. Еще болѣе поразительно оно тамъ, когда новый законъ долженъ бы имѣть главною цѣлью поднятіе нравственнаго чувства его исполнителей и возвышеніе ихъ нравственнаго достоинства въ глазахъ общества. Имѣть же это въ виду, въ отношеніи университетской коллегіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлять пунктуально ея штатъ,—это значить самому себѣ противорѣчить. Мы знаемъ всѣ очень хорошо, что злоупотребленія могутъ быть, и все возможное, если угодно, можно вычислить. Профессоры могутъ, если допустить ихъ распоряжаться самимъ бюджетомъ, дѣлить содержаніе между собою; тогда, чѣмъ меньше каедръ, тѣмъ выгоднѣе будетъ для нихъ; могутъ нарочно оставить одну кафедру вакантною, чтобы посадить на другую двухъ—близкихъ къ сердцу; никто не согласится, пожалуй, признать другого, кромѣ себя, болѣе достойнымъ получать вдвое болѣе жалованья; возможенъ и откупъ на кафедры. Это все можетъ быть; но тогда для чего же останавливаться и не предположить также того, что и выборъ на штатныя кафедры будетъ дѣлаться за деньги, дипломы будутъ раздаваться также за деньги; короче—предположить лихоимство самыми обыкновенными пороками коллегіи и всѣ законы написать съ цѣлью самаго энергическаго противодѣйствія этому злу? Вѣдь мы всѣ знаемъ, что оно и а posteriori не невозможно въ коллегіяхъ. Но вѣдь мы также знаемъ, что дѣло не въ законѣ, который можно всегда обойти, а въ совѣстливомъ и разумномъ контролѣ за исполненіемъ закона. Кто же препятствуетъ учредить такой контроль? Кто мѣшаетъ не только имѣть его въ высшей инстанціи, но поставить возлѣ, сдѣлать его живымъ и основать не на одномъ бюрократическомъ началѣ, а также и на жизненныхъ интересахъ, въ которыхъ течетъ неисчерпаемый источникъ и зла, и добра? Но про это—рѣчь впереди; а теперь скажу еще одно слово про вознагражденіе по заслугамъ, а не по должностямъ. Что имѣетъ

основаніемъ правду, того нельзя не повторять, даже и опасаясь надѣсть. Если, въ самомъ дѣлѣ, бояться распространить автономію коллегіи до такой степени, чтобы она сдѣлалась оцѣнщицею и судьбою собратскихъ по наукаѣ заслугъ,— право, которое, въ сущности, она и теперь имѣетъ, когда возводитъ адъюнктовъ въ экстраординарные, экстраординарныхъ въ ординарные, ординарныхъ въ заслуженные,—то почему же не вѣрить ей въ обязанность и не дать ей возможности вступать въ договоры съ лицами, достойными занять кафедру, и о кондиціяхъ представлять на утвержденіе правительству? Неужели и тогда коллегія, опасаясь возбудить въ себѣ зависть или ложное самолюбіе, не захотѣла бы никого пригласить по договору, чтобы одному не дать болѣе, чѣмъ другому? Извѣстное *minimum* содержанія могло бы быть опредѣлено, и было бы, положимъ, штатное; число кафедръ для каждаго университета, положимъ, также было бы опредѣлено; но коллегія, уполномоченная договариваться съ приглашаемыми лицами, могла бы, съ разрѣшенія правительства, увеличивать это содержаніе на счетъ особыхъ суммъ, опредѣленныхъ закономъ, для этой цѣли. Но и при такой ограниченной автономіи коллегія должна пользоваться правомъ распоряжаться суммами, остающимися отъ штатнаго содержанія, въ случаѣ вакансіи, съ тѣмъ только условіемъ, чтобы эти суммы были употреблены въ уплату доцентамъ или приглашаемымъ преподавателямъ на время и по найму. До сихъ поръ вакантное содержаніе поступало или въ экономію университета, или на прибавку жалованья профессорамъ, взявшимъ на себя обязанность преподавать предметъ вакантной кафедры, и то не иначе, какъ съ разрѣшенія начальства. Университетъ отъ этого мало выигрывалъ. Доценты при университетѣ должны бы, конечно, первые имѣть право на временныя занятія вакантной кафедры по найму, и еслибы, наконецъ, изъ нихъ никого не нашлось, то остающаяся сумма ни въ какомъ случаѣ не должна оставаться праздною или переходить въ экономію, а расходоваться на приобрѣтеніе учебныхъ пособій по вакантной кафедрѣ. Но все это будетъ одно только *pis-alleg* и должно уступить мѣсто полной автономіи, какъ скоро ся принципъ найденъ необходимымъ для жизни и благосостоянія университета.

Итакъ, я тогда только увижу университетскую коллегію живою, сильною и прогрессивною, когда: 1) каждый изъ нашихъ университетовъ разовьетъ свою дѣятельность на просторѣ и на свободѣ; самъ, по своимъ собственнымъ убѣжденіямъ и примѣняясь къ мѣстнымъ требованіямъ, распредѣлитъ свой бюджетъ, съ полною отвѣтственностью предъ лицомъ науки, государства и общества; когда 2) самъ опредѣлитъ вознагражденіе за труды своимъ сочленамъ не по званію, не по должностямъ, а по личнымъ достоинствамъ и заслугамъ въ наукѣ; когда 3) самъ докажетъ, что сумѣлъ оправдать полную къ нему довѣренность государства, удовлетворивъ всѣмъ требованіямъ науки, въ лицѣ ея представителей; когда 4) наконецъ, взамѣнъ бюрократическаго элемента, съ его формализмомъ, рангами и привилегіями, внесетъ въ свою жизнь другой, ему родной—научный и духовный, доказавъ тѣмъ, что наука стоитъ у него выше предрассудковъ и самообольщенія.

Какъ бы ни казался мой взглядъ идеальнымъ, но я не перестану утверждать, что въ дѣлѣ духовномъ и нравственномъ, какъ просвѣщеніе, дѣятелямъ его нельзя довѣрять вполнину, и потому статутами нужно не ограничивать къ нимъ довѣренность, а направлять ее къ извѣстной цѣли.

Я знаю, что внутреннее состояніе коллегіи, которое я изобразилъ, дѣйствительно таково, что не можетъ внушить полного довѣрія къ ея дѣятельности. Скажу болѣе: еще время очень близко къ намъ, когда проявлялись въ ней такія черты уродливой отсталости и терпима была преравнодушно такая полная апатія къ научнымъ интересамъ, что, вспоминая объ этомъ, невольно стыдишься за нее. Но, именно, все это зная изъ собственнаго опыта, и не должно увлекаться своимъ знаніемъ къ заключенію, которое, казалось бы, неминуемо изъ него слѣдуетъ. Вѣдь если бы наша университетская коллегія была хотя издалека образцовою, то никто бы и не подумалъ дѣлать надъ нею эксперименты. Условія, въ которыхъ она была поставлена,—мы видѣли,—были такія, при которыхъ не могли въ ней развиваться самые рѣзкіе, самые вопіющіе недостатки. Теперь все дѣло идетъ только о томъ, должно ли удалить всѣ эти условія, или наполовину?—Я убѣжденъ, что взглядъ на полную автономію кажется идеальнымъ не потому, что въ

основу его кладется полная довѣренность къ лицамъ, а потому, что онъ никакъ не подходитъ къ нашимъ понятіямъ о государственномъ учрежденіи. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, совмѣстить коллегіальное, децентрализованное и вовсе не чиновное самоуправленіе ученой и учебной коллегіи съ государственною и іерархическою централизаціею? Въ какія отношенія поставить ее къ попечительству, къ министерству, къ обществу? Но мнѣ кажется, что трезвость взгляда именно тогда и обнаруживается, когда смотрѣть прямо на цѣль. Если цѣль учрежденія—такого рода, что исключительно требуетъ свободы и самостоятельности для благихъ проявленій своей дѣятельности, то и положеніе его въ государствѣ должно быть исключительное; иначе это положеніе будетъ ложное, и никакія регламентаціи въ мірѣ не придадутъ живучести его дѣйствіямъ. Точно также и съ отношеніями къ высшимъ инстанціямъ. Чтò такое попечитель университета? *De jure*—начальникъ, обязанный приводить университетъ въ цвѣтущее состояніе, которое *de facto* зависитъ отъ его личнаго взгляда; одни изъ попечителей полагали его въ увеличеніи экономическихъ суммъ, другіе—въ постройкахъ и чистотѣ; всѣ знали, однако-же, что оно зависитъ и отъ состава коллегіи. А чтобы улучшить этотъ составъ, попечитель долженъ былъ вмѣшиваться въ ея дѣла. Такое вмѣшательство лица, не обязаннаго, по закону, быть образованнымъ въ наукѣ, не могло обходиться безъ произвола, ставившаго его во враждебное положеніе къ коллегіи. Поэтому болѣе умѣренные ограничивались обыкновенно однимъ надзоромъ за дѣйствіями коллегіи и студентовъ, для которыхъ попечитель былъ высшею, и полицейскою, и судебною инстанціею. Если теперь коллегія пріобрѣтетъ автономію и получить право сноситься непосредственно съ министерствомъ, то роль попечителя опредѣлится сама собою. Онъ дѣлается контролеромъ безъ права на *veto*; правительство же, по указанію опыта, можетъ избрать и другую формулу контроля. Это значеніе мнѣ кажется такъ очевиднымъ, что я не понимаю, какъ тѣ, которые столько заботятся объ автономіи, не хотятъ между тѣмъ отличить начальство отъ контроля. Остаются еще отношенія попечителя къ студентамъ. Но вопросъ объ этомъ рѣшается различно, смотря по тому, останется ли университетъ централизованнымъ, или

нѣтъ. Объ этомъ послѣ; здѣсь скажу только, что должность контролера, если на его рукахъ будетъ надзоръ за ходомъ просвѣщенія цѣлаго края, несовмѣстна съ должностью полицій-мейстера, которымъ непремѣнно сдѣлается тотъ, кто возьметъ на себя надзоръ за студентами.

Скажу также, что теперь нельзя на этотъ контроль смотрѣть такъ легко, какъ прежде. Теперь нельзя думать, что за ходомъ просвѣщенія въ цѣломъ край можетъ слѣдить всякій, кто только достигъ, по своему званію или чину, извѣстнаго положенія въ обществѣ. Дѣло, имѣющее такое высокое, и духовное, и нравственное значеніе, требуетъ, кромѣ научной образованности и специальныхъ педагогическихъ свѣдѣній, еще особаго призванія, безъ котораго нельзя посвятить себя всецѣло занятіямъ, изъ всѣхъ самымъ сложнымъ и самымъ труднымъ.

Отношенія коллегіи къ высшей административной инстанціи—министерству просвѣщенія—опредѣляются также различно, смотря по тому, будетъ ли каждый университетъ руководствоваться своимъ уставомъ, или всѣ, попрежнему, получатъ одинъ общій. Въ первомъ случаѣ, министерству достаточно будетъ имѣть одну совѣщательную комиссію экспертовъ; во второмъ—эта комиссія получитъ болѣе административный характеръ. Сношенія автономической коллегіи съ министерствомъ будутъ, во всякомъ случаѣ, непосредственныя,—это главное. Контролеръ, или попечитель, слѣдитъ за всѣми дебатами совѣта, которые должны быть непремѣнно гласные: требуетъ отъ него еще и другихъ, подробныхъ указаній для каждаго болѣе замѣчательнаго распоряженія, и сообщаетъ министерству свои собственные заключенія о дѣлахъ университетской коллегіи, нисколько не останавливая этимъ ихъ хода и сношеній съ министерствомъ. Если же однажды принято, что коллегіальное начало всего болѣе соответствуетъ свойству научныхъ и учебно-административныхъ дѣлъ, если принято также, что многіе изъ нихъ окончательно рѣшаются въ министерствѣ, то учрежденіе при немъ совѣщательнаго ученаго или учебно-административнаго комитета я считаю совершенно послѣдовательнымъ и необходимымъ.

Если университетъ останется централизованнымъ, если автономія его будетъ ограниченная, — тогда рѣшеніе какого-нибудь

учебно-административнаго вопроса въ одной коллегіи будетъ непременно вліять на всѣ другія; принятіе какой-либо мѣры въ одномъ университетѣ нужно будетъ распространять и на другіе; это — извѣстное правило, неудобства котораго также извѣстны. Въ такомъ случаѣ, рѣшать въ высшей инстанціи дѣла и распоряженія коллегіи, имѣющія такое обширное значеніе, простымъ бюрократическимъ, а не коллегіальнымъ порядкомъ, значило бы грѣшить противъ самого принципа. Поэтому учебно-административный комитетъ при министерствѣ, состоящій изъ экспертовъ, будетъ учрежденіемъ существенно необходимымъ. Если предѣлы университетской автономіи будутъ расширены, если каждый университетъ будетъ руководствоваться своимъ уставомъ, то коллегіальный комитетъ при министерствѣ будетъ также слѣдствіемъ того же принципа, но приметъ характеръ болѣе совѣщательный. Составленный изъ специалистовъ въ наукѣ и экспертовъ, знакомыхъ съ университетами, комитетъ этотъ полезенъ не по одной только теоріи. Польза его доказана и на опытѣ. При министерствѣ народнаго просвѣщенія состоялъ уже подобный комитетъ, въ ограниченномъ только размѣрѣ, въ 40-хъ годахъ. Это былъ временно-медицинскій комитетъ, подъ предѣлительствомъ д-ра Маркуса; я также въ немъ участвовалъ, и я думаю, что ни одинъ изъ медицинскихъ факультетовъ, которыхъ дѣла передавались министромъ въ этотъ комитетъ, не могъ пожаловаться на наши сужденія. — Почему? — понятно. Потому что въ немъ преобладалъ взглядъ на факультетскія дѣла не бюрократическій, а научный, и потому что всѣ прогрессивныя требованія факультетовъ находили и поддержку, и дальнѣйшее развитіе. Хотя при автономіи университетовъ большая часть дѣлъ и будетъ рѣшаться въ совѣтахъ и факультетахъ, но для министра совѣщательный комитетъ экспертовъ всегда будетъ нравственно-необходимымъ. Его необходимость особливо окажется, напримѣръ, въ томъ случаѣ, если факультеты, несмотря на автономію, не въ состояніи будутъ пріискать дѣльныхъ преподавателей для занятія вакантныхъ кѣедръ, — а это можетъ случиться, и правительство вынуждено будетъ само, или чрезъ тѣ же факультеты, пригласить ученыхъ, на особенныхъ условіяхъ. Конечно, такое учрежденіе нарушаетъ принципъ автономіи университета, но настолько же, насколько онъ

нарушается и существованіемъ самого министерства. Какъ и изъ кого будетъ составленъ этотъ комитетъ, — будутъ ли въ нему приглашаемы академики или профессора изъ различныхъ университетовъ на извѣстное время, — это дѣло иное. Онъ, какъ и все на свѣтѣ, можетъ сдѣлаться и прогрессивнымъ, и отсталымъ, смотря по выбору. — Принципъ автономіи еще менѣе совмѣстимъ съ правомъ министра назначать профессоровъ, признаннымъ уставомъ при второй реформѣ университетовъ. Министры, какъ извѣстно, пользовались имъ рѣдко, — и вводить его въ новый уставъ я не вижу никакой необходимости. Но если содержаніе профессорамъ будетъ назначаться не по должностямъ, а по достоинствамъ и по договорамъ, то за министромъ останется право утверждать эти договоры и приглашать извѣстныхъ лицъ къ занятію каедръ по факультетскимъ представленіямъ или по представленіямъ ученаго совѣщательнаго комитета, еслибы факультеты не имѣли въ виду ни одного достойнаго кандидата. Это дѣлается и въ германскихъ университетахъ. Опредѣливъ точно, какія дѣла могутъ быть окончательно рѣшены въ совѣтѣ и факультетѣ и какія должны восходить для рѣшенія въ высшую инстанцію, можно только тогда, когда опредѣлено будетъ, останется ли университетъ централизованнымъ, или нѣтъ. А этотъ важный вопросъ, какъ кажется, мало обращаетъ на себя вниманія.

Въ понятіи о централизаціи лежитъ уже стремленіе извлечь какъ можно болѣе общаго изъ частныхъ различныхъ университетовъ, и потому понятно, что составители общаго устава университетовъ всегда заботятся опредѣлить извѣстное число каедръ для каждаго факультета, съ извѣстнымъ содержаніемъ, число учебныхъ часовъ и общее для всѣхъ раздѣленіе учебнаго курса. Для чего? — Не для того ли, чтобы никто не отступалъ отъ постановленій, признанныхъ для всѣхъ университетовъ необходимыми? Не потому ли, что отступленіе отъ нихъ считается уже чѣмъ-то ненормальнымъ? Если такъ, то каждое постановленіе, хотя нѣсколько измѣненное, нарушаетъ уже нормальность и можетъ быть допущено не иначе какъ съ разрѣшенія высшей инстанціи, которая одна и можетъ судить, въ какой мѣрѣ это безвредно для пѣлаго. Допустить въ такомъ общемъ уставѣ возможность для каждаго университета или фа-

культета дѣлать какія бы то ни было отступленія, не сносясь съ вышею инстанціею,—непоследовательно. Правда, есть и общее для всѣхъ университетовъ одного государства, но оно заключается не въ числѣ каедръ, не въ бюджетѣ, даже не въ числѣ факультетовъ. Это общее—права, которыми университеты пользуются въ государствахъ. Направленіе, учебная дѣятельность и отношеніе къ учащимся не могутъ и не должны быть во всѣхъ университетахъ одинаковы, потому что ни для одного изъ этихъ трехъ условий не найдено еще нигдѣ абсолютной формулы. Она, можетъ быть, для насъ современемъ и найдется. Но для этого ее нужно отыскивать путемъ опыта. А опытъ,—я уже сказалъ,—тѣмъ скорѣе можетъ удался, чѣмъ болѣе онъ будетъ многостороненъ. И вотъ, вся задача для насъ состоитъ, я думаю, не въ томъ, чтобы составить одинъ „общій уставъ россійскихъ университетовъ“, то-есть, найти еще нигдѣ не найденное общее,—а въ томъ, чтобы найти на дѣлѣ особенности для „каждаго изъ россійскихъ университетовъ“, которыя бы сближали ихъ жизнь съ жизнью края. Чѣмъ свободнѣе, чѣмъ менѣе регламентирована будетъ ихъ дѣятельность, тѣмъ яснѣе выразится характеръ cadaго, и тѣмъ болѣе каждый университетъ будетъ соответствовать потребностямъ общества.

Но все хорошее, чтò я сказалъ объ автономіи университета, нисколько не отвело моихъ глазъ отъ худого. Я знаю очень хорошо, что она одна не предохраняетъ его отъ порчи и упадка. Нужно противодѣйствіе, но такое, которое, не мѣшая его свободной дѣятельности, препятствовало бы только развитію апатіи, застоя и nepотизма.

Въ нашемъ малоразвитомъ обществѣ, и особливо провинціальномъ, столько парализирующихъ условий, наша жизнь такъ скудна возбуждающими стремленіями, наше самолюбіе такъ мелочно, искусственные его стимулы такъ мало приноровлены къ духовнымъ интересамъ, что у насъ всего труднѣе уберечь университетъ отъ апатіи и застоя. Nepотизмъ, съ его системою протекцій, существуетъ вездѣ,—у насъ онъ только принимаетъ иногда грубыя и уродливыя формы, доходя даже до лихонимства, которое, какъ извѣстно, проявлялось не разъ въ нашихъ университетахъ подъ видомъ пансіонерства и т. п. Но противъ

него или, по крайней мѣрѣ, противъ его уродливостей, много уже подѣйствуетъ улучшеніе матеріальнаго быта коллегіи и правительственный контроль, обращенный не на соблюденіе одной только законной формы, а на внутреннее содержаніе. Но несравненно труднѣе предотвратить апатію и застой, соединенные съ nepотизмомъ. Противъ этого сложнаго зла, самаго страшнаго для самостоятельной жизни нашихъ коллегій, я считаю всякій экспериментъ не только позволительнымъ, но и единственнымъ средствомъ, обѣщающимъ хотя что-нибудь лучшее, такъ какъ употреблявшіеся до сихъ поръ палліативы: регламентація, предписанная закономъ заботливость начальника о процвѣтаніи университета, и т. п., оказались вполнѣ несостоятельными.

Есть два только средства, которыя нужно испробовать: общественное мнѣніе и конкуренція. Но гдѣ ихъ взять? Начальство и регламентъ можно создать, а эти два развиваются не иначе какъ сами собою. Это правда; можно, однако-же, многое сдѣлать для ихъ развитія.

Общественное мнѣніе для университета можетъ быть трехъ родовъ. Оно образуется или въ ученomъ свѣтѣ, или въ образованной части общества, или, наконецъ, между самими учащимися. Наши университеты поставлены совершенно внѣ мнѣнія западнаго ученаго свѣта; у насъ въ Россіи сфера его покуда ограничивается почти исключительно самими же университетами и академіею наукъ. У насъ мнѣніе одного университета, несмотря на общій уставъ, или, какъ я думаю, вслѣдствіе устава, мало вліяетъ на другой; между ними есть только одна формальная связь, — духовной же, или внутренней, не существуетъ. Еще менѣе вліяетъ академія на университетъ. Поэтому, гласность въ университетскихъ дѣлахъ и сѣзды профессоровъ у насъ, болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь, необходимы, если мы хотимъ развитъ общественное мнѣніе нашего ученаго микрокосма. Гдѣ и чѣмъ только можно, нужно способствовать у насъ этому сближенію. Я твердо убѣжденъ, что эта мѣра, сколько бы ей еще ни препятствовали наши дороги и разстоянія, такъ же существенно необходима для просвѣщенія, какъ и поѣздка за границу съ ученою цѣлью. То же самое думаю и о связи университета съ академіею. Мы живемъ въ такое время,

когда сильно чувствуется необходимость въ сближеніи чисто-научнаго и прикладнаго, научнаго и учебнаго. Слышатся нерѣдко голоса, что наша академія, съ ея чисто-научнымъ стремленіемъ, поставлена въ какое-то исключительное положеніе въ Россіи. Мнѣ кажется, эта исключительность зависитъ именно отъ недостатка связи съ учебною дѣятельностью нашихъ университетовъ. А въ этомъ-то отношеніи академія и могла бы имѣть огромное и самое благодѣтельное вліяніе на наше просвѣщеніе. Я знаю, что уважуютъ на Западъ; знаю, что препятствія откроются не съ одной стороны; но, тѣмъ не менѣе, я не перестану утверждать, что наши молодые ученые, имѣющіе въ виду каеедру, гораздо бы лучше были приготовлены къ дальнѣйшему усовершенствованію въ заграничныхъ университетахъ и лучше бы напитались научнымъ духомъ, еслибы на нихъ было обращено вниманіе академіи. Правда, прежде былъ уже институтъ академическихъ элѣвовъ. Но онъ погибъ отъ несвоевременности. Итакъ, я полагаю, что и у насъ можно все-таки развить общественное мнѣніе ученаго свѣта, крайне необходимое для университетовъ.

Общественное мнѣніе нашего образованнаго меньшинства также слабо. Если мы вспомнимъ, что существованіе нѣкоторыхъ университетовъ едва извѣстно обществу; если вспомнимъ, что находились отцы, которые отдавали своихъ сыновей въ пансіонеры къ профессорамъ съ тѣмъ только, чтобы они ихъ выручали на экзаменахъ; если, наконецъ, подумаемъ, какимъ малымъ, — да и то болѣе наружнымъ, — уваженіемъ пользуются наши профессора, сравнительно, на примѣръ, съ германскими, то, конечно, усомнимся въ дѣйствительности нашего общественного мнѣнія. Чины, при скудномъ жалованьѣ, вывели нашего профессора совсѣмъ изъ его колеи и пріучили общество, крѣпко придерживающееся іерархическаго начала, смотрѣть на него совершенно съ ложной точки зрѣнія. Большая часть ищущихъ университетскаго образованія, это — дѣтилицъ маловліятельныхъ въ обществѣ; многіе изъ нихъ едва имѣютъ насущное пропитаніе. Направленіе учебной дѣятельности каждаго университета не приноровлено къ потребностямъ общества; все это не могло его сблизить съ университетами, и оно знаетъ про нихъ только съ внѣшней, дисциплинарной, да еще бюрократической сто-

роны; а раздѣленіе просвѣщенія въ государствѣ между различными вѣдомствами препятствовало обществу обратить вниманіе на университеты и гимназіи, какъ на главные разсадники просвѣщенія. Сами университеты безгласные, несамостоятельные, но нисколько и не зависимые отъ общества, мало заботились о его мнѣніи; они его знали также съ одной матеріальной стороны.

Но если теперь настало для насъ время новой жизни, если правительства убѣдились, что они одни не могутъ за всѣмъ усмотрѣть и все сдѣлать для общества, то, значить, и пришло время поставить наши университеты въ другія отношенія къ обществу. Сдѣлавъ ихъ сколько можно болѣе самостоятельными, нужно ихъ еще сдѣлать общественными. У насъ наука— не то что на Западѣ; на нее нельзя смотрѣть съ одной только высшей точки зрѣнія; нельзя видѣть въ ней и одну только прикладную сторону. Наша задача—обнародить ее всѣми средствами, которыя имѣемъ подъ рукою. А ихъ у насъ немного. Если мы не употребимъ для этого и университетовъ и дадимъ имъ одно чисто-научное, спеціальное, направленіе, или сдѣлаемъ ихъ спеціально научными учрежденіями, то—мы достигнемъ цѣли только вполовину. И въ Германіи, гдѣ есть тысяча другихъ средствъ распространить просвѣщеніе въ обществѣ, университеты все-таки употребляютъ, или сами себя употребляютъ для этой цѣли, и это не мѣшаетъ имъ быть прогрессивными и въ высшихъ областяхъ науки. Наши же университеты имѣютъ только порученіе отъ министерства финансовъ, за извѣстное вознагражденіе, читать публичныя лекціи изъ нѣкоторыхъ прикладныхъ наукъ (физики, химіи, технологіи), но это дѣло, какъ извѣстно, идетъ очень вяло и по нашему, то есть какъ обязательное исполненіе предписаній высшаго начальства. Почему только однѣ прикладныя науки считаются полезными для публики? Почему въ однѣхъ столицахъ только профессоры приглашаются читать публичныя лекціи по другимъ предметамъ, а въ провинціяхъ,—гдѣ это гораздо нужнѣе,—публичные университетскіе курсы не входятъ въ обязанности университетовъ? Наши университеты привыкли считать себя до того государственными учрежденіями, что все ихъ вниманіе сосредоточилось на одну подготовку для государства людей съ

дипломами, званіями и правами на чины, а на просвѣщеніе края и общества они смотрятъ какъ на дѣло для нихъ вовсе постороннее. Изъ этого вышло то, что для чистой науки они оказались еще мало воспріимчивыми; дляприкладной—еще мало, а для общаго просвѣщенія—слишкомъ много спеціальными, да еще и слишкомъ замкнутыми. Между тѣмъ прямое назначеніе нашихъ университетовъ—это быть маяками, разливать свѣтъ на большія пространства и потому стоять высоко и свѣтитъ. У насъ никто болѣе самого университета не могъ бы развить общественное мнѣніе, еслибы онъ взялъ на себя обязанность разъяснять обществу всѣ интересующіе его вопросы, которыхъ теперь немало. Теперь, когда подняты и крестьянскій, и юридическій вопросы, и вопросъ о народномъ образованіи, университеты живымъ голосомъ могли бы распространять въ обществѣ болѣе здравыя понятія и болѣе убѣдительно, чѣмъ журналы и книги. Нужно увеличить вліяніе университетовъ и на гимназіи; это также усилитъ ихъ связь съ обществомъ. Я считаю, въ этомъ отношеніи, попечительскіе совѣты, педагогическіе институты и съѣзды учителей въ университетскихъ городахъ важнымъ шагомъ впередъ; но, мнѣ кажется, на нихъ смотрятъ еще легко и на дѣятельность ихъ не обращаютъ довольно вниманія. У насъ нельзя среднія училища такъ рѣзко отдѣлять отъ университета, какъ на Западѣ; намъ нужно стараться связать ихъ еще сильнѣе. Словомъ, нужно все употребить, чтобы сблизить общество съ университетомъ и развить общественное мнѣніе, необходимое для его жизни. Всѣ мѣры, однако-же, безъ гласности будутъ непрочны. Такъ, реформа какого бы то ни было учрежденія, если она должна сдѣлаться дѣйствительно коренною, непременно возбудитъ множество другихъ вопросовъ, повидимому, не имѣющихъ къ ней никакого отношенія. И вотъ, мы видимъ, что коренное преобразованіе нашего университета, безъ рѣшенія вопроса о свободѣ мысли и слова, невозможно. Прежде всего нужно сдѣлать науку независимою, а потомъ, чтобы противодѣйствовать апатіи и застою университета, и нужно поощрять гласность къ участію въ университетской жизни. Меня удивляетъ, напримѣръ, почему наши журналы такъ мало знакомятъ съ содержаніемъ профессорскихъ лекцій и такъ рѣдко подвергаютъ ихъ критическому разбору. Нашлось

бы много такого, что, вѣрно, заинтересовало бы публику; на-
пились бы и настоящія *curiosa*. Автономія безъ гласности
немыслима; безъ гласности она не устоитъ противъ своего
начала, вырождается и вынесетъ на свѣтъ одни недостатки.

Также немыслимъ автономическій университетъ и безъ обще-
ственного мнѣнія учащихся. Есть на свѣтѣ худыя книги, ко-
торыя много читаются, и худыя лекціи, которыя слушаются.
Но если книга вовсе не читается и лекція никѣмъ не слу-
шается, то хорошими ихъ назвать нельзя; въ нихъ, вѣрно, есть
что-нибудь не такъ. И мнѣніе читателей и слушателей всегда
нужно узнать. Мнѣніе слушателей имѣетъ, конечно, свою сла-
бую сторону, на которую и налагаютъ противники. Имъ бы
хотѣлось, чтобы заставили читать и заставили слушать, что не
читается и не слушается. Отъ этого, однако-же, если кто
выиграетъ, то ужъ, вѣрно, не просвѣщеніе. Слабая же сторона
заключается, во-первыхъ, въ томъ, что аудиторія можетъ быть
еще не доросла или—что все равно—профессоръ переросъ
аудиторию. Въ этомъ случаѣ, разумѣется, ни онъ, ни она не
могутъ остаться довольными другъ другомъ. Но очевидно также,
что и ни онъ, и ни она не виноваты, и тутъ нужно одно изъ
двухъ: или поднять, или спуститься. Если же самъ препода-
ватель не можетъ сдѣлать ни того, ни другого, то при сво-
бодной конкуренціи и при свободномъ ученіи найдутся другіе,
а если только слушатели будутъ этимъ подготовлены, то, безъ
сомнѣнія, аудиторія непонятаго прежде профессора не оста-
нется пустою, лишь бы онъ былъ точно дѣльный. Чѣмъ болѣе,
впрочемъ, гимназическое ученіе будетъ приноровлено къ тре-
бованіямъ университета, тѣмъ рѣже могутъ встрѣтиться подоб-
ные случаи. Во-вторыхъ, говорятъ, нельзя основываться на
мнѣніи слушателей, потому что это значитъ вводить въ иску-
шеніе преподавателей. Немногіе изъ нихъ не соблазнятся
угодить своей аудиторіи и приноровиться къ ея вкусу. Но это
возраженіе направлено противъ слабости человѣческой натуры
вообще. Мы видимъ, что и тамъ, гдѣ коллегія, не обращая
никакого вниманія на мнѣнія слушателей, безразлично смотритъ
на профессора съ пустою и на профессора съ полною ауди-
торіею, все-таки не многіе находятся, которымъ бы не было
пріятно видѣть у себя болѣе слушателей, а для этого иные

стараются также привлечь на свои лекціи, а иные не стыдятся жаловаться начальству на пустоту аудиторіи. Этотъ horror vacuі свойственъ одинаково и прогрессистамъ, и отсталымъ. Желать и заботиться, чтобы привилось слушателямъ только содержаніе науки, это прекрасно; но требовать этого, во что бы то ни стало, невозможно. Для этого нужно еще воспитать свою аудиторію, а это дѣло дается не всякому. Принудительныя же мѣры не помогаютъ. Прежде для такого воспитанія заставляли насильно слушателей являться на лекціи, перекликали и запирали ихъ на ключъ, вмѣстѣ съ профессоромъ, но и это ни къ чему не повело; потомъ экзаменовали по нѣскольку разъ въ годъ, — это заставляло учиться для экзамена, а аудиторія все-таки не воспитывалась. Теперь, вѣрно, не наберется много охотниковъ испытать эти мѣры. Всего опаснѣе, наконецъ, когда слушатели начнутъ оцѣнять профессора по его политическимъ убѣжденіямъ. Это зло есть вѣрный признакъ настроенія умовъ въ цѣломъ обществѣ, и оно никогда не беретъ своего начала въ университетѣ; оно никогда долго не господствуетъ въ университетѣ, а является періодически и сопровождается перевороты и переходы. И потому, имѣя его въ виду и преувеличивая его значеніе, вооружаться противъ общественнаго мнѣнія учащихся — значитъ вырывать вмѣстѣ съ сорною травою и хорошую. Нѣтъ, университетъ обязанъ прислушиваться къ ихъ голосу, въ которомъ, несмотря на всѣ увлеченія, онъ всегда услышитъ довольно правды, чтобы оцѣнить достоинство своихъ преподавателей, и этотъ голосъ будетъ для него всегда однимъ изъ самыхъ вѣрныхъ средствъ противъ отсталости и застоя. Университетъ же автономическій безъ него вовсе неосуществимъ. Только благоразумію коллегіи должно быть предоставлено пользоваться этимъ средствомъ въ мѣру и въ пору. Основать сужденіе о достоинствѣ профессора на одномъ мнѣніи аудиторіи было бы и не у насъ несправедливо и ненаучно; не слушаться его вовсе — нелѣпо. Кромѣ отсталости и худого способа изложенія науки, о которыхъ слушатели судятъ вѣрно, по сравненію съ другими лекціями, иногда грубыя выходки и пристрастіе при испытаніяхъ вооружаютъ учащихся противъ наставниковъ; строгая же справедливость дѣлаетъ это только въ томъ случаѣ, когда другіе экзаменаторы слабы изъ равно-

душія, худо понимаемой снисходительности или заискиванія ложной популярности. Но все это дѣлается скоро извѣстнымъ, и виноваты, очевидно, не слушатели, а коллегія профессоровъ. Пусть она скажетъ себѣ: „врачу—исцѣлился самъ“ и дѣйствуетъ, —какъ?—это ея дѣло; для этого ей и дается автономія. Итакъ, въ настоящее время нельзя не допустить слушателей въ нашихъ университетахъ къ заявленію ихъ мнѣній. Нужно только придумать для этого самую удобную формулу. Аплодировать въ знакъ одобренія, какъ извѣстно, въ обычаѣ у французскихъ студентовъ, стучать пальцами по столамъ—у нѣмецкихъ; это допущено и считается только въ особенныхъ случаяхъ демонстраціею. Напротивъ, свистать, шикать и стучать ногами, въ знакъ порицанія, принимается всегда за демонстрацію, хотя на такъ-называемое „heraustrommeln“ профессора, въ нѣкоторыхъ германскихъ университетахъ смотрятъ довольно снисходительно, и дѣло обыкновенно кончается примиреніемъ. Какъ бы эти обычаи ни казались ригористамъ несоотвѣтствующими достоинству науки и слишкомъ разсчитанными на эффектъ, но они ввелись, и ихъ никто не считаетъ вредными. У насъ въ университетахъ этихъ обычаевъ прежде не было, и потому не было на нихъ ни запрещенія, ни дозволенія. А теперь—стали привлекательны. Привлекательно въ нихъ, конечно, право на выраженіе своего чувства и своего мнѣнія, которымъ всякій желалъ бы пользоваться. Худо въ этомъ правѣ, если оно не клонится ни къ чьему вреду, нѣтъ; худое—въ его злоупотребленіи. Вѣрнымъ средствомъ противъ этого-то злоупотребленія и считается абсолютное запрещеніе всѣхъ знаковъ одобренія и порицанія. Запретить легко; но запретъ придаетъ порывамъ простого одушевленія, иногда произвольнымъ и вовсе незлобнымъ, серьезный характеръ неповиновенія закону. Я самъ въ молодости не разъ аплодировалъ въ парижскихъ госпиталяхъ хорошо сдѣланной операціи, и самъ слышалъ съ удовольствіемъ, какъ мнѣ аплодировали. Хотя въ домѣ болѣзней и страданій шумныя выраженія какихъ бы то ни было чувствъ вовсе не приличны, но я хлопалъ и мнѣ хлопали, вовсе не думая и не видя ничего худого, а просто увлекаясь. Другое дѣло—выраженіе порицанія на лекціяхъ. Въ этихъ выраженіяхъ заключается дѣйствительно худое—обида личности и самолюбія,

иногда вовсе незаслуженная и возбуждающая противодѣйствіе. Порицаніе— всегда демонстрація, оскорбляющая достоинство и противная закону. Но, во всякомъ случаѣ, мнѣ кажется болѣе надежнымъ не формально запрещать, а предоставить все дѣло благоразумію каждаго наставника. Каждый долженъ нравственнымъ своимъ вліяніемъ охранять достоинство науки, порядокъ и тишину аудиторіи. Допустимъ, однако-же, съ ригористами, что всѣ эти внѣшнія выраженія чувствъ на лекціяхъ вовсе неумѣстны; согласимся, что аудиторія— не для чувствъ, а для мысли. Тогда все-таки нельзя отвергать у мыслящей аудиторіи права на мнѣніе. Я знаю, что не всѣ такъ думаютъ. Я зналъ, напримѣръ, нѣкогда одного заслуженнаго профессора, который совѣтовалъ новичкамъ въ дѣлѣ преподаванія, какъ лучшее средство противъ застѣнчивости, считать свою аудиторію вовсе глупою; самъ же онъ гласно объявлялъ своимъ слушателямъ, что они— бараны. Да и недавно я слышалъ отъ одного ученаго, что даже посланные университетами за границу не могутъ составить себѣ мнѣнія о достоинствахъ лекцій, которыя они посѣщаютъ. Но я увѣренъ, что такіе взгляды не возьмутъ верхъ при реформѣ нашихъ университетовъ. Итакъ, все-таки нужно будетъ дать университетской аудиторіи возможность выражать если не чувства, то мнѣніе приличнымъ и законнымъ образомъ. Иначе нужно ожидать выраженій незаконныхъ, взрывовъ и безпорядковъ. Гдѣ коллегія внушаетъ къ себѣ полное довѣріе въ учащихся, тамъ аудиторія слѣпо вѣритъ въ достоинство преподавателей, тамъ никто не заботится отыскивать формулу этого выраженія. Но у насъ избрать этотъ путь— значило бы попасть въ *circulus vitiosus*. Мы именно о томъ и хлопочемъ, чтобы создать еще коллегію, внушающую довѣріе. При гласности аудиторія можетъ выразить свое мнѣніе печатью; но и не доводя до этого, ей нужно дать право высказываться предъ коллегіей или предъ лицомъ ея представителей. Это право еще необходимо тамъ, гдѣ преподаватели— вмѣстѣ съ тѣмъ и экзаменаторы. Аудиторія можетъ изложить свои требованія на письмѣ или словесно, чрезъ депутатовъ.

Послѣ общественнаго мнѣнія остается еще конкуренція, какъ самое надежное средство противъ коллегіальнаго nepотизма и застоя. Изъ всѣхъ средневѣковыхъ учрежденій кор-

порація профессоровъ подвергалась менѣе всѣхъ нападкамъ современныхъ стремленій. Если и образованіе осталось до сихъ поръ принадлежностью меньшинства, то наука осталась занятіемъ еще меньшаго меньшинства; и только тамъ, гдѣ научныя стремленія перешли границы требованій и общества, тамъ уже успѣлъ развиться ученый и полу-ученый пролетаріатъ. У насъ, сверхъ ожиданія, онъ также начинаетъ обнаруживаться, но не отъ избытка научныхъ стремленій, не отъ недостатка въ охранительной силѣ корпораціи, а отъ искусственной системы, на которой построены наши учебныя учрежденія. Они—то манили къ себѣ правами, доставлявшими пропитаніе только тѣмъ, которые вступили въ государственную службу,—то увеличивали не въ мѣру число студентовъ, соотвѣтствовавшее потребностямъ общества только во время катастрофъ. Бѣдняки всего болѣе привлекались въ нѣкоторые факультеты нашихъ университетовъ. отыскивая въ нихъ свою будущность. И вотъ, мы видимъ уже врачей, которыхъ едва уже доставало во время войнъ и холеры, теперь безъ куска хлѣба и вовсе лишнихъ для населеній, которые не лечатся. Видимъ и учителей, и чиновниковъ безъ мѣстъ, а между тѣмъ все-таки чувствуемъ недостатокъ въ образованныхъ людяхъ. Конкуренція у насъ всегда и вездѣ распредѣлена страшно неравномѣрно: гдѣ ея слишкомъ много, гдѣ ея совсѣмъ нѣтъ. Такъ и въ нашемъ университетѣ. Число студентовъ растетъ непомѣрно, а конкуренціи для профессоровъ совсѣмъ нѣтъ, и профессорская коллегія страдает не только застоємъ и nepотизмомъ, но еще и атрофіею. Причину этого явленія объяснить не трудно. Учатся въ университетахъ, не только у насъ, но и вездѣ, большею частью для хлѣба и другихъ матеріальныхъ выгодъ. Мы это видимъ, на примѣръ, и въ Германіи. Въ германскихъ университетахъ число студентовъ съ каждымъ годомъ уменьшается именно по этой же причинѣ, по которой въ Россіи оно увеличивается. У насъ бѣдняку, хотя нѣсколько образованному, дорога чрезъ университетъ кажется еще самою выгодною, потому что дѣйствительно у насъ другой для него почти нѣтъ; въ Германіи же открылось множество реальныхъ школъ, а мѣста на государственной службѣ всѣ заняты съ излишкомъ, и учащіеся отхлынули отъ университетовъ въ другія техническія учебныя учрежденія, имѣя

въ перспективѣ должности по частной службѣ. Итакъ, университетская collegia для своего укомплектованія можетъ разсчитывать только на самый малый процентъ изъ числа учащихся. Процессъ образованія профессора совершается не такъ скоро; по времени онъ равняется, по малой мѣрѣ, времени образованія двухъ студенческихъ поколѣній. Единственное мѣсто для образованія профессоровъ въ Россіи составляетъ почти исключительно университетъ, и то для многихъ наукъ пополамъ съ грѣхомъ; а посылать за границу collegin часто не имѣли ни права, ни средствъ. Съ другой стороны, охранительныя корпоративныя мѣры заслоняли къ нимъ входъ. Мудрено ли послѣ этого, что имъ грозитъ дефицитъ. При такихъ условіяхъ, еслибы каждый изъ членовъ, совершенно отрекшись отъ эгоизма и забывъ его правило: „après nous le déluge“, сталъ всѣми силами заботиться о замѣщеніи своего мѣста молодымъ ученымъ, то и тогда бы это дѣло было не легкое. Чтò же теперь можно перемѣнить изъ этихъ условій? Очевидно — не время и не мѣсто образованія. Нельзя также заставить насильно профессора, чтобы онъ готовилъ себѣ будущаго преемника, хотя и можно бы было его подстрекнуть къ этой нравственной, обязанности. Слѣдовательно, остается только или открыть болѣе входъ въ collegiу, или образовывать возлѣ нея другую, менѣе корпоративную, съ входомъ въ нее болѣе открытымъ, или же, наконецъ, допустить обѣ мѣры вмѣстѣ. Очевидно, что одно ослабленіе корпоративно охранительной системы если и увеличить число желающихъ вступить въ collegiу, то все-таки не будетъ еще надежнымъ средствомъ противъ nepотизма и апатіи. Нужно еще для этого создать оппозицію на самыхъ естественныхъ и самыхъ нравственныхъ началахъ. Нужно покровительствовать состязанію свѣжихъ силъ съ застоємъ. Поэтому учрежденіе института доцентовъ при нашихъ университетахъ сдѣлалось общою потребностью. Но сущность его представляютъ себѣ еще различно. Одни смотрятъ на него просто какъ на суррогатъ стараго адъюнкта. Адъюнктъ долгое время разсматривался въ нашихъ университетахъ какъ казенный исполнитель порученій профессора по учебной части: читалъ составленныя имъ записки и продолжалъ, по случаю болѣзни или отлучки профессора, прекращенныя лекціи; потомъ онъ

сдѣлался самостоятельнѣе, исправлялъ должность менѣе зависимо, но никогда не принималъ участія въ дѣлахъ коллегіи, и только иногда призывался въ факультетъ для совѣщаній по своему предмету. Избранный обыкновенно по одной рекомендаціи своего патрона, онъ довольствовался своимъ незавиднымъ положеніемъ, только имѣя въ виду, что рано или поздно онъ все-таки сдѣлается самъ профессоромъ или опять чрезъ покровительство, или уже по привычкѣ къ нему всего факультета. Особенныхъ побудительныхъ причинъ къ усовершенствованію себя въ наукѣ не было; главный расчетъ былъ основанъ на покровительствѣ. Профессору, даже съ высшимъ взглядомъ на свое призваніе, было какъ-то неловко отказать человѣку въ протекціи, котораго онъ самъ же взялся вывести въ люди. И *tacito consensu* было принято, что адъюнктъ долженъ современемъ занять мѣсто въ коллегіи. Были, разумѣется, блестящія исключенія; но вообще этотъ взглядъ на адъюнкство, я думаю, справедливъ. Итакъ, его нельзя разсматривать какъ разсадникъ свѣжихъ силъ, стоявшій возлѣ коллегіи и заключавшій въ себѣ все условія, необходимыя для конкуренціи. Другіе допускаютъ организацію доцентовъ въ смыслѣ германскихъ университетовъ. Въ Германіи доценты по большей части подвергаются тяжкимъ условіямъ для вступленія въ коллегію профессоровъ, и конкуренція здѣсь очень далека отъ того, чтобы ее можно было назвать, хотя приблизительно, свободною. Для Германіи такой взглядъ совершенно справедливъ. У нея столько конкурентовъ, что въ особенныхъ льготахъ и въ образованіи особеннаго института не было никакой надобности. И поэтому у нея доцентство находится совершенно въ рукахъ коллегіи. Для молодого ученаго въ Германіи уже большая награда, если ему коллегія позволитъ состоять при ней безъ всякихъ другихъ матеріальныхъ выгодъ, въ надеждѣ обратить на себя ея вниманіе, и надобно удивляться, какъ нѣкоторые изъ доцентовъ, люди бѣдные, существуютъ, прилежно занимаются наукою и еще пишутъ, при самой малой аудиторіи, и при самомъ незначительномъ гонорарѣ. Есть такіе, которые живутъ такъ же, какъ бѣдные студенты. Безъ протекцій также не обходится; но общественное мнѣніе уже такъ сильно, что большихъ nepотическихъ промаховъ сдѣлать нельзя или, по крайней мѣрѣ,

трудно. Къ намъ, очевидно, эта система доцентства нейдетъ. У насъ, въ подражаніе Германіи, хотѣли ее ввести, да еще и вмѣстѣ съ адъюнктствомъ; но эта попытка, какъ извѣстно, не удалась. Теперь же, кажется, всѣ уже поняли, что доцентство и адъюнктство несовмѣстимы. Я еще въ 58-мъ и 59-мъ годахъ представлялъ объ этомъ мое мнѣніе министерству. У насъ должно организовать или, лучше, создать эту естественную конкуренцію на началахъ болѣе широкихъ, чѣмъ въ Германіи. Начнемъ съ того, что у насъ студенты вообще бѣднѣе. Въ Германіи священники, адвокаты, врачи и чиновники, посылающіе своихъ дѣтей въ университеты, относительно имѣютъ болѣе средствъ, чѣмъ наши, потому что жизнь для человѣка, ищущаго образованія, дешевле и приспособленнѣе, а университеты ближе. У насъ многіе, по бѣдности, не только не могутъ оставаться въ университетѣ такъ долго, чтобы получить высшую ученую степень, но едва оканчиваютъ курсъ, перебиваясь съ трудомъ и теряя время, въ ущербъ образованію, на частные уроки и другія средства къ пропитанію. Такимъ студентамъ, конечно, рѣдко приходитъ въ голову ученая карьера; богатые избираютъ ее еще рѣже, а людей средняго состоянія немного.

Итакъ, главнымъ средствомъ для того, чтобы увеличить число искателей каедръ, представляется съ перваго взгляда вспомошествованіе кончившимъ курсъ, если они пожелаютъ остаться при университетѣ. Но съ этимъ средствомъ вносится въ университетъ филантропическій элементъ, который неосторожно трогать нельзя. Если введутся стипендіи, то должно ввести и конкурсъ. Я сейчасъ скажу—почему. Конкурсъ до сихъ поръ не удавался, также какъ и доцентство; поѣтому у насъ ему мало довѣряютъ. Но онъ не удавался потому, что не было конкурентовъ; такъ на нѣтъ и суда нѣтъ. Если же будутъ введены стипендіи, то конкуренты найдутся, я не сомнѣваюсь; какіе?—это другой вопросъ. Но однѣхъ стипендій мало, чтобы увеличить число желающихъ серьезно заниматься наукою. Для этого нужна еще живая сила: это—дѣятельность представителя науки, профессора. И на Западѣ, и у насъ, вездѣ замѣтно, что это число растетъ въ прямомъ отношеніи къ таланту преподавателя, его занятіямъ и умѣнью привлечь къ

наукѣ. Теперь готовится новое поколѣніе профессоровъ; на нихъ будетъ лежать эта обязанность, и надобно надѣяться, что они поймутъ ея значеніе. Имъ нужно будетъ позаботиться, начиная свое поприще еще не съ увядшими силами, привлечь къ наукѣ такъ, чтобы постѣ можно было кого выбирать. Я знаю, что не только не всѣ профессора, но и не всѣ науки пользуются одинаково привлекательною силою. Кромѣ этой силы и кромѣ конкурсовъ на стипендіи, есть еще одно матеріальное средство возбудить желаніе къ доцентству: сдѣлать перспективу ближе и лучше. Перспектива—это профессорство. Если вступленіе въ него будетъ легче, а матеріальный бытъ лучше, то охотниковъ, разумѣется, будетъ больше. Но первое имѣетъ ту важную невыгоду, что можетъ нарушить достоинство корпораціи, охраняемое замѣнностью. Охранительная система вредна для международныхъ отношеній, но въ ученую корпорацію безъ паспорта впускать нельзя,—это аксіома; вопросъ только въ томъ, какъ его выдавать. Я думаю такъ: дипломъ университета и другого высшаго учебнаго заведенія даетъ право на доцентство, но не право на стипендію, если получившій дипломъ уже прежде не обратилъ на себя вниманія университета своими занятіями и дарованіемъ. Вступая въ институтъ доцентовъ, онъ получаетъ право на конкурсъ и гонораръ, но съ этимъ вмѣстѣ становится подъ контроль университетской коллегіи и отвѣчаетъ передъ закономъ за направленіе, если оно окажется вреднымъ. По прошествіи извѣстнаго срока, который опредѣлитъ сама коллегія, онъ получаетъ и право на стипендію, если она его найдетъ достойнымъ. Мѣра достоинства опредѣляется числомъ слушателей, литературными, другими научными трудами доцента и значеніемъ для университета излагаемой науки. Если окажется нѣсколько претендентовъ на вознагражденіе, то объявляется конкурсъ. Если кто изъ такихъ частныхъ доцентовъ желаетъ сдѣлаться штатнымъ, то-есть получить право экзаменовъ на степень, то онъ долженъ самъ имѣть дипломъ на высшую ученую степень и, сверхъ того, подвергнуться конкурсу, даже въ томъ случаѣ, когда не будетъ другихъ конкурентовъ. Правомъ голоса на экзаменахъ пользуются и тѣ приватъ-доценты, которые по недостатку стипендій не могли получить вознагражденіе отъ уни-

верситета, а между тѣмъ исполнили два другихъ условія. Лица, и не бывшія привать-доцентами, но имѣющія высшую ученую степень и подвергавшіяся конкурсу, дѣлаются штатными доцентами съ правомъ на стипендію. Правомъ голоса въ факультетскихъ собраніяхъ пользуются только тѣ штатные доценты, которые состояли при университетѣ не менѣе 2-хъ лѣтъ и имѣли слушателей не менѣе профессора въ это время. Штатный доцентъ, приобрѣтая право экзаменовать, вмѣстѣ съ тѣмъ, принимаетъ на себя обязанность преподавать извѣстные предметы по указанію факультета, и пользуется за это стипендіею и гонораромъ. Отъ факультета зависитъ принимать доцента и ранѣе въ число членовъ и даже избирать въ профессора, если онъ представитъ несомнѣнные доказательства своихъ достоинствъ. Число стипендій каждый университетъ опредѣляетъ самъ ежегодно въ своемъ бюджетѣ, который утверждается министерствомъ. Онъ принимаетъ также и пожертвованія частныхъ лицъ на этотъ предметъ. Предметъ преподаванія, объемъ его, число часовъ, способъ преподаванія, опредѣляются самимъ привать-доцентомъ по частнымъ договорамъ съ слушателями. Гонораръ же опредѣляется, какъ и для профессорскихъ лекцій, по числу часовъ и получается черезъ университетское казначейство. Университетъ даетъ свои аудиторіи, а учебныя пособія выдаются привать-доцентамъ не иначе, какъ по опредѣленію коллегіи. Снабженіе же учебными пособіями штатныхъ доцентовъ обязательно; только рѣдкими или дорогими для науки и по цѣнѣ собраніями, инструментами, препаратами и т. п. они пользуются не иначе, какъ по согласію съ директорами музеевъ. Если же предметъ преподаванія требуетъ упражненій въ какомъ-нибудь специальномъ заведеніи (лабораторіи, анатомическомъ театрѣ), то издержки покрываются слушателями наравнѣ съ другими въ пользу заведенія. Права на стипендію остаются за доцентомъ, не принимающимъ еще участія въ дѣлахъ коллегіи, до тѣхъ поръ, пока аудиторія его не опустѣла. Число привать-доцентовъ неопредѣленное; число доцентовъ-стипендіатовъ зависитъ отъ суммъ, которыми будетъ располагать университетъ.

Итакъ, одинъ университетскій дипломъ открываетъ входъ къ доцентству при университетѣ; другой, вмѣстѣ съ конкурсомъ, даетъ право на вступленіе въ коллегію. Изъ этого видно,

что я, во-первыхъ, принимаю только два ученыхъ званія; вторыхъ, считаю конкурсъ необходимымъ условіемъ и для полученія стипендіи, и для полученія другихъ коллегіальныхъ правъ; въ-третьихъ, наконецъ, открываю просторъ конкуренціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ стараюсь охранить и права корпораціи, давая возможность доцентамъ получать ихъ постепенно или по мѣрѣ заслугъ.

Я знаю, — два диплома, два ученыхъ званія, это покажется у насъ мало. Но посмотримъ на дѣло безъ всякаго предубѣжденія. Не правда ли, что существуетъ только два рода экзаменовъ: на должность и на званіе? Первый, собственно, не касается университетовъ; и въ Германіи такъ-называемый Staats-examen дѣлается весьма раціонально, въ особенныхъ комитетахъ, составленныхъ изъ спеціалистовъ и чиновниковъ. У насъ, по недостатку въ способныхъ экзаменаторахъ, нельзя еще этого сдѣлать, по крайней мѣрѣ въ провинціяхъ. Второй — есть существенное право университета, но несущественное условіе для полученія ученаго званія, потому что оно можетъ и должно пріобрѣтаться и другимъ путемъ, безъ экзамена. Всякій, кто научно-литературными трудами, опытностью, талантомъ пріобрѣлъ себѣ имя въ ученомъ свѣтѣ, имѣетъ и нравственное право на ученое званіе. Испытываютъ не того, кого уже знаютъ, а того, кого не знаютъ; иначе экзаменъ теряетъ всякій смыслъ. Но должности раздѣляются на разряды; и ученые званія, говорятъ, также нужно раздѣлить на степени, и каждую изъ нихъ опредѣлять экзаменомъ. Для чего же это нужно? Что значать эти различныя степени ученаго званія? Открываетъ ли у насъ каждая изъ нихъ путь къ извѣстной должности, или просто служитъ школьною мѣркою научныхъ познаній? Первое, хотя и не касающееся университета, имѣло бы еще практическое значеніе, но извѣстно, что у насъ ученые степени не составляютъ еще необходимаго условія для занятія государственныхъ должностей; второе не имѣло бы никакого примѣненія къ жизни. На дѣлѣ выходитъ, что эта градація человеческихъ свѣдѣній была вызвана табелью о рангахъ, безъ которой наши университеты не могли до сихъ поръ обойтись. Но если пришла уже пора научной самостоятельности университета, безъ искусственной приманки на чины, то разнымъ

степени на ученые званія теряють свой смыслъ. Останется только одна, которая даетъ право на вступленіе въ ученую корпорацію; она вездѣ называется докторствомъ.

Она одна, потому что вопросъ, на который она отвѣчаетъ, при экзаменѣ, одинъ, и именно такой: можетъ ли испытуемый, по его свѣдѣніямъ, научнымъ заслугамъ, вступить въ корпорацію? Она отвѣчаетъ: да. Всѣ прочія степени, какъ бы онѣ ни назывались, будутъ званіями на должность, которыя мы только по нуждѣ удерживаемъ при университетѣ. Очевидно, чѣмъ менѣе ихъ будетъ, тѣмъ лучше для него. Вѣдь, кромѣ Китая, нигдѣ нѣтъ экзаменовъ на всѣ безконечные разряды должностей. Но, допустивъ одну только ученую степень,—мы скажутъ,—мы сдѣлаемъ именно то, чего стараемся избѣжать: мы или слишкомъ затруднимъ входъ въ университетскую коллегію, если экзаменъ на эту степень будетъ очень требователенъ, или слишкомъ облегчимъ, если онъ будетъ слабъ; а избѣжать этихъ крайностей трудно, когда не будетъ другихъ, среднихъ и низшихъ, степеней. Мы убѣдились—еще скажутъ—изъ опыта, что требовать для профессуры докторской степени стѣснительно, и потому мы хотимъ открыть къ ней дорогу магистрамъ; какъ же можно уничтожить эту степень? Но, при всѣхъ этихъ расчетахъ, мнѣ кажется, насъ стѣсняетъ чинъ. Намъ трудно представить, чтобы можно было разомъ шагнуть до VIII-го класса, не пройдши прежде хоть нѣсколькихъ ступеней іерархической лѣстницы. Это, я полагаю, и было когда-то главнымъ возраженіемъ противъ права держать прямо на доктора медицины. Президентъ временнаго медицинскаго комитета, я помню, долженъ былъ, при введеніи новаго устава объ экзаменахъ врачей, математически доказывать, что они безъ этого права будутъ обижены въ чинопроизводствѣ на службѣ. Теперь возражаютъ уже другое: говорятъ, что университетъ, раздавая студентамъ докторскіе дипломы, унижаетъ ученое достоинство и расплождаетъ не въ мѣру докторовъ медицины. Теперь хотятъ поправить слабость экзамена, зависѣвшую совершенно отъ факультета, несправедливостью, и запретить, чтобы никто не смѣлъ шагать слишкомъ скоро, не смотря на способности и средства. Кажъ будто законъ мало требовалъ отъ экзамена; какъ будто запрещалось испытывать

строго и безпристрастно? Забыто и то, что, 20 летъ тому назадъ, я высказалъ въ обстоятельной запискѣ къ уставу. Никто не хочетъ понять, что уже первая медицинская степень даетъ самое существенное право—на жизнь и смерть; а достигнуть его, учась 5-ть летъ и выдержавъ одинъ экзаменъ, считаютъ возможнымъ. Никто не вѣритъ, что ученость, какъ она ни трудна, дѣлается еще труднѣе, когда требуетъ опыта и искусства. Разсуждаютъ такъ: чтобы сдѣлаться ученымъ въ медицинѣ, нужно не менѣе 7-ми летъ и двухъ экзаменовъ, а лечить можетъ и не ученый, проучившись только 5 летъ и выдержавъ одинъ экзаменъ. Самое трудное и то, что требуетъ много опыта, знанія и искусства,—то сначала. Нѣмцы—такъ тѣ дѣлаютъ наоборотъ: они сначала даютъ степень доктора, а право лечить—послѣ. Наконецъ, забываютъ, что прежде, когда медицинскій факультетъ не имѣлъ права дѣлать студентовъ докторами, докторовъ, правда, было меньше; но они не были лучше, и ни наука, ни просвѣщеніе, ничего не выигрывали. И эта сбивчивость взгляда все отъ того, что чины помѣшали намъ отличить званіе отъ должности. Въ университетѣ безъ чиновъ различіе разъяснится. Докторъ, какого бы то ни было факультета, это—званіе, съ которымъ не соединено понятіе о какой-нибудь опредѣленной должности. Учитель, профессоръ, лекаръ, это—должности съ опредѣленной обязанностью. Званіе—это только цензъ на должность; а чтобы получить ее, нужно еще подвергнуться выбору, экзамену или конкурсу. У насъ до того понятія о званіи и должности смѣшались, что, летъ тому назадъ 25, университеты производили лекарей, а совѣтъ при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ—докторовъ. Эта сбивчивость довела насъ до того, что мы и теперь во всякомъ докторѣ медицины непременно хотимъ видѣть и лекаря. Отъ этого выходитъ, что у насъ и анатомъ, и фізіологъ непременно долженъ быть и лекаръ. Механизмъ чинопроизводства, съ его постепенностью примѣнился у насъ и къ университетскимъ экзаменамъ. Какъ нѣкто изъ насъ не можетъ себѣ представить коллежскаго совѣтника, который бы не былъ сначала титулярнымъ и надворнымъ, такъ мы не можемъ себѣ представить и доктора, который бы прежде не былъ кандидатомъ и магистромъ. Не такъ давно еще у насъ въ университетѣ было

столько же степеней и званій (числомъ 13), сколько чиновъ по табели о рангахъ. Къ чему же это служило съ научной или учебной точки зрѣнія?! Защитники этого порядка вещей видятъ въ немъ поддержку значенія и ученаго достоинства каждой степени. Судя по этому, нужно бы было думать, что наши докторъ, прошедшій всю ученую іерархическую лѣстницу и выдержавъ цѣлыхъ четыре экзамена (на степень дѣйствительнаго студента, кандидата, магистра, доктора)—это верхъ учености; что почти всѣ наши профессора—самые лучшіе представители европейской науки, что они по крайней мѣрѣ втрое и вчетверо стоятъ выше германскихъ профессоровъ, изъ которыхъ большая часть въ цѣлой жизни держала не болѣе одного или двухъ экзаменовъ на степень. Опытъ, однако-же, сколько это ни противно нашему самолюбію, не подтверждаетъ такого предположенія. Значить, экзамены не имѣютъ такой спасительной для науки силы, которую мы имъ приписываемъ. Значить, цѣль, которой мы хотимъ достигнуть, увеличивая число экзаменовъ,—чисто механическая. Мы хотимъ механически, одною численностью испытаній и количествомъ времени, затруднить достиженіе высшей ученой степени, требуя, напримѣръ, отъ доктора трехъ экзаменовъ и 8 или 9 лѣтъ ученія. И дѣйствительно, немногіе пользуются возможностью пріобрѣсти это званіе. Но не доказывается ли этимъ полное недовѣріе закона въ экзаменаторамъ, или экзаменаторовъ—въ самимъ себѣ? Не должно ли заключить изъ этого, что мы отказываемся рѣшить однимъ экзаменомъ, достоинъ ли такой-то, по его свѣдѣніямъ и способностямъ, получить званіе доктора, и потому прибѣгаемъ къ повторенію, съ увеличеніемъ каждый разъ нашихъ требованій. Но, я знаю, мнѣ скажутъ, что нѣсколько различныхъ экзаменовъ нужно удержать для тѣхъ, которые захотѣли бы остановиться на одномъ изъ низшихъ и не идти выше. Но для чего же тогда сохранять такую постепенность? Для чего не разсудить, напримѣръ, такъ: изъ четырехъ степеней двѣ (магистръ, докторъ) открываютъ дорогу въ университетскую коллегію и на службу, а двѣ—только на службу; въ каждой изъ двухъ, исключая разницу въ чинахъ, только одна имѣетъ существенныя преимущества; такъ, магистры и доктора имѣютъ оба одинаково право быть членами ученой

коллегіи; оба могутъ быть прямо опредѣлены въ департаменты и канцеляріи министерствъ и отдѣльныхъ главныхъ управленій; и дѣйствительный студентъ съ кандидатомъ, оба, не имѣя правъ первыхъ двухъ степеней, могутъ быть опредѣлены по всѣмъ гражданскимъ вѣдомствамъ къ однѣмъ и тѣмъ же должностямъ. Слѣдовательно, изъ четырехъ степеней, существенно различныхъ двѣ: одна—болѣе служебная, другая—болѣе ученая. Правда, покуда различіе между ними только количественное, такъ какъ экзамены отличаются только степенью требуемыхъ свѣдѣній; но это потому, что экзаменъ на должности по гражданской службѣ, собственно, не дѣло университета и остается при немъ по нуждѣ. Неужели же, пристрастившись къ бюрократизму и къ принципу устрашенія числомъ испытаній и сроковъ, мы должны для этого удерживать все невужное число ученыхъ степеней?

Но наша незрѣлость—скажутъ—требуетъ еще опредѣлять экзаменомъ всѣ отдѣлки свѣдѣній. Безъ этого—скажутъ—знаніе останется безъ поощренія, станетъ наряду съ полужнаниемъ и загложнеть. Надобно признаться—тутъ есть доля правды. У насъ и полужнание еще въ ходу; у насъ и тотъ, кто кончилъ университетскій курсъ, не выдержавъ никакого экзамена, можетъ быть еще полезнѣе многихъ другихъ. И вотъ, отчасти это, отчасти состраданіе къ безвыходному положенію бѣдняковъ заставляло удерживать всѣ низшія степени учености и дѣлать изъ нихъ настоящее *asylum ignorantiae*. Поэтому не трудно объяснить, отчего иные хотятъ даже ввести прежнія три степени лекаря. Дѣйствительно, куда дѣвать тѣхъ, у которыхъ невѣжество переходитъ точку замерзанія? Такъ, если изъ двухъ степеней, нужныхъ для опредѣленія къ гражданской должности, оставить одну, положимъ, кандидата, то все, что выше нуля, можетъ еще войти въ нее, но куда помѣстить то, что ниже? Туда же? Это будетъ уже какъ-то неловко. Если руководствоваться такими соображеніями, то, конечно, нужно остаться при прежней системѣ. Но если принять другой принципъ, по которому экзаменъ разсматривается не какъ школьная оцѣнка всѣхъ возможныхъ отдѣлковыхъ знаній цифрами и дробями, а какъ положительное рѣшеніе опредѣленныхъ вопросовъ словами: да или нѣтъ, то степеней ока-

жется всего-на-все двѣ. Одна будетъ служить цензомъ для гражданскихъ, другая—для учено-учебныхъ должностей. Экзаменъ для первой (только по необходимости университетскій) будетъ отвѣчать на вопросы: образованъ ли испытуемый настолько, чтобы занять среднюю должность въ гражданскомъ вѣдомствѣ? (низшую могутъ занять и тѣ, которые только кончили курсъ въ университетѣ; а высшую—тѣ, которые получили ученое званіе или приобрѣли опытность на службѣ). Экзаменъ для второй отвѣтитъ на вопросъ: имѣетъ ли испытуемый достаточныя свѣдѣнія для полученія права вступить въ университетскую коллегію? Да или нѣтъ? Одна будетъ званіе кандидата, другая—доктора.

А чтобы и тѣ не пропадали даромъ, которые прослушали весь курсъ наукъ въ университетѣ, но не держали или не выдержали экзамена,—пусть получаютъ удостовѣреніе отъ университета съ правомъ занимать низшія гражданскія должности, пока сами не захотятъ снова подвергнуться одному изъ двухъ испытаній. Но почему одно изъ нихъ не можетъ существовать безъ другого; почему экзаменъ на доктора долженъ непременно включать въ себѣ и экзаменъ на кандидата; для чего требовать, чтò нужно, не разомъ, а въ нѣсколько пріемовъ, колеблясь и не довѣряя себѣ?—этого я не понимаю, и въ пользѣ этой ученой инквизиціи, также какъ и всякой другой, убѣдиться не могу.

Возвратимся теперь къ доцентству. Оно, какъ оппозиція застою и непотизму, должно быть учрежденіемъ болѣе подвижнымъ, чѣмъ коллегія, которую оно снабжаетъ свѣжими силами. У насъ много студентовъ, а мало охотниковъ до профессорства; доцентство же еще совсѣмъ пусто. Такъ, измѣнивъ систему экзаменовъ, откроемъ настежь двери въ пустое мѣсто и скажемъ: пусть всякій, кончившій курсъ и выдержавшій экзаменъ въ какомъ бы то ни было высшемъ учебномъ заведеніи, вступить въ доценты; онъ получитъ и стипендію, если будетъ имѣть слушателей,—получитъ и право голоса на экзаменахъ, если предъявитъ дипломъ на ученую степень; можетъ, наконецъ, не только преподавать, получать стипендію и гонораръ, но участвовать на экзаменахъ и имѣть голосъ въ коллегіи, если въ два года докажетъ на дѣлѣ свои способности.

А это могутъ доказать: его докторскій дипломъ, полная аудитория, конкурсъ. Эти условія не стѣснительны и справедливы. Одинъ экзаменъ, хотя бы онъ назывался и „докторскимъ“, выдержать не будетъ такъ трудно, какъ теперь. Пусть будутъ докторами и тѣ, которые, по нынѣшнему, были бы только магистрами; сдѣлайте изъ докторскаго экзамена магистерскій,— въ этомъ бѣды нѣтъ никакой; чина не будетъ,— для науки все равно; магистръ для нея можетъ столько же сдѣлать, сколько и докторъ, а отличить ихъ знанія по экзамену,— для этого нормальныхъ логометровъ еще не найдено. Конкурсъ нуженъ для безпристрастія, разумѣется, тогда, когда есть на-лицо конкуренты; а если ихъ будетъ хотя двое, то они, вѣрно, сами захотятъ лучше гласнаго конкурса, чѣмъ скрытой баллотировки. Наконецъ слушатели для доцента еще необходимѣе, чѣмъ читатели для автора. Но доцентство, безъ свободы выбора лекцій, безъ нѣмецкаго *Lernfreiheit*, неосуществимо. Итакъ, студентамъ предоставляется выбирать между профессоромъ и доцентомъ, когда оба читаютъ одинъ и тотъ же предметъ. Наше доцентство, покуда еще бумажное, можетъ быть, останется по-прежнему пустымъ, а можетъ и будетъ не въ мѣру полнымъ. Это рѣшить перспектива. Входъ въ корпорацію не будетъ замкнутъ тремя экзаменами; дойти до него можно будетъ и въ 5 или 6, а не по-прежнему—въ 8 или 9 лѣтъ. Итакъ, главное: будетъ ли привлекательна сама корпорація? Если, при ея самостоятельности, и существованіе каждаго члена будетъ болѣе обезпечено, чѣмъ теперь, то, я думаю, конкуренты явятся. А если будетъ ихъ слишкомъ много, то и это не худо: тѣмъ больше выбора. Экзамены, конкурсы, выборы—дѣла чрезвычайно эластическія. Ихъ регламентировать нельзя. Но изъ этихъ трехъ мѣрокъ знанія я предпочитаю все-таки конкурсъ. Противъ него можно сказать, что онъ не вездѣ удобенъ; но утверждать, что онъ—то жѣ, чтò и выборъ, съ тѣми же самыми невыгодами,—это значить совсѣмъ не понимать его значенія. Въ немъ есть и экзаменъ, и выборъ, да и еще открытое соревнованіе. Пока нѣтъ еще конкурсовъ, то, разумѣется, и его нѣтъ. Онъ будетъ, когда будутъ на-лицо въ одной мѣрѣ извѣстные или въ одной мѣрѣ неизвѣстные по ихъ достоинству. У насъ, при лучшей обстановкѣ и университетскаго быта,

которой мы въ правѣ ожидать отъ реформы, вѣроятно, встрѣтятся и тѣ, и другіе. Если доценты, изъ которыхъ коллегіи придется выбирать, будутъ баллотироваться безъ конкурса, то пристрастіе, настоящее или кажущееся, для доцентовъ, неизбѣжно. Каждый изъ нихъ будетъ всегда считать себя равно достойнымъ, а коллегіи не расчесть раздражать ихъ противъ себя. Конкурсъ же имѣетъ въ себѣ, для молодыхъ людей, то привлекательное, что онъ, въ глазахъ ихъ, всегда менѣе произволенъ, чѣмъ простой выборъ. Каждый кандидатъ на конкурсъ получаетъ возможность высказаться и показать, сколько можетъ или сколько счумѣетъ, свое достоинство. Это одно уже удовлетворяетъ болѣе или менѣе самолюбіе. Всякій убѣждается своими глазами, что цѣнили его достоинства. Каждый, имѣя въ виду конкурсъ, готовится дѣятельнѣе. Это для конкурентовъ. Но судьи — скажутъ — остаются все тѣ же и для конкурса, и для выбора. Конечъ концовъ — все-таки тотъ же выборъ, тотъ же взглядъ, тѣ же страсти. Правда; но на конкурсѣ закрытой или открытой баллотировкѣ предшествуетъ гласный и открытый актъ, который всѣмъ судьямъ даетъ въ руки важный матеріалъ для оцѣнки. Можно судить и по литературнымъ трудамъ, и по другимъ научнымъ заслугамъ, и даже вѣрнѣе. Но нагляднѣе конкурса нѣтъ ни одного средства. И вотъ, представляются три случая: или есть на-лицо два кандидата, оба извѣстные своими трудами и заслугами; или же есть двое неизвѣстныхъ; или, наконецъ, одинъ извѣстный, а другой готовый обнаружить свои способности и знанія на конкурсѣ. Первый случай можетъ встрѣтиться только въ центрахъ образованности, гдѣ наука процвѣтаетъ; онъ служитъ тамъ сильнымъ поощреніемъ таланта и дѣятельности; поэтому въ централизованной Франціи конкурсъ былъ явленіемъ естественнымъ и знаменательнымъ для науки; въ Германіи, гдѣ много талантовъ, много учености, но гдѣ нѣтъ централизаціи, не было и конкурса. Второй случай чаще встрѣтится у насъ, если разовьется доцентство, хотя и всѣ доценты будутъ, болѣе или менѣе, извѣстны коллегіи, по числу слушателей, по личному знакомству съ профессорами, по ихъ занятіямъ; но конкурсъ приведетъ въ ясность ихъ достоинства для всей коллегіи, удовлетворитъ, какъ сказано, самолюбію кандидатовъ и предста-

вить коллегію болѣе безпристрастною въ ихъ глазахъ. Но еще лучше для просвѣщенія, для науки и для дарованія—тамъ, гдѣ представится третій случай. Тамъ разовьется истинное соревнованіе въ новомъ поколѣніи. Общественное же мнѣніе развивается всякимъ конкурсомъ. Закрытый выборъ, какого бы рода пренія коллегіи ему ни предшествовали, все-таки, въ сущности, безгласенъ. Его можно сравнить съ судомъ инквизиціоннымъ, а конкурсъ—съ гласнымъ. И какъ бы ни были равнодушны и апатичны присутствовавшіе на конкурсѣ, они не могутъ молча положить шаръ, не сказавъ своего мнѣнія; какъ бы ни были пристрастны судьи, имъ не достанетъ духа возстать противъ очевидности; самая тонкая казуистика уступаетъ грубой наглядности факта. Поэтому-то и должно требовать отъ конкурентовъ самыхъ наглядныхъ доказательствъ ихъ способностей. И нашъ нынѣшній конкурсъ *par distance* свидѣтельствуешь, что наши университеты знали его только съ худой стороны. Я принималъ участіе только въ четырехъ конкурсахъ, и о двухъ знаю въ подробности по наслышкѣ. Я зналъ навѣрное, что между судьями были люди уже съ готовымъ мнѣніемъ, но я видѣлъ также ясно, какого труда имъ стоило проводить свой взглядъ, и какъ они принуждены были остановиться на половинѣ, уступивъ очевидности фактовъ. И такъ, если мы хотимъ, заправду, образовать у насъ общественное мнѣніе, возбудить соревнованіе и дѣйствовать противъ непотизма, то мы должны всѣми силами отстаивать конкурсъ и вводить его вездѣ, гдѣ только представится случай. Основываясь на этомъ убѣжденіи, я предлагаю его и для раздачи стипендій доцентамъ. Разумѣется, всѣ они захотятъ быть стипендіатами. Какъ судить тутъ? По одному числу слушателей? Это было бы односторонне. Это условіе слишкомъ подвижное, число нерѣдко колеблется; а по конкурсу коллегія лучше познакомится съ достоинствомъ доцента и покажетъ себя болѣе независимою въ глазахъ студентовъ. Но эта независимость, однако-же, не должна превышать мѣру, и число слушателей всегда должно оставаться на передовомъ планѣ. Но для этого конкурсы непременно должны быть публичные. Превратныя понятія о конкурсѣ у насъ образовались отъ того, что его никогда не дѣлали серьезно. Его обыкновенно считали за одно

съ формальнымъ чтеніемъ пробныхъ лекцій нашими адъюнктами; а это, извѣстно, дѣлалось такъ: сначала выбирали адъюнкта, потомъ задавали тему и заставляли его читать въ присутствіи факультета и членовъ совѣта одну или двѣ лекціи, на одномъ, двухъ и даже трехъ языкахъ (самъ былъ свидѣтелемъ), и все дѣло оканчивали *tacito consensu*. Я знаю, что все можно испортить; можно и конкурсъ сдѣлать хуже выбора; но не нужно говорить, что онъ въ принципѣ то же, что выборъ. Лишь бы явились доценты, а тамъ увидятъ, что безъ конкурса нельзя будетъ регулировать ихъ отношенія къ коллегіи. Послѣ выдержаннаго конкурса доцентъ получаетъ право экзаменовать; безъ этого нельзя рассчитывать на успѣхъ. Какъ бы жизненное условіе доцентства — выборъ лекцій самими слушателями — ни былъ свободенъ, какъ бы лекціи доцента ни казались студенту полезнѣе профессорскихъ, онъ всегда предпочтетъ профессора доценту, если одинъ будетъ давать свой голосъ на экзаменахъ, а другой — нѣтъ. Это такъ въ германскихъ университетахъ, но тамъ нужно доцентство сдерживать, а у насъ — поддерживать. Кто поручится слушателю, что профессоръ не косо смотритъ на доцентскую аудиторію и, при экзаменѣ, насколько не намѣренъ выместить свое неудовольствіе? Дай Богъ, чтобы этого никогда не было; но и наводить на такія мысли не нужно. То же и съ гонораромъ, безъ котораго осуществить доцентство едва-ли возможно, хотя это будетъ камнемъ преткновенія. Если останется наша теперешняя система платы за ученіе, при которой профессоръ ничего не получаетъ за лекціи, а лекціи доцентовъ будутъ обложены гонораромъ, то опять преимущества остаются на сторонѣ профессора. На его сторонѣ — и авторитетъ, и ученыя пособія. Доцентство не выдержитъ конкуренціи. Наша плата за ученіе въ университетахъ введена, какъ извѣстно посвященнымъ въ дѣло, случайно, по поводу ремонта университетскихъ зданій, и собственно не имѣетъ отношенія къ ученію. Правда, съ нѣкотораго времени часть суммы, составляющаяся изъ этой платы, расходуется на учебныя пособія, на поѣздки профессоровъ за границу и т. п.; но первобытное ея назначеніе былъ все-таки ремонтъ. Теперь, возможно ли, при свободѣ ученія, которое есть *conditio sine qua* поц университета, чтобы студентъ ежегодно вносилъ рав-

ную плату за учение? Это будетъ тогда пошлина за право учиться въ университетѣ. Такъ оно теперь и есть. Будъ это дѣйствительно плата за учение, то на какомъ основаніи учащійся платитъ одно и то же, читаются ли ему всѣ положенныя науки, или нѣтъ? Каѳедра, напримѣръ, годъ, и два, и три, стоитъ вакантная; ему или совсѣмъ не излагаютъ науку, или не вполне, а онъ все-таки платитъ одно и то же. Или: за чтò съ него требовать, и въ настоящемъ, и въ будущемъ году, ту же плату, когда онъ въ 62-мъ году выбралъ для своихъ занятій только два, а въ 63-мъ — четыре предмета? Въ 62-мъ студентъ хотѣлъ практически заняться химіей или анатоміею, и не могъ посѣщать болѣе двухъ лекцій; или онъ не былъ при деньгахъ, и не могъ болѣе платить, какъ за двѣ. Въ 63-мъ его обстоятельства поправились, и онъ охотно вноситъ за четыре. Положимъ даже, что нынѣшняя оптовая плата за учение такъ умѣренна, что въ сложности, — въ теченіе цѣлаго курса, — не будетъ превышать платы дробной, за каждый предметъ; но вѣдь для небогатаго не все равно, заставятъ ли его платить 20-ть рублей разомъ, когда онъ можетъ заплатить только 10-ть, или позволятъ ему распорядиться годовымъ бюджетомъ такъ, какъ ему выгоднѣе. А для учения развѣ это хорошо, если меня въ одномъ году заставляютъ слушать и платить за слушаніе четырехъ или пяти предметовъ, тогда какъ меня, что называется, тянетъ заняться однимъ или двумя? Итакъ, дробная плата, очевидно, и справедливѣе, и болѣе приспособлена къ свободному учению. Но если она введется, то такса за лекціи должна быть одна и та же, какъ для профессора, такъ и для доцента. Тогда деканъ, съ согласія факультета, долженъ объяснить всѣмъ вступающимъ въ университетъ, какъ, по его мнѣнію, они должны распределить свое учение, въ какой послѣдовательности должны проходить одну науку за другою. Но это будетъ только совѣтъ наставниковъ, не болѣе. Гонораръ вносится въ казначейство, и тамъ составляются списки, по которымъ можно бы было судить о числѣ слушателей каждаго профессора и доцента. Освобожденіе отъ платы будетъ зависѣть, въ извѣстныхъ случаяхъ, отъ самого правительства, во всѣхъ другихъ — отъ совѣта, который долженъ руководствоваться положительными правилами. Частныхъ сдѣлокъ объ осво-

боженіи съ профессорами и доцентами допустить нельзя. Это дастъ поводъ къ различнымъ столкновеніямъ и ложнымъ слухамъ. Для общей пользы учрежденія лучше будетъ, если коллегія возьметъ на себя и хорошую, и худую сторону дѣла. Экзаменъ не нужно вмѣшивать въ освобожденіе отъ платы. Опытъ показалъ его несостоятельность. Какъ ни мало надежды на наши *testimonia paupertatis*, несмотря на печати и подписи, но все-таки не остается другого средства, какъ принять только бѣдность. — хотя бы и мнимую, — за принципъ освобожденія. Отцы, если бы они болѣе заботились о своихъ дѣтяхъ, могли бы узнать, что сыновья прогуливаютъ плату за ученіе и потомъ просятъ отсрочекъ; а вмѣсто этого сострадательные родители сами хлопчутъ достать свидѣтельство о бѣдности и потворствуютъ праздности и разгулу.

Но, вотъ, предположимъ, доцентъ обезпечилъ себя стипендіей и гонораромъ, получилъ право экзаменоватъ и сдѣлался уже участникомъ въ дѣлахъ коллегіи; теперь рождается вопросъ: какъ сдѣлаться ему профессоромъ? На чемъ основать его выборъ? Опять на конкурсѣ или просто на баллотировкѣ?

Этотъ вопросъ заставляетъ меня возвратиться назадъ. Я не могу себѣ иначе представить хорошо организованный университетъ, какъ съ полнымъ правомъ распоряжаться своимъ бюджетомъ и съ полною отвѣтственностью передъ закономъ, совѣстью и наукою въ правильности своихъ распоряженій. Я представляю себѣ, что правительство назначаетъ извѣстную сумму на каждый университетъ, соображаясь, во-первыхъ, съ своими финансовыми средствами, во-вторыхъ — съ существующимъ теперь штатомъ каждаго университета. Зная съ математическою точностью, сколько оно можетъ дать, сколько оно должно дать, чтобы обезпечить существованіе каждаго члена и всѣ учебныя потребности науки, оно даетъ составленную по этому расчету сумму въ полное распоряженіе каждаго университета и требуетъ, чтобы: 1) учащіеся всѣхъ факультетовъ имѣли возможность получить полное и современное научное образованіе; 2) всѣ факультеты были бы снабжены необходимыми учебными пособиями; 3) каждый университетъ былъ бы вмѣстѣ питомникомъ новаго поколѣнія наставниковъ; 4) соотвѣтствовалъ бы всѣмъ научнымъ потребностямъ края, былъ бы для него центромъ

просвѣщенія, -- и 5) несть бы на себѣ отвѣтственность передъ правительствомъ въ законности и правильности своихъ дѣйствій, контролируемыхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія. Каждая университетская collegія, слѣдуя этимъ началамъ, прежде всего опредѣляетъ норму годичнаго профессорскаго содержанія. Она должна имѣть въ виду человѣка семейнаго, безъ всякихъ другихъ доходовъ, и сообразоваться съ мѣстными справочными цѣнами. Потомъ она опредѣляетъ учебныя пособія, число каедръ по факультетамъ и, наконецъ, бюджетъ каждой изъ нихъ, сообразуясь съ свойствомъ предмета (чисто-научнымъ и научно-прикладнымъ), съ научными достоинствами лица и возможностью, съ его стороны, имѣть другія занятія, приносящія доходъ, не вредя преподаванію. Извѣстная часть бюджета (примѣрно равняющаяся бюджету одной или двухъ каедръ въ каждомъ факультетѣ) назначается на стипендіи, на содержаніе по частнымъ договорамъ съ приглашаемыми лицами, на ремонтъ зданій и т. п. Если collegія, не довѣряя себѣ, или по другой причинѣ, отказалась бы отъ неравномѣрнаго распредѣленія бюджета по каедрамъ, то она обязана тогда представить въ высшую административную инстанцію — министерство — всѣ данныя, по которымъ бы оно само могло назначить бюджетъ для каждой каедры въ отдѣльности. Предположимъ теперь, что при такой обстановкѣ каедра дѣлается вакантною и есть въ виду доцентъ, или же нѣтъ вакансій и имѣется въ виду замѣчательная личность, желающая занять каедру. Если доцентъ, на которомъ мы остановились, подходитъ къ первой категоріи и кромѣ него нѣтъ никого другого, то, казалось бы, и дѣло кончено. Такъ и бывало прежде съ адъюнктами. Изъ этого и происходило понятіе о неизбежности, котораго въ доцентствѣ, какъ въ учрежденіи свободномъ, не должно развивать. Есть ли въ виду только одинъ кандидатъ на вакантную каедру, есть ли ихъ нѣсколько, во всякомъ случаѣ нужно согласиться, на чемъ основывать оцѣнку достоинствъ. Мы имѣемъ для этого научно-литературныя труды и другія научныя заслуги, рекомендацію извѣстныхъ ученыхъ, отличный способъ изложенія предмета, доказывающій знаніе и способность, и число слушателей на лекціяхъ. Каждое изъ этихъ условій, взятое отдѣльно, еще недостаточно, но между тѣмъ каждое такъ важно, что

безъ него всѣ другія теряютъ свою силу. Такъ, отличнѣйшій ученый безъ слушателей будетъ едва ли на своемъ мѣстѣ. Профессоръ съ полной аудиторіей, но безъ всякихъ заслугъ въ наукѣ и неизвѣстный никому, кромѣ своихъ слушателей, также явленіе неутѣшительное. Доцентъ, участвовавшій уже въ дѣлахъ коллегіи, будетъ, конечно, ей извѣстенъ. Не трудно будетъ убѣдиться въ числѣ слушателей, въ способѣ преподаванія, въ его научной дѣятельности; серьезныхъ литературныхъ трудовъ отъ него требовать нельзя. Такъ, при этихъ условіяхъ, конечно, все равно, какъ бы его ни выбирали; онъ одинъ, и о немъ мнѣніе уже сформировалось. Такъ лучше просто, безъ всего, поручить ему преподаваніе, увеличить содержаніе, но и не оставлять окончательно за нимъ кафедръ. Если же доцентовъ не одинъ, а двое, то, какъ бы одинъ ни казался лучше другого, я все-таки считаю конкурсъ необходимымъ; безъ него понятіе о неизбѣжности легко развивается и губитъ конкуренцію. Итакъ, если, кромѣ доцентовъ, нѣтъ другихъ лицъ, которыхъ бы коллегія ставила и выше конкурса, и выше выбора, то бюджетъ вакантной кафедры долженъ быть снова опредѣленъ коллегіей, смотря по достоинству и заслугамъ доцента, принимающаго на себя обязанность профессора. А какъ заслуги доцента рѣдко будутъ такъ велики, чтобы онъ могъ получить все содержаніе, то остатокъ отъ этого бюджета должно назначать на увеличеніе другихъ доцентскихъ стипендій, на учебныя пособія и т. п. Другое дѣло, если нѣтъ вакантной кафедры, да есть достойная личность. Ее пріобрѣсть, я думаю, — прямой интересъ коллегіи. Если научныя и учебныя заслуги одного лица несомнѣнны, то коллегія, одна передъ другой, должны стараться привлечь его къ себѣ и войти съ нимъ въ переговоры. Такое пріобрѣтеніе, несмотря на полный комплектъ кафедръ, никогда не будетъ лишнее. Это будетъ новый капиталъ, новая сила коллегіи. Разумѣется, тутъ о конкурсѣ говорить нечего.

При конкуренціи, при содержаніи, опредѣляемомъ не должностью, а личными заслугами, можно надѣяться, что научное соревнованіе не заглохнетъ въ доцентахъ. Оно будетъ этимъ же поддерживаться до извѣстной степени и въ членѣ коллегіи. Но учить 25 лѣтъ — не шутка. Правда, на Западѣ кафедра по-

жизненна. Правда, — старый профессоръ, идущій впередъ, не-
оцѣнимъ. Счастливыя натуры, однако, вездѣ рѣдки. Двадцати-
пятилѣтній срокъ съ пенсіей дѣлаетъ честь нашему законода-
тельству. Но на дѣлѣ этотъ срокъ у насъ едва-ли не по-
жизненный. Между тѣмъ у насъ именно научное какъ-то из-
нашивается и выдыхается скорѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь. У насъ,
въ университетѣ, 25 лѣтъ — это вѣкъ. Разсчитывать на то, чтобы
наши каведры всегда замѣщались людьми уже извѣстными въ
наукѣ, нельзя. Вся наша надежда на доцентство.

Но каведра, съ перспективою 25-лѣтняго владѣнія ею,
вводитъ въ искушеніе. Сколько я видѣлъ уже всходившихъ на
нее съ блестящими надеждами, и черезъ 20 лѣтъ не узнавалъ
ихъ! Чтѣ же, если 25 лѣтъ невозмутимаго покоя усыпать и
свѣжія силы? Если эта перспектива сдѣлаетъ и оппозицію без-
гласною? Я не раздѣляю мнѣнія коммунистовъ, что человѣкъ
работаетъ изъ удовольствія. Нѣтъ, нужны могучія силы цѣлаго
общества, чтобы поддержать личную дѣятельность. И я думаю,
что для насъ еще мало поощрительныхъ мѣръ конкуренціи.
Намъ еще нужна необходимость. И съ каведры намъ должно
видѣть ее не въ дальней перспективѣ, а на серединѣ поприща.
Какъ сдѣлать это — другое дѣло. Я соглашаюсь, что мѣры, ко-
торыя я предложилъ (въ замѣчаніяхъ на проектъ) стѣснительны.
Но это — свойство всѣхъ будильниковъ. Я самъ знаю, что пере-
оцѣнка жизни на серединѣ жизни, сдѣланная не тѣмъ, кому
она принадлежитъ, — это насиліе, это грубый толчокъ, но онъ
страшенъ только тому, кто вѣрно спитъ. Я, впрочемъ, ни-
сколько не отстаиваю моихъ мѣръ, я отстаиваю принципъ. Не
забудемъ, что наши профессора, будутъ ли они выбраны изъ
доцентовъ, или нѣтъ, обыкновенно приносятъ съ собою на ка-
ведры только надежды. Когда же онѣ оправдаются, если и на
серединѣ поприща будутъ однѣми надеждами? Пусть будутъ
для самолюбія не такъ пріятны пустая аудиторія и малый го-
нораръ; ни пустота, ни дефицитъ не тронутъ 25 лѣтъ съ
мѣста; а это убѣжденіе очень пріятно для застоя. Время ис-
куса — на первомъ полупоприщѣ профессорской жизни. Если кто
увидитъ, что онъ не разгадалъ себя и попалъ не туда, то сойти
еще не поздно; жизнь на серединѣ, силы не въ упадкѣ, до-
рогъ другихъ много. Какимъ образомъ убѣдиться въ заслугахъ,

объ этомъ можно спорить, но что убѣдиться необходимо,—это безспорно. Въ Германіи литературные труды въ наукѣ, и ученые, вышедшіе изъ школы профессора, признаются мѣрою его достоинствъ. И вправду—другой, болѣе вѣрной, нѣтъ. Приладятъ ли ее когда-нибудь и къ нашей почвѣ,—это вопросъ. Рѣшится ли онъ—не знаю. Но рѣшать его нужно, оттого что намъ нужны и такіе труды, и такіе ученые.

Автономія потому есть неотъемлемое достояніе науки, что наука сама себя цѣнитъ. Если же законъ даетъ это право представителямъ науки въ государствѣ, если онъ заботится развить общественное мнѣніе, вноситъ свѣжія силы, а коллегія не находитъ средствъ безпристрастно цѣнить себя, то это значить, что она сама дѣлаетъ приговоръ своей автономіи, переноситъ судъ внѣ себя и передаетъ его въ руки другой инстанціи. Вся будущность нашего университета—въ этомъ приговорѣ.

Перехожу, наконецъ, къ направленію университета. Реформа предпринимается, чтобы удовлетворить потребностямъ общества. Обществу нѣтъ дѣла до того, что такое университетъ, что такое наука, что значить связь наукъ. Будетъ ли это университетъ въ самомъ дѣлѣ, или только по названію, или будетъ называться иначе,—это для большинства рѣшительно все равно. Если для хлѣба уже нужно образованіе, то главное, чтобы оно было недорого и тотчасъ же шло бы въ дѣло. Вотъ взглядъ толпы. Этотъ взглядъ не у насъ однихъ. Въ ученой Германіи университеты уже пустѣютъ отъ него. Правда, для грамотнаго меньшинства университетъ еще привлекателенъ, но не сознательно.

Между тѣмъ, видя, какъ растетъ у насъ университетское населеніе, все-таки подумаешь, что не можетъ же это дѣлаться такъ безсознательно. Посмотримъ.

Что такое студенчество—не у насъ, а вездѣ?

Жажда знаній, извѣстно, тревожитъ немногихъ. Тревожимые образуютъ въ университетѣ группу—едва не мисро-скопическую.

Жизнь общества неизбѣжно отражается въ общественныхъ учрежденіяхъ.

Его нужды пробуждаютъ интересы и дремавшія склон-

сти, отсылая ихъ въ университетъ. Вотъ вторая группа раз-
ной величины.

Ея передовые, въ свою очередь, возбуждаютъ подражаніе,
которое дѣлается, наконецъ, безотчетнымъ въ интересахъ, не-
разборчивымъ въ склонностяхъ. Вотъ начало третьей, самой
большой.

Подражаніе, безотчетное не только въ интересахъ и склон-
ностяхъ, но и вообще, это — мода. Мода, преимущественно
сословная, выводитъ на свѣтъ четвертую группу.

Про микроскопичность первой говорить нечего. Происхо-
жденіе второй и третьей доказывается разными фактами. Такъ,
лѣтъ 40 тому назадъ, когда Германія нуждалась въ юристахъ
и медикахъ, юридическій и медицинскій факультеты до того
переполнились, что правительства, наконецъ, принуждены были
предостерегать отцовъ, чтобы перестали посылать въ универ-
ситеты дѣтей. Но это длилось еще довольно долго и многихъ
сдѣлало безъ хлѣба.

Когда число нашихъ студентовъ, кромѣ медиковъ, было
ограничено, то наплывъ въ медицинскій факультетъ продол-
жался еще долго и послѣ того, какъ ограниченіе было уни-
чтожено.

Потомъ разнесся слухъ, что нѣсколько математиковъ, кон-
чившихъ курсъ въ университетахъ, получили выгодныя мѣста,
и вдругъ началъ наполняться математическій факультетъ. Под-
нялся юридическій вопросъ, и вотъ уже въ нѣкоторыхъ уни-
верситетахъ дѣлается больше юристовъ, нежели медиковъ.

А студенты-феодалы, студенты-баричи и паньчи служатъ
доказательствомъ тому, что мода, — и именно сословная, — за-
ставляетъ людей не только ѣздить за море, но и учиться въ
университетахъ.

Итакъ, сознательнаго во всѣхъ этихъ элементахъ немного;
да и то, что есть, сознаетъ только въ себѣ влеченіе или спо-
собность удовлетворить требованіямъ общества, но не науки
и, слѣдовательно, не университета. А требованія того и дру-
гого не всегда сходятся и не всегда могутъ сойтись.

Найди большинство возможность удовлетворить требованіямъ
общества, помимо университета, оно тотчасъ же отъ него от-

хлынуть. А меньшинство удержится модою, преданіемъ и любознательностью, переживающею преданіе.

Изъ этого рождается вопросъ: университетъ—для большинства или для меньшинства? Изъ этого—другой: наука—госпожа или слуга общества? По рожденію она имѣетъ за собою „le droit divin“; но не такое, чтобы могла сказать: „общество,—это я“. Общество ее воспитало для себя, но не въ слуги себѣ. Отношенія могутъ уладиться только по договору.

Общество тогда только и начнетъ жить,—а не просто расти,—когда все, чѣмъ оно живетъ—языкъ, вѣра, обычай и преданіе—слагаются въ науку.

Такъ за наукой, по этому договору, остается и законодательная, и судебная, и всякая другая власть, со всѣми правами, кромѣ кулачнаго.

Жизнь общества—которою живетъ и наука; поэтому и та, и другая,—развиваютъ въ немъ все болѣе и болѣе новыя потребности.

Наука обязывается удовлетворить ихъ. Но общество обязано не нарушать свободы изысканія, на которой основана законодательная власть науки.

Всѣ не рождены посвящать себя служенію этой власти. Немногимъ суждено понимать ея значеніе.

Для изученія этой-то законодательной власти науки, слѣдовательно для меньшинства, общество и обязано основать особыя учрежденія.

Это учрежденіе есть университетъ.

Зато наука, обязанная удовлетворить потребностямъ общества,—которая развить сама способствовала,—должна внести свои начала въ другія его учрежденія.

Эти учрежденія—прикладныя и реальныя.

Итакъ, что же? Университетъ для избранныхъ, для меньшинства, безъ приложений, чисто-научный, отвлеченный? Можетъ ли онъ быть современникомъ девятнадцатаго вѣка? Можно ли такъ обходить потребности общества? Можно ли теперь дѣлать науку достояніемъ меньшинства и тратить огромные капиталы для его образованія?

Возраженія серьезныя; ихъ обойти нельзя.

Представляются три пути. Можно усилить предварительное

образование, и этимъ сдѣлать университетское гораздо доступнѣе. Но собственно доступнымъ оно все-таки останется для меньшинства. Меньшинство, и лучше приготовленное, вступивъ въ университетъ, все-таки распадется на тѣ же самыя группы. Это мы видимъ на Западѣ.

Можно приноровиться къ одному большинству: сдѣлать университетъ прикладнымъ, то-есть оставить за нимъ одно названіе, понизить уровень ученія, ограничить свободу ученія, ввести школьные приемы. Но это значитъ пожертвовать меньшинствомъ, отложиться отъ избранныхъ и, слишкомъ довѣряя энергіи любознанія, предоставить ихъ самимъ себѣ.

Можно соединить то и другое вмѣстѣ. Сдѣлать университетъ питомникомъ избранныхъ и доступнымъ для большинства, — оранжереей и садомъ, научнымъ и прикладнымъ.

Этого-то и стараются достигнуть, но съ опасностью нарушить цѣлость и единство научнаго элемента.

Уже давно убѣдились, что есть науки, которыя, по самому ихъ свойству, не могутъ быть не прикладными, которыя, вращаясь въ ограниченной области фактовъ, не терпятъ почти никакого отвлеченія, распадаются на мелкія отрасли, требуютъ другихъ общественныхъ учрежденій и въ нѣдрахъ самого университета дѣлаются основаніемъ отдѣльных, спеціальныхъ школъ. Къ такимъ наукамъ, напримѣръ, давно уже принадлежитъ медицина.

Въ наше время, на Западѣ, прибавились еще и другія отрасли наукъ, которыя потребовали такихъ техническихъ свѣдѣній, пособій, что уже скоро потеряли связь съ университетомъ, перешли въ реальныя школы и перетянули сюда едва не большинство, искавшее прежде образованія въ университетахъ.

Съ другой стороны, государства для своихъ громадныхъ предпріятій, то учреждали спеціальныя школы, безъ всякой связи съ университетомъ, то, перенося свои требованія въ самый университетъ, обращали всю его дѣятельность на образованіе специалистовъ, и тѣмъ разрывали научную связь цѣлаго.

Наконецъ, огромное скопленіе научнаго матеріала возводитъ различныя отрасли знанія на степень наукъ, слѣдовательно самый прогрессъ науки начинаетъ также нарушать ихъ органическую связь.

Итакъ, съ одной стороны, стремленіе сдѣлать университетъ доступнымъ для массъ, съ другой, стремленіе каждой отрасли знанія къ индивидуальной самостоятельности, — вотъ силы, колеблющія вѣковое зданіе.

Но еще живутъ передовые люди. Ихъ духъ и слово напоминаютъ распадающейся семьѣ наукъ общаго родоначальника. Ни огромность матеріала, ни раздробленіе, не устрашаютъ ихъ въ борьбѣ за цѣлость научнаго организма. Они отстаиваютъ заповѣдную связь всѣхъ человѣческихъ знаній и не дадутъ наукѣ сдѣлаться вавилонскимъ столбомъ для строителей.

А законъ самосохраненія долженъ напомнить обществу, что самыя благотворныя его учрежденія, ведущія къ скопленію массъ, рождаютъ недуги, вредные и для массъ, и для самой цѣли.

Которымъ же изъ трехъ путей долженъ идти нашъ университетъ?

Чего требуютъ отъ него государство, общество и наука?

Государству нужно въ университетѣ образованіе въ извѣстномъ направленіи новаго поколѣнія, которому оно обѣщаетъ за это извѣстныя права. Но эти права для государства — дѣло второстепенное. Оно дало ихъ нѣкогда университету, чтобы привлечь къ образованію. Общество же, то-есть грамотное меньшинство, прежде расходившееся съ государствомъ во взглядахъ на университетъ и ставившее въ немъ на первомъ планѣ права, а образованіе на второмъ, теперь начинаетъ сходиться въ томъ отношеніи, что считаетъ уже и образованіе, и права, для себя выгодными.

Нужно ли же привлекать или отвлекать?

Государству нужны образованные люди, еще нужнѣе — спеціалисты. Общество также ищетъ образованія; но, главное, ищетъ обезпечить существованіе своего поколѣнія хлѣбомъ и извѣстнымъ положеніемъ въ государствѣ; а такъ какъ государству нужны спеціалисты, то общество въ образованіи ихъ находитъ свою выгоду.

Слѣдовательно, привлекать нѣтъ необходимости.

Отвлекать можетъ казаться нужнымъ государству, когда оно видитъ, что масса учащихся растетъ и вноситъ стремленія, не имѣющія ничего общаго съ наукою, что учебныя пособія дѣ-

лаются недостаточными, и университет не может дать большинству то, чего оно ищетъ. Это значитъ, что наступило время для новыхъ учреждений, которыя могли бы выгоднѣе удовлетворить потребностямъ массы, учреждений прикладныхъ и реальныхъ, но также какъ университетъ требующихъ подготовки общечеловѣческимъ образованіемъ. Это мы и видимъ теперь на Западѣ. Въ классической странѣ университетовъ, въ Германіи, большинство тотчасъ же поняло, какую огромную выгоду, — неосуществимую при университетскомъ образованіи, — доставить ему высшія реальныя школы, и отхлынуло туда изъ университетовъ. — У насъ также пора заботиться объ удовлетвореніи этой потребности общества; но намъ еще необходимо и общечеловѣческое образованіе въ университетѣ, да и необходимы такіе специалисты, образованіе которыхъ немислимо внѣ университета. Другого отвлекательнаго средства, полезнаго обществу и государству, — нѣтъ.

Затруднять большинству входъ въ университеты регламентаціей, экзаменами въ самомъ университетѣ, обязательными курсами и т. п., и для государства, и для общества, и для самого университета, положительно вредно.

Для государства не можетъ быть выгодно, если потребности большинства не будутъ удовлетворены, и оно останется въ безвыходномъ положеніи. Это ведетъ къ пролетариату и недовольству.

Для общества теряется образованіе цѣлаго поколѣнія. Допустивъ даже, что трудность вступленія въ университетъ и заставитъ общество на будущее время лучше готовить молодежь въ среднихъ школахъ, то все-таки прошедшаго не воротить. Пройдутъ еще годы, и что станетъ съ цѣлыми сотнями людей, имѣвшими прежде возможность познакомиться съ наукою въ университетѣ, хотя бы и по наслышкѣ? Они отупѣютъ и сгинутъ; они разсѣются по провинціямъ и будутъ вредны для государства.

Для университета, наконецъ, — и это главное, — эти мѣры вредны тѣмъ, что онѣ его выводятъ изъ настоящаго положенія, дѣлая изъ свободнаго ученія искусственную дрессировку. Правда, курсовые экзамены и обязательное ученіе, если это будетъ не одною только формальностью, сдѣлаютъ универси-

теть университетомъ меньшинства; но какого?—Не того, которое развиваетъ на свободѣ свои дарованія и охоту къ наукѣ, не того, которымъ дорожатъ настоящіе университеты такъ, что готовы существовать для него одного, но меньшинства, которое узкимъ экзаменаціоннымъ направлѣніемъ влачится къ посредственности.

Посредственность,—говорять,—намъ-то и нужна, а талантъ самъ найдетъ себѣ вездѣ дорогу. Это заблужденіе, противъ котораго нужно возставать. Талантъ вездѣ нужнѣе посредственности, а у насъ—во сто разъ. Талантомъ живетъ посредственность. Гдѣ задача образованнаго—распространять образованность въ окружающей средѣ, тамъ талантъ—жизненная сила общества. Поэтому, какъ бы обществу,—и именно нашему,—ни были нужны руки, ему въ стократъ нужнѣе головы. Всякая школа славна не числомъ, а славою своихъ учениковъ. Но талантъ не такъ несокрушимъ, какъ думаютъ. Его можно погубить, и даже легко. Его не нужно представлять себѣ гениемъ или демономъ, одареннымъ страшною энергіею воли. Талантъ, не окрѣпшій, гораздо легче сбить съ толку, чѣмъ посредственность; его легче привести въ противорѣчіе съ собою и со всѣмъ окружающимъ. Не давая ему развиваться на свободѣ, его можно довести до того, что онъ будетъ казаться ниже посредственности и сдѣлается зимоспящимъ. Да не только талантъ, и простую любознательность не трудно заглушить обязательнымъ и экзаменаціоннымъ ученіемъ. Я помню, какъ меня самого парализировали экзамены. Ничего я такъ скоро не забывалъ, какъ то, что обязанъ былъ приготовить для экзамена. Лѣтъ 30-ть послѣ того, если я ночью пробуждался отъ непріятнаго чувства, то это почти всегда было приготовленіе къ экзамену во снѣ. Ни одной наукой я не занимался такъ нехотя, какъ той, которой учился для экзамена, и ни одна лекція не наводила на меня столько дремоты, какъ обязательная. Но я далекъ отъ того, чтобы считать для всѣхъ университетовъ всякую обязанность и экзаменъ несовмѣстными съ университетскимъ образованіемъ. Объ этомъ еще рѣчь впереди, а теперь перейдемъ къ другому вопросу.

Должно ли реальныя учрежденія, назначаемыя для боль-

шинства, поставить въ связь съ университетомъ или вовсе отдѣлить отъ него.

Въ Германіи, несмотря на развитіе реализма, университетъ остался все еще въ прежнемъ видѣ, но факультеты въ германскихъ университетахъ и прежде имѣли одну научную связь; въ нихъ совѣтъ или сенатъ состоитъ изъ однихъ выборныхъ членовъ всѣхъ факультетовъ; дѣла идутъ въ министерство на утвержденіе прямо изъ факультетовъ, даже нѣкоторыя изъ дѣлъ одинъ факультетъ неохотно или вовсе не сообщаетъ другому. Во Франціи факультеты составляютъ почти совсѣмъ отдѣльныя школы (*école de médecine, école de droit*). Но университетъ, ни тамъ, ни здѣсь, не имѣетъ ничего общаго съ другими высшими, учебно-реальными заведеніями.

Примѣнить ли это къ намъ?

Я думаю, что и въ этомъ отношеніи подводить всѣ наши университеты подъ одинъ уровень не слѣдуетъ.

Намъ необходимо съ одной стороны:

Удержатъ въ университетѣ всѣ элементы общечеловѣческаго образованія и органическую связь наукъ.

Съ другой стороны:

Намъ нужно усилить реальныя учрежденія, не нарушая, сколько возможно, этой связи наукъ.

Еслибы мы захотѣли, въ настоящее время, уменьшить скопленіе массъ въ университетѣ, развлекая ихъ въ разныя направленія, то мы, можетъ быть, удовлетворили бы потребностямъ общества, но лишили бы эти массы дѣйствія той образовательной силы, которая всегда присуща университету и ничѣмъ незамѣнима.

Эта сила и зависитъ отъ органической связи наукъ и отъ воздѣйствія одного факультета на другой. Она существуетъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Она дѣйствуетъ и на избранныхъ, и на большинство. Одни подвергаются ея вліянію сознательно; другіе — безсознательно.

Съ этой стороны университеты еще долго будутъ пополнять недостатки нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній, съ которыми и должны оставаться въ связи.

Поэтому, и высшія реальныя учрежденія, какъ вспомога-

тельные факультетамъ, должны находится также въ связи съ нашимъ университетомъ.

Мало этого: высшія реальныя учрежденія требуютъ у насъ органической связи съ университетомъ еще и по недостатку въ образованныхъ спеціалистахъ. Намъ едва ихъ достаесть для вакантныхъ кафедръ. Что же будетъ, если реальныя школы потребуютъ ихъ для такихъ предметовъ, которые можно бы изучать и въ университетахъ? если каждому учрежденію, на-примѣръ, понадобится отдѣльная профессура физики, химіи, естественной исторіи, которая существуетъ уже на-лицо въ факультетахъ?

Но въ каждомъ изъ нашихъ университетовъ всѣ условія этого соединенія не могутъ быть выполнены однимъ и тѣмъ же способомъ и въ той же степени.

Централизація университета только затруднитъ нормальный ходъ дѣла.

Университеты столичные могутъ быть связаны съ различными спеціальными учрежденіями, служить имъ центромъ и вносить въ ихъ дѣятельность элементы общечеловѣческаго, научнаго образованія. И тотъ, и другія выиграютъ отъ соединенія. Скопленіе массъ въ одномъ пунктѣ прекратится. Однѣ науки могли бы изучаться въ университетѣ, другія—въ учрежденіяхъ. А общечеловѣческое образованіе, доставляемое университетомъ, вліяло бы вездѣ и удерживало спеціалистовъ отъ односторонности и рутинерства. Спеціальное образованіе, въ свою очередь, направляло бы къ положительности и серьезному труду. Во Франціи уже давно, на-примѣръ, всѣ столичные госпитали имѣютъ въ своихъ палатахъ профессоровъ факультета и всѣ приспособленія къ практическому изученію спеціальностей медицины. А у насъ эта связь почти вовсе не существуетъ, и это въ ущербъ наукѣ и спеціальному образованію.

Въ провинціальныхъ университетахъ, при увеличеніи матеріальныхъ средствъ, нѣкоторые факультеты могли бы въ себѣ самихъ развить реальныя учрежденія. Другіе могли бы сохранить одно чисто-научное призваніе.

Въ одномъ университетѣ разнородная масса слушателей могла бы искать на лекціяхъ общаго научнаго образованія; въ другомъ могло бы сосредоточиваться меньшинство для спе-

ціального изученія науки въ бесѣдѣ съ профессоромъ и въ особенныхъ научныхъ семинаріяхъ.

Все должно примѣняться къ мѣстнымъ условіямъ, къ мѣстнымъ потребностямъ общества и учащихся. Каждый университетъ пусть руководствуется своею программю. Я убѣжденъ, что только такъ, а не иначе, можетъ для насъ рѣшиться университетскій вопросъ. Какъ бы ни были велики трудности,—я ихъ хорошо понимаю,—но сдѣлать университетъ равно и вездѣ доступнымъ и равно и вездѣ полезнымъ для меньшинства и большинства иначе нельзя.

Другой формулы соединенія началъ: чисто-научнаго и прикладнаго, въ одномъ и томъ же учрежденіи, для насъ нѣтъ.

Раздѣлить то и другое, безъ вреда для тѣхъ и другихъ,—избранныхъ и массъ,—также невозможно.

Невозможно рѣшить однимъ и тѣмъ же путемъ и вопросъ о воспитательномъ значеніи университета.

Слово, имѣющее смыслъ чисто-матеріальный,—воспитаніе,—получило у насъ другой смыслъ, и теперь сказать: я „воспитаю“, а не „образую“, можно только про дерево или про скотину. Остались слова: „ученіе“ и „просвѣщеніе“, которыя отличаются отъ „воспитанія“, но не отъ „образованія“. А какъ воспитывать безъ образованія и образовывать, не уча и не просвѣщая,—нельзя, то, стало быть, воспитывать, не уча, можно развѣ въ такомъ возрастѣ, когда человѣкъ еще безсловесенъ.

Но и учить, не образуя и не воспитывая, также нельзя. Вся наша нравственность, правда, добро, свѣтъ—все ученіе. И учить, не воспитывая, не образуя, значило бы не учить, а дѣлать что-то другое.

Между тѣмъ университетъ, какъ учрежденіе учебное, еще никто не признаетъ, eo ipso, воспитательнымъ; а требуютъ его такимъ сдѣлать—значить, принимаютъ, что можно учить, не образуя и не воспитывая.

Если скажутъ, что учить можно и худому, то на это отвѣтъ, что и воспитывать можно худо. Но учить—значить, по преимуществу, учить добру. Если же кто не отвергаетъ, что учить, не образуя, нельзя, тотъ можетъ только утверждать, что для воспитанія учить,—это мало; нужно еще что-то. Чтò же?

Чтò же другое, какъ не надзоръ, не присмотръ. И весь

вопросъ вертится на томъ, какъ и надъ чѣмъ надзирать? Надъ тѣмъ ли, чтобы заправду учился тотъ, кого хотятъ воспитать? Вѣдь въ ученіи все и есть. Воспитанія безъ ученія не можетъ быть; чѣмъ болѣе кто учится, тѣмъ болѣе и образуется, тѣмъ болѣе и воспитывается. Кто учится, тотъ и узнаетъ, какъ и что нужно дѣлать. Или этого мало,—ученіе идетъ и не въ-прокъ,—надо еще умѣть исполнить то, что знаешь. То-есть, надо, чтобы кто-нибудь и за этимъ надзиралъ,—значить, училъ еще, какъ исполнить то, что знаешь и—долженъ знать, если учишься.

Такіе учителя будутъ воспитатели *par excellence*, въ отличіе отъ тѣхъ, которые учатъ только знать.

А такіе воспитатели будутъ, ни болѣе, ни менѣе, отцы, да еще какіе! — которые выше учителей, потому что не только знаютъ, но и знаютъ еще, какъ дѣлать, что знаютъ. Или, наконецъ, это будетъ сама жизнь. Разумѣется, этихъ отцовъ и воспитателей не только въ университетѣ на-лицо нѣтъ, но и въ цѣломъ свѣтѣ не много. А жизнь впереди. И потому, за неимѣніемъ, прибѣгають къ дѣйствіямъ отрицательнымъ, то-есть надзирають не за тѣмъ, чтобы было все хорошо, а за тѣмъ, чтобы не было слишкомъ худо.

Это и значить полиція.

Итакъ, все воспитательное сводится на полицейское.

Въ другомъ смыслѣ воспитательнаго университета нѣтъ, и быть не можетъ. Играть и обольщать себя словами бесполезно.

Однако-же, есть, говорятъ, въ Англіи воспитательный университетъ. Про него чаще начали говорить, когда прочли Визе.—Но Визе, приписывая все хорошее въ англійскихъ лордахъ университетскому воспитанію въ Оксфордѣ и Кембриджѣ, забылъ одно—*habeas corpus*. А это одно воспитываетъ англичанъ,—и не однихъ лордовъ,—не хуже всякихъ университетовъ. Въ англійскихъ университетахъ хорошо учатъ,—это правда. Но ихъ способъ ученія въ коллегіяхъ, ихъ тьюторы,—хороши для меньшинства, для массъ—не годятся. О реальномъ же, которое стало живою потребностью для университетовъ континента, и котораго нѣтъ ни въ Оксфордѣ, ни въ Кембриджѣ, Визе какъ будто и знать не хотѣлъ. Визе не хотѣлъ

также знать и о пашняхъ, которыя тамъ водятся, несмотря на закрытость заведенія, на студенческій костюмъ и на обязательное посѣщеніе церкви.

Если англійскія collegii такъ сдѣлались славны славою ихъ учениковъ, то этимъ обязаны онѣ, кромѣ *habeas corpus*, еще и ихъ способу ученія, который потому и не дешевъ. Способъ этотъ совершенно противоположенъ свободѣ ученія германскихъ университетовъ, на которую теперь, кромѣ Визе, и многіе другіе сердятся. Вотъ, слѣдовательно, — мнѣ скажутъ, — англійская обязательность ученія, экзамены, и т. п., нисколько не вредятъ ни таланту, ни любознанію.

Но обязательность въ ученіи меньшинства, и еще избраннаго, можетъ проводиться разумно, не иначе, какъ вникая въ личности, заботясь о каждомъ; и талантъ, и посредственность, отъ нея въ выигрышѣ. Если бы учителей было столько же, сколько учениковъ, — было бы еще лучше. А, можетъ, верхъ совершенства былъ бы, еслибы всѣ только и дѣлали, что обязательно учили и учились. Всѣ сдѣлались бы учениками и учителями *ex professo*. Вся жизнь превратилась бы въ обязательное ученіе. Не нужно бы было ни воспитателей, которыхъ и теперь нѣтъ, ни полиціи, которой много. И то правда, что обязательнымъ способомъ можно выучивать и не одно меньшинство. Всѣмъ извѣстно, что этимъ способомъ можно цѣлыя массы не только учить, но даже учить умирать стойко.

Но изъ защитниковъ обязательнаго ученія немногіе мечтаютъ о возможности учредить въ Россіи хотя что-нибудь подобное оксфордскому или кембриджскому университету. Обыкновенно представляютъ себѣ обязательность такъ, или почти такъ, какъ прежде, то-есть: раздѣленіе на курсы, обязательный выборъ предметовъ, годичные или двухъ-годичные экзамены и т. п. И вмѣстѣ съ этимъ хотятъ удержать теперешній способъ преподаванія, взятый изъ нѣмецкихъ или французскихъ университетовъ. Что же изъ этого выйдетъ? Преподаваніе свободное, а ученіе обязательное. Студентъ долженъ посѣщать лекціи и держать экзамены, а на лекціяхъ онъ — пассивный слушатель, и профессору дѣла нѣтъ, слѣдить ли онъ и понимаетъ ли онъ его лекціи, или нѣтъ. И хотятъ увѣрить, что такая обязательность хороша.

Обязательное учение и экзамены дѣйствительно принесутъ пользу, если наши студенты, вмѣсто занятій, по-англійски, съ тьюторами, — что для нихъ слишкомъ дорого, — составляютъ, группируясь по различнымъ предметамъ, отдѣльные кружки, а профессоры — отдѣльныя семинаріи, съ обязательствомъ для слушателей заниматься по извѣстной программѣ. Тогда они будутъ играть активную роль на лекціи, и будутъ уже студентами, а не слушателями. Эта обязательность не насильственна; она соединена съ постоянною, самостоятельною дѣятельностью ученика; она сближаетъ его съ учителемъ и часто лучше соответствуетъ и сущности предмета, и личности наставника, и способностямъ ученика. Для многихъ наукъ и многихъ профессоровъ другого способа и найти нельзя, если хотимъ, чтобы слушатели выносили что-нибудь съ лекцій. Но для множества и этотъ способъ, и эта обязательность непримѣнимы. Ничто не препятствуетъ ввести его для преподаванія извѣстныхъ предметовъ въ тѣхъ изъ нашихъ университетовъ, въ которыхъ число слушателей незначительно. Стало быть, и въ этомъ отношеніи нѣтъ надобности одному университету сообразоваться во всемъ съ другими.

Итакъ, обязательность вообще несовмѣстима съ университетскимъ учениемъ, потому что для массъ она легко переходитъ въ бесплодную формальность, а для избраннаго меньшинства должна быть употребляема съ осторожностью и большимъ знаніемъ дѣла; — иначе она вредитъ и свободному развитію научной дѣятельности, и развитію таланта.

Поэтому ее и нельзя принять, какъ воспитательный элементъ университета.

Вотъ почему я встаю и противъ обязательныхъ лекцій богословія. Я отъ души желаю, чтобы всѣ были истинными христіанами; еще болѣе желаю, чтобы религіозныя истины и чувства укрѣпляли молодое поколѣніе; но я слишкомъ уважаю и научное, и нравственное достоинство религіи; и потому не желаю видѣть катедру богословія поставленную въ университетѣ для одного только приличія. Между тѣмъ обязательность непременно ведетъ къ этому. Еще можно защищать обязательное учение тамъ, гдѣ имѣютъ цѣлью формальное знаніе, которое можно навязывать насильно. Но никто, я думаю, не

оправдаетъ такой цѣли въ ученіи богословія. Никто также не будетъ утверждать, что учредители этой каведры въ нашемъ университетѣ имѣли въ виду одну научную ея сторону; обязательность, соединенная съ ученіемъ богословія, указываетъ на другую. А въ неожиданныхъ слѣдствіяхъ этой обязательности могутъ сомнѣваться другіе, но не я. Причину печальной апатіи къ святому и безвѣріе можно, если угодно, объяснить и другимъ образомъ, но я ее нахожу именно въ томъ, что люди, пріученные уже нѣсколько къ критическому анализу въ наукѣ, переносятъ невольно это направленіе и на ученіе, основаніемъ которому служить вѣра, — если это ученіе дѣлаютъ обязательнымъ. Это-то убѣжденіе, которому не противорѣчить и знаніе человѣческаго сердца, — и заставило меня сказать мое мнѣніе, по долгу совѣсти, — откровенно.

Теологическіе факультеты въ католическихъ и, особенно, въ протестантскихъ университетахъ можно дѣйствительно разсматривать какъ сильную оппозицію скептическому матеріализму. Но сила ихъ не въ обязательности, — которой тамъ не существуетъ. Они дѣйствуютъ, во-первыхъ, научною стороною, допускающею глубокій анализъ и свободу изысканія (то, что нѣмцы называютъ *Freiheit der Forschung*); во-вторыхъ, — сближеніемъ слушателей, не замкнутыхъ еще въ одно сословіе и готовящихся къ священнослуженію и проповѣди, съ студентами другихъ факультетовъ; въ-третьихъ, — органическою связью богословскихъ наукъ съ филологическими и историческими; въ-четвертыхъ, наконецъ, — сильнымъ нравственнымъ вліяніемъ, которое оказываютъ представители богословскихъ наукъ не только на учащихся, но и на цѣлое общество.

Изъ этого слѣдуетъ, что внесеніе богословскаго ученія въ университеты, — съ цѣлью противодѣйствія матеріальному направленію другихъ наукъ, — требуетъ отчетливаго и глубокаго изложенія всѣхъ его элементовъ, въ научной связи. Иначе оно представится, въ глазахъ учащихся, чѣмъ-то отрывочнымъ, слабымъ, не имѣющимъ органической связи съ другими предметами и, наконецъ, чисто формальнымъ *decorum*, — если посѣщеніе лекцій будетъ еще къ тому обязательнымъ для всѣхъ.

Въ какой мѣрѣ можно всего этого достигнуть у насъ, — я судить не берусь. Это — вопросъ, требующій глубокихъ сообра-

женій. Отъ рѣшенія его зависитъ не только будущность нашихъ университетовъ, но и вообще судьба нашей русской науки.

Не зная этого, я считалъ своимъ долгомъ возстать только противъ худого, которое знаю, и которое состоитъ въ обязательномъ приличіи.

Я не отвергаю, что и при существованіи одной кѣдры богословія высокая личность наставника можетъ имѣть свою долю благотворнаго вліянія. Не скажу, всегда ли можно на это рассчитывать, но я убѣжденъ, что оно можетъ обнаружиться не иначе, какъ при свободномъ ученіи.

Поможетъ ли палліативъ, состоящій въ учрежденіи, вмѣсто одной, двухъ или трехъ кѣдръ,—также не знаю; а потому удерживаюсь и теперь, какъ прежде, предлагать его. Предлагаю же устранить худое, которое знаю: это—обязательное посѣщеніе лекцій для приличія.

Итакъ, ни обязательность ученія вообще, ни обязательное посѣщеніе лекцій богословія въ особенности, не дѣлаютъ университетъ учрежденіемъ воспитательнымъ.

Остается рѣшить: можно ли этого достигнуть мѣрами полицейскими, съ которыми у насъ также соединяють понятіе о воспитаніи.

Мысль учрежденія университетской полиціи, *sui generis*, весьма натуральна, хотя средневѣковые университеты, учреждая ее, едва-ли имѣли въ виду воспитательную цѣль. Это была ни болѣе и ни менѣе, какъ одна изъ корпоративныхъ привилегій. Въ Германіи остались еще и теперь университетская полиція и университетскій судъ, потому что они имѣютъ нѣкоторыя удобства и для университетовъ, и для городской администраціи. Университеты могутъ распорядиться сами, безъ долгихъ формальностей и скоро, гдѣ нужно; городская администрація избѣгаетъ непріятныхъ столкновеній съ студентами и множества мелкихъ судебныхъ случаевъ. Студенты считаютъ также приличнѣе достоинству учащихся не имѣть никакого дѣла съ полиціею и судиться не одинакимъ судомъ съ „бюнтами“. Хотя университетскій судъ и поддерживается взглядомъ на студенчество, какъ на общество людей еще незрѣлыхъ, легко увлекающихся, и т. п., но тутъ играютъ свою роль и

сословныя или корпоративныя понятія, еще оставшіяся во всѣхъ средневѣковыхъ учрежденіяхъ.

У насъ, какъ извѣстно, никогда не было настоящаго университетскаго суда; была только университетская полиція, которая, въ теченіе почти 30-ти лѣтъ, находилась въ рукахъ попечителя. Попечитель былъ собственно главный инспекторъ и начальникъ студентовъ. Все шло спокойно до послѣдняго времени, и вопросъ остался бы, можетъ быть, еще долго нетронутымъ, еслибы не обнаружился такъ-называемые студенческіе безпорядки. Съ ними вмѣстѣ поднялся вопросъ и о воспитательномъ значеніи университетовъ.

Какая причина безпорядковъ, которые выросли какъ будто изъ земли?

Устарѣла ли университетская полиція? Виноваты ли попечители? Молодежь ли испортилась, или ее набралось уже слишкомъ много въ университетахъ?

Эти вопросы обойти нельзя,—иначе и вопросъ объ университетской реформѣ, поднятый безпорядками, рѣшить нельзя.

Я слышалъ много разговоровъ объ этомъ. Одни обвиняли университетскій уставъ, другіе—молодежь, третьи—попечителей, въ томъ числѣ и меня. Къ удивленію, весьма немногіе обвиняли время. Иные смотрятъ на университеты какъ на что-то отдѣльное, какъ на храмъ Весты. Положимъ, это—взглядъ, приносящій честь и университету, и тѣмъ, которые такъ смотрятъ. Но на дѣлѣ,—и это немногіе знаютъ,—университетъ выражаетъ современное общество, въ которомъ онъ живётъ, болѣе, чѣмъ всѣ другія учрежденія. Взглянувъ на университетъ глубже, можно вѣрно опредѣлить и духъ общества, и всѣ общественныя стремленія, и духъ времени. И нашъ университетъ выражаетъ это еще болѣе, чѣмъ всѣ западные, потому что въ нашемъ мало сословнаго и вовсе нѣтъ преданія, или оно очень слабо. Разумѣется, кто хочетъ по немъ судить о состояніи общества, долженъ имѣть въ виду не одно положительное, но и отрицательное, т.-е. судить не по тому одному, что есть, но и по тому, чего нѣтъ въ университетѣ.

Въ университетѣ два рода представителей: одни представляютъ степень просвѣщенія и зрѣлости общества; другіе—его молодость, его нужды, потребности, направленіе, взгляды, увле-

ченія, страсти, пороки. Все сосредоточено въ одномъ пунктѣ и потому выказывается яснѣе и сильнѣе. Всѣ оттѣнки выражаются на матеріалѣ, правда, еще не выработанномъ, но зато чрезвычайно ёмкомъ и чувствительномъ. Это—положительная сторона университета. Чего въ немъ нѣтъ, того или нѣтъ въ обществѣ, или то спитъ и не живетъ духовно. Это—отрицательная сторона, по которой тоже надо судить. Общество видно въ университетѣ, какъ въ зеркалѣ и перспективѣ. Университетъ есть и лучший барометръ общества. Если онъ показываетъ такое время, которое не правится, то за это его нельзя разбивать или прятать,—лучше все-таки смотрѣть и, смотря по времени, дѣйствовать.

Этотъ взглядъ на университеты подтверждаетъ исторія. Гдѣ политическая жизнь общества качается ровно, какъ часовой маятникъ, гдѣ политическія страсти изъ высшихъ сферъ не доходятъ до незрѣлаго поколѣнія, тамъ въ университетѣ выступаетъ на первый планъ его прямое назначеніе—научная дѣятельность. Университетъ дѣлается тамъ барометромъ просвѣщенія.

Въ наукѣ есть свои повороты и перевороты; въ жизни—свои; иногда и тѣ, и другіе сходятся; но всѣ переходы, перевороты и катастрофы общества всегда отражаются на наукѣ, а чрезъ нее и на университетѣ. Вюртембергскій профессоръ писалъ протестъ общества противъ злоупотребленій папской власти. На лекціяхъ Фихте выражалась готовность націи возстать за свободу. О жизни и смерти говорилъ Бишъ, когда смерть гуляла по Франціи вмѣстѣ съ гильотиною. Передовые люди, окружавшіе короля прусскаго въ 10-хъ годахъ нашего столѣтія, хорошо знали это, когда дали ему совѣтъ учредить новый университетъ (въ Берлинѣ), для выраженія новыхъ стремленій. Когда, послѣ войны за свободу, началась новая жизнь для Германіи и явилась мысль о единствѣ,—она тотчасъ же высказалась въ ваттенбургскомъ праздникѣ буршеншафтеровъ.

Только тамъ, гдѣ политическія стремленія и страсти проникли глубоко чрезъ всѣ слои общества, они уже неясно отражаются на университетѣ. Но чѣмъ болѣе настигаютъ они общество врасплохъ, чѣмъ менѣе оно привыкло къ переходамъ и переворотамъ, тѣмъ сильнѣе выразится его настроеніе

въ университетѣ. Во Франціи едва слышно про него, во время политическихъ реформъ. Въ тѣхъ частяхъ Германіи, гдѣ были общества открыты и установились, студенты живутъ средневѣковою жизнью и не мѣшались въ политику, предоставивъ ее другой сферѣ; общество не мѣшается въ ихъ коммерши, дуэли и стычки съ кнотами. Напротивъ, у насъ, — едва повѣяло новою жизнью, едва общество почувствовало новыя стремленія, — и тотчасъ же появились рефлексивныя движенія въ университетѣ. Но отражательныя движенія не могли быть цѣлесообразны, и потому они перешли въ безпорядки.

Анализируя эти безпорядочные рефлексы, намъ не трудно убѣдиться, что они не всѣ въ одинаковой мѣрѣ были безнравны, бессознательны и безпорядочны. Ихъ всѣхъ можно раздѣлить на три рода. Въ однихъ проявляется только грубая сторона общества, въ видѣ насилія; въ другихъ выражается, болѣе сознательно, извѣстная мысль, относящаяся до интересовъ студенческаго быта; въ третьихъ, наконецъ, эта мысль имѣетъ уже болѣе обширное, болѣе общественное значеніе. Всѣ три, однакоже, обнаружались подъ вліяніемъ настроенія, перешедшаго изъ общества въ университетъ. Вездѣ дѣйствіе проявлялось корпоративно. Вездѣ обнаруживалось понятіе о достоинствѣ, значеніи и силѣ корпораціи. Такъ и поступкамъ насильственнымъ, нарушившимъ общественный порядокъ, лежало въ основаніи это же понятіе, и какъ бы такой взглядъ на коллективную личность корпораціи ни былъ безтолковъ и ложенъ, онъ совпадаетъ съ развитіемъ мысли о личномъ достоинствѣ во всемъ образованномъ обществѣ; самоуправство же было только его необдуманное примѣненіе. Сюда относились буйства и драки за нанесенныя обиды одному или нѣсколькимъ студентамъ. Шумныя сходы и сужденія о дѣлахъ, касающихся до интересовъ студенческаго быта, имѣли своимъ началомъ также вопросы объ общественныхъ интересахъ, возбужденные въ наше время новыми потребностями и реформами. Сюда принадлежали вопросы о студенческой библіотекѣ (въ Кіевѣ), о кассѣ для бѣдныхъ, о платѣ за ученіе, о лекціяхъ нѣкоторыхъ профессоровъ. Наконецъ, третьи зависѣли уже отъ непосредственнаго перенесенія общественныхъ вопросовъ изъ общества въ его новое поколѣніе. Это дѣлалось или невольно и почти бессознательно,

или переносилось самимъ обществомъ, отцами — сознательно. Въ Одессѣ, въ 1857 году, едва пришла вѣсть чрезъ иностранныя газеты „объ улучшеніи быта крѣпостныхъ людей“, и студенты лицея первые собрались и пили за здоровье освобождающаго и освобождаемыхъ, — это примѣръ невольнаго увлеченія. Напротивъ, вопросъ о національности былъ перенесенъ въ западныхъ губерніяхъ изъ общества и семействъ, уже сознательно, на университетскую почву.

Извѣстно, какъ при этихъ проявленіяхъ старый порядокъ вещей оказывался несостоятельнымъ. И университетская полиція, и вліяніе профессоровъ, и власть попечителей — все сдѣлалось недѣйствительнымъ. Но если несостоятельность стараго стала очевидна, то зато трудность придумать что-нибудь лучше стала еще очевиднѣе.

Еще въ 1859 году я представлялъ — на вопросъ министерства — мое мнѣніе о необходимости коренной реформы въ университетской администраціи. Я высказалъ тогда мое убѣжденіе, что необходимо избрать одно изъ двухъ: или ослабить корпоративное начало, или правильно его организовать. Черезъ два года послѣ того, на эту тѣму много писали и полемизировали. Не обошлось, разумѣется, и безъ комбинацій. Но какъ бы ни рѣшали и какъ бы ни комбинировали, не нужно упускать изъ виду главнаго, — того, что успѣшность всѣхъ средствъ можетъ быть только относительная. Они не уничтожаютъ, и не могутъ уничтожить, причину; а покуда эта причина будетъ дѣйствовать, до тѣхъ поръ прямое назначеніе университета, — учебно-научная дѣятельность, — не будетъ соблюдена въ ея ненарушимомъ спокойствіи. Изъ этого, конечно, не будетъ слѣдовать, что принятыя мѣры негодны. Каждая изъ нихъ можетъ принести только извѣстную долю пользы и при извѣстныхъ условіяхъ.

Если увлеченія, движенія, безпорядки приняли характеръ корпоративный, то уничтоженіе корпоративнаго начала представляется, съ перваго же взгляда, самымъ надежнымъ средствомъ. Чтобы не спорить о словахъ, нужно согласиться, что студенческой корпораціи, въ томъ смыслѣ, какъ она понимается въ германскихъ университетахъ, у насъ нѣтъ. Но гдѣ только собираются люди на продолжительное время, въ виду извѣстной

цѣли, да къ тому же еще если ихъ сближаютъ возрастъ, воспитаніе и національности, то тамъ корпоративное начало уже есть непремѣнно. Оно въ нашемъ студенчествѣ имѣло, въ нѣкоторой степени, и юридическое значеніе, потому что было соединено съ нѣкоторыми правами. Если угодно, это были не настоящія права, а только снисхожденіе къ возрасту и исключительному положенію студентовъ въ обществѣ (*status pupillaris*); но, тѣмъ не менѣе, студенты смотрѣли на это снисхожденіе какъ на привилегію. Сюда относились мундиръ и особая университетская расправа. Съ другой стороны, экзамены, курсы, обязательность ученія, стипендіи, казенный коштъ, также не мало пособили развитію корпоративныхъ идей между студентами. Итакъ, естественно, для противодѣйствія этимъ понятіямъ, нужно было, во-первыхъ, уничтожить ихъ внѣшнее основаніе, или формальную, юридическую поддержку, и, во-вторыхъ, внести въ студенчество другіе элементы, которые ослабляли бы корпоративную связь. Это значило—сдѣлать университетъ какъ можно болѣе открытымъ и болѣе доступнымъ. Ни я и никто другой, конечно, не думалъ такими средствами совершенно уничтожить корпоративное начало; его причина бытія, его *raison d'être*, я сказалъ уже,—лежитъ гораздо глубже. Я нисколько не имѣлъ и сангвиническихъ надеждъ разомъ прекратить всѣ безпорядки, причина которыхъ лежитъ также глубоко и, притомъ, внѣ университета. Но, дѣлая корпорацію безправною, лишая ее законности, внося въ нее другіе элементы и уничтожая внѣшнее различіе между студентомъ и гражданиномъ, можно было надѣяться, что дальнѣйшее ея развитіе современемъ прекратится. Въ этомъ отношеніи, я думаю, трудно оспаривать логичность предложенной мѣры. Слабая же сторона, очевидно, та, что, несмотря на всѣ соображенія, понятіе о корпораціи можетъ еще сохраниться въ большинствѣ учащихся, соединенныхъ возрастомъ, цѣлями, воспитаніемъ и т. п. Въ такомъ случаѣ, корпорація будетъ все-таки существовать, но уже совершенно незаконная, неорганизованная и вовсе устраненная отъ нравственнаго вліянія университета.

Другое средство, казавшееся болѣе воспитательнымъ, была правильная организація корпоративнаго начала. Если успѣшность перваго нельзя подтвердить никакими фактами,—при-

мѣръ Франціи не соотвѣтствовалъ исполнѣ, — то зато практичность второго кажется доказанною на дѣлѣ: у насъ — дерптскимъ, и въ Германіи средневѣковыми университетами. Но, къ сожалѣнію, это только кажется. Для организаціи студенчества въ правильную корпорацію намъ не доставитъ двухъ главныхъ условій: преданія и нравственной супрематіи организаторовъ. Будь они у насъ налицо, то уже давно бы все было организовано само собою. Въ преданіи есть сила, организующая изнутри. А организовать извнѣ могъ бы тотъ только, кто пользуется глубокимъ нравственнымъ довѣріемъ. Это, конечно, могла бы быть коллегія наставниковъ. Но въ нашихъ университетахъ нравственная связь между этою коллегіею и студенчествомъ была нарушена, и возстановить ее, — если она когда-нибудь возстановится, — могутъ только время и обстоятельства. А чтобы дать этой организаціи, — какъ этого, кажется, хотятъ, — еще другое, высшее, воспитательное значеніе, — о! для этого нужно многое и многое, чего у насъ вовсе нѣтъ. Правда, сохраненія порядка можно скорѣе достигнуть въ университетскихъ судахъ и расправахъ, которыми, пожалуй, также воспитываютъ. Но для этого устройства понадобится со стороны коллегіи столько самоотверженія, столько нравственной силы, а со стороны студентовъ столько довѣрія и того, у насъ незнакомаго, чувства, которое прежде называлось *pietas erga praesceptores*, что успокоительное дѣйствіе этихъ судовъ и расправъ у насъ болѣе чѣмъ сомнительно, по крайней мѣрѣ, въ настоящее переходное время. А правильно-организованная корпорація студентовъ немыслима безъ выборнаго начала и безъ суда, главнымъ основаніемъ которому служить не внѣшняя, а нравственная власть судей. Такъ, во многихъ случаяхъ, университетскій судъ имѣетъ дѣло не съ отдѣльными лицами, а съ цѣлою корпораціею, и если у нея не будетъ отвѣтственныхъ выборныхъ, то судъ или ровно ничего не сдѣлаетъ, или дѣйствія его будутъ произвольны, случайны и возбудятъ непремѣнно ропотъ и неудовольствіе. Отвѣтственные выборные необходимы также для удержанія порядка, а главное, — если организація предпринимается съ воспитательною цѣлью, — для поддержанія нравственнаго начала въ корпораціи, которой въ извѣстной степени должно быть предоставлено право судить о поступкахъ

ея членовъ. А это будетъ требовать студенческихъ собраній и сходокъ. Насколько у насъ удастся дать имъ правильный видъ и устранить все подозрительное, это опять рѣшить трудно. Съ другой стороны, внушить довѣріе къ суду въ молодежи, увлекающейся и смотрящей на все еще слегка, — дѣло не легкое. Университетскій судъ нигдѣ не бываетъ инквизиціонный; судьи рѣшаютъ обыкновенно по убѣжденію, и потому должны пользоваться чрезвычайнымъ довѣріемъ, чтобы рѣшенія ихъ признавались справедливыми и безпристрастными. А этого у насъ достигнуть еще труднѣе.

Итакъ, введеніе и той, и другой мѣры представляетъ много препятствій. Рѣшить а priori, которая дастъ болѣе шансовъ на успѣхъ, невозможно. Стало быть, и здѣсь нельзя экспериментировать во всѣхъ университетахъ однимъ и тѣмъ же способомъ. Можно ли, напримѣръ, полагать, чтобы въ многочисленномъ столичномъ университетѣ удалось организироваііе, а въ небольшомъ провинціальномъ—дезорганизиrowaііе корпорации? Можно ли организировать, не нарушая порядка, тамъ, гдѣ національности рѣзко или враждебно стоятъ одна противъ другой, и, напротивъ, почему не испробовать этого средства тамъ, гдѣ число студентовъ незначительно и гдѣ національной разнохарактерности не существуетъ? Въ одномъ университетѣ, напрімѣръ, мнѣ удалось, до извѣстной степени, устройство судной комиссіи; въ другомъ учебномъ заведеніи довольно хорошо шель совѣстный судъ между студентами. Но общаго ничего нельзя сказать, и введеніе одной и той же мѣры вездѣ не дастъ ожидаемыхъ результатовъ, — особливо если будемъ ждать быстрого уничтоженія слѣдствій, тогда какъ причинъ устранить не можемъ.

Еще менѣе должно разсчитывать на успѣхъ, если ни одну изъ мѣръ не удастся провести послѣдовательно и всецѣло. Такъ, если студенты, за проступки въ стѣнахъ университета, будутъ подлежать одному, а за проступки внѣ университета другому суду, то нравственное вліяііе перваго будетъ ослаблено вторымъ; если корпоративное начало, съ одной стороны, ослабится уравниемъ правъ и подчиненіемъ студента общей гражданской власти, а съ другой, допущены будутъ сходки для обсужденія дѣлъ студенчества, или ежели вмѣстѣ съ судомъ

гражданскимъ признается необходимымъ и судъ университетскій, то понятія студентовъ объ отношеніи ихъ къ обществу и университету сдѣлаются сбивчивы и невѣрны; а за судомъ университетскимъ останется не высокое нравственное, а одно карательное и виѣшнее значеніе.

Наконецъ, рѣшить а priori, въ какой мѣрѣ окажется на студентахъ моральное вліяніе коллегіи, обновленной чрезъ автономію, также невозможно. Сильной нравственной связи между коллегіею профессоровъ и студентами у насъ почти никогда не было. Замѣчалось иногда частное вліяніе даровитыхъ личностей. Преданіе не соединяло цѣлыхъ поколѣній съ университетомъ, какъ въ Германіи, Англіи и у насъ—въ Дерптѣ. Настоящей университетской жизни также никогда не существовало. Счастливья воспоминанія объ „alma mater“ не передавались изъ рода въ родъ. Итакъ, трудно вѣрить, чтобы новый порядокъ вещей, и при автономіи университета, скоро укрѣпилъ связь коллегіи съ студенчествомъ. А до тѣхъ поръ нельзя и мечтать о воспитательномъ значеніи университета, которое только и держится этою связью. Если же и при такихъ условіяхъ коллегія возьметъ на себя отвѣтственность передъ правительствомъ за сохраненіе порядка между студентами, то это будетъ готовность, которой нельзя не желать успѣха. Но для этого коллегія, прежде всего, должна возстановить свое нравственное вліяніе, —а чтобы возстановить его, одной автономіи мало; недостаточно также и личнаго вліянія любимыхъ наставниковъ; не личное оно должно быть, а коллективное, и требуетъ свойствъ въ наше время рѣдкихъ: самоотверженія, безъ котораго нельзя имѣть дѣла съ студентами; справедливости и безпристрастія, которыя высоко цѣнятся молодежью; любви и уваженія къ молодости, безъ которыхъ зрѣлый человѣкъ не вѣрно судить, теряетъ терпѣніе и ожесточается, смотря на поступки незрѣлаго. Итакъ, чтобы достигнуть успѣха, нужно будетъ много времени, много дѣла и, главное, много знанія дѣла. А покуда, нельзя не обратить вниманія на одно важное обстоятельство, которое вредитъ нормальности всѣхъ проявленій нашей жизни. Это наше неуваженіе къ факту. Не знаю, выражаю ли я довольно ясно этими словами то, что замѣчаю

не только въ молодомъ, но и въ зрѣломъ поколѣннн нашего образованнаго общества.

Мнѣ кажется, что германское и англо-сакское племя сдѣлалось знаменательнымъ въ исторіи просвѣщенія человѣчества, именно, своимъ уваженіемъ къ факту. Какъ бы германская философія ни казалась намъ анти-фактической, но и она не только не ослабила, а напротивъ,—какъ показываютъ слѣдствія,—еще усилила въ нѣмцахъ это замѣчательное свойство. У насъ же,—потому ли, что мы позже другихъ выступили на поприще просвѣщенія, оттого ли, что мы все еще слишкомъ молоды, или почему другому,—выразилось какое-то равнодушіе, и даже презрѣніе, къ чисто-фактической сторонѣ науки. Я называю неуваженіемъ, равнодушіемъ и презрѣніемъ то, что мы недовольно цѣнимъ значеніе каждаго факта; самъ по себѣ онъ не имѣетъ для насъ ни интереса, ни прелести. Услышавъ, увидѣвъ, узнавъ или открывъ фактъ, мы не стараемся убѣдиться въ его точности или въ подробностяхъ. Если намъ не удалось разомъ и свысока понять его значеніе, связь или примѣненіе, то онъ для насъ какъ будто бы никогда не существовалъ. Мы пренебрегаемъ фактомъ и отворачиваемся отъ него, пока не покажется въ немъ какая-нибудь привлекательная сторона. Поэтому и рано появляется у насъ въ молодомъ поколѣннн наклонность хвататься за то, что манитъ къ себѣ блестящими результатами, воззрѣніями, слѣдствіями, и тому подобное; отъ этого и странная наклонность у нашей молодежи братья за дѣло не по силамъ, слишкомъ высоко цѣнить свой трудъ и слишкомъ низко цѣнить трезвое дознаніе трудомъ. Правда, одинъ французскій ученый назвалъ факты „эзоповыми языками“. Но фактъ вовсе не такъ поворотливъ, какъ языкъ, а дознанный фактъ—такъ неповоротливъ, что онъ всегда былъ камнемъ преткновенія умозрѣній. А у насъ, съ малолѣтства, приучаютъ его обходить. Грамота для насъ ни почему, намъ нужно развитіе, и, не имѣя грамотныхъ учителей, мы хотимъ имѣть учителей развитыхъ. Въ училищахъ намъ не нужна ни латинская, ни греческая грамматика, потому что намъ вовсе не нужно фактическое знаніе мертвыхъ языковъ, а только результаты, добытые ими на Западѣ. Напимъ дѣтямъ не нужны и фактическія мелочи и числа въ исторіи, а взгляды на жизнь народовъ.

Въ наукахъ естественныхъ, не уча систематикѣ, мы излагаемъ ученикамъ теорію зачатія и исторію развитія. Въ математикѣ, не теряя времени на рѣшеніе ариметическихъ задачъ, мы спѣшимъ переходить къ отвлеченнымъ величинамъ; въ изученіи языка—къ отвлеченнымъ обзорѣніямъ литературы всѣхъ народовъ, и т. д. Вступая, послѣ такой подготовки, въ университетъ, прежде мы бросались на Гегеля и Шеллинга; теперь, когда они не въ модѣ,—начали развивать себя различными воззрѣніями, принялись за открытія, проводимъ новые взгляды на жизнь и науку, а потомъ дѣлаемся педагогами, отрицая педагогію, углубляемся въ научныя изслѣдованія, отрицая науку, и, обязанные всѣмъ западному просвѣщенію, отвергаемъ его значеніе. Мы смотримъ на факты, дѣйствительно, какъ на поворотливые языки, какъ на пѣшки, которыя можно передвигать съ одного мѣста на другое. Фактъ, самъ по себѣ, безъ пикантной приправы, безъ интриги, для насъ—такая мелочь, что не стоитъ о ней хлопотать. Поэтому мы лучше понимаемъ нѣмецкую философію, чѣмъ самого нѣмца, съ его охотою къ кропотливымъ изслѣдованіямъ. Намъ смѣшна его усидчивость въ разысканіи фактовъ. Она кажется намъ слѣдствіемъ тупоумія и ограниченности взгляда. У насъ, кромѣ лекцій, нѣтъ другой оцѣнки достоинству профессора. Учасъ, мы не интересуемся изучать скучный процессъ фактического познанія и не заботимся прослѣдить тотъ механизмъ, которымъ дошелъ нашъ наставникъ до убѣжденія. Ни наши ученики не имѣютъ охоты заглянуть въ рабочую учителя, ни учителя—пригласить ихъ туда. Нужно—или, послѣ этого, скорѣе не нужно—удивляться, какъ туго идетъ у насъ вообще вся физическая сторона знанія. У насъ не было кафедры философіи, и потому не мудрено, что нѣтъ философовъ и мало людей, понимающихъ связь наукъ, значеніе университета, и т. п. Но у насъ почти нѣтъ и естественниковъ, и физиковъ, и анатомовъ, и хирурговъ, хотя и не было никакихъ препятствій къ изученію этихъ наукъ. Это, конечно, доказываетъ, что нарушеніе общей связи наукъ не идетъ въ прокъ ни одной изъ нихъ, и что произвольно нельзя содѣйствовать успѣху однихъ, устраняя другія. Но, все-таки, это одно не объясняетъ антифактическое направленіе въ молодомъ и свѣжемъ народѣ, а потому оно и знаменательно. Отъ науки

переходить это направление и въ жизнь. Тогда какъ въ политикѣ образованныхъ народовъ „un fait accompli“ получаетъ теперь все болѣе и болѣе значенія, у насъ совершившійся фактъ теряетъ и то, которымъ онъ пользуется у необразованныхъ. Мы—на пути къ отвлеченію — все ищемъ смысла въ фактѣ и теряемъ свой, забывая, что осмысленный или неосмысленный фактъ, если только вѣрнѣе, такъ же важенъ, какъ опытъ Гальвани надъ лягушкою, котораго значеніе для общества тогда только поняли, когда сдѣлали электрическіе телеграфы. Между тѣмъ вся связь общества, все вліяніе одного поколѣнія на другое и одной среды на другую основаны на уваженіи къ фактической сторонѣ жизни. Взгляды и воззрѣнія раздѣляютъ общество, фактъ—соединяетъ. Потому-то развитіе въ новомъ поколѣніи уваженіе къ факту я считаю одною изъ самыхъ главныхъ задачъ нашего университета.

Децентрализація университета, разнообразность реформнаго эксперимента, неразрывная связь научнаго начала съ прикладнымъ и учебнымъ, усиленное значеніе того или другого и направление, приспособленное къ мѣстнымъ условіямъ, университетъ самостоятельный, но не іерархическій, университетъ для большинства и меньшинства, автономія при раціональномъ контролѣ, Lehr- und Lernfreiheit, доцентство, при гласности и общественномъ мнѣніи, какъ оппозиція застою и непотизму, свободная конкуренція и конкурсъ, какъ средства къ развитію доцентства и оцѣнки научныхъ заслугъ, вознагражденіе по личнымъ достоинствамъ, а не по должностямъ, улучшеніе матеріальной стороны университетскаго быта, раздѣленіе званія отъ должности, обсужденіе университетскихъ дѣлъ въ высшей инстанціи не только путемъ бюрократическимъ, но и путемъ науки, зависимость нравственнаго значенія университета отъ нравственного состоянія общества, развитіе уваженія къ факту, какъ задача университета,—вотъ программа, которую я предлагаю. Мѣры къ ея осуществленію далеки отъ совершенства. Не это, однако-же, меня беспокоитъ; я боюсь, что не сумѣлъ выразить мысли, и опять не буду такъ понять, какъ бы мнѣ этого хотѣлось. Найдутся противорѣчія, особливо съ тѣмъ, что

я высказалъ въ моихъ замѣткахъ на проектъ. Но писать замѣчанія на чужое и писать свое, это—не одно и то же.

Многимъ покажется, что я слабо отстаиваю улучшение матеріальнаго быта нашихъ университетовъ, которое, между тѣмъ, есть *conditio sine qua non* реформы.

Но я потому мало о немъ распространялся, что, во-первыхъ, считаю необходимость его слишкомъ очевидною, а во-вторыхъ, потому, что не полагаю его единственнымъ условіемъ, устранивающимъ всё другія.

Меня занимають болѣе отношенія университета къ государству, обществу и наукѣ. Не разъяснивъ, не опредѣливъ этихъ отношеній, нѣтъ возможности и установить вѣрный взглядъ на значеніе университета.

А отъ этого взгляда зависитъ и его будущность, и нормальность его отправленій (функцій).

Такъ, если отношенія университета къ государству и обществу должны быть утилитарно-вещественные, то университетъ теряетъ свою причину бытія, свой *raison d'être*, и распадается непремѣнно на нѣсколько специальныхъ школъ.

Если, напротивъ, эти отношенія должны опредѣляться стремленіями высшими и болѣе духовными, то университетъ, для сохраненія своего истиннаго значенія, требуетъ также непремѣнно полной свободы научнаго разслѣдованія и ученія.

Эта свобода, въ свою очередь, легко рождаетъ въ государствахъ и обществахъ непріязненные взгляды на дѣятельность университета, и онъ легко заподозривается въ стремленіяхъ, противныхъ принятому порядку вещей. Рождаются недоразумѣнія и взгляды, вредные для жизни и будущности университета.

Съ другой стороны, если при существованіи университета свобода научнаго разслѣдованія признается опасною для спокойствія и порядка въ обществѣ, и потому ограничивается различными мѣрами, то она, какъ жизненный атрибутъ науки, проявляется путемъ скрытымъ и противозаконнымъ. А это развиваетъ въ дѣятельности университета стремленія еще болѣе опасныя, нерѣдко анти-научныя, соединенныя съ ложнымъ пониманіемъ, превратнымъ толкомъ и деморализаціей цѣлыхъ поколѣній.

Если университетъ, признанный такимъ въ государствѣ формально, но, съ одной стороны, ограниченный въ свободѣ научнаго изслѣдованія, а съ другой—не удовлетворяющій вещественнымъ потребностямъ государства и общества, не будетъ поставленъ въ связи съ другими реальными учрежденіями, имѣющими средства удовлетворить этимъ потребностямъ, но не оживленными духомъ науки, то значеніе его въ государствѣ и обществѣ дѣлается еще болѣе шаткимъ и сбивчивымъ, будущность—еще болѣе сомнительною. Отъ него требуютъ того, чего онъ не можетъ дать.

Если, наконецъ, время и перевороты общественной жизни вносятъ въ такой университетъ стремленія, угрожающія порядку и самой наукѣ, а быть представителей науки и порядка въ университетѣ,—то-есть посредниковъ между государствомъ, обществомъ и университетомъ,—не измѣняется ни въ матеріальномъ, ни въ научномъ отношеніи, то университетъ приходитъ въ ложное положеніе относительно государства, общества, науки и учащихся. А это еще болѣе увеличиваетъ непріязненность и сбивчивость взгляда на его значеніе. Все худое, въ глазахъ государства и общества, обрушивается на науку, наставниковъ и учениковъ.

Главная задача во всякомъ механизмѣ—пользоваться силою, теряемою отъ тренія. И въ университетскомъ вопросѣ главное—уменьшать треніе и утилизировать силы, которыя съ нимъ пропадаютъ. Мирить, уяснять и способствовать къ распространенію здравыхъ понятій о значеніи университета и его отношеніяхъ—я считаю обязанностью каждаго благонамѣреннаго человѣка. Успѣлъ ли я хоть сколько-нибудь ее исполнить—судить не мнѣ.

22-го декабря н. с. 1862 года.



О ВОСКРЕСНЫХЪ ШКОЛАХЪ.

Прочитавъ записку: „Воскресныя школы въ Россіи“, я не могу удержаться, чтобы не высказать мнѣнія о предметѣ мнѣ знакомомъ не по слухамъ, а занимавшемъ меня въ теченіе двухъ лѣтъ.

Первая русская воскресная школа открыта была мною, въ Кіевѣ, при подольскомъ училищѣ, въ 1859 году (въ остзейскихъ провинціяхъ, какъ извѣстно, нѣмецкія воскресныя школы существуютъ уже давно). Итакъ, еслибы навѣтъ на происхожденіе воскресныхъ школъ былъ справедливъ, то слѣдовало бы, что я былъ и первымъ виновникомъ учрежденія пропаганды либеральныхъ, или, скорѣе (по смыслу навѣта), преступныхъ идей „въ осязательной формѣ“. Конечно, къ извиненію моему могло бы послужить то, что я былъ виноватъ неумышленно. Но и такое извиненіе, ни для меня, ни для самого дѣла, вовсе не утѣшительно.

Что основная идея воскресныхъ школъ, какъ и всякая новая мысль, можетъ казаться подозрительною, противъ этого спорить нельзя. Что учредители и учителя воскресныхъ школъ могли имѣть свои заднія мысли, это также неоспоримо. Но неоспоримо и то, что одна возможность не даетъ еще нравственнаго права уничтожать кажущееся подозрительнымъ. Противникамъ школъ нужно было доказать фактически, что въ основаніи ихъ легла политическая пропаганда, и начало ея, конечно, нужно было имъ отыскивать въ Кіевѣ. Они это и сдѣлали, указавъ на подозрительное ихъ происхожденіе въ этой мѣстности. Но я знаю, также не менѣе другихъ, о про-

исхожденіи воскресныхъ школъ, и знаю тѣ личности, которыми школы обязаны своимъ учрежденіемъ. Дѣйствительно, зная ихъ хорошо, я долженъ былъ заподозрить основную идею въ эксцентричности. За учрежденіе воскресныхъ школъ принялись первые—малороссы, ревностные поклонники Кулиша и Шевченки, лучшіе изъ учениковъ проф. Павлова,—этого, конечно, уже было довольно, чтобы считать все задуманное и предпринимаемое ими эксцентричнымъ. Но я рассчитывалъ съ одной стороны, что предпріятія подобнаго рода,—лишь бы они не были положительно злы и безнравственны,—выступая на жизненное поприще и безпрестанно сталкиваясь съ грубою непроницаемостью факта, дѣлаются постепенно изъ центробѣжныхъ центростремительными; а съ другой стороны, я положительно былъ убѣжденъ, что осуществленіе идеи воскресныхъ школъ какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ жизненной потребности края. Для меня было весьма знаменательно, что въ учителя предлагали себя одни только истые малороссы и ни одинъ полякъ; я надѣялся, что самымъ вѣрнымъ и самымъ нравственнымъ средствомъ противъ польской пропаганды (о существованіи которой въ краѣ никто не сомнѣвается) послужить пропаганда русско-малороссійская. Въ 1859 г. попечители только-что получили право открывать, не испрашивая разрѣшенія высшей инстанціи, частныя школы, и потому когда учредители, студенты кіевскаго университета, испросили у меня дозволеніе открыть подольскую воскресную школу (на Подолѣ, въ дворянскомъ училищѣ); то я, рассматривая ее какъ частное предпріятіе, воспользовался даннымъ правомъ и, подчинивъ ее извѣстнымъ условіямъ, тотчасъ же дозволилъ открытіе. Условія же эти заключались въ томъ, что для преподаванія Закона Божія учредители обязывались пригласить священника, школа должна была сдѣлаться открытою для всѣхъ посѣтителей, а надзоръ за порядкомъ, направленіемъ и ходомъ ученія былъ порученъ штатному смотрителю и инспектору казенныхъ училищъ; сверхъ того, учредители подчинялись одному изъ профессоровъ; на первыхъ порахъ взялся за это дѣло г. Павловъ, который оставался послѣ того не болѣе одного мѣсяца (или около 6 недѣль) и уѣхалъ въ С.-Петербургъ. Я самъ, помощникъ попечителя и многіе посторонніе посѣтители различныхъ

сословіи и вѣдомствѣ, бывали почти каждое воскресенье, во время ученія, въ школѣ. Итакъ, первая воскресная школа и началась, и развилась на моихъ глазахъ. Съ перваго же раза въ ней оказались такіа отрадная педагогическія явленія, которыя предсказывали ей несомнѣнную будущность. Учители, — почти на отборъ лучшіе изъ малороссовъ и по способностямъ, и по нравственности, — принялись учить грамотѣ, письму и счетности съ неожиданнымъ педагогическимъ тактомъ, обратили вниманіе на всѣ новые способы ученія, занялись ими и успѣвали сверхъ всякаго ожиданія. Училище скоро переполнилось учениками. Его начали посѣщать и ученики уѣзднаго и приходского училищъ. Различіе между воскресною и казенными школами (такъ называютъ по-просту уѣздныя и приходскія), и въ пріемахъ, и въ способахъ ученія, и въ обхожденіи учителей съ учениками, было разительное. Во всемъ этомъ не трудно было убѣдиться каждому изъ посѣтителей; а входъ, какъ я уже сказалъ, былъ открытъ для всѣхъ. Вскорѣ огромное число желающихъ учиться въ воскресной школѣ заставило учредителей открыть новыя, на тѣхъ же основаніяхъ. Надобно было въ то время сдѣлаться отчаяннымъ пессимистомъ, чтобы заподозрить въ учредителяхъ преступные замыслы, не радоваться и не желать всякаго успѣха предпріятію. Хозяева мастеровыхъ не могли удерживать своихъ учениковъ и подмастерій, а господа — своихъ дворовыхъ, которые вдругъ захотѣли учиться. Не замедлило развиться и соревнованіе между учредителями различныхъ школъ, которое нерѣдко переходило и въ открытую непріязнь. Но, несмотря ни на разнохарактерность учащихъ и учащихся, ни на полную открытость школъ и надзоръ со стороны и учебнаго, и гражданскаго (секретный), вѣдомства, во время моего попечительства не было ни однажды открыто въ кievскихъ воскресныхъ школахъ ничего такого, что могло бы хотя издалеку намекнуть о существованіи въ нихъ политической пропаганды, преступной или вредной для государства. Это, однако-же, не спасло отъ нареканій. Уже и тогда слышались въ извѣстныхъ кружкахъ общества отзывы, въ которыхъ просвѣчивало подозрѣніе и сомнѣніе о чистотѣ намѣреній учредителей школъ. И что всего замѣчательнѣе, — мнѣ приходилось слышать такіе отзывы всего чаще отъ польскихъ

уроженцевъ западнаго края. Зная тенденціи и учредителей, и лицъ, выразившихъ болѣе или менѣе ясно свои подозрѣнія, я нисколько не удивлялся. Въ моихъ глазахъ невыгодные слухи о школахъ, распространявшіеся польскимъ обществомъ, скорѣе доказывали, что школы дѣйствительно достигаютъ своей цѣли. Но однажды подозрѣніе было навлечено съ другой, противоположной, стороны „въ формѣ болѣе осязательной“, особою очень вліятельною, которая при посѣщеніи школъ нашла худымъ, что учителя разъясняютъ дѣтямъ низкаго сословія отечественную исторію. Это показаніе пошло по инстанціямъ, заставило еще болѣе усилить офіціальный надзоръ и повлекло за собою министерское распоряженіе объ ограниченіи преподаванія въ воскресныхъ школахъ исключительно одною грамотностью. Причиною тревоги было, однако-же, и тутъ только одно недоразумѣніе. Исторіи въ кіевскихъ воскресныхъ школахъ, кромѣ священной, никто и никогда не училъ, а ученики, упражняясь въ чтеніи, читали иногда и историческіе отрывки, въ которыхъ, по заведенному для всякаго чтенія порядку, все непонятное должно было разъясняться учителемъ. Кто знаетъ, какъ велики неразвитость и непониманіе великорусскаго языка въ низшихъ классахъ малороссійскаго народонаселенія, тотъ, вѣрно, согласится, что безъ объяснительнаго чтенія кіевскія воскресныя школы распространяли бы въ народѣ не грамотность, а механическое заучиваніе звуковъ и словъ. Вліятельное лицо, присутствуя, однажды, при такомъ разъясненіи чтеній, и приняло это за преподаваніе исторіи.

Успѣхи учениковъ воскресныхъ школъ, какъ я самъ не разъ убѣждался, были, при прилежномъ способѣ ученія, изумительны. Грамота усвоивалась почти вдвое и даже втрое скорѣе, чѣмъ въ приходскихъ и другихъ училищахъ, посѣщаемыхъ ежедневно. Читая, ученики понимали всегда, что читаютъ,—явленіе, какъ извѣстно, не такъ-то часто наблюдаемое въ другихъ школахъ. То же, или почти то же, доносили мнѣ директоры и другихъ воскресныхъ школъ округа, открытыхъ въ Нѣжинѣ, Полтавѣ, Черниговѣ; менѣе замѣтна была дѣятельность школъ на Волыни и въ Подоліи.

Чѣмъ же воскресныя школы кіевского учебнаго округа не оправдали оказаннаго имъ сначала довѣрія? Чѣмъ навлекли

онѣ на себя подозрѣніе въ преступныхъ дѣйствіяхъ? Чѣмъ заслужили онѣ наказаніе, прекратившее ихъ существованіе? Я уже сказалъ, что нѣкоторые изъ основателей школъ были мнѣ извѣстны эксцентричностью; я объяснилъ также мой взглядъ на эту эксцентричность и то, чего я отъ нея ожидалъ; послѣдствія не обманули меня: быстрые и неожиданные успѣхи я приписываю именно характеру личностей, горячо принявшихъ за дѣло образованія народа. Мнѣ остается опровергнуть еще тотъ доводъ навѣта, что будто бы главные учредители воскресныхъ школъ въ Кіевѣ были студенты, исключенные изъ харьковскаго университета за участіе въ какомъ то тайномъ политическомъ обществѣ (въ 1855 году). Между первыми учредителями было, дѣйствительно, человѣка 4 или 5 бывшихъ харьковскихъ студентовъ; насколько они участвовали прежде (за 4 года) въ тайномъ обществѣ, мнѣ, конечно, такъ же неизвѣстно, какъ и о существованіи его самого; они были приняты въ кіевскій университетъ по сношенію съ попечителемъ харьковскаго университета и съ самимъ г. министромъ народнаго просвѣщенія, которые не находили препятствія къ ихъ принятію, а безуворизненное поведеніе этихъ студентовъ, въ теченіе 4-хъ лѣтъ, устраняло отъ нихъ также всякое подозрѣніе. Главное же,—эти студенты не были вовсе вліятельными дѣятелями въ школахъ ¹⁾, и, чрезъ два съ небольшимъ мѣсяца послѣ открытія школъ, они были выребованы въ С.-Петербургъ (въ январѣ 1860 г.) на слѣдствіе; когда возвратились оттуда снова въ Кіевъ (кромѣ одного или двухъ,— не помню), то уже не участвовали ни въ обученіи, ни въ заведываніи школами. Бѣольшая же, и самая вліятельная, самая дѣятельная часть учредителей были кіевскіе студенты, и почти всѣ—истые малороссы, оказавшіе въ послѣдствіи самое энергическое противодѣйствіе безпорядкамъ польскаго элемента и письменно протестовавшіе мнѣ противъ этихъ безпорядковъ. Прокламацій, во время моего попечительства, въ воскресныхъ кіевскихъ школахъ не раздавали; запрещенныхъ книгъ не читали; бібліотеки школъ,—кромѣ „Народнаго Чтенія“, „Дѣт-

¹⁾ Изъ нихъ трое евреевъ.

скаго“ и „Божьяго Мира“ и другихъ общезвѣстныхъ книгъ,— никакихъ другихъ не содержали.

Всѣ школы, разсматриваемыя съ полицейской точки зрѣнія, представляются самымъ удобнымъ мѣстомъ для распространѣнія всевозможныхъ пропагандъ, и потому легко привлекаютъ на себя подозрѣніе. Но можетъ ли и должна ли быть эта точка зрѣнія исходною тамъ, гдѣ невѣжество массъ представляется также самымъ удобнымъ условіемъ для распространѣнія самыхъ нелѣпыхъ пропагандъ? А имѣя это въ виду, нельзя не сознаться, что воскресныя школы въ Россіи имѣютъ другое—и несравненно болѣе важное—значеніе, чѣмъ на Западѣ. На Западѣ, и именно въ Германіи, онѣ составляютъ предметъ роскоши, у насъ —необходимости. У насъ воскресныя школы важны не столько потому, что распространяютъ грамотность путемъ самымъ надежнымъ, — то-есть путемъ частной инициативы и благотворительности,—сколько тѣмъ, что заохочиваютъ къ ученію ремесленный и рабочій классы народа, отвлекая ихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ праздности и разгула. Ученики, посѣтивъ нѣсколько разъ школу въ праздничные дни, занявшись въ ней часа 2 или 3 безъ всякаго принужденія, подъ руководствомъ наставниковъ, учившихъ также по одной охотѣ,—ставились, конечно, въ такія условія, которыя могли легко возбудить въ нихъ желаніе учиться и продолжать ученіе. Это подтверждалъ не разъ опытъ. Я это наблюдалъ даже и надъ крестьянскими дѣтьми въ моемъ имѣніи (подольской губерніи). Занявшись нѣсколько по праздникамъ у меня на дому, они получали охоту къ ученію и начинали посѣщать прилежнѣе и сельскую школу, — изъ которой, правда, выносили немногое. — А въ нашихъ западныхъ провинціяхъ воскресныя школы, очевидно, могли бы служить сильною нравственною поддержкою русскаго и малороссійскаго элементовъ, противо-дѣйствуя открыто и явной, и тайной польской пропагандѣ. Въ этомъ меня также убѣдилъ опытъ, хотя и кратковременный. —Оставалось бы только найти гарантію противъ ложнаго или вреднаго направленія. Но можно ли ее было найти иначе, какъ путемъ опыта? Развѣ злоупотребленіе можно уничтожить иначе какъ употребленіемъ? И гарантія, и средства противъ злоупотребленій непременно нашлись бы при трезвомъ и без-

пристрастнымъ взглядъ на значеніе и дѣятельность воскресныхъ школъ; тогда правила контроля составились и ввелись бы не регламентаціей, а priori, — къ которой по-неволѣ прибѣгають, когда предъ глазами стоитъ *tabula rasa*, — а на самомъ дѣлѣ, которымъ все осуществляется, и доброе, и злое. Надзоръ не есть исповѣдь намѣреній, а зоркое наблюденіе проявленій. Отдѣльныя же и частныя проявленія злонамѣренія — гдѣ бы они ни встрѣчались — нельзя смѣшивать съ пропагандою. Пропаганда именно тѣмъ и сильна, что она никогда не дѣйствуетъ отдѣльно и отрывочно. Обаятельное дѣйствіе на умы и способность распространяться каждой пропаганды зависятъ отъ того, что въ основаніи ея всегда лежитъ болѣе или менѣе систематизированная доктрина, какъ бы она ни была бессмысленна и нелѣпа. Но кто же можетъ теперь утверждать, положи руку на сердце, чтобы основаніемъ воскресныхъ школъ служила какая-нибудь систематически проводимая доктрина? Или скажутъ, что она еще не успѣла выработаться, а потому не успѣла и проявиться? Но одно уже то, что за ученіе въ воскресныхъ школахъ принялось быстро и открыто столько людей, не имѣвшихъ между собою ничего общаго, и, очевидно, по разнымъ причинамъ, — кто по добротѣ сердца, кто по модѣ и минутному увлеченію, — не доказываетъ ли ясно, что тутъ ничего не было похожего на систематическую пропаганду; а если бы и было что-нибудь такое, то оно должно было разстроиться и неминуемо пасть само собою, отъ разнохарактерности и неурядицы. Пропагандисты, такъ нелѣпо дѣйствовавшіе, были бы лица, по правдѣ, самыя безопасныя для государства и общества.

Нельзя не удивляться, почему въ обществѣ такъ легко принимается ложный взглядъ, съ которымъ смотрять на учебныя заведенія, какъ на источники всѣхъ вредныхъ и опасныхъ доктринъ, тогда какъ всѣ такія доктрины всегда берутъ свое начало внѣ школъ и вырабатываются въ самомъ же обществѣ. Подозрѣвая и преслѣдуя изъ-за нихъ школы, постоянно забываютъ, что образовательныя учрежденія нигдѣ еще не получили гегемоніи надъ жизнью. Видя, что идеи распространяются въ обществѣ преимущественно школьнымъ образованіемъ и литературою, дѣлаютъ ложное заключеніе: проводные каналы при-

нимають за родники. Ни одна доктрина и никогда не образовалась въ самой школѣ, а входила всегда готовая и выработанная за стѣнами. Это свидѣтельствуєтъ исторія. А препятствовать распространенію ложныхъ доктринъ можно только распространеніемъ другихъ, имъ противодѣйствующихъ. Если закроютъ каналы, проводящіе грязную воду, то отъ этого еще не изсякнетъ мутный источникъ; не лучше ли же провести отъ нихъ новые—къ родникамъ съ чистою струею?

Удастся ли теперь возстановить довѣріе къ воскреснымъ школамъ, когда онѣ сдѣлались такъ заподозрѣнными въ глазахъ учащихся, общества и правительства,—это вопросъ. Тѣмъ не менѣе попытка къ ихъ возстановленію есть дѣло первой необходимости для распространенія просвѣщенія въ народѣ. Можно смѣло утверждать, что если удастся ихъ возстановить и упрочить, то ихъ благотворная дѣятельность не замедлитъ отразиться и на учрежденіи первоначальныхъ училищъ. Но другого пути къ ихъ открытію, кромѣ того, которымъ онѣ прежде отрывались, я и теперь не вижу. Правительственными учрежденіями онѣ, безъ сомнѣнія, никогда не будутъ. О жалованьѣ и вознагражденіяхъ учителей и учредителей, тѣмъ или другимъ способомъ, покуда не можетъ быть также никакой рѣчи. Программою ихъ должны служить: осмысленная грамота, письменность, счетность и нѣкоторые техническіе предметы. Законъ Божій долженъ входить въ программу тамъ, гдѣ нѣтъ раскольниковъ; тамъ же, гдѣ ихъ много, нужно ограничиться изложеніемъ одной священной исторіи и для этого пригласить, вмѣсто священниковъ, семинаристовъ и учениковъ духовныхъ академій. Другой программы для простыхъ, народныхъ воскресныхъ школъ не можетъ и не должно быть. Преподаваніе другихъ наукъ, которымъ занимались въ столичныхъ воскресныхъ школахъ, было, очевидно, увлеченіемъ ложнаго самолюбія наставниковъ, которые брали на себя слишкомъ многое, не зная всей трудности дѣла. Чѣмъ ограниченнѣе и опредѣленнѣе будетъ цѣль, тѣмъ вѣрнѣе результаты. А цѣль народныхъ воскресныхъ школъ и должна состоять въ распространеніи осмысленной грамотности. Научныя и техническія воскресныя школы должны быть учреждаемы только для грамотныхъ и подъ условіемъ, чтобы сами учителя были сколько-нибудь

уже извѣстны ихъ спеціальными свѣдѣніями. Иначе нужно будетъ ожидать только нелѣпостей, а не науки, и ученикамъ придется послѣ разучиваться, чтобы чему-нибудь дѣльному научиться. Учителями и учредителями народныхъ воскресныхъ школъ, конечно, должны быть по прежнему всѣ желающіе. Но правительство, по контролю за школами, должно имѣть дѣло не съ учителями, а съ учредителями, которые и будутъ отвѣтственными лицами предъ закономъ. Таковую отвѣтственность могутъ принять на себя, безъ сомнѣнія, только одни полноправные граждане, неукоризненной нравственности, по одному или по нѣскольку для каждой школы. На ихъ обязанности будетъ лежать: выборъ учителей съ ручательствомъ за ихъ нравственные качества, распоряженіе учебными средствами, пожертвованными суммами и надзоръ за порядкомъ. Всѣ школы должны быть непремѣнно открыты для всѣхъ посѣтителей, которые въ свою очередь обязываются не нарушать порядка и хода ученія. Кромѣ ручательства учредителей за направленіе школы, открытіе школъ не должно быть стѣсняемо никакою другою формальностью. Для контроля со стороны правительства оно назначаетъ особыхъ попечителей, если школы возникаютъ внѣ существующихъ учебныхъ заведеній; а надъ тѣми, которыя учреждаются при учебныхъ заведеніяхъ, контроль поручается попечителямъ учебныхъ округовъ, директорамъ и инспекторамъ учебнаго вѣдомства. Вообще, регламентація контроля а priori невозможна. Правительству нѣтъ надобности стѣснять себя, въ этомъ отношеніи, излишними формами. Оно имѣетъ неоспоримое право учреждать, измѣнять и приспособлять контроль, сообразуясь съ обстоятельствами и по указаніямъ опыта. Проводить контроль предупредительный нельзя послѣдовательно. Онъ непремѣнно перейдетъ въ мелочную подозрительность и причинить раздраженіе ко вреду, а не къ пользѣ. Смотри на школы съ той точки зрѣнія, что онѣ никогда не бываютъ мѣстомъ происхожденія политическихъ пропагандъ, а употребляются пропагандистами только какъ средства въ распространенію различныхъ доктринъ, нужно обратить вниманіе на способы, которыми они пользуются для своихъ цѣлей. Эти способы различны, смотря по свойству почвы, съ которою они имѣютъ дѣло. Въ народныхъ школахъ, и именно нашихъ, не-

чего бояться искусной замаскировки мысли, тонких намековъ, софистической діалектики, увлекательнаго краснорѣчія, мистипизма и т. п. Для этого здѣсь почва еще слишкомъ груба и слишкомъ мало подготовлена для воспринятія доктрины. Здѣсь излагается то, что хотять довести до пониманія прямо и наглядно или же въ видѣ самаго простаго и осязательнаго иносказанія. Извѣстно, что этотъ способъ есть искони единственное прибѣжище всѣхъ пропагандистовъ, имѣющихъ дѣло съ простымъ народомъ. Поэтому онъ и обнаруживается обыкновенно скоро и легко; поэтому и надзоръ не соединенъ съ большими трудностями, — лишь бы ученіе было открыто, а не замкнуто. Если въ нашихъ столичныхъ воскресныхъ школахъ и подмѣнены были иногда нелѣпыя выходы со стороны учителей, если учителя и позволяли себѣ иногда толковать ученикамъ о такихъ предметахъ, которыхъ, можетъ быть, и сами хорошо не понимали, если, наконецъ, и случилось разъ или два, что неблагонамѣренные и увлеченные люди рѣшались внушать ученикамъ возмутительныя мысли, то все это легко объяснится не тѣмъ, что, будто-бы, контроль былъ очень труденъ или невозможенъ, а тѣмъ, что его не было. Дѣло, дѣйствительно, объясняется тѣмъ, что у насъ, съ непривычки, закрылись глаза отъ блеска первыхъ лучей общественнаго мнѣнія. Первымъ весьма естественнымъ слѣдствіемъ гласности и болѣшей свободы мысли былъ страхъ и стыдъ. Этимъ чувствамъ поддались, безъ сомнѣнія, всего скорѣе тѣ официальные контролеры, которыхъ положеніе въ обществѣ было хотя нѣсколько патко. Что же мудренаго, если они, боясь и стыдясь гласности, не имѣя никакой нравственной опоры въ своей жизни и въ своемъ характерѣ, вздумали, во что бы то ни стало, играть поддѣльную роль прогрессистовъ и смотрѣли сквозь пальцы или и вовсе не смотрѣли на то, за чѣмъ они должны бы были пристально наблюдать, еслибы были дѣйствительными прогрессистами и желали бы благому общему дѣлу успѣха отъ души. Были между ними, конечно, и пессимисты; они вовсе не смотрѣли, прикидываясь либералами, съ заднею мыслью уронить все дѣло, обѣщавшее столько благихъ результатовъ. Все это — въ натурѣ вещей. Общественное мнѣніе, гласность, свобода научнаго разслѣдованія, — какъ и все хорошее въ мірѣ,

— требуют привычки и понимаются не всеми и не вдруг; их первое появленіе на свѣтъ никогда не проходитъ безъ грубыхъ промаховъ, нелѣпостей и катастрофъ. Но мыслящимъ не трудно помириться съ неизбежнымъ и вытерпѣть первый напоръ увлеченій и недоразумѣній. Если кого нужно обвинять въ неудавшемся и такъ печально прекратившемся дѣлѣ воскресныхъ школъ, то это именно нашихъ официальныхъ контролеровъ, за то, что у нихъ не достало ни мысли, ни духа, выдержать этотъ напоръ. Сдѣлай они это, то невѣрный взглядъ на школы, какъ на источникъ пропагандъ, не обнаружился бы въ такихъ огромныхъ размѣрахъ и все кончилось бы, вѣроятно, закрытіемъ одной или нѣсколькихъ школъ, удаленіемъ нѣсколькихъ учителей или учредителей.

Итакъ, если бы теперь удалось возобновить воскресныя школы вновь, — на что я, признаюсь, не совсемъ надѣюсь, — то весь успѣхъ и вся ихъ будущность будутъ зависѣть отъ трехъ обстоятельствъ. Во-первыхъ, оттого, найдутся ли учредители, которые захотѣли бы взять на себя отвѣтственность за направленіе школы; во-вторыхъ, найдется ли довольно благоразумныхъ контролеровъ, какіе бы они ни были: духовные, гражданскіе, общественные или правительственные; и, въ-третьихъ, наконецъ, уступить ли невѣрный взглядъ о происхожденіи пропаганды другому, менѣе опасному для существованія школъ. А если не представятся личности надежныя и умѣющія, въ случаѣ нужды, жертвовать собою, — если не перемѣнятся убѣжденія о значеніи школъ, то лучше и не начинать. Иначе можно навѣрное предсказать, что случится. Обманчивый взглядъ поведетъ опять къ ложнымъ заключеніямъ. Недосмотръ и излишняя подозрительность контролеровъ, точно также какъ и нерадѣніе или недобросовѣстность учредителей, при господствующемъ убѣжденіи о происхожденіи пропагандъ, поведутъ неминуемо къ заключенію о необходимости уничтожить корень зла закрытіемъ всѣхъ воскресныхъ школъ безъ исключенія. А этимъ вѣроятность ихъ будущаго существованія еще болѣе уменьшится или исчезнетъ надолго.

Гейдельбергъ, 1863, апрѣля 20-го.



ПО ПОВОДУ ЗАНЯТІЙ РУССКИХЪ УЧЕНЫХЪ ЗА ГРАНИЦЕЮ.

I.

Гейдельбергъ, 3-го (15-го) октября 1863 г.

Описывать въ подробности каждый изъ двадцати-пяти университетовъ (въ томъ числѣ и шейцарскіе), съ которыми я возобновляю старое мое знакомство,—дѣло интересное и полезное, но не мое. Моя задача гораздо ограниченнѣе. Я стараюсь извлечь все, что найдется въ нихъ прикладного къ нашему научному и учебному быту. Сначала—я судилъ по памяти—мнѣ казалось, что я много найду такого. Но память, какъ это случается, обманула. Послѣ перваго осмотра нѣсколькихъ университетовъ, я уже думалъ, что мнѣ придется только завидовать. Къ счастью, первое впечатлѣніе не обезкуражило меня до отчаянія. Я продолжаю искать, и надѣюсь еще отыскать примѣнимое, какъ бы оно глубоко ни скрывалось. Но я надѣюсь также, что меня извинять читатели, если найдутъ въ моихъ письмахъ не то, чего они ожидаютъ, и не то, можетъ быть, что ихъ, а то только, что меня занимаетъ,—не столько то, что въ Германіи уже есть, сколько то, что могло бы и должно бы быть (по моему) въ Россіи. И вотъ, знакомясь съ германскими университетами, я прежде всего знакомился съ нашими посланными. Чтобы извлечь полезный результатъ изъ знакомства съ ними, я долженъ постоянно помнить, во-первыхъ, что они принадлежатъ къ одному, а я—къ другому поколѣнію. У нихъ есть преимущество. Духъ совре-

менной науки может проникать въ нихъ чрезъ всѣ поры, изъ которыхъ многія у меня уже закрылись. Зато на моей сторонѣ есть другое. На моихъ глазахъ исчезло уже много въ Лѣтъ, чтò нѣкогда мнѣ казалось прочнымъ на-вѣки; выплыло наверхъ не то, что когда-то было, а только то, чтò теперь стало современнымъ. Я видѣлъ это—они только слышали; имъ предстоитъ еще увидѣть то же самое. Знакомясь съ ними, я радуюсь, когда узнаю, что мои взгляды и убѣжденія согласны съ ихъ убѣжденіями: это значить, что я еще живу. Я радуюсь, когда и несогласны: это значить, что они—именно то, чѣмъ должны быть—дѣти своего времени. Итакъ, надѣюсь, ни они, ни кто другой, не поставятъ мнѣ въ упрекъ, если я буду говорить объ ихъ настоящемъ и будущемъ такъ, какъ это понимаю и какъ понять могу.

Предпріятіе, показавшееся бы вездѣ громаднымъ, у насъ же интересующее вообще немногихъ, начато и продолжается болѣе года. Успѣхъ его, какъ и всѣхъ предпріятій, основанныхъ на личныхъ свойствахъ агентовъ, нельзя опредѣлить даже и приблизительно. Человѣческія достоинства измѣряются только по совершившимся уже дѣйствіямъ, и то не всегда вѣрно. А тѣхъ, которые приготавливаются только къ дѣйствию, какъ судить? Сколько людей, подававшихъ блестящія надежды—обманули эти надежды! сколько другихъ, считавшихся посредственными, какъ будто переродились, начавъ заниматься и дѣйствовать самостоятельно! Сколько разъ ошибались въ выборахъ ученія общества, корифеи науки и опытные наставники! Гдѣ вѣсы, гдѣ мѣра? Для руководства существуютъ только общіе признаки да личный взглядъ людей, имѣющихъ вѣсъ и довѣріе. Но и на это можно положиться только тамъ, гдѣ просвѣщеніе пустило глубокіе корни, гдѣ жизнь идетъ впередъ, какъ заведенные часы. А тамъ, гдѣ и приливъ, и отливъ приходятъ неопредѣленно, не въ пору и въ-время,—и эти признаки также ненадежны.

Было время, когда наши университеты приготавливали сами своихъ будущихъ дѣятелей, каждый для себя. Дѣло шло постепенно, восходя по іерархической лѣстницѣ вверхъ. Отправленіе за границу было рѣдкостью. Я помню еще, какъ одинъ почтенный профессоръ жаловался мнѣ на безпутство учившихся

за границею и довѣрялъ только однимъ доморощеннымъ. Такъ дошло дѣло, наконецъ, до того, что вездѣ оказался дефицитъ. Вступилось правительство. Открылось вербованіе въ университетахъ; выборъ былъ, однакожъ, предоставленъ совѣтамъ; выбранные должны были, для вѣрности, выдержать сначала одно испытаніе, каждый въ своемъ университетѣ;—испытывали же не одни только знанія, но и здоровье, и голосъ; потомъ второе—въ академіи наукъ, наконецъ, еще третье—въ дерптскомъ университетѣ. Такъ образовался профессорскій институтъ. Кажется, соблюдены были всѣ предосторожности, и что же? Развѣ результатъ удовлетворилъ всѣхъ? Послушайте, какъ судятъ о немъ многіе изъ современныхъ. Еще недавно одинъ ученый намекнулъ (въ газетѣ), что кандидаты профессорскаго института разстроили прежній университетскій бытъ, а не настроили. Послѣ того университеты опять сами принялись за дѣло, при другихъ, правда, условіяхъ,—и опять дефицитъ. Наконецъ, снова правительство вступилось, и уже по другому способу. Лучше ли онъ окажется прежняго, такимъ ли же, нѣтъ ли—неизвѣстно; но то уже извѣстно, что наши университеты куда еще не выработали никакого лучшаго способа; самый нормальный, при ненормальныхъ условіяхъ всего университетскаго быта, оказался также ненадежнымъ. Формулы болѣе вѣрной для образованія профессоровъ еще не найдено. Эта работа предоставляется будущему.

Не мнѣ поднимать его завѣсу. Я буду продолжать только начатое въ первомъ моемъ письмѣ ¹⁾, гдѣ я остановился на томъ, что молодые доценты въ Германіи начинаютъ свою учебную дѣятельность не такъ, какъ у насъ. Они начинаютъ почти всегда преподаваніемъ не цѣлой науки, а одного какого-нибудь ея отдѣла. Этотъ фактъ стоитъ того, чтобы на немъ остановиться. Кто же—мы или нѣмцы поступаемъ нормальнѣе? Есть ли физическая возможность молодому человѣку, только что окончившему курсъ въ университетѣ, учившемуся еще, положить, года два за границею, исполнить такую необъятную обязанность, какъ систематическое преподаваніе цѣлой науки? Если мы видимъ теперь, и въ Германіи, и даже во Франціи,

¹⁾ См. № 77-й „Голоса“: „Изъ Гейдельберга“.

у самых опытных профессоров, склонность замѣнять систематическіе курсы специальными, если, въ наше время, эта обязанность дѣлается почти неисполнимою и для корифеевъ науки, для дѣятелей, посвящавшихъ цѣлую жизнь на разработку различныхъ отдѣловъ предмета, то что сказать о новичкахъ? Что должно быть неминуемымъ слѣдствіемъ принятой у насъ системы преподаванія? Очевидно, одно изъ двухъ: или самое поверхностное, школьное изложеніе цѣлой науки, или преждевременная усталость и апатія. Будущій нашъ доцентъ, отправляясь за границу, съ цѣлью занять, по возвращеніи, катедру обширнаго предмета, нравственно обязывается въ какіе-нибудь два года пополнить пробѣлы, оставшіеся у него послѣ университетскаго образованія, прислушаться къ различнымъ способамъ изложенія, сравнить, оцѣнить ихъ, составить планъ своихъ будущихъ официальныхъ занятій, и проч., и проч. По окончаніи срока, каждый увидитъ, что въ громадномъ трудѣ ему не удалось пополнить и сотой части всѣхъ пробѣловъ, а что и удалось, то все еще отрывочно и неровно. Вступивъ съ этимъ на катедру, каждый начнетъ дѣйствовать по характеру, по взгляду на жизнь и по силѣ воли. Одинъ, смотря на жизнь серьезно, будетъ продолжать свой трудъ, который уже увеличится для него, по малой мѣрѣ, вдвое противъ прежняго: прежде онъ работалъ только для себя, теперь, черезъ себя, и для другихъ,—а вмѣстѣ съ этимъ и пробѣлы въ знаніи покажутся ему еще яснѣе и объемистѣе. Чѣмъ онъ совѣстливѣе, тѣмъ труднѣе будетъ выполнять ихъ равномерно. На каждомъ шагѣ онъ увидитъ, что онъ то переложилъ, то не доложилъ. Цѣль сдѣлается мечтою. А тутъ еще проявятся домашнія, семейныя заботы. И вотъ за напряженнымъ трудомъ, не ведущимъ къ цѣли, настанетъ усталость и разочарованіе, если молодой доцентъ былъ хоть сколько-нибудь способенъ къ увлеченію. Другой случай. Доцентъ—личность, смотрящая на жизнь и обязанность слегка, нисколько не увлекаясь, и не рѣзко отличающая „быть“ отъ „казаться“. Такой, конечно, недолго задумается, видя предъ собою необъятный горизонтъ науки. Тутъ научная отчетливость легко замѣнится смазливимъ изложеніемъ. Аудиторія на первый разъ будетъ удовлетворена, а наука съ перваго же раза скажетъ: прости! Конечный ре-

зультатъ въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же: отсталость и апатія.

Что это такъ, въ томъ я убѣждаюсь, вспоминая мое прошлое, прошлое моихъ товарищей и цѣлыхъ десятковъ другихъ лицъ, за дѣятельностью которыхъ я слѣдилъ въ теченіе многихъ лѣтъ. Есть, конечно, науки менѣе разработанныя, не устрашающія безпредѣльнымъ горизонтомъ, съ пробѣлами, которые для казеннаго преподавателя могутъ оставаться нетронутыми. Есть счастливыя личности, на долю которыхъ выпало занятіе этими науками. Есть еще счастливыѣ, которые, по врожденному такту, скоро разгадываютъ искусство заниматься, и для себя, и для другихъ, соблюдая во всемъ мѣру, не вредя ни цѣлости, ни частямъ знанія. Но это—исключенія. Въ наше время, кто хочетъ сдѣлать что-нибудь путное и для науки, и для аудиторіи, тотъ непремѣнно долженъ избрать заранее одинъ отдѣлъ—сосредоточиться, не расплываться, а главное—выбирать по силамъ. Чѣмъ ограниченнѣе кругъ дѣйствія на первый разъ, тѣмъ болѣе надежды на результатъ, тѣмъ одушевленнѣе работа; а намъ нужно одушевленіе, чтобы не попасть въ руки нашихъ непримиримыхъ враговъ—апатіи и отсталости въ наукѣ. Нечего бояться ни односторонности, ни узкости взгляда, ни мелочности. Это все обвиненія а priori. Односторонность опасна въ училищѣ—отсюда она переходитъ въ науку. Не давайте односторонняго направленія школьному образованію, а кто получилъ хотя мало-мальски общечеловѣческое, тотъ смѣло можетъ, послѣ университета и даже въ университетѣ, приступить къ специализированію. Пора убѣдиться, что въ ограниченной области нагляднѣе выкажутся разныя стороны. Никакая философія не докажетъ такъ хорошо необходимой для всѣхъ наукъ связи, какъ специальная разработка одной части какой ни-есть науки. Тутъ на каждомъ шагу прикоснешься къ чему-нибудь такому, чего не поймешь, не зная еще одного или другого; а за справкою иногда приходится идти далеко. Тутъ-то всего яснѣе и окажется, что науки не просто граничатъ одна съ другою, а вѣдряются и проникаютъ другъ въ друга. Но при специальныхъ занятіяхъ методъ и направленіе—вотъ главное. А этому изъ однѣхъ лекцій не научишься, изъ книгъ—также. Не отыскавъ вѣрной методы, не найдя направ-

ленія, растеряешь множество времени и самъ растеряешься. Найти то и другое безъ руководителя можетъ только талантъ; воображаетъ найти — самообольщеніе. Но мы привыкли видѣть въ университетскихъ наставникахъ не этихъ руководителей, а какихъ-то схолиантовъ или парламентскихъ ораторовъ. Только въ реальныхъ наукахъ они, въ наше время, уже то, чѣмъ должны быть. Будь профессоръ хотя бы нѣмой, да научи примѣромъ, на дѣлѣ, настоящей методѣ занятія предметомъ—онъ для науки и для того, кто хочетъ заниматься наукою, дороже самаго краснорѣчиваго оратора. Этотъ хорошо выставить науку на сцену; а тотъ покажетъ закулисный механизмъ, безъ котораго не узнаешь науки. Покажите образованному въ самомъ ограниченномъ масштабѣ, на какой-нибудь частичкѣ науки, только на самомъ дѣлѣ, методъ и механизмъ, которыми современная наука доходитъ до ея результатовъ—и остальное онъ добудетъ все самъ, если онъ дѣйствительно ищетъ знанія. Широкому любознанію покажется трудно ужиться съ этимъ узкимъ взглядомъ. Но пусть эта система занятій распространится, и, вѣрно, мелкіе научные собственники, чрезъ ассоціацію, составятъ огромный умственный капиталъ; пущенный въ оборотъ, онъ удовлетворитъ самому затѣливому любознанію. Какъ бы то ни было, другого выхода—если не хотимъ отстать—теперь нѣтъ. Теперь, не занимавшись спеціально хотя бы однимъ отдѣломъ науки, принять на себя имя представителя и наставника—уже почти самозванство и анахронизмъ.

У насъ не хотятъ ничего этого понять. Въ Германіи доценты по нуждѣ уже идутъ,—наши, также по нуждѣ, еще нейдутъ этою дорогою. Германская система, не дающая большого простора доцентской дѣятельности, введена въ предположеніи, что университетъ уже довольно имѣетъ опытныхъ представителей цѣлой науки. У насъ затрудненіе встрѣтится именно съ этой стороны. Гдѣ намъ будетъ взять преподавателей цѣлой науки, если всѣ наши доценты начнутъ заниматься отдѣльными ея частями? Можно ли намъ останавливаться на спеціалистахъ, когда у насъ десятки кафедръ по основнымъ факультетскимъ наукамъ остаются цѣлые годы вакантными? Взглянувъ на дѣло вольно и смѣло, мы увидимъ, что эти возраженія не такъ страшны, какъ кажутся. Не забудемъ одного: намъ

труднѣе, можетъ быть, бороться съ народными предрасудками, чѣмъ на Западѣ; но зато гораздо легче съ научными. Тамъ, въ дѣлѣ науки, въ дѣлѣ университетскаго образованія, выработался уже извѣстный взглядъ, который переимѣнить трудно, хотя и много еще найдется такого, что требовало бы переимѣнъ.

Кѣмъ и какъ въ германскихъ университетахъ преподаются основныя факультетскія науки? Почти въ каждомъ университетѣ средней руки дѣлается это такъ: или систематическое изложеніе одной науки раздѣляется между нѣсколькими профессорами (отъ 2-хъ до 5-ти); или одинъ профессоръ излагаетъ цѣлую науку совершенно элементарно, въ главныхъ чертахъ; или, наконецъ, наука вовсе не излагается въ цѣлости и систематически. Первому и послѣднему способу слѣдуютъ профессора наукъ отвлеченныхъ, словесныхъ и историческихъ; второй—почти во всеобщемъ употребленіи у профессоровъ наукъ практическихъ и естественныхъ. Вообще, можно сказать, что систематически излагаются только науки, входящія въ программу штатныхъ экзаменовъ. Въ Германіи едва-ли, напри-мѣръ, найдется университетъ, въ теченіе двухъ и болѣе лѣтъ, посѣщая лекціи трехъ или четырехъ профессоровъ исторіи, можно было бы выслушать курсъ всей древней, средней и новой исторіи. А многія изъ наукъ, излагаемыхъ систематически и вполнѣ, преподаются такъ элементарно, даже профессорами, пріобрѣтшими громкую извѣстность, что съ перваго раза скандализируютъ нашихъ кандидатовъ, окончившихъ курсы въ русскихъ университетахъ. Пріѣхавъ съ надеждою услышать на всякой лекціи германскихъ знаменитостей высшіе взгляды, они часто находятъ одинъ сжатый и трезвый обзоръ фактической стороны современной науки. Это не можетъ не поразить тѣхъ, которые привыкли у себя дома къ растянутымъ на два года или нескончаемымъ систематическимъ курсамъ, исполненнымъ всевозможныхъ взглядовъ, созерцаній и т. п. Есть, впрочемъ, и въ Германіи еще довольно длинныя систематическіе курсы нѣкоторыхъ юридическихъ и философскихъ наукъ, по тетрадамъ и подъ диктантъ, посѣщаемые многочисленною аудиторіей, и по охотѣ, и по привычкѣ. Но все это относится собственно только до профессоровъ; изъ доцентовъ же, какъ я уже сказалъ, никто почти не преподаетъ система-

тически цѣлую науку. Уже изъ однихъ матеріальныхъ расчетовъ, едва-ли бы какой факультетъ въ Германіи допустилъ доцента сдѣлать это.

Итакъ, мы видимъ: въ Германіи, при обиліи умственнаго капитала, многія науки вовсе не излагаются въ цѣлости или систематически; въ Россіи, при скудости этого капитала, науки во всѣхъ университетахъ излагаются не иначе, какъ систематически и въ полномъ объемѣ. Въ Германіи систематическіе курсы наукъ практическихъ, опытныхъ, естественныхъ сжаты, коротки, элементарны, но зато соединены всегда съ множествомъ опытовъ, демонстрацій, и излагаются какъ можно нагляднѣе. Въ Россіи эти же самые курсы, при пространномъ изустномъ изложеніи, растянуты иногда на цѣлые годы и часто въ ущербъ наглядности. Въ Германіи, при самыхъ скудныхъ доходахъ многихъ мѣстностей и правительствъ, профессора опытныхъ наукъ располагаютъ всѣми современными средствами для нагляднаго преподаванія. Въ богатой Россіи почти отъ каждаго преподавателя реальныхъ наукъ услышишь жалобу на недостатокъ и скудость средствъ въ лабораторіяхъ, музеяхъ, и т. п. Въ Германіи систематическое изложеніе наукъ на лекціяхъ по руководствамъ, запискамъ, тетрадамъ встрѣчается какъ одинъ изъ средневѣковыхъ обычаевъ, съ которыми нелегко разстается западное общество. У насъ, въ университетахъ, это почти общепринятый способъ, хотя мы не имѣемъ ни средневѣковыхъ обычаевъ, ни преданій. Въ Германіи профессора начинаютъ свое учебное поприще преподаваніемъ частныхъ и спеціальностей науки, потомъ, постепенно расширяя кругъ своей дѣятельности, нерѣдко послѣ многихъ лѣтъ, переходятъ къ полному, систематическому преподаванію, — да и то не всегда. Въ Россіи профессоръ, излагающій науку въ полномъ ея объемѣ, является какъ Минерва изъ головы Юпитера. Почему? Отвѣтъ, безъ сомнѣнія, у всѣхъ готовъ. Именно потому, что нашъ умственный капиталъ еще слишкомъ ограниченъ.

У насъ нѣтъ охотниковъ къ спеціальностямъ изъ слушателей, и очень мало — изъ преподавателей. Да намъ еще и не надо. Съ насъ довольно, если найдутся люди, способные передать нашей мало подготовленной аудиторіи науку въ цѣлости, не входя вовсѣ ея подробности и частности. Намъ нужнѣе,

для возбужденія нашихъ аудиторій къ дѣятельности, взгляды, воззрѣнія, системы, и проч., и проч. Вотъ въ этихъ-то отвѣтахъ, которые я не разъ слыхалъ, и кроется громадное заблужденіе, громадно ложный взглядъ на нашу науку и на способъ ея распространенія въ учащейся молодежи. Вотъ въ этомъ-то и лежитъ причина, почему мы все еще остаемся дилеттантами въ наукѣ, искателями общихъ мѣстъ, или дѣлаемся слишкомъ скоро разочарованными, усталыми и, потому, отста-
лыми.

Начнемъ съ того, дѣйствительно ли наши студенты не могутъ иначе научиться, какъ изъ систематическихъ, университетскихъ курсовъ? Это было необходимо до введенія книгопечатанія; это было еще нужно въ прошломъ и даже еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія; это, наконецъ, еще и теперь необходимо для тѣхъ наукъ, съ которыми нельзя познакомиться изъ однихъ книгъ и руководствъ. Понятно, что въ такихъ наукахъ цѣлая библіотека всевозможныхъ руководствъ и учебниковъ не замѣнитъ одной наглядной лекціи. Я понимаю также необходимость систематическаго изложенія цѣлой науки и тогда, если она еще нова и только-что начинаетъ заявлять свои права, не входя въ общую систему наукъ. Но скажите, для чего излагать съ кафедръ цѣлые годы такіе предметы, которые не требуютъ ни опытовъ, ни демонстрацій, и которыми можетъ научиться изъ книгъ всякій получившій хорошее гимназическое образованіе? Почему лекція должна быть такимъ специфическимъ средствомъ? Неужели изъ хорошихъ книгъ образованный человѣкъ не можетъ получить яснаго понятія о началахъ науки, основныхъ ея фактахъ, взглядахъ и т. п.? Для чего же эти сотни современныхъ руководствъ? Для чего многія изъ знаменитостей (и нерѣдко тѣ же самыя, которыя читаютъ и систематическіе курсы) занимаются составленіемъ руководствъ? Для чего гимназическое образованіе, если ученики, окончившіе курсъ въ гимназіи, не въ состояніи сами научиться какому-нибудь предмету изъ книгъ? Къ чему же служить эти руководства, если по нимъ иначе нельзя научиться, какъ слушая еще то же самое у профессора? Или читается на лекціи что-то другое? Для чего не печатается? Или руководство — это только компендій, рамка безъ содержанія? Но

вѣдь есть всевозможныхъ объемовъ и видовъ оригинальныя компиляціи, въ систематическомъ и алфавитномъ порядкѣ.

Признаюсь, эти вопросы часто занимають меня, и я до сихъ поръ не нахожу на нихъ удовлетворительнаго отвѣта ни у насъ, ни въ Германіи. Въ Россіи, пожалуй, еще можно сослаться именно на недостатокъ хорошихъ руководствъ; но почему же оставлять такъ долго этотъ пробѣлъ безъ вниманія? Развѣ это менѣе необходимо, чѣмъ образованіе профессоровъ? Можно ли достигнуть одного безъ другого? Почему не сосредоточить умственные силы на переводы и изданія? Средства понадобятся не чрезмѣрныя. Издають же студенты плохіе переводы руководствъ, изъ спекуляціи, и рѣдко остаются въ накладѣ. Стоило бы учредить комитетъ изъ переводчиковъ, какъ это было нѣкогда въ Веймарѣ, и всѣми средствами поддерживать конкурренцію. Съ лекціями ли, безъ лекцій ли, руководства необходимы; безъ нихъ и думать нельзя о распространеніи науки. А чтобы были читатели, объ этомъ именно и должны заботиться и гимназій, и университеты—вотъ это дѣло; но вкуса къ чтенію еще никто не получить отъ одного посѣщенія систематическихъ курсовъ.

Обиліе учебниковъ въ современной Германіи, сочиненіемъ которыхъ не брезгаютъ и знаменитости въ наукѣ, есть, въ моихъ глазахъ, фактъ, ясно отрицающій необходимость систематическаго преподаванія наукъ съ каѳедры. Оно и дѣйствительно уменьшилось въ Германіи почти наполовину противъ прежняго. Возьмемъ любой каталогъ лекцій, и намъ нетрудно будетъ убѣдиться, напримѣръ, что ни въ одномъ почти университетѣ не читается теперь, ни профессорами, ни доцентами, полнаго курса всеобщей исторіи. Можно найти лекціи о временахъ римской республики и императоровъ, о германской исторіи отъ вестфальскаго мира, о французской революціи отъ 1789 года до консульства, и проч. По филологіи также не найдете курсовъ греческой или римской словесности, а только сравнительныя чтенія нѣкоторыхъ твореній или нѣкоторыхъ частей твореній Софокла, Эсхила, Ювенала, объясненія (Ergklärungen) анналовъ Тацита, рѣчей Демосоена и т. п. Что же собственно отстаивають въ систематическихъ курсахъ старинныя ихъ приверженцы? Почему считаютъ эти лекціи все-таки не-

обходимыми для образованія, хотя бы на нихъ то же читалось, чтò стоитъ и въ книгахъ? *Vox viva*,—говорятъ,—лучше книги. Но, на практикѣ, изъ трехъ голосовъ, вѣрно, найдутся два такіе, которые скорѣе усыпятъ, чѣмъ оживятъ слушателя. Да и тѣ изъ лучшихъ преподавателей, которые одарены отличнымъ органомъ, вѣрно, не рассчитываютъ въ своихъ аудиторіяхъ болѣе какъ на половину дѣйствительно слушающихъ; остальные—только присутствующіе. Дѣйствіе голоса, то-есть живой рѣчи, на аудиторію, правда, очень замѣтно, когда преподаватель имѣетъ даръ слова и когда онъ хочетъ не только убѣждать, но еще волновать и потрясать своихъ слушателей. Но если иногда это и бываетъ нужно, то уже, вѣрно, никакъ не для самой науки. Да и кто, гдѣ и когда полагалъ непремѣннымъ условіемъ при выборѣ профессора, чтобы онъ обладалъ особеннымъ органомъ или даромъ слова? Должно ли требовать отъ университетскаго преподавателя, чтобы онъ дѣйствовалъ не только на умъ, но еще волновалъ бы и потрясалъ аудиторію? Хорошо ли, вообще, что до сихъ поръ, и у насъ, и на Западѣ, аудиторіи состоятъ изъ пассивныхъ слушателей? Это не значитъ, что я спрашиваю, хорошо ли, что лекціи необязательны. Только огромная масса слушателей оправдываетъ беззаботность, съ которою мы относимся къ вниманію нашихъ аудиторій. „Пусть учится только тотъ, кто хочетъ учиться—это его дѣло. Но кто хочетъ у меня учиться, тотъ долженъ чему-нибудь научиться—это мое дѣло“, такъ долженъ думать каждый совѣстливый преподаватель. Въ Германіи достигается это, въ извѣстной степени, посредствомъ различныхъ практическихъ (въ наукахъ не-опытныхъ) и семинарскихъ (въ наукахъ отвлеченныхъ) упражненій, существующихъ параллельно съ спеціальными научными курсами. Намъ стоило бы еще болѣе обратить вниманіе на эту сторону университетскаго преподаванія. То, чтò въ англійскихъ коллегіяхъ достигается въ образованіи достаточныхъ людей и богачей системою туторства, того можно было бы достигнуть особеннымъ способомъ преподаванія и для нашихъ пролетаріевъ. При множествѣ слушателей, правда, не всѣ могутъ быть активными и занятыми; но все-таки и это множество, присутствуя при занятіяхъ своихъ товарищей съ

профессорами, какъ аускультанты, сдѣлается, по крайней мѣрѣ, менѣе пассивнымъ, — и то хорошо.

Вотъ какъ бы, мнѣ казалось, можно было распорядиться съ аудиторіей. Во-первыхъ, при началѣ курса, я избралъ бы одно какое-нибудь руководство въ основаніе и вмѣнилъ бы въ нравственную обязанность, въ непремѣнное условіе, чтобы всѣ слушатели прочли его. И курсъ открылся бы въ томъ предположеніи — не иначе, — что вся аудиторія знакома, по крайней мѣрѣ въ главныххъ чертахъ, съ основнымъ руководствомъ. Во-вторыхъ, въ этомъ же предположеніи, я избралъ бы одинъ изъ самыхъ главныхъ отдѣловъ и объявилъ бы его главнымъ предметомъ занятій, въ извѣстный срокъ времени. Въ-третьихъ, я потребовалъ бы отъ моихъ слушателей, чтобы каждый изъ нихъ принесъ на лекцію, въ одинъ для всѣхъ опредѣленный часъ, свои замѣчанія и вопросы на содержаніе этого отдѣла. Замѣчанія эти, краткія и записанныя, относились бы до того только, что показалось каждому, при чтеніи, неяснымъ или сомнительнымъ. Разъясненіе этихъ-то неясностей и сомнѣній и составляло бы только предметъ лекцій. Способъ разъясненія зависѣлъ бы, конечно, отъ личности преподавателя, отъ свойствъ аудиторіи и отъ свойствъ излагаемаго предмета. Смотря по этому, и лекція принимала бы различный видъ: простой бесѣды или болѣе послѣдовательнаго изложенія. Варіацій на заданную тему можно было бы сдѣлать сколько кому угодно. Возраженій, конечно, и тутъ найдется довольно. А что, если замѣчаній и вопросовъ на каждой лекціи будетъ слишкомъ много? А что, если мало или вовсе никакихъ? Если много и разныхъ, то это лучшее средство узнать аудиторію. Ея вопросы и замѣчанія разомъ выскажутъ, чего ей недостаетъ и къ чему она не подготовлена. И, какъ бы ни были различны вопросы новичковъ, въ нихъ не трудно отыскать красную нитку; изъ нихъ много рѣшится однимъ хорошимъ отвѣтомъ. Но даже и тогда, если, за множествомъ вопросовъ и замѣчаній по одному отдѣлу, не останется времени на разрѣшеніе другихъ — все-таки не бѣда. Лучше показать аудиторіи на чемъ-нибудь одномъ хорошенъко, какъ нужно обходиться съ наукой; лучше чѣмъ-нибудь однимъ расшевелить ея умственные силы, чѣмъ проходить и цѣлую науку, да оставлять ихъ въ бездѣйствіи. Не скрою также, что

этотъ способъ иному доценту покажется гораздо труднѣе обыкновеннаго. Но зато онъ, служа переходомъ къ спеціальнымъ занятіямъ наукою, потребовалъ бы вообще менѣе времени отъ преподавателя. Съ самаго начала довольно было бы четырехъ часовъ въ недѣлю собственно на лекціи, да часовъ десять въ недѣлю на домашнія приготовленія къ нимъ; а потомъ и еще менѣе (когда пониманіе слушателей сколько-нибудь изощрится). Все остальное время (до 30 и болѣе часовъ въ недѣлю) пригодилося бы молодому доценту на спеціальную разработку одного отдѣла науки. А если ни вопросовъ, ни замѣчаній со стороны слушателей вовсе не послѣдуетъ — знакъ, что аудиторія тупа, неразвита, равнодушна къ наукѣ — то что же? По совѣсти можно рѣшить, что такой аудиторіи покуда никакія лекціи не пойдутъ въ прокъ, и доцентъ могъ бы — все-таки въ предположеніи, что опредѣленный имъ отдѣлъ уже извѣстенъ ей изъ руководства — разяснять только то, что онъ самъ считаетъ для нея неяснымъ. Какъ бы то ни было, выгоды этого способа очевидны. Во-первыхъ, не терялось бы для доцента множество времени понапрасну на изложеніе того, что можетъ каждый образованный гимназистъ усвоить собственнымъ трудомъ и безъ лекцій. Лекціи сдѣлались бы тѣмъ, чѣмъ онѣ должны быть — подмогою умственной работѣ слушателей. Слушатели сдѣлались бы нравственно обязанными не ограничиваться формально-пассивнымъ посѣщеніемъ лекцій. Если не любовь къ наукѣ, то самолюбіе заставило бы многихъ сдѣлаться дѣйствующими лицами на лекціяхъ. Руководства читались бы съ толкомъ. Спеціальныя курсы сдѣлались бы необходимѣе систематическихъ. Занятія сдѣлались бы самостоятельнѣе. Было бы менѣе словъ и болѣе дѣла. Словомъ, только этимъ способомъ можно бы сдѣлать ненормальное положеніе нашей науки болѣе споснымъ и менѣе вреднымъ. Молодымъ силамъ доцентовъ, которыя теперь тратятся на неисполнимыя для нихъ обязанности (преподаваніе цѣлой науки), давно было бы время окрѣпить надъ разработкою одного отдѣла науки и подготовиться къ обладанію цѣлымъ. Пусть они распространяютъ этотъ вкусъ къ спеціальнымъ занятіямъ какъ можно скорѣе и между слушателями. Мы теперь знаемъ достовѣрно — и это фактъ для насъ чрезвычайно утѣшительный, — что у молодыхъ людей, получившихъ обще-

человѣческое образованіе, скорый переходъ къ изученію частныхъ въ наукѣ—лишь бы оно было серьезное и обстоятельное—нисколько не вредить, а скорѣе помогаетъ цѣлости знанія. Мы знаемъ теперь достовѣрно, какъ тщетны и неестественны попытки ума узнать что-нибудь общее безъ отчетливаго знанія частныхъ. Мы смѣло можемъ утверждать, что точное изученіе частнаго несравненно вѣрнѣе ведетъ къ познанію цѣлаго, чѣмъ наоборотъ. Общее и цѣлое—не забудемъ—это отвлеченія, выведенныя изъ знанія частныхъ. Къ чему же распространяться и терять время на длинные систематическіе курсы наукъ, тогда какъ оно могло бы употребиться, и доцентами, и студентами, на серьезное изученіе отдѣловъ? Посмотрите, какъ поступаютъ въ Германіи знатоки дѣла. Бунзенъ и Кирхгофъ въ одинъ семестръ оканчиваютъ цѣлый курсъ физики и химіи. Я сказалъ уже, какъ это нашихъ удивляетъ. Правда, прочесть цѣлый курсъ въ полгода и можетъ только знатокъ дѣла. Но такимъ нельзя иначе сдѣлаться, какъ испытать сначала свои силы въ разработкѣ частныхъ. Вотъ этого-то и должны стараться достигнуть наши доценты. Дайте же имъ время и средства. Не заваливайте ихъ съ самаго начала громаднымъ трудомъ, котораго не преодолѣешь безъ отчаянной усталости!

Я знаю, что введеніе этого способа преподаванія на практикѣ встрѣтитъ не маленькія препятствія и со стороны профессоровъ, и со стороны слушателей. Можно ли предполагать столько самостоятельности и подготовки въ нашихъ студентахъ? Можно ли требовать отъ бѣдняковъ, чтобы они не только платили за лекціи, но еще и за руководства? Студенты скажутъ: мы и такъ едва находимъ время ходить на лекціи, а тутъ нужно будетъ еще читать и приготовляться къ каждой лекціи! Гдѣ взять руководства на русскомъ? и проч., и проч. Мораль всего этого будетъ та, что лучше оставаться по прежнему. Молодые доценты вступая на кафедру и, побившись года два или три, кончатъ, по прежнему, тѣмъ, что составляютъ записки, которыя налитографируются, напечатаются или останутся подъ спудомъ. Слушатели сохраняютъ прежнее убѣжденіе, что лекціи назначены замѣнять книги, и потому нужно одно изъ двухъ: или читать, или слушать. Правда, что и въ Германіи есть еще довольно почтенныхъ профессоровъ, читающихъ систематическіе

курсы, то по запискамъ, диктуя ихъ отъ слова до слова пишущей аудиторіи, то по руководствамъ, отъ доски до доски, то изустно, съ ежегодными вариантами. Но не забудемъ, что тутъ дѣлается многое изъ экономическихъ расчетовъ. Еслибы эти курсы не приносили значительнаго дохода, то, навѣрное, многіе изъ профессоровъ предпочли бы имъ чисто спеціальныя. Да и духъ реформы въ Германіи долженъ вездѣ бороться съ средневѣковымъ обычаемъ, прежде чѣмъ одержитъ побѣду, что, конечно, и не худо съ другой стороны. Старинный нѣмецкій способъ преподаванія подъ диктовку и по тетрадкамъ есть, очевидно, остатокъ временъ до книгопечатанія, когда, кромѣ манускриптовъ и записыванія со словъ, не было другихъ средствъ къ распространенію свѣдѣній. А у насъ цивилизація началась не до книгопечатанія, и наши реформы, слава Богу, не встрѣчаютъ на пути отжившихъ преданій ученой старины. У насъ печатное слово можетъ пользоваться, и пользуется, такимъ же довѣріемъ, какъ и изустное. Оставимъ же предразсудокъ, раздѣляемый и профессорами, и студентами. Перестанемъ видѣть въ систематическихъ курсахъ и въ лекціяхъ единственный путь къ наукѣ. Обратимъ вниманіе на вопіющую бѣдность нашей научной литературы. Не забудемъ, что у насъ нѣтъ еще порядочныхъ современныхъ руководствъ даже и по такимъ предметамъ, какъ анатомія и физика. Откроемъ комитеты для переводовъ и составленія учебныхъ книгъ при всѣхъ университетахъ. Распространимъ вкусъ и потребность къ чтенію научныхъ книгъ. Не будемъ терять время въ изложеніи такихъ вещей на лекціяхъ, которыя можно узнать и безъ нихъ. Потребуемъ отъ нашихъ студентовъ, чтобы они приходили на лекціи подготовленные уже чтеніемъ того, что можно узнать и безъ лекцій. Сдѣлаемъ наши лекціи незамѣнными для слушателей ни книгою, ни тетрадью. Сдѣлаемъ изъ нихъ незамѣнимое средство усвоивать знаніе, почерпаемое и изъ природы, и изъ книгъ. Укоротимъ и упростимъ систематическіе курсы, предоставивъ ихъ однимъ опытнымъ наставникамъ. А доцентовъ не будемъ отвлекать отъ спеціальныхъ занятій со студентами, налагая обязанности, вовсе для нихъ неисполнимыя. Будемъ заботиться объ общемъ и общечеловѣческомъ образованіи въ гимназіяхъ; а въ университетахъ примемъ принципъ совре-

менной науки, что чѣмъ кто скорѣе начнетъ изучать частное въ точности, тѣмъ вѣрнѣе узнаетъ и цѣлое. Не остановимся предъ трудностями въ приложеніи: онѣ не такъ велики, какъ кажутся. Смѣло введемъ способъ, отъ котораго наша аудиторія ничего не теряетъ въ настоящемъ, а въ будущемъ, вмѣстѣ съ наукою, выигрываетъ.

Изъ моихъ бесѣдъ съ нашими доцентами новаго поколѣнія я замѣтилъ, какъ многіе изъ нихъ озабочены будущею обязанностью, хотя и немногіе ясно видятъ необходимость реформы преподаванія. Духъ современной науки не могъ, однакожъ, не оказать своего дѣйствія на всѣхъ. Всѣ видятъ, что теперь не время уже играть въ системы и взгляды. Нуженъ трудъ сосредоточенный, и потому, по-неволѣ, ограниченный. А между тѣмъ, въ близкой перспективѣ являются уже общіе систематическіе курсы, къ которымъ, также по-неволѣ, нужно подготовляться. Въ этой борьбѣ между современно-научнымъ стремленіемъ и официально-учебными требованіями, конечно, нѣтъ ничего утѣшительнаго. Тѣ, которые берутъ дѣло близко къ сердцу, начинаютъ уже подумывать о подготовленіи записокъ. Могу ли я имъ это отсовѣтовать? Я живо помню, какъ я самъ, вступивъ на кафедру, терялъ и дни, и ночи на эту безжизненную работу, какъ — новичокъ въ дѣлѣ — терялся въ подробностяхъ, боялся выпустить то или другое и лишитъ моихъ слушателей того знанія, которое мнѣ такъ казалось необходимымъ — и тѣмъ болѣе необходимымъ, что я самъ еще имъ не владѣлъ хорошенько. Живю помню, какъ трудно было справляться, на первыхъ порахъ, съ громаднымъ матеріаломъ, какъ онъ росъ и безпощадно осиливалъ меня на каждомъ шагѣ. Не дай Богъ начинать учебное поприще систематическимъ преподаваніемъ цѣлой науки!

Сообщая наши свѣдѣнія другимъ, мы дѣлаемъ одно изъ трехъ: или мы, владѣя хорошо свѣдѣніемъ, извлекаемъ изъ него для другихъ только то, что принимаемъ за самое существенное; или, по пословицѣ: „что есть въ печи, все на столѣ мечи“, — спѣшимъ изложить все, что знаемъ; или, наконецъ, мы сообщаемъ не только все, что знаемъ, но и то, чего не знаемъ. Это послѣднее кажется съ перваго взгляда парадоксомъ. Но, заглянувъ немного глубже въ себя, мы невольно сознаемся, что

именно этот-то кажущійся парадоксъ всего чаще и осуществляется на дѣлѣ. Опытные наставники поступаютъ какъ дипломаты: они не высказываютъ всего, что знаютъ. Это правило имѣетъ глубокой смыслъ; но приложить его можетъ только тотъ, кто хорошо изучилъ и себя, и другихъ. Простой намѣкъ, недосказанное убѣжденіе иногда скорѣе пробудитъ любознательность въ слушатель, чѣмъ самое подробное изложеніе дѣла. Молодые доценты никогда этого не понимаютъ, да и не могутъ понять. Чѣмъ моложе, чѣмъ свѣжѣе, чѣмъ менѣе уложилось въ головѣ пріобрѣтенное свѣдѣніе, тѣмъ болѣе оно просится наружу. Безъ особаго навыка нельзя, въ одно и то же время, глотать новое и переваривать его такъ, чтобы оно сначала улеглось, а потомъ перешло въ кровь и плоть. Еще хуже, если обязанность заставляетъ нарушать это правило. Жаль такого доцента, жаль его слушателей, жаль науку!

Наши кандидаты въ профессора, зная, что я имъ отъ души желаю добра, вѣрно, не разсердятся на меня за сожалѣніе. Если бы они знали навѣрное, какъ должны дѣйствовать, выступая на новое поприще, то, вѣрно, избрали бы заранѣе одну опредѣленную систему занятій. Теперь же, поставленные между требованіями современной науки и предстоящими обязанностями доцента, границы которыхъ не опредѣлены, они по-неволѣ колеблются въ выборѣ. И вотъ, одни изъ нихъ совѣстливо трудятся надъ разработкою того или другого отдѣла науки, сближаются съ профессорами-спеціалистами и пользуются ихъ совѣтами на самомъ дѣлѣ. Другіе стараются какъ можно скорѣе пополнить „пробѣлы знаній“ усиленнымъ посѣщеніемъ различныхъ лекцій и курсовъ. Третьи предпочитаютъ занятія келейныя и книжныя, находя лекціи необходимыми только для изученія способовъ преподаванія. Очевидно, что каждый изъ трехъ родовъ занятія имѣетъ свои выгоды и недостатки. Посвятившіе себя изученію спеціальностей стоятъ на самой вѣрной дорогѣ. Они принесутъ съ собою знаніе, хотя и не такъ обширное и блестящее, но зато прочное. Сближеніе съ спеціалистами даетъ имъ возможность слѣдить за механизмомъ развитія науки подъ руками учителя, на самомъ дѣлѣ. Одно это преимущество уже ничѣмъ незамѣнимо. О невыгодахъ я замѣтилъ въ первомъ письмѣ. Второй родъ занятій—посѣщеніе курсовъ и лекцій—

имѣть особую привлекательность для всякаго любознательнаго иностранца; для насъ—еще болѣе. Но онъ беретъ чрезвычайно много времени и рѣдко ведетъ къ настоящему сближенію съ профессорами. Поэтому немудрено, что германскіе корифеи многихъ нашихъ, ревностно посѣщавшихъ ихъ курсы, не знаютъ и по имени. Правда, не всѣ видятъ пользу отъ такого сближенія, а иные, признавая ее, жалуются на недоступность нѣмецкихъ ученыхъ. И то, и другое мнѣ кажется отговорками, весьма извинительными и для меня понятными, но вовсе не справедливыми. Въ нѣмецкомъ характерѣ есть, дѣйствительно, особая щекотливость или то, что называется обыкновенно *susceptibilité*, которая иногда съ перваго раза отталкиваетъ; многіе изъ ученыхъ, дѣйствительно, холодны и сдержанны въ обращеніи съ незнакомыми; есть изъ нихъ и подозрительные, которые опасаются проговориться и слишкомъ рано обнаружить мысль, думая, что ею могутъ воспользоваться въ ущербъ ихъ научной славѣ. Наши непрощенные критики успѣли уже, можетъ быть, усилить эту щекотливость. Но холодность замѣняется скоро самымъ непринужденнымъ радушіемъ и готовностью, какъ скоро германскій профессоръ убѣдится, что онъ имѣетъ дѣло съ человѣкомъ, преданнымъ наукѣ и желающимъ серьезно заняться. Въ этомъ, вѣрно, согласится со мною всякій, кто свѣлся съ университетскимъ германскимъ бытомъ. Конечно, языкъ и нѣкоторое знакомство съ національнымъ образомъ мыслей здѣсь много значатъ.

Но иногда занятія, состоящія преимущественно въ посѣщеніи лекцій, приводятъ и къ результатамъ вовсе неожиданнымъ. Такъ, напримѣръ, одинъ изъ нашихъ, вслѣдствіе самаго ревностнаго посѣщенія филологическихъ курсовъ знаменитѣйшихъ германскихъ профессоровъ, пришелъ уже къ убѣжденію, „что всѣ такія занятія въ Россіи немного имѣютъ практической (???) важности“. Другой на лекціяхъ германскихъ знаменитостей испыталъ „быстрое дѣйствіе недостатковъ и медленное достоинствъ“. Кто не знаетъ, какъ важно для всѣхъ, занимающихся наукою, критическое направленіе ума. Но, не забудемъ, оно подвигаетъ науку впередъ, когда является какъ зрѣлый плодъ научнаго образованія. А хорошо ли, если этотъ плодъ приносятъ на рынокъ неспѣлымъ? Получивъ оскмину,

невольно пожалѣешь, для чего ему не дали созрѣть. Но, принявъ отъ другихъ цѣликомъ и нравы, и науки, намъ пужно помириться и съ слѣдствіями. Нечего дѣлать, если нашей сатиры суждено было явиться на свѣтъ прежде литературы, а критикѣ—прежде науки. На Западѣ критическое направленіе, какъ реакція противъ средневѣковаго поклоненія авторитету, идетъ рука объ руку съ свободою научнаго разслѣдованія. Одно вытекаетъ, какъ необходимое слѣдствіе, изъ другого. И несмотря—или, лучше, смотря на это—авторитетъ сохраняетъ въ западной наукѣ высокое нравственное значеніе. Основаніе его только перестало быть средневѣковымъ. Когда-то прежде оно было безсознательно, какъ преданіе. Теперь пользуется авторитетомъ въ наукѣ только тотъ, кто приобрѣлъ его достовѣрностію открытыхъ фактовъ и логическою правильностію выводовъ. Подъ эти двѣ категоріи можно подвести всѣ достоинства современнаго научнаго авторитета. То и другое признается не прежде, какъ послѣ критическихъ анализовъ такими же авторитетами. Кажется, нѣтъ ничего справедливѣе. Откуда же тотчасъ недовѣріе и противодѣйствіе отъ лицъ, только-что выступающихъ на научное поприще? Отчего критическій анализъ кажется намъ такъ легкимъ, что мы тотчасъ же бросаемся за него? Откуда это стремленіе низвести его на степень насмѣшки? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, только оттого, что недостатки другихъ на насъ быстро, а достоинства медленно дѣйствуютъ? Отчего на Западѣ, несмотря ни на борьбу враждебныхъ партій, ни на оппозицію политической власти, нигдѣ не видно такой несообразности, какъ у насъ: съ одной стороны, страшнаго равнодушія къ спеціальнымъ занятіямъ, а съ другой—наклонности разоблачать авторитеты, приобрѣвшіе себѣ имя въ наукѣ именно спеціальными занятіями. Какъ осмыслить это явленіе? Гдѣ, въ какомъ уголку нашей души искать его мотивовъ? Въ зависти ли, въ трусости ли, въ томъ ли, что можно бы назвать *captatio malivolentiae*? Можетъ быть, тутъ есть всего понемногу. Самолюбію не хочется признать и въ свободной области ума власть надъ собою. Разоблачая недостатки сильнаго, мы убаюкиваемъ трусость, увѣряя ее, что онъ вовсе не такъ силенъ, какъ кажется. Возбудивъ его противъ себя, намъ легко будетъ увѣрить другихъ, что онъ намъ недоброже-

лательствуетъ, если не признаетъ нашихъ достоинствъ. Но причину причинъ нужно все-таки искать въ обстановкѣ нашей школьной жизни.

Мы очень рано теряемъ довѣріе къ нашимъ учителямъ. И нужно, къ сожалѣнію, признаться, что и сами учителя, и внѣшнія обстоятельства привели насъ къ этому. Немногіе изъ нашихъ наставниковъ были представителями правды въ глазахъ дѣтей. А многіе ли изъ нихъ, не требуя отъ ученика вѣры на-слово, были такими, что имъ можно было бы вѣрить на-слово? „Учитель мой—врагъ мой“—вовсе не рѣдкость—правило въ нашихъ школахъ. Что же мудренаго, если, вступая съ такимъ направленіемъ въ область науки, мы въ ея свободѣ разслѣдованія и думаемъ найти полное оправданіе нашего образа мыслей? Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, границы? Наука оправдываетъ сомнѣніе; наука ничего не принимаетъ на-слово. Мы же забываемъ при этомъ одно. Принципъ свободнаго разслѣдованія въ наукѣ, предоставляя каждому право сомнѣваться и отвергать, принимаетъ самъ и цѣнитъ только то, что есть въ отрицаніи положительнаго. А этого-то именно и нельзя предъявить тому, кто съ самаго начала выступаетъ съ однимъ отрицательнымъ направленіемъ. Въ области науки, какъ бы она ни казалась демократическою, есть своя аристократія—ума и заслугъ. Въ сущности, она и заправляетъ всѣми дѣлами, хотя сама раздѣлена на враждебныя партіи. Кто начнетъ свое поприще оппозиціей, тотъ иногда можетъ угодить той или другой изъ нихъ, но рѣдко получить зато видное мѣсто.

Наконецъ, и третій родъ занятій—чисто келейный—едва ли соответствуетъ цѣли путешествія за границу. Конечно, много значить свойство предмета и характеръ лица. Но каковъ бы ни былъ предметъ, каковъ бы ни былъ характеръ, я думаю, сближеніе съ людьми, пріобрѣтшими авторитетъ въ наукѣ, никогда не помѣшаетъ; а тому, кто самъ хочетъ что-нибудь сдѣлать для науки—оно необходимо. Сблизившись, и можно только оцѣнить по справедливости научный авторитетъ наставника.

Нѣкоторые, сверхъ того, имѣя въ виду еще предстоящій экзаменъ (на степень магистра или доктора) и диссертациі, должны по-неволѣ удѣлять часть своего времени и на это. При обязанностяхъ, вовсе неопредѣленныхъ въ размѣрѣ, которыя

предстоятъ вообще имъ всѣмъ, нужно опасаться не за бездѣйствіе, а за ту же неопредѣленность и безграничность въ образѣ занятій. Знай они, на примѣръ, навѣрное, что отъ нихъ не потребуютъ тотчасъ, при вступленіи въ доцентство, полного, систематическаго изложенія избранной науки, — я увѣренъ — большая часть изъ нихъ сосредоточила бы всѣ силы на одномъ изъ отдѣловъ науки, постоянно расширяя кругъ своей дѣятельности. Въ трудахъ обнаруживалось бы тогда, можетъ быть, менѣе рѣзкихъ взглядовъ на дѣйствія другихъ, но зато гораздо болѣе взыскательности къ своимъ собственнымъ. А теперь какъ приготовишься къ тому, что не по силамъ? Съ чего начать, если придется излагать полный систематическій курсъ будущей аудиторіи? Читать ей руководство отъ доски до доски? — стыдно. Составить записки? во-первыхъ, этого въ первый годъ не сдѣлаешь, а потомъ развѣ не задашь себѣ вопроса: для чего же я не печатаю эти записки и не издаю ихъ, какъ руководство, если я по нимъ читаю, какъ по руководству? Если потому, что онѣ еще не выработаны, то, значить, я моей аудиторіи сообщаю то, чего еще самъ не переварилъ и не выработалъ. Если же записки изданы и напечатаны, то опять вопросъ: что же я читаю на лекціи? то же, что въ нихъ, или другое? Если то же, то для чего? если другое, то почему не издаю этого другого? Правда, изданное руководство не остается теперь долго современнымъ. Но то новое, что сообщается ежегодно аудиторіи, не такъ громадно, чтобы не могло помѣститься въ прибавленіи къ руководству, пока оно не потребуетъ основной передѣлки. Чтобы избѣжать этихъ возраженій, не натуральнѣе ли было бы ограничить дѣятельность доцента, какъ я предлагаю?

Мнѣ остается еще оговориться. Въ концѣ перваго письма я сказалъ, что не раздѣляю убѣжденія тѣхъ, которые хотятъ все время, или большую часть его, посвятить спеціальной работѣ; но я тогда же признался, что мой взглядъ справедливъ только относительно. При существующемъ порядкѣ вещей, я, кажется, ничего другого не могъ сдѣлать, какъ поставить тотъ же вопросъ: исполнимо ли назначеніе преподавателя науки въ полномъ ея объемѣ для молодого человѣка, только-что выступающаго на учебное поприще? Пусть же второе письмо служитъ отвѣтомъ на это.

II.

12-го (24-го) января 1864 года.

На дняхъ я имѣлъ длинный, жаркій разговоръ съ нашими посланными. Къ сожалѣнію, не могу передать его слово въ слово. Но, во всякомъ случаѣ, онъ мнѣ кажется потому интереснымъ, что составляетъ живой комментарий и моихъ мыслей, и мыслей грядущаго поколѣнія профессоровъ о... будетъ сейчасъ видно—о чемъ.

Передавая его, я, можетъ быть, вложу слова *А* въ уста *Б* и прибавлю къ моимъ словамъ то, что мнѣ пришло послѣ въ голову,—это я отмѣчу, пожалуй, скобками,—но истина, въ сущности, отъ этого не потеряетъ. Встрѣтятся кое-какія нѣмецкія фразы,—живя въ Германіи, это дѣлаешь какъ-то незначай.

А. Изъ вашего второго письма, кажется, слѣдуетъ, что вы отвергаете пользу общихъ научныхъ курсовъ въ университетѣ?

Я. Сколько мнѣ помнится, при двухъ условіяхъ: во-первыхъ, если студенты приготовлены къ самостоятельному труду, а во-вторыхъ, если есть руководства.

А. Какъ же можно требовать отъ молодого человѣка въ 17 лѣтъ, чтобы онъ умѣлъ самостоятельно заниматься?

Я. Позвольте васъ спросить въ свою очередь: считаете вы возможнымъ, чтобы молодой, 17-лѣтній человѣкъ настолько былъ приготовленъ гимназіею къ самостоятельному труду, чтобы могъ самъ читать какое бы то ни было хорошее, дѣльное и современное руководство? Надѣюсь, вы понимаете меня, что я разумѣю подъ словомъ „читать“?

А. Да.

Я. Такъ вы не отвергаете возможности для молодого образованнаго человѣка получить изъ руководства ясное понятіе о главныхъ основахъ науки, которою онъ хочетъ заниматься?

А. Да; но вѣдь дѣло университета—приготовить къ самостоятельному труду; дѣло и университетскихъ профессоровъ—учить; а учить—въ гимназіи ли, въ университетѣ ли, все равно—все учить: это прямая и главная обязанность профессоровъ.

Они—не академики; имъ нечего отвлекаться чисто-научными занятіями. Я тутъ не вижу причины, почему вы переносите приученіе къ самостоятельной работѣ въ гимназію, а не оставляете за однимъ университетомъ.

Я. Что профессора не академики, это я узналъ изъ рѣчи, произнесенной на торжественномъ актѣ московскаго университета, по случаю его 100-лѣтняго юбилея. Но вѣдь это не минералы, изъ которыхъ можно за одними оставлять тяжесть, за другими—тяжесть и блескъ. Кто учитъ, тотъ также подвигаетъ науку впередъ; а кто двигаетъ ее впередъ, тотъ также учитъ. Гдѣ тутъ предѣлы? гдѣ границы? Одинъ говоритъ, другой пишетъ, третій и говоритъ и пишетъ (а четвертый случай, ни для профессора, ни для академика, невозможенъ). Что учитъ въ гимназіи и учитъ въ университетѣ огромная разница—не знаю, какъ вы можете оспаривать. Учитель долженъ быть педагогъ; иначе онъ не учитель; а профессоръ можетъ быть и вовсе не педагогомъ, и даже знаменитымъ.

А. Да учитель гимназіи также излагаетъ науку...

Я. Постойте, постойте... Вотъ это-то одна изъ 10.000 нашихъ ошибокъ. Я видалъ въ гимназіяхъ этихъ господъ, излагающихъ науки для гимназиста. Такое изложеніе не стоитъ выѣденнаго яйца. Это страшное непониманіе дѣла со стороны гимназическаго учителя, когда онъ пускается на профессорскія замашки и съ высоты кафедръ бросаетъ только высшіе взгляды на школьную аудиторію...

А. Да, я знаю, что онъ долженъ у своихъ учениковъ спрашивать уроки и узнавать, поняли ли его; въ этомъ, положимъ, и проходитъ половина лекціи; но другая половина употребляется все-таки на изложеніе предмета.

Я. И съ этимъ не согласенъ. Учитель не долженъ дѣлать ни шагу, не удостовѣряться, чѣмъ заняты ученики. (Не забудьте, нитка, которою привязано вниманіе у всѣхъ у насъ, а еще больше у гимназиста, такъ тонка, что она тотчасъ оборвется, если ее или не дотянешь, или перетянешь. Знайте, мнѣ—за 50, а я не ручаюсь за мое вниманіе ни на одной изъ вашихъ университетскихъ лекцій: чего же вы хотите отъ ребенка? Кто изъ учителей не знаетъ, чѣмъ занята голова каждого изъ его учениковъ въ то время, когда онъ учитъ, тотъ не учи-

тель, и училище, которое дѣлаетъ это невозможнымъ—не училище, а разсадникъ будущихъ мухолововъ. Добрая половина нашей молодежи пропадаетъ для науки именно отъ того, что спозаранку не сѣумѣли обращаться съ ея внимательностью, не слѣдили за внутренней зѣвотой въ училищахъ и давали завестись въ душѣ той пустотѣ, которая проглядываетъ и въ нашихъ нравахъ, и въ нашей литературѣ, и въ нашихъ убѣжденіяхъ).

Б. Вы правы. Учитель долженъ заботиться, чтобы ученикъ уяснилъ себѣ хорошенько и переварилъ все въ плоть и кровь, чтò слышалъ отъ учителя. Но, я думаю, главный недостатокъ нашихъ гимназій именно тотъ, что онѣ не развиваютъ въ ученикѣ здраваго критическаго сужденія. Я, напримѣръ, помню, чтò съ нами было. Мы въ гимназіи читали о русской литературѣ взгляды Бѣлинскаго, а когда вступили въ университетъ, тамъ профессоръ словесности и слышать не хотѣлъ про Бѣлинскаго; у него былъ свой, совсѣмъ противоположный взглядъ; мы и стали въ тупикъ: на кого положиться, чему вѣрить?.. Главное, по-моему, —развить въ ученикѣ критическое мышленіе.

Я. Я не иду такъ далеко. У меня есть *minimum*, котораго переступить нельзя, и безъ котораго нельзя являться въ университетъ. По-моему, кончившій курсъ въ гимназіи и вступающій въ университетъ долженъ понимать каждое хорошее руководство—разумѣется, въ постепенной послѣдовательности научнаго ученія. Онъ долженъ быть въ состояніи, прочитавъ руководство, научиться изъ него столько же, какъ и изъ лекціи профессора. (Счастливъ профессоръ, если его лекціи стоятъ выше всякаго современнаго хорошаго учебника; но для него также есть свой *minimum*—онѣ не должны быть ниже такого учебника.) Если ученикъ это условіе выполнялъ—ступай въ университетъ, дѣло въ шляпѣ...

А. Но гдѣ же гимназіи достигаютъ этой цѣли?

Я. Гдѣ?—а посмотрите кругомъ васъ: баденскія гимназіи считаются не лучшими въ Германіи, — и вотъ мой сынъ, который нынѣшній только годъ поступилъ въ университетъ, пробылъ цѣлый годъ въ послѣднемъ классѣ здѣшней гимназіи; спросите, чѣмъ онъ занимался тамъ? (Онъ долженъ былъ готовить самъ переводы изъ Геродота и Платона; долженъ

былъ переводить съ греческаго на латинскій; долженъ былъ приготовляться изъ греческой исторіи по Дункеру, цѣлый семестръ проходить только одно время Перикла—развѣ это уже не самостоятельный трудъ для юноши въ 17 лѣтъ? Онъ поступилъ въ университетъ, и его занятія постепенно и безъ всякихъ скачковъ изъ гимназическихъ дѣлаются университетскими: натура и свойство научнаго труда не перемѣнились: онъ сдѣлается современемъ степенью выше—вотъ и все. Какъ здѣсь достигаютъ этого? Ужъ вѣрно не профессорскимъ изложеніемъ науки въ гимназіяхъ, не свысока, не разомъ.)

А. Но вѣдь у насъ этого нѣтъ, такъ какъ же вы хотите, чтобы и университетъ не занимался тѣмъ, чѣмъ должны были бы заниматься гимназіи? А какъ онъ это сдѣлаетъ, если въ немъ не будетъ общихъ научныхъ курсовъ?

Я. Ваше предложеніе понизить университетъ до уровня гимназій—не новость; это предлагали и другіе. Но я въ этомъ не вижу никакой пользы. Такое пониженіе не обойдется даромъ. (Вы понизите уровень университета, а гимназіи понизятъ свой уровень; уѣздныя училища свой—дойдетъ дѣло до нѣльзя, то-есть до сельскихъ приходскихъ. Пожалуй, и тутъ еще можно ухитриться, изобрѣсти новый механизмъ пониженія и для народнаго образованія, хотя это и трудно сдѣлать тамъ, гдѣ его нѣтъ.) Но къ чему вся эта механика? къ чему такая заботливость? кто изъ студентовъ когда-нибудь просилъ ея? (Я часто слышалъ жалобы отъ непониманія дѣла, когда одинъ или нѣсколько юношей положительно увѣряли, что имъ совсѣмъ не нужно того знать, чтò имъ преподають. Слышалъ, правда, жалобы и на то, что профессоръ читаетъ непонятно, невнятно, требуетъ многого, и все по своимъ запискамъ, на экзаменахъ сердится, когда ему отвѣчаютъ не его словами. Но посмотрите безпристрастно, на кого обыкновенно ропщутъ? Худо, очень худо, что такія жалобы существуютъ; но, разбирая ихъ по принципу „*audiat et altera pars*“, не трудно наткнуться на правду. Можно положительно сказать, что на недостижимо высокое нашихъ университетскихъ лекцій жалобъ нигдѣ неслышно. Правда, многіе профессора понизили курсъ своего ученія *proprio motu*, видя сами, что ихъ лекціи для большинства недосягаемы; но это произошло оттого, что, въ одно время, между

гимназическимъ и университетскимъ ученіемъ господствовали полный разладъ; въ гимназіяхъ отдавали на выборъ 13-ти- и 14-лѣтнимъ мальчикамъ, спрашивая ихъ: „чему, душечка, хочешь учиться? хочешь учиться латыни или юриспруденціи?“ Въ медицину тогда поступали (а въ то время на одной медицинѣ и основывалось все существованіе университетовъ (неумѣвшіе склонять менса и дѣлавшіе, къ ужасу профессора рецептуры, страшные промахи въ окончаніяхъ, когда ихъ заставляли писать рецептъ безъ сокращеній. Въ это пасмурное для университетовъ время нечему было удивляться, что профессоръ латинской словесности съѣхалъ на Корнелія Непота, а греческой—чуть не на азбуку. Но вѣдь это миновало: для чего же воскрешать прошедшее? для чего хотѣть пониженія, когда нужно повышать? Ступайте выше, не робѣя; толпа полѣзетъ за вами, не безпокойтесь; вы все хотите сразу, хотите, чтобы разомъ все пошло какъ по маслу, и первая неудача васъ сейчасъ и испугаетъ: „ну, какъ не доберется до меня?“ думаете вы—и начинаете тотчасъ же спускаться сами. Имѣйте терпѣніе—полѣзетъ, увѣрю васъ, полѣзетъ за вами,—стоитъ только не обсчитаться самому ступенями своей лѣстницы. а о прочемъ не заботьтесь.)

А. Но тогда гимназіи наши и должны будутъ только о томъ заботиться, чтобы готовить къ университету. Можно ли же это провести у насъ?

Я. Какъ вамъ сказать? (До сихъ поръ, у насъ каждая гимназія двоилась: ей хотѣлось, или было приказано, готовить и къ университету, и къ жизни. Чтò же значило приготовленіе къ жизни? Учиться законовѣдѣнію, естественной исторіи, физикѣ? Были и такіе глубокіе педагоги, что хотѣли ввести въ гимназію преподаваніе политической экономіи; фізіологія уже отчасти преподается и теперь, вмѣстѣ съ зоологіею; можно было бы еще ввести и анатомію—и вотъ перенесли бы университетъ въ гимназію, а понизивъ его уровень, сдѣлали бы его гимназіею; что же? хорошо?) Вы хотите,—сколько я понялъ вашъ вопросъ,—чтобъ гимназія готовила къ жизни. А знаете ли, чтò такое наша жизнь и какія ея требованія? Я былъ пять лѣтъ попечителемъ, и отчасти въ такомъ округѣ, гимназіи котораго считались, послѣ столичныхъ,

самыми многолюдными: знаете ли результатъ этого приготовленія къ жизни? Вотъ онъ. Изъ первыхъ четырехъ классовъ я видѣлъ въ каждомъ по 80 и по 100 учениковъ; въ параллельномъ бывало по 70; а знаете ли, сколько было въ послѣднемъ, въ седьмомъ? По 6 въ иныхъ, и не болѣе 15 въ урожайные годы. Вотъ она жизнь, вотъ она чего у насъ требуетъ! (Дай Богъ, чтобъ это перемѣнилось теперь!) Университетъ можно сдѣлать и для меньшинства изъ меньшинства, и для большинства изъ меньшинства—это зависитъ не отъ насъ съ вами. Но, какъ бы вы его ни учреждали, если вы не положите извѣстнаго *minimum*—не того *minimum*, которое выражается теперь гимназическимъ аттестатомъ, а моего, котораго я требую,—то, будете ли вы читать ваши любезные общіе курсы каждой науки, нѣтъ ли, по запискамъ ли, экспромптомъ ли—толку не ждите. И если я сказалъ напрямикъ мое мнѣніе объ этихъ курсахъ, то именно хотѣлъ этимъ сказать, что гимназія и университетъ должны идти рука объ руку и однимъ путемъ.

Г. Да какъ же вы хотите избѣжать общихъ курсовъ? Положимъ, напримѣръ, что я, возвратясь изъ-за границы, получу каеэдру въ юридическомъ факультетѣ, по одному предмету изъ русскаго права. Мнѣ нужно будетъ, по-вашему, сейчасъ руководство; а его вовсе нѣтъ, ни на русскомъ, ни на другомъ языкѣ, да на другомъ языкѣ и быть не можетъ. Что же прикажете мнѣ дѣлать? сидѣть, сложа руки, на лекціи, или не ходить вовсе на лекціи, а писать дома руководство? Спросите и у всѣхъ другихъ юристовъ.

Я. Послушайте: вы берете случай, именно не подходящій ни подъ одно изъ моихъ условій. Я сказалъ, или думалъ сказать, да не сдумѣлъ, что общіе курсы вовсе не нужны тамъ, гдѣ есть слушатели, умѣющіе заниматься самостоятельно, и гдѣ есть хоть одно дѣльное руководство по каждой наукѣ, преподаваемой въ университетѣ. А по вашему предмету—вы говорите—нѣтъ такого, да и перевести съ другого языка такого нельзя. Вы спрашиваете, что тутъ дѣлать? Мнѣ кажется,—дѣло ясное. Васъ заставляютъ читать этотъ предметъ, вы беретесь за это—позвольте же васъ спросить: что вы будете дѣлать и съ чего начнете?

Г. Я уже теперь готовлюсь, справляюсь, составляю записки; буду продолжать это дѣлать и буду сообщать моимъ слушателямъ то, что успѣлъ скопить.

Я. Прекрасно. Теперь одно изъ двухъ: или вы составили уже ваши записки, когда принимаетесь преподавать, или будете ихъ составлять для каждой лекціи. Позвольте же узнать: кто вамъ препятствуетъ, въ первомъ случаѣ, ихъ тотчасъ же напечатать? Печатайте хоть теперь, если онѣ уже готовы: въ Лейпцигѣ вамъ въ половину дешевле будетъ это стоить; а министерство, безъ сомнѣнія, разрѣшитъ тотчасъ же ввозъ въ Россію. Во второмъ случаѣ, кто препятствуетъ вамъ печатать тотчасъ же каждую лекцію? Да сами ваши слушатели—я увѣренъ—возьмутся за это; я видѣлъ, съ какою жадностью бросаются они литографировать самыя жиденькія, по содержанію, записки, и ихъ покупаютъ нарасхватъ; есть между ними даже особые доки-спекуляторы на этотъ предметъ. Правда, ваши слушатели, на первый годъ, не будутъ избавлены отъ удовольствія посѣщать вашъ общенаучный курсъ, въ которомъ вы будете имъ излагать то, что успѣли собрать, какъ вы сами сказали и какъ иначе и требовать нечего отъ молодого доцента; но зато, на другой годъ, другіе ваши слушатели уже могли бы распорядиться иначе, или, лучше, вы съ ними могли бы распорядиться иначе, и по крайней мѣрѣ половину вашего драгоценнаго времени могли бы выдѣлить изъ вокальныхъ упражненій и переливаній буквъ въ звуки...

Г. Да помилуйте, вѣдь я не буду каждый годъ читать одно и то же! Можетъ быть, что нынѣшнегоднія мои записки вовсе не будутъ годиться для будущаго года. Я, можетъ быть, ихъ съ ногъ до головы передѣлаю.

Я. Тѣмъ лучше! Это значитъ, что вы идете впередъ. Vorwärts!—прекрасно. На другой годъ печатается новое изданіе, опять на прежнихъ основаніяхъ; ваши ученики, можетъ быть, на первый разъ будутъ озадачены этимъ форсированнымъ маршемъ учителя; немножко, по-русски, почешутъ затылки, но дѣло будетъ слажено—я въ этомъ увѣренъ. Другіе на третій годъ будутъ счастливы: я надѣюсь, они тогда переплетутъ ваши лекціи съ бѣлыми листами, какъ академическій календарь, и всякое ваше нововведеніе уже впишутъ въ эти листы;

а вамъ, на этотъ счастливый третій годъ, знаете ли, что бы пришлось дѣлать? Ужъ вы, вѣрно, догадаетесь. Объявите вашимъ слушателямъ, чтобы они непременно прочли ваши печатныя записки и не смѣли бы иначе къ вамъ являться на лекцію—вы ихъ иначе знать не хотите—и тогда, вмѣсто 8 часовъ въ недѣлю, назначьте 2 часа, въ которые изложите имъ все новое, чего не было въ вашихъ запискахъ, да назначьте имъ, пожалуй, еще 1 или 2 часа въ недѣлю, для объясненія того, что осталось темнымъ изъ стараго, или уже прочитаннаго. Остальные 4 часа у васъ въ выигрышъ—употребите ихъ на спеціальныя занятія. Замѣьте, что я это беру въ большомъ, скажу—въ огромномъ, размѣрѣ, и дѣлаю это изъ уваженія къ вашему прогрессизму, предполагая, что вы каждый годъ имѣете чрезвычайно много новаго сообщить вашимъ слушателямъ.

А. Но кто же согласится печатать тотчасъ же по вступленіи на кафедру свои записки? *Nonum prematur in annum.* Гдѣ же оно, это древнее правило?

Я. Позвольте узнать, что вы считаете болѣе важнымъ: излагать ваши мысли на лекціи или въ печати?

А. Въ печати, безъ сомнѣнія.

Я. А почему, позвольте узнать?

А. Потому что въ печати я отдаю мои мысли на судъ общественный; я долженъ, обнародывая мое сочиненіе, думать не только о содержаніи, но и о формѣ. Лекцію я могу читать по краткому конспекту, излагая по немъ каждую статью изустно и не имѣя даже надобности въ запискахъ; а при изустномъ изложеніи не всегда удерживается литературная форма: иногда встрѣтятся тутъ и повторенія, и нѣкоторыя уклоненія, тогда какъ, печатая, я не могу этого себѣ позволить: я долженъ дать приличную литературную форму тому, что пишу. Вообще, мнѣ кажется, различіе между изустнымъ изложеніемъ и печатнымъ такъ значительно, что я не понимаю, какъ можно смѣшивать одно съ другимъ.

Я. Это значитъ, мы расходимся въ началахъ. Чтобы показать несходство нашихъ основныхъ взглядовъ, я прибѣгну сначала къ сравненію. Вы знаете, что у насъ медицинскій факультетъ считаетъ степень доктора выше степени лекаря. Я,

напротивъ, думаю, что медицинскіе германскіе факультеты, по крайней мѣрѣ бѣльшая ихъ часть, поступаютъ гораздо справедливѣе, считая докторскую степень не выше, а ниже лекарской. Давая степень лекаря, факультетъ даетъ самое главное: право на жизнь и здоровье другого; докторская же, какъ свидѣтельство одного ученаго достоинства, есть то, что нѣмцы называютъ: *Sufusartikel*. Такъ и въ нашемъ вопросѣ. Кому даютъ званіе доцента, живое слово того признаютъ, по моему мнѣнію, уже никакъ не ниже, а выше печатнаго; его облачаютъ правомъ (тамъ, гдѣ право образованія составляетъ исключительную монополію правительства)—учить публично, да не только публично, а учить избранную часть общества, его будущее поколѣніе; поэтому, его живое слово имѣетъ значеніе болѣе, нежели печатное; если же онъ, какъ всѣ мы грѣшныя, можетъ на лекціи ошибаться и заблуждаться, то эти ошибки и заблужденія ничѣмъ не ниже тѣхъ, въ которыя онъ можетъ впасть, печатая свои мысли; напротивъ, по своимъ слѣдствіямъ, онъ во сто кратъ важнѣе: когда онъ напечатаетъ свою ошибку, ему замѣтятъ, его поправятъ, можетъ быть и съ насмѣшкой, но это нейдетъ къ дѣлу; а его ошибку изустную, слѣланную на лекціи, кто исправитъ? Для студента она останется не ошибкой, а правдой. Для чего же не быть, а казаться? Вы молоды, вы понимаете всю важность вашего будущаго призванія, вы дорожите вашимъ именемъ въ наукѣ — прекрасно! Но оттого, что вы напечатаете то, что разъ сказали на вашихъ лекціяхъ, не уменьшится ваше достоинство. Это будетъ значить, что вы дѣйствуете по правдѣ внутренней, а не внѣшней: вы показываете ваше знаніе, ваше научное достоинство такимъ, какъ оно есть на самомъ дѣлѣ. Это значить, что вы не хотите играть двусмысленной роли: предъ аудиторіей казаться верховнымъ жрецомъ науки, а свѣтъ оставлять въ таинственной неизвѣстности о вашихъ научныхъ достоинствахъ. Для чего?

Б. Да помилуйте—возьмите во вниманіе наше общественное мнѣніе: чѣмъ оно руководится? Вотъ хоть бы руководство знаменитаго Блюнчли о государственномъ правѣ: книга въ Германіи, какъ и ея сочинитель, уважаема, а я твердо увѣренъ, что у насъ журналы ее непремѣнно разбрали бы, еслибъ

кому-нибудь вздумалось перевести ее на русскій языкъ. А если такъ въ одномъ изъ журналовъ разругаютъ напечатанныя записки,—что тогда заговорятъ слушатели?

Я. Журнальную брань считать для себя обидою, я твердо увѣренъ, изъ васъ никто не будетъ; журналистъ, если захочетъ васъ разругать, можетъ легко достать ваши записки и у вашихъ студентовъ, но вѣдь это такіе *misères*, о которыхъ человѣку, занимающемуся наукою серьезно, и говорить стыдно. (Другое дѣло, что соленая и пересоленная критика вашихъ записокъ можетъ васъ уронить въ глазахъ студентовъ, изъ которыхъ многіе находятся, правда, подъ вліяніемъ нашего журнализма. Но будьте только откровенны предъ ними вашимъ знаніемъ, не раздражайтесь ни справедливыми, ни ложными критиками, и, вѣрьте, побѣда останется за вами. Въ самый первый годъ моего профессорства въ Дерптѣ я вздумалъ издать мои клиническія лекціи и случаи (анналы клиники), написалъ изъ Ж. Ж. Руссо: „*que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, devant le juge souverain*“, etc. etc., и въ предисловіи сказалъ, что пишу книгу эту не для того, чтобъ молодымъ врачамъ служить примѣромъ дѣйствій при постели больного, а для того, чтобъ не служить. Критикъ, разумѣется, не обратилъ на это никакого вниманія, и началъ валять меня. Дѣло было, конечно, нетрудное. Я самъ облегчилъ ему этотъ трудъ, потому что, печатая свои ошибки, валялъ себя безъ милосердія. Я принесъ въ свою аудиторію критику и доказалъ, что въ ней еще многія изъ моихъ ошибокъ не были выставлены. Я выигралъ въ глазахъ моихъ слушателей, хотя и не искалъ, по правдѣ, этого — и, благодаря этой критикѣ, они мнѣ начали вѣрить вдвое болѣе прежняго, а одинъ старикъ профессоръ пришелъ ко мнѣ на домъ, ночью, принялся обнимать и сказалъ со слезами: „*Ich respectiere Sie*“. За это душевное „*respectiere*“ старика я готовъ былъ перенести не одну, а тысячу критикъ.)

А. Но, воля ваша, никто не согласится, не исправивъ формы, слога и пр. въ запискахъ, издать ихъ; а это исправленіе потребуетъ времени, которое я могъ бы употребить на что-нибудь болѣе полезное, и потомъ,—я уже сказалъ,—можно читать и по конспекту, безъ записокъ; кто же тогда возьметъ

на себя редакцію? развѣ поручить студенту—что изъ этого выйдетъ?

Я. Если вы хотите знать мое откровенное мнѣніе, то я вамъ скажу, что этимъ господамъ доцентамъ, выступающимъ на кафедре безъ записокъ (или, какъ ихъ болѣе нѣжно называютъ слушатели-подлипалы, записочекъ), я немного вѣрю. Я эту лягу самъ тянулъ, — такъ знаю; къ безталантнымъ доцентамъ я не принадлежалъ, трусомъ также не былъ; но, не приготовившись, не изложивъ мысли на бумагу, не наведя справокъ и не записавъ ихъ точно, я никогда не рѣшался, въ первые годы, выступить на кафедре. Правда, я долженъ былъ читать на чужомъ языкѣ (на нѣмецкомъ); но языкъ меня не затруднялъ—меня затруднялъ самый предметъ, который я зналъ не хуже другихъ, занимаясь имъ спеціально цѣлыхъ 8 лѣтъ до моего доцентства. Записки эти, правда, листовъ 300 мелкаго письма, я бы теперь сжегъ, если бы ихъ нашелъ; но тогда тотчасъ бы напечаталъ—да таки многое изъ нихъ и напечаталъ—и теперь въ этомъ также не раскаиваюсь. (Да и для чего? Что мы за совершенства такіе? кого мы этимъ надуемъ, еслибъ даже и захотѣли надуть? Всѣ знаютъ: молодо, зелено. Худъ ли, хорошъ ли, но разъ взялся за гушъ—не говори, что не дюжъ, но и не притворяйся, что дюжѣ себя и другихъ. Взялся читать лекціи—пусть же всѣ знаютъ, что я читаю; не хочу казаться лучшимъ, чѣмъ я есмь на самомъ дѣлѣ; всѣ знайте, и ученики, и учителя, мои научныя заблужденія. мои ошибки — а ученики пусть знаютъ всѣхъ больше; они отъ этого только выиграютъ: кто поумнѣе изъ нихъ, тотъ сейчасъ раскуситъ учителя, и пойметъ, что это за человѣкъ; кто назойливѣе, пусть себѣ хихикаетъ, — послѣ пойметъ, когда до него дойдетъ очередь. А форма, стиль—неужели же это должно останавливать? Да знаете ли, я и теперь нѣмецкій языкъ далеко не знаю въ совершенствѣ, а когда я начиналъ читать мои лекціи, такъ, за часъ до всякой лекціи, я заходилъ къ моему ассистенту—студенту, и онъ мнѣ въ полчаса весь стиль такъ исправлялъ, что я многое изъ этого печаталъ, и ни одинъ нѣмецъ на меня не былъ въ претензіи за стиль; даже и критикъ мой его не похулилъ. Слѣдовательно, была бы охота, да было бы содержаніе въ вашихъ

записочкахъ, а форма найдется, и самъ „Современникъ“ не будетъ надъ нею одной издѣваться.)

Г. А вотъ здѣсь, въ Германіи, такъ на это иначе смотрятъ. Я недавно у одного профессора спросилъ: хорошо ли я сдѣлаю, если достану у студентовъ его записки 58-го или 59-го годовъ? Онъ мнѣ сказалъ: „Нѣтъ, я послѣ того ихъ не передѣлалъ“. Такъ вотъ уже опытный доцентъ, а не рѣшается еще издавать своихъ записокъ.

Я. Вишь, вы куда идете! Хотите брать тутъ примѣръ съ нѣмцевъ. Да кого у нѣмцевъ дѣлаютъ профессоромъ? Много ли вы найдете у нихъ такихъ молодцовъ на университетской кафедрѣ, которые бы лѣтъ 15 не насидѣлись въ черномъ тѣлѣ, т.-е. въ приватъ-доцентствѣ. Много ли вы найдете профессоровъ въ Германіи, которые бы до вступленія на кафедру не написали чего-нибудь полновѣснаго? Развѣ какого-нибудь знаменитаго практика въ медицинскомъ факультетѣ, да и такихъ, ничего не писавшихъ, одинъ, другой—и обчелся. Такому господину, разумѣется, когда онъ вступить на кафедру, ужасно не хочется, чтобы его собратія прокричали: „Er hat zu früh in's Horn geblasen“, если книга выйдетъ хоть немного слабовата. Нѣтъ, это намъ не примѣръ. У нихъ сначала пишутъ, а потомъ читаютъ лекціи; а у насъ наоборотъ, да и наоборотъ-то не выходитъ: и прежде не пишутъ, и послѣ о себѣ вѣсточки не даютъ.

Б. Такъ вы думаете, что наши студенты будутъ покупать такія печатныя записки, если онѣ часто, — положимъ, хоть и не всякій годъ, — будутъ исправляться профессоромъ и снова перепечатываться?

Я. Это дѣло, конечно, щекотливое для студенческаго кармана. Но тутъ, на первое время, пока они во вкусъ не вошли и еще не поняли, какъ это для нихъ важно, могъ бы и университетъ кой-чѣмъ помочь. Деньги не пропація. Вѣдь нужно подумать, что изъ этихъ студентовъ послѣ сдѣлаются профессора, въ которыхъ — и вы знаете — у насъ оказался огромный недочетъ; такъ вѣдь не бездѣлица и для самого государства распространить въ университетской молодежи вкусъ къ научному чтенію; это, по моему, важнѣе, чѣмъ ихъ гонять съ лекціи на лекцію. А современемъ, Богъ дастъ, и у насъ такъ

же будетъ, какъ въ Германіи. Вотъ, посмотрите здѣсь, на-
примѣръ, фрейбургскаго профессора Мюллера: онъ въ какихъ-
нибудь 10 лѣтъ печатаетъ уже 14-е изданіе своей физики,
которая слыветъ подъ именемъ Пулье-Мюллера. Это былъ
сначала переводъ съ французской книги Пулье, съ собствен-
ными примѣчаніями переводчика, а потомъ эти примѣчанія
дѣлались все крупнѣе да крупнѣе, и теперь уже отъ Пулье,
кромѣ имени, какъ отъ стараго ножа, которому нѣсколько
разъ и черенокъ, и лезвее перемѣнили, ничего не осталось.
Послѣднее изданіе еще не все вышло, а когда я былъ, въ
августѣ, у Мюллера, такъ онъ уже мнѣ показывалъ къ нему
почти полъ-листа новыхъ примѣчаній. Руководство же доро-
гое, съ политипажами и рисунками. Дай Богъ, чтобъ и у
насъ такой же вкусъ къ чтенію распространился! Объ этомъ
похлопотать намъ всѣмъ не мѣшаетъ: все журналы, да жур-
налы, да вѣдомости — вѣдь на этомъ одномъ цивилизація наша
не выѣдетъ, какъ бы они тамъ громко ни кричали. А съ
кого начать, какъ не съ молодежи? (Ваше дѣло позаботиться,
чтобъ ваши записки оскомины не набили. Ну, а если это
случится, такъ, значитъ, ваши лекціи уже давно въ зубахъ
завязли. Добрые люди увидятъ все-таки, если вы ихъ напе-
чатаете, чѣмъ вы кормите вашу аудиторію. Все-таки болѣе
надежды на успѣхъ, чѣмъ если эти записки останутся для
свѣта канцелярскою тайною.)

А. Такъ поэтому вы ни во что не ставите живую рѣчь
профессора?

Я. Живой-то голосъ что называется? Вотъ видите, что я
вамъ скажу на это. Я теперь перебивалъ почти въ 20-ти
нѣмецкихъ университетахъ, и прежде въ нихъ бывалъ; слы-
халъ и французовъ, и русскихъ, — но если я понялъ этотъ жи-
вой голосъ, какъ я его понимаю, у десяти, то слава Богу! Я
на себѣ такъ замѣчалъ: полчаса можно еще слушать, а осталь-
ные четверть часа, или съ начала, или съ конца считая — раз-
лично — уже трудно дѣлается. Я думаю, что тутъ есть боль-
шой дозисъ мистификаціи, или, лучше, самообольщенія, со сто-
роны слушателя. Если я именно то слышу, что мнѣ хотѣлось
бы слышать, то мое вниманіе, пожалуй, и напряжено, но на-
столько же ко мнѣ самому, насколько къ оратору; а бѣда,

если я примусь ему мысленно возражать—а это со мной часто случается—какъ разъ потерю нить. Но это, разумѣется, дѣло личное и чисто субъективное; а вообще говоря, я готовъ признать вліяніе, какое угодно, даже магическое, голоса, только не замшеннаго, не хрипливаго, безъ покашливаній, безъ разныхъ междометій; но такихъ голосовъ, право, не очень много. Вы скажете: а Шлоссеръ, а Гегель? Послушайте, — будьте, сдѣлайте одолженіе, Шлоссеромъ, и я постараюсь васъ со вниманіемъ слушать, несмотря на вашъ хроническій катарръ; да и зачѣмъ вамъ тогда меня? У васъ будетъ довольно и другихъ. Кого—скажите—выбираютъ въ профессора по дѣйствию рѣчи и голоса? Когда мы отправлялись въ профессорскій институтъ, въ Дерптъ, покойный профессоръ Мухинъ (въ Москвѣ), правда, заставлялъ насъ громко и безъ отдыха прочесть длинный періодъ изъ своей „кентрологіи“; но это онъ дѣлалъ потому, что ему мало были извѣстны аускультация и перкуссия; онъ хотѣлъ только узнать, здоровы ли у насъ легкія, а вовсе не потому, живой ли у насъ голосъ. Есть, безспорно, такіе профессора, которыхъ можно съ необыкновенною пріятностью и тогда прослушать цѣлый часъ, когда они просто вслухъ читаютъ книгу; вотъ вамъ примѣръ передъ глазами: Гейзеръ. Но вѣдь это не правило, а исключенія. А большинство? Что стало бы изъ него, еслибъ его нужно было судить по жизни голоса и рѣчи? Вы понимаете, что, отвергая эту особенную, присущую, будто бы, всѣмъ на свѣтѣ лекціямъ, силу жизни, я не говорю о лекціяхъ опытныхъ наукъ. Виртуоза можно слушать и пѣмого.

Г. Но тогда бѣлая часть профессоровъ другихъ факультетовъ, на примѣръ юридическаго и словеснаго, окажутся врядъ-ли необходимыми?

Я. Почему же такъ? Я раздѣляю всѣхъ профессоровъ на четыре категоріи. Одни—люди, имѣющіе талантъ объяснять и дѣйствующіе именно живою рѣчью, какъ вы говорите: ихъ много; имъ почетъ, если только они содержаніемъ пожертвуютъ формѣ и не аффектируютъ, нарумяняясь и набѣлаясь. Вторая категорія—люди со всевозможными голосами, катаррами, даже съ горловою чахоткою, или вовсе нѣмые, но знающіе хорошо свое дѣло, то-есть науку, а главное, умѣющіе знакомить своихъ учениковъ съ механизмомъ научныхъ знаній: это уни-

верситетскій кладъ; берегите его, какъ зѣницу ока; я желаю вамъ безгласія, но желаю вамъ всѣмъ принадлежать къ этой категоріи, если вы даже будете и безгласными. Третья категорія—молодежь-специалисты: они мало знаютъ, но чтѣ знаютъ, то хорошо знаютъ; я когда-то принадлежалъ къ такимъ, и потому имѣю къ этой категоріи непроизвольное пристрастіе; позвольте вамъ также пожелать того, чѣмъ я самъ былъ. Четвертая—излагатели или комментаторы трудныхъ мѣстъ изъ руководствъ для начинающихъ и составители записокъ, но которыя они непременно печатаютъ—это неизбежное условіе: эти люди—могутъ быть и молоды, и стары—также весьма почтенные; нѣтъ никакой необходимости, чтобы они цѣлую жизнь оставались въ этомъ классѣ, занятія котораго, *à la longue*, могутъ, дѣйствительно, наскучить. Вотъ мой университетъ. Про мою аудиторію я уже вамъ сказалъ; вы знаете, какого *minimum* я отъ нея требую.

А. Но, какъ хотите, требованія ваши мнѣ кажутся ненормальными; доцентъ, только-что вступающій на кафедру, еще даже не державшій экзамена на доктора или магистра, за неимѣніемъ лучшаго, исправляющій должность профессора, заваленный, на первый разъ, работою, вынужденный преподавать огромный предметъ, будетъ обязанъ еще издавать свои записки, исправлять ихъ, держать корректуру, округлять слогъ—и все это при первомъ вступленіи на поприще!

Я. Вы правы; положеніе ненормальное. Я самъ въ немъ былъ. Я долженъ былъ читать всю науку и излагать такіе ея отдѣлы, которыхъ я и теперь не знаю. Это не весело. Но положеніе ненормальное—и слѣдствія его, и мѣры противъ нихъ ненормальны.

А. Какъ же это такъ? И положеніе ненормальное, и средства противъ него ненормальныя—чтобы его еще хуже сдѣлать?

Я. А скажите-ка мнѣ, много ли такихъ счастливецъ, даже изъ великихъ міра сего, которымъ удавалось часто ненормальный порядокъ вещей устранить нормальными средствами? Чѣмъ хочетъ устранить теперь Линкольнъ ненормальное положеніе американскихъ штатовъ? Или вы утѣшаетесь словами Мефистофеля: *das Blut ist ein besonderer Saft*,—и потому пускать ее—это дѣло нормальное? Нѣтъ, я такъ думаю, что гдѣ только

можно, тамъ и нужно, тамъ должно освободить молодого доцента отъ чтенія общихъ курсовъ—не навязывать ему работы не по силамъ; но гдѣ этого избѣгнуть нельзя—какъ, по вашимъ же словамъ, въ юридическомъ факультетѣ, тамъ противъ моего способа я все-таки не вижу ни одного полномѣснаго возраженія; читайте, если уже вамъ суждено читать по запискамъ, но печатайте ихъ тотчасъ же, говорите прямо и открыто, что вы знаете и чего не знаете, не имѣйте задней мысли: „для свѣта это еще рано издавать, а для аудиторіи годится, съ рукъ сойдетъ“. Уважайте вашу аудиторію, будетъ ли она достойна уваженія, нѣтъ ли; помните, что всякій вашъ ученикъ—это будущій вы; вы *in statu nascente*; это намъ, русскимъ, испытавшимъ уже не разъ, что значитъ университетскій дефицитъ, должно всего болѣе помнить, когда мы попадаемъ на кафедру. Къ сожалѣнію, я узналъ самъ эту истину слишкомъ поздно, и совѣтую вамъ узнать ее какъ можно раньше. Да, знаете ли, я на дняхъ узналъ, что печатаніе лекціи за лекціей теперь въ Парижѣ въ модѣ; лекціи всѣхъ профессоровъ—я слышу—такъ печатаются: стенографы сидятъ у нихъ на лекціяхъ, какъ въ парламентѣ, котораго въ Парижѣ покуда еще нѣтъ, записываютъ и тотчасъ же печатаютъ; на другой день, за нѣсколько сантимовъ, всякій можетъ прочесть вашу живую рѣчь, перенесенную на бумагу. Вы скажете, что это все—матадоры науки. Право, въ ихъ лекціяхъ отыщутся также порядочные промахи; но французы—народъ не робкій, и не имѣютъ такого суевѣрнаго почтенія къ печатному слову, какъ мы. Такъ вѣдь вы—молодое поколѣніе; кому же, какъ не вамъ, возставать противъ суевѣрій? Подумайте хорошенько, что это такое за идолъ—печать; вѣдь наши предки столкнули же своего идола въ воду, даже не совсѣмъ еще потерявъ въ него вѣру. Что же вы такъ боитесь вашихъ же собственныхъ словъ, вашей живой рѣчи, когда она попалась подъ станокъ? Что это за суевѣрный страхъ: учить словами—пожалуй; печатно—боюсь: убьютъ? Еще другое дѣло, если бы встрѣтили препятствія въ предварительной цензурѣ; но если не цензируютъ вашихъ изустныхъ лекцій—значитъ, вамъ довѣряютъ. Не будетъ же цензура считать печатную лекцію болѣе вредною, чѣмъ та, которая изъ вашихъ устъ переходитъ въ головы цѣ-

лаго поколѣнія. Да и что можетъ быть въ научной истинѣ вреднаго, и что другое должны передавать лекціи, кромѣ того, что принято наукою или какъ познанная истина, или какъ одно спорное предположеніе?

А. Да, печатаніе лекцій можетъ быть полезнымъ, но только какъ одна гарантія.

Я. Да, какъ гарантія противъ апатіи и научнаго застоя. Но не одна виѣшняя—это ваша гарантія противъ васъ самихъ. Послѣ, когда, черезъ нѣсколько лѣтъ, вы взглянете на то, что вы всякій годъ поправляли и улучшали, вы увидите свою дѣятельность какъ въ зеркалѣ. Это—документъ. А общественное мнѣніе, какъ бы оно у насъ ни мало интересовалось университетскою наукою, увидитъ васъ также. Приучайте его, чтобы оно васъ видѣло и интересовалось университетскою наукою. Съ перваго же года льва различать по когтямъ.

Г. Но, мнѣ кажется, лучше бы ужъ было требовать, чтобы доцентъ издавалъ свои лекціи не сейчасъ, а по крайней мѣрѣ лѣтъ черезъ пять.

Я. Я знаю, что значитъ у насъ въ университетѣ для доцента пять лѣтъ. Ему на каждомъ шагѣ придется, въ эти пять лѣтъ, просить: „не введи насъ во искушеніе“. Именно, эти-то первыя пять лѣтъ и самыя важныя для насъ. Если въ это время не будетъ для насъ стимула, такъ прощай наша будущая дѣятельность. Кто будетъ хлопотать только о томъ, лишь бы усѣсться поплотнѣе—а такіе найдутся: въ семьѣ не безъ урода—такъ тотъ можетъ въ это время пустить глубоко корни, такъ что ему послѣ, пожалуй, не нужно бѣдетъ писать ни записокъ, ни руководствъ. (Я зналъ такіе примѣры, и зналъ людей недюжинныхъ, которые мнѣ, лѣтъ двадцать назадъ, говорили, что они составляютъ руководство по своему предмету, да такъ и теперь все еще составляютъ. Нѣтъ, такіе термины не по нашей славянской натурѣ: что съ самаго начала сдѣлано, то и сдѣлано; а откладывавъ въ длинный ящикъ—это намъ нездорово.)

Б. Но вѣдь вы знаете, что обязательныя мѣры, въ этомъ случаѣ, никуда не ведутъ.

Я. Да напрасно вы и думаете, что я настаиваю на обязательности. Хотя обязательность чѣмъ бы то ни было дока-

зять свое научное достоинство, и именно научно-литературное, принята въ Германіи, но у насъ, на нашемъ безлюдьѣ, покуда она какъ-то не клеится. Хотя, съ другой стороны, согласитесь, такой полный недостатокъ гарантій для доцентства и профессорства—тоже крайность, по моему мнѣнію.

А. Какъ полный недостатокъ? Да здѣсь отъ доцента гораздо менѣе требуютъ. Онъ напишетъ легонькую докторскую диссертацию, да бездѣлицу *pro venia docendi*—и готовъ. А мы должны пройти чрезъ два или три экзамена, да диссертацию написать, не здѣшней докторской чета!

Я. Да; но вы забываете, что вы сравниваете двѣ неодинакія вещи—здѣшнихъ приватъ-доцентовъ съ нашими доцентами. Наши новые доценты, это все-таки прежніе адъюнкты: они на жалованьѣ; они одной ногой на профессорской кафедрѣ; имъ не придется тереть лямку, какъ здѣшнимъ приватъ-доцентамъ, двадцать лѣтъ, дожидаясь смерти или увольненія пожизненнаго профессора и выручая за свои лекціи по 300 или 400 гульденовъ въ годъ. Наши, на ихъ мѣстѣ, давно бы ноги протянули. Нѣтъ, если сравнивать, такъ сравнивайте нашихъ доцентовъ съ здѣшними экстраординарными профессорами, и посмотрите, какихъ требуютъ научныхъ гарантій отъ нихъ здѣсь, и какихъ—у насъ. Диссертациа и экзаменъ—это, конечно, хорошо.

А. Но вѣдь объ этомъ мнѣнія очень еще различны; есть и такое, что профессоромъ могъ бы быть каждый,—и его можно бы защищать; да, вообще, тутъ регламентировать едва-ли можно.

Я. Покуда образованіе—въ какомъ бы ни было государствѣ—правительственная монополія, до тѣхъ поръ совершенно сдѣлать профессуру свободной и совершенно обойтись безъ регламентировки нельзя. Но у насъ она должна быть, сколько можно, такая, чтобы въ первое время профессорской дѣятельности подстрекала молодого доцента безпрестанно идти впередъ. Это, какъ хотите, для насъ нужно. Но я совсѣмъ и не хотѣлъ изъ моей мѣры сдѣлать что-нибудь обязательное. Хорошо было бы, еслибъ общественное мнѣніе да ваши собственные убѣжденія, проводимыя коллегіально всѣмъ новымъ поколѣніемъ доцентовъ, сдѣлали ее обязательной. Я понимаю, что одному или двумъ рѣшиться и принести себя въ жертву

нашей журналистикѣ, при нашемъ образѣ мыслей, нашемъ страхѣ и суевѣріи, — дѣло было бы неслыханное; по дѣйствуй, по убѣжденію, всѣ вмѣстѣ, наука не была бы въ проигрышѣ — это опять мое убѣжденіе.

Г. А вотъ еслибъ можно было засчитывать составленные записки или руководства вмѣсто докторской или магистерской диссертациі, это дало бы болѣе возможности заняться составленіемъ ихъ хорошенько въ первое время.

Я. Да, я думаю, что въ этомъ препятствіи со стороны университетовъ не будетъ. И я считалъ бы, при нашемъ недостаткѣ въ хорошихъ учебникахъ, такую книгу полезно ничѣмъ не менѣе диссертациі.

А. Но вѣдь вы же особенно налегаете на спеціальныя научныя занятія?

Я. Да, я и остаюсь при этомъ убѣжденіи. Если я самъ что-нибудь знаю, то я обязанъ этимъ именно тому, что, несмотря на всѣ препятствія, въ первое время моей учебной дѣятельности, я былъ спеціалистомъ до цинизма, и чѣмъ больше я разрабатывалъ какую-нибудь частичку моей науки, тѣмъ болѣе я убѣждался, сколько мнѣ необходимо заняться другими науками; эта частичка знакомила меня съ тѣмъ, что мнѣ съ перваго раза казалось или лишнимъ хламомъ, или вовсе постороннею вещью. Таковъ, какъ я вижу, ходъ занятій и у здѣшнихъ приватъ-доцентовъ, съ тѣмъ только различіемъ, что они вообще общечеловѣчески лучше приготовлены, чѣмъ мы.

Г. Но здѣшніе доценты вовсе не такіе спеціалисты. Здѣсь я могу назвать нѣсколькихъ; — знаю также нѣкоторыхъ и въ Берлинѣ, которые преподають не спеціальности, а читають общіе курсы.

Я. Да, я знаю, есть и такіе, и знаю почему. Но это нисколько не измѣняетъ общаго принципа, чтобы доцентъ начиналъ свое поприще съ спеціальностей. Здѣшнихъ (т.-е. германскихъ) приватъ-доцентовъ можно раздѣлить также на нѣсколько категорій: есть *protégés* нѣкоторыхъ вліятельныхъ профессоровъ и даже цѣлаго факультета; такихъ допускають ко всякому чтенію, особенно когда есть вакантныя кафедры или когда большинство факультета хочетъ выжить отжившую личность; оно протежируетъ тогда одного своего или и нѣсколь-

кихъ доцентовъ. Въ другихъ же университетахъ, напротивъ, факультеты, то-есть ихъ ординарные профессора, ревниво смотрятъ на своихъ приватъ-доцентовъ, держатъ ихъ крѣпко въ рукахъ и не даютъ имъ читать не только общихъ курсовъ, но и большихъ отдѣловъ науки. Бѣольшая же часть доцентовъ сами останавливаются на спеціальностяхъ—и это самые дѣльные изъ нихъ; къ нимъ принадлежала и бѣольшая часть теперешнихъ профессоровъ—они сами находятъ и научный интересъ, и матеріальную выгоду въ спеціальныхъ занятіяхъ, образуя около себя значительную аудиторію. Есть, наконецъ, и такіе, которые, изъ самонадѣянности, изъ разсчета и даже изъ политическихъ видовъ, бросаются и на общіе курсы. А тѣ, которые пробыли уже лѣтъ 15 или 20 доцентами, имѣютъ и въ самомъ дѣлѣ полное нравственное право на такое преподаваніе.

Не знаю, какъ мои собесѣдники, но я изъ этой бесѣды кое-чему научился.

1864 г.



О ПРЕДМЕТАХЪ СУЖДЕНІЙ И ПРЕНІЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХЪ СОВѢТОВЪ ГИМНАЗІЙ.

Экстраординарныя педагогическія засѣданія и циркуляры, содержащіе въ себѣ изложеніе мнѣній гимназическихъ наставниковъ, учреждены мною съ тою цѣлью, чтобы: 1) дать возможность гимназическимъ наставникамъ свободно, откровенно и безпристрастно обсудить различныя педагогическія мѣры и предлагаемыя способы преподаванія; 2) познакомить ближе высшія учебныя инстанціи какъ съ господствующими, такъ и съ исключительными взглядами нашихъ педагоговъ; 3) дать средство высшимъ инстанціямъ судить по этимъ взглядамъ о степени развитія нашей педагогики; 4) посредствомъ размѣна взглядовъ познакомить и сблизить одну съ другою различныя дирекціи округа; 5) наконецъ, чтобы учебное начальство могло удобнѣе сообщать всѣмъ дирекціямъ свои распоряженія и мнѣнія о вновь предлагаемыхъ педагогическихъ мѣрахъ и способахъ преподаванія.

Поэтому никто не вздумаетъ, чтобы всѣ излагаемые въ циркулярѣ мнѣнія, взгляды, способы преподаванія и другія предложенія гимназическихъ наставниковъ были безусловно одобряемы или принимаемы начальствомъ округа. Иначе оно бы не излагало въ этихъ циркулярахъ взглядовъ, діаметрально противоположныхъ одинъ другому, или способовъ преподаванія и мѣръ отсталыхъ и несообразныхъ съ правилами здоровой педагогики. Чтобы выработать педагогическое искусство для нашихъ учебныхъ заведеній изнутри, или изъ самого себя, нужно сначала познакомиться съ нимъ такъ, какъ оно есть въ на-

стоящее время, хорошенько промѣрить его уровень и узнать, хотя приблизительно, направленіе большинства нашихъ педагоговъ. Съ другой стороны, для нихъ необходимо узнать, какъ смотреть учебное начальство округа на ихъ взгляды и предлагаемыя ими мѣры, или, другими словами: имъ нужно также хорошо знать направленіе учебнаго начальства, какъ и ему — направленіе подвѣдомственныхъ лицъ. Въ педагогикѣ, возведенной на степень искусства, какъ и во всякомъ другомъ искусствѣ, нельзя мѣрять дѣйствія всѣхъ дѣятелей по одной мѣркѣ, нельзя закабалить ихъ въ одну форму: но, съ другой стороны, нельзя и допустить, чтобы эти дѣйствія были совершенно произвольны, неправильны и діаметрально противоположны. Какъ то, такъ и другое противорѣчитъ духу здоровой педагогики, успѣхъ которой въ общественныхъ учебныхъ заведеніяхъ зависитъ, очевидно, отъ правильности и гармоническаго единства дѣйствій главныхъ ея дѣятелей. Итакъ, педагогическія совѣщанія столько же необходимы для наставниковъ, сколько и для самого учебнаго начальства. Но чтобы и наставники, и начальство извлекли изъ нихъ существенную пользу, необходимо согласиться въ началахъ. Совѣщанія не могутъ быть истинно научными, если они не будутъ чисто коллегіальными и если всѣ голоса совѣщателей не будутъ равны. Въ этомъ мы всѣ, конечно, согласны. Но можно ли согласиться, чтобы въ дѣлѣ педагогическомъ, слѣдовательно въ дѣлѣ науки и искусства, верховнымъ судьей было наше общественное мнѣніе, и именно наше, еще неразвитое, шаткое и даже нисколько не общественное? Намъ многое еще придется уяснять и развивать прежде, нежели мы будемъ въ правѣ положить въ дѣлахъ науки и искусства на мнѣніе нашего общества, едва-едва начинающаго имѣть, да и то еще смутное, понятіе о сущности воспитанія и образованія. У насъ не образовалось еще порядочнаго сужденія между экспертами, а мы уже хотимъ апеллировать, обращаясь къ цѣлому обществу, которое должно сначала поучиться и кое-что заимствовать отъ людей науки. Для чего же не постараться сначала, чтобы хорошо выработалось, путемъ научнымъ, общественное мнѣніе нашихъ педагогическихъ учреждений? Неясно также и то, какъ можетъ быть критика, хотя бы она была и официаль-

ная, безъ права оправданія; тогда это не критика, а приказаніе. Наконецъ, рѣшительно неясно уже, почему трудно разсуждать свободно тому, кто знаетъ, что надъ нимъ есть приговоръ суда? Безпристрастный судъ именно того и требуетъ, чтобы подсудимый говорилъ и разсуждалъ свободно. Долженъ же быть сдѣланъ окончательный приговоръ сужденіямъ для того, чтобы осуществить и возвести ихъ на степень общихъ мѣръ. Этотъ окончательный приговоръ, — будетъ ли онъ сдѣланъ общественнымъ мнѣніемъ или высшею инстанціею, — конечно, нисколько не препятствуетъ никому оставаться при своемъ убѣжденіи и даже защищать его гласно. Но какъ же можно осуществить мысль, чтобы приговоръ дѣлали у насъ одни педагоги, избранные общественнымъ мнѣніемъ? Если въ этомъ случаѣ подъ именемъ общественнаго мнѣнія разумѣть мнѣніе большинства всѣхъ нашихъ ученыхъ экспертовъ, то, конечно, это было бы справедливо и прекрасно; но покуда у насъ еще не существуетъ такого ареопага; предоставить же рѣшеніе педагогамъ, избраннымъ общественнымъ мнѣніемъ публики, которыхъ еще нѣтъ на лицо, будетъ дѣломъ въ настоящее время по малой мѣрѣ ненадежнымъ и несбыточнымъ. Гдѣ, какъ и чѣмъ выразится это мнѣніе, — если бы оно и дѣйствительно существовало? Кто поручится, что мнѣніе, которое вы называете общественнымъ, не есть мнѣніе одной партіи? Остается, слѣдовательно, одно, и именно то, что покуда и дѣлается, — хотя и съ грѣхомъ пополамъ: предоставить рѣшеніе большинству голосовъ коллегіальнаго учрежденія, считая, — хотя и по неволѣ, — его членовъ опытнѣйшими педагогами. И я не вижу, почему бы можно было менѣе вѣрить этому большинству, чѣмъ другому. составляющему общественное мнѣніе нашей публики? Если у насъ существуютъ причины, которыя препятствуютъ большинству коллегіальныхъ учреждений дѣлать безпристрастные и вѣрные приговоры, то тѣ же самыя причины существуютъ и для большинства публики. Причины же эти очевидны, и изъ нихъ одна, — самая главная, — есть недостатокъ основательнаго образованія и шаткость убѣжденій. Эта шаткость обнаруживается вездѣ и даже въ понятіи о главныхъ основахъ тѣхъ учреждений, члены которыхъ, казалось бы, должны были имѣть, судя по степени

ихъ образованія, болѣе ясныя понятія. Какъ иначе объяснить тѣ странные взгляды, которые, напримѣръ, имѣютъ члены коллегіальныхъ педагогическихъ учрежденій о дѣйствіяхъ меньшинства; какъ объяснить иначе, что одни члены этихъ учреждений стараются ограничиться только исполненіемъ формальныхъ требованій, а другіе, считающіе себя прогрессистами, ищутъ выраженія общественнаго мнѣнія у толпы незрѣлыхъ учениковъ?— Не лучше ли же, при такой шаткости нашихъ убѣжденій, похлопотать предварительно о лучшей организаціи той среды, къ которой мы принадлежимъ, и постараться, путемъ убѣжденія и добросовѣстнаго труда, развитъ здоровое мнѣніе объ обязанностяхъ въ этой самой средѣ? — Обращаясь къ самымъ первоначальнымъ основаніямъ педагогики, мы видимъ, что 1) еще не всѣ гимназическіе наставники (даже новаго поколѣнія) отдають преимущество тому способу преподаванія, который наиболѣе содѣйствуетъ къ развитію душевныхъ способностей учащихся; 2) что не всѣ еще наставники отвергають пользу и необходимость заучиванія. Дѣйствительно, въ дѣлѣ практической педагогики, какъ и вообще во всѣхъ дѣлахъ жизни, нельзя ничего ни отвергать, ни принимать безусловно. Въ практической жизни рѣдко кому-либо удается быть такимъ твердымъ и счастливымъ, чтобы провести свои убѣжденія совершенно послѣдовательно, не сбиваясь, безъ исключеній и не давая поблажки обстоятельствамъ. Тѣмъ не менѣе нельзя не замѣтить, что въ преніяхъ нашихъ гимназическихъ наставниковъ о педагогическихъ принципахъ, какъ и всегда во всѣхъ преніяхъ, споръ идетъ болѣе о словахъ, нежели о сущности дѣла. Одни говорятъ, что преподаваемая наука должна служить сама себѣ цѣлью, что главная и единственная цѣль преподаванія есть сообщеніе и усвоеніе знанія. Другіе, напротивъ, утверждаютъ, что въ гимназіяхъ каждая наука не есть цѣль, а только средство; главное же есть развитіе способностей. Но кто не пойметъ, что съ какою бы цѣлью вы ни излагали науку, все-таки знаніе есть и всегда будетъ *conditio sine qua non* для достиженія этой цѣли. Въ этомъ, вѣрно, согласны обѣ стороны. Но какое знаніе?— Вѣрно, ни тѣ, ни другіе сторонники не будутъ защищать то официально-школьное знаніе, которое я, пожалуй, назову экзаменаціон-

нымъ и классно-переводнымъ. Вѣрно, и тѣ, и другіе, искренно желаютъ, чтобы ихъ ученики усвоили себѣ, сколько можно сознательнѣе, истинное знаніе науки. Такое знаніе не можетъ быть однимъ чисто-формальнымъ; оно непременно должно касаться и самого содержанія; оно всегда будетъ сообразно и съ возрастомъ, и съ способностями ученика. Если такъ, то о чемъ же споръ? Всякій, кто самъ учился не напрасно, долженъ знать по опыту, что въ каждой наукѣ, или по крайней мѣрѣ въ каждой группѣ наукъ, есть своя собственная образовательная сила, которая не останется безъ дѣйствія на духъ и на характеръ ученика, какъ скоро истинное знаніе науки имъ будетъ дѣйствительно усвоено. Слѣдовательно, тотъ наставникъ, который излагаетъ науку такъ, что она сознательно усвоится ученикомъ, уже ео ipso и дѣйствуетъ на развитіе его душевныхъ способностей. Итакъ, главное—для учителя—сумѣть изложить свой предметъ именно такъ, чтобы ученикъ его усвоилъ. Вотъ объ этомъ-то и нужно разсуждать: докажете на опытѣ, фактами, что вашъ способъ преподаванія достигаетъ именно этой цѣли, тогда вы тѣмъ самымъ непременно докажете, что и та или другая способность вашего ученика развилась посредствомъ вашего способа преподаванія. Взявъ отвлеченно, главная заслуга будетъ, конечно, принадлежать не вамъ, а образовательной силѣ самой науки; но практически наука безъ лицъ не существуетъ, слѣдовательно все-таки заслуга останется за вами. Правда, образовательная сила каждой науки распространяется не на одну только, а болѣе или менѣе на всѣ способности учащагося; которая же именно изъ его способностей разовьется наукою по преимуществу—будетъ зависеть отъ четырехъ условій: 1) отъ свойства самой науки, 2) отъ личности и степени развитія ученика, 3) отъ личности и степени образованія учителя и 4) отъ способа преподаванія избраннаго имъ предмета. Итакъ, вотъ опять важный предметъ для обсужденій. Доказывайте опять фактами, что избранный вами способъ преподаванія соотвѣтствуетъ лучше, чѣмъ другой, степени развитія и личностямъ большей части вашихъ учениковъ.

То же должно замѣтить и о необходимости заучиванія. Одни говорятъ, что заучиваніе есть остатокъ прежней схоластиче-

ской рутины, требовавшей „*jugare in verba magistri*“; что оно не только не развиваетъ учениковъ, но, напротивъ, подавляетъ всякое умственное и душевное развитіе. Другіе говорятъ, что „заучиваніе необходимо, что его нечего пугаться, что безъ него нельзя совсѣмъ научиться нѣкоторымъ предметамъ (напримѣръ, иностраннымъ языкамъ и грамматическимъ формамъ), что безъ него преподаваніе можетъ обратиться въ игрушку“ и проч. Но, слава Богу, у насъ уже нѣтъ такихъ закоренѣлыхъ приверженцевъ заучиванія, которые не требовали бы вмѣстѣ съ заучиваніемъ, чтобы оно было разумно. Что же значитъ это требованіе? Что значитъ это разумное заучиваніе? Не то ли, что оно не должно быть дѣломъ одной памяти, а разумнымъ усвоеніемъ знанія. Если такъ, то и спорить не о чемъ. Всѣ знаютъ, что одинъ разумъ, безъ памяти, не можетъ дѣйствовать. Нельзя составить ни одного силлогизма, даже и энтимемы, безъ памяти. Кто забудетъ первую или вторую посылку, тотъ и до заключенія не доберется. Но можно ли разумное и, слѣдовательно, сознательное усвоеніе знанія памятью называть заучиваніемъ? Это — вопросъ, о которомъ если будемъ спорить, то будемъ спорить о словѣ, а не о дѣлѣ. Отъ разумно-заучивающаго, или, лучше, отъ разумно-помнящаго дѣло, вѣрно, никто не будетъ требовать, чтобы онъ всегда отвѣчалъ учителю слово въ слово по книгѣ или по тетрадѣ. Никто также не скажетъ, что подчиненіе памяти разуму обращаетъ преподаваніе въ игрушку, потому только, что оно облегчаетъ знаніе, дѣлая его сознательнымъ, или, лучше, дѣлая его именно тѣмъ, чѣмъ оно должно быть, то-есть истиннымъ знаніемъ.

Упомяну, наконецъ, еще объ одномъ взглядѣ на гимназическое преподаваніе. Этотъ взглядъ, оставленный безъ обсужденія, могъ бы подать поводъ къ пренію уже не объ однихъ словахъ. Утверждаютъ, что много времени теряется понапрасну „въ спрашиваніи уроковъ, которое, при раціональномъ воспитаніи, совершенно не нужно“. Другіе, напротивъ, утверждаютъ, что „нужно задавать ученикамъ не только то, что во время каждой лекціи объяснено, но и требовать, чтобы они повторили предыдущій урокъ, и такъ продолжать распоряжаться съ репетиціею и урокомъ въ теченіе цѣлаго года. По этому способу ученикъ повторяетъ каждую лекцію два раза, и то въ

скоромъ времени послѣ объясненія оной. При этомъ нужно еще, чтобы ученики составляли для себя конспекты по изученному ими предмету“. Вотъ какія противоположныя мнѣнія еще господствуютъ въ нашей педагогикѣ! Вотъ какъ мало мы имѣемъ еще положительныхъ правилъ о выгодахъ и невыгодахъ той или другой методы преподаванія! Какъ далеки мы еще отъ того, чтобы дѣйствовать сообща, по опредѣленнымъ и точнымъ началамъ! Одни изъ нашихъ гимназическихъ учителей смотрять на свои обязанности какъ профессора университета, и считают уроки бесполезными; другіе находят спасеніе только въ репетиціяхъ и конспектахъ! Но разберите и обсудите безпристрастно, и вы увидите, что во всѣхъ этихъ крайностяхъ есть доля правды. Примѣните и сюда тѣ же четыре условія, отъ которыхъ зависитъ дѣйствіе образовательной силы наукъ на развитіе той или другой способности ученика, и вы увидите, въ чемъ дѣло. Нельзя всѣхъ и каждого стричь подъ одинъ гребень, а дѣйствовать разумно, примѣняясь къ свойству самого предмета, къ личности и степени развитія учениковъ и самихъ учителей, — вотъ въ чемъ заключается главное дѣло педагогическаго искусства. Это-то и должно быть по преимуществу предметомъ обсужденія педагогическихъ совѣтовъ. Что касается до меня, то я раздѣляю объ этомъ предметѣ мнѣніе, что „учитель никогда не долженъ проводить рѣзкой черты между т.-н. спрашиваніемъ и объясненіемъ урока“. Метода преподаванія, наиболѣе соотвѣтствующая духу гимназическаго ученія, есть, и по моему мнѣнію, та, которую употреблялъ Сократъ. Но какъ Сократовъ, сколько мнѣ извѣстно, еще нѣтъ между нашими учителями, то, конечно, нельзя и вмѣнить имъ въ обязанность, чтобы они такъ же излагали свой предметъ, какъ это дѣлалъ греческій философъ. Сократовъ способъ требуетъ большой сноровки и логики. Немногіе владѣютъ искусствомъ дѣлать логическія наведенія такъ, чтобы учащіеся незамѣтно и непринужденно доходили до сознательнаго отвѣта на заданный вопросъ. Но какъ бы ни были различны личныя способности, свѣдѣнія и степень развитія нашихъ наставниковъ и какъ бы далеко они ни отстояли отъ Сократа, все-таки они всѣ должны почитать прямою ихъ обязанностью удерживать внимательность цѣлаго класса


въ постоянномъ напряженіи. И въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться, что весь успѣхъ „гимназическаго ученія основанъ на взаимодѣйствіи учителя и учениковъ“. Я бы желалъ, чтобы педагогическіе совѣты гимназій серьезно занялись изобрѣтеніемъ мѣръ, необходимыхъ для поддержанія внимательности въ нашихъ классахъ. Опытъ убѣдилъ меня, что въ нашихъ гимназіяхъ еще весьма немногіе изъ учителей обратили свое вниманіе на внимательность учениковъ. Входя въ классъ, видимъ учениковъ, сидящихъ предъ раскрытыми учебниками: одинъ изъ учениковъ, обыкновенно, стоитъ и отвѣчаетъ; другіе сидятъ и читаютъ про себя въ книгѣ или тетрадкѣ; никто не слѣдитъ за отвѣтами товарища; немногіе слушаютъ учителя. Я не разъ пробовалъ останавливать отвѣчающаго на недоконченномъ отвѣтѣ, заставляя продолжать другого, сидящаго чрезъ одну или двѣ скамейки, и нерѣдко убѣждался, что онъ совсѣмъ и не слышалъ, о чемъ шло дѣло. Можно ли ожидать успѣха при такомъ способѣ преподаванія? можно ли думать, что гимназистъ, привыкшій быть невнимательнымъ, или, лучше, не научившійся быть внимательнымъ въ классѣ, будетъ съ пользою посѣщать университетскія лекціи, гдѣ онъ уже совершенно предоставленъ самому себѣ? Быть внимательнымъ къ словамъ и мыслямъ другого есть искусство, и искусство не легкое, которому нельзя научиться, не упражнявшись съ раннихъ лѣтъ; а кто не научился ему въ школѣ, тотъ не годится и для университета. Пора, пора понять намъ, что обязанность гимназическаго учителя не состоитъ только въ одномъ сообщеніи научныхъ свѣдѣній, и что главное дѣло педагогики состоитъ именно въ томъ, какъ эти свѣдѣнія будутъ сообщены ученикамъ. Ошибаются тѣ изъ наставниковъ, которые думаютъ, что они все уже сдѣлали, если изложили науку ученикамъ въ современномъ ея видѣ. Наука—дѣло великое, безграничное, едва достижимое и для жизни, не только для школы. Если школѣ удастся сдѣлать учениковъ воспріимчивыми къ наукѣ, дать имъ сознательное научное направленіе, поселить въ нихъ любовь къ самостоятельнымъ занятіямъ наукою, то больше ничего и требовать нельзя.

Школа только тогда достигаетъ своего назначенія, когда вышедшій изъ нея ученикъ будетъ понимать, что такое на-

учная истина, — когда ему будетъ указано, что такое истинная наука и когда онъ научится вырабатывать ее изъ себя самого, сознательно и самостоятельно. Но этого-то именно наши школы, если и постигаютъ, то еще далеко не достигаютъ. И могутъ ли онѣ достигнуть, если не стараются всѣми силами развить вниманіе учениковъ, — это первое и основное условіе всякой, и научной, и практической, самостоятельности. Рассмотрите начало всякой науки, всякаго открытія, читайте жизнеописанія высокихъ дѣятелей науки, и вы убѣдитесь, что первымъ основаніемъ всему была внимательность. Только тотъ постигалъ истину, кто внимательно изучалъ природу, людей и самого себя.

Итакъ, я предлагаю дирекціямъ, ревностно заботящимся о распространеніи истинно-научнаго образованія, возбудить въ засѣданіяхъ педагогическихъ совѣтовъ слѣдующіе жизненные вопросы нашей педагогики: 1) какой способъ изложенія, при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ, долженъ считаться удобнѣйшимъ для сознательнаго усвоенія каждой науки? 2) какъ направить изложеніе cadaго предмета къ развитію той или другой душевной и умственной способности большей части нашихъ учащихся? и 3) какими мѣрами возбудить и поддержать внимательность цѣлаго класса, столь необходимую для усвоенія науки?

Май, 1859 г.



ШКОЛА И ЖИЗНЬ.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ВАРИАЦІЙ НА ТУ ЖЕ ТѢМУ.)

Мы привыкли издавна противопоставлять жизнь школѣ, и школу — жизни. Мы привыкли видѣть, что воспитаніе и ученіе идутъ сами по себѣ, а жизнь идетъ своимъ чередомъ, сама по себѣ. Мы привыкли думать, что требованія школы не сходятся съ требованіями жизни. И чѣмъ менѣе образованно общество, тѣмъ болѣе разъединены въ его понятіи школа и жизнь.

Правда, въ настоящее время всѣ усилія передовыхъ людей стремятся помирить одну съ другою. Но, покуда, эта мировая ограничивается только одними усиліями помирить.

Прислушайтесь и вникните. Вы придете къ тому результату, что мы еще слишкомъ далеки отъ убѣжденій о неразрывной связи школы съ жизнью. И навѣрное мы замѣтимъ не одну насмѣшливую улыбку, когда вздумаемъ сказать, что учиться и жить есть одно и то же.

Большая часть самыхъ образованнѣйшихъ изъ насъ, вѣрно, скажетъ не болѣе того, что ученіе есть только приготовленіе къ настоящей жизни.

Это, впрочемъ, и не могло быть иначе. Обыкновенно начинаютъ учиться, воспитываться и образовываться съ дѣтскаго возраста; и понятіе о воспитаніи, ученіи и школѣ сливается съ понятіемъ о дѣтскомъ возрастѣ чловѣка. А дѣти не живутъ еще тою жизнью, которую мы себѣ представляемъ настоящей, собственно такъ называемою и опредѣленною. Дѣтская жизнь, по нашимъ понятіямъ, это еще такъ что-то такое

въ родѣ предисловія, или въ родѣ hors d'œuvre жизни. Съ нею, мы думаемъ, нѣтъ еще надобности много церемониться; ее можно, мы полагаемъ, и сжать, и расширить, какъ намъ угодно; ее можно влить въ какую угодно форму и изъ нея выльпить, что намъ, — взрослымъ и истинно-живущимъ, — за-
благоразсудится.

Есть, правда, у насъ офіціальные фразы и пословицы, въ родѣ такихъ, что воспитаніе человѣка начинается съ самаго рожденія и продолжается до смерти, что ученіе — свѣтъ, а неученіе — тьма; но ихъ говорятъ, а вѣрятъ имъ немногіе; а если имъ и вѣрятъ, то мертво — безъ дѣлъ.

Вообще же большую часть родителей, родственниковъ и опекуновъ, которые учатъ и образуютъ, или заставляютъ учиться и образовываться дѣтей, можно подвести подъ три разряда.

Одни изъ нихъ это дѣлаютъ потому, что это такъ уже принято, а все, что всѣми принято, нужно дѣлать охотно и безъ дальнѣйшихъ размышленій.

Другіе учатъ и образуютъ своихъ дѣтей какъ-то нѣхотя, съ заднею мыслью. что хотя это и принято, но что все-таки имъ послѣ, — въ настоящей жизни, — придется разучиваться.

Третьи, наконецъ, — и это еще самые мыслящіе и вкусившіе плодовъ образованія — посылаютъ дѣтей въ школу для того, чтобы ихъ послѣ вытолкнуть въ жизнь по той дорогѣ, которая имъ болѣе знакома, или по той колѣѣ, которая ведетъ ближе къ заранѣ придуманной цѣли.

Надобно признаться: прошедшее и всѣ обстоятельства сложились дѣйствительно такъ, что было бы сверхъестественное чудо, если бы большинство лучше поняло связь жизни съ школою

Надобно признаться: школа — съ своей, а сложившаяся изъ прошедшаго жизнь — съ своей стороны, сдѣлали все возможное, чтобы убѣдить большинство, что между ними ничего нѣтъ общаго

Школа дѣлала что-то свое, не заботясь о жизни; а жизнь шла по своему, не обращая вниманія на школу.

Такъ проходило, такъ и теперь еще проходитъ время. Но, рано или поздно, слѣдствія, началомъ которыхъ были заблужденія, хотя бы и вѣковыя, приводятъ, наконецъ, къ такому по-

ряду вещей, который дѣлается невыносимъ и невозможенъ, и именно потому, что онъ ставитъ насъ въ противорѣчіе со всѣмъ окружающимъ и самими собою, заставляя насъ говорить въ одно и то же время и да, и нѣтъ.

Въ такомъ, или почти такомъ, состояніи находимся мы теперь съ нашими понятіями о воспитаніи. Съ одной стороны, школа начинаетъ понимать, что она безъ жизни и внѣ жизни — нелѣпость; а жизнь видитъ, что она безъ школы не можетъ ни одного шага сдѣлать впередъ, — идти же назадъ ей запрещено предвѣчнымъ закономъ. Наконецъ, всѣ мыслящіе начинаютъ убѣждаться, что школа и жизнь есть одно нераздѣльное цѣлое, что жизнь школьника есть такая же самостоятельная, подчиненная своимъ законамъ, жизнь, какъ и жизнь взрослыхъ учителей.

И если дѣти не имѣютъ ни силы, ни способовъ нарушать законы нашей жизни, то и мы не имѣемъ права безнаказанно и произвольно ниспровергать столь же опредѣленные законы міра дѣтей.

Безъ сомнѣнія, и отцы, и общество, должны заботиться о будущности дѣтей; но это право ограничивается обязанностью развивать всецѣло и всесторонне все благое, чѣмъ надѣлили ихъ Творецъ.

Другого права нѣтъ и быть не можетъ, безъ посягательства на личность, которая одинаково неприкосновенна и въ ребенкѣ, и во взросломъ.

Правда, это ограниченіе правъ общества и отцовъ идеально; на практикѣ, безъ логическаго ослѣпленія, нельзя не допустить исключеній. Но, тѣмъ не менѣе, если идеаль — истинный, то и стремленія къ нему также справедливы. А если такъ, то отцы и общество должны, по возможности, стремиться къ его осуществленію.

Если же недостаточность средствъ, ограниченность ума и недостатокъ образованія отцовъ препятствуютъ имъ осуществлять эти стремленія, то не обязано ли общество и государство, съ своей стороны, — предполагая, что оно богаче и средствами, и мыслями, — помогать къ достиженію этого всецѣлаго, всесторонняго развитія способностей и добрыхъ склонностей ребенка? И эти обязанности общества и государства не дѣ-

лаются ли еще священнѣ тамъ, гдѣ они признають воспитаніе своей монополіей?

Правда, монополія воспитанія, признанная цѣлымъ обществомъ за собою, никогда не обходится, какъ и всѣ прочія монополіи, безъ заднихъ мыслей; общество употребляетъ его какъ средство къ достиженію своихъ извѣстныхъ цѣлей и часто по необходимости дѣлаетъ его не общечеловѣческимъ, а только прикладнымъ. Но если это отступленіе отъ идеала уже необходимо въ практической жизни, то все-таки оно, въ моихъ глазахъ, извинительнѣе отцовскаго отступленія.

Чѣмъ болѣе организовано общество, чѣмъ выше и чище его взглядъ, тѣмъ болѣе оправдывается предъ судомъ исторіи его монополія и тѣмъ извинительнѣе дѣлаются ея прикладныя цѣли въ воспитаніи. А чѣмъ извинить отца, если онъ, также принаравливаясь къ потребностямъ общества, да еще нерѣдко и изъ иныхъ выгодъ, превращаетъ высшее назначеніе воспитанія въ односторонній утилитаризмъ? Но и общество, удерживающее за собою монополію воспитанія, и отцы, воспитывающіе своихъ дѣтей съ прикладною цѣлью, не могутъ быть оправданы предъ судомъ совѣсти, если они начинаютъ направлять воспитаніе къ ихъ прикладнымъ цѣлямъ съ колыбели дѣтей.

Тогда и общество, и отцы не мирятся, а ссорятся школою съ жизнью.

Тогда одностороннее, искусственное воспитаніе, съ его временными и прикладными цѣлями, получаемое въ школѣ, рано или поздно вступить въ разладъ съ жизнью.

Она, вѣчно движущаяся, непрерывно требуетъ полноты и всесторонняго развитія человѣческихъ способностей. Все прикладное, какъ бы оно одностороннимъ ни казалось, уживается и переходитъ въ плоть и кровь только при одномъ этомъ непремѣнномъ условіи.

И откуда взялась школа, какъ не изъ жизни? Не врожденная ли человѣку наклонность развивать болѣе и болѣе все ему присущее была началомъ школы? И если, вышедъ изъ жизни, при первомъ ея началѣ,—стала противорѣчить жизни, то не произошло ли это отъ тѣхъ же самыхъ причинъ, которыя, и въ древнемъ, и въ новомъ мірѣ, нерѣдко ставили и самую церковъ въ противорѣчіе съ жизнью?

Одно изъ двухъ: или понятія, которыя школа сообщала жизни, были невѣрны, и начала, которыми она руководствовалась, не оправдывались жизнью; или же жизнь предъявляла нелѣпныя притязанія къ школѣ и требовала отъ нея того, чего сама не могла дать.

Какъ бы то ни было, но мы видимъ, — иногда доходило и до того, что школа учила не тому, какъ жить, а тому, какъ умирать должно; а жизнь отвергала все школьное, сомнѣваясь даже въ пользѣ и необходимости грамоты.

Наконецъ, какъ болѣзнь, проистекая изъ жизни, иногда ее разрушаетъ, такъ и болѣзнь школы не разъ угрожала разрушеніемъ жизни общества.

Теперь, слава Богу, люди приходятъ все болѣе и болѣе къ тому убѣжденію, что церковь, школа и государство нераздѣльны съ жизнью народовъ.

Но, прежде нежели человѣчество окончательно сольется въ своихъ понятіяхъ школу съ жизнью и сдѣлаетъ одну немыслимою безъ другой, школѣ приходится испытать еще много тревоженій и превращеній.

Положительной формулы для нея еще не найдено. Современное общество бьется, какъ рыба объ ледъ, отыскивая эту формулу.

Въ настоящее время, и именно въ обществѣ еще незрѣвшемъ и мало жившемъ прошедшею жизнью, всего заманчивѣе кажется тотъ взглядъ на школу, который ее представляетъ чѣмъ-то въ родѣ лѣнной модели для приготовленія людей именно такими, какихъ нужно обществу для его обыденныхъ цѣлей.

И въ самомъ дѣлѣ, чего лучше? Общество является потребителемъ, а школа фабрикою, приготовляющею товаръ для потребленія. Запросъ есть; стоитъ только удовлетворить ему, и обѣ стороны довольны. Вопиющее современное всегда ближе сердцу и доступнѣе мысли, чѣмъ далекое будущее. Для чего вдумываться, что будетъ чрезъ 25 или 30 лѣтъ, когда новое поколѣніе начнетъ замѣнять старое? Правда, что всякій изъ насъ, спускаясь подъ гору, начинаетъ чувствовать себя какъ-то неловко и сознавать, что онъ не воспитывался для будущаго, но, проживъ такъ или сякъ и безъ того, и думая, что въ это

время жилось даже лучше, мѣряетъ на свой аршинъ будущее поколѣніе, совѣтуя и ему поступать такъ же и идти по его стопамъ.

И вотъ школа, сначала разрознившаяся съ жизнью, начинаетъ сливаться съ нею; и та, и другая, начинаютъ болѣе понимать другъ друга, но какъ?

Общество и государство, примѣняясь къ настоящему и дѣлая воспитаніе своею монополіей, употребляетъ школу, во-первыхъ, какъ проводникъ къ распространенію въ будущемъ поколѣніи однихъ только извѣстныхъ убѣжденій, взглядовъ и понятій; во-вторыхъ, какъ разсадникъ спеціалистовъ, ему необходимыхъ для достиженія извѣстныхъ обыденныхъ цѣлей.

Отцы, примѣняясь къ этому же направленію общественнаго воспитанія, посылаютъ дѣтей въ школу: во-первыхъ, чтобы воспитать ихъ для хлѣба, и, притомъ, елико возможно, не на своемъ, а на чужомъ или общественномъ иждивеніи; во-вторыхъ, чтобы воспитать ихъ въ духѣ того сословія, къ которому принадлежать сами, и, разумѣется, въ тѣхъ же самыхъ убѣжденіяхъ и предубѣжденіяхъ.

Итакъ, школа, и примиренная съ жизнью, на первыхъ порахъ не преслѣдуетъ еще никакихъ широкихъ и общечеловѣческихъ цѣлей. Напротивъ, она дѣлается еще болѣе одностороннею и прикладною, чѣмъ въ началѣ своего существованія, когда она, основанная благочестіемъ и гуманностью передовыхъ людей, была болѣе отдѣлена отъ жизни.

Но все же лучше примириться съ жизнью, какова она ни есть, нежели быть съ нею въ полномъ разладѣ. Вотъ почему настоящее положеніе школы все-таки нужно считать шагомъ впередъ.

Но остановиться на этомъ—значило бы мирить школу съ жизнью только на половину. Мало этого: это значило бы признать безусловно первенство жизни предъ школою и рабскую зависимость отъ настоящаго, тогда какъ все будущее жизни находится въ рукахъ школы, и, слѣдовательно, ей принадлежитъ гегемонія.

Если мы, привыкнувъ считать по наслышкѣ, по преданію и по собственному опыту, школу въ разладѣ съ жизнью и теоріею—какимъ-то противоположеніемъ практикѣ, теперь, съ

каждымъ днемъ, все болѣе и болѣе убѣждаемся, что настало время имъ помириться, то уже нельзя останавливаться на серединѣ дороги.

И отцы, и общество, и государство, должны стремиться возстановить смыслъ и права школы, проистекающія изъ самой жизни. Должно возстановить прямое назначеніе школы, примиренной съ жизнью, — быть руководителемъ жизни на пути къ будущему.

И этого достигнемъ только тогда, когда всѣ человѣку дарованныя способности, всѣ благородныя и высокія стремленія найдутъ въ школѣ средства къ безконечному и всестороннему развитію, безъ всякой задней мысли и безъ рановременныхъ заботъ о приложеніи.

Когда учиться, образоваться и просвѣтитесь — сдѣлается такою же инстинктивною потребностью общества, какъ питаться и кормиться тѣлу, тогда приложеніе придетъ, безъ хлопотъ, само собою.

Надобно достигнуть того, чтобы здравый смыслъ измѣнилъ самый языкъ. И когда будемъ говорить и мыслить о воспитаніи, то нужно, чтобы высшія понятія, присущія словамъ: ученіе, образъ и свѣтъ, замѣнили матеріальное представленіе питанія, приличнаго тѣлу, а не духу.

Только тогда мы можемъ быть спокойны за успѣхъ въ будущемъ, только тогда можемъ ожидать истиннаго прогресса въ нашемъ обществѣ, когда приложеніе будетъ проистекать само собою, безъ всякой искусственной и насильной моделировки незрѣлыхъ умовъ и понятій.

Человѣческому духу, всецѣло и всесторонне развитому, присуща наклонность употреблять и примѣнять имъ приобрѣтенное, безъ всякой насильственной подготовки. Просвѣщенному уму не нужны рамы, заказанныя по мѣркѣ; онъ самъ для себя создаетъ ихъ, убѣждаемый безконечностью и безпредѣльностью свѣдѣнія.

Не врожденна ли всѣмъ намъ наклонность сообщать другъ другу приобрѣтенныя свѣдѣнія? И чтѣ же это такое, какъ не свойство духа примѣнять приобрѣтенное?

Если же прикладное образованіе и считается покуда необходимымъ въ нашемъ обществѣ, то предъ истиннымъ идеа-

ломъ воспитанія оно оказывается только временнымъ и неизбѣжнымъ недостаткомъ. Оно доказываетъ только слабость нашихъ силъ, слабость воли, слабость любви къ человѣчеству и къ истинѣ.

И въ настоящее время невозможность дать образованію всѣхъ слоевъ общества высшее общечеловѣческое значеніе зависитъ отъ такихъ причинъ, которыя, отчасти по крайней мѣрѣ, могли бы быть уменьшены, если-бы мы всѣ были проникнуты его необходимостью и истиною.

Къ этимъ причинамъ принадлежатъ:

Во-первыхъ, природная ограниченность ума, врожденная слабость и односторонность способностей учащихся.

Во-вторыхъ, недостатокъ матеріальныхъ средствъ, заставляющій учащихся какъ можно скорѣе доставать, а ихъ отцовъ—доставлять имъ пропитаніе и насущный хлѣбъ.

Въ-третьихъ, убѣжденіе, что вредно выводить высшимъ образованіемъ цѣлые классы общества изъ той сферы занятій, привычекъ и понятій, въ которой они родились.

Въ-четвертыхъ, жизненные потребности общества въ ограниченной, прикладной и односторонней дѣятельности большинства лицъ.

Въ-пятыхъ, особенности нѣкоторыхъ спеціальныхъ занятій, требующія изученія съ самаго ранняго возраста жизни.

Наконецъ, въ-шестыхъ, сословные и другіе предразсудки, повѣрья и предубѣжденія отцовъ и цѣлаго общества.

Но изъ всѣхъ этихъ причинъ только врожденная слабость и односторонность способностей и особенности нѣкоторыхъ занятій болѣе или менѣе оправдываютъ рапременную спеціальность образованія. Да и про нихъ можно думать, что время и дальнѣйшіе успѣхи науки многое перемѣнятъ. Сколько ограниченныхъ и тупоумныхъ дѣтей нашлось бы теперь между нашими учениками, если-бы ихъ заставили учиться грамотѣ по прежней методѣ: „буки-азъ-ба“? Сколько учениковъ, и въ наше время, слывутъ въ школѣ тупоголовыми, а въ жизни оказываются умнѣ учителей?

Еще менѣе можно сомнѣваться въ томъ, что и тѣ спеціальныя занятія, котрымъ приносятъ въ жертву ранній возрастъ и неразвившіяся способности ребенка, съ успѣхами об-

разованія потребуютъ гораздо менѣе времени жизни. Не будучи морякомъ, я не смѣю утверждать, но позволяю себѣ думать, напримѣръ, что съ введеніемъ пароходовъ можно гораздо скорѣе научиться морской службѣ, чѣмъ прежде.

Что же касается до всѣхъ другихъ причинъ, то ни одна изъ нихъ не можетъ назваться и приблизительно непреодолимою.

Если-бы все общество и истинные его филантропы приняла къ сердцу общечеловѣческое образованіе, то что могло бы помѣшать имъ открыть, напримѣръ, воскресныя школы и публичные курсы въ свободные отъ работъ часы и употребить всѣ средства современной педагогики къ распространенію общечеловѣческихъ свѣдѣній въ рабочихъ классахъ? Чего бы ни могло сдѣлать для нихъ одно наглядное ученіе въ рукахъ дѣльныхъ наставниковъ? И развѣ мало пропадаетъ времени, даромъ употребляемаго этимъ классомъ народа не на работу, а на праздный разгулъ?

Убѣжденіе, что обществу вредно переносить цѣлыя его классы, общечеловѣческимъ или высшимъ образованіемъ, въ другой кругъ дѣйствій, взглядовъ и понятій, можетъ быть, и имѣть свою долю правды, но только очень относительной.

Только одно слишкомъ неравномѣрно распредѣленное образованіе въ различныхъ слояхъ общества дѣйствительно вредить ему. Только при такомъ ненормальномъ распредѣленіи вкореняется убѣжденіе, что образованіе должно быть монополіей привилегированныхъ кастъ, и только при господствѣ такихъ взглядовъ переходы массами изъ одного класса въ другой нарушаютъ общій порядокъ. Но кто же не видитъ, что распространеніе общечеловѣческаго образованія между всѣми классами именно и назначено устранить ненормальное состояніе общества? И не этимъ ли путемъ только можно уничтожить бездну, раздѣляющую касты?

Также и временная, хотя бы жизненная, потребность общества въ одностороннихъ, но дѣятельныхъ спеціалистахъ нисколько не опровергаетъ еще болѣе существенной необходимости общечеловѣческаго образованія. Есть время и для того, и для другого. Нужны только добрая воля, здравый смыслъ и умѣнье распространить и то, и другое. А если этого нѣтъ,

то, повѣрьте, и специализмъ не переварится въ плоть и кровь общества. Онъ будетъ сухою и безсочною выжимкой, приготовленной гнетомъ.

Говорить ли, наконецъ, объ общественныхъ, сословныхъ, семейныхъ и личныхъ предразсудкахъ, поддерживающихъ искусственную систему спеціальнаго образованія?

Напрасно; тѣ, которые ихъ имѣютъ,—неизлечимы. Что же слѣдуетъ? Значить ли все это, что спеціальное образованіе вовсе не нужно?

Жаль, если здѣсь высказанныя убѣжденія будутъ такъ перетолкованы.

Что здѣсь говорится—есть только варіація на прежнюю тѣму. Пусть же увѣрятся, что и теперь, и прежде сказанное есть глубокое убѣжденіе, котораго ни время, ни опытъ, ни обстоятельства не измѣнили. А это чего-нибудь да стоитъ.

Въ этомъ убѣжденіи есть много идеальнаго и, слѣдовательно, недостижимаго. Но все-таки указанъ путь и указано направленіе; указана и далекая цѣль.

Школа не иначе можетъ совершенно и нераздѣльно слиться съ жизнью, какъ принявъ на себя дѣло и общечеловѣческаго, и спеціальнаго образованія. Скажу болѣе: настанетъ время, когда и самые высшіе представители человѣческаго образованія—университеты—распадутся на отдѣльныя спеціальныя, или факультетскія, школы.

Это распаденіе не нуждается въ наполеоновскихъ реформахъ, разрушившихъ насильно связь факультетовъ во Франціи.

Постоянно увеличивающійся объемъ научнаго матеріала дѣлаетъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе то, что отдѣльныя части науки возводятся на степень самой науки. Жизни дѣлается мало для полнаго изученія каждаго отдѣла. Это одно обстоятельство уже должно способствовать болѣе спеціальному, чѣмъ общечеловѣческому образованію.

Оно, не нарушая, а укрѣпляя органическую связь, повидимому, самыхъ разнородныхъ связей, дѣлаетъ, однако-же, невозможнымъ изучать серьезно двѣ или нѣсколько наукъ вмѣстѣ. Поэтому всеобъемлющіе умы прошедшихъ столѣтій сдѣлались невозможными въ наше время.

Итакъ, вотъ первое условіе, заставляющее по-неволѣ и са-

мыхъ любознательныхъ ограничиваться спеціальнымъ образованіемъ.

Есть еще и другое. Если не для всѣхъ, то для большей части умовъ вредны многостороннія занятія. Умъ, слишкомъ развлекаемый, скользитъ, такъ сказать, мыслью по поверхности. А много есть предметовъ, которыхъ лучше совсѣмъ не знать, чѣмъ плохо знать. При спеціальному образованіи можно легче избѣгнуть поверхностности ума; при общечеловѣческомъ — говорить — невозможно.

Есть, наконецъ, и третье условіе, изобрѣтенное слабоуміемъ и лѣнью. Это — убѣжденія въ родѣ тѣхъ, которыя Фонъ-Визинъ выставялъ на позоръ еще въ прошедшемъ столѣтіи.

Всѣ эти условія особливо убѣдительны для общества не-созрѣвшаго, гдѣ люди еще не привыкли вдумываться, гдѣ прямое слѣдствіе поражаетъ умы такъ сильно, что дѣлаетъ ихъ неспособными думать о слѣдствіяхъ отдаленныхъ, хотя бы и болѣе существенныхъ, болѣе важныхъ. Такое общество живетъ постоянно подъ вліяніемъ первыхъ впечатлѣній. Прямые и непосредственныя выгоды спеціальнаго образованія такъ очевидны и разительны для большинства, что ему и въ голову не приходитъ раздуматься о невыгодахъ, которыя не такъ ясны и медленно появляются наружу.

Трудно, неимоверно трудно, разувѣрить людей въ томъ, что они однажды приняли, не вдумавшись.

Трудъ разувѣрять ихъ — неблагодарный, нерѣдко опасный; но совѣсть требуетъ его исполнить.

Въ сущности, вся оппозиція нашего большинства противъ общечеловѣческаго образованія вертится на одномъ, для многихъ, еще неразрѣшенномъ вопросѣ: на что учиться тому, изъ чего нельзя сдѣлать непосредственнаго приложенія?

Вопросъ этотъ не могъ не возникнуть для тѣхъ, которые не понимаютъ образовательной силы, присущей каждой отрасли человѣческихъ свѣдѣній, или плохо ей вѣрятъ.

И дѣйствительно, тому, кто на самомъ себѣ не испыталъ дѣйствія этой силы, нельзя никакъ растолковать, въ чемъ дѣло.

Пожалуй, найдутся и такіе, которые и вообще не поймутъ надобности давать дѣйствовать этой силѣ на всѣ спо-

способности человека. Но это будутъ опять Фонъ-Визинскіе типы, которымъ девятнадцатое столѣтіе не отвѣчаетъ.

Если бы этотъ вопросъ можно было уяснить для большинства, — а уяснить его можно только опытомъ, — то оставалось бы только доказать: во-первыхъ, что и въ настоящее время, не смотря на громадность научнаго матеріала, общечеловѣческое образованіе все еще возможно настолько, насколько оно необходимо для равномѣрнаго и всесторонняго развитія всѣхъ способностей души; во-вторыхъ, что, проводя систему общечеловѣческаго образованія, проводя во-время, съ пониманіемъ дѣла и цѣли, можно избѣгнуть неудобствъ поверхностнаго всезнаительства и энциклопедизма.

А это, дѣйствительно, такъ и есть. Нужно только: первое и главное, начать во-время и перейти во-время къ образованію спеціальному.

Потомъ, — второе, — выбрать такіе способы ученія, которые направляли бы образовательную силу каждой отрасли свѣдѣнія на способность духа, служившую ей началомъ, помня, что въ мірѣ идей есть тоже свой законъ тяготѣнія свѣдѣній къ свойствамъ духа.

Третье, — распределить хорошо занятія, не обременяя слишкомъ въ одно и то же время разнородную дѣятельность памяти, воображенія, ума и наружныхъ чувствъ, но и не напрягая слишкомъ дѣйствія одной способности однообразнымъ занятіемъ.

Исполнивъ эти три условія, нечего бояться, что общечеловѣческое образованіе можетъ сдѣлать умъ поверхностнымъ. Правильно развитыя способности души заставляютъ уже умъ углубляться и останавливаться на томъ, что требуетъ сосредоточенныхъ его дѣйствій.

Тѣ грубо ошибаются, которые думаютъ, что одни только сосредоточенныя дѣйствія духа по одному направленію ведутъ къ глубокимъ познаніямъ предмета и порождаютъ глубокомысліе. Ничего не бывало. Безъ правильнаго развитія всѣхъ способностей души и способность ума сосредоточиваться можетъ быть врожденнымъ даромъ Бога, но уже никакъ не плодомъ воспитанія.

Если духъ, разъ безъ подготовки направленный на изу-

ченіе одного предмета, и можетъ приобрѣсти обширныя свѣдѣнія, то все-таки ему, и въ этомъ одностороннемъ изученіи, никогда не будутъ доступны тѣ взгляды на изучаемый предметъ, которые возможны только при умѣннѣхъ отдѣляться отъ него въ другія, высшія или низшія, сферы созерцанія. Это умѣнне приобрѣтается не иначе, какъ знакомствомъ съ различными отраслями свѣдѣній, служившихъ къ развитію всѣхъ способностей духа.

Одно только трудно преодолѣть въ системѣ общечеловѣческаго образованія. Это—распредѣленіе времени для разностороннихъ занятій ученика. Нужно осторожно лавировать между крайностей: нужно хорошо знать, когда остановиться и когда идти далѣе, когда замѣнить одно занятіе и одинъ способъ другимъ.

Но и специальное образованіе не изъято отъ этихъ трудностей и невыгодъ. И въ томъ, и въ другомъ, все зависитъ отъ личности наставниковъ.

То вѣрно: кто проникнуть высокимъ значеніемъ школы въ жизни человѣка; кто оправдываетъ благородныя стремленія къ идеалу,—какъ бы онъ недоступенъ ни былъ,—тотъ не долженъ ни минуты сомнѣваться въ выборѣ. Только одна бѣдность можетъ извинить отца, избирающаго произвольно специальное поприще для образованія сына, и то только въ такомъ случаѣ, когда специальное образованіе можетъ быть скорѣе окончено и общааетъ ему дать, не очерствляя лучшихъ способностей души, независимое положеніе въ обществѣ съ насущнымъ хлѣбомъ на цѣлую жизнь.

Даже и тѣмъ отцамъ, которые въ воспитаніи своихъ дѣтей ищутъ средства удовлетворить сословнымъ и корпоративнымъ предразсудкамъ, нечего опасаться общечеловѣческаго образованія. Если ребенокъ, въ пеленкахъ, окруженъ уже всѣми атрибутами будущаго призванія, которое ему готовитъ отецъ; если цѣлое общество не противорѣчитъ сословнымъ понятіямъ отца и сочувствуетъ любимымъ его мечтамъ, то чего же бояться? Общечеловѣческое образованіе разовьетъ способности; но оно не сильно убить склонности, возбужденныя въ ребенкѣ отъ колыбели и находящія пищу въ томъ, что его окружаетъ. Спѣшить нечего; придетъ время, и онъ выберетъ самъ то по-

прище, къ которому его готовятъ иногда до рожденія на свѣтъ. Для чего же лишать его выгодъ общечеловѣческаго образованія?

Да, впрочемъ, въ сущности, и нѣтъ никого, кто бы совершенно и сознательно отрицалъ его необходимость. Недоразумѣнія только относятся до степени. Никто не сомнѣвается, что всѣмъ образованнымъ, и спеціалистамъ, и неспеціалистамъ, нужна грамота, нужно знаніе слова, нужно понятіе о числѣ, времени и пространствѣ. О чемъ же споръ? Не ясно ли, что дѣло идетъ только о степени.

Одни повышаютъ, другіе понижаютъ только уровень, до котораго должно доходить общечеловѣческое образованіе.

Одни примѣшиваютъ къ первымъ его началамъ уже извѣстную спеціальность и реализмъ; другіе стараются сохранить чистымъ гуманное начало ученія до того возраста, когда человѣкъ по-человѣчески, то-есть съ полнымъ сознаніемъ, скажетъ: я буду именно тѣмъ, а не другимъ.

Одни, примѣняясь къ обстоятельствамъ и къ господствующимъ мыслямъ общества, — иногда заднимъ, — обращаютъ плащъ по вѣтру и дѣлаютъ воспитаніе своихъ дѣтей съ самаго начала прикладнымъ. Другіе смотрятъ выше, — хотятъ подчинить общество воспитанію и чрезъ воспитаніе управлять будущими его судьбами.

Еще менѣе согласны въ томъ, какіе уровни нужно назначить общечеловѣческому образованію для различныхъ классовъ общества.

То только несомнѣнно, что чѣмъ менѣе будетъ для него назначено различныхъ уровней, тѣмъ выше поднимется гражданственность общества.

Лучшая норма будетъ опредѣляться двумя.

Одинъ изъ нихъ долженъ быть приведенъ для большинства, то-есть для тѣхъ слоевъ общества, которые, по скудости средствъ, не могутъ пользоваться долго благами общечеловѣческаго просвѣщенія и ищутъ какъ можно скорѣе матеріальной помощи.

Другой должно назначить для всѣхъ стремящихся получить высшее образованіе, — все равно, останется ли оно для

нихъ на цѣлую жизнь чисто-гуманнымъ, или перейдетъ со-
временемъ въ спеціально-реальное.

Во всѣхъ народныхъ, сельскихъ и городскихъ школахъ
общечеловѣческое образованіе должно какъ можно ранѣе и
какъ можно прямѣе переходить въ реальное и прикладное. А
общечеловѣческое образованіе среднихъ и высшихъ классовъ,
до перехода въ спеціальное, ничѣмъ, въ сущности, не можетъ
быть различно. Уровень его для этихъ двухъ классовъ мо-
жетъ быть повышенъ или пониженъ, не по сословіямъ и не
по кастамъ, а по состоянію, смотря по тому, кто богаче или
бѣднѣе, кто болѣе или менѣе можетъ обойтись безъ мате-
ріальныхъ пособій, доставляемыхъ приложеніями науки къ
жизни.

Опредѣливъ, что уровень общечеловѣческаго образованія
долженъ быть, въ настоящее время, двоякій для различныхъ
слоевъ общества, нужно еще опредѣлить, какія отрасли вѣдѣ-
нія и въ какомъ объемѣ должны относиться къ одному и ка-
кія—къ другому уровню. Но этотъ вопросъ никогда не раз-
рѣшится окончательно. Его разрѣшить можно не иначе, какъ
пожертвовавъ одною отраслью для другой, какъ доказавъ ма-
тематически, что одна отрасль несравненно болѣе содѣйствуетъ
развитію всѣхъ способностей души, чѣмъ другая. А этого до-
казать нельзя.

Но если этотъ вопросъ и остается еще неразрѣшеннымъ
для науки и педагогическаго искусства, то это не интере-
суетъ родителей. Если у васъ есть большое дитя, то развѣ
для васъ не все равно, по какой методѣ его будутъ лечить,—
лишь бы возвратили здоровье. Для чего же вамъ спорить,
хлопотать и теряться въ недоумѣніяхъ: что полезнѣе вашему
сыну—учиться ли по-латыни и по-гречески, или по-французски
и по-англійски? Повѣрьте, въ рукахъ дѣльнаго педагога, и
древніе, и новые языки, и всѣ предметы общечеловѣческаго
образованія не останутся безъ пользы для развитія умствен-
ныхъ способностей. Ищите убѣдиться въ другомъ,—и въ са-
момъ главномъ,—въ личности людей, которымъ вы повѣряете
образованіе вашего сына. Посредствомъ ли изученія древнихъ
языковъ и математики, или посредствомъ новыхъ и естество-
вѣдѣнія совершится общечеловѣческое образованіе вашего сына,

все равно—лишь бы сдѣлало его человѣкомъ. Преимущество и выгоды различныхъ способовъ этого образованія такъ очевидны и такъ значительны, что нѣтъ возможности, въ настоящее время, сказать, который лучше.

Когда школа была въ полномъ разладѣ съ жизнью; когда она и родителямъ, и дѣтямъ, казалась какимъ-то гробомъ, то и грамота, и изученіе родного слова казались бременемъ, во все лишнимъ для жизни. Жилось и такъ прекрасно. Теперь это повѣрье перешло на древніе языки, да и на другіе предметы гуманнаго образованія. И теперь еще не совсѣмъ кончилась борьба жизни съ грамотою. Какъ прежде, въ разгарѣ этой борьбы, для самыхъ высшихъ слоевъ общества, неясна была польза отъ связи жизни съ грамотою, и они поддерживали эту борьбу напропалую, такъ и теперь еще для многихъ не разъяснилась органическая связь жизни съ высшими звеньями гуманизма, и они отъ грамоты,—съ которою уже помирились,—спѣшать, что называется сломя голову, удалиться въ реализмъ.

Школа и жизнь все еще не помирились.

Январь, 1860 г.



ЦѢЛИ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ БЕСѢДЪ ВЪ ГИМНАЗІЯХЪ.

Цѣль всѣхъ научныхъ бесѣдъ есть размѣнъ мыслей, взглядовъ и убѣжденій бесѣдующихъ. Онѣ мощно содѣйствуютъ къ узнанію и разъясненію истины, а слѣдовательно и къ усовершенствованію науки.—Принадлежатъ ли—спрашивается—наши гимназическія литературныя бесѣды къ числу научныхъ бесѣдъ?

Дѣлая этотъ вопросъ, мы, значить, спрашиваемъ себя: служить ли разработка и усовершенствованіе науки ихъ главною цѣлью? Очевидно, нѣтъ, и именно по той очевидной причинѣ, что сама гимназія не можетъ имѣть своею цѣлью — разработывать и подвигать науку впередъ. Это дѣло университетовъ и академій. Гимназія есть только преддверіе университета; она должна только приготовить учащихся къ воспринятію и разработкѣ науки, излагая ее въ извѣстной мѣрѣ, въ извѣстномъ объемѣ и въ современномъ видѣ и способствуя общечеловѣческимъ образованіемъ къ всестороннему развитію всѣхъ благихъ способностей человѣческаго духа. Какая же — спрашивается опять — цѣль гимназическихъ бесѣдъ? Онѣ названы литературными не въ тѣсномъ, а въ обширномъ смыслѣ этого слова. Не собственно такъ-называемая литература отечественнаго или иностранныхъ языковъ, а упражненіе въ литературныхъ занятіяхъ всѣхъ въ гимназіи преподаваемыхъ наукъ должно быть цѣлью этихъ бесѣдъ. Онѣ должны служить мощнымъ пособіемъ учащимся къ ученическому образованію. Онѣ должны готовить къ университету. А вамъ нужно знать, какъ важно значеніе этого слова: „быть приготовленнымъ къ вступленію въ университет“. Вамъ нужно знать, что изъ 100 оканчивающихъ гимназическій курсъ 90 навѣрное еще не приготовлены, хотя бы по экзамену и вступили въ число студентовъ университета. А отчего? Оттого, что въ гимназіяхъ они

не приготовлялись къ самостоятельному научному труду, безъ котораго ученіе въ университетѣ бесплодно. — Итакъ, вотъ собственная цѣль нашихъ т.-н. литературныхъ бесѣдъ. Итакъ, онѣ должны послужить средствомъ къ упражненіямъ этого рода. И потому всякое проявленіе самостоятельнаго труда учащихся въ литературной бесѣдѣ должно быть дорого и знаменательно для наставниковъ-руководителей въ этихъ бесѣдахъ. Оно возбуждаетъ надежду, что университетъ получить изъ ихъ рукъ ученика, уже хорошо ознакомленнаго съ тѣмъ родомъ научныхъ работъ, который ему предстоитъ во время бытности его въ университетѣ, хорошо подготовленнаго къ умственнымъ занятіямъ и уяснившего себѣ цѣль и значеніе умнаго ученія. Но слѣдуетъ ли изъ этого, что выборъ предметовъ для упражненія въ научномъ самостоятельномъ трудѣ въ нашихъ литературныхъ бесѣдахъ можетъ быть совершенно своеволенъ и безразличенъ, что онъ можетъ быть предоставленъ случаю? Кто такъ думаетъ изъ участниковъ въ нашихъ бесѣдахъ, тотъ сильно ошибается и смѣшиваетъ чисто-научныя бесѣды съ нашими литературными, не уяснивъ себѣ хорошо того различія, которое должно существовать между ними и о которомъ я уже намекалъ, кажется, довольно ясно. Допустить совершенную безразличность въ выборѣ предметовъ труда, значило бы допустить мысль, что учащійся въ гимназіи уже настолько опытенъ въ самостоятельномъ трудѣ, настолько созрѣлъ умственно и научно, что можетъ уже соразмѣрить свои силы и свѣдѣнія съ предстоящимъ ему дѣломъ. Не значило ли бы это, другими словами, предположить, что онъ вполне знакомъ и со всѣми трудностями, и съ тѣми вопросами, которые обыкновенно возникаютъ при предстоящей ему разработкѣ предмета, съ тѣми средствами, которыми ему нужно будетъ воспользоваться, и, наконецъ, что онъ уже уяснилъ себѣ вполне и ту органическую связь, которая обнаруживается во всѣхъ научныхъ вопросахъ, требующую, для разрѣшенія ихъ, свѣдѣній перѣдко глубокихъ и многостороннихъ. Предположивъ это, значить, мы бы предположили такія условія, которыхъ мы не можемъ въ настоящее время требовать и отъ учащихся въ университетѣ. Все это и было причиною, почему при самомъ учрежденіи литературныхъ бесѣдъ я предложилъ гг. наставникамъ указать

учащимся именно на такіе предметы, которые бы имъ были дѣйствительно по силамъ, и которые бы, при ихъ разработкѣ, могли дѣйствительно приучить учащихся къ самостоятельному труду. Вся будущая участь нашихъ бесѣдъ, все осуществленіе ихъ цѣли зависитъ именно отъ искусства выбрать такой предметъ, который не осилилъ бы избравшаго, а, напротивъ, котораго бы осилилъ избравшій. Это есть особеннаго рода тактъ. Его имѣютъ не всѣ, и даже рѣдкіе. Мы видимъ, что и болѣе опытные дѣятели науки при избраніи предмета впадаютъ въ непростительныя ошибки отъ недостатка этого такта, отъ самонадѣянности, желанія блеснуть и подражать другимъ, болѣе счастливымъ, не размѣривъ хорошо ни собственныхъ силъ, ни глубины предстоящаго имъ труда. Чѣмъ неопытнѣе самъ избиратель, чѣмъ менѣе онъ созрѣлъ и чѣмъ болѣе онъ самонадѣянъ, тѣмъ легче онъ можетъ промахнуться въ избраніи предмета. — Наблюдая постоянно и зорко за ходомъ нашихъ литературныхъ бесѣдъ, я именно это замѣтилъ. Не скажу, чтобы онѣ совсѣмъ не достигли своей полезной цѣли. Нѣтъ, многіе изъ участвовавшихъ въ нихъ доказали явное и научное стремленіе и любовь къ занятіямъ, и дарованіе; и слѣдовательно оправдали наши надежды въ томъ, что бесѣды могутъ дѣйствительно послужить средствомъ къ развитію самостоятельной дѣятельности и къ приготовленію въ университетъ. Но, къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ тѣмъ, я замѣтилъ, что немногіе прислушались къ голосу опыта и воспользовались даннымъ совѣтомъ. Нѣкоторые, напримѣръ, избирали предметъ самый обширный, не имѣвъ твердости ограничить свой кругозоръ и желая лучше скользить мыслью по огромной поверхности, чѣмъ проникнуть ею въ ограниченное пространство поглубже. Отъ этого вся ихъ работа оказывалась разведенною общими мѣстами и ничего не заключающими въ себѣ взглядами. Другіе, напротивъ, избирали предметъ уже самый ограниченный и замкнутый въ предѣлахъ, доступныхъ для одного только спеціалиста, посвятившаго цѣлую жизнь разработкѣ одной отрасли человѣческихъ свѣдѣній. Третьи, наконецъ, грѣшили не столько относительно границъ и объема избраннаго ими предмета, сколько въ отношеніи его свойствъ, а потому и промахъ былъ не количественный, а качественный. Ни тѣ, ни другіе, ни третьи не взяли

въ соображеніе, при выборѣ предмета, окружающей ихъ среды; всѣ перецѣнили свои силы, и потому всѣ, вмѣсто ясныхъ и неподдѣльныхъ усилій самостоятельнаго труда, обнаружили въ своихъ работахъ не свое, а чужое, отъ котораго они не могли отдѣлаться, потому что не могли сладить съ избраннымъ ими предметомъ, не имѣя еще достаточной зрѣлости и опыта жизни, чтобы умѣть на него смотрѣть не съ одной и не съ двухъ, а со всѣхъ сторонъ. Многіе не уяснили себѣ даже и того, что и чужое передать такъ, чтобы оно не оказалось непереваренною массою, нужно имѣть много своего въ запасѣ.

Но мнѣ будетъ очень жаль, если сказанное мною будетъ перетолковано въ худую сторону и отнять у иныхъ желаніе участвовать въ нашихъ бесѣдахъ. Правда, хотя бы и жестоко выраженная, не должна быть страшна никому. Намъ всѣмъ, отыскивая ее, и на пути къ ней, придется еще не разъ спотыкнуться. Бѣда не въ этомъ; но то бѣда, если мы останемся глухи къ голосу опыта, которому уже знакома дорога къ правдѣ со всѣми ея трудностями.

А опытъ говорить, что самостоятельный трудъ никому сразу не дается. Въ немъ нужно испробовать свои силы съ чрезвычайною постепенностью. Самый высокій талантъ легко опозорится, если, слишкомъ самоувѣренный, захочетъ съ перваго раза измѣрить свои силы въ такомъ дѣлѣ, которое требуетъ огромныхъ предварительныхъ свѣдѣній, зрѣлости ума въ сужденіи и опыта въ жизни. Ни „Фауста“, Гёте, ни „Анналовъ“ Тацита никогда не напишетъ шестнадцатилѣтній юноша уже и потому, что онъ, незнакомый съ жизнью, не можетъ еще и понять исполнѣ все высокое и всю глубину мыслей, содержащихся въ этихъ твореніяхъ. Итакъ, — повторяю, — искусный и съ тактомъ предпринятый выборъ труда, означающій вѣрное знаніе самого себя и слѣдующее отсюда искусство совладать съ избраннымъ предметомъ, — вотъ необходимое условіе для начинающихъ пріучаться къ самостоятельно-научному труду. Прошу принять къ сердцу эти указанія, вытекшія изъ желанія быть вамъ истинно полезнымъ на пути къ научному образованію, и руководствоваться ими, приготовляясь выступить на эту многотрудную дорогу.

Марта 1860 г.

ЗАМѢЧАНІЯ НА ОТЧЕТЫ МОРСКИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ

ЗА 1859 ГОДЪ.

Не касаясь, при разсмотрѣніи отчетовъ, частныхъ, требующихъ знанія морского дѣла, я изложу мое мнѣніе только о главныхъ основаніяхъ, общихъ для учебной части всѣхъ вѣдомствъ.

I.

Изъ всѣхъ отчетовъ видно, что въ морскихъ учебныхъ заведеніяхъ господствуетъ тоже экзаменаціонное направленіе, какъ и въ учебныхъ учрежденіяхъ министерства народнаго просвѣщенія. Но въ морскомъ вѣдомствѣ, кажется, оно развито еще болѣе. Такъ, изъ отчета по морскому кадетскому корпусу усматривается, что годичные экзамены для гардемариновъ и офицеровъ офицерскихъ классовъ продолжались съ 23-го марта по 28-е апрѣля, для кадетъ—съ 20-го апрѣля по 23-е мая, для старшихъ гардемариновъ—съ 24-го августа по 4-е сентября; а въ офицерскихъ классахъ лекціи весною окончились 31-го марта, съ началомъ экзамена, который продолжался въ старшемъ классѣ до 28-го апрѣля, а въ остальныхъ двухъ—до 2-го мая. Главный экзаменъ продолжался съ 1-го по 8-е мая. Въ инженерномъ и артиллерійскомъ училищѣ переводный экзаменъ продолжался съ 20-го марта по 15-е мая, а выпускной—съ 15-го марта по 1-е мая, и т. д.

Не знаю, что опытъ показалъ морскому учебному вѣдомству о пользѣ и необходимости переводныхъ и другихъ экзаменовъ; но я почти ежедневно убѣждаюсь изъ опыта, что экзаменаціонное направленіе въ нашихъ училищахъ не приноситъ никакихъ благихъ результатовъ. Оно вредно, оно возбуждаетъ наклонность въ учащихся учиться для экзамена, а не для науки. Многіе изъ учащихся плохо занимаются цѣлый годъ, съ тою заднею мыслью, что предъ экзаменами они засядутъ и догонятъ. Оффиціальная же обстановка, съ которою обыкновенно соединены эти испытанія, не содѣйствуетъ, а скорѣе препятствуетъ безпристрастному и точному рѣшенію вопроса о свѣдѣніяхъ учащихся. Переводные экзамены отнимаютъ много времени отъ учебнаго курса, которое при нашемъ, и безъ того уже (по причинѣ многихъ праздниковъ) кратковременномъ, годичномъ курсѣ, могло бы быть употреблено съ большею пользою. Вообще можно сказать, что наши годичные или переводные экзамены назначаются болѣе для учителей, нежели для учениковъ. Они означаютъ только недовѣріе къ безпристрастію учителей, потому что если бы не было этой задней мысли, то нельзя объяснить, для чего переводные экзамены у насъ дѣлаются при оффиціальной, болѣе или менѣе торжественной обстановкѣ и продолжаются цѣлые мѣсяцы въ ущербъ учебному курсу. Развѣ учителя, вмѣстѣ съ директоромъ и инспекторомъ, не могутъ между собою рѣшить безъ всякихъ формальностей, можетъ ли тотъ или другой ученикъ быть переведенъ въ слѣдующій классъ, или нѣтъ. Развѣ каждый учитель не долженъ настолько узнать каждаго изъ своихъ учениковъ въ теченіе года, чтобы рѣшить, можетъ ли онъ идти далѣе и достоинъ ли онъ быть переведеннымъ въ слѣдующій классъ, или нѣтъ? Если же учитель не узналъ способностей къ занятію изъ годичнаго курса и свѣдѣній своихъ учениковъ, то что же онъ узнаетъ чрезъ испытаніе, которое продолжается для каждаго по нѣскольку минутъ?

Въ этомъ отношеніи переводные экзамены съ большою пользою, и для учебнаго курса, и для самого образованія воспитанниковъ, можно бы замѣнить мнѣніями классныхъ учителей. Подъ именемъ классныхъ учителей въ германскихъ школахъ разумѣютъ тѣхъ избранныхъ наставниковъ, которымъ

поручается, кромѣ преподаванія главныхъ предметовъ, наблюденіе за ходомъ ученія и за успѣхами учениковъ въ цѣломъ классѣ. Число такихъ учителей соответствуетъ числу классовъ, и голоса ихъ преимущественно рѣшаютъ, на педагогическихкихъ совѣщаніяхъ, можетъ ли тотъ или другой ученикъ быть переведенъ въ слѣдующій классъ. Эти классные учителя (Classenlehrer) несравненно лучше знаютъ и успѣхи, и способности каждаго ученика, потому что, наблюдая надъ мѣньшимъ числомъ учениковъ, они имѣютъ и болѣе времени и средствъ, изучить и узнать ихъ въ подробности, нежели директоръ или инспекторъ, наблюдающій за ходомъ ученія въ цѣломъ заведеніи.

При этомъ способѣ оцѣнки знаній берутся въ соображеніе успѣхи, оказываемые каждымъ ученикомъ въ теченіе года, и его способности, а не минутныя испытанія, подверженныя различнаго рода случайностямъ.

Какъ можно менѣе формальныхъ экзаменовъ и какъ можно болѣе дѣятельныхъ занятій наукою, при наблюденіи личныхъ особенностей каждаго ученика, его способностей и прилежанія, — вотъ правило здоровой педагогики, по моему убѣжденію, не-неисполнимое въ такихъ учебныхъ заведеніяхъ, которыя въ морскомъ вѣдомствѣ, какъ это видно изъ отчетовъ, снабжены достаточными средствами.

II.

Неразрывно соединена съ экзаменаціоннымъ направленіемъ и сопровождающими его формальностями еще и другая педагогическая несообразность, господствующая, какъ это также видно изъ отчетовъ, въ огромныхъ размѣрахъ въ учебномъ морскомъ вѣдомствѣ, — это оцѣнка не только свѣдѣній, но и самой нравственности (поведенія) учениковъ по цифрамъ и балламъ.

Нельзя безъ удивленія, напримѣръ, читать слѣдующія мѣста отчетовъ: „изъ свѣдѣній, доставленныхъ кондуитными списками, оказывается, что для средняго годового числа воспитанниковъ (380) было слѣдующее процентное отношеніе по всѣмъ разряднымъ балламъ: 12-ти-бальныхъ - 28, 6⁰/о,

11-ти—22, 5⁰/₀, и проч. Средній баллъ, выражающій поведеніе всей массы, есть 10 или 83, 39⁰/₀ полного числа балловъ. Отличные по поведенію воспитанники (11—12 балловъ) составляютъ 50, 9⁰/₀ и т. п.“.

Неужели же у насъ есть еще лица, которыя серьезно убѣждены, что нравственное состояніе заведенія можно вѣрно опредѣлять этимъ математическимъ способомъ? Не надежныѣ ли и не логичныѣ ли бы было со стороны учебнаго начальства, вмѣсто цифры 11 и 12, опредѣлить, что оно назоветъ отличнымъ поведеніемъ ученика, потому что если цифра 11 и 12 есть знакъ, выражающій опредѣлительно извѣстное количество и поставленный условно взаимнѣ слова: „отлично“, то самое-то слово „отлично“ вовсе не такъ опредѣлительно и означаетъ понятія весьма относительныя. Для одного директора и инспектора или надзирателя за правами тотъ будетъ отличнымъ по поведенію ученикомъ, кто скромнѣ, тихъ, аккуратнѣ и даже подобострастнѣ; для другого воспитателя эти качества покажутся нисколько не блестящими, и онъ назоветъ отличнымъ разбитного, живого, остраго мальчика и даже упрямца, если въ упрямствѣ его замѣтна энергія воли и благородство. Одинъ будетъ довольствоваться для опредѣленія отличнаго поведенія только тѣмъ, что ученикъ въ теченіе года не былъ замѣченъ ни въ одной шалости и не сдѣлалъ ни одного проступка. Другой, зная, что зло, и не обнаруживающееся, все-таки не перестанетъ быть зломъ, не удовлетворится кондуитнымъ спискомъ, и постарается заглянуть и за кулисы. Короче, если и эпитетъ „отличный“ еще выражаетъ понятія чрезвычайно относительныя, то что же сказать о цифрѣ, которая прикрываетъ неопредѣленное понятіе выраженіемъ опредѣленнаго количества? То же самое и въ опредѣленіи успѣховъ и свѣдѣній баллами, которыхъ въ морскомъ учебномъ вѣдомствѣ считается также не мало. Непонятно, почему оцѣнщики человѣческихъ свѣдѣній цифрами не хотятъ вникнуть въ главное. Чего требуютъ отъ переводныхъ испытаній, допустивъ даже ихъ необходимость? Не рѣшенія ли простого вопроса: имѣетъ ли испытуемый столько свѣдѣній, чтобы съ пользою продолжать ученіе въ слѣдующемъ классѣ? Какая цѣль экзаменовъ выпускныхъ? Не рѣшеніе ли вопроса: имѣетъ ли испы-

туемый достаточныя свѣдѣнія для полученія той или другой ученой степени или для занятія той или другой должности? Если такъ, то что можно отвѣчать на эти вопросы? Мнѣ кажется, только: да или нѣтъ. Къ чему же тутъ баллы, цифры, дроби, проценты? Уже давнымъ-давно я утверждаю, что чрезъ экзамены мы не должны и не можемъ добиваться узнать maximum свѣдѣній испытываемаго. Этого maximum нѣтъ; потому что по направленію вверхъ нѣтъ никакой границы человѣческихъ свѣдѣній. Но есть законное, — конечно условное, — minimum ¹⁾. Его-то мы и опредѣляемъ чрезъ испытаніе. Но не-

¹⁾ Вопросъ о неудовлетворительности существующей у насъ системы опредѣленія нравственности и познаній воспитанниковъ возбужденъ въ „Морск. Сборн.“ еще въ 1857 году г. Шестаковымъ, который, между прочимъ, говоритъ объ американскихъ училищахъ и по поводу ихъ слѣдующее:

„Экзаменъ производится только изъ курса послѣдняго года — и въ этомъ нельзя не видѣть несомнѣнной пользы. Всегда и вездѣ курсъ располагается такъ, что науки, преподаваемыя въ началѣ, служатъ только средствами къ понятію окончательныхъ, нужныхъ въ службѣ. Только послѣднія необходимы, — слѣдовательно, незачѣмъ напрягать память ученика и отвращать его отъ наукъ повтореніемъ азбуки при каждомъ экзаменѣ. Можно весьма легко доказать совершенную бесполезность содержанія въ умѣ начальныхъ правилъ нѣкоторыхъ наукъ, — многочисленными примѣрами; но простѣйшій и наиболѣе понятный изъ всѣхъ испытывается каждымъ почти на самомъ себѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что большинство, и въ томъ числѣ люди весьма полезные, у насъ не скажутъ наизусть русской азбуки въ послѣдовательномъ порядкѣ, а между прочимъ это нисколько не мѣшаетъ имъ читать все, касающееся ихъ обязанности, понимать читаемое и прилагать его къ дѣлу. При нашей методѣ экзаменовъ изъ всего курса, достоинство воспитанника основывается единственно на памяти, которая, какъ извѣстно, не есть мѣрило ни способностей человѣка, ни его рвенія.

„Еще важная особенность обѣихъ американскихъ академій состоитъ въ оцѣнкѣ поведенія воспитанниковъ. Существующій у насъ способъ означать нравственность цифрами не удовлетворяетъ цѣли — не выдержитъ самаго снисходительнаго даже разбора. Это — произведеніе большого ума, до того увлекшагося математическими выкладками, что высшій моральный вопросъ былъ совершенно упущенъ.

„Въ обществѣ, для котораго молодые люди воспитываются, существуетъ только два различія — есть люди хорошіе и дурные. Можно еще допустить посредственность; но раздѣленіе качествъ воспитанниковъ на 12 степеней несообразно ни съ тѣмъ, что бываетъ въ обществѣ, ни съ здравымъ разсудкомъ. Идея эмуляціи, безмѣрно развитая въ Германіи, примѣняется тамъ, сколько мнѣ извѣстно, къ наукамъ и ремесламъ, а не къ поведенію. Умъ несравненно эластичнѣе нравственности, и соревнованіе, возбуждаемое дробною разностью въ баллахъ поведенія, будучи противно естеству, весьма вредно. Если взять, напримѣръ, кадетъ съ 12 и 10

смотря на то, что все это дѣло ясно какъ день, мои мысли объ испытаніи едва еще принимаются. Впрочемъ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія, съ появленіемъ устава объ испытаніи врачей (1846 года), эти убѣжденія нашли отголосокъ, и я увѣренъ, что рано или поздно здравый смыслъ одержитъ побѣду надъ привычкою и теоретическими воззрѣніями.

III.

Что касается до умственнаго образованія, то я, разумеется, могу судить изъ отчетовъ только объ общеобразовательной его сторонѣ.

баллами, разность между ними окажется единственно въ темпераментѣ. Одинъ—флегматикъ, и потому избавленъ природою отъ дѣтскихъ промаховъ; другой—боекъ, рѣзвъ, стѣбитъ перваго во всѣхъ отношеніяхъ, но въ немъ сильно кипитъ кровь. Между тѣмъ, зная, что отъ большого числа балловъ будетъ зависѣть его повышеніе въ спискѣ выхода, по свойственному каждому самолюбію, рѣзвый мальчикъ будетъ добиваться тѣхъ же 12-ти балловъ однимъ изъ двухъ способовъ: или переламывая свою дѣтскую природу, вѣчно наблюдая за собою, удерживая себя (а это можетъ породить въ неокрѣпшемъ еще тѣлѣ болѣзни и непремѣнно отвлечь его мысли отъ наукъ),—или ведя себя скромно на глазахъ офицеровъ и предаваясь шалостямъ въ ихъ отсутствіи,—а отъ этого рождается пагубная привычка обманывать, притворяться. Судьба многихъ,—достигавшихъ въ корпусѣ тахімита правственности—на службѣ служить неопровержимымъ доказательствомъ приведенныхъ выше доводовъ. Система американскихъ заведеній, къ сожалѣнію, основанная также на цифрахъ, болѣе соответствуетъ, по крайней мѣрѣ, цѣли. Здѣсь цифрами клеймится дурное поведение. Проступки раздѣлены на восемь степеней. Неблагодѣтельство и неспособности ведутъ прямо къ исключенію. За всякій проступокъ ставится противъ имени кадета извѣстное число—отъ десяти до одного. Въ первый годъ пребыванія въ академіи поведение не берется въ расчетъ; новичку даютъ время узнать все, чтѣ отъ него требуется. Если въ годъ наберется 150 такихъ балловъ, воспитанникъ лишается права на долговременный отпускъ къ роднымъ, который дозволяется по прошествіи двухъ лѣтъ пребыванія въ академіи, а въ случаѣ увеличенія до 200,—исключается, если нѣтъ извинительныхъ причинъ. Въ третій годъ пребыванія въ академіи къ числу накопившихся балловъ прибавляютъ $\frac{1}{6}$, въ четвертый— $\frac{1}{5}$, а въ послѣдній—половину. Цѣль такой прогрессіи соответствуетъ большей способности наблюдать за собою, растущей съ возрастомъ. Воспитатели-счетчики, безъ сомнѣнія, скажутъ, что наша и американская методы одинаковы; но никакъ не въ предметъ глубоко увидать, что въ двухъ способахъ общее—только цифры; во всемъ остальномъ онѣ противоположны. Обозначая цифрами каждый проступокъ, съ вѣдома самого провинившагося и согласно утвер-

Во-первыхъ, слышатся тоже жалобы о недостаткѣ руководствъ (Отч. объ инжен. и артилл. учил., стр. 24) и преподавателей спеціальныхъ наукъ (Отч. объ инжен. и артилл. учил., стр. 47), какъ и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Слѣдовательно, предстоитъ вопіющая необходимость заняться серьезно составленіемъ однихъ и образованіемъ другихъ. Можно бы заняться и тѣмъ, и другимъ. Но всего необходимѣе для насъ дѣльные учителя, и потому всего необходимѣе заняться ихъ подготовленіемъ. Нужно открыть въ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ педагогическіе курсы и обезпечить существованіе наставниковъ, давъ сначала имъ средства образоваться и наукою, и практикою. Каждая школа должна быть вмѣстѣ и расадникомъ учителей. Въ ней они должны найти средства выработать свои педагогическія способности занятіемъ и упражненіемъ съ учениками. Всѣ наши воспитатели-педагоги образуются только тогда, когда уже дѣлаются воспитателями.

Между тѣмъ образованъ и учить есть не только искусство, но и наука, которой нужно научиться сначала у другихъ, а не у одного самого себя. Этотъ важный пробѣлъ, хотя и давно уже былъ у насъ замѣченъ, но только теперь обратили на него нѣкоторое вниманіе, и съ каждымъ годомъ, по мѣрѣ

жденной постановленіями мѣрѣ, кадету безпрестанно напоминаютъ, чего онъ не долженъ дѣлать; ставя же одному въ концѣ мѣсяца 9 балловъ, а другому 12, конечно, не только не дадутъ отчета кадетамъ, за чтó сдѣлали между ними такую разницу,—но и самому себѣ. Отсюда, со стороны воспитателей произволъ и несправедливость, а со стороны кадетъ—уловка поправиться въ послѣднюю половину мѣсяца, въ надеждѣ прощенія проступковъ въ первой—разумѣется, съ преднамѣреніемъ вновь дать свободу наклонностямъ въ началѣ слѣдующаго мѣсяца. Притомъ кадетъ не узнаетъ опредѣлительно, чтó ему дозволено и чтó запрещено, какъ по американской методѣ. Но главное противорѣчіе двухъ системъ—въ томъ, что при нашей вселяется невольно мысль, будто хорошее поведеніе достойно награды и не есть необходимое условіе въ быту, а при американской—хорошее поведеніе есть правило, дурное—исключеніе. Несмотря на большую раціональность здѣшней системы, послѣдняя экзаменная коммиссія просила конгрессъ сдѣлать измѣненія, при которыхъ поведеніе въ академіи имѣло бы менѣе вліянія на будущую служебную участь воспитанника. — По мнѣнію этой коммиссіи, при существующихъ постановленіяхъ, исключаящихъ за пороки и недостатки, на службѣ нетерпимые, остальные проступки, по маловажности своей и легкости, съ которою отъ нихъ отстаютъ, живя въ обществѣ, не должны затмѣвать способностей, которыя не приобрѣтаются“. „М. Сб.“ 1857 г., № 9, Смѣсь, стр. 26—29.

успѣховъ нашей гражданственности, мы все болѣе и болѣе будемъ чувствовать его слѣдствія. Составители отчетовъ, какъ видно, приписываютъ большое значеніе числу лицъ въ дѣлѣ воспитанія. Они требуютъ только увеличенія числа воспитателей, предлагая для этой цѣли усилить штатъ ротныхъ офицеровъ, вѣроятно въ твердомъ убѣжденіи, что изъ нихъ можно легко выбрать образователей юношества, безъ всякой искусственной подготовки къ этому мѣсту. Такъ легко оно кажется. Нѣтъ, не подготовивъ серьезно и научно людей къ исполненію этихъ обязанностей, мы никогда не достигнемъ желанной цѣли въ дѣлѣ образованія. Эти подготовки должны быть теперь нашимъ краеугольнымъ камнемъ, если мы хотимъ жить въ будущемъ. Впрочемъ, въ отчетѣ начальника инженернаго и артиллерійскаго училища обращено вниманіе на это: онъ говорить, что „давно ощущается необходимость въ преобразованіи учебныхъ заведеній морского вѣдомства, но полагаю, что какое преобразование не принесетъ желанной пользы, если предварительно не будетъ достигнута возможность имѣть такихъ офицеровъ-преподавателей, которые основательно бы знали свое дѣло и при этомъ умѣли бы систематически передавать свои познанія учащимся, будетъ ли это теорія, или практика“ (стр. 48). Никто, сколько-нибудь знающій наши учебныя заведенія, не усомнится въ справедливости словъ г. начальника. Но достигнуть этого иначе нельзя, какъ открывъ для желающихъ возможность въ самой школѣ научиться образовывать другихъ. Для этого-то именно и должны служить педагогическіе курсы при учебныхъ заведеніяхъ, въ которые, разумѣется, поступили бы только тѣ, которые уже кончили курсъ наукъ и желали бы себя посвятить исключительно педагогической дѣятельности. Имъ, подъ руководствомъ нѣсколькихъ болѣе опытныхъ педагоговъ, должны быть поручены вѣ-классныя занятія съ учениками. вмѣстѣ съ этими занятіями должно обращать вниманіе молодыхъ педагоговъ на различные недостатки въ изложеніи предмета, предлагая имъ изыскать мѣры для объясненія всего того, чтò трудно понимается учениками, и заставляя ихъ дѣйствовать различными педагогическими приѣмами на внимательность учениковъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, нужно дать

будущимъ наставникамъ и средства къ дальнѣйшему усовершенствованію себя въ наукѣ и ея приложеніяхъ.

Наконецъ, закончу мои замѣчанія еще однимъ, касающимся до распредѣленія времени занятій разными предметами. Мнѣ кажется, что какъ бы ни было специально образованіе моряковъ, штурмановъ, инженеровъ и артиллеристовъ, но для нихъ всѣхъ занятіе исторіею по крайней мѣрѣ столько же необходимо, какъ и изученіе языковъ. Между тѣмъ изъ отчетовъ видно, что эта наука преподается въ инженерномъ и штурманскомъ училищахъ не болѣе одного раза, тогда какъ языки французскій и англійскій преподаются 3 раза въ недѣлю. Я нахожу излишнимъ здѣсь распространяться, въ какой мѣрѣ изученіе исторіи дѣйствуетъ на развитіе и на воспитаніе молодого человѣка. Въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ съ самыхъ раннихъ лѣтъ дается учащимся реальное или утилитарное направленіе, остаются, кромѣ закона божія, только два предмета, которые обращаютъ вниманіе человѣка на міръ внутренний (субъективный), т.-е. на самого себя,—это исторія и словесность. А оставлять этотъ міръ слишкомъ закрытымъ—значитъ, черствить спеціалиста, и безъ этого уже слишкомъ погруженнаго въ міръ объективный.

IV.

Читая въ отчетахъ о воспитаніи нравственномъ, результаты котораго, какъ я уже сказалъ, выражаются цифрами, нужно замѣтить, что тѣлесныя наказанія въ училищахъ инженерномъ, артиллерійскомъ и штурманскомъ играютъ, какъ кажется слишкомъ значительную роль. Изъ отчетовъ этихъ двухъ училищъ видно, что въ первомъ подвергались тѣлесному наказанію изъ 19 учащихся 1, а во второмъ—даже изъ 13—1 ученикъ; всего разительнѣе и наименѣе сообразно съ педагогическими правилами есть то, что въ этихъ училищахъ и за лѣтность присуждается тѣлесное наказаніе. Розги еще не скоро выведутся изъ употребленія въ нашихъ закрытыхъ заведеніяхъ, хотя опытъ показываетъ, что, обративъ вниманіе, принявъ нѣкоторыя мѣры и вооружась терпѣніемъ, можно

безъ нихъ справиться даже и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ прежде это казалось невозможнымъ. Но изъ всѣхъ проступковъ, безъ сомнѣнія, лѣность всего менѣе подходитъ къ категоріи тѣхъ, которые требуютъ тѣлеснаго наказанія. Одно изъ двухъ: лѣность есть слѣдствіе или какого-нибудь физическаго недостатка, или недостатка охоты и воли. Но ни та, ни другая причина не можетъ быть устранена розгою. Правда, подлѣ именемъ лѣности часто разумѣютъ разсѣянность ребенка или особенное настроеніе умственныхъ способностей, препятствующее ему сосредоточить вниманіе на занятіи тѣмъ или другимъ предметомъ. Но это, во-первыхъ, не лѣность, а во-вторыхъ, противъ разсѣянности и особеннаго настроенія ума и воображенія есть много другихъ, болѣе надежныхъ средствъ, какъ, напримѣръ, сосредоточенное вниманіе наставника, въ классахъ, на такихъ ученикахъ, или же, наконецъ, арестъ въ уединенномъ мѣстѣ, соединенный съ занятіемъ. Да изъ отчета и видно, что инспекторъ классовъ судить о лѣности по класснымъ журналамъ, то-есть по отмѣткамъ преподавателей о знаніи уроковъ. Кто изъ знающихъ дѣло не видитъ, что такое сужденіе о лѣности — болѣе чѣмъ шатко; ученикъ можетъ нѣсколько разъ не знать своего урока совсѣмъ не отъ лѣности, а именно отъ разсѣянности, отъ непонятливости и отъ причинъ, указанныхъ въ самомъ же отчетѣ, гдѣ говорится: „что нѣкоторые, хотя и лѣнныя, и съ малыми способностями, воспитанники занимаются съ успѣхомъ въ тѣхъ классахъ, гдѣ преподаватель основательно знаетъ свой предметъ“. Неужели нужно сѣчь и такихъ воспитанниковъ, которые лѣнятся въ классахъ, гдѣ преподаватель неосновательно знаетъ свой предметъ? Вообще, какъ кажется, въ морскихъ учебныхъ заведеніяхъ, также какъ и вообще во всѣхъ нашихъ училищахъ, мало заботятся о соотвѣтственности наказанія натурѣ проступка. Между тѣмъ здравая педагогика предписываетъ именно, чтобы всякое наказаніе, сколько можно, соотвѣтствовало свойству проступка и, такъ сказать, само собою бы слѣдовало за нимъ. Такъ, напримѣръ, изъ отчета о штурманскомъ училищѣ видно, что изъ 27 подвергавшихся тѣлесному наказанію наказаны: 9 за упорную лѣность, 3 — за куреніе табаку, 4 — за ослушаніе, 6 — за грубость, 4 — за драку,

1—за шалость. Слѣдовательно, за самые разнородные проступки присуждалось одно и то же—розги. Чтò же руководило въ этихъ случаяхъ педагога при опредѣленіи наказанія? Страхъ и физическое сотрясеніе—вотъ дѣйствіе розги. Но страхъ, какъ это опытъ показываетъ, нисколько не зависитъ отъ степени наказанія, а отъ убѣжденія, что ни одна вина не останется безнаказанною. Сотрясеніе же полезно только въ тѣхъ поступкахъ, въ которыхъ воля виновнаго совершенно опустилась и ослабла, и слѣдовательно въ проступкахъ болѣе пассивныхъ и чисто животной натуры, дѣлая которые, виновный забываетъ, что онъ—человѣкъ, и превращается временно въ животное. Но послушникъ, шалунъ, курящій табакъ, могутъ быть, напротивъ, личности, владѣющія большимъ запасомъ воли, и тогда розга, сотрясая, раздражаетъ и вредить, а не помогаетъ.

Вообще, я остаюсь того мнѣнія, что въ большихъ учебныхъ заведеніяхъ исправительныя мѣры и наказанія для каждаго рода проступковъ должны быть не только опредѣлены съ точностью, но и объявлены положительно всѣмъ ученикамъ и воспитателямъ. Объявивъ эти мѣры къ всеобщему свѣдѣнію, учебное начальство должно озаботиться, чтобы онѣ и исполнялись въ точности и безъ всякихъ отступленій. У насъ нужно приучать молодыхъ людей съ раннихъ лѣтъ къ законности; они должны знать положительно, чтò ожидаетъ ихъ за тотъ или другой проступокъ и какія обстоятельства начальство беретъ въ соображеніе, опредѣляя степень вины ихъ и мѣру наказанія. Еще болѣе они должны быть убѣждены, что наказанія опредѣляются не по произволу начальника, а по утвержденнымъ постановленіямъ. Наконецъ, чувство справедливости въ учащихся разовьется еще болѣе, если они убѣдятся, что воспитатели ихъ вѣрно и безпристрастно слѣдуютъ однажды принятымъ постановленіямъ, не дѣлая никакихъ исключеній. На этихъ основаніяхъ я ввелъ въ гимназіяхъ кievскаго учебнаго округа краткій кодексъ для учащихся и для воспитателей, содержащій въ себѣ правила о проступкахъ и наказаніяхъ, и, несмотря на многія его несовершенства, я твердо увѣренъ, что онъ рано или поздно окажетъ вліяніе на нравственность воспитанниковъ, особливо если воспитатели добро-

совѣстно постараются объ исполненіи предписываемыхъ имъ правилъ.

Странно показалось еще мнѣ въ статьѣ отчетовъ о надзорѣ за поведеніемъ, что въ кондуктныя списки учениковъ вносятся, вмѣстѣ съ баллами за поведеніе, и отмѣтка о знаніи фронтовой службы (см. Отч. инжен. артилл. учил., стр. 10). Мнѣ кажется, что фронтовая служба, какъ всякое техническое знаніе, не имѣетъ никакого отношенія къ нравственности и поведенію учащихся.

Изъ отчетовъ видно также, что въ морскомъ учебномъ вѣдомствѣ, какъ и въ нашихъ училищахъ министерства народнаго просвѣщенія, естественная связь между учителями и учащимися нарушена. Учители только отмѣчаютъ въ классныхъ журналахъ, кто зналъ и не зналъ уроки. („Въ классахъ имѣлись журналы, въ которыхъ обозначались лекціи, какія читались. Также вносили замѣчанія о прилежныхъ и лѣнивыхъ. Въ субботу инспекторомъ классовъ дѣлался выборъ изъ этихъ журналовъ“. Отч. инжен. и артилл. учил., стр. 10). Инспекторъ классовъ въ концѣ недѣли судить и дѣлаетъ расправу по этимъ журналамъ. Учители остаются въ сторонѣ, — они, разумѣется, очень довольны этимъ. Воспитательный комитетъ состоитъ изъ инспектора, его помощниковъ и ротныхъ командировъ. Слѣдовательно, воспитательный элементъ науки совершенно удаленъ отъ дѣла воспитанія. Правда, ротные командиры занимаются преподаваніемъ наукъ (см. Отч. объ инжен. учил., стр. 25); но именно потому начальство училищъ и жалуется, что число ихъ недостаточно, и потому считаетъ „необходимымъ, по примѣру прочихъ учебныхъ заведеній, при каждой ротѣ имѣть, кромѣ ротнаго командира, не менѣе четырехъ такихъ офицеровъ-воспитателей“ (ibidem). Какъ бы различныя обстоятельства ни оправдывали необходимость такого рода воспитанія, но все-таки оно неестественно, и недостатки его именно потому важны, что наука и представителямъ ея — учителямъ — не дается почти никакого мѣста въ дѣлѣ нравственнаго образованія.

Нравственная и научная сторона остаются совершенно раздѣльными, а это не можетъ быть полезно ни для нравственности, ни для науки. Трудно еще убѣдить у насъ, что

наука нужна не для одного только пріобрѣтенія свѣдѣній, что въ ней кроется, — иногда глубоко, и потому для поверхностнаго наблюдателя незамѣтно, — другой важный элементъ — воспитательный. Кто не, сѣумѣетъ имъ воспользоваться, тотъ еще не знаетъ всѣхъ свойствъ науки и выпускаетъ изъ рукъ своихъ такой рычагъ, которымъ можно легко поднять большія тяжести.

Октябрь, 1860 г.



МЫСЛИ И ЗАМѢЧАНІЯ О ПРОЕКТѢ УСТАВА УЧИ- ЛИЩЪ, СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ВѢДОМСТВѢ МИНИСТЕР- СТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Въ чемъ состоятъ главныя начала проекта? Проведены ли они съ безукоризненною послѣдовательностью? Исполнимы ли они на дѣлѣ и примѣнимы ли они къ настоящему состоянію нашего общества? Вотъ вопросы, которые я предполагаю рѣшить, основываясь на собственныхъ убѣжденіяхъ и на собственномъ опытѣ.

Въ основныхъ началахъ проекта господствуетъ эклектизмъ. Такъ, въ направленіи ученія выразилось желаніе соединить гуманизмъ съ реализмомъ; въ учрежденіи и открытіи школъ правительственная монополія соединяется съ свободною конкуренціею; въ администраціи коллегіальное начало идетъ рука-объ-руку съ бюрократическимъ; наконецъ, въ назначеніи училищъ, открываемыхъ для всѣхъ званій, проявляется и начало сословное. Избрать изъ различныхъ тенденцій и соединить вмѣстѣ все хорошее, избѣгнуть всѣхъ крайностей—мысль весьма естественная и благая. Она почти всегда руководствуетъ учредителей новаго порядка. Но, при всемъ желаніи и при всемъ умѣньѣ извлекать изъ крайностей одно только хорошее, рѣдко удается, однако-же, избѣгнуть обыкновенныхъ и почти неминуемыхъ слѣдствій эклектизма, которыя состоятъ въ томъ, что, вмѣсто соединенія всѣхъ выгодныхъ сторонъ различныхъ крайностей, на дѣлѣ выступаютъ наружу новые недостатки. Можно ли, напримѣръ, соединить въ одной и той же школѣ старый гуманизмъ съ новымъ реа-

лизмомъ такъ, чтобы недостатки одного уничтожались выгодною стороною другого? Не выйдетъ ли изъ этой смѣси что-то новое, не имѣющее отличительныхъ свойствъ ни того, ни другого, и, слѣдовательно, что-то безцвѣтное и безхарактерное? Можно ли коллегіальное и выборное начало, сближающее различные интересы и ограничивающее произволъ, соединить съ іерархическимъ бюрократизмомъ? Остановимся на самомъ существенномъ:

1) Направленіе ученія. Оно собственно нигдѣ прямо не высказано. Въ § 173 говорится только, что гимназіи имѣютъ цѣлью развить молодыхъ людей посредствомъ обученія общеобразовательнымъ наукамъ. Но какія науки проектъ принимаетъ за общеобразовательныя—нигдѣ не говорится. Между тѣмъ, въ наше время, отвѣтъ на такой вопросъ не такъ простъ, какъ это было прежде, когда всѣ знали, чтѣ называлось *humaniora*. Теперь и политическую экономію, и статистику уже хотятъ внести въ гимназическій курсъ: слѣдовательно, считаютъ и эти спеціальныя науки общеобразовательными. Но, положимъ, нѣтъ и нужды въ уставѣ слишкомъ распространяться о направленіи ученія. Оно и безъ того разъяснится, какъ скоро узнаемъ, сколько времени опредѣлено въ распредѣленіи часовъ для обученія тому или другому предмету. Итакъ, посмотримъ на таблицу распредѣленія уроковъ. Мы видимъ, что въ нормальной гимназіи положено для русскаго языка 24 часа, для двухъ древнихъ языковъ—въ недѣлю 41 часъ (для латинскаго 24 и для греческаго 17), для двухъ новыхъ языковъ—46 часовъ (23 для нѣмецкаго и 23 часа для французскаго), для математики и естествовѣдѣнія—38 (для первой 22, для второго 16), а для исторіи и географіи—22 часа (для первой 13, для второй 9). Отдѣлимъ отечественный языкъ, математику и географію, какъ предметы необходимые всегда, которое бы изъ двухъ направленій ученія (классическое или реальное) ни было избрано, потому что эти три предмета, по крайней мѣрѣ въ наше время, настолько же относятся къ реальному, какъ и къ классическому образованію. Отдѣливъ, мы увидимъ, что 54 часа назначены для предметовъ чисто-классическихъ (то-есть 41 часъ для древнихъ языковъ и 13 часовъ для исторіи) и 62 часа—для предметовъ реальныхъ (46 ч. для двухъ

новыхъ языковъ и 16 часовъ для естествовѣдѣнія). Изъ этого будетъ слѣдовать, что проектъ колеблется между двумя направленіями, отдавая нѣкоторое преимущество реальному. Нeminуемымъ слѣдствіемъ такого колебанія въ началахъ будетъ то же, въ чемъ и теперь можно упрекнуть наши гимназіи:— обремененіе учащихся множествомъ разнородныхъ предметовъ и поверхностность въ образованіи, которая иногда хуже незнанія. Да едва-ли упрекъ новому уставу не будетъ въ этомъ отношеніи еще сильнѣе, потому что онъ прибавляетъ еще одинъ предметъ—греческій языкъ.

Если германскія, нѣкоторыя англійскія и нѣкоторыя французскія школы пользуются уже давно заслуженнымъ уваженіемъ, то это именно потому, что онѣ идутъ вѣрно по одному, однажды ими принятому, направленію; а наши школы, мнѣ кажется, именно потому неславны результатами, что онѣ съ самаго начала текущаго столѣтія безпрестанно колебались, стремясь приблизиться въ направленіи то къ германскимъ, то къ Наполеоновскимъ. Если же эта нерѣшительность, перемѣна взглядовъ и частые переходы отъ одного направленія къ другому отчасти и оправдываются степенью образованія нашего общества и различными потребностями нашего обширнаго отечества; если мы до сихъ поръ не могли еще достаточно убѣдиться изъ опыта, что необходимо для нашего образованія—гуманизмъ или реализмъ: то, вмѣсто того, чтобы, колеблясь между двумя, смѣшивать оба вмѣстѣ, не лучше ли бы было, отдѣливъ рѣзко классическое направленіе отъ реального, учредить и два совершенно отдѣльные рода среднихъ учебныхъ заведеній, предоставивъ проводить всецѣло одному одно, а другому другое направленіе?—Не видимъ ли мы и теперь жалкихъ слѣдствій этихъ попытокъ насильственнаго соединенія двухъ противоположныхъ началъ въ одномъ и томъ же учебномъ заведеніи? Отчего наши гимназисты и даже бѣльшая часть студентовъ не отличаются ни самостоятельностью научнаго труда, ни склонностью къ серьезно-научнымъ занятіямъ? Не оттого ли, что, обремененные изученіемъ множества разнородныхъ предметовъ, они съ самаго начала ихъ образованія пріучаются скользить мыслью по одной поверхности, не имѣя ни силъ, ни времени, ни побужденія, ни умѣнья, углубиться

въ изученіе, и по-неволѣ дѣлаются скорѣе верхоглядами, чѣмъ солидно-образованными людьми, способными къ само-дѣтельности.

Правда, проектъ устава допускаетъ раздѣленіе среднихъ учебныхъ заведеній на нормальныя и такія, въ которыхъ преподается естествовѣдѣніе въ большемъ объемѣ; то-есть, проектъ почти-что допускаетъ раздѣленіе гимназій на классическія и реальныя. Но мы видѣли, что въ нормальныхъ гимназіяхъ ни классическое, ни реальное направленіе не выразилось ясно и точно; а въ другихъ (см. таблицу № 11) вмѣстѣ съ естествовѣдѣніемъ, преподаваемымъ въ большемъ объемѣ, латинскій языкъ признанъ обязательнымъ и для него назначено 19 часовъ въ недѣлю, а для преподаванія исторіи,—несмотря на то, что она принадлежитъ къ существеннымъ предметамъ гуманизма,—въ этихъ гимназіяхъ назначено 2 часа болѣе въ недѣлю, чѣмъ въ гимназіяхъ нормальныхъ. Итакъ, рѣзкаго и точнаго раздѣленія учебныхъ заведеній по двумъ различнымъ направленіямъ проектъ не допускаетъ. Онъ, и принявъ два рода гимназій, все-таки нерѣшительно колеблется въ избраніи предметовъ для той и другой. Но, признавъ необходимыми и гуманизмъ, и реализмъ, если мы не раздѣлимъ точно одного отъ другого и не скажемъ: пусть это заведеніе будетъ назначено для изученія humaniora, а это—для предметовъ реальныхъ, то и другое—въ такомъ объемѣ, который необходимъ для солиднаго образованія,—то намъ не видать самостоятельныхъ дѣятелей науки, намъ не видать и истинно-образованныхъ людей. Наше образованіе останется на той же поверхности, на которой оно стоитъ и теперь. Развѣ, можетъ быть, время и новыя потребности общества сдѣлаютъ и безъ насъ то, чего мы не могли достигнуть нашими школами.—Мы должны допустить это рѣзкое раздѣленіе по двумъ направленіямъ нашихъ училищъ, потому что оно въ настоящее время найдетъ уже достойное приложеніе къ жизни. Мы теперь не безъ людей, желающихъ высшаго образованія, хотя еще ихъ и немного; число ихъ, нѣтъ сомнѣнія, еще увеличится, если одинъ родъ школъ поддержитъ и разовьетъ эту наклонность. Мы имѣемъ опять много такихъ, которые, по несклонности и по недостатку матеріальныхъ средствъ, не могутъ долго учиться и просятся

скорѣе въ практическую жизнь. Мы должны удовлетворить и тѣхъ, и другихъ. Для однихъ пусть будутъ назначены классическія гимназій, открывающія прямой путь въ университеты, для другихъ—реальныя, съ выходомъ въ практическую жизнь. Здѣсь не мѣсто распространяться, почему я отдаю безусловно преимущество классическому образованію для вступающихъ въ университетъ. Скажу только, что это я дѣлаю потому, что приписываю высшую образовательную силу исключительно глубокому изученію древнихъ языковъ, языка отечественнаго, исторіи и математики. Я сошлюсь въ этомъ на вѣковой опытъ, который, вопреки всѣмъ возгласамъ противниковъ, все-таки доказалъ, что изученіе этихъ наукъ одно и само по себѣ уже достаточно образуетъ и развиваетъ духъ человѣка, приготовляя его къ воспринятію всевозможныхъ — и нравственныхъ, и научныхъ — истинъ. Оно достигаетъ этой цѣли, имѣя предметомъ преимущественно міръ внутренній (субъективный) человѣка, (то-есть самого себя), открываемый религіею, словомъ и исторіею, и міръ внѣшній (объективный), изслѣдуемый математикою въ ближайшей его связи (черезъ отвлеченіе) съ міромъ внутреннимъ. Реализмъ же хотя и развиваетъ наблюдательную способность и разумъ человѣка—упражненіемъ чувствъ и изученіемъ міра внѣшняго, но никогда еще одинъ, самъ по себѣ, не могъ вполне развить всѣ высшія способности духа. Соединить эти два начала можно, но не иначе какъ на счетъ полноты и глубины изученія каждой изъ образовательныхъ наукъ, входящихъ въ составъ и того, и другого; а тогда легко можетъ случиться, — какъ и случается на дѣлѣ, — что черезъ насильственное соединеніе выходятъ наружу одни только недостатки и того, и другого. Но точно и рѣзко отдѣлить одно направленіе ученія отъ другого еще не значитъ заменить безвыходно переходъ отъ одного къ другому. Въ жизни молодого человѣка встрѣчается столько и нравственныхъ, и матеріальныхъ перемѣнъ, что несправедливо бы было дѣлать ему невозможнымъ этотъ переходъ отъ одного направленія къ другому. Поэтому самымъ главнымъ основаніемъ въ учрежденіи школъ, по моему мнѣнію, вмѣстѣ съ точнымъ раздѣленіемъ направленій, должна служить неразрывность въ извѣстныхъ и опредѣленныхъ границахъ. Въ каждой школѣ, начиная съ эле-

ментарной и доходя до университета, образованіе должно быть закончено и округлено до извѣстной степени, но вмѣстѣ съ тѣмъ нужно такъ распорядиться, чтобы каждая школа могла служить и преддверіемъ другой. Это важное условіе также не совершенно выполнено въ проектѣ устава. Въ высшихъ народныхъ училищахъ проектъ не представляетъ почти никакой возможности перехода ни въ гимназіи, ни въ университетъ. Изъ низшихъ народныхъ училищъ, въ которыхъ курсъ ученія не ограниченъ временемъ, переходъ возможенъ только въ первый классъ гимназіи. Такимъ образомъ низшія и высшія народныя училища составляютъ учрежденія почти совсѣмъ замкнутыя, и кончившій четырехъ-лѣтній курсъ въ высшемъ народномъ училищѣ можетъ едва поступить только въ первый классъ гимназіи. — Но какъ достигнуть законченности ученія въ каждой школѣ, не прерывая общей связи всѣхъ учебныхъ учреждений? Какъ сдѣлать, другими словами, чтобы каждая школа готовила и къ выходу въ жизнь, и къ переходу въ другое высшее учебное заведеніе? Не понадобится ли, именно для достиженія этой цѣли, соединеніе въ каждой школѣ классическаго направленія съ реальнымъ? Отвѣтъ, я думаю, не такъ труденъ, какъ онъ кажется, но онъ приводитъ насъ къ разбору другого начала, а именно:

2) Сословность въ учрежденіи школъ. Для рѣшенія сдѣланныхъ вопросовъ стоитъ только принять за аксіому, столь же важную и въ педагогическомъ, и въ нравственномъ, и въ государственномъ отношеніи, что ученіе до извѣстнаго возраста должно быть одно и то же для всѣхъ сословій и для всѣхъ состояній. Вѣрно, всѣ согласны, что первыя основанія закона божія, грамотности и счетности нужны для всѣхъ. Вѣрно, не будутъ противорѣчить и тому, что при воспитаніи всѣхъ сословій необходимо осмыслить все окружающее и развить мыслительную и наблюдательную способности души посредствомъ нагляднаго ученія. Это со временъ Песталоцци сдѣлалось также аксіомою. И я не буду противорѣчить тѣмъ, которые утверждаютъ, что для дѣтей высшихъ сословій необходимы, кромѣ грамоты, счетности и нагляднаго ученія, еще практическія упражненія въ языкахъ. Эти сословные предразсудки въ наше время не стоятъ опроверженія. Кто хочетъ, можетъ, пожалуй,

учить дѣтей, только-что вышедшихъ изъ пеленокъ, лепетать на трехъ и на четырехъ языкахъ; но, по-моему, всѣ сословія гораздо болѣе выиграютъ, если научать ихъ мыслить хорошо, хотя и на одномъ—своемъ природномъ. Итакъ, согласимся, во-первыхъ, чтобы элементарныя школы, по числу и свойству предметовъ, были для всѣхъ безъ исключенія однѣ и тѣ же. Это, кажется, принимаетъ и проектъ устава, говоря о низшихъ народныхъ училищахъ, что „цѣль ихъ заключается въ распространеніи первоначальныхъ, всякому нужныхъ, свѣдѣній между людьми всѣхъ сословій (§ 19). Говоря это,—скажу мимоходомъ,—проекту слѣдовало бы для нашей публики и назвать эти школы не низшими народными, а первоначальными или элементарными, потому что названіе народныхъ школъ, взятое съ нѣмецкаго Volksschule, для нѣмца имѣетъ совсѣмъ другое значеніе, нежели для русскаго.

Но если въ предѣлахъ элементарнаго ученія нельзя встрѣтить серьезныхъ разногласій, то за предѣлами его взгляды дѣлаются діаметрально противоположными. Одни, и къ числу ихъ принадлежатъ и составители проекта, тотчасъ же за этими предѣлами назначаютъ для воспитанія извѣстныхъ сословій,—и не только низшаго, но и торговаго и промышленнаго,—особенный родъ школъ, совершенно выключенный изъ связи съ другими высшими учебными учрежденіями и открывающій одинъ выходъ—въ практическую или, лучше, въ одну меркантильную жизнь. Это школы высшія народныя проекта, „назначенныя преимущественно для лицъ промышленнаго и торговаго класса“ (§ 52). Другіе—и къ числу ихъ принадлежу и я—желаютъ непрерывной связи между всѣми учебными заведеніями государства, не уничтожая, какъ я уже сказалъ, извѣстной законченности въ курсѣ ученія каждаго изъ нихъ. Если вмѣстѣ съ крѣпостнымъ правомъ уничтожится и самая сильная преграда, раздѣляющая наши сословія; если проектъ назначаетъ и низшія народныя училища, и прогимназіи, и гимназіи для всѣхъ сословій; если, наконецъ, наши университеты откроются также для всѣхъ сословій, то для чего же одни высшія народныя училища проекта будутъ составлять исключеніе? Или, можетъ быть, учрежденіе ихъ оправдывается особыми потребностями нашего торговаго и промышленнаго

общества? Нисколько; какъ наши мѣщане, горожане, промышленники, ремесленники и купцы не посылали своихъ дѣтей въ теперешнія уѣздныя училища, такъ точно они не будутъ ихъ посылать и въ высшія народныя. Почему наши уѣздныя училища теперь пусты, или если и ходятъ туда ученики, то не дѣти мѣщанъ и купцовъ, а чиновниковъ, однодворцевъ и мелкопомѣстныхъ дворянъ? По весьма простой причинѣ: ни ремесленники, ни купцы, ни мѣщане, не видятъ ни надобности, ни выгоды, 3 или 4 года учить въ школѣ дѣтей своихъ, тогда какъ они, на самихъ себѣ, и на другихъ, видятъ, что у насъ можно быть и зажиточнымъ мѣщаниномъ, и занятымъ ремесленникомъ, и даже богатымъ купцомъ — и безъ училища. „Для чего, — разсуждаютъ отцы, — наши дѣти должны терять три или четыре года и учиться тамъ, когда этого совсѣмъ не нужно, чтобы быть тѣмъ, чѣмъ мы сдѣлались, и даже гораздо лучше насъ? Если они научатся гдѣ-нибудь и какъ-нибудь читать, писать да считать, такъ они и безъ училища пойдутъ дальше нашего, лишь бы научились помогать намъ и наживать деньги“. И они правы, хотя, можетъ быть, и недальновидны. Развѣ наши законы или наше общество требуютъ отъ ремесленника, отъ торгаша и даже отъ купца, — какой бы онъ ни былъ гильдіи, — грамотности или окончанія курса въ училищѣ? Развѣ училище даетъ имъ особыя права на вступленіе въ гильдіи, на производство торговли? — Почему же полагаетъ проектъ, что, съ переменною названія уѣздныхъ училищъ на высшія народныя школы, тѣ же самые ремесленники, купцы и мѣщане будутъ туда охотнѣе посылать своихъ дѣтей? Неужели только потому, что вмѣсто штатнаго смотрителя будетъ инспекторъ, вмѣсто почетнаго смотрителя изъ дворянъ — будетъ попечительный совѣтъ, въ которомъ засѣдаетъ градской глава, или потому что курсъ, вмѣсто 3-хъ-лѣтняго, будетъ продолжаться еще долѣе, и что, можетъ быть, отероются дополнительные курсы и публичныя лекціи? Или, можетъ быть, проектъ предоставляетъ новымъ училищамъ и другія права, важныя для торговаго и промышленнаго сословія? Нѣтъ, „аттестатъ объ успѣшномъ окончаніи курса даетъ только такія преимущества, которыми не можетъ воспользоваться ни купецъ, ни мѣщанинъ. Аттестатъ объ успѣшномъ окончаніи курса даетъ тому преимуще-

ство на вступленіе въ государственную службу, кто, на основаніи существующихъ положеній, имѣетъ на это право (§ 135)“; но права вступить въ службу не имѣетъ ни мѣщанинъ, ни ремесленникъ. Вступить въ высшее учебное заведеніе, не приготовившись въ среднемъ, онъ также не можетъ; а если у нѣкоторыхъ лицъ изъ этого класса встрѣтится высшее понятіе объ образованіи, то, будь у нихъ только средства, они пошлютъ скорѣе своихъ дѣтей въ губернскую гимназію, чѣмъ въ училище, которое такъ мало отличается отъ уѣзднаго.

Итакъ, были двѣ главные причины, почему наши уѣздные училища мало посѣщались коренными жителями городовъ—мѣщанами, ремесленниками и купцами. Это 1) совершенная необязательность предъявлять предъ обществомъ, при вступленіи въ цехи, въ гильдіи и для полученія права на торговлю, хотя какую-нибудь степень образованія, и 2) малая потребность образованія со стороны самаго общества, для достиженія промышленныхъ и торговыхъ цѣлей. Эти двѣ причины остаются и теперь. Поэтому, мнѣ кажется, у насъ только и есть въ рукахъ два средства поднять образованіе народа въ городахъ: 1) сдѣлать обязательными для однихъ грамотность, для другихъ—окончаніе курса въ элементарныхъ училищахъ, предоставивъ только однимъ грамотнымъ права для полученія торговыхъ свидѣтельствъ и для вступленія изъ поселянъ въ мѣщане и въ цехи, и только однимъ кончившимъ курсъ въ этихъ училищахъ—права на вступленіе въ гильдіи; 2) приспособить ученіе въ элементарныхъ школахъ къ настоящимъ потребностямъ городского общества, которое, для достиженія промышленныхъ и торговыхъ цѣлей, ни въ чемъ покуда не нуждается болѣе, какъ только въ первыхъ началахъ закона божія, въ грамотности и умѣньѣ писать и читать. Первая изъ этихъ мѣръ уже и предлагается отчасти § 50 проекта,—по моему мнѣнію, самымъ существеннымъ; и потому стоитъ только распространить его силу на желающихъ вступить въ мѣщане и въ цехи и требовать отъ желающихъ получить право торговать свидѣтельства о грамотности, даннаго училищнымъ вѣдомствомъ. Но, сверхъ того, окончившимъ курсъ въ элементарномъ училищѣ необходимо еще право—быть освобожденными отъ тѣлеснаго наказанія, если они вышли изъ малолѣт-

ства. Вторая же мѣра осуществится, какъ скоро, вмѣсто двухъ родовъ народныхъ училищъ (высшихъ и низшихъ) проекта, останутся только одни элементарныя, прямо соотвѣтствующія настоящимъ потребностямъ нашего промышленнаго и торговаго общества. Въ этихъ первоначальныхъ училищахъ можно бы было допустить, сообразуясь съ мѣстными потребностями, и нѣкоторые дополнительные, но чисто-практическіе курсы. Можетъ быть даже и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ удалось бы соединить эти училища съ ремесленными школами, и потому не худо бы было въ проектѣ сдѣлать объ этомъ хотя одинъ намекъ, предоставивъ осуществленіе этого полезнаго соединенія времени и опыту. Курсъ ученія въ элементарныхъ школахъ нужно ограничить двумя годами, не стѣсняя впрочемъ, перехода изъ одного класса въ другой, для болѣе успѣвшихъ и способныхъ, и до истеченія года. Сверхъ этого, во всѣхъ элементарныхъ училищахъ необходимо открыть воскресные и праздничные уроки для желающихъ. Для тѣхъ же учащихся, которые пожелаютъ дальнѣйшаго образованія, имѣя для того достаточно средствъ, долженъ быть открытъ выходъ изъ элементарныхъ школъ прямо въ прогимназіи. Затѣмъ уѣздныя училища и предлагаемый проектомъ суррогатъ подѣименемъ высшихъ народныхъ должно исключить изъ числа нашихъ учебныхъ учреждений, какъ несоотвѣтствующія требованіямъ общества и своею замкнутостью прерывающія естественную связь между этими учреждениями. Нѣтъ сомнѣнія, что съ открытіемъ прогимназій, которыя, согласно съ § 176 проекта, могутъ быть открыты не въ однихъ только губернскихъ городахъ, учащіеся въ нашихъ уѣздныхъ училищахъ (въ кiev. учебн. округѣ почти всѣ дѣти однодворцевъ, мелкихъ дворянъ и чиновниковъ, наполняющія по окончаніи курса земскіе суды и другія низшія присутственныя мѣста), перемѣстятся бы въ прогимназіи. Сюда же перейдутъ и тѣ изъ учениковъ первыхъ классовъ нашихъ губернскихъ гимназій, которыхъ родители живутъ въ уѣздныхъ городахъ и по-неволѣ принуждены отсылать своихъ дѣтей, — иногда далеко, — въ губернскіе города.

Но самыя прогимназіи, состоящія изъ четырехъ классовъ, должны быть непременно двухъ родовъ: классическія и реаль-

ныя. Изъ нихъ первыя должны открывать путь къ высшему университетскому образованію; вторыя, не прекращая учащимся возможности переходить въ первыя, должны, вмѣстѣ съ тѣмъ, открыть выходъ и прямо въ практическую жизнь. Бюджетъ, назначаемый правительствомъ для уѣздныхъ или для высшихъ народныхъ училищъ, получить другое назначеніе: на учрежденіе этихъ прогимназій въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ. — Можно принять за правило (съ рѣдкими исключеніями), что у дѣтей до 13 или 14-лѣтъ не обозначаются ясно и положительно наклонности къ тому или другому роду научныхъ занятій, и потому развитіе всякой исключительной спеціальности до этого возраста не только не ведетъ ни къ какимъ результатамъ, но даже вредно, способствуя односторонности и ограниченности мышленія. Только одинъ недостатокъ въ матеріальныхъ средствахъ, а не сословные предразсудки могутъ извинить въ глазахъ просвѣщеннаго общества спеціальное образованіе до 14-лѣтняго возраста. Слѣдуя этому правилу, нужно такъ распорядиться съ распредѣленіемъ ученія въ классическихкихъ и реальныхъ прогимназіяхъ, чтобы предметы, преподаваемые въ первыхъ трехъ классахъ обѣихъ прогимназій, соотвѣтствовали, сколько можно, общему образованію съ однимъ только легкимъ отлѣнкомъ того или другого (классическаго или реального) направленія. Этимъ сдѣлается возможнымъ свободный переходъ (безъ испытанія) изъ III-го и IV-го класса прогимназіи реальной въ III-й классъ прогимназіи классической. Итакъ, мы достигнемъ и извѣстной законченности ученія въ каждой школѣ, и не прервемъ общей, соединяющей всѣ училища, связи, и избѣгнемъ насильственнаго и вреднаго соединенія гуманизма съ реализмомъ въ одномъ и томъ же училищѣ, если учредимъ, для всѣхъ сословій безъ различія, три школы, которыми обозначатся три степени образованія:

1) Школу элементарную, состоящую изъ двухъ классовъ, предметами которой будутъ: законъ божій (молитвы, основныя правила вѣры и краткая священная исторія въ разсказахъ), грамота, письменность, счетность (четыре правила ариѳметики) и наглядное ученіе, — всѣ, начиная съ грамоты и закона божія до ариѳметики и нагляднаго ученія, направленные къ развитію мышленія, къ предварительному практи-

ческому знакомству съ міромъ внутреннимъ челоѣка и внѣшнимъ. Число уроковъ въ этихъ школахъ должно быть сообразно съ возрастомъ учащихся и никакъ не болѣе 20-ти въ недѣлю. Вступленіе въ эти школы, способъ преподаванія, переходы изъ одного класса въ другой и самое открытіе школъ не должны стѣсняться ни регламентаціею, ни сроками. Зимнее время назначается для учениковъ, занятыхъ полевыми работами; зима и лѣто—для другихъ, имѣющихъ время; поэтому уроки не должны быть распредѣлены съ излишнею систематическою послѣдовательностью. Ученіе продолжается въ воскресенье и праздники для всѣхъ желающихъ и всѣми желающими. Гдѣ можно, школы эти соединяются съ ремесленными школами. Если, по недостатку въ настоящее время дѣльных учителей, наглядное ученіе не можетъ быть тотчасъ же введено, то его нужно замѣнять чтеніемъ дѣтскихъ и популярныхъ книгъ, съ объясненіемъ, по рисункамъ и моделямъ, самыхъ необходимыхъ вещей въ общежитіи. Я думаю, что именно однимъ недостаткомъ въ учителяхъ можно объяснить важный пробѣлъ въ проектѣ устава, ни слова, не упоминающемъ о наглядномъ ученіи въ низшихъ народныхъ школахъ. Обѣзжая округъ, я достаточно убѣдился, что одна грамота еще мало развиваетъ дѣтей безъ нагляднаго ученія. Я видѣлъ дѣтей, бойко читавшихъ грамоту, но не понимавшихъ почти нисколько читаннаго, особливо если природный ихъ языкъ былъ не чисто-русскій, а малороссійскій. Элементарныя училища открываютъ путь или прямо въ жизнь, съ правомъ вступить въ цехи и гильдіи и съ освобожденіемъ отъ тѣлеснаго наказанія, или же —

2) Прогимназію реальную, состоящую изъ четырехъ классовъ. Предметы ученія въ ней будутъ: законъ божій (катехизисъ, священная исторія, чтеніе евангелистовъ и апостольскихъ посланій, литургія) и русскій языкъ, письменность и орфографія, наглядное ученіе, ариметика, алгебра (въ III-мъ классѣ) и геометрія (въ IV-мъ), два новые языка, географія, исторія въ біографическихъ очеркахъ, естествовѣдѣніе (излагаемое наглядно, для развитія наблюдательной способности), черченіе и другіе реальные предметы, сообразуясь съ мѣстными потребностями. Въ эти прогимназіи могутъ поступать безъ испытанія окончившіе курсъ въ элементарныхъ училищахъ или

же изъ домашняго воспитанія умѣющіе читать, писать и считать (четыре правила ариметики). Уроки въ двухъ первыхъ классахъ занимаютъ не болѣе 24, въ двухъ послѣднихъ — не менѣе 26 часовъ въ недѣлю, и каждый продолжается не болѣе одного часа. Въ послѣобѣденное время — дополнительные практическіе курсы изъ реальныхъ предметовъ для желающихъ. Въмѣсто черченія или другого реального предмета, или же вмѣсто одного новаго языка — языкъ латинскій для желающихъ этого учениковъ III-го класса. Кромѣ правъ, предоставленныхъ учившимся въ элементарныхъ училищахъ, аттестатъ объ успѣшномъ окончаніи курса въ реальной прогимназіи даетъ еще исключительное право на полученіе почетнаго гражданства и на поступленіе въ гильдію, если только удостоенный аттестата исполнитъ всѣ другія, законами поставленныя, условія на полученіе этихъ правъ; реальная прогимназія, также какъ и элементарное училище, открываетъ путь учащимся или: 1) прямо въ практическую жизнь, приготавлиая къ ней изученіемъ различныхъ реальныхъ предметовъ, или 2) въ реальную гимназію, для дальнѣйшаго усовершенствованія въ томъ же самомъ направленіи, или, наконецъ, 3) имъ предоставляется возможность перейти (если пожелаютъ, вступить въ университетъ); и —

3) Классическую прогимназію, въ первыхъ двухъ классахъ которой учебные предметы остаются почти тѣ же, какъ и въ реальной, за исключеніемъ только того, что въ классической прогимназіи изученіе не двухъ, а только одного новаго языка обязательно, хотя уроки такъ распредѣлены, что желающіе могутъ заниматься и двумя; а именно, эти уроки даются въ одно и то же время, ни въ одномъ классѣ не менѣе 4-хъ часовъ въ недѣлю, и изъ 4—5 уроковъ три — чисто-практическаго содержанія, состоящіе въ переводахъ авторовъ. Поэтому учащійся, не прерывая нисколько послѣдовательности въ ученіи, половину часовъ въ недѣлю можетъ употребить на изученіе одного, а половину — на изученіе другого языка, если онъ, при самомъ вступленіи въ прогимназію, или еще и до того уже, занимался обоими языками. Первоначальныя понятія въ естествовѣдѣніи и географіи сообщаются нагляднымъ образомъ въ классической прогимназіи только въ первыхъ двухъ классахъ. Но на изученіе русскаго языка и одного новаго пола-

гается болѣе времени (по 5-ти часовъ въ недѣлю, а въ реальныхъ — только 4 часа). Преподаваніе исторіи въ біографическихъ и географическихъ очеркахъ въ классическихъ прогимназіяхъ начинается со II-го класса. Первое раздѣленіе въ направленіи ученія начинается только съ III-го класса. Въ этомъ классѣ классическихъ прогимназій начинается преподаваніе языка (6 часовъ въ недѣлю), и потому окончившіе курсъ въ реальныхъ прогимназіяхъ поступаютъ прямо въ III-й классъ. Въ IV-мъ классѣ начинается и греческій языкъ (также 6 часовъ въ недѣлю). Итакъ, въ классическія прогимназіи могутъ поступать: 1) кончившіе курсъ въ элементарныхъ школахъ — въ I-й классъ безъ испытанія; 2) кончившіе курсъ въ реальныхъ прогимназіяхъ, безъ испытанія, въ III-й классъ, или же и некончившіе, по испытаніи, въ тотъ же классъ, и 3) изъ домашняго воспитанія въ различные классы, — по экзамену. Число уроковъ и права этихъ прогимназій должны быть тѣ же, какъ и реальныхъ; при нихъ откроются педагогическіе курсы для образованія учителей элементарныхъ школъ. Но кончившимъ курсъ въ классическихъ прогимназіяхъ хотя и открыта возможность выступить прямо въ жизнь, — потому что они, во всякомъ случаѣ, будутъ болѣе образованы воспитанниковъ нынѣшнихъ уѣздныхъ училищъ (которые, какъ извѣстно, находятъ мѣста въ службѣ, дѣлаются и чиновниками, и учителями), однакоже прямое назначеніе классическихъ прогимназій все-таки состоитъ исключительно въ приготовленіи къ гимназіямъ классическимъ и къ вступленію въ университетъ.

Послѣ этихъ первыхъ трехъ степеней ученія и, слѣдовательно, трехъ родовъ школъ, въ которыхъ уже обозначается первое начало раздѣленія двухъ направленій — классическаго и реального, остаются еще два рода среднихъ учебныхъ заведеній, каждое съ особеннымъ направленіемъ, обозначеннымъ рѣзко и положительно. Это гимназіи — реальные и классическія. Что касается до первыхъ, то я еще не вполне убѣжденъ, удастся ли въ настоящее время ихъ учрежденіе. Мнѣ кажется, на первый разъ, можно бы было ограничиться однѣми реальными прогимназіями. Дѣйствительно, во-первыхъ, я не вижу удобнаго выхода для окончившихъ курсъ въ этихъ училищахъ; во-вторыхъ, чтобы доставить этотъ выходъ, нужно

бы было (какъ въ Германіи и Франціи) ихъ превратить въ настоящія политехническія школы, но я не знаю, достанетъ ли у насъ къ тому и людей, и средствъ; въ-третьихъ, у насъ всѣ спеціальныя школы находятся не въ вѣдомствѣ министерства народн. просв., а въ другихъ, различныхъ вѣдомствахъ, которыя едва-ли дадутъ преимущества окончившимъ курсъ въ реальныхъ гимназіяхъ. Извѣстно, что до сихъ поръ преимущества даютъ въ спеціальныхъ школахъ другихъ вѣдомствъ только окончившимъ курсъ въ университетахъ (какъ, наприм., по вѣдомству путей сообщенія); безъ этого же наврядъ-ли найдется много желающихъ окончить курсъ въ реальныхъ гимназіяхъ. А дать окончившимъ въ нихъ курсъ одинаковыя права съ учениками классическихъ гимназій для вступленія въ университеты, значило бы дѣлать подрывъ общечеловѣческому или классическому образованію, и безъ того у насъ слабо развитому, тогда какъ, по моему мнѣнію, предстоитъ жизненная необходимость возвысить и развить это направленіе образованія. Но если учрежденіе реальныхъ гимназій, несмотря на эти соображенія, признано будетъ возможнымъ, то вотъ какъ нужно бы было распорядиться:

- 1) Каждая гимназія, сохраняя вполнѣ свое реально-практическое направленіе, должна, при выборѣ реальныхъ предметовъ ученія, какъ можно болѣе сообразоваться съ мѣстными потребностями края. Въ однихъ, напримѣръ, занятія будутъ исключительно посвящены изученію наукъ прикладныхъ математическихъ, въ другихъ — наукъ коммерческихъ и т. д. Поэтому
- 2) одні изъ этихъ гимназій будутъ состоять изъ четырехъ, другія — изъ трехъ классовъ, съ различными дополнительными курсами;
- 3) большая половина учебнаго времени (какъ, напримѣръ, изъ 28 недѣльных часовъ 16) должна быть опредѣлена для изученія математики, новыхъ языковъ, естествовѣдѣнія и спеціально-техническихъ предметовъ. Остальное время уроковъ посвящается изученію русскаго языка, исторіи и географіи въ ограниченномъ объемѣ;
- 4) всѣ чисто-реальные и техническіе предметы должны излагаться сколько можно практически и наглядно;
- 5) въ реальныя гимназіи вступаютъ безъ испытанія окончившіе курсъ въ прогимназіямъ реальныхъ, по экзамену — изъ прогимназій классическихъ и изъ домашняго воспитанія

(въ различные классы), и только молодые люди не ранѣе 14 лѣтъ; при испытаніи должно обращать преимущественно вниманіе на то, къ которому изъ реальныхъ предметовъ они оказываютъ наиболѣе способностей; 6) окончившіе курсъ съ успѣхомъ въ реальныхъ гимназіяхъ, кромѣ правъ, которыми пользуются кончившіе курсъ въ прогимназіяхъ, должны имѣть еще право поступить безъ испытанія въ высшія спеціальныя школы различныхъ вѣдомствъ.

Наконецъ, гимназіи классическія должны имѣть главною и исключительною цѣлью подготовленіе, посредствомъ солиднаго изученія языковъ (отечественнаго, двухъ древнихъ, одного новаго), исторіи и математики, къ высшему университетскому образованію. Своимъ гуманистическимъ направленіемъ онѣ должны рѣзко отличаться отъ гимназій реальныхъ, которыя, въ сущности, суть не чтò иное, какъ политехническія школы. Итакъ, болѣшая половина учебнаго времени въ этихъ училищахъ, и именно изъ 27 часовъ въ недѣлю не менѣе 10, посвящается изученію древнихъ языковъ, не менѣе 4 часовъ—исторіи, 4 или 5 часовъ—математикѣ и 4 или 3 часа—отечественному языку. Въ классическихъ гимназіяхъ число уроковъ греческаго языка не должно быть менѣе числа уроковъ латинскаго языка. Оба эти языка должны быть изучаемы съ одинаковою отчетливостью: ни въ одномъ классѣ не менѣе 4 часовъ въ недѣлю. Намъ, русскимъ, получившимъ отъ грековъ и вѣру, и первые начатки образованія, нельзя отставать отъ народовъ Запада, которые уже давно приняли за доказанное, что серьезное изученіе латинскаго языка, какъ предмета въ высшей степени образовательнаго, не можетъ быть безъ знанія языка греческаго, и что чрезъ незнаніе послѣдняго теряется, болѣе чѣмъ вполовину, для воспитанія и образовательная сила перваго. Остальное время раздѣляется на изученіе закона божія, одного изъ новыхъ языковъ (всегда вмѣстѣ съ сравнительною грамматикою) и географіи. Естественновѣдѣніе и другіе реальные предметы совсѣмъ не входятъ въ курсъ ученія классической гимназіи. И это-то, именно, ограниченное число извѣстныхъ, одному только направленію соотвѣтствующихъ, предметовъ ученія и должно характеризовать классическую гимназію. Въ ней не разнообразность, не многосторон-

ность, а глубина въ изученіи немногаго должна играть главную роль. И потому, въ классахъ гимназій сосредоточивается все вниманіе учащихся только на тѣ немногіе отдѣлы наукъ, которые наиболѣе, какъ это опытъ показалъ, содѣйствуютъ къ развитію основательности и глубины знанія. А успѣвъ развить это въ учащемся, можно смѣло надѣяться, что всѣ пробѣлы въ его свѣдѣніяхъ легко пополнятся дальнѣйшимъ университетскимъ образованіемъ. Что касается до числа классовъ, то необходимо или увеличить его однимъ классомъ, какъ это предлагаетъ проектъ, или же—опредѣлить (по примѣру германскихъ гимназій), чтобы курсъ въ двухъ послѣднихъ классахъ продолжался не по одному году, а два года. Последнее мнѣ кажется удобнѣе, потому что въ этихъ классахъ преподаются почти всѣ тѣ же предметы; распространивъ же курсъ въ каждомъ классѣ на два года, можно изучить каждый предметъ гораздо основательнѣе. Одно обстоятельство, на которое, мнѣ кажется, въ проектѣ не обращено достаточнаго вниманія, есть самостоятельность ученія въ двухъ послѣднихъ классахъ гимназій. Подъ этимъ, конечно, не нужно разумѣть самостоятельныхъ разысканій въ наукѣ. Этихъ требованій не могутъ удовлетворить не только ученики гимназій, но даже и не всѣ профессора университетовъ. Но мы въ правѣ требовать и отъ гимназистовъ, приготовляющихся къ университету, дѣятельнаго упражненія мыслительной способности, самостоятельныхъ и мотивированныхъ отчетовъ о ихъ занятіяхъ, разработки собственными силами нѣкоторыхъ извѣстныхъ источниковъ (Quellenstudium). Учителямъ должно быть вмѣнено въ непремѣнную обязанность занимать учащихся въ этихъ классахъ исключительно самостоятельными трудами; въ классахъ преподаватели должны разбирать внѣ-классные труды учениковъ, разъяснять недоумѣнія, предлагать классическія сочиненія для дальнѣйшаго изученія и требовать отчетовъ о прочитанномъ. Короче, занятія въ послѣднихъ классахъ должны имѣть болѣе видъ бесѣдъ, нежели школьныхъ уроковъ. Они должны готовить учащихся къ настоящему университетскому ученію и составлять непосредственный переходъ отъ классовъ къ лекціямъ. Это есть единственное средство поднять самостоятельность научныхъ занятій между студентами въ на-

шихъ университетахъ, до сихъ поръ извѣстную у насъ только по слухамъ. Но, имѣя это въ виду, нельзя допустить, чтобы молодые люди до 18-лѣтняго возраста были достаточно зрѣлы и достаточно приготовлены для университетскаго образованія, а потому, съ увеличеніемъ времени пребыванія въ классическихкихъ гимназіяхъ, должно бы было уменьшить и возрастъ вступающихъ въ первый классъ классическихкихъ прогимназій. Десятилѣтній возрастъ, опредѣляемый проектомъ для вступленія въ классъ, слишкомъ великъ; если гимназическій курсъ будетъ продолжаться около десяти лѣтъ, то нужно бы было допустить къ вступленію и 8-ми- или 9-лѣтнихъ дѣтей, тѣмъ болѣе, что для поступленія въ первый классъ ничего болѣе не требуется, какъ умѣнье читать, писать, считать и начала закона божія. Уроковъ въ классической гимназіи должно быть не менѣе 27 въ недѣлю, и это не трудно сдѣлать, опредѣливъ время для занятій отъ 8 часовъ утра до 2 часовъ, съ небольшими перемежками, и назначивъ для каждаго урока (по образцу германскихъ школь) не болѣе одного часа. Ни для учителей, ни для учащихся нѣтъ никакой пользы продолжать урочное занятіе до 1 ¹/₄ часа. Утомлять слишкомъ вниманіе, ни у учителей, ни у учениковъ, не нужно. Да и число часовъ, опредѣленныхъ проектомъ для каждаго учителя, слишкомъ велико. И въ Германіи, гдѣ обстановка учителей-несравненно лучше, отъ нихъ требуется не болѣе 20 часовъ въ недѣлю. Вообще опредѣленіе времени для классныхъ занятій зависитъ отъ опредѣленія объема преподаваемаго предмета, а при опредѣленіи объема нужно постоянно имѣть въ виду, что цѣль гимназическаго, и именно классическаго, образованія состоитъ не только въ обогащеніи учащихся свѣдѣніями, но преимущественно въ развитіи, посредствомъ образовательныхъ наукъ, всѣхъ высшихъ способностей духа. Поэтому-то и съ составленіемъ программъ должно поступать чрезвычайно осторожно. Можно смѣло утверждать, что программы у насъ до сихъ поръ не принесли никакой существенной пользы, а, напротивъ, многому повредили; до сихъ поръ еще, какъ это я знаю изъ опыта, всякій посредственный и бездарный учитель всегда ссылается на программу, какъ скоро замѣчаютъ ему, что его уроки не развили ученика. Между тѣмъ, если для кого про-

граммы еще не нужны, то именно для учителей посредственных и несовѣстливо исполняющихъ свои обязанности; такіе преподаватели, при существованіи программъ, уже обязаны непремѣнно, — худо ли, хорошо ли, — прочесть все то, что предписываетъ программа. Но, съ другой стороны, эти программы стѣсняють до-нельзя даровитыхъ и самодѣятельныхъ наставниковъ и учениковъ. Не лучше ли будетъ ежегодно опредѣлять программы въ педагогическихъ совѣтахъ гимназій, и то въ общихъ чертахъ, касаясь преимущественно объема каждой науки, и разсматривать ихъ въ попечительскихъ совѣтахъ округовъ. Допущеніе же отступленій въ программахъ, не иначе какъ съ разрѣшенія г. министра народнаго просвѣщенія, опредѣляемое проектомъ (§ 275), сопряжено съ болѣею потерей времени и не имѣетъ никакой существенной цѣли.

Имѣя въ виду также развитіе самостоятельности въ научныхъ занятіяхъ учащихся, должно еще осторожнѣе поступать съ переводами изъ одного класса въ другой. Система переводныхъ испытаній въ гимназіяхъ, каковы бы ни были инструкціи, утвержденныя высшимъ начальствомъ (ср. § 279 проекта), только поддерживаетъ экзаменаціонное направленіе, и безъ того уже развитое въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ. Учиться для экзамена, — вотъ цѣль болѣе части нашихъ учащихся. Наши переводные экзамены отнимають много учебного времени и, несмотря на всю ихъ официальную обстановку, не служатъ вѣрнымъ ручательствомъ за свѣдѣнія учащихся. Я думаю, гораздо полезнѣе бы было взять въ образецъ германскія школы; тамъ нѣтъ нашихъ переводныхъ экзаменовъ, а ученіе идетъ несравненно лучше. Классные учителя и директоръ, безъ всякихъ формальностей, судятъ по однимъ годовичнымъ успѣхамъ учениковъ и рѣшаютъ про каждаго изъ нихъ, можетъ ли онъ быть переведенъ въ слѣдующій классъ, или нѣтъ. Только въ сомнительныхъ случаяхъ, или въ случаѣ возникшаго несогласія въ мнѣніяхъ учителей, могутъ быть допущены испытанія въ присутствіи всего педагогическаго совѣта. И инспекторъ, и каждый учитель, должны непремѣнно настолько знать своихъ учениковъ, чтобы опредѣлить, по истеченіи года, степень свѣдѣній и способностей каждаго изъ нихъ;

а наставники, хорошо знающіе своихъ учениковъ, могутъ лучше и надежнѣе, безъ всякихъ официальныхъ испытаній по билетамъ и балламъ, рѣшить, можетъ ли тотъ или другой учащійся слѣдить за ходомъ преподаванія наукъ въ томъ классѣ, въ который онъ переводится, даже если бы онъ по нѣкоторымъ предметамъ и былъ нѣсколько слабѣе. Зная и способности, и прилежаніе, и свѣдѣнія ученика по класснымъ занятіямъ и испытаніямъ, каждый порядочный учитель можетъ опредѣлить, успѣетъ ли въ томъ или другомъ предметѣ отставшій ученикъ догнать своихъ сверстниковъ въ слѣдующемъ классѣ, или нѣтъ. Если же учитель не умѣетъ узнать этого, слѣдя за занятіями и успѣхами ученика въ теченіе года, то что же онъ узнаетъ чрезъ испытаніе, которое для каждаго продолжается по нѣскольку минутъ? Вообще, пора уже въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ усилить вліяніе и голосъ наставниковъ въ рѣшеніи этихъ вопросовъ, не ограничивая ихъ одною официальностью. Но дѣло въ томъ, что переводные экзамены учреждены, какъ кажется, не столько для учениковъ, сколько для учителей. Если это такъ, то нужно сознаться, что и въ этомъ отношеніи они не достигли цѣли, и переводные экзамены составляютъ такой же невѣрный контроль надъ учителями, какъ и надъ учениками.

Къ правамъ классическихъ гимназій нужно прибавить, что лица податного состоянія, кончившія курсъ въ этихъ гимназіяхъ, совершенно освобождаются отъ рекрутской повинности, и всѣ кончившіе курсъ съ аттестатомъ вступаютъ въ университетъ безъ испытанія. Въ классическія гимназіи, какъ это уже явствуетъ изъ направленія ученія и распредѣленія курса наукъ, поступаютъ всѣ готовящіеся къ университетскому образованію, будутъ ли это ученики, окончившіе курсъ въ классическихъ прогимназіяхъ (безъ испытанія—въ V-й классъ), или учащіеся изъ домашняго воспитанія (по экзамену въ разные классы). Для сокращенія расходовъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ можно и реальныя, и классическія гимназіи и прогимназіи помѣщать въ одномъ и томъ же зданіи, подъ начальствомъ одного и того же директора, да и учителя многихъ предметовъ могутъ быть въ обѣихъ гимназіяхъ тѣ же самые.

Вотъ, кажется, самая простая система для организаціи

всѣхъ учебныхъ учрежденій, начиная съ элементарной школы и доходя до университета. Правда, говоря точнѣе, она все-таки искусственная, и не можетъ быть другою тамъ, гдѣ общественное образованіе составляетъ правительственную монополию. Чтѣ бы случилось съ нашими школами при совершенно-свободной конкурренціи — я не знаю; знаю только навѣрное то, что, — какую бы систему ни избрали при учрежденіи училищъ и какъ бы искусно ни былъ составленъ уставъ, какъ бы хороши ни были инструкціи и программы, словомъ, какъ бы хорошо ни былъ организованъ правительственный контроль за ходомъ ученія, — все-таки весь успѣхъ дѣла будетъ зависѣть отъ личностей, которымъ ввѣряется приложеніе правилъ къ дѣлу, и по учебной, и по административной части. Но лица остаются покуда тѣ же самыя, какъ и теперь. Въ этомъ, конечно, никто не виноватъ. Но измѣняются ли, по крайней мѣрѣ, въ новомъ проектѣ взаимныя отношенія лицъ, которымъ вручается учебная и административная часть школъ, и отношенія ихъ къ школѣ, къ обществу и къ правительству? — Да, но на какихъ началахъ? — И здѣсь проектъ избираетъ два совершенно различныя начала и старается соединить ихъ вмѣстѣ. Разсмотримъ, достигаетъ ли онъ цѣли.

Въ училищной администраціи проектъ принялъ, какъ кажется, исключительно начало коллегіальное. На немъ основаны и попечительные совѣты, и правленія училищъ. Безспорно, несмотря на нѣкоторыя невыгодныя стороны этого начала (какъ-то: медленность въ ходѣ дѣла, духъ партій, и т. п.), оно все-таки остается до сихъ поръ еще самымъ надежнымъ. Но проектъ, принявъ это начало, въ то же самое время приводитъ другое, едва-ли не противоположное, и именно бюрократическое. Какъ соединить въ одномъ и томъ же учрежденіи коллегіальность и бюрократизмъ? — изъ § 199 проекта мы видимъ весьма благое и раціональное стремленіе сблизить директора съ наставниками, или, по крайней мѣрѣ, не исторгать его изъ этой среды, — потому что этотъ § вмѣняетъ ему въ непременную обязанность „преподавать въ гимназій одинъ изъ учебныхъ предметовъ“. Но въ то же время на должность директора, по проекту, имѣютъ право не одинъ только классъ учителей, а всѣ „лица, кончившія курсъ въ универси-

тетѣ и служившія 10 лѣтъ по учебной части“ (§ 186); да-
лѣе, должность директора полагается проектомъ въ V-мъ классѣ
государственной службы (§ 185), тогда какъ наставникъ, „от-
личившійся особенными педагогическими способностями и тру-
дами, по выслугѣ въ этомъ званіи не менѣе 15 лѣтъ“, пола-
гается § 215-мъ проекта только въ VIII-мъ классѣ. Слѣдова-
тельно директоръ не по особымъ педагогическимъ заслугамъ,
даже и не по старшинству службы, а только потому, что онъ
есть начальникъ и посредникъ, а не просто наставникъ, ста-
вится тремя ступенями выше на іерархической лѣстницѣ го-
сударства. Итакъ, съ одной стороны, проектъ выражаетъ ра-
ціональное желаніе сблизить директора съ средою наставни-
ковъ, а съ другой стороны, слѣдуя бюрократическому началу,
отдаляетъ его отъ этой среды. Хотя я и не раздѣляю мнѣнія
педагогическихъ совѣтовъ нѣкоторыхъ гимназій, которые пред-
лагаютъ избраніе директора членами педагогическаго совѣта
по большинству голосовъ, какъ это должно быть съ должностью
ректора, избиравшагося нѣкогда и у насъ членами универси-
тетскаго совѣта; но я увѣренъ, что, допустивъ однажды въ
управленіи и администраціи гимназій коллегіальное начало, не-
премѣнно слѣдуетъ распространить его и на учебно-воспита-
тельную часть. Если гдѣ польза этого начала очевидна, то
именно въ дѣлѣ учебно-воспитательномъ. Правда, есть много
случаевъ и въ дѣлѣ учебномъ, которые требуютъ единства дѣй-
ствій, недостижимаго при коллегіальномъ управленіи; но въ
такихъ экстренныхъ случаяхъ коллегія можетъ передать на
время свою власть въ руки одного изъ своихъ представителей.
А главное—необходимо, чтобы вся корпорація гимназическихъ
учителей имѣла полное довѣріе и уваженіе и къ научнымъ, и
къ педагогическимъ свѣдѣніямъ своего директора, чтобы его
совѣты и мнѣнія она принимала не только какъ одни прика-
занія начальника, но какъ убѣжденія человѣка опытнаго и
искуснаго въ дѣлѣ воспитанія. Поэтому необходимо, чтобы ди-
ректоръ былъ непременно самъ изъ среды заслуженныхъ пре-
подавателей и чтобы онъ назначался по выбору лицами также
опытными и знающими дѣло. Мнѣ кажется, что этотъ выборъ
можно бы было предоставить попечительному совѣту округа.
Всѣ члены совѣта могли бы имѣть право вносить, за нѣсколько

времени до выборовъ, имена своихъ кандидатовъ (не означая своего имени), изъ числа имъ извѣстныхъ учителей, въ особенную книгу, съ изложеніемъ научныхъ, литературныхъ и педагогическихъ заслугъ каждаго. Назначеніе директора по выбору изъ среды наставниковъ и потому еще было бы цѣлесообразно, что оно было бы неотъемлемой привилегіей ихъ однихъ и служило бы къ поощренію ихъ дѣятельности на педагогическомъ поприщѣ. На этомъ поприщѣ у нашихъ учителей нѣтъ другой перспективы, и если § 199-й возлагаетъ на директора учительскую обязанность, то уже, конечно, никто на исполненіе ея не имѣетъ болѣе правъ, какъ учитель. Отъ примѣси бюрократизма къ коллегіальному началу, принимаемому проектомъ въ значительномъ объемѣ, не вижу пользы; напротивъ, и здѣсь, также какъ и въ направленіи ученія, попытка соединить въ одно два противоположныя начала не достигнетъ цѣли, а обнаружатся только одни недостатки того и другого. Если ученіе и воспитаніе въ нашихъ училищахъ до сихъ поръ не дѣлали блестящихъ успѣховъ, то много въ этомъ виноваты существующія и теперь еще чисто бюрократическія отношенія наставниковъ къ ихъ непосредственному начальству. Переимѣнить ихъ на коллегіальныя есть вопіющая потребность нашего времени. Не чиномъ, а одними только научными и педагогическими достоинствами долженъ директоръ отличаться и внушать къ себѣ уваженіе и сослуживцевъ, и общества. Бюрократическое начало, въ соединеніи съ коллегіальнымъ, выражается въ проектѣ и при классификаціи преподавателей (§ 215) на учителей (въ IX классѣ), наставниковъ (въ VIII) и профессоровъ (въ VII классѣ); изъ нихъ послѣдніе два (наставники и профессора) избираются педагогическимъ совѣтомъ по выслугѣ (5—15) лѣтъ (§ 218, 219), а учителя утверждаются по представленію директора (§ 217). Слѣдовательно, лица, исполняющія однѣ и тѣ же обязанности, назначаются, слѣдуя то одному, то другому началу.

Мнѣ кажется, что, какая бы классификація преподавателей ни была принята, всегда будетъ послѣдовательнѣе назначать всѣхъ ихъ по выбору педагогическаго совѣта. Это справедливо даже и съ бюрократической точки зрѣнія. Если высшее начальство довѣряетъ ему столько, что предоставляетъ выборъ

чиновниковъ VIII-го и VII-го классовъ, то почему же не можетъ довѣрить еще болѣе выборъ учителей, по разряду относящихся къ IX-му классу; а между тѣмъ назначеніе именно учителей есть самое важное дѣло для всего педагогическаго совѣта, интересующее его всего болѣе.

Тотъ же самый бюрократизмъ, господствующій теперь въ отношеніяхъ учителей къ ихъ непосредственному начальству, нарушая самыя естественныя отношенія между ними, прерываетъ и органическую связь наставниковъ съ учащимися. Худыя и вредныя слѣдствія этого еще очевиднѣе въ нашихъ гимназіяхъ. Между учениками и ихъ наставниками стоятъ не только одно, но два лица: директоръ и инспекторъ. Хотя § 224-й проекта и предписываетъ учителямъ слѣдить за умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ учениковъ, но повуда будутъ инспекторы, то отношенія учениковъ къ учителямъ никогда не сдѣлаются такими, какими имъ быть нужно. Учители, кромѣ уроковъ, все такъ же, какъ и теперь, не будутъ ничѣмъ связаны съ учениками. Только въ недавнее время въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ начали учителя избираться и въ надзиратели. Между тѣмъ значительная и едва-ли не главная часть воспитательной силы заключается въ самой наукѣ, и преподаватель того или другого предмета есть вмѣстѣ и самый дѣятельный воспитатель. Смотри на дѣло съ этой точки, я нахожу, что инспекторы могли бы быть безъ труда замѣнены нѣсколькими учителями. Извѣстно, что въ германскихъ школахъ, вмѣсто инспекторовъ существуютъ такъ-называемые классные учителя (Classenlehrer). Въ каждомъ классѣ гимназіи находится по одному такому учителю. Имъ поручается: 1) преподаваніе тѣхъ предметовъ, которые всего болѣе выражаютъ господствующее направленіе ученія (древнихъ языковъ, словесности и исторіи—въ гимназіяхъ классическихъ; математики и реальныхъ предметовъ—въ гимназіяхъ реальныхъ; 2) посредничество между учащимися и ихъ родителями; 3) научный и нравственный надзоръ за цѣлымъ классомъ. Отношенія классныхъ учителей къ учащимся несравненно тѣснѣе и нравственное вліяніе ихъ поэтому на учащихся гораздо сильнѣе, чѣмъ инспектора.

Въ многочисленныхъ гимназіяхъ одному инспектору почти нѣтъ возможности слѣдить за успѣхами всѣхъ учениковъ и

каждаго изъ нихъ, тогда какъ нѣсколько классныхъ учителей могутъ сдѣлать это, безъ сомнѣнія, легче. А въ закрытыхъ заведеніяхъ мѣсто инспектора могутъ заступать учителя и надзиратели. Противъ отмѣненія должности инспектора въ нашихъ гимназіяхъ можно сказать только то, что директоръ, обремененный письменными дѣлами и надзоромъ за училищами въ цѣлой губерніи, не въ состояніи хорошо наблюдать за ходомъ ученія и воспитанія въ ввѣренной ему гимназіи. Но на это можно возразить, что именно многосложность обязанностей директора и вредна для гимназій, не позволяя ему сосредоточить всю свою дѣятельность на одно это учебное заведеніе. Если директоръ долженъ быть не только оффиціальнымъ начальникомъ, но и дѣйствительнымъ блюстителемъ, зорко наблюдающимъ за ходомъ гимназическаго образованія, то онъ не долженъ быть обремененъ другими дѣлами, требующими отлучекъ отъ гимназій, огромной переписки и т. п. Да при этой многосложности обязанностей терпятъ и другія училища его дирекціи; контроль за ними, отвлекая его отъ главнаго занятія, бываетъ между тѣмъ поверхностный и болѣе временный, чѣмъ постоянный. Несравненно полезнѣе было бы и для гимназій, и для другихъ училищъ, если бы при округѣ находилось нѣсколько визитаторовъ. Обязанность ихъ состояла бы въ постоянныхъ разъѣздахъ по училищамъ, въ испытаніи учениковъ, въ посѣщеніи классовъ, въ присутствіи при экзаменахъ и въ педагогическихъ совѣтахъ. Тогда директоръ былъ бы освобожденъ отъ надзора за училищами; мѣста инспекторовъ гимназій могли бы быть упразднены, и смотрители училищъ по различнымъ административнымъ дѣламъ могли бы обращаться прямо въ округъ. Теперь же, когда управленіе гимназіями раздѣлено между директоромъ и инспекторомъ, рѣдко встрѣчается единство въ дѣйствіи этихъ двухъ лицъ; по большей части или вся власть сосредоточивается все-таки въ рукахъ одного, или же, если оба дѣйствуютъ самостоятельно, одинъ дѣлается антагонистомъ другого и одинъ парализируетъ дѣйствія другого.

Въ недостаткѣ органической связи между учителями и учениками нужно искать также причины, почему ни духъ, господствующій между учащимися въ нашихъ гимназіяхъ, ни взглядъ на жизнь, ни занятія, ни самые нравы не носятъ того

отличительнаго характера, который дается имъ наукою, когда она уже успѣла проникнуть все существованіе юнаго человѣка. Ни чиновники-надзиратели, ни чиновники-инспекторы и директоры, ни закрытыя заведенія не могутъ перемѣнить того направленія, того прозаическаго и чисто-формальнаго взгляда на жизнь, который дѣти обыкновенно приносятъ съ собою въ школу и который они и уносятъ съ собою изъ школы, не развитыя наукою и не приготовленныя къ самостоятельной дѣятельности. Надзоръ за нравственностью и поведеніемъ, поручаемый и инспекторамъ, и надзирателямъ, есть только формальный. Наблюденіе за приходящими въ большихъ городахъ уже совсѣмъ невозможно. Поэтому и надзиратели за приходящими,—люди большею частью мало образованные и рѣдко пользующіеся вліяніемъ на учениковъ,—не приносятъ никакой существенной пользы, и со стороны гимназій несправедливо успокаивать заботливость родителей одною офіціальною обстановкою и мнимымъ контролемъ за нравственностью ихъ дѣтей. Пусть бы лучше отцы знали навѣрное, что, при нашемъ недостаткѣ воспитателей, имъ нужно самимъ заботиться и приискивать болѣе надежныя средства для наблюденія за нравственностью ихъ дѣтей внѣ гимназій.—Что же касается до нашихъ закрытыхъ заведеній (пансіоновъ при гимназіяхъ), то кредитъ ихъ еще болѣе потрясенъ. Несмотря на всѣ, повидимому, раціональныя и остроумно придуманныя средства для надзора за воспитанниками, на повѣрку выходитъ, что ни одно изъ нашихъ закрытыхъ заведеній при гимназіяхъ не можетъ похвалиться, или, лучше, не можетъ сказать предъ судомъ совѣсти, что оно воспитываетъ дѣтей. Если же эти заведенія еще должны быть терпимы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, то ни подъ какимъ видомъ не должно допускать въ нихъ сближенія различныхъ возрастовъ, дѣйствующаго убійственно на нравственность воспитанниковъ. Это такое зло, послѣдствія котораго неисчислимы, и я считаю первымъ моимъ долгомъ протестовать противъ него всѣми силами и настаивать особенно на томъ, чтобы новый уставъ гимназій не допускалъ пребыванія въ этихъ заведеніяхъ дѣтей старше 13 или 14 лѣтъ, а терпѣлъ бы гимназическіе пансіоны только при однѣхъ прогимназіяхъ, для учениковъ первыхъ четырехъ классовъ. Если же, наконецъ,

лю кажимъ бы то ни было соображеніямъ, невозможно еще отмѣнить закрытыя заведенія для воспитанниковъ старшаго возраста, то, во всякомъ случаѣ, нужно измѣнить совершенно ихъ организацію. Тамъ, гдѣ воспитываются вмѣстѣ и дѣти 10 лѣтъ, и молодые люди въ 16 и 17 лѣтъ, очевидно, нельзя вести ихъ воспитаніе одинаковымъ образомъ, какъ это дѣлается теперь въ нашихъ гимназическихъ пансіонахъ. Можно ли подчинить молодого человѣка и десятилѣтняго ребенка однимъ и тѣмъ же правиламъ? Можно ли надѣяться, что онъ будетъ заниматься наукою такъ, какъ этого требуетъ его возрастъ, то-есть съ большею самостоятельностью, если ему не дать хотя особеннаго угла, гдѣ бы онъ могъ съ свободою предаться своимъ научнымъ занятіямъ? Можно ли, безъ опасности, вывести его прямо изъ общей дѣтской комнаты въ университетскую аудиторію или прямо въ жизнь? Конечно, во всѣхъ государствахъ существуютъ еще и теперь закрытыя заведенія и для совершеннолѣтнихъ—но на другомъ основаніи, а не такъ, какъ у насъ. Тамъ для молодыхъ людей (не болѣе двухъ вмѣстѣ) отводятся особыя помѣщенія съ общимъ столомъ; имъ дозволяется въ внѣ-классное время выходить изъ заведенія, но всегда возвращаться въ извѣстный часъ; имъ самимъ поручается надзоръ за ихъ собственностью, короче—они не такъ стѣснены въ своихъ дѣйствіяхъ, какъ у насъ; поэтому и нарушеніе необходимаго во всякомъ закрытомъ заведеніи порядка не такъ часто, какъ у насъ. У насъ же училищное начальство, не имѣя никакой возможности принудить молодыхъ людей дѣйствовать такъ, какъ дѣтей, принуждено бываетъ смотрѣть сквозь пальцы на ихъ проступки, или же прикрывать все худое, кроющееся въ этихъ заведеніяхъ, исполненіемъ однѣхъ наружныхъ формальностей.

Итакъ, куда мы будемъ стараться достигнуть невозможнаго и несообразнаго съ натурою вещей, мы не должны и надѣяться на хорошій результатъ отъ нашихъ закрытыхъ заведеній.

Въ высказанныхъ здѣсь мысляхъ и замѣчаніяхъ я нисколько не стою за непогрѣшимость всѣхъ предлагаемыхъ мною мѣръ въ частности; но я стою за главное—за истину основныхъ началъ, мною изложенныхъ. Я утверждаю, что: 1) Два раз-

личныхъ направленія ученія должны быть точно раздѣлены; каждое изъ нихъ должно быть проведено отдѣльно, съ строгою послѣдовательностью и для каждаго должно быть назначено особое учебное заведеніе. 2) Классическому направленію ученія должно быть отдано преимущество въ училищахъ, приготовляющихъ исключительно къ университетскому образованію. 3) Ученіе въ каждомъ училищѣ должно имѣть извѣстную степень законченности, — но безъ нарушенія общей связи всѣхъ училищъ. Каждое изъ училищъ должно быть и преддверіемъ другого, и открывать выходъ въ жизнь. 4) Основаніемъ классификаціи училищъ не должно служить сословное начало. Одна степень получаемыхъ въ нихъ свѣдѣній должна служить основаніемъ къ раздѣленію ихъ на различные разряды. Не сословіе, съ свойственными ему убѣжденіями и предубѣжденіями, а способности, склонности и матеріальныя средства каждаго учащагося должны опредѣлить выборъ училища и направленіе въ ученіи. 5) Принявъ за доказанную истину, что коллегіальное начало, несмотря на его нѣкоторые недостатки, есть все-таки самое лучшее въ дѣлѣ общественнаго образованія, нужно сохранить его въ чистотѣ, не допуская примѣси другого, противоположнаго начала, — бюрократическаго. 6) Самое дѣйствительное средство къ улучшенію нравственности въ учебныхъ заведеніяхъ есть сама наука, и учитель, знающій свое дѣло, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, самый лучшій воспитатель, а потому нравственное вліяніе его на учениковъ не должно быть стѣсняемо никакимъ постороннимъ вмѣшательствомъ. 7) Оффиціальныи контроль надъ программами и классными переводами, какъ не достигающій цѣли, долженъ быть сколько можно менѣе стѣснительнымъ. Однимъ наставникамъ исключительно должно поручать, вмѣстѣ съ надзоромъ за учащимися, и рѣшеніе вопроса о способѣ изложенія науки и о свѣдѣніяхъ и способностяхъ учениковъ. Лучше оказать болѣе довѣрія и тѣмъ, которые его не совсѣмъ заслуживаютъ, нежели мало довѣрять вполне заслуживающимъ. 8) Закрытыя заведенія, и особливо тѣ, которыя назначаются для различныхъ возрастовъ, не достигаютъ цѣли и нисколько не содѣйствуютъ къ развитію нравственнаго чувства въ воспитанникахъ, а потому могутъ быть только терпимы по мѣстнымъ обстоятельствамъ. 9) Ученіе въ

элементарныхъ школахъ должно быть сколько можно менѣе формальнымъ и систематическимъ. Входъ въ нихъ и выходъ долженъ быть открытъ для всѣхъ и во всякое время. Наглядное ученіе, наравнѣ съ грамотою и счетностью, должно быть однимъ изъ главныхъ предметовъ элементарнаго ученія.

Наконецъ, — прибавлю еще, — для того, чтобы распространить у насъ какъ можно болѣе грамотность въ народѣ, нужно не только позволять всѣмъ желающимъ учреждать элементарныя школы, но еще и допускать въ элементарныя училища, открываемыя правительствомъ и общинами, всѣхъ желающихъ учить грамотѣ, письму и счетности (какъ это уже и теперь дѣлается въ воскресныхъ училищахъ). При нашемъ недостаткѣ въ учителяхъ, нужно допустить и женщинъ къ преподаванію, какъ это дѣлается въ Америкѣ. Въ заключеніе прилагаю таблицы для лучшаго обзора распредѣленія учебныхъ предметовъ и занятій въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, начиная съ элементарныхъ школъ и доходя до классическихъ гимназій:

ТАБЛИЦЫ РАСПРЕДѢЛЕНІЯ ПРЕДМЕТОВЪ И ЧАСОВЪ.

Основаніемъ этого распредѣленія служатъ: 1) неразрывная связь въ учебномъ курсѣ всѣхъ училищъ, не препятствующая переходу учащихся изъ одного въ другое, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 2) законченность курса въ каждомъ изъ училищъ, придающая ему отдѣльную самостоятельность; 3) примѣненіе къ потребностямъ учащихся всѣхъ слоевъ общества; 4) постепенность въ распредѣленіи учебного времени для различныхъ возрастовъ, и 5) наконецъ, рѣзкое раздѣленіе классическаго и реальнаго направленія только въ однѣхъ гимназіяхъ (съ IV-го класса, соотвѣтствующаго 14-лѣтнему возрасту).

1) Для элементарных училищъ.

I-й классъ..	Часы.	II-й классъ.	Часы.
1. Законъ божій	3	Законъ божій	2
2. Азбука	6	Чтеніе.	6
3. Письмо	5	Письмо	4
4. Счетность	3	Ариметика.	5
5. Наглядное ученіе	2	Наглядное ученіе.	3
	19		20

2) Для реальныхъ прогимназій.

I-й классъ.	Часы.	II-й классъ.	Часы.	III-й классъ.	Часы.	IV-й классъ.	Часы.
Законъ божій.	3	Законъ божій	3	Законъ божій.	2	Законъ божій	1
Чтеніе и практич. грамматика	4	Чтеніе и разборъ Чистоп. и орео-графія.	4	Русскій языкъ	4	Русскій языкъ	3
Письмо и орео-графія.	2	Ариметика, дроби	2	и Алгебра	4	Алгебра и Гео-метрія	4
Именованн. числа и дроби	4	Естеств. и Гео-графія	3	Естеств. и Геогр. Языки: Французскій	5	Естеств.	3
Нагляд. естество-вѣд. и перв. ос. нов. географ., так-же наглядно.	2	Языки: Французскій	4	Нѣмецкій	5	Географія.	2
Языки: Французскій	4			Черченіе, Рисо-ваніе, Различ-ные реальныя предметы, смо-тря по мѣстнымъ требованіямъ	3	Новыя языки } Исторія въ бю-граф. очеркахъ. Реальныя пред-меты	3 5
	23		24		26		27

3) Для реальныхъ гимназій.

V-й классъ.	Часъ.	VI-й классъ.	Часъ.	VII-й классъ.	Часъ.
Законъ божій. . . .	1	Законъ божій. . . .	1	Законъ божій. . . .	1
Русскій языкъ. . . .	2	Русскій языкъ	2	Русскій языкъ	2
Алгебра и Геометрія	5	Матем. и Физика . . .	6	Матем. и Физика . . .	7
Естеств.	3	Естеств.	2	Географія	2
Географія	3	Географія	2	Естеств.	2
Исторія	2	Исторія	2	Исторія	2
Языки: Французскій.	3	Новые языки . }	3	Новые языки . }	3
Нѣмецкій	3		3		3
Реальные предметы.	5	Реальные предметы.	6	Реальные предметы.	6
	27		27		28

4) Для классическихъ прогимназій.

I-й классъ.	Часы.	II-й классъ.	Часы.	III-й классъ.	Часы.	IV-й классъ.	Часы.
Законъ божій. . . .	3	Законъ божій. . . .	3	Законъ божій. . . .	2	Законъ божій	1
Чтеніе	4	Русскій языкъ	5	Русскій языкъ	4	Русскій языкъ	3
Арифметика	4	Арифметика	4	Математика	4	Математика	4
Числопис. и географія.	3	Числописаніе. . . .	2	Одинъ изъ новѣйшихъ языковъ .	4	Латинскій яз. . . .	5
Одинъ изъ новѣйшихъ языковъ .	5	Одинъ изъ новѣйшихъ языковъ .	5	Латинскій языкъ. . .	6	Греческій яз. . . .	6
Наглядноеученіе: первоначальная		Историческіе очерки.	2	Историческіе и Географическіе очерки	3	Исторія	3
Географ. и Естествовѣдніе . . .	3	Наглядное Естествовѣд. и Географія.	3	Естествовѣдніе. . . .	3	Одинъ новѣйшій языкъ	4
	22		24		26		26

5) Для классическихъ гимназій.

V-й классъ.	Часъ.	VI-й классъ. По два года въ	Часъ.	VII-й классъ. каждомъ классѣ.	Часъ.
Законъ божій . . .	1	Законъ божій . . .	1	Законъ божій . . .	1
Русскій языкъ . . .	3	Русскій языкъ . . .	3	Русскій языкъ . . .	4
Латинскій	5	Латинскій	5	Латинскій	4
Греческій	5	Греческій языкъ . . .	5	Греческій языкъ . . .	4
Новѣйшій языкъ . . .	4	Новѣйшій яз. и Срав.		Исторія	4
Математика	4	нительная Грамма-		Математика	4
Исторія	3	тика	5	Географія	2
Географія ,	2	Исторія	4	Новый яз. и Сравни-	
		Географія	2	тельная Грамматика.	5
		Математика	3		
		(Во второй годъ Ма-			
		тематика 4 ч., но-			
		вый языкъ 4 ч.)			
	27		28		28

ОТЧЕТЪ О СЛѢДСТВІЯХЪ ВВЕДЕНІЯ ПО КІЕВСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ ПРАВИЛЪ О ПРОСТУПКАХЪ И НАКАЗАНІЯХЪ УЧЕНИКОВЪ ГИМНАЗІЙ.

Мм. Гг.—Два года прошло съ тѣхъ поръ, когда я созывалъ комитетъ для составленія правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій кіевского учебнаго округа. Почти всѣ присутствующіе теперь были членами этого комитета. Итакъ, вы знаете причины, побудившія меня къ составленію правилъ, и начала, служившія имъ основаніемъ. Поэтому мнѣ бы не нужно было снова обращать на нихъ ваше вниманіе, если бы я не убѣдился, что они,—не знаю, по нашей ли винѣ,—были непоняты, искажены и представлены въ превратномъ видѣ.

Кто знакомъ съ гимназіями западнаго края, кто знаетъ ихъ прошедшее, тотъ, вѣрно, согласится со мною, если только будетъ откровененъ, что въ настоящее время чисто-патріархальныя отношенія воспитателей съ воспитанниками здѣсь невозможны. Насколько они возможны въ другихъ такихъ же гимназіяхъ,—гдѣ число учениковъ доходитъ до 500 и 600,—я не берусь рѣшить; думаю, однако же, что въ наше время вообще эти отношенія сдѣлались преданіемъ. Всѣ знакомые съ краемъ и любящіе правду, вѣрно, согласятся со мною и въ томъ, что, вмѣсто патріархальности, отеческой заботы, братской любви и т. п., произволъ непосредственныхъ начальниковъ отразился какъ на ученикахъ здѣшнихъ гимназій, такъ и учителяхъ. Органическая связь между учениками и учителями была уже давно нарушена. Между ними стояли начальники заведе-

ній. Чувство законности было сильно потрясено произволомъ. Недовѣріе къ справедливости гимназическаго начальства глупо вралось въ убѣжденіе учениковъ. Всѣ эти вопіющіе недостатки требовали, по моему мнѣнію, немедленнаго исправленія, котораго нельзя было откладывать до времени полныхъ и радикальныхъ реформъ. Да, если бы дѣло шло о полномъ преобразованіи основъ общественнаго воспитанія, еслибы нужно было изобразить намъ идеаль воспитанія, и еслибы комитетъ, за два года созданный мною, долженъ былъ рѣшать вопросъ, которому изъ началъ воспитанія нужно отдать преимущество, или какъ и чѣмъ замѣнить бюрократическое начало въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ,—то мы, вѣрно, не отстали бы ни въ гуманности, ни въ обширности взгляда отъ нашихъ современниковъ. Но намъ никто не давалъ права преобразовывать наши школы и замѣнять въ нихъ бюрократизмъ другимъ, болѣе рациональнымъ, началомъ воспитанія. Централизація неизбежна при правительственной монополіи воспитанія, а бюрократизмъ есть неминуемое слѣдствіе централизаціи. Кто же виноватъ, кромѣ исторіи, что начальники нашихъ учебныхъ учреждений—болѣе чиновники, чѣмъ воспитатели? Могъ ли я созывать комитетъ для составленія правилъ, противорѣчащихъ господствующему началу въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, тогда какъ измѣнить его не имѣю никакого права? Я его не касался; я принималъ его за существующій фактъ, нисколько, впрочемъ, не выражая къ нему моего сочувствія. Дѣло шло не объ идеаль воспитанія, который мы также сдумали бы изобразить яркими красками. Мы, вѣрно, тогда всѣ согласились бы, что и директоръ, и инспекторъ, и наставники, и надзиратели должны быть личности высокой нравственности, одушевленные призваніемъ къ своему дѣлу, проникнуты истинно-христіанскою любовью къ своимъ воспитанникамъ. Но если бы всѣ воспитатели или хотя большая часть ихъ были дѣйствительно воспитателями по призванію, то тогда бы и не было тѣхъ вопіющихъ недостатковъ, которые намъ нужно было немедленно устранить. Откуда бы тогда взялся произволъ? откуда недовѣріе? откуда та ужаснувшая насъ цифра тѣлесныхъ наказаній, которую я представилъ въ восьмомъ номерѣ циркуляра 1859 года? Мнѣ скажутъ, наоборотъ, что безъ дѣльныхъ и совѣстныхъ исполните-

лей по призванію,—и правила, въ какую бы форму они ни были облечены, ни къ чему не поведутъ. Да, совершенно согласенъ,—если правила будутъ составлены, нисколько не при-
норавливаясь къ возрѣніямъ или степени образованности этихъ исполнителей. А эта-то именно необходимость приспособляться къ тому, что у насъ есть на-лицо,—необходимость, въ которую мы поставлены обстоятельствами и всѣмъ нашимъ прошедшимъ, и заставила насъ составить правила, далеко не совершенныя, но и не несообразныя съ существующимъ еще порядкомъ вещей. Читая журнальную полемику и возраженія, сдѣланныя и публицистами, и педагогическими совѣтами, и нѣкоторыми наставниками (по моему требованію), я, удивляясь, спрашивалъ себя: неужели же серьезно кто-нибудь убѣжденъ, что мнѣ или, лучше, комитету не были извѣстны самыя первыя начала педагогики,—неужели кто-нибудь могъ, въ самомъ дѣлѣ, подумать, что мы не понимаемъ различія между юриспруденціей и воспитаніемъ, между чиновникомъ юстиціи и воспитателемъ, между провинившимся ребенкомъ и подсудимымъ преступникомъ? Неужели,—думалъ я,—у насъ незнаніе фактической стороны дѣла можетъ еще, такъ смѣло прикрываясь фразой, толковать объ идеальныхъ свойствахъ воспитателей и воспитанниковъ,—о любви, какъ главномъ принципѣ воспитанія,—о возможности обойтись вообще безъ наказаній, тогда какъ мы боремся въ нашемъ общественномъ воспитаніи съ самыми грубыми его недостатками? Какъ достаетъ духа у нашихъ мыслителей мечтать о сохраненіи правды внутренней въ дѣйствіяхъ и отношеніяхъ воспитателей и воспитанниковъ, тогда какъ мы едва справляемся съ соблюденіемъ самой внѣшней ея стороны? Кого хотятъ удивить крайностью убѣждений, идеальностью взглядовъ, тонкостью логическаго анализа? Все крайнее, высокое и недостижимое уже давно высказано о воспитаніи. Намъ ли обманывать себя мечтою идеальнаго воспитанія, которое и не у насъ недостижимо? Въ правѣ ли мы требовать отъ нашихъ педагоговъ высокаго призванія, опыта жизни, самоотверженія, христіанской любви и труднаго искусства индивидуализировать? Откуда могутъ вдругъ взяться у насъ такія личности? Кто велъ, кто приготавливалъ ихъ этимъ путемъ? Гдѣ и у кого они могли заимствовать образцы высокихъ качествъ?

У прежнихъ ли своихъ наставниковъ, въ жизни ли общества, въ окружающей ли ихъ средѣ, въ семьѣ ли своей, въ воспитательныхъ ли заведеніяхъ? И чѣмъ общество можетъ отблагодарить ихъ въ свою очередь? Давно ли у насъ начали думать и гласно говорить о дѣлѣ общественнаго воспитанія, и вотъ уже стали требовать отъ нашихъ учителей, инспекторовъ и директоровъ не только знанія дѣла, — котораго одного еще неоткуда взять, — но самыхъ высокихъ добродѣтелей: любви и самоотверженія, которыя посылаетъ человѣку божія благодать! Требовательные идеологи вовсе позабыли, что нашихъ учителей никто до сихъ поръ не училъ трудному дѣлу педагогiи, — нашихъ инспекторовъ и директоровъ никто не выбиралъ по ихъ педагогическимъ заслугамъ, которыхъ и доказать даже имъ было невозможно. Увлекаясь мыслью о коренныхъ преобразованіяхъ цѣлой системы воспитанія, хотя бы и превосходныхъ, но далекихъ, можно ли позабыть всѣ вопіющія потребности настоящаго, которыя необходимо удовлетворить чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше? Можпо ли забыть, что наши надзиратели, инспекторы и директоры покуда все-таки остаются тѣми же чиновниками-воспитателями, какъ и прежде; одни изъ нихъ завалены письменными дѣлами дирекціи, а другіе, исполняя неисполнимыя обязанности нравственнаго надзора за 500 и 600 учениками, по-неволѣ ограничиваются одною официальною стороною. Какъ забыть такъ скоро, что педагогическіе совѣты — самая лучшая сторона нашихъ учебныхъ учрежденій — еще вчера существовали только для формальныхъ испытаній? Какъ не знать, что учителя позабыли думать о нравственной связи съ учениками? Какъ не напасть на мысль, еслибы безпристрастіе и любовь къ правдѣ управляли перомъ антагонистовъ нашего кодекса, видящихъ въ немъ посягательство на нравственность, какъ, — говорю я, — не напасть на самую простую мысль, что, при отличныхъ и искусныхъ воспитателяхъ и при другихъ нормальныхъ условіяхъ, никто бы и не подумалъ стѣснять ихъ дѣйствія искусственною регламентаціею, а еслибы кто вздумалъ, то и самый худой кодексъ оказался бы безвреднымъ? Не ясно ли для всякаго, кто любитъ смотрѣть правдѣ прямо въ глаза, что мы вводили наши правила, убѣжденные опытомъ въ вопіющихъ недостаткахъ общественнаго воспитанія и воспи-

тателей? Итакъ, не ясно ли, что, вмѣсто голословныхъ нареканій, нужно было цѣнить ихъ путемъ прямого опыта, соображаясь съ данными обстоятельствами? Когда дѣло нашего воспитанія такъ ненормально, какъ оно есть теперь, то опыты дозволены. Отъ нихъ хуже не будетъ. Но не этотъ путь избрали наши критики. Будемъ же сами безпристрастными и вѣрными критиками нашихъ попытокъ. И я надѣюсь, что комитетъ, зная все дѣло ближе, вѣрно, понялъ, что нашъ вопросъ, при составленіи правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ, былъ не такъ широко поставленъ; но зато рѣшеніе его касалось нашихъ самымъ близкихъ, самыхъ существенныхъ и самыхъ вопіющихъ потребностей. Комитетъ, вмѣстѣ со мною, смотрѣлъ на все дѣло какъ оно есть, а не какъ оно должно быть, и заботился о томъ, какъ сдѣлать лучше, соображаясь съ существующимъ, а не съ другимъ, далекимъ или лучшимъ, порядкомъ вещей. Онъ, вѣрно, помнитъ, что нашъ ограниченный вопросъ былъ: какъ, при настоящей организаціи нашихъ гимназій и при настоящихъ средствахъ, уничтожить произволъ дѣйствій, возбудить въ учащихся упавшее довѣріе къ началству гимназіи и постепенно возстановить нарушенную связь между учениками и наставниками? Поставивъ такъ вопросъ, комитетъ и я руководствовались существующимъ уставомъ гимназій, и потому не могли имѣть въ виду никакихъ радикальныхъ преобразованій. Предполагалось, что и основныя начала и дѣйствующія лица остаются тѣ же самыя, какъ и прежде, потому что мы не имѣли ни возможности, ни законнаго права перемѣнить то или другое. Для рѣшенія этого вопроса, при такой обстановкѣ, и мнѣ, и комитету, представлялся возможнымъ только одинъ путь: усиленіе нравственнаго вліянія педагогическихъ совѣтовъ и составленіе правилъ для учениковъ и воспитателей. Мы полагали, — и не безъ причины, — что возстановить вдругъ нарушенную нравственную связь между учениками и учителями невозможно, и что самымъ ближайшимъ средствомъ къ этому можетъ служить измѣненіе отношеній учениковъ къ цѣлому обществу ихъ наставниковъ. Это было легче сдѣлать, нежели возстановить всѣ нарушенныя отношенія учениковъ къ каждому учителю въ отдѣльности, — что должно было возстановиться постепенно само собою, какъ не-

минуемое слѣдствіе перваго. Имѣя все это въ виду, вѣрно, никто изъ членовъ комитета не смотрѣлъ иначе на наши правила, какъ на мѣру временную и приготовительную къ другому, лучшему, порядку вещей. Ни я и никто также не мечталъ искоренить этими правилами самое начало проступковъ — пороки. Это все было нами и признано, и сказано во всеуслышаніе. Въ какой мѣрѣ намъ удалось достигнуть нашей главной цѣли — уничтожить произволъ и усилить вліяніе педагогическихъ совѣтовъ — мы увидимъ тотчасъ же изъ отчетовъ, сообщенныхъ мнѣ всѣми дирекціями округа. Но покуда я долженъ еще обратить вниманіе комитета на одно обстоятельство, которое всего болѣе возбудило нашихъ противниковъ. Это — то, что мы не исключили изъ нашего кодекса тѣлесное наказаніе и удаленіе изъ гимназій. Члены комитета, безъ сомнѣнія, припомнятъ, что на мой вопросъ, сдѣланный ему за два года: нелзя ли въ нашихъ гимназіяхъ уничтожить совсѣмъ розгу? — большинство отвѣчало отрицательно. Собственно, я и не имѣлъ права объ этомъ спрашивать, потому что существующій уставъ училищъ признаетъ еще ея необходимость, но, сдѣлавъ этотъ вопросъ, я желалъ узнать предварительно, насколько онъ возбудитъ сочувствіе въ лицахъ опытныхъ въ дѣлѣ общественнаго воспитанія. Не нашедъ его въ большинствѣ членовъ, я вскорѣ убѣдился, что бесполезно бы было уничтожать на одной бумагѣ, подъ видомъ гуманности и современности, средство, которое и многіе воспитатели, и бѣльшая часть родителей признаютъ еще необходимымъ. Еще въ прошедшемъ столѣтіи розга была уже уничтожена на бумагѣ. Въ руководствѣ учителямъ 1-го и 2-го разряда Россійской Имперіи 1794 г. запрещались: „1) всѣ тѣлесныя наказанія и 2) всѣ посрамляющія и чести трогающія униженія, какъ-то: ослиныя уши, названіе скотины и т. п.“. Однако-же, эти запрещенія не помогли, потому что убѣжденіе въ необходимости тѣлеснаго наказанія было еще слишкомъ сильно и у родителей, и у воспитателей. Отцы и теперь еще обращаются въ училища и гимназій съ просьбами сѣчь дѣтей, и сами сѣкутъ дома. Ученики VI и VII классовъ, не нынче, такъ завтра студенты, тайкомъ, безъ вѣдома гимназическаго начальства и за поступки противъ чести, сѣкутъ своихъ товарищей. Вотъ факты, обличающіе нравы об-

щества. Мы скажутъ, что школа должна бороться съ предубѣжденіями и ложными взглядами. Да мы это и дѣлаемъ. Мы боремся, да и не съ одними предубѣжденіями общества, а и самой школы, еще не далеко опередившей общество. Мы боремся, твердо зная, что нравы' и ложные взгляды нельзя перемѣнить предписаніями и письменными правилами. Потому мы возстаемъ противъ розги и выводимъ ее изъ нашихъ школъ не на письмѣ, а на дѣлѣ. Она должна исчезнуть не по приказанію начальства, а по общему единогласному убѣжденію воспитателей, когда они найдутъ въ себѣ довольно воли и искусства замѣнить ее болѣе нравственнымъ суррогатомъ. Воспитаніе ребенка есть очень сложный, нравственно-физическій экспериментъ. Успѣхъ его зависитъ отъ такого множества условій, что нельзя съ точностью опредѣлить результаты ни одной мѣры, какъ бы она ни казалась раціональною или нераціональною. Отвергать, что и розгою можно дѣйствовать безъ вреда и даже удачно, значило бы отвергать фактъ. Правда, что эта мѣра требуетъ въ общественномъ воспитаніи со стороны педагога большого такта; но правда и то, что другія, болѣе нравственныя средства требуютъ еще болѣе искусства, знанія дѣла и такта. Я знаю по опыту, что это не легко. Я пятнадцать лѣтъ такъ воспитывалъ моихъ дѣтей; но и воспитывая ихъ дома, какъ отецъ, я съ большимъ трудомъ могъ обойтись однѣми чисто-нравственными мѣрами. А требовать отъ посторонняго воспитателя терпѣнія и заботливости отца—значило бы мечтать о возстановленіи тѣхъ патріархальныхъ отношеній въ общественномъ воспитаніи, которыя и прежде существовали только на бумагѣ. Тѣлесное наказаніе можно еще назначить безъ большого вреда и безъ большого искусства, сообразуясь съ однимъ свойствомъ проступка; самый простой воспитатель можетъ безъ труда различить въ проступкѣ ребенка проявленіе дикой животной чувственности, и прибѣгнуть къ тѣлесному наказанію, если не умѣетъ владѣть инымъ, лучшимъ средствомъ. Но чтобы употребить съ успѣхомъ другія, нравственныя мѣры, уже нельзя сообразоваться съ однимъ только свойствомъ проступка, а нужно знать трудное искусство индивидуализировать и очеловѣчивать звѣрскую сторону ребенка. Дѣйствіе этихъ мѣръ не такъ просто и однообразно, какъ дѣй-

ствіе розги на фізическую сторону дитяти; оно до безконечности различно и, безъ умѣнья приспособляться къ каждому данному случаю, можетъ перейти къ результатамъ — совершенно противоположнымъ съ тѣми, которыхъ желаютъ достигнуть. Но возможно ли въ нашихъ многочисленныхъ гимназіяхъ учителямъ, занятымъ офіціальными приватными уроками, директору, занятому служебною перепискою, и инспектору, имѣющему на рукахъ до 500 и 600 учениковъ, входитъ во всѣ тонкости индивидуализированія, даже если бы всѣ наши педагоги и были какъ нельзя лучше знакомы съ этимъ труднымъ искусствомъ? А безъ этого къ чему поведетъ уничтоженіе розги, исключенія и всѣ нравственныя мѣры въ дѣлѣ общественнаго воспитанія? Не къ той ли же самой формальности, которая и теперь тяготитъ надъ нашими учебными заведеніями, да еще съ прибавленіемъ самыхъ худыхъ образцовъ; ихъ нужно будетъ терпѣть въ училищѣ во вредъ другимъ, изъ одного уваженія къ гуманному правилу, которое учредители съумѣли написать на бумагѣ, но не умѣютъ исполнить на дѣлѣ.

Читая о способахъ воспитанія нѣкоторыхъ нашихъ педагоговъ и дилеттантовъ, дѣйствующихъ безъ наказаній, одними увѣщаніями и моралью, мнѣ невольно приходятъ на мысль тѣ гомеопаты, которые хвалятся предъ публикою излеченіемъ болѣзней дециліонными приѣмами, а за кулисами, вмѣстѣ съ гомеопатіей, пускаютъ кровь и ставятъ піявки и промывательныя. Но допустимъ, что всѣ наши соображенія разлетаются въ пухъ и въ прахъ предъ общественнымъ мнѣніемъ; допустимъ, что дѣйствительно это оно вопіетъ и громко требуетъ отмѣнить тѣлесное наказаніе. Чего же лучше и о чемъ же тогда спорить? Мы будемъ рады уже вѣрно не менѣе другихъ, — и что за дѣло тогда, будутъ ли наши правила угрожать виновнымъ розгою или нѣтъ, — все равно: противъ общественнаго мнѣнія не устоятъ никакія правила — и розга, оставаясь на бумагѣ, исчезнетъ на дѣлѣ; а это-то и есть именно то, о чемъ мы всѣ хлопочемъ. Къ сожалѣнію, однако-же, у насъ еще не такъ легко узнать общественное мнѣніе. Съ одной стороны, судя по журнальнымъ статьямъ, можно подуматъ, что всѣ передовые люди общества требуютъ, во что бы то ни стало, отмѣнить розгу въ училищахъ; но, съ другой стороны,

судя по отзывамъ многихъ дирекцій и педагогическихъ совѣтовъ, а слѣдовательно также и общества, да еще и самаго правогласнаго въ дѣлѣ воспитанія, нужно заключить совсѣмъ противное. Изъ 11-ти дирекцій кievскаго округа на вопросъ мой: считаютъ ли онѣ возможнымъ и полезнымъ въ настоящее время отмѣнить вовсе тѣлесное наказаніе въ низшихъ классахъ, и если считаютъ это возможнымъ, то чѣмъ полагаютъ замѣнить его? — четыре педагогическихъ совѣта отвѣчали: „нѣтъ“ (2-й кievскій, нѣжинскій, немировскій и подольскій); изъ остальныхъ одинъ (1-й кievскій) изъ 11-ти голосовъ рѣшилъ только 6-ю, что можно, но, взамѣнъ розги, предложилъ едва-ли осуществимое учрежденіе исправительной гимназіи, а другой (бѣлоцерковскій) предложилъ вызывать, въ случаяхъ, требующихъ строгаго взысканія, родителей и опекуновъ и предоставить имъ распоряжаться наказаніемъ; четыре предлагаютъ замѣнить тѣлесное наказаніе исключеніемъ; наконецъ, одинъ директоръ, вопреки мнѣнію педагогическаго совѣта своей гимназіи, считаетъ необходимымъ не исключать розги изъ списка возможныхъ наказаній. Итакъ, предлагаемые суррогаты или непрактичны, или изобличаютъ незнаніе другихъ исправительныхъ средствъ. Шаткость сужденій ставитъ насъ еще въ большее недоумѣніе, когда отъ публицистовъ мы слышимъ упреки въ излишней жестокости правилъ, а отъ директоровъ гимназій читаемъ донесенія (см. ниже), что тѣлесныя наказанія нашими правилами почти совсѣмъ выводятся изъ употребленія.

Мало этого: если судить по журнальнымъ статьямъ, то можно, пожалуй, подумать, что наше общественное мнѣніе вовсе не хочетъ никакихъ наказаній. Говорятъ, что самое ужасное наказаніе за всякое преступленіе есть глубокая скорбь, потрясающая человѣка въ минуты раскаянія; что въ воспитаніи при проступкахъ дѣтей нужно только примѣромъ и словомъ показать превосходство слѣдовать другимъ порядочнымъ правиламъ; что наказаніе за худое производится самимъ худымъ дѣломъ, и т. п. (см. стат. г. Григоровича въ „Педаг. Вѣстн.“, № 10). Эти убѣжденія невольно приводятъ къ другимъ, болѣе общимъ, вопросамъ: справедлива ли вообще теорія наказаній, достигаетъ ли наказаніе цѣли и можетъ ли идея нака-

занія за преступленія взрослыхъ быть примѣняема въ дѣлѣ воспитанія дѣтей? Мнѣ кажется, если и въ самомъ божественномъ ученіи, проникнутомъ чистѣйшею любовью къ человѣчеству, проводится мысль о наградѣ и наказаніи въ будущемъ, то наврядъ-ли удастся намъ выдумать что-нибудь болѣе соответствующее натурѣ человѣка, будетъ ли то касаться законовъ общества, или воспитанія дѣтей. Что полное раскаяніе и внутреннее наказаніе, причиняемое самимъ зломъ, есть лучшее средство къ исправленію, — въ этомъ никто изъ насъ, вѣрно, не усомнится; но чтобы человѣка, и еще болѣе юнаго, можно было всегда однимъ увѣщаніемъ и примѣромъ довести до этого раскаянія и внутренняго сознанія, въ этомъ усомнится всякій, безъ фарисейства заглянувшій въ глубину собственной души. И всякій, наученный собственнымъ опытомъ, согласится, что можно содѣйствовать къ уничтоженію порочной наклонности тѣмъ, если будемъ постоянно препятствовать ея обнаруживаніямъ какимъ бы то ни было образомъ, даже посредствомъ зла. Такую мѣру, конечно, нельзя предпочитать другимъ; но дѣйствія ея оспаривать также нельзя. Возможно ли же въ большихъ учебныхъ заведеніяхъ, заключающихъ въ себѣ учениковъ до безконечности разнородныхъ, исправлять проступки всегда одними увѣщаніями, когда воспитатель едва имѣетъ время наблюдать за общимъ порядкомъ, необходимымъ вездѣ, а еще болѣе у насъ? Справедливо ли будетъ укорять его въ лѣни, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые утописты, когда онъ, вмѣсто долгаго увѣщанія, постарается прекратить какъ можно скорѣе дальнѣйшее проявленіе проступка и распространеніе его дѣйствій на всю массу учениковъ, безотлагательнымъ удаленіемъ виновнаго и его сообщниковъ? Это не исправленіе, это — кара, это — возмездіе, это — наказаніе не ученика, а его родителей, — возражаютъ уже не одни утописты, а и нѣкоторые наставники, проникнутые духомъ христіанской любви. Но я не знаю, что тутъ болѣе говорить: эта ли высокая любовь, сожалѣніе ли, или самоувѣренность и желаніе прослыть гуманнымъ.

Никто и не утверждаетъ, что цѣль удаленія есть исправленіе. Учебное заведеніе, удаляя изъ своей среды ученика, этимъ самымъ уже сознается предъ обществомъ, что оно не

въ состояніи исправить виновнаго. Но оно не утверждаетъ, что при другихъ пособіяхъ, при другой обстановѣ, онъ бы не могъ еще исправиться. Учебное заведеніе, сознавая свою несостоятельность, обязано удалить виновнаго съ цѣлью оградить другихъ отъ нравственнаго вреда и порчи. И развѣ не лучше и не справедливѣе воспитателю сознаться откровенно предъ родителями и обществомъ въ своемъ неумѣніи, нежели обольщать ихъ ложными надеждами? Откровенно говоря, нашимъ учебнымъ заведеніямъ нужно бы было не только при исключеніи учениковъ, но и вообще сознаться предъ обществомъ, что ихъ нравственно-исправительное вліяніе очень слабо. Если кто воспитываетъ человѣка у насъ, то это—наука и жизнь. Я невольно прихожу къ этому убѣжденію, всматриваясь глубоко въ бытъ нашихъ учебныхъ заведеній и ихъ отношенія къ ученикамъ и обществу. Какъ ни желательна гегемонія школы надъ жизнью и какъ ни пошла еще наша жизнь, но она пересиливаетъ; и покуда въ рукахъ школы находится одно только надежное средство вліять на нравственную сторону учащихся: это—наука. Но оставимъ голословныя сужденія и перейдемъ къ фактической сторонѣ вопроса. Прицавшіе съ этой стороны наши правила за чрезмѣрную строгость нашли, что изъ 27-ми различнаго рода проступковъ въ 16-ти, возведенныхъ въ послѣднюю степень, опредѣляется исключеніе, а въ 3-хъ—тѣлесное наказаніе. Но при этомъ забыли, что, уничтоживъ произволъ исполнителей, можно и при драконовыхъ законахъ достигнуть гуманныхъ результатовъ. Разсмотримъ же теперь, изъ собранныхъ нами данныхъ отъ всѣхъ 11-ти гимназій округа, насколько достигли мы нашими строгими правилами самой главной цѣли—уничтоженія произвола—посредствомъ усиленнаго вліянія педагогическихъ совѣтовъ? Пусть факты и цифры говорятъ сами за себя и докажутъ это лучше, чѣмъ голословныя пересуды. Остановимся сначала на тѣлесномъ наказаніи, увольненіи и исключеніи.

Въ теченіе года, предшествовавшаго составленію кодекса, изъ 4.109 учениковъ одиннадцати гимназій округа подвергались тѣлесному наказанію 551. Въ теченіе года, истекшаго послѣ обнародованія правилъ, изъ 4.310 учениковъ этихъ же гимназій подвергнуто было тѣлесному наказанію только 27, и имен-

но—отъ 5 до 10 ударовъ розгою ¹⁾. Но изъ этихъ 27 тѣлесно наказанныхъ одинъ въ подольской гимназiи наказанъ по просьбѣ матери за оказанную ей дерзость; про двухъ еще неизвѣстно, наказаны ли они по опредѣленiю педагогическаго совѣта; въ одномъ случаѣ (нѣж. гимн.) наказанiе было опредѣлено несообразно правиламъ (за неприличныя слова въ тетради), а въ 4 другихъ случаяхъ директоръ (ровенской гимназiи) поступилъ произвольно: онъ наказалъ трехъ учениковъ, безъ согласiя педагогическаго совѣта и противъ правилъ, за сквернословiе, постоянныя шалости, за умышленный ударъ товарища и за введенiе лотереи въ классѣ, по просьбѣ родителей и „по предоставленной ему, какъ онъ писалъ въ донесенiи ко мнѣ, родителями власти и попеченiю“ ²⁾. Итакъ, введенiе нашихъ правилъ уменьшило слишкомъ въ 20 разъ процентное содержанiе тѣлесныхъ наказанiй къ числу учениковъ. Нашъ расчетъ,—какъ вы видите,—былъ совершенно справедливъ при составленiи правилъ. Несмотря на кажущуюся ихъ жестокость, намъ удалось введенiемъ ихъ такъ ограничить произволъ, опредѣлявшiй прежде тѣлесныя наказанiя, что въ теченiе одного года число ихъ уменьшилось слишкомъ въ 20 разъ. Мы можемъ остаться довольными такимъ результатомъ. Главная цѣль правилъ—уменьшенiе произвола—достигается

¹⁾ Въ 1858 году (до составленiя кодекса). Въ 1859—60 (послѣ обнародованiя кодекса).

Подвергались тѣлесному наказанiю:

Въ кiевской 1-й гимназiи изъ 215 учен.	3	изъ 201 учен.	1
„ кiевской 2-й гимназiи „ 625	„ 43	„ 650	„ 2
„ бѣлоцерковской . . . „ 220	„ 38	„ 266	„ 0
„ волынской „ 600	„ 290	„ 635	„ 5
„ ровенской „ 300	„ 6	„ 354	„ 5
„ подольской „ 400	„ 37	„ 470	„ 7
„ немировской „ 600	„ 67	„ 568	„ 5
„ черниговской „ 240	„ 18	„ 276	„ 0
„ новгородсѣверской . . . „ 250	„ 8	„ 288	„ 0
„ нѣжинской „ 260	„ 2	„ 264	„ 2
„ полтавской „ 399	„ 39	„ 338	„ 0

Изъ 4.109 учен. 551

Изъ 4.310 учен. 27

²⁾ Директоръ ровенской гимназiи, г. Тумановъ, перешелъ въ нынѣшнемъ году, по окончанiи 25-лѣтiя, въ виленскiй учебный округъ.

ими, и только въ 6 или 7 случаяхъ изъ 27 опредѣленіе наказанія со стороны дирекцій было произвольное, противъ правилъ и безъ согласія педагогическаго совѣта. Такой же или почти такой же результатъ представляетъ и другое наказаніе: увольненіе и исключеніе. Изъ 4.109—4.310 учениковъ уволено по прошенію 34 и исключено 10 учениковъ послѣ введенія правилъ. Самая большая цифра уволенныхъ (изъ 34—14) и исключенныхъ (изъ 10—6) принадлежитъ 2-й кievской гимназiи, самой многочисленной (650 учен.); самая малая (по одному ученику) — ровенской и новгородсѣверской; наконецъ, въ четырехъ гимназіяхъ: новгородсѣверской, черниговской, бѣлоцерковской и полтавской, не было ни уволенныхъ, ни исключенныхъ, ни наказанныхъ розгой—ни одного ученика. Изъ 34 уволенныхъ почти цѣлая треть уволена по желанію родителей.

Теперь посмотримъ, соответствовали ли самыя проступки строгости наказаній. Изъ 27 наказанныхъ тѣлесно 6 были наказаны за дерзость и оскорбленіе наставниковъ и надзирателей; всѣ остальные—за болѣе или менѣе сложныя продѣлки воровства. Вотъ краткое описаніе этихъ случаевъ. — Дерзость. Одинъ ученикъ III-го класса немировской гимназiи обругалъ учителя въ классѣ за то, что тотъ поставилъ ему единицу на урокъ. Другой (ученикъ II-го класса 1-й кievской гимназiи) поднималъ руку на надзирателя. Трое (ученики IV и II-го классовъ волинской и подольской гимназiй) оскорбили учителя рисованія въ классѣ и надзирателя, одинъ оскорбилъ мать и наказанъ по ея просьбѣ (уч. I-го кл. подольской гимназiи). Къ сожалѣнію, въ донесеніяхъ дирекцій не описаны подробности каждаго случая. — Воровство. Обыкновенно книги составляли предметъ воровства. Ихъ воровали ученики низшихъ трехъ классовъ у товарищей для того, чтобы продать и купить лакомства или вымѣнивать на игрушки. Въ четырехъ случаяхъ за повторное воровство наказаніе было сдѣлано въ присутствіи родителей (въ волинской и ровенской гимназіяхъ). Въ одномъ случаѣ виновный, укравши у товарища краски, вымочился ночью съ умысломъ въ чужую постель (уч. III-го класса немировской гимназiи). Въ другомъ случаѣ ученикъ 13-ти лѣтъ, изъ дворянъ (I-го класса немировской гимназiи), продалъ товарищу, безъ вѣдома матери, географическій атласъ, и когда мать хва-

тилась, то онъ обманулъ товарища, прося возвратить ему на время проданную книгу; когда же тотъ не согласился это сдѣлать, то воришка пришелъ къ хозяйкѣ товарища во время его отсутствія и, подъ предлогомъ, что присланъ имъ, взялъ у нея эту книгу, потомъ отъ всего отперся и увѣрялъ, съ необыкновенною изворотливостью и безстыдствомъ, что никогда не бралъ и ничего не знаетъ. Только достаточное число собранныхъ обличительныхъ фактовъ и духовное увѣщаніе законоучителя довели его до совершеннаго сознанія. Еще въ одномъ случаѣ ученикъ I-го класса подольской гимназіи, 13-ти лѣтъ, сынъ чиновника, былъ наказанъ 7-ю ударами за частое пьянство, воровство плошекъ на улицахъ и за прошеніе милостыни у заѣзжихъ дворянъ.

Изъ 34-хъ, уволенныхъ по прошенію, 6 учениковъ высшихъ классовъ принимали участіе въ воровствѣ; изъ нихъ двое (учен. 1-й кiev. гимн.) участвовали въ кражѣ книгъ у книгопродавца, продолжавшейся болѣе года; книги продавались и деньги употреблялись на различныя потребности; главный участникъ уничтожилъ во время ареста оставшіяся у него еще непроданными книги; 6—за самоуправство (ученики 1-й кievской гимназіи): они всѣ, подозрѣвая своего товарища въ кражѣ, положили зазвать его тайкомъ въ ватерклозетъ и высѣкли. 4 (ученики 2-й кievской, немировской и подольской гимназій) уволены за повторенную дерзость противъ учителей, за ослушаніе приказаній педагогическаго совѣта, за хожденіе по трактирамъ и непосѣщеніе классовъ. Одинъ (ученикъ, 18 лѣтъ, V-го класса немировской гимназіи, изъ дворянъ) уволенъ за распространеніе между учениками ложнаго слуха, разнесшагося потомъ и по городу, что будто бы онъ далъ одной дѣвицѣ комфортивъ. Одинъ ученикъ исключенъ за пьянство и онализмъ (ученикъ подольской гимназіи, 19 лѣтъ); остальные—за неявку въ теченіе продолжительнаго времени, за постоянную лѣность и нехожденіе въ классы (большею частью уволены по прошенію родителей).

Изъ 10 исключенныхъ 4 обличены въ воровствѣ, какъ зачинщики. Изъ нихъ двое руководили дѣломъ, при покражѣ книгъ у книгопродавца (учен. 1-й и 2-й кievскихъ гимн.); одинъ (ученикъ IV-го кл. 2-й кievск. гимн.) разломалъ, въ отсутствіе

родственников, его шкатулку, забралъ деньги и вещи и заложилъ ихъ; одинъ (учен. 2-й кievской гимназіи IV-го кл.) укралъ изъ гардероба два пальто и продалъ ихъ студенту. Остальные 6-ть исключены за различные проступки, означающіе также сильную испорченность воли. Такъ, одинъ ученикъ, постоянно лѣнившійся (изъ евреевъ, I-го кл. 2-й кiev. гимн.) училъ другихъ въ классѣ онанизму, и пойманъ на дѣлѣ. Одинъ (III-го кл. 2-й кievской гимназіи) продалъ свою шинель, промоталъ деньги, занялъ потомъ за большіе проценты у какого-то лакея и поднималъ руку на надзирателя (бросилъ въ него комкомъ снѣга). Одинъ (ученикъ IV-го класса 2-й кiev. гимн.) стрѣлялъ изъ пистолета въ цѣль на квартирѣ, гдѣ найдены у него, кромѣ пороха, табакъ, карты и другія принадлежности, и за неявку въ классы исключенъ. Одинъ (учен., 17 лѣтъ, 2-й кievской гимназіи) предъявилъ фальшивое свидѣтельство и ложную подпись на билетѣ. Одинъ (учен. VI-го кл. житомирской гимназіи), возвратясь изъ отпуска, долго не являлся въ гимназію, и, проживая въ городѣ, ходилъ по трактирамъ и другимъ публичнымъ мѣстамъ. Не знаю, можно ли послѣ этого итога проступковъ обвинять наши гимназіи въ излишней строгости и несправедливости. Развѣ въ случаяхъ дерзости и грубости противъ наставниковъ можно бы еще было, не отступая отъ правилъ, избѣжать тѣлеснаго наказанія, потому что эти случаи — самые неопредѣленные, и воспитателю можно легко поставить себя выше всякаго оскорбленія, отыскивая причину его не въ зломъ умыслѣ, а въ грубости права, неразвитости, легкомысліи и т. п. Никто также не будетъ утверждать, что и въ другихъ случаяхъ искусные воспитатели, согрѣтые любовью и вооруженные терпѣніемъ, не могли бы исправить виновныхъ, оставивъ ихъ въ школѣ. Но кто предъ другими дѣтьми, ихъ отцами и предъ судомъ совѣсти возьметъ на себя эту отвѣтственность? Кто самоувѣренный изъ насъ, указавъ на себя, скажетъ: — я? И кто намъ далъ право быть такъ требовательными? А не надѣясь на свое искусство, въ правѣ ли мы оставлять такіе проступки безнаказанными? Пусть рѣшитъ это безпристрастный судъ здравомыслящаго общества. Пусть предлагаютъ намъ суррогаты тѣлеснаго наказанія и удаленія изъ училища для нашихъ гимназій, не только болѣе нравственные, но и

болѣе практичныя. Мы примемъ ихъ съ благодарностью. Мѣры же, или, лучше, воззрѣнія, предложенныя до сихъ поръ и публицистами, и педагогами, не выдерживаютъ еще строгой критики въ примѣненіи ихъ къ настоящему состоянію нашихъ гимназій. Изъ 6-ти педагогическихъ совѣтовъ, желающихъ, болѣе или менѣе ясно, отмѣны тѣлеснаго наказанія, какъ мы видѣли, одинъ (1-й кievской гимназіи) предлагаетъ замѣнить розгу учрежденіемъ исправительной гимназіи. Эта мысль была уже нами высказана въ комитетѣ за два года предъ симъ. Но, кромѣ трудности найти лица, которыя, владѣя вполне искусствомъ исправлять закоренѣлое зло, пожелали бы управлять такимъ заведеніемъ, оно носило бы на себѣ въ глазахъ общества печать отверженія, — что едва-ли бы способствовало нравственному улучшенію отверженцевъ. Впрочемъ, если бы нашлось достаточно лицъ, желающихъ посвятить себя благому дѣлу, то, можетъ быть, и удалось бы въ видѣ опыта устроить подобное учрежденіе. Другое предложеніе (бѣлоцерковской гимназіи) — предоставить родителямъ распоряжаться ихъ дѣтьми, присужденными гимназіею къ строгому наказанію, — еще менѣе практично, потому что или болѣшая часть родителей стала бы наказывать виновныхъ дѣтей, точно также какъ и гимназія, или же эта мѣра ничѣмъ бы не отличалась отъ удаленія изъ гимназіи. Что же касается до удаленія изъ гимназіи, предлагаемаго четырьмя другими педагогическими совѣтами взамѣну тѣлеснаго наказанія, то о немъ мнѣнія нашихъ педагоговъ и публицистовъ чрезвычайно различны. Одни считаютъ удаленіе не исправительною мѣрою, а карою, или возмездіемъ, говоря, что оно наказываетъ не виновныхъ дѣтей, а невинныхъ родителей. Другіе требуютъ не только не уничтожать этой мѣры, но, напротивъ, предоставить педагогическимъ совѣтамъ право немедленнаго увольненія, чтобы они могли дѣйствовать скорѣе и рѣшительнѣе (нѣжин. гимн.). Нѣкоторыя гимназіи возстаютъ при этомъ противъ простаго увольненія и временнаго исключенія, основываясь на томъ, что увольненіе зависитъ отъ родителей, а родители иногда оставляютъ насильно сына, хотя онъ самъ и не хочетъ остаться въ заведеніи, чрезъ что онъ балуется и балуетъ другихъ. Поэтому предлагаютъ замѣнить увольненіе исключеніемъ (волынская гимназія). Противъ временнаго уда-

ленія говорятъ, что ученикъ внѣ заведенія, безъ присмотра, можетъ испортиться еще болѣе и отстанетъ въ ученіи такъ, что его нельзя будетъ опять принять въ тотъ же классъ; если же (говорятъ они) допустить, что удаленный изъ гимназіи можетъ еще исправиться, то всякое исключеніе слѣдуетъ сдѣлать временнымъ (полтавская и черниговская гимназіи). Полагаютъ тоже, что увольненіе съ хорошею отмѣткою порождаетъ сомнѣніе въ ученикѣ о правотѣ дѣйствій начальства, поступающаго двулично (полтав.). Что главная цѣль удаленія виновнаго не есть исправленіе,—объ этомъ я уже говорилъ; но что оно есть кара или несправедливое наказаніе невинныхъ родителей,—съ этимъ я несогласенъ. Нѣтъ ни одного такого наказанія дѣтей, которое бы не наказывало вмѣстѣ и родителей нравственно или матеріально. Тутъ нѣтъ никакой несправедливости. Если бы воспитатели или наставники въ сужденіяхъ своихъ о дѣтяхъ должны были имѣть въ виду интересы родителей, то тогда нужно бы было многихъ учениковъ гимназіи, несмотря на плохіе успѣхи, переводить въ высшіе классы или въ университетъ: потому что, не переводя ихъ, мы часто наказываемъ этимъ болѣе родителей, чѣмъ ихъ самихъ. Если же, исключая виновнаго изъ училища, мы, во-первыхъ, гласно сознаемся въ нашемъ неумѣннѣ исправить худое и въ недействительности тѣхъ средствъ исправленія, которыми владѣемъ; во-вторыхъ, считаемъ необходимымъ, для блага заведенія, удалить его изъ среды другихъ воспитанниковъ, то это не значитъ, что мы имѣемъ цѣлью карать его. Если же кто его караетъ, то это—свойство и степень его проступка, а не законъ, который есть только слѣдствіе проступка. Если намъ возражаютъ, что наши правила, для большей части проступковъ, въ послѣдней ихъ степени назначаютъ удаленіе, то это принято нами, предполагая, что всѣ они, въ крайней степени и при извѣстныхъ условіяхъ, дѣйствительно могутъ обнаружить, въ глазахъ воспитателей, неисправимую и вредную для другихъ и для цѣлаго заведенія испорченность права и воли. Сюда относятся: умышленная порча вещей, равная воровству; воровство и лихоимство, употребленіе спиртныхъ напитковъ, пороки чувственности, развратъ, картежъ, клевета и наушничество; дерзость и оскорбленіе воспитателей; закоренѣлая лѣнь, нарушеніе обществен-

наго благочинія и неповиновеніе. Что всѣ эти проступки и въ незрѣломъ возрастѣ могутъ зависѣть не отъ одного только легкомыслія, а имѣть болѣе глубокой корень и созрѣть до степени порока—въ этомъ, я думаю, усомнятся немногіе. Судить, исправимы ли они, или нѣтъ, въ каждомъ данномъ случаѣ, могутъ только сами воспитатели. Правила же наши нисколько не стѣсняютъ ихъ сужденій, а, напротивъ, даютъ имъ просторъ, принимая различныя степени и допуская различныя, и смягчающія, и усиливающія, обстоятельства. Наши правила, поставляя извѣстныя степени наказаній, нисколько не исключаютъ всѣхъ возможныхъ нравственныхъ мѣръ, увѣщаній и т. п. Скажу болѣе: они предоставляютъ воспитателямъ право и совсѣмъ не возводить многихъ худыхъ дѣйствій воспитанниковъ на степень вины или проступка. Если ребенокъ, страдающій глистами или раздраженіемъ дѣтородныхъ частей, подвергается онанизму, вмѣнить ли мыслящій воспитатель это въ вину воспитаннику? Если взрослые люди напоили ребенка виномъ,—можно ли это будетъ отнести къ проступкамъ? Если родители посылали сына воровать съ цѣлью доставлять себѣ пропитаніе, и, не вразумивъ его ни закономъ божіимъ, ни понятіями о нравственности, отдали въ школу, то неужели воспитатель, дѣйствующій не по одной мертвой буквѣ кодекса, первое сдѣланное ученикомъ въ школѣ воровство поставитъ ему въ вину и пригрозитъ розгою? Мнѣ кажется, наши правила нигдѣ не запрещаютъ воспитателямъ имѣть здравый смыслъ, тактъ и прозорливость. Кто изъ воспитателей владѣетъ этими качествами, тотъ будетъ ими владѣть и дѣйствовать и при правилахъ. Кто—нѣтъ, того они по крайней мѣрѣ удержатъ отъ самоуправства и не допустятъ до слишкомъ грубыхъ промаховъ и ошибокъ. Приводя эти случаи безсознательной вины, то-есть не-вины, я не раздѣляю, однако-же, мнѣнія тѣхъ, которые начало всѣхъ проступковъ находятъ внѣ воли виновнаго, въ окружавшей его средѣ и т. п. (между прочимъ, утверждаетъ это и г. учитель черниговской гимназіи Страховскій, въ особомъ мнѣніи). Я согласенъ, что, проводя слѣдствія и аналогіи изъ приведенныхъ мною случаевъ до послѣдней крайности, можно не только всѣ наши дѣйствія представить независимыми отъ нашей воли, но и самую волю принять за слѣдствіе раз-

личныхъ индивидуальныхъ условій, совершенно отъ насъ независимыхъ. Логически это будетъ, можетъ быть, и справедливо, но на дѣлѣ, какъ и всѣ до крайности проведенные принципы, это будетъ логическимъ ослѣпленіемъ. Не спорю, — чрезвычайно трудно воспитателю различить, что въ каждомъ проступкѣ есть безсознательнаго, что есть въ немъ слѣдствіе внѣшнихъ обстоятельствъ и что зависитъ отъ воли и сознанія виновнаго. Но если воспитатель рѣшилъ однажды, по своимъ соображеніямъ, что принятый имъ въ училище — онанистъ, или воръ, или замѣченный пьянымъ — не самъ виноватъ въ этомъ, или не виноватъ сознательно, то можетъ быть одно изъ двухъ: или училище имѣетъ средства его исправить, или — нѣтъ; въ первомъ случаѣ одно должно довести его до сознанія дѣлаемаго имъ зла; а во второмъ — не приниматься за его исправленіе и удалить. Какимъ способомъ доведется худое въ поступкахъ воспитанника до его сознанія, это предоставлено благоразумію и опытности воспитателей. Наказанія же, опредѣляемые нашими правилами, назначаются ими только для проступковъ, слѣдовательно для худыхъ, сознательныхъ дѣйствій. Только при обсужденіи такихъ дѣйствій берутся въ соображеніе и различныя смягчающія или усиливающія обстоятельства. Если же между этими обстоятельствами для трехъ проступковъ: порчи вещей, обмана и клеветы, означенъ умыселъ, то изъ этого нельзя заключать, что мы относимъ къ проступкамъ и несознательныя или неумышленныя дѣйствія, потому что виновный въ порчѣ чужой вещи, въ обманѣ и въ клеветѣ, поступаая и сознательно худо, можетъ еще дѣйствовать съ умысломъ повредить другому, или не имѣя этого умысла, что, конечно, усиливаетъ или ослабляетъ его вину.

Какъ другого суррогата тѣлеснаго наказанія въ школахъ нѣтъ, кромѣ исключенія, а исключеніе не есть чисто-исправительная мѣра, то, изгнавъ изъ школы розгу, остается принять для всѣхъ случаевъ, требующихъ крайнихъ наказаній, одно изъ двухъ: или систему вѣчнаго извиненія — и прощать (какъ выразился одинъ изъ нашихъ педагоговъ, учитель черниговской гимназіи г. Страховскій) „семьдесятъ кратъ седмицею“; или же ограничиться однѣми чисто-нравственными мѣрами, употребленія которыхъ въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ нисколько

не ограничиваютъ, какъ мы видѣли, и наши правила. И если ихъ понимаютъ, или стараются понять иначе, какъ мы ихъ понимали, то мы виноваты, можетъ быть, только въ томъ, что не сумѣли разъяснить наши мысли какъ слѣдуетъ. Но мы, кажется, довольно ясно выразились въ циркулярѣ, сказавъ: учащіеся должны скоро понять, что ихъ дѣйствія подчиняются не одной мертвой буквѣ закона, но и живой силѣ убѣжденія воспитателей о мѣрѣ вины и наказанія (№ 8, стр. V). Наши правила назначаютъ тѣлесное наказаніе въ двухъ случаяхъ: за воровство и за оскорбленіе. Нѣкоторые рецензенты, безъ дальнѣйшаго размышленія, хотѣли заставить насъ думать, что мы наказываемъ также розгою и оскорбленіе товарищей за вѣру, хотя въ нашихъ правилахъ нарочно прибавлено къ этому проступку слово: „фанатизмъ“, въ скобкахъ. Мнѣ кажется, что ни одинъ воспитатель не вздумаетъ искать фанатизма въ глупыхъ выходкахъ учениковъ низшихъ классовъ, то-есть дѣтей 10—12 лѣтъ, противъ товарищей не одной съ ними вѣры, а тѣлесное наказаніе дозволяется только въ этихъ классахъ. Такъ можно исказить все, желая видѣть одно худое и не понимая смысла, или притворяясь, что не понимаемъ.

Всѣ случаи тѣлеснаго наказанія и удаленія, исчисленные мною по донесеніямъ дирекцій округа, были разслѣдованы въ педагогическихъ совѣтахъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, сколько видно изъ подробныхъ (именныхъ) списковъ, взяты во вниманіе смягчающія и усиливающія обстоятельства: характеръ, инициатива, домашнее воспитаніе и т. п. Насколько сужденіе было точно и справедливо, — конечно, остается на совѣсти всѣхъ членовъ. Но мнѣ кажется уже и тѣмъ сдѣланъ значительный шагъ впередъ, что вся коллегія учителей вовлечена въ эти нравственные разбирательства и не имѣетъ болѣе права, какъ это бывало прежде, выступать изъ органической связи съ учениками. Итакъ, кромѣ ограниченія произвола, правила достигнутъ еще и другой цѣли, которую мы и имѣли при ихъ составленіи: это — увеличеніе вліянія учителей на воспитанниковъ. Нарушенную временемъ и обстоятельствами связь между ними нельзя вдругъ возстановить, — это требуетъ другихъ, болѣе обширныхъ и болѣе радикальныхъ реформъ всей организациі нашихъ учебныхъ заведеній. Нельзя требовать, чтобы сейчасъ

же усилилось моральное вліяніе каждого наставника въ отдѣльности. На первый разъ довольно уже того, что цѣлая коллегія имѣетъ средство дѣйствовать на нравственную сторону учениковъ. Нѣкоторые признаки обнаруживаютъ уже, что воспитанники гимназій даже въ трехъ западныхъ губерніяхъ (гдѣ связь по различію національностей была болѣе нарушена) начинаютъ чувствовать это вліяніе цѣлой коллегіи и крѣпко интересуются имъ. Такъ, напримѣръ, изъ отчетовъ немировской гимназіи видно, что нѣсколько учениковъ получили выговоръ отъ педагогическаго совѣта (Богъ знаетъ для чего?) за то, что рассказывали другимъ ученикамъ мнѣніе учителей, высказанное ими въ совѣтѣ о томъ или другомъ ученикѣ. Какъ узнали они эти мнѣнія — не объяснено. Но явленіе это въ моихъ глазахъ знаменательно, и нѣтъ сомнѣнія, что путемъ, избраннымъ нами, рано или поздно желаемая связь воспитателей и воспитанниковъ будетъ возстановлена. Съ моей стороны, я постараюсь сдѣлать это, сколько могу и сколько сумѣю. Комитетъ же, вѣрно, поможетъ мнѣ своими соображеніями и совѣтами.

Перейдемъ теперь къ другимъ, менѣе важнымъ наказаніямъ. Если взять ихъ итогъ (послѣ введенія правилъ), то онъ окажется весьма значительнымъ. Изъ 4.310 учениковъ, было 1.891 наказанныхъ ¹⁾. Но бѣльшая часть наказаній состояла въ вы-

¹⁾ Число наказанныхъ и наказаній въ теченіе 1 года и 2-хъ мѣсяцевъ (кромѣ тѣлеснаго и удаленія).

	Наказанныхъ. Наказаній.		
1. Въ 1-й кievской гимназіи учениковъ: . . .	251	99	210
2. „ 2-й кievской.	650	194	452
3. „ бѣлоцерковской.	266	61	88
4. „ немировской.	568	427	534
5. „ волынской	635	197	728
6. „ ровенской	354	121	218
7. „ подольской	470	160	254
8. „ черниговской	276	124	252
9. „ новгородсѣверской	258	157	175
10. „ нѣжинской	264	132	180
11. „ полтавской	398	219	850
Число учениковъ 4.310	1.891		3.961

говорахъ (отъ директора, инспектора), домашнихъ классныхъ арестахъ съ обязательною работою, лишеніи отпуска и обѣда, ужина или одного блюда. Наказанныхъ такимъ образомъ было почти до 1.700 (изъ нихъ—лишеній пищи до 500 и до 1.200 официальныхъ выговоровъ и арестовъ). Число самыхъ наказаній простиралось до 3.961. Оно потому болѣе числа наказанныхъ, что многіе изъ нихъ были оштрафованы по нѣскольку разъ; такъ въ волынской и подольской гимназіяхъ нѣкоторые ученики подвергались по 15 и 18 разъ арестамъ въ теченіе года,—оттого итогъ наказаній въ этихъ двухъ гимназіяхъ значительно превышалъ число наказанныхъ. Увѣщательныя замѣчанія и неофициальные выговоры не записывались, и поэтому не внесены у насъ въ число наказаній: Самое меньшее число наказанныхъ относилось къ числу учениковъ какъ 1 къ 4 (бѣлоцерк.); самое большее—какъ 1 къ 2, къ 1½ и менѣе (въ полтавской, новгородсѣверской, немировской). Многочисленностью или малочисленностью учениковъ той или другой гимназіи нельзя еще объяснить численность наказаній; и въ нѣкоторыхъ многолюдныхъ гимназіяхъ (какъ, напр., волынская и 2-я кievская), и въ нѣкоторыхъ малолюдныхъ гимназіяхъ (какъ, напр., бѣлоцерковская) сравнительно число наказанныхъ было менѣе значительно (какъ 1 къ 4 и къ 3), нежели въ другихъ. Обширность и многолюдность города, гдѣ помѣщается та или другая гимназія, также не оказываютъ слишкомъ большого вліянія на цифру наказаній; однако-же въ двухъ большихъ губернскихъ городахъ (Кіевѣ и Житомирѣ) замѣтно меньше число наказанныхъ; напротивъ, въ другихъ небольшихъ городахъ или мѣстечкахъ (какъ, напримѣръ, въ Немировѣ и Новгородсѣверскѣ) — замѣтно значительнѣе. Это, вѣроятно, происходитъ оттого, что въ малыхъ городахъ контроль за учениками удобнѣе, чѣмъ въ большихъ, а потому и надзоръ сильнѣе. Арестъ былъ всегда соединенъ съ обязательною работою. Къ болѣе значительнымъ наказаніямъ принадлежали: 1) выговоръ отъ педагогическаго совѣта, 2) черная доска, 3) переводъ въ низшій классъ. Изъ числа 1.891 приговорено: къ выговору отъ педагогическаго совѣта—120; къ переводу въ низшіе классы—50; къ внесенію имени на черную доску—42. Всего—болѣе 200 такихъ наказа-

ній ¹⁾. Большая половина наказанныхъ официальными выговорами и арестами принадлежать первымъ тремъ классамъ, тогда какъ изъ числа исключенныхъ и уволенныхъ только 5 или 6 были ученики низшихъ классовъ.

Проступки учениковъ, за которые присуждались официальные выговоры отъ директора и инспектора, аресты съ обязательною работою и лишеніе пищи, можно раздѣлить на четыре главные разряда, изъ которыхъ будутъ относиться: къ первому.—1) шалости, и преимущественно шалости въ классѣ, нарушавшія вниманіе товарищей. Я исчислю здѣсь чаще встрѣчавшіяся въ главныхъ чертахъ, чтобы показать ихъ общій характеръ: толчки и щелчки другъ другу во время урока; прятанье подъ скамейки; шумъ и борьба въ классѣ: пусканіе мыльных пузырей и шариковъ изъ бумаги и хлѣба другъ въ друга во время уроковъ; свистъ и игра на гармоникѣ, также во время ученія въ классѣ; вырѣзываніе фигурокъ изъ бумаги и приклеиваніе ихъ къ доскамъ, къ верху дверей и къ по-

¹⁾ Въ какой мѣрѣ увеличилось число такихъ наказаній, какъ официальные выговоры, замѣчанія (отъ директора, инспектора и педагогическаго совѣта), вмѣстѣ съ уменьшеніемъ тѣлесныхъ наказаній и карцерныхъ арестовъ, послѣ введенія нашихъ правилъ, видно изъ слѣдующаго перечня, сообщеннаго новгородскаго губернскаго дирекцію.

Изъ числа 258 учениковъ наказаны:	До введенія правиль.	Послѣ введенія правиль.
Розгами	3	0
Карцеромъ	10	1
Выговоромъ совѣта	0	1
Арестомъ	35	121
Замѣчаніями и выговорами директора и инспектора .	2	444

Если до введенія правилъ въ этой дирекціи, какъ объясняетъ г. директоръ, число случаевъ заключенія въ карцеръ показано 10, а послѣ введенія—1, то это произошло оттого, что послѣ введенія правилъ значеніе карцера такъ поднялось, что оно теперь очень часто замѣняется училищнымъ арестомъ. Число арестовъ увеличилось такъ значительно потому, что къ нимъ причислены и такіе случаи, когда ученики оставались въ классѣ, часто незаинтересованно, для повторенія недочутого урока. Наконецъ, умноженіе выговоровъ послѣ введенія правилъ произошло оттого, что до введенія правилъ выговоры почти совсѣмъ не записывались въ штрафной журналъ.

толку, передъ приходомъ учителя и во время класса (особливо рисовальнаго), перестановка классной мебели и т. п. Насмѣшекъ надъ учителями почти не было; въ одномъ случаѣ только натерть былъ учительскій столъ чеснокомъ. Къ шалостямъ же отнесены: неполное соблюденіе формы, изъ франтовства, и порча вещей, принадлежавшихъ товарищамъ, безъ худого умысла повредить имъ. Самое большое число наказаній относилось къ этому роду проступковъ (изъ 1.891—489); всего чаще за шалости были присуждаемы первые три класса (изъ 489—303). 2) Къ второму разряду—лѣность. Сюда отнесены случаи, когда ученикъ часто сказывался больнымъ, чтобы отдѣлаться отъ урока, а его между тѣмъ находили на улицахъ гуляющимъ; отлучка изъ классовъ и повторенная неявка безъ всякой причины; повторенное незнаніе уроковъ, несмотря на сдѣланныя замѣчанія, и часто случавшійся поздній приходъ въ классъ, также безъ причины. 3) Дерзость и грубость права, высказавшіяся: обидною бранью съ товарищами, пощечинами и нанесеніемъ сильныхъ ударовъ (иногда до крови), неловкою на вызовъ инспектора и грубыми выраженіями на замѣчанія наставниковъ; такъ, напримѣръ, одинъ ученикъ на предложеніе учителя выйти вонъ изъ класса за шалость,—возразилъ, что только собакъ выводятъ вонъ; на замѣчаніе же учителя, что можно выводить и учениковъ,—отвѣчалъ: „и учителей“. Въ черниговской гимназіи, какъ особенность, были случаи, означающіе оригинальную грубость нравовъ. Нѣсколько учениковъ выпускали мочу въ классныхъ комнатахъ въ чернильницы. Наказанныхъ за дерзость и грубость во всѣхъ гимназіяхъ было изъ 1.891—214 (вполовину почти менѣе, чѣмъ за шалости) и большее число случаевъ встрѣтилось въ IV-мъ и V-мъ классахъ (изъ 214—165). 4) Куреніе табаку, преслѣдуемое у насъ, не безъ причины, въ классахъ, ватерклозетахъ и въ закрытыхъ заведеніяхъ. Всѣхъ попавшихся на дѣлѣ было вообще немного—изъ 4.310 учениковъ только 78. Большая часть попавшихся были ученики II-го и III-го классовъ (изъ 78—35); изъ этого, конечно, не слѣдуетъ заключать, что въ низшихъ классахъ болѣе курятъ, чѣмъ въ высшихъ; но только то, что болѣе взрослые ученики опытнѣе и умѣютъ лучше скрыть свои

слабости ¹⁾. Сверхъ того, наказаніе карцеромъ дѣлалось за самовольныя отлучки изъ заведенія и изъ города, за различныя сдѣлки, за порчу вещей и за повторенное ослушаніе.

Болѣе знаменательныхъ наказаній, какъ-то: выговоровъ отъ педагогическаго совѣта, внесенія имени на черную доску и переводовъ изъ высшихъ классовъ въ низшіе, считается, по доставленнымъ мнѣ спискамъ, до 210; изъ нихъ 120 выговоровъ отъ педагогическаго совѣта; число ими оптрафованныхъ имѣетъ еще менѣе отношенія къ числу учениковъ, чѣмъ другія наказанія. Это заставляетъ думать, что однѣ гимназіи смотрѣли на выговоры отъ педагогическаго совѣта серьезнѣе, чѣмъ другія. Такъ, изъ 120 выговоровъ педагогическихъ совѣтовъ—цѣлыхъ 73 принадлежатъ немировской гимназіи: они сдѣланы совѣтомъ этой гимназіи, по большей части, за лѣность. Другіе проступки, кромѣ лѣности, заслуживавшіе это наказаніе, были: за побои и грубое обращеніе съ надзирателями, товарищами, слугами, за попытки въ утайкѣ чужихъ вещей и за шалости, возмущавшія цѣлый классъ. Въ одномъ случаѣ выговоръ былъ, по жалобѣ родственника, за грубость; въ двухъ—за продажу учебника и чужихъ галошъ; въ одномъ—за воровство по бѣдности; въ одномъ—за оскорбленіе еврея (за вѣру). Наконецъ, одинъ изъ учениковъ (черниговской гимназіи) II-го класса, 11-ти лѣтъ, получилъ выговоръ за то, что во время часто случавшихся городскихъ пожаровъ, купивъ хлѣбъ у булочника, отдалъ ему деньги, завернутыя въ бумагу, гдѣ написана была угроза о поджигательствѣ. —Изъ 11-ти гимназій округа въ 7-ми имена виновныхъ были занесены 42 раза на черную доску. Къ проступкамъ, заслужившимъ это наказаніе, принадлежали: клевета, умышленная порча вещей, подлогъ (штрафнаго свидѣтельства),

¹⁾ Вотъ перечень числа проступковъ, принадлежащихъ къ этимъ 4 разрядамъ. Къ 1.212 наказаннымъ официально выговорами и арестами относятся:

Къ I, II и III классамъ. Къ IV и V кл. Къ VI и VII кл.

				Итого.
За куреніе табаку . . .	35 (II и III кл.)	19	24	78
За дерзость и грубость .	109 "	71	34	214
За шалости	257 "	141	33	431
За лѣность	303 "	166	21	489
	704	397	11	1

грубая ложь, площадные слова, утайка вещей, подстрекательство товарищей къ худымъ поступкамъ и неумѣренное употребленіе спиртныхъ напитковъ. Число наказанныхъ за опьяненіе было довольно значительно, а именно: 6 учениковъ черниговской гимназіи, — 4 немировской и 2 — нѣжинской, изъ которыхъ одинъ — III класса, остальные — IV, V и VI классовъ. — Число временно-переведенныхъ изъ высшихъ классовъ въ низшіе простиралось до 50. Это наказаніе примѣнялось только въ 4 гимназіяхъ округа (двухъ кievскихъ, волынской и немировской) и цѣлая половина переведенныхъ на срокъ (25) были ученики волынской гимназіи; изъ нихъ исправились въ назначенный срокъ и возвратились въ свои классы 13; не исправились и остались въ низшихъ классахъ 7. Остальные сами увольнялись по желанію родителей. Всѣ 30 переведенныхъ были ученики II и III классовъ. — Наконецъ, наказаній, опредѣленныхъ судомъ товарищей, было до 70 въ 11 гимназіяхъ округа. Всѣ проступки, подлежащіе этому суду, заключались въ нанесеніи обиды или оскорбленія товарищамъ словомъ и дѣломъ и въ умышленной порчѣ вещей, принадлежавшихъ товарищамъ. Всѣ почти подсудимые были ученики II, III и IV классовъ; только 3 ученика были V-го и 1 — VII-го классовъ. Наказанія, назначавшіяся судомъ, состояли въ томъ, что виновнаго заставляли просить извиненія у обиженнаго, присуждали къ аресту, къ оффиціальному выговору, къ лишенію пищи и платѣ за испорченную вещь ¹⁾.

Судъ товарищей, какъ я объяснилъ при введеніи нашихъ правилъ (см. Циркуляръ 1859 года, № 8, стр. VII), имѣлъ цѣлью искорененіе произвольнаго и незаконнаго самоуправ-

¹⁾ Вотъ краткій обзоръ случаевъ: 1) Въ 1-й кievской гимназіи 4 ученика, за драку, осуждены ихъ товарищами остаться безъ ужина. 2) Во 2-й кievской гимназіи 4, за драку и обиду, присуждены просить извиненія (см. ниже). 3) Въ бѣлоцерковской и новгородсѣверской — 5 тоже. 4) Въ немировской — 8. За побой — извиненіе и арестъ. 5) Въ волынской — 10. Оскорбленіе, драка и порча вещи. Извиненіе, арестъ и плата за испорченную вещь. 6) Въ полтавской гимназіи — 30 (III и IV кл.). Обида, драка, порча вещей. Присуждены къ аресту и къ уплатѣ за испорченную вещь. 7) Въ черниговской — 6. Оскорбленіе, драка. Извиненіе, выговоръ, арестъ. 8) Въ подольской — 2. Побой и драка. Арестъ. — Въ нѣжинской и ровенской гимназіяхъ не встрѣтилось ни одного случая.

ства, существующаго между учениками гимназій (особливо въ западномъ краѣ). Эта мѣра, какъ и вообще всѣ наши правила, конечно, не могла еще въ теченіе столь короткаго времени (одного года) совершенно достигнуть цѣли. Къ сожалѣнію, и послѣ введенія суда товарищей встрѣтились еще два случая такой самовольной расправы, которую ложные слухи приписали именно введенію нашей мѣры, потому только, что оба эти случая сдѣлались гласными, тогда какъ прежде подобные же случаи оставались скрытыми. Одинъ изъ нихъ встрѣтился въ бѣлоцерковской гимназіи. Ученикъ VI-го класса былъ удаленъ изъ 1-й кievской гимназіи за самый гнусный порокъ чувственности. Я былъ такъ слабъ, что, по настоятельной просьбѣ его родственниковъ, ручавшихся за его исправленіе, дозволилъ ему вступить въ бѣлоцерковскую гимназію, спустя нѣсколько времени послѣ его увольненія. Здѣсь же, находясь и подъ надзоромъ родителей, онъ былъ вовлеченъ за одинъ скандалъ въ ссору съ товарищами, которые, не объявля гимназическому начальству, сами присудили его къ позорному наказанію (спустили у него исподнее платье и дали нѣсколько ударовъ), исполнивъ которое—помирились. Все это было сохраняемо въ тайнѣ. Но черезъ нѣсколько времени этого ученика нашли застрѣлившимся на улицѣ. Изъ найденныхъ послѣ смерти двухъ писемъ въ одномъ онъ прощается съ своими школьными друзьями въ самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ; въ другомъ, къ отцу, упрекая себя, сожалѣетъ, что не исполнилъ его надеждъ. Другой случай, который я уже разсказалъ выше, встрѣтился въ 1-й кievской гимназіи. Ученики V-го класса высѣкли—также за скандальное поведеніе—своего товарища самоуправно въ ватерклозетѣ.

Вотъ въ краткихъ чертахъ статистика проступковъ и наказаній, встрѣтившихся въ теченіе одного года и двухъ мѣсяцевъ послѣ введенія нашихъ правилъ. Разсмотрѣвъ ее, я думаю, безъ всякаго пристрастія можно вывести такое заключеніе. 1) Вообще наказанія, за исключеніемъ весьма немногихъ случаевъ, назначались не несообразно съ свойствами проступковъ. 2) Наказанія не обнаруживали излишней строгости, и всѣ, не исключая даже тѣлеснаго, которымъ воспитатели старались возбудить не боль, а чувство стыда, имѣли преимущ-

щественно нравственный характеръ. 3) Число наказаній именно потому было значительно, что къ нимъ причислялись всѣ офиціальныя выговоры, имѣвшіе болѣе характеръ увѣщанія, нежели настоящаго наказанія. 4) Произволъ въ опредѣленіи крайнихъ наказаній (каково тѣлесное) значительно уменьшился и со стороны дирекцій былъ замѣченъ только въ весьма немногихъ (пяти или шести) случаяхъ (о которыхъ и потребованы объясненія). 5) Вліяніе педагогическихъ совѣтовъ усилилось, потому что значительное число случаевъ, прежде нисколько не касавшихся до учителей, представлялось теперь на обсужденіе цѣлаго ихъ общества. 6) Судя по значительно уменьшившемуся числу крайнихъ наказаній въ столь короткое время (послѣ введенія правилъ), нужно полагать, что они выйдутъ совсѣмъ изъ употребленія и превратятся въ одну только угрозу. Итакъ, составляя правила, мы справедливѣе рассчитали нашихъ антагонистовъ. Факты оправдали наши надежды, что съ введеніемъ правилъ усилится вліяніе цѣлой коллегіи наставниковъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ уменьшатся произволъ и крайнія, насильственныя мѣры. Теперь рассмотримъ возраженія и замѣчанія, вызванныя мною же самимъ, противъ правилъ (вообще и въ частности) и воспользуемся ими для нашего усовершенствованія.

1-е. Говорятъ, что вся система наказаній въ нашихъ школахъ вообще есть несправедливое подражаніе наказаніямъ взрослыхъ людей, опредѣляемымъ гражданскими законами; между тѣмъ идея наказанія вообще еще не опредѣлена и юристами. Вѣрнѣе та мысль, что худое дѣло само себя наказываетъ, а доброе—само себя награждаетъ; потому главное въ воспитаніи—довести виновнаго до раскаянія („Педаг. Вѣстн.“, статья г. Григоровича). Юридическую же правду положить въ основу разбирательства поступковъ и системы наказаній при воспитаніи дѣтей—значить, принять въ основаніе правду самую шаткую изъ всѣхъ существующихъ („Журн. для воспит.“ № 11, статья г. Бѣлова). Отвѣтъ. Мы не принимали на себя роли реформаторовъ; мы нисколько не хотѣли нашими правилами положить основаніе новой системы воспитанія. Мы поставили нашъ вопросъ ограниченнѣе. Мы хотѣли только регулировать систему извѣстныхъ и употребительныхъ уже наказаній въ

нашихъ школахъ, примѣняясь къ существующему еще порядку вещей. Мы не могли его измѣнить, — на то у насъ не было ни права, ни средствъ; — мы могли только улучшить его самыя вопіющіе недостатки; и, какъ опытъ показалъ, достигаемъ нашей цѣли. Если бы же мы вздумали излагать идеи о преобразованіи всей системы наказанія, то все-таки не могли бы обойтись и безъ юридическихъ взглядовъ на правду, которые, въ сущности, тѣ же самыя, какъ и всего человѣческаго общества: то-есть, судить по справедливости и по совѣсти о винѣ и проступкахъ другихъ; коренное же начало проступковъ, и у дѣтей, и у взрослыхъ, въ сущности, одно и то же. Всякій проступокъ — и у взрослого, и у ребенка — долженъ быть разсматриваемъ и въ отношеніи къ виновному, и въ отношеніи къ другимъ или къ той средѣ, въ которой онъ живетъ. Въ первомъ отношеніи, зло находитъ наказаніе въ самомъ себѣ, слѣдовательно наказаніе внутреннее; въ другомъ отношеніи, оно должно найти наказаніе внѣшнее. Наши правила, имѣя въ виду исключительно второе, нисколько не препятствуютъ дѣйствіямъ перваго. Воспитателямъ или примѣнителямъ правилъ предоставляется благоразумно пользоваться и тѣмъ, и другимъ.

2-е возраженіе. Правила только составляютъ отрицательную сторону законодательства, а нужны еще правила положительныя, которыя бы давали ученикамъ ясное понятіе объ ихъ обязанностяхъ. Нужно дать одну инструкцію ученикамъ, а другую — наставникамъ, опредѣливъ maximum и minimum власти каждаго лица, и ограничить произволъ болѣе или менѣе тѣсными предѣлами (мнѣнія волинской, черниговской, новгородсѣверской гимназій). Отвѣтъ. Мысль совершенно справедливая. И я предлагаю комитету заняться составленіемъ положительной инструкціи ученикамъ, вмѣсто простой таблицы проступковъ и наказаній. Касательно же правилъ для воспитателей, заключающихся и въ нашемъ кодексѣ, нужно будетъ присоединить еще и другія, сообразныя съ предлагаемыми улучшеніями, взятыми изъ опыта.

3-е возраженіе. Идея законности, развитіе которой составляло также цѣль правилъ, разовьется только тогда, когда воспитатели будутъ осуществлять ее на дѣлѣ по собственному убѣжденію. Правила же еще не уничтожаютъ произ-

вола, потому что все-таки ими дается право подводить проступки под ту или другую рубрику, а ученики еще не понимают, что директор не может изменить опредѣленіе педагогическаго совѣта (одинъ ученикъ, напимѣръ, присужденный къ выговору отъ педагогическаго совѣта, просилъ у директора переимѣнить это опредѣленіе (мнѣн. черн. гимн.). Отвѣтъ. Мысль несправедливая. Въ общественномъ учрежденіи, при извѣстной, принятой системѣ воспитанія, нельзя предоставить право каждому воспитателю проводить идеи законности по однимъ собственнымъ убѣжденіямъ, т.-е. распоряжаться по произволу. Тогда будетъ опять по-прежнему: за одинъ и тотъ же проступокъ будутъ одного и того же ребенка то сѣчь розгами, то извинять. Это предложеніе черниговской гимназіи противорѣчить именно той цѣли, которой мы хотѣли достигнуть, и вводить произволъ, который мы хотѣли уничтожить. Если же правила даютъ право цѣлому обществу наставниковъ, вмѣстѣ съ непосредственнымъ начальствомъ гимназіи, примѣнять ихъ по собственному убѣжденію, то этого избѣгнуть нельзя и не должно, если хотимъ проводить идею справедливости. Иначе нашъ кодексъ превратится въ мертвую букву, а мы именно этого хотѣли также избѣгнуть, какъ и произвола. Ученики же, привыкнувшіе къ произвольнымъ распоряженіямъ одного лица, не могли еще вдругъ привыкнуть къ мысли о неизмѣнности приговоровъ цѣлаго общества воспитателей. Постарайтесь это доказать имъ на опытѣ.

4-е возраженіе. Правила не даютъ возможности индивидуализировать. Два ученика—индивидуально разные—наказываются, по правиламъ, за одинъ и тотъ же проступокъ одинаково, а между тѣмъ ихъ личности такъ различны, что требуютъ, по убѣжденію воспитателей, различнаго наказанія (мнѣн. черн. гимназіи). Отвѣтъ. А на что же разбирательство проступковъ однимъ воспитателемъ или цѣлымъ обществомъ воспитателей? Для чего же соображенія различныхъ, смягчающихъ или усиливающихъ, обстоятельствъ? Эти соображенія, конечно, трудны въ многолюдныхъ гимназіяхъ (какъ справедливо замѣтила волынская дирекція). Но эта трудность индивидуализировать не увеличивается и не уменьшается нашими правилами. Все дѣло разбирательства поручается, какъ вездѣ

и всегда, искусству, такту, добросовѣстности и опытности воспитателей.

5-е возраженіе. Знаніе и выставка правилъ для учениковъ потому нехороши, что ученикъ, зная, какое наказаніе ожидаетъ его за извѣстный проступокъ, ропщеть, если воспитатели, взявъ въ соображеніе обстоятельства, одного накажутъ слабѣе за тотъ же проступокъ, чѣмъ другого. Невѣдѣніе же о мѣрѣ наказанія, напротивъ, можетъ служить предостереженіемъ отъ проступковъ и мѣрою къ исправленію. Теперь провинившійся приходитъ въ судъ равнодушно, зная, что его ожидаетъ ни болѣе, ни мѣнѣе наказаніе. Онъ можетъ протестовать противъ несправедливости и нарушенія закона, думая, что смягчающія и усиливающія вину обстоятельства обсуждены несправедливо. Поэтому ненужно стѣснять совѣтъ и наставниковъ правилами, а дать имъ средства присуживать самимъ исправительныя мѣры. Нравственный ученикъ, погрѣшая, никогда не отговорится незнаемъ запрещенія, потому что всѣ пороки уже обозначены въ ученіи закона божія. А отговорки дурного ученика должно устранять примѣромъ и дѣйствіями воспитателей. Ученикъ, не зная, что его ожидаетъ за проступокъ, но съ вѣрою въ безпристрастіе суда, предстаетъ предъ него, давъ уже обѣтъ въ душѣ не дѣлать дурного, только бы его простили (мнѣніе учителя черниговской гимназіи, Страховскаго). Отвѣтъ. Если ученики, и при извѣстныхъ и опредѣленныхъ постановленіяхъ, ропщутъ и мало имѣютъ вѣры въ правду и безпристрастіе суда учителей, то откуда же у нихъ возьмется болѣе вѣры, когда ихъ безъ опредѣленныхъ постановленій будутъ—одного наказывать такъ, а другого—иначе, за тотъ же самый проступокъ? Не предполагаютъ ли такіа произвольныя распоряженія воспитателей еще болѣе недо вѣрія къ ихъ справедливости со стороны учениковъ? Одно изъ двухъ: или ученикъ вѣритъ въ безпристрастіе и справедливость своихъ наставниковъ, или нѣтъ. Если онъ вѣритъ, то онъ будетъ вѣрить—и зная, что его ожидаетъ за совершенные проступки; если же нѣтъ, то откуда онъ возьметъ вдругъ эту вѣру, когда воспитатели будутъ наказывать по собственному убѣжденію? Если воспитатели докажутъ на дѣлѣ, что они умѣютъ взвѣшивать справедливо всѣ обстоятельства, спрово-

ждавшія проступокъ, — а правила не только не препятствуютъ, но требуютъ, чтобы они это дѣлали, — то виновный не предстанетъ равнодушно предъ судомъ, потому что еще не знаетъ, какъ рѣшать дѣло его судьи. Если же воспитателямъ не удалось внушить своимъ воспитанникамъ этого убѣжденія и довѣрія, то имъ не удастся это сдѣлать и тогда, если правила не будутъ существовать. Протестовать же противъ несправедливости ученикъ можетъ и безъ правилъ, если не внѣшнимъ образомъ, то внутренно, затаивъ этотъ протестъ въ своей душѣ, что еще хуже.

6-е возраженіе. Въ правилахъ не обращено вниманія на сущность проступковъ, на ихъ общія свойства, на отношенія между волею виновнаго и ея слѣдствіемъ — проступкомъ, не опредѣлена степень участія воли, не опредѣлено, какія дѣйствія должно считать умышленными, какія неумышленными. Умыселъ относится, по правиламъ, къ усиливающимъ обстоятельствамъ, и слѣдовательно неумышленность — къ смягчающимъ, тогда какъ неумышленность исключаетъ вовсе всякое вмѣненіе въ вину. Соображенія о степени вины, т.-е. усиливающія и смягчающія обстоятельства разбросаны въ различныхъ графахъ, и потому теряютъ единство и общность. Нѣтъ опредѣленія точныхъ признаковъ каждаго проступка, а безъ этого рождаются затрудненія, къ какой рубрикѣ отнести тотъ или другой проступокъ. Наказанія слишкомъ разнообразны. Ученикъ, зная, что его проступокъ занесенъ въ книгу, что прошедшее неозвратно, а въ будущемъ не можетъ быть ничего хуже исключенія, потеряетъ побужденіе къ исправленію (мнѣніе 1-й кievской гимназіи). Отвѣтъ. Недостатокъ общаго обзора смягчающихъ и усиливающихъ вину обстоятельствъ въ правилахъ есть дѣйствительно такой пробѣлъ, который нужно пополнить. Опредѣлять же сущность каждаго проступка и отношенія его къ волѣ виновнаго, хотя и полезно въ томъ отношеніи, что обнаружить одинъ извѣстный взглядъ на различные проступки съ педагогической точки зрѣнія, — но едва-ли возможно будетъ воспитателямъ, на практикѣ, руководствоваться этимъ взглядомъ. Възвѣшиваніе отношеній воли къ проступкамъ я считаю дѣломъ неуволнимымъ на бумагѣ, и всѣ письменныя соображенія не замѣняютъ такта и опытнаго взгляда искусныхъ педаго-

говъ. Что умыселъ отнесенъ нашими правилами къ усиливающимъ обстоятельствамъ, то это, очевидно, недостатокъ не логики, а редакціи. Подъ именемъ умысла разумѣлась злоумышленность, которая и означена такъ въ статьѣ о порчѣ вещей. Если мы хотѣли наказывать одни проступки, то, разумѣется, что и самый худой поступокъ, но сдѣланный неумышленно и несознательно, благоразумный воспитатель не поставитъ въ вину воспитаннику. Что же касается до убѣжденія ученика, что худо сдѣланное имъ въ прошедшемъ невозвратно, а въ будущемъ можетъ заслужить только одно исключеніе, то такое убѣжденіе можетъ скорѣе послужить къ исправленію, чѣмъ повредить ему. Развѣ не хорошо намъ пріучаться, съ самаго ранняго возраста, къ мысли, что всякое зло, сдѣланное нами, не исчезаетъ безъ слѣда? Развѣ эта мысль не можетъ насъ удерживать отъ худыхъ дѣйствій? И если эта мысль насъ печалитъ и угнетаетъ, то зато не рождаетъ ли она въ душѣ и другого утѣшительнаго убѣжденія, что и сдѣланное нами добро также никогда не пропадаетъ? Исключеніе изъ гимназіи есть, конечно, самое худшее, чего можетъ ожидать виновный въ будущемъ; но онъ это будетъ знать и безъ правилъ, точно также какъ мы всѣ знаемъ, что все, что бы мы ни дѣлали въ жизни, кончится, наконецъ, смертію. Мысль еще менѣе утѣшительная, но нисколько не препятствующая намъ исправляться и дѣлать добро.

7-е возраженіе. Цѣль наказанія есть исправленіе. А бѣольшая часть проступковъ дѣтей имѣютъ основаніе въ рѣзвости, забывчивости, опрометчивости и неправильномъ пониманіи своихъ обязанностей, а не въ испорченности воли, — въ таблицу не вошли эти проступки. Передовая мѣра воспитанія есть объясненіе проступковъ и вреда, отъ нихъ происходящаго, въ присутствіи цѣлаго класса, не нападая на личность провинившагося (мнѣніе учителя полтавской гимназіи, Вакуловскаго). Отвѣтъ. Если проступки, происходившіе отъ рѣзвости, забывчивости и т. п., не вошли въ таблицу, то это именно потому, что мы не считаемъ ихъ проступками, требующими наказанія. Есть много и другихъ кажущихся проступковъ, не вошедшихъ въ таблицу, именно потому, что они только кажутся такими, а въ сущности могутъ обнаруживать

скорѣе хорошую, чѣмъ худую сторону характера. Объясненіе же проступковъ есть, безъ всякаго сомнѣнія, важная педагогическая мѣра; но на нее одну, въ общественномъ воспитаніи, нельзя положиться, даже и тогда, если-бы приходящіе ученики не одни только класные часы, а цѣлые дни оставались въ школѣ. Впрочемъ предлагающіе такую мѣру забываютъ нашу обстановку, забываютъ, что сдѣлать ее обязательно для всѣхъ нашихъ педагоговъ, — значило бы, только писать постановленія, не думая о томъ, найдутся ли, или нѣтъ, ихъ исполнители. Необязательно же никто не препятствуетъ нашимъ наставникамъ, согласясь вмѣстѣ, общими силами дѣйствовать на учениковъ путемъ убѣжденія.

8-е возраженіе. На проступки учениковъ должно смотрѣть какъ на болѣзни душевныя, начало которыхъ кроется въ средѣ общества, изъ котораго они вышли (сюда принадлежатъ: воровство, лихонимство, порча вещей, картежъ и т. п.). Нужно уничтожить источникъ заразы. Нужно наказывать не дѣтей, а общество. Нужны примѣры въ семьѣ и въ воспитательномъ заведеніи, вмѣстѣ съ развитіемъ нравственно-религіознаго чувства. Всѣ наказанія должны быть въ духѣ христіанской любви (мнѣніе учителя черниговской гимназіи, Страховскаго). Отвѣтъ. Нельзя не согласиться, что все это было бы очень желательно; но оно, къ сожалѣнію, въ настоящемъ мало примѣнимо къ дѣлу. Преобразовать общество мы вдругъ не можемъ, а между тѣмъ дѣйствовать должны въ пользу общественнаго воспитанія. И душевные недуги требуютъ нерѣдко матеріальныхъ пособій. Ни нашими правилами и никѣмъ не оспаривается, что исправленіе проступковъ должно проистекать изъ чувства христіанской любви; но христіанская любовь одна, — безъ извѣстныхъ, болѣе опредѣленныхъ, правилъ въ воспитаніи, и особливо общественномъ, — еще недостаточна и можетъ быть даже понимаема различно, какъ это, на примѣръ, видно изъ —

9-е — мнѣнія г. учителя 1-й кievской гимназіи, Богатинова, который предлагаетъ воспитателямъ дѣйствовать и розгою въ духѣ христіанской любви, тогда какъ г. Страховскій вовсе отвергаетъ тѣлесное наказаніе. Г. Богатиновъ говоритъ, что дѣйствія педагогическаго совѣта должно ограничить и дать

болѣе правъ распоряжаться каждому учителю; а г. Страховскій, напротивъ, требуетъ распространить еще болѣе кругъ дѣйствій педагогическихъ совѣтовъ.

10-е. Правила, основанныя на примѣненіи административнаго начала къ воспитанію (1-й кіевской гимназіи), уменьшаютъ нравственную связь между воспитателями и воспитанниками и не развиваютъ, а ослабляютъ идею законности въ воспитанникахъ, во-первыхъ, потому, что они воспитателя дѣлаютъ автоматомъ; во-вторыхъ, потому, что ученикъ можетъ принять всякое наказаніе, не буквально подходящее къ таблицѣ, за незаконное и произвольное отступленіе отъ закона (мнѣніе г. Францена, учителя черниговской гимназіи); въ-третьихъ потому, что лица, которыя должны руководствовать чувствомъ правды въ дѣтяхъ, стѣснены правилами (мнѣніе г. Богатинова, учит. 1-й кіев. гимн.).—Правила обнаруживаютъ недовѣріе къ воспитателямъ и потому были бы хороши лѣтъ за 20, а не теперъ (г. Франценъ). Отвѣтъ. Уже мы говорили, что введеніе административнаго начала въ дѣлѣ воспитанія зависить не отъ насъ. Мы ему не сочувствуемъ, но оно есть существующій фактъ. Принявъ же его такимъ, какъ онъ есть, намъ ничего болѣе не оставалось, какъ регулировать, сколько можно, вредныя уклоненія этого начала къ произволу. А если воспитатели приняли наши правила автоматически, то намъ нужно сожалѣть объ этомъ; мы внушали, однако-же, что не мертвая буква закона, а живое убѣжденіе воспитателя, обнаруживаемое въ приложеніи правилъ къ каждому случаю, должно играть главную роль. Да если-бы и не внушали, то воспитатели, которые такъ ясно излагаютъ свои убѣжденія о необходимости нравственной связи съ воспитанниками, должны бы, казалось, сами все сдѣлать съ ихъ стороны, чтобы ни одно школьное правило не казалось ученикамъ мертвою буквою и ни одинъ наставникъ не казался бы имъ автоматомъ. Тѣ воспитатели, которые умѣли это дѣлать до введенія правилъ, безъ всякаго сомнѣнія сдѣлаютъ то же самое сдѣлать и послѣ ихъ введенія. Воспитанники ихъ вѣрно вскорѣ узнаютъ на дѣлѣ, что воспитатель, примѣняющій правила согласно съ внутреннимъ своимъ убѣжденіемъ, поступаетъ не произвольно, а законно и справедливо. И это несомнѣнно должно болѣе раз-

вить въ ученикахъ чувство законности, правды и довѣрія къ наставникамъ, нежели дѣйствія воспитателя — совершенно произвольныя и ничѣмъ неограниченныя. Если же думаютъ, что наши правила обнаруживаютъ недовѣріе къ воспитателямъ, то это опять не наша вина, когда объясняютъ въ худую сторону наши добрыя намѣренія. Напротивъ, мы оказали полное довѣріе къ цѣлому обществу наставниковъ и педагогическимъ совѣтамъ гимназій, полагая, что, при существующей администраціи нашихъ училищъ и при несовершенствѣ нашей педагогіи, мы ничего лучшаго не можемъ сдѣлать. Цѣлая коллегія наставниковъ — въ общественномъ воспитаніи — можетъ лучше и систематичнѣе слѣдить за его ходомъ и правильнѣе судить о его недостаткахъ, подвергая общему обсужденію всѣ частности. Несправедливо также и то, что, будто-бы, грубый произволъ воспитателей въ общественныхъ учрежденіяхъ былъ возможенъ только за 20 лѣтъ предъ этимъ, и что наши правила устарѣли. Правда, наши правила мы иначе и не считаемъ какъ мѣрою временную, палліативною, и ведущею къ другимъ, болѣе радикальнымъ улучшеніямъ; но, къ сожалѣнію, — говорю: къ сожалѣнію, — опредѣленные правила для ограниченія произвола мы и въ настоящее время все еще считаемъ необходимыми. Еще очень недавно мы имѣли случай убѣдиться въ этомъ, и, къ нашему удивленію, узнали, что въ одномъ изъ лучшихъ нашихъ дворянскихъ училищъ учителя позволяютъ себѣ дѣлать дико-грубыя наказанія въ классахъ, а педагогическій совѣтъ опредѣлилъ тѣлесное наказаніе за лѣность также въ классѣ, не сообразуясь нисколько ни съ уставомъ гимназій, ни съ нашими правилами, ни съ здравымъ смысломъ. Послѣ этого можно ли же, слѣдуя предложенію г. Богатинова (учителя 1-й кievской гимназіи), предоставить власть „творить наказанія немедленно послѣ проступка каждому учителю, въ духѣ христіанской любви“, нисколько не отвергающей, по его мнѣнію, и тѣлеснаго наказанія? Но если нѣкоторые наставники, вмѣстѣ съ г. Богатиновымъ, упрекаютъ наши правила, что они слишкомъ распространили дѣйствія педагогическихъ совѣтовъ, основываясь на томъ, что учителя для рѣшенія не могутъ быть такъ часто созываемы, и если 1-я кievская гимназія утверждаетъ, что частое вмѣшательство педагогическаго совѣта ослаб-

ляетъ его значеніе, то другія дирекціи, напротивъ, требуютъ, чтобы дѣйствія педагогическихъ совѣтовъ были еще болѣе распространены и приговоры ихъ, какъ приговоры суда присяжныхъ, были бы неизмѣнны (нѣжинская гимназія), что въ настоящее время, — когда педагогическіе совѣты, нашими усиліями, едва только начинаютъ обнаруживать признаки жизни, — будетъ едва-ли полезною крайностью. Мнѣ кажется, что такое неограниченное усиленіе власти педагогическихъ совѣтовъ, въ настоящее время, такъ же мало будетъ способствовать къ увеличенію, какъ и частныя засѣданія — къ уменьшенію значенія ихъ въ глазахъ учениковъ. Если педагогическіе совѣты, движимые чувствомъ долга и святостью возложенныхъ на нихъ обязанностей, будутъ вникать во всѣ частности, слѣдя, вмѣстѣ съ непосредственными начальниками гимназій, за ходомъ воспитанія, то чѣмъ чаще и постояннѣе они это будутъ дѣлать, тѣмъ сильнѣе будетъ ихъ нравственное вліяніе на учениковъ, что утверждаетъ и ровенская дирекція: она требуетъ также распространенія дѣйствій педагогическаго совѣта, полагая, что это „возстановитъ болѣе нравственное вліяніе учителей и напомнитъ каждому изъ нихъ заботиться о нравственности учащихся“. Иначе, примѣняя мнѣніе 1-й кievской гимназіи, о вредѣ частаго вмѣшательства педагогическихъ совѣтовъ въ дѣла учениковъ, къ дѣйствіямъ директоровъ и инспекторовъ, находящихся, по обязанности, въ безпрестанныхъ отношеніяхъ къ воспитанникамъ, нужно будетъ принять одно изъ двухъ: или что эти лица не исполняли своихъ обязанностей, то-есть не находились въ непрерывной связи съ учениками, или же что значеніе ихъ въ глазахъ учениковъ всегда было слабо.

Изъ этого обзора различныхъ мнѣній, я думаю, можно заключить, что многіе изъ педагоговъ не совсѣмъ уяснили себѣ, чего мы хотѣли достигнуть введеніемъ нашихъ правилъ. Это, конечно, наша вина. Но въ томъ, кажется, мы не виноваты, что однихъ привели наши правила къ мысли о громадныхъ переворотахъ въ дѣлѣ воспитанія и къ крайнимъ взглядамъ вообще на всю нравственную сторону человѣка; а другіе, увидѣвъ въ нашемъ кодексѣ только одну внѣшнюю сторону, приняли ихъ за новое проявленіе безплоднаго бюрократизма. Никто не хотѣлъ посмотреть на дѣло, какъ оно есть, и вникнуть

трезвою мыслию въ тѣхъ, не зависящихъ отъ насъ, обстоятельства, которыя побудили насъ къ составленію правилъ. А главное, никто не хотѣлъ судить о нихъ по фактамъ,—потому что это не такъ легко, а по однимъ своимъ любимымъ соображеніямъ.—Даже самыя педагогическія совѣты (за исключеніемъ одной новгородсѣверской гимназіи) и наставники доставили мнѣ свои сужденія о правилахъ, не приводя въ доказательство почти никакихъ фактовъ, хотя я нарочно выжидалъ болѣе года, прежде нежели потребовалъ отъ нихъ мнѣній. Во всѣхъ сужденіяхъ, доставленныхъ мнѣ, преобладали умозрѣнія. Фактическая сторона вопроса до такой степени считалась всѣми неважною, что одинъ изъ учителей 1-й кievской гимназіи, г. Богатиновъ, упоминая объ авторитетѣ наставниковъ, который, по его мнѣнію, правилами не утвердился, говоритъ откровенно: „фактовъ я не привожу, потому что это мнѣніе составилось у меня изъ множества фактовъ, которые трудно припомнить, и потому что нужно вѣрить словамъ наставника“. А мнѣ кажется, что въ серьезномъ дѣлѣ науки и правды такъ голословно утверждать нельзя никому, и еще менѣе наставнику. Короче, изъ всѣхъ мнѣ извѣстныхъ сужденій и статей — только одинъ г. Бѣловъ, въ „Журналѣ для воспитанія“, приводитъ свои наблюденія въ доказательство, что можно обойтись и безъ наказаній, замѣнивъ ихъ одними убѣжденіями,—за что мы должны благодарить его отъ души, хотя приводимые имъ факты доказываютъ только личныя достоинства этого педагога, но не абсолютное превосходство его способа воспитанія при настоящемъ состояніи нашихъ школъ.

Перейдемъ теперь къ обзору различныхъ проступковъ и предлагаемыхъ мѣръ исправленія, въ частности. Замѣтимъ при этомъ, что принимаемое нашими правилами раздѣленіе проступковъ и наказаній на три степени было непонято большею частью дирекцій.

1-е. Проступки: злоумышленную порчу вещей чужихъ, казенныхъ, воровство и лихоимство—нѣкоторыя дирекціи предлагаютъ разсматривать какъ одинъ и тотъ же проступокъ. Въ сущности, — говорятъ онѣ, —воръ менѣе вредитъ владѣльцу вещи, нежели тотъ, кто ее портитъ; украденная вещь еще можетъ быть возвращена въ цѣлости, а испорчен-

ная—нѣтъ. Дѣлать же различіе между порчею вещи посторонняго лица и вещью казенною, значитъ—уменьшать въ глазахъ воспитанника значеніе частной собственности, которое въ его понятіи должно быть столь же велико, какъ и значеніе собственности общественной. Наказанія, по мнѣнію этихъ дирекцій, за порчу вещей слишкомъ строги. Лишить казеннаго содержанія за порчу казенной вещи гимназія, по уставу 1828 г., не имѣетъ права. Это наказаніе назначается уставомъ только за лѣность. Слишкомъ строгое наказаніе ведетъ къ обману и утайкѣ. Достаточны увѣщанія, выговоръ и арестъ.—Воровство отъ лихоимства также ничѣмъ не отличается. Да и вообще лихоимство между учениками гимназій возможно только тамъ, гдѣ существуютъ аудиторы и репетиторы. Наказаніе за воровство собакъ—предмета прихоти—опредѣлено выше наказанія за порчу вещей постороннихъ лицъ, иногда принадлежащихъ бѣднякамъ (мнѣніе г. Страховскаго). Всѣ эти замѣчанія требуютъ дальнѣйшаго обсужденія со стороны комитета.

2-е. Куреніе табаку, по мнѣнію нѣкоторыхъ, не нужно такъ строго преслѣдовать. Преслѣдуемый не думаетъ о предосторожности и часто бросаетъ зажженную папироску куда ни попало. Лучше не упоминать въ частности о такихъ проступкахъ, какъ куреніе табаку, а подвести ихъ всѣхъ подъ одну рубрику: нарушенія благочинія (Страховскій). Нѣкоторые педагоги предлагаютъ даже для куренія отвести особую комнату въ гимназіяхъ (мнѣніе надзирателя черниговской гимназіи, Выковского)!!!

3-е. Картежъ. Нѣкоторые смѣшали этотъ проступокъ съ картною игрою для развлеченія.

4-е. О порокахъ чувственности и разврата нѣкоторые дирекціи полагаютъ лучше не упоминать, потому что они безъ этого не пришли бы и въ голову ребенку (ровенская дирекція), а нѣкоторые полагаютъ, что правила вообще распространяютъ между учениками печальное значеніе ихъ проступковъ (мнѣніе учителя Богатинова). Я полагаю, что—не правила, а окружающая среда.

5-е. О сквернословіи: предлагается удалять малыхъ отъ сообщенія съ взрослыми и запрещать прислугѣ говорить дурныя слова въ присутствіи учениковъ (мнѣніе г. Страховскаго).

(А на улицѣ какъ сдѣлать, чтобы ученики не слышали скверныхъ словъ?) Развратъ, по мнѣнію его же (г. Страховскаго), наказывается правилами слишкомъ строго (исключеніемъ). При хорошемъ надзорѣ, — говоритъ онъ, — и нравственно-религіозномъ направленіи, одинъ примѣръ разврата не можетъ еще имѣть разрушительнаго вліянія на нравы другихъ учениковъ. (А гдѣ доказательства этого „не можетъ“?)

6-е. Про нарушеніе благочинія въ церкви говорится: если это нарушеніе происходитъ отъ вольнодумства, то исключенный вольнодумецъ дѣйствуетъ какъ язва и заражаетъ другихъ — деревенскихъ мальчиковъ и простаковъ — своимъ примѣромъ (г. Страховскій). (А оставленный въ гимназій — не заражаетъ?).

7-е. Въ оскорбленія за вѣру предлагаются нравственно-исправительныя мѣры, — какъ будто наши правила ихъ отвергаютъ. Недосмотръ въ редакціи сдѣлалъ то, что наказанія, опредѣленныя правилами за этотъ проступокъ, не только были перетолкованы воспитателями, но вмѣнены намъ даже въ преступленіе нѣкоторыми журналами, хотя прибавленное въ скобкахъ слово: фанатизмъ (см. таб. Цирк. 1859 г., № 8), довольно ясно показывало, о какомъ проступкѣ и о какихъ виновныхъ говорится въ правилахъ. Понять, — говорю, — кажется, можно бы было, что для фанатиковъ, которые встрѣчаются не между дѣтьми, а между учениками высшихъ классовъ, правила назначаютъ не розги, а выговоръ отъ совѣта и, въ крайнемъ случаѣ, исключеніе. Въ здѣшнемъ краѣ такіе случаи, въ которыхъ исправленіе въ гимназій, при нашихъ средствахъ, невозможно, встрѣчаются, какъ я слыхалъ, — хотя, слава Богу, и рѣдко.

8-е. Дерзость къ начальству имѣетъ начало не въ испорченности воли и не въ зломышленіи, а въ грубости, неразвитости, непониманіи значенія сказаннаго или сдѣланнаго. Поэтому наказанія нужно смягчить и предоставить виновному самому произвести судъ надъ собою, и, когда онъ созналъ себя виновнымъ, — потребовать отъ него подписку (мнѣніе г. Страховскаго). За оскорбленіе же прислуги потому не нужно строго наказывать, что чрезъ это можно возбудить большой ропотъ между дворянами и чиновниками, привыкшими смотрѣть на этотъ проступокъ не такъ строго (его же)!!!

9-е. Наказанія за лѣность (присыженіе, выговоръ, арестъ съ обязательною работою, лишеніе пищи, лишеніе бесплатнаго или казеннаго содержанія, переводъ въ низшій классъ, увольненіе) почитаются также нѣкоторыми дирекціями слишкомъ строгими и, вѣроятно, потому, что подъ именемъ лѣности разумѣютъ каждое незнаніе урока, и, несмотря на изложенныя въ таблицѣ смягчающія и усиливающія обстоятельства (возрастъ, повтореніе, способности, число предметовъ, результаты предшествовавшихъ испытаній), полагаютъ (хотя, конечно, этого не дѣлаютъ), что пролѣнившійся три раза уже долженъ быть исключенъ. Немировская дирекція предлагаетъ къ наказаніямъ за лѣность присоединить еще лишеніе званія репетитора. За неявку въ срокъ предлагается выдумать такое наказаніе, которое бы поразило родителей, а не учениковъ, потому что этотъ проступокъ зависитъ отъ родителей. За невнимательность и разсѣянность (чтеніе романовъ въ классахъ, и т. п.) въ высшихъ классахъ предлагается болѣе строгое взысканіе, потому что отсылка къ инспектору для такихъ учениковъ ничего не значитъ (г. Страховскій); притомъ же не определено, какъ инспекторъ долженъ наказывать виновныхъ (мнѣніе бѣлоцерковской гимназіи).

Тогда какъ нѣкоторыя дирекціи полагаютъ, что исчисленія проступковъ въ нашихъ правилахъ уже слишкомъ спеціальны, волынская и немировская дирекціи предлагаютъ добавить въ нихъ еще слѣдующіе проступки, нерѣдко замѣченныя въ большихъ гимназіяхъ. 1) Долги (къ которымъ даютъ поводъ сами родители, открывая дѣтямъ кредитъ). 2) Посѣщеніе трактировъ, билліардныхъ и маскарадовъ. 3) Подложныя подписи именъ родителей. 4) Несвоевременную явку въ училище (ученики, пріѣзжая въ городъ, не являются долго въ гимназію). 5) Охоту, отвлекающую отъ исполненія обязанностей. Сверхъ того, предлагается замѣнить нѣкоторыя, непонятныя для учениковъ западнаго края, названія проступковъ болѣе простыми: лихоимство — взятками, продажу своихъ вещей — мотовствомъ, пороки чувственности — развратомъ.

В. Наказанія. Касательно опредѣленія наказаній вообще предлагается: 1) Раздѣлить засѣданія педагогическихъ совѣтовъ, созываемыхъ для этой цѣли, на полныя и неполныя,

состоящіа изъ учителей, находящихся на лицо во время классовъ. Въ первыхъ будутъ разбираться случаи болѣе, а во-вторыхъ—менѣе важныя; разбирательство же случаевъ маловажныхъ предлагается предоставить директору, инспектору, учителямъ и надзирателямъ (какъ это, впрочемъ, и теперь дѣлается), опредѣливъ maximum и minimum власти каждаго (какъ это и теперь нашими правилами принято). Каждому воспитателю предоставить право взысканія (кромѣ крайнихъ наказаній), а контроль надъ ихъ дѣйствіями предоставить совѣту, опредѣливъ для этого еженедѣльные засѣданія, на которыхъ отъ каждаго воспитателя требовать отчета: а) о мѣрахъ взысканій, имъ употребленныхъ, и б) о степени успѣшности этихъ мѣръ въ частности (мнѣніе г. Страховскаго). 2) Раздѣленіе наказаній на степени уничтожить, потому что постепенность эта не можетъ быть послѣдовательно выдержана въ большихъ гимназіяхъ и потому что опредѣленіе степеней отдано на произволъ судей, что даетъ поводъ къ разочарованію учениковъ и къ ропоту противъ учителей (волынск. гимн.). Нѣкоторые изъ дирекцій понимаютъ даже степени въ нашихъ правилахъ такъ, что если провинившійся одинъ разъ снова сдѣлаетъ проступокъ, то онъ долженъ уже быть наказанъ какъ ослушникъ, а за ослушаніе правила опредѣляютъ исключеніе. Мнѣ кажется, что такое толкованіе правилъ несообразно; уличенный, на примѣръ, и три, и четыре раза въ лѣности—все-таки есть лѣновецъ, а не ослушникъ. 3) Наказанія, опредѣляемые правилами, слишкомъ разнообразны и многочисленны. Я полагаю, что и это воззрѣніе неосновательно. Если справедливо наше положеніе, что каждое наказаніе должно проистекать какъ бы само собою изъ сущности проступка, то оно не можетъ быть однообразно. Мнѣ всегда казалось несообразнымъ и нераціональнымъ опредѣлять, какъ это прежде дѣлалось въ нашихъ гимназіяхъ, одно и то же наказаніе за самыя разнородныя проступки: оставлять, на примѣръ, безъ обѣда и за лѣность, и за шалости, и за драку. Поэтому мы и старались по возможности приспособить характеръ наказанія къ характеру проступка. Но, несмотря на кажущіяся разнообразія нашихъ наказаній, основаніемъ ихъ служатъ три дѣйствія: напominаніе (внесеніе вины въ штрафной журналъ, штрафной билетъ, угроза),

возбужденіе чувства стыда (черная доска, офіціальный выговоръ, стояніе у доски въ низшихъ классахъ) и дѣйствія на волю виновнаго (удивленіе, обязательная работа, тѣлесное наказаніе). 4) Принять мѣры, чтобы наказаніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ было немедленное. Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что намъ указали нѣкоторые на противорѣчіе въ правилахъ, относящееся до тѣлеснаго наказанія. Мы приняли, что это наказаніе тогда только можетъ достигнуть цѣли, когда оно будетъ употребляться безотлагательно и вслѣдъ за проступкомъ, а между тѣмъ опредѣленіе его предоставили педагогическому совѣту. Это дѣйствительно противорѣчіе, но такое, которое говоритъ само за себя. Мнѣ оно казалось необходимымъ. Когда большинство въ комитетѣ сочло невозможнымъ уничтожить совсѣмъ тѣлесное наказаніе, то это противорѣчіе выразило мой личный протестъ, который долженъ былъ напомнить педагогическимъ совѣтамъ, какого я мнѣнія о розгѣ. Вотъ и все.

1-е. Выговоръ. Нѣкоторыя дирекціи спрашиваютъ: долженъ ли каждый выговоръ записываться въ штрафную книгу? (Кіевская 2-я гимназія.) И слѣдуетъ ли каждое замѣчаніе считать выговоромъ? (Черниговская.) Мнѣ кажется, что наши правила отдають на благоусмотрѣніе воспитателей разрѣшеніе вопроса, въ какихъ случаяхъ дѣлать и въ какихъ не дѣлать различія между выговоромъ, замѣчаніемъ и увѣщаніемъ, и одни выговоры офіціальные, данные директоромъ, въ присутствіи цѣлаго класса, и выговоры отъ педагогическаго совѣта должны быть непременно вносимы въ штрафной журналъ.

2-е. Лишеніе пищи. Противъ этого наказанія замѣчено 1-ою кіевскою дирекціею, что оно вредно въ гигиеническомъ отношеніи тѣмъ, что производитъ безотрадное состояніе духа и вообще относится къ тѣлесному наказанію. Его предлагаютъ замѣнить отсрочиваніемъ обѣда, который тотчасъ же должно давать по исправленіи (напримѣръ, послѣ окончанія урока). На это можно замѣтить, что въ нашей таблицѣ собственно не упоминается объ этомъ наказаніи, но наставникамъ и надзирателямъ дается право (см. Циркуляръ 1859 г., № 8, стр. IX) назначать его, предполагая, что оно возможно только въ закрытыхъ заведеніяхъ. Что же касается до вреда въ гигиеническомъ отношеніи, то, если лишеніе пищи будетъ продолжаться не

слишкомъ долго (до ужина) и не повторяются часто, вреда не будетъ,—это я знаю изъ собственнаго опыта. Впрочемъ, правила, препятствуя вредному произволу, не запрещаютъ воспитателямъ дѣлать наказанія болѣе гуманными, а потому не препятствуютъ и лишеніе пищи замѣнить, по благоусмотрѣнію, отсрочиваніемъ.

3-е. Штрафной билетъ. Почти всѣ дирекціи требуютъ отмѣны этой мѣры. Дѣйствительно, опытъ показалъ, что штрафной билетъ теряется, подаетъ поводъ къ обману и вообще неудобенъ при отдаленномъ жительствѣ родителей и опекуновъ. Его предлагаютъ замѣнить кондуитнымъ спискомъ, который долженъ оставаться въ гимназіи и долженъ быть составленъ въ алфавитномъ, а не въ хронологическомъ порядкѣ. Для родителей, освѣдомляющихся о поведеніи своихъ дѣтей, могутъ быть дѣлаемы вымѣтки изъ этого журнала. Съ этимъ я совершенно согласенъ.

4-е. Черная доска и книга. Нѣкоторыя дирекціи (1-я кievская, — новгородсѣверская, — полтавская) требуютъ отмѣны этого наказанія, почитая его слишкомъ чувствительнымъ и позорнымъ. Предлагаю замѣнить его арестомъ. Касательно этого наказанія вкралось противорѣчіе уже ненамѣренное. Черная книга назначена для проступковъ значительныхъ (см. циркуляръ), а между тѣмъ ученикъ, записанный два раза въ книгу, подлежитъ, по таблицѣ, наказанію, опредѣляемому и за неважные проступки (аресту).

5-е. Арестъ съ обязательною работою и карцеръ. Въ правилахъ неясно разграничено значеніе карцера и ареста. Волынская дирекція требуетъ (какъ это и теперь тамъ дѣлается) предоставить назначеніе ареста за лѣность и шалости въ классахъ самимъ учителямъ, а инспектору поручить только надзоръ за его исполненіемъ. Эта мѣра мнѣ кажется полезною для усиленія власти каждаго учителя.

6-е. Переводъ въ низшіе классы. Немировская дирекція требуетъ допустить эту мѣру послѣ тентаментовъ, а переводъ обратный безъ испытанія — по однимъ отзывамъ учителей. Волынская же гимназія находитъ эти переводы недостигающими цѣли. Изъ переведенныхъ въ низшіе классы, по ея наблюденіямъ, никто не получилъ перевода въ слѣдующіе высшіе

классы; слѣдовательно, наказаніе не содѣйствовало тамъ къ возбужденію прилежанія. Притомъ, въ большихъ гимназіяхъ, нельзя хорошо слѣдить за успѣхами переведенныхъ, и потому лучше оставлять ихъ уже въ низшихъ классахъ безъ возврата до годичнаго испытанія; тогда они, по крайней мѣрѣ, займутся повтореніемъ пройденнаго. Отмѣны ея требуютъ также дирекціи черниговская и новгородсѣверская (онѣ, впрочемъ, и не испытывали этой мѣры, какъ видно изъ донесеній, ни однажды).

7-е. Судъ товарищей. Объ этой мѣрѣ, предложенной нашими правилами по причинамъ, изложеннымъ въ циркулярѣ (1859 г., № 8, стр. VII), мнѣнія дирекцій не согласны между собою. Дирекція 2-й кievской гимназіи говоритъ, что судъ этотъ способствуетъ къ развитію общественнаго мнѣнія. Случалось нерѣдко, что ученики цѣлымъ классомъ выдавали виновнаго, сдѣлавшаго проступокъ, предосудительный для чести всего класса; инспекторъ чрезъ то могъ легче отыскать виновнаго. Но судъ выборныхъ не всегда былъ безпристрастенъ. Въ доказательство приводятся два случая. Въ первомъ ученики VII-го класса вытолкали изъ комнаты для занятій одного ученика V-го класса за то, что онъ не шелъ спать въ положенное время и безъ позволенія инспектора сидѣлъ до 10 часовъ, тогда какъ этимъ правомъ пользуется только VII-й классъ; при этомъ одинъ ученикъ VII-го класса ударилъ ученика V-го класса и назвалъ его товарищей дураками. Оскорбленный далъ, на другой день, за это пощечину оскорбившему. Судъ выборныхъ судилъ 3 часа и ничѣмъ не рѣшилъ. VII-й классъ не захотѣлъ подчиниться приговору выборныхъ. Инспекторъ, наконецъ, высказалъ свое мнѣніе, на которое и согласились всѣ. Другой случай. Ученикъ VI-го класса ударилъ одного ученика изъ евреевъ V-го класса въ лицо, за то, что тотъ обругалъ его. Выборные присудили арестъ еврею за то, что онъ осмѣлился обругать христіанина. И тутъ дѣло рѣшилъ инспекторъ справедливѣе, что и доказываетъ необходимость бѣльшаго участія въ судѣ товарищей инспектора или другого члена педагогическаго совѣта. Того же мнѣнія и бѣлоцерковская гимназія. Ровенская дирекція предлагаетъ также предоставить опредѣленіе наказанія совѣту, а выборнымъ—только одно разбирательство дѣла. Дирекція новгородсѣверской

гимназіи утверждаетъ, напротивъ, что на выборы и на судъ всё ученики гимназіи смотрѣли весьма серьезно и выборные разбирали всегда и всякое дѣло внимательно и безпристрастно. Не было ни одного случая, въ которомъ бы нужно было усилить наказаніе, опредѣленное выборными, и только былъ одинъ случай излишней строгости: одного ученика приговорили къ выговору отъ совѣта, вмѣсто выговора отъ директора или ареста.—Дирекція эта полагаетъ, что этотъ судъ необходимо удержатъ и для IV-го класса. Полтавская дирекція говоритъ также, что учрежденіе это въ высшей степени полезно. Опытъ показаль, что вражды между учениками, которую предсказывали журнальныя статьи, не было и слѣда, и виновные безропотно подчинялись приговорамъ суда. По мнѣнію этой дирекціи, нужно еще болѣе развить это учрежденіе.—Но, по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, я долженъ былъ прекратить его дѣйствія. Между тѣмъ, усматривая изъ донесеній этихъ дирекцій, какъ горячо онѣ вступаются за пользу суда товарищей, невольно нужно согласиться съ мнѣніемъ нѣжинской гимназіи, что „каждая мѣстность имѣетъ свои условія и преданія, съ которыми слѣдуетъ сообразоваться въ назначеніи и примѣненіи дисциплинарныхъ мѣръ“. Наконецъ, факты и сужденія о тѣлесномъ наказаніи и исключеніи я сообщилъ уже выше.

Изложивъ съ полною откровенностью и факты, и мнѣнія, собственныя и чужія, о введенныхъ нами правилахъ, я предлагаю гг. членамъ комитета заняться рѣшеніемъ слѣдующихъ вопросовъ: Во-первыхъ. Какъ изложенные мною факты достаточно убѣждаютъ, что введеніе опредѣленныхъ правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ оказало существенную пользу и какъ мы убѣждаемся этими фактами, что въ настоящемъ состояніи нашихъ школъ оно было необходимо, то первый и главный вопросъ будетъ состоятъ въ томъ, какимъ образомъ, на основаніи сообщенныхъ мною и другими данныхъ, измѣнить наши правила и какъ удобнѣе сдѣлать ихъ приложенія въ частности? — Другой вопросъ. Большинство полагаетъ, какъ мы видѣли, что подробное изложеніе проступковъ и наказаній необходимо только для однихъ воспитателей, а для

руководства воспитанниковъ достаточно составить инструкцію, въ которой бы излагались ихъ обязанности, предостереженія отъ проступковъ и другія школьныя наставленія. Мы видѣли также, что три степени проступковъ и наказаній, равно какъ и обстоятельства, опредѣляющія эти степени, не всѣми дирекціями были понимаемы одинаково. Итакъ, нужно опредѣлить объемъ и содержаніе правилъ для воспитателей, инструкцію для воспитанниковъ. Въ-третьихъ. Хотя и теперь мы не въ правѣ еще измѣнить общія постановленія устава гимназій (перешедшія и въ новый проектъ устава) о тѣлесномъ наказаніи и исключеніи, но, желая убѣдиться, не перемѣнило ли теперь большинство членовъ комитета своего мнѣнія, я предлагаю еще разъ обсудить вопросъ о необходимости этихъ двухъ наказаній.

Я вполне увѣренъ, что комитетъ поставитъ себѣ главною цѣлью сдѣлать рѣшеніе этихъ вопросовъ примѣненнымъ къ существующему порядку и не пожертвуетъ фактическою истиною изъ одного угожденія мнѣніямъ современниковъ, моимъ или своимъ собственнымъ.

Декабрь, 1860 г.



ОБЪ УСТАВЪ НОВОЙ ГИМНАЗИИ, ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОЕКТОМЪ ПРЕОБРАЗОВАНІЯ МОРСКИХЪ УЧЕБ- НЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Я—того мнѣнія, что, какъ бы хорошо ни были организованы наши закрытыя воспитательныя заведенія, они, въ настоящее время, не достигнутъ той нравственной цѣли, для которой учреждаются. Я сравниваю эти заведенія съ госпиталями. Чтò ни дѣлали и чтò ни дѣлаютъ къ улучшенію госпиталей,—ничто не помогаетъ противъ госпитальныхъ болѣзней: ни обширныя зданія, ни вентиляціи, ни чистота. Сначала все идетъ хорошо; но пройдетъ нѣсколько времени, пролежатъ въ нихъ нѣсколько больныхъ вмѣстѣ, — смотришь — и госпитальныя болѣзни—тутъ, какъ тутъ. Казалось бы, чтò можетъ быть благодѣтельныѣ, какъ призрѣть безпомощныхъ страдальцевъ, дать имъ хорошее помѣщеніе, учредить за ними тщательный присмотръ? Такъ и съ закрытыми воспитательными заведеніями. Казалось бы, чтò могло лучше оправдать надежды общества, какъ не тщательный контроль за нравственностью молодого поколѣнія? Чтò, казалось бы, рациональнѣе, какъ отдѣлить его отъ пороковъ и заблужденій окружающей среды и воспитать для лучшаго будущаго, по всѣмъ правиламъ искусства? Но чтò же выходитъ на дѣлѣ? Глядишь, и въ эти образцовыя заведенія, гдѣ питомцы должны жить вмѣстѣ одною жизнью для лучшаго будущаго, закрадываются, также какъ и въ госпитали, свои болѣзни, свои заразы—не госпитальныя, а воспитательныя. Откуда онѣ берутся? Какъ проникаютъ онѣ сквозь нравственный контроль?

Мнѣ укажутъ на блестящія исключенія, на закрытыя заведенія, существующія цѣлыя вѣка и воспитавшія для общества не мало передовыхъ людей.

Но гдѣ встрѣчаются эти исключенія? Не тамъ ли, гдѣ жизнь цѣлаго общества, сложившись уже и окрѣпнувъ, произвела школу, предъявила ей свои требованія и отдала ей гегемонію? Но, вообще говоря, эта гегемонія, по праву принадлежащая школѣ, и потому долженствующая руководить взглядами и убѣжденіями будущихъ поколѣній, есть до сихъ поръ еще только *pium desiderium*. Жизнь, уже сложившаяся до школы, несравненно могучѣе вліяетъ на школу, чѣмъ школа на жизнь. И это-то могучее вліяніе окружающей школу жизни проникаетъ и чрезъ стѣны закрытыхъ заведеній. Подъ обаяніемъ этой жизни находятся и воспитатели, и наставники, и воспитанники. Какъ бы ни старались уберечь отъ этого вліянія наши закрытыя заведенія, жизнь общества беретъ свое и отражается на воспитанникѣ и на воспитателѣ, со всѣми ея и худыми, и хорошими сторонами. Пусть будутъ всѣ воспитатели самые передовые люди общества, — предположеніе, конечно, неосуществимое, — все-таки они внесутъ непременно въ школу съ отрадною стороною и извѣстную долю безотраднaго, вынесеннаго ими изъ жизни. Воспитанники, въ свою очередь, продолжая сношенія съ тою средою, изъ которой они вышли, также приносятъ свою долю изъ той же жизни. Пока нѣсколько воспитываются у добрыхъ родителей или подъ наблюденіемъ одного дѣльнаго воспитателя, все идетъ хорошо. Тогда индивидуальныя силы каждаго, хорошо направленные, перерабатываютъ и худое, вошедшее отъ соприкосновенія съ окружающею жизнью. Но какъ скоро эти же самые воспитанники перейдутъ въ заведеніе, сойдутся вмѣстѣ съ сотнею другихъ и подвергнутся надзору не одного, а цѣлой дюжины педагоговъ-воспитателей, — слабѣютъ, и худому окружающей жизни дѣлается легко ихъ одолѣть; въ толпѣ, сведенной вмѣстѣ, развиваются нравственные недуги, неизвѣстные отдѣльнымъ личностямъ. Какъ въ госпиталяхъ больные, скопившись, вмѣсто излеченія заражаются госпитальными болѣзнями и пропадаютъ, такъ и въ закрытыхъ заведеніяхъ нравственные заразы, развившіяся отъ скопленія, губятъ воспитанниковъ.

Сохрани меня Богъ отвергать всякое благое вліяніе школы на новое поколѣніе, на жизнь нашего общества. Нѣтъ; но школа одолжена своимъ мощнымъ вліяніемъ наукѣ и—скажу прямо мое убѣжденіе—одной только наукѣ. Въ наукѣ кроется такой нравственно-воспитательный элементъ, который никогда не пропадетъ, какіе бы ни были ея представители. Наука беретъ свое, и, дѣйствуя на умъ, дѣйствуетъ и на нравы. Въ этомъ всего лучше убѣждаютъ насъ люди, вынесшіе изъ школы только одну привязанность къ наукѣ, едва узнавъ первые ея начатки. Безъ всякаго надзора и приготовленія къ жизни, брошенные въ жизнь, въ борьбѣ съ лишеніями и нуждами, они въ одной наукѣ находятъ и утѣшеніе, и крѣпость, и мужество въ борьбѣ. Также и того я не отвергаю абсолютно, что нравственный надзоръ школы можетъ помогать развитію характера и воли; но гдѣ и когда? Тамъ, гдѣ характеръ и воля цѣлаго общества достаточно окрѣпли, гдѣ его взгляды на жизнь достаточно установились, гдѣ цѣлое общество уже окрѣпло въ борьбѣ и положительно знаетъ, чего оно хочетъ и къ чему стремится,—въ такомъ обществѣ школа, вѣрно, исполнить его желанія и его цѣли. Она—дочь общества, хотя и не всегда послушная. Но мы хотимъ, чтобы она была его матерью; а для этого нужно, чтобы она прежде окрѣпла, возмужала и опередила общество, получая всѣ свои силы отъ него же самого. Для этого нужно, чтобы вся исторія общества, всѣ внѣшнія и внутреннія условія способствовали къ развитію его нравственныхъ силъ, его воли, его характера. Тогда, и только тогда, школа можетъ выработать, развить все ею полученное отъ общества и сдѣлаться передовою. Пока этого нѣтъ, то отъ школы ничего болѣе и ожидать нельзя, кромѣ вліянія путемъ науки. Пусть же живое слово изъ школы распространится въ массахъ и приготовить ихъ сначала къ воспріятію высшихъ нравственныхъ началъ.

Со временъ Бецкаго, мы идемъ по ложному пути, полагая все еще найти въ закрытыхъ заведеніяхъ точку опоры для нравственнаго обновленія нашего общества. Мы беремъ на себя тяжелую отвѣтственность предъ нимъ, не имѣя возможности удовлетворить самымъ первымъ требованіямъ рациональной педагогики. Не будетъ ли надежнѣе, оставивъ эти

притязанія школы предъ обществомъ на высшую нравственность, сосредоточить всѣ ея силы на распространеніе науки словомъ и дѣломъ? Не будетъ ли вѣрнѣе, вмѣсто всѣхъ попытокъ, столько разъ не удававшихся, улучшить нравственность путемъ чисто-нравственныхъ мѣръ, обратить всю дѣятельность школы на развитіе здраваго смысла путемъ науки? Развивъ его въ новомъ поколѣніи, намъ не нужно будетъ много опасаться за его нравственность. Она всегда лучше тамъ, гдѣ болѣе здраваго смысла. Самый законъ Божій—самое главное нравственное средство для школы—развѣ можетъ излагаться въ ней иначе, какъ въ видѣ науки? Развѣ, не зная Слова, можно учить слову жизни и правды? Одинъ англійскій миссіонеръ мнѣ сказывалъ, что онъ и его сотрудники ни о чемъ другомъ не заботятся, какъ только раздавать сколько можно болѣе книгъ Новаго Завѣта, въ полномъ убѣжденіи, что читанное Слово найдетъ само себѣ дорогу къ сердцу. Въ этомъ убѣжденіи есть глубокая истина. Лишь бы наставникъ сѣумѣлъ довести истину, какой бы наукѣ она ни принадлежала, до понятія ученика.—она не останется безъ дѣйствія; потому что во всякой истинѣ, и отвлеченной, и чувственной, есть своя доля образовательной и, слѣдовательно, воспитательной силы. Остальное докончитъ индивидуальность каждаго, кто воспринимаетъ истину. Итакъ, я не отвергаю и нравственнаго вліянія нашей школы; но я ищу его въ одной наукѣ, и потому требую, чтобы наставники, представители науки, были вмѣстѣ и воспитателями. Я требую отъ нихъ, чтобы они, пользуясь образовательною силою науки, позаботились развить здравый смыслъ и любовь къ истинѣ въ своихъ ученикахъ, а черезъ это улучшили бы и нравы будущаго поколѣнія. Въ этомъ способѣ я нахожу несравненно болѣе условій для успѣха, нежели въ раздѣленіи научной части училища отъ воспитательной, постепенно вкравшемся въ наши закрытыя заведенія, ко вреду и науки, и воспитанія. Въ моихъ глазахъ, и здравый смыслъ, и характеръ, и воля воспитанника, разовьются гораздо болѣе отъ часового ученія у одного или двухъ дѣльных наставниковъ, нежели отъ безпрестаннаго надзора десяти надзирателей, гувернеровъ, воспитателей, или какъ бы они ни назывались,—имя не перемѣнитъ дѣла. А безъ здраваго смысла

всѣ правила нравственности надежны. Мнѣ скажутъ: гдѣ найти столько наставниковъ, которые сѣумѣли бы дѣйствовать на ученика образовательною силою науки? Я спрошу, въ свою очередь: гдѣ взять столько дѣльныхъ воспитателей, которые сѣумѣли бы охранить ученика отъ невоспитательнаго вліянія жизни? Я говорю — охранить, потому что закрытыя заведенія ничего не дѣлаютъ другого, какъ охраняютъ. Будь безукоризненна жизнь всего общества, имѣй она опредѣленный, уже выразившійся характеръ, для чего бы тогда нужны были эти заведенія? Жизнь, и одна жизнь, воспитала бы и человѣка, и гражданина. Но заведенія эти бесполезны теперь, потому что безсильны. Они не могутъ удержать струю житейской грязи, проникающую чрезъ ихъ стѣны.

Да, въ сущности, я думаю, всѣ, сознательно или бессознательно, убѣждены, что наука составляетъ главную основу воспитанія будущаго поколѣнія. Иначе для чего столько разсуждаютъ — и правительства, и передовые люди всѣхъ образованныхъ націй — о преимуществахъ или недостаткахъ классическаго и реального направленія ученія, если не для того, что находятъ, въ томъ или другомъ, главную основу будущаго направленія цѣлаго общества? Почему же, принимая это за доказанную истину, такъ мало предоставляютъ у насъ самой наукѣ заботиться о воспитаніи, рѣзко отдѣляя въ школахъ нравственную сторону отъ научной? Да еще и помирися бы съ притязаніями закрытыхъ нашихъ заведеній, если-бы они захотѣли ограничиться нравственнымъ вліяніемъ только на однихъ дѣтей; но они думаютъ воспитывать и нашихъ юношей, да еще какъ, — подъ одною крышею съ дѣтьми. Какая самоувѣренность, какое самообольщеніе и какіе результаты! Раздѣлять свои силы, и безъ того слабыя, вмѣсто того, чтобы ихъ всѣ сосредоточить на одно. Усыплять нерадѣніе и беззаботность родителей, бессмысленно радующихся, что пристроили дѣтей, тогда какъ нужно бы имъ было прямо и откровенно заявить, что пора имъ самимъ заботиться объ участи своего поколѣнія, и что ни одно общество не имѣетъ средствъ къ воспитанію безъ ихъ прямого содѣйствія.

Я не преувеличиваю ничего, говоря о бесполезности закрытыхъ заведеній у насъ. Да и лучшая часть нашего общества

не безъ причины все болѣе и болѣе склоняется въ пользу домашняго воспитанія. Рано или поздно, всѣ убѣдятся, что вредно отрывать юнаго человѣка изъ круга семейной жизни и даже изъ круга семьи ему чужой. А еще вреднѣе скучивать молодыхъ людей вмѣстѣ, подъ предлогомъ нравственнаго надзора. Мнѣ не трудно привести факты, доказывающіе существованіе нравственныхъ недуговъ, хотя не безъизвѣстныхъ и въ семейной жизни, но быстро развивающихся тамъ, гдѣ дѣти и молодые люди осуждены бывать жить вмѣстѣ. Но къ чему выставлать на показъ все, чтò унижаетъ человѣческое достоинство,—когда оно и безъ того уже у насъ стоитъ невысоко, и когда здравый смыслъ и безъ того уже ясно показываетъ несообразность желанія воспитать нравственно и научно молодого человѣка въ большихъ закрытыхъ заведеніяхъ? Такія заведенія, вмѣщая значительное число воспитанниковъ, не могутъ быть организованы безъ строгаго соблюденія дисциплинарнаго порядка, касающагося исключительно обрядной стороны жизни. Но кому не извѣстно, какъ трудно въ воспитаніи сохранить полное равновѣсіе между внѣшнею и внутреннею, самую существенною его стороною? Кто не знаетъ, какъ легко внѣшнее и обрядное въ нашихъ общественныхъ учрежденіяхъ беретъ перевѣсъ надъ внутреннимъ, заглушая его безпощадно? Кто, знакомый съ натурою молодежи, не знаетъ, какъ она враждебно смотритъ на внѣшнія стѣсненія, когда они имѣютъ цѣлью одно только соблюденіе формы? Она переноситъ эти стѣсненія, но скрѣпя сердце и затаивъ въ глубинѣ души протестъ и неудовольствіе. И чѣмъ болѣе молодежь развита, чѣмъ болѣе умъ ея направленъ на серьезныя научныя занятія, и чѣмъ болѣе она чувствуетъ къ нимъ призваніе въ себѣ, тѣмъ неохотнѣе она покоряется формальности. Это лежитъ въ натурѣ вещей, и это направленіе молодыхъ умовъ можно подавить дисциплинарною строгостью, но уничтожить нельзя. Убѣжденіемъ и примѣромъ можно довести самыхъ легкомысленныхъ до того, что они безпрекословно покорятся всѣмъ законамъ вѣчной правды; безъ ропота снесутъ они и строгость, если мѣры строгости будутъ направлены къ соблюденію этихъ законовъ. Но нельзя никого, даже ребенка, убѣдить безъ насилія, что вѣчная правда требуетъ непремѣнно

точного исполненія всѣхъ условій и всѣхъ постановленій обрядной стороны жизни. Этого можно достигнуть однимъ только приказаніемъ, которому все-таки не будетъ доставать главной нравственной опоры—убѣжденія. Какихъ же слѣдствій должно ожидать для развитія характера, воли и чувства правды, если, желая молодыхъ людей воспитать научно и нравственно въ закрытыхъ заведеніяхъ, мы по необходимости будемъ, съ одной стороны, требовать отъ нихъ безусловнаго повиновенія дисциплинѣ и обряду, а съ другой стороны, вмѣсто убѣжденія, дадимъ затаиться въ юной душѣ притворству и скрытности или ропоту и протесту?!

Ни усиленное вліяніе законоучителей (§§ 107—111 проекта), ни дорого заплаченные воспитатели (см. Штатъ, стр. 431), не помогутъ ввести въ закрытое заведеніе болѣе нравственнаго начала, нежели сколько можетъ дать его сама жизнь нашего общества. Они сами, также какъ и воспитанники, находятся подъ вліяніемъ жизни того же самаго общества, которое хотятъ исправить воспитаніемъ въ закрытыхъ заведеніяхъ. И если цѣлью закрытыхъ заведеній не будетъ одно только приученіе къ дисциплинѣ, внѣшнему порядку и соблюденію обрядности (что, конечно, можетъ быть достигнуто ими); если воспитаніемъ мы желаемъ поселить истинную любовь къ наукѣ, образовать характеръ и волю, то отъ закрытыхъ заведеній можно только при двухъ условіяхъ ожидать пользы въ дѣлѣ воспитанія: во-первыхъ, когда они будутъ учреждены подъ видомъ небольшихъ семейныхъ кружковъ, при тщательномъ выборѣ мѣста и лицъ, и, во-вторыхъ, когда каждый изъ молодыхъ людей одного возраста и преслѣдующихъ одну и ту же научную цѣль будетъ пользоваться въ заведеніи отдѣльнымъ помѣщеніемъ, не стѣсняемый въ своихъ домашнихъ занятіяхъ излишними дисциплинарными ограниченіями и соблюдая только общія правила нравственности. Но я не могу навѣрное рѣшить, въ какой мѣрѣ у насъ осуществимы эти условія.

Еще менѣе цѣлесообразны заведенія смѣшанныя, состоящія изъ полныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ (§ 20). Въ нихъ уже совершенно неосуществимо и то теоретическое воззрѣніе, которымъ руководствуются до сихъ поръ всѣ учредители полныхъ закрытыхъ заведеній. Чего желаютъ, въ сущ-

ности, эти утредители? Не того ли, чтобы изолировать воспитанниковъ отъ общественной среды, изъ которой они вышли, подвергнуть ихъ самому тщательному надзору, вести ихъ однимъ избраннымъ путемъ на предстоящее имъ поприще? Но какъ скоро къ изолированнымъ и тщательно оберегаемымъ дадутъ доступъ и другимъ, не совершенно отдѣльнымъ отъ окружающей ихъ среды, какъ скоро допускать такое смѣшеніе, то основная цѣль уже нарушена. Тогда не вольноприходящіе заимствуютъ всѣ воображаемыя блага надзора и дисциплины, охраняющей живущихъ въ заведеніи; а, наоборотъ, эти такъ тщательно надзираемые поддаются вліянію приходящихъ. Это фактъ, обыкновенно наблюдаемый всегда въ смѣшанныхъ заведеніяхъ. Дисциплина закрытыхъ заведеній требуетъ, на примѣръ, чтобы введенная форма строго соблюдалась пансіонерами; а полупансіонеры, за которыми нельзя такъ усмотрѣть, не упустятъ ни одного случая хвастнуть перелъ своими товарищами-затворниками, какъ они мало обращаютъ вниманія на эту дисциплину, и вызовутъ и въ нихъ желаніе вкусить запрещеннаго плода.

Еще хуже для нравственности и еще менѣе соотвѣтствуетъ цѣлямъ образованія и воспитанія, когда въ закрытомъ или смѣшанномъ заведеніи число воспитанниковъ ограничено извѣстнымъ комплектомъ (§ 20) и когда вся обстановка его направлена къ опредѣленной, спеціальной цѣли. Ни то, ни другое, не сообразно съ истиннымъ назначеніемъ такихъ учрежденій, какими должны быть гимназіи. Гимназія не должна воспитывать будущее поколѣніе въ духѣ касты, — не должна давать никакого намека на спеціальную цѣль въ образованіи, — не должна развивать отдѣльность и высокомеріе, котораго непременно нужно опасаться, потому что довольно значительная плата (§ 21) и ограниченный комплектъ не позволяютъ несостоятельнымъ лицамъ отдавать своихъ дѣтей въ новое учрежденіе. Наши гимназіи и университеты до сихъ поръ тѣмъ только знаменательны для общественнаго просвѣщенія, что они доступны для всѣхъ сословій и для всѣхъ почти состояній. Мы знаемъ, что въ нашихъ гимназіяхъ именно дѣти бѣдныхъ родителей и дѣти евреевъ принадлежатъ къ числу лучшихъ учениковъ и своимъ примѣромъ распространяютъ наклонность

къ труду и уваженіе къ наукѣ. Для чего же увеличивать число привилегированныхъ заведеній, когда и безъ того уже сословія у насъ такъ рѣзко отдѣлены одно отъ другого, когда вопіющая потребность времени и состоитъ именно въ томъ, чтобы проводить мысль о доступности и необходимости общественнаго образованія для всѣхъ и для каждаго. Но направленіе новаго учрежденія не только не содѣйствуетъ этому, но прямо и исключительно ведетъ воспитанниковъ, съ самыхъ первыхъ лѣтъ дѣтства, къ односторонней цѣли—къ приготвленію поступить въ службу по морскому вѣдомству, хотя проектъ и скрываетъ это направленіе подъ видомъ общечеловѣческой, образовательной цѣли, что доказать не трудно. Дѣйствительно, если проектъ, съ одной стороны, дѣлаетъ доступнымъ входъ въ новое учрежденіе дѣтямъ всѣхъ лицъ, имѣющихъ право воспитывать ихъ въ гимназіяхъ министерства народнаго просвѣщенія (§ 7), если онъ и называетъ это учрежденіе также гимназіею, то, съ другой стороны, онъ удерживаетъ ее восемь лѣтъ въ вѣдѣніи морского министерства (§ 2); онъ ставитъ ее, по значительности матеріальныхъ средствъ, назначенныхъ на содержаніе и жалованье (см. Штатъ гимназіи, стр. 435 и 436), по ограниченному числу воспитанниковъ и по платѣ за воспитаніе, въ такое исключительное положеніе, что она непременно должна сдѣлаться не гимназіею, а привилегированнымъ заведеніемъ избранныхъ, превышающимъ далеко уровень всѣхъ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній. Да и общеобразовательное или гимназическое направленіе ученія, принимаемое проектомъ, не достигаетъ цѣли, потому что, при такой обстановкѣ новаго учебнаго заведенія, безъ сомнѣнія, почти всѣ воспитанники постараются только дойти до V класса, а изъ него поступить въ морской кадетскій корпусъ. Всѣ, и родители, и дѣти, поймутъ очень хорошо, что не понапрасну же программа ученія въ этихъ пяти классахъ такъ приспособлена къ программѣ вступительнаго экзамена въ морской кадетскій корпусъ (сравн. Прилож. № 2, стр. 398, съ Прилож. 4, стр. 200) и не безъ цѣли изученіе англійскаго языка въ этой привилегированной гимназіи для всѣхъ обязательно. Что же касается до древнихъ языковъ, то хотя изученіе ихъ и обязательно, и обширно по содержанію программы, но воспитан-

ники, не видя къ чему бы они могли служить, когда все такъ обстановлено, чтобы ихъ привлечь къ поступленію въ спеціально учебно-морское заведеніе, найдутъ средства учиться этимъ предметамъ для одного только вида; а многіе родители, отдавая дѣтей въ новую школу съ твердымъ намѣреніемъ сдѣлать изъ нихъ непремѣнно моряковъ, позаботятся также и съ своей стороны подкрѣпить это убѣжденіе о безполезности подобнаго рода занятій. Правда, остаются еще три высшіе класса (VI, VII и VIII), которые, повидимому, свидѣтельству ютъ объ общеобразовательномъ (а не спеціальномъ) направленіи ученія въ новой гимназій; но наврядъ-ли число желающихъ окончить курсъ ученія въ этихъ классахъ будетъ со- отвѣтствовать огромнымъ издержкамъ, опредѣляемымъ про- ектомъ на поддержаніе осьми классовъ вмѣсто пяти, которые собственно имѣлись въ виду.

Но допустимъ, наконецъ, что мы ошибаемся, что составители проекта вовсе не хотѣли, чтобы изъ новой гимназій сдѣлать одно только приготовительное отдѣленіе морского кор- пуса; тогда—спрашивается—съ какою же цѣлью они остав- ляютъ заведеніе, назначенное для общечеловѣческаго образо- ванія на цѣлыхъ 8 лѣтъ въ морскомъ вѣдомствѣ? Для чего стараются такъ отличить его отъ гимназій министерства на- роднаго просвѣщенія? Неужели для эксперимента и для од- ного доказательства, что съ большими средствами можно по- лучить лучшіе результаты?

Для чего тогда вырывать изъ цѣлой системы одно учре- жденіе и ставить его въ совершенно исключительное положеніе? Если гимназій министерства народнаго просвѣщенія имѣютъ свои несовершенства, то вѣрно уже не потому, что находятся въ вѣдѣніи этого министерства, а не другого. Причины довольно извѣстны, и самая главная—недостатокъ въ дѣльныхъ педа- гогахъ. Этого недостатка не избѣгнетъ и новая гимназія при морскомъ министерствѣ. Если же составители проекта пола- гають, что за большое содержаніе они могутъ найти довольно людей, вполне обладающихъ труднымъ искусствомъ педагогій, то то-же самое можетъ сдѣлать и министерство народнаго про- свѣщенія, если оно будетъ имѣть такіа средства въ своемъ распоряженіи. Итакъ, значительныя средства (47.000 руб. сер.),

на которыя можно бы было содержать двѣ гимназіи и нѣсколько прогимназій, открытыхъ для всѣхъ лицъ безъ исключенія, проектъ назначаетъ для учрежденія полузакрытаго, полуспеціального въ сущности, хотя и общеобразовательнаго по виду; старается сдѣлать его образцовымъ по числу преподаваемыхъ предметовъ, по составу и содержанію наставниковъ и воспитателей, а вмѣстѣ съ этимъ открываетъ доступъ въ него однимъ только достаточнымъ. Почему же онъ полагаетъ, что между тѣми, которые не въ состояніи платить за ученіе по 250 и 275 рублей въ годъ, не найдется способныхъ къ морской службѣ? Почему ученикъ V или VI класса гимназіи министерства народнаго просвѣщенія не могъ бы поступить въ морской корпусъ, для спеціального изученія морского дѣла, если находитъ въ себѣ влеченіе и склонность? Если требованія вступительнаго экзамена въ морскомъ корпусѣ не соотвѣтствуютъ программамъ наукъ, проходимыхъ въ первыхъ пяти или шести классахъ нашихъ гимназій, то почему бы нельзя было, по взаимному соглашенію морского вѣдомства съ министерствомъ народнаго просвѣщенія, измѣнить программы? Если для моряка необходимъ англійскій языкъ, то почему бы не ввести его, какъ предметъ необязательный, если не во всѣхъ, то въ нѣкоторыхъ нашихъ гимназіяхъ также по взаимному соглашенію? И много ли нужно научиться этому языку для того, кто знакомъ съ французскимъ и нѣмецкимъ языкомъ? Да и поступивъ въ корпусъ, развѣ молодой человѣкъ не могъ бы еще довольно научиться по-англійски, если это такъ необходимо?

Для чего затруднять доступъ къ образованію провинціаламъ, открывая одно центральное учрежденіе въ столицѣ? Постановленіе проекта „отдавать преимущество при замѣщеніи пансіонерскихъ вакансій дѣтямъ лицъ, по мѣсту служенія живущихъ не въ Петербургѣ“ (§ 20), не облегчитъ затрудненія и не сдѣлаетъ заведенія болѣе доступнымъ. Но возможность образованія тотчасъ же облегчится, какъ скоро тѣ значительныя средства, которыя опредѣляетъ проектъ на учрежденіе одной гимназіи, будутъ употреблены на открытіе нѣсколькихъ, въ различныхъ мѣстахъ Имперіи и на общихъ основаніяхъ съ существующими уже въ министерствѣ народнаго просвѣщенія.

Перейдемъ къ администраціи и плану ученія въ предпо-

лагаемомъ заведеніи. Проектъ и въ этихъ отношеніяхъ старается поставить свою гимназію въ совершенно исключительное положеніе, и тогда какъ министерство народнаго просвѣщенія, въ новомъ своемъ проектѣ о среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, стремится распространить коллегіальное начало въ управленіи, проектъ преобразованія морскихъ учебныхъ заведеній сосредоточиваетъ всю власть въ рукахъ одного или двухъ лицъ. Хотя онъ и назначаетъ при новой гимназій учебно-педагогическій совѣтъ; но, давъ тѣ права директору и инспектору, которыя изложены въ §§ 73, 74 и 103, и ограничивъ число наставниковъ—членовъ совѣта—двумя преподавателями, онъ ограничиваетъ такъ его вліяніе на учащихся, что, безъ сомнѣнія, и этотъ слабый проблескъ коллегіальнаго начала въ проектѣ будетъ существовать только на бумагѣ. Между тѣмъ нигдѣ столько не обнаруживается необходимость этого начала, какъ у насъ, въ дѣлѣ общественнаго воспитанія. Несмотря на нѣкоторыя его невыгодныя стороны, оно все-таки одно можетъ ослабить вредный произволъ, вкравшійся въ наши учебныя заведенія со стороны непосредственныхъ ихъ начальниковъ; только однимъ общимъ содѣйствіемъ цѣлой коллегіи наставниковъ можно поднять у насъ и значеніе науки, и все дѣло воспитанія; только усиливъ ихъ нравственно-научную связь съ учениками, распространивъ ихъ вліяніе, можно привлечь нашихъ учителей къ серьезнымъ педагогическимъ занятіямъ. Наставникъ, не имѣющій голоса въ учебно-воспитательныхъ, а слѣдовательно и административныхъ дѣлахъ училища, связанный по рукамъ и ногамъ властью директоровъ и инспекторовъ, подвергается двумъ крайностямъ, обоюднo-вреднымъ для цѣлаго учрежденія: онъ или играетъ жалкую роль въ глазахъ учениковъ, или же старается вознаградить потерянный авторитетъ путемъ заискиванія у начальниковъ и стараніями пріобрѣсти популярность у учениковъ. А если онъ не избралъ ни той, ни другой крайности, то впадаетъ въ полную апатію, превращается въ наемника и будетъ считать себя лицомъ совершенно постороннимъ для цѣлаго дѣла. Не усиливъ сначала вліянія цѣлой коллегіи наставниковъ, можно ли надѣяться усилить нравственное вліяніе и cadaго изъ нихъ? Не забудемъ еще, что дать большія права начальникамъ учебныхъ заведеній,

у насъ значитъ поставить ихъ въ отношенія чисто бюрократическія къ подчиненнымъ имъ учителямъ. Между тѣмъ бюрократизмъ нигдѣ столько не причиняетъ вреда, какъ въ дѣлѣ науки и воспитанія, гдѣ все должно быть основано на призваніи, пониманіи дѣла и на дружномъ соединеніи для одной цѣли нравственныхъ и умственныхъ силъ всѣхъ воспитателей и наставниковъ. Не подчиненный долженъ быть учитель директору, а товарищъ въ общемъ дѣлѣ. Недаромъ въ средне-вѣковыхъ университетахъ и до сихъ поръ еще осталась формула, съ которою обращаются наставники къ учащимся: „*commilitones*“, напоминая имъ всѣмъ, что они—товарищи по цѣли. Если же составители проекта предполагаютъ замѣнить вліяніе наставниковъ на учащихся введеніемъ новыхъ лицъ—воспитателей, которые, подъ другимъ только именемъ и съ бѣльшимъ содержаніемъ, будутъ тѣ же самые наши надзиратели, то невыгоды такого раздѣленія учебной и нравственной части въ нашихъ училищахъ уже всѣмъ извѣстны и давно подтверждены несомнѣнными фактами. Никто, даже самые родители не могутъ равняться, по вліянію, оказываемому на молодые умы, дѣльнымъ и любимымъ наставникамъ. Живое слово науки говоритъ не одному только уму. Оно проникаетъ глубже и облагораживаетъ сильнѣе натуру юнаго человѣка, чѣмъ всѣ оффиціальныя и дисциплинарныя надзоры. Но проектъ не только ограничиваетъ всѣ права коллегіальнаго начала въ дѣлѣ воспитанія; онъ до того еще увеличиваетъ права директора, что отдаетъ въ его распоряженіе и выборъ инспектора, и выборъ учителей, и назначеніе имъ жалованья „съ строгою отвѣтственностью, если для сего лица будутъ избраны не по достоинству“ (§§ 73 и 74). Можно себѣ представить, какъ легко долженъ развиваться непотизмъ, произволь и низкопоклонство въ школѣ, учреждаемой на подобныхъ основаніяхъ: уже навѣрное это успѣетъ сдѣлаться прежде, чѣмъ она перейдетъ въ министерство народнаго просвѣщенія. Объ инспекторѣ гимназіи я уже высказалъ свое мнѣніе въ другомъ мѣстѣ. Я считаю эту должность въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ совершенно излишнею, и твердо убѣжденъ, что ее можно замѣнить съ большею пользою введеніемъ классныхъ учителей (См. Цирк. кiev. учебн. округа, № 10, 1860 года). Если мы замѣчаемъ въ

настоящее время, какъ ослабѣли авторитетъ и вліяніе наставниковъ на молодыхъ людей, посѣщающихъ наши университеты, то это, безъ сомнѣнія, зависитъ много отъ того, что бѣльшая часть ихъ, подчиненная постоянно одному инспекторскому надзору, отдалилась отъ наставниковъ и разучилась подвергать себя нравственному ихъ вліянію. Но, кромѣ этихъ невыгодъ, вся система подчиненія учителей одному лицу, раздѣленіе учителей отъ воспитателей, допущеніе къ педагогическимъ занятіямъ совѣта только нѣсколькихъ избранныхъ лицъ, поведетъ неминуемо къ раздѣленію членовъ новаго учрежденія на двѣ стороны: къ одной будутъ принадлежать директоръ, инспекторъ, законоучитель, воспитатели и, можетъ быть, нѣсколько избранныхъ учителей, къ другой—остальные учителя и, по всей вѣроятности, ученики. Духъ оппозиціи не замедлитъ обнаружиться въ заведеніи. Ученики, отъ которыхъ не укроется ни одна худая сторона школы, видя произволъ, nepотизмъ, соперничество и разнаго рода пренія между учителями и начальствомъ, какой будутъ имѣть примѣры предъ глазами? Учители, не допущенные въ засѣданія совѣта и, слѣдовательно, не близкіе начальству гимназіи, найдутъ средства объяснить ученикамъ съ ироническою улыбкою его распоряженія. Привилегированные воспитатели, изъ угожденія начальству, постараются отличиться строгимъ дисциплинарнымъ надзоромъ; а обойденные наставники намеками вызовутъ насмѣшки и противодѣйствія отъ воспитанниковъ. Такого зла не предотвратитъ въ училищѣ и усиленное вліяніе обрядно-религіозной стороны жизни (§§ 48, 49, 50). Никто, безъ сомнѣнія, изъ здравомыслящихъ людей не будетъ отвергать пользу и силу ея дѣйствій на нравственность воспитанниковъ; но вліяніе ея тогда только будетъ благотѣтельно, когда законоучитель, примѣромъ и словомъ, безъ всякихъ школьных регламентовъ, сдѣлаетъ юную душу своихъ питомцевъ способною къ воспріятію высшей благодати. Усиленная обрядность, несмотря на то, что проектъ даетъ совсѣмъ новое положеніе законоучителю въ гимназіи, врядъ ли увеличитъ между учениками (и именно старшихъ классовъ) тотъ нравственный авторитетъ, который проектъ желаетъ ему доставить въ дѣлѣ воспитанія.

Если недостатокъ коллегіальнаго начала въ проектѣ я

признаю за одно изъ самыхъ существенныхъ препятствій къ развитію истинной нравственности въ воспитанникахъ, то еще вреднѣе окажется онъ въ дѣлѣ учебномъ. Я не могу и объяснить себѣ тѣхъ вопіющихъ противорѣчій, которыя вкрались въ проектъ отъ такого ограниченія коллегіальнаго начала въ его дѣйствіяхъ. Такъ, проектъ, ограничивая, съ одной стороны, составъ учебнаго педагогическаго совѣта только директоромъ, инспекторомъ, законоучителемъ, двумя учителями и двумя воспитателями, предоставляетъ параграфами 32, 33, 36 и 44 этому же совѣту и измѣненія въ распредѣленіи уроковъ, и перемѣны въ размѣрахъ преподаванія, и переводы учениковъ изъ одного класса въ другой, и выборъ книгъ для чтенія.

Значить, два привилегированные и избранные директоромъ учителя будутъ, вмѣстѣ съ начальствомъ гимназіи, рѣшать всѣ вопросы о размѣрахъ и, слѣдовательно, способахъ преподаванія и о достоинствахъ учениковъ. Мнѣ кажется, несообразность этой мѣры не заслуживаетъ дальнѣйшаго опроверженія.

Вообще, въ учебномъ отношеніи, проектъ не устранилъ ни одного изъ многихъ недостатковъ всѣхъ нашихъ гимназій, хотя и обнаружилъ наклонность устранить ихъ нѣкоторыми полумѣрами. Такъ, онъ, кажется, отмѣняетъ систему ученія по обширнымъ и подробнымъ программамъ, опредѣляя только въ общихъ чертахъ объемъ преподаванія каждой науки и предоставляя педагогическому совѣту опредѣлить размѣръ преподаванія, — и это была бы самая лучшая, самая прогрессивная сторона проекта; но въ то же время онъ предписываетъ давать вопросы ученикамъ на испытаніяхъ по учебнымъ программамъ (§ 38), и не даетъ, какъ мы видѣли, права каждому учителю выразить свое мнѣніе о способѣ и объемѣ преподаванія своего предмета. Проектъ измѣняетъ нѣсколько систему переводныхъ экзаменовъ, подвергая ежегодному испытанію только однихъ малоуспѣшныхъ и заставляя остальныхъ экзаменоваться чрезъ два года (при переходѣ изъ II въ III, изъ IV въ V и изъ VI въ VII классъ, — § 36), но не рѣшается еще во все отмѣнить эти оффиціальныя испытанія, хотя они несравненно съ большею пользою для учащихся могли бы быть замѣнены переводами по годичнымъ успѣхамъ, обсуждаемымъ всѣмъ

педагогическимъ совѣтомъ гимназіи; для этого нужно бы было только сдѣлать контроль за этими успѣхами со стороны преподавателей менѣе формальнымъ, а болѣе существеннымъ, что, при такихъ средствахъ, которыя назначаются для новой гимназіи, и при такомъ ограниченномъ числѣ воспитанниковъ, гораздо легче было сдѣлать, нежели въ другихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Такъ точно и съ отмѣтками при испытаніяхъ. Проектъ сокращаетъ количество балловъ до 12; но не рѣшается отмѣнить совсѣмъ эту математическую оцѣнку человѣческихъ знаній и способностей. Я столько разъ уже говорилъ и писалъ о недостаточности этой системы, о неправильности господствующихъ у насъ взглядовъ на испытанія, что не имѣю болѣе терпѣнія повторять дѣсколько разъ вы сказанное. Для чего цифры, баллы съ дробями, безъ дробей, сложенія и дѣленія, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы рѣшить вопросъ однимъ только „да“ или „нѣтъ“?

Направленіе ученія, принимаемое проектомъ, есть, по преимуществу, классическое. Но, назначая, какъ я догадываюсь по вышеизложеннымъ причинамъ, новую гимназію преимущественно для желающихъ вступить въ морскую службу, онъ все классическое образованіе учениковъ, которые будутъ переходить изъ V класса въ морской кадетскій корпусъ, ограничиваетъ латинскою грамматикою и переводами изъ Юлія Цезаря, Федра и Саллюстія. Перешедъ же, въ 14 или 15 лѣтъ, въ спеціальное учебно-морское заведеніе, гдѣ уже, конечно, не преподаются древніе языки, ученики не много вынесутъ пользы изъ этихъ начатковъ гуманизма. И хотя хорошее начало никогда не пропадаетъ безъ слѣда, но я думаю, что если бы министерство народнаго просвѣщенія приняло мое предложеніе о рѣзкомъ раздѣленіи двухъ направленій ученія (гуманнаго и реального), начиная съ послѣдняго (IV-го) класса прогимназій (см. Цирк. кiev. учебн. округа 1860 года, № 10), то морское вѣдомство ничего бы не потеряло, принимая въ свои спеціальныя учебныя заведенія учениковъ обѣихъ прогимназій (реальныхъ и классическихъ), тѣмъ болѣе, что при вступительныхъ испытаніяхъ въ морской корпусъ не требуется знаніе древнихъ языковъ (см. Програм. второго экзам., стр. 200).

Остается еще сказать о различныхъ мѣрахъ взысканія и

наградахъ (Прилож. № 3, стр. 425). Изъ общихъ правилъ, которыя едва-ли не извѣстны и каждому непосвященному въ дѣло воспитанія, но которыя едва-ли выполнимы на дѣлѣ въ общественныхъ воспитательныхъ заведеніяхъ, нельзя съ точностью опредѣлить, какія отношенія воспитанниковъ къ воспитателямъ принимаются проектомъ: патріархальныя ли, или чисто-начальническія? Между тѣмъ это нужно обозначить точно, ясно и откровенно. Судя по тому, что проектъ предоставилъ законоучителю значительное вліяніе въ дѣлѣ воспитанія, нужно полагать, что онъ допускаетъ возможность удержатъ первыя, т.-е. патріархальныя. Дай Богъ, чтобы это удалось. Но, насколько я знаю наши школы, по крайней мѣрѣ двухъ учебныхъ округовъ, то я сомнѣваюсь, можно ли сохранить отношенія этого рода. Они, мнѣ кажется, еще менѣе возможны тамъ, гдѣ заведеніе предоставляется въ полное распоряженіе одному лицу—директору. При этой обстановкѣ, несмотря на нравственную власть законоучителя, бюрократическія и чисто-начальническія отношенія директора къ его подчиненнымъ—наставникамъ и воспитанникамъ—неизбѣжны. Въ такомъ случаѣ и примѣненіе общихъ правилъ о взысканіяхъ и наградахъ будетъ зависѣть отъ его личнаго произвола. Я не вхожу въ частности, потому что сообщилъ подробно мое мнѣніе объ этомъ предметѣ (въ Циркулярѣ кievскаго учебнаго округа, № 12, 1860 года).

Наконецъ, заключаю мое мнѣніе о проектѣ замѣчаніемъ, касающимся до всѣхъ проектовъ и уставовъ вообще, хотя не новымъ, но тѣмъ не менѣе справедливымъ. Прежде чѣмъ всѣ новыя постановленія, какъ бы хорошо они ни были составлены, и какія бы средства ни предлагались для ихъ осуществленія, будутъ приведены въ исполненіе, нужно имѣть въ виду исполнителей. Они, и при введеніи новыхъ постановленій, останутся тѣ же самыя. А проектъ даже и не упоминаетъ о способѣ избранія его исполнителей. Правда, онъ говоритъ, что директоръ выбирается попечителемъ (§ 67); инспекторъ, преподаватели и воспитатели—директоромъ (§ 73); но на чемъ и на какихъ данныхъ будутъ основываться выборы наставниковъ и воспитателей, какимъ способомъ они должны будутъ доказывать требуемыя отъ нихъ „основательныя свѣдѣнія, нравст-

венныя достоинства и способность свободно и правильно изъясняться“ (§ 120).—это неизвѣстно. Особенныхъ испытаній имъ не производится, конкурсовъ нѣтъ; выбираетъ и назначаетъ жалованье одинъ начальникъ заведенія; судить онъ тоже одинъ. Гдѣ же гарантіи? Неужели только одни слова 73-го параграфа: „директоръ выбираетъ — съ строгою отвѣтственностью, если эти лица будутъ избраны не по достоинству“. Но начальникъ заведенія, снабженный такими правами, конечно, всегда найдетъ средства оправдать свой выборъ и сдѣлать его безукоризненнымъ извнѣ. Если проектъ состоялся для совершенно новаго и исключительнаго учрежденія, снабженнаго такими средствами, имѣющаго даже отдѣльнаго попечителя, то мнѣ казалось бы—нужно было придумать и ручательства болѣе положительныя о достоинствахъ и заслугахъ его исполнителей.

Февраль, 1861 г.

ВЗГЛЯДЪ НА ОБЩІЙ УСТАВЪ НАШИХЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ.

Преобразование устава нашихъ университетовъ вызывается въ настоящее время, по моему мнѣнію, тремя главными обстоятельствами: 1) Недостаткомъ въ преподавателяхъ для занятія вакантныхъ кафедръ, насколько этотъ недостатокъ зависитъ отъ условій, опредѣляемыхъ нынѣ существующимъ уставомъ. (Теперь въ провинціальныхъ университетахъ многія кафедры остаются долгое время незанятыми, да и не предвидится возможности занять ихъ дѣльными и извѣстными по своимъ заслугамъ ученому совѣту лицами). 2) Распредѣленіемъ факультетскихъ кафедръ, несообразнымъ съ цѣлью университетскаго образованія и зависящею отъ того неправильностью въ ходѣ научныхъ занятій. 3) Испытаніями, мало приспособленными къ современнымъ требованіямъ науки и къ прочному научному образованію.

Конечно, однимъ измѣненіемъ устава не устранятся всѣ обстоятельства, препятствующія развитію прочной и серьезной учебной дѣятельности по всѣмъ отраслямъ наукъ въ нашихъ университетахъ. Недостатокъ въ дѣятеляхъ и исполнителяхъ будетъ еще долго ощущаться и при всякомъ коренномъ преобразованіи нашихъ факультетовъ; но все-таки цѣлесообразно составленный уставъ можетъ открыть возможность и способствовать къ образованію будущихъ дѣятелей и исполнителей.

Разсматривая преобразование устава съ этихъ точекъ зрѣнія, я постараюсь изложить въ общихъ чертахъ мои сообра-

женія, направленные преимущественно къ устраненію трехъ упомянутыхъ недостатковъ нашихъ университетовъ.

I. Нельзя не согласиться, что въ настоящее время одна изъ причинъ, дѣлающихъ профессорское званіе вовсе непривлекательнымъ, есть ограниченность и даже скудость содержанія. Излишне доказывать, что содержаніе, получаемое теперь нашими профессорами, не обезпечиваетъ ихъ, и что необходимость заставлять ихъ въ столицахъ искать другихъ средствъ существованія, а въ провинціяхъ—претерпѣвать различнаго рода лишенія въ ущербъ научнымъ занятіямъ. Но, съ другой стороны, нельзя льстить себя надеждою, что одно увеличеніе содержанія будетъ достаточнымъ средствомъ къ пріобрѣтенію для университетовъ истинныхъ дѣателей науки и людей преданныхъ наукѣ, точно также какъ и нельзя надѣяться, чтобы одно увеличеніе жалованья нашихъ чиновниковъ уничтожило злоупотребленія въ различныхъ отрасляхъ администраціи. Обезпеченіе служащихъ лицъ достаточнымъ содержаніемъ необходимо потому, что оно даетъ начальству нравственное право требовать отъ подчиненныхъ точнаго и ревностнаго исполненія обязанностей,—но только потому. Полагать же, что этимъ однимъ можно будетъ пріобрѣсть вдругъ совѣстливыхъ исполнителей или возбудить любовь къ занятіямъ, значило бы—думать, что одними матеріальными средствами можно измѣнить и нравственность, и убѣжденія, пріобрѣтаемая воспитаніемъ и взглядами цѣлаго общества на жизнь и науку. Итакъ, какъ бы въ настоящее время ни было необходимо увеличеніе содержанія нашихъ профессоровъ и преподавателей, но все-таки нельзя разсчитывать, что послѣ осуществленія этой благодѣтельной мѣры тотчасъ же перемѣнится вся обстановка персонала и вакантныя университетскія каѳедры тотчасъ же будутъ замѣщены людьми преданными наукѣ и пріобрѣвшими себѣ почетное имя въ ученомъ свѣтѣ. Нужно будетъ еще позаботиться и объ образованіи достойныхъ личностей для занятія вакантныхъ и новыхъ каѳедръ. Правда, съ увеличеніемъ содержанія вакантныя каѳедры будутъ скоро замѣщены, но кѣмъ?—это другой вопросъ. Поэтому нужно пріискать еще средства, какъ бы поднять значеніе самой науки въ нашихъ университетахъ и приготовить

въ достаточномъ числѣ истинныхъ ея дѣателей, такъ чтобы и на будущее время не ощущался въ нихъ столь чувствительный недостатокъ. Нельзя сказать, чтобы въ настоящее время мы нуждались въ желающихъ учиться. Найдутся и такіе, которые будутъ учиться изъ одного любознанія и любви къ наукѣ. Но чтобы дать ходъ такимъ личностямъ, чтобы образовывать изъ нихъ дѣльныхъ преподавателей, мы ничего другого не можемъ сдѣлать, какъ поощрить желающихъ поступить на это поприще и облегчить имъ возможность оставаться при нашихъ университетахъ. За исключеніемъ медицинскаго факультета, который иногда замѣщаетъ свои каѳедры лицами изъ вольнопрактикующихъ врачей, всѣ другіе факультеты принуждены или приглашать преподавателей другихъ университетовъ, или же вербовать своихъ воспитанниковъ. Но изъ практикующихъ врачей весьма немногіе поступаютъ на университетскія каѳедры; преподаватели неохотно переходятъ изъ одного университета въ другой, а воспитанники университетовъ избираются обыкновенно безъ конкуренціи и безъ гласнаго заявленія своихъ научныхъ достоинствъ. Адъюнкты въ нашихъ университетахъ составляютъ единственный разсадникъ преподавателей. Но онъ имѣетъ существенные недостатки. Избранные въ адъюнкты, безъ конкуренціи и безъ гласнаго заявленія своихъ научныхъ достоинствъ, поступаютъ на эти должности съ полною увѣренностью, что, рано ли, поздно ли, они непременно сдѣлаются полными обладателями профессорскихъ каѳедръ и дойдутъ до нихъ оффиціальнымъ порядкомъ. Эта увѣренность, въ большей части случаевъ, дѣйствуетъ вредно на ихъ дальнѣйшее образованіе и нерѣдко отнимаетъ у нихъ соревнованіе, столь необходимое въ дѣлѣ науки. Адъюнктъ, прослуживъ извѣстное число лѣтъ и ничѣмъ особеннымъ не отличившись, считаетъ себя все-таки самымъ достойнымъ и почти непремѣннымъ кандидатомъ къ занятію вакантнаго профессорскаго мѣста, не только по тому предмету, которымъ онъ долженъ былъ заняться *ex officio*, но и по всякому другому, болѣе или менѣе съ нимъ сродному. Такъ обыкновенно смотрятъ на адъюнктовъ и факультеты, и совѣты нашихъ университетовъ. И, при всемъ томъ, все-таки вакантныя каѳедры у насъ замѣщаются съ трудомъ. Къ устра-

ненію этого вопіющаго недостатка, мнѣ кажется, самымъ надежнымъ средствомъ будетъ введеніе конкуренціи и гласнаго заявленія научныхъ заслугъ со стороны искателей каѳедръ. Отъ учрежденія института доцентовъ при каждомъ университетѣ можно бы было надѣяться, что и то, и другое условіе будетъ достигнуто. Въмѣсто адъюнктовъ, съ опредѣленнымъ жалованьемъ и съ опредѣленною перспективою, было бы несравненно полезнѣе дать въ распоряженіе каждаго университета извѣстную сумму для вознагражденія доцентовъ, не опредѣляя имъ извѣстнаго жалованья, и предоставивъ совѣтамъ назначать quantum содержанія каждому доценту, сообразно съ его заслугами и съ числомъ его занятій. При этомъ необходимо открыть путь всѣмъ, желающимъ поступить въ доценты изъ окончившихъ университетскій курсъ съ степенью кандидата или лекаря, но не иначе какъ посредствомъ публичнаго конкурса. Исполнившій всѣ требованія конкурса имѣлъ бы право, по опредѣленію факультета и совѣта, быть доцентомъ только извѣстное время, примѣрно до 2 или 3 лѣтъ; по истеченіи же этого срока, совѣтъ, принявъ въ соображеніе его способъ преподаванія и руководствуясь общественнымъ мнѣніемъ, долженъ былъ бы подвергать его второму новому конкурсу, результаты котораго уже окончательно показали бы, можетъ ли конкурсить долѣе оставаться доцентомъ, или нѣтъ. — Доцентство, само по себѣ, не должно давать еще права на занятіе профессорской должности. И для этого именно долженъ назначаться новый конкурсъ. Число доцентовъ при каждомъ университетѣ не можетъ быть опредѣлено *a priori*; но совѣтамъ университетовъ должно озаботиться, чтобы въ каждомъ факультетѣ было хотя по одному доценту для каждой науки. Тогда на всякую вакантную каѳедру въ одномъ университетѣ могли бы конкуррировать не только доценты того университета, гдѣ открывается вакансія, но и всѣхъ другихъ университетовъ, гдѣ есть на-лицо доценты того предмета, каѳедра котораго сдѣлалась вакантною.

Для большаго развитія доцентства въ нашихъ университетахъ, доцентамъ должно бы предоставить еще слѣдующія права:

- а) право пользоваться платою за ученіе отъ учащихся;
- б) право давать *privatissima* въ заведеніяхъ университета, поль-

зуюсь его учебными пособіями; с) право быть отправляемымъ за границу и въ другіе отечественные университеты, для дальнѣйшаго усовершенствованія; наконецъ, d) доцентъ, выдержавшій два раза конкурсъ, занимающій кафедру одного изъ существенныхъ предметовъ факультета и отличившійся своими заслугами, долженъ пользоваться и правомъ голоса въ факультетскихъ собраніяхъ и при факультетскихъ испытаніяхъ на степень. Если въ факультетѣ одинъ и тотъ же предметъ будетъ преподаваться и профессоромъ, и доцентомъ, то студентамъ должно быть предоставлено право выбора слушать лекціи у того или у другого. Испытуемые же раздѣляются факультетомъ поровну между экзаменаторами—профессорами и тѣми доцентами, которые пользуются правомъ голоса въ факультетскихъ собраніяхъ. Всѣ эти права способствовали бы конкуренціи, поощрили бы желающихъ выступить на учебное университетское поприще и возбудили бы между ними соревнованіе къ достиженію профессорскаго званія путемъ конкуренціи и гласности. Такъ образовался бы расадникъ для будущихъ наставниковъ и дѣятелей науки.

Съ учрежденіемъ доцентства при университетахъ на изложенныхъ основаніяхъ, адъюнкты должны быть навсегда уничтожены, и жалованье, назначаемое теперь адъюнктамъ, съ приращеніемъ болѣе или менѣе значительной суммы, должно быть обращено на вознагражденіе доцентовъ. Число ихъ, также какъ и вознагражденіе каждому, какъ я уже сказалъ, никакъ не можетъ и не должно быть опредѣлено *a priori*, и будетъ зависѣть: первое—отъ нуждъ и потребностей университета, а второе—отъ заслугъ и занятій каждаго доцента. Доцентство въ нашихъ университетахъ до сихъ поръ не удалось именно потому, что ему не было предоставлено никакихъ поощрительныхъ правъ, и оно не было обезпечено въ матеріальномъ отношеніи ни со стороны университета, ни со стороны учащихся. Адъюнкство же препятствовало его дальнѣйшему развитію. А съ другой стороны, по неимѣнію доцентовъ, у насъ никто не является на конкурсы, и вакантныя кафедры остаются долгое время незанятыми. Но еще разъ повторяю: безъ свободной конкуренціи, безъ матеріальной поддержки, примѣненной къ

личнымъ заслугамъ каждаго доцента, и безъ поощрительныхъ правъ, доцентство и теперь не будетъ упрочено.

Принявъ свободную конкуренцію главнымъ основаніемъ доцентства, я полагалъ бы необходимымъ принять и другое, не менѣе существенное, измѣненіе въ уставѣ, а именно: постановить для замѣщенія вообще всѣхъ профессорскихъ вакансій не выборное начало, а конкурсъ; выборъ же допустить какъ исключеніе въ тѣхъ случаяхъ, когда никто не явится на конкурсъ или когда имѣется въ виду лицо, слишкомъ уже извѣстное своими научными и учебными заслугами всему ученому свѣту. Хотя, въ настоящее время, исключеніе, можетъ быть, и чаще будетъ встрѣчаться, нежели правило; но все-таки оно, по моему мнѣнію, необходимо на будущее время. Несмотря на недостатокъ въ искателяхъ профессорскаго званія, — который, съ увеличеніемъ содержанія, безъ сомнѣнія уменьшится, — нужно положить конецъ произволу, господствующему при выборахъ профессоровъ, и особливо въ провинціальныхъ университетахъ. И хотя судьи останутся тѣ же при конкурсахъ, которые были и при выборахъ, но все-таки гласное заявленіе научныхъ достоинствъ конкурирующихъ заставитъ этихъ же самыхъ судей быть осторожнѣе въ ихъ сужденіяхъ. Это доказываетъ несомнѣнный опытъ тамъ, гдѣ конкурсы пользуются полною гласностью и производятся публично. Теперь же существующій уставъ допускаетъ, при выборѣ и при назначеніи профессоровъ, полный произволъ, опредѣляя только одно положительно, что каеэдра поручается экстраординарному профессору тогда, „когда есть ученый, который хотя, по возрасту, и не можетъ быть ординарнымъ, но отличными дарованіями вознаграждаетъ незрѣлость лѣтъ“ (Уст. 1835 г., ст. 79). Правда, существующій уставъ университетовъ предписываетъ попечителямъ „обращать вниманіе на способности, прилежаніе и благонравіе профессоровъ, адъюнктовъ, учителей и чиновниковъ университета, исправлять нерадивыхъ замѣчаніями и принимать законныя мѣры къ удаленію неблагонадежныхъ“. Уставъ предоставляетъ также и совѣту, „въ случаѣ нерадѣнія преподавателей и чиновниковъ, зависящихъ отъ его выбора, представлять объ удаленіи ихъ отъ должностей“. Но на практикѣ бѣольшая часть этихъ предписаній неисполнима. Попечитель, какъ лицо, отъ

котораго закономъ не требуется научнаго авторитета, очевидно, не можетъ быть судьей научныхъ способностей профессоровъ, а совѣтъ также никогда не исключитъ за нерадѣніе одного изъ своихъ членовъ. Голосъ слушателей и учащихся могъ бы въ этомъ случаѣ приниматься въ соображеніе. Хотя и случается нерѣдко, что слушатели благоволятъ наиболѣе къ тѣмъ профессорамъ, которые снисходительнѣе другихъ на экзаменахъ, но вообще все-таки общественное мнѣніе безпристрастнѣе мнѣнія товарищей и начальниковъ преподавателя, и не бесполезно было бы, въ настоящее время, сдѣлать указаніе въ уставѣ, чтобы къ нему прислушивалось учебное начальство при опредѣленіи достоинствъ и способностей преподавателей; а публичные конкурсы дали бы ему достаточное средство узнать общественное мнѣніе.

При этомъ рождается вопросъ: въ какой мѣрѣ, при замѣщеніи вакантныхъ каедръ по конкурсамъ и выборамъ и при соблюденіи контроля надъ учебною дѣятельностью преподавателей, можно допустить автономію факультетовъ, совѣтовъ и попечителей округовъ? Можно ли, напримѣръ, допустить полную автономію факультетовъ при выборахъ новыхъ профессоровъ? Мнѣ кажется, что нѣтъ. Члены факультета суть вмѣстѣ и члены совѣта. Предоставить ихъ выборъ однимъ факультетамъ—значило бы допускать въ совѣтъ такихъ членовъ, въ выборѣ которыхъ онъ не принималъ вовсе никакого участія. И не подало ли бы это повода къ nepотизму, всего болѣе, какъ извѣстно, укореняющемуся въ спеціальныхъ учрежденіяхъ, какъ въ спеціальныя школы и факультеты? По справедливости, факультетъ, при выборѣ новыхъ преподавателей, долженъ имѣть въ виду только одни ихъ научныя достоинства, а совѣтъ долженъ заявить свое мнѣніе о нравственныхъ и коллегіальныхъ достоинствахъ кандидата, какъ будущаго своего члена. Итакъ, при конкурсахъ и выборахъ, совѣту принадлежатъ автономія и окончательныя сужденія о достоинствахъ избираемаго, и я не вижу никакой логической необходимости въ утвержденіяхъ этихъ выборовъ со стороны попечителей, которые, не будучи компетентными судьями въ дѣлахъ науки, въ утвержденіяхъ этого рода соблюдаютъ только одну формальность. Порученіе же контроля надъ исполненіемъ учебныхъ обязанностей пре-

подавателей совѣту и попечителю, оказавшееся непрактичнымъ, должно быть замѣнено мѣрами болѣе раціональными, о которыхъ скажу послѣ. Что касается до распредѣленія преподаванія и возведенія въ высшія ученыя степени, то и эти распоряженія должны быть предоставлены автономіи совѣтовъ, потому что и здѣсь окончательныя утвержденія со стороны попечителей составляютъ одну только формальность, безъ всякой пользы ослабляющую авторитетъ совѣтовъ въ глазахъ учащихся и общества. Попечитель въ отношеніи къ университету есть контролеръ. Онъ наблюдаетъ только, чтобы всѣ дѣйствія совѣта и правленія были законны. Роль его, какъ контролера за дѣйствіями совѣта, относящимися до науки (куда принадлежатъ: преподаваніе, конкурсы, выборы и испытанія), должна ограничиваться извѣщеніями высшей инстанціи о замѣченныхъ имъ незаконныхъ упущеніяхъ и недостаткахъ. Судить же, справедливы ли его замѣчанія, можетъ только та инстанція, которая болѣе его компетентна въ сужденіи о дѣлахъ науки. — Усиленіе автономіи факультетовъ и совѣтовъ, конечно, имѣетъ, какъ и все на свѣтѣ, свои невыгоды; пристрастіе, nepотизмъ, духъ партій, неизбѣжныя въ коллегіальныхъ управленіяхъ, встрѣчающіеся и теперь, при усиленной автономіи могутъ встрѣтиться еще въ болѣеи степени. Но если эти выгоды такъ значительны, что и въ дѣлахъ научнаго содержанія требуютъ посторонняго контроля, то не раціональнѣе ли будетъ предоставить приговоръ о замѣченныхъ недостаткахъ коллегіи не одному лицу, а высшей научной инстанціи, основанной, также какъ и низшая, на коллегіальномъ началѣ? Въ ней должно быть рѣшеніе контроля окончательное и безъ апелляціи. Недостатки коллегіальнаго управленія не должны, однакоже, поколебать автономію университетскихъ коллегій въ принципѣ: потому что когда, при успѣхахъ просвѣщенія и гласности, конкурсы и выборы достигнутъ, наконецъ, того, что профессорскія мѣста будутъ замѣщены настоящими представителями науки, то тогда усиленная автономія факультета и совѣта увеличитъ соревнованіе, возбудитъ самодѣятельность и возвыситъ наши университеты въ глазахъ учащихся и цѣлаго общества. А это привлечетъ и дѣльных, любящихъ самостоятельность, людей къ занятію профессорскихъ должностей. Это, конечно,

случится не такъ скоро, но вѣдь и уставы составляются не на короткое время и составители ихъ, какъ я думаю, должны имѣть въ виду не одно настоящее, но и будущее.

Къ измѣненіямъ устава нашихъ научно-учебныхъ коллегій, устраняющимъ недостатки въ преподавателяхъ, принадлежать также измѣненія въ срокѣ службы и въ системѣ пенсіи. Срокъ служебной дѣятельности профессора съ правомъ полученія полпенсіи могъ бы быть сокращенъ, по моему мнѣнію, до 15 лѣтъ. Полпенсію должны бы получить, однако-же, черезъ 15 лѣтъ только тѣ лица, которые прослужили это число лѣтъ въ званіи профессора. Но избраніе ихъ на слѣдующее десятилѣтіе не должно быть допущено безусловно, и выборъ этотъ можетъ состояться только при двухъ условіяхъ: во-первыхъ, когда прослужившій первое пятнадцатилѣтіе представить какое-либо ученое или учебное сочиненіе (руководство или монографію), изданное имъ во время службы при университетѣ въ званіи профессора и принятое съ одобреніемъ въ ученомъ свѣтѣ; во-вторыхъ, когда профессоръ, прослужившій 15 лѣтъ, представить, по крайней мѣрѣ, одного кандидата изъ обучавшихся въ университетѣ подъ непосредственнымъ и ближайшимъ его руководствомъ, который достигъ такого научнаго образованія, что могъ бы занять, или уже занимаетъ, мѣсто доцента по предмету, преподаваемому избираемымъ въ профессору, или по одному изъ предметовъ сродныхъ съ преподаваемымъ. Первое условіе поощрило бы многихъ къ литературнымъ занятіямъ. Второе же служило бы доказательствомъ учебной дѣятельности избираемаго и поощряло бы профессоровъ къ частнымъ занятіямъ съ слушателями, обнаружившими любовь и склонности къ спеціальному изученію какой-либо науки. Цѣль, съ которою я предлагаю новый, условный, выборъ профессора, по истеченіи первыхъ 15 лѣтъ его служенія при университетѣ, очевидна. Никто изъ университетскихъ преподавателей не долженъ находиться подъ вліяніемъ парализирующей мысли, что, вступивъ однажды въ число членовъ совѣта, ему ничего болѣе не остается, какъ спокойно и безусловно выжидать 25 лѣтъ полной пенсіи. Нѣтъ, каждый, истинно любящій свою науку, преподаватель можетъ и долженъ въ первые 15 лѣтъ своего служенія университету, кромѣ чтенія лек-

цій, доставить еще и другія доказательства своей научной дѣятельности. И изъ двухъ, предложенныхъ мною, доказательствъ второе мнѣ кажется еще важнѣе перваго. Опытъ научаетъ, къ сожалѣнію, что не всѣ одинаково смотрятъ на высокое призваніе профессора. Были примѣры явнаго нежеланія со стороны преподавателей образовывать преемниковъ по своей наукѣ. Между тѣмъ ничто не можетъ такъ ясно свидѣтельствовать о надлежащемъ пониманіи профессорскихъ обязанностей, какъ то, что каждый профессоръ уважаетъ, по истеченіи 15 лѣтъ, хотя на одного доцента-преемника, образовавшагося подъ его руководствомъ. И кто любитъ свой предметъ, кто совѣстливо и искренно занимается его преподаваніемъ, тотъ, вѣрно, будетъ въ состояніи заохотить и образовывать одного изъ своихъ слушателей, который бы могъ современемъ занять его мѣсто. Сверхъ того, это условіе послужило бы къ большому сближенію слушателей съ преподавателями, которое почти не существуетъ въ нашихъ университетахъ или ограничивается одними только оффиціальными отношеніями. А извѣстно, что ничто столько не содѣйствуетъ къ образованію будущихъ дѣятелей науки и вообще къ распространенію научнаго интереса, какъ сближеніе посредствомъ науки профессоровъ съ слушателями. Если же первыя 15 лѣтъ служенія профессора университету прошли, такъ сказать, безслѣдно, то не думаю, чтобы университетъ могъ ожидать отъ такого профессора чего-нибудь болѣе и въ остальныя 10 лѣтъ его служенія. Между тѣмъ такой преподаватель, еще не устарѣвъ на службѣ и получивъ полпенсію, могъ бы съ болѣею пользою для общества избрать себѣ другой родъ занятій, а его мѣсто при университетѣ, съ болѣею надеждою на успѣхъ, могло бы быть занято другимъ лицомъ. Вообще, по моему мнѣнію, всего необходимѣе, для уменьшенія застоя въ нашихъ учебныхъ учрежденіяхъ, такія мѣры, которыя бы наиболѣе способствовали введенію и обращенію въ нихъ свѣжихъ силъ. — Если же профессоръ въ теченіе 15 лѣтъ только по недостатку въ средствахъ не могъ издать въ свѣтъ своихъ литературныхъ трудовъ, то онъ можетъ представить сочиненіе и въ рукописи, съ тѣмъ, однако-же, что одобреніе его будетъ зависѣть не отъ одного только совѣта университета, въ которомъ онъ занимаетъ каѳедру, но и отъ другой, высшей

научной инстанціи, куда оно передается по распоряженію министерства. Тогда одобренное сочиненіе можетъ быть напечатано и на счетъ университета. — Профессоръ, прослужившій 15 лѣтъ, можетъ получить полпенсію только по оставленіи службы при университетѣ. Если же прослужившій 15 лѣтъ не удовлетворяетъ двумъ сказаннымъ требованіямъ, то онъ увольняется съ полпенсіею, и на вакантную его кафедру объявляется публичный конкурсъ. По истеченіи же 25 лѣтъ, кафедра его во всякомъ случаѣ объявляется вакантною, и также съ открытіемъ публичнаго конкурса. Но профессора, прослужившіе полныхъ 25 лѣтъ и желающіе еще продолжать при университетѣ свои учебныя и административныя занятія (преподаваніе, испытанія, деканство), должны пользоваться этимъ правомъ съ званіемъ заслуженнаго профессора, если будутъ избраны совѣтомъ, получая послѣ новаго избранія одну только полную пенсію безъ жалованья. Желающіе же изъ заслуженныхъ профессоровъ пользоваться полною пенсіею и содержаніемъ отъ университета должны, наравнѣ съ другими кандидатами, подвергаться публичному конкурсу на кафедру, объявленную вакантною, представляя на соисканіе литературныя труды, произведенныя ими вновь или въ послѣднее 10-лѣтіе. Можно бы, по моему мнѣнію, предложить профессорамъ, окончившимъ свое 25-лѣтіе и желающимъ еще продолжать свою службу съ полученіемъ пенсіи и содержаніемъ, еще одно право: право апелляціи ко всѣмъ совѣтамъ нашихъ университетовъ, которые могли бы также давать свое мнѣніе и участвовать въ выборахъ, если научныя заслуги апеллирующаго имъ извѣстны. Тогда результаты ихъ выборовъ должны быть сообщены совѣту того университета, въ которомъ находится избираемый. А чтобы избраніе оградить еще болѣе отъ случайностей, нужно принять при рѣшеніяхъ не абсолютное большинство, а большинство ограниченное $\frac{3}{4}$ голосовъ. При этомъ, смотря по степени развитія доцентства, совѣтамъ должно быть предоставлено право требовать или не требовать отъ конкуррента личной явки для чтенія пробныхъ лекцій на конкурсѣ того университета, который объявилъ кафедру вакантною. Конкурсъ же долженъ состоять не изъ одного только публичнаго чтенія лекцій, но и изъ защищенія конкур-

рентомъ представленнаго на конкурсъ сочиненія и демонстрацій разнаго рода (въ наукахъ естественныхъ и медицинскихъ).

Итакъ, средства, которыя, по моему крайнему разумѣнiю, послужили бы какъ къ устраненiю ощущаемаго теперь недостатка при замѣщенiи вакантныхъ кафедръ въ нашихъ университетахъ, такъ и къ тому, чтобы выборъ профессоровъ сдѣлался менѣе подверженнымъ случайностямъ, пристрастию и непотизму коллегiй, состоятъ: 1) въ такомъ увеличенiи содержанiя, которое бы вполне обезпечивало существованiе преподавателя и давало ему средство къ дальнѣйшимъ занятiямъ наукою. (Для опредѣленiя въ точности этого содержанiя нужно бы потребовать отъ всѣхъ университетовъ справочныхъ цѣнъ квартирамъ, отопленiю, научнымъ пособiямъ и т. п. Тогда можно бы было, по справедливости, оцѣнить, въ какой мѣрѣ необходимо у насъ увеличить содержанiе профессоровъ.) Увеличивъ содержанiе, нужно постановить закономъ, чтобы ни одинъ изъ преподавателей не занималъ никакой другой должности и чтобы никакія другія занятiя не служили ему извиненiемъ въ неисполненiи прямыхъ его обязанностей по университету. 2) Въ распредѣленiи платы, собираемой за ученiе, между профессорами и доцентами. 3) Въ сокращенiи срока службы при университетѣ для полученiя права на полпенсiю. 4) Въ усиленной автономiи факультетовъ и совѣтовъ. 5) Въ учрежденiи доцентства, какъ разсадника для образованiя будущихъ преподавателей. 6) Въ конкуренціи и гласномъ заявленiи научныхъ достоинствъ избираемаго въ преподаватели. 7) Въ болѣе точномъ опредѣленiи порядка, способа и требованiй выборовъ, которые представляли бы болѣе гарантiй въ справедливой оцѣнкѣ научныхъ достоинствъ избираемаго лица.

Какъ бы ни казалась съ перваго раза суровою мѣра, препятствующая безусловнымъ выборамъ на продолженiе службы лицъ, прослужившихъ въ званiи профессора 25 лѣтъ, какъ бы ни казалась обидною мѣра, предписывающая новое и также условное избранiе профессоровъ, прослужившихъ 15 лѣтъ при университетѣ, но я считаю и ту, и другую самую существенною при настоящемъ порядкѣ вещей. Въ наше время профессоръ, прослужившій 25 лѣтъ, какъ бы мало онъ ни соот-

вѣтствовалъ современнымъ требованіямъ науки, можетъ почти навѣрное разсчитывать, что будетъ вновь выбранъ еще на 5-лѣтіе, и еще, и еще, лишь бы онъ самъ имѣлъ къ тому охоту. Этотъ вѣрный расчетъ, основанный на взаимномъ молчаливомъ соглашеніи коллегіи, преграждаетъ путь внесенію свѣжихъ силъ въ научную дѣятельность университета и препятствуетъ образованію доцентовъ - преемниковъ. Избраніе въ профессора, совершающееся теперь безгласно, безъ положительнаго заявленія достоинствъ избираемаго лица, дѣйствія на учебномъ поприщѣ, также не обусловливаемыя опредѣленными научными, литературными и учебными, трудами и ихъ результатами, и наконецъ увѣренность въ новомъ избраніи по истеченіи 25-лѣтія, — все это, безъ сомнѣнія, такія условія, которыя не служатъ къ поощренію, не поддерживаютъ энергіи дѣятельности, а скорѣе причиняютъ застой и апатію. И почему бы, на примѣръ, конкурсъ, назначаемый на вакантную кафедру, по окончаніи 25-лѣтняго служенія профессора, требующій отъ всѣхъ желающихъ конкурировать исполненія однихъ и тѣхъ же условій, долженъ казаться обиднымъ заслуженному? За его службу онъ получаетъ полную пенсію; по выбору совѣта онъ можетъ продолжать свои занятія при университетѣ, пользуясь почетнымъ именемъ заслуженнаго, и если пожелаетъ получать и пенсію, и содержаніе, то имѣетъ право состояться на конкурсѣ, представляя плоды научныхъ своихъ трудовъ за послѣднее десятилѣтіе, проведенное имъ на кафедрѣ. Чтò же тутъ обиднаго и несправедливаго?

II. Второе обстоятельство, которое настоятельно требуетъ коренныхъ измѣненій въ уставѣ нашихъ университетовъ, есть несвоевременное и несообразное съ цѣлью распредѣленіе научныхъ предметовъ въ различныхъ факультетахъ. А отъ этого зависитъ и ненормальное распредѣленіе научныхъ занятій учащихся и учащихся. Нѣкоторыя науки совсѣмъ не вошли въ число преподаваемыхъ въ университетахъ предметовъ, между тѣмъ какъ значеніе ихъ въ настоящее время сдѣлалось чрезвычайно важнымъ. Нѣкоторыя, существенно различныя, преподаются вмѣстѣ однимъ и тѣмъ же преподавателемъ. Къ числу первыхъ принадлежитъ, на примѣръ, землевѣдѣніе, которое въ наше время играетъ такую важную роль въ кругу наукъ и

естественныхъ, и политическихъ. Я указываю на эту науку особливо потому, что недостатокъ ея влечетъ за собою еще и другое важное неудобство: наши учителя гимназій не имѣютъ средства получать достаточныя свѣдѣнія по географіи въ высшемъ учебномъ заведеніи. У насъ нѣтъ и каѳедры лингвистики, и сравнительной грамматики, также необходимой для образованія будущихъ педагоговъ. Кромѣ того, въ составъ университетскаго курса наукъ не вошли еще психіатрія, фізіологическая и патологическая химія, гистологія, сравнительная анатомія и многія математическія науки. Напротивъ, есть каѳедры такихъ наукъ, которыя, по своей спеціальности, не иначе могутъ быть преподаваемы, какъ при огромныхъ и едва ли въ нашихъ университетахъ возможныхъ пособіяхъ. Сюда принадлежатъ, напримѣръ, сельское хозяйство и технологія. Очевидно, что эти науки могутъ съ практическою пользою преподаваться только въ особаго рода учрежденіяхъ (земледѣльческихъ и технологическихъ институтахъ), снабженныхъ всѣми пособіями для нагляднаго изученія и для практическихъ примѣненій. Очевидно также, что учрежденія такого рода несоединимы съ университетами. Правда, для преподаванія практическихъ медицинскихъ наукъ (терапіи, хирургіи, акушерства) требуются также особыя спеціальныя учрежденія (госпитали). Но, съ одной стороны, медицина находится въ болѣе тѣсной связи съ общимъ университетскимъ образованіемъ, нежели технологія и агрономія; безъ университетскаго образованія немыслимъ ни одинъ истинный врачъ; а съ другой стороны, нужно признаться, что и для образованія врачей въ настоящее время университеты, и именно провинціальныя, безъ отношеній и безъ связи съ большими госпиталями другихъ вѣдомствъ, не представляютъ достаточныхъ средствъ. Технологія и агрономія въ нашихъ университетахъ могли бы быть замѣнены съ большею пользою для учащихся прикладною (технологическою и агрономическою) химіею. Изученіе этой науки, конечно, не образуетъ технологовъ и агрономовъ; но зато практическія занятія прикладною химіею, вмѣстѣ съ изученіемъ другихъ предметовъ физико-математическаго факультета, приготовили бы гораздо лучше учащихся къ спеціальному образованію въ технологіи и агрономіи. Знаніе прикладной химіи,

Физики и естественной исторіи сообщило бы учащимся всѣ необходимыя для этого образованія научныя основы, которыя имъ оставалось бы только пополнить практическими примѣненіями къ самому дѣлу. Теперь же изученіе технологіи и агрономіи въ нашихъ университетахъ ограничивается одними теоретическими воззрѣніями и жалкими указаніями на рисунки и нѣкоторыя, немногія, модели. Вообще взгляды на университетъ, какъ на вмѣстилище всѣхъ отраслей человѣческаго знанія, хотя и вполнѣ справедливъ, но въ настоящее время, — когда спеціальныя учебныя учрежденія не сосредоточиваются въ одномъ вѣдомствѣ народнаго просвѣщенія, — неосуществимъ на дѣлѣ. Поэтому даже и такія науки, какъ медицина, знаніе которой тѣсно связано съ общимъ университетскимъ образованіемъ, не могутъ быть изучаемы съ надлежащею полнотою и отчетливостію въ одномъ университетѣ. Въ немъ недостаетъ самыхъ существенныхъ пособій для этой цѣли — большихъ и хорошо устроенныхъ госпиталей и другихъ институтовъ, имѣющихъ цѣлью практическое образованіе. И этотъ недостатокъ сильно ощущается въ наше время при образованіи врачей. Поэтому, при составленіи новаго устава и новыхъ штатовъ, необходимость усилить и вновь организовать спеціально-учебныя учрежденія (институты) при университетахъ должна быть непремѣнно взята въ соображеніе и серьезно обсуждена. Безъ хорошо устроеннаго и приноврвленнаго ко всѣмъ современнымъ потребностямъ науки госпиталя, безъ поликлиническаго института, безъ фізіологическаго института, безъ лабораторіи, назначенной исключительно для практическихъ занятій прикладною химіею, въ наше время немислимъ медицинскій факультетъ. Но, кромѣ недостаточной обстановки въ учебноматеріальномъ отношеніи многихъ каедръ, есть еще и другія обстоятельства. дѣлающія научное образованіе учащихся, равно какъ и научныя занятія учащихся, несообразными съ цѣлью и мало-примѣнимыми къ дѣлу. Сюда относится преимущественно обязанность со стороны учащагося прослужать въ извѣстный срокъ времени всѣ предметы того факультета или того отдѣленія факультета, къ которому онъ принадлежитъ. Въ нѣкоторыхъ факультетахъ эта обязательность распространяется на такое громадное число предметовъ, что у молодого человѣка

отнимается всякая возможность посвятить себя болѣе спеціальному и серьезному изученію одной науки. Чтобы способствовать этому, необходимо принять другое раздѣленіе факультетовъ на отдѣленія. Такъ, въ физико-математическомъ факультетѣ, къ которому у насъ причисляются и чисто-математическія, и естественныя науки, и физика, и химія, необходимо провести болѣе рѣзкія границы между этими отраслями свѣдѣній, и при образованіи спеціалистовъ по этимъ отраслямъ не требовать, напримѣръ, чтобы желающіе посвятить себя химіи обязательно посѣщали весь курсъ математическихъ и естественныхъ наукъ и подвергались испытанію въ этихъ предметахъ по окончаніи курса,—не требовать отъ желающихъ изучить естественныя науки обязательнаго посѣщенія лекцій математики, агрономіи и технологіи. Такъ и въ историко-филологическомъ факультетѣ нужно непремѣнно допустить болѣе опредѣленное раздѣленіе предметовъ, которое бы также способствовало къ спеціальному изученію трехъ различныхъ отраслей наукъ, входящихъ въ его составъ, а именно: 1) наукъ, относящихся до спеціальнаго изученія древнихъ языковъ и классической древности; 2) языка отечественнаго и языковъ новѣйшихъ и 3) наукъ историко-политическихъ. Въ настоящее же время требованія этого факультета, очевидно, несомѣстны съ серьезнымъ, точнымъ и спеціальнымъ изученіемъ одной изъ этихъ трехъ отраслей. Можно ли, напримѣръ, требовать отъ посвятившаго себя изученію древностей обязательнаго изученія новой исторіи и отъ изучающаго отечественную филологію—посѣщенія лекцій статистики, географіи, исторіи и политической экономіи и испытаній по этимъ предметамъ? А для научнаго образованія врачей мнѣ казалось бы, наоборотъ, современною мѣрою серьезное изученіе наукъ естественныхъ, физики и химіи. По моему мнѣнію, справедливо бы было требовать, чтобы молодые люди, желающіе себя посвятить медицинѣ, сначала вступали въ факультетъ физико-математическій и въ теченіе 2-хъ лѣтъ изучали бы однѣ естественныя науки, физику и химию, а потомъ уже, окончивъ сокращенный курсъ въ этомъ факультетѣ, приступали бы къ занятіямъ практическими частями медицины. Дѣйствительно изучившему физику, химию, анатомію и физиологію растений, геогнозію и сравнительную анатомію при современ-

номъ состояніи медицины (съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе вступающей въ составъ естественныхъ и экзактныхъ наукъ), легко бы было изучить анатомію и фізіологію человѣческаго тѣла, а при свѣдѣніяхъ изъ этихъ наукъ и занятія патологіею и практическою медициною получили бы совершенно другое, болѣе научное и болѣе современное направленіе. Правда, и теперь отъ студентовъ медицины, при такъ называемомъ полукурсовомъ испытаніи, требуются свѣдѣнія по всѣмъ этимъ предметамъ; но на самомъ дѣлѣ эти требованія слабы и чрезвычайно поверхностны, потому что экзаменаторы естественныхъ наукъ, фізики и химіи, принадлежащіе къ физико-математическому факультету, смотрятъ на эти требованія какъ на едва необходимыя для врачей, и потому допускаютъ ихъ къ занятіямъ практическою медициною безъ надлежащаго приготовленія.

Наконецъ, я считаю невозможнымъ опредѣлить въ уставѣ съ точностью полный штатъ всѣхъ кафедръ наукъ, которыя должны быть преподаваемы въ университетахъ, и мнѣ казалось бы гораздо полезнѣе и практичнѣе, при назначеніи штатовъ каждаго университета, ограничиться опредѣленіемъ числа только тѣхъ кафедръ, которыя считаются основными для каждаго факультета; а на содержаніе другихъ (второстепенныхъ) кафедръ, число и потребности которыхъ измѣняются со временемъ, опредѣлить только одну общую штатную сумму. Необходимость въ измѣненіяхъ и потребностяхъ той или другой отрасли свѣдѣній отзывается въ наше время не такъ медленно, какъ это бывало прежде, и предвидѣть ее въ будущемъ, на продолжительное время, невозможно. Поэтому, если университетъ не будетъ имѣть общей запасной, штатной суммы, для удовлетворенія столь существенной научной потребности, каково открытіе новыхъ кафедръ по той или другой отрасли свѣдѣній, то отсталость въ ходѣ спеціальнаго образованія будетъ неминуемымъ этого слѣдствіемъ. Въ доказательство, возьмемъ, напримѣръ, медицинскій факультетъ. Лѣтъ за 45 никто еще не предвидѣлъ необходимости въ учрежденіи особой кафедры патологической гистологіи или фізіологической и патологической химіи; а теперь изученіе этихъ наукъ считается всѣми уже существенною потребностью образованія врачей. За-

пасная штатная сумма, при всякой вновь обнаруживающейся потребности, могла бы быть съ пользою назначаема, по опредѣленію совѣта, для вознагражденія доцентовъ, желающихъ посвятить себя спеціальному изученію и преподаванію какого-либо и особенно новаго предмета. Вообще я полагаю, что въ дѣлѣ университетскаго (спеціально-научнаго) образованія гораздо полезнѣе бы было, при учрежденіи и замѣщеніи каѳедръ, болѣе сообразоваться съ имѣющимися на-лицо людьми, способными излагать ту или другую науку въ современномъ ей видѣ и направленіи, нежели съ отвлеченными требованіями науки. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему послужить нашимъ университетамъ увеличеніе числа каѳедръ въ каждомъ факультетѣ, хотя бы и вполнѣ удовлетворяющее всѣмъ современнымъ требованіямъ науки, когда на-лицо не будетъ достойныхъ представителей каждаго преподаваемаго предмета? Не вѣрнѣ ли будетъ открывать новыя каѳедры, соображаясь съ имѣющимися на-лицо кандидатами, посвятившими себя спеціальному изученію одного предмета и достойными занять новую каѳедру? Въ такомъ случаѣ запасная сумма послужила бы, во-первыхъ, къ удовлетворенію и современныхъ потребностей науки и, во-вторыхъ, — къ достойному награжденію и поощренію доцентовъ, оказавшихся способными къ занятію новыхъ каѳедръ. Возьмемъ для примѣра медицинскій факультетъ. Въмѣсто того, что-бы распредѣлить бюджетъ его на 18 и болѣе каѳедръ, считаемыхъ въ настоящее время необходимыми къ удовлетворенію современныхъ требованій науки, научная дѣятельность не была ли бы возбуждена гораздо болѣе, если-бы штатныхъ каѳедръ было не болѣе 7 (основныхъ: анатоміи, фізіологіи, патологій, терапій, хирургій, акушерства и судебной медицины), а для другихъ, новыхъ и существующихъ уже (какъ-то: фізіологической и патологической химіи, патологической гистологіи, гігіены, госпитальныхъ кліникъ и т. п., была бы опредѣлена извѣстная сумма, распредѣленіе которой представлялось бы автономіи факультетовъ и совѣтовъ, съ обязательствомъ назначать какъ самыя каѳедры, такъ и количество содержанія, сообразно съ требованіями науки, съ имѣющимися на-лицо спеціалистами, съ числомъ ихъ занятій и съ на-

учными заслугами каждого из нихъ, предъявляемыми на публичныхъ конкурсахъ.

III. Факультетскія испытанія, также какъ и распредѣленіе кафедръ, мало приспособлены въ настоящее время къ прочному специально-научному образованію учащихся. Слишкомъ большое число различныхъ ученыхъ степеней, съ необходимыми для достиженія ихъ испытаніями, стоитъ на первомъ планѣ. Къ чему служить это болѣе бюрократическое, нежели научное различіе ученыхъ степеней: дѣйствительныхъ студентовъ, кандидатовъ, магистровъ, докторовъ, врачей, докторовъ медицины и хирургіи? Не замѣчается ли въ этомъ разнообразіи стараніе законодателей примѣниться болѣе къ существующему чиновничьему иерархическому порядку, нежели къ требованіямъ науки и истиннаго образованія? Наука и специальное образованіе чрезъ многосложность и разнообразіе этихъ степеней у насъ ничего не выиграли. Этимъ затрудняется только вступленіе на учебно-университетское поприще; но образованіе преподавателей науки нисколько не подвигается впередъ. Прѣжде, когда въ нашихъ университетахъ большая часть профессоровъ были лица, не достигшія высшихъ ученыхъ степеней, составители нынѣ существующаго устава думали возвысить профессорское достоинство, не допуская къ этому званію никого изъ недостигшихъ степени доктора. Хотя требованіе вообще и было справедливо; но достиженіе высшей ученой степени, кромѣ степени доктора медицины, у насъ безъ всякой нужды затруднялось предварительными испытаніями по двумъ другимъ степенямъ (кандидата и магистрата), требующими много времени и отвлекающими испытуемаго отъ специальныхъ занятій избраннмъ имъ предметомъ. А это отняло охоту у специалистовъ избирать учебное университетское поприще, не представляющее имъ, съ другой стороны, никакихъ особенныхъ матеріальныхъ выгодъ. Поэтому уменьшеніе требованій при испытаніи на высшую ученую степень, вмѣстѣ съ тѣмъ сокращеніе сроковъ времени для достиженія этой степени и вообще ограниченіе числа ученыхъ степеней двумя—степенью кандидата и доктора, по моему мнѣнію, составляютъ вопіющую потребность нашего времени. Мнѣ кажется даже, что удостоеніе высшей ученой степени могло бы быть предоставлено

университетамъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ и безъ особаго испытанія. Я знаю по собственному опыту, какъ спеціальное совѣстливое и ревностное занятіе наукою мало располагаетъ человѣка подвергаться продолжительнымъ и повтореннымъ испытаніямъ: занимавшись спеціально, и во время моего пребыванія въ университетѣ, и послѣ, хирургією, я никогда бы не рѣшился подвергнуться испытанію на степень доктора медицины и хирургіи, еслибъ отъ меня этого потребовали для занятія кафедры хирургіи. Почему не предоставить права университетамъ принимать въ соображеніе спеціальныя занятія однимъ предметомъ и допускать лицъ, заявившихъ на дѣлѣ неоспоримыми доказательствами свои способности, знаніе и любовь къ избранной наукѣ, къ достиженію профессоръ, безъ особенныхъ оффиціальныхъ испытаній, основываясь только на предшествовавшихъ трудахъ или на удовлетвореніи всѣмъ требованіямъ публичнаго конкурса? Свидѣтельство объ окончаніи полного гимназическаго курса могло бы служить доказательствомъ полученнаго такимъ лицомъ образованія; а спеціальныя занятія наукою въ университетѣ, научно-литературная извѣстность или конкурсы могли бы служить доказательствомъ его заслугъ и достоинствъ.

Вообще, при составленіи устава, нужно бы имѣть въ виду сколько можно болѣе уменьшеніе испытаній, производимыхъ въ университетахъ. Экзамены, въ настоящее время, особливо въ нѣкоторыхъ факультетахъ (именно въ медицинскомъ), похищаютъ у преподавателей значительное время въ ущербъ наукѣ.—Если мы возьмемъ всю сумму вступительныхъ полукурсовыхъ, годичныхъ испытаній (существующихъ еще въ кievскомъ университетѣ для желающихъ освободиться отъ платы за ученіе) и испытаній на различныя ученыя степени и званія (учителей, учительницъ, уѣздныхъ врачей, инспекторовъ управъ, акушеровъ, повивальныхъ бабокъ, дантистовъ, фармацевтовъ, врачей, дѣйствительныхъ студентовъ, кандидатовъ, магистровъ и докторовъ), то убѣдимся, что преподаватели университета на преподаваніе и собственно научныя занятія употребляютъ менѣе времени, нежели на эти испытанія учащихся и постороннихъ лицъ. Такая многочисленность испытаній не оправдываетъ ли мысли объ учрежденіи особыхъ

экзаменаціонныхъ комитетовъ, въ которыхъ поочередно, каждый годъ, мѣнялись бы экзаменаторы (въ столицахъ могли бы въ нихъ участвовать, кромѣ профессоровъ университета, и другіе извѣстные ученые)? Учрежденіе доцентства и увеличеніе числа доцентовъ могли бы дать средства также смѣнять экзаменаторовъ. Но во всякомъ случаѣ необходимо уменьшить число испытаній уничтоженіемъ передержекъ экзаменовъ въ короткіе сроки, допускаемыхъ въ настоящее время закономъ для лицъ, не выдержавшихъ испытаній на степень.

Вотъ начала, которыми, по моему мнѣнію, нужно бы руководствоваться при составленіи устава. Признаюсь, что я самъ вижу трудности, соединенныя съ ихъ осуществленіемъ. Знаю также, что нѣкоторыя изъ предлагаемыхъ мною мѣръ, какъ, на примѣръ, усиленная автономія совѣтовъ и факультетовъ, доцентство и конкурсъ, еще не скоро приведутъ къ желаннымъ результатамъ. Но, съ другой стороны, я, во-первыхъ, убѣжденъ, что безъ коренныхъ преобразованій, безъ увеличенія матеріальныхъ средствъ университета, перемѣна устава не принесетъ никакой существенной пользы, а во-вторыхъ, что, при введеніи предлагаемыхъ мною мѣръ, я имѣлъ въ виду не столько настоящее, которое вдругъ измѣнить невозможно, сколько будущее состояніе нашихъ университетовъ.

Мартъ, 1861 г.



РЪЧИ, СКАЗАННЫЯ Н. И. ПИРОГОВЫМЪ.

I.

При прощаніи его съ кievскимъ учебнымъ округомъ.

Мм. гг.! Сочувствіе, которое вы мнѣ оказываете, столько же относится ко мнѣ, сколько и къ вамъ самимъ.

Не правда ли,—вѣдь вы сочувствуете моимъ взглядамъ на жизнь, науку и школу? Но эти взгляды и убѣжденія столько же мои, сколько и ваши собственные.

Безъ вашего просвѣщеннаго содѣйствія, безъ вашего теплаго участія, могъ ли бы я проводить ихъ, могъ ли бы я имѣть хотя малѣйшую надежду на успѣхъ?

Не имѣя надежды на успѣхъ, могъ ли бы я сохранить и довѣріе къ самому себѣ?

Ваше же содѣйствіе и участіе потому именно было дѣятельно и задушевно, что убѣжденія ваши были моими, и мои—вашими. Скажу болѣе: они не только мои и ваши, но и общечеловѣческія. Какъ бы, въ наше время, ни вазались различными взгляды просвѣщеннаго общества на жизнь, науку и школу, между ними есть все-таки одно общее: это—понятіе, глубоко хранящееся въ душѣ cadaго образованнаго, о чело-вѣческомъ достоинствѣ и о высокомъ значеніи нравственной свободы чело-вѣка, заставляющее насъ цѣнить и уважать личность cadaго и въ жизни, и въ наукѣ, и въ школѣ.

Вся моя заслуга, дающая мнѣ право на ваше сочувствіе, состоитъ только въ томъ, что я угадалъ васъ.

Я угадалъ, что вы не смотрите на жизнь, какъ на фантазмагорическій призракъ, которымъ распоряжается каждый фокусникъ для забавы или для выгоды.

Я угадалъ, что наука—въ вашихъ глазахъ—не есть только гимнастика ума и памяти, видимо полезная себѣ и другимъ.

Я догадался, что школа—въ вашемъ понятіи—не есть учрежденіе, похожее на мастерскую ваятеля, въ которомъ художникъ по заказу выдѣлываетъ различныя формы изъ грубаго матеріала.

Я понялъ, что вы, глядя на жизнь, науку и школу, не смотрите на каждую изъ трехъ какъ на что то отдѣльное и замкнутое, какъ на что-то, чѣмъ каждый изъ насъ можетъ распоряжаться по произволу, не обращая вниманія на ихъ взаимную органическую связь.

Нѣтъ. Я понялъ, что жизнь человѣка для васъ есть безпрерывная, нерѣдко роковая борьба—всего чаще съ самимъ собою—на пути къ совершенству, и что эта борьба зависитъ отъ врожденнаго, ничѣмъ не останавлимаго стремленія къ совершенству.

Я узналъ, что въ наукѣ вы не принимаете другой цѣли, кромѣ того же стремленія къ истинѣ, служащаго самому себѣ цѣлью, и считаете школу за одно изъ проявленій жизни съ ея борьбою и съ ея влеченіями къ достиженію вѣчной правды.

Наконецъ, понявъ хорошо другъ друга, могли ли мы всѣ, какъ въ жизни, такъ въ наукѣ и въ школѣ, какъ въ ребенкѣ, такъ и въ юношѣ, въ возмужаломъ и въ старикѣ, не уважать человѣческое достоинство, нравственную свободу человѣческаго духа и личность?

Угадавъ и понявъ васъ, проводить наши общія убѣжденія было моею первою обязанностью.

Судить о томъ, какъ я, слѣдовательно и вы—исполняли эту обязанность, значило бы судить о самихъ себѣ.

Такой судъ не можетъ быть безпристрастенъ.

Время обсудить и оцѣнить лучше нашего и наши убѣжденія, и наши дѣйствія; а мы, разставаясь, утѣшимъ себя тѣмъ, что и здѣсь, на землѣ,—гдѣ все проходитъ,—есть для насъ одно ненарушимое: это—господство идей. И потому, если мы вѣрно служили идеѣ, которая, по нашему твердому

убѣжденію, вела насъ къ истинѣ путемъ жизни, науки и школы, то будемъ надѣяться, что и потокъ времени не унесетъ ея вмѣстѣ съ нами.

Я, съ моей стороны, не перестану служить ей такъ же вѣрно, какъ служилъ вмѣстѣ съ вами. И теперь ли, когда Россія, руководимая благодѣтельнымъ Монархомъ, вступаетъ въ новую эру ея существованія, кто-нибудь изъ насъ осмѣлится нарушить святость долга, оставаясь въ бездѣйствіи?

Какъ ни грустно разставаться съ тѣми, съ кѣмъ были связаны единствомъ мысли и дѣйствій, но все-таки для образованнаго ума остается утѣшеніе, что, и разлучившись, можно жить вмѣстѣ, въ томъ же мірѣ идей, въ которомъ насъ соединяютъ телеграфическія нити мысли.

Итакъ, останемся вѣрны нашему призванію и будемъ пользоваться тѣмъ, чтò доставляютъ намъ наши понятія о жизни, наукѣ и школѣ, которыя соединяли и будутъ соединять насъ всегда, несмотря ни на пространство, ни на время.

II.

При прощаніи его съ студентами университета св. Владимира.

Я принадлежу къ тѣмъ счастливымъ людямъ; которые хорошо помнятъ свою молодость. Еще счастливѣе я тѣмъ, что она не прошла для меня понапрасну. Отъ этого я, старѣясь, не утратилъ способности понимать и чужую молодость, любить и, главное, уважать ее. Мы всѣ знаемъ, что нужно почитать стариковъ, потому что старики—наши отцы и дѣды, и каждый изъ насъ чѣмъ-нибудь имъ обязанъ. Глядя на старость, мы вспоминаемъ доброе. Слабости и худое забываются при взглядѣ на сѣдину. Но не всѣ знаютъ, что и молодость должно уважать. Она является намъ тотчасъ же съ ея страстями, вспышками и порывами на первомъ планѣ. Правда, и ее извиняютъ, приводя незрѣлость, неопытность, увлеченіе. Но у нея нѣтъ прошедшаго, а ея будущее кажется чѣмъ-то страшнымъ, по его неизвѣстности. Между тѣмъ, кто не забылъ своей молодости и изучалъ чужую, тотъ не могъ не различать и въ ея увлеченіяхъ стремленій высокихъ и благо-

родныхъ, не могъ не открыть и въ ея порывахъ явленій той грозной борьбы, которую суждено вести человѣческому духу за дорогое ему стремленіе къ истинѣ и совершенству. Бывъ попечителемъ университета, я поставилъ себѣ главною задачею поддерживать всѣми силами то, что я именно привыкъ любить и уважать въ молодости. Съ искреннимъ довѣріемъ къ ней, съ полною надеждою на успѣхъ, безъ страха и безъ задней мысли, я принялся за трудное, но высокое и благородное дѣло. И могъ ли я иначе за него взяться, когда, помня и любя время моего образованія въ четырехъ университетахъ, я живо вспоминалъ и тѣ стремленія, которыя меня тогда одушевляли; вспоминая, уважалъ ихъ въ себѣ. Я невольно переносилъ ихъ и на васъ,—и въ васъ любилъ и уважалъ то же самое, что привыкъ любить и уважать въ самомъ себѣ. И теперь, разставаясь съ вами, я объявляю гласно, что за все время моего попечительства ни разу не раскаялся въ образѣ моихъ дѣйствій. Частные случаи, какъ бы они ни клонились не въ нашу пользу, ни однажды не поколебали моего довѣрія къ цѣлой корпораціи студентовъ, потому что частныя проявленія неизбежнаго зла не должны, по моимъ понятіямъ, служить причиною къ уничтоженію добра.

Я былъ приготовленъ къ тому, что меня не вдругъ вы поймете, и еще менѣе поймутъ ваши отцы или цѣлое общество. Это лежало въ порядкѣ вещей. Судятъ не по намѣреніямъ, а по результатамъ. А результаты въ такихъ дѣлахъ обнаруживаются не скоро, не безъ препятствій и не безъ толковъ, распространяемыхъ незнаніемъ, близорукостью, подозрѣніемъ и мелочными страстями. Я зналъ, что истина моихъ убѣжденій разъяснится не разомъ для всѣхъ, а между тѣмъ встрѣтится много такого, что будетъ говорить противъ меня и заслужить порицаніе тѣхъ, которые думаютъ перейти отъ одного порядка вещей къ другому, противоположному, измѣнивъ только внѣшнюю обстановку, или тѣхъ, которые вовсе ничего не думаютъ. Я зналъ, что немногіе раздѣляютъ мой взглядъ на университетскую молодежь и университетскую жизнь вообще; зналъ, наконецъ, и то, что меня будутъ обвинять въ слабости, въ неумѣнii и въ гонѣбѣ за популярностью; но все это не могло измѣнить моихъ глубокихъ убѣжденій,

не могло остановить моихъ дѣйствій, основанныхъ на любви и уваженіи къ молодости, на довѣріи къ ея благородству мыслей и стремленію къ правдѣ. Не вѣрить въ это я не могъ, потому что не могъ ни сдѣлаться, ни казаться не мною. Это значило бы для меня перестать жить. Я остался мною и, разставаясь съ вами, уношу тѣ же убѣжденія, которыя принесъ къ вамъ, которыхъ никогда и ни отъ кого не скрывалъ, потому что считалъ преступнымъ скрывать начала, служившія основаніемъ моихъ дѣйствій. Надѣюсь, вы успѣли также убѣдиться, что я основывалъ мои отношенія къ вамъ на томъ же нравственномъ довѣріи, котораго имѣлъ право требовать и отъ васъ, потому что дѣйствовалъ прямо, и знаю, что на молодость нельзя дѣйствовать иначе, какъ пріобрѣвъ ея полное довѣріе. Вы увѣрились, полагаю, что я водворялъ между вами уваженіе къ закону, долгу и власти не угрозами, не преслѣдованіемъ, не скрытно, а прямымъ и гласнымъ убѣжденіемъ и примѣромъ. Я не приказывалъ, а убѣждалъ, потому что заботился не о внѣшности, а о чувствѣ долга, которое признавалъ въ молодости, также какъ и всѣ другія высокія стремленія духа. Наконецъ, вы—думаю—увѣрились, что для меня всѣ вы были одинаково равны, безъ различія вашихъ національностей. Въ моихъ глазахъ, университетъ, служащій вамъ мѣстомъ образованія, не могъ быть мѣстомъ другихъ стремленій, кромѣ научныхъ. Поэтому-то я также искренно желалъ и вашего сближенія съ представителями науки въ университетѣ, нарушеннаго, къ сожалѣнію, временемъ и обстоятельствами. Но, не различая вашихъ національностей предъ лицомъ науки, я никогда не мечталъ о слитіи васъ въ одно цѣлое, избѣгалъ раздражать самолюбіе и навязывать вамъ такія убѣжденія, которыхъ у васъ не могло быть, потому что гнушался притворствомъ и двуличіемъ. Я твердо вѣрилъ, что одно взаимное довѣріе и примѣръ водворяетъ между вами законность и порядокъ. Законность и порядокъ упрочать нравственную свободу университетской жизни. Эта свобода развиваетъ самостоятельность и любовь къ наукѣ, которая, въ свою очередь, представитъ университетъ въ нашихъ глазахъ чуждымъ всѣхъ постороннихъ стремленій. Нѣсколько для меня знаменательныхъ фактовъ доказали мнѣ, что мои убѣжденія,

мои надежды—не обманули меня, и взаимное довѣріе, которое я клалъ за основу моихъ дѣйствій, обнаруживаясь не разъ, награждало мои труды и заботы. И если я заслужилъ, чтобы вы меня помнили, то это докажутъ всего болѣе тѣ изъ васъ, которые, сохранивъ въ памяти мой взглядъ на университетъ, оправдываютъ своею жизнью мое довѣріе, любовь и уваженіе къ вашей молодости. А я, разставаясь съ вами, прежде чѣмъ успѣлъ достигнуть моей цѣли, буду имѣть утѣшеніе въ томъ, что оставался вѣрнымъ моимъ началамъ, и буду счастливъ тѣмъ, что если и не довелъ еще ни одного изъ васъ до истиннаго счастья, то, по крайней мѣрѣ, ни одного не сдѣлалъ, по моей волѣ, несчастнымъ.

Итакъ, прощайте. Служите вѣрно наукѣ и правдѣ, и живите такъ, чтобы, состарѣвшись, могли безупречно вспоминать вашу и уважать чужую молодость.

III.

При прощаніи его съ г. Клевымъ.

Мм. гг.! То, что мнѣ теперь предстоитъ, сходно съ тѣмъ, что для меня прошло.

Позднею весною, послѣ продолжительной и суровой зимы, я буду орать и засѣвать мои поля ¹⁾, запущенныя, засоренныя плевелами и съ закопавшейся вблизи саранчею.

Я буду трудиться въ потѣ лица, буду разрыхлять и очищать землю; постараюсь дѣлать все какъ можно раціональнѣе, замѣню крѣпостной трудъ свободнымъ, буду обходиться и съ рабочими какъ съ людьми вольными, а не крѣпостными.

Но, разумѣется, законовъ природы и необходимости этимъ не измѣню.

Растаявшій ледъ превратится въ потоки воды, которые во многихъ мѣстахъ разнесутъ мои сѣмена; саранча выведется тамъ, гдѣ она не была разрушена плугомъ и воздухомъ; рабочіе не сразу поймутъ, что для нихъ лучше такъ работать, чѣмъ попрежнему.

¹⁾ Н. И. отправлялся въ деревню.

И, можетъ быть, мои труды и заботы не удадутся на первый разъ. Это, конечно, не остановить меня, потому что я знаю, отчего сразу не можетъ все идти хорошо.

Но найдутся, безъ сомнѣнія, и тутъ люди, которые скажутъ, что причина, почему у меня не все взошло, не потоки воды, разнесшіе мои сѣмена, не ледяная кора, покрывавшая слишкомъ долго землю, и даже не саранча, которая закопалась еще до меня, а то, что я началъ обрабатывать мои поля не по прежней рутинѣ и слишкомъ скоро замѣнилъ крѣпостной трудъ свободнымъ.

Бывъ попечителемъ, я также оралъ и засѣвалъ мое поле позднюю весною, едва оттаявшее отъ лучей вѣшняго солнца; на немъ была еще ледяная кора; въ немъ была закопавшаяся саранча; трудъ не былъ свободный и прибыльный для обѣихъ сторонъ.

Мудрено ли, что могли и тутъ найтись такіе, которые не въ законахъ необходимости, не въ порядкѣ вещей искали причину, почему мое поле не такъ скоро дало обильную жатву?

Но неужели же я долженъ былъ остановиться, слушая толки и не вѣря болѣе въ то, что зналъ вѣрно; неужели долженъ былъ измѣнить весь планъ моихъ дѣйствій, промѣнять раціональность и здравый смыслъ на рутину и безсмысліе?

Кѣмъ былъ бы я тогда въ глазахъ передовыхъ людей, мнѣніемъ которыхъ дорожу, и, — главное, — кѣмъ былъ бы я тогда въ собственныхъ глазахъ моихъ?

Теперь, когда я начну у себя хозяйничать, я долженъ буду прежде всего позаботиться о кредитѣ; мнѣ необходимо довѣріе тѣхъ, съ кѣмъ я буду вести мои дѣла.

Но если кредитъ и взаимное довѣріе теперь необходимы для меня, какъ для будущаго хозяина, то не болѣе ли они мнѣ были нужны, когда я былъ попечителемъ?

Что могъ я сдѣлать существеннаго, не заслуживъ сначала полнаго нравственнаго довѣрія тѣхъ, которыхъ главная обязанность — проводить убѣжденія, и тѣхъ, на кого я долженъ былъ дѣйствовать путемъ убѣжденія?

Вотъ это-то полное нравственное довѣріе я и старался всѣми силами водворить и между старыми, и между молодыми. Но для этого я долженъ былъ дѣйствовать прямо и откровенно. Въ краѣ, гдѣ постоянно нужно сообразоваться съ раз-

личіемъ національностей, я не могъ не быть ровень и одинаковъ со всѣми и строго безпристрастенъ, желая добра и правды всѣмъ безъ различія.

Въ моихъ глазахъ попечитель есть не столько начальникъ, сколько миссіонеръ. Онъ долженъ не приказывать, а убѣждать. Иначе, въ трудныхъ обстоятельствахъ, когда ему понадобится серьезный трудъ его подчиненныхъ, когда нужно будетъ сдѣлать воззваніе къ ихъ чувству долга и законности, къ благородству и достоинству человѣка, онъ не можетъ разсчитывать ни на себя, ни на другихъ.

Таковъ мой взглядъ. Онъ не могъ не казаться страннымъ и даже, можетъ быть, опаснымъ. Я это очень хорошо зналъ всегда. Но не мною я быть не могъ. И мнѣ оставалось идти, не отступая, предоставивъ Провидѣнію рѣшить, кто крѣпче: препятствія ли, которыя я долженъ былъ встрѣтить, или я самъ.

Слѣдуя моему взгляду, мнѣ нужно было дѣйствовать и на учащуюся молодежь, и на самихъ наставниковъ. Общество, отцы, сограждане—имѣли полное право требовать отчета въ моихъ дѣйствіяхъ: хвалить и порицать

А тогда можно ли было обойтись обществу, составленному изъ нѣсколькихъ національностей, безъ разнорѣчій, ложныхъ слуховъ и неправильныхъ толкованій?

Но долженъ ли я былъ имъ подчиниться и исказить мой образъ дѣйствій для того только, чтобы утѣшать себя обманчивою тишиною, пассивнымъ безмолвіемъ и кажущимся порядкомъ?

Ученіе и распространеніе научныхъ истинъ я считалъ за священнодѣйствіе и глубоко уважалъ истинныхъ наставниковъ. Но и въ слабыхъ я чтилъ человѣческое достоинство и личность. Въ молодыхъ людяхъ я любилъ и уважалъ молодость, потому что хорошо помнилъ свою.

На этомъ уваженіи, которое я заявлялъ открыто и гласно, основывалъ я и то взаимное нравственное довѣріе наставниковъ и учащихся, которымъ начиналъ уже пользоваться, но не для себя, а въ интересахъ университета и цѣлаго общества этого края.

Я твердо зналъ, что необдуманые порывы молодости и

поступки, противорѣчащія законамъ нравственности, будутъ исчезать сами собою, по мѣрѣ того, какъ возрастетъ еще сильнѣе довѣріе, а съ нимъ вмѣстѣ и значеніе нравственной власти.

Я зналъ, что гдѣ господствуетъ сила убѣжденія, тамъ исчезаетъ произволъ съ его волнующими слѣдствіями.

Я не могъ дожидаться этого счастливаго времени; но вамъ, мм. гг., членамъ общества, предстоитъ,—если вы вполне раздѣляете мои взгляды и сочувствуете моимъ убѣжденіямъ,—поддержать данное мною направленіе вашимъ мнѣніемъ, вашимъ просвѣщеннымъ содѣйствіемъ и любовью къ общему благу.

IV.

При посѣщеніи имъ, на пути въ деревню, бердичевскаго казеннаго еврейскаго училища 2-го разряда.

Милостивые государи! Всякому, кто искренно любитъ людей, вѣрно, не разъ приходилъ на мысль вопросъ: откуда происходитъ недружелюбіе, вражда и ненависть одной націи противъ другой? Начало этихъ чувствъ было бы естественно и извинительно, если бы оно происходило отъ того, что одна нація ненавидѣла бы другую или даже всѣ націи—за взгляды и убѣжденія, противныя человѣчности и стремленію къ истинѣ.—Но какая изъ націй можетъ похвалиться, что всѣ ея убѣжденія дѣйствительно основаны на этихъ двухъ высшихъ стремленіяхъ? и какую можно порицать за то, что всѣ ея убѣжденія совершенно имъ противны? Различіе въ убѣжденіяхъ религіозныхъ есть также только кажущаяся причина междунациональной вражды. Она обыкновенно служитъ только предлогомъ. Мнѣ кажется, что причина есть та же самая, которая производитъ несогласіе, зависть и вражду между различными классами одного и того же народа. Бѣдный классъ завидуетъ богатому; богатый презираетъ бѣднаго; сильный—слабаго; короче, причина лежитъ въ началѣ сословномъ, глубоко вкоренившемся въ человѣческое общество—до того, что каждая нація въ глазахъ другой представляетъ собою и другое, враждебно настроенное, сословіе. Не подтверждаетъ ли этого и исторія?

Не въ тѣ ли времена, когда духъ вастъ былъ господствующимъ, когда сословія рѣзко отличались одно отъ другого, не въ тѣ ли, — говорю, — времена, замѣчалась и самая сильная вражда христіанскаго общества противъ евреевъ? Не въ тѣхъ ли обществахъ евреи могутъ всего болѣе ожидать сближенія и дружбы и правоуравненій, въ которыхъ сословное начало уже замѣтно ослабѣло? Вы, милостивые государи, выражаете мнѣ сочувствіе за то, что я самъ сочувствовалъ еврейской націи. Но это не заслуга, это лежитъ въ моей натурѣ: я не могъ дѣйствовать противъ себя самого. Съ тѣхъ поръ, какъ я выступилъ на поприще гражданственности путемъ науки, мнѣ всего противнѣе были сословныя предубѣжденія, и я невольно перенесъ этотъ взглядъ и на различія національныя. Какъ въ наукѣ, такъ и въ жизни, какъ между моими товарищами, такъ и между моими подчиненными и начальниками, я никогда не думалъ дѣлать различія въ духѣ сословной и національной исключительности. Эти же убѣжденія я перенесъ и на евреевъ, когда, по обстоятельствамъ жизни и службы, вступилъ въ прикосновеніе съ ихъ обществомъ. Эти же убѣжденія, какъ слѣдствіе моего образованія, выработавшись цѣлою жизнью, сдѣлались для меня уже второю натурою, и не покинутъ меня до конца жизни!

ИЗЪ ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

РАЗГОВОРЪ МИРОВОГО ПОСРЕДНИКА О КРЕСТЬЯНСКОМЪ ДѢЛѢ СЪ ЛЮБО-
ПЫТНЫМЪ И НЕДОВОЛЬНЫМЪ.

Любопытный. Что вы думаете начать весною?

Недовольный. Сложивъ руки, сидѣть у моря и ждать погоды.

Любоп. Помилуйте, въ такомъ имѣніи, какъ ваше, оставить все на произволъ! Вы шутите?

Недов. Нисколько. Развѣ можно теперь на что-нибудь рассчитывать? Развѣ можно знать, будутъ ли крестьяне выходить на работы? Развѣ можно знать, какія будутъ цѣны, когда придется нанимать рабочихъ?

Любоп. Да неужели вы не знаете, что чѣмъ дороже будетъ стоить обработка полей, тѣмъ дороже будутъ произведенія земли, и, платя дороже за работу, вы выручите и болѣе при продажѣ всякихъ продуктовъ?

Недов. Ничего не бывало. У насъ цѣна на главный нашъ продуктъ—пшеницу—устанавливается не нами и не зависитъ отъ нашихъ издержекъ на обработываніе полей а заграничною торговлею. Цѣны на пшеницу опредѣляетъ намъ Одесса. Три года тому назадъ у насъ было мало пшеницы,—ее всю почти съѣла ржа, а цѣны на нее тогда были все-таки низкія, потому что въ Одессѣ на нее мало было требованій.

Любоп. Но согласитесь, что, какъ бы требованія въ Одессѣ ни были малы, все-таки четверть пшеницы не продается здѣсь, на мѣстѣ, дешевле 4 руб. 40 коп. или 3 руб. сер. за корецъ. Ну, а при такой цѣнѣ, согласитесь, все-таки десятина вамъ

принесетъ отъ 9 р. 50 к. до 10 р., по очень простому разсчету. Вы заплатите, положимъ, хотя 6 рублей за оранку (три раза вспашете по 2 рубля за десятину), три раза взбороните— вотъ еще 1 р. 50 к., на сѣмена положите 6 рублей въ десятину, сѣятелю заплатите 30 к., одинъ разъ еще заволочите за 50 к., скосите десятину хоть за 60 к.; получите, положимъ, самый посредственный урожай въ 10 копъ и посредственный умолотъ въ 5 четвертей и выручите за это 27 рублей на мѣстѣ; вычтите изъ этого 14 р. 40 к. за обработку земли и косовицу, 1 р. 25 к. за вязанку сноповъ (по 12¹/₂ к. за копу), 75 к. за возовицу и столько же за молотъбу, разумѣется, машиною; слѣдовательно, еще 2 р. 75 к.—на все 17 р. 15 к., и вотъ вамъ десятина уже дала около 10 р. Согласитесь, что я цѣны рабочимъ клалъ не маленькія, вы вѣрно найдете за нихъ довольно еще охотниковъ, и если вы не мечтаете о 20⁰/₀ и болѣе,—то вы все-таки будете не въ накладѣ. Зачѣмъ же унывать и съ отчаянія складывать руки?

Недов. Но вы забыли паровое поле; положите его также на счетъ; тогда выйдетъ, что не десятина, а двѣ дадутъ дохода 9 или 10 рублей, да отсчитайте еще отъ этого, сколько нужно для обработки одной десятины и ярового, которая вамъ дохода или вовсе ничего не приноситъ, или дастъ рубля 2, не болѣе. А содержаніе скота, прислуги, экономическихъ построекъ? Развѣ—вы думаете—можно, въ самомъ дѣлѣ, теперь разсчитывать на то, что вы въ-время найдете наемные плуги и столько, сколько ихъ нужно? Нѣтъ, любезнѣйшій, теперь безъ своего скота, безъ годовой прислуги, безъ своихъ плуговъ, нельзя пускаться въ спекуляціи на производительность земли. На повѣрку и выйдетъ, что вашъ 10-рублевый доходъ съ десятины разлетится на всѣ стороны.

Любоп. Но кто же вамъ мѣшаетъ завести сѣвооборотъ, уничтожить вовсе паръ—остатокъ допотопныхъ временъ земледѣлія? Наймите годовичную прислугу,—для этого вамъ стоитъ только обратиться въ волости казенныхъ селеній, и вы тотчасъ же можете заключить контрактъ по цѣнамъ вовсе не такъ высокимъ; да найдутся даже охотники и изъ временно-обязанныхъ крестьянъ вашего имѣнія. Я слышалъ, что въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ это уже дѣлается. Повѣрьте мнѣ, я хотя самъ

и не хозяинъ, но меня интересуеъ хозяйство; и я разузналъ, что, взявшись за дѣло съ умомъ, можно и теперь еще извлечь большія выгоды изъ земледѣлія.

Недов. И по всему замѣтно, что вы сами никогда не были у насъ хозяиномъ, а то вы бы перестали мечтать о сѣвооборотѣ и плодосмѣнѣ. Какой тутъ плодосмѣнъ, когда крестьяне и слышать не хотятъ о разверстаніи полей! они привыкли свой скотъ пасти на господскихъ поляхъ, да они и своихъ не жалѣютъ — эту справедливость надобно отдать ихъ безпристрастію, — тягловые то-и-дѣло загоняютъ свой скотъ на пѣшадцкія поля. До плодосмѣна ли вашего теперь? Шестъ лѣтъ дано намъ для обязательнаго разверстанія полей, но пройдетъ, я думаю, и еще 6 лѣтъ — оно все-таки не будетъ кончено, а до тѣхъ поръ нечего и думать о раціональномъ хозяйствѣ. Да, наконецъ, что намъ дѣлать съ плугопольными произведеніями? Бураки на нашей почвѣ производить невыгодно: на десятинѣ родится всего 50 или 60 берковцевъ, въ заводахъ платятъ всего по 80 или 90 коп. за берковецъ съ доставкой, да и того не платятъ; уже нѣсколько заводовъ обанкротились, а 17 — и вовсе закрылись; картофель также не нуженъ; — а безъ плугопольныхъ что за плодосмѣнъ! И гдѣ прикажете для него взять навозу? Заводить скотъ для этого? Шутка! — знаете ли вы, сколько нужно имѣть скота для самаго посредственнаго хозяйства, чтобы унавоживать поля? А падежъ? А конокрадство? — Оставьте всѣ эти несбыточныя мечты, — теперь не до нихъ. Свои плуги и свою прислугу къ нимъ, точно, нужно имѣть, но менѣе 25 рублей въ годъ нельзя получить годового парубка, да и то не вездѣ найдете и за эту цѣну. Нѣтъ, игра не стоитъ свѣчъ; и вы толкуете о доходахъ потому, что сами не занимаетесь дѣломъ, а живете себѣ припѣваючи, получая спокойно 5⁰/₁₀₀ съ вашего капиталца. Будьте-ка на моемъ мѣстѣ — зацѣли бы другое.

Миров. посредн. Но позвольте вамъ замѣтить, что отъ васъ зависитъ ускорить разверстаніе полей, если бы вы дѣйствительно желали у себя ввести раціональное хозяйство. Требуйте скорѣе выкупа при содѣйствіи правительства. Подайте объ этомъ объявленіе мировому посреднику съ планомъ угодій, предназначаемыхъ для выкупа. Это объявленіе вы можете представить въ одно и то же время съ требованіемъ объ обязатель-

номъ разграниченіи угодій на основаніи мѣстнаго положенія. Разграниченіе съ требованіемъ о выкупѣ кончится, безъ сомнѣнія, прежде 6-ти лѣтъ.

Любоп. Вы увѣрены въ этомъ?

Миров. посредн. Несомнѣнно, хотя и не могу вамъ этого доказать ни одною статьею закона.

Недов. Не въ томъ дѣло; вашъ совѣтъ, можетъ быть, и хорошъ; можетъ быть, требованіе о выкупѣ и точно ускорить развязку; но не забудьте, — послѣдовавъ вашему совѣту, я потеряю 20⁰/о; а если крестьянамъ вздумается уменьшить свой надѣлъ, — такъ и 25⁰/о. А если, потерявъ 25⁰/о, я не буду еще имѣть и того утѣшенія, что выкупною суммою погроется весь банковый долгъ моего имѣнія?

Миров. посредн. Во-первыхъ, то, что вы сказали о потерѣ 25⁰/о, несправедливо: 25⁰/о вы потеряете только тогда, когда сами захотите уступить или подарить крестьянамъ, пожелавшимъ уменьшеннаго надѣла, 5⁰/о; иначе ваша потеря ограничивается только 20⁰/о. Да и тутъ, — не забудьте, — въ нашей мѣстности вы мало что потеряете. Помножьте слѣдующій вамъ оброкъ съ полевой земли 3 р. 30^к. и усадебной — 5 р. 10^к. на 16²/з, то-есть капитализируйте изъ 6⁰/о; то цѣна десятины вашей земли полевой будетъ почти 55 р., да усадебной — 102 р.; откиньте 20⁰/о, и все-таки цѣна будетъ немного менѣе, а для нѣкоторыхъ имѣній — и вовсе не менѣе той, за которую теперь продается земля въ нашихъ мѣстахъ. Итакъ, требуя выкупа при содѣйствіи правительства, вы совсѣмъ не такъ много теряете, какъ это вамъ кажется.

Недов. Но вы забываете, что, продавая мою землю по 44 или по 45 рублей за десятину, я продаю ее всю сподрядъ и беру деньги не за одну пахатную, а и за неудобную также; сюда входятъ и дороги, и рвы, и все возможное; а крестьянамъ за эту цѣну я долженъ отдать одну только удобную, пахатную землю. Это — большое различіе.

Миров. посредн. Правда, но не забудьте также, что вы, вмѣстѣ съ неудобною землею, продаете обыкновенно другому и лѣсъ по этой же цѣнѣ, а крестьянамъ вы лѣса не дадите на выкупъ, да еще возьмете и за усадебную вдвое больше, чѣмъ за полевую.

Недов. Не говорите мнѣ про лѣсъ; это — мертвый капиталъ, гдѣ нѣтъ вблизи сахарной фабрики; крестьяне его также не возьмутъ вмѣсто пахатной земли; а про усадьбы напрасно вы думаете, что онѣ высоко оцѣнены: я за мои не взялъ бы и 200 руб. за десятину, если бы пришлось ихъ продавать не вмѣстѣ съ другою землею. Всѣ съ фруктовыми садами.

Любоп. Да, мнѣ одинъ помѣщикъ сказывалъ, что онъ самъ далъ бы своимъ крестьянамъ по 200 руб. за десятину усадьбы, если бы они отказались отъ своихъ любезныхъ садыбъ.

Миров. посредн. Послушайте, господа, вы не хотите понять, что, сдѣлавъ даже уступку и потерявъ дѣйствительно нѣсколько процентовъ, — 20⁰/о вы не потеряете ни въ какомъ случаѣ, — вы окончательно устроите и вашъ, и крестьянскій бытъ. Неужели вы не убѣждаетесь съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе, что нѣтъ другой раціональной развязки всему дѣлу, что безъ этого намъ дѣйствительно придется сидѣть у моря, сложа руки, и ждать погоды или, лучше, непогоды? Можно ли обойтись безъ жертвъ? Но изъ всѣхъ жертвъ это — самая раціональная и самая справедливая.

Недов. Гдѣ же тутъ раціональность и справедливость, когда крестьяне и слышать не хотятъ ни о разверстаніи, ни о выкупѣ, ни объ оброкѣ, — ни о чемъ, — и съ пассивнымъ упорствомъ отвергаютъ все, чтò имъ предлагаютъ къ улучшенію ихъ быта? Можно ли тутъ что-нибудь предпринять и на что-нибудь рѣшиться, когда они не хотятъ вступать ни въ какіе переговоры, ожидая чего-то въ родѣ второго пришествія, — и когда всѣ увѣщанія ваши, гг. мировые, ничего не помогаютъ?

Миров. посредн. Именно поэтому я и совѣтую вамъ: требуйте выкупа безъ ихъ согласія.

Любоп. Но, позвольте замѣтить, — кажется, „добровольное соглашеніе“ было признано главнымъ началомъ новаго порядка вещей?

Миров. посредн. Это — идеаль, къ которому должно стремиться; но у недостигнувшихъ его законъ не отнимаетъ средства дѣйствовать и другимъ путемъ, не такъ удобнымъ, но, тѣмъ не менѣе, ведущимъ къ цѣли.

Недов. Вашъ идеаль такъ поставленъ, что крестьянамъ, очевидно, выгоднѣе его не достигать. Согласись они, на примѣръ,

со мною о выкупѣ, и имъ придется мнѣ приплачивать 20⁰/₀ за землю. А, съ моей стороны, уговаривать ихъ на соглашеніе, значить—ихъ обманывать; если выкупъ, какъ вы говорите, такъ необходимъ для меня, то послѣ добровольнаго соглашенія съ крестьянами мнѣ придется сдѣлать одно изъ двухъ: или взять съ нихъ понапрасну то, чего бы они, зная все дѣло хорошенько, мнѣ не дали; или разыграть роль великодушнаго и простить имъ 20⁰/₀, вытянувъ у нихъ сначала согласіе. Я не хочу быть ни обманщикомъ, ни шарлатаномъ..

Миров. посредн. Новый аргументъ и, съ вашей точки зрѣнія,—въ мою пользу. Требуйте выкупа, безъ соглашенія.

Любоп. Но какъ же,—позвольте узнать,—можно требовать выкупа, когда крестьяне не соглашаются перейти на оброкъ? Въдѣ содѣйствіе правительства распространяется только на крестьянъ, состоящихъ на оброкѣ?

Миров. посредн. Повѣрьте,—есть средства перевести крестьянъ на оброкъ, и съ очевидною для нихъ выгодною, лишь бы только помѣщики искренно убѣдились, что выкупъ есть единственная мѣра, и не слишкомъ бы боялись необходимыхъ пожертвованій.

Любоп. А! вы, вѣрно, хотите сказать о предложенномъ недавно средствѣ: не называть оброкъ оброкомъ, а податью, и предоставить ее собирать правительству въ пользу помѣщиковъ? Это, кажется, дѣйствительно соответствуетъ болѣе воззрѣнію крестьянъ на новое земское дѣло.

Недов. Ахъ, сдѣлайте одолженіе, избавьте меня отъ воззрѣній. Когда рѣчь пойдетъ о воззрѣніяхъ, тогда нѣтъ суда и правды; всякій и всѣ—мы будемъ правы; у каждаго найдется свое, и каждый будетъ справедливъ съ своей точки зрѣнія; и что такое тогда истина?

Любоп. Да вы задаете Пилатовскій вопросъ, на который онъ не получилъ отвѣта.

Недов. Именно потому, что увлекался воззрѣніями толпы, и не видѣлъ Истины, которая была передъ нимъ.

Миров. посредн. Господа, вы уклоняетесь отъ предмета и переходите въ область, для меня вовсе недоступную. Я не знаю, съ чего вы вздумали, что хочу предложить мѣру, осуществленіе которой мнѣ вовсе непонятно! Неужели вы, въ

самомъ дѣлѣ, не видите ея недостатковъ, которые кидаются прямо въ глаза? Вѣдь дѣло идетъ о томъ, сколько я понимаю, какъ бы долженъ былъ законъ удовлетворить народному воззрѣнію, или, по-просту сказать, какъ бы подъ него поддѣлаться. Народъ,—говорятъ,—убѣжденъ, что земля есть общее достояніе всего народа, и всякій имѣетъ право на пользованіе ею. Но одно изъ двухъ: или это воззрѣніе дѣйствительно такъ сильно, такъ вкоренено и такъ распространено въ цѣломъ народѣ, что законъ долженъ былъ его признать,—или нѣтъ. Въ первомъ случаѣ нечего и толковать: народу нечего выкупать свое достояніе или платить за пользованіе имъ; пусть онъ платитъ за себя однѣ подушныя или другія подати; но, конечно, уже не помѣщикамъ, не землевладѣльцамъ, которыхъ по этому воззрѣнію не существуетъ, а государству, которое въ этомъ случаѣ не имѣетъ никакой обязанности выплачивать собранныя съ народа подати помѣщикамъ, въ видѣ ренты. Во второмъ случаѣ, когда государственное начало, выработанное исторіею народа, такъ мощно, что не нуждается сообразоваться въ законодательствѣ съ народнымъ воззрѣніемъ, это воззрѣніе переходитъ въ область народной фантазіи. Скажите что случилось бы съ законодательствомъ и со всѣми науками и искусствами, еслибы государство своими законами и распоряженіями должно было поддѣлываться подъ всѣ народныя воззрѣнія, повѣрья и преданія? Вы знаете, напримѣръ, какъ нашъ народъ не любитъ землемѣрія; вы, вѣрно, слышали повѣрье, что земля не терпитъ желѣза, народъ приписываетъ и неурожаи желѣзу, когда оно слишкомъ сильно изрѣжетъ бѣдную землю.—Наше же правительство, принявъ въ принципѣ право крестьянъ на пользованіе землею за повинности и на пріобрѣтеніе ея въ собственность за плату, тѣмъ самымъ выразило, что оно несогласно съ вашимъ народнымъ воззрѣніемъ; а, съ другой стороны, и самый народъ, какъ мнѣ кажется, имѣетъ не совсѣмъ то воззрѣніе, которое ему приписываютъ,

Любоп. А какъ же вы объясните, что крестьяне, получивъ личную свободу, не хотятъ выбирать ни издѣльной повинности, ни оброка въ уплату за землю, назначенную въ ихъ пользованіе?

Миров. посредн. Во-первыхъ, временно-обязанные кре-

стьяне, какъ это доказываетъ уже ихъ названіе, не получили еще полной личной свободы. Девять лѣтъ еще они обязаны держать въ своемъ пользованіи за повинности участокъ коренного надѣла, и отказаться отъ него или выйти изъ общества, — т.-е. пользоваться вполнѣ личною свободою, — имѣютъ право только тѣ изъ нихъ, которые приобрѣтутъ извѣстную часть надѣла въ собственность; а до тѣхъ поръ они все еще остаются связанными съ землею. Во-вторыхъ, крестьяне отказываются избирать оброкъ или повинность, дѣйствительно, потому, что имѣютъ свое воззрѣніе на землю, которою пользуются, но не совсѣмъ такое, какъ вы утверждаете.

Недов. Да они просто-на-просто думаютъ, что вся земля ихъ, а мы остаемся покуда такъ, за штатомъ, чтобы платить за нихъ повинности въ казну.

Миров. посредн. Правда, и такія мысли бродятъ въ народѣ, но не у всѣхъ. А если и во всей Россіи повторяется одно и то же съ уставными грамотами, то все-таки одного и того же общаго воззрѣнія на землю я не находилъ у всѣхъ крестьянъ въ моемъ участкѣ, и думаю, что и другіе посредники также его не находили. Одни изъ здѣшнихъ крестьянъ, напримѣръ, вовсе не отвергаютъ, что земля принадлежитъ помѣщикамъ, и именно тамъ, гдѣ имѣніе, на ихъ памяти, было нѣсколько разъ перепродано изъ рукъ въ руки, тамъ они увѣрены, что земля покупалась помѣщикомъ вмѣстѣ съ ними. Въ другихъ селеніяхъ я слышалъ отъ крестьянъ, что земля — царская; но это мнѣніе они никогда мнѣ не передавали какъ ихъ собственное: одни говорили, что имъ это сказали москаль (солдаты), которые не хотѣли уйти съ ихъ огородовъ подъ предлогомъ, что это земля не ихъ, а царская; другіе рассказывали, что цыганка пришла въ хату, сѣла на полъ и никакъ не хотѣла сѣсть на лавку, потому, — говорила она, — что сидитъ на землѣ царской; а если цыганка-ворожея это сказала, то уже, должно быть, она про то навѣрное знала. Въ иныхъ мѣстахъ опять крестьяне говорили, что отцы и дѣды ихъ на той же землѣ сидѣли и ее „зарobili“. Но нигдѣ я не слышалъ отъ нихъ, что земля есть собственность всего народа, т.-е. ничья.

Любоп. Какъ же это ничья? Поэтому вы народъ считаете ни за что?

Миров. посредн. Нѣтъ, не потому ничья, что народъ ничто; а потому, что быть собственностью всѣхъ — по-моему, значить быть ничьимъ, и тогда собственность была бы уже не воровствомъ, а прелюбодѣянiемъ. Личная собственность такъ близка сердцу человѣка, что и теперь, при взглядахъ на нее крестьянъ, еще вовсе не такъ установившихся, какъ это думаютъ, проглядываетъ у нихъ сильное желанiе имѣть положительно что-нибудь свое, что бы лично ему принадлежало. У насъ крестьянинъ иногда платитъ другому 4 или 5 цѣлковыхъ за хату, выстроенную помѣщикомъ, и твердо увѣренъ, что хата уже его, хотя помѣщикъ и считаетъ, что онъ заплатилъ другому только за право пользованiя ею. Попробуйте нашимъ крестьянамъ предложить вычистить общими силами ихъ же сѣнокосъ въ лѣсу; они не согласятся. Почему? Потому — говорить каждый изъ нихъ, — что я такъ, пожалуй, вычищу сѣнокосъ другого, а другой не придетъ и не вычиститъ моего. Лучше, — говорятъ, — чисти каждый у себя, какъ знаетъ.

Любоп. Значитъ, вы отвергаете пользу и необходимость для нашего народа общиннаго пользованiя землею?

Миров. посредн. Если общинное пользованiе землею такъ укоренилось въ воззрѣнiяхъ нашего народа, то не мнѣ отвергать его необходимость. Его нужно признать за существующiй уже фактъ. Мнѣ мало извѣстны тѣ мѣстности, въ которыхъ община уже организована съ давнихъ временъ; здѣсь же, у насъ, я не нахожу ясно развитого понятiя у крестьянъ объ общинномъ пользованiи землею. Правда, здѣсь существуетъ „громада“; говорится: „громада — великъ человѣкъ“; земля „громадская“; но это говорится не про одну землю, — говорятъ и про скотъ „громадскiй“, т. е. крестьянскiй, въ отличiе отъ помѣщичьяго. Здѣсь, когда сынъ женится, первая его забота — какъ бы отдѣлаться отъ отца и получить свой грунтъ. Но оставимъ эти разсужденiя; я не берусь вамъ доказывать, что полезнѣе и необходимѣе для быта нашихъ крестьянъ: общинное ли или личное владѣнiе и пользованiе землею. Я хотѣлъ только вамъ доказать, что воззрѣнiя крестьянъ на землю не вездѣ у насъ одни и тѣ же. Я не отвергаю, впрочемъ, что почти вездѣ у крестьянъ проявляется желанiе видѣть себя собственникомъ той земли, которую они столько времени орошали своимъ потомъ,

—желаніе, доходящее у многихъ и до убѣжденія, что эта земля уже „зароблена“ ихъ отцами. Но иначе и не могло быть. Прикрѣпите человѣка къ вещи, и чрезъ нѣсколько времени человѣкъ скажетъ: эта вещь моя, потому что она была ко мнѣ прикрѣплена. Но если здѣсь и существуетъ такое воззрѣніе въ народѣ, то оно, очевидно, не то, что будто земля есть коллективное достояніе всего народа. И, наконецъ, возвращаясь опять къ той мѣрѣ, которая будто-бы должна удалась, потому что прямо соотвѣтствуетъ воззрѣнію народа, — я позволяю себѣ замѣтить, что эта мѣра заставила бы правительство говорить народу одно, а помѣщикамъ — другое.

Недов. Правительство не имѣетъ надобности ничего говорить ни народу, ни помѣщикамъ, а прямо дѣйствовать, какъ оно считаетъ нужнымъ для общей пользы.

Миров. посредн. Но оно, собирая съ крестьянъ оброкъ, назоветъ его подушною податью, а отдавая его помѣщикамъ, назоветъ рентою за землю; а потому вопросъ: чья земля? — этимъ самымъ будетъ рѣшенъ для крестьянъ — въ ихъ, а для помѣщиковъ — въ ихъ пользу, и то именно, что должно быть окончательно и навсегда рѣшено, останется тѣмъ, чѣмъ оно есть теперь: крестьяне будутъ думать о землѣ по-своему, а помѣщики — по-своему. Скажите: развѣ такое положеніе дѣла можетъ быть выгодно для государства? И развѣ такая двусмысленная роль прилична власти, которая должна рѣшить дѣло положительно, по сущей правдѣ, и такъ, какъ лучше для общей пользы?

Любоп. Какая же ваша мѣра? Нельзя же оставить все дѣло въ такомъ положеніи, какъ теперь, когда крестьяне не пристають ни на оброкъ, ни на издѣльную повинность, и не принимаютъ уставныхъ грамотъ?

Недов. Говорятъ: „мы будемъ робить панщину до времени“, — а на работу не идутъ.

Миров. посредн. Платите, и будутъ ходить.

Недов. А если игра не стоитъ свѣчъ?

Миров. посредн. Окончить начатое дѣло чего-нибудь да стоитъ.

Любоп. Такъ неужели ваша мѣра состоитъ только въ томъ, чтобы платить за работу?

Миров. посредн. Имено въ этомъ. Гдѣ крестьяне не хотятъ переходить съ барщины на оброкъ, тамъ нѣтъ другого средства имъ доказать выгоду оброка и сдѣлать ихъ оброчными.

Недов. Это будетъ очень выгодный оброкъ для помѣщика; вмѣсто того, чтобы получить съ крестьянъ за землю, вы будете еще имъ платить за работу.

Миров. посредн. Платите за каждую работу по вольнымъ цѣнамъ, опредѣляя ихъ по совѣсти или по взаимному соглашенію, и высчитывайте изъ отработанныхъ денегъ—сколько приходится на каждого крестьянина уплатить за землю. Это будетъ не чтѣ иное, какъ оброкъ.

Недов. Да это будетъ также своего рода двусмысленность, въ которой вы укоряете другую,—не вашу мѣру.

Миров. посредн. Законъ дозволяетъ, по обоюдному соглашенію, отбывать помѣщику, вмѣсто платимаго оброка, работою. А хотите еще точнѣе исполнить букву закона—уплатите крестьянину всю заработанную имъ сумму сполна, по вольнымъ цѣнамъ, и требуйте, чтобы онъ и вамъ заплатилъ за землю, по закону. Вы увидите, что у него останутся еще, за уплатою, въ рукахъ деньги, и онъ не останется въ накладе. А это—главное для него.

Любоп. Я слышалъ и объ этой мѣрѣ; но она, мнѣ казали, не удалась одному помѣщику; крестьяне все-таки не хотѣли считать себя оброчными.

Миров. посредн. Но брали ли они отъ него деньги по вольнымъ цѣнамъ, разсчитываясь съ нимъ?

Любоп. Конечно, брали, и были очень довольны, но потомъ, когда слышали, что ихъ признають всѣ оброчными, то не хотѣли-было и брать.

Недов. Вотъ вамъ и ваша мѣра.

Миров. посредн. Какъ! всѣ не хотѣли брать?

Любоп. Нѣтъ, говорятъ, не всѣ.

Миров. посредн. Ну, такъ, повѣрьте, всѣ возьмутъ, подумавши; только не принуждайте, не уговаривайте, и дѣло маленьку уладится само собою.

Любоп. Странно, что вы—сами мировой посредникъ—советуете не уговаривать, не убѣждать людей, столько нуждающихся въ убѣжденіи.

Миров. посредн. О, въ этомъ я убѣдился, что увѣщанія крестьянъ въ дѣлахъ, касающихся до ихъ собственныхъ выгодъ, не ведутъ къ цѣли. Крестьянинъ недовѣрчивъ, — онъ вездѣ видитъ западни; это у него и не могло быть иначе: крѣпостное право должно было вселить въ него недовѣрчивость къ помѣщикамъ и панамъ, а въ мировомъ посредникѣ, какъ бы онъ ни былъ благосклоненъ, крестьянинъ все-таки видитъ пана. Иногда, въ дѣлѣ для него новомъ, онъ не вдругъ понимаетъ выгоду; иногда притворяется нарочно, что ее не понимаетъ; но когда наличныя, добытыя имъ деньги доказываютъ ему ясно выгоду дѣла, то онъ отъ нея не откажется, и, наконецъ, убѣдится, что тутъ нѣтъ западни. Скажите, что вы слышали: перестали ли ходить крестьяне на заработки къ этому помѣщику?

Любоп. Напротивъ, онъ иногда ихъ отсылаетъ назадъ, потому что ихъ уже слишкомъ много приходитъ.

Миров. посредн. Вотъ видите. Пусть же, безъ всякихъ дальнѣйшихъ убѣжденій и переговоровъ, онъ продолжаетъ хорошо расплачиваться съ своими крестьянами, и вы увидите, что они поймутъ всю выгоду обратнаго положенія и сами привыкнутъ считать себя на оброкѣ.

Любоп. Но захочетъ ли правительство считать такихъ крестьянъ на оброкѣ?

Миров. посредн. Послушайте, вѣдь правительство, какъ это видно изъ Положенія 19-го февраля, считаетъ оброкъ для крестьянъ болѣе выгоднымъ, чѣмъ издѣльную повинность. Оно не дозволяетъ помѣщикамъ, безъ взаимнаго, и то временнаго, соглашенія, переводить крестьянъ съ оброка на издѣльную повинность; оно дозволяетъ крестьянамъ, по истеченіи двухъ-годового срока, самимъ переходить на оброкъ, не испрашивая на то согласія помѣщика; оно дѣлаетъ ссуду на выкупъ только оброчнымъ; а помѣщикъ, переводящій крестьянъ съ барщины на оброкъ, опредѣленный закономъ, очевидно, не имѣетъ въ этомъ никакой выгоды; напротивъ, терпитъ убытокъ уже и потому, что навѣрное долженъ разсчитывать на большія недоимки, если крестьяне не согласятся вмѣсто оброка отбыть ему работою. Если же все это правда, то почему бы правительство затруднялось считать крестьянъ оброчными, когда всѣ

разсчеты, да и они сами, покажутъ, что достаточно заработали денегъ не только для того, чтобы уплатить за землю, а еще и для другихъ, собственныхъ нуждъ? Скажите: въ чемъ состоитъ разумъ закона, назначающаго только однимъ оброчнымъ содѣйствіе правительства для выкупа земли?

Любоп. Мнѣ кажется, — въ томъ, чтобы правительство было обезпечено въ полученіи съ крестьянъ тѣхъ 5⁰/₀, которыми оно само будетъ уплачивать землевладѣльцамъ по кредитнымъ бумагамъ.

Миров. посредн. Да; а если землевладѣлецъ доказываетъ фактически, что крестьяне, не трогаясь съ мѣста, у него самого могутъ уже заработать столько, что уплатятъ и 6⁰/₀, и приобрѣтутъ еще для своихъ нуждъ, то что же можетъ препятствовать выкупу?

Недов. Вы все толкуете о выкупѣ, и совѣтуете его требовать съ потерю 20⁰/₀; но кто вамъ поручится, что вы не потеряете еще столько же на курсѣ кредитныхъ бумагъ?

Миров. посредн. Земля и трудъ. И я не могу повѣрить, чтобы бумаги, обезпеченныя такими двумя капиталами, сколько бы этихъ бумагъ ни было выпущено, стояли курсомъ ниже другихъ, необезпеченныхъ.

Любоп. А если и земля, и трудъ упадутъ въ цѣнѣ?

Миров. посредн. Этого не можетъ быть. Можетъ случиться, что цѣны на земли перестанутъ на время возвышаться, какъ онѣ возвышались до сихъ поръ, на нашихъ глазахъ; но этотъ застой не будетъ продолжителенъ. Всѣ, отъ мала до велика, уже убѣждены, что земля не горитъ, не тонетъ, не вывѣтривается, какъ другіе капиталы въ рукахъ акціонеровъ, и что для нея у насъ, въ Россіи, есть огромная будущность.

Любоп. Но у насъ нѣтъ здѣсь денегъ на землю: онѣ — въ рукахъ евреевъ.

Миров. посредн. Правда, евреи не имѣютъ права покупать здѣсь земли; но всего вдругъ переимѣнить нельзя; вы сами, кажется, того мнѣнія, что законы должны сообразоваться съ народными воззрѣніями.

Любоп. А вы не читали въ газетахъ, что уже и въ Англіи начинаютъ сомнѣваться въ выгодахъ земледѣлія?

Миров. посредн. Да, это уже давно замѣтно, что англій-

скіе фермеры находятъ болѣе выгоднымъ замѣнить хлѣбопашество скотоводствомъ. Но кто же будетъ препятствовать и нашимъ землевладѣльцамъ сдѣлать то же, если найдутъ это выгоднымъ?

Недов. Падежи, низкія цѣны на скоть и конокрадство.

Миров. посредн. Я вамъ на это выскажу только мое убѣжденіе: по мѣрѣ того, какъ уходъ за скотомъ у насъ будетъ дѣлаться раціональнѣе, и падежи сдѣлаются рѣже, цѣны на скоть—это мы видимъ каждый день—повышаются: теперь зимою, когда множество овса было съѣдено саранчею, вы не купите лошадь дешевле 18—20 рублей, тогда какъ прежде за нее платили только 12 или 15 рублей. Конокрадство, съ организаціею сельской и волостной полиціи, уменьшится. А хлѣбопашество и скотоводство, въ нашихъ мѣстностяхъ, какъ занятія, предназначенныя намъ природою края, все-таки возьмутъ верхъ надъ тою фабричною промышленностью, которая поддерживается искусственно, регламентаціею. Чтѣ бы вы ни приводили въ доказательство тѣхъ затрудненій, которыя встрѣчаютъ теперь наши землевладѣльцы, желающіе основать свое хлѣбопашество и скотоводство на болѣе раціональныхъ началахъ,—и недостатокъ капиталовъ, и недостатокъ въ техникахъ, и цѣны на пшеницу, устанавлиаемыя извнѣ, заграничною торговлею, и рискъ, соединенный съ переходомъ отъ 3-хъ-польнаго хозяйства къ плодосмѣну, и падежи на скоть,—и все, все это должно будетъ уступить тому, чтѣ обусловливается почвою и вообще мѣстною природою страны; она все-таки возьметъ верхъ надъ всѣми препятствіями,—это неизбѣжно. Кто прежде пойметъ эту неизбѣжность, кто настойчивѣе и тверже будетъ въ борьбѣ съ временными препятствіями, тотъ и выиграетъ. Убѣдитесь, наконецъ, господа: вы жалуетесь теперь на безденежье; жалуетесь—и скоро еще болѣе будете жаловаться—на поднимающіяся заработныя цѣны; а для чего же вы не хотите уменьшить ваши запашки? Къ чему вамъ эти огромныя поля въ 500 и 1.000 морговъ, когда вы не въ состояніи ихъ хорошо обработать? Для чего у васъ даромъ пропадаетъ навозъ, изъ опасенія, что на унавоженной землѣ вылежить ваша пшеница?—Вы жалуетесь безпрестанно мировымъ посредникамъ, что крестьяне прогуливаютъ барщинные

дни; а уменьшилъ ли кто-нибудь изъ васъ запашку на озимину и на зябль?—И, наконецъ, отчего вы не хотите какъ можно скорѣе покончить съ крестьянами, принявъ мой совѣтъ и заявивъ ваше требованіе о выкупѣ? Неужели вы не убѣждаетесь, что на панщину или на ея суррогатъ—издѣльную повинность—вамъ нечего болѣе надѣяться?

Любоп. Помилуйте, да и вашъ оброкъ, какъ вы его предлагаете, есть не что другое, какъ плата за землю издѣльною повинностью.

Миров. посредн. Ошибаетесь, не замѣчая огромнаго различія. Я плачу за работу по вольнымъ цѣнамъ, опредѣляемымъ самими же крестьянами,—и готовъ платить за все наличными деньгами, часть которыхъ, въ извѣстные сроки, опять перейдетъ изъ крестьянскихъ рукъ въ мой карманъ, какъ уплата за землю. Такъ, вы видите, что я цѣню работу временно-обязаннаго, какъ вольнаго работника, по взаимному условію, и потому моя цѣна за каждый рабочій день почти вдвое больше той, по которой оцѣненъ въ мѣстномъ положеніи день издѣльной повинности. Я плачу отъ 25 до 30 коп. за день,—такія у насъ вольныя цѣны,—а по положенію 20 рабочихъ дней за десятину равняются 3 руб. 30 коп. оброка; слѣдовательно день цѣнится въ $16\frac{1}{3}$ копѣекъ.

Любоп. Но что же вы сдѣлаете, если крестьяне, положимъ, сами изберутъ издѣльную повинность вмѣсто оброка? это право имъ предоставлено также Положеніемъ, и, можетъ быть, въ иныхъ случаяхъ это будетъ для нихъ выгоднѣе.

Миров. посредн. Вотъ видите: я, какъ и всѣ мы, должны повиноваться закону; но я все-таки могу имѣть обо всемъ и мое личное убѣжденіе, и, откровенно говоря,—я не убѣжденъ, чтобы издѣльная повинность могла быть полезною и для крестьянъ и помѣщиковъ въ настоящее и на будущее время. Крестьянамъ, конечно, можетъ показаться,—хотя это до сихъ поръ здѣсь и не случалось,—что издѣльная повинность для нихъ выгоднѣе оброка; но это можетъ имъ показаться только потому, что они привыкли къ панщинѣ, мало работали еще по вольнымъ цѣнамъ, а сравнительно съ панщиною, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, издѣльная повинность за землю дѣйствительно можетъ быть выгоднѣе; у кого, напримѣръ, коренной надѣль

только въ 3 десятины, тотъ будетъ работать — по Положенію — только 60 дней въ годъ, тогда какъ онъ работалъ до сихъ поръ 150 и болѣе; но, во-первыхъ, кромѣ этихъ 60 дней, онъ долженъ будетъ все-таки платить еще за усадьбу; во-вторыхъ, за такой малый коренной надѣлъ и оброка пришлось бы ему платить немного, — всего-на-все 9 руб. 90 коп. въ годъ, — сумму, которую онъ можетъ легко заработать въ 1 или 1½ мѣсяца лѣтняго времени, работая по вольнымъ цѣнамъ; въ-третьихъ, наконецъ, если встрѣчаются иногда случаи такого малаго коренного надѣла, то есть, напротивъ, много и такихъ случаевъ, гдѣ коренной надѣлъ — въ 5 и въ 6 десятинъ, и тогда придется крестьянину на каждый домъ отработывать 100 и 120 дней, чтò, съ платою за усадьбу, не будетъ составлять для крестьянина никакого улучшенія его прежняго быта. Вотъ въ этихъ-то случаяхъ крестьяне и говорятъ, что имъ „теперь горше будетъ“. Они это теперь говорятъ еще и потому, что, не замѣчая улучшенія, уже должны платить волостнымъ старшинамъ и старостамъ жалованье, да еще давать содержаніе писарю и на волостное управленіе. Помѣщикамъ же издѣльная повинность уже потому одному невыгодна, что она есть не чтò иное, какъ панщина съ минусомъ; а панщина безъ вмѣшательства помѣщичьей власти невообразима. Какъ бы хорошо ни были организованы сельскія и волостныя управленія, какъ бы ни были дѣятельны мировые посредники, — все-таки будутъ нескончаемыя жалобы и столеновенія, и работы все-таки не будутъ исполняемы въ-время; время же, — вы знаете, — для помѣщика — вещь неоцѣненная; никакіе штрафы не вознаграждаютъ его за потерю.

Недов. А оброкъ, вѣрно, по вашему мнѣнію, будетъ уплачиваться въ-время, безъ недоимокъ?

Миров. посредн. Нѣтъ, я не такой утопистъ. какъ вы думаете; но оброкъ, какъ я уже вамъ говорилъ, я могу замѣнить работою недоимщика по условнымъ цѣнамъ, и, сверхъ того, недоимки и неуплата оброка лишатъ меня денегъ, но не времени — тогда, когда оно для меня необходимѣе денегъ. Зная, что на первое время я не долженъ буду слишкомъ разсчитывать на аккуратность въ платежѣ оброка, я или заключаю условіе съ временно-обязанными крестьянами моего имѣ-

нія на заработки для лѣтнаго времени, или же найму заблаговременно другихъ; а при издѣльной повинности, въ какія условія вы будете входить съ крестьянами и какъ рассчитать, сколько они вамъ отработаютъ? На урочное положеніе, на жалобы волостному управленію и посредникамъ за неисправность я не надѣюсь,—успѣхъ, во всякомъ случаѣ, сомнительный.

Любоп. Такъ, по вашему мнѣнію, было бы лучше оставить одинъ оброкъ обязательнымъ и для крестьянъ, и для помѣщиковъ?

Миров. посредн. Это мое убѣжденіе.

Любоп. А принципъ добровольнаго соглашенія?

Миров. посредн. Прекрасный,—я уже вамъ сказалъ.—какъ принципъ. Но чтобы добровольное соглашеніе было настоящимъ добровольнымъ соглашеніемъ, безъ всякой задней мысли, чистое, откровенное,—какъ оно должно быть въ дѣлѣ земскомъ,—необходимо, во-первыхъ, полное довѣріе обѣихъ договаривающихся сторонъ другъ къ другу, а во-вторыхъ.—также полное убѣжденіе, что договоръ выгоденъ или, по крайней мѣрѣ, безобиденъ, для обѣихъ сторонъ. А гдѣ вы найдете это довѣріе и это убѣжденіе? Нѣкоторые счастливыя исключенія не доказываютъ, что эти два необходимыя условія добровольнаго соглашенія у насъ существуютъ; а скорѣе доказываютъ, что вообще ихъ нѣтъ, да и быть не можетъ, по весьма простой и очевидной причинѣ: нужно бы было удивляться, если бы крѣпостное право ихъ не подѣло и не разрушило при самомъ основаніи. Дайте время имъ водвориться, опредѣливъ положительно и обязательно отношенія обѣихъ сторонъ, интересы которыхъ еще не сходятся вмѣстѣ,—и добровольныя соглашенія родятся и вырастутъ сами собою, безъ искусственной поддержки и безъ регламентаціи.

Любоп. Но кто же, если не сами заинтересованныя въ дѣлѣ стороны, долженъ опредѣлить и избрать то или другое отношеніе одной къ другой, когда дѣйствительно могутъ существовать нѣсколько такихъ отношеній, и каждое изъ нихъ можетъ имѣть свои выгоды и невыгоды для обѣихъ сторонъ?

Миров. посредн. Тѣ, которые стоятъ выше ихъ обѣихъ и сверху могутъ лучше видѣть, что для обѣихъ выгодно.

Любоп. Такъ вотъ поэтому, „для сохраненія обычнаго

порядка и для соблюденія обоюдныхъ выгодъ“, и допущены добровольныя соглашенія.

Миров. посредн. Вы мнѣ отвѣчаете словами закона; я преклоняюсь предъ нимъ и стараюсь исполнить его по крайнему моему разумѣнію; но тѣмъ не менѣе остаюсь при моемъ убѣжденіи, что изъ всѣхъ трехъ отношеній между крестьянами и помѣщиками, опредѣляемыхъ закономъ для взаимнаго ихъ соглашенія, каждое имѣетъ свои невыгоды для договаривающихся, — невыгоды, которыя бросаются обѣимъ сторонамъ тѣмъ сильнѣе въ глаза, чѣмъ менѣе каждая изъ нихъ довѣряетъ другой. Съ одной стороны, какъ вы сами мнѣ сказали, у крестьянъ существуетъ воззрѣніе, что вмѣстѣ съ личною свободою они не должны ничего ни платить, ни работать за землю. Не будемъ теперь болѣе разсуждать о томъ, могло ли законодательство на немъ основываться; но согласитесь, что при такомъ воззрѣніи, если оно дѣйствительно существуетъ, добровольныя соглашенія немыслимы. Да если бы и не существовало этого воззрѣнія, все-таки крестьянинъ не выберетъ по соглашенію съ помѣщикомъ, — слѣдовательно охотно, — ни издѣльной повинности, ни оброка, ни выкупа, — о счастливыхъ исключеніяхъ говорить не будемъ, — первый, потому что боится закабалить себя въ ненавистную панщину...

Недов. А какъ же онъ и теперь не хочетъ съ нею разстаться?

Миров. посредн. Именно потому, что онъ не хочетъ вступать, изъ ложнаго страха или ложной надежды, въ добровольное соглашеніе съ помѣщикомъ, и предпочитаетъ ему свое ненавистное старое. Оброкъ крестьянинъ не выберетъ потому, что онъ ему кажется слишкомъ великъ; онъ ссылается на сосѣднихъ казенныхъ крестьянъ, которые дѣйствительно платятъ менѣе; сколько вы ему ни толкуйте, что у казенныхъ крестьянъ оброкъ отъ времени до времени увеличивается, а у него останется 20 лѣтъ одинъ и тотъ же по Положенію, — онъ не вѣритъ, или не хочетъ вѣрить. На выкупъ онъ не хочетъ согласиться съ помѣщикомъ потому, что при немъ необходимо разверстаніе полей, переносъ сѣнокосовъ и усадебъ; тутъ начинаются опять споры о качествѣ земли, о томъ, что лучше бы оставить поля, по прежнему, въ чрезполосномъ владѣніи и т. д.

Съ другой стороны, и помѣщикъ предвидить: въ издѣльной повинности — неотработанные и недоработанные дни, столкновения съ волостными управлениями и посредниками; въ оброкѣ — недоимки; въ выкупѣ — невозможность совершеннаго разграниченія. Скажите же откровенно: можно ли при такой обстановкѣ, — не будемъ говорить: у насъ, а у всѣхъ и вездѣ, гдѣ идетъ дѣло о матеріальныхъ интересахъ, — ждать истинныхъ добровольныхъ соглашеній? Можно ли винить ту или другую сторону въ упорствѣ, въ нежеланіи сдѣлать взаимныя уступки?

Любоп. Такъ вы отвергаете пользу добровольныхъ соглашеній и хотѣли бы однихъ обязательныхъ?

Миров. посредн. Зачѣмъ же вы хотите такъ толковать мои слова! Я желалъ бы, для пользы общей, видѣть ограниченными добровольныя соглашенія однимъ извѣстнымъ и опредѣленнымъ кругомъ отношеній помѣщика къ крестьянину, и желалъ бы ограниченія только временнаго, покуда отношенія эти еще не состоялись и не окрѣпли.

Недов. Да, намъ придется еще долго ждать, покуда они состоятся и окрѣпнутъ.

Любоп. Но знаете ли, что все-таки ограниченіе и обязательность, — это какъ-то неловко. Какъ, напримѣръ, приказать крестьянину: „плати оброкъ“, когда у него нѣтъ заработковъ, и онъ не знаетъ еще цѣны денегъ? Это было бы уже слишкомъ.

Миров. посредн. Знаете ли что? Не будемъ себя пугать словами и не будемъ задумываться, сдѣлавъ шагъ впередъ. Вы все останавливаетесь на оброкѣ, и думаете, что я хотѣлъ бы его сдѣлать обязательнымъ. Можетъ быть, отчасти вы и угадали. Но я останавливаюсь на оброкѣ только потому, что законъ призналъ его необходимымъ условіемъ выкупа при содѣйствіи правительства. А я вижу только въ одномъ выкупѣ окончательную развязку дѣла. Приобрѣтеніе земли въ собственность и по закону прекращаетъ всѣ отношенія крестьянина къ помѣщику; оно соотвѣтствуетъ и народному воззрѣнію, которое я цѣню не менѣе вашего, хотя и не соглашаюсь съ тѣмъ, чтобы законодатель долженъ былъ всегда основывать свои дѣйствія на народныхъ воззрѣніяхъ. А если все это такъ,

то въ чемъ же состоитъ неудобство опредѣлить одинъ обязательный для обѣихъ сторонъ путь къ достиженію конечной цѣли? Положимъ, напримѣръ, что вы—землевладѣлецъ, а я—проживающій съ давнихъ поръ на вашей землѣ; мы оба занимаемся земледѣліемъ; ваша выгода была, чтобы я какъ можно болѣе употреблялъ моего времени на обработку вашего участка, который я былъ обязанъ обрабатывать, а моя—въ томъ, чтобы я болѣе обрабатывалъ свой; между нами были отъ этого безпрестанныя несогласія; наконецъ, мы оба согласились обратиться къ третейскому суду. Судъ рѣшилъ, что для нашей общей пользы лучше бы было намъ раздѣлаться окончательно другъ съ другомъ, и чтобы я купилъ у васъ участокъ, находившійся такъ долго въ моемъ пользованіи, а вы бы мнѣ его продали. Теперь спрашивается: что было бы удобнѣе для насъ обоихъ—то ли, что судъ, сдѣлавъ это важное рѣшеніе, предоставилъ бы намъ вѣдаться другъ съ другомъ чрезъ добровольныя соглашенія, или бы опредѣлилъ положительно одинъ обязательный для насъ способъ исполнить его рѣшеніе?.. Не правда ли, что въ первомъ случаѣ мы бы остались, и, можетъ быть, еще надолго, въ тѣхъ же самыхъ непріятныхъ отношеніяхъ, которыя вызвали насъ обратиться къ суду, и его благое рѣшеніе для насъ осталось бы надолго недоступнымъ; во второмъ же случаѣ, напротивъ, на пути, опредѣленномъ и для насъ единственномъ, не сдѣлались ли бы для насъ и добровольныя соглашенія болѣе возможными?

Любоп. Но вы сами сказали прежде, что и теперь, слѣдуя принципу добровольныхъ соглашеній, можно постепенно перевести крестьянъ на оброкъ, уплачивая имъ за работы по вольнымъ цѣнамъ и высчитывая за землю; а переведя на оброкъ, доказавъ имъ его возможность и выгоды, требовать выкупа при содѣйствіи правительства?

Миров. посредн. Дѣйствительно, я это совѣтую; но это въ моихъ глазахъ—то, что называется *pis aller*, необходимое только потому, что нѣтъ другого, лучшаго средства уладить все дѣло. Не забудьте, однако-же, что я и самъ испытываю это средство въ предположеніи, что окончательная развязка не замедлитъ совершиться; я расчитываю на то только, что крестьяне очнутся отъ своихъ безпокойныхъ просонокъ, сдѣлавшись соб-

ственниками. Я готовлю имъ веселое пробужденіе; но для этого именно не нужно терять времени, чтобы они прежде не пробудились;—тогда успѣхъ сомнителенъ.

Любоп. Чтѣ же,—вы думаете,—тогда будетъ?

Миров. посредн. Я вамъ не берусь этого рѣшать. Замѣчу только одно: не забывайте, что съ развитіемъ волостей и сельскихъ общинъ развивается, очевидно, и корпоративный духъ между крестьянами; за одного начинаютъ уже говорить всѣ; это для меня знаменательно. И чѣмъ скорѣе будетъ сдѣлано наше требованіе о выкупѣ при содѣйствіи правительства,—какихъ бы пожертвованій оно намъ ни стоило,—чѣмъ скорѣе совершится самый выкупъ,—тѣмъ лучше для крестьянъ, тѣмъ лучше для насъ.—Убѣдилъ ли я васъ?

Любопытный и Недовольный, вмѣстѣ.— Нисколько.

1862 г., января 24. С. Вишня.

ПРИМѢЧАНІЕ РЕДАКЦІИ ГАЗЕТЫ „ДЕНЬ“

къ предыдущей статьѣ Н. И. Пирогова.

Приносимъ извиненіе почтенному автору въ томъ, что статья его, присланная слишкомъ два мѣсяца тому назадъ, не была до сихъ поръ напечатана. Причины такого промедленія заключаются, между прочимъ, въ слѣдующемъ: статья Н. И. Пирогова имѣетъ въ себѣ не одну положительную сторону практическихъ воззрѣній опытнаго хозяина и мирового посредника, но и полемическую, направленную противъ извѣстной статьи Д. Θ. Самарина, помѣщенной въ нашей газетѣ („День“, № 7, „Уставная грамота“). Первое условіе полемики — чтобы обѣ полемизирующія стороны были равноправны въ свободѣ выраженія своихъ мнѣній; этого-то условія и нѣтъ въ настоящемъ случаѣ: двѣ статьи Д. Θ. Самарина, — въ отвѣтъ помѣщеннымъ въ разныхъ журналахъ противъ него возраженіямъ, — остались ненапечатанными.

Но такъ какъ мы обѣщали нашимъ читателямъ дать мѣсто въ Областномъ Отдѣлѣ, и именно по крестьянскому вопросу, всякимъ мнѣніямъ, даже положительно несогласнымъ съ нашимъ собственнымъ; такъ какъ въ статьѣ Н. И. Пирогова, кромѣ стороны полемической, есть много частныхъ практическихъ указаній и совѣтовъ, — можетъ быть, полезныхъ для хозяевъ и способствующихъ къ мирной развязкѣ дѣла, — то мы и не сочли себя въ правѣ оставить его статью ненапечатанною. Заявляемъ, однако-же, при этомъ, что мы рѣшительно несогласны съ нашимъ знаменитымъ педагогомъ въ одѣнѣ на-

роднаго бытового воззрѣнія, къ которому онъ относится, какъ намъ кажется, слишкомъ легко, и которое онъ считаетъ возможнымъ обойти и пренебречь... безъ всякаго затрудненія! Какъ бы мы ни смотрѣли свысока на историческій взглядъ и убѣжденія народныя, они коренятся слишкомъ глубоко въ народной почвѣ, чтобы можно было ихъ оттуда вырвать удобнымъ и комфортабельнымъ способомъ законодательнаго заступа! Не всякую почву беретъ заступъ и, попавши на материкъ, можетъ притупиться или сломиться...

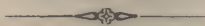
Считаемъ нелишнимъ привести здѣсь отрывокъ изъ письма Д. Ѳ. Самарина, написаннаго имъ въ редакцію, вскорѣ по напечатаніи нѣкоторыхъ критическихъ на него статей и замѣчаній.

„Прежде всего неправильно понимаютъ нѣкоторые, что статьи мои направлены безусловно противъ Положенія 19-го февраля. Я вовсе не чуждъ той мысли, что, можетъ быть, при общемъ неясномъ пониманіи всей важности народныхъ воззрѣній и требованій, не было другого первоначальнаго исхода, другого практическаго разрѣшенія запутанному, многосложному вопросу окрѣпостномъ правѣ,—кромѣ найденнаго Положеніемъ. Самое народное воззрѣніе стало доступнѣе нашему пониманію уже при введеніи Положенія въ дѣйствіе, при примѣненіи его къ жизни. Вмѣстѣ съ этимъ оно стало высказываться свободнѣе, и эта доля свободы, вмѣстѣ съ пробужденіемъ народнаго духа, внесена въ народную жизнь Положеніемъ. Но это еще не значитъ, чтобы Положеніе дѣйствительно нашло совершенно полное разрѣшеніе вопроса; напротивъ, только теперь и обличаются его несовершенства, исправленіемъ которыхъ и слѣдовало бы заняться въ-время. Въ статьяхъ моихъ я старался объяснить, почему крестьяне не вполне довольны, изложить взглядъ народа на крестьянскій вопросъ и опредѣлить то начало, которое лежитъ въ основѣ этого взгляда. По моему мнѣнію, начало это заключается въ особомъ, коренномъ воззрѣніи народа на землевладѣніе, а вовсе не въ какихъ-то историческихъ воспоминаніяхъ, какъ увѣряетъ одинъ изъ возражателей. Мнѣ казалось и кажется теперь, что эта точка зрѣнія проливаетъ свѣтъ на многія явленія, совершающіяся передъ нашими глазами, и что для самаго дѣла лучше вникнуть въ смыслъ

того голоса, который раздается во всѣхъ концахъ Россіи, чѣмъ отворачиваться отъ него и, пожимая плечами, удивляться тупоумію нашего народа. Будучи поставленъ обстоятельствами въ непосредственныя отношенія къ крестьянамъ, я вскорѣ на опытѣ убѣдился, что въ большей части случаевъ самодовольная улыбка наша надъ невѣжествомъ народа есть только доказательство того, что мы его не знаемъ и не понимаемъ, и обличаетъ только наше собственное невѣжество. Я полагалъ, что принятое мною на дѣлѣ правило: относиться съ уваженіемъ къ явленіямъ жизни народной — принято и въ литературѣ; но, видно, я ошибся; еще во многихъ газетахъ, поставившихъ себѣ девизомъ гуманность, прогрессъ и всевозможные виды эманципаций, вы можете прочесть или глумленіе надъ всѣмъ, что въ дѣйствіяхъ и рѣчахъ народныхъ непонятно близорукому журналисту, или строгій судъ надъ всѣми явленіями русской жизни, не подходящими подъ тѣ законы развитія, которые разработаны жизнью другихъ народовъ! Такого рода отношеніе къ народной русской мысли и быту, при необыкновенной сентиментальности въ чувствованіяхъ къ меньшимъ братьямъ вообще (но не къ мужику собственно), есть своего рода литературное барство, которое казалось бы уже и несвоевременнымъ послѣ 19-го февраля 1861 года, — но, какъ видно, оно еще сильно господствуетъ въ нашей литературѣ. Въ самомъ дѣлѣ, преслѣдуя съ ироніею и негодованіемъ всякія истинныя и мнимыя проявленія барства въ жизни, наши доктринеры съ какимъ-то барскимъ пренебреженіемъ клеймятъ грубостью и неразвитостью все въ народѣ, что нарушаетъ миръ ихъ собственныхъ, однажды сложившихся, отвлеченныхъ представленій. Я полагалъ, что во всякомъ случаѣ полезно поставить вопросъ о причинѣ того недоумѣнія, съ которымъ встрѣтилъ народъ повинность въ пользу помѣщика за землю, и указать, что не столько ея размѣръ, сколько ея принципъ производитъ это пассивное сопротивленіе, о которомъ свидѣтельствуетъ вся Россія; но нѣкоторые критики признали такое заявленіе не только бесполезнымъ, но даже вреднымъ и противнымъ Положенію. Странное дѣло: предлагаетъ же г. П. Г., для выхода изъ „нынѣшняго натянутого положенія“, обязательный оброкъ, несмотря на то, что мѣра эта противорѣчитъ Положенію 19-го фев-

раля, которое г. П. Г. именно и взялся защищать безусловно! Предлагають же другіе допустить выдачу выкупной ссуды и за имѣнія, состоящія на барщинѣ, что, конечно, было бы весьма полезно, но не думаютъ же они, что идутъ противъ Положенія. Я, съ своей стороны, указалъ на мѣру, которая, какъ мнѣ кажется, совершенно согласна съ понятіями крестьянъ и въ то же время идетъ не слишкомъ рѣзко наперекоръ и самому Положенію, относительно повинности, имъ установленной.

„Считаю необходимымъ сказать еще нѣсколько словъ о размѣрѣ повинности, такъ какъ, съ этой стороны, статья моя подверглась наиболѣе возраженіямъ. Дѣйствительно, въ этомъ отношеніи, мысль моя, къ сожалѣнію, осталась недоговоренной, и, какъ вы знаете, не по моей винѣ. Я принялъ за исходную точку тотъ размѣръ повинности, который установленъ Положеніемъ, и потому забавно, что нѣкоторые, нисколько не возмущающіеся теперешнимъ размѣромъ оброка, приходятъ въ негодованіе, истинно комическое, оттого, что размѣръ повинности мною покуда удержанъ! Для меня важна не перемѣна названія, не перемѣна размѣра повинности, а перемѣна принципа. Я никогда, нигдѣ не говорилъ, что повинность эта должна остаться вѣчно неизмѣнною, какъ это объяснили нѣкоторые критики. Напротивъ, я полагалъ, что понятіе о равномерности такъ неразрывно связано съ самымъ понятіемъ о подати, что неравномѣрное обложеніе податью одного сословія не можетъ быть допущено иначе, какъ мѣра временная, оправдываемая внѣшнею необходимостью. Однако-же критики предпочли не догадываться...“



ИЗЪ ЦИРКУЛЯРОВЪ Н. И. ПИРОГОВА.

ПО УПРАВЛЕНІЮ КІЕВСКИМЪ УЧЕБНЫМЪ ОКРУГОМЪ.

1858—1861 гг.

1.—По поводу мнѣнія законоучителя, свящ. Петра Лебединцева: „О способѣ преподаванія въ гимназіяхъ вообще и преподаванія закона Божія въ особенности“.

„Изъявляя г-ну Лебединцеву мою благодарность за его основательное и подробное изложеніе избраннаго имъ способа ученія и вообще раздѣляя многія его прекрасныя мысли, я не могу, однако-же, съ нимъ согласиться въ слѣдующемъ: 1) Я не согласенъ, что священную исторію можно и должно излагать „не иначе“, какъ въ выраженіяхъ библейскаго разсказа. Библейскій языкъ, за исключеніемъ книгъ пророковъ, псалтыря и, можетъ быть, первыхъ главъ книги Бытія, вообще такъ же простъ, какъ и языкъ самаго простаго разсказа; если же этотъ языкъ намъ кажется необыкновенно высокимъ, то это происходитъ, я думаю, только отъ того, что онъ—не нашъ, а славянскій; переведите хорошо содержаніе на свой отечественный, и все будетъ такъ же просто, какъ сердечные разсказы, которые мы слышали въ дѣтствѣ отъ нашихъ отцовъ и матерей. Да если бы онъ былъ и дѣйствительно выше обыкновеннаго, то я не вижу причины, для чего не упростить его для дѣтей. Предметъ св. писанія, уже по своей сущности, такъ высокъ, и заключающіяся въ немъ истины такъ ясны и непреложны, что нечего опасаться въ наше время (какъ при царѣ Алексѣѣ

Михайловичѣ), „будто бы христіанская вѣра извратится, если слова, встрѣчающіеся въ библіи и псалтырѣ, будутъ замѣнены другими подобно-значащими, но болѣе доступными для ребенка“. По этой самой причинѣ я не могу согласиться и 2) чтобы катехизисъ нужно было учить наизусть, какъ увѣряетъ почтенный законоучитель; нѣтъ, я положительно предлагаю всѣмъ законоучителямъ кіевскаго учебнаго округа не давать ничего дѣтямъ учить наизусть, за исключеніемъ однихъ текстовъ и молитвъ. Изустное ученіе еще можетъ быть принято для такихъ предметовъ, каковы легкая литература, басни, стихи или вокабулы языковъ, но уже никакъ для предметовъ вѣры,—начнемъ ли изученіе ихъ съ ума, какъ предлагаетъ законоучитель бѣлоцерковской гимназіи, или съ сердца,—какъ я думаю. 3) Несогласно и то съ моимъ убѣжденіемъ, чтобы можно было предоставить ученикамъ низшихъ классовъ „самимъ угадывать“ правоученіе, заключающееся въ описаніи событій св. исторіи. Если законоучитель, который есть, *eo ipso*, и правоучитель, не обратитъ вниманіе и сердечное чувство дѣтей на нравственное начало, заключенное въ св. исторіи, и не проникнетъ этимъ началомъ до глубины сердца своихъ учениковъ, то какія бы высокія выраженія онъ ни употреблялъ и какую бы высокую важность ни старался ими придать своимъ рассказамъ, они все-таки останутся не болѣе какъ рассказами. Я согласенъ, что св. повѣсть можетъ и одна, сама по себѣ, произвести глубокое впечатлѣніе на ребенка; но это предполагаетъ въ законоучителѣ особенный, Богомъ ниспосланный, даръ слова и талантъ необыкновенный, который дается однимъ избраннымъ и котораго мы не въ правѣ отъ всѣхъ требовать. 4) Не могу безусловно подписать и того, что „вѣра начинается въ мысляхъ и отъ ума передается сердцу“. Въ мысляхъ—да; но чтобы вѣра передавалась отъ ума сердцу,—не вѣрю. Да развѣ любовь дѣтей къ родителямъ передается умомъ сердцу, и развѣ любовь къ Богу и ближнему, служащая главнымъ основаніемъ нашей вѣры, не есть также чувство, присущее нашей натурѣ во всѣхъ возрастахъ жизни? Я не понимаю, чтó сдѣлаетъ законоучитель, дѣйствуя святынею его ученія на умъ, если онъ сначала не приготовитъ и не растворитъ къ принятію ея сердце и чувства ребенка. Если мы

всѣ искренно желаемъ воспитать новое поколѣніе болѣе твердое, въ началахъ истинной нравственности, то мы должны безпрестанно обращаться къ тому, что въ человѣкѣ есть сильнѣе ума. Не забудемъ, правоучители и учителя, что умъ можетъ и заблуждаться, и сомнѣваться; но въ сердцѣ нашемъ есть что-то иное, что хотя нерѣдко и заблуждается, но уже никогда не сомнѣвается“.

2.—Прочитавъ мнѣніе г. старшаго учителя, Худзинскаго, о его способѣ преподаванія естественныхъ наукъ, я не могу скрыть моего удивленія, почему тотъ же самый преподаватель, которому извѣстно „любопытство дѣтей, и который самъ предлагаетъ его питать, поддерживать и удовлетворять разумно“, съ другой стороны, принимаетъ такой несовершенный и столь мало раціональный способъ изученія естественной исторіи въ I-мъ классѣ.—Если для дѣтей 10-ти лѣтъ полезно уже начинать изученіе естественной исторіи, то, очевидно, это дѣлается для нихъ только съ тою цѣлью, чтобы посредствомъ естествоизученія дѣйствовать на развитіе чувствъ и наблюдательности. Другой цѣли изученія естественной исторіи въ этомъ возрастѣ и быть не можетъ. Вообще, главная обязанность педагога заключается преимущественно въ томъ, чтобы науку излагать не столько для самой науки, сколько для развитія, посредствомъ науки, той или другой умственной или душевной способности (какъ это дѣльно замѣтилъ и г. Мануйловичъ, — см. ниже, — за что и благодарю его отъ души). Естествознаніе и должно именно служить къ развитію наблюдательной способности у ребенка, начинающаго знакомиться съ окружающею его природою. Надобно приучить съ раннихъ лѣтъ и его глазъ, и его осязаніе къ отчетливому отыскиванію различныхъ наружныхъ признаковъ, характеризующихъ естественныя тѣла; дайте ему въ руки минералъ, растеніе, животное и спрашивайте его, что онъ видитъ и что онъ находитъ особеннаго; заставьте его найти и описать различіе между тѣмъ и другимъ тѣломъ, и задача ваша будетъ разрѣшена, цѣль будетъ вполне достигнута. Но какъ же можно этого достигнуть, если вы заставляете дѣтей I-го класса

писать на доскѣ продиктованное вами и потомъ заучивать это наизусть, полагая, что наглядное ученіе одно недостаточно и что, будто-бы, „оно требуетъ хорошей памяти при развитомъ воображеніи“. Нѣтъ! оно менѣе требуетъ памяти и воображенія, чѣмъ ученіе наизусть, и наглядное ученіе есть единственно вѣрное средство развить и наружныя чувства, и память, и воображеніе у дѣтей не только 10, но даже 5 лѣтъ. Если вы не начнете дѣтей учить наглядно, начиная съ азбуки и постепенно доходя до естественной исторіи, а будете болѣе налегать на одно заучиваніе, то, повѣрьте, ваше ученіе непрочное, какъ оно дѣйствительно у насъ еще до сихъ поръ и нейдетъ въ прокъ. Но дѣло состоитъ въ томъ, что наглядно учить не легко; это—искусство, съ которымъ наши учителя знакомы только по слухамъ. Въ ученіи на память играетъ главную роль не учитель, а память ребенка; а ученіе наглядное все зависитъ отъ того, какъ самъ учитель примется за дѣло и будетъ ли своего дѣла мастеръ. Итакъ, кто отъ души желаетъ научить и воспитать будущее поколѣніе, тотъ долженъ и наглядное ученіе принять къ сердцу, ознакомиться съ нимъ, посредствомъ размышленія и опыта, и положить его основою преподаванія и именно въ низшихъ классахъ (до IV-го класса включительно) *Sapienti sat.*

3.—Въ засѣданіяхъ педагогическаго совѣта волынской гимназіи, 24-го и 31-го января (1860 г.), опредѣлено было:

1) Наказать одного ученика переводомъ изъ II-го класса въ I-й за двукратное воровство и перепродажу книгъ у товарищей.

2) Наказъ розгами—отъ 3-хъ до 5-ти ударовъ,—26 учениковъ (24 января) и 10 учениковъ (31 января), первыхъ трехъ классовъ,—за лѣность; итого, въ теченіе мѣсяца—36 учениковъ. Этотъ же совѣтъ, въ трехъ засѣданіяхъ—января 24-го, февраля 7 и 14—предлагаетъ слѣдующія мѣры: 1) Учениковъ во время классовъ не выпускать изъ классовъ ни подъ какимъ предлогомъ, исключая болѣзни. 2) Уничтожить квартирные журналы (по крайней мѣрѣ, въ учительскихъ квартирахъ), въ которыхъ дѣлаются отмѣтки учениковъ о знаніи уроковъ репетиторами

(т.-е. учениками изъ старшихъ классовъ), на томъ основаніи, что репетиторы эти часто дѣлають отмѣтки наобумъ, — что доказывается замѣтною разницею между отмѣтками классными и квартирными. 3) Объявить на актѣ родителямъ, что гимназія налагаетъ на нихъ обязанность надзирать тщательнѣе за малоуспѣшными дѣтьми, которыя въ неклассные часы дома лѣнятся и не радѣютъ объ исполненіи заданныхъ имъ уроковъ. 4) (По предложенію г. директора.) Въ наказаніе за малоуспѣшность и лѣность, возвращать дѣтей въ прежніе классы, по истеченіи перваго полугодія, за производствомъ въ декабрѣ мѣсяцѣ испытанія и по разсмотрѣніи совѣтомъ сводной вѣдомости.

Попечитель кievскаго учебнаго округа, разсмотрѣвъ эти опредѣленія педагогическаго совѣта, полагаетъ, что по правиламъ здоровой педагогики: 1) Наказанія, опредѣленные совѣтомъ, неосновательны. Характеръ наказаній долженъ всегда сколько можно болѣе соответствовать характеру самыхъ проступковъ. Какая же ответственность между воровствомъ и переводомъ въ низшій классъ? Ученика, замѣченнаго въ двукратномъ воровствѣ съ перепродажею книгъ, слѣдовало бы скорѣе исключить изъ гимназіи, чтобы онъ своимъ примѣромъ не заражалъ другихъ, а не наказывать тѣмъ же, чѣмъ должны наказываться только одни лѣнивые и нерадивые. Наказаніе розгами за лѣность есть также мѣра, не имѣющая никакого педагогическаго смысла. Это — остатокъ рутинной методы воспитанія. Это — мое убѣжденіе, и я такъ думаю потому, что считаю розгу совершенно лишнею въ дѣлѣ общественнаго воспитанія, — хотя она есть зло покуда неизбежное, — потому что она въ этомъ случаѣ неумѣстна и не соответствуетъ характеру проступка. 2) Что мѣра — не выпускать учениковъ изъ классовъ, исключая болѣзни — вполне основательна. 3) Квартирные журналы, составляемые учениками, — репетиторы тѣ же ученики, — по моему мнѣнію, не имѣютъ никакой цѣли, кромѣ соблюденія ни къ чему не ведущей формальности, успокоивающей развѣ только одну дирекцію. Мало того: эти журналы, при недосмотрѣ, могутъ развитъ взяточничество, недобросовѣстность и пристрастіе между учащимися. Кто можетъ поручиться, что репетиторъ, за угощеніе, за подарки, или такъ, по

дружбѣ, не поставитъ хорошей отмѣтки. Если же его отмѣтки будутъ контролированы отмѣтками классныхъ журналовъ, то не значить ли это, что отъ него будутъ требовать не собственнаго, а чужого мнѣнія объ успѣхахъ вѣреннѣхъ ему учениковъ? Не долженъ ли онъ будетъ тогда приноравливаться всѣми дозволенными и не дозволенными средствами къ мнѣніямъ учителей, чтобы не навлечь на себя подозрѣнія въ пристрастіи? Тогда, какъ бы плохо ученикъ ни отвѣчалъ на репетиціяхъ, репетиторъ, зная, что онъ на хорошемъ счету у учителя, не поставитъ ему худой отмѣтки въ квартирномъ журналѣ. 4) Наконецъ, что касается до перевода нерадивыхъ и лѣнивыхъ учениковъ въ низшіе классы, то многое говоритъ въ пользу этой мѣры. Я не рѣшаюсь, однако-же, одобрить ее безусловно, и отлагаю дать мое окончательное мнѣніе до тѣхъ поръ, когда въ особенномъ комитетѣ будутъ пересмотрѣны всѣ мѣры наказанія, употребляемыя теперь въ различныхъ гимназіяхъ округа, къ чему вскорѣ и приступлю. Покуда я ограничусь только слѣдующимъ замѣчаніемъ. Гимназіи округа, какъ видно изъ опытовъ, дѣйствуютъ въ опредѣленіи наказаній, говоря по пословицѣ: „кто въ лѣсъ, а кто по дрѣва“, — не руководствуясь, какъ кажется, нѣсколькими педагогическими соображеніями или одною принятою системою, а болѣе по принятому обычаю или рутинѣ. — Очевидно, что дѣло такой важности, какъ система наказаній, имѣющее вліяніе на всю будущность дѣтей, не можетъ долѣе оставаться предоставленнымъ случаю и личнымъ (произвольнымъ) мнѣніямъ директоровъ. Слѣдствіемъ этого произвола мы и видимъ именно то, что происходитъ теперь въ гимназіи волынской: дѣтей сбѣкутъ за лѣность и переводятъ изъ класса въ классъ за воровство, и та же самая дирекція предлагаетъ ввести это же самое наказаніе и за безуспѣшность. Надѣюсь, что тщательное обсужденіе системъ наказанія, предпринимаемое теперь мною въ комитетѣ при управленіи округа, распространить болѣе здравыя понятія и прекратить произволъ въ дѣлѣ столь важномъ для общественнаго воспитанія.

4. — Изъ числа разсужденій о преподаваніи географіи, читанныхъ, по моему распоряженію, въ педагогическихъ совѣ-

тахъ различныхъ уѣздныхъ училищъ округа, заслуживаетъ вниманія мнѣніе учителя зеньковского уѣзднаго училища (полтав. губерніи) Шевича, которое здѣсь и излагается. Мысль г. Шевича хороша и современна, особливо въ отношеніи нашихъ уѣздныхъ училищъ и низшихъ классовъ гимназіи. Ничто не развиваетъ столько понятіе дѣтей, какъ наглядный и разговорный способъ ученія. Г. Шевичъ избралъ послѣдній, и очень жаль, что не соединилъ его съ первымъ. Здѣсь предлагаются только нѣкоторые образчики его способа. Въ цѣлости же записка г. Шевича не печатается потому, что многія мѣста въ ней служатъ яснымъ доказательствомъ, какъ трудно преподавателю, несмотря на рвеніе и добросовѣстность, справиться съ такимъ предметомъ, каковъ наглядно-разговорный способъ. Онъ, кажется, и простъ, а требуетъ гораздо болѣе свѣдѣній и такта со стороны учителя, чѣмъ самый мудреный книжный. Преподаватель, объясняющій наглядно-разговорно, долженъ приготовиться и приготовить, прочесть многое, а подумать — еще больше; иначе съ нимъ можетъ то же случиться, что случилось и съ г. Шевичемъ, при его разговорныхъ объясненіяхъ. Можно ученикамъ дать легко ложную мысль о предметѣ мало знакомомъ; можно навлечь и насмѣшку, если имъ, напримѣръ, начнемъ объяснять наглядно (посредствомъ сжатого кулака), почему полюсы сжаты отъ холода, или спросимъ ихъ, въ какой части тѣла у человѣка находится любовь (въ сердцѣ). — Но, несмотря на эти неудобства и недостатки, нельзя не поблагодарить г. Шевича за то, что онъ первый, сколько извѣстно, въ нашемъ округѣ ввелъ въ употребленіе методу, заслужившую довѣріе у самыхъ лучшихъ и опытныхъ педагоговъ.

5. — Усматривая изъ протоколовъ нѣкоторыхъ педагогическихъ совѣтовъ и отдѣльных мнѣній, что многіе изъ наставниковъ невѣрно понимаютъ ихъ нравственно-педагогическія обязанности и дѣйствуютъ несоотвѣтственно духу моихъ распоряженій, я считаю необходимымъ поставить совѣтамъ на видъ слѣдующее:

1) Доставивъ каждому изъ учителей удобный случай, посредствомъ сужденій въ засѣданіяхъ совѣта, высказывать отеро-

венно свои мнѣнія о способѣ преподаванія, о достоинствахъ и проступкахъ учениковъ и о нравственно-педагогическихъ приѣмахъ, я зналъ очень хорошо, что мнѣнія всѣхъ членовъ совѣта не могутъ быть одни и тѣ же. Если бы всѣ и обо всемъ имѣли одинаковые взгляды и убѣжденія, то не было бы и необходимости въ коллегіальныхъ и совѣщательныхъ учрежденіяхъ. Изъ этого, однако-же, никакъ не слѣдуетъ, что тѣ изъ членовъ совѣта, мнѣнія которыхъ несогласны съ мнѣніемъ большинства, должны своими дѣйствіями противорѣчить рѣшеніямъ педагогическаго совѣта, основаннымъ на большинствѣ голосовъ. Такой образъ дѣйствій доказываетъ, что дѣйствующіе неясно понимаютъ духъ и главное основаніе коллегіальныхъ учреждений. Первая и главная обязанность всѣхъ членовъ коллегіальныхъ, и преимущественно учебныхъ коллегіальныхъ учреждений, есть именно та, чтобы проводить свои убѣжденія на дѣлѣ путемъ прямымъ и законнымъ, т.-е. посредствомъ рѣшеній коллегіальнаго учрежденія или, другими словами, посредствомъ большинства. Если же большинство не сочувствуетъ убѣжденіямъ нѣкоторыхъ изъ членовъ, — будутъ ли они прогрессисты или непрогрессисты, все равно, — то этимъ нѣкоторымъ, или меньшинству, ничего болѣе не остается, какъ остаться при своихъ убѣжденіяхъ, протестовать подачею отдѣльныхъ мнѣній, предоставить прочее на рѣшеніе главнаго начальства, къ которому должно имѣть законное довѣріе, и не препятствовать ходу дѣла неуспѣшными и настойчивыми обнаруживаніями своихъ личныхъ и частныхъ воззрѣній предъ подчиненными. Иначе благая и высокая цѣль коллегіальныхъ учреждений будетъ нарушена, и нарушится ко вреду общаго блага. Популярность въ этомъ случаѣ, и именно въ дѣлѣ образованія, неумѣстна. Суетнымъ желаніемъ нравиться и пріобрѣсти почетъ у молодежи незрѣлой и впечатлительной развивается только неуваженіе къ законности и къ тому учрежденію, которое, въ глазахъ этой молодежи, должно быть ареопагомъ, и къ членамъ котораго принадлежать эти же сами дѣятели, противорѣчащіе его рѣшеніямъ. Слѣдовательно, неуваженіе, несмотря на ихъ популярность, рано ли, поздно ли, распространится и на нихъ самихъ. Но всего важнѣе подчиненіе собственнаго убѣжденія убѣжденіямъ большинства въ дѣлахъ су-

дебныхъ. Въ этихъ дѣлахъ членовъ педагогическаго совѣта можно сравнить съ присяжными.—А отдѣльныя мнѣнія каждаго присяжнаго не объявляются подсудимымъ. Это было бы противно здравому смыслу. Поэтому меня удивляетъ несообразность тѣхъ отдѣльныхъ мнѣній педагогическаго совѣта, въ которыхъ высказано желаніе сообщить ихъ подсудимымъ ученикамъ при рѣшеніи дѣла.—Они, въ глазахъ моихъ, означаютъ незрѣлость взглядовъ и непониманіе благой цѣли коллегіальныхъ педагогическихъ судовъ. Въ этихъ случаяхъ члены, не раздѣляющіе мнѣній большинства, обязаны, подъ строгою отвѣтственностью предъ закономъ и начальствомъ, содержать въ глубокой тайнѣ ихъ личные взгляды, какъ скоро они отвергнуты большинствомъ.—Эти взгляды должны быть извѣстны только одной высшей инстанціи, а уже никакъ не подсудимымъ. Иначе неминуемо выйдетъ разладъ и безпорядокъ, за который будутъ отвѣчать агитаторы подсудимыхъ предъ лицомъ закона. Это правило еще важнѣе, когда подсудимые—ученики. Только высшей инстанціи подлежитъ сужденіе, справедливо ли рѣшеніе низшей. Только высшая инстанція, разсмотрѣвъ рѣшеніе большинства и протесты меньшинства, можетъ опредѣлить, кто дѣйствовалъ справедливѣе, но уже никакъ не сами подсудимые-ученики. А если такъ, то для чего же имъ знать, какъ думало меньшинство? Развѣ для того только, чтобы меньшинство приобрѣло популярность. Такое требованіе со стороны меньшинства означало бы только одну неблагоприятную суетность: тѣ, которые желаютъ, чтобы рѣшеніе меньшинства сообщать подсудимымъ, доказываютъ, что они вообще еще не умѣютъ проводить надлежащимъ путемъ своихъ взглядовъ, или не имѣютъ для того надлежащаго терпѣнія, выдержки и твердости духа, желая достигнуть своей цѣли не путемъ логики и настойчиваго убѣжденія, а ненадежною дорогою агитаціи, привлекая на свою сторону незрѣлую толпу и отдаваясь ей на судъ. А что будетъ тогда, если ихъ взгляды ошибочны? (Вѣдь они не могутъ быть собственными безпристрастными судьями своихъ мнѣній?) Не завлекутъ ли они тогда и толпу въ заблужденіе?

2) Изъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мнѣній видно, что въ педагогическихъ совѣтахъ гимназій существуютъ два взгляда объ

отношеніяхъ наставниковъ къ ученикамъ. Одни думаютъ, что учителя—братья, другіе—что они отцы ученикамъ. А я думаю, что—ни то, ни другое. Наставники должны остаться наставниками, въ полномъ смыслѣ, ни болѣе и ни менѣе. Болѣе отъ нихъ нельзя требовать. Тѣ, которые хотятъ наложить на учителей обязанности родительскія,—забываютъ, что они требуютъ болѣе, нежели сколько человѣкъ можетъ исполнить. Отцомъ можно быть только своихъ дѣтей. А тѣ, которые сравниваютъ учителей съ братьями, отвергая всѣ принудительныя мѣры, и говорятъ, „что не должно учениковъ понуждать ходить въ классы, не взыскивать за незнаніе и лѣность“, и т. п.,—очевидно, смѣшиваютъ способъ университетскаго образованія съ образованіемъ гимназическимъ. Сторонники такихъ взглядовъ, чтобы остаться послѣдовательными, должны будутъ позволить ученикамъ и выборъ предметовъ: они должны будутъ допустить, чтобы одни ученики посѣщали только тѣ уроки и только тѣ классы, которые имъ заблагоразсудится посѣщать. Можно ли же серьезно надѣяться провести такой принципъ? Неужели все то, что прилично дѣлать зрѣлому юношѣ, можетъ быть дозволено и ребенку? Неужели мы еще такъ мало имѣемъ здраваго смысла, чтобы не умѣть отличить крайности? Если теперь выражается общее желаніе сдѣлать университетское образованіе какъ можно менѣе принудительнымъ, то неужели слѣдуетъ изъ этого, что должно желать распространить это же самое начало и на гимназіи? Здѣсь опять проявляется на сцену та же суетность, какъ и при рѣшеніи вопроса о дѣйствіяхъ меньшинства. Учителямъ гимназіи хочется играть роль университетскихъ профессоровъ, а гимназистамъ—студентовъ.—Какъ будто одно выше или лучше другого въ нравственно-гуманномъ отношеніи!—Еще болѣе, эта мелочная суетность и непониманіе самыхъ первыхъ началъ педагогіи проявляются у тѣхъ, которые хотятъ дозволить ученикамъ читать романы или другія книги въ классахъ и отдавать на ихъ волю слушать или не слушать учителя. Эти господа имѣютъ, очевидно, ложное понятіе и о волѣ человѣка, и объ обязанностяхъ учителя. Позвольте сегодня одному ученику, отпрапортовавшему свой урокъ, читать въ классѣ что ему угодно, и завтра же цѣлый классъ будетъ заниматься въ классѣ чѣмъ ему угодно. Да развѣ дол-

женъ хоть одинъ ученикъ сидѣть въ классѣ незанятый и не въ постоянномъ ожиданіи, что имъ займется учитель? Развѣ не должны всѣ ученики быть *à qui vive* въ классѣ; развѣ не должны они съ постояннымъ напряженіемъ внимательно слѣдить и за отвѣтами своихъ товарищей, и за вопросами учителя? Развѣ учитель въ своемъ классѣ можетъ оставлять хотя одного изъ своихъ учениковъ въ убѣжденіи, что онъ уже отдѣлался, и потому можетъ заниматься чѣмъ угодно? Все это такъ несообразно, такъ противорѣчить основнымъ началамъ педагогики, что я не понимаю, какъ такія мысли могли когда-нибудь придти въ голову опытныхъ наставниковъ.

3) Если въ настоящее время обнаруживается какой-то антагонизмъ между учениками и учителями, не пользующимися милостью учениковъ, „если проявляется духъ своеволія и неповиновенія, если учителя для сближенія съ учениками, приглашая ихъ къ себѣ, критикуютъ съ ними же вмѣстѣ другихъ наставниковъ“, то все это доказываетъ, что ни учителя, такъ поступающіе, ни самые педагогическіе совѣты, не понимаютъ надлежащимъ образомъ прямыхъ своихъ обязанностей. Учителя, — потому, что во вредъ и ученикамъ, и всему учебному учрежденію, поселяютъ вражду, неуваженіе и недоувѣріе тамъ, гдѣ весь успѣхъ дѣла основанъ на гармоническомъ согласіи дѣйствій и взаимномъ уваженіи и довѣріи; педагогическіе совѣты — потому, что имъ слѣдовало бы тотчасъ же предпринять энергическія мѣры для прекращенія зла, подвергнуть въ своихъ засѣданіяхъ не простымъ намекамъ, а безпристрастному суду и точному изслѣдованію поступка его членовъ, употребляющихъ во зло имя и достоинство учителя.

Прощу настоящее предложеніе заслушать въ первомъ засѣданіи педагогическаго совѣта.

6.— Всякій контролеръ учебной дѣятельности долженъ имѣть для контролируемаго какой-нибудь авторитетъ, — конечно, не одинъ официальный. Само собою предполагается, что директоръ и инспекторъ гимназіи избираются изъ лицъ, извѣстныхъ опытностью и педагогическою дѣятельностью; на нихъ лежитъ ответственность за состояніе учебной части въ гимназіи, и по-

тому замѣчанія директора и инспектора относительно преподаванія имѣютъ особенное значеніе для учителей и для самого преподаванія. Но всѣхъ ли учителей извѣстной гимназіи замѣчанія могутъ имѣть свойство замѣчаній, заслуживающихъ вниманія преподавателя и тогда, когда ихъ не просятъ,—это еще вопросъ.—Если директоръ и инспекторъ бѣлоцерковской гимназіи подписали предложенную имъ нѣкоторыми учителями мѣру, болѣе или менѣе ограничивающую ихъ вліяніе на преподаваніе, то это скорѣе показываетъ ихъ благородное самоотреченіе отъ права, имъ принадлежащаго, ихъ умѣренность и гуманность, чѣмъ доказываетъ необходимость самой мѣры, подписанной ими.

Итакъ, наблюденіе за преподаваніемъ въ гимназіи и необходимыя при томъ замѣчанія должно предоставить тому, кому это ввѣрено уставомъ гимназіи, съ тѣмъ, однако-же, чтобы директоръ и инспекторъ свои замѣчанія дѣлали извѣстными въ педагогическомъ совѣтѣ.

Утверждаю это мнѣніе, рискуя получить упрекъ въ робости, который такъ легко сдѣлать, и котораго многіе часто опасаются до того, что скрываютъ свое убѣжденіе въ безмолвной подписи.

Но поелику способы преподаванія могутъ быть изучаемы не изъ однихъ только циркуляровъ г. попечителя кіевскаго учебнаго округа, а и нагляднымъ образомъ—чрезъ наблюденіе надъ преподаваніемъ другихъ, то должно допустить, что всякій учитель гимназіи можетъ быть на урокъ другого учителя—съ цѣлью усвоить то, что найдетъ для себя лучшаго въ его способѣ преподаванія, но не съ цѣлью инспектировать своего товарища подъ—иногда—лукавымъ предлогомъ дружескихъ замѣчаній, которыхъ послѣдній почему-либо вовсе не расположенъ ни просить, ни принимать отъ него. Когда эта цѣль будетъ извѣстна, то взаимныя посѣщенія уроковъ учителями, производя благотворное вліяніе во многихъ отношеніяхъ, дѣйствительно примутъ видъ посѣщеній дружескихъ, не будутъ возбуждать подозрѣній ни въ преподавателѣ, ни въ ученикахъ, относительно личности посѣтителя, не будутъ стѣснять на урокъ дѣятельность преподавателя, а, напротивъ, возбуждать ее и развивать, а съ другой стороны, ограничатся взаимностью нѣкоторыхъ

учителей, дѣйствительно сближенныхъ сродствомъ преподаваемыхъ ими предметовъ и другими отношеніями.

Надѣюсь, что съ мнѣніемъ моимъ согласны слова апостола: „не мнози учителя бывайте, братіе, вѣдѣюще, яко большее осужденіе примемъ“, и старинное правило: „de se ipso moditice, de aliis honorifice“.

Несмотря на кажущееся различіе мнѣній касательно пользы взаимнаго посѣщенія уроковъ учителями гимназій, возникшее въ педагогическомъ совѣтѣ бѣлоцерковской гимназій, мнѣ кажется, что обѣ стороны согласны въ главномъ и существенномъ. Если учителя будутъ посѣщать уроки своихъ товарищей, съ цѣлью, какъ говоритъ законоучитель Лебединцевъ, усвоить то, что найдутъ для себя лучшаго въ способѣ преподаванія своего товарища, если, кромѣ того, цѣлью будетъ сравненіе различныхъ способовъ преподаванія, употребляемыхъ другими. съ своимъ собственнымъ, то отъ такого посѣщенія нельзя ничего болѣе ожидать, кромѣ пользы. Да, предложивъ педагогическимъ совѣтамъ гимназій собираться въ экстраординарныя засѣданія для обсужденія различныхъ способовъ преподаванія и различныхъ мѣръ къ устраненію существующихъ недостатковъ въ преподаваніи, я иначе и не полагалъ возможнымъ осуществить эту цѣль, какъ тѣмъ способомъ, чтобы наставники доставляли другъ другу фактическія доказательства достоинства предлагаемаго или принятаго ими способа изложенія той или другой науки. Безъ такихъ ясныхъ, фактическихъ доводовъ, ихъ сужденія, сообщаемыя въ засѣданіяхъ педагог. совѣта, остались бы голословными. Бумага все терпитъ. Можно написать многое, и свое, и чужое, и кто хоть сколько-нибудь владѣетъ перомъ—можетъ красно и убѣдительно изложить свои мысли; но въ дѣлѣ практическомъ, каково педагогическое искусство, это еще мало. Нужно доказать: 1) что тотъ, кто изложилъ свое мнѣніе на бумагѣ о своемъ способѣ преподаванія, слѣдуетъ ему дѣйствительно и на самомъ дѣлѣ; и 2) что излагаемый имъ способъ дѣйствительно имѣетъ тѣ выгоды, которыя онъ ему приписываетъ. Какъ же можно это доказать иначе, какъ не пригласивъ товарищей на свой урокъ и не убѣдивъ ихъ на самомъ опытѣ или посѣтивъ лекціи своего товарища и сравнивъ его способъ преподаванія съ своимъ собственнымъ? Если

одинъ не убѣдится и опытомъ, то должно рѣшить большинство вмѣстѣ съ директоромъ и инспекторомъ, также убѣдившись на опытѣ, слѣдовательно, посѣтивъ лекціи. Если и это еще не убѣдитъ приверженцевъ своихъ собственныхъ взглядовъ, то у начальства округа, на разсмотрѣніе котораго посылаются и мнѣнія большинства, и отдѣльныя мнѣнія, безъ сомнѣнія, найдется довольно средствъ убѣдиться въ истинѣ сужденій той или другой стороны. Безъ сомнѣнія, въ школьномъ, какъ и во всякомъ другомъ общественномъ кругу, найдутся и такія личности, которыя скроютъ свое недоброжелательство, пристрастіе или насмѣшку „подъ лукавымъ предлогомъ дружескихъ замѣчаній“, какъ говоритъ законоучитель Лебединцевъ, — но на это смотрѣть нечего. Это вездѣ и всегда можетъ случиться, и не должно останавливать доброе дѣло. Противъ всѣхъ возможныхъ золъ уберечься нельзя, а если станемъ слишкомъ оберегаться, то, пожалуй, никогда и добра не достигнемъ. Впрочемъ, во избѣжаніе личностей и ссоръ, наставники могутъ уговариваться въ томъ, чтобы сообщать свои замѣчанія не иначе, какъ въ засѣданіяхъ педагогическаго совѣта.

7.—Въ кіево-подольск. двор. учил., по предложенію шт. смот., обсуживался вопросъ: пользу или вредъ приносятъ аудиторы? По мнѣнію г. Слѣпушкина, польза аудиторомъ весьма гадательна, а нравственный вредъ, приносимый ими, такъ великъ, что едва-ли оправдываетъ ихъ существованіе. Эта мѣра можетъ возбуждать въ дѣтяхъ такія нечистыя побужденія и привычки, которыя грустно видѣть во взросломъ человѣкѣ, не только въ ребенкѣ. Она же, можетъ быть, дастъ посылку, изъ которой образуется иногда будущій, не всегда честный, взглядъ на вещи. Учитель Стефановскій при этомъ возразилъ, что назначеніе аудиторомъ вызывается необходимостью, такъ какъ преподаватель не имѣетъ возможности спросить въ теченіе урока всѣхъ ученикомъ, а между тѣмъ въ низшихъ классахъ вѣншее побужденіе къ ученію (т.-е. неизбѣжность спроса) существенно необходимо, — иначе дѣти не будутъ регулярно готовить своихъ урокомъ. Поэтому онъ полагаетъ, что аудиторомъ должно допустить въ I-мъ классѣ, по крайней мѣрѣ на

два мѣсяца, пока поступившіе не привыкнутъ къ систематическимъ занятіямъ.

Послѣ того шт. см. учебныхъ заведеній предложилъ: не найдутъ ли гг. преподаватели необходимымъ отмѣчать въ циркулярахъ округа то, что, по ихъ мнѣнію, можетъ быть приложимымъ или съ пользою введеннымъ въ училище. Совѣтъ вполнѣ согласился съ этимъ мнѣніемъ и опредѣлилъ: 1) чтобы каждый преподаватель отмѣчалъ тѣ теоретическія и практическія замѣчанія, которыя, по его мнѣнію, могутъ привести пользу въ примѣненіи; 2) чтобы о такихъ замѣткахъ онъ сообщалъ совѣту въ одно изъ засѣданій, и затѣмъ 3) если его мнѣніе будетъ одобрено, чтобы оно переходило непосредственно въ практику.

Въ заключеніе предложено не выпускать учениковъ изъ класса, во время уроковъ, ни подъ какимъ предлогомъ, кромѣ случаевъ болѣзни и крайней необходимости. Необходимость такого распоряженія объясняется тѣмъ, что ученики безъ всякой надобности пользуются этимъ установившимся обычаемъ, развлекаются, привыкаютъ баловаться и приходятъ въ классъ не для занятій, а для празднаго препровожденія времени на дворѣ. Члены совѣта, признавая справедливость высказанныхъ замѣчаній и принявъ во вниманіе, что такое же постановленіе уже принято совѣтомъ волынской гимназіи и одобрено г. попечителемъ округа, положили привести эту мѣру въ исполненіе.

Наши заведенія въ полномъ смыслѣ слова — учебныя заведенія, и мы сами — учителя, отнюдь не воспитатели. Отчего это произошло — объяснять здѣсь не мѣсто, но несомнѣнно одно, что мы преслѣдуемъ исключительно научныя цѣли. Повѣряя результаты нашихъ трудовъ на испытаніяхъ, мы требуемъ отъ ученика прежде всего фактическаго знанія, — пожалуй, въ извѣстной мѣрѣ формальнаго развитія, но не болѣе. При естественномъ состояніи общества такой порядокъ вещей былъ бы совершенно законенъ. Тогда ребенокъ, получая въ семействѣ доброе, нравственное направленіе, въ школу могъ бы приходить только за научнымъ матеріаломъ. Между тѣмъ, при самомъ поверхностномъ взглядѣ, уже не трудно замѣтить, какъ далеки мы отъ такого идеала. Если наши учебныя заведенія, несмотря на всю неудовлетворительность обученія, все же еще выпу-

скають ученика съ запасомъ систематическихъ и въ извѣстной мѣрѣ отчетливыхъ свѣдѣній, то наши семейства слишкомъ чужды не только исполненія, даже правильнаго пониманія своего долга. Особенно это слѣдуетъ сказать о тѣхъ, которые и по средствамъ, и по своему общественному положенію занимають низшія ступени общества. Но если мальчикъ не получаетъ теперь нравственнаго воспитанія дома, не получаетъ его и въ школѣ, — слѣдуетъ ли изъ этого, что онъ его вовсе не получаетъ? Думаю, что нѣтъ.

Несомнѣнно, что воспитаніе ребенка можетъ происходить помимо всякой преднамѣренной теоріи и независимо отъ того, обращено ли на это вниманіе. Не учивши дитя, можно вырастить круглаго невѣжду; но если его не воспитывать, то оно воспитается собственными средствами, и вся разница будетъ заключаться въ томъ, что оно можетъ воспитаться дурно тогда, когда могло бы воспитаться разумно и правильно. Словомъ, отъ образованія нѣкотораго взгляда на вещи — правильнаго или неправильнаго, — отъ образованія своего рода нравственнаго кодекса вы его не убережете. Въ школьное же время, когда умственная пытливость возбуждена, кругъ понятій и дѣятельности дѣлается шире, и особенно когда является сильное стремленіе къ подражанію старшимъ, — нравственное формированіе ребенка происходитъ еще осязательнѣе. Но школьное, подчасъ сухое ученіе не въ состояніи удовлетворить дѣтскую подвижную натуру и отвѣтить на всѣ вопросы, которые представляются ея умственному взору. А между тѣмъ кругъ этихъ вопросовъ съ каждымъ годомъ становится все обширнѣе, и рѣшеніемъ ихъ уже, очевидно, начинаетъ опредѣляться характеръ будущей личности человѣка. Если же ребенокъ не находитъ отвѣта у старшихъ, не находитъ его прямо въ ученіи, — онъ рѣшаетъ его по-своему или примѣняясь къ готовому рѣшенію другихъ. Вообще трудно подмѣтить, какъ совершается этотъ любопытный процессъ; еще труднѣе указать законы, по которымъ дѣтская натура вноситъ въ свой міръ всякое новое приобращеніе.

Если все это справедливо, то остается рѣшить вопросъ не о необходимости воспитательнаго элемента въ преподаваніи, а только о томъ: въ какой мѣрѣ необходимо примѣнить его и

какимъ образомъ? Прежде, однако-же, не будетъ лишнимъ уяснить, чтò должно разумѣть подѣ правильнымъ нравственнымъ воспитаніемъ? Конечная цѣль разумнаго воспитанія должна заключаться въ постепенномъ образованіи въ ребенкѣ яснаго пониманія вещей окружающаго его міра и преимущественно общественнаго, т.-е. того, въ которомъ ему современемъ придется дѣйствовать. Это прежде всего. Затѣмъ послѣдовательнымъ результатомъ такого пониманія должно быть возведеніе добрыхъ инстинктовъ дѣтской природы въ сознательное стремленіе къ идеаламъ правды и добра. И, наконецъ, въ задачу воспитанія, какъ результатъ того и другого, должно входить постепенное образованіе нравственныхъ современныхъ убѣжденій, образованіе твердой и свободной воли и, слѣдовательно, воспитаніе тѣхъ гражданскихъ и человѣческихъ доблестей, которыя составляютъ лучшее украшеніе времени и общества. Задача, очевидно, не легка, но не надо забывать, что приходится имѣть дѣло съ матеріаломъ, въ бѣльшей части случаевъ послушнымъ и воспріимчивымъ. Не надо забывать, что многое изъ начертанной программы уже хранится въ дѣтской натурѣ и ей присуще.

Что касается до того, въ какой мѣрѣ можетъ быть введенъ воспитательный элементъ въ преподаваніе, то я не изъ тѣхъ, которые видятъ въ немъ исключительную задачу общественнаго образованія. Преподаваніе должно прежде всего обогатить умъ положительными свѣдѣніями. Я отъ всего сердца сочувствую тому правилу дидактики, по которому „преподаваніе должно соображаться не только съ дѣтскою природою, но и съ сущностью сообщаемой науки“. Преподаваніе должно подчиняться научнымъ требованіямъ предмета, и самый предметъ не долженъ быть только орудіемъ для постороннихъ цѣлей. Основаніе для такого взгляда слѣдующее: всего чаще у насъ прямыя цѣли обученія приносятъ въ жертву такъ-называемому развитію, т.-е. заботятся не столько о томъ, чтобы учащійся зналъ дѣло, сколько о томъ, чтобы схватилъ его конечные результаты. Но развитіе, — будетъ ли оно слѣдствіемъ воспитанія или преподаванія, — если оно не подкрѣплено положительнымъ знаніемъ, переходитъ въ фразу, въ мыльный пузырь, который гроша не стоитъ: оно образуетъ людей поверх-

ностныхъ и заносчиво-самоувѣренныхъ, людей шаткихъ, не имѣющихъ ни одного, собственной работой добытаго, мнѣнія, фразеровъ, мечтателей, дурныхъ исполнителей. Въ этомъ ли должна заключаться цѣль разумной педагогики? Еще ли у насъ мало людей, которые весь вѣкъ задаютъ себѣ великія задачи, говорятъ громкія вещи и не умѣютъ приложить ихъ въ жизни къ самому легкому дѣлу? Но изъ всего сказаннаго мною опять не слѣдуетъ, чтобы я отрицалъ пользу развитія. Оно необходимо существенно уже потому, что образуетъ человѣка, тогда какъ знаніе даетъ только ученаго. Я хочу сказать, что развитіе должно опираться на фактъ, на знаніе, быть его прямымъ, конечнымъ выводомъ, и только тогда можетъ получить цѣну. Поэтому я полагалъ бы, что въ преподаваніи воспитательный элементъ не долженъ стоять на первомъ мѣстѣ. Наставникъ никогда не долженъ забывать свою прямую цѣль—систематическую передачу знанія; но, не забывая ея, онъ долженъ столь же постоянно помнить и о второй задачѣ.

Остается теперь сказать, какимъ образомъ примѣнимъ воспитательный элементъ въ преподаваніи? Но положительно рѣшить этотъ вопросъ я не берусь. Въ этомъ дѣлѣ все зависитъ отъ даровитости преподавателя, его собственнаго развитія и, наконецъ, отъ свойства самаго предмета.

Извлеченіе изъ записки г. Слѣпушкина помѣщается здѣсь только потому, что я желаю, чтобы другіе наставники принимали участіе въ обсужденіи поднятаго имъ вопроса. Г. Сл., конечно, не разрѣшилъ его удовлетворительно. Онъ даже попалъ не на прямую дорогу. Онъ, по моему мнѣнію, неясно опредѣлялъ, чтó такое воспитательный элементъ въ преподаваніи и чтó такое развитіе ученика путемъ преподаванія и науки. Изъ его записки выходитъ, что онъ какъ будто противопоставляетъ развитіе и воспитательный элементъ обогащенію ума положительными свѣдѣніями посредствомъ преподаванія. Г. Сл. говоритъ, что будто бы у насъ „всею чаще прямая цѣль обученія приносятся въ жертву так.-наз. развитію“. „А развитіе,—продолжаетъ онъ,—если не будетъ подкрѣплено положительнымъ знаніемъ, то переходитъ въ пустую фразу“. Но кто не знаетъ, что истинное развитіе безъ положительныхъ свѣдѣній не существуетъ. Какъ можно развить душевные спо-

способности ребенка, не употребивъ орудіемъ развитія положительныя, научныя свѣдѣнія? И если въ чемъ нужно упрекать наши школы, такъ именно въ томъ, что онѣ не владѣютъ или плохо владѣютъ этимъ орудіемъ. Поэтому-то я, получивъ записку г. Сл., обрадовался-было, думая, что онъ, примѣняясь къ мѣстнымъ обстоятельствамъ, докажетъ въ ней, какимъ образомъ можно бы было осуществить мысль о необходимости воспитательнаго элемента въ преподаваніи. Къ сожалѣнію, этого г. Сл. не сдѣлалъ, а предоставляетъ дѣлать другимъ, ссылаясь на то, что ему недостаетъ еще педагогической опытности. Во всякомъ случаѣ поблагодаримъ его и за то, что онъ возбуждаетъ вопросъ, и будемъ надѣяться, что другіе, болѣе опытные наставники скажутъ намъ, какъ они понимаютъ это дѣло.

8.—Изложеніе основныхъ началъ къ „Временнымъ правиламъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій кievскаго учебнаго округа“:

Въ дѣлѣ воспитанія, —будетъ ли оно домашнее, или общественное, —всегда болѣе или менѣе преобладаетъ одно изъ трехъ началъ: призваніе, администрація и спекуляція.

По призванію воспитываютъ дѣтей только нѣкоторые, немногіе родители и нѣкоторые избранные педагоги. Въ учебныхъ казенныхъ заведеніяхъ господствуетъ административное начало, а въ большей части частныхъ школъ и пансіоновъ —спекуляція. Это такъ есть, и не можетъ быть иначе, при современномъ состояніи нашего общества, хотя собственно одно только призваніе должно бы быть господствующимъ началомъ воспитанія. Понятно, что правила, которымъ слѣдуютъ призванный педагогъ, воспитатель-чиновникъ и воспитатель-спекулянтъ, если и не діаметрально противоположны, то, по крайней мѣрѣ, весьма различны. Первый слѣдуетъ внутреннему внушенію; второй — предписаніямъ и постановленіямъ начальства; третій —тому, что приноситъ ему самому больше выгоды. Правда, въ образованномъ обществѣ и призванный, и администраторъ, и спекулянтъ не могутъ безнаказанно отступать вовсе отъ началъ, принимаемыхъ современною педагогикою; но, тѣмъ не менѣе, всѣ основныя педагогическія правила.

въ рукахъ каждаго изъ этихъ трехъ воспитателей, принимаютъ другой характеръ и другое направленіе, а потому и исполненіе ихъ даетъ другой результатъ. Кромѣ того, самое педагогическое искусство,—смотря по тому, будетъ ли оно этими воспитателями приспособлено къ домашнему или общественному воспитанію,—также получаетъ другой характеръ. Такъ, при воспитаніи массъ, въ многочисленныхъ общественныхъ учрежденіяхъ, и призванные, и спекулянты, принужденные дѣйствовать по однообразнымъ и опредѣленнымъ предписаніямъ начальства, невольно дѣлаются воспитателями-чиновниками. Въ этихъ учрежденіяхъ почти совсѣмъ исчезаетъ возможность индивидуализировать, а съ этимъ вмѣстѣ дѣлается невозможнымъ и примѣненіе одного изъ самыхъ основныхъ правилъ педагогики, предписывающаго сообразоваться, въ каждомъ данномъ случаѣ, съ нравомъ, темпераментомъ и способностями воспитанника. Дѣло воспитанія въ большихъ закрытыхъ воспитательныхъ заведеніяхъ ни съ чѣмъ нельзя лучше сравнить, какъ съ медицинскою практикою въ большихъ госпиталяхъ, которая также, по невозможности хорошо индивидуализировать, рѣзко отличается отъ частной практики. Невозможность вникать въ натуру каждаго воспитанника въ большихъ общественныхъ учрежденіяхъ нарушаетъ и тѣ сердечныя, патріархальныя отношенія воспитателя къ воспитаннику, которыя составляютъ отличительную черту домашняго, родительскаго и того воспитанія, которымъ (въ малыхъ объемахъ) занимаются педагоги по призванію. Счастливое время патріархальныхъ отношеній—если оно когда-либо и существовало въ большихъ учебныхъ заведеніяхъ—прошло. Теперь, подъ предлогомъ этой патріархальности, нерѣдко ждешь не добра, а скрытыхъ злоупотребленій. Прислушиваясь къ говору учениковъ въ школахъ, не только ничего не услышишь о сердечной привязанности ихъ къ наставникамъ, но, напротивъ, еще узнаешь, что не существуетъ даже и довѣрія къ справедливости и правосудію воспитателей. При такомъ положеніи дѣла толковать объ отеческихъ отношеніяхъ директоровъ, инспекторовъ, надзирателей и учителей къ воспитанникамъ—значило бы фарисействовать или не хотѣть видѣть того, что уже слишкомъ ясно. Еще недавно педагогическій совѣтъ одной изъ гимназій

округа, осуждая провинившагося ученика, раздѣлился на двѣ противныя стороны, изъ которыхъ одна утверждала, что учителя должны быть отцами, а другая, — что они должны быть братьями учениковъ. Я замѣтилъ на это, что наставники, по моему мнѣнію, должны остаться тѣмъ, чѣмъ они есть на самомъ дѣлѣ, то-есть ни болѣе и ни менѣе, какъ наставниками. И теперь, предлагая дирекціямъ округа принять въ руководство прилагаемыя здѣсь правила о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ, я полагаю имъ въ основаніе это убѣжденіе. Убѣжденный опытомъ, что патріархальныя отношенія учащихся къ учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ сдѣлались мнѣомъ, обольщающимъ только однихъ непосвященныхъ, я предлагаю оставить въ покоѣ недостижимое, а обратиться лучше къ усовершенствованію другой, болѣе практической, стороны общественнаго воспитанія. Не входя въ разсмотрѣніе, худо ли, или хорошо, что административное начало преобладаетъ въ большихъ учебныхъ учрежденіяхъ, и принимая это какъ „un fait accompli“, я полагаю, что при такомъ состояніи дѣла нужно, по крайней мѣрѣ, извлечь все хорошее изъ этого начала и приспособить его какъ можно лучше къ воспитанію вѣреннаго намъ юношества. Хорошаго же въ этомъ началѣ я вижу то, что оно, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ содѣйствовать къ развитію въ дѣтяхъ чувства законности. Это чувство, такъ еще мало замѣтное въ нашемъ обществѣ, нигдѣ, между тѣмъ, столько не нужно, какъ у насъ, въ Россіи. Всѣ мы ощущаемъ крайнюю необходимость развить въ насъ, съ самыхъ раннихъ лѣтъ, это жизненное условіе гражданственности, взаимнаго довѣрія и прогресса. Но административное начало нашихъ воспитательныхъ учебныхъ учреждений можетъ достигнуть этой важной цѣли только тогда, когда: 1) всѣ начальники и наставники заведеній, при обсужденіи отношеній ихъ къ воспитанникамъ, при разсмотрѣніи поступковъ учащихся и при опредѣленіи наградъ и наказаній, будутъ безпристрастно и вѣрно слѣдовать однимъ, извѣстнымъ и точно опредѣленнымъ, правиламъ и постановленіямъ; 2) когда сами учащіеся, съ перваго вступленія въ школы, будутъ хорошо ознакомлены съ правилами и постановленіями, касающимися ихъ проступковъ и наказаній, и когда они бу-

дуть хорошо знать, что ожидаетъ ихъ за сдѣланный ими проступокъ, и 3) когда учащіеся будутъ убѣждены, что никакой ихъ проступокъ не останется скрытымъ и необсужденнымъ, и что каждое наказаніе проистекаетъ, какъ бы само собою, изъ сущности и характера проступка. Очевидно, что всѣмъ этимъ требованіямъ нельзя удовлетворить иначе, какъ составленіемъ кодекса; но очевидно также и то, что одинъ кодексъ, какъ бы онъ хорошъ ни былъ, еще недостаточенъ; нужны и лица, понимающія всю важность цѣли. Какъ правила безъ исполнителей, такъ исполнители безъ правилъ ничего не сдѣлаютъ. Какъ бы исполнители ни желали остаться вѣрными ихъ призванію и долгу, они ничего путнаго не сдѣлаютъ, если будутъ идти по пословицѣ: „кто въ лѣсъ, а кто по дрова“, и если, не имѣя точныхъ и опредѣленныхъ правилъ, одни изъ нихъ, за одинъ и тотъ же проступокъ и въ одномъ и томъ же заведеніи, будутъ наказывать учащагося, а другіе—смотрѣть на него сквозь пальцы. Не хорошо тоже и то, если въ томъ же учебномъ округѣ (въ которомъ иногда ученики переходятъ изъ одного учебнаго заведенія въ другое), за тотъ же самый проступокъ, одинъ директоръ будетъ сѣчь или исключать ученика, а другіе—прощать его или слабо наказывать. При такихъ противорѣчіяхъ и упущеніяхъ нельзя развиваться чувству законности въ учащихся. Воспитанники, видя такую разнообразность взглядовъ и дѣйствій воспитателей, непременно придутъ къ тому заключенію, что дѣйствіями ихъ управляетъ не законъ, а случай, капризъ, произволъ и пристрастіе. Довѣріе къ законности дѣйствій въ такомъ случаѣ нарушается, а вмѣстѣ съ этимъ исчезаетъ и всякое чувство правды и законности. Произволъ и капризъ воспитателя вызываютъ, по закону противодѣйствія, такой же произволъ и капризъ и въ воспитанникѣ. А что всѣ эти разнорѣчія и упущенія, о которыхъ я сейчасъ намекнулъ, дѣйствительно существуютъ въ учебныхъ заведеніяхъ нашего округа, я вижу и изъ протоколовъ засѣданій педагогическихъ совѣтовъ, и изъ статистическихъ данныхъ о наказаніяхъ, вытребованныхъ мною отъ разныхъ дирекцій. Изъ этихъ данныхъ я вижу, что не только въ разныхъ дирекціяхъ существуютъ различныя наказанія за одинъ и тотъ же проступокъ, но и одно и то же

наказаніе употребляется съ разною цѣлью. Для примѣра я приведу здѣсь краткій перечень тѣлесныхъ наказаній, опредѣленныхъ различными дирекціями. Разность въ численности этихъ наказаній нельзя объяснить различною численностью учениковъ и различною степенью ихъ нравственнаго развитія; мы видимъ, что въ гимназіяхъ, одинаково многочисленныхъ и при сходныхъ условіяхъ, число тѣлесныхъ наказаній было далеко не одно и то же; потому этотъ фактъ не можетъ быть иначе объясненъ, какъ неопредѣленностью взглядовъ гг. директоровъ и наставниковъ на проступки и наказанія учениковъ. — Такъ, въ 1858 г. наказано было розгами: 1) въ кievской 2-й гимназіи изъ 625—43; 2) въ житомирской—изъ 600—290; 3) въ немировской—изъ 600—67; 4) въ подольской—изъ 400—37; 5) въ полтавской изъ 390—39; 6) въ ровенской—изъ 300—6; 7) въ нѣжинской—изъ 260—20; 8) въ новгородсѣверской—изъ 250—8; 9) въ черниговской изъ 240—18; 10) въ бѣлоцерковской—изъ 220—38; 11) въ кievской 1-й гимназіи—изъ 215—3. Неужели нравственное развитіе учениковъ 2-й кievской, на примѣръ, и житомирской гимназіи такъ различно, чтобы имъ однимъ можно было объяснить, почему въ одной изъ нихъ, почти при одинаковомъ числѣ учащихся (600—625) высѣчены были въ прошломъ году только 43, а въ другой—почти 300 учениковъ! Итакъ, убѣжденный вполне, что 1) при господствѣ административнаго начала въ нашихъ учебныхъ учрежденіяхъ первымъ шагомъ къ улучшенію нравственной стороны воспитанія можетъ служить только развитіе чувства законности и справедливости между учащимися; что 2) главнымъ средствомъ къ развитію этого чувства могутъ служить точныя, положительныя и одинаковыя (для всѣхъ дирекцій) правила о проступкахъ и наказаніяхъ, я подвергъ все это дѣло, столь важное по его слѣдствіямъ для воспитываемаго юношества, тщательному обсужденію. Съ этою цѣлью составленъ былъ мною особый комитетъ подъ моимъ предѣдательствомъ; членами комитета были: помощникъ попечителя, директоры, инспекторы двухъ кievскихъ гимназій, инспекторъ казенныхъ училищъ, нѣкоторые профессора (исторіи—Шульгинъ, педагогика—Гогоцкій) и нѣкоторые учителя. Обсудивъ тщательно всѣ мнѣнія, касающіяся этого предмета, я предлагаю теперь

дирекціямъ ввести, на первое время, для гимназій, въ видѣ опыта, слѣдующія опредѣленія комитета, исполнѣ раздѣляемыя и мною. Но прежде, нежели приступлю къ подробному изложенію опредѣленій комитета, я считаю необходимымъ предпослать еще нѣкоторыя начала, служившія основаніемъ правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ, исходною точкою которыхъ было развитіе въ воспитанникахъ чувства законности и правды.

1) Для искорененія вредныхъ убѣжденій, распространенныхъ между учащимися, что произволъ воспитателей, капризы и личность управляютъ ихъ поступками и дѣйствіями, необходимо распространить и усилить дѣятельность и нравственное вліяніе педагогическихъ совѣтовъ. Всѣмъ извѣстно, какъ въ настоящее время ослабѣло нравственное вліяніе учителей на поступки учащихся. Изъ мнѣній, сообщенныхъ мнѣ педагогич. совѣтами, я вижу даже, что нѣкоторые наставники полагаютъ въ своихъ обязанностяхъ слѣдить за нравственностью учениковъ, рассматривая себя какъ бы назначенными только для одного научнаго преподаванія и относя все остальное къ обязанностямъ директора, инспектора и надзирателей. Такимъ образомъ въ нашихъ школахъ произошло, съ одной стороны, вредное разъединеніе учебной и административно-полицейской части, а съ другой стороны—то, что одни и тѣ же лица сдѣлались и слѣдователями проступковъ, и опредѣлителями наказаній. Отсюда и начало недовѣрія, господствующаго между учащимися (особенно высшихъ классовъ) къ справедливости суда. Итакъ, чтобы возстановить это довѣріе, а съ нимъ вмѣстѣ и нравственное вліяніе учителей, нѣтъ другого, болѣе вѣрнаго, средства, какъ распространить дѣйствіе педагогич. совѣта и предоставить ему, въ большей части случаевъ, опредѣленіе наказаній; для обсужденія же тѣхъ проступковъ, которые предоставляются суду надзирателей, инспектора и директора, включить въ число слѣдователей (по очереди или по выбору) и нѣкоторыхъ членовъ совѣта. Опытъ доказываетъ, что заключенія и опредѣленія педагогич. совѣта несравненно болѣе пользуются довѣріемъ между учащимися, чѣмъ рѣшенія одного лица, будетъ ли оно второстепенное въ заведеніи,—какъ учителя и надзиратели,—или главное, какъ директоръ. Поэтому необходимо также,—что и совершенно согласно съ существующимъ

уставомъ, — чтобы и правомъ опредѣлять тѣ наказанія, которыя имѣютъ болѣе сильное вліяніе на нравственность учащихся, пользовался преимущественно одинъ педагог. совѣтъ, а инспекторъ и директоръ имѣли бы право распоряжаться преимущественно въ случаяхъ экстренныхъ и нетерпящихъ никакого отлагательства. Эта мѣра нисколько не уменьшитъ уваженія учащихся къ этимъ лицамъ, но еще, напротивъ, устранивъ причину подозрѣній и нареканій о личностяхъ, капризѣ и произволѣ, заставитъ ихъ болѣе довѣрять своимъ непосредственнымъ начальникамъ, а слѣдовательно и болѣе уважать ихъ. 2) Введеніе предлагаемыхъ здѣсь правилъ и постановленій, конечно, не имѣетъ цѣли распространить между учащимися вредное убѣжденіе, что участь провинившихся будетъ зависѣть единственно отъ одного только мертвого кодекса. Напротивъ, опытъ долженъ скоро убѣдить ихъ, что самое главное дѣло — точное изслѣдованіе и правосудное приложеніе правилъ, содержащихся въ кодексѣ, къ каждому данному случаю, все-таки предоставлено воспитателямъ. Какъ въ каждомъ судопроизводствѣ, такъ, особливо, и въ дѣлѣ воспитанія, при обсужденіи проступковъ учащихся, все зависитъ отъ слѣдователей и судей, примѣняющихъ законъ къ случаю. Поэтому введеніе кодекса нисколько не нарушитъ нравственной связи между воспитателями и воспитанниками. Напротивъ, учащіеся, съ одной стороны, скоро поймутъ, что ихъ дѣйствія подчиняются не только мертвой буквѣ закона, но и живой силѣ убѣжденія ихъ воспитателей о мѣрѣ вины и степени наказанія, съ другой же стороны — введеніемъ кодекса учащіеся убѣдятся, что и самые ихъ воспитатели руководствуются, при обсужденіи проступковъ, не произволомъ, а точными и опредѣленными постановленіями. 3) Главная цѣль наказаній въ учебныхъ заведеніяхъ есть исправленіе. А когда надежда исправить виновнаго вовсе потеряна, то предстоить грустная необходимость удалить неисправимаго для блага цѣлаго заведенія. Необходимостью существованія этой мѣры и отличается воспитаніе въ заведеніяхъ отъ частнаго или семейнаго воспитанія. Воспитатели, имѣя это въ виду, должны, при обсужденіи каждаго проступка, хорошо вникнуть въ тѣ обстоятельства, которыя его сопровождали и ему предшествовали. Потому-то необходимо, при каждомъ


проступкѣ, принимать во вниманіе: усиливающія, ослабляющія и вовсе отъ наказанія освобождающія условія. Всѣ они изложены, съ этою цѣлью, въ особой графѣ приложенной таблицы проступковъ и наказаній. Учащіеся должны имѣть и объ этихъ обстоятельствахъ точныя свѣдѣнія. 4) Никто изъ провинившихся не долженъ отговариваться и извиняться незнаніемъ правилъ и постановленій. Ничто столько не содѣйствуетъ къ развитію чувства законности, какъ точное знаніе закона. Итакъ, прежде, нежели мы приступимъ къ осуществленію изданныхъ правилъ на дѣлѣ, необходимо ознакомить учащихся въ точности съ сущностью самаго дѣла. Съ этою цѣлью предлагается дирекціямъ развѣсить во всѣхъ классахъ прилагаемыя здѣсь таблицы кодекса. Весьма полезно было бы, если бы воспитатели молча подводили воспитанника, послѣ каждаго совершеннаго имъ проступка, къ таблицѣ и указывали ему на то, что его ожидаетъ. Напоминая такимъ образомъ виновному, воспитатель даетъ ему почувствовать, что слѣдующее за виною наказаніе будетъ опредѣлено не произволомъ, а по закону. 5) Но, какъ бы строго и безпристрастно мы ни наказывали виновныхъ за каждый проступокъ, мы не должны забывать, что этимъ не уничтожается самая причина зла. Дѣйствуя на проступки, мы не всегда еще дѣйствуемъ на пороки, служащіе имъ основаніемъ. Наши дѣйствія можно назвать въ этомъ случаѣ болѣе палліативнымъ, нежели радикальнымъ леченіемъ. Корень зла, и послѣ наказанія за вину, еще остается въ душѣ виновнаго, хотя и то правда, что, не давая ему пускаться на свѣтъ отростки, мы прекращаемъ, по крайней мѣрѣ, обнаруживаніе зла; а это уже много значитъ. Зло пытается зломъ. Препятствуя ему обнаруживаться и сегодня, и завтра, мы можемъ, наконецъ, и того достигнуть, что оно совершенно заглохнетъ. Но все-таки эта мѣра еще недостаточна. Нужно стараться, по мѣрѣ силъ, прямо дѣйствовать на самый корень. Для этой цѣли я предлагаю воспитателямъ, принимающимъ къ сердцу ихъ служеніе дѣлу воспитанія (а именно въ закрытыхъ заведеніяхъ), завести у себя карманные журналы, въ которыхъ бы они отмѣчали, съ надлежащею подробностью и только для себя, всѣ замѣченныя ими поступки учениковъ, ихъ образъ мыслей и т. п. Записать въ классный, официальной

ный журналъ или въ кондунтный списокъ: шалилъ, лѣнился, наказанъ за ослушаніе, и т. п. — нетрудно; но если поступокъ не описанъ подробно и если ни слова не будетъ упомянуто о сопровождавшей его обстановкѣ и о другихъ, повидимому, мелочныхъ, но, тѣмъ не менѣе, характеристическихъ обстоятельствахъ, то потомъ безпристрастному судѣ трудно будетъ судить о мотивахъ проступка и трудно будетъ узнать, что было его причиною: легкомысліе, темпераментъ, предшествовавшее воспитаніе или испорченность воли. Собравъ же, посредствомъ такихъ журналовъ, подробныя фактическія свѣдѣнія о поведеніи, характерѣ, темпераментѣ учащагося, легче будетъ попасть на корень зла, и какъ бы ни было трудно въ большихъ воспитательныхъ учрежденіяхъ индивидуализированіе воспитанниковъ, но все-таки, при рвеніи и любознательности воспитателей, оно въ извѣстной степени можетъ быть осуществлено этимъ способомъ. Само по себѣ разумѣется, что воспитатели, занимаясь веденіемъ такихъ журналовъ, должны поступать осторожно и не обращаться къ помощи самихъ учениковъ; иначе вмѣсто добра они будутъ способствовать къ развитію наушничества и шпіонства, какъ это было въ школахъ іезуитскихъ. 6) Опытомъ дознано, что уменьшеніе числа преступленій въ обществѣ и улучшеніе нравственности зависятъ не столько отъ строгости наказаній, сколько отъ распространенія убѣжденія, что ни одно преступленіе не останется неоткрытымъ и безнаказаннымъ. Это же убѣжденіе должно стараться распространить и между учащимися и доказывать имъ его на дѣлѣ. Имѣя это въ виду, предлагаемыя здѣсь правила о проступкахъ и наказаніяхъ и опредѣляютъ только для немногихъ, исключительныхъ, случаевъ строгія тѣлесныя наказанія. Извѣстно, что, какъ бы наказаніе ни было жестоко и унижительно, къ нему можно привыкнуть. Человѣкъ пріучится хладнокровно смотрѣть и на смертную казнь. Такъ и розга, часто употребляемая, теряетъ свое нравственно-исправительное дѣйствіе. Поэтому гораздо надежнѣе и несравненно сообразнѣе съ правилами благоразумной педагогики принять въ основаніе не строгость, а соотвѣтственность наказанія съ характеромъ проступка. Идеаль справедливаго наказанія есть то, чтобы оно происсте-

кало, такъ сказать, само собою изъ сущности самаго проступка. Розгу изъ нашего русскаго воспитанія нужно бы было изгнать совершенно. Если для доказательства ея необходимости и пользы приводятъ въ примѣръ воспитаніе въ Англіи, то на это нужно замѣтить, что розга въ рукахъ англійскаго педагога имѣетъ совершенно другое значеніе. Гдѣ чувство законности глубоко проникло всѣ слои общества, тамъ и самыя нелѣпыя мѣры не вредны, потому что онѣ не произвольны. А тамъ, гдѣ нужно сначала еще распространить это чувство, розга не годится. Унижая нравственное чувство, замѣняя въ виновномъ свободу сознанія робкимъ страхомъ, съ его обыкновенными спутниками: ложью, хитростью и притворствомъ, розга окончательно разрываетъ нравственную связь между воспитателемъ и воспитанникомъ: она и тамъ ненадежна, гдѣ еще существуютъ патріархальныя отношенія. И если грубое тѣлесное наказаніе и отъ рукъ родного отца дѣлается иногда невыносимымъ, то въ воспитаніи, основанномъ на административномъ началѣ, оно дѣлается унижительнымъ и возмущающимъ. Но нельзя еще у насъ вдругъ вывести розги изъ употребленія. Пока сѣченныя дома дѣти будутъ поступать въ наши воспитательныя учрежденія, трудно еще придумать что-нибудь другое для ихъ наказанія, — по крайней мѣрѣ, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства. Намъ покуда ничего не остается болѣе, какъ принять за правило: употреблять это средство съ крайнею осторожностью и только тамъ, гдѣ позорная вина требуетъ быстрого, сильнаго и мгновеннаго сотрясенія. Но это сотрясеніе тогда только и можетъ достигнуть своей цѣли, когда оно будетъ употреблено рѣдко, но безотлагательно, слѣдуя непосредственно за проступкомъ, очевидность котораго не подлежитъ никакому сомнѣнію. 7) Извѣстно, что во всѣхъ учебныхъ учрежденіяхъ рано или поздно развивается духъ корпораціи, который при извѣстныхъ условіяхъ можетъ и повредить законности, и поддержать ее. Онъ дѣлается вреднымъ, когда корпорація организуется тайно, или когда она вовсе не организована, а существуетъ по одному преданію и, такъ сказать, инстинктивно. Еще хуже бываетъ, когда въ основаніе ея принято какое-нибудь ложное, несовременное и незаконное начало. Напротивъ, корпоративный духъ

много содѣйствуетъ распространенію законности и нравственной связи между учащимися и цѣлымъ учрежденіемъ, когда основаніемъ корпораціи служить благородное научное соревнованіе, чувство чести и собственного достоинства. Главная задача педагогіи состоитъ въ томъ, чтобы, пользуясь этою естественною наклонностью человѣка, живущаго въ обществѣ, проявляющеюся съ самаго его дѣтства, дать ей надлежащее направленіе и устремить ее въ развитію чувства законности, правды и чести. Безъ сомнѣнія, примѣненіе корпоративнаго духа, болѣе или менѣе господствующаго въ нашихъ училищахъ, къ педагогическимъ цѣлямъ должно быть дѣлаемо съ большою осторожностью. Такимъ образомъ характеръ нѣкоторыхъ проступковъ учащихся можетъ быть несравненно точнѣе опредѣленъ ими самими, нежели воспитателями. Существуютъ, напримѣръ, такіе проступки, причину и значеніе которыхъ разувать нельзя иначе, какъ посредствомъ товарищей виновнаго, и именно потому, что эти проступки преимущественно касаются взаимныхъ отношеній одного учащагося къ другимъ. Если же педагогъ вздумаетъ воспользоваться этимъ средствомъ и прибѣгнетъ, для обнаруженія виновнаго и причины его проступка, къ помощи его товарищей, то онъ, очевидно, нарушитъ нравственное основаніе воспитанія, нарушитъ взаимное довѣріе и ту связь учащихся между собою и съ ихъ воспитателями, которая такъ необходима для всякаго учебнаго учрежденія. Поэтому, въ подобныхъ случаяхъ здравая педагогика требуетъ, чтобы разслѣдованіе и, въ извѣстной степени, и самый судъ виновнаго были болѣе предоставлены его товарищамъ, нежели наставникамъ; наставникъ же въ такихъ случаяхъ долженъ играть роль болѣе пассивную; онъ долженъ точно наблюдать за ходомъ всего дѣла, не допуская ни малѣйшаго уклоненія отъ правды и, такъ сказать, издали руководя дѣйствіемъ воспитанниковъ. Съ этою цѣлью я и предлагаю на первый разъ, въ видѣ опыта, ввести въ пяти высшихъ классахъ совѣстный судъ товарищей, правильно организованный, подъ руководствомъ воспитателей. Правила его будутъ изложены ниже. Къ проступкамъ, подлежащимъ этому суду, можно отнести, какъ я уже сказалъ, только тѣ, которые касаются нарушенія взаимныхъ отношеній учениковъ, какъ-

то: порчу вещей товарищей, ложь и клевету противъ товарища, оскорбленіе товарища словомъ или дѣломъ. Право такого суда можетъ быть предоставлено учащимся въ видѣ особеннаго довѣрія начальниковъ къ ихъ нравственности, и тогда же должно быть отнято, какъ скоро педагогич. совѣтъ удостовѣрится, что предоставленное имъ дѣло было ведено неправильно и пристрастно. Такой судъ, хотя и въ грубомъ видѣ, существуетъ и теперь въ закрытыхъ заведеніяхъ, и даже между приходящими учениками; они и теперь находятъ случаи, собравшись, общими силами разругать и даже поколотить товарища, провинившагося въ ихъ глазахъ; только официально такая ученическая расправа не признается. Но мнѣ кажется, что гораздо безвреднѣе, для нравственности общества, такіа естественныя проявленія корпоративнаго духа правильно организовать и подчинить законному надзору, нежели, закрывъ глаза рукою, признать ихъ какъ бы несуществующими. Наконецъ, я долженъ объявить дирекціямъ, что и таблицу, и мнѣнія, обсужденныя комитетомъ о проступкахъ и наказаніяхъ, нисколько не разсматриваю я какъ совершенно уже законченныя и не подлежація дальнѣйшимъ улучшеніямъ и измѣненіямъ, на которыя можетъ указать время и опытъ. Поэтому я прошу всѣхъ и каждого изъ воспитателей сообщить мнѣ, чрезъ педагогическій совѣтъ или въ видѣ отдѣльных мнѣній, сдѣланныя ими замѣчанія, замѣченные недостатки и указать на придуманныя каждымъ исправленія.



ПИСЬМО Н. П. ПИРОГОВА

КЪ БАР. Э. О. РАДЕНЬ ¹⁾.

Многоуважаемый друг!

Вы затронули струны старой, разбитой скрипки, — такъ не смущайтесь же разладицей ея звуковъ. Я себя причисляю уже къ прошедшему, и потому не могу судить о немъ объективно: настоящее, въ которомъ я доживаю свои дни, мнѣ, конечно, тоже не безразлично, но только я не могу анализировать его съ той точки зрѣнія, съ которой судить о немъ нынѣшнее поколѣніе. Мои воспоминанія принуждаютъ меня сравнивать прошедшее съ настоящимъ, и при этомъ въ моемъ умѣ становится цѣлый рой идей самыхъ противоположныхъ. Вотъ почему прошу васъ не обвинять меня, если мое писаніе покажется вамъ неудобопонятнымъ изложеніемъ противорѣчій, переплетшихся въ моихъ мысляхъ. Въ этихъ листахъ вы прочтете также нѣсколько очерковъ моихъ субъективныхъ мнѣній, и пожалуй, что, въ концѣ концовъ, вы, вмѣсто ожидаемыхъ отъ меня и интересующихъ васъ историческихъ воспоминаній, найдете только одну смѣсь пережитыхъ идей и сужденій, которыя васъ нисколько не интересуютъ. Я въ этомъ не виноватъ, какъ уже сказалъ: я долженъ, *malgré moi*, подѣлиться съ вами всѣми чувствами, которыя дорогія воспоминанія выманиваютъ изъ глубины моей души. Впрочемъ, вы еще получите (конечно, не

¹⁾ См. въ „Историч. Вѣстн.“, 1886 г., ноябрь, стр. 249: „Загробный свидѣтель за женщинъ.—Наблюденія, опыты и замѣтки Н. И. Пирогова, изложенныя въ письмѣ къ бар. Э. О. Раденъ“. Н. С. Лѣскова.

чрезъ почту) нѣкоторые отрывки достовѣрныхъ документовъ, которые могутъ быть полезными въ составленіи исторіи. Сынъ мой въ скоромъ времени отправляется въ Петербургъ, и я ему поручилъ передать вамъ лично эти документы. Межъ ними нѣкоторые отъ васъ самихъ, съ собственноручными письмами покойной великой княгини. Содержаніе послѣднихъ, если противопоставить съ ними мои письма отъ 1854—1855 годовъ (которые вы легко отыщете въ своихъ бумагахъ), можетъ, безъ сомнѣнія, сильно способствовать для изображенія исторіи „Общества сестеръ милосердія“...

Подвиги такихъ монарховъ, какъ наши Петръ, Екатерина, оба Александра, до того величественны и объемисты, что не нуждаются въ похвалахъ. Но дѣйствія нашей незабвенной великой княгини таковы, что ихъ и можно и должно прославить. Но зато біографу ея тѣмъ болѣе и слѣдуетъ остерегаться, чтобы не написать ея исторіи въ видѣ панегирика. Иногда такъ бываешь ослѣпленъ блестящимъ результатомъ человѣческихъ дѣйствій, что чересчуръ легко относишься къ самой человѣческой природѣ ихъ совершителя, а эта сторона именно и есть самая поучительная и привлекательная для насъ. Идеальность получаетъ еще болѣе рельефа, когда раскрываютъ неизбѣжныя во всякомъ дѣлѣ ошибки и слабости. Даже въ глубокой идеѣ нашей религіи человѣчество служитъ основаніемъ Божественнаго Искупителя...

И наши раскольники, предлагая свой вопросъ: „когого духа человѣкъ сей?—очевидно, стараются разрѣшить великую задачу познанія человѣка. По моему, и всякій біографъ, приступая къ своему дѣлу, тоже обязывается прежде всего разрѣшить себѣ этотъ самый вопросъ. Прежде всего слѣдуетъ ему ознакомить насъ съ личнымъ воззрѣніемъ на жизнь описываемой имъ особы и исполнить это сколь возможно ясно и искренно, и уже этимъ способомъ дать намъ понять и его собственное міровоззрѣніе или пониманіе жизни.

Я не пишу біографіи, а между тѣмъ куча мыслей насчетъ этого важнаго вопроса такъ невольно и наполняетъ мнѣ голову. Современное міровоззрѣніе, насколько я могъ его изучить, бываетъ четырехъ родовъ: либо оно раціональное, либо чисто формальное, нерѣдко и легкомысленное, но болѣе или

менѣ мистическое. Въ большинствѣ случаевъ, можно убѣдиться, что одинъ родъ воззрѣнія переходитъ въ другой, и притомъ наши сужденія часто измѣняются въ теченіе жизни. Чисто-раціональное міровоззрѣніе рѣдко встрѣчается, особенно между женщинами (быть можетъ, къ счастью), но, къ несчастью, два другіе рода (формальный и легкомысленный) берутъ у нихъ верхъ. Мистическій элементъ всасывается отчасти во всевозможныя міровоззрѣнія, потому что онъ пустилъ глубокіе корни въ нашихъ душахъ, и самыя крупныя силы анализирующаго разсудка не въ состояніи вымолвить намъ послѣднее слово великой загадки. Современный реализмъ ни къ чему насъ не приводитъ своей тощей пустотой. Онъ убѣждаетъ только игнорировать несповѣдимое, а современный спиритизмъ доказываетъ ему въ то же время, что мы, т.-е. родъ людской, вовсе даже и не чувствуемъ призванія къ реальной философіи. Мистицизмъ для насъ совершенно необходимъ: это — одна изъ естественныхъ потребностей жизни. Все насъ окружающее, по своему существу, несповѣдимо и мистично. Если мы не довольствуемся однимъ *fait accompli*, то наше я объективно въ отношеніи насъ самихъ, а міръ, какъ цѣлое, мистиченъ. Гегель признавалъ мистицизмъ и въ безгласныхъ животныхъ. То ежедневное явленіе, которое, однако, играетъ такую важную роль въ дѣлахъ жизни, извѣстное подъ названіемъ: „случай“, тоже содержитъ въ себѣ значительную долю мистицизма. Наконецъ, и основанія всякаго въ насъ религіознаго чувства не есть ли ясное стремленіе къ тому же мистицизму?

Если бы пришлось мнѣ теперь рѣшить, къ которой изъ четырехъ категорій принадлежало міровоззрѣніе нашей покойной великой княгини, то я бы причислилъ его къ умѣренно-раціональному. Ничто не внушало мнѣ столько уваженія, какъ основательность и строгость ея воззрѣній, что, какъ извѣстно, очень рѣдко можно встрѣтить въ высшей сферѣ общества. Наша покойная великая княгиня не смотрѣла на жизнь какъ на цѣль наслажденія, блеска и почестей. Она смотрѣла на жизнь какъ на причину, вызывающую живущаго на дѣятельность и на исполненіе долга. Духъ мистицизма же выказывается, какъ всегда, въ этой же именно строгости воззрѣній.

— Грустно, — говорила она мнѣ однажды, — что мы не мо-

жемъ имѣть яснаго понятія о нашемъ загробномъ существованіи.

— Да именно это стремленіе постичь непостижимое чрезъ ясное изображеніе и доказываетъ сильную борьбу мистическаго элемента нашего духа съ раціональнымъ міровоззрѣніемъ.

— Такъ бы хотѣлось знать, — продолжала она потомъ: — какъ выскажется наша индивидуальность по смерти нашей?

И я въ то время имѣлъ наглость думать, что могу разрѣшить ея неразрѣшимый вопросъ:

— Если намъ покажется понятнымъ, — отвѣчалъ я, — что атомы могутъ проникнуть сквозь грубую оболочку относительно другой матеріи мірскаго ээира, то позволительно полагать, что и для насъ предназначено нѣкое свойство, которое утонченнѣе самого ээира; и тогда мы можемъ принять за правдоподобное и ту идею, что это сверхъ-ээирное свойство уже и здѣсь есть интегрированной частью нашего бытія. Оно и сохранитъ намъ индивидуальность даже и по разрушеніи грубой оболочки тѣла.

Какъ видно, я былъ въ то время полу-спиритомъ.

При раціональномъ міровоззрѣніи нашей великой княгини, основаніе устроеннаго ею „Общества сестеръ“ не могло выйти ничѣмъ другимъ, какъ раціональнымъ. Главнымъ двигателемъ этого учрежденія было желаніе ея принести практическую, неоспоримую пользу для блага отечества. Понятно, что она старалась, по примѣру католическихъ и протестантскихъ основателей, дать своему учрежденію видъ и направленіе религіозныя. Успѣхъ въ этомъ зависѣлъ не отъ нея. Никто на свѣтѣ не въ состояніи внушить своему творчеству другой духъ, чѣмъ тотъ, которымъ одушевленъ самъ творящій. Религіозный видъ былъ данъ, но не былъ внушенъ тотъ религіозно-мистическій духъ, который такъ непоколебимо дѣйствовалъ и управлялъ въ древнихъ католическихъ учрежденіяхъ.

Протестантское спокойствіе и любовь къ порядку также не могли быть тамъ внушены. Наша православная церковь (не вѣра) сильно проникнута позитивизмомъ и формальностью: наше міровоззрѣніе, болѣею частью, также до того формально и къ тому же до того легкомысленно, что нѣтъ у насъ достаточно духовной силы, чтобы проникнуться мистично-религіознымъ эле-

ментомъ и на немъ основывать и строить дѣло. Оттого все религіозное направленіе Крестовоздвиженской общины съ самаго начала было слабо и шатко. Я это вскорѣ замѣтилъ, когда принялъ на себя управленіе „Обществомъ“, тотчасъ по его учрежденіи, во время осады Севастополя. Только спустя нѣкоторое время, по вступленіи блаженной памяти Хитрово, могъ я убѣдиться въ возможности ввести и въ нашихъ учрежденіяхъ извѣстную долю религіознаго элемента, безъ того, чтобы это не причиняло ущерба практическимъ тенденціямъ и дѣятельности.

При всей строгости своихъ воззрѣній, наша великая княгиня обладала качествомъ неопѣнимымъ въ нашей странѣ. Она понимала, или, вѣрнѣе, она не разучалась уважать человѣчество.

Величіе подвиговъ такихъ властелиновъ, какъ Петръ, Фридрихъ II, Наполеонъ и другіе, отнимаетъ у насъ право осуждать въ нихъ ихъ неуваженіе къ достоинству человѣческой личности, но тѣмъ болѣе мы обязаны цѣнить и восхвалять чувства такого уваженія къ человѣку въ людяхъ высокостоящихъ и призванныхъ къ общественной дѣятельности въ широкомъ масштабѣ. На высотѣ непременно требуются благородное спокойствіе ума и человѣкоуваженіе. Это чувство приноситъ дѣятелю успѣхъ и призываетъ благословеніе на его предпріятія. Ученіе, данное намъ Христомъ: „То, что сотворишь твоему ближнему, то сотворилъ ты Мнѣ“, содержитъ въ себѣ не только идею любви, но и уваженіе къ божественной сторонѣ человѣческаго существа. Мы, конечно, сознаемъ, что можемъ любить безъ уваженія, и можемъ уважать безъ любви. Но подобная любовь и такое уваженіе — болѣе органическія (чувственныя), чѣмъ духовныя чувства. Евангеліе не этого требуетъ отъ насъ. Испытано и доказано, что тѣ дѣла успѣшнѣе, гдѣ люди, служащіе орудіями ихъ исполненія, не представляютъ собой существъ безъ воли и мысленія, — существъ, которыя обязаны только слѣпо подчиняться высшей власти. Нельзя не сожалѣть, однако, что при этомъ гуманномъ воззрѣніи на человѣческое достоинство, уваженіемъ иногда пользуются и недостойные. Человѣческая природа болѣе склонна къ оптимизму, нежели къ противоположному, и поэтому лицемѣру часто не

трудно бывает обмануть людей своимъ наружнымъ благочестіемъ. А между тѣмъ промахи и ошибки въ этомъ родѣ сильно оскорбляютъ нѣжное чувство благородной души и вредятъ самому дѣлу. То же случилось и въ предпріятіи великой княгини. Не трудно было замѣтить глубокую тоску и разстройство ея чувствительнаго сердца при неудачномъ выборѣ или назначеніи лицъ въ общинѣ. Мы знаемъ, каково было ея огорченіе при первомъ выборѣ сестеръ, гдѣ оказались многіе промахи. Чѣмъ мы болѣе что уважаемъ, тѣмъ сильнѣе боимся потерять это уваженіе и тѣмъ обиднѣе чувствуемъ всякій обманъ.

Неудивительно, что иногда благородная и уважающая человѣчество душа, послѣ частыхъ разочарованій, и сама гибнетъ вмѣстѣ съ тѣломъ.

Еще однимъ, не менѣе цѣннымъ душевнымъ качествомъ обладала наша покойная великая княгиня. Она высоко уважала знаніе, искусство и науку. Это уваженіе не было чѣмъ-нибудь представляемымъ для подражанія или для моды, но искреннее, сознательное, добытое культурностью и настоящимъ образованіемъ, и потому оно было столь плодотворно и благословенно. Всякій научно-образованный человѣкъ могъ имѣть къ ней открытый доступъ и непремѣнно чувствовалъ на себѣ привлекательную и возбуждающую силу ея ума. Какъ небесная планета, такъ и умъ нуждается въ особой, сродной имъ атмосферѣ, и кто приближается къ настоящему уму, тотъ чувствуетъ его близость и его вліяніе. Уже прошло 30 лѣтъ съ тѣхъ поръ; какъ я, совершивъ научное путешествіе по Кавказу (1847 г.), въ первый разъ получилъ приглашеніе къ великой княгинѣ, но впечатлѣніе моего перваго съ ней свиданія еще такъ живо, какъ будто бы это случилось только вчера. Никогда не забуду, въ какомъ душевномъ разстройствѣ я тогда предсталъ предъ ней, почти немедленно послѣ официальной аудіенціи у военнаго министра, гдѣ получилъ незаслуженный выговоръ. Утомленный мучительными трудами, въ нервномъ возбужденіи отъ результата своихъ испытаній на полѣ битвы, я велѣлъ о себѣ доложить военному министру, почти тотчасъ по своемъ приѣздѣ, и не обратилъ вниманія, въ какомъ платѣ я къ нему явился. За это я долженъ былъ выслушать рѣзкій выговоръ насчетъ моего нерадѣнія къ установленной формѣ

отъ г. Аппенкова (тогда во главѣ медич. хирург. академіи). Я такъ былъ разсерженъ, что со мной приключился истеричный припадокъ (съ слезами и рыданіями; я теперь сознаюсь въ своей слабости). Послѣ этой выходки я твердо рѣшился подать въ отставку и проститься съ академіей. Но аудіенція у великой княгини возвратила мнѣ бодрость духа и такъ меня успокоила, что я не обратилъ болѣе никакого вниманія на это отсутствіе такта въ моемъ начальствѣ. Великая княгиня выразила мнѣ своей любознательностью и уваженіемъ къ знанію то, что выразить слѣдовало бы главѣ научнаго заведенія. Она входила во всѣ подробности моихъ занятій на Кавказѣ, интересовалась различными результатами анестизаціи на полѣ сраженія (анестизація въ то время мною первымъ была введена на практикѣ); словомъ, обращеніе великой княгини со мною было таково, что я устыдился своей минутной слабости. Убѣжденный, что около трона я найду лучшихъ судей, одаренныхъ большимъ пониманіемъ, я разсудилъ, что мнѣ слѣдуетъ смотрѣть на безтактность моего начальства какъ на своевольную грубость лакеевъ. Это сравненіе и этотъ выводъ до сихъ поръ крѣпко засѣли въ моей памяти, равно какъ глубокое уваженіе къ благородному міровоззрѣнію великой княгини.

Второй разъ пришлось мнѣ явиться предъ ея высочествомъ въ ту незабвенную эпоху, когда каждое сердце въ Петербургѣ билось сильнѣе и тревожнѣе, ожидая результата битвы при Инкерманѣ. Уже нѣсколько недѣль передъ тѣмъ я себя объявилъ готовымъ употребить всѣ свои силы и познанія для пользы арміи на боевомъ полѣ. Просьба моя давно была подана, но все ходила по инстанціямъ начальства. Соглашались и нѣтъ произнести рѣшеніе, а я начиналъ уже отчаиваться въ успѣхѣ, какъ вдругъ получилъ приглашеніе къ великой княгинѣ. Къ большой моей радости, она мнѣ тотчасъ объявила, что взяла на свою отвѣтственность разрѣшить мою просьбу. Тутъ она мнѣ объяснила ея гигантскій планъ — основать организованную женскую помощь больнымъ и раненымъ на полѣ битвы, и предложила мнѣ самому избрать медицинскій персоналъ и взять управленіе всего дѣла.

Никогда болѣе не видѣлъ я великую княгиню въ такомъ тревожномъ состояніи духа, какъ въ этотъ

день, въ эту для меня памятную аудіенцію. Со слезами на глазахъ и съ разгорѣвшимся лицомъ, она нѣсколько разъ вскакивала съ своего мѣста, какъ будто бессознательно, прохаживалась большими шагами взадъ и впередъ по комнатѣ и говорила громкимъ голосомъ:

— И зачѣмъ вы ранѣе не обратились ко мнѣ! Давно бы ужъ ваше желаніе быть полезнымъ на полѣ битвы было исполнено! И мой планъ тогда также давно бы уже состоялся... Ступайте же и какъ можно скорѣе приготовьтесь къ отъѣзду. Время терять не слѣдуетъ... На дняхъ, быть можетъ, опять произойдетъ большая битва. Прощайте... или нѣтъ... подождите... я еще что-то хочу вамъ сказать насчетъ организаціи моей общины... или нѣтъ... зайдите-ка лучше завтра ко мнѣ, въ этотъ же часъ... До свиданія!

Я вышелъ и запутался въ комнатахъ, и послѣ нѣкотораго странствованія очутился опять у двери той же аудіенціонной комнаты, гдѣ увидѣлъ великую княгиню, стоящую въ глубокихъ думахъ или прохаживающуюся съ волненіемъ по комнатѣ. Я скрылся, и она, къ счастью, меня не замѣтила, а мнѣ удалось попасть на настоящій путь для выхода изъ ея двѣрца.

Но къ вечеру того же дня великая княгиня прислала мнѣ собственноручную записку, съ извѣстіемъ, что просьба моя принята, и что она приглашаетъ меня на вторую аудіенцію на другой день. Съ большимъ вниманіемъ выслушалъ я, какъ она желала устроить женскую службу—перевязочными пунктами и подвижными лазаретами. Я, однако, былъ принужденъ признаться, что я только разъ въ жизни, и то лишь поверхностно, въ мое пребываніе въ Парижѣ, посѣщая госпитали, увидѣлъ тамъ женскую службу, и болѣе по инстинкту, нежели по опытности, я былъ убѣжденъ въ великомъ значеніи женскаго участія.

Конечно, женская служба въ госпиталяхъ — далеко не новое учрежденіе. Сперва въ католическихъ, а потомъ и въ протестантскихъ странахъ (пасторомъ Флиндеръ въ Кайзервертѣ, въ 1836 году, гдѣ сестры были подъ именемъ діакониссъ) была введена женская помощь; наконецъ, и у насъ это было при-

нято (сердобольныя вдовы въ Маріинской больницѣ, община на Пескахъ и проч.). Но еще нигдѣ не было испробовано посылать женщинъ на поле битвы. Поэтому идея учредить на полѣ сраженія организованное женское общество должна была казаться очень рискованной. Исключительныя обстоятельства тогдашней войны и отдаленіе отъ образованныхъ мѣстностей усиливали трудности этого предпріятія. Энергія великой княгини превозмогла все это, — Общество сестеръ было составлено, и нѣсколько недѣль спустя онѣ были отправлены. Можетъ, конечно, носиться слухъ въ западной Европѣ, и даже у нашихъ сосѣдей пруссаковъ (какъ я это и прочелъ въ рѣчи профессора Равотъ, на собраніи нѣмецкихъ медиковъ въ Берлинѣ), будто бы миссъ Нейтингель съ 37 сестрами, „дамами высокой души“, какъ называетъ ихъ профессоръ Равотъ, была первая, которая, по собственному желанію, пріѣхала въ крымскую войну, чтобы съ сестрами взять на свое попеченіе всѣхъ больныхъ и раненыхъ, находящихся въ амбулаторіи. Мы, русскіе, не должны дозволить никому передѣлывать до такой степени историческую истину. Мы имѣемъ долгъ истребовать нашей великой княгинѣ принадлежащую ей пальму первенства въ дѣлѣ столь благословенномъ, благотворномъ и нынѣ всѣми принятомъ. И это тѣмъ легче, что сестры общины не только принесли техническую помощь, но онѣ оказали и нравственное вліяніе на дирекцію всего госпитальнаго корпуса во время войны.

Въ октябрѣ 1854 года Крестовоздвиженская община получила высочайшее соизволеніе, а въ ноябрѣ того же года она находилась уже на театрѣ войны въ полной дѣятельности. О миссъ Нейтингель и о ея „высокой души дамахъ“ мы въ первый разъ услышали только въ началѣ 1855 года, когда злоупотребленія англійской военной администраціи, во время зимнихъ мѣсяцевъ 1854 года, такъ же ясно обнаружили, какъ и у насъ. Мое предположеніе передать сестрамъ и нравственную дирекцію, и контроль перевозочныхъ пунктовъ и лазаретовъ, конечно, только послѣ этого времени получило разрѣшеніе великой княгини, но на фактѣ женщины исполняли уже эти должности съ самаго дня своего прибытія въ симферопольскіе госпитали. Уже ранѣе этого, еще не бывъ озна-

вомленъ съ женскою службой, я убѣдился а priori, что женскій тактъ, ихъ чувствительность и независимое отъ служебныхъ условій положеніе гораздо дѣйствительнѣе могутъ вліять на отвратительныя злоупотребленія администраціи; чѣмъ оффиціальная служебная контрольная комиссія. (Вы найдете эту идею развитою въ одномъ изъ моихъ проектовъ, между вашими бумагами.)

Результатъ совершенно подтвердилъ мои предположенія, и, за исключеніемъ неудачнаго выбора одной изъ сестеръ, въ время организаціи общины, всѣ ихъ дѣйствія, въ отношеніи госпитальной администраціи и попеченія о больныхъ, были таковы, что самые лживые языки и худшіе враги новизны не могли рѣшительно ни къ чему придаться. Даже самъ главнокомандующій арміей, князь Меншиковъ, убѣдился, что всѣ его опасенія, какъ бы не ввести безнравственности въ госпиталяхъ чрезъ постоянное присутствіе въ нихъ женщинъ, были напрасны. Однажды, когда я былъ представленъ Меншикову, онъ (по пословицѣ: что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ) сказалъ мнѣ, что, на его взглядъ, сестры послужатъ только для любовныхъ интригъ съ военными. Къ счастью, за исключеніемъ одного вышеупомянутаго случая, не оказалось ни единого безнравственнаго поступка во все время ихъ службы на театрѣ войны.

Я нимало не смотрю на современныя учрежденія женскихъ обществъ (у насъ, въ Англіи, Германіи и Соединенныхъ Штатахъ) какъ на продолженіе старой, традиціонной идеи католиковъ: они, напротивъ того, для меня служатъ знакомъ новыхъ временъ. Конечно, въ нѣкоторой степени они по наружности сохраняютъ свой древній видъ, заведенный католиками; но современный женскій вопросъ духовно паритъ въ этихъ учрежденіяхъ. Организаторы и основатели ихъ невольно, и сами того не сознавая, способствуютъ требованію правъ уже возбужденному женскому вопросу. Этотъ столь современный женскій вопросъ есть самъ по себѣ послѣдствіе и плодъ радикальнаго стремленія нашего времени и особаго рода міровоззрѣнія. Дѣло теперь не въ эманципаціи женщинъ, о которой я мечталъ еще 30 лѣтъ тому назадъ; но настоящимъ образомъ

значеніе женщинъ я постигъ только позднѣе, при управленіи общиною сестеръ и по опытамъ во время крымской кампаніи. Тамъ я могъ ежедневно убѣждаться, присматриваясь къ ихъ обдуманнѣмъ сужденіямъ и аккуратнѣмъ дѣйствіямъ, что мы не умѣемъ ни достойно цѣнить, ни разумно употреблять ихъ природный тактъ и чувствительность.

— Женщины должны только быть направляемы мужчинами, — сказала мнѣ однажды покойная великая княгиня, говоря о своей женской общинѣ.

— Это совершенно справедливо, ваше высочество, — отвѣчалъ я: — но справедливо только до тѣхъ поръ, пока женщины будутъ воспитаны по нынѣшнему и съ ними будутъ обращаться все по той же устарѣлой и безсмысленной методѣ. Но это слѣдуетъ измѣнить, и женщины должны занять мѣсто въ обществѣ, болѣе отвѣчающее ихъ человѣческому достоинству и ихъ умственнымъ способностямъ.

Я постарался изложить письменно всѣ собранныя мною впечатлѣнія во время моего управленія общиною (вы это найдете въ числѣ моихъ бумагъ) и доказать, что сестры не только для ухода за страждущими, но даже въ управленіи многихъ общественныхъ учрежденій болѣе одарены способностями, чѣмъ мужчины. Но я никакъ не могъ думать, что настанетъ время, когда разрѣшеніе этого диспута насчетъ умственныхъ дарованій обоихъ половъ будетъ представлено съ нынѣшнимъ безстыдствомъ. Теперь какъ бы хотятъ стереть всѣ признаки, отличающіе качества мужскія и женскія, — хотятъ всѣхъ остричь подъ одну гребенку.

Такой переходящій границы радикализмъ есть только плодъ не менѣе рѣзкаго современнаго міровоззрѣнія. Наше міровоззрѣніе должно быть ясно, — говорятъ теперь, — но, въ сущности, и само нынѣшнее міровоззрѣніе не только не ясно, но оно даже есть чистая абстрактная мечтательность, какъ всѣ воззрѣнія натуральной философіи, по которой мы должны принимать за вѣрное, что природа „полна жизни“, но живетъ безъ предварительнаго плана и безъ мысли, въ соединеніи съ существомъ сознательнымъ, понимающимъ и имѣющимъ цѣль сохраненія своего бытія. Слѣпой случай составляетъ третье лицо этой уродливой троицы. Чувствующій и мыслящій эле-

ментъ, стало быть, получаетъ жизнь изъ такого источника, который самъ въ себѣ не имѣетъ принципа жизни и самосознанія. Какая же жизнь можетъ находиться въ такомъ жизненномъ источникѣ природы? Откуда же взялись наши высшія умственныя дарованія, когда начальный источникъ—сама природа и ея агентъ, случай,—безъ жизни, безъ мысли и безъ чувства? Матеріальный человѣкъ содержитъ въ себѣ, какъ извѣстно, только то, что содержитъ природа. По этому ученію, всѣ высшія дарованія человѣка—не что иное, какъ плоды случайнаго сочетанія извѣстныхъ атомовъ, и больше ничего. И потому слюна, желчь, испражненіе—не что иное, какъ отдѣленіе работающаго мозга. Но существуетъ, стало быть, нѣкій сознательный и мыслящій элементъ, который беретъ свое начало не въ общемъ источникѣ жизни—природѣ, а только въ мозгу человѣческомъ. Тутъ уже просто молчить всякій здравый смыслъ человѣка. Наши создатели—природа и случай—даруютъ намъ то, чѣмъ они сами не одарены, и именно тѣмъ, что можно считать наидрагоцѣннѣйшимъ, что изъ насъ дѣлаетъ создателей (называется ли это матеріей, или духомъ—все равно) и посредствомъ чего мы познаемъ самую природу и случай. Къ концу концовъ выходитъ такъ: постижимое исходитъ изъ непостижимаго, и непостижимое сотворимо. Это знали мы и равнѣ, но, по неограниченности нашего ума, мы полагали, что эта непостижимая создательная сила заключаетъ въ себѣ всѣ ваши духовныя силы, только въ наивысшей степени. Наше заблужденіе было, по крайней мѣрѣ, утѣшительное.

Такъ какъ матеріальное міровоззрѣніе легкомысленно признаетъ основаніемъ всякаго знанія одни чувственные доказательства, то мнѣ совершенно непонятно, почему современные мыслители ставятъ одно только знаніе на высокій пьедесталъ, а всѣ остальные, изъ той же чувственности исходящія чувства, дарованія и способности оцѣняютъ такъ слабо. Изъ этого я заключаю, что наша эманципація, которая есть плодъ того же или подобнаго сему міровоззрѣнія, ставитъ женщинъ не болѣе, какъ на равную степень съ мужчинами. Но если женщины обладаютъ одинаковыми съ мужчинами способностями къ знанію, то по ихъ высшей способности къ чувствованію (если чувствованіе—источникъ знанія) имъ слѣдовало бы стоять ступенью

выше, чѣмъ мужчины. Такъ же неосновательно кажется мнѣ, что радикальные мыслители, будучи врагами всякаго авторитаризма, признають, однако, полную гегемонію разума надъ всѣми прочими духовными способностями. Если мы, русскіе, посмотримъ на разумъ (или, вѣрнѣе, на разсудокъ) какъ на „царя въ головѣ“, то съ нашей стороны это только независящее отъ насъ послѣдствіе пережитыхъ нами историческихъ испытаній, тогда какъ со стороны секты радикаловъ это — чистая непослѣдовательность. Изъ этого видно, что мы, т.-е. родъ человѣческій, нисколько не послѣдовательныя существа, и что вся наша строго выработанная послѣдовательность ведетъ насъ только къ тому, что французы такъ вѣрно называютъ „aveuglement logique“. Одинъ математикъ, онъ одинъ, въ самомъ дѣлѣ, послѣдователенъ, потому что онъ своими аксіомами создалъ себѣ крѣпкій оплотъ, — во всѣхъ же другихъ случаяхъ мы должны чуть не колотиться головой объ стѣну, чтобы совершить послѣдовательно что-нибудь задуманное логично, и наше логическое ослѣпленіе на практикѣ иногда едва-ли не вреднѣе, чѣмъ необузданность фантазій и страстей. Инстинктъ, побуждающій насъ искать счастья, и стремленіе нашихъ духовныхъ способностей къ достиженію внутренней гармоніи чувствъ постоянно возмущаются противъ нападковъ деспотическаго разсудка, и нерѣдко мы принуждены даже избрать себѣ какъ щитъ мистическій элементъ.

Въ женскомъ вопросѣ позабыть также, или, вѣрнѣе, совершенно игнорировать давнишній, но столь естественный родъ воззрѣнія, по которому „человѣкъ“ есть коллективность, состоящая изъ мужчины и женщины, и съ нимъ слѣдуетъ обращаться по его различнымъ, но обоимъ поламъ свойственнымъ дарованіямъ. Что наши предки у женщинъ отняли, то мы должны возвратить имъ съ лихвой. Это справедливо и недорого обойдется. Притомъ, мы не должны забывать, что цѣль и путь къ цѣли — одни и тѣ же для мужчинъ и для женщинъ, но способы, употребляемые для совершенія этого труднаго пути, должны быть различны, если мы желаемъ быть полезными и пріятными одинъ другому.

Я всегда былъ и останусь искреннимъ поклонникомъ свободного слова и свободы въ изслѣдованіи, и я это въ моей жизни

доказалъ достаточно. Въѣстѣ съ тѣмъ, я и поклонникъ того, что такъ осмѣяно Карломъ Фохтомъ и названо имъ „двойною бухгалтерією“ жизни. Если это дѣло и непослѣдовательное, то оно потому-то, вслѣдствіе нашей врожденной непослѣдовательности, необходимо. Я желаю свободно изслѣдовать и свободно говорить въ наукѣ, но въ примѣненіи результатовъ изслѣдованія я хочу дѣйствовать ограниченно и болѣе консервативно, такъ, какъ гораздо легче уничтожить старое дурное, чѣмъ замѣнить его лучшимъ новымъ. Ни инстинктъ самосохраненія, ни безрадостное знаніе, ни жажда наслажденій не сдѣлаютъ намъ жизнь сносною, и какъ только мы запишемъ себя въ мірской метрикѣ незаконными дѣтми природы и случая, намъ въ удѣлъ достанется одно отчаяніе. Конецъ тогда и нашему человѣческому достоинству, конецъ и нашимъ высшимъ стремленіямъ, лишь только мы признаемъ упомянутую прелестную чету за нашихъ родителей. Наше легкомысліе можетъ насъ только минутно успокоить, какъ наркотическое средство, но мистическій, врожденный намъ элементъ выпуститъ всѣ темныя силы нашего духа,—и начнется реакціонная борьба на жизнь и на смерть. Вотъ, по моему убѣжденію, какое будетъ послѣдствіе этого темнаго, безрадостнаго міровоззрѣнія, если только оно не послужитъ къ дальнѣйшимъ розыскамъ, какъ плодъ свободнаго изслѣдованія, а прямо будетъ принято за новый фундаментъ общественнаго строенія.

Не удивляйтесь, что я такъ ревностно встаю противъ такого мрачнаго міровоззрѣнія: я дѣйствую какъ дезертиръ очень сходнаго этому воззрѣнія, которому я, къ несчастію, поклонялся въ года моей юности. Любовь, страданіе и прожитые годы принесли мнѣ лучшія убѣжденія. Я, наконецъ, увѣровалъ, что мой Богъ—не безчувственное и безумное существо, которое, будто, даже ниже моего достоинства. Я чувствовалъ себя, въ числѣ милліоновъ моихъ ближнихъ, какъ достаточный *esprit fort*, чтобы отказаться отъ врожденныхъ сладкихъ утѣшеній и душевныхъ возбужденій, и мнѣ было непріятно призывать на помощь эти чувства хотя бы только въ минуты томленія отъ жизненной суеты.

Связано ли современное стремленіе къ метаморфозѣ женщинъ съ тѣмъ возмутительнымъ міровоззрѣніемъ (а мнѣ кажется,

что это такъ), или мы должны взирать на женскій вопросъ какъ на неизбѣжную реакцію нашего невѣжества, неумѣнія цѣнить и понимать превосходства женской натуры, но вѣрно то, что наше теперешнее „Общество сестеръ“ не есть подражаніе древнимъ его предшественникамъ. Поэтому нельзя въ нихъ находить ни типа католическаго, ни протестантскаго, ни даже православнаго мистически-религіознаго чувства. Сестры ступили первый шагъ къ практической резолюціи женскаго вопроса.

Когда я переносусь назадъ, къ моменту развитія общины сестеръ, учрежденной великой княгиней, то я вижу ясно, что основная мысль ея жизни—практическая дѣятельность женщинъ—была здѣсь приложена во всей полнотѣ. Крымская война доставила достаточно случаевъ для испытанія пользы отъ женской общины. Но чувствовался недостатокъ въ условіяхъ, которыя необходимы для солиднаго и продолжительнаго существованія общины. Самая дѣятельность женщинъ на полѣ битвы была слишкомъ бурлива и массивна, а средства для помощи сравнительно слишкомъ ничтожны для того, чтобы ихъ можно было раздѣлить ровно и съ пользой. Наша покойная великая княгиня справедливо полагала, что прибытіе сестеръ на театръ войны—лучшее средство вызвать вниманіе и сочувствіе къ женщинамъ, какъ со стороны общественнаго мнѣнія, такъ и со стороны правительства. Она пожелала поэтому, чтобы я въ самомъ скорѣйшемъ времени доставилъ женщинамъ занятія въ осажденной крѣпости. Таково было и мое собственное намѣреніе. Но когда, по приѣздѣ своемъ въ Севастополь (1854 года, въ октябрѣ), я увидалъ, что медицинское пособіе и хожденіе за страдальцами нужнѣе въ лазаретахъ и баракахъ, чѣмъ на перевязочныхъ пунктахъ, то я рѣшилъ—всю приѣхавшую общину занять дѣломъ въ Симферополѣ (1854 года, въ ноябрѣ). Здѣсь я и оставилъ ихъ съ ихъ начальницей (Стаховичъ) и распредѣлил по разнымъ лазаретамъ. Въ самомъ дѣлѣ, тамъ во всѣхъ публичныхъ зданіяхъ и во многихъ частныхъ домахъ въ Симферополѣ засталъ я въ это время (октябрь—декабрь 1854 года) нѣсколько тысячъ раненыхъ, послѣ битвы при Альмѣ, Инкерманѣ и послѣ первой бомбардировки. Несчастные, наполнявшіе дома, были лишены почти

всякаго ухода. Многіе валялись безъ матрацовъ, въ грязнѣйшемъ бѣльѣ, на грязномъ полу, безъ всякаго разбора и безъ присмотра. Воздухъ былъ страшно испорченъ, раны смрадны и воспалены. Недоставало ни умовъ, ни рукъ, чтобы хоть немного привести весь этотъ невообразимый хаосъ въ извѣстность и въ порядокъ. Между тѣмъ сюда же ежедневно привозили новыхъ раненыхъ изъ Севастополя, тогда какъ на перевязочныхъ пунктахъ принимали очень малое число раненыхъ (послѣ 2-го ноября долго длилось спокойствіе со стороны осаждающихъ и осажденныхъ), и то ихъ отсылали тотчасъ для перваго пособія въ разные лазареты. Молодые медики натурально предпочитали покойную, безъ присмотра, службу въ госпиталяхъ занятіямъ на перевязочныхъ пунктахъ, подъ глазами начальства. Но медики, мнѣ подчиненные, находили болѣе полезнымъ и для нихъ болѣе поучительнымъ дѣйствовать въ баракахъ сѣвернаго пункта. Эти бараки мы нашли тоже переполненными и чуть-ли не зачумленными. Я зналъ впередъ, что, принявъ свое рѣшеніе насчетъ первой прибывшей партіи сестеръ, я поступаю несогласно съ воззрѣніями великой княгини, но, несмотря на то, я взялъ на себя всю отвѣтственность и спокойно выжидалъ пріѣзда второй партіи сестеръ, которая прибыла въ Севастополь послѣ Рождества 1854—1855 года, имѣя во главѣ Бакунину и Тарасову. Пріѣздъ этой второй партіи совпалъ какъ разъ съ тѣмъ временемъ, когда осада снова стала ожесточеннѣе. Я тогда взялъ на себя попеченіе о главномъ перевязочномъ пунктѣ въ Севастополѣ (Дворянское Собраніе) и о всѣхъ лазаретахъ въ Николаевскихъ казармахъ и разныхъ партикулярныхъ домахъ города. Я тотчасъ же распредѣлилъ на всѣ мѣста извѣстное число сестеръ и медиковъ. До этой минуты мнѣ не случалось почти совѣмъ быть въ столкновеніи съ оберъ-медиками; но когда я на себя взялъ попеченіе о главномъ перевязочномъ пунктѣ и о всѣхъ госпиталяхъ, сейчасъ же начались разныя контры между мной и администраціей. Теперь никто себѣ представить не можетъ всю отвратительность и тупоуміе тогдашняго оффиціального, администрировавшаго, медицинскаго персонала. Эти господа сразу смекнули, куда поведетъ учрежденный мною нравственный присмотръ и контроль административнаго попеченія надъ

руководителями госпитальных порядковъ. Дѣла эти были поручены мною сестрамъ, женщинамъ, и моимъ собственнымъ помощникамъ. Это смутило гг. администраторовъ, и они стали громко роптать на превышеніе власти (съ моей стороны), и только благодаря благосклонному вниманію генераловъ Сакена и Васильчикова я обязанъ тѣмъ, что, несмотря на всѣ интриги, за сестрами былъ удержанъ весь надзоръ надъ госпиталями. К. М. Бакунина вела всѣ дѣла присмотра за уходомъ больныхъ съ такимъ тактомъ, энергіей и совѣстливостью, что полученный успѣхъ оказался блестящимъ и для всѣхъ здравомыслящихъ людей неоспоримымъ. Она заботилась наравнѣ съ сестрами о доставленіи больнымъ надлежащей порціи пищи, и непремѣнно хорошаго качества; она смотрѣла за чистотой и смѣной бѣлья, за прачешными, за частой перемѣной соломы въ матрацахъ, и неотступно требовала отъ госпитальной администраціи всего, что надлежало быть выдано. Все, что прежде удерживали и не выдавали, и теперь еще старались удерживать; но Бакунина, пунктуально исполняя мои и другихъ медиковъ предписанія, настоятельно вытребовывала недоданное. Не удивительно, что подобное вмѣшательство и такая дѣятельность женщинъ не могли быть пріятны господамъ командирамъ и официальнымъ инспекторамъ...

Въ началѣ марта 1855 года первая партія сестеръ, потерпѣвшая начальную тифозную эпидемію, перенеслась также изъ Симферополя въ Севастополь. Я встрѣтилъ начальницу Стаховичъ, еще не совсѣмъ оправившуюся отъ трехнедѣльнаго тифа, — въ слабости силъ тѣлесныхъ и духовныхъ. Я опасался болѣе всего столкновеній между такими двумя различными характерами, какъ Стаховичъ и Бакунина, и потому я уговорилъ первую помѣститься съ своей партіей на сѣверной сторонѣ, въ морскомъ госпиталѣ. Мартъ мѣсяцъ 1855 года былъ изобилень боевыми подвигами. Ночная атака непріятеля на наши вновь выстроенные редуты, Селенгинскій и Волынский, обременила насъ тысячами тяжело раненыхъ, а наша администрація, какъ всегда, была мало подготовлена къ встрѣчѣ событий. Въ эту ночь (?) въ морскомъ госпиталѣ (раненные были отправлены туда) царствовала ужасная кутерьма. Въ полумракѣ отъ недостаточнаго освѣщенія медики работали въ темнотѣ и

въ тѣснотѣ, среди страдальцевъ, валившихся гдѣ попало; а тѣснота еще увеличивалась отъ постояннаго приноса новыхъ раненыхъ. Всѣ тутъ такъ долго и такъ много трудились, что, наконецъ, всѣ (а число ихъ было невелико) утомились до-нельзя и совершенно стали и были неспособны оказывать помощь другимъ. Въ эту же ночь и въ два слѣдующіе дня перенесли отсюда почти половину раненыхъ на перевязочный пунктъ. Къ счастію, я съ самаго начала взялъ себѣ за правило, когда вдругъ разомъ нахлынетъ большое число раненыхъ, распредѣлять медицинскую помощь въ строго учрежденномъ порядкѣ, — чего и достигалъ сортированіемъ и раздѣленіемъ раненыхъ на категоріи. И еще не меньшимъ счастіемъ было то, что нашъ перевязочный пунктъ (Дворянское Собраніе) къ этому времени былъ отлично приготовленъ для принятія раненыхъ. Въ объясненіе этому я долженъ сказать, что когда я, въ январѣ 1855 года, рѣшился занять эту квартиру, то я нашелъ это хорошее зданіе переполненнымъ людьми, сбитыми въ самой испорченной атмосферѣ. Порча воздуха была ужасна, и она явилась вслѣдствіе несчастной лѣни моего предшественника, который оставлялъ тутъ всѣхъ людей, перешедшихъ черезъ операціи (вмѣсто того, чтобы отсылать ихъ въ другіе госпитали). Отъ чрезвычайнаго переполненія въ комнатахъ между больными открылись антоновъ огонь и рожа, а также и другія госпитальныя заразы. Поэтому я принужденъ былъ выслать всѣхъ изъ дому, и нѣсколько недѣль производилъ въ немъ усиленную вентиляцію. Ночная катастрофа случилась именно тогда, когда зданіе перевязочнаго пункта было достаточно очищено и приготовлено. Тогда, по установленнымъ мною правиламъ, я тотчасъ раздѣлилъ своихъ медиковъ и сестеръ на четыре группы. Изъ нихъ первая была обязана сортировать раненыхъ по роду и по градусу болѣзни; принимать отъ нихъ деньги и вещи, имъ принадлежащія, и тѣхъ, которымъ слѣдовало сдѣлать немедленную операцію, тотчасъ передавать второй группѣ помощниковъ; легко раненыхъ же (для избѣжанія тѣсноты на перевязочномъ пунктѣ) тотчасъ послѣ подавія помощи отсылать въ другіе лазареты или возвращать въ ихъ полки. Вторая группа должна была принимать отъ первой раненыхъ для немедленной операціи, и тотчасъ же переносить

ихъ въ смежную залу перевязочнаго пункта. Третья группа занималась уходомъ за ранеными, которымъ должно было дѣлать операціи только на слѣдующій день или даже позднѣе. Четвертая группа, состоящая изъ однѣхъ сестеръ и одного священника, была назначена для безнадежно больныхъ и умирающихъ, которымъ сестры старались доставлять послѣдній уходъ и предсмертныя утѣшенія. Наконецъ, двѣ сестры (хозяйки) были озабочены только тѣмъ, чтобы раздавать усталымъ и проголодавшимся или жаждущимъ раненымъ кому вина или пуншу, кому чаю или бульону. Сестры-хозяйки хранили всю провизію и должны были имѣть всегда все нужное наготовѣ.

Когда весь этотъ порядокъ понемногу и не безъ труда былъ введенъ въ перевязочномъ пунктѣ, тотчасъ же прекратились случаи изнеможенія и обмороковъ у самихъ служащихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ почти не стало и смраднаго запаха въ залахъ. Не всякій можетъ себѣ представить, какъ это важно, а между тѣмъ, безъ этого легко потерять голову и силы отъ желанія и отъ невозможности подать помощь всѣмъ безъ разбора раненымъ, которые нетерпѣливо вопіють о помощи. Въ этой суетнѣ, того и гляди, что отъ утомленія и торможенія во всѣ стороны какъ разъ упустишь изъ виду именно того страдальца, которому необходима немедленная операція, а потратишь напрасно время и свои силы на того, который могъ бы еще обождать, или который даже и вовсе въ тебѣ не нуждается. Медики и сестры перестали съ этого времени, при всякомъ сильномъ наплывѣ раненыхъ, безумно метаться туда и сюда и не кидались уже прежде всего къ тѣмъ, которые громче другихъ кричатъ и стонутъ, такъ какъ крики и стоны не всегда указываютъ на особенную тяжесть ранъ и увѣчья. Съ марта мѣсяца до моего отъѣзда въ Петербургъ (въ іюнѣ 1855 года) сестры продолжали соблюдать всѣ мои правила въ наистрожайшемъ порядкѣ, да и послѣ, насколько я могъ узнать, сестры не переставали дѣйствовать такъ же. Въ этомъ періодѣ времени община сестеръ была въ непрестанныхъ трудахъ по лазаретамъ, а кромѣ того онѣ оказали благотворную помощь еще въ слѣдующихъ необыкновенныхъ случаяхъ: 1) во время ночныхъ атакъ противъ новыхъ редутовъ онѣ работали на перевязочномъ пунктѣ въ морскомъ госпиталѣ и въ бара-

кахъ сѣверной стороны (мартъ); 2) во время другихъ, менѣе сильныхъ ночныхъ атакъ (мартъ); 3) во время ужаснаго бомбардированія на второй день Пасхи (апрѣль) которое продолжалось безъ отдыха всю недѣлю, гремя день и ночь, и посылало намъ на перевязочный пунктъ тысячами однихъ тяжело-раненныхъ. Въ это же время самое зданіе, гдѣ мы помѣщались (Дворянское Собраніе), само не разъ получало бомбы съ непріятельскихъ кораблей. Раны почти всѣ представляли страшные разрывы членовъ отъ бомбъ большого калибра. Отъ 150 до 200 ампутацій и другихъ тяжелыхъ операцій случилось исполнять каждый день, имѣя ассистентами однѣхъ сестеръ. Всѣ квартиры въ севастопольскихъ казармахъ, всѣ лазареты и партикулярные дома были наполнены тысячами тяжело-раненныхъ, только-что перенесшихъ операціи, или умирающихъ; 4) во время одной сильной атаки непріятеля на наши отдаленныя траншеи (апрѣль); 5) въ непрестанныхъ атакахъ и взрывахъ минъ нашихъ четырехъ бастіоновъ, откуда также мы получали однихъ тяжело-раненныхъ при взрывахъ (мартъ и апрѣль); 6) при невѣроятномъ транспортѣ, гдѣ везли 500 раненныхъ, только-что получившихъ операцію, и это было учинено вслѣдствіе неожиданнаго и, смѣю сказать, нелѣпаго приказанія, которое было прислано намъ черезъ пароходъ изъ Николаевской батареиной казармы. Когда всѣ эти пятьсотъ страдальцевъ (отъ бомбардированія на Пасхѣ) — съ величайшимъ трудомъ и попеченіемъ со стороны медиковъ и сестеръ — были поспѣшно высланы въ назначенное имъ начальствомъ мѣсто, то оказалось, что тамъ, куда ихъ повезли, не существуетъ даже никакого приготовленнаго зданія для ихъ принятія... И вотъ всѣхъ этихъ трудно-оперированныхъ свалили зря, какъ попало, въ солдатскія палатки... До сихъ поръ съ леденящимъ ужасомъ вспоминаю эту непростительную небрежность нашей военной администраціи. Но этого было мало! Надъ этимъ лагеремъ мучениковъ вдругъ разразился ливень и промочилъ насквозь не только людей, но даже и всѣ матрацы подъ ними... Несчастные такъ и валялись въ грязныхъ лужахъ... А когда кто-нибудь входилъ въ эти палатки-лазареты, то всѣ вопили о помощи и со всѣхъ сторонъ громко раздавались раздирающіе, пронзительные стоны и крики, и зубовой скрежетъ, и то

особенное стучаніе зубами, отъ котораго бьетъ дрожь. Отъ 10 до 20 мертвыхъ тѣлъ можно было находить межъ ними каждый день. Здѣсь помощь и трудъ сестеръ оказались неоцѣненными. Стоя въ лужахъ на колѣняхъ предъ больными, наши женщины подавали посильную помощь, въ которой онѣ сами нуждались... И такъ онѣ трудились денно и ночью. Въ сырыя ночи эти женщины еще дежурили, и, несмотря на свое утомленіе, онѣ не засыпали ни на минуту, и все это подъ мокрыми насквозь палатками. И всѣ такія сверхчеловѣческія усилія женщины переносили безъ малѣйшаго ропота, съ спокойнымъ самоотверженіемъ и покорностью. Въ доказательство полного самозабвенія сестеръ при подаваніи помощи, слѣдуетъ здѣсь сказать, что десять изъ этихъ женщинъ не выдержали госпитальной заразительности, и сами поплатились жизнью. 7) Во время одного непріятельскаго нападенія на Камчатскій редутъ, попеченія о раненыхъ со стороны нашихъ медиковъ и сестеръ обнаруживались хотя и съ ревностію и неутомимостію, но были слабы въ результатѣ. Это произошло отъ недостатка въ средствахъ помощи (опять по винѣ администраціи), такъ какъ бѣольшая часть раненыхъ (тысячи двѣ) не тотчасъ была перенесена на перевязочный нашъ пунктъ. Почти всѣ раненые валялись на улицѣ всю ночь, а потомъ только часть изъ нихъ перенесли въ бараки на сѣверную сторону. Здѣсь дѣйствовала Стаховичъ съ своей партіей сестеръ, но въ этихъ баракахъ не доставало мѣста для произведенія операцій. 8) Наконецъ, съ послѣднихъ чиселъ апрѣля до іюня, такъ какъ около этого времени осада съ каждымъ днемъ становилась сильнѣе и дѣятельнѣе, и раненые почти со всѣхъ бастіоновъ присылаемы были на нашъ перевязочный пунктъ (Дворянское Собраніе), то и здѣсь дежурныя сестры были завалены работою; особенно прикладываніемъ бандажей при совершеніи операцій, отъ 20 до 30 въ день. Въ это же время я назначилъ также нѣкоторыхъ сестеръ для попеченія о раненыхъ на новомъ мѣстѣ, въ устроенномъ мною госпиталѣ-палаткѣ, изъ двойного солдатскаго сукна и изъ клеенки. Это учрежденіе на 30 кроватей, безъ тѣсноты, было сдѣлано на деньги, пожертвованныя графомъ Віельгорскимъ.

Въ іюнѣ я поѣхалъ въ Петербургъ, въ сентябрѣ же

1855 года снова вернулся въ Севастополь. Тамъ засталъ я множество раненыхъ, послѣ штурмованія Малахова Кургана (дней пять послѣ битвы). Несчастные раненые кучами лежали въ палаткахъ на сѣверной сторонѣ, а другихъ приготавливали къ отсылкѣ въ Симферополь или въ Бахчисарай, и ими наполнили много крестьянскихъ телѣгъ.

Вторженіемъ своимъ въ крѣпость на сѣверной сторонѣ непріятель понудилъ общину сестеръ разбрестись съ мѣстъ, которыя онѣ тамъ занимали, и я тотчасъ распредѣлилъ ихъ по разнымъ госпитальнымъ палаткамъ, заботясь прежде всего о томъ, чтобы не допустить, насколько возможно, никакихъ столкновеній между г-жею Стаховичъ и Бакуниной. Несогласіе этихъ двухъ особъ дошло, какъ я это скоро замѣтилъ, до высшаго градуса. Къ счастью, почти въ одно время со мной прибыла изъ Одессы покойная Хитрово. Обсудивъ натянутыя отношенія и совсѣмъ различные характеры обѣихъ начальницъ, она взяла сторону Бакуниной и вскорѣ, по желанію великой княгини, приняла главное управленіе общиной на себя. Сдѣлала это она не совсѣмъ охотно. Послѣ того Хитрово принялась распредѣлять всѣхъ сестеръ къ занятіямъ, отвѣчавшимъ ихъ личнымъ способностямъ.

Первый выборъ большей части сестеръ не могъ, конечно, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, быть вполне удачнымъ. Онѣ преимущественно были набраны въ Петербургѣ, притомъ съ большою поспѣшностью. Нѣкоторыя изъ нихъ были безъ всякаго образованія; на примѣръ, одна все твердила, что „слѣдуетъ намъ тотчасъ отправляться въ Англію, чтобы наказать проклятыхъ англичанъ за ихъ дерзость“, и когда я ей растолковалъ, что Англія—островъ, то она отвѣчала: „Что-жъ за важность, что островъ,—какъ-нибудь да все-таки подойдемъ“. Одна оконфузила себя самымъ легкимъ поведеніемъ, хотя, между тѣмъ, показывала себя всегда очень смышленной и дѣятельной женщиной. Другая — за все про все, кстати и некстати, повторяла заученныя ею слова: „Я съ крестомъ и за Христа“, что, впрочемъ, не мѣшало ей иногда страдать *delirium tremens* отъ излишняго употребленія крѣпкихъ напитковъ. У двухъ другихъ сестеръ было подмѣчено стремленіе къ платонической взаимной любви. Одна монашенка, до-

вольно образованная, изъ дворяноѣ, отличалась невыносимымъ талантомъ къ смутьянству и сплетнямъ. Темный невѣжда и злой интриганъ монахъ былъ данъ въ священники и въ духовные отцы всей женской общинѣ... Ко всему этому надо прибавить, что одна изъ начальницъ хотя на видъ казалась очень *présentable*, но въ сущности имѣла настоящую чиновническую натуру. А, все-таки, несмотря на всѣ эти неблагоприятныя условія, поведеніе сестеръ съ медиками и ихъ помощниками было примѣрное и достойное уваженія; обращеніе ихъ съ страждущими было самое задушевное, и вообще всѣ дѣйствія сестеръ, при уходѣ за больными, сравнительно съ поведеніемъ госпитальной администраціи, должны быть названы не иначе какъ благородными. И замѣчательно, что самыя простыя и необразованныя изъ нихъ выдѣляли себя болѣе всѣхъ своимъ самоотверженіемъ и долготерпѣніемъ въ исполненіи своихъ обязанностей. Многія изъ нихъ пали жертвами прилипчивыхъ госпитальныхъ болѣзней. Одна изъ нихъ, простая, но богопочтительная и прямодушная женщина, завѣдывала категоріей тяжело раненыхъ и безнадежныхъ къ излѣченію (солдаты звали ее: „сестричка“ *par excellence*). Она удивительно умѣла своими простыми и трогательными молитвами у одра страдальцевъ успокоивать ихъ мучительныя томленія. Другая сестра, также простая и необразованная, посѣщала по собственному желанію наши форты и была извѣстна какъ героиня. Она помогала раненымъ на бастионѣ, подъ самымъ огнемъ непріятельскихъ пушекъ. Такъ, надо признаться, что наша община сестеръ вполне достигла своей цѣли. Она почти, можно сказать, была сымпровизирована бѣдствіями военного времени, и поэтому имѣла свои слабыя стороны; но, несмотря на то, она отличалась въ уходѣ за ранеными и больными, презирая всѣ злоупотребленія администраціи, всѣ опасности войны и даже самую смерть. Залогъ этого замѣчательнаго явленія неоспоримо лежитъ въ кипучей дѣятельности и нервномъ возбужденіи въ военное время; изобиліе дѣла замѣняло недостающую въ общинѣ духовную силу и не совсѣмъ отличную организацію. Да послужить это урокомъ будущимъ основателямъ. Не абстрактный принципъ, не возвышенное побужденіе сердца, а непрестанная и хорошо

распредѣленная дѣятельность—вотъ главное условіе, которое надо имѣть при устройствѣ современныхъ общинъ. Старое правило: *ora et labora*—должно служить здѣсь девизомъ. Независимо отъ сего, для полезной организаціи общины, разумѣется, необходимъ разсудительный выборъ начальственного персонала. Наша община, съ самаго начала, получила трехъ начальницъ, и въ подробной исторіи этого учрежденія видно, какую важную роль онѣ играли.

К. М. Бакунина, какъ уже было сказано, приняла управленіе общиной тотчасъ по своемъ пріѣздѣ въ Севастополь. Но лишь только туда прибыла Стаховичъ съ своими сестрами, Бакунина отказалась отъ управленія. Стаховичъ, какъ оффиціальная начальница общины, занималась гораздо болѣе администраціей общины, чѣмъ распредѣленіемъ и ученіемъ, какъ обходиться съ ранеными. Бакунина, напротивъ, тотчасъ съ увлеченіемъ предалась всецѣло служенію больнымъ и съ полнымъ самоотверженіемъ несла эту тяжелую службу. Она сдѣлалась примѣромъ терпѣнія и неустаннаго труда для всѣхъ сестеръ общины.

Неоцѣнимо было особенно то, что вся ея личность дышала истиной, что полная гармонія царствовала между ея чувствами и ея дѣйствіями. Она точно составляла слитокъ всего возвышеннаго. Чѣмъ болѣе встрѣчала она препятствій на своемъ пути самозабвенія, тѣмъ болѣе выказывала она ревности и энергіи. Она покорялась только тому, въ чемъ могла убѣждаться сама, обсудивъ полезную сторону всякаго дѣла; поэтому всѣ ея дѣйствія были самостоятельны и отчасти даже деспотичны. Она знала сама, что неспособна, по своимъ идеямъ, вліять на общину съ религіозной точки зрѣнія. Это доказываетъ ея письмо (которое вы найдете вмѣстѣ съ отвѣтомъ моей жены въ моихъ бумагахъ). Письмо это она написала мнѣ изъ Франціи, и говорить въ немъ, какъ притягательно подѣйствовалъ на нее мистическо-религіозный элементъ старо-католическихъ учреждений. Она съ восторгомъ внимала аккордамъ и чувствовала въ одно и то же время, что эта музыка ей чужда.

Иной духъ одушевлялъ покойную К. А. Хитрово. Когда наша община (въ Симферополѣ, въ концѣ сентября—декабря

1855 года) побывала подъ дирекціей этихъ двухъ женщинъ, я могъ ясно замѣтить разницу въ направленіи умовъ въ сестрахъ и придти къ убѣжденію, что рационально-практическое міровоззрѣніе одной такъ же сильно и благотворно вліяло на дѣйствія сестеръ общины, какъ и формально-мистическое воззрѣніе другой. Это сравненіе невольно напоминаетъ мнѣ евангельскихъ Марѳу и Марію: онѣ обѣ принадлежали къ малому стаду Христа, что намъ доказываетъ, что Онъ принимаетъ и высоко-практичную тенденцію жизни, и глубоко-религіозное чувство. К. А. Хитрово принадлежала, однако, къ тѣмъ исключительнымъ личностямъ, которыя способны соединять въ себѣ мистически-религіозное воззрѣніе съ формальнымъ и практически-полезную тенденцію съ возвышенными духовными чувствами. Поэтому-то она и была въ состояніи внушить смятенному элементу общины болѣе ровное религіозное направленіе. Слѣдующія ея слова, которыя она мнѣ однажды сказала, характеризуютъ отлично ея духовное настроеніе:

— Я искреннѣе и горячѣе молюсь въ бѣдной сельской церкви, слушая простое, монотонное пѣніе дячка, чѣмъ въ пышномъ храмѣ и при торжественной обстановкѣ.

По ея наружности и манерамъ, она мнѣ сперва показалась чѣмъ-то въ родѣ монашенки, но ея образованность, практической умъ и мистически-религіозное направленіе высказывались съ такой гармоніей во всѣхъ ея дѣйствіяхъ, что жесткое, формально-аскетическое, монастырское существо никогда не выступало наружу. Позднѣе я слышалъ въ Одессѣ, что нѣкоторые приписывали этому благородному характеру извѣстную долю лицемѣрія; но что касается меня, то К. А. Хитрово напоминаетъ мнѣ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ другую очень извѣстную и очень достойную уваженія личность, именно покойную г-жу Тучкову, біографія которой недавно напечатана. Онѣ, вѣрно, были очень похожи одна на другую.

Какъ только Стаховичъ съ нѣкоторыми, ни на что негодными и утомленными трудами, сестрами отправлена была отъ насъ (въ концѣ сентября—октября 1855 г.) и К. А. Хитрово вмѣстѣ съ К. М. Бакуниной взялись за дирекцію общины, тотчасъ же въ сестрахъ обнаружилось вліяніе совсѣмъ иного духа. Вскорѣ водворились тишина, порядокъ и строго

установленная дѣятельность во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ. Когда же, наконецъ, прибыла и третья значительная личность нашей общины, Е. П. Карцева, съ нѣкоторыми новыми сестрами и прямо въѣхала въ Симферополь, гдѣ приняла дирекцію одной партіи сестеръ, то ужъ была введена настоящая гармонія въ воззрѣніяхъ и въ дѣйствіяхъ общины. Е. П. Карцева, хотя гораздо моложе и неопытнѣе Хитрово и Бакуниной, притомъ она молчаливаго и тихаго нрава, показала, однако, что у нея много такта, послѣдовательности и особенной самостоятельности въ исполненіи взятыхъ на себя обязанностей. Попеченіе о больныхъ, надсмотръ и контроль госпитальной прислуги ведены были этими тремя личностями съ такою бдительностью и энергіей, что ихъ дѣйствія невольно повліяли на всѣхъ членовъ госпитальной администраціи, и всѣ отношенія къ общинѣ существенно измѣнились. Съ этой поры никто уже не осмѣливался дозволить себѣ неумѣстныхъ выраженій насчетъ контрольных дѣйствій сестеръ, и даже лица изъ высшаго военнаго круга не осмѣливались, какъ бывало ранѣе, шутить надъ „небесно-голубыми глазами“. А въ присутствіи Стаховичъ генералъ Х. однажды сказалъ одной хорошенькой сестрѣ: „Ваша голубая лента на шеѣ и ваши голубые глазки напоминаютъ мнѣ о небѣ“.

Симферопольскіе лазареты и бараки были наполнены ранеными послѣ штурма Малахова, и межъ ними царствовали тифъ и кровавый поносъ. В. И. Тарасовъ и новые прибывшіе со мною въ сентябрѣ 1855 года медики способствовали улучшить отношенія общины съ госпитальной администраціей. Они старались придать болѣе вѣса участію женщинъ, чтобы возвысить ихъ въ глазахъ администраціи. Я желаю назвать изъ этихъ медиковъ покойнаго Беккера и горячо рекомендованнаго имъ мнѣ Боткина, изъ Москвы ¹⁾.

Я заботился, насколько могъ, съ пользою распределить сестеръ съ этими, подъ моею командой находящимися, молодыми врачами по разнымъ лазаретамъ. Присланныхъ же мнѣ покойной Императрицей „сердобольныхъ“ я долженъ былъ, по желанію великой княгини, занять совершенно отдѣльно отъ

¹⁾ Сергій Петровичъ Боткинъ.

сестеръ. Такимъ образомъ въ городскихъ лазаретахъ дѣйствовали К. А. Хитрово и К. М. Бакунина съ Тарасовымъ, Хлѣбниковымъ и другими врачами. На другой половинѣ симферопольскихъ госпиталей дѣйствовали сердобольныя съ военными медиками. Е. П. Карцеву съ Боткинымъ и еще нѣсколько молодыхъ врачей я занялъ въ баракахъ, лежащихъ внѣ города. Это былъ лучший періодъ существованія общины во всей ея исторіи, и я не знаю, пережила ли она позднѣе такой чудный періодъ времени! Только два вопроса озабочивали еще меня и покойную К. А. Хитрово: распредѣленіе сестеръ по разнымъ мѣстностямъ и сопровожденіе транспортовъ больныхъ въ Перекопъ. По желанію великой княгини, мы устроили отдѣленія общины въ госпиталяхъ Перекопа (въ овчарняхъ), Херсона и Николаева и отдали ихъ подъ надзоръ Хитрово и избранныхъ ею старшихъ сестеръ. Но, чтобы совершить большой транспортъ (въ ноябрѣ 1855 года) и при невыгодныхъ условіяхъ климатическихъ, я предложилъ Бакуниной принять на себя сопровожденіе и дирекцію онаго, вмѣстѣ съ попеченіемъ о транспортируемыхъ. Я зналъ, что она, насколько возможно, счумѣетъ облегчить страдальцамъ ихъ горькую участь. Бакунина безотговорочно приняла мое предложеніе и исполнила его съ полнымъ самопожертвованіемъ. Въ большихъ сапогахъ и въ бараньемъ тулупѣ она тащилась пѣшкомъ по глубокой грязи (перекопская грязь—*nota bene*) и сопровождала мужицкія телѣги, биткомъ набитыя больными и ранеными; она заботилась, насколько было возможно, о страдальцахъ и ночевала съ ними въ грязныхъ, холодныхъ этапныхъ избахъ.

Старыя злоупотребленія администраціи, однако, не прекратились съ занятіемъ Севастополя. Недоставало множества необходимыхъ предметовъ, въ особенности въ то время, когда зима подошла къ дверямъ и повальныя болѣзни (тифъ, возвратная горячка, кровавые поносы). Бараки и госпитали не оказались довольно просторными для принятія всѣхъ заболѣвавшихъ эпидеміей. Множество больныхъ опять было помѣщено подъ холодными госпитальными палатками. Тутъ оказалось также, что новоустроенные бараки и квартиры сестеръ были холодны, сыры и совершенно не имѣли вентиляціи. Администрація же, какъ всегда, желала, чтобы мы находили все

удовлетворительнымъ, и очень неохотно отпускала намъ дрова, теплыя платья и горячія кушанья. Я долженъ былъ неустанно жаловаться, требовать и писать. При этомъ частомъ писаніи мнѣ невозможно было всегда обдумывать слова и выраженія, какія считаются умѣстными въ оффиціальныхъ бумагахъ, и черезъ это нѣсколько разъ выходили непріятности. Нѣкоторые мои выраженія въ письменныхъ моихъ просьбахъ оказались „несоотвѣтственными“ или недостаточно вѣжливыми. Особенно обидчивымъ на этотъ счетъ показалъ себя начальникъ госпитальной администраціи, г. Остроградскій. Однажды, послѣ неоднократныхъ и напрасныхъ моихъ просьбъ къ нему о томъ, чтобы онъ снабдилъ насъ дровами для отопленія нашихъ ледяныхъ бараковъ и помѣщеній сестеръ, Остроградскій напалъ на одно мое „неприличное выраженіе“ въ письмѣ („имѣю честь представить на видъ“) и пожаловался на меня князю Горчакову, и вслѣдствіе этой жалобы мы дровъ не получили, но я зато получилъ рѣзкій выговоръ сперва отъ Горчакова, а позднѣе—отъ самого Государя.

Въ декабрѣ 1855 года я снова отправился въ Петербургъ. Община сестеръ, въ это время состоявшая изъ 10-ти отдѣленій, во время моего отсутствія перешла подъ попечительство генерала Савена, но подъ непосредственнымъ надзоромъ К. А. Хитрово. По дорогѣ я заѣхалъ посѣтить госпитали и другія отдѣленія общины въ Перекопѣ, Херсонѣ и Николаевѣ.

Всѣ эти хорошія и непріятныя, давно пережитыя мною испытанія въ жизни представляются теперь передо мной, какъ фигуры калейдоскопа, на которыя я смотрю сквозъ тусклое, почернѣвшее стекло. Когда я теперь вспоминаю, какъ тогдашнія обстоятельства мало способствовали развитію только-что устроеннаго Общества сестеръ и какъ плохо эти обстоятельства соотвѣтствовали выгодамъ этой организаціи, то я чувствую, что въ самомъ дѣлѣ я принужденъ восторгаться отъ тѣхъ добрыхъ результатовъ, которые дало это женское учрежденіе. Результаты эти, во всякомъ случаѣ, доказываютъ, что до сей поры мы совершенно игнорировали чудныя дарованія нашихъ женщинъ. Эти дарованія ясно доказываютъ, что современный женскій вопросъ и тогда

уже былъ въ полномъ правѣ требовать своего *raison d'être*. То, что противники благоразумной эманципаціи женщинъ еще до сего дня утверждаютъ, будто бы велика разница въ организаціи половъ,—напримѣръ, меньшій вѣсъ въ мозгу и проч.,—этого нечего брать во вниманіе, и это никогда не выдержитъ серьезной критики. Женщина, если она получитъ надлежащее образованіе и воспитаніе, можетъ такъ же хорошо усвоить себѣ научную, художественную и общественную культурность, какъ и мужчина. При этомъ главное условіе только то, чтобы женщина всегда сохраняла въ себѣ фیزیологическую и нравственную женственность и выучилась бы не разставаться съ нею.

Это, конечно, нелегко, но, однако, возможно, и это именно то, что защитники, какъ и противники женскаго вопроса, упускаютъ изъ вида. Женщина, съ мужскимъ образованіемъ и даже въ мужскомъ платьѣ, всегда должна оставаться женственной и никогда не пренебрегать развитіемъ лучшихъ дарованій своей женской природы. И я рѣшительно не вижу, почему одинаковое общественное положеніе женщины съ мужчиной можетъ помѣшать такому развитію. Если же меня спросили бы: какое міровоззрѣніе должно служить основаніемъ для учрежденія общины сестеръ въ нашемъ отечествѣ, то я могу дать пока только отрицательные отвѣты. Я могу сказать одно, что старо-католическое и протестантское міровоззрѣнія для насъ, какъ основаніе, негодны. Православныя монахини, или учрежденіе діакониссъ, тоже въ наше время не годятся. Наша церковь не имѣетъ никакихъ преданій для подобныхъ учрежденій, и она настолько консервативна и формальна, что не въ силахъ примѣниться къ насущнымъ требованіямъ новаго времени. Поэтому я думаю, что наши учрежденія сестеръ не должны ничего заимствовать у западныхъ, а должны установиться на новыхъ началахъ. Конечно, онѣ не могутъ обойтись безъ извѣстной доли духовной и формальной религіозности, но католическая мистичность и протестантская сухость должны быть имъ чужды.

Наша сестра милосердія также не должна быть православной монахиней. Она должна быть простая, богопочтительная женщина, съ практическимъ разсудкомъ

и съ хорошимъ техническимъ образованіемъ, а притомъ она непременно должна сохранить чувствительное сердце. Но главное условіе для достиженія успѣха въ нашихъ подобныхъ учрежденіяхъ должно быть то, чтобы дѣятельность въ женщинахъ была поддерживаема непрестанно. А притомъ положеніе ихъ въ госпиталяхъ должно быть, насколько возможно, независимо отъ госпитальной администраціи. Самыя же образованныя сестры, которымъ будетъ поручаемо надзоръ за общиной, должны быть такъ поставлены, чтобы онѣ могли нравственно вліять на весь персоналъ госпитальный. Если же мы вздумали бы вводить въ нашихъ общинахъ формально-религіозное направленіе, то непременно случилось бы то же самое, что произошло при введеніи въ общину нѣкой г-жи Вуичъ: мы получимъ женскихъ Тартюфовъ, но никакъ не истинно-религіозныхъ сестеръ.

Вотъ, насколько могу описать, каковъ идеаль, который я себѣ когда-то составилъ, во время моего управленія общиной въ крымскую кампанію. Увы, я долженъ признаться: „разбитый идеаль, который когда-то живилъ упоенное сердце“.

Теперь прощайте, многоуважаемый другъ. Если вы когда-нибудь почувствуете усталость отъ суеты при дворѣ и вздумаете путешествовать, ради душевнаго отдыха, то изберите направленіе юго-западное и дайте мнѣ счастье видѣть васъ въ моемъ имѣніи и встрѣтить васъ на станціи желѣзной дороги Винница. Я вамъ отдамъ въ полное распоряженіе мой виноградникъ съ франкенталернымъ виноградомъ и мою коллекцію персиковъ и розовыхъ кустовъ, ухажу за которыми я въ эту минуту ревностно занятъ.

Вашъ искренній другъ и поклонникъ—Н. Пироговъ.

С. Вишня.—Винница.

1876 г., февраля 27.





ПРИЛОЖЕНІЕ.



ПРОЩАНІЕ КІЕВСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА СЪ Н. И. ПИРОГОВЫМЪ.

Прощальный обѣдъ 4-го апрѣля 1861 г. имѣлъ особый, своеобразный характеръ, который рѣзко выдвигаетъ его изъ ряда торжественныхъ обѣдовъ. На немъ присутствовало болѣе 120 участниковъ, но все это были люди учебнаго вѣдомства, съ которыми Н. И. находился, по самому положенію своему, въ болѣе или менѣе частыхъ, въ болѣе или менѣе близкихъ отношеніяхъ. А служить вмѣстѣ съ нимъ, служить подъ начальствомъ его — значило, для большинства, быть его учениками. Потому-то отъ собранія удалена была всякая торжественность и публичность: ихъ никогда не любилъ Николай Ивановичъ. Это былъ домашній обѣдъ, на которомъ огромная семья людей, родныхъ по убѣжденіямъ, прощалась съ главою дома. На отходящаго патріарха-учителя грустно устремлены были всѣ взоры, къ нему одному обращались всѣ желанія и привѣтствія. Каждый говорилъ о немъ одномъ; каждый, оцѣняя его заслуги, объяснялъ себѣ и другимъ всю тягость испытываемой утраты. Восторженно и одушевленно выражали свои чувства растроганные ученики, а онъ задумчиво и спокойно говорилъ намъ объ одномъ, вѣчномъ, непреходящемъ царствѣ идеи и утѣшалъ насъ возможностью и въ разлукѣ постоянно сообщаться мыслями въ этомъ мірѣ идей. Особенно памятными пребудутъ для насъ тѣ минуты, когда устами студента, недавняго гимназиста, будущее поколѣніе общественныхъ дѣятелей выразило, какъ оно понимаетъ Пирогова, когда представитель нравственно

поднятыхъ имъ еврейскихъ училищъ провозгласилъ тостъ за совершеннѣйшаго представителя образованныхъ христіанъ, когда, наконецъ, издалека раздался голосъ полтавскихъ гимназистовъ, просящихъ своего бывшаго руководителя „благословить ихъ быть достойными гражданами“. Въ эту минуту мы не жалѣли о Пироговѣ. Нѣтъ: мы завидовали ему тою высокою, плодотворною завистью, которая вызываетъ на благородное соревнованіе и усиленный трудъ.

Сослуживецъ Николая Ивановича по двумъ учебнымъ округамъ, помощникъ его І. Г. Михневичъ открылъ длинный рядъ прощальныхъ рѣчей слѣдующими словами:

„Дѣйствія ваши, Николай Ивановичъ, были такъ прямы, открыты, гласны, что говорить о нихъ—значить выражать въ словѣ то, что живо напечатлѣно въ мысли и сердцѣ всѣхъ и cadaго изъ насъ и что не въ нашемъ только небольшомъ кругу, но во всѣхъ мѣстахъ Россіи и за ея предѣлами приобрѣло такую же извѣстность, какъ и славное имя ваше. Плоды этихъ дѣйствій такъ благотворны, многозначительны, велики, что составлять обильный предметъ постоянныхъ благодарныхъ воспоминаній о васъ не только для насъ, но и для поколѣній, слѣдующихъ за нами, и займутъ лучшія страницы въ исторіи отечественнаго просвѣщенія. Здѣсь, въ прощальной бесѣдѣ съ вами, языкъ мысли уступаетъ мѣсто языку чувства, а чувство любить выражаться не столько въ словахъ, сколько въ желаніяхъ и дѣлахъ. Желаемъ, чтобы многоплодная дѣятельность ваша на пользу науки и для блага человѣчества продолжалась съ свойственной вамъ энергіей еще на многіе годы. Желаемъ еще часто слышать отъ васъ тѣ мудрыя и живительныя изреченія науки и жизни, которыя всегда изливались съ такимъ обиліемъ и теплотою и въ устной, и въ письменной рѣчи вашей. Желаемъ, чтобы дѣла наши ясно показали вамъ, что мы старались и будемъ стараться воспользоваться всѣмъ, что сдѣлано вами для нашей пользы и въ основѣ чего лежитъ идея правды, долга и совѣсти — этого тройственнаго начала всей вашей дѣятельности, которое вы постоянно любили внушать, и словомъ, и дѣломъ, воспитывающемуся молодому поколѣнію. Желаемъ, чтобы это поколѣніе, въ стѣнахъ школы, всегда помнило и осуществляло на

дѣлѣ не разъ повторенныя ему вами внушенія о важности научнаго интереса, составляющаго въ дѣлѣ образованія, особенно высшаго, какъ мы часто слышали отъ васъ, цѣль главную, существенную, которая, кромѣ не менѣе существенной цѣли нравственно-религіозной, исключаетъ всѣ прочія стремленія и цѣли, какъ препятствія къ ея достиженію, — и о необходимости свободно-самостоятельнаго труда, какъ условія, при которомъ только и возможно самоусовершенствованіе, а виѣ этихъ стѣнъ — никогда бы не теряло изъ виду рѣшенія любимой вами тѣмы о примиреніи школы съ жизнью, о примѣненіи теоріи къ практикѣ и о достиженіи того золотого вѣка, когда школа и жизнь сойдутся, наконецъ, какъ два согласные дѣятеля, усердно работающіе другъ для друга и дружно направляющіе общій трудъ свой къ выгодамъ и пользамъ одного и того же человѣчества. Желаемъ и еще многого... но для осуществленія нашихъ желаній, которыми полна теперь душа наша, главное условіе — это бодрость и крѣпость силъ вашихъ. Соединимъ же, мм. гг., всѣ наши желанія въ одно и выразимъ общій нашъ молитвенный голосъ такъ: да укрѣпляетъ сила Всевышняго незабвеннаго нашего Николая Ивановича и да будетъ жизнь его такъ обильна свѣтлыми днями и годами, какъ обильна его дѣятельность мудрыми и добрыми дѣлами! — Какъ знакъ искренности нашихъ желаній и какъ внѣшнее выраженіе нашихъ внутреннихъ чувствъ, провозглашаю тостъ за здоровье дорогого, душевноуважаемаго и любимаго нами Николая Ивановича!

Затѣмъ ректоръ университета Н. Х. Бунге сказалъ:

„Лѣтъ шесть тому назадъ, среди разгара войны, въ лѣтописяхъ которой сохранится дорогое намъ имя, общество наше пробудилось къ новой жизни. Великія, свершившіяся съ тѣхъ поръ, преобразованія вызвали много новыхъ дѣятелей на гражданское поприще, и тѣ, которые слѣдили за ходомъ нашего мирнаго развитія, могли замѣтить, сколько людей въ это короткое время пережили и свою старую, и свою новую славу.

„Отчего же добрая слава Николая Ивановича устояла и противъ ожесточенныхъ порицаній, и противъ восторженныхъ похвалъ? Оттого, мм. гг., что Н. И. опирался въ своей дѣятельности

на служеніе наукъ и нравственному авторитету, а то и другое вызываетъ не мимолетнюю популярность, а уваженіе и любовь.

„Я не стану исчислять всего, что сдѣлалъ Н. И. для университетской науки; довольно упомянуть о живомъ участіи, которое онъ принималъ во всѣхъ ученыхъ вопросахъ по изданію университетскихъ извѣстій, по замѣщенію кафедръ, по раздѣленію факультетовъ; довольно упомянуть о томъ, какъ щедро ассигновались и тратились наши средства на переустройство астрономической обсерваторіи, на передѣлку помѣщенія для практическихъ занятій химіею, какъ скупо расходовались они на роскошь ремонта; о томъ, какъ много обязана ему студенческая бібліотека, въ пользу которой онъ, на дняхъ, предоставилъ изданіе своихъ педагогическихъ статей, написанныхъ въ истекшіе три года.

„Но главная тайна вліянія Н. И. заключалась въ служеніи нравственному авторитету.

„Онъ старался упрочить его устройствомъ университетскаго суда, порученнаго правленію. Каковы бы ни были недостатки этого учрежденія, но оно дало приговорамъ за проступки студентовъ характеръ законности, а не личнаго произвола.

„Онъ старался сообщить инспекціи студентовъ духъ благородства и прямоты и упрочить за нею бѣльшую степень довѣрія.

„Онъ основывалъ свою власть на преданности наукъ и на внутреннемъ убѣжденіи; но гдѣ власть опиралась на эти силы, гдѣ зрѣлыя понятія только начинали проникать въ умы молодого поколѣнія, испытывавшаго на себѣ постороннія вліянія, чуждыя и университету, и намѣреніямъ его бывшаго руководителя, тамъ нельзя было ожидать внезапнаго торжества нравственнаго самообладанія.

„Будущее принадлежало намъ; оно готовило неразрывную связь между всѣми служителями истины и добра. Поэтому позвольте, мм. гг., выразить надежду, что этотъ союзъ осуществится, и предложить тостъ за Н. И., его основателя и представителя нравственнаго принципа въ дѣлѣ образованія“.

Послѣ ректора, ученикъ и восторженный поклонникъ Пирогова, профессоръ анатоміи А. П. Вальтеръ представилъ оду-

шевленную картину по преимуществу ученой дѣятельности славнаго медика:

„Мм. гг! Мы всѣ чувствуемъ, что этотъ обѣдъ, это собраніе, не есть обыкновенное прощаніе съ уѣзжающимъ начальникомъ. Мы увѣрены, что еслибъ во всей обширной Россіи знали о настоящемъ днѣ и его значеніи, то мысли и чувства всѣхъ многочисленныхъ приверженцевъ и почитателей Н. И. Пирогова были бы съ нами здѣсь въ эту торжественную минуту. Давно извѣстно, что современная Россія глубоко сочувствуетъ Николаю Ивановичу, т.-е., что онъ въ полной гармоніи съ большимъ числомъ современниковъ. Но такъ ли было всегда? Вотъ вопросъ, котораго рѣшеніе важно въ это время для того, чтобы почерпнуть изъ исторіи его жизни ручательство за вѣрность стремленій какъ его самого, такъ и его послѣдователей.

„Я въ правѣ говорить объ этомъ, ибо мнѣ досталось на долю рѣдкое счастье слѣдить въ продолженіе 26 лѣтъ за подвигами и дѣйствіями Н. И.

„Произношу съ гордостью: я ученикъ Н. И.—ча. Я видѣлъ, какъ въ 1836 году молодой профессоръ вступилъ на кафедру императорскаго дерптскаго университета, въ которомъ до тѣхъ поръ привыкли видѣть дѣльныхъ профессоровъ только изъ Германіи. Тѣмъ не менѣе вся молодежь, увлекаемая пылкимъ и неутомимымъ рвеніемъ молодого ученаго къ наукѣ, бросилась вслѣдъ за нимъ. Имя Пирогова наполнило всѣ сердца и умы, и онъ основалъ первую въ Россіи и одну изъ лучшихъ хирургическихъ школъ, разсѣянные члены которой и теперь приносятъ пользу во всей необъятной Россіи. Онъ издалъ въ Дерптѣ два замѣчательныя сочиненія. Первое изъ нихъ было „Лѣтописи дерптской клиники“, въ которыхъ молодой профессоръ жертвовалъ тѣмъ, чѣмъ обыкновенно неохотно жертвуютъ врачи: своимъ геномъ. Въ этомъ сочиненіи онъ исповѣдалъ публично свои клиническія ошибки; онъ доказалъ ту высокую правдивость, которая характеризуетъ всю его жизнь. Сверхъ того онъ написалъ въ Дерптѣ сочиненіе, теперь выходящее вторымъ, неизмѣненнымъ изданіемъ, которымъ занятъ нашъ будущій товарищъ, профессоръ Шимановскій. Стало быть, въ продолженіе 25 лѣтъ, въ которыя анатомическія науки сдѣлали неслыхан-

ные успѣхи, ученый свѣтъ не могъ произвести ничего лучше перваго литературнаго труда Н. И. Пирогова. Изъ Дерпта Н. И. перешелъ въ С.-Петербургъ для того, чтобы лучше служить наукѣ и быть полезнѣе для Россіи, чѣмъ это ему было возможно въ образованномъ, но отдаленномъ углу нашего обширнаго отечества. При переѣздѣ его въ Петербургъ, его слава, послѣ пятилѣтней профессорской дѣятельности, была уже такъ велика, что президентъ петербургскаго общества русскихъ врачей принялъ всевозможныя мѣры для того, чтобы немедленно увѣдомили его о прибытіи Пирогова. Ночью пріѣхалъ знаменитый хирургъ, а на утро президентъ явился къ нему и поднесъ дипломъ на званіе члена общества русскихъ врачей. Дѣятельность Н. И. въ столицѣ была и ученая, и административно-медицинская. Упомянемъ вкратцѣ о важнѣйшихъ его заслугахъ. Ему принадлежитъ первое осуществленіе присоединенія нашихъ госпиталей къ клиническому преподаванію, и если эта мысль еще не вездѣ у насъ проведена, то ея будущее осуществленіе едва-ли подлежить сомнѣнію. Подъ исключительнымъ вліяніемъ его мысли составленъ нашъ уставъ объ испытаніяхъ для полученія медицинскихъ степеней, — уставъ, который, независимо отъ колебаній состоянія науки въ извѣстное время, весьма практиченъ и реализируетъ необходимость соединенія науки съ практикою въ медицинѣ. Н. И. — чу принадлежатъ нѣсколько страницъ изъ исторіи доблестныхъ подвиговъ русскихъ врачей на полѣ сраженія. При началѣ крымской войны онъ изобрѣлъ гипсовую повязку, облегчившую страданія многихъ тысячъ раненыхъ воиновъ. Онъ раздѣлялъ труды нашей арміи въ Крыму, и никогда, въ особенности русскій солдатъ, не забудутъ его искусной руки и его доброй, сердобольной души. Въ Петербургѣ онъ написалъ свое знаменитое сочиненіе: „Anatomie topographica“; это былъ важный плодъ пятилѣтнихъ трудовъ. До этого сочиненія, кто говорилъ объ анатоміи, тотъ говорилъ объ анализѣ, о разложеніи; Пироговъ ввелъ въ эту науку синтезисъ. Чтб въ продолженіе 2000 лѣтъ разлагали, раздѣляли, тб онъ соединилъ, свелъ въ одно и доказалъ, что за избыткомъ анализа, мы не понимаемъ синтеза. Какъ поняты были эти заслуги и труды современниками Пирогова? Критика разразилась укорами надъ его клиническою лѣтописью; нашли,

что онъ слишкомъ пренебрегаетъ терапіею. Но что-жъ? Не прошло нѣсколькихъ лѣтъ — и эта же терапія, въ которую тогда вѣрили противники Н. И., была признана ничтожною. Н. И. былъ правъ. Какъ вѣрно онъ угадалъ потребность хирургіи въ своемъ сочиненіи о перевязкѣ артерій, доказываетъ то, что этотъ трудъ не отсталъ отъ современности въ теченіе цѣлыхъ 25 лѣтъ и сразу былъ признанъ первокласснымъ, въ высшей степени практическимъ сочиненіемъ. „Анатомія“ Пирогова хотя еще не признана какъ слѣдуетъ и встрѣчена только всеобщимъ удивленіемъ, но уже настаетъ, уже начался тотъ періодъ анатоміи, когда стануть изслѣдовать устройство не мертвого, а живого человѣка; а когда это будутъ дѣлать вездѣ, тогда сочиненіе Пирогова обратится въ ежедневную справочную книгу для всѣхъ анатомовъ и врачей въ свѣтѣ. Это сочиненіе составляетъ эпоху въ наукѣ; соединеніе же клиникъ съ госпиталями есть начало реформы медицинскихъ училищъ въ Россіи. Никогда, ничей голосъ не отвергалъ пользы его экзаменаціоннаго устава: онъ соотвѣтствовалъ вполне своему времени и не утратилъ этого значенія и теперѣ.

„Но великій анатомъ, великій врачъ оставляетъ медицинскую кафедру, и—о, чудо!—анатомъ, хирургъ и испытатель матеріи въ природѣ человѣка дѣлается поборникомъ его духовнаго начала. Онъ требуетъ признанія и развитія достоинства человѣка, въ знаменитыхъ строкахъ о вопросахъ жизни онъ кладетъ руку на больное мѣсто въ воспитаніи русской молодежи, но кладетъ ее какъ врачъ, для исцѣленія ранъ. Онъ произнесъ то, что всѣ чувствовали, но никто не облекъ въ слово. Вся Россія его поняла, вся Россія согрѣвалась его теплою, вдохновенною рѣчью; вся Россія стала требовать гуманности, человѣчности въ воспитаніи. Пироговъ указалъ на сущность университетскаго образованія въ противоположность спеціальному. Онъ доказалъ связь гуманнаго образованія съ божественнымъ ученіемъ. Понялъ ли тутъ Пироговъ духъ своего времени? Кажется, объ этомъ спорить излишне.

„Потомъ Н. И. дѣлается ученымъ администраторомъ, попечителемъ, въ высшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова. Онъ эманципируетъ бѣдныхъ дѣтей отъ безумнаго и унижающаго человѣческое достоинство тѣлеснаго наказанія, онъ по-

даетъ руку загнанному племени евреевъ; онъ указываетъ христіанамъ, сколько гуманности и любви къ просвѣщенію кроется въ этой расѣ. И что-жь? Какъ отозвалось на все это современное общество? Едва ли кто у насъ болѣе популяренъ, любимъ, уважаемъ, какъ Пироговъ.

„Я кончаю свою рѣчь:

„Н. И. Пироговъ, какъ человѣкъ науки, былъ всегда передовымъ двигателемъ ея; общество шло за нимъ, и всегда время доказывало, что онъ не ошибался. Когда же онъ сталъ заниматься вопросами жизни, то великій врачъ, привыкшій всегда однимъ взглядомъ окидывать всю цѣлость явленій, а не увлекаться однимъ, всегда схватывалъ вѣрно потребности момента. Храмъ идей былъ открытъ всѣмъ, но первый въ него вошелъ Н. И., и за нимъ уже вошли всѣ другіе съ криками радости и удивленія. Онъ былъ вполнѣ не только человѣкъ своего времени, но и вождь своихъ современниковъ. Число людей, не раздѣляющихъ его взглядовъ, невелико, оно никогда не было велико! Н. И. не воевалъ противъ зла, — онъ возвышалъ, укрѣплялъ приверженцевъ добра, онъ увлекалъ ихъ теплотою чувствъ и закрѣпилъ ихъ увлеченіе убѣжденіемъ и разсудкомъ. Его врагами не были поборники зла, они его не боялись. Его противниками были собственно тѣ люди, которые, въ свое время и въ свою очередь, стояли за прогрессъ, но, будучи обязаны охранять блага добытаго прогресса, страшатся опрометчиво идти дальше за Н. И., пока не поймутъ прочности и вѣрности его идеи. Но они напрасно сомнѣваются въ счастливой звѣздѣ, въ геніальной смѣтливости Н. И.: и они послѣдуютъ за нимъ, и тогда идеи Пирогова вполнѣ восторжествуютъ. За это намъ ручается весь ходъ его жизни, успѣхъ его мыслей и трудовъ. Итакъ, господа, я предлагаю тостъ за попечителя двухъ учебныхъ округовъ, великаго ученаго, славнаго писателя, благороднаго гражданина, нашего незабвеннаго друга и руководителя Николая Ивановича Пирогова!“

Рѣчь профессора русской словесности А. И. Селина слѣдовала за рѣчью г. Вальтера.

„Каждый день встрѣчаемся мы теперь съ тѣмъ фантастическимъ существомъ, измѣнчивость и подвижность котораго въ живописно вѣрный образъ облекла мудрая русская пословица:

„мірская молва—морская волна!“ Видите ли вы эту толпу, идущую мимо зданія, заставленнаго лѣсами?—Нарядная, любящая комфортъ и покой, съ неудовольствіемъ смотритъ она на наружный безпорядокъ: вездѣ разбросанъ сырой матеріалъ, непріятно пахнетъ известью, глаза разѣдаетъ пыль мусора и кирпича, которые свозятъ посреди шума и крика... но мы съ вами знаемъ, что за этими лѣсами возобновляется громадное зданіе и совершенствуется по плану мудраго зодчаго... И его-то мы лишаемся, мм. гг., именно въ то время, когда обновляемое святилище науки, можетъ быть, готово было предстать передъ зрителями въ величіи и блескѣ!..

„Николай Ивановичъ! Не дождались вы до дня своего торжества; но васъ можетъ обрадовать такое знаменательное событіе, которому не было подобнаго въ теченіе 16-тилѣтней службы говорящаго. Когда разнеслась вѣсть, горестная какъ бѣдствіе для каждаго разумнаго существа, способнаго любить добро и свѣтъ: „Н. И. Пирогова не будетъ съ нами!“—студенты университета, всегда дѣлившіеся на самые разнородные станы, какою-то невѣдомою силою вдругъ сливаются въ единую семью! великороссіяне, малороссы, литвины, поляки, болгары, сербы, нѣмцы, евреи—одинъ человѣкъ!

„Почему они забыли всѣ личныя стремленія, частныя убѣжденія, въ основѣ своей, быть можетъ, неповинныя? Потому, что въ эту торжественно-печальную минуту ясно увидѣли, что надъ ихъ значками, на неизмѣримой высотѣ, въ яркомъ сіяніи, развѣвается знамя истины; увидѣли, что подъ этимъ знаменемъ идете вы, достойнѣйшій изъ всѣхъ вождей юношества! Единодушнымъ желаніемъ сохранить васъ они торжественно признали правоту вашихъ высокихъ убѣжденій!

„Господа студенты! Одно это проявленіе дѣлаетъ честь не только вамъ, какъ лицамъ, но и самой человѣческой природѣ: ни вы, ни мы, не забудемъ этого благороднѣйшаго порыва! Вашимъ единодушіемъ вы выразили высокое разумнѣе высокой мысли: много обитателей у Бога, но безпредѣльнѣе, божественнѣе всѣхъ—царство истины.

„Мм. гг.! Позвольте мнѣ предложить тостъ во славу и торжество вѣчной истины и въ честь достойнаго жреца ея—Н. И. Пирогова!“

Послѣ профессора Селина почетный попечитель кіевскихъ гимназій, графъ Г. Г. Тышкевичъ, сказалъ на французскомъ языкѣ нѣсколько одушевленныхъ словъ. Въ нихъ онъ выразилъ свое сочувствіе, во-первыхъ, къ благородной личности Николая Ивановича и его идеѣ о воспитаніи; во-вторыхъ, къ воспитывающемуся юношеству, которое, независимо отъ легкомысленныхъ увлеченій, свойственныхъ его возрасту, проникнуто многими благородными порывами, наконецъ, вообще къ стремленію XIX вѣка провести въ жизнь христіанскія начала, чему высокій примѣръ подаетъ Августѣйшій Освободитель крестьянъ.

Отъ имени двухъ кіевскихъ гимназій говорили старшіе учителя Ѳ. Ѳ. Петрушевскій и И. О. Самчевскій.

Петрушевскій сказалъ:

„Обращаюсь къ вамъ, Николай Ивановичъ, съ краткимъ словомъ, въ которомъ пытаюсь выразить ощущенія, съ какими мы предаемся безплодному сожалѣнію о томъ, что недолго привелось намъ быть свидѣтелями вашей безпримѣрной дѣятельности.

„Съ тѣхъ поръ, какъ первая кіевская гимназія, на ряду съ прочими, назвала васъ своимъ начальникомъ, мы сами увидѣли—кто не былъ слѣпъ—то, о чемъ до той поры говорила намъ молва. Мы поняли, въ чемъ заключается истинная власть и какъ она выражается; всякій испыталъ, что знаменитый ученый, человѣкъ истинно просвѣщенный и глубоко преданный дѣлу человѣческаго развитія, пріобрѣлъ надъ нами вліяніе, недоступное никакому другому олицетворенію власти, вооруженному всѣми возможными знаками отличія.

„Съ тѣхъ поръ, какъ мы стали свидѣтелями вашего неутомимаго трудолюбія, никто изъ насъ не могъ сказать ни вслухъ, ни мысленно, что онъ сдѣлалъ все, чего могло ожидать отъ него общество. Безмолвная, но неотразимая укоризна, исходя изъ тиши кабинета, гдѣ неутомимо работалъ Пироговъ, ложилась нерадивому на совѣсть, и напрасно онъ принималъ на себя мнимо-равнодушный видъ, не успѣвая обмануть даже и самого себя.

„Свободно и самостоятельно трудились мы, каждый по-своему, мы мѣнялись мыслями, и ничье доброе пожеланіе, ничья счастливая идея на пользу общую не были останавливаемы ника-

кимъ опасеніемъ, потому что мы всѣ, благодаря вамъ, пользовались одинаковою разумною свободою.

„Я не стану исчислять всего полезнаго, сдѣланнаго вами для гимназій, потому что это хорошо извѣстно всѣмъ намъ, присутствующимъ здѣсь, всѣмъ, служащимъ съ вами, а скоро узнаетъ и вся Россія; но я хочу въ нѣсколькихъ словахъ показать, къ какому результату мы были приведены, отчасти, можетъ быть, безъ вашего преднамѣренія.

„Никогда не позволю себѣ оскорблять слухъ вашъ льстивыми фразами,—не буду говорить, напр., что гимназія наша будто бы достигла высшей степени благосостоянія; но я долженъ сказать здѣсь во имя истины, что никогда мы, воспитатели и наставники, не испытывали болѣе благодѣтельнаго нравственнаго и умственнаго вліянія, какъ въ то короткое время, когда имѣли счастье называть васъ своимъ главою. Мы видѣли не начальника надъ собою, но человѣка, гражданина, ученаго и воспитателя, находившаго высшее удовлетвореніе въ своемъ собственномъ сознаніи.

„Этого рода впечатлѣнія не скоропреходящи,—нѣтъ, они глубоко вошли въ наши натуры и принесутъ полезные плоды.

„Скоро вы будете далеко отъ насъ, но ни разстояніе, которое будетъ между нами, ни долгіе годы предстоящей намъ разлуки не истребятъ ихъ, и позвольте заявить вамъ, что всегда мы будемъ вспоминать о васъ со всѣмъ чистымъ и глубокимъ уваженіемъ, какого заслуживаетъ знаменитое имя Пирогова, за котораго, мм. гг., честь имѣю предложить торжественный тостъ“.

Самчевскій сказалъ отъ имени второй гимназій:

„Отъ лица второй гимназій, собравшейся здѣсь въ полномъ своемъ составѣ, я осмѣливаюсь возвысить мой слабый голосъ, чтобы выразить вамъ, Николай Ивановичъ, наше глубокое сочувствіе и искреннюю благодарность за неутомимую и въ высшей степени плодотворную вашу дѣятельность въ званіи попечителя кіевскаго учебнаго округа.

„Ваше управленіе было кратковременно, но все сдѣланное вами для нашихъ гимназій навсегда останется лучшимъ памятникомъ вашей дѣятельности въ здѣшнемъ округѣ. Съ прибытіемъ вашимъ гимназіи наши начали новую, лучшую жизнь.

„При глубокомъ пониманіи того великаго дѣла, двигателемъ котораго вы были, свято исполняя законъ, вѣрный истолкователь его въ лучшемъ, благородномъ смыслѣ, вы собственнымъ примѣромъ неизмѣнно, постоянно старались вкоренить въ сердцахъ учащихся и учащихся чувство долга. Съ этою цѣлью были введены вами правила о проступкахъ и наказаніяхъ, которыя, ограничивъ произволь училищнаго начальства, въ то же время содѣйствовали развитію чувства законности въ учащихся. Вы остались вѣрны своимъ убѣжденіямъ, несмотря на раздражительные крики въ журналахъ людей, не могшихъ понять, какъ попечитель округа могъ подчинить свое мнѣніе большинству голосовъ комитета.

„Вы старались провести въ дѣло ту благую мысль, что произволъ особенно вреденъ въ дѣлѣ воспитанія, и плодомъ этого стремленія было осуществленіе въ гимназіяхъ коллегіальнаго управленія, бывшаго до того времени только на бумагѣ въ уставѣ 1828 г. Устройство это успѣло въ настоящее время правильно организоваться и принести благотѣльные плоды: оно избавило и удержало въ извѣстной мѣрѣ учащихся и учащихся отъ произвола и начало вызывать живую нравственную связь между тѣми и другими; оно пробудило сознательную дѣятельность преподавателей и подняло ихъ значеніе въ обществѣ, въ собственномъ сознаніи и въ глазахъ учащихся. Безъ сомнѣнія, здѣсь имѣло огромное вліяніе и то въ высшей степени гуманное обращеніе съ лицами, подвѣдомственными вамъ, которое присуще было вашей человѣчной природѣ, которое вытекало у васъ, безъ сомнѣнія, изъ сознанія его необходимости, а не изъ другихъ побужденій,—въ высшей степени, повторяю, гуманное обращеніе, которое рѣдко и въ настоящее время, хотя о немъ такъ много пишутъ и говорятъ. Передъ вами мы всѣ были равны, доступъ къ вамъ для всѣхъ былъ одинаковъ, не было различія въ званіи; въ каждомъ изъ насъ вы прежде всего видѣли человѣка, оттого истина была вамъ доступна и между вами и вашими сослуживцами существовала та нравственная связь, то искреннее довѣріе, при которомъ только и возможны прочные успѣхи въ великомъ дѣлѣ воспитанія. Благодаря этимъ отношеніямъ и вашей постоянной заботливости о ввѣренномъ вамъ вѣдомствѣ, среднія учебныя

заведенія наши много выиграли и въ нравственномъ, и въ учебномъ отношеніи. Тѣлесныя наказанія, вредно дѣйствующія на нравственность учащихся, при произвольномъ ихъ употребленіи, почти устранены,—разумѣется, насколько это возможно при нынѣшнемъ состояніи нашего общества и нашихъ учебныхъ заведеній; преподаваніе получило болѣе раціональное направленіе; въ ученикахъ возбуждена сознательная дѣятельность, къ чему много способствовали вами учрежденныя литературныя бесѣды, въ которыхъ вы принимали такое живое участіе.

„Отъ каждаго изъ насъ вы требовали дѣла, и дѣло говорило само за себя; громкія фразы, формальное только исполненіе обязанностей, льстивыя обѣщанія и увѣренія потеряли свою силу. Протекціи утратили свое значеніе; мѣста замѣщались по конкурсамъ, слѣдовательно—людьми, способными къ педагогической дѣятельности.

„Вы не ограничивались одними требованіями и исполненіемъ этихъ требованій! Вы старались разумно вызвать въ насъ педагогическую дѣятельность собственнымъ участіемъ и готовностью содѣйствовать ей всевозможными средствами. Блестящимъ памятникомъ въ этомъ отношеніи останутся циркуляры по управленію округомъ: оффиціальный перечень служебныхъ перемѣнъ, извѣстный подъ именемъ циркуляра, вы обратили въ одно изъ лучшихъ педагогическихъ изданій въ Россіи. Въ нихъ знакомились мы съ различными мнѣніями о преподаваніи; они служили проводникомъ вашихъ честныхъ убѣжденій и просвѣщеннаго взгляда на воспитаніе. Въ двухлѣтнее ваше управленіе бібліотеки и кабинеты наши значительно увеличились, нѣкоторые изъ преподавателей гимназій получили средства къ самоусовершенствованію за границей.

„Никогда, быть можетъ, такъ усердно и такъ серьезно не работали наставники въ нашихъ гимназіяхъ и училищахъ, какъ въ эти два года: всѣ старались трудиться по мѣрѣ силъ своихъ, не изъ страха, не изъ-за ревизіи и экзаменовъ, но ради самого дѣла, изъ благоговѣйнаго уваженія къ вашему мнѣнію, которое считалось у насъ и считается голосомъ самой истины. Съ другой стороны, никогда еще не было такъ отрадно приносить свои посильные труды на общую пользу, какъ въ это время: мы освободились отъ тяжелаго гнета случайностей и фор-

мальностей, которыя грозили намъ прежде, и спокойно могли заняться тѣмъ, къ чему мы были призваны.

„Вы сдѣлали все, что могли сдѣлать для насъ въ границахъ закона и власти, вамъ предоставленной, но многого мы ожидали впереди, и это многое могло осуществиться только при васъ!

„И вотъ, когда благія начинанія ваши стали только развиваться и укрѣпляться, когда только-что занялась заря новой дѣятельной жизни для нашихъ гимназій и училищъ, мы должны разстаться съ вами...

„Намъ хотѣлось бы вѣрить, что начала, положенныя вами, будутъ имѣть благодѣтельные результаты. По крайней мѣрѣ мы, съ своей стороны, по мѣрѣ силъ и возможности, будемъ руководствоваться тѣми убѣжденіями, которыми была запечатлѣна ваша дѣятельность.

„За преуспѣяніе этихъ началъ и за ваше здоровье, Николай Ивановичъ, позвольте мнѣ отъ лица второй кievской гимназіи предложить тостъ!“

Затѣмъ раздался голосъ молодого, воспитывающагося поколѣнія. — „Лишаясь васъ, мы несемъ великую, незамѣнимую потерю, — сказалъ, между прочимъ, одинъ изъ студентовъ физико-математическаго факультета. — Намъ остается жить воспоминаніями, и повѣрьте, что эти воспоминанія будутъ лучшими минутами нашей жизни. И въ разлукѣ мысленно мы не разстанемся съ вами, и потому сказать вамъ: „прощайте!“ мы не хотимъ; мы говоримъ вамъ: „до свиданья!“

Одинъ изъ студентовъ медицинскаго факультета выразилъ живѣйшую благодарность Н. И — чу за ту пользу, какую онъ принесъ его товарищамъ-студентамъ въ чисто-научномъ отношеніи. — „Трудность доставать книги, особенно спеціально-учебныя, — говорилъ онъ, — препятствовала студентамъ, преимущественно медицинскаго факультета, слѣдить за наукою настолько, насколько это вообще возможно студентамъ. Благодаря вашей инициативѣ, эта трудность болѣе не существуетъ. Подъ вашимъ руководствомъ составились и устроились частная студенческая бібліотека и лекторія; основной фондъ первой составляютъ подаренныя вами книги. Занимающіеся наукой не стѣснены болѣе недостаткомъ книгъ, и такимъ образомъ одно изъ величай-

шихъ препятствій для научнаго образованія устранено. Для студентовъ медицинскаго факультета существовало еще другое затрудненіе: лучшія медицинскія сочиненія пишутся на иностранныхъ языкахъ, но только меньшинство студентовъ владѣетъ этими языками. По вашему совѣту, подъ вашимъ руководствомъ, студенты переводятъ теперь лучшія медицинскія сочиненія. Такимъ образомъ двѣ существенно-важныя причины застоя студентовъ въ наукѣ удалены, благодаря только вашей заботливости. Мы глубоко убѣждены, что въ стѣнахъ нашего университета, между вашими учениками, много будущихъ полезныхъ дѣятелей на поприщѣ науки“.

Послѣднимъ говорилъ одинъ изъ студентовъ историко-филологическаго факультета:

„Николай Ивановичъ! Прислушиваясь къ рѣчамъ, только что произнесеннымъ, я не могъ не замѣтить одной идеи, ихъ проникающей. Присутствующіе высказались ясно, что началомъ вашей многосторонней дѣятельности было полное уваженіе къ человѣку.

„Я недавно былъ гимназистомъ и, пользуясь случаемъ, скажу нѣсколько словъ о томъ вліяніи, какое имѣло это начало на нравственное развитіе молодого поколѣнія.

„Въ прежнее время одни начальники съ суровою строгостью требовали формальнаго уваженія къ старшимъ и вызывали въ насъ страхъ и вражду; другіе были Маниловски мягки, и тѣмъ располагали насъ къ неуваженію. Отсутствіе гуманныхъ принциповъ и взаимнаго уваженія въ обоихъ случаяхъ вело насъ къ своевольству. Вы внушили начальствующимъ, что возведеніе мелочей въ нравственную обязанность даетъ превратное понятіе о самой нравственности, что уваженіе заслуживается, а не требуется, что оно должно быть взаимно. Вы распространили въ нашихъ гимназіяхъ понятіе о законности. Я былъ въ седьмомъ классѣ, когда начались ваши преобразованія. Въ прежнее время въ высшихъ классахъ непризнанная самостоятельность мальчика проявлялась въ самыхъ уродливыхъ формахъ, и вражда къ старшимъ достигала крайнихъ предѣловъ. Когда же наше начальство стало постепенно проникаться духомъ вашего управленія, когда ученикъ въ недоразумѣніяхъ съ учителемъ сталъ надѣяться когда-нибудь выйти правымъ,

въ насъ эта вражда стала стихать. Потому-то мы не враждебно, а съ любовью вспоминаемъ наши послѣдніе школьные годы.

„Я не буду, изъ лести къ вамъ, отрицать вліянія нашихъ лучшихъ наставниковъ, но скажу смѣло, что болѣшая часть этого вліянія узаконялась и самоотверженно поддерживалась вами. И безъ вашего участія гуманная начала вошли бы, конечно, современемъ въ наши гимназіи, но входили бы неспокойно, насильственно, еще болѣе усиливая вражду къ старшимъ. Между тѣмъ какъ при вашихъ преобразованіяхъ благія послѣдствія постепенно устанавливавшихся человѣческихъ отношеній между старшими и младшими сказались рано. Еще въ седьмомъ классѣ мы стали преслѣдовать нелѣпое молодечество и удерживать нашихъ своевольныхъ товарищей, стали понимать, что начальникъ—представитель закона, а не произвола.

„Конечно, наши младшіе товарищи могли развиваться еще нормальнѣе: въ какіе-нибудь два съ половиною года вы не успѣли окончить вашего дѣла, съ корнемъ уничтожить произволъ и своеволие. Но васъ ли винить за то?.. При великомъ уваженіи къ вамъ, я рѣшусь сказать, что даже въ самыхъ обвиненіяхъ, дѣлаемыхъ вамъ непонимающими васъ, есть своя доля правды. Вы дѣйствительно были слишкомъ гуманны. Но можно только пожалѣть о томъ обществѣ, въ которомъ гуманность иногда бываетъ излишнею и производитъ рядомъ съ законной свободой хотя случайное своеволие! Развѣ слѣдуетъ бояться эманципаціи крестьянъ изъ-за того только, что иными она можетъ быть ложно понята? И еще вопросъ: чтѣ виновато въ этомъ непониманіи: эманципація или закрѣпленіе?

„И все-таки въ ваше управленіе не было такихъ взрывовъ своеволія, какіе помнитъ каждый помнящій свои прежніе школьные годы. И все-таки, если вообще здѣшнее юношество теперь ранѣе прежняго сознало, что понятіе о свободѣ необходимо соединяется съ уваженіемъ къ себѣ и другимъ, то оно сознало это именно подъ вліяніемъ нравственного порядка, установленнаго вами въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ.

„А потому, господа, позвольте мнѣ отъ лица моихъ товарищей предложить тостъ за людей, разумно воспользовавшихся свободой въ гимназіи и въ университетѣ, за будущихъ серьезныхъ гражданъ нашего отечества, за человѣка, которому они

обязаны началомъ нормальнаго воспитанія, за Николая Ивановича Пирогова!“

Затѣмъ къ Н. И. обратился смотритель еврейскаго училища Н. Н. Горенбергъ:

„Николай Ивановичъ! Бердичевское образованное общество евреевъ и учителей прислало меня уполномоченнымъ, чтобы сказать вамъ на этомъ прощальномъ обѣдѣ нѣсколько словъ отъ ихъ имени. Извѣстно, какое шаткое основаніе положено было вновь устреннымъ въ 1848 г. спеціально еврейскимъ училищамъ для образованія евреевъ въ Россіи: организація дана имъ была весьма слабая; въ смотрители училищъ назначены были люди, по большей части оказавшіеся лишними для христіанскихъ заведеній; для воспитанниковъ и еврейскихъ учителей не дано ни правъ, ни преимуществъ. Слѣдствіемъ такого устройства еврейскихъ училищъ было то, что съ самаго же начала между училищемъ и обществомъ образовалась преграда: на сторонѣ училища обнаружилось равнодушіе, даже пренебреженіе, на сторонѣ общества—недовѣріе и жалобы; но причина этихъ жалобъ можетъ быть понятна только для того, кто смотритъ на человѣка съ такой человѣчной точки зрѣнія, какъ вы. Сколько намъ извѣстно, вы первый въ здѣшнемъ краѣ рѣшили возвысить свой справедливый голосъ въ защиту загнаннаго еврейскаго племени. Какъ человѣкъ, стоящій выше всякихъ предразсудковъ, вы собственнымъ гуманнымъ примѣромъ больше имѣли вліянія на своихъ подчиненныхъ, чѣмъ всѣ ваши предшественники своими строгими формальными предписаніями. Сила этого личнаго вліянія была такъ велика, что даже люди прежняго порядка нѣхотя поддавались ей и измѣнялись. Это устраняло отъ васъ непріятность удалять ихъ. Какъ попечитель, вы справедливо считали еврейскія училища если не самою важною, то, по крайней мѣрѣ, самою больною частью своего округа. Какъ медикъ, привыкшій сочувствовать страданію человѣчества, вы подавали руку помощи образованной партіи евреевъ, и тѣмъ поддерживали ихъ энергію въ неровной борьбѣ какъ съ фанатизмомъ своихъ отсталыхъ единовѣрцевъ, такъ и съ предразсудками отсталыхъ христіанъ. Евреи все это чувствуютъ и сознаютъ. Они понимаютъ, что вы все это дѣлали не для выставки, а для самого

дѣла, не только по долгу, но и по убѣжденію. Зато, не преувеличивая можно сказать, что всѣ образованные евреи въ Россіи и многіе за границею съ благоговѣніемъ произносятъ ваше имя, и этотъ, такъ сказать, нравственный памятникъ народной признательности переживетъ всякій матеріальный. Николай Ивановичъ! Образованная партія евреевъ съ большою скорбью услышала вѣсть о томъ, что вы разлучаетесь съ нами: если христіане потеряли много, то евреи потеряли весьма и весьма много. Въ несчастіи люди мнительны, а потому евреи теперь считаютъ свое дѣло задержаннымъ, если не болѣе... Будущее направленіе нашего округа покажетъ, насколько справедливо ихъ предчувствіе. Дай Богъ, чтобъ оно ихъ обмануло! Впрочемъ, что бы ни было, евреи надѣются, что вы, Николай Ивановичъ, гдѣ бы вы ни были, не перестанете возвышать въ пользу справедливаго еврейскаго вопроса голосъ болѣе сильный, чѣмъ голосъ попечителя,—голосъ Пирогова. Николай Ивановичъ! Бердичевское общество не только евреевъ, но и христіанъ — не прощается еще съ вами; оно надѣется, что будетъ имѣть честь проститься съ вами у себя, въ Бердичевѣ.

„Васъ, господа, какъ представителей образованія въ здѣшнемъ краѣ, васъ евреи просятъ поблагодарить вмѣстѣ съ ними Николая Ивановича за все то, что онъ сдѣлалъ для нихъ, какъ попечитель и человѣкъ; но еще больше за то, что онъ хотѣлъ сдѣлать... Господа! образованные евреи предлагаютъ тостъ за здоровье всѣхъ гуманныхъ христіанъ вообще и за совершеннѣйшаго ихъ представителя Пирогова!“

Подали свой голосъ и воскресныя школы; первая идея ихъ была энергически поддержана Н. И.—чемъ, который ближе всего принималъ къ сердцу интересы простого народа и почиталъ образованіе его самою насущною необходимостью для осуществленія великой реформы Освободителя. Завѣдывающій подольскою воскресною школою, штатный смотритель кіево-подольскаго дворянскаго училища, И. И. Слѣпушкинъ, сказалъ:

„Позвольте мнѣ не обойти молчаніемъ факта, опущеннаго въ рѣчахъ предшествовавшихъ, и которому, можетъ быть, суждено занять видное мѣсто въ исторіи нашего народнаго образованія. Я разумѣю воскресныя школы.

„Первыя школы, какъ извѣстно, открылись въ Кіевѣ, въ ваше управленіе. Здѣсь онѣ развились, упрочились и отсюда уже, быстро размножаясь, распространились по всей Россіи. Если первая мысль этого богатаго надеждами дѣла и не принадлежитъ вамъ, Николай Ивановичъ; если съ первыми школами связано имя человѣка, еще живущаго въ памяти университета, то во всякомъ случаѣ, смѣло скажу, безъ вашего ободряющаго содѣйствія, безъ вашей дѣятельной инициативы, эта мысль еще долго и долго не могла бы осуществиться.

„Конечно, теперь, когда дѣло воскресныхъ школъ уже упрочено, легко думать, что оно могло бы совершиться безъ препятствій. Но мы еще живо помнимъ, какимъ общимъ недовѣріемъ были онѣ встрѣчены. И потому не можемъ забыть, что вы первый упрочили положеніе ихъ въ Кіевѣ, а можетъ быть, нашъ примѣръ облегчилъ появленіе ихъ въ другихъ мѣстахъ.

„Говорить о значеніи воскресныхъ школъ для образованія народа я считаю и преждевременнымъ, и лишнимъ. Врядъ-ли кто будетъ сомнѣваться теперь, что это дѣло великой, огромной важности. Напомнивъ о нихъ, я хотѣлъ только заявить, что всякая добрая мысль, всякое истинно-полезное начинаніе встрѣчало въ васъ всегда горячую поддержку и ободреніе.

„Не мудрено, если, при разставаньи съ вами, въ общемъ тонѣ рѣчей, сказанныхъ сегодня, выразилось такъ много скорбнаго. Въ этой скорби всего менѣе можно видѣть личное чувство. Я не хочу сказать, что оно не сильно къ вамъ; но все личное должно смолкнуть теперь предъ общественной потерей. А въ вашемъ лицѣ, Николай Ивановичъ, общество теряетъ много, неизмѣримо много!

„Всегда и повсюду являются люди, на долю которыхъ выпадаетъ рѣдкое счастье—быть выразителями лучшихъ стремленій времени. На нихъ покоятся надежды тѣхъ, которые желаютъ истиннаго блага странѣ своей и правдиво понимаютъ это благо. Они—неподкупные вожатые, ободряющіе на честномъ пути другихъ; и благо тамъ, гдѣ умѣютъ ихъ цѣнить!

„Въ васъ, Николай Ивановичъ, мы,—да и не только мы,—привыкли видѣть такого вожатая.

„Вотъ почему собрались мы сегодня, печальные, глубоко потрясенные!..

„Потеря наша—не въ безпримѣрномъ начальникѣ, даже не въ высоко-нравственномъ человѣкѣ... мы проигрываемъ болѣе, —да и не одни мы: вся просвѣщенная и мыслящая Россія понимаетъ смыслъ и значеніе вашей дѣятельности!

„Разставаясь съ вами, мы выносимъ только одно высокое, но печальное утѣшеніе—что во всякомъ обществѣ остаются люди, ни для чего и ни для кого не жертвующіе своими убѣжденіями!

„Позвольте же, мм. гг., предложить тостъ за этихъ людей и, слѣдовательно, за Пирогова!“

О христіанской дѣятельности Пирогова произнесъ духовникъ его, законоучитель первой гимназіи, священникъ В. П. Каменскій, слѣдующія замѣчательныя слова:

„Николай Ивановичъ! Много, хотя еще далеко не все, сказано о просвѣщенной дѣятельности вашей во славу науки, на пользу человѣчеству, къ чести вашего имени; но ничего еще не сказано о самой лучшей сторонѣ жизни вашей, о самой свѣтлой чертѣ духа вашего, блестящей въ васъ не менѣе, какъ и многосторонняя образованность ваша:—не сказано ничего о васъ, какъ о христіанинѣ, не сказано о вѣрѣ вашей! Журнальное эхо, безъ сомнѣнія, повторитъ эти возгласы любящихъ васъ сердецъ,—и жалко, если съ такимъ же пропускомъ!... Находясь въ нѣкоторомъ особенномъ къ вамъ отношеніи, я неизвинительно для себя опущеніемъ считаю умолчать объ этомъ, и, будучи довѣреннымъ отъ васъ свидѣтелемъ совѣсти вашей, не обинуясь, могу свидѣтельствовать о вѣрѣ вашей и гласно сказать о васъ, какъ о христіанинѣ, то, что сказано нѣкогда о Наанаилъ: „се во истину израильтянинъ, въ немъ же лести нѣтъ!“ Да, вашъ умъ—въ послушаніи вѣрѣ; ваша мудрость не по преданію человѣческому или по стихіямъ міра, а по Христѣ. Естественная религія, одинокая въ людяхъ, богатыхъ вѣдѣніемъ естественнымъ, въ васъ оживлена и утверждена религіею откровенною; истина, почерпнутая изъ источника человѣческой науки, озарена свѣтомъ истины евангельской; та и другая мирно обитаютъ въ васъ, поддерживая другъ друга, гдѣ нужно: вы ясно показали

въ себѣ, что наука мирно можетъ жить съ вѣрою! Неоднократно я имѣлъ случай быть свидѣтелемъ чисто христіанскаго выраженія вами отношеній вашихъ къ Богу и ближнему и вашего благочестія дома и въ церкви, куда вы любили ходить никѣмъ не замѣчены, и молились втайнѣ — по-евангельски. Не видали васъ на балахъ и шумныхъ вечерахъ, — и, безъ сомнѣнія, потому, что вы не хотѣли видѣть въ превратномъ видѣ отношеній людскихъ и опасались исказить свои чисто-христіанскія отношенія къ людямъ, жалѣли, можетъ быть, разсѣвать думы свои, посвященные на болѣе существенныя ваши обязанности; не отворялись двери дома вашего для подобныхъ собраний, — зато всегда были открыты для страждущихъ, нуждающихся въ васъ, — особенно для мѣншей братіи. Въ притворахъ дома вашего, какъ нѣкогда въ притворахъ іерусалимской овчей купели, слезаше множество болящихъ, слѣпыхъ, хромыхъ, сухихъ, чающихъ отъ васъ облегченія въ недугахъ своихъ, — и вы всѣмъ человѣколюбно помогали.

„Такія истинно христіанскія доблести ваши высоко оцѣнить и щедро наградить самъ Господь; съ нашей стороны достойнымъ привѣтствіемъ имъ будетъ искреннее желаніе добраго вамъ здоровья, а съ моей, сверхъ того, молитва къ Богу, которую и буду возносить до конца моей жизни, которая настоящимъ продолженіемъ своимъ обязана, послѣ милосердія Божія, вниманію вашему.

„Пожелаемъ же, господа, добраго здоровья боголюбивому и человѣколюбивому Николаю Ивановичу Пирогову!“

Наконецъ, резюмировать все выраженное въ предыдущихъ рѣчахъ досталось на долю профессора исторіи Шульгина. Вотъ слова его:

„Въ послѣднее время такъ размножились торжественныя обѣды по случаю, такъ часто раздаются на нихъ рѣчи, въ которыхъ ораторы не столько заботятся выставить заслуги того, о комъ говорятъ, сколько воздвигаютъ памятники собственному краснорѣчію, что, право, становится подчасъ совѣстно и ѣсть, и пить, и говорить въ честь личности, истинно и высоко цѣнимою и уважаемой. Но что-жъ дѣлать, когда въ настоящее время это — единственное средство заявить свое мнѣніе о человѣкѣ противъ превратныхъ толковъ.

„И потому неудивительно, что сегодня столь многіе и такъ много говорили, да и я еще говорить хочу о человѣкѣ, который нынѣ съ нами разлучается. Я увѣренъ, впрочемъ, что всѣ изъ говорящихъ сегодня согласились бы наложить на себя обѣтъ долгаго молчанія, лишь бы можно было еще долго трудиться и мыслить вмѣстѣ съ этимъ человѣкомъ, слушать одну его вдохновительную рѣчь, почерпать въ его словѣ, въ его примѣрѣ силы для безмолвнаго труженичества на пользу общую.

„Въ моихъ словахъ будетъ наглядный сводъ того, о чемъ говорили подробно мои предшественники и о чемъ гораздо подробнѣе и краснорѣчивѣе говорятъ сами дѣла ваши.

„Вотъ дѣла эти:

„1) Конкурсный порядокъ замѣщенія каедръ въ университетѣ и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ округа; 2) первый осуществленный планъ педагогической семинаріи, который легъ въ основу нынѣшнихъ педагогическихъ курсовъ; 3) специализація отдѣловъ историко-филологическаго факультета на историческій, классической филологіи и славянорусской филологіи; 4) правила о судѣ надъ студентами; 5) устройство студенческой библіотеки и лекторіи и снабженіе первой пожертвованіемъ собственныхъ его книгъ; 6) возвышеніе значенія педагогическихъ совѣтовъ; 7) преобразование окружного циркуляра въ замѣчательное педагогическое изданіе; 8) правила о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ; 9) совершенное преобразование гимназическихъ испытаній; 10) литературныя бесѣды учениковъ; 11) воскресныя школы; 12) возвышеніе еврейскихъ учебныхъ заведеній.

„Довольно, кажется, совершенно въ 2^{1/2} года для того, чтобы свидѣтельствовать о вашей неутомимой дѣятельности даже передъ тѣми, которые имѣютъ не слишкомъ зоркіе глаза, чтобы видѣть! Надо при этомъ замѣтить, что и передовые люди подчинены тому же закону, какъ и не-передовые: подъ вліяніемъ окружающей дѣйствительности, они не все то могутъ совершить, что желали бы совершить и что способны совершить.

„Но не въ видимой ломкѣ стараго и не въ видимой постройкѣ новаго, не въ кипахъ бумаги, исписанной правилами и постановленіями, заключается тайна вліянія передовыхъ людей. Она заключается въ томъ живительномъ духѣ, которымъ избран-

ныя личности воодушевляють и лица, и учрежденія, отъ нихъ зависящія. Всѣмъ намъ извѣстно, что первый вопросъ, какой ставилъ Н. И. при имени каждой науки, былъ вопросъ о томъ, какую образовательную силу имѣетъ эта наука, и какъ приложить эту образовательную силу къ дѣлу. Всѣмъ намъ извѣстно, что при каждомъ удобномъ случаѣ, всѣми средствами, какими располагалъ онъ, старался Н. И. вызвать въ самодѣятельности и непочатыя, свѣжія силы младшаго, и, быть можетъ, уже усталыя силы старшаго поколѣнія. Въ этихъ двухъ началахъ—великая заслуга Пирогова, въ нихъ—жизненный первъ образованія вообще и гуманнаго образованія въ особенности.

„Но гдѣ же слѣды этой дѣятельности, этого великаго вліянія?—спросятъ, быть можетъ, люди, которымъ духовное явленіе видно только тогда, когда на него пальцемъ ткнешь...

„А хоть бы въ словахъ этого студента, недавно гимназиста, такъ разумно сознающаго отношеніе ученика къ наставнику и обществу и такъ благородно признающаго, кому онъ этимъ сознаніемъ обязанъ...

„А развѣ не указываетъ на вліяніе Пирогова еврей, предлагающій пособіе бѣднымъ студентамъ—евреямъ и христіанамъ безъ различія?..

„А этотъ, наконецъ, представитель евреевъ, только-что провозгласившій отъ ихъ имени тостъ за образованныхъ христіанъ, имѣющихъ такого представителя челоувѣчности въ Пироговѣ?..

„Кстати о челоувѣчности. Вы украшены титуломъ превосходительства, Николай Ивановичъ! Рѣдко кто изъ насъ называлъ васъ этимъ титуломъ. А между тѣмъ, никогда не величая васъ превосходительствомъ, я теперь, на прощаньи, громко и смѣло скажу, что другого титула вамъ нѣтъ и быть не можетъ. „Онъ былъ великій король!“—говоритъ у Шекспира Гораціо про отца Гамлетова. „Человѣкъ онъ былъ изъ всѣхъ людей, какихъ намъ доводилось видѣть!“—отвѣчаетъ ему Гамлетъ. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ вы—превосходительство: вы превосходите, какъ человѣкъ, многихъ и многихъ людей у насъ на Руси, гдѣ еще съ Діогеновымъ фонаремъ среди бѣла дня нужно искать челоувѣка. Имѣя честь быть членомъ факультета, кругъ

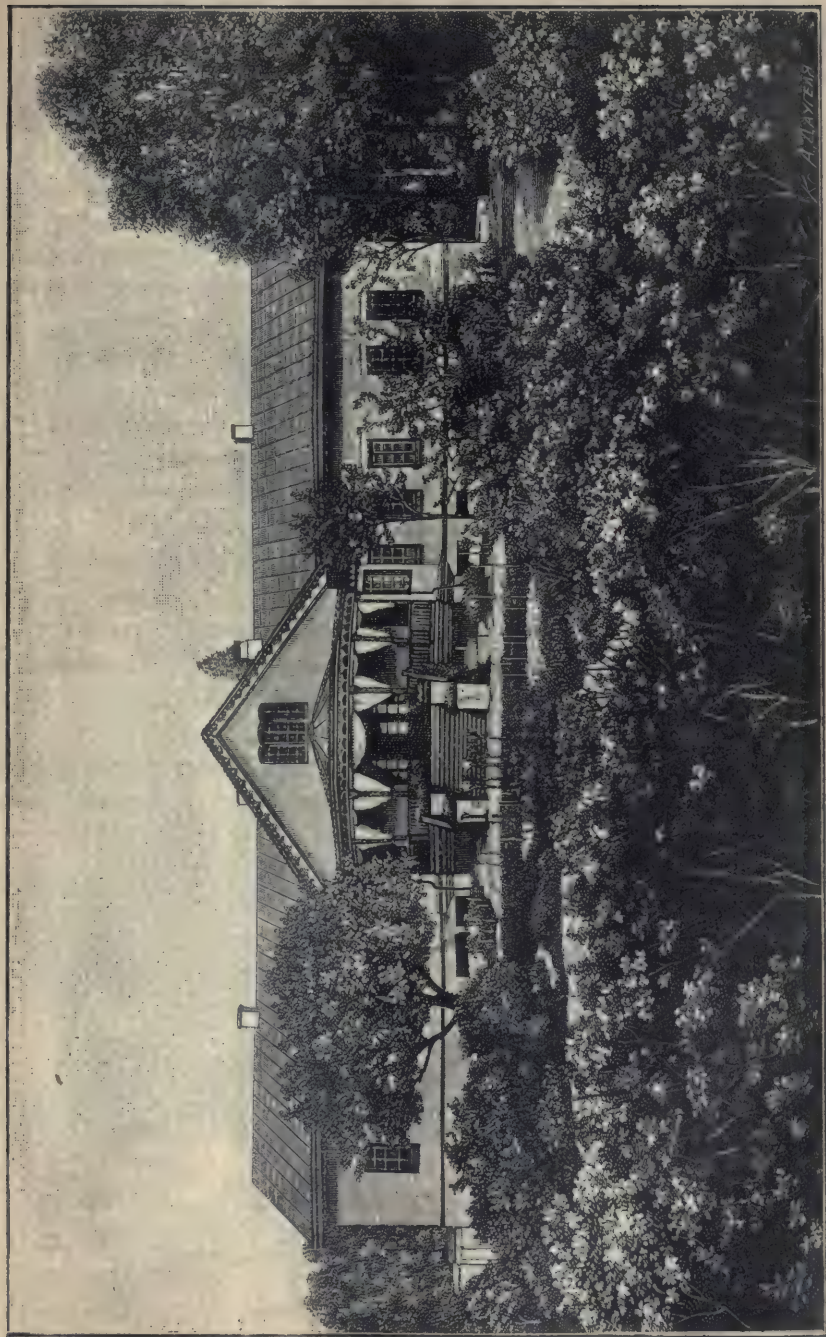
наукъ котораго носить по преимуществу названіе человѣчныхъ (humaniora), я почитаю долгомъ заявить, что великій медикъ являлся въ отношеніи къ гуманному факультету вполне гуманнымъ человѣкомъ.

„Но пора намъ разстаться... Вамъ—чтобы вдали отъ насъ наслаждаться благороднымъ сознаніемъ исполненнаго долга и продолжать тѣ благіе труды, которые вы развѣ съ послѣднимъ вздохомъ прекратите. Намъ—для того, чтобы грустить и сожалѣть... о комъ? да хоть о самихъ себѣ сожалѣть...

„Отецъ и учитель! завѣщай мнѣ только духъ твой!“ — говорилъ сынъ умирающему Гердеру, отрицаясь отъ всякаго другого наслѣдства. Съ тою же просьбою обращаемся и мы къ вамъ, Н. И. Оставьте намъ духъ вашъ, ваши стремленія, вашу высокую человѣчную и гражданскую доблесть, непреклонно устоявшую среди всѣхъ препятствій.

„Господа! Вотъ мой тостъ: да живетъ долго и долго между нами духъ отходящаго нынѣ отъ насъ превосходнаго человѣка! Да вдохновляетъ онъ на трудъ и наше поколѣніе, — поколѣніе людей, пролагающихъ дорогу, и молодое поколѣніе, которое пойдетъ по проложенному пути къ рѣшенію великихъ жизненныхъ вопросовъ, заданныхъ настоящимъ царствованіемъ! Счастливы мы будемъ, Н. И., если сыновья ваши, когда судьба приведетъ ихъ въ нашъ университетъ, увидятъ, что въ немъ живъ духъ отца ихъ!“¹⁾

¹⁾ Ответъ на всѣ эти рѣчи со стороны Н. И. Пирогова—см. выше, стр. 431.



Домъ, въ которомъ жилъ Н. И. Пироговъ.



Старая деревянная церковь, въ которой находился прахъ
Н. И. Пирогова до перенесенія его въ склепъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

ПОРТРЕТЪ Н. И. ПИРОГОВА, НАЧАЛА 60-ХЪ ГОДОВЪ.

	СТРАН.
1. Вопросы жизни. Отрывокъ изъ забытыхъ бумагъ.	3
2. Новоселье лица въ Одессѣ.	46
3. Одесская талмудъ-тора.	54
4. Быть и казаться.	66
5. Нужно ли съѣздить дѣтей?	76
6. Чего мы желаемъ?	83
7. Университетскій вопросъ.	128
8. О воскресныхъ школахъ.	219
9. По поводу занятій русскихъ ученыхъ за границей.	230
10. О предметахъ сужденій и преній педагогическихъ совѣтовъ и гимназій.	271
11. Школа и жизнь.	280
12. О цѣли литературныхъ бесѣдъ въ гимназіяхъ.	296
13. Замѣчанія на отчеты морскихъ учебныхъ заведеній.	300
14. Мысли и замѣчанія о проектѣ устава училищъ министерства народнаго просвѣщенія.	313
15. Отчетъ о слѣдствіяхъ введенія по кievскому учебному округу правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій.	345
16. Объ уставѣ новой гимназій, предполагаемой проектомъ преобразованія морскихъ учебныхъ заведеній.	392
17. Взглядъ на общій уставъ нашихъ университетовъ.	410
18. Рѣчи, сказанныя Н. И. Пироговымъ.	431
19. Изъ подольской губерніи. Разговоръ мирового посредника о крестьянскомъ дѣлѣ съ любопытнымъ и недовольнымъ, съ примѣчаніемъ редакціи газеты „День“.	441

20. Изъ циркуляровъ Н. И. Пирогова по управленію кievскимъ учеб-
нымъ округомъ. 465
21. Письмо Н. И. Пирогова къ баронессѣ Э. О. Раденъ 496

Приложение.—Прощаніе кievскаго учебнаго округа съ Н. И.
Пировымъ. 529—552

Рисунки: 1) Домъ, въ которомъ жилъ Н. И. Пировъ;
2) Старая деревенская церковь, въ которой находился
прахъ Н. И. Пирогова до перенесенія его въ склепъ.



Николай Ивановичъ

Лироговъ.



Нуров

Виктор
1869 Июль 25

СОЧИНЕНІЯ

Н. И. ПИРОГОВА.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Съ портретомъ и факсимиле автора и тремя рисунками:

- 1) Комната, гдѣ скончался Н. И. Пироговъ; 2) Н. И. Пироговъ на смертномъ одрѣ; 3) Церковь надъ склепомъ.
-

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1900.



2831

Въ составъ настоящаго собранія сочиненій Николая Ивановича Пирогова входятъ только тѣ изъ нихъ, которыя имѣють, по преимуществу, общественное значеніе и представляютъ всеобщій интересъ.

Второй томъ занятъ весь „Дневникомъ стараго врача, писаннымъ—по словамъ покойнаго автора—исключительно для самого себя, но не безъ задней мысли, что, можетъ быть, когда-нибудь прочтетъ и кто другой“. Можно думать, что этотъ послѣдній трудъ покойнаго въ его мысляхъ связывался съ однимъ изъ первыхъ его общественно-литературныхъ произведеній конца 50-хъ годовъ, таже какъ онъ своему „Дневнику“ далъ еще другое заглавіе, подъ которымъ онъ, лѣтъ за двадцать передъ тѣмъ, писалъ свои философскіе этюды, а именно, „Вопросы жизни“. Но въ „Дневникѣ врача“, сверхъ тѣхъ философскихъ и общественныхъ, значительная его часть посвящена автобіографіи и соприкасавшейся съ нею исторіи времени автора. Дневникъ веденъ въ самые послѣдніе годы жизни—отъ 5-го ноября 1879 г. до 22-го октября 1881 г.;—послѣднія страницы, писанныя

почти наканунѣ смерти, носятъ въ рукописи всѣ признаки тѣхъ предсмертныхъ страданій, которыми заключилась тяжкая болѣзнь Николая Ивановича: строчки идутъ неровно, слова не всегда дописаны, и мѣстами рукопись разбирается съ трудомъ. Относясь, по описываемому въ немъ времени, ко всей эпохѣ жизни автора, дневникъ начинается потому воспоминаніями о его дѣтствѣ и школѣ, въ 20-хъ годахъ нынѣшняго вѣка, и заключается началомъ сороковыхъ годовъ, когда только-что открылась дѣятельность Николая Ивановича въ Петербургѣ; послѣдняя фраза дневника осталась даже недописанною.

Въ 1884 г. копія „Дневника“, вмѣстѣ съ подлинникомъ, была доставлена вдовою, Александрой Антоновой Пироговой, и сыновьями покойнаго въ редакцію „Русской Старины“, гдѣ и была напечатана въ первый разъ съ нѣкоторыми выпусками, указанными издателемъ журнала. Настоящее изданіе сдѣлано по печатному тексту, но при этомъ былъ принятъ въ соображеніе и оригиналъ, влѣдствіе чего „Дневникъ“ снова получилъ ту внѣшнюю форму,

какую онъ имѣлъ въ рукописи, а именно, онъ не дѣлится ни на части, ни на главы, какъ то было сдѣлано редакціею въ журнальномъ изданіи, и въ отношеніи содержанія нѣсколько дополненъ. Изъ того же журнальнаго изданія заимствованъ одинъ изъ портретовъ Николая Ивановича и два вида, помѣщаемые во второмъ томѣ.



ВОПРОСЫ ЖИЗНИ

ДНЕВНИКЪ СТАРАГО ВРАЧА,

писанный исключительно для самого себя, но не безъ задней мысли,
что, можетъ быть, когда-нибудь прочтеть и кто другой.

5 НОЯБРЯ 1879 — 22 ОКТЯБРЯ 1881.

5 ноября 1879.

Отчего такъ мало автобіографій? Отчего къ нимъ недо-
вѣріе?—Вѣрно, всѣ согласятся со мною, что нѣтъ предмета
болѣе достойнаго вниманія, какъ знакомство съ внутреннимъ
бытомъ каждаго мыслящаго человѣка, даже и ничѣмъ не от-
личавшагося на общественномъ поприщѣ.

Какой глубокой интересъ заключается для каждаго изъ насъ
въ сравненіи собственнаго міровоззрѣнія съ взглядами, руково-
дившими другого, намъ подобнаго, на пути жизни. Этого, ко-
нечно, никто и не отвергаетъ; но издавна принято узнавать о
другихъ чрезъ другихъ. Вѣрится болѣе тому, чтѣ говорятъ о
какой-либо личности другіе или ея собственныя дѣйствія. И
это юридически вѣрно. Для обнаруженія юридической, т.-е.
внѣшней, правды—и нѣтъ иного средства. И современный
врачъ при діагнозѣ руководствуется не разказами больного, а
объективными признаками, тѣмъ, чтѣ самъ видитъ, слышитъ и
осязаетъ.

Да кромѣ недовѣрія къ автобіографіямъ, есть, я думаю, и
другія причины, почему онѣ мало въ ходу. Мало охотниковъ
писать свои автобіографіи. Однимъ цѣлую жизнь некогда; дру-
гимъ вовсе не интересно, а иногда и зазорно оглядѣться на
свою жизнь, не хочется вспомнить прошлаго; иные—и изъ са-
мыхъ мыслящихъ—полагаютъ, что, послѣ изданныхъ ими тво-
реній, имъ писать о себѣ болѣе не нужно; есть и такіе, ко-
торымъ дѣйствительно писать о себѣ нечего: все будетъ пе-
редано другими; наконецъ, многихъ удерживаетъ страхъ и раз-
наго рода соображенія. Разумѣется, въ наше скептическое
время довѣріе къ открытой исповѣди еще болѣе утратилось,
чѣмъ во времена Ж.-Ж. Руссо. Съ недовѣрчивою улыбкою
читаются теперь его смѣлыя слова (которыми я нѣкогда вос-

хищался): „Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, devant le Souverain-Juge, et je dirai: voilà ce que je fais, ce que je fus, ce que je pensais“. Но автобіографія въ наше время и нѣтъ надобности быть исповѣдью предъ Верховнымъ Судьею; а Ему, Всевѣдущему, нѣтъ надобности въ нашей исповѣди. Современная автобіографія не должна быть однако же чѣмъ-то въ родѣ юридическаго акта, писаннаго въ защиту или обвиненіе самого себя предъ судомъ общественнымъ. Не одна внѣшняя правда, а раскрытіе правды внутренней предъ самимъ собою—и вовсе не съ цѣлью оправдать или осудить себя—должно быть назначеніемъ автобіографіи мыслящаго человѣка. Онъ не посторонняго читателя, а прежде всего—собственное сознаніе долженъ ознакомить съ самимъ собою; это значитъ,—автобіографъ долженъ уяснить себѣ разборкомъ своихъ дѣйствій ихъ мотивы и цѣли, иногда глубоко скрываемые въ тайникѣ души и долго непонятные не только для другихъ, но и для самого себя.

Но вотъ вопросъ: можетъ ли автобіографъ говорить правду о своихъ, для него прошлыхъ, мотивахъ? Можетъ ли онъ справедливо оцѣнить, что руководило нѣкогда его дѣйствіями? Можетъ ли онъ навѣрное сказать, что его міровоззрѣніе было именно такое, какъ онъ пишетъ, а не другое, въ данную минуту его бытія?

Я полагаю, что эти вопросы рѣшаются различно, смотря по характеру, способностямъ и вообще смотря по индивидуальности писателя. Для увѣреннаго въ себѣ безъ тщеславія существуетъ и непоколебимая увѣренность, что именно такое, какъ онъ пишетъ, а не иное было его воззрѣніе, когда онъ совершалъ то или другое дѣло. Если же я самъ увѣренъ, что онъ говоритъ правду безъ притворства, то больше отъ человѣка нельзя и требовать. Неужели же тотъ, кто хочетъ знать мотивы моихъ дѣйствій и мое міровоззрѣніе того времени, когда я дѣйствовалъ, повѣритъ болѣе другимъ или самому себѣ, нежели мнѣ? Онъ, или кто другой, можетъ судить о внутреннемъ механизмѣ моихъ дѣлъ только по этимъ же самымъ дѣламъ или по свидѣтельствамъ постороннихъ мнѣ лицъ; а сужденія по нашимъ дѣламъ и постороннимъ свидѣтельствамъ о скры-

томъ внутреннемъ механизмѣ дѣлъ требуютъ извѣстной соотвѣтственности и не признаютъ противорѣчій, хотя всякій изъ насъ знаетъ по опыту, что наши дѣйствія зачастую противорѣчатъ нашимъ собственнымъ міровоззрѣніямъ, вѣрованіямъ и убѣжденіямъ. Весьма часто также случается, что наши грандіозныя дѣла вызываются на свѣтъ весьма слабыми мотивами, и наоборотъ; поэтому и соотвѣтственность не можетъ еще быть порукою за внутреннюю правду.

Критическій анализъ собственныхъ дѣйствій и ихъ мотивовъ, столь трудный для насъ самихъ, неужели доступнѣе для другихъ, вовсе незнакомыхъ съ нашимъ внутреннимъ бытомъ?

Правда, иногда посторонній намъ сердцеѣдъ вѣрнѣе насъ самихъ можетъ угадать, почему мы въ данномъ случаѣ поступили такъ или иначе; правда, что мы не судимъ самимъ себѣ; но открыть невѣдомый для насъ самихъ мотивъ нашего дѣйствія можно только въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, когда мы сами скрытничаемъ или притворяемся предъ нашимъ собственнымъ я; во-вторыхъ, когда мы сдѣлали что-либо въ минуту забвенія или увлеченія, не справившись, что дѣлалось въ эту минуту внутри насъ, не заглянувъ въ себя. Если же принципъ: никто не можетъ быть собственнымъ судьей—и вѣренъ, то онъ относится только до правды внѣшней,—юридической; судебный слѣдователь и прокуроръ, конечно, могутъ изобличить притворщика и лгуна легче, чѣмъ это сдѣлалъ бы онъ самъ. Но для внутренней правды нѣтъ другихъ болѣе вѣрныхъ и компетентныхъ судей, чѣмъ мы сами, когда мы не притворщики и не лгуны. Все, слѣдовательно, сводится на то, кто такой тотъ, кто обнаруживаетъ свой внутренній бытъ; сужденіе объ этомъ, по малой мѣрѣ, такъ же трудно, какъ и сужденіе о постороннихъ лицахъ, взявшихъ на себя обязанность обнаружить внутреннюю сторону какого-либо дѣятеля. Даже и тогда, если онъ завѣдомо былъ иногда лгуномъ и притворщикомъ, еще не доказано, что онъ былъ всегда такимъ. Есть случаи въ нашей богатой противорѣчіями жизни, что именно лгунъ и притворщикъ, въ извѣстные моменты бытія, дѣлается болѣе способнымъ сказать о себѣ слово правды, чѣмъ другіе, знавшіе его только извнѣ. Въ этомъ не болѣе противорѣчія, какъ и въ томъ, что подлець иногда способенъ бываетъ на честнѣйшее

дѣло, а честнѣйшій человѣкъ дѣлаетъ иногда крупную подлость.

Для кого и для чего пишу я все это?

По совѣсти—въ эту минуту только для самого себя, изъ какой-то внутренней потребности, хотя и безъ намѣренія скрывать то, что пишу, отъ другихъ. Пришедъ на мысль писать о себѣ для себя и рѣшившись не издавать въ свѣтъ о себѣ ничего при моей жизни, я не прочь, чтобы мои записки обо мнѣ читались, когда меня не будетъ на свѣтѣ, и другими. Это—говорю положа руку на сердце—вовсе не потому, чтобы я боялся при жизни быть критикованнымъ, осмѣяннымъ или вовсе нечитаннымъ. Хотя я не мало самолюбивъ и небезразлично отношусь къ похвалѣ, но самое самолюбіе все-таки болѣе внутреннее, чѣмъ внѣшнее. Притомъ я—эгоистическій самоѣдъ, и потому опасаюсь самого себя, чтобы описаніе моего внутреннего быта во всеуслышаніе не было принято мною самимъ за тщеславіе, желаніе рисоваться и оригинальничать, а все это, въ свою очередь, не повредило бы внутренней правдѣ, которую я желалъ бы сохранить въ наичистѣйшемъ видѣ въ моихъ запискахъ. Я, какъ самоѣдъ, знаю однако же, что нельзя быть совершенно откровеннымъ съ самимъ собою, даже когда живешь въ себѣ, такъ-сказать, на-распашку. Иногда, ни съ того ни съ сего, приходятъ мысли до того низкія и подлыя, что при первомъ своемъ появленіи изъ тайника души невольно бросаютъ въ краску,—иногда даже чувствуешь, какъ будто эти мысли не твои, а другого—самаго низкаго существа, живущаго въ тебѣ. Апостолъ Павелъ уже давно замѣтилъ, что не хочешь дѣлать зло, а дѣлаешь его нѣхотя. Великая правда! И еще чаще замѣчаемъ это на мысли: не хочешь мыслить мерзко, а мыслишь,—и бѣда, если въ началѣ не убережешься, не подѣлтишь самого себя и въ пору не остановишься.

Итакъ, я, какъ и другіе, не могу, при всемъ желаніи, выворотить свой внутренній бытъ наружу предъ собою, сдѣлать это начисто, ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ. Въ прошедшемъ я, конечно, не могу предъ собою поручиться, что мое міровоззрѣніе въ такое-то время было именно то самое, какимъ оно мнѣ кажется теперь. Въ настоящемъ—не могу ручаться, чтобы мнѣ удалось схватить главную черту, главную

суть моего настоящаго міровоззрѣнія. Это дѣло не легкое. Надо прослѣдить красную нить чрезъ путаницу переплетенныхъ между собою сомнѣній и противорѣчій, возникающихъ всякій разъ, какъ только захочешь сдѣлать для себя руководную нить болѣе ясною.

И вотъ я, для самого себя и съ самимъ собою, хочу раз-смотреть мою жизнь, подвести итоги моимъ стремленіямъ и міровоззрѣніямъ (во множественномъ, — ихъ было нѣсколько) и разобрать мотивы моихъ дѣйствій. Стой, однако же! на первыхъ же порахъ! Не притворяю ли съ самимъ собою? Точно ли хочу писать только для себя? Если я и рѣшилъ, чтобы писанное о себѣ осталось при моей жизни необнародованнымъ, то развѣ я не желалъ бы, чтобы оно прочиталось когда-нибудь и другими, хоть бы, напримѣръ, моими дѣтьми и знакомыми? Жена же, вѣрно, уже прочтетъ. Если же я этого не хочу, то, значить, все-таки даю себѣ поводъ, хотя предъ самыми близкими людьми, да все-таки порисоваться и что-нибудь скрыть или поддурманить. Самоѣду это сейчасъ же приходитъ на мысль. И это хорошо, что приходитъ на мысль. Какъ только это имѣется въ виду, то есть надежда и на достаточное противодѣйствіе. Вѣдь самоѣдство не допуститъ меня, чтобы я не слѣдилъ за собою во время моей работы съ самимъ собою; слѣдя же, подмѣчу; а подмѣтивъ, остановлюсь и не дамъ простору притворству и скрытности. Впрочемъ, я заранѣе знаю, что цинически откровеннымъ я и предъ самимъ собою не хочу быть. Чистоплотность нужна не на показъ только. Циническіе поступки въ жизни лучше оставить, не трогаа и не подвергая анализу, — это лучше для самого себя; иначе попадешь въ ретирады души и оттуда напустишь вони и въ то, что искренно хотѣлось бы оставить чистымъ, какъ оно есть на самомъ дѣлѣ. У насъ у всѣхъ на днѣ души довольно грязи; если, опустившись на это дно, ее взбаламутишь, то потомъ самъ не отличишь чистаго отъ грязнаго. Но, разумѣется, если цинизмъ и душевная нечисть были мотивами какого-либо дѣйствія, повліявшаго на всю жизнь, то по неволѣ не минуешь заглянуть и въ ретирады.

Но способенъ ли я писать о себѣ — для себя?

Опять вопросъ — что нужно для этого?

Главное — откровенность съ самимъ собою.

Навѣрное я могу сказать про себя только то, что я не скрытенъ съ собою; вѣдь есть люди, скрытничающіе болѣе съ собою, чѣмъ съ другими; я не принадлежу къ нимъ, хотя и со мною случалось, что я открывался себѣ только послѣ того, какъ былъ откровененъ съ другими; случалось, что, сообщая откровенно другимъ что-либо вслухъ, начинаешь какъ будто лучше понимать, что дѣлается внутри тебя самого. Иногда только тогда узнаешь хорошенько, что дѣлается у тебя, когда разговоришься о себѣ съ другимъ. Иногда стыдишься себѣ признаться въ томъ, что на душѣ, пока случайно, какъ будто (хотя и вовсе не случайно), расскажешь другому вдругъ съ какою-то циническою откровенностью, — вслухъ, что скрывалъ отъ себя.

Записки, которыя веду теперь о себѣ, замѣняютъ въ такомъ случаѣ неоткровенности съ самимъ собою, сообщеніе или разговоръ съ другимъ; бумага замѣняетъ другое лицо; къ запискѣ, хотя и собственной, относишься объективнѣе, чѣмъ къ мысленной бесѣдѣ съ собою. Пиша, дѣлаешься смѣлѣе съ собою и притомъ не даешь мысли распускаться въ разныя стороны и бродить; мысль при записываніи превращается въ нитку и ловче тянется изъ мозга, чѣмъ при размышленіи, безъ письма.

Итакъ, я надѣюсь, ведя мои записки, быть не менѣе, а гораздо болѣе откровеннымъ съ собою, чѣмъ въ задушевныхъ изліяніяхъ съ другими, хотя бы и съ самыми близкими къ сердцу людьми.

Второе условіе, чтобы быть истиннымъ автобіографомъ для самого себя, это — хорошая память. Для безпамятнаго, хотя бы остроумнаго и здравомыслящаго человѣка, его прошедшее почти не существуетъ. Такая личность можетъ быть весьма глубоко-мысленная и даже геніальная, но едва-ли она можетъ быть неодносторонняя, и уже во всякомъ случаѣ ясныя и живыя ощущенія прошлыхъ впечатлѣній безъ памяти невозможны. Но память, какъ я думаю, есть двухъ родовъ: одна — общая, болѣе идеальная и міровая, другая — частная и болѣе техническая, какъ память музыкальная, память цвѣтовъ, чиселъ, и т. п. Первая (общая) хотя и отвергалась иными, но она-то именно

и удерживаетъ различнаго рода впечатлѣнія, получаемыя въ теченіе всей жизни, и событія, пережитыя каждымъ изъ насъ. Глубокомысленный и гениальный человѣкъ можетъ имѣть очень развитую спеціальную память, не обладая почти вовсе общеою памятью.

Моя память общая и въ прежніе года была острая. Теперь же, въ старости, какъ и у другихъ, яснѣе представляется мнѣ многое прошлое, не только какъ событіе, но и какъ ощущеніе, совершавшееся во мнѣ самомъ, и я почти увѣренъ, что не ошибаюсь, описывая, что и какъ я чувствовалъ и мыслилъ въ разные періоды моей жизни. Но память для прошлыхъ ощущеній и составившихся изъ нихъ убѣжденій, мыслей и взглядовъ, можетъ быть, и не есть та, которую я называю общеою памятью. Она можетъ быть также, какъ и память звуковъ, цвѣтовъ и т. п., спеціальная, такъ-сказать техническая, и не всякій одаренъ ею; память собственныхъ ощущеній требуетъ сверхъ того еще и культуры. Такая культура именно и рождаетъ въ насъ самоѣдство. Къ этому, т.-е. къ развитію самоѣдства, необходимо еще и вниманіе, сосредоточенное на собственныхъ ощущеніяхъ и ихъ дальнѣйшее развитіе. Вообще, запоминается хорошо только то, на что обращено вниманіе. Внимательность—необходимый атрибутъ памяти. Но и вниманіе, и память, не всегда сознательны; первое, впрочемъ, рѣдко несознательно, тогда какъ память, именно спеціальная (техническая), нерѣдко, и даже зачастую, дѣйствуетъ для насъ безсознательно. Мы многое запоминаемъ и многому внимаемъ невольно и незамѣтно для насъ самихъ. Нерѣдко, вспомнивъ что-нибудь, удивляешься, когда успѣлъ это припомнить.

Какъ остаются въ мозгу почти цѣлую жизнь нѣкоторыя ощущенія и воспоминанія не только о прошлыхъ событіяхъ, но еще и воспоминанія объ ощущеніяхъ, испытанныхъ нами при давно прошедшихъ событіяхъ,—трудно себѣ представить. Мозгъ, какъ и всѣ органы, подверженъ постоянной смѣнѣ вещества; атомы его тканей постоянно замѣняются новыми, и нужно предположить, что атомы его, замѣняясь при смѣнѣ вещества другими новыми, передаютъ имъ тѣ самыя колебанія, которыми они подвергались при ощущеніи различныхъ впечат-

лѣній. И вотъ мягкая мозговая мякоть ребенка, уплотняваясь и измѣняясь въ ея физическихъ свойствахъ, продолжаетъ задерживать отпечатки самыхъ раннихъ ощущеній и впечатлѣній и передаетъ эти ощущенія нашему сознанию въ старости еще живѣе и яснѣе, чѣмъ прежде, въ зрѣломъ возрастѣ. Не говорить ли это въ пользу моего взгляда (нѣсколько мистическаго), что атомистическія колебанія (которые необходимо предположить при ощущеніяхъ) совершаются не въ однихъ видимыхъ и подверженныхъ измѣненіямъ клѣточкахъ мозговой ткани, а въ чемъ-то еще другомъ, болѣе тонкомъ, эфирномъ элементѣ, проникающемъ чрезъ всѣ атомы и не подверженномъ органическимъ измѣненіямъ.

Замѣчательны также и безсознательныя ощущенія, остающіяся и не остающіяся въ памяти, Нашъ внутренній бытъ составленъ весь изъ постоянныхъ, сознательно и безсознательно для насъ безпрестанно колеблющихся и волнующихъ насъ ощущеній, приносимыхъ къ намъ извнѣ и изнутри насъ. Съ самаго начала нашего бытія до конца жизни всѣ органы и ткани приносятъ къ намъ и удерживаютъ въ насъ цѣлую массу ощущеній, получая впечатлѣнія то извнѣ, то изъ собственнаго своего существа. Мы не ощущаемъ нашихъ органовъ; мы, смотря на предметъ, не думаемъ о глазѣ; никто въ нормальномъ состояніи ничего не знаетъ о своей печени и даже о безпрестанно движущемся сердцѣ; но ни одинъ органъ не можетъ не приносить отъ себя ощущеній въ общій организмъ, составленный изъ этихъ органовъ. Ни одинъ органъ, какъ часть цѣлаго, не можетъ не напоминать безпрестанно о своемъ присутствіи этому цѣлому. И вотъ, эта вереница ощущеній, извнѣ и изнутри, безъ сомнѣнія извѣстнымъ образомъ регулированныхъ, и потому скажу лучше—сводъ (*ensemble*) ощущеній и есть наше я въ теченіе всего нашего земного бытія. Чтò такое наше я безъ этихъ ощущеній—этого мы не можемъ себѣ представить; но и не можемъ не допустить возможности существованія ощущающаго начала безъ ощущеній. Одно я основано на опытѣ, другое—на логикѣ; есть и третье, основанное на вѣрованіи. Декартово: *cogito, ergo sum* можетъ быть безъ ошибки замѣнено: *sentio, ergo sum*; ибо слово: „ощущаю наше я“—можно сказать и не мысля. „Я есмь“ не есть продуктъ мышленія,

а ощущенія, т.-е. чувства,—не мысли,—что существую. Правда, младенецъ, дѣлающій первый вздохъ, выйдетъ на свѣтъ, не говоритъ еще: я существую, хотя, безъ сомнѣнія, ощущаетъ, вбирая въ себя впервые воздухъ, нѣчто для него новое; но болѣе сознательное чувство существованія, приходящее къ ребенку постепенно, безъ сомнѣнія, не есть продуктъ мышленія, а болѣе регулированное и окрѣпшее ощущеніе, приносимое извнѣ и изнутри его органами.

Декартово я мышленія есть нѣчто другое; но гораздо прежде, чѣмъ произнесется нами это осмысленное и продуманное я: я есмь, мы уже успѣваемъ добраться посредствомъ однихъ ощущеній и представленій (но не мышленія) до нашего самоощущенія и выразить его. Дѣло въ томъ, что сознаніе нашего я приходитъ къ намъ безсознательно; мы до этого сознанія вовсе не додумываемся. Сознаніе бытія собственной личности не есть достояніе одной человѣческой натуры; оно обще намъ со всѣми животными; какъ бы животное могло защищать себя, отыскивать пищу, вести борьбу за существованіе, если бы въ немъ не было сознанія своей личности? Но полное уясненіе себѣ своего я словомъ: *sum*, есмь,—конечно, можетъ проявиться только въ такомъ существѣ, какъ человѣкъ, т.-е. одаренномъ словомъ и способностью производить въ умѣ членораздѣльные звуки и комбинировать ихъ въ умѣ же въ слова. Эти двѣ способности и мысль—одно и то же; безъ слова нѣтъ мысли, безъ мысли нѣтъ слова. Ощущеніе и представленіе превращаются въ мозгу въ мысль только посредствомъ членораздѣльных звуковъ слова. Нѣтъ надобности, чтобы способность комбинировать изъ ощущеній слова была непременно соединена съ способностью говорить, т.-е. произносить слова. Глухонѣмой мыслить по-своему и можетъ понимать другихъ, не имѣя способности произносить слова; онъ замѣняетъ ихъ въ головѣ непременно подобными же членораздѣльнымъ звукамъ знаками; а ощущеніе, необходимое для возбужденія этой способности къ дѣйствию, доставляется ему, конечно, не органомъ слуха, а зрѣнія и другими. Но, кромѣ органовъ чувствъ, и у насъ, и у животныхъ сознаніе не только личнаго бытія, но и ощущеніе всего пріятнаго и непріятнаго, аффекты и страсти—возбуждаются всѣми другими органами. Ансамбль (*ensemble*) ощущеній, доставляе-

мыхъ всѣми нашими органами (сообщающимися и не сообщающимися съ вѣшнимъ міромъ, съ нашимъ *не-я*) и есть наше бытіе, сущность котораго, какъ и всего другого на свѣтѣ, намъ неизвѣстна.

Въ книгахъ старинныхъ анатомовъ находимъ это высказаннымъ чрезвычайно пластически:

*Cor ardet, loquitur pulmo, fel promovet ira,
Splen rudere facit, cogit amere jecur.*

Въ наше время, когда наблюденія доказываютъ, что дѣйствія органовъ чувствъ и особливо глаза нельзя иначе объяснить, какъ принявъ безсознательное (инстинктивное) мышленіе, нельзя болѣе сомнѣваться и въ томъ, что мы доходимъ до исполнѣ сознательнаго грамматическаго я есмь не иначе, какъ путемъ еще задолго ему предшествующаго безсознательнаго мышленія. Но и это исполнѣ сознательное мышленіе имѣетъ свою безсознательную логику, требующую непремѣнно, роковымъ образомъ, чтобы мы мыслили такъ, а не иначе, и притомъ, къ нашему счастью, съ полнымъ внутреннимъ убѣжденіемъ, что мысль наша свободна. Она дѣйствительно свободна только у лишенныхъ ума, да и у нихъ эта свобода—другими словами: ерунда мышленія—вѣроятно въ зависимости отъ разныхъ ненормальныхъ ощущеній собственнаго бытія, приносимыхъ болѣзнью органовъ.

Но стараться убѣдить себя и другихъ, что наша мысль и воля дѣйствительно несвободны, есть также своего рода безуміе.

Противъ дѣйствительности ощущеній ничего не подѣлаешь; если мы всѣ галлюцинируемъ, то галлюцинаціи для насъ уже не существуетъ; кто будетъ тогда разувѣрять насъ, что мы обманываемся? Да еще есть возможность разубѣдиться, когда у всѣхъ насъ галлюцинируетъ только одинъ органъ чувствъ: другіе нормальные органы могутъ поправить ошибку. Но что подѣлаешь, когда у всѣхъ и всѣ ощущенія приводятъ къ убѣжденію, что ихъ мысли и воля свободны, когда на этомъ уже успѣли образоваться всѣ основы жизни? Упорствовать въ убѣжденіи себя и всѣхъ въ противномъ поведетъ въ этомъ случаѣ убѣждающаго мудреца къ тому, что собственныя его мысль и воля сдѣлаются дѣйствительно до того свободными, что онъ бу-

детъ готовъ къ поступленію въ домъ умалишенныхъ. Только съ ненормальными ощущеніями мы еще можемъ кое-какъ, да и то съ трудомъ, бороться; съ нормальными же, какъ бы они намъ ни казались бессмысленными, борьба — пагубна.

Между молодежью въ послѣднее время встрѣчались и такія личности, которыя никакъ не хотѣли и настолько закабалить мысль, чтобы остановиться на дважды-два—четыре. „Мысль моя свободна“, утверждали они: „я хочу—приму, хочу—нѣтъ какую ни на есть математическую аксіому“. Этимъ лицамъ и въ голову никогда не приходило, что распушенность мысли и воли есть страшный недугъ, отъ развитія котораго въ себѣ долженъ беречься каждый изъ насъ, кто не хочетъ покончить съ собою самоубійствомъ или домомъ умалишенныхъ. Каждый настолько долженъ быть свободенъ, чтобы избрать для себя то или другое міровоззрѣніе, но, избравъ, долженъ на немъ остановиться по крайней мѣрѣ до той поры, пока замѣнить его другимъ, новымъ.

Установленіе извѣстнаго *modus vivendi* необходимо не только для согласія семействъ, обществъ и народовъ, но и для согласія съ самимъ собою; а этого можно достигнуть только извѣстнымъ и болѣе или менѣе опредѣленнымъ міровоззрѣніемъ.

Не думаю, что кому-нибудь изъ мыслящихъ людей удалось въ теченіе цѣлой жизни руководствоваться однимъ и тѣмъ же міровоззрѣніемъ; но полагаю, что вся умственная наша жизнь въ концѣ концовъ сводится на выработку, хотя бы для домашняго обихода, какого-либо воззрѣнія на міръ, жизнь и себя самого. Эта постоянная работа, правда, мѣшаетъ установленію *status quo*, но все-таки, не прерываясь, тянется красною нитью чрезъ цѣлую жизнь и не перестаетъ руководить, какъ и управлять болѣе или менѣе нашими дѣйствіями. Колебанія и сомнѣнія при этой разработкѣ, конечно, неизбѣжны, но они далеко не тѣ, которыя обременяютъ человѣка, считающаго для себя остановку на чемъ-нибудь опредѣленномъ нарушеніемъ свободы мысли и воли.

Разсматривая мою жизнь, я опишу нѣсколько міровоззрѣній, которымъ я слѣдовалъ, останавливаясь на нихъ болѣе

или менѣе продолжительное время; полагаю, что мнѣ удастся также выяснитъ для себя и то, почему я принималъ ихъ и слѣдовалъ имъ; теперь же постараюсь уяснить себѣ то міровоззрѣніе, на которомъ я, какъ кажется, уже окончательно остановился; приведу покуда только часть моего настоящаго міровоззрѣнія, относящагося до моего взгляда на основы нашего бытія.

Остановиться мыслию на вѣчно движущихся и вѣчно существовавшихъ атомахъ я не могу теперь, хотя и могъ прежде. Мой умъ впадаетъ въ безысходное положеніе въ обоихъ случаяхъ, т.-е. когда онъ хочетъ себѣ представить эти атомы безконечно дѣлимыми и безформенными, или же ограниченными и имѣющими извѣстный видъ. Безконечно-дѣлимое, движущееся и безформенное само по себѣ какъ-то случайно дѣлается ограниченнымъ, оформленнымъ и спокойнымъ: это такъ несовмѣстимо въ моемъ умѣ, что я не могу на немъ остановиться. Мнѣ невозможно также остановиться на атомахъ, размельченныхъ въ какіе-то крупинки, шарики, математическія точки, и т. п. Если вся вселенная переполнена этими непроницаемыми, т.-е. сохраняющими главное свойство вещества, атомами, — и между тѣмъ они должны находиться въ безпрестанномъ движеніи, то гдѣ же, въ чемъ и какъ совершается ихъ движеніе? Мой слабый умъ, производя свой анализъ вещества, дѣля и разлагая его атомы, никакъ не можетъ на нихъ остановиться и незамѣтно, невольно переходитъ отъ нихъ, въ концѣ концовъ, къ чему-то другому, имѣющему всѣ отрицательныя свойства матеріи; мой умственный анализъ роковымъ образомъ приходитъ къ необходимости принять внѣ атомовъ нѣчто проницаемое и все и всюду проникающее, недѣлимое, безформенное, вѣчно движущееся и именно этими своими свойствами сообщающее, движущее, скопляющее, разбѣивающее атомы, образующее тѣмъ формы вещества и, само проникая въ нихъ и чрезъ нихъ, принимающее (такъ-сказать, укладываясь въ нихъ) на себя, хотя бы и временно, тотъ или другой видъ, смотря по тому, въ какую и чрезъ какую форму матеріи оно проникаетъ.

Переносъ мой анализъ на органическія вещества и на самого себя, я невольно спрашиваю себя: откуда могла взяться

способность органическаго міра ощущать и сознать свое бытіе? Основные его атомы, какъ бы я ихъ себѣ ни представлялъ, останутся для меня все-таки безконечно дѣлимыми, непроницаемыми, и т. п., то-есть имѣющими такія свойства, которыя не объясняютъ мнѣ ихъ способности ощущать и сознать себя; необходимо будетъ допустить, что отъ вѣка вѣковъ существуютъ и атомы, одаренные этими свойствами и своимъ скопленіемъ въ одно цѣлое образующіе чувствующіе и сознающіе свое существованіе организмы. Мой умъ не допускаетъ, чтобы одна группировка атомовъ въ извѣстныя формы (какъ, напримеръ, мозговыя клѣточки) могла ихъ сдѣлать, eo ipso, способными ощущать, хотѣть и сознать, если бы въ нихъ не была вложена способность къ ощущенію и сознанію.

Вотъ это начало,—этотъ-то элементъ чувства, воли и сознанія, самый основной бытія,—начало, безъ котораго міръ не существовалъ бы для насъ, мой умственный анализъ и отыскиваетъ за предѣлами атомовъ,—въ томъ, что онъ по необходимости признаетъ существующимъ внѣ ихъ и имѣющимъ отрицательныя, т.-е. противоположныя атомистическимъ, свойства, безъ которыхъ и положительныя свойства матеріи для насъ были бы несуществующими.

Это отвлеченное, какъ и самые атомы, произведеніе умственнаго анализа, основанное на природной способности ума переносить свои функціи внѣ себя, должно содержать въ себѣ и самое главное отрицательное свойство вещественныхъ атомовъ—самостоятельное жизненное начало съ его главнымъ атрибутомъ: способностью къ ощущенію и самосознанію, не такимъ, конечно, которымъ одарены мы.

Я представляю себѣ,—нѣтъ, это не представленіе, а грѣза,—и вотъ мнѣ грезится безпредѣльный, непрерывно зыблющійся и текущій океанъ жизни, безформенный, вмѣщающій въ себѣ всю вселенную, проникающій всѣ ея атомы, непрерывно группирующій ихъ, снова разлагающій ихъ сочетанія и агрегаты и приспособляющій ихъ къ различнымъ цѣлямъ бытія.

Къ какому бы разряду моихъ ограниченныхъ представленій я ни отнесъ этотъ источникъ ощущенія и ощущающаго себя бытія—къ разряду ли силъ, или безконечно утонченнаго вещества—онъ для меня все-таки представляетъ нѣчто независимое

и отличное отъ той матеріи, которая извѣстна намъ по своимъ чувственнымъ (подлежащимъ чувственному изслѣдованію) свойствамъ. У меня нѣтъ другихъ средствъ къ изслѣдованію этого источника ощущенія и моего сознательнаго бытія, какъ полученная мною изъ этого же источника способность ощущенія. А разслѣдовать и познать что-либо вполнѣ мы можемъ только тогда, когда станемъ выше познаваемаго. Но свойство нашего ума искать цѣли и цѣлесообразности не можетъ не видѣть цѣлесообразности въ проявленіяхъ жизни. Нѣтъ ничего цѣлесообразнаго, придуманнаго нашимъ умомъ, что не обрѣталось бы готовымъ, такъ-сказать, въ окружающемъ насъ мірѣ. Напрасно говорятъ, что организмъ нашъ есть машина;—наоборотъ, каждая придуманная нами машина есть не что другое, какъ сколокъ съ существующихъ уже въ природѣ и въ нашемъ организмѣ приборовъ и снарядовъ.

Все органическое въ природѣ тѣмъ и поразительно для насъ, что въ немъ начало или сила жизни приспособила всѣ механическіе и химическіе процессы къ извѣстнымъ цѣлямъ бытія. Если же умъ нашъ не можетъ не найти цѣлесообразности въ проявленіяхъ жизни и творчества различныхъ типовъ по опредѣленнымъ формамъ, то этотъ же умъ не можетъ въ этомъ не видѣть самого себя,—то-есть, видѣть разумное; и вотъ нашъ умъ по необходимости долженъ принять безпредѣльный и вѣчный разумъ, управляющій океаномъ жизни.

21 ноября 1879 г.

Я началъ писать мои записки 5-го ноября 1879 года, и сегодня, 21-го ноября, опять принимаюсь, послѣ промежутка въ нѣсколько дней.

Пишу для себя и не прочитаю, до поры до времени, писаннаго. Поэтому найдется не мало повтореній, недомолвокъ; найдутся и противорѣчія, и непоследовательности. Если я начну исправлять все это, то это было бы знакомъ, что я пишу для другихъ.

Я признаюсь самъ себѣ, что вовсе не желаю сохранять навсегда мои записки подъ спудомъ; тѣ однако же лица, которымъ когда-нибудь будетъ интересно познакомиться съ моимъ

внутреннимъ бытомъ, не побрезгаютъ и моими повтореніями; они вѣрно захотятъ узнать меня такимъ, каковъ я есть, съ моими противорѣчіями и непоследовательностями.

И вотъ, я сегодня повторяю себѣ мое теперешнее міровоззрѣніе. Повторяя, можетъ быть, удастся уяснить его себѣ какъ можно болѣе.

Спрашиваю себя: чтò собственно заставляетъ меня не остановиться съ моимъ міровоззрѣніемъ на атомахъ вещества, какъ на чемъ-то законченномъ, вѣчномъ, безпредѣльномъ, самостоятельномъ, слѣдовательно абсолютномъ и не допускающемъ существованія ничего другого?

Атомы вещества,—это такое же отвлеченное начало, какъ и предполагаемое мною жизненное міровое начало. Для чего допускать два отвлеченія, когда можно остановиться на одномъ? Почему не принять, что атомы вещества всегда существовали и всегда, вмѣстѣ съ другими свойствами матеріи, были способны ощущать и сознать себя? Гдѣ и кѣмъ найдено въ мірѣ ощущеніе и сознаніе безъ присутствія вещества? Кто изъ насъ сознавалъ себя и мыслилъ безъ мозга? Почему матерія при другихъ свойствахъ не могла бы ощущать, сознать себя и мыслить? Не потому ли только мы не можемъ допустить это, что мы, по нашему невѣдѣнію, неопытности и близорукости сужденія, слишкомъ, и притомъ произвольно, ограничили наши понятія о свойствахъ вещества,—и, сдѣлавъ это, принудили себя допустить существованіе какого-то, нами же выдуманнаго, духовнаго (психическаго) начала?

Да, такъ спрашивалъ я себя нѣкогда и отвѣчалъ положительно на всѣ эти вопросы.

Неоспоримый фактъ: нѣтъ сознанія и мысли безъ мозга; и умозаключенія по извѣстному и общепринятому шаблону: *сум hoc, ergo propter hoc*—казались мнѣ до того естественными и непреложными, что не допускали во мнѣ и тѣни сомнѣнія.

Но тотъ же самый умъ, признававшій прежде безъ всякаго сомнѣнія мыслящіе и сознающіе себя мозговые атомы, впослѣдствіи началъ усматривать себя самого не только въ себѣ, но и во всей міровой жизни. Тогда умъ мой не могъ не усмотрѣть, что главныя его проявленія—мышленіе и творчество, согласныя съ законами цѣлесообразности и причинности, ясно

обнаруживаются и во всей міровой жизни безъ участія мозговой мягкости. Не странно ли, что мысль, выходящая изъ мозга, находитъ себя тамъ, гдѣ ни одинъ индивидуальный мозгъ (не открытъ нашими чувствами)?

Вотъ это-то открытіе собственнымъ своимъ мозговымъ мышлениемъ мышленія мірового, общаго и согласнаго съ его законами причинности и цѣлесообразности творчества вселенной—и есть то, почему умъ мой не могъ остановиться на атомахъ ощущающихъ, сознающихъ себя, мыслящихъ и дѣйствующихъ только посредствомъ себя же, безъ участія другого, высшаго начала сознанія и мысли. Способность творчества нашего ума и свойственное ей стремленіе сообразоваться въ своихъ твореніяхъ съ предначертанными планами и цѣлями не могутъ не различать въ каждомъ изъ своихъ дѣлъ мысль и цѣль отъ средствъ и матеріала, служащихъ для исполненія мысли и цѣли.

Цѣль и мысль, пойманные, такъ-сказать, въ сѣть матеріала, — на полотно въ краскахъ живописца, въ мраморъ зодчаго, на бумагу въ условные знаки и слова поэта,—живутъ потому цѣлые вѣка своею жизнію, заставляя и полотно, и мраморъ, и бумагу сообщать изъ роду въ родъ содержимое въ нихъ творчество. Мысль, проникая въ грубый матеріалъ, дѣлаетъ его своимъ органомъ, способнымъ рождать и развивать новыя мысли въ зрителяхъ и читателяхъ.

Если это неоспоримый фактъ, то для меня не менѣе неоспоримо и то, что высшая міровая мысль, избравшая своимъ органомъ вселенную, проникая и группируя атомы въ извѣстную форму, сдѣлала и мой мозгъ органомъ мышленія. Дѣйствительно, его ни съ чѣмъ нельзя лучше сравнить, какъ съ музыкальнымъ органомъ, струны и клавиши котораго приводятся въ постоянное колебаніе извнѣ; а кто-то, ощущая ихъ, присматриваясь, прислушиваясь къ нимъ, самъ приводя и клавиши, и струны въ движеніе, составляетъ изъ этихъ колебаній гармоническое цѣлое. Этотъ кто-то, приводя мой органъ въ униссонъ съ міровою гармонією, дѣлается моимъ я; тогда законы цѣлесообразности и причинности дѣйствій міровой идеи дѣлаются и законами моего я, и я обрѣтаю ихъ въ самомъ себѣ, перенося ихъ проявленія извнѣ въ себя и изъ себя въ природу.

Ощущеніе, сознание, мысль—процессы, не мыслимые безъ колебаній атомовъ, составляющихъ наше общее чувствилище— не могутъ состоять изъ однихъ только колебаній и движеній, не достигающихъ до чего-нибудь, что въ нихъ относилось бы такъ же, какъ глазъ къ свѣтовымъ и ухо къ звуковымъ колебаніямъ, то-есть, воспринимало бы эти колебанія и превращало бы ихъ въ нѣчто другое и сообщало бы ихъ, дѣйствуя отъ себя, внѣшнему міру. Не самыя ли эти колебанія атомовъ органа—и суть нашего я? Принять это, значило бы для меня принять въ веществѣ такое невещественное и отвлеченное свойство, которое не имѣетъ никакихъ чувственныхъ отношеній къ матеріи, обладающей этимъ свойствомъ. Теплота, свѣтъ, электричество, какъ эффекты колебанія частицъ, всѣ имѣютъ прямыя и непосредственныя отношенія къ нашимъ чувствамъ и способность дѣйствовать своими колебаніями непосредственно на спѣшеніе и сродство атомовъ; а самое чувство и мысль, отыскивающія въ природѣ и свѣтъ, и теплоту, и электричество, чисто субъективныя по своей натурѣ, дѣлаются объектомъ не прямо, а посредствомъ другихъ силъ, дѣйствуя на вещества.

Жизнь, сила, движеніе и мысль—для меня понятія, такъ неразрывно связанныя между собою, что я ни одного изъ нихъ не могу себѣ представить безъ другого. Въ жизни есть движеніе, сила и мысль; въ мысли—движеніе и сила, а въ силѣ—движеніе и мысль. Этому ассоціированному представленію о жизни недостаетъ почвы, которую мы привыкли имѣть подъ ногами; въ немъ нѣтъ ничего конкретнаго и объективнаго. Но представленіе объ общей міровой жизни и не можетъ у насъ быть конкретнымъ или чисто фактическимъ; это фикція, но неизбежная, неотвратимая для насъ, потому что эта жизнь существуетъ, и мы существуемъ, мыслимъ и дѣйствуемъ въ ея непостижимомъ для насъ, по своей громадности, круговоротѣ. Но вѣдь и наши объективныя разслѣдованія, намъ кажущіяся имѣющими самую твердую почву, въ сущности не что другое, какъ разслѣдованіе нашей субъективной мысли; иначе они были бы бессмысленны и не заслуживали бы названія разслѣдованій. Правда, въ нихъ (въ этихъ изслѣдованіяхъ) мысль наша находитъ себѣ постоянно матеріальную подкладку или канву,

на которой она выдѣлываетъ для себя узоры изъ располагаемаго ею вещественнаго матеріала.

При изслѣдованіи отвлеченнаго понятія о міровой жизни мы не въ силахъ сладить съ громоздкимъ веществомъ, которымъ она располагаетъ для своихъ проявленій, а изслѣдованіе частныхъ ея проявленій дѣлаетъ наше представленіе о міровой жизни отрывочнымъ, одностороннимъ и часто ложнымъ. Одно только неоспоримо для каждаго безпристрастнаго и неблизорукаго наблюдателя, — это цѣлесообразность, причинность, планъ и мысль во всякомъ проявленіи міровой жизни. Это значитъ не что другое, какъ совпаденіе нашей мысли, нашихъ стремленій къ отысканію цѣлей и причинъ — съ тѣмъ, что мы находимъ въ міровой жизни.

И въ меня невольно вселяется убѣжденіе, что мозгъ мой и весь я самъ есть только органъ мысли міровой жизни, какъ картины, статуи, зданія суть органы и хранилища мысли художника.

Для вещественнаго проявленія міровой мысли и понадобился приборъ, составленный по опредѣленному плану изъ группированныхъ извѣстнымъ образомъ атомовъ, — это мой организмъ; а міровое сознаніе сдѣлалось моимъ индивидуальнымъ, посредствомъ особеннаго механизма, заключающагося въ нервныхъ центрахъ. Какъ это сдѣлалось — конечно, ни я, ни кто другой не знаемъ. Но то для меня несомнѣнно, что сознаніе мое, моя мысль и присущее моему уму стремленіе къ отысканію цѣлей и причинъ не можетъ быть чѣмъ-то отрывочнымъ, единичнымъ, не имѣющимъ связи съ міровою жизнію и чѣмъ-то законченнымъ и заканчивающимъ мірозданіе, то-есть не имѣющимъ ничего выше себя.

Наконецъ, самый отчаянный эмпиризмъ, не признающій, не желающій знать ничего, кромѣ фактовъ и чувственныхъ впечатлѣній, въ концѣ концовъ, все-таки руководится отвлеченіемъ, то-есть мыслью; кромѣ того, что безъ нея не обходится ни одно чувственное впечатлѣніе (основанное на безсознательной логикѣ); одни чувственные впечатлѣнія, безъ сознательной руководящей мысли, пригодны развѣ для одного эмпирика-эпикурейца, но никакъ не эмпирика-наблюдателя и изслѣдователя.

Все въ мыслящемъ мірѣ сводится къ отвлеченію; всѣ наши представленія и понятія, какъ бы они ни основывались на фактахъ и чувственномъ опытѣ, дѣлаются чистыми отвлеченіями, какъ скоро мы подвергнемъ ихъ умственному анализу; а не подвергать—не въ нашей волѣ. Этотъ-то раздѣляющій анализъ и превращаетъ вещество въ силу. Все, что считается свойствомъ вещества, умственнымъ анализомъ превращается въ нѣчто существующее внѣ подверженнаго нашимъ чувствамъ вещества, то-есть опять-таки въ силу или вещество, противоположное веществу.

Атомы, принимаемые умственнымъ анализомъ за основу матеріи, превращаются имъ или въ математическія, то-есть невещественныя, точки, или центры, притягивающіе къ себѣ другіе атомы, или же въ безконечно малыя, то-есть безконечно дѣлимыя величины.

И въ томъ, и въ другомъ случаѣ вещество перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ оно намъ кажется; теряетъ свое чувственное (подверженное нашимъ чувствамъ) существованіе; другими словами,—дѣлается силою, и потому именно силою, что, разложивъ его на атомы, намъ нельзя уже представить его спокойнымъ и бездѣйствующимъ; допустивъ же дѣйствіе, мы этимъ и придадимъ ему самый главный атрибутъ силы (—дѣйствіе). А чтобы оставить за веществомъ его самыя характерныя свойства, намъ нужно положить предѣлъ разлагающему его умственному анализу;—такъ, если бы мы, продливъ нашъ анализъ безпредѣльно, допустили безконечную дѣлимость матеріи, то превратили бы ее, какъ я сказалъ, въ силу, или въ нѣчто неуловимое, не подверженное нашимъ чувствамъ, и тѣмъ лишили бы ее другихъ ея главныхъ свойствъ—непроницаемости и тяжести. Ограничить же умственный анализъ, не доведя его до конца, значить принять за вещество не послѣдній продуктъ анализа—атомы, а только скопленіе или скученіе ихъ, и въ такомъ случаѣ нужно будетъ допустить возможность образованія вещества изъ скопленія силы. И я не вижу логической невозможности принять этотъ конечный результатъ моего умственного анализа матеріи. Правда, я не знаю, что такое сила безъ проявленія ея въ веществѣ; но въ веществѣ, подвергнутомъ умственному анализу, я ничего не вижу, кромѣ проявленія силы, и всѣ свойства ве-

щества въ моихъ глазахъ—проявленія силы; такъ, вещество сдѣлалось бы такимъ же проникаемымъ, если бы частицы его (то-есть скупленіе атомовъ) не удерживались притягательною, атомистическою силою; безъ этой первобытной силы не было бы ни малѣйшихъ вещественныхъ частицъ, и безпредѣльно раздѣленная матерія исчезла бы изъ нашего чувственного міра. Но сила, обнаруживавшаяся моимъ чувствамъ въ свойствахъ и движеніяхъ матеріи, могла бы существовать, и не скопленная въ видѣ атомистическихъ частицъ. Насколько бы она осталась, послѣ разсѣянія матеріи, вещественною, — разумѣя подъ этимъ словомъ не то, насколько бы она осталась чувственною (подверженною чувствамъ), а то лишь, насколько она осталась бы уловимою нашею мозговою мыслию, — этого я не знаю; но, убѣжденный, что сверхъ моей мозговой мысли существуетъ еще другая, высшая, міровая, я вѣрю, что сила продолжала бы существовать и дѣйствовать въ этой міровой мысли. Мысль же эта и дѣйствующая чрезъ нее сила, — это міровая жизнь.

Да, жизнь, — это для меня понятіе коллективное. Это я уже сказалъ: жизнь — это осмысленная, безгранично-дѣйствующая сила, управляющая всѣми свойствами вещества (то-есть его силами), стремясь при томъ непрерывно къ достиженію извѣстной цѣли: осуществленію и поддержкѣ бытія.

Простое эмпирическое опредѣленіе жизни, данное Биша и другими, также довольно вѣрно: по этому опредѣленію жизнь сводится на собраніе отправленій, — *ensemble des fonctions*, — противодѣйствующихъ смерти, — *qui résistent à la mort*.

Дѣйствительно, въ живомъ организмѣ, какъ и во всемъ живомъ мірѣ, всѣ отправленія, всѣ функціи направлены къ тому, чтобы сохранить бытіе и противодѣйствовать разрушенію; ошибка или лучше недомолвка этого опредѣленія — только въ томъ, что не отправленія организма сами по себѣ стремятся и болѣе или менѣе достигаютъ этой цѣли, а другое, руководящее ихъ начало, — осмысленное, — то-есть стремящееся къ цѣли и дѣлающее всѣ функціи организма цѣлесообразными, — сила жизни.

Всѣ механическія дѣйствія органическихъ сварядовъ и приборовъ, всѣ химическіе процессы, весь процессъ развитія въ организмѣ, все цѣлесообразно, вездѣ мысль, планъ и стремленіе осуществить, сохранить и поддержать бытіе. Механизмъ

устройства органовъ, химизмъ различныхъ функцій, и т. п., все это чѣмъ болѣе разслѣдуется и чѣмъ болѣе подвергается чувственному анализу, тѣмъ яснѣе обнаруживаются въ замысловатости устройства цѣлесообразность и причинность; но то, что направляетъ механическіе и химическіе процессы организма къ цѣли, то остается и останется для насъ сущимъ и первобытнымъ, хотя и сокровеннымъ для чувственного представленія.

2 декабря 1879 г.

Прошло опять нѣсколько дней, въ которые я не бесѣдовалъ съ собою. Найду ли опять нить, не прочитавъ записаннаго прежде—нужды нѣтъ; я не претендую на званіе философа и пишу для себя.

Что для моего склада ума, наклоннаго къ эмпиризму и въ немъ окрѣпшаго, казалось прежде абсурдомъ,—это мысль безъ органа мышленія.

Да, мозговая мысль невысказима безъ мозга.

Но вѣдь и міровая—не есть ли одинъ только продуктъ мозговой? Гдѣ органъ мышленія для міровой мысли? Гдѣ ея проявленія безъ мозговой мысли? Въ томъ-то и дѣло,—отвѣчу на это,—что то же самое чувство, которое убѣждаетъ насъ въ нашемъ бытіи, неразлучно съ этимъ убѣжденіемъ и вселяетъ въ насъ и другое—о существованіи міра, то-есть о проявленіяхъ міровой мысли. И тотъ же самый умъ, который убѣждается въ цѣлесообразности нашихъ жизненныхъ функцій, видитъ и цѣлесообразность въ бытіи другихъ міровыхъ функцій; другими словами, нашъ же собственный умъ, какъ бы онъ настроенъ (эмпиризмомъ или идеализмомъ) ни былъ, не можетъ не замѣтить присутствія мысли внѣ себя; точно такъ же, какъ не можетъ не убѣдиться въ присутствіи вещества въ нашемъ организмѣ и внѣ его. Одно изъ двухъ: онъ (нашъ умъ) долженъ принять—или все существующее одна внѣ его иллюзія, или существованіе міра,—нашего не-я,—такъ же непреложно, какъ и собственное бытіе. Чтобы не помѣшаться и не угодить въ домъ умалишенныхъ, необходимо принять послѣднее, какъ непреложную истину, то-есть такую же, какъ наше собственное ощущеніе бытія. Принявъ же это, неминуемо нужно.

признать и существованіе—кромѣ нашей мозговой мысли—другой, высшей, міровой. Постоянное ея проявленіе въ окружающей насъ вселенной тѣмъ непреложнѣе для насъ, что все проявляющееся въ нашемъ умѣ, все изобрѣтаемое имъ, все, наконецъ, до чего мы только можемъ додуматься,—уже есть существующее, есть готовое въ проявленіяхъ міровой мысли...

Усталъ немного послѣ 2-хъ-часовой прогулки по снѣгу при 9⁰ Реомюра; но, отдыхая, продолжаю разборъ моего міровоззрѣнія. Мнѣ самому любопытно знать, насколько я смогу сдѣлать его себѣ яснымъ и законченнымъ.

Да, уму, воспитавшему себя на эмпиризмѣ, гораздо легче себя представить простою функціею мозга. Въ практической жизни эмпирической умъ можетъ, нисколько не затрудняясь, остановиться на такомъ взглядѣ, повидимому безупречномъ и основанномъ на безспорныхъ фактахъ. Неминуемымъ слѣдствіемъ этого взгляда должно быть то, что міровая цѣлесообразность и творчество по опредѣленному плану суть производеніе нашего ума, функціи нашего же мозга. А принявъ это, нужно будетъ допустить и другое слѣдствіе,—то именно, что самъ мозгъ, находящій посредствомъ своей функціи (ума) планъ и цѣлесообразность въ міровомъ устройствѣ, дѣлаетъ это только потому, что онъ уже такъ устроенъ, что атомы, составляющіе мозгъ, подъ вліяніемъ внѣшнихъ условій и случайно, такъ, а не иначе сложились. Нужно будетъ допустить, что могло бы быть и иначе. Выйдетъ что-то странное: если цѣлесообразность и планъ навязаны вселенной моимъ мозгомъ, а онъ самъ, какъ и все въ мірѣ, продуктъ случайнаго сочетанія атомовъ, отъ извѣстной формы группировки и состава которыхъ произошло то, что воздѣйствіе на нихъ внѣшняго міра производитъ и чувство, и мышленіе; если, говорю, допустить все это, какъ *ultimum refugium* ума, то все, чтѣ я отношу къ творчеству міровой мысли и жизни, должно быть дѣломъ случая. Случайно,—ибо нѣтъ начала, дѣйствовавшего самостоятельно, цѣлесообразно и разумно,—случайно, говорю, при безчисленномъ множествѣ разныхъ формъ и составовъ, въ которые группировались, посредствомъ собственныхъ своихъ свойствъ, атомы вещества, состоялась и группировка атомовъ мозга; сна-

чала, конечно, въ иномъ, первобытномъ видѣ, а потомъ, измѣняясь и осложняясь подъ вліяніемъ внѣшнихъ условий, образовался и нынѣ дѣйствующій органъ ощущенія и мышленія.

Итакъ, случай — вотъ творческое начало; отъ сочетанія его дѣйствій съ воздѣйствіемъ внѣшнихъ, также происшедшихъ когда-то отъ случая, силъ, произошелъ тотъ бастардъ, который мы называемъ міромъ.

Въ такомъ міровоззрѣніи необходимо, прежде всего, остановиться на случаѣ, какъ самой мощной силѣ; но о случаѣ я скажу мой взглядъ при случаѣ, потому, — полагая, что онъ мнѣ столько же знакомъ и незнакомъ, сколько и другимъ особамъ, приписывающимъ ему такое первостепенное значеніе.

Есть, однако же, въ этомъ крайнемъ взглядѣ доля правды.

Изслѣдуя природу хотя бы самымъ эмпирическимъ способомъ, то-есть довѣряя только однимъ чрезъ внѣшнее чувство добытымъ фактамъ, мы все-таки, собственно, ничего другого не дѣлаемъ, какъ только переносимъ наше мышленіе и вообще всѣ наши умственные способности на внѣшній міръ; и, наоборотъ, мы не можемъ иначе изслѣдовать наше собственное я, какъ сдѣлавъ его внѣшнимъ объектомъ, то-есть перенося его внѣ насъ. Но, принимая это какъ неоспоримый фактъ, я, при моемъ воззрѣніи, не могу не принять въ то же время, что открываемая моимъ мышленіемъ цѣлесообразность мірового устройства была бы чѣмъ-то ему произвольно или произвольно мною навязаннымъ, чѣмъ-то не вполне дѣйствительнымъ, то-есть столько же непреложнымъ, какъ и мое собственное бытіе.

Но всего болѣе и яснѣе обнаруживается различіе моего міровоззрѣнія отъ эмпирическаго въ томъ, что уму, принимающему себя за одну органическую функцію мозга, кажется какимъ-то нелѣпымъ абсурдомъ другое, противоположное убѣжденіе въ существованіи другого, первобытнаго, разумнаго, жизненнаго начала, — не функціоннаго и не органическаго, — которое, не завися отъ группировки атомовъ и дѣйствія атомистическихъ силъ, — само организуетъ и приводитъ въ дѣйствіе атомистическія силы; орудіемъ же или органомъ его проявленій служить вселенная. Мозговой умъ нашъ и находитъ себя, то-есть свойственное ему стремленіе къ цѣлесообразности и

творчеству,—внѣ себя, только потому, что онъ самъ есть не что иное, какъ проявленіе высшаго, мірового ума.

3 декабря 1879.

Также послѣ долгой прогулки въ прекрасный зимній день, на чистѣйшемъ и, вѣроятно, озонированномъ воздухѣ.

Такому органическому (мозговому) уму, какъ нашъ, конечно, трудно себя вообразить другой, да еще высшій умъ безъ органической почвы; а для современнаго склада нашего ума такое воззрѣніе неминуемо должно казаться нелѣпымъ. Въ наше время не одни дипломаты мирятся всего скорѣе съ совершившимся и существующимъ уже фактомъ; и дѣйствительно, въ житейской практикѣ всего удобнѣе остановиться на томъ, что видимо и осязаемо; а при разслѣдованіи причинъ и слѣдствій—держаться извѣстнаго всѣмъ по опыту *cum et post hoc, ergo propter hoc*; какъ ни обветшалъ этотъ лозунгъ, какъ онъ ни преслѣдуется логикою, но въ сущности онъ неизбеженъ въ эмпиризмѣ. Испытывая что-либо и опровергая или подтверждая одинъ опытъ другимъ, мы все-таки ничего другого не дѣлаемъ съ нашими эмпирическими или индуктивными умозаключеніями, какъ замѣняемъ одно *cum et propter hoc* другимъ.

Да, въ практической жизни и въ эмпиризмѣ нельзя уходить слишкомъ далеко; но гдѣ остановиться?

Вотъ вопросъ, рѣшаемый не иначе, какъ индивидуально различнымъ складомъ ума у cadaго изъ насъ. Но какъ бы мы ни старались ограничиться одними фактами и чисто индуктивными умозаключеніями, все-таки приходится почти на каждомъ шагѣ считаться съ отвлеченными представленіями и понятіями. Безъ отвлеченія не существуетъ и ни одно умозаключеніе, какъ бы оно индуктивно ни было. Пространство—фактъ, время—фактъ, движеніе—фактъ, жизнь—фактъ, и въ то же время и пространство, и время, и движеніе, и жизнь—самыя крупныя и первостепеннѣйшія отвлеченія.

Каждый ребенокъ мѣряетъ пространство и можетъ довольно легко и правильно судить о немъ, пока оно подвергается тремъ измѣреніямъ; но о пространствѣ вообще, безмѣрномъ и безграничномъ, и весьма дѣльные умы еще не совсѣмъ увѣрены, сколькими измѣреніями оно способно мѣриться,—и математики

толкуютъ о возможности четвертаго, — найдутъ, можетъ быть, необходимымъ или возможнымъ и пятое.

Вѣроятно, нашъ мозговой умъ доходитъ до всѣхъ этихъ отвлеченныхъ понятій о пространствѣ, времени, и т. п., путемъ эмпирическимъ, чрезъ ощущеніе наружными чувствами. Но то не эмпиризмъ, когда мы, всегда и вездѣ видящіе и ощущающіе границы пространства, начинаемъ помышлять и о безграничномъ. Кантовы ли это какія-то категоріи, или ящики въ конторѣ нашего мозгового ума, или другой какой-то скрытый его механизмъ, но присутствіе отвлеченія въ такихъ фактическихъ истинахъ, каковы пространство и время, — такой же фактъ. Мы роковымъ образомъ, неминуемо, не вида и не ощущая неизмѣримаго и безграничнаго, признаемъ фактическое его существованіе; — вотъ не-фактъ существуетъ такъ же фактически, какъ и фактъ; и въ существованіи безграничнаго и безмѣрнаго мы гораздо болѣе убѣждены, чѣмъ былъ убѣжденъ Колумбъ въ существованіи Америки до ея открытія. Разница только въ томъ, что мы нашу Америку никогда не откроемъ такъ, какъ онъ свою.

4 декабря 1879.

Вмѣсто вчерашнихъ 15° сегодня 3°, съ сильнымъ западнымъ вѣтромъ, такъ что гулялъ не болѣе одного часу.

Нужно замѣтить, что наши понятія о пространствѣ, времени и жизни совершенно отличны отъ обыкновенныхъ обобщеній, какъ, напримѣръ, понятіе о человѣкѣ. Въ обобщеніи „человѣкъ“ мы понимаемъ не болѣе какъ свойства, несомнѣнно характеризующія человѣческія особи.

Но въ понятіи о пространствѣ исчезаютъ всѣ свойства отдѣльныхъ пространствъ, какъ-то: ихъ измѣреніе, форма, содержимое и пр.; намъ (по крайней мѣрѣ мнѣ), при размысленіи о пространствѣ, сдается, что всѣ извѣстные намъ по чувственнымъ представленіямъ пространства и предметы заключаются въ чемъ-то иномъ — неизмѣримомъ, безформенномъ, безграничномъ.

То же самое находимъ и въ понятіи о времени: фактически мы судимъ о немъ только по движенію въ пространствѣ; но сверхъ этого фактическаго опредѣленія времени мы сознаемъ

еще, что и безъ движенія, то-есть безъ средства къ измѣренію времени въ пространствѣ, существуетъ наше я въ настоящемъ, подобно тому, какъ оно существовало въ прошедшемъ, и что это же самое настоящее и прошедшее существуютъ не для нашего одного я, а должны существовать и безъ него.

Понятіе о мѣрѣ пространства и времени, невольно сопровождающее мысль о самомъ пространствѣ и самомъ времени, намъ служить не къ уясненію нашего понятія, а къ убѣжденію насъ въ томъ, что измѣряемое въ пространствѣ и времени не есть еще самое пространство и самое время.

Понятіе о жизни также не есть одно обобщеніе.

Оно относится, по-моему, къ той же категоріи, какъ и понятіе о пространствѣ и времени.

Первый толчокъ къ образованію въ нашемъ умѣ понятій объ этихъ трехъ иксахъ даетъ намъ ощущеніе нашего бытія. Это ощущеніе, конечно, фактъ, но какой? Можно ли его причислить къ категоріи фактовъ, добываемыхъ нашими внѣшними чувствами и основанныхъ именно на этомъ главнѣйшемъ фактѣ—на ощущеніи бытія, безъ котораго для насъ все другое немислимо? Это фактъ, *suī generis*, выходящій изъ ряду вонъ.

Какъ проявляется чувство бытія въ животныхъ—это тайна, такъ же не разрѣшимая, какъ и проявленіе нашихъ понятій о пространствѣ и времени. Первымъ толчкомъ служатъ, конечно, дѣйствія внѣшняго міра на наши чувства, но только толчкомъ, а самая суть и ощущенія бытія, и понятій о времени и пространствѣ—скрываются глубоко въ существѣ самого жизненнаго начала.

Возьмемъ для примѣра моментъ рожденія на свѣтъ теплокровнаго животнаго. Чтò заставляеть его ощутить свое бытіе первымъ вдыханіемъ воздуха, издать первый звукъ жизни?

Рефлексъ отъ прикосновенія воздуха къ его периферическимъ нервамъ или отъ внезапнаго измѣненія въ кровообращеніи новорожденнаго.

Значить, машина такъ устроена, что прикосновеніе внѣшняго міра къ периферическимъ нервамъ неминуемо должно отразиться на ту пружину, находящуюся въ продолговатомъ мозгѣ, которая приводитъ въ движеніе дыхательный приборъ, заставляя его потянуть въ себя наружный воздухъ; а это первое

вдыханіе, въ свою очередь, должно отразиться на чемъ-то ощущающемъ самого себя и отличающемъ себя отъ внѣшняго міра. Но связь-то именно этого чего-то съ механизмомъ животной машины и есть иксъ, потому не разрѣшимый, что для фактическаго его разрѣшенія необходимо бы было не только подмѣтить на себѣ или другомъ животномъ, но и прочувствовать эту связь перваго вдыханія съ ощущеніемъ бытія. Да и такое невозможное наблюденіе было бы еще недостаточно. Ощущая, нельзя слѣдить за ощущеніемъ, не измѣняя и не нарушая его. Мы всякій день видимъ, какъ рождаются люди и животныя, какъ выводятся цыплята изъ яицъ, и мы такъ привыкли къ жизни, что можемъ думать, будто мы сами даемъ жизнь другимъ существамъ (такъ думаютъ, пожалуй, и многіе); — не мудрено поэтому, что жизнь намъ кажется вовсе не тайною, а простымъ, обыденнымъ дѣломъ.

Жизнь и бытіе едва-ли не кажутся многимъ изъ насъ однимъ и тѣмъ же.

И нельзя не согласиться, что различіе между живымъ и неживымъ неумовимо на окраинахъ жизни. Наше понятіе о жизни, какъ о дѣломъ, прежде всего основано на нашемъ собственномъ ощущеніи бытія и присущемъ этому ощущенію чувствѣ мощи или силы жизни; — мы, прежде чѣмъ опытъ научаетъ насъ разубнавать жизнь по ея рѣзкимъ проявленіямъ, невольно склонны принимать эти же ощущенія жизни (болѣе или менѣе) во всемъ насъ окружающемъ и, конечно, всего болѣе въ томъ, что обнаруживаетъ движеніе, то-есть силу и мощь. Я полагаю, что ребенокъ, прежде чѣмъ онъ дойдетъ опытомъ отличать свое *я* отъ окружающаго его *не-я*, принимаетъ все его окружающее въ такой же степени живымъ, какъ и онъ самъ.

Живя, наблюдая и учась, мы, наконецъ, научаемся отличать болѣе или менѣе рачіонально проявленіе жизни отъ простаго бытія; но и тогда мы узнаемъ не болѣе и не менѣе, какъ механизмъ организмовъ, управляемый тѣми же силами, которыми управляется и бытіе: тяготѣніемъ, сѣплениемъ и сродствомъ атомовъ, электричествомъ, теплотою, и т. п.; а начало, дѣлесообразно направляющее эти силы и механизмъ въ сохраненію организма, индивидуальности и ихъ опредѣленныхъ по

предначертанному плану отношеній къ вѣшнему міру, остается для насъ невѣдомымъ и, говоря языкомъ юристовъ, неподлежащимъ обсужденію (разслѣдованію) по существу, а только по формѣ.

Одинъ нашъ мозговой умъ неминуемо убѣждается въ существованіи этого начала жизни, находя въ немъ самого себя, то-есть разумное стремленіе къ цѣли, самобытности, творчеству по опредѣленному плану. Нашъ умъ, находя въ самыхъ разнообразнѣйшихъ проявленіяхъ жизни свои собственныя существеннѣйшія стремленія въ неизмѣримо высшемъ размѣрѣ, не можетъ не признать первобытнаго и самостоятельнаго бытія высшаго начала, дѣйствующаго по тѣмъ же, какъ и онъ самъ, законамъ цѣлесообразности и творчества. Бытіе этого начала поэтому же самому должно быть для нашего ума независимымъ отъ управляемой имъ матеріи и такъ же точно первобытно и независимо отъ частныхъ его вещественныхъ проявленій (проявленій въ веществѣ), какъ пространство и время независимы отъ частныхъ пространствъ и частей времени.

Какъ пространство и время, такъ и жизненное начало, въ нихъ существующее, должны быть, по требованію нашего же ума, первобытны, безпредѣльны, безформенны. И самобытное, безформенное начало жизни творить въ безграничныхъ и также первобытныхъ пространствахъ и времени всевозможныя формы вещества, направляя всѣ другія силы къ борьбѣ за существованіе въ оформленномъ и оживленномъ веществѣ.

Но какъ бы ни соотвѣтствовало требованіямъ нашего ума убѣжденіе въ необходимости существованія внѣ вещества первобытнаго и самобытнаго жизненнаго начала, управляющаго атомами и присущими имъ силами, мы, конечно, никогда не будемъ въ состояніи составить себѣ о немъ ясное понятіе. Всегда и неизбежно сомнѣніе найдетъ мѣсто въ нашемъ умѣ, и чѣмъ болѣе опытъ и наблюденіе знакомятъ насъ съ устройствомъ и механизмомъ функцій органовъ, необходимыхъ для жизни, тѣмъ болѣе правдоподобнымъ будетъ казаться намъ самая жизнь не чѣмъ инымъ, какъ отправленіемъ (функціею) этихъ органовъ; а наши понятія о самобытности и цѣлесообразности дѣйствій жизненнаго начала будутъ казаться намъ

одними воображительными отвлеченіями нашего же ума, не существующими фактически.

Дѣйствительно, наша умственная дѣятельность, получивъ однажды извѣстное направленіе, не легко отклоняется отъ него, и тѣмъ труднѣе, чѣмъ болѣе она удовлетворится результатами своихъ изслѣдованій, въ принятомъ ею направленіи. Не мудрено, что именно тѣ результаты, въ достиженіи которыхъ участвовали по преимуществу наши внѣшнія чувства, и наиболѣе должны казаться намъ ясными и удовлетворительными. Но, къ сожалѣнію, именно при индуктивномъ или фактическомъ способѣ разслѣдованія мы обыкновенно упускаемъ изъ виду, что наши чувственные разслѣдованія имѣютъ значеніе не сами по себѣ, а по тѣмъ заключеніямъ, которые мы выводимъ — сознательно и безсознательно — изъ видѣннаго, слышаннаго и вообще прочувствованнаго нами. Заключенія же эти, также какъ и другіе логическіе выводы, все-таки не что иное, какъ отвлеченія, — и также сознательныя и безсознательныя.

Умъ нашъ по необходимости во всякомъ фактѣ и во всей вселенной усматриваетъ только самого себя внѣ себя; это онъ дѣлаетъ и при индукціи, и при дедукціи: и тамъ, гдѣ онъ судить по даннымъ, пріобрѣтеннымъ чувствами, и тамъ, гдѣ онъ судить по представленіямъ фантазіи.

Не перенося себя внѣ себя, мы не имѣемъ другого способа умствованія. Мы, не перенося нашего я внѣ насъ, не можемъ убѣдиться умственно и въ существованіи міра, ибо ощущенія чувственные существующаго внѣ свойственны всѣмъ животнымъ и, можетъ быть, и всѣмъ органическимъ тѣламъ, — ощущенія безсознательныя или сознаваемые, такъ сказать, *per contactum*, — конечно, не то, что мы называемъ убѣжденіемъ.

Умъ нашъ, перенося себя внѣ себя и усматривая здѣсь себя самого, то-есть свойственныя ему одному стремленія, какъ творчество, цѣлесообразность, соотвѣтственность причинъ и слѣдствій, не можетъ однако же не придти къ заключенію, что все это, имъ усматриваемое внѣ себя, дѣйствительно существуетъ, также какъ и онъ самъ, то-есть всѣ стремленія, находимыя имъ въ себѣ, и все узнаваемое и творимое имъ — существуютъ уже внѣ его. Онъ ничего не изобрѣлъ такого, что бы не было предварительно имъ открыто внѣ себя, — въ

окружающемъ его мірѣ,—и въ себѣ самомъ, какъ частичкѣ этого вѣшняго міра ¹⁾).

16 декабря 1879 года.

15⁰ R.; отличный воздухъ; немного NE.; солнечный день; снѣгу выпало вчера и третьяго-дня порядочно съ мятелью. Предшествовавшіе два-три листа писалъ между 7 и 16 декабря урывками, при погодѣ, переходившей почти въ оттепель, между 0 + 2⁰—3⁰ R. Занятъ былъ въ это время больными, операціями и продажей пшеницы (по 1 руб. 50 коп. за пудъ). Хотя снѣгъ выпалъ въ началѣ ноября (8—13) на талую землю, но, по изслѣдованіямъ на этихъ дняхъ, она замерзла на 3—4'' и только въ низменностяхъ, подъ глубокимъ снѣгомъ, еще стоитъ талая; всходы, однако же, и тутъ еще зелены и не подмogli.

Да, нашъ мозговой умъ, изслѣдующій свой genesis дедуктивнымъ способомъ, скоро и легко,—слишкомъ скоро и слишкомъ легко, я полагаю,—убѣждается, что онъ есть не что другое, какъ функція мозга. Разсматривая свой главный атрибутъ — мышленіе, нашъ умъ убѣждается при этомъ, что оно есть коллективная способность, и потому должно быть функціею различныхъ частей и различныхъ гистологическихъ элементовъ мозга.

Въ процессѣ мышленія принимаютъ участіе: 1) способность—сознательная и несознательная—ощущать и воспринимать впечатлѣнія (perceptio); 2) сознаніе этихъ впечатлѣній,—хотя и не всегда, такъ какъ и при безсознательныхъ ощущеніяхъ можно еще и мыслить безсознательно; 3) способность удерживать впечатлѣнія (память), также не всегда сознательная; 4) способность (которую я бы назвалъ понятливостью) сочетать, ассоціировать, группировать въ извѣстномъ порядкѣ задержанныя памятью ощущенія и составлять изъ нихъ понятія; а для этого, въ свою очередь, необходимо еще и 5) *conditio sine qua* поп мышленія—способность означать знаками или перемѣ-

¹⁾ Здѣсь въ подлинникѣ (Рукоп., л. 17, стр. 3) на полѣ нѣсколько строкъ, неизвѣстно куда относящихся и разобранныхъ такимъ образомъ: „Но пѣли выше въ жизни. Ноги ходятъ. Что за функціи, убивающія свой органъ произвольно“.

щать въ фонетическіе и мимическіе знаки (членораздѣльные звуки и слова) ощущаемыя впечатлѣнія, передающія ихъ въ этомъ новомъ видѣ и памяти. Комбинація, группировка и ассоціація впечатлѣній, безъ превращенія ихъ въ фонетическіе и мимическіе знаки, хотя и возможны, но отношенія тогда этой способности къ сознанію для насъ непостижимы, и мы называемъ такую группировку и ассоціацію бессознательными или инстинктивными. Мы должны признаться однако же, что названіемъ нисколько не объясняемъ себѣ отношеній и роли сознанія въ этомъ случаѣ. 6) Напослѣдокъ вѣнецъ въ процессѣ нашего мышленія составляютъ стремленіе и способность его различать причину и слѣдствія, цѣль и средства (законы причинности и цѣлесообразности), находить связь между ними, предполагать въ каждомъ дѣйствіи цѣль и стремленіе къ ея достиженію, словомъ — стремленіе и способность къ творчеству. И все это въ процессѣ нашего мышленія соединено съ чувствомъ свободы, воли и произвола.

Всѣмъ намъ кажется, что мы свободны мыслить такъ или иначе и какъ хотимъ; но съ другой стороны, всякій изъ насъ чувствуетъ и знаетъ, что этой кажущейся свободѣ положенъ предѣлъ, вышедъ изъ котораго, мышленіе дѣлается безуміемъ. Это потому, что мышленіе наше подлежитъ законамъ высшаго, мірового мышленія. Между тѣмъ мозговой умъ нашъ, не знающій иного мышленія, кромѣ своего, и убѣжденный опытомъ въ зависимости его отъ мозга, при разсматриваніи внѣшняго міра можетъ дойти до такой иллюзіи, что въ немъ нѣтъ никакой иной мысли, кромѣ нашей собственной. Да если бы мы не были увѣрены въ бытіи внѣшняго міра такъ же твердо, какъ и въ своемъ собственномъ, то все, чтò наше разслѣдованіе открываетъ въ немъ цѣлесообразнымъ и какъ бы намѣренно и независимо отъ насъ устроеннымъ, мы могли бы, пожалуй, принять за произведеніе одного нашего ума и нашей фантазіи.

И вотъ мы находимъ себя запертыми въ волшебный кругъ: съ одной стороны, мы фактически не знаемъ другого ума, кромѣ своего органическаго; съ другой стороны, этотъ же самый умъ указываетъ намъ на внѣшнія произведенія творчества, несомнѣнно свидѣтельствующія о существованіи другого ума съ

аттрибутами не только сходными, но и несравненно болѣе пре-
вышающими творчество нашего. И вотъ рождается невольно
вопросъ: дѣйствительно ли мы не могли бы иначе ходить, какъ
съ помощью ногъ, или же мы ходимъ только потому, что у
насъ есть ноги? дѣйствительно ли только при посредствѣ мозга
мы могли бы мыслить, или же мы мыслимъ только потому,
что есть мозгъ? Видя неисчерпаемое множество средствъ, съ
которыми въ окружающей насъ вселенной достигаются извѣст-
ныя цѣли, можемъ ли мы утверждать, что умъ могъ и долженъ
быть быть единственно только функціею мозга? Развѣ пчела,
муравей и т. п. животныя и безъ помощи мозга позвоночныхъ
животныхъ не представляютъ намъ примѣровъ удивительной со-
образительности, стремленія къ цѣли и даже творчества? И
что это за странная функція, держащая въ зависимости отъ
себя существованіе своего органа? Выстрѣлъ изъ револьвера,
направленный этою функціею, — и ея органъ разрушенъ. Что
за безпримѣрная функція, способная разсматривать и анализи-
ровать себя и свой органъ, какъ объектъ, какъ нѣчто внѣшнее?
Не потому ли умъ нашъ и находитъ себя, т.-е. мысль и
цѣлесообразное творчество, внѣ себя, что онъ самъ есть про-
явленіе того же самаго высшаго, мірового, жизненнаго начала,
которое присутствуетъ и проявляется во всей вселенной? Міро-
вая мысль, присущая этому началу, совпадаетъ, такъ-сказать,
съ нашею мозговою мыслию, служащею ея проявленіемъ, и
потому тѣ же стремленія и сходные атрибуты находимъ мы
въ той и другой. Совпаденіе свидѣтельствуетъ объ одномъ и
томъ же источникѣ, но различіе неизмѣримо велико, несрав-
ненно болѣе велико, чѣмъ мы, напримѣръ, полагаемъ между
особью и родомъ или племенемъ. Наша мысль есть, дѣйстви-
тельно, только индивидуальная, и именно потому, что она —
мозговая, органическая. Другая же мысль, проявляющаяся въ
жизненномъ началѣ всей вселенной, именно потому, что она
міровая, и не можетъ быть органическою. А нашъ, хотя бы
и общечеловѣческій, но все-таки индивидуальный умъ, и именно
по причинѣ своей индивидуальности, а слѣдовательно органич-
ности и ограниченности, и не можетъ возвыситься до пони-
манія тѣхъ высшихъ цѣлей творчества, которыя присущи только
уму неорганическому и неограниченному — міровому. А потому

и жизненное начало, какъ одно изъ проявленій этого ума, для насъ останется навсегда тайною. Ignorabimus.

17 декабря 1879.

Морозъ 25°—R.; но тихо, ясно и превосходно на воздухѣ. Въ персичной (оранжереѣ), подъ стеклами и ставнями, прикрытыми навозомъ, 12°—R.

Вселенная, жизнь, сила, пространство и время,—все это—какъ бы ихъ назвать?—назову: отвлеченные факты. Название, пожалуй, абсурдное, но оно вмѣщаетъ въ себѣ именно два противорѣчія, и потому, мнѣ кажется, выражаетъ то, чгò я хочу сказать. Наше понятіе о жизни, силѣ, пространствѣ, времени и о вселенной основано, по-моему, прежде всего на ощущеніи, слѣдовательно, на фактѣ. Ощущая сознательно (а бессознательное ощущеніе жизни хотя и существуетъ несомнѣнно, но я его не знаю и судить о немъ не могу), мы вмѣстѣ съ тѣмъ ощущаемъ и силу (мощь), и пространство, и время, и міръ, т.-е. наше *не-я*. Ощущая все это, мы сначала не анализируемъ нашего ощущенія и принимаемъ все d'emblée, за одинъ и тотъ же фактъ; несмотря однако же на отсутствіе анализа, мы все-таки сознаемъ (не знаю какъ: сознательно или бессознательно?!) и приходимъ даже къ твердому убѣжденію, что, кромѣ того ограниченного пространства, которое мы сами занимаемъ, и даже кромѣ видимой нами границы горизонта, существуетъ еще пространство, а за нимъ еще и еще. Такъ и для времени, и для силы, и для жизни, мы въ нашемъ ощущеніи не находимъ опредѣленныхъ границъ. Мы не помнимъ начала этого ощущенія, не знаемъ его и конца. Только фантазія и долговременный опытъ, показывающій начало и конецъ различныхъ предметовъ и различныхъ дѣйствій, приводятъ насъ къ иллюзорнымъ убѣжденіямъ, заставляющимъ насъ думать, что есть конецъ свѣта, конецъ жизни, и т. п. Ощущеніе же, какъ фактъ, переживаемый нами, убѣждаетъ насъ въ противномъ, т.-е. въ существованіи безпредѣльнаго и безграничнаго. Въ ощущеніи, выражаемомъ нами звукомъ или словомъ: „я есмь“, заключаются и „я былъ“, и „я буду“.

Мы живо чувствуемъ, что настоящее—иллюзія, что мы живемъ только въ прошедшемъ, непрерывно переходящемъ въ будущее. И когда мы хотимъ нѣсколько оріентироваться въ нашихъ ощущеніяхъ жизни, силы, пространства, времени и вещества, то-есть довести эти ощущенія до степени понятія, то мы не поступаемъ такъ, какъ при другихъ нашихъ обобщеніяхъ. Понятіе, складывающееся у насъ объ ощущеніяхъ жизни, силы, времени, пространства и вещества, не есть квинтъ-эссенція свойствъ отдѣльныхъ предметовъ или особей, какъ наши другія отвлеченныя обобщенія. Нѣтъ, это отвлеченный фактъ, выведенный изъ ощущенія чего-то безпредѣльнаго и безграничнаго, противорѣчащій тому, что мы называемъ дѣйствительнымъ фактомъ, т.-е. такимъ, который по своей ограниченности подлежитъ повѣркѣ внѣшнихъ чувствъ или вообще какой-либо внѣшней (документальной, какъ, напримѣръ, историческіе факты) повѣркѣ.

Что бы мы ни говорили о неизбѣжности смерти, но жизнь, даже наша собственная, представляется намъ какъ бы безконечною; по крайней мѣрѣ конца ея—пока мы не приблизились къ смерти старостью или болѣзнію—мы себѣ ясно представить не можемъ.

Какъ бы мы ни были знакомы по опыту съ свойствами матеріи, мы убѣждаемся, что всѣ наши знанія этихъ свойствъ недостаточны для опредѣленнаго понятія о веществѣ или, другими словами, для его ограниченія. Какъ бы ни казалась намъ сила нераздѣльною отъ вещества, мы все-таки не можемъ ее понять какъ свойство матеріи, а принуждены допустить ея самостоятельное, безпредѣльное бытіе, какъ и самого вещества, въ безграничномъ пространствѣ и времени. Да если бы удалось намъ, какъ удалось астрономамъ, опредѣлить, хотя бы приблизительно, границы и мѣры того, что намъ кажется или нами ощущается безпредѣльнымъ и безграничнымъ, то и тогда бы, какъ и въ астрономіи, вышли бы такія цифры и числа, представить себѣ которыя наглядно и фактически мы будемъ не въ состояніи; что толку, если бы получились миллиарды миллиардовъ?—представленія наши о такихъ числахъ будутъ такъ же неопредѣленны, какъ и о безграничномъ и безпредѣльномъ.

25-го декабря 1879.

Рождество Христово. Не писалъ дневника нѣсколько дней, но зато на моихъ утреннихъ прогулкахъ по имѣнію старался привести въ порядокъ и ясность для себя мои понятія о началѣ жизни.

Я долженъ привести себѣ въ ясность—насколько я материалистъ; эта кличка мнѣ не по-нутру, какъ Гессенъ-Кассельскому герцогу, который никакъ не могъ терпѣть, чтобы его гессенскаго профессора Либиха считали материалистомъ. „Sein Vater war Materialist (т.-е. аптекарь), nicht er“, говорилъ герцогъ обвинителямъ Либиха въ материализмъ.

Но чтѣ за дѣло до клички? Главное — сдѣлать для себя яснымъ свое міровоззрѣніе. Если я только не слушаю предъ Богомъ и моей собственной совѣстью, излагая мое міровоззрѣніе, то дѣла нѣтъ — буду ли я материалистъ или глупецъ въ отношеніи къ другимъ.

Я измѣнилъ себѣ и прочиталъ написанное нѣсколько дней назадъ. Прочитавъ, вижу, что къ понятіямъ о безпредѣльномъ, къ которымъ я отношу пространство, время, силу и жизнь, я отнесъ и понятіе о веществѣ. Откровенно сознаюсь, что вещество мнѣ кажется такимъ же безпредѣльнымъ, какъ пространство, время, сила и жизнь. Мнѣ кажется, то-есть, моему воображенію не представляется невозможнымъ, что вещество могло бы перейти въ силу, и сила—въ вещество. Сила должна быть безформенна, но и матерія въ крайнихъ ея предѣлахъ едва-ли мыслима съ сохраненіемъ формы. И жизненное начало, какъ сила, какъ нѣчто безпредѣльное и безформенное въ моемъ представленіи, должно имѣть свойства силы, переходить въ матеріальные атомы, подобно тому, какъ допускается возможность перехода туманныхъ пятенъ мірового ээира въ небесныя тѣла. Сравненіе, правда, самое грубое. Тутъ переходъ вещества въ вещество, слѣдовательно—одно видоизмѣненіе. А переходъ силы въ вещество!—Это чтѣ? Ахинея? Но вѣдь сила не ничто,—и, разсматриваемая мышленіемъ отдѣльно отъ вещества, она есть нѣчто отличное отъ матеріи, хотя бы только и отрицательными свойствами. Только одно понятіе о Богѣ, или—у атеистовъ—понятіе о мірѣ (ихъ Богѣ), можетъ быть понятіемъ безъ отрицанія; все другое на свѣтѣ, понимаемое или представляе-

мое нами, должно имѣть и собственное свое отрицаніе въ насъ умѣ.

Понятіе о безпредѣльномъ пространствѣ имѣетъ свое отрицаніе въ измѣряемыхъ и оформленныхъ предметахъ; понятіе о безконечности времени отрицается часами и минутами; для жизни служить отрицаніемъ смерть; даже для уясненія одного изъ свойствъ Божеской натуры — добра — сдѣлался необходимымъ дьяволъ. Потому и понятіе о веществѣ вызвало въ умѣ представленіе о противоположномъ началѣ — силѣ; безъ нея, безъ ея антагонистическихъ веществъ атрибутовъ, самое вещество съ его инерціею и другими свойствами было бы немислимо. Но отрицательное (то-есть, не матеріальное) свойство силы можно и—для болѣе яснаго представленія—нужно перевести въ положительное, принявъ за исходную точку главный атрибутъ силы — дѣйствіе и движеніе. И дѣйствительно, съ моимъ представленіемъ безграничнаго пространства и времени соединяется и представленіе о движеніи; время—это отвлеченное движеніе въ пространствѣ, то-есть сила, дѣйствующая въ пространствѣ и своимъ дѣйствіемъ приводящая себя въ вещество. Могу ли я требовать, чтобы представленія мои о такихъ отвлеченныхъ предметахъ были ясны и отчетливы, какъ чувственные факты? — вѣдь и о самыхъ наглядныхъ вещахъ нерѣдко имѣешь одно смутное представленіе. Слѣдуетъ ли изъ того, что мнѣ представляется неяснымъ, заключить, что это темное представленіе ложно и бессмысленно? Не бываютъ ли, напротивъ, именно галлюцинаціи, то-есть призраки, весьма ясны и неоспоримы для галлюцинирующихъ? Извѣстно, что, при неясности представленій, мы прибѣгаемъ къ сравненіямъ.

И вотъ мнѣ кажется, что въ моемъ понятіи жизненное начало ни съ чѣмъ не можетъ быть такъ сравнено, какъ съ свѣтомъ. Источникъ свѣта хотя и извѣстенъ намъ фактически, но разстояніе его отъ насъ такъ далеко и дѣйствія его на насъ и все окружающее насъ такъ многочисленны и разнообразны, что мы въ обыкновенной жизни называемъ, безъ дальнѣйшаго размышленія, свойствами тѣлъ—свойства свѣта. Мы говоримъ и думаемъ, что тотъ или другой цвѣтъ принадлежит не солнечнымъ лучамъ, а тому или другому тѣлу, хотя это

тѣло потому только цвѣтное, что атомы его задерживаютъ, отражаютъ или преломляютъ лучи свѣта. Лучи же свѣта могутъ достигать до насъ и быть видимыми нами, можетъ быть, цѣлые вѣка послѣ того, какъ источникъ ихъ свѣта уже давно погасъ. Колебанія свѣтового ээира, — чего-то непохожаго на вещество, способнаго провикать чрезъ вещества, непроницаемыя для всякой другой матеріи, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщающаго имъ новыя свойства, — мнѣ кажутся подходящими для сравненія съ дѣйствіями жизненнаго начала.

26-го декабря 1879.

Бесѣда съ самимъ собою заманчива. Какъ я ни убѣжденъ, что мнѣ не удастся уяснить себѣ вполнѣ мое міровоззрѣніе, но самая попытка уясненія заключаетъ уже въ себѣ какую-то прелесть.

Погода все время измѣняется: NW и NNW, иногда переходящіе SO. Температура между -5° — -6° и $+2^{\circ}$ R.

Да, мозгъ представляется мнѣ подобнымъ стеклянной призмѣ, имѣющей свойство разлагать лучъ свѣта и преломлять его. Если бы я не боялся насмѣшки надъ самимъ собою за фантазерство, я бы назвалъ мозгъ призмю мірового ума; воспринимать и пропускать чрезъ себя колебанія или дѣйствія этой міровой силы — было бы функцію мозга, если бы сравненіе мое было вѣрно. Но, ставя себя на точку зрѣнія матеріалиста-эмпирика, я вижу непроходимую пропасть между моимъ сравненіемъ и тѣмъ воззрѣніемъ, къ которому неминуемо приводитъ, — на первыхъ порахъ и, такъ-сказать, сгорая, — скептицизмъ эмперіи. Не говоря уже о томъ, что *comparaison n'est pas raison*, есть ли — спрашивается — для эмпирика хотя малѣйшій смыслъ въ употребленныхъ мною выраженіяхъ, какъ: колебанія силы, міровой умъ безъ мірового мозга, сила безъ вещества, жизненное начало внѣ организма? что это, съ точки зрѣнія эмпирика, какъ не идеологическій наборъ словъ?

Да, согласенъ, помирить чистый эмпиризмъ съ существованіемъ силы внѣ матеріи, мысли внѣ мозга, жизненнаго начала внѣ органическихъ тѣлъ — немыслимо. Это *contradictio in ad-*

jecto. И тѣ чистые эмпирики, которые, останавливаясь на фактахъ, не идутъ далѣе своихъ непосредственныхъ (прямыхъ или ближайшихъ) умозаключеній изъ этихъ фактовъ, совершенно правы въ моихъ глазахъ, — я самъ былъ и даже есмь такой; но какъ скоро переступается ими эта граница волшебнаго круга, какъ скоро они берутся за разрѣшеніе таинственнаго икса, то тутъ выводы эмпиризма оказываются нисколько не осмысленнѣе идеологическихъ предположеній. Не забудемъ однако же, что тѣ, чтѣ мы называемъ смысломъ, не есть непоколебимое и безусловно вѣрное мѣрило истины. Хотя законы мышленія всегда были и будутъ одни и тѣ же, дважды два всегда будетъ четыре, но осмысленными и бессмысленными намъ кажутся не всегда и не всѣмъ одни и тѣ же предметы. То, чтѣ считалось безспорнымъ и очевиднымъ лѣтъ сто тому назадъ, то можетъ быть бессмысленнымъ для живущихъ въ концѣ XIX вѣка. Смыслъ мѣняется не отъ одного процентнаго содержанія знанія въ нашемъ умѣ, а часто и отъ психическихъ повѣтрій и другихъ ввѣшнихъ условій, къ которымъ надо отнести и моду. Мода же является также въ видѣ повѣтрія. Вообще нашъ смыслъ, а вмѣстѣ съ нимъ всѣ наши міровоззрѣнія подчиняются закону періодичности, играющей въ нашей, какъ и всей міровой жизни, важную роль. Старое и забытое является въ извѣстные періоды снова на свѣтъ, но, конечно, всегда въ иномъ видѣ; новыя скопившіяся пріобрѣтенія опыта вызываютъ на свѣтъ забытое и придаютъ ему свѣжесть и новую силу. Ново то только, чтѣ хорошо забыто, — это изреченіе скептика имѣетъ свою долю правды. Періодическое и вѣковое господство различныхъ противоположныхъ одна другой доктринъ въ наукахъ и въ міровоззрѣніяхъ различныхъ націй доказываетъ намъ наглядно, насколько мы можемъ довѣрять нашему смыслу. Современный эмпиризмъ есть также своего рода доктрина, хотя послѣдователи ея и желали бы не быть доктринерами. Всякая же доктрина, хотя бы и претендующая на однѣ чисто фактическія основы, какъ это дѣлаетъ эмпиризмъ, — всегда односторонняя; иначе она не господствовала бы, не слѣдовала бы одному и тому же направленію, считая его непогрѣшимымъ, и признавала бы достоинство и другихъ убѣжденій, основанныхъ не на однихъ только чисто чувственныхъ

фактахъ. Безсмысленнымъ называется то, что противорѣчить нашимъ убѣжденіямъ,—именно убѣжденіямъ, а не знаніямъ, ибо убѣжденія вліяють на насъ сильнѣе знанія.

28-е декабря 1879.

Мятель и вьюга при сильномъ NW цѣлую ночь и продолжается теперь при $+ 1^0$ R.; все вокругъ занесено снѣгомъ, нельзя высунуть носа, и я принужденъ остаться безъ моей утренней прогулки. Попробую писать, — что-то выйдетъ.

Если смыслъ нашъ зависить отъ нашихъ современныхъ убѣжденій,—а они, въ свою очередь, преходящи и не всегда, по своей силѣ и упорству, соотвѣтствуютъ нашимъ знаніямъ,—то ни одна господствующая доктрина, ни одно умственное направленіе не должны смотрѣть свысока на другія, имъ противорѣчащія, доктрины и направленія; а умы безпристрастные, не увлекающіеся и не довѣрчивые, не должны пугаться насмѣшекъ, разныхъ вѣличекъ и обвиненій въ отсталости, нераціональности и безсмыслии. Кто пережилъ уже кое-что на своемъ вѣку, тотъ вспомнить, съ какимъ пренебреженіемъ относились въ двадцатыхъ-тридцатыхъ годахъ нашего столѣтія гегельянцы и натурфилософы къ скромнымъ и приниженнымъ (въ то время) эмпирикамъ, платящимъ теперь, въ свою очередь, прежнимъ мудрецамъ тою же монетою. Всего вѣрнѣе и надежнѣе, конечно, было бы остановиться на позитивизмѣ, оставить въ покоѣ неизъяснимое, принявъ за аксіому, что существуютъ предметы, не подлежащіе нашему знанію. Но это воззрѣніе на практикѣ дѣлается, подобно другимъ, доктриною, какъ скоро оно будетъ проводиться послѣдовательно и обязательно для его послѣдователей. Доктринерство же—я сказалъ—всегда односторонне и узко. Можно ли требовать отъ cadaго ума, чтобы онъ обязался не затрогивать тотъ или другой предметъ размышленія; чтобы онъ остановился именно тамъ, гдѣ ему назначаетъ остановиться другой умъ! Дѣйствительно, какъ кажется, утверждаетъ позитивизмъ, въ жизни человѣчества замѣчается извѣстная послѣдовательность въ направленіи мышленія и міровоззрѣніяхъ, соотвѣтствующая степенямъ знаній, приобретаемыхъ жизнью чело-

вѣчества. Но эта послѣдовательность не уничтожаетъ возможности періодичныхъ возвратовъ того или другого изъ предшествовавшихъ направленій, такъ какъ уму нашему не суждено окончательно убѣждаться въ непреложности истины принятаго имъ направленія. Временныя наши убѣжденія, хотя и всегда сильнѣе нашихъ знаній, но еще менѣе прочны, чѣмъ самыя знанія, пріобрѣтенныя однимъ опытомъ. Поэтому, какъ бы ни было позитивно направленіе современныхъ умовъ, нельзя отвергать наклонность къ возврату другого, противоположнаго (позитивному) направленія, хотя бы въ отличномъ отъ прежняго видѣ. И вотъ я, не оспаривая достоинствъ позитивизма и его пригодности для многихъ высокихъ умовъ, считаю его, однако же, для моего собственнаго ума непригоднымъ, и чтобы я могъ сдѣлаться позитивистомъ—я долженъ бы изнасиловать себя.

Какъ бы размысленіе и опытъ ни убѣждали меня, что я не въ состояніи выйти изъ очерченнаго вокругъ меня волшебнаго круга, что я не могу разрѣшить ни одной изъ занимающихъ меня проблемъ—я не могу осилить мои влеченія и не заниматься тѣмъ, что я считаю вопросами моей жизни. Но я съ тѣмъ вмѣстѣ не доктринеръ. Стараться осмыслить произведеніе фантазіи въ разрѣшеніи этихъ вопросовъ для меня не значитъ отказаться вовсе отъ эмпиріи или пренебрегать ею, считать ея выработанные уже наукою и опытомъ методы ложными или малозначащими и не признавать ея заслугъ. Нѣтъ, я одинъ изъ тѣхъ, которые еще въ концѣ двадцатыхъ годовъ нашего столѣтія, едва сошедъ съ студентской скамьи, уже почувяли вѣяніе времени и съ жаромъ предавались эмпирическому направленію науки, несмотря на то, что вокругъ ихъ еще простирались дебри натуральной и гегелевской философіи. Прослуживъ вѣрою и правдою этому (тогда еще новому) направленію моей науки слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ, я убѣдился, однако же, что для человѣка съ моимъ складомъ ума невозможно оставаться по всѣмъ занимающимъ меня вопросамъ жизни въ этомъ одномъ направленіи, или, другими словами, сдѣлаться позитивистомъ и сказать себѣ: „стой! ни шагу далѣе“!

Вотъ я при такомъ убѣжденіи и позволяю моей фантазіи, при помощи моихъ, какихъ ни на есть, знаній, доказывать,—конечно, мнѣ же самому,—что *raison d'être* всего подвластнаго

чувствамъ, опыту и наблюденію скрыто за кулисами эмпирической сцены и потому и подвластно лишь ей одной (фантазіи), да размышленію, да и то въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Не бывъ отъявленнымъ позитивистомъ, я не могу искоренить въ себѣ желанія заглянуть за кулисы, и не только изъ одного любопытства, но и съ (утилитарною) цѣлью ограниченія слишкомъ назойливыхъ претензій опыта на самовластіе и вмѣшательство въ рѣшеніе вопросовъ, касающихся того закулиснаго резондэтра.

И такъ, начну съ того, на чемъ остановился, и чтѣ должно казаться, съ перваго взгляда, бессмысленнымъ.

29 декабря 1879.

Мятель утихла, небольшой NO—5⁰ R. Послѣ утренней прогулки.

„In's Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist“. Это великая, глубоко продуманная мысль великаго естествоиспытателя. Да, какъ бы глубоко ни проникали внутрь организма опытъ и наблюденіе, внутрь самой природы имъ входъ запрещенъ. Научный прогрессъ дѣластъ опытъ и наблюденіе болѣе утонченными, изоощряетъ чувства наблюдателя, помогаетъ замѣнить какъ можно лучше одно чувство другимъ, какъ, напимѣръ, зрѣніемъ—осязаніе; раскрываетъ механизмъ и химизмъ органической фабрики ¹⁾; но то, чтѣ заправляетъ ея, чтѣ направляетъ дѣйствующія въ ней силы къ охранѣ и поддержанію бытія въ извѣстномъ, опредѣленномъ заранѣе (типичномъ), видѣ, какъ en gros, во всей органической массѣ, такъ и въ частности, —въ каждой особи, въ каждомъ органѣ, въ каждой тѣани, —это неподсудно изысканіямъ и неизъяснимо; хотя игнорировать это начало или силу—назовите какъ угодно—мы не можемъ, если бы и хотѣли. Наша мысль и фантазія не могутъ не стремиться привести въ какую-либо связь проявленіе этого мірового начала съ нашимъ собственнымъ я. Мы и мыслимъ потому, что находимъ мысль во всемъ окружающемъ насъ.

¹⁾ Здѣсь въ подлинникѣ, на полѣ, неизвѣстно куда относящіяся слова: „Что живетъ? Поддержаніе цѣли бытія. Зерно и ферменты“.

Безъ участія мысли и фантазіи не состоялся бы ни одинъ опытъ и всякій фактъ былъ бы безсмысленнымъ. Наши мысль и фантазія, какъ причина, производящая и опытъ, и наблюденіе, не могутъ, однако же, по особенностямъ своей натуры, ограничиться этими двумя способами знанія. Умъ, употребивъ опытъ и наблюденіе, то-есть направивъ и заставивъ дѣйствовать извѣстнымъ образомъ наши чувства, потомъ разсматриваетъ съ разныхъ сторонъ, связываетъ и даетъ новое направленіе собраннѣмъ чувствами впечатлѣніямъ, и всегда не иначе, какъ съ участіемъ фантазіи.

30 декабря 1879.

Снѣгу навалило въ эти два дня (третьяго дня и вчера) мѣстами въ человѣческой ростъ.—10° R.

Мнѣ хочется доказать себѣ, что умственный мой процессъ въ настоящее время, когда я стараюсь уяснить себѣ мое міровоззрѣніе, дѣйствуетъ, въ сущности, тѣмъ же способомъ, какъ и въ то время, когда я ничего другого не хотѣлъ знать, кромѣ фактовъ, и ничего другого не бралъ въ основу моихъ сужденій, кромѣ фактовъ. Мнѣ кажется, что рѣзкое различіе, дѣлаемое между сужденіями *a priori* и *a posteriori*, или между дедуктивнымъ и индуктивнымъ способами, есть чисто доктринерское, и справедливо развѣ въ крайностяхъ, похожихъ на безуміе. Въ сущности, апіористъ, также какъ и эмпирикъ, берутъ за исходную точку своихъ сужденій фактъ—*factum*, нѣчто для нихъ обоихъ неопровержимое и пріобрѣтенное первоначально чувствами и опытомъ; различіе только въ томъ, что апіористъ даетъ въ послѣдствіи другое значеніе факту и опыту, и въ пріобрѣтеніи своихъ знаній (которыя безъ опыта невозможны) не ограничивается одними впечатлѣніями, доставляемыми ему внѣшними чувствами. У него играютъ болѣе важную роль не столько непосредственныя чувственные впечатлѣнія, сколько заключенія, сложившіяся въ умѣ и фантазіи изъ этихъ впечатлѣній. Но такъ называемый раціональный эмпиризмъ, къ послѣдователямъ котораго я отношу и себя, также не довольствуется однимъ собираніемъ приносимыхъ чувствами впечатлѣній. Изобрѣтая различныя способы наблюденія и опыта, контролируя одинъ опытъ другимъ, раціональный эмпирикъ неминуемо пускаетъ

въ ходъ фантазію, и умозаключенія его почти никогда не могутъ удержаться въ непосредственной (прямой) связи съ чувственными впечатлѣніями, доставляемыми прямо опытомъ и наблюденіями. Всегда есть пробѣлъ между умозаключеніемъ и чувственнымъ фактомъ, и, чтобы уменьшить, сколько можно, этотъ пробѣлъ—у насъ нѣтъ другого средства, какъ повтореніе или скопленіе однородныхъ фактовъ; а это средство подвергаетъ насъ заблужденіямъ, которыя нерѣдко вреднѣ увлеченій фантазіи, потому что обманываютъ насъ своею кажущеюся точностью.

Вообще, мнѣ кажется слишкомъ школьнымъ и тотъ анализъ нашего мышленія, которымъ мы обыкновенно руководствуемся. Мы принимаемъ ощущенія, внимательность (*perceptio*), память, ассоціацію идей, свойство означать ощущенія членораздѣльными звуками, сужденіе, фантазію за совершенно отдѣльно и какъ бы независимо другъ отъ друга дѣйствующія способности. Это, конечно, необходимо для уясненія себѣ умственного процесса. Но вполне независимая одна отъ другой функція этихъ способностей я считаю невозможными въ нормальномъ состояніи. Правда, одна изъ нихъ можетъ быть сильнѣе развита, чѣмъ другая, и потому функція одной изъ этихъ способностей можетъ быть для насъ замѣтнѣе другой, но безъ ощущенія немыслима; мышленіе, безъ внимательности и (безъ) памяти ощущаемое, было бы однимъ эфемернымъ и безслѣднымъ возбужденіемъ; а безъ фантазіи не можетъ обойтись и самый точный математическій приѣмъ мышленія. Правда, въ пользу сепаратизма и локализаціи нашихъ психическихъ способностей говоритъ тотъ неоспоримый фактъ, что при полномъ почти недостаткѣ одной изъ нихъ другія продолжаютъ еще дѣйствовать. Самая способность ощущенія, нѣкоторыми фізіологами посаженная въ зрительные бугры мозга, еще подраздѣляется и локализируется на нѣсколько другихъ категорій; такъ, зрительное ощущеніе должно имѣть отдѣльное мѣсто въ мозгу отъ ощущенія слухового и т. п., и весьма вѣроятно, что различныя ощущенія, приносимыя внѣшними чувствами, сосредоточиваются въ различныхъ порціяхъ мозга. Но то, чтò въ насъ ощущаетъ, то ощущающее начало есть нѣчто нераздѣльное, цѣлое и едва-ли когда въ теченіе жизни измѣняемое; его

нельзя локализовать въ той или другой порціи мозга и врядъ ли можно назвать и самый мозгъ единственнымъ его мѣсто-пребываніемъ. Намъ, конечно, кажется, что, сосредоточивая наше вниманіе на какой-либо предметъ, смотря, напримѣръ, на него въ микроскопъ или телескопъ, мы только смотримъ и превращаемся, такъ-сказать, всецѣло въ одно зрѣніе. Но, вникнувъ глубже въ этотъ процессъ сосредоточеннаго зрѣнія, мы убѣдимся, во-первыхъ, что обращать вниманіе на что-либо, значитъ внимать самого себя, то-есть направлять то ощущаемое начало, называемое *я*, на впечатлѣніе, приносимое тѣмъ или другимъ органомъ чувства, смотрѣть этимъ *я* въ глазъ, слушать имъ же въ ухо и, воспринимая въ себя эти впечатлѣнія, въ то же время судить о нихъ, представлять ихъ себѣ въ томъ или другомъ видѣ, сравнивать съ прежними ощущеніями, принимаемыми нѣкогда тѣми же чувствами; а все это необходимо требуетъ, чтобы наше *я* безпрестанно приводило въ дѣйствіе то ту, то другую умственную способность и въ одно и то же время.

Хотя въ чувственныхъ ощущеніяхъ, какъ, напримѣръ, между слухомъ и зрѣніемъ, можно опредѣлить краткіе промежутки времени, отдѣляющіе эти ощущенія, если мы смотримъ и слушаемъ (какъ астрономы) въ одно и то же время; но едва ли мы найдемъ средство уловить промежутки, отдѣляющіе ощущение, приносимое глазомъ, отъ того процесса, который совершается въ то же самое время нашимъ *я* и который (процессъ) называется теперь безсознательнымъ мышленіемъ, — названіе, по моему, нелѣпое, хотя и означающее дѣйствительно особый психическій процессъ; мнѣ кажется, что его лучше признать безъимяннымъ или неудобоназываемымъ, чѣмъ давать ему безсмысленное прозвище.

Вотъ это quasi-безсознательное мышленіе, сопровождающее всѣ наши чувственные ощущенія, въ самый моментъ ихъ проявленія, и есть самое характеристическое свойство нераздѣльности и цѣльности нашего *я*.

Какъ бы ни были отдѣльно локализованы наши чувства зрѣнія, слуха, осязанія, наша память, воображеніе, способность говорить, мыслить, хотѣть, наше *я* есть въ одно и то же время и нѣчто отдѣльное отъ нихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣщающее

всѣ эти чувства и способности въ себѣ. Наше я играетъ, какъ будто, на клавишахъ тѣхъ органовъ, функціямъ которыхъ эмпиризмъ приписываетъ зрѣніе, слухъ, память, слово и пр.; — и, выражая своею игрою эти функціи, наше я само участвуетъ въ нихъ, какъ нераздѣльное цѣлое, связывая ихъ и проявляя ими свое бытіе.

5 января 1880.

Съ новаго 1880 года по 5-е января морозы въ—10°—16° Р. Бури утихли. Ясно и безвѣтренно. Вчера и сегодня иней на деревьяхъ.

6 января 1880.

Ясный зимній день съ густымъ инеемъ на деревьяхъ. Утромъ 11°. Послѣ хорошей утренней прогулки.

Прогуливаясь, я вспомнилъ, что слишкомъ односторонне въ моемъ дневникѣ отнесся къ знаменитому: *cogito, ergo sum*, утверждая, что его нужно бы было замѣнить: *sentio, ergo sum*. Обращая себя всего на какой-либо предметъ, превращаясь, какъ говорится, въ зрѣніе или слухъ, наше я, устремленное такимъ образомъ во внѣшній міръ, — въ свое *не-я*, продолжаетъ — незамѣтно, можетъ быть (при сильномъ сосредоточеніи вниманія на внѣшній предметъ), — ощущать свое бытіе; и это ощущение сопровождаетъ его съ колыбели, съ того момента, когда оно начало отличать отъ себя свое *не-я*, вплоть до могилы: и даже при потери сознанія, въ бреду, во снѣ, это ощущение не можетъ не продолжаться, хотя бы и въ измѣненномъ видѣ. Но, кромѣ этого, не всегда для насъ замѣтнаго, ощущенія нашего бытія, незамѣтнымъ оно можетъ сдѣлаться, — какъ и всѣ другія наши ощущенія, — чрезъ привычку къ бытію; наше я возводится изъ простого ощущенія на степень мысли въ томъ случаѣ, когда оно, воспринимая внѣшнія (міровыя) и органическія (приносимыя органами) впечатлѣнія, приводитъ ихъ въ связь съ ощущеніемъ въ себѣ присутствія своихъ умственныхъ способностей: вниманія, памяти, воображенія, слова и мысли.

Тогда наше я дѣлается вполне сознательнымъ, осмысленнымъ и прочувствованнымъ. Кондильякъ утверждалъ, что человекъ безъ внѣшнихъ чувствъ—статуя. Это неправда; дыханіе и безъ содѣйствія внѣшнихъ чувствъ должно ему сообщить ощущение бытія, поддерживая связь съ внѣшнимъ міромъ. Ощущение бытія непремѣнно существовало бы и тогда, но было ли бы оно безъ содѣйствія внѣшнихъ чувствъ сознательнымъ и осмысленнымъ—это вопросъ. Сознаніе въ себѣ памяти, мысли, воображенія, безъ сомнѣнія, возбуждается и поддерживается внѣшними и органическими чувствами; но нѣтъ причины, мнѣ кажется, отвергать возможность этого сознанія и при отсутствіи внѣшнихъ и органическихъ чувствъ.

Я отвлекся и зашелъ слишкомъ далеко, желая себѣ доказать, что хотя я до моего міровоззрѣнія дошелъ не настоящимъ раціонально-эмпирическимъ (индукціоннымъ) способомъ, но, тѣмъ не менѣе, я считаю мое міровоззрѣніе для меня равносильнымъ факту.

10 января 1880.

Продолжаются холода въ 16°—12° R. Сегодня 7° и снѣгъ. Привезли елки и посадили. Мельница (новая) на Людвиговкѣ въ ходу.

Да, равносильнымъ факту—фактическимъ—по силѣ убѣжденія я считаю мое воззрѣніе. Что такое фактъ? Если держаться буквального смысла, то это то, что сдѣлано,—*factum*, что совершено (поэтому *fait accompli*—плеоназмъ). Въ этомъ смыслѣ фактъ долженъ быть чувственнымъ. И дѣйствительно, если самое наше бытіе есть ощущение, то въ насъ нѣтъ ничего, что бы не зависѣло первоначально отъ впечатлѣній, присосисимыхъ ощущеніями.

Все обнаруживаемое въ насъ бытіемъ обнаруживается посредствомъ ощущеній, т.-е. посредствомъ связи съ внѣшнимъ міромъ. Тѣмъ не менѣе, слѣдствія и продукты впечатлѣній различны до крайности. Одни изъ нихъ способны возбуждать въ насъ одно чувство бытія, другіе возбуждаютъ безсознательное мышленіе и разнаго рода рефлексъ; но есть и такой родъ впечатлѣній, можетъ быть вѣрнѣе—представленій, которыя, не

смотря на первоначальное ихъ происхожденіе отъ чувственныхъ ощущеній, приводятъ въ дѣйствіе исключительно сознательныя наши умственные способности: память, мышленіе и фантазію (воображеніе, способность сочетать и творить новыя представленія). Хотя мы помнимъ, мыслимъ и воображаемъ при каждомъ дѣйствіи нашихъ органовъ чувствъ, но этотъ чувственный и обыкновенно безсознательный процессъ воспоминанія, мышленія и представленія (воображенія) прекращается, какъ скоро то или другое чувство перестаетъ дѣйствовать; другой же, рѣзко отличающійся отъ этого, процессъ воспоминанія, мышленія и воображенія, всегда сознательный, совершается и безъ непосредственной помощи чувствъ.

Итакъ, всякій фактъ долженъ быть произведеніемъ внѣшнихъ, на насъ дѣйствующихъ, впечатлѣній и нашихъ чувственныхъ ощущеній, между тѣмъ какъ наши внутреннія ощущенія, присутствующія въ насъ и безъ прямого содѣйствія внѣшнихъ впечатлѣній, могутъ не только представлять намъ факты съ различныхъ точекъ зрѣнія, но и открывать намъ истины. Фактъ хотя и считается какъ бы за истину, но никто не называетъ математическія аксіомы фактами. Почему? Казалось бы, такой фактъ, какъ солнце на небѣ, такъ же точно истиненъ и неопровержимъ, какъ и всякая математическая аксіома. Да, есть дѣйствительно истинныя факты и фактическія истины; но фактъ все-таки не истина, и истина—не фактъ. Солнце на небѣ потому истинный фактъ, что всякій можетъ его повѣрить чувствами; но такая математическая (астрономическая) истина, что солнце и сегодня, и завтра, и цѣлые годы взойдетъ и зайдетъ въ извѣстномъ опредѣленномъ мѣстѣ на горизонтѣ, не требуетъ вовсе чувственной повѣрки; это основано и не на одной теоріи вѣроятности, а на знаніи и соображеніи, при участіи и всѣхъ другихъ умственныхъ способностей (памяти, фантазіи); основа этого знанія, правда, также фактическая; не выдавъ никогда солнца и звѣздъ, намъ не пришло бы на умъ и все устройство нашей планетной системы; но математическія вычисления до того различны отъ чувственныхъ наблюденій, что могутъ опредѣлить а ргіогі мѣсто для планетъ, еще не открытыхъ наблюденіями. Математическая аксіома, что двѣ величины,

равныя порознь третьей, равны между собою, хотя и наглядна, т.-е. можетъ быть объяснена чувственнымъ опытомъ, но, въ сущности, она основана на соображеніи, а не на опытѣ; чтобы понять ее, нѣтъ надобности имѣть предъ глазами извѣстныя величины. Фактъ уже и тѣмъ отличается отъ истины, что свойства его различны, а неизвѣстная намъ сущность истины всегда одна и та же. Только тотъ фактъ, который есть, былъ и будетъ, былъ бы истинною. Но такого мы не знаемъ; если же убѣждаемся въ необходимости или возможности и не-фактического существованія того, что всегда было и будетъ, то это убѣжденіе и есть для насъ истина, хотя очевидно не-фактическая. Очевидно также, что для убѣжденія въ такой истинѣ намъ недостаточно одного разсудка,—необходимо еще мощное содѣйствіе фантазіи.

Все высокое и прекрасное въ нашей жизни, наукѣ и искусствѣ создано умомъ съ помощью фантазіи, и многое—фантазіею при помощи ума. Можно смѣло утверждать, что ни Коперникъ, ни Ньютонъ, безъ помощи фантазіи, не приобрѣли бы того значенія въ наукѣ, которымъ они пользуются. Между тѣмъ нерѣдко и въ жизни, и въ наукѣ, и даже въ искусствѣ слышатся возгласы противъ фантазіи, и не только противъ ея увлеченій, но и противъ самой нормальной ея функціи. Для современнаго реалиста и естествоиспытателя нѣтъ большаго упрека, какъ то, что онъ фантазируетъ. Но, въ дѣйствительности, только тотъ изъ реалистовъ и эмпириковъ заслуживаетъ упрека въ непослѣдовательности, кто хотя на одинъ шагъ отступаетъ отъ указаній чувственного опыта, направляемаго и руководимаго умомъ и фантазіею. Вообще, доктрина, отдѣляющая искусственными перегородками функціи нашихъ умственныхъ способностей одну отъ другой, приводитъ къ тому, что мы и во всѣхъ нашихъ произведеніяхъ стремимся такъ же рѣзко отличать проявленія каждой изъ нихъ, какъ будто бы можно было умствовать, не воображая, и воображать безъ размысленія. Стоитъ только вспомнить, что самую простую выкладку чиселъ намъ нельзя сдѣлать, не приводя въ дѣйствіе и нашу память, и воображеніе, и разсудокъ, хотя намъ и кажется, что все наше я какъ бы погрузилось въ числа при выкладкѣ.

14-го января (1880 г.).

Всѣ эти дни морозъ въ 10^0 — 13^0 R.; только вчера сильная мятель при NW и— 4^0 R.; сегодня все еще вѣтрено (NW) при— 8^0 — 9^0 R.; но ясно, и много навѣяло снѣгу.

Все еще хочу себѣ доказать, что я не долженъ считать мое мировоззрѣніе однимъ продуктомъ досужей фантазіи, потому только, что оно не основано на прямомъ и непосредственномъ опытѣ. Не мнѣ, посвятившему всю жизнь, и именно самую лучшую часть жизни, раціональному эмпиризму, не мнѣ—говорю—отвергать значеніе опыта; но и не мнѣ сомнѣваться въ значеніи словъ перваго Иппократова афоризма: „*experientia fallax, iudicium difficile*“.

Когда лѣта не располагаютъ уже къ увлеченію, то начинаешь понимать, какъ легко можно увлечься не одними мечтами, но и тѣмъ, что такъ трезво, точно и положительно, какъ опытъ и фактъ. Есть вещи на свѣтѣ, къ которымъ и такое надежное средство, какъ опытъ, непримѣнимо, а между тѣмъ эти вещи—это вопросы жизни, безъ разрѣшенія которыхъ для себя, хотя бы приблизительно, умирать не хочется; а къ жизни обращаешься невольно съ упрекомъ, такъ хорошо прочувствованнымъ поэтомъ:

Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, на что ты мнѣ дана?

Да, оргія, грубѣйшія средства самозабвенія и, наконецъ, самоубійство, неминуемо стубятъ желающаго опытомъ разрѣшить загадку жизни. Правда, крѣпкіе, здоровые, положительные умы могутъ жить и прекрасно дѣйствовать, отбросивъ въ сторону всякую попытку къ разрѣшенію томительнаго вопроса жизни. Но горе той личности, которая возмечтаетъ о себѣ, что она-то и есть именно *esprit fort*, не нуждающийся въ разрѣшеніи подобныхъ вопросовъ. Аскетъ Филаретъ прекрасно, съ своей точки зрѣнія, возражалъ Пушкину на его упрекъ жизни, и именно потому прекрасно, что онъ (Филаретъ) уяснилъ себѣ не опытомъ жизненную проблему; и какъ бы это уясненіе ни было односторонне, оно мощнѣе, а главное—человѣчнѣе безсильнаго ропота на жизнь, что не раскрываетъ предъ нами своей тайны такъ, какъ бы мы это хотѣли. А

мы хотѣли бы, чтобы это было такъ же наглядно и осязательно, какъ ея чувственные и индивидуальныя проявленія.

Я полагаю, что всѣ мы, послѣдователи Веруламскаго Бэкона, придаемъ слишкомъ большое значеніе предложенному имъ (индуктивному) способу изслѣдованія. Этотъ способъ вовсе не какое-нибудь новое открытіе особой дѣятельности нашего ума. Въ обыкновенной жизни всѣ всегда и до Бэкона изыскивали и изслѣдовали индуктивнымъ способомъ; но никто, я полагаю, и ни самъ Бэконъ не считалъ этого способа единственно возможнымъ для открытія истины. Главная заслуга Бэкона это: *non li jurare in verba magistri*. Теперь же и это перестало быть заслугою, такъ какъ въ наше время не найдется ни одного ученика въ школѣ, которому бы понадобилось повторить это правило. Средневѣковая вѣра въ авторитеты замѣнена теперь извѣріемъ;—мы всѣ извѣрились въ себя самихъ; дѣти наши, сидя на школьныхъ скамьяхъ, глядя на учителей, уже успѣваютъ извѣриться. Это нельзя не признать слѣдствіемъ односторонняго упражненія ума по индуктивному способу; но избави насъ Богъ отъ такого, дедуктивнаго, которымъ учились *jurare in verba magistri*!

Такъ вотъ я опять хочу толковать о томъ, что если мы желаемъ сдѣлать наше міровоззрѣніе вліятельнымъ въ нашемъ нравственномъ бытѣ,—а это именно для меня сдѣлалось необходимостью,—то мы не должны основывать его на однихъ положительныхъ, чисто фактическихъ и чувственныхъ, данныхъ. Мы не должны ослѣплять себя кажущеюся основательностью тамъ, гдѣ идетъ дѣло объ одномъ представленіи или—вѣрнѣе—только о возможности представленія и о его уясненіи для себя; тутъ нельзя требовать ничего другого, какъ только того, чтобы въ этомъ представленіи не было явныхъ противорѣчій и чтобы оно было какъ можно менѣе несообразно, то-есть сообразовалось бы, сколько можно, съ нашими фактическими знаніями и не заключало бы въ себѣ болѣе противорѣчій, чѣмъ самыя эти знанія.

15-го января (1880 г.).

Вчера вечеромъ я ѣхалъ съ полевого тока. Было морозно и ясно. Я сидѣлъ въ савяхъ спиною къ заходящему солнцу.

Поля, покрытыя гладкою, какъ скатерть, снѣжною пеленою, освѣщались нѣжно-розовымъ, переходящимъ въ свѣтло-фіолетовый, свѣтомъ; полная, еще блѣдно-серебристая, луна поднималась изъ-за лѣса на зеленовато-голубомъ фонѣ. Игра и переливы цвѣтовъ изъ зеленоватаго въ палевый и свѣтло-голубой на горизонтѣ, и изъ розоваго въ блѣдно-фіолетовый, со множествомъ блестокъ на снѣгу, такъ обворовали меня, мнѣ дышалось студенымъ воздухомъ такъ легко и привольно, что я невольно началъ пародировать упрекъ жизни Пушкина и про себя шепталъ съ навернувшимися на глазахъ слезами:

Не случайный, не напрасный,
Даръ чудесный и прекрасный,
Съ тайной цѣлью данъ ты мнѣ?

Потомъ я пермѣнилъ этотъ экспромптъ такъ:

Не случайный, не напрасный,
Даръ таинственный, прекрасный,
Жизнь, ты съ цѣлью мнѣ дана!

И оттого что никто не могъ разгадать тебя, чудный даръ жизни, неужели мы должны упрекать тебя въ нелѣпой случайности, должны опошлять тебя, играть и не дорожить тобою! Насъ беретъ зло, что не хватаетъ силы раскрыть тайну дара, и мы со зла готовы хоть сейчасъ утверждать, что ни секрета, ни цѣли тутъ вовсе нѣтъ, что ларчикъ жизни открывается просто *per vaginam*, закрывается также легко—землею.

Мы привыкли съ самой колыбели къ жизни, и смотримъ потому на жизнь и на свѣтъ какъ на обыкновенныя, всеневныя вещи; это, конечно, наше счастье, хотя легкомысленное и пошленькое счастье. Но чтѣ было бы со всѣми нами, если бы умъ нашъ постоянно вникалъ и вдумывался въ самую суть насъ самихъ и всего окружающаго насъ? На каждомъ шагѣ мы встрѣчались бы лицомъ къ лицу съ непроницаемою, тяготящею надъ нами, тайною; на каждомъ шагѣ недоумѣніе и сомнѣніе отягчали бы наше раздумье. Чтѣ это за странное плаваніе и круженіе въ безпредѣльномъ пространствѣ тяготящихъ другъ къ другу шаровидныхъ массъ? Чтѣ это за непонятное существованіе безчисленныхъ міровъ, составленныхъ изъ однихъ и тѣхъ же вещественныхъ атомовъ и отдѣленныхъ на

вѣки одинъ отъ другого едва вообразимыми, по своей громадности, пространствами? Чтò значить эта безконечная разновидность формъ? А сдѣпленіе, тяготѣніе, сродство, постоянная вибрація атомовъ—развѣ всѣ эти обыденныя для насъ явленія—не тайны, скрытыя подъ научными именами? А эти такъ называемыя простыя тѣла, эти неразлагающіеся элементы, скопленные въ огромныхъ планетныхъ массахъ, развѣ они дѣйствительно—первобытные элементы? Откуда взялись бы они, откуда взялась бы планетная жизнь, если бы другіе, намъ невѣдомые, первобытные элементы не содержались въ общемъ, для насъ недостигаемомъ источникѣ—эириномъ хаосѣ? Чтò онъ такое, этотъ источникъ и вмѣстилище невѣдомыхъ началъ?

Чтò удивительнаго, если въ каждомъ изъ насъ, окруженныхъ со всѣхъ сторонъ и съ колыбели до могилы міровыми тайнами, существуетъ склонность къ мистицизму; если одни изъ насъ, при извѣстномъ настроеніи, дѣлаются легко мистиками и начинаютъ видѣть и находить сокровенныя тайны тамъ, гдѣ другіе, кружась безъ оглядки и устали въ водоворотѣ жизни,—все находятъ простымъ и яснымъ? И можно ли требовать отъ обитателей земли, одаренныхъ способностью живо представлять себѣ неосязаемое, чтобы они оставались всегда въ будничномъ настроеніи духа и мирились съ злобою дня, когда судьба, давъ имъ стремленіе къ предвидѣнію и силу воображенія, не дозволила отдаляться отъ земного жилища далѣе окружающей его воздушной оболочки, да и для пытавшихся подняться—превращаетъ небесную лазурь въ черную ночь?! Но если каждый листокъ, каждое сѣмячко, каждый кристалликъ напоминаютъ намъ о существованіи внѣ насъ и въ насъ самихъ таинственной лабораторіи, въ которой все неустанно само работаетъ для себя и для окружающаго, съ цѣлью и мыслью, то наше собственное сознаніе составляетъ для насъ еще болѣе сокровенную и вмѣстѣ съ тѣмъ самую безпокойную тайну. Есть, однако же, и еще болѣе завѣтная, но уже происходящая изъ нашего же сознанія: это—истина. Не безъ насмѣшки сдѣлалъ свой назойливый вопросъ римскій проконсулъ. Можетъ быть, именно за это и не послѣдовало отвѣта свыше. Да, истины не узнаешь, любопытствуя, чтò она за штука.

Разумѣется, я не говорю о такъ-называемыхъ научныхъ

истинахъ. Эти всѣ—и историческія, и естественно-историческія, и математическія, и юридическія—не болѣе какъ или истинные факты, или правильныя умозаключенія, добытыя логическимъ анализомъ и синтезомъ; или же формулы, диктуемыя жизнью, правами и потребностями общества. Такихъ истинъ много. Но есть истина—одна, цѣльная, высшая, служащая основаніемъ всего нашего нравственнаго быта. Напрасно утверждаютъ такіе историки, какъ Бокль, и съ нимъ большая часть новаго поколѣнія, что человѣчество обязано преимущественно развитію научныхъ истинъ въ обществѣ, а нравственныя вислолько будто-бы не содѣйствовали его преуспѣянію, то-есть прогрессу, счастью и благосостоянію. Я полагаю, напротивъ, что единство и цѣльность настоящей истины выступаютъ все болѣе и болѣе съ прогрессомъ человѣчества, хотя и трудно рѣшить, насколько оно въ общемъ итогѣ сдѣлалось лучше. Дѣйствительно, истина должна быть только одна: она—внѣ насъ и вмѣстѣ въ насъ самихъ, въ нашемъ сознаніи: конечно, не такъ ясная для насъ, какъ солнце, но, какъ свѣтовая волна далекаго солнца, освѣщаетъ нашъ нравственный бытъ. Чтò было бы этическое наше, или нравственное, начало, если бы вѣчная и цѣльная истина не служила ему основою? Безъ нея, безъ этой основы, не существовали бы для насъ и научныя истины, ибо не существовало бы въ насъ нравственнаго стремленія къ открытію истины. Каждый изъ насъ самый закоснѣлый въ преступленіяхъ, невольно стремится найти въ себѣ истину, и ищетъ предъ собою и предъ другими оправданія своихъ поступковъ. Правда, мы при этихъ оправданіяхъ запутываемся во лжи, стремяся не быть, а казаться; но это не доказательство противнаго, не доказательство тому, что въ насъ нѣтъ произвольнаго стремленія къ правдѣ. Все это:—и казаться, а не быть, и зданіе лжи, сооружаемое нами для оправданія нашихъ дѣйствій,—есть только искаженное стремленіе къ правдѣ, слѣдуя которому, мы все болѣе и болѣе удаляемся отъ правды, и это потому только, что попали на ложный путь. Наконецъ, доходитъ до того, что для насъ дѣлается и совсѣмъ невозможнымъ отличить правду отъ лжи. Тогда-то и рождается насмѣшливый вопросъ римскаго проконсула: чтò такое истина, какъ ее узнать, какъ отличить, гдѣ она? И какъ, въ самомъ

дѣлѣ, понятъ идеальнѣйшій изъ идеаловъ! Истина! Вѣдь это абсолютъ, это Богъ! Мы и не должны смѣть когда-нибудь ее постигнуть.

Но невозможность достиженія не есть отрицаніе стремленія къ ней. Это стремленіе, данное намъ свыше, есть наше драгоцѣннѣйшее достояніе. Глубоко затаено въ насъ если не убѣжденіе, то чувство, напоминающее намъ, что безъ стремленія къ правдѣ нѣтъ полного счастья. Посмотрите, какъ это влеченіе, заглушенное страстями, бѣдствіями, тѣмъ, что называется судьбою и случаемъ, и ложнымъ направленіемъ, проявляется въ другомъ видѣ, не имѣющемъ, повидимому, ничего общаго съ влеченіемъ къ основѣ нашего нравственнаго бытія. Увлеченіе въ преслѣдованіи цѣлей, основанныхъ на неправдѣ, не уничтожаетъ еще въ насъ стремленія къ открытію истинныхъ фактовъ или научныхъ истинъ, и вотъ, удовлетворяя съ этой одной стороны наше стремленіе къ правдѣ, мы именно поэтому и не заботимся иногда удовлетворить вполне другой, высшей его стороны. Точно также великіе, но безнравственные гении, завоеватели и государи, попирая ногами правду, легко убѣждаютъ себя въ правотѣ своихъ дѣйствій, потому что у нихъ стремленіе къ истинѣ находитъ удовлетвореніе въ достигаемыхъ ими грандіозныхъ результатахъ; а результаты эти, дѣйствительно, содѣйствуютъ къ открытію и распространенію различныхъ фактическихъ истинъ. Все это иллюзіи, неразлучныя съ нашимъ существованіемъ. Истина такъ свѣтла, что безъ иллюзій одно только стремленіе къ ней ослѣпило бы уже насъ; поэтому ложь сдѣлалась неизбежною для насъ при непреодолимомъ влеченіи къ истинѣ. Не зная, что она такое, но неудержимо стремясь къ ней по присущему намъ всѣмъ влеченію, мы, къ счастью и несчастью нашему, должны жить постоянно въ иллюзіи и смѣнѣ галлюцинацій. Эта неизбежность служить намъ смягчающимъ обстоятельствомъ передъ судомъ совѣсти; но она не уничтожаетъ еще въ насъ окончательно способности приходить въ себя и разубавлять наши иллюзіи и галлюцинаціи. Галлюцинируя до чертиковъ, было бы отвратительно, нелѣпо полагать, что вовсе нѣтъ этой единой, общей и цѣльной истины; что только пріобрѣтенные чувствами факты и выведенныя изъ нихъ умозаключенія суть истины; всякая

же другая правда есть понятіе относительное и временно обязательное pro domo sua. Думая такъ, мы превратили бы наши иллюзіи изъ ширмъ, охраняющихъ насъ отъ нестерпимаго свѣта истины, въ темную, непроглядную ночь.

Все это писано до 29-го января (1880 г.). Въ эти дни разгулялся мой кишечный катарръ не на шутку. Все полнолуніе стояла ровная, тихая, ясная погода съ -10^0 — -12^0 R. утромъ и ночью, и до $0+1$ —среди дня. Солнце уже порядочно грѣетъ. Это самая опасная вещь для меня и, я думаю, для всѣхъ страдающихъ кишечнымъ катарромъ: на прогулкахъ на солнцѣ легко приходишь въ испарину, а въ тѣни остужаешься также скоро. Впрочемъ съ 25—26 января барометръ опустился, стоитъ иней, туманъ и отъ -5 до $+2^0$ R.

28 января 1880.

Катарръ мой нѣсколько улегся. Послѣ моего любимаго раствора соляно-кислаго хинина въ мятной водѣ (принявъ его до 10 гранъ) чувствую себя не худо, и послѣ прогулки по комнатамъ пришелъ въ легкую испарину.

Сегодня небо безоблачно, до 10^0 R. мороза, тихо.

Какое-то *dolce far niente*. Въ ушахъ шумъ, но не отъ одного хинина, а только имъ усиленный обычный мой шумъ, вовсе не докучливый—какъ будто слышишь отдаленный вечерній гулъ съ улицъ большого города. Въ головѣ калейдоскопъ мыслей, *in statu nascente*; одна быстро смѣняетъ другую; прошедшее мѣняется настоящимъ безъ остановки. Вниманію не удается поймать и фиксировать ни одной мысли, а между тѣмъ дѣйствуютъ и вниманіе, и мышленіе, и фантазія, и память,—всѣ въ одно и то же время. Значить, у меня, какъ и у всѣхъ, я думаю, и въ здоровомъ, и въ ненормальномъ состояніи,—ни одна изъ этихъ способностей не дѣйствуетъ порознь; мое я теперь играетъ какъ по клавишамъ, слегка дотрогиваясь то до памяти, то до воображенія, то до разсудка. Только въ настоящую минуту мое я, дотрогиваясь до каждаго изъ этихъ своихъ клавишей, слабо извлекаетъ изъ нихъ и неясные, хотя и не вовсе несвязные тоны. Такое состояніе имѣетъ свою прелесть; это именно и есть *dolce far niente* нашего я.

Пробѣгая записанное въ послѣдніе дни, вижу, что заговорилъ объ иллюзіяхъ. Да, эти ширмы, какъ я ихъ назвалъ, — наши талисманы. Человѣкъ, слѣдящій за собою, легко пойметъ, какую услугу онъ ему оказываютъ, и, зорко наблюдая за собою, не дозволить имъ слишкомъ затемнять путь, указываемый присущимъ ему — и потому непреодолимымъ — влеченіемъ къ истинѣ.

30-го января 1880.

На дворѣ *idem*. Свѣтло, тихо; температура утромъ — 12° R.; на солнцѣ въ серединѣ дня — до 0 и выше.

Все разъясняется, все дѣлается понятно, — умѣй только хорошо обращаться съ фактомъ, умѣй зорко наблюдать, изощрай чувства, научись правильно наблюдать; тогда исчезнуть предъ тобою чудеса и мистеріи природы, и устройство вселенной сдѣлается такимъ же обыденнымъ фактомъ, какимъ сдѣлалось теперь для насъ все то, что прежде считалось недоступнымъ и сокровеннымъ. Такое убѣжденіе съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе проникаетъ въ сознаніе не только передовыхъ людей, жрецовъ науки, но и цѣлыхъ массъ. И это есть одна изъ главныхъ современныхъ наиболѣе благодѣтельныхъ и полезнѣйшихъ иллюзій. Эта иллюзія полезна уже и тѣмъ, что направляетъ всѣ наши умственные силы на предметы, подлежащіе самому точному чувственному анализу и изслѣдованію, не давая увлекаться тѣмъ, что навсегда для насъ должно остаться заповѣдною тайною. Чѣмъ спеціальнѣе, чѣмъ ограниченнѣе предметъ нашего изслѣдованія, тѣмъ болѣе надежды на точный и ясный результатъ, тѣмъ сильнѣе иллюзія и тѣмъ спокойнѣе и отраднѣе чувствуетъ себя посвятившій все свое вниманіе и время изслѣдованію. Углубившись и посвятивъ цѣлую жизнь занятіямъ по этому способу разслѣдованія, мы, наконецъ, приходимъ и къ тому убѣжденію, что на сценѣ нашихъ дѣйствій нѣтъ ничего закулиснаго, и кажущееся скрытымъ за кулисами существуетъ только для того, кто не хочетъ или не умѣетъ зорко взглянуть. А между тѣмъ, если подумаешь и разберешь, не увлекаясь ни поразительнымъ величіемъ разныхъ открытій, ни громадностью добытыхъ эмпири-

ческимъ разслѣдованіемъ результатовъ, въ чемъ состоятъ вся суть приобрѣтенныхъ нами этимъ способомъ знаній, то не трудно убѣдиться, что мы узнаемъ исключительно одну внѣшнюю сторону окружающаго насъ міра и насъ самихъ.

Однихъ изъ насъ исключительно занимаетъ механизмъ явленій, устройство, составъ и дѣйствіе различныхъ приборовъ и снарядовъ жизни и ея формы; другіе занимаются прикладною, и потому также только внѣшнею, стороною жизни. Этимъ способомъ наши знанія и понятія о міровой жизни несомнѣнно обогащаются; внѣшняя ея сторона подвергается разсмотрѣнію съ разныхъ сторонъ; но остается также, какъ и прежде, какъ и всегда, несомнѣннымъ, что *in's Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist*. Вотъ это-то тяжелое для нашего сотвореннаго духа сознаніе мы и притупляемъ благодѣтельною иллюзіею, приковывающею все наше вниманіе къ внѣшней сторонѣ міровой жизни.

Кому изъ людей, занятыхъ изслѣдованіемъ фактическихъ истинъ и практическою жизнію, придетъ въ голову размышлять о сущности вещей? Кто изъ людей, занятыхъ практическимъ дѣломъ, повѣритъ, что эта сущность вещей вовсе не то, что передается намъ чувствами? Все кажется простымъ тому, кто привыкъ просто смотрѣть на все. Да научнаго изслѣдователя и интересуется всего болѣе вопросъ: какъ, а не почему? Мы видимъ, что листъ растетъ, наблюдаемъ, какъ онъ растетъ, узнаемъ устройство и составъ клѣтокъ, слѣдимъ шагъ за шагомъ за раздѣленіемъ и размноженіемъ клѣтокъ; весь механизмъ растительнаго процесса открывается намъ какъ на ладони. Но что заставляетъ расти именно такъ, а не иначе? Что заставляетъ растение и животное принимать тотъ или другой характерный видъ? Отчего сѣмя и яйцо заключаютъ въ себѣ зародышъ именно того же типа и вида, отъ котораго они произошли? Что привлекаетъ и роднитъ щелочь съ кислотою? Что сдѣпляетъ атомы? Что заставляетъ притягиваться одно тѣло къ другому? Отчего мышечное движеніе переходитъ въ теплоту, а теплота—въ движеніе? Отчего сотрясеніе атомовъ возбуждаетъ въ насъ ощущеніе теплоты? Всѣ эти и тысячи другихъ вопросовъ, не разрѣшимыхъ по нашему незнанію сущности вещей, показываютъ, что мы окружены тайнами; и если

всѣ эти тайны не считаются нами за чудеса, то потому только, что мы съ ними встрѣчаемся на каждомъ шагѣ. Мы называемъ ихъ не чудесами, а явленіями, основанными на естественныхъ законахъ, не зная, откуда взялись они. Встрѣчая же что-нибудь, хотя и гораздо менѣе чудесное, но не ежедневное и не обычное, мы не задумываемся тотчасъ же сомнѣваться и не вѣрить, или же слишкомъ вѣрить и считать его за чудо. Таковы наши иллюзіи—и слава Богу! Безъ нихъ нестерпимо было бы жить въ этомъ таинственномъ мірѣ, окруженными заколдованнымъ кругомъ, изъ котораго нѣтъ выхода.

8-го февраля 1880.

Всѣ эти дни, при новолуніи, послѣ 2-хъ-дневной небольшой оттепели (при $0 + 2^{\circ}$) начались такъ называемые срѣтенскіе морозы въ $25 - 30^{\circ}$ и продолжаются теперь. Солнце на лѣто, зима на морозъ. Ъздилъ къ больному въ Кишиневъ: въ одномъ вагонѣ было натоплено до $+18^{\circ}$ R., а когда ѣхалъ назадъ, то въ курьерскомъ поѣздѣ доходило до $-2 - 3^{\circ}$.

Но такъ ли все это? Не иллюзія ли, въ свою очередь, то, что будто есть еще какая-то невѣдомая и подлежащая разслѣдованію сущность вещей? Не есть ли эта сущность именно то только, чтѣ намъ дѣлается извѣстнымъ посредствомъ опыта и наблюденія? Не устроены ли и не приноровлены ли наши чувства отъ природы именно къ тому, чтобы мы узнавали вещи такими, какими онѣ въ сущности должны быть? *Sensus nos fallunt*—не есть ли только одно *asylum ignotantiae*? Нужно только умѣть дѣйствовать чувствами, приучить и изощрить ихъ; нужно умѣть правильно истолковывать и уяснять себѣ доставляемые чувствами ощущенія, и чувства насъ никогда не обманутъ.

Въ этихъ возраженіяхъ есть доля правды; но только доля.

Во-первыхъ, мы судимъ о нашихъ чувствахъ и доставляемыхъ ими результатахъ не иначе какъ субъективно и индивидуально. Повѣрка основана только на круговой поруцѣ. Судьями чувственной правды и неправды остаются все тѣ же чувства. Чтѣ сегодня казалось всѣмъ неоспоримымъ по чувственному опыту, то завтра этимъ же опытомъ можетъ быть опровергнуто.

Есть граница изощренія чувствъ, и чѣмъ болѣе изощряется одно чувство, тѣмъ легче ошибка, тѣмъ невозможнѣе повѣрка его другимъ чувствомъ. Наконецъ, какъ бы чувства мои ни были изощрены и приноровлены, все-таки для меня останется неразрѣшеннымъ вопросъ: чтѣ такое наблюдаемый мною предметъ безъ меня? Я узнаю каждый предметъ только по производимому имъ на меня впечатлѣнію и ощущенію. А ощущеніе безъ моего я для меня невысказуемо. Между тѣмъ для меня остается несомнѣннымъ, что каждый изслѣдованный мною предметъ можетъ и будетъ существовать и безъ меня. Чтѣ же онъ тогда такое? Но сверхъ этого, очевидно, неразрѣшимого вопроса, сущность вещей, — *das Ding an (und) für sich selbst*, — должна быть для насъ чѣмъ-то другимъ, а не тѣмъ, чтѣ передаютъ наши чувства, еще и потому, что всѣ наши чувственные и умственные представленія о вещахъ, — какъ бы эти представленія ни были отчетливы и ясны — никогда не дадутъ намъ всесторонняго понятія даже о самой высшей сторонѣ изслѣдуемаго нами предмета. Да если бы мы могли проникнуть въ сущность предметовъ, хотя бы съ одной ихъ чувственной стороны, мы знали бы, чтѣ такое сила и чтѣ такое матерія; а если бы мы могли себѣ представить вещи какъ онѣ есть сами по себѣ, безъ помощи нашихъ чувствъ — т.-е. не только такими, какими онѣ намъ кажутся, — то мы поняли бы и тайну творенія, и мистеріи творчества. Для насъ же не только это недостижимо, но и то невозможно, чтобы каждый предметъ подвергнуть анализу всѣхъ нашихъ чувствъ; міриады вещей еще намъ неизвѣстны; міриады останутся навсегда и вовсе неизвѣстными; а представленія наши о тѣхъ предметахъ, которые можно еще открыть и изслѣдовать искусственнымъ изощреніемъ чувствъ, — какъ бы они ни казались намъ ясными, — все-таки не болѣе какъ призраки, туманныя картины и отголоски, нерѣдко увлекающіе умъ въ непроходимый лабиринтъ предположеній и иллюзій.

Вторая благотѣльная для насъ иллюзія есть наше непоколебимое убѣжденіе въ свободѣ нашей воли, мысли и совѣсти. Безъ этого дорогого для насъ убѣжденія нравственная жизнь была бы невозможною, да и проявленія физической жизни встрѣчали бы безпрестанно препятствія въ насъ же са-

михъ. Не легко разубѣдить себя въ томъ, что я не могу не хотѣть, чего желаю, не могу не желать того, что свойственно желать моимъ душевнымъ и умственнымъ способностямъ. Мысль моя не можетъ проявляться внѣ извѣстныхъ и опредѣленныхъ законовъ мышленія, не рискуя превратиться въ безсмысліе. Моя совѣсть требуетъ отъ меня только того, что я считаю совѣстнымъ (нравственнымъ); а если поступаю вопреки исповѣдуемыхъ мною законовъ совѣсти, то потому, что она сдѣлалась у меня не-свободною. Впрочемъ, можно утверждать только то, что ни воля, ни мысль, ни совѣсть чловѣка не произвольны, но свободны въ границахъ, опредѣленныхъ извѣстными органическими и психическими законами. Произволъ и свобода — конечно, не равнозначіи слова. Такъ точно не равнозначіи воля и желаніе. Я хочу и желаю — два разные понятія. Но ни желанія, ни хотѣнія наши не могутъ быть произвольными, хотя и кажутся намъ такими. Я желаю въ эту минуту чего-нибудь, потому что внутреннія мои или органическія (доставляемыя органами) ощущенія и всѣ предшествовавшія обстоятельства и условія заставляютъ меня желать именно этого, а не чего-нибудь другого; я могу перемѣнить мое желаніе или заставить его молчать, но только когда моя воля еще не ослабла подъ игомъ разныхъ желаній и другихъ ненормальныхъ условій. Воля должна быть, въ нормальномъ состояніи, всегда сильнѣе желаній. Воля всегда дѣятельна и управляетъ дѣйствіями. Поэтому-то я могу желать что-либо доброе, и въ то же время хотѣть что-либо худое. Только чисто физическія препятствія могутъ воспрепятствовать дѣйствіямъ сильной или нормальной воли. Въ ней, дѣйствительно, есть склонность къ произволу; но все-таки и воля не можетъ быть непропорціональна по своей силѣ съ органическою энергіей нашего я. Я могу желать поднять мою руку, но моя воля и слѣдующее за ней дѣйствіе ограничены способностью передавать мою волю рукѣ, и если она парализована, то, при всемъ моемъ желаніи ее поднять, дѣятельнаго хотѣнья не будетъ. Мнѣ, можетъ быть, еще не разъ придется въ моемъ дневникѣ затрогивать этотъ жгучій вопросъ.

Третья иллюзія нашей психической жизни, не менѣе благо-

творная двухъ первыхъ, зависитъ отъ непослѣдовательности нашего ума и фантазіи.

Чистый разумъ, т.-е. взятый въ отдѣльности отъ другихъ психическихъ способностей, конечно не можетъ быть непослѣдовательнымъ. Но мы не можемъ умствовать такъ, чтобы дѣйствовалъ одинъ чистый разумъ; умствуя, мы въ то же время внимаемъ, помнимъ, воображаемъ, желаемъ и нерѣдко еще (въ практической жизни) волнуемся и увлекаемся тою или другою страстью. Поэтому умъ нашъ, послѣдовательный по принципу, на практикѣ почти всегда непослѣдователенъ. И это наше счастье и наше несчастье.

И вотъ, умъ нашъ, въ силу присущей ему послѣдовательности, при каждомъ міровоззрѣніи непремѣнно долженъ придти къ принятію безконечнаго и безграничнаго, что бы онъ ни разсматривалъ: пространство ли, время ли, движеніе ли, силу, вещество, — всегда онъ долженъ, наконецъ, дойти до безконечности, неограниченности, вѣчности, хотя и никогда не можетъ составить себѣ объ этихъ атрибутахъ какого-либо опредѣленнаго и яснаго понятія. И никакая сила умствующей фантазіи не можетъ представить намъ какой-либо обликъ той безконечности, до предѣловъ которой умъ нашъ доходитъ роковымъ образомъ съ присущею ему послѣдовательностью. Это неоспоримое существованіе безконечнаго, безпредѣльнаго и вѣчнаго начала, до котораго нашъ умъ и фантазія роковымъ образомъ достигаютъ, разсматривая конечное, ограниченное и временное, не есть одинъ чувству подлежащій фактъ, но стоитъ выше всякаго факта, ибо оно есть непремѣнный постулатъ чистаго разума, переносимый имъ же и въ область фантазіи. Между тѣмъ, и разумъ, и умствующая фантазія въ практической жизни безпрестанно заняты созерцаніемъ различныхъ видоизмѣненій всего окружающаго насъ, и эти-то безпрестанныя измѣненія въ пространствѣ, времени, движеніи, силѣ и веществѣ постоянно и противорѣчатъ послѣдовательнымъ заключеніямъ чистаго разума и заставляютъ насъ вездѣ и во всемъ насъ окружающемъ находить одно лишь временное, ограниченное и опредѣленное. Вотъ это и есть иллюзія, приносящая намъ счастье и несчастье; но вообще болѣе благотворная потому, что она заставляетъ насъ сосредоточивать всѣ наши

умственные силы на разслѣдованіи измѣненій, совершающихся внѣ насъ въ безграничномъ пространствѣ и времени. Безъ этой вынужденной непослѣдовательности ума и безъ этой вносимой ею иллюзіи дѣятельность нашего ума и фантазіи терялась бы для насъ, погруженная въ безплодное созерцаніе недоступной безконечности.

12 февраля 1880.

Съ 9-го по 12-е февраля 1880 г., послѣ 3-хъ-дневной оттепели (съ $+4^{\circ}$ R. и болѣе) снова морозъ въ 7° R. (12 F.), а 13-го и 14-го февраля наступила ясная, прелестная погода съ -4° , при совершенномъ безвѣтріи.

Дышется легко, и дышалось бы еще легче, если бы не событіе 5-го февраля, дошедшее до насъ съ своими ужасающими подробностями только 9—10-го февраля.

Я не вѣрю, чтобы русская наша доморощенная молодежь — насколько я ее знаю — въ состояніи была, безъ опытныхъ руководителей, дѣйствовать съ такою дьявольски-энергическою выдержкою. Это ни прежде, ни теперь не въ нашемъ духѣ. На это мастера романскіе народы, а изъ славянскаго племени развѣ одни поляки, искусившіеся въ заговорахъ.

Событія послѣдняго времени доказываютъ существованіе плотно организованной и притомъ дѣйствующей послѣдовательно подпольной организаціи, располагающей средствами и преслѣдующей извѣстный планъ. Гдѣ точка опоры? Вотъ вопросъ; едва-ли въ одномъ нашемъ обществѣ, т.-е. въ нѣкоторыхъ его слояхъ; едва-ли главные руководители съ ихъ подпольными пружинами не находятся внѣ нашего общества; для него это что-то уже слишкомъ забористое и слишкомъ злодемонски устроенное. Нашъ домашній демонъ не такъ золь и въ своемъ злѣ не такъ энергиченъ и послѣдователенъ. Тутъ кроется организація въ родѣ той, которая учреждена была у итальянскихъ карбонаріевъ и въ польскомъ жондѣ. Это не наше, — или же наше новое поколѣніе чертовски измѣнилось въ послѣдніе періоды нашего развитія.

Между тѣмъ я замѣтилъ, что это ужасное событіе, заставившее меня и жену долго призадуматься и какъ-то внутренно

взгрустнуть, повидимому, не произвело въ окружающихъ насъ людяхъ того потрясающаго впечатлѣнія, котораго нужно бы было ожидать. Евреи, правда, болтали разныя нелѣпости; но въ народѣ, крестьянахъ, не слышно было толковъ и не замѣтно было живого участія. Вотъ это-то безучастіе, близкое къ равнодушію, и досадно, и печально. Но кого винить? Общество сверху до низу приучено вѣками къ индифферентизму, и вотъ, при начавшемся его развитіи, къ которому его толкала высшая власть, эта поскудная наша безразличность начала исчезать прежде всего въ поколѣніи недозрѣломъ и притомъ, еще на бѣду, замѣнилась какою-то злою мономаніею. Надо же было случиться, чтобы царствованіе добраго государя, успѣвшаго уже въ 25 лѣтъ сдѣлать свое имя безсмертнымъ въ исторіи развитія Россіи, открыло широкое поприще для гибельнаго зла и неслыханныхъ преступленій и изступленій мысли!

Но не значить ли это, что въ теченіе многихъ лѣтъ скопился въ тайникахъ общества матеріалъ, способный, при первомъ же дуновеніи свободы, воспламенаться и причинять разрушеніе?

Почему при первой зарѣ новой жизни народа не появились на Божій свѣтъ равные этому злу по силѣ, но противоположные по стремленію общественные элементы? Вотъ вопросъ.

Едва-ли снѣ не рѣшается тѣмъ, что не было достаточно приложено усилія къ трезвому анализу разныхъ стремленій и поддержкѣ тѣхъ, на внутренній антагонизмъ которыхъ, въ борьбѣ со зломъ, можно бы было опереться. Стричь подъ одинъ гребень—это извѣстная замашка неразвитыхъ, неопытныхъ и грубыхъ лицъ и обществъ. Искусство анализировать, умѣнье отыскать въ каждой особи хорошую сторону и воспользоваться ею не только при случаѣ, а потомъ швырнуть въ сторону или заковать въ цѣпи,—все это, я знаю, не легко; но безъ этого нельзя и ожидать ничего путнаго, и лучше не вливать вина новаго въ мѣхи старые.

Есть періоды въ исторіи народовъ, когда неминуемо, роковымъ образомъ они призываются логикою фактовъ къ новой жизни, и правительства волею и неволею должны бывать

отступать отъ консерватизма. Если правители не подстерегли, такъ сказать, благопріятнаго момента для реформъ и нововведеній, и вынуждены были обстоятельствами дать ихъ не въ пору, пропустивъ время, то всё вредные, перезрѣвшіе и недозрѣвшіе элементы общества приходятъ легко въ броженіе; и результатъ отъ нововведеній, какъ бы они благотворны ни были, получается неожиданно плохой. Въ здоровомъ народномъ и государственномъ организмѣ эти худыя слѣдствія не могутъ быть долговременны. Броженіе уляжется, и все снова заживетъ уже обновленною жизнію.

Всѣ реформы нынѣшняго (1880 г.) царствованія, по моему мнѣнію, къ сожалѣнію опоздали. Эманципация должна бы была совершиться задолго до 1848 года, когда въ Европѣ все было тихо, и социализмъ не поднималъ еще головы, а финансы наши были въ хорошемъ состояніи; у насъ царствовала тишь и гладь, да Божья благодать; всѣ сословія покорствовали одной твердой волѣ, первенствовавшей и на всемъ континентѣ. Въмѣсто того—освобожденіе крѣпостныхъ, а потомъ и другія, необходимо слѣдовавшія за этимъ актомъ, реформы припелись въ самую неблагопріятную пору: съ одной стороны, несчастная война, обнаружившая страшную неурядицу и злоупотребленія администраціи (военной и гражданской); позорный миръ; съ другой стороны, общее внутреннее глухое и затаенное недовольство во всѣхъ почти слояхъ общества отъ тяжелыхъ и стѣснительныхъ мѣръ, слѣдовавшихъ послѣ революцій въ Европѣ 1848 года; сильно разстроенные войною финансы; польское возстаніе; усиленная агитация эмигрантовъ, возбуждавшая сочувствіе во всей молодежи и даже въ правительственныхъ лицахъ. Можно ли найти болѣе опасное время для одной изъ радикальнѣйшихъ реформъ государства? И между тѣмъ ее нельзя уже было откладывать, она уже и то была запоздавшая. И вотъ, по необходимости, сорвана Соломонова печать съ стеклянки съ закупоренными дѣлами; они вылетѣли не въ-время и не влѣзаютъ, по приказанію волшебника, опять въ стельянку. Мало того, эти дѣла—и между ними, конечно, много было и злыхъ—временно оказались нужными. При ихъ помощи нѣкоторые изъ сдѣлавшихся почему-то—не почему-то, а по успѣху—знаменитыми, эманципировали крестьянъ въ за-

падныхъ губерніяхъ, въ смутное время польскаго возстанія; да эти дѣхи, несомнѣнно, и теперь еще (1880 г.) бродятъ въ этихъ провинціяхъ въ видѣ разныхъ субалтерновъ премудрой администраціи. Теорія высшей администраціи, конечно, была остроумна: воспользоваться свободными силами, хотя и неблагонадежными, а потомъ уволить ихъ въ безсрочный отпускъ. Вѣдь святыя и на чортѣ верхомъ ѣздили. Но на практикѣ оказалось, что новѣйшіе дѣхи упорнѣе и несговорчивѣе чорта старыхъ временъ; лишь только ихъ пустили въ ходъ, они и сами пустили корни. Обо всемъ этомъ я хотѣлъ-было—и буду—говорить впослѣдствіи, при случаѣ; но не удержался и теперь; отвратительно гнусное событіе 5-го февраля (1880 г.) вывело меня изъ колеи, и я по-неволѣ заговорилъ не у мѣста. Возвращусь поскорѣе къ моему свѣтлому и утѣшительному міровоззрѣнію.

Дѣйствительно ли, однако, все такъ, какъ я думаю?

Не иллюзія ли именно то, что непостижимо для насъ: безпредѣльность, безконечность и вѣчность? Начало и конецъ, рожденіе и смерть мы встрѣчаемъ и сознаемъ на каждомъ шагѣ. Все наше существованіе на землѣ—въ непрерывной зависимости отъ вещей, опредѣленныхъ, конечныхъ и временныхъ. Наши главные средства къ познанію вещей—чувства—устроены исключительно для опредѣленія и измѣренія границъ пространства, времени и движенія. Гдѣ же тутъ иллюзія? Да, самое лучшее для насъ не сознать тутъ иллюзіи и, не созная ея, дѣйствовать; это практично, и убѣждать себя, что мы дѣйствуемъ, живя въ мірѣ иллюзій, ни къ чему не ведетъ, или же ведетъ скорѣе къ худу, чѣмъ къ добру. Все это такъ; но мнѣ стѣитъ только поднять глаза кверху, посмотрѣть на небо,—и безпредѣльность дѣлается неопровержимымъ фактомъ; стѣитъ только подумать о мірозданіи и содержимомъ въ немъ веществѣ и силѣ,—и мысль о вѣчномъ, неизмѣнномъ началѣ невольно является и поражаетъ своею бездонною глубиною. Если же безграничное и вѣчное есть не только постулатъ разума, но и самый громаднѣйшій фактъ, то какъ согласить существованіе ограниченнаго и временнаго съ этимъ фактомъ? Тутъ-то и кроется иллюзія; ограниченными, опредѣленными и

временными кажутся намъ одни лишь проявленія безграничнаго и вѣчнаго начала, да и въ нихъ ограничены и временны одни только видоизмѣненія. Проявленія эти, по причинѣ вѣчнаго движенія и непрерывнаго перехода силъ и вещества однихъ въ другія, не могутъ быть постоянно одними и тѣми же. Вселенная—это громадный, вѣчно вращающійся калейдоскопъ; фигуры непрерывно измѣняются, но движущая его мысль и сила вѣчны и неизмѣнны.

Итакъ, мой умъ и фантазія, по-моему никогда не разлучные, убѣждаютъ меня въ существованіи безконечнаго и вѣчнаго начала. Безъ фантазіи и умъ Коперника и Ньютона не далъ бы намъ міровоззрѣнія, сдѣлавшагося достояніемъ всего образованнаго міра. Ничто великое въ мірѣ не обходилось безъ содѣйствія фантазіи. Къ ней же, къ умствующей фантазіи, нужно обратиться и за рѣшеніемъ неразрѣшимаго вопроса объ отношеніи вещества къ этому безгранично вѣчному вселенскому началу.

И я утверждаю, что въ умственномъ анализѣ, вспомоществуемомъ фантазіею, вещество улетучивается, такъ сказать, и вмѣсто его атомовъ въ воображеніи остается сила. Чтò она такое—мы также не знаемъ, какъ не знаемъ и чтò такое основные атомы вещества. Одно только для меня неоспоримо, что и эта воображаемая основная сила, и эти воображаемые основные атомы не имѣютъ и не могутъ имѣть тѣхъ же чувственныхъ свойствъ, которыя опытъ, наблюденіе и наука открываютъ въ окружающей насъ вселенной. Эта основная сила и основное вещество—такое же отвлеченіе, какъ и міровая мысль и начало жизни; но отвлеченіе, проявляющееся въ умѣ, произвольно и неминуемо при размышленіи и воображеніи; умъ произвольно—скажу, пожалуй: безсознательно (хотя это, повидимому, нелѣпость)—находитъ самого себя и свойственное ему стремленіе къ цѣли и плану внѣ себя. Это его свойство. Но онъ обладаетъ этимъ свойствомъ именно потому, что оно существуетъ и внѣ его, въ цѣлой вселенной; потому, другими словами, что онъ самъ есть только одно проявленіе другого, высшаго мірового ума.

16 февраля 1880.

Уже четыре дня стоит утрари морозъ въ 4—2° R., въ срединѣ дня до 0° R., ясно; вчера былъ утромъ снѣгъ. Подъ снѣжнымъ покровомъ земля подъ посѣвами оказалась при пробѣ (на дняхъ) замерзшею на нѣсколько дюймовъ, несмотря на глубокий (мѣстами въ одинъ аршинъ) снѣжный слой и несмотря на то, что снѣгъ выпалъ осенью на талую землю; онъ не сходилъ однакоже ни разу зимой до сихъ поръ. Погода стоитъ, повидимому, отличная для ходьбы, но вѣроломная. Дуетъ такъ называемый здѣсь марецъ, провзительный съ юго-запада и сѣверо-запада вѣтеръ (S, W, N, W), при начинающейся веснѣ; онъ проникаетъ до костей, несмотря на то, что S и W, а солнце между тѣмъ уже сильно грѣетъ.

Я въ 1860 году схватилъ сильную болѣзнь въ эту пору (въ концѣ февраля) съ перемежающимся тифомъ. Поэтому я страшно боюсь февральскаго вѣроломства; не знаешь, какъ одѣться, выходя пѣшкомъ изъ дому; въ шубѣ на солнцѣ какъ разъ вспотѣешь, а тутъ гдѣ-нибудь на поворотѣ прохватитъ марецъ. Недаромъ его бояться и посѣвы; бѣда, если они откроются изъ-подъ снѣга въ то время, когда дуетъ марецъ; въ прошломъ году на посѣвы, подвергшіеся въ февралѣ вѣтрамъ, страшно было смотрѣть; зелень вся пропала и поля почернѣли вскорѣ послѣ того, какъ вышли изъ-подъ снѣга; потомъ только поправились немного отъ выпавшаго мокраго снѣга.

Я все толкую въ моемъ міровоззрѣніи о міровомъ умѣ, о міровой мысли. Да гдѣ же міровой мозгъ? Мысль безъ мозга и безъ словъ! Развѣ это не абсурдъ въ устахъ врача? Но пчела, муравей—думаютъ же безъ мозга, и все животное царство развѣ не мыслить безъ словъ? Вольно намъ называть мыслию только одну человѣческую, мозговую, словесную и человѣчески-сознательную мысль! А она для меня есть только проявленіе общей мысли, распространенной всюду, творящей и управляющей всѣмъ. Самъ мозгъ и само слово, считаемое нами за органъ и условіе мысли, суть произведенія этой міровой мысли,—и, конечно, не случайныя. Если для неизвѣстной намъ цѣли было необходимо устройство организмовъ, то, конечно, творческая мысль должна же была найти для выраженія себя со-

знаніемъ и словомъ какой-либо субстрактъ, наиболѣе приспособленный къ цѣли, и этимъ субстрактомъ для человѣка и высшихъ животныхъ оказался мозгъ. Почему для человѣческаго мышленія понадобились именно не другія, а мозговые извилины, клѣтки, узлы и волокна—мы не знаемъ, точно также какъ не знаемъ, почему нужно было твореніе существующихъ, а не иныхъ какихъ животныхъ типовъ; мы не можемъ этого знать именно потому, что и устройство нашего органа мышленія, и твореніе типовъ суть произведенія высшей, міровой, для насъ по однимъ только ея проявленіямъ доступной, мысли. Открывая на каждомъ шагѣ внѣ насъ мысль несознательную, въ нашемъ смыслѣ, мы невольно привыкаемъ считать ее за свою собственную, человѣчески-сознательную.

Между тѣмъ мы достовѣрно теперь знаемъ, что въ нашихъ дѣйствіяхъ, и преимущественно въ дѣятельности органа зрѣнія, значительно участвуетъ безсознательное мышленіе; безъ него мы не могли бы ощущать и представлять себѣ видимые нами предметы такими именно, какъ они намъ кажутся. Мы разсуждаемъ, считаемъ, воображаемъ, помнимъ и хотимъ, во многихъ случаяхъ, безсознательно; безъ сомнѣнія, можно и чувствовать безсознательно, какъ это показываютъ рефлексy, или же тотчасъ же забывать моментъ ощущенія при самомъ его началѣ. Мнѣ кажется, наступила пора, когда мы должны уже различать сознаніе нашего я отъ другихъ психическихъ актовъ, каковы ощущеніе, мышленіе, воля и воображеніе, не говоря уже о томъ, что степени самаго сознанія могутъ быть весьма различны. Я полагаю, что мозгъ есть исключительный органъ индивидуальнаго сознанія; мышленіе же наше зависитъ отъ мозга настолько, насколько онъ есть органъ слова и ощущеній, приносимыхъ различными органами. Но ни мозгъ, ни другіе органы себя самихъ не ощущаютъ сознательно. Откуда же берется въ немъ сознаніе нашего я? Чтò за странное превращеніе разныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ ощущеній, приносимыхъ къ нечувствующему самому себя мозгу въ чувства нашей личности! Не приносится ли и оно къ намъ извнѣ,—я хочу сказать:—не сообщается ли это сознаніе организму извнѣ вмѣстѣ съ элементами-носителями жизненнаго начала?

Начало жизни, жизненная сила, духъ бытія, — назовемъ какъ угодно, — конечно, не имѣетъ своего я; оно не можетъ имѣть индивидуально-человѣческаго сознанія; оно — общее; но, направляя силы и элементы къ формированію организмовъ, это организующее начало жизни дѣлается самоощущающимъ, самосознающимъ, племеннымъ или личнымъ. И въ каждой животной особи, кромѣ сознанія (болѣе или менѣе яснаго) личности, существуетъ еще сознаніе племенное, а въ людяхъ, кромѣ племенного я, есть еще и общечеловѣческое. Эти различные виды сознанія, органомъ которыхъ служатъ преимущественно нервныя центры, въ моихъ глазахъ, не что другое, какъ олицетвореніе міровой мысли, совершаемое жизненною силою. Это, по моему мнѣнію, не пустая фраза. Я въ правѣ такъ думать потому, во-первыхъ, что другого объясненія происхожденію нашего я я не знаю; во-вторыхъ, въ существованіи жизненнаго начала (силы) нельзя сомнѣваться; ибо нужно же принять иксъ, управляющій веществомъ въ организмѣ и физическими силами, направляющій ихъ къ извѣстной опредѣленной цѣли, къ поддержанію существованія и самосохраненію организма; въ-третьихъ, наконецъ, вещество, управляемое и направляемое жизненнымъ началомъ, организуется по общему опредѣленному плану въ извѣстные типы; а это не значитъ ли, что организованіе типовъ и формъ представляетъ собою выраженіе и олицетвореніе творческой міровой мысли? Но такъ какъ эта мысль не есть и, по существу своему, не можетъ быть индивидуальная, то она, конечно, не нуждается въ особомъ органѣ, каковъ нашъ мозгъ, предназначенномъ исключительно для индивидуальности. вмѣстѣ съ этимъ, для выраженія міровой мысли не было надобности ни въ ощущеніяхъ, ни въ словахъ, необходимыхъ для нашего индивидуальнаго мышленія.

Вообще, мы не въ правѣ утверждать, что такой-то или такой-то органъ устроенъ именно съ тою цѣлью и для той функціи, которыя ему приписываютъ наши опыты, наблюденія и наука. Мы не можемъ утверждать, что наши ноги даны намъ, чтобы ходить, мозгъ — чтобы мыслить. Нѣтъ, мы ходимъ, потому что у насъ есть ноги, и мыслимъ, потому что имѣемъ голову. Утверждать же, что мы имѣемъ голову, чтобы мыслить, значитъ — полагать, что творческая сила жизни не имѣла никакого

другого средства, кромѣ избраннаго ею къ достиженію своей цѣли. Мы должны помнить, что мы не знаемъ, почему творческая мысль олицетворилась сознательно въ типѣ и формѣ человѣка, а не иномъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы не въ правѣ утверждать, что человѣкомъ и закончилось это олицетвореніе, доведенное въ немъ до самосознанія; у насъ нѣтъ никакой причины отвергать возможность существованія организмовъ, снабженныхъ такими свойствами, которыя олицетворенію міровой мысли придали бы недостижимое для нашего самосознанія совершенство.

17—18 февраля 1880.

Оба дня тепло до 4—6° R. при S. и SW., вчера (17) болѣе пронзительномъ, сегодня слабомъ. Ясно. На солнцѣ таетъ, но общей оттепели нѣтъ, хотя снѣгъ уже и проваливается подъ ногами.

Я знаю, что мое міровоззрѣніе не имѣетъ той фактической подкладки, которая въ наше время требуется отъ всякаго серьезнаго размышленія. Но въ томъ-то и бѣда, что нужно или вовсе отказаться отъ всякаго міровоззрѣнія, или же принять въ основаніе одни слишкомъ общіе и потому слишкомъ близкіе къ отвлеченію факты. Мнѣ не суждено быть позитивистомъ; я не въ силахъ приказать моей мысли: не ходи туда, гдѣ можно заблудиться. И я по-неволѣ основываюсь въ моемъ міровоззрѣніи на томъ, что мнѣ кажется внѣ всякаго сомнѣнія, хотя бы это было болѣе отвлеченіе, чѣмъ фактъ. Мнѣ кажутся такого рода отвлеченія такъ же несомнѣнными, какъ мое собственное существованіе; къ нимъ я отношу: міровую цѣлесообразность; общій планъ творенія; міровую мысль; силу, не зависимую отъ вещества; вещество, при умственномъ анализѣ, превращающееся въ нѣчто неуловимое чувствами,—то-есть, также силу; начало (силу) жизни, проникающее вещество, но независимое ни отъ него, ни отъ физическихъ силъ, а цѣлесообразно направляющее эти силы къ самосохраненію вещества, возведеннаго этимъ же началомъ на степень организмовъ и особей. Принимая все это за неоспоримыя истины, могъ ли я принять иное міровоззрѣніе? Будетъ ли наукою когда-нибудь

несомнѣнно доказано, что высшіе животные типы, формы и мы сами развились, подѣ вліаніемъ внѣшнихъ условій и силъ, изъ низшихъ формъ, а эти, въ свою очередь, изъ первобытной органической протоплазмы,—мое воззрѣніе отъ этого не измѣнится; такъ ли, иначе ли развилась животная жизнь на землѣ, принципъ цѣлесообразности въ творествѣ отъ этого ничего не теряетъ, и присутствіе міровой мысли и жизненнаго начала во вселенной не сдѣлается сомнительнымъ.

Я не могу убѣдиться, —хотя все собственное убѣжденіе и не могу подтвердить фактами,—чтобы во всей вселенной нашъ мозгъ былъ единственнымъ органомъ мышленія; чтобы все въ мірѣ, кромѣ нашей мысли, было безумно и бессмысленно, и чтобы она одна придавала міросозданію смыслъ и разумную цѣлесообразность. При такомъ одностороннемъ воззрѣніи мнѣ чрезвычайно страннымъ кажется значеніе нашего мозга; выходитъ такъ, что въ цѣлой вселенной онъ одинъ, ощущая внѣшнія впечатлѣнія и не ощущая самого себя, служить мѣстомъ проявленія какого-то я, вовсе не признающаго своей солидарности съ мѣстомъ своего происхожденія и какъ будто ему посторонняго. Поэтому мнѣ сдается не болѣе и не менѣе правдоподобнымъ другое предположеніе, что это пресмутное и странное наше я заносится въ мозгъ и развивается тамъ вмѣстѣ съ ощущеніями отъ приносимыхъ въ него внѣшнихъ впечатлѣній; другими словами—ставится вопросъ: не приносится ли наше я извнѣ и не есть ли оно именно міровая мысль, встрѣчающая въ мозгѣ аппаратъ, искусно сработанный ad hoc силою жизни и назначенный ею для олицетворенія и обособленія мірового ума? Въ такомъ случаѣ, мозгъ былъ бы искусно сплетенною сѣтью для удержанія и проявленія въ личномъ видѣ этого вселенскаго разума.

Во всякомъ случаѣ это, повидимому, фантастическое предположеніе мнѣ кажется все-таки болѣе вѣроятнымъ, чѣмъ то, вышедшее изъ школы чистокровныхъ матеріалистовъ, по которому наша мысль приводится въ зависимость отъ мозгового фосфора. Сколько бы я ни ѣлъ рыбы и гороху (по совѣту Молешотта), никогда я не соглашусь отдать мое я въ крѣпостную зависимость отъ продукта, случайно полученнаго алхіміею изъ мочи. Если намъ суждено въ нашихъ міровоззрѣ-

ніяхъ подвергаться постоянно иллюзіямъ, то моя иллюзія по крайней мѣрѣ утѣшительна. Она мнѣ представляетъ вселенную разумною и дѣятельность дѣйствующихъ въ ней силъ цѣлесообразною и осмысленною, а мое я—не продуктомъ химическихъ и гистологическихъ элементовъ, а олицетвореніемъ общаго, вселенскаго разума, который я представляю себѣ свободно-дѣйствующимъ по тѣмъ же законамъ, которые начертаны имъ и для моего разума, но не стѣсненнымъ нашею человѣчески-сознательною индивидуальностью.

19 февраля 1880.

Отличная погода при—1⁰ R. (утромъ ясно и тихо для дня двадцатипятилѣтія).

25 лѣтъ тому назадъ, я встрѣчалъ этотъ день въ Севастополѣ. Тогдашнія занятія на перевозочномъ пунктѣ и моя болѣзнь (тифодъ) не позволили ясно сохраниться произведенному на насъ впечатлѣнію извѣстіемъ о новомъ вступленіи на престолъ. Я помню только о какомъ-то безгласномъ изумленіи при полученіи извѣстія о кончинѣ императора Николая. Мы почти ничего не знали о его болѣзни. Передъ неожиданнымъ отъѣздомъ великихъ князей (Николая и Михаила) изъ Севастополя, разнесся слухъ о болѣзни императрицы, и никому изъ насъ и въ голову не приходило, что насъ ожидало такое важное событіе. О какихъ-либо предстоящихъ перемѣнахъ съ восшествіемъ на престолъ новаго государя тогда некогда было помышлять. У всѣхъ одно было на умѣ—настоящее, весьма неприглядное. Непріятель приближался своими осадными работами; предстояли новыя битвы и кровопролитія; всѣ были увѣрены, что, несмотря на перемѣну правленія, до мира еще далеко. Газетъ мы тогда почти не читали; онѣ приходили Богъ знаетъ когда, да и читать было некогда.

25 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Многое великое совершилось, много хорошаго. Многое перемѣнилось къ лучшему; но юбилей омраченъ новымъ Севастополемъ, также доморощеннымъ и также не безъ вѣшняго вліянія, тревожащимъ Россію. Уже давно появившаяся въ цивилизованномъ мірѣ болѣзнь, именуемая мірскою печалью или болью, „Weltschmerz“, развилась и у насъ. Но наши мірскіе печальники, еще рѣшительнѣе за-

падныхъ, не задумались прибѣгнуть тотчасъ же къ самымъ печальнымъ мѣрамъ для излеченія своей болѣзни; но объ этомъ поговорю послѣ.

На другой или на третій день послѣ призыва къ присягѣ новому государю, я пошелъ зачѣмъ-то къ нашему госпитальному аптекарю въ Севастополь, и встрѣтилъ его на дорогѣ возвращающимся съ почты съ какимъ-то ящикомъ. Я полюбопытствовалъ узнать и зашелъ въ аптеку; при раскрытіи послыли оказалось, что это была атомистическая аптечка лейбъ-медика Мандта, предназначавшаяся для всѣхъ военныхъ госпиталей и, по высочайшему повелѣнію, разосланная по всей Россіи; этою аптекою, а слѣдовательно и атомистическимъ способомъ леченія д-ра Мандта, должны были, по волѣ покойнаго государя (Николая I), замѣниться прежнія аптеки и прежніе способы леченія въ военныхъ госпиталяхъ.

Какъ только ящикъ былъ открытъ, нашъ аптекарь, третій нѣмецъ, посмотрѣвъ на содержимое, прехладнокровно помоталъ головою и, закрывъ ящикъ, сказалъ: „опоздалъ“. Только потому я понялъ, въ чемъ дѣло. Приказъ отъ военно-медицинскаго вѣдомства объ этомъ нововведеніи былъ, вѣроятно, уже извѣстенъ аптекарю, и онъ, получивъ эту курьезную посылку прежняго режима уже при новомъ, тотчасъ же сообразилъ, какая ей предстоитъ будущность.

20—21 февраля 1880.

Продолжается ясная погода съ небольшимъ марцемъ SW; на солнцѣ $0^{\circ} + 5^{\circ}$ R.; ночью морозцы въ $2^{\circ} - 4^{\circ}$ R.

Да гдѣ же моя автобіографія? Но вѣдь я ее пишу для себя, и потому мнѣ всего важнѣе уяснить себѣ самому, что такое я, и потомъ уже прослѣдить, насколько и какимъ образомъ фактическая жизнь способствовала сдѣлать изъ меня то, что я теперь, то-есть какими путями пришелъ я къ моему теперешнему (1880 г.) міровоззрѣнію и къ моимъ теперешнимъ религіознымъ и нравственнымъ убѣжденіямъ. Поэтому мнѣ необходимо сначала уяснить самому себѣ, какъ я смотрю на окружающій меня міръ, какимъ я кажусь себѣ, за кого я самъ себя считаю, во что я вѣрю, въ чемъ сомнѣваюсь, что

люблю и что ненавижу. Все мое прошедшее, все пережитое мною для меня интересно, однако же, настолько, сколько оно может разъяснить мнѣ весь процессъ развитія моего міровоззрѣнія, моихъ религіозныхъ убѣжденій и всего моего нравственнаго быта. Но чтобы добиться этого результата въ исторіи моей жизни, я долженъ не только припомнить себѣ все давно-прошедшее время, а еще и стараться быть на каждомъ шагу откровеннымъ съ собою. И то, и другое не такъ легко.

Я вѣлъ когда-то, 18-лѣтнимъ юношею, нѣкоторое время (около года) дневникъ. У жены сохранилось изъ него нѣсколько листковъ. Но изъ него я немного могъ бы извлечь для моей цѣли. Я узналъ бы, наприимѣръ, что въ ту пору я не думалъ прожить долѣе 30 лѣтъ, а потомъ,—говорилъ я тогда въ дневникѣ,—въ 18 лѣтъ (и притомъ вовсе не рисуясь!)—„пора костямъ и на мѣсто“. Изъ этого я могу заключать только,—это, впрочемъ, я и безъ дневника ясно помню,—что нерѣдко въ тѣ поры я бывалъ въ мрачномъ настроеніи духа. Память давно-прошедшаго, какъ извѣстно, у стариковъ хороша, а у меня она хорошо сохранилась и о недавно-прошедшемъ. Поэтому въ моей исторіи прошедшаго я не найду большого препятствія къ раскрытію процесса броженія и переворотовъ, совершившихся въ теченіе жизни въ моемъ нравственномъ и умственномъ бытѣ. Но труднѣе будетъ для меня рѣшить, насколько я могу быть вполне откровеннымъ съ собою. Это не такъ легко, какъ кажется. Есть случаи въ жизни, главные и скрытые мотивы которыхъ невозможно иначе объяснить, какъ при полной откровенности съ самимъ собою; а между тѣмъ именно въ такихъ случаяхъ никакъ не рѣшишь, дѣйствительно ли ты откровененъ съ собою, или нѣтъ. Есть мотивы, до того глубоко сидящіе въ тайникахъ нашего я, что ихъ никакъ не вытащишь на поверхность души, сколько бы этого ни желалъ: вмѣсто нихъ появляются другіе, на видъ болѣе приглядные; но, хватаясь и выставляя ихъ, чувствуешь, что тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ, сидитъ, упершись и притаившись, другой мотивъ, неясный и, главное, нимало не похожій на всплывшій. И это дѣлается совсѣмъ не въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ благоразуміе и осторожность не позволяютъ быть откровеннымъ съ другими. Нѣтъ, я утверждаю, что несравненно труднѣе откровенность

съ самимъ собою, — можетъ быть, потому, что она обыкновенно требуется не ежедневно, не въ дюжинныхъ обстоятельствахъ, а въ болѣе или менѣе критическихъ и серьезныхъ. Случается и то, что дѣйствительно не можешь рѣшить, что было причиною того или другого совершеннаго тобою поступка, и еще труднѣе — почему ты тогда, при этомъ поступкѣ, такъ, а не иначе думалъ. Самый анализъ и разбирательство дѣйствій своего собственнаго я требуютъ много опытности и упражненія. Едва-ли тотъ, кто много упражнялся въ анализѣ поступковъ, чувствъ и мыслей другого, пріобрѣтаетъ этимъ же самымъ упражненіемъ и способность анализировать безупречно себя самого.

Вообще, для меня остается еще открытымъ вопросъ — нормально ли анализировать себя? Человѣкъ, что называется, цѣльный, кажется, живетъ, мыслить, дѣйствуетъ безъ разбирательства своего я. Онъ такъ устроенъ и самъ такъ устроился, что его мысли и дѣйствія, по его собственному убѣжденію, должны быть именно тѣми, какими они есть, а не иными. Психическій процессъ въ такомъ человѣкѣ можно сравнить съ заведеннымъ, однажды на все время его существованія, часовымъ механизмомъ. Маятникъ ходитъ ровно, мѣрно и правильно. Раскрывать и разсматривать этотъ механизмъ нѣтъ никакой надобности. Самоѣдство же — другого свойства. Это продуктъ едва-ли не патологическій, хотя на немъ и основано глубокомысленное правило мудрецовъ о познаніи (конечно, посредствомъ наблюденія и изученія) самого себя, — извѣстное: „гнооѣ сеав-тонъ“.

Руководясь этимъ правиломъ, нужно проститься съ дорогою цѣльностью души; расщепленіе и двойственность дѣлаются неизбежны; борьба наблюдаемаго и наблюдающаго началъ неизбежна, когда наше я дѣлается въ одно и то же время субъектомъ и объектомъ. Вотъ и я упрекаю себя въ этой двойственности, хотя она играла, можетъ быть, немаловажную роль въ моемъ самовоспитаніи и самообладаніи; безъ этой двойственности, то-есть безъ наблюденія и анализа самого себя, я былъ бы, можетъ быть, гораздо хуже, чѣмъ какимъ я считаю себя въ настоящее время. Но большею помѣхою была она иногда для моей практической дѣятельности и способствовала къ развитію духа противорѣчія и оппозиціи. Этотъ оппозиціонный

духъ проявился такъ же сильно въ анализѣ мнѣній и дѣйствій моихъ собственныхъ, какъ и постороннихъ.

Я съ давнихъ поръ не могу ни на что смотрѣть и ни въ чемъ убѣждаться съ одной стороны; произвольно, при каждомъ новомъ для меня предметѣ, я тотчасъ же заглядываю на него со стороны противоположной той, съ которой смотрю. Не даромъ я косилъ однимъ глазомъ (лѣвымъ) съ рожденія. Эта разносторонность во взглядѣ на предметъ, приносящая свою долю пользы, вредна дѣйствию, лишая его мѣткости, быстроты и сосредоточенности. Я это испыталъ, къ сожалѣнію, не разъ въ жизни; зато она предохраняла меня отъ вредныхъ увлеченій, выставляя мнѣ тотчасъ же на видъ худую сторону того, что меня манило къ увлеченію. Несомнѣнную пользу доставила мнѣ разносторонность въ хроническихъ случаяхъ, когда было довольно времени для начала дѣйствія взвѣсить и оцѣнить обсуждаемый предметъ съ противоположныхъ точекъ зрѣнія.

Странно и непонятно свойство дѣлиться нашего я. Впрочемъ, не знаю навѣрное—дѣйствительно ли наше личное я, или что другое въ насъ имѣетъ это странное свойство. Знаю только по опыту, что различное настроеніе (веселое, тоскливое) у меня весьма рѣдко овладѣвало вполне мною; почти всегда было такъ, что какъ будто одно мое я веселится, а другое въ то же время тоскуетъ и разбираетъ (анализируетъ) причину веселья перваго. Въ порывахъ же страсти и увлеченія все зависѣло отъ ихъ степени; увлекающееся я быстро представляло свои мотивы; другое, удерживающее, такъ же быстро приводило свои, и увлеченіе одолѣвало и приводило въ дѣйствіе только когда его мотивы представлялись какому-то еще третьему я болѣе основательными и болѣе сильными. Для психолога все это, конечно, вздоръ. Я у каждой особи одно—цѣльное и нераздѣльное. Ощущеніе: какъ будто во мнѣ дѣйствуютъ два или нѣсколько противоположныхъ я—есть какая-то иллюзія. Съ той поры, когда мы начинаемъ себя помнить, и до конца дней, всѣ мы отчетливо сознаемъ свое цѣльное и единичное я, какъ бы мы въ теченіе жизни ни измѣнялись въ характерѣ, привычкахъ, образѣ жизни, и проч. Мы чувствуемъ переменны съ собою, но въ то же время сознаемъ, что эти переменны не сдѣлали насъ не нами.

22—27 февраля 1880.

Температура мѣнялась эти дни отъ —5 до +6° R. 22-го—25-го мороза почти не было; разъ пошелъ снѣгъ съ мятелью, но скоро пересталъ. 25-го—26-го сильный марецъ NNW и температура понизилась отъ 0° до —5° R. Было ясно и солнечно. Сегодня вѣтеръ NW тише и днемъ +2—3° R. Ночью было 0°. Ясно. Все время возимъ навозъ; десять слишкомъ морговъ уже унавожено. Пшеницу, проданную по 1½ рубля за пудъ, увозятъ, но по-малу.

Да, наше я цѣльно, нераздѣльно и тождественно въ теченіе всей нашей жизни. Только умалишенные, и то не всѣ, вѣроятно, не сознаютъ тождества настоящаго своего я съ прежнимъ. Откуда же иллюзія, представляющая намъ, что мы можемъ въ одно и то же время чувствовать и мыслить не только различно, но и противоположно, противодействуя однимъ чувствомъ другому и изгоняя одну мысль другою?

Во-первыхъ, мы обманываемся во времени; между однимъ ощущеніемъ и другимъ, одною мыслью и другою всегда есть промежутокъ времени между этими актами, какъ бы коротокъ ни былъ и какъ бы ничтожнымъ намъ ни казался.

Во-вторыхъ, иллюзія зависитъ отъ того, что наше я способно въ одно и то же время прикасаться, такъ сказать, къ нѣсколькимъ органамъ, имѣющимъ различныя функціи, да и само оно, наше я, какъ бы соткано изъ различныхъ ощущеній.

Что же оно такое, это пресловутое я? Личное мѣстоименіе? Или также одна иллюзія?—Я полагаю, нужно сдѣлать различіе между двумя видами я. Одинъ его видъ есть не болѣе какъ ощущеніе личнаго бытія, свойственное каждой животной особи. Въ другомъ видѣ, вмѣстѣ съ этимъ ощущеніемъ, существуетъ еще и болѣе или менѣе ясное понятіе о немъ, т.-е. о своей личности. Вотъ это-то сознательное пониманіе присущаго намъ ощущенія бытія, т.-е. своей личности, и есть наше человеческое я, выражаемое словомъ—мѣстоименіемъ личнымъ: у взрослыхъ—въ первомъ, у дѣтей—въ третьемъ лицѣ. И животные выражаютъ звуками ощущеніе своего бытія; но у нихъ оно выражается всегда вмѣстѣ съ какимъ-либо позывомъ, чувствомъ удовольствія или боли.

Наше я, въ его отношеніяхъ къ разнымъ психическимъ способностямъ, можно сравнить съ музыкантомъ, играющимъ въ одно и то же время на нѣсколькихъ инструментахъ; прикасаясь къ нимъ посредствомъ разныхъ тѣлодвиженій, онъ умѣетъ разыгрывать мелодическіе концерты. Такъ и наше я, сотканное изъ различнѣйшихъ ощущеній, обладаетъ способностью легко прикасаться, въ одно и то же время, къ элементамъ разныхъ частей мозга и возбуждать психическія функціи, приводя дѣятельность этихъ органовъ въ униссонъ, а иногда и причиняя нестерпимую для самого себя и для другихъ какофонію. Какъ бы ни были локализованы различныя психическія функціи по разнымъ частямъ мозга, ощущеніе и пониманіе бытія, т.-е. наше я, не можетъ быть локализованнымъ. Чтобы разыграть, не нарушая законовъ гармоніи, какую-либо мысленную тему, оно должно коснуться въ одно и то же время и органическихъ элементовъ, сохраняющихъ на себѣ отпечатки внѣшнихъ впечатлѣній (т.-е. памяти), и мозговыхъ извилинъ, служащихъ органомъ слова, и не найденныхъ еще локализаторами органовъ фантазіи и разсудка. Это необходимо потому, что мы не можемъ мыслить и разсуждать, не приводя въ то же время въ дѣйствіе нашу память, наше соображеніе и воображеніе. Эгою способностію нашего я приводитъ одновременно или попеременно, съ самыми краткими промежутками, не нарушая своей цѣлости (не раздѣляясь), разные органы ощущеній и различныя психическія способности, объясняю я себѣ и кажущуюся намъ его двойственность, такъ хорошо выраженную въ одномъ посланіи апостола Павла. Не только между желаніемъ (волею) и дѣйствіемъ, — какъ замѣчаетъ апостоль, — но и между первоначальными зародышами нашихъ мыслей, чувствъ, желаній, не трудно подмѣтить у себя противорѣчіе и двойственность.

Еще недавно, на дняхъ, я былъ въ худомъ настроеніи духа (послѣ сильнаго припадка кишечнаго катарра), и, зная, не переставалъ, однако-же, наблюдать, что въ то же время, какъ злоба и неудовольствіе на нѣкоторыхъ особъ подступали у меня къ сердцу, въ зародышѣ мысли уже заключалось ихъ извиненіе; я былъ готовъ одновременно и ругать, и извинять ихъ, съ упрекомъ себѣ въ несправедливости. Не значило ли это, что мое я проникало въ омутъ грязныхъ ощущеній, приноси-

мыхъ разстроеннымъ органомъ (кишечнымъ каналомъ) въ мое воображеніе, но не такъ глубоко, чтобы потонуть въ немъ, оставивъ память (съ нѣкоторыми пріятными воспоминаніями) и разсудокъ въ полномъ бездѣйствіи.

Что такое наше я безъ ощущеній (оно, какъ я сказалъ, изъ нихъ соткано)—*ignoro et ignorato*. Мы, врачи и натуралисты, посвятившіе себя съ раннихъ лѣтъ фактическимъ изслѣдованіямъ живыхъ и мертвыхъ организмовъ и органовъ, такъ привыкаемъ къ находящейся безпрестанно предъ нами и въ нашихъ рукахъ связанной съ органическими элементами жизни, что невольно смотримъ на нее какъ на слѣдствіе, а не какъ на причину. Уколомъ одного пункта въ продолговатомъ мозгу мы мгновенно прекращаемъ самую полную силу и здоровья жизнь. Можно ли же осуждать насъ, если мы заключаемъ, что жизнь, подобно часовому механизму, останавливается съ поврежденіемъ пружины? Не естественно ли заключеніе, что наша жизнь есть не болѣе какъ регулированное органическимъ механизмомъ движеніе? Ключъ къ этому механизму—въ томъ пунктѣ продолговатаго мозга, который потому и долженъ называться жизненнымъ узломъ—*pseud vital*. Съ выходомъ нашимъ на свѣтъ, онъ заводитъ машину; первое проявленіе механизма есть дыхательное движеніе. Если мы не желаемъ называть внѣшнимъ міромъ для человѣческаго зародыша заключавшую его девять мѣсяцевъ матку, то первое сообщеніе его съ внѣшнимъ міромъ состоитъ въ движеніи грудного ящика. Что же можетъ быть послѣ этого для насъ наше я безъ ощущеній и безъ связи съ приносящими и принимающими ощущенія органами? Развѣ посвятившимъ себя изученію органической природы не доказываютъ тщательныя изслѣдованія, что въ органическомъ мірѣ дѣйствуютъ тѣ же самыя силы и законы, какъ и въ неорганическомъ, и не въ правѣ ли мы заключить изъ этого, что все, что мы наблюдаемъ въ животномъ организмѣ, относится, также какъ и въ неорганическихъ тѣлахъ, къ свойствамъ и функціямъ вещественныхъ элементовъ, составляющихъ его части и органы?

29-го февраля—1-го марта (1880 г.).

Послѣ оттепели, мѣнявшейся съ ночными небольшими морозамъ, вдругъ при новолуніи (28-го февраля) начинается студеный NW, и вчера (29-го) температура понижается до -7° R., съ ужасною мятелью (это былъ ураганъ, шедшій, по газетнымъ извѣстіямъ, съ востока и свирѣпствовавшій въ степныхъ восточныхъ губерніяхъ); а сегодня хотя и ясно, но морозъ въ 10° R. при сильномъ холодномъ NW. Слава Богу, что поля наши съ посѣвами еще покрыты снѣгомъ; но куда дѣвается этотъ снѣгъ? Настоящихъ оттепелей еще не было; ни разу не текли съ горъ потоки, температура не возвышалась ни разу болѣе $+6^{\circ}$ R., и то только днемъ, а снѣгъ, что называется, изнываетъ видимо; уже мѣстами на дорогахъ и на зяблѣ (вспаханная съ осени стырня) его вовсе нѣтъ; земля подъ нимъ отмерзаетъ только по временамъ, и то не болѣе, какъ на 2"; слѣдовательно, глубоко проникать въ землю тающій снѣгъ не можетъ; большихъ лужъ и ручьевъ не видно; испаряться снѣгъ при ясной солнечной, но прохладной погодѣ едва ли могъ сильно; онъ былъ рыхлъ и при малѣйшей оттепели проваливался; вѣроятно, онъ теперь сплюснулся и слой его оплотнѣлъ.

Интересно и для любопытства, и для кармана, что будетъ нынѣшнюю весною со всходами озими? Соки въ деревьяхъ еще незамѣтно чтобы тронулись, и потому еще можно надѣяться, что поздній морозъ не повредитъ имъ много.

Да, научному эмпирику, при индуктивномъ методѣ изслѣдованія, трудно избѣгнуть иллюзіи, представляющей ему невозможнымъ существованіе сознательной мыслящей жизни внѣ организма и безъ возбуждающихъ ощущенія органовъ. А между тѣмъ эта иллюзія основана хотя на привлекательномъ и, по видимому, безспорномъ, но поверхностномъ и одностороннемъ взглядѣ на индивидуальныя проявленія жизни.

Живущее въ насъ, ощущающее и понимающее ощущение, начало не можетъ быть само органомъ, то-есть объектомъ; оно, по существу своему, не можетъ быть субъектомъ,—то-есть существомъ отдѣльнымъ отъ органа, конечно, не въ смыслѣ грубо-вещественномъ—и, конечно, не имѣетъ извѣстныхъ намъ

и подверженных нашим чувствамъ свойствъ существъ органическихъ. Оно, тѣсно связанное съ органическими элементами,—безъ чего чувственныя его проявленія были бы для насъ невозможны,—съ разрушеніемъ этой связи перестаетъ быть объектомъ, то-есть предметомъ чувственного изслѣдованія. Но удастся ли кому-либо представить себѣ возможность ощущенія: понимать ясно ощущаемое (то-есть мыслить), не сознавая въ то же время себя самого, то-есть не бывъ субъектомъ (для себя). Нарушая или прекращая связь этого субъективного, ощущающаго и сознающаго себя начала съ органическими элементами, мы уничтожаемъ только объективно-индивидуальное проявленіе его, а слѣдовательно и жизни, но не самое жизненное начало. Насколько же это начало и послѣ разрыва органической связи можетъ еще сохранять свой индивидуализмъ,—свой индивидуальный, такъ сказать, обликъ,—это другой, не менѣе, по своему содержанію, глубокій вопросъ. О немъ потомъ приведу мое личное воззрѣніе.

Въ современной наукѣ установилось, однако-же, воззрѣніе, противорѣчащее, повидимому, тому, что ощущеніе и мышленіе должны быть всегда сознательны. Дѣйствительно, нельзя не принять, судя по многимъ фактамъ, въ извѣстныхъ случаяхъ безсознательныхъ ощущеній и размышленій. Уловить существенное различіе между этими видами ощущеній и мыслей и сознательными не всегда возможно. Вотъ факты. Вѣрно, организмъ зародыша ощущаетъ безсознательно: большая часть рефлексовъ основаны на безсознательномъ ощущеніи, переносимомъ на двигательные нервы. Внутренніе органы, безъ сомнѣнія, передаютъ отъ себя разнаго рода ощущенія; но они безсознательны и обнаруживаются обыкновенно одними рефлексами. Впечатлѣнія, приносимыя намъ чувствами, и особливо зрѣніемъ, изъ внѣшняго міра, производятъ въ насъ правильныя представленія о предметахъ не иначе, какъ съ помощью безсознательнаго мышленія, приобретаемаго опытомъ. Многія движенія тѣла совершаются также безсознательно. Но во всѣхъ этихъ явленіяхъ подъ именемъ безсознательнаго ощущенія и мышленія нужно понимать, во-первыхъ, одну лишь органическую воспримчивость или способность тканей къ возбужденію;

ее, можетъ быть, приличнѣе было бы назвать ощущительностью, безъ которой ткань не могла бы ни возбуждаться стимуломъ, ни передавать его центрамъ для возбужденія рефлекса; во-вторыхъ, цѣлый рядъ органическихъ ощущеній (идущихъ отъ внутреннихъ органовъ) хотя и не сознается нами ясно и отчетливо, какъ сознаются внѣшнія впечатлѣнія, приносимыя чувствами, но все-таки дѣйствуетъ на сознание косвенно, возбуждая то фантазію, то позывы, то проявленія страстей и другія неопредѣленныя напомниманія о себѣ; поэтому вполне безсознательными нельзя назвать эти ощущенія; въ-третьихъ, наконецъ, многія и вполне сознательныя ощущенія иногда такъ кратковременны, что тотчасъ же исчезаютъ изъ круга нашей сознательной дѣятельности и не удерживаются памятью; а иногда, при вниманіи одностороннемъ и сосредоточенномъ на одномъ предметѣ, или вовсе не замѣчаются, или только по временамъ доходятъ до нашего сознанія; напримѣръ, позывъ на мочу и на низъ, при усиленныхъ умственныхъ и другихъ занятіяхъ, долго не сознается или же сознается только временно, несмотря на растяженіе пузыря и прямой кишки.

Что же касается до безсознательнаго мышленія, безъ котораго нельзя бы было объяснить многія явленія въ функціяхъ нашихъ чувствъ, напримѣръ оцѣнку разстояній глазомъ, правильное представленіе о предметѣ, видимомъ съ разныхъ сторонъ двумя глазами, перспективу и т. п., то и тутъ, во многихъ случаяхъ, кажущаяся намъ безсознательность есть только слѣдствіе привычки и опыта; что было въ началѣ жизни узнано нами постепенно сознательнымъ опытомъ, то впоследствии, сдѣлавшись намъ извѣстнымъ и привычнымъ, кажется безсознательнымъ, и мы пользуемся потомъ плодами этого знанія, не сознавая, что обладаемъ имъ посредствомъ долгаго опыта. Нѣтъ ничего мудренаго, если при этомъ сужденіе, сдѣлавшееся для насъ обычнымъ и всеневнымъ, потомъ не принимается нами вовсе за сужденіе и кажется чѣмъ-то очевиднымъ, нагляднымъ, не требующимъ ни малѣйшаго проявленія мысли. Дважды два четыре—нами не считается уже обыкновенно за сужденіе; это кажется намъ такъ же очевиднымъ, какъ стоящій передъ нами столъ или стулъ, правильное представленіе о которомъ требовало отъ насъ нѣкогда также изученія, какъ

и дважды два—четыре: Сверхъ этого, надо знать, что мысли, какъ и ощущенія, вполне сознательныя, остаются иногда такими весьма недолго; иногда проблески мыслей въ нашемъ сознаніи до того кратки, что ихъ, безъ преувеличенія, можно сравнить съ блескомъ молніи; но, несмотря на свою быстротечность, многія изъ нихъ, хотя и незамѣченныя, остаются въ памяти, побуждая насъ къ дѣйствіямъ; въ такомъ случаѣ, и мотивирующія ихъ мысли могутъ казаться намъ безсознательными. Иногда же вниманіе, погруженное въ занятіе какимъ-либо предметомъ, вовсе не замѣчаетъ ни совершающихся дѣйствій, ни руководящихъ ими мыслей, хотя бы и тѣ, и другія и не были вовсе безсознательными. Вообще, для точнаго рѣшенія вопроса о сознательности и безсознательности нашихъ ощущеній, мыслей и сужденій необходимо умѣніе превращать свое субъективное я въ объектъ постояннаго и непрерывнаго наблюденія этого же самаго субъекта имъ же самимъ.

Но такая напряженная и односторонняя дѣятельность нашего вниманія надъ тѣмъ, чтò есть сознательнаго и безсознательнаго въ насъ, очевидно ненормальна, такъ что и результаты такого наблюденія не могутъ считаться ни достовѣрными, ни удобными для контроля. Рассказываютъ, что Іог. Мюллеръ едва не сошелъ съ ума отъ усиленнаго наблюденія надъ собою: онъ хотѣлъ уловить у себя моментъ перехода отъ бдѣнія ко сну, то-есть поймать у себя переходъ сознанія въ безсознательность. Мы не можемъ выйти изъ заколдованнаго круга, при всѣхъ нашихъ усиліяхъ опредѣлить точнѣе наше субъективное индивидуальное бытіе. Въ общихъ чертахъ оно тождественно для всего человѣчества, имѣетъ многія общія черты и съ субъективизмомъ другихъ животныхъ. Но это сходство проявляется объективно только тремя путями: голосомъ (звукомъ), словомъ (членораздѣльными звуками) и движеніемъ (прямымъ и рефлексивнымъ). Всѣ наши опыты и наблюденія надъ проявленіемъ субъективнаго индивидуальнаго бытія человѣка и животныхъ не имѣютъ другихъ критеріевъ. Но если всѣ они, несмотря на пріобрѣтенныя, посредствомъ ихъ, всѣя знанія, ненадежны, сомнительны, двурѣчивы, то еще менѣе прочны тѣ наши свѣдѣнія, которыя мы пріобрѣли чисто субъективными наблюденіями.

1—3 марта (1880 г.).

Все время холодный NW; морозъ въ 4—5⁰. Сегодня (3 марта) теплѣе и тише (—1⁰).

Сегодня случайно услыхалъ объ одной человѣческой низости, свойственной исключительно халуйству. Максимъ, съ дѣтства почти оставленный отцомъ-солдатомъ въ дворовыхъ, обязанный намъ своимъ, относительно порядочнымъ, состояніемъ (тысячи въ двѣ), купившій на деньги, пріобрѣтенныя у насъ, домъ и землю, оказался такимъ злымъ и коварнымъ, что, лаская въ моемъ присутствіи моего кота Мошку и зная, что я его люблю, бьетъ его на-пропалую за глазами только за то, что ему, коту, а не ему, Максиму, достаются кости отъ жаркого за обѣдомъ.

Притворство съ жестокостью и зависть къ животному,—вотъ до чего низводитъ человѣка халуйство, и безъ всякаго глубокаго мотива! Притворство безъ нужды! Я не терплю ласкательствъ—это онъ, Максимъ, знаетъ: жестокость страсти—холодная, насмѣшливая и безцѣльная. Зависть безъ причины; онъ сытъ и отъ своего, и отъ нашего стола; да и къ кому же зависть—къ кошкѣ! Низко до тошноты, и тѣмъ тошнѣе, что въ такихъ проявленіяхъ видишь униженіе общаго всѣмъ намъ человѣческаго достоинства, о которомъ такъ много говорится и для поддержанія котораго такъ мало дѣлается.

Не въ правѣ ли же я былъ заключать изъ сказаннаго, что въ отношеніи нашей субъективной индивидуальности мы, дѣйствительно, стоимъ въ заколдованномъ кругу. Съ одной стороны, объективные критеріи для ея разслѣдованія (голосъ, слово, движеніе) ненадежны, неясны и двусмысленны; а съ другой стороны, субъективные—ненормальны до того, что, употребляя наше сознаніе и мысль для изслѣдованія сознанія же и мысли, мы рискуемъ потерять и то, и другое. Въ самомъ дѣлѣ, кто поручится за ясность и нормальность мышленія у наблюдателя, направляющаго непрерывно все вниманіе и мышленіе на то, напимѣрь, чтобы прослѣдить начало и прохожденіе мысли въ сознаніи; кто поручится, что подмѣченное совершилсѣ въ наблюдаемомъ, а не въ наблюдающемъ? А кто поручится также за правильное пониманіе нами субъективныхъ

явленій, обнаруживающихся такими объективными признаками, какъ звуки, издаваемые животнымъ при ощущеніи боли, движенія, называемыя рефlekсами, и объясненія разнаго рода ощущеній словами?

Если и при такомъ наблюденіи самого себя въ нормальномъ состояніи трудно и иногда невозможно отличить безсознательное ощущеніе отъ сознательнаго, то при объективныхъ изслѣдованіяхъ (какъ, напримѣръ, при вивисекціяхъ и опытахъ надъ анестезированными хлороформомъ) еще гораздо труднѣе различить сознательное отъ безсознательнаго. При вивисекціяхъ и при наблюденіяхъ надъ человѣкомъ больнымъ или приведеннымъ различными агенціями въ ненормальное состояніе, субъективный элементъ жизни подвергается отъ разстройства его нормальной связи съ органическими элементами такимъ колебаніямъ и сотрясеніямъ, которыя не могутъ не вліять ненормально и на его объективныя проявленія. Поэтому сужденія о натурѣ и особенностяхъ субъективно-индивидуальнаго бытія, основанныя на опытахъ и наблюденіяхъ надъ животными и больными людьми, должно дѣлать крайне осмотрительно и не съ тою легкостью, которая такъ удивляетъ меня въ результатахъ, получаемыхъ современными вивисекторами и наблюдателями. Еще гораздо труднѣе, ненормальнѣе и сомнительнѣе дѣло, когда мы беремъ судить о нашемъ я, другими словами— о нашемъ лично сознательномъ ощущеніи бытія, мысли и вообще о присутствіи въ насъ субъективнаго начала со всѣми его (психическими) свойствами. Въ этомъ случаѣ, —если правильно мое сравненіе нашего я съ музыкантомъ, играющимъ одновременно на нѣсколькихъ инструментахъ,—оно, наше я, начинаетъ играть, не бывъ виртуозомъ, на одномъ изъ нихъ исключительно и дѣлаетъ, конечно, fiasco. Наше субъективное существо, по натурѣ своей, не можетъ и не должно быть одностороннимъ и чрезмѣрно сосредоточеннымъ; ни одна изъ нашихъ субъективныхъ способностей не должна быть излишне культивирована на счетъ другой, и особливо въ томъ случаѣ, когда отъ природы развита у насъ одна способность на счетъ другой; тутъ-то именно всего болѣе должно избѣгать односторонней культуры. Въ противномъ случаѣ, намъ предстоитъ одно изъ двухъ: или мы изумимъ свѣтъ нашимъ глубокомысліемъ и

геніальностью, или превратимся въ одностороннихъ, узкихъ и близорукихъ мономановъ. Первое встрѣчается весьма рѣдко; второе—весьма часто и гораздо чаще, чѣмъ это признаютъ психіатры. Есть, впрочемъ, еще одинъ исходъ—спеціализмъ, въ наше время завоевывающій себѣ все болѣе и болѣе почвы во всѣхъ областяхъ знанія. Но тѣ изъ спеціалистовъ, которые отличились своими истинными заслугами, вовсе не были односторонними культиваторами одной какой-либо изъ своихъ умственныхъ способностей, прежде чѣмъ избрали свою спеціальность. Только этому разностороннему предварительному развитію своихъ способностей они и обязаны успѣхомъ въ культурѣ избраннаго ими предмета; только этимъ способомъ они, расширивъ свой кругозоръ, сумѣли найти новые пути и посмотреть на дѣло новымъ взглядомъ.

4-го марта. (1880 г.).

Морозъ 7⁰ ночью, днемъ 1⁰. Марецъ WN.

Сегодня отправилъ письмо къ Николаю Христіановичу Б.... въ отвѣтъ на его письмо, въ которомъ онъ писалъ, что идетъ въ отставку, такъ какъ по новому университетскому уставу, ожидаемому вскорѣ, ректорамъ нечего будетъ дѣлать, кромѣ полученія прибавки жалованья.

Мой отвѣтъ,—не буквальный. Я читалъ гдѣ-то и когда-то, что новое на свѣтѣ есть не чтò иное, какъ хорошо забытое старое. Я читалъ также въ какомъ-то кіевскомъ календарѣ, что у насъ ежегодно бываютъ возвраты зимы весною и лѣтомъ, а возвраты болѣзней мнѣ извѣстны давно по опыту. Нѣтъ ничего мудренаго, что и въ университетской жизни встрѣчаются возвраты къ старому, забытому и прожитому. Но нынче, видно, считается за новое и вовсе еще незабытое старое, а возвраты зимъ и болѣзней встрѣчаются не только въ природѣ, но и въ университетскомъ мірѣ. Старики, какъ извѣстно, всегда хвалятъ старину и предпочитаютъ ее новизнѣ. Только всѣ наши университетскіе старожилы, за исключеніемъ гг. Каткова, Любимова и Георгіевскаго, вѣрно, не вспоминаютъ добромъ незабытаго еще стараго. Это обстоятельство, казалось бы, должно было обратить на себя вниманіе новаторовъ, стремящихся возобновить старое. Почему это не сдѣлано—объ-

ясняется именно тѣмъ вліяніемъ этихъ исключительныхъ личностей, успѣвшихъ побѣдить въ себѣ предрассудокъ противъ отжившаго. Это не должно удивлять насъ...

Возвраты зимы весною и лѣтомъ наносятъ вредъ земледѣльцамъ; возвраты болѣзней опасны для больныхъ; съ стѣхійными, однако-же, силами ничего не подѣлаешь; зато умъ, данный намъ Богомъ для цѣлесообразныхъ дѣйствій, казалось бы, долженъ былъ не на шутку и не разъ призадуматься, придавая возврату худого и худо-забытаго стараго значеніе благотѣльной новизны. Въ такомъ случаѣ вамъ, конечно, ничего не остается, какъ уступить свое мѣсто (ректорство) другимъ и предоставить имъ вливать это новое вино въ такого же рода новые мѣхи.

5—6 (1880 г.).

Мятель и мятель. Вчера (5-го) до $+ 2^{\circ}$ R., а сегодня ночью (на 6-е) морозъ въ 20° ; ясно, солнечно, тихо.

Вчера (5-го) фельдшеръ Уримъ дѣлалъ при мнѣ судебное вскрытіе—кота Мошки. Мой любимецъ прекратилъ въ мукахъ свое кратковременное существованіе. Подозрѣніе въ побояхъ, какъ причинѣ смерти, падало, по словамъ дѣвочки Терезы, на коварнаго Максима. Онъ вошелъ въ амбіцію и уже, по своей ограниченности, сейчасъ же заговорилъ объ отставкѣ, безъ сомнѣнія, для него вовсе не желательной. Надо было убѣдиться, нѣтъ ли вещественныхъ признаковъ травматизма на трупѣ. Вскрытіе не обнаружило ни малѣйшихъ слѣдовъ не только травматизма, но и вообще какого ни на есть органическаго измѣненія, за исключеніемъ небольшихъ розовыхъ пятенъ на слизистой (оболочкѣ) желудка. Къ микроскопу, впрочемъ, для болѣе точныхъ доказательствъ, мы не прибѣгали.

Итакъ, мой Мошка, какъ подобаетъ каждому вѣрноподданному, „божьею волею помре“, сирѣчь, неизвѣстно почему, для чего и отъ чего.

Бѣдное мое животное, ты въ нашемъ домашнемъ уединеніи доставляло намъ нерѣдко удовольствіе то своими прыжками и кувырканіемъ, то степеннымъ своимъ и задумчивымъ видомъ, сидя возлѣ насъ на столѣ, то разлегшись во всю длину и по-

грузясь въ самый спокойный сонъ праведныхъ. А какъ была хороша твоя поза, когда ты, съ сосредоточеннымъ вниманіемъ, сидѣлъ на порогѣ двери у подпольной щелки и караулилъ мышонка! Какъ нѣжна, шелковиста, тепла и пріятна на ощупь гладившей руки была твоя тигристая шкурка! Дай же запишу отъ скуки на память, за доставленные намъ твоимъ существованіемъ забаву и разсѣяніе, исторію твоей жизни, болѣзни и смерти, мой бѣдный Мотка!

Однажды на садовомъ балконѣ къ нашему завтраку явилась невзрачная, малорослая и худощавая сѣрая съ черными полосками кошка и, къ моему удивленію, тотчасъ же начала брать пищу изъ рукъ; вскорѣ осмѣлилась она и вскочить на мои колѣни. Визиты ея продолжались ежедневно въ обѣденное время, и затѣмъ она исчезала, по всѣмъ вѣроятіямъ, на близъ лежащемъ току. Чрезъ нѣсколько времени она начала являться уже въ сопровожденіи цѣлыхъ шести котятъ, всѣхъ почти одной масти. Сначала она оставляла ихъ въ отдаленіи отъ балкона, а потомъ, мало-по-малу, всѣ шестеро, не безъ страха и трепета, однако же, начали вскакивать и на балконъ; брали куски мяса, положенные вдали отъ стола, потомъ стали съ каждымъ днемъ подходить ближе и смѣлѣе; но только одному или, вѣрнѣе, одной изъ шести достало, наконецъ, смѣлости приблизиться къ намъ настолько, чтобы брать пищу прямо изъ рукъ; а еще одинъ изъ котятъ, хотя и приближался также, какъ эта, но никогда не рѣшался брать кусокъ ртомъ, а вырывалъ его изъ рукъ съ артистическою ловкостью своею маленькою лапою; всѣ остальные не могли преодолѣть своей боязни, а можетъ быть и своего отвращенія къ нашему человѣческому достоинству; вѣроятно, въ наказаніе за это судьба лишила ихъ чести быть намъ сподручными, развлекать насъ и беречь нашу провизію отъ мышей. Поэтому дальнѣйшая судьба этихъ пятерыхъ существъ мнѣ осталась неизвѣстною, — одного изъ нихъ, кажется, нашли загрызеннымъ собаками.

И вотъ, въ теченіе какихъ-нибудь 5 — 6 мѣсяцевъ, статистика смертности кошекъ обогатилась новыми пятью смертями; изъ этого, правда, весьма недостаточнаго статистическаго

матеріала я заключаю, что цифра смертности малолѣтнихъ кошекъ развѣ немногимъ чѣмъ ниже смертности крестьянскихъ дѣтей, даже и въ тѣ періоды времени, когда они свободны отъ дифтерита. Какъ бы то ни было, но достовѣрно то, что къ концу зимы 1878 и къ началу 1879 г. осталось въ живыхъ изъ 7 кошачьихъ личностей (одной матери и шести дѣтенышей) только одна, именно та ласковая, заблаговременно преодолевшая свое отвращеніе къ осязанію нашей руки, а затѣмъ и научившаяся съ похвальною ловкостью прыгать на колѣни, пріятно мурлыкать, выгибать спину и довольно неприужденно ласкаться.

Слѣдствіемъ этой заслуживающей уваженія дѣятельности было торжественное наименованіе ея Машкою, такъ какъ эта личность оказалась женскаго рода; а вмѣстѣ съ этимъ наименованіемъ — и матеріальная поддержка ласковаго ея организма питательною пищею, теплымъ помѣщеніемъ въ сутѣренѣ и нѣкоторыя другія льготы и дусѣры. Эта-то особа и была родительницею моего любимца.

Исторія его рожденія не безынтересна въ слѣдующихъ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, родительница его, несмотря на данныя ей нами великодушно всѣ права и преимущества домашняго животнаго, не выполнѣ, какъ видно, покинула обычай своей покойной матери (бабушки моего любимца, также называвшейся Машкою, хотя и не выполнѣ сочувствовавшей этому названію), и потому, почувствовавъ себя на-сностяхъ, въ концѣ февраля 1879 г., начала удаляться отъ дома, искать уединенія, не соотвѣтствовавшаго ея общительной натурѣ, и затѣмъ произвела на свѣтъ, гдѣ-то подъ клунею въ саду, нѣсколько существъ, число которыхъ я статистически опредѣлить не въ состояніи, такъ какъ, за исключеніемъ одного, они всѣ сдѣлались, въ самомъ нѣжномъ возрастѣ, жертвою сильнаго ливня и бури, свирѣпствовавшей у насъ въ маѣ 1879 г.; одного же, оставшагося едва въ живыхъ, злополучная мать перенесла въ зубахъ изъ сада въ нашъ сутѣренъ.

Малютка этотъ возбуждалъ общее сочувствіе драматизмомъ своей судьбы; когда же я услышалъ, что легкомысленная мать перестала его кормить вскорѣ послѣ его переселенія въ сутѣренъ, то сочувствіе мое перешло въ глубокое состраданіе къ

участи несчастнаго, и я задумалъ сдѣлать его наслѣдникомъ злополучнаго Васьки, нашего прежняго любимца, преждевременно погибшаго, два года тому назадъ, въ бурную ночь, зимою, отъ зубовъ ненавистныхъ ему собакъ.

Когда крошечное животное, предоставленное вѣтреной матерью, обрѣтавшеюся съ новымъ избранникомъ любви гдѣ-то въ бѣгахъ, было принесено ко мнѣ, то оно, нисколько не стѣсняясь и не пугаясь, какъ это дѣлали его покойные дяди и тетки, тотчасъ же залѣзло ко мнѣ въ широкій рукавъ пальто и пробралось почти до самаго плеча; затѣмъ, несмотря на свой ранній возрастъ, начало съ аппетитомъ и безъ разбора кушать все, что ему предлагалось, съ видимымъ наслажденіемъ грѣться на солнцѣ, заигрывать лапочками, словомъ — вести себя такъ наивно и непринужденно, какъ будто бы оно уже давно было домашнимъ членомъ нашего общества. Видя это и считая мать его безъ вѣсти пропавшею, мы порѣшили сдѣлать малютку законною ея наслѣдницею и передать ей то же самое высокое женское имя, такъ компрометтированное и незаслуженно носившееся ея заблудшею матерью. Такимъ образомъ и росло это милое животное подъ именемъ Машки, сдѣлавшись вскорѣ нашею общею любимцею; оно было необычайно живого и подвижного характера; съ ранняго утра цѣлые часы проводило въ бѣганьи, прыганьи и кувырканьи съ пробкою, бумажкою, веревочкою, кисточкою, — со всѣмъ, что только ей попадалось въ лапки; аппетитъ имѣла превосходный и, несмотря на преждевременную отвычку отъ материнскаго молока, выросла на мясной пищѣ не по днямъ, а по часамъ. Лѣтомъ, поутру, ежедневно я забавлялся съ моею Машкою, сидя на балконѣ; у меня въ рукѣ лежалъ конецъ шнурка, привязаннаго къ комку бумаги и продѣтаго черезъ ручку дверного ключа; бумага отъ дерганья шнурка поднималась и опускалась, а Машка скакала, прыгала, ловила бумажный комокъ, и когда удавалось ей поймать, то съ какимъ-то неистовствомъ и остревѣніемъ теребила его зубами и лапами, катаясь по полу и царапаясь изо всѣхъ силъ объ захваченную бумагу задними лапами.

Надо признаться, что Машка не получила никакого воспитанія и росла у насъ какъ дитя природы. Не знаю, былъ ли

для насъ всѣхъ полъ этой милой крошки совершенно безразличенъ, или же всѣ мы были не довольно любознательны, но то—фактъ, что только черезъ два мѣсяца мы, къ нашему удивленію и—не скрою—даже радости, узнали отъ нашего женскаго персонала, почему-то интересовавшагося этимъ предметомъ, истину относительно настоящаго пола нашего любимца. Онъ оказался не кошкою, а котомъ. Чтò было дѣлать? Не оставлять же коту женское прозвище? А между тѣмъ онъ уже привыкъ къ нему и тотчасъ же являлся на зовъ, когда кликали: Машка, Машка. Вотъ я и придумалъ—прости, Господи, мое согрѣшеніе!—перемѣнить имя Машка на созвучное ему—Мошку, тѣмъ болѣе, что нашъ подроставшій котикъ своею юркостію и смѣтливостію имѣлъ нѣкоторое, хотя и отдаленное, сходство со знакомыми мнѣ жидками, носящими отъ рожденія это же самое великое имя пророка Мойше, бесѣдовавшаго съ Іеговою, но, къ стыду нашему, искаженное и превращенное старинными польскими помѣщиками въ презрительную кличку—Мошка.

Итакъ, судьба моего Мошки, дѣйствительно, драматична, если возьмемъ въ соображеніе, что онъ, чудесно спасенный отъ пагубнаго ливня, въ самомъ раннемъ младенствѣ былъ перенесенъ въ среду людей, былъ оставленъ жестокою матерью на произволъ судьбы и, наконецъ, бывъ отъ роду котомъ, ошибочно признавался долгое время за кошку и носилъ незаслуженно женское имя. Навѣрное на роду ему было написано не наслаждаться цѣльною и нормальною кошачьею жизнью.

Едва мой Мошка былъ всѣми признанъ безспорно за кота и началъ этимъ возбуждать къ себѣ еще болѣе мое сочувствіе, какъ, откуда ни возмись, явилась внезапно его заблудшая мать въ сопровожденіи своего временнаго супруга, бывшаго прежде ея роднымъ братомъ, и начала сближаться съ брошеннымъ ею предательски сыномъ. Мошка, съ перваго же появленія своей матери, началъ какъ-то странно на нее посматривать, не дичился, однако-же, и не ссорился, а чрезъ нѣсколько времени, къ нашему удивленію, принялся сосать ее съ такою ревностію, какъ будто бы онъ никогда не переставалъ кормиться материнскимъ молокомъ. Между тѣмъ аппетитъ его и къ мясной прежней пищѣ висколько не ослабѣвалъ; такимъ образомъ онъ питался за двухъ, быстро росъ, толстѣлъ, игралъ

теперь уже не одинъ, а вдвоемъ съ Машкою, дѣлая изумительныя и самыя забавныя тѣлодвиженія, выгибая горбомъ спину до-нелзя, обхватывая крѣпко во время игры передними лапами шею матери, а задними отталкивая ее отъ себя съ неистовою яростью. Несмотря, однако-же, на казавшееся цвѣтущимъ здоровье и силу, несмотря и на веселое расположеніе духа, у моего несчастнаго Мошки незамѣтно развилась какая-то странная болѣзнь, наблюдавшаяся мною и у щенятъ. Это—спазмодическое удушье, появлявшееся періодически, внезапно, безъ всякой видимой причины, во время спокойствія и сна. Животное, послѣ веселой игры, спокойно спавшее на колѣняхъ или на кровати, вдругъ принималось съ хрипомъ втягивать въ себя воздухъ, поднимая голову кверху и неподвижно устремивъ взоръ. Пароксизмъ этой астмы продолжался нѣсколько секундъ, но былъ нерѣдко такъ жестокъ, что грозилъ внезапнымъ задушеніемъ. По окончаніи, животное опять укладывалось спокойно, какъ будто ни въ чемъ не бывало. Наружныхъ признаковъ никакихъ не замѣчалось; иногда, однако-же, подчелюстныя железы казались намъ нѣсколько припухшими. Въ промежуткѣ пароксизмовъ ничто не указывало на разстроенное здоровье.

Наступилъ и февраль 1880 года. Какъ извѣстно, это мѣсяцъ любви для кошекъ, и мой Мошка, по необыкновенному стеченію обстоятельствъ, еще такъ недавно сосавшій грудь Машки, началъ оказывать ей нѣкоторые знаки привязанности, вовсе не дѣтской. Онъ заигрывалъ съ нею вовсе не по прежнему, и вскорѣ началъ въ отсутствіи ея грустить, меланхолически мяукать и проситься внизъ, въ сутѣренныя, подвалы, обитаемые Машкой и другими кошками. Иногда исчезалъ мой Мошка уже и по цѣлымъ днямъ, являлся къ намъ навѣрхъ усталый и голодный и, съ жадностью поѣвъ, ложился спать, проводя время во снѣ до самаго вечера, т.-е. до времени самаго удобнаго какъ для людскихъ, такъ и для кошачьихъ rendez-vous. Но подвальные кошки, по свидѣтельству нашей почтенной Лорхень (домоправительницы), ежедневно посѣщавшей сутѣрены, почему-то не любили его; наружность его, немало представительная и чрезвычайно красивая на нашъ взглядъ, казалось бы, не могла не нравиться и прекрасному полу ко-

шачьяго племени; съ большей вѣроятностію можно предположить, что спазмодическая астма была причиною его неудачъ въ любовныхъ поискахъ; не трудно, въ самомъ дѣлѣ, себѣ представить ужасъ и негодованіе вѣтренныхъ кокобоевъ кошачьей расы, когда кокободь, ухаживающій за ними, внезапно и въ самомъ разгарѣ воловительства, терялъ духъ, вытягивалъ шею, странно хрипѣлъ и еле-еле жилъ: какъ ни коротки были эти пароксизмы удушья, но они не могли не дать повода къ бѣгству уstraшенныхъ вѣтренницъ, не отличающихся особеннымъ присутствіемъ духа. Несмотря на всѣ описанныя перемѣны въ образѣ жизни и въ нравственномъ бытѣ моего Мошки, я, основываясь на опытѣ, зная, какъ молодость, въ особенности кошачья, легко увлекается, какъ первое появленіе половыхъ отправленій переворачиваетъ все въ организмѣ верхъ дномъ, не очень заботился о послѣдствіяхъ. Весна, располагающая всѣхъ къ любви, а кошачью шкуру еще и къ линянію, по справедливости можетъ считаться самымъ критическимъ и вѣроломнымъ временемъ года, и я съ нетерпѣніемъ ожидалъ ея окончанія. Но въ книгѣ судебъ вѣрно значилось, что Мошка не переживетъ и первой половины весны. Онъ опасно захворалъ, но не прежнею своею болѣзнію—спазмодическимъ удушьемъ, а повидимому новою—рвотою,—и чрезъ двое сутокъ его не стало на свѣтѣ.

И вотъ, во время его опасной болѣзни, распространились между моими домашними злобщіе слухи о нанесенныхъ будто-бы ему побояхъ на заднемъ крыльцѣ Максимомъ, яко-бы за-видовавшимъ, что не ему, Максиму, достаются отъ обѣда кости жаренаго рябчика и нѣкоторые другіе обѣденные деликатесы. Мы повѣрили этимъ слухамъ, зная по многимъ наблюденіямъ вѣроломство Максима и его жестокое обращеніе съ животными въ наше отсутствіе. Поэтому вскрытіе трупа Мошки было для меня интересно не только въ научномъ, но и въ нравственно-судебномъ отношеніяхъ. Несмотря, однако-же, на все желаніе открыть истинную причину быстротечной болѣзни и смерти моего любимца, наука не обогатилась послѣ его вскрытія никакимъ новымъ приобрѣтеніемъ; только одинъ Максимъ приобрѣлъ снова довѣріе и нравственно выигралъ; сильные побои, стучаніе Мошкиною головою ђ-земь, какъ утверждала до-

носкица, оказались во всякомъ случаѣ клеветой; ни малѣйшихъ признаковъ травматическаго поврежденія, и—увы! также точно и ни малѣйшихъ микроскопическихъ признаковъ болѣзненнаго состоянія. Остается все сложить на нервную систему и обвинить верхній гортанный нервъ и весь блуждающій нервъ Мошки въ причиненіи ему насилія, гораздо болѣе пагубнаго, чѣмъ травматизмъ, переносимый кошками, какъ извѣстно, весьма хорошо. А почему же именно эти нервы? Потому что, по наблюденію нѣкоторыхъ современныхъ фізіологовъ, раздраженія верхняго гортаннаго нерва могутъ останавливать или задерживать дыхательный актъ, а главный стволъ этой гортанной вѣтви — блуждающій нервъ — вліяетъ и на отправленіе желудка.

Итакъ, мой милый Мошка погибъ — вѣроятно вслѣдствіе ненормальнаго питанія мясною вареною пищею вмѣстѣ съ материнскимъ молокомъ — отъ разстройства нервной системы, усиленнаго еще *abusu in venere* и нравственнымъ униженіемъ, причиненнымъ его кошачьему достоинству легкомысленными насмѣшками прекраснаго пола.

Но какая бы ни была причина смерти этого невиннаго существа, и родившагося, и умершаго, повидимому, — но только повидимому, — безцѣльно и безпричинно, потеря была для меня съ женою не безразлична. Жена плакала; мнѣ же только взгрустнулось, и даже менѣе, чѣмъ когда я—три года тому назадъ—лишился моей собачонки Ляды; про нее, про ея выразительные, какъ-то человѣчески глядѣвшіе на меня глазки (съ незакрытыми бѣлками) я и теперь еще вспоминаю со вздохомъ, — и признаться ли самому себѣ — съ грустью, болѣе щемящею, чѣмъ когда вспоминаю о нѣкоторыхъ знакомыхъ, близкихъ мнѣ, умершихъ людяхъ. Это святотатство, это уродство чувствъ, это постыдное чувство для человѣческаго достоинства — пусть такъ; но что же дѣлать, если въ привязанности Лядки ко мнѣ я не находилъ ни малѣйшаго лицемѣрства, ни вѣроломства, а и то, и другое встрѣчалъ въ отношеніяхъ ко мнѣ самыхъ близкихъ людей.

Надо обдумать нѣсколько — отчего мы такъ привязываемся къ животнымъ?

Но прежде, чѣмъ найду время къ этому обдумыванію, замѣчу, что между 6-мъ и 13-мъ марта (1880 г.) произошло нѣсколько неожиданныхъ событій.

Во-первыхъ, неожиданно то, что температура и погода *idem per idem* до ужаса однообразна. Морозы по ночамъ до 10^0 ; въ теченіе дня до -7^0 и -5^0 ; раза два шелъ снѣгъ съ мятью; вѣтеръ тотъ же холодный, пронзительный NW; но солнце грѣетъ днемъ такъ, что мѣховой воротникъ нагрѣвается какъ будто на печи. Такой дружной, суровой и продолжительной зимы здѣсь я еще не встрѣчалъ. Однажды, въ 1868 г., лежалъ снѣгъ также долго (до 20-го марта), но не было такого холода и вѣтра. Вода отъ морозовъ въ прудѣ сбыла, и на мельницѣ въ Людвиговѣ дѣйствуетъ одно колесо. Снѣгъ между тѣмъ понемногу и нечувствительно продолжаетъ исчезать, несмотря на снѣжныя мяти. Чтѣ-то будетъ со всходами озими, съ деревьями въ саду? Да кто знаетъ — чего не знаетъ! Живи, не зная, терпи и все таки по-неволѣ думай и гадай о будущемъ!

Во-вторыхъ, 9-го марта я получилъ 16 поздравительныхъ телеграммъ. Съ чего-то взяли въ Москвѣ (исключительно), Казани, Кіевѣ, Воронежѣ и Вюрцбургѣ, что 9-го марта — день моего 50-лѣтняго юбилея. Я, благодаря низайше, замѣтилъ въ отвѣтной телеграммѣ въ Москву, что вѣроятно поводомъ къ этимъ неожиданнымъ привѣтствіямъ послужило то, что я въ 1828 г. получилъ въ Москвѣ степень лекаря (но въ такомъ случаѣ желающіе должны бы были поздравлять два года тому назадъ). Служба же моя считается съ 1831 года, а докторскій диплсмъ мнѣ данъ въ Дерптѣ 30-го ноября 1832 г.

Вчера и сегодня, марта 20-го—21-го, NW прекратился. Небольшой, но прохладный вѣтеръ съ SW; днемъ $+2$ до 3^0 R., а ночью отъ 0 до -3^0 .

Да, откуда же привязанность и даже чуть ли не любовь къ животнымъ? Къ какимъ животнымъ привязывается человѣкъ исключительно? Къ собакамъ, кошкамъ, лошади и пѣвчимъ птицамъ. Изъ нихъ—къ лошади привязанность не чистосердечная, а связанная съ пользою, приносимою этимъ животнымъ, и его

значительною цѣнностью; говорятъ, что арабъ любитъ коня какъ друга, но и эта дружба, вѣрно, не безкорыстная: конь необходимъ для существованія кочевника и дѣлается его alter ego. Пожалуй, про нѣкоторыя собачьи расы (сибирскія, лягавыя, овчарки, гончія) можно сказать то же: ихъ держать и къ нимъ привязываются люди изъ разсчета, да и привязанность къ кошкѣ началась, вѣроятно, съ того же: какъ было не воспользоваться ихъ спеціальною—искусствомъ ловить мышей? Но вѣдь люди и женятся ббльшею частью по разсчету,—напримѣръ, изъ двадцати миллионѣвъ нашихъ крестьянъ вѣрно 19.999,000 женятся для того, чтобы имѣть въ домѣ бабу для печи, хлѣва, ребятъ; этотъ способъ женитьбы не препятствуетъ, однако-же, а прямо способствуетъ, въ большинствѣ случаевъ, развитію привязанности и даже любви. И такъ же, какъ между людьми существуетъ и привязанность чистосердечная, такъ и въ привязанности къ животнымъ,—всего чаще къ собакамъ, кошкамъ и пѣвчимъ птицамъ, особливо воспитаннымъ и вскормленнымъ съ самаго рожденія дома,—замѣчается искренняя сердечность, похожая на ту, которую человѣкъ оказываетъ дѣтямъ. Безъ сомнѣнія, она зависитъ, какъ и привязанность къ дѣтямъ, отчасти отъ чувства своего собственного превосходства, снисходительности и жалости къ существамъ слабѣйшимъ и менѣе развитымъ; но, конечно, это не одно.

Въ чувствѣ нашей привязанности къ животнымъ, я полагаю, играетъ важную роль представленіе, которое мы имѣемъ о животномъ. Въ этомъ представленіи есть нѣчто странное. Я гдѣ-то читалъ, что Гегель признавалъ въ безмолвіи животныхъ нѣчто мистическое. Я вполне раздѣляю этотъ взглядъ философа. Всякій изъ насъ не можетъ не видѣть въ животномъ сходства съ собою, и вмѣстѣ съ тѣмъ не можетъ ясно понять причину огромнаго различія, лежащаго пропастью между нами и животными. Организациі животныхъ, также какъ и нашей, предписано высшимъ начальствомъ чувствовать, а слѣдовательно наслаждаться и страдать; суждено также и бороться съ стихійными силами, а по ученію Дарвина—даже и совершенствоваться, измѣняясь и переходя изъ низшихъ формъ и типовъ въ высшіе. И, несмотря на это, тождество основныхъ и самыхъ существенныхъ свойствъ животной и нашей организа-

ціи, — все-таки пропасть. Ни животное меня не понимает, ни я — животного, то-есть его субъективную сторону не могу вполне понять, и по-неволѣ сужу о ней только по себѣ (то-есть по своей субъективности). Гегель правъ: существо, дѣйствующее во многихъ отношеніяхъ совершенно сходно со мною, обнаруживающее ясно чувства, страсти и даже мысль, нѣмо; оно смотритъ на меня, ласкается, зоветъ, ищетъ меня, проситъ у меня пищи, и все молча; невольно представляется — незнакомымъ съ функціею Рейлеваго островка и даже съ его присутствіемъ или отсутствіемъ въ мозгѣ животныхъ, — невольно, говорю, думается такимъ особамъ, что тутъ что-то неладно, что животное вѣрно скрытничаетъ, содержитъ отъ насъ въ тайнѣ свои мысли, короче — поступаетъ какъ нѣмой карликъ въ волшебныхъ сказкахъ...

Вотъ и Благовѣщеніе, 25-е марта (1880 г.), а весны нѣтъ, какъ нѣтъ; туманъ, вѣтеръ не очень сильный, но перескакивающий съ юга то на востокъ, то на западъ, а тепла не приноситъ. Ночью все 0^0 и -3^0 . Днемъ отъ $+5$ до $+6^0$.

22-го декабря 1880.

Я убѣдился, что не могу вести дневника; вотъ прошло полгода и болѣе, какъ я ничего не могъ или не хотѣлъ вписывать въ мой дневникъ. Теперь начну писать не по днямъ, а когда попало; остается еще много, много невысказаннаго — и успѣю ли еще, доживу ли, чтобы это многое записать? Читать чтѣ записано не стану, а на чемъ остановился при наступленіи весны — хорошо не помню. Кажется, на жизнеописаніи моихъ кошекъ и собакъ и разсужденіи о томъ, почему привязываемся къ животнымъ.

Вотъ и теперь я, было, рѣшился не заводить снова возлѣ себя ни кошки, ни собаки, а между тѣмъ какой-то жидакъ принесъ весною щенка, не то лягаваго, не то левретку, и мы, я и жена, снова привязались; это, вѣроятно, оттого, что нѣтъ въ домѣ маленькихъ внучатъ, и вмѣсто внучки — Мимишка, сучка, и спитъ, и ѣстъ, и гуляетъ съ нами, — и странно, что у меня пропала боязнь; я прежде страшно возставаѣлъ противъ

этой привязанности къ маленькимъ собачонкамъ, зная изъ практики о многихъ случаяхъ водобоязни отъ укушенія именно маленькими собачками; теперь еще живо помню, какъ однажды, лѣтъ 30 тому назадъ, при посѣщеніи Обуховской больницы въ С.-Петербургѣ, д-ръ Мейеръ мнѣ показывалъ больного, одержимаго, по его мнѣнію, такъ-называемою произвольною водобоязнью (*hydrophobia spontanea*); подошедъ къ этому больному, сидѣвшему спокойно на кровати, я какъ-то инстинктивно указалъ пальцемъ на едва замѣтный у него значокъ на лбу, и вдругъ вижу, что бѣднякъ страшно поблѣднѣлъ, скорчился, зарыдалъ и тутъ же признался, что нѣсколько недѣль тому назадъ его оцарапала на лбу маленькая собачка, съ которою онъ игралъ. Вскорѣ припадки водобоязни усилились, и онъ умеръ.

Странно, говорю, что теперь у меня прошла эта боязнь маленькихъ собакъ. А основаніемъ привязанности къ домашнимъ животнымъ, я думаю, служить замѣченная Гегелемъ мистичность животнаго. Когда видишь передъ собою живое существо, дѣйствующее во многихъ отношеніяхъ подобно намъ, обнаруживающее не только чувства наслажденія или досады и боли, а между тѣмъ безсловесное какъ будто потому только, что скрываетъ свои чувства и мысль, — то невольно подозрѣваешь въ немъ присутствіе нашего (я), какъ будто мистифицированнаго; но особенно глаза: глаза домашнихъ и плотоядныхъ и травоядныхъ — мистичны; они говорятъ безъ словъ; у моей Лядки видѣлись даже бѣлки между вѣкъ и придавали глазамъ какое-то человѣческое выраженіе, — это, я полагаю, рѣдкость, — и скрытые вѣками бѣлки обыкновенно считаются характернымъ признакомъ животныхъ глазъ, отличающимъ ихъ отъ человѣческихъ.

Я читалъ въ одномъ альманахѣ сравненіе — съ утилитарной, эстетической и нравственной сторонъ — между лошадыю и собакою: и ту, и другую считаютъ лучшими, и можно, пожалуй, сказать — единственными друзьями чловѣка; но авторъ статьи, нѣмецъ, отдавалъ преимущество лошади и укорялъ собаку въ низости и лакействѣ: она слишкомъ ласкова, ползаетъ, унижается предъ сильнымъ. Въ этомъ есть доля правды; когда маленькая собачка встрѣтится съ большою, злою, она тотчасъ

же пассуетъ, ложится на спину и складываетъ лапки, а передъ домашнею маленькою собачонкою, пользующеюся фаворомъ господъ, я видѣлъ не разъ, какъ увивались и ползали большія собаки, принадлежавшія тѣмъ же господамъ. Но все-таки лошади можетъ быть развѣ въ арабійскихъ степяхъ такимъ вѣрнымъ другомъ своего господина, какъ собака; и ласки, и привязанность собачьи не у всѣхъ собакъ унижительны; глаза выражаютъ ясно, чего желаетъ собака: зоветъ ли гулять, чувствуетъ ли чужака—все, все въ ней намекаетъ на что-то, какъ будто взятое у человѣка.

Лѣтъ 30 тому назадъ, я все, что говорю теперь, счелъ бы пустою фразеологіею; и я считалъ всякую жалость къ страданіямъ собаки при вивисекціяхъ, и еще болѣе привязанность къ животному, одною нелѣпою сантиментальностью. Но время все измѣняетъ, и я, нѣкогда безъ всякаго состраданія къ мукамъ (хлороформа тогда еще не знали) дѣлавшій ежегодно десятки вивисекцій, теперь не рѣшился бы и съ хлороформомъ рѣзать собаку изъ научнаго любопытства; теперь мнѣ сдѣлалось очень вѣроятнымъ, чему я прежде не хотѣлъ вѣрить,—что Галлеръ въ старости хандрилъ и приписывалъ свою хандру множеству сдѣланныхъ имъ вивисекцій; если не ошибаюсь, это рассказываетъ Циммерманъ въ своей книгѣ „Ueber die Einsamkeit“.

Особливо тяжело мнѣ вспоминать о тѣхъ вивисекціяхъ и операціяхъ, въ которыхъ я, по незнанію, неопытности, легкомыслию, или Богъ знаетъ почему, заставлялъ животныхъ мучиться понапрасну. Да, самая ѣдкая хандра есть та, которая наводитъ воспоминанія о насиліяхъ, нанесенныхъ нѣкогда чужому или собственному чувству. Какъ бы равнодушно мы ни насильствовали чувство другого, никогда не можемъ быть увѣрены, чтобы это насиліе не отразилось рано или поздно на нашемъ собственномъ чувствѣ. Когда моя Лядка околѣвала въ страданіяхъ, устремивъ на меня свои глазенки, стоная, и, несмотря на муки, выражала мнѣ привѣтъ легкими движеніями хвоста,—во мнѣ, съ жалостью къ любимой собачонкѣ, пробудились воспоминанія о мученьяхъ, причиненныхъ мною лѣтъ 30 и 40 тому назадъ цѣлымъ сотнямъ подобныхъ Лядкѣ животныхъ, и мнѣ стало невыносимо тяжело на душѣ.

Еще тяжелѣе бываетъ мнѣ, когда находитъ на меня воспоминаніе объ оперированномъ, также лѣтъ 40 тому назадъ, старикѣ; только однажды въ моей практикѣ я такъ грубо ошибся при изслѣдованіи больного, что, сдѣлавъ литотомію, не нашелъ камня. Это случилось именно у робкаго, богобоязненного старика; раздосадованный на свою оплошность, я былъ такъ неделикатенъ, что измученнаго больного нѣсколько разъ послалъ къ чорту.

— „Какъ это вы Бога не боитесь“, — произнесъ онъ томнымъ, умоляющимъ голосомъ, — „и призываете нечистаго, злого духа, когда только имя Господне могло бы облегчить мои страданія!“

Какой урокъ въ этихъ словахъ страдальца! — я ихъ какъ будто и теперь еще слышу.

Да, и мнѣ приходится, вспоминая прошедшее, нерѣдко относиться охая къ жизни и повторять слышанное однажды восклицаніе стараго капитана, страдавшаго непроходимую стриегурою и свищами мочевого канала; измученный тщетными позывами на мочу, трясаясь и всхлипывая, онъ съ разстановкою выкрикивалъ:

— „Охъ, охъ, ты жизнь-матушка!“

3-го января 1881.

Но, наконецъ, пора уяснить себѣ и другія міровоззрѣнія. Прошло уже полгода съ тѣхъ поръ, какъ я выяснилъ себѣ только одну изъ нихъ. Это было прошлою зимою, а лѣтомъ я не могу писать. Лѣто старику приносить такое наслажденіе, что и не думаешь вникать въ себя; зеленныя поля, цвѣтуція розы, листва, все — въ свободное отъ практическихъ и мелочныхъ занятій время — тянетъ къ себѣ, наружу, и не пускаетъ сосредоточиваться въ себѣ. Ребенкомъ я слыхалъ, что мой дѣдушка Иванъ Михеичъ зимой тосковалъ и жаловался дѣтямъ: „отъ-дѣтки, вѣрно Михеичу ужъ зеленой травы не топтать“, но какъ только наступала весна, 100-лѣтній старикъ снова оживлялся и цѣлые дни топталъ зеленую траву.

Но я хочу не только уяснить себѣ со всѣхъ сторонъ мое міровоззрѣніе, — мнѣ хочется изъ архива моей памяти вытащить

всѣ документы для исторіи развитія моихъ убѣжденій: какъ они, послѣ разныхъ метаморфозъ, сложились и сдѣлались настоящими. Мнѣ кажется, что теперь, въ настоящее время, разные стороны моего міровоззрѣнія сдѣлались гораздо отчетливѣе и яснѣе для меня, чѣмъ это было прежде. Можетъ быть это иллюзія, миражъ, но почему же прежде, какъ ни казался я себѣ убѣжденнымъ въ томъ или другомъ воззрѣніи, я все-таки не былъ увѣренъ, что останусь навсегда при немъ? Теперь же, напротивъ, я вполне увѣренъ, что воззрѣнія мои на жизнь и міръ останутся такими, какъ есть, до послѣдняго вздоха. Я думаю, что, переживъ разные фазисы моего міровоззрѣнія, я, наконецъ, убѣдился, что не доживу ни до какого новаго ихъ метаморфоза. И эта увѣренность чрезвычайно успокоительна; чувствуешь что-то прочное въ себѣ: измѣняйся, сколько хочешь, окружающее меня,—я не измѣнюсь! А чтò если и это миражъ? то-есть, если и самая твердая увѣренность—иллюзія? Если окружающее сильнѣе ея?

Но можетъ ли быть, чтобы иллюзія, возбуждавшая такую твердую увѣренность, какъ мою, не была сильнѣе окружающаго? Это противорѣчило бы историческимъ фактамъ, доказывающимъ противное. Мало ли чтò мы считаемъ теперь въ исторіи цѣлыхъ поколѣній за галлюцинацію, фанатизмъ и т. п., а между тѣмъ подъ вліяніемъ этихъ иллюзій народы жили цѣлые вѣка, проливали за нихъ потоки крови и умирали съ ними. Такъ пусть будетъ и съ моею иллюзіею, если она для другихъ кажется такою, а для меня останется твердымъ и неизмѣннымъ убѣжденіемъ до конца жизни.

Начну ab ovo.

Мнѣ сказали, что я родился 13-го ноября 1810 г. Жаль, что самъ не помню. Не помню и того, когда началъ себя помнить; но помню, что долго еще вспоминалъ или грезилъ какую-то огромную звѣзду, чрезвычайно свѣтлую. Чтò это такое было? Дѣтская ли галлюцинація, слѣдствіе слышанныхъ въ ребячествѣ длинныхъ разсказовъ о кометѣ 1812-го года, или оставшееся въ мозгу впечатлѣніе дѣйствительно видѣнной мною

въ то время, двухлѣтнимъ ребенкомъ, кометы 1812-го года, во время нашего бѣгства изъ Москвы во Владиміръ,—не знаю.

Помню и еще какую-то страшную грезу нити, сначала очень тонкой, потомъ все болѣе и болѣе толстѣвшей и очень свѣтлой; она представлялась не то во снѣ, не то въ просонкахъ и была чѣмъ-то тревожнымъ, заставлявшимъ бояться и плакать: что-то подобное я слыхалъ потомъ и о грезахъ другихъ дѣтей. Но воспоминанія моего 6-ти—8-ми-лѣтняго дѣтства уже гораздо живѣе.

Мой родительскій домъ, сгорѣвшій во время нашествія французовъ въ Москву, потомъ снова выстроенный, стоялъ въ приходѣ Троицы въ Сыромятникахъ. О времени моихъ воспоминаній, то-есть о возрастѣ, къ которому относятся первыя мои воспоминанія, я сужу изъ того, что живо помню еще и теперь бѣлице одѣяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, безъ которой я не могъ заснуть, бѣлыя розы, приносившіяся моей нянькою изъ сосѣдняго сада Ярцевой и при моемъ пробужденіи стоявшія уже въ стаканѣ воды возлѣ моей кровати; мнѣ было тогда навѣрное не болѣе 7-ми лѣтъ; по крайней мѣрѣ года 4 отдѣляютъ эти воспоминанія отъ другихъ, уже совершенно ясныхъ, относящихся къ моему десятилѣтнему возрасту.

О смерти Наполеона я помню уже весьма отчетливо тогдашніе рассказы.

Каррикатуры на французовъ, выходившія въ 1815—1817 годахъ, расходившіяся тогда по всѣмъ домамъ, я какъ теперь вижу.

Я знаю отъ моихъ родителей—я научился русской грамотѣ почти самоучкою, когда мнѣ было 6 лѣтъ, и я хорошо помню, что учился именно по каррикутурамъ, изданнымъ въ видѣ картъ въ алфавитномъ порядкѣ. Первая буква *А* представляла глухого мужика и бѣгущихъ отъ него въ крайнемъ безпорядкѣ французскихъ солдатъ, съ подписью:

Ась, право глухъ, Мусье, чтѣ мучить старика,
Коль надобно чего, спросите казака.

Буква *Б*. Наполеонъ, скачущій въ саняхъ съ Даву и Понатовскимъ на запяткахъ, съ подписью:

Бѣда, гони скорѣй съ грабителемъ московскимъ,
Чтобъ въ сѣти не попасть съ Даву и Понятовскимъ.

В. Французскіе солдаты раздираютъ на части пойманную ворону, и одинъ изъ нихъ, изнуренный голодомъ, держитъ лапшу, а другой, ваяясь на землѣ, лижетъ изъ пустого котла.
Надпись:

Ворона какъ вкусна, нельзя ли ножку дать,
А мнѣ изъ котелка хоть жижи полизать.

Можетъ быть, я живо помню эти карты и потому, что ихъ видѣлъ потомъ, когда мнѣ было болѣе 6-ти лѣтъ; но то, что помню почти исключительно три первыя А, Б, В — показываетъ, что на память мою онѣ подѣйствовали всего сильнѣе, когда я учился грамотѣ, то-есть когда мнѣ было 6 лѣтъ. Правда, я помню и еще одну изъ этихъ картъ съ буквою Ш и подписью:

Щастье за Галломъ, уставъ брестъ пѣшкомъ,
Рѣшилось въ станъ русскій скакать съ казакомъ.

Но это потому, что долго, долго задумывался на ней, не умѣя себѣ объяснить, почему какой-то французъ въ мундирѣ, увозимый въ каретѣ казакомъ и при томъ желающій выпрыгнуть изъ кареты, именуется „щастьемъ“? Какое же это счастье для насъ? думалось мнѣ.

Это ученье грамотѣ по каррикатурнымъ картинкамъ врядъ-ли одобритъ педагогами. И въ самомъ дѣлѣ, эти первыя каррикатурныя впечатлѣнія развили во мнѣ склонность къ насмѣшкѣ и свойство подмѣчать въ людяхъ скорѣе смѣшную и худую сторону, чѣмъ хорошую. Зато эти каррикатуры надѣ кичливымъ, грознымъ и побѣжденнымъ Наполеономъ, вмѣстѣ съ другими изображеніями его бѣгства и нашихъ побѣдъ, развили во мнѣ рано любовь къ славѣ моего отечества. Въ дѣтихъ, какъ я вижу, это первый и самый удобный путь къ развитію настоящей любви къ отечеству.

Такъ было, по крайней мѣрѣ, у меня, и я отъ 17-ти до 30-ти лѣтъ, окруженный чуждою мнѣ народностью въ Дерптѣ, среди которой жилъ, учился и училъ, не потерялъ, однако-же, нисколько привязанности и любви къ отчизнѣ, а потерять въ ту пору было легко: жилось въ отчизнѣ не очень весело и не такъ привольно, какъ хотѣлось жить въ 20 лѣтъ. Не ро-

дись я въ эпоху русской славы и искренняго народнаго патріотизма, какою были годы моего дѣтства, едва-ли бы изъ меня не вышелъ космополитъ; я такъ думаю потому, что у меня очень рано развилась, вмѣстѣ съ глубокимъ сочувствіемъ къ родинѣ, какая-то непреодолимая брезгливость къ національному хвастовству, ухарству и шовинизму.

Начиная съ десяти лѣтъ моей жизни, я уже помню отчетливо. И дѣтство мое до 13-ти—14-ти лѣтъ оставило по себѣ самыя пріятныя воспоминанія.

Отецъ мой служилъ казначеемъ въ московскомъ провіантскомъ депо; я какъ теперь вижу его одѣтымъ, въ торжественные дни, въ мундиръ съ золотыми петлицами на воротникѣ и обшлагахъ, въ бѣлыхъ штанахъ, большихъ ботфортахъ съ длинными шпорами; онъ имѣлъ уже маіорскій чинъ, былъ, какъ я слыхалъ, отличный счетоводъ, ѣздилъ въ собственномъ экипажѣ и любилъ, какъ всѣ москвичи, гостепріимство. У отца было насъ четырнадцать человѣкъ дѣтей—шутка сказать!—и изъ четырнадцати, во время моего дѣтства, оставалось на-лицо шесть: трое сыновей и столько же дочерей. „Малъ бѣхъ въ братіи моей и юнѣйшій въ домѣ отца моего“. И изъ насъ шестерыхъ умеръ еще одинъ, не достигнувъ пятнадцати-лѣтняго возраста,—мой старшій братъ Амосъ.

Кто хочетъ заняться исторіею развитія своего міровоззрѣнія, тотъ долженъ воспоминаніями изъ своего дѣтства разрѣшить нѣсколько весьма трудныхъ для разрѣшенія вопросовъ.

Во-первыхъ, какъ ему вообще жилось въ то время? Потомъ, какія преимущественно впечатлѣнія оставили глубокіе слѣды въ его памяти? Какія занятія и какія забавы нравились ему всего болѣе? Какимъ наказаніямъ онъ подвергался, часто ли, и какія наказанія всего сильнѣе на него дѣйствовали? Какіе рассказы, книги, поступки старшихъ и происшествія его интересовали и волновали? Что болѣе привлекало его вниманіе: окружающая его природа или общество людей?

Въ старости всѣ эти воспоминанія дѣлаются яснѣе; старикъ вспоминаетъ давно прошедшее: дѣлало ли на него такое впечатлѣніе, какимъ онъ его представляетъ себѣ теперь?

Роясь въ архивѣ своей памяти на старости лѣтъ, насъ поражаетъ, прежде всего, необъяснимое тождество и цѣльность нашего я. Мы ясно ощущаемъ, что мы уже не тѣ, чѣмъ мы были въ дѣтствѣ, и въ то же время мы не менѣе ясно ощущаемъ, что наше я осталось въ насъ или при насъ съ того самаго момента, какъ мы начали себя помнить, до сегодня, и знаемъ навѣрное, что оно же останется и до послѣдняго вздоха, если только не умремъ въ безпамятствѣ или въ домѣ умалишенныхъ.

Странно, удивительно странно это ощущеніе тождества нашего я въ разныхъ, едва похожихъ одинъ на другой, портретахъ, съ разными противоположными чувствами, убѣжденіями и взглядами на себя, на жизнь, на все окружающее. Да вѣдь я—это одно личное мѣстоименіе, — откуда же ему взяться у ребенка, напримѣръ, не знающаго грамматики, или у безграмотнаго взрослого? Смѣшно, не правда ли, нонсенсъ, абсурдъ? Самоощущеніе бытія,—и какъ такое, оно должно неминуемо въ насъ быть отъ колыбели до могилы, а какъ и чѣмъ оно о себѣ даетъ знать себѣ же самому и другимъ — личнымъ ли мѣстоименіемъ, или другимъ какимъ условнымъ знакомъ, это ни на іоту не перемѣняетъ сущности дѣла. Ребячье я даетъ о себѣ знать и другимъ въ третьемъ лицѣ личнаго мѣстоименія, поставляя себя, вѣроятно, внѣ себя, а глухо-нѣмой отъ рожденія, вѣроятно, имѣетъ для себя другой какой условный знакъ или ноту.

Дѣтство, какъ я сказалъ, оставило у меня, до тринадцатилѣтняго возраста, одни пріятныя впечатлѣнія. Уже, конечно, не можетъ быть, чтобы я до тринадцати лѣтъ ничего другого не чувствовалъ, кромѣ пріятностей жизни,—не плакалъ, не болѣлъ; но отчего же непріятное исчезло изъ памяти, а осталось одно только общее пріятное воспоминаніе? Положимъ, старикамъ всегда прошедшее кажется лучшимъ, чѣмъ настоящее. Но не всѣ же вспоминаютъ отрадно о своемъ дѣтствѣ, какъ бы жизнь въ этомъ возрастѣ ни была для нихъ плохую. Нѣтъ, вспоминая обстановку и другія условія, при которыхъ проходила жизнь въ моемъ дѣтствѣ, я полагаю, что дѣйстви-

тельно ея наслажденія затмили въ моей памяти всѣ другія мимолетныя непріятности.

Родители любили насъ горячо; отецъ былъ отличный семьянинъ; я страстно любилъ мою мать, и теперь еще помню, какъ я, любуясь ея темнокраснымъ, цвѣта массава, платьемъ, ея чепцомъ и двумя локонами, висѣвшими изъ-подъ чепца, считалъ ея красавицею, съ жаромъ цѣловалъ ея тонкія руки, вѣзавшія для меня чулки; сестры были гораздо старше меня и относились ко мнѣ также съ большою любовью; старшій братъ былъ на службѣ; средній, тремъ — четырема годами старше меня, жилъ со мною дружно.

Средства къ жизни были болѣе чѣмъ достаточны; отецъ, сверхъ порядочнаго по тому времени жалованья, занимался еще веденіемъ частныхъ дѣлъ, бывъ, какъ кажется, хорошимъ законовѣдомъ. Вновь выстроенный домъ нашъ у Троицы, въ Сыромятникахъ, былъ просторный и веселый, съ небольшимъ, но хорошенькимъ садомъ, цвѣтниками, дорожками. Отецъ, любитель живописи и сада, разукрашалъ стѣны комнатъ и даже печки фресками какого-то доморощеннаго живописца Арсенія Алексѣевича, а садъ — бесѣдочками и разными садовыми играми. Помню еще живо изображеніе лѣта и осени на печкахъ въ видѣ двухъ дамъ съ разными атрибутами этихъ двухъ временъ года; помню изображенія разноцвѣтныхъ птицъ, летавшихъ по потолкамъ комнатъ, и турецкихъ палатокъ на стѣнахъ спальни сестеръ.

Помню и игры въ саду въ кегли, въ крючки и кольца, цвѣты съ капельками утренней росы на лепесткахъ... живо, живо, какъ будто вижу ихъ теперь.

Итакъ, жизнь моя ребенкомъ до тринадцати лѣтъ была весела и привольна, а потому и не могла не оставить одни пріятныя воспоминанія.

Ученье и школа до этого возраста также не были мнѣ въ тягость. Я уже сказалъ, какъ я легко и почти играючи научился читать; послѣ того чтеніе дѣтскихъ книгъ было для меня истиннымъ наслажденіемъ; я помню, съ какимъ восторгомъ я ждалъ подарка отъ отца книгою: „Зрѣлище вселенной“, „Золотое зеркало для дѣтей“, „Дѣтскій вертоградъ“,

„Дѣтскій магнѣтъ“, „Пальнаевы (sic) и Эзоповы басни“, и все съ картинками, читались и прочитывались по нѣскольку разъ, и все съ аппетитомъ, какъ лакомства.

Но всего болѣе занимало меня „Дѣтское чтеніе“ Карамзина въ 10 или 12 частяхъ; славная книга, — чего въ ней не было! и діалоги, и драмы, и сказки, — прелесть! потому прелесть, что это чтеніе меня, семи—восьми-лѣтняго ребенка, прельстило знакомствомъ съ Альфонсомъ и Далаидою или чудесами природы, съ почтенною г-жею Добролюбовою, съ старикомъ Яковомъ и его чернымъ пѣтухомъ, обнаружившимъ воришку и лгунишку Подшивалова; да такъ прельстило, что 60 слишкомъ лѣтъ эти фиктивные личности не изгладились изъ памяти. Я не помню подробностей разсказовъ, но что-то общее чрезвычайно пріятное и занимательное осталось отъ нихъ до сихъ поръ въ моемъ воспоминаніи.

Нѣсколько лѣтъ позже я прочелъ „Донкихота“ въ сокращенномъ переводѣ съ французскаго; помню еще, что и отецъ читывалъ его намъ; читалъ потомъ и неизбѣжнаго „Робинзона“, и волшебныя сказки; но эффектъ чтенія всѣхъ этихъ книгъ не можетъ сравниться съ тѣмъ, которое произвело на меня „Дѣтское чтеніе“, и подарокъ его намъ отцомъ въ новый годъ я считаю самымъ лучшимъ въ моей жизни.

Такъ нѣкоторыя впечатлѣнія почему-то дѣлаются неизгладимыми и выдѣляются ярко на фонѣ памяти. Сколько разъ атомы моего мозга замѣнялись, чрезъ обмѣнъ веществъ, новыми, и всякій разъ передавали этимъ новымъ прежнія впечатлѣнія, то-есть прежнія свои сотрясенія.

Изъ рисунковъ читанныхъ книгъ остались у меня въ памяти, кромѣ каррикатурныхъ фигуръ, по которымъ я учился азбукѣ, всего болѣе изображенія животныхъ, растеній и разныхъ національных типовъ изъ „Зрѣлища вселенной“, „Дѣтскаго музея“ и Палласова „Путешествія по Россіи“, бережно сохранявшагося у отца въ двухъ большихъ томахъ въ кожаномъ переплетѣ; изъ него всего отчетливѣе помню Лопаря, Самоѣда и нагую Чукотскую бабу. Очень рано попался мнѣ также въ руки отцовскій же Курганова „Письмовникъ“, изъ коего на всю жизнь остались въ памяти разные смѣшныя

анекдоты, остроты и прибаутки; помню и еще одну книгу: „Повѣсти Коцебу“, и особливо одну изъ нихъ: „Плащъ и парикъ“. „Басни Крылова во время моего перваго дѣтства не были еще въ ходу; къ намъ приходилъ какой-то знакомый господинъ, читавшій ихъ очень хорошо; дѣтей не заставляли еще заучивать ихъ ex officio, и я proprio motu выучилъ наизусть „Квартетъ“, мнѣ очень нравившійся, — и особливо съ басомъ Мишенька, — „Демьянову уху“, „Тришкинъ кафтанъ“; какъ видно, нравились мнѣ наиболѣе юмористическія.

Изъ другихъ стихотвореній я довольно рано, когда былъ еще лѣтъ девяти, познакомился съ „Людмилою и Свѣтланю“ Жуковского, декламировалъ, къ большому удовольствію домашнихъ слушателей, съ нѣкотораго рода пафосомъ и разными жестами; нѣсколько позже узналъ и старика съ щетинистой бородой, блестящими глазами; но страшно боялся встрѣчи съ нимъ въ темной комнатѣ, и бѣгомъ, зажурия глаза, проходилъ чрезъ нее.

Первый романъ, попавшійся мнѣ въ руки на 12-мъ году моей жизни, былъ „Фанфанъ и Лолотта“, Дюкре-Дюмениля, и я помню, что не одна фэбула романа завлекла меня, а образъ Лолотты. Должно быть, заговорили рано развившіеся половые инстинкты.

Первый учитель данъ былъ мнѣ на девятомъ году жизни; до того времени я былъ самоучка при помощи матери и сестеръ, весьма ограниченной, впрочемъ, по собственному ихъ признанію.

Странно, что я помню довольно ясно занятія грамотою и чтеніемъ, но совсѣмъ не помню, когда и какъ научился писать.

Къ чести нашей домашней педагогіи я долженъ сказать, что занятія съ первымъ моимъ учителемъ начались съ отечественнаго языка; звуковъ иностраннаго языка я почти не слышалъ до восьми лѣтъ; какъ въ-просонкахъ вспоминаю только напѣвъ какой-то нѣмецкой пѣсни, и мнѣ сказывали сестры, что одинъ, вхожій въ нашъ домъ, нѣмецъ иногда бралъ меня на руки и нянчилъ, припѣвая что-то по-своему.

Появленіе въ домѣ перваго учителя совпадаетъ у меня съ воспоминаніемъ о рожденіи въ Москвѣ нашего нынѣшняго го-

сударя (Александра Николаевича), а это воспоминаніе совпадаетъ, въ свою очередь, съ другимъ, а именно — съ путешествіемъ всей семьи къ Троицѣ (т.-е. въ Троицко-Сергіевскую лавру), во время котораго, при ночлегѣ въ селѣ Большихъ Мытищахъ, что-то говорилось о кормилицѣ новорожденнаго.

Судя по этому, нужно думать, что мои первыя занятія съ учителемъ начались въ 1818 году. Я помню довольно живо молодого, красиваго человѣка, какъ мнѣ сказывали потомъ — студента, и помню не столько весь его обликъ, сколько однѣ румяныя щеки и улыбку на лицѣ. Вѣроятно, этотъ господинъ, назначенный мнѣ въ учителя, былъ не семинаристъ. Это я заключаю изъ того, что онъ очень любилъ накрахмаленное бѣлье, а объ этой склонности я узналъ отъ моей старой няни, нерѣдко сѣтовавшей на большой расходъ крахмала, и дѣйствительно, его румяныя щеки представляются мнѣ и до сихъ поръ не иначе, какъ въ связи съ туго накрахмаленными, стоячими воротничками рубашки. Но есть основаніе думать, что семинарское образованіе не было чуждо моему наставнику: это его склонность къ сочиненію поздравительныхъ рацей; одну изъ нихъ онъ заставилъ меня выучить для поздравленія отца съ днемъ Рождества Христова; первое четверостишіе я еще и теперь помню.

Зарю утренней, румяной,
Лишь только показался

(это, кажется, моя позднѣйшая поправка; въ текстѣ было:
„разливался“)

Въ одеждѣ солнечной, багряной
Направилъ ангелъ свой полетъ.

Кромѣ воспоминаній о щекахъ, улыбкѣ, воротничкахъ и этихъ стихахъ моего перваго учителя, мнѣ остались почему-то памятны и его бѣлье, съ тоненькими синенькими полосками, панталоны. Всѣ эти атрибуты у меня какъ-то слились въ памяти съ понятіемъ о частяхъ рѣчи, полученнымъ мною въ первый разъ отъ обладателя щекъ, улыбки, воротничковъ, панталонъ и сочинителя первой же и едва-ли не единственной произнесенной мною рацей. Отъ него же я научился и латинской грамотѣ.

Помню и второго моего учителя, также студента, но не университетскаго, а московской медико-хирургической академіи, низенькаго и невзрачнаго; при немъ я уже читалъ и переводилъ что-то изъ латинской хрестоматіи Кошанскаго; отъ этихъ переводовъ уцѣлѣло въ памяти только одно: *Universum* (или *universus mundus* — хорошо не помню) *distribuitur in duas partes: coelum et terram.*

На урокахъ, мнѣ кажется, онъ занимался со мною болѣе разговорами и словесными, а не письменными, переводами, тогда какъ первый учитель заставлялъ меня дѣлать тетрадки и писать разборы частей рѣчи. Почему—спрашивается—я помню, по прошествіи 62-хъ лѣтъ, еще довольно ясно читанное и слышанное, и забылъ, какъ выучился писать, и почти все, что писалъ; забылъ также, когда и какъ выучился ходить и бѣгать? Не значить ли это—пріобрѣтенное въ дѣтствѣ слухомъ и зрѣніемъ гораздо прочнѣе напечатлѣлось въ памяти, чѣмъ доставленное ей осязаніемъ? Осязаніе служитъ только повѣрочнымъ чувствомъ для впечатлѣній, прежде всего вступающихъ въ мозгъ чрезъ два его главные и настежь открытыя окна: глазъ и ухо.

Причины, почему отъ впечатлѣній дѣтства остается тотъ или другой отрывокъ, часто ничѣмъ не замѣчательный и вовсе не характерный, такъ разнообразны, что нѣтъ не возметса опредѣлить ихъ. Но сила впечатлѣнія, безъ сомнѣнія, зависитъ отъ того—въ какой степени было напряжено вниманіе въ самый моментъ впечатлѣнія: какъ бы сильнымъ ни казалось впечатлѣніе извнѣ, оно пройдетъ безслѣдно для того, кто не обратилъ на него вниманія. Это—такая банальная истина, что не стоило бы о ней распространяться; къ сожалѣнію, однако-же, немногіе родители и педагоги примѣняютъ ее такъ, какъ она этого заслуживаетъ, и заботятся болѣе о свойствахъ и степени внѣшнихъ впечатлѣній: это легче и проще; усиливать стимулъ—думаютъ—достаточно, чтобы усилить вниманіе ребенка.

Между тѣмъ мы видимъ, что нерѣдко самыя ничтожныя впечатлѣнія остаются въ памяти на цѣлую жизнь, тогда какъ, повидимому, очень сильныя—исчезаютъ изъ памяти безслѣдно, и это потому, что мы не умѣли или не могли сосредоточить на нихъ вниманіе того, для кого необходимо было это сдѣлать.

По моему, не тотъ хорошій наставникъ, кто, обладая знаніями, излагаетъ отчетливо и добросовѣстно свой предметъ ученику, а тотъ, кто умѣетъ хорошо обращаться съ внимательностію своихъ учениковъ. Упражненіе вниманія—вотъ настоящая задача школы и воспитанія. Преподаваніе наше не только не всегда сосредоточиваетъ, но, напротивъ, еще отвлекаетъ и развлекаетъ внимательность; такъ же дѣйствуетъ и глупое воспитаніе.

По мѣрѣ того, какъ крѣпнетъ мягкій, студенистый дѣтскій мозгъ, онъ дѣлается болѣе способнымъ къ удержанію внѣшнихъ впечатлѣній; развитіе внимательности, вѣроятно, соотвѣтствуетъ въ извѣстной степени, развитію способности въ мозговой ткани къ удержанію впечатлѣній; но, несмотря на это, способность внимать остается все-таки чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ способности удерживать впечатлѣнія. Память и внимательность не идутъ рука объ руку. Несмотря на всѣ усилія мнемоники, мы немногимъ можемъ содѣйствовать къ развитію памяти; тогда какъ въ рукахъ умнаго воспитателя есть много средствъ къ развитію внимательности ребенка.

Правда, эти средства все-таки не болѣе какъ внѣшнія; но, распорядившись искусно, мы можемъ съ ними проникнуть и внутрь. Наглядность въ соединеніи съ словомъ—вотъ эти средства, разумѣя подъ именемъ наглядности все дѣйствующее на внѣшнія чувства. Другихъ средствъ нѣтъ и быть не можетъ. Искусство состоитъ въ гармоническомъ сочетаніи обоихъ и правильномъ взглядѣ на индивидуальность дитяти. Вещь не легкая; и такъ какъ это не легко и для большинства невозможно, то главную роль въ нашемъ воспитаніи и играетъ жизнь, а не воспитатели и не школа. Горе намъ отъ глупыхъ и неумѣлыхъ воспитателей, но еще горшее горе отъ одностороннихъ, вбившихъ себѣ въ голову, что на одной только наглядности или только на словѣ можно основать все школьное воспитаніе.

Наглядность, имѣя главную цѣлю воздѣйствіе на внѣшнія чувства, можетъ оставить внимательность ребенка къ своимъ болѣе глубокимъ внутреннимъ ощущеніямъ и движеніямъ нетронутою или мало-развитою. Слово, проникая также извнѣ, дѣйствуетъ своими членораздѣльными звуками на самую главную, самую существенную способность человека—пѣть по

этимъ врожденнымъ нотами, то-есть мыслить. Конечно, молча никто не будетъ учить и наглядностью; но внимательность ребенка, при одномъ наглядномъ ученіи, обратится исключительно на виѣшніе предметы, смыслъ и значеніе которыхъ для него легче постигнуть, чѣмъ смыслъ слова; мышленіе его дѣлается болѣе, такъ сказать, объективнымъ, связаннымъ съ представленіями формы предметовъ, а не внутреннимъ ихъ значеніемъ и смысломъ.

Виѣшнія чувства наши очеловѣчиваются при помощи опыта и мышленія. Но логика чувствъ своеобразна; она основана на какомъ-то механизмѣ, дѣйствующемъ при сознаніи нами бытія, но не дающемъ о себѣ знать этому сознанію. Поэтому логика нашихъ чувствъ не нуждается въ словесномъ и основанномъ на членораздѣльныхъ знакахъ мышленіи; тѣмъ не менѣе, развитіе ея совпадаетъ съ развитіемъ этого мышленія.

Въ то время, какъ ребенокъ дѣлается словеснымъ животнымъ и дѣятельность его виѣшнихъ чувствъ дѣлается отчетливѣе для него и для другихъ, съ этимъ вмѣстѣ усиливается и внимательность. Итакъ, самовоспитаніе ребенка основано на наглядности, то-есть на упражненіи виѣшнихъ чувствъ. Воспитателямъ же приходится только продолжать и направлять это самовоспитаніе, и главное—не упускать ничего, на первыхъ же порахъ, для развитія внимательности ребенка, не давая ей ни разсѣиваться слишкомъ скоро, ни сосредоточиваться односторонне. Но какъ только сознательное и словесное мышленіе ребенка дастъ о себѣ знать воспитателю, онъ обязанъ какъ можно скорѣе воспользоваться этимъ даромъ и употребить его въ дѣло; да, въ дѣло, а не на бездѣлье.

Должно помнить, что даръ слова есть единственное и неоцѣненное средство проникать внутрь, гораздо глубже, чѣмъ посредствомъ однихъ виѣшнихъ чувствъ. Но для достиженія этой цѣли необходимо воспитателю орудовать даромъ слова такъ, чтобы онъ употреблялся имъ не для одного только осмысленія приобретаемаго наглядностію матеріала, а также и для воздѣйствія на другія, болѣе глубокія, влеченія души, скрывающіяся подъ наплывомъ виѣшнихъ ощущеній. И съ этой стороны необходимо развитіе внимательности, но, конечно, болѣе осто-

рожное и постепенное. Что развитіе дара слова, чрезъ обученіе грамотѣ, можетъ начаться, безъ всякаго вреда для ребенка, очень рано и въ уровень съ нагляднымъ ученіемъ, доказательствомъ тому служатъ многіе примѣры. Я научился грамотѣ, играючи, когда мнѣ было шесть лѣтъ; мой младшій сынъ выучился по складнымъ буквамъ, безъ всякой другой помощи, шестилѣтнимъ ребенкомъ. Быстро и легко достигнутый успѣхъ объясняется, я думаю, тѣмъ, что внимательность наша была случайно обращена на предметы, сразу заинтересовавшіе нашу дѣтскую индивидуальность, а къ этимъ предметамъ очень встати были приноровлены азбучные знаки.

Меня, то-есть мой индивидуальный складъ, и мою только-что развивавшуюся индивидуальнаго склада душу заинтересовали каррикатурныя изображенія прогнанныхъ изъ Москвы французовъ, о которыхъ рассказы я безпрестанно слышалъ. Эти занятые для меня рассказы, въ связи съ дѣтскою склонностью къ юмору, обратили мою внимательность и на загадочные знаки азбуки, стоявшіе во главѣ каррикатуръ. Звуки словъ, начинавшихся этими знаками, были знакомые уху: А—Ась, Б—Бѣда, В—Ворона, и дѣло шло скоро на ладъ.

Шестилѣтняго моего сына, болѣе склоннаго къ отвлеченію, вѣроятно заинтересовали мистическія (для него) фигуры большихъ литеръ складной азбуки и ихъ таинственная (для него) связь съ представляемыми ими звуками. Вѣрно, безсознательно интересна была для внимательности ребенка фигура, скрывавшая въ себѣ звукъ.

Безъ сомнѣнія, индивидуальность играетъ тутъ главную роль. Всегда найдется средство задѣть ту ея струнку, сотрясеніе которой могло бы разбудить внимательность, а занявъ ее, можно будетъ приноровить и обученіе грамотѣ, и дѣйствіе слова къ обратившему на себя внимательность предмету.

Не одна наглядность, — и слово интересуеетъ дѣтей; какъ слово, и раннее обученіе грамотѣ я считаю необходимымъ дѣломъ для культурнаго общества. Евреи, какъ древній, много испытавшій народъ, знаютъ это по опыту; пятилѣтнихъ дѣтей они сажаютъ за грамоту, да еще за какую, — не чета нашей, усвоиваемой теперь по звуковому и другимъ новѣйшимъ способамъ. Еврей употребляетъ грамоту именно для воздѣйствія

на затаенныя, еще неразвитыя, стремленія души къ высшему началу. Этимъ держится еврейство, и его способъ обученія дѣтей, несмотря на его отсталость и грубость приемовъ, имѣеть важное значеніе въ жизни.

Наблюдавъ развитіе дѣтей въ еврейскихъ школахъ, я не замѣтилъ, чтобы ихъ способъ обученія много препятствовалъ дѣйствию наглядности; за исключеніемъ нѣкоторыхъ индивидуальностей, склонныхъ чрезъ мѣру къ отвлеченіямъ и религіозному фанатизму, большая часть еврейскихъ дѣтей легко пріобрѣтають все то, что дается нагляднымъ обученіемъ; но религіозное настроеніе, сообщенное раннимъ воздѣйствіемъ слова, ихъ не оставляетъ на цѣлую жизнь, и несмотря на ихъ семитическіе инстинкты и внѣшній, тяготящій на нихъ, гнетъ.

Но если еврейскій меламдъ, съ его незатѣпчивыми средствами, такъ умѣетъ сосредоточивать внимательность пяти — шестилѣтнихъ ребятъ на изученіи мертвого для насъ языка, то, значить, искусство это нетрудное.

Почему же оно у насъ не процвѣтаетъ, а если и прогрессируетъ, то черепашинымъ ходомъ?

Не говоря уже о томъ давнемъ времени, когда я самъ учился, — не болѣе какъ двадцать лѣтъ назадъ, я, бывъ попечителемъ двухъ учебныхъ округовъ, ужасался, видѣвъ, какъ мало знакомы были учителя и весь офиціальный персоналъ нашихъ школъ съ этою главною отраслью въ педагогіи. Въ это замѣчательное время наши педагоги вспомнили о Песталоцци и Дистервегѣ и возлагали большія надежды на наглядное обученіе, думая найти въ наглядности талисманъ для культуры дѣтской внимательности. И я самъ не былъ свободенъ отъ этого увлеченія. Но опытъ не оправдалъ розовыхъ надеждъ.

Теперь я убѣдился, что ни наглядность, ни слово, сами по себѣ, безъ умѣнія съ ними обращаться какъ надо и безъ другихъ условій, ничего путнаго не сдѣлають. Я убѣдился еще въ томъ, — и это главное, — что односторонность въ культурѣ внимательности у народа, какъ нашъ, еще недавно выступившаго на поприще образованія, никуда не годится.

Одностороннему меламду это дѣло удастся, несмотря на

грубѣйшіе приемы, потому что у евреевъ, какъ у народа древняго, есть традиція образованія, да къ тому же еще грамота и религія въ понятіи еврея — неразлучны. Западные народы могутъ также быть односторонними въ образованіи, и опять потому же, что имѣютъ преданія и традиціи. У насъ же ихъ нѣтъ, и мы живемъ и начинаемъ учиться во время, вовсе не благоприятное для дѣйствія и силы традицій.

Вся жизнь моя сложилась бы другимъ образомъ, еслибы при моемъ воспитаніи сѣумѣли развить и хорошо направить мою внимательность. Недостатка въ этой способности у меня не было; была, и не въ малой степени, и односторонность ума, но и то, и другое были такъ мало культивированы, что я легко дѣлался односторонникомъ, не умѣя обращаться съ моею внимательностью и направлять ее какъ слѣдуетъ.

Вообще, мнѣ кажется, на эту замѣчательную психическую способность мало обращаютъ вниманія. Можно обладать прекрасно устроенными отъ природы органами чувствъ; эти органы могутъ быть очень чуткими къ принатію впечатлѣній, могутъ отлично удерживать впечатлѣнія, а потому и отлично содѣйствовать внимательности; но если она сама будетъ неразвита и заглушена беспорядочнымъ и, выражаясь по-нѣмецки, тумультуарнымъ наплывомъ впечатлѣній, въ дѣтскомъ возрастѣ, то ничего путнаго не выйдетъ, — развѣ самъ Богъ поможетъ, наконецъ, человѣку, уже болѣе или менѣе взрослому, углубиться въ себя и понять, чего ему недостаетъ для самовоспитанія.

Съ матеріальной точки зрѣнія, внимательность есть особое состояніе напряженія тѣхъ элементовъ мозга, которыми воспринимаются приносимыя органами чувства впечатлѣнія. Въ самый моментъ дѣйствія это напряженіе не можетъ не быть одностороннимъ; но культурою (упражненіемъ) его можно сдѣлать менѣе одностороннимъ.

Такъ, астрономъ, во время наблюденія за прохожденіемъ звѣздъ, можетъ сосредоточить свою внимательность на впечатлѣнія зрительныя и слуховыя въ одно и то же время, смотря въ телескопъ и прислушиваясь къ колебаніямъ маятника. Но, сверхъ этой чувственной внимательности, есть еще и другая,

какъ кажется, отличная отъ первой: внимательность къ болѣе глубокимъ психическимъ процессамъ; внимательность къ собственному своему я, то-есть, къ своей мысли, волѣ, влеченіямъ и т. п. Культура этой способности ведетъ къ тому, что наше я, слѣдя за самимъ собою, дѣлаетъ изъ себя и для себя же нѣчто внѣшнее, объективное.

Кто хочетъ помочь ребенку сдѣлаться человѣкомъ, тотъ не долженъ упускать изъ виду эти два направленія внимательности; но въ этомъ дѣлѣ представляется воспитателю необыкновенная трудность; при культурѣ внимательности необходимо умѣнье индивидуализировать. Слишкомъ скорое и неосторожное развитіе, на примѣръ, внутренней (такъ назову ее) внимательности у нѣкоторыхъ (склонныхъ) отъ природы къ отвлеченію (т.-е. къ внутренней, психической жизни) дѣтей сдѣлаетъ изъ нихъ легко непрacticalныхъ самоѣдовъ. Непомѣрное развитіе чувственной внимательности, при хорошемъ природномъ устройствѣ чувствъ, сдѣлаетъ ихъ легко грубыми сенсуалистами и поклонниками чувственной красоты.

Чѣмъ ранѣе начнетъ развиваться внимательность, тѣмъ лучше для культурнаго человѣка. На первое время достаточно, если мы останемся благоразумными наблюдателями этого развитія и не будемъ надоедать натурѣ нашими выдумками.

Довольно раннее обученіе грамотѣ при пособіи наглядности я считаю самымъ надежнымъ средствомъ къ правильному развитію внимательности. При этомъ способѣ нельзя опасаться односторонняго развитія; при немъ участвуютъ къ возбужденію внимательности и глаза, и ухо, и осязаніе, и самое слово. Только впечатлѣнія, пріобрѣтенныя этимъ путемъ въ раннемъ дѣтствѣ, и остаются въ насъ цѣльными и связными; красною нитью тянутся они чрезъ всю жизнь.

Что, въ самомъ дѣлѣ, связнаго осталось въ архивѣ моей памяти отъ шести-восьмилѣтняго возраста? Грамота, которой я учился по картинкамъ, и самыя картинки (карикатуры); читая теперь какую-нибудь книгу, мнѣ стоитъ только хоть немножко отвлечься въ прошедшее, и „А—Ась, право глухъ Мусь“ —сейчасъ вынырнетъ откуда-то, какъ изъ омута. Всѣ прочія воспоминанія моего дѣтства въ этомъ возрастѣ (шести-

восьми лѣтъ) или туманны и призрачны, или же отрывочны и сомнительны.

Я различаю, однако-же, довольно отчетливо мои самыя раннія воспоминанія отъ другихъ позднѣйшихъ (напримѣръ, изъ тринадцатилѣтняго возраста). Я не сомнѣваюсь, напримѣръ, что удержавшееся весьма ясно представленіе моей матери еще молодую женщину въ красномъ массака цвѣта платьѣ, въ чепцѣ, съ двумя темнорусыми пуклями на лбу, осталось у меня въ памяти отъ восьмилѣтняго возраста.

Моя мать, какъ я слышалъ отъ нея, вышла замужъ пятнадцати лѣтъ, имѣла 14 дѣтей; я былъ предпоследнимъ (последній ребенокъ умеръ вскорѣ послѣ рожденія); слѣдовательно, ей не могло быть болѣе 36 лѣтъ, когда мнѣ было 8; потомъ же, когда я ходилъ въ школу двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, я уже ее помню не такою; утрата двухъ взрослыхъ дѣтей и невзгоды жизни, страшіяся надъ нею въ теченіе этого времени, сильно измѣнили ея наружность; она постарѣла, и образъ ея сливается уже въ моей памяти съ другимъ, позднѣйшимъ, такъ что теперь мать моя представляется мнѣ въ двухъ, совершенно различныхъ одинъ отъ другого, видахъ; то—какъ молодая, смотрящая на меня съ любовью, женщина, въ темно-красномъ капотѣ, чепцѣ и пукляхъ; то—какъ старушка съ сморщеннымъ лицомъ, согнутымъ туловищемъ и туманнымъ взглядомъ, почти такая же, какою она была въ послѣднее время своей жизни, тридцать лѣтъ тому назадъ, хотя я навѣрное знаю, что между этими двумя видами остался у меня въ памяти еще и третій, несходный ни съ однимъ изъ нихъ, но такъ туманный и блѣдный, что я не могу его облечь въ ясное представленіе.

Образы другихъ близкихъ мнѣ лицъ сохранились въ памяти только по однимъ позднѣйшимъ представленіямъ. Образъ отца остался въ памяти такимъ, какъ я его помню, бывъ уже студентомъ (17-ти лѣтъ), незадолго до его смерти. Мою старую няньку и старую служанку я помню также только въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ мнѣ представлялись, когда я былъ уже взрослый (отъ 25 до 30 лѣтъ).

Отрывочныхъ и очень раннихъ воспоминаній (изъ шести-

восьмилѣтняго возраста), весьма отчетливо еще сохранившихся въ архивѣ 70-лѣтней моей памяти, я насчитываю не болѣе семи или восьми. Предметы ихъ ничего не имѣютъ общаго между собою; только бѣлыя розы въ стаканѣ воды, бѣличье одѣяло и сѣрая кошка Машка связаны въ моемъ представленіи, и это, безъ сомнѣнія, потому, что я ихъ всегда видалъ вмѣстѣ, возлѣ меня, открывъ глаза при пробужденіи отъ сна.

По всѣмъ соображеніямъ, ни розы, ни одѣяло, ни сѣрая Машка не были при мнѣ, когда мнѣ, еще маленькому (не болѣе десяти лѣтъ) мальчику, нянька напоминала о нихъ, какъ о чемъ-то давно прошедшемъ: „а помнишь-ли (и эти слова я также живо помню) твою Машку, которую ты такъ бережно закутывалъ твоимъ бѣличьимъ одѣяломъ, когда ложился спать?“

Помню еще отцовскую саблю въ мѣдныхъ ножнахъ, дѣдушкинъ рыжеватый парикъ, длинный колодезный насосъ, упавшій при вставляніи въ садовый колодезь и разбившій окно въ комнатѣ, гдѣ я сидѣлъ, и, наконецъ, бѣлые стоячіе воротнички и панталоны моего перваго учителя. Есть и еще одно воспоминаніе, относящееся приблизительно къ тому же времени; это появленіе въ домѣ крѣпостной семьи, состоявшей изъ мужа, жены и грудного ребенка. Памятна именно новостъ появленія, то-есть памятно сознаніе, что прежде ихъ не было, а тутъ они откуда-то явились, и явился откуда-то кривой Иванъ, смотрѣвшій однимъ только блестящимъ глазомъ, а другой былъ бѣлый какъ мѣлъ.

Всѣ другія, не менѣе ясныя, воспоминанія остались, вѣрно, отъ позднѣйшаго времени.

Я оставался вмѣстѣ съ семьею въ томъ домѣ, размалеванныя стѣны котораго, фасадъ и садикъ помню еще такъ живо, до 14-лѣтняго возраста, и потому самыя раннія воспоминанія о немъ сливаются съ поздними. Но сабля, парикъ, воротнички и панталоны—одни уже не были на виду и спрятаны въ старый хламъ, другіе вышли вмѣстѣ съ ихъ обладателемъ, жившимъ у насъ, какъ я слышалъ, не болѣе одного года.

Что же заставило именно эти отрывочныя, но ясныя представленія остаться такъ долго въ памяти? Почему они не ступшевались въ хламъ другихъ впечатлѣній, безпрестанно дѣйствовавшихъ на мой дѣтскій мозгъ? Вопросъ, конечно, нераз-

рѣшимый. Придется перенестись въ себя чрезъ пропасть времени. За такой сальто-морталэ можно, пожалуй, считать старика выжившимъ изъ ума. Но что за бѣда, если и провалишься въ безднѣ самого себя!

Нѣкоторые впечатлѣнія ранняго дѣтства остаются на цѣлую жизнь, очевидно, отъ сильныхъ сотрясеній всего дѣтскаго организма, а также черезъ частные рассказы о выдающихся случаяхъ въ обыденной жизни.

Вломившаяся въ окно комнаты, въ которой я сидѣлъ, огромная бадья колодезнаго насоса не могла не навести на меня страхъ и ужасъ—и вотъ, въ памяти осталось навсегда представленіе торчащей чрезъ разломанное окно балки, потрясшей своимъ появленіемъ въ комнатѣ съ трескомъ и стукомъ не только внѣшнія чувства, но и все мое тѣло.

Такъ и во многихъ другихъ воспоминаніяхъ давнопрошедшаго повторенные о нихъ рассказы, безъ сомнѣнія, много содѣйствуютъ къ удержанію его въ памяти, чѣмъ оно само по себѣ. Впечатлѣнія, повторявшіяся неоднократно и въ извѣстные моменты жизни, какъ, напримѣръ, впечатлѣнія, произведенныя на меня бѣлыми розами, при пробужденіи отъ сна, и бѣлыми воротничками съ розовыми щеками учителя во время первыхъ моихъ уроковъ, также не могли не остаться въ памяти долѣе другихъ. Рассказы, волнующіе дѣтскія страсти, наводящіе ужасъ и т. п., такъ сильно дѣйствуютъ на воображеніе ребенка, что слышанное въ послѣдствіи представляется ему видѣннымъ; это понятно, потому что подтверждается примѣрами и изъ жизни взрослого человѣка; но гораздо интереснѣе и поучительнѣе наблюденіе, доказывающее, что и одно возбужденіе рассказомъ дѣтской внимательности приводитъ къ тому же результату.

Это дѣлаетъ мощь слова нагляднымъ и убѣждаетъ, что слово можетъ еще замѣнить наглядность, но одна наглядность никогда не замѣнитъ слова. Наглядное, одно, само по себѣ, безъ помощи слова, хотя и можетъ глубоко врѣзаться въ память ребенка, но всегда останется чѣмъ-то отрывочнымъ и несвязнымъ, тогда какъ впечатлѣніе, произведенное словомъ, будетъ болѣе цѣльное и связанное.

Я говорилъ уже объ отцовской саблѣ и дѣдушкиномъ парикѣ. Оба эти предмета оставались у меня въ памяти слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ потому только, что съ ними связаны два разсказа.

Разсматривая мѣдныя ножны, я внимательно слушалъ трогательное для меня повѣствованіе моей няньки о томъ, какъ отецъ, во время нашего бѣгства изъ Москвы въ 1812-мъ году, спасъ этою саблей крестьянку, везшую молоко; на нее напалъ какой-то буйный ратникъ (ополченный) и грабилъ уже ее, когда отецъ мой, замѣтивъ это, выскочилъ изъ повозки, пригрозилъ саблею и прогналъ грабителя; въ знакъ благодарности за спасеніе, я получилъ кружку молока. Сабля была тяжела, и я только смотрѣлъ на нее, а не надѣвалъ. Но рыжеватый дѣдушкинъ парикъ я надѣвалъ на себя, слушая разсказы о томъ, какъ дѣдушка Иванъ Михеевичъ, входя въ церковь, всегда снималъ свой парикъ и обнажая свою плѣшивую, какъ кулакъ, голову, приводилъ въ соблазнъ „предстоящихъ (по выраженію мѣстнаго священника, упрекавшаго дѣдушку за это) людей въ храмѣ Божіемъ“. Не слышъ я этихъ разсказовъ,—вѣрно, и сабля, и парикъ давно исчезли бы изъ памяти. И кривой, бѣлый какъ мѣлъ, глазъ крѣпостного Ивана также изгладился бы непременно изъ моей памяти,—мало ли такихъ кривыхъ я видѣлъ на свѣтѣ,—еслибы не явился къ намъ въ домъ однажды какой-то шарлатанъ изъ Сибири, наговорившій Ивану о чудесахъ своего искусства; онъ началъ приставать съ мольбами къ матушкѣ о дозволеніи возвратить ему глазъ; шарлатанъ, любопытные разсказы котораго объ ѣздѣ на собакахъ въ Якутскѣ я также припоминаю, началъ впускать въ бѣлый глазъ какіе-то бѣлые порошки; глазъ покраснѣлся, шарлатана прогнали, а Иванъ остался, по-прежнему, кривымъ, да вдобавокъ еще и осмѣяннымъ. Я былъ зрителемъ, но гораздо болѣе слушателемъ этой драмы.

Слышанное въ раннемъ, то-есть слово, такъ сильно дѣйствуетъ, что впечатлѣнія, производимыя имъ на воображеніе и память ребенка, легко превращаются въ наглядные образы. Изъ однихъ разсказовъ о моемъ дѣдушкѣ, умершемъ, когда мнѣ было не болѣе 4-хъ лѣтъ, составилъ въ моемъ вообра-

женіи весьма опредѣленный образъ высокаго, сухощаваго старика въ парикѣ; парикъ былъ тутъ только, такъ сказать, прибавочнымъ нагляднымъ представленіемъ, дополнявшимъ слышанное и препятствовавшимъ мнѣ воображать дѣдушку плѣпивымъ, какимъ онъ былъ по рассказамъ; чертъ лица въ воображаемомъ образѣ не было видно, но представленіе высокаго старика въ парикѣ было такъ ясно, что еще и до сихъ поръ осталось во мнѣ смутное убѣжденіе, какъ будто бы нѣкогда я видалъ его живымъ.

Сильное дѣйствіе на насъ часто слышанныхъ устныхъ рассказовъ всѣмъ такъ знакомо, что мы легко объясняемъ себѣ образованіе призранныхъ фантомовъ, составляющихся въ нашемъ воображеніи изъ слышаннаго нами неоднократно, и по тому только одному, или же по другой причинѣ, обратившаго на себя наше вниманіе; но труднѣе гораздо объяснить, почему однажды только слышанное или видѣнное нами можетъ залечь надолго и даже навсегда въ нашей памяти.

Такъ, я до сихъ поръ живо помню видѣнное мною только одинъ разъ въ ризницѣ Троицкой лавры самородное изображеніе креста съ стоящею предъ нимъ на колѣняхъ фигурою; я былъ тогда восьмилѣтнимъ ребенкомъ, и какъ теперь вижу бѣлый, прозрачный, выпуклый камень съ этимъ изображеніемъ; предо мною, какъ будто на яву, стоитъ монахъ и поднятою рукою держитъ камень противъ свѣта. Я положительно знаю, что никогда въ другой разъ не былъ въ ризницѣ лавры.

Помню также живо до сихъ поръ однажды слышанное отъ какого-то мальчика, — правда, то были знакомыя мнѣ слова псалма: „всякое дыханіе да хвалитъ Господа“; я ихъ слышалъ и читалъ въ псалтири не разъ; но почему же я помню всю обстановку, при которой они были слышаны мною?

Мнѣ было тоже не болѣе (скорѣе менѣе) восьми лѣтъ, когда я, гуляя съ нянькою на берегу Яузы, услышалъ визгъ собаки; приблизившись, мы увидѣли двухъ мальчишекъ; изъ нихъ одинъ топилъ собаку, другой его удерживалъ, громко заявляя: „всякое дыханіе да хвалитъ Господа!“ Нянька моя похвалила его за это, и мы пошли далѣе.

Безъ сомнѣнія, очень рано являются въ насъ, конечно при извѣстной внѣшней обстановкѣ, психическія настроенія,

дѣлающія насъ чрезвычайно воспріимчивыми къ нѣкоторымъ впечатлѣніямъ; подѣйствовавшее на насъ въ моментъ такого настроенія, повидимому и незначительное, и даже не разъ уже испытанное нами, впечатлѣніе остается навсегда въ памяти и всегда, при удобномъ случаѣ, напоминаетъ намъ о своемъ существованіи. До сихъ поръ я припоминаю и восклицаніе мальчика, и прогулку за Яузою, какъ скоро слышу слова псалма: „всякое дыханіе да хвалитъ Господа“. Смотря на крестъ, припоминаю нерѣдко и видѣнное мною изображеніе въ лаврѣ. Мораль: педагогу необходимо знакомство съ этимъ замѣчательнымъ психическимъ процессомъ, но примѣненіе его на практикѣ невозможно: не педагогъ управляетъ жизнью, а жизнь имъ.

Кому изъ культурныхъ людей не приходилось мыслить о людскомъ воспитаніи? Кто изъ моралистовъ не желалъ бы перевоспитать человѣческое общество? Всѣ мыслители, я думаю, пришли къ тому заключенію, что воспитаніе нужно начать съ колыбели, если желаемъ коренного переворота нравовъ, влеченій и убѣжденій общества.

Про самого себя, конечно, никто не можетъ рѣшить, съ какой поры проявились въ немъ разныя склонности и влеченія; но кто слѣдилъ за развитіемъ хотя нѣсколькихъ особей отъ перваго ихъ появленія на свѣтъ до возмужалости, тотъ вѣрно убѣдился, что будущая нравственная сторона человѣка рано, чрезвычайно рано, едва-ли не съ пеленокъ, обнаруживается въ ребенкѣ; къ сожалѣнію, поздно, слишкомъ поздно, узнаемъ мы будущее значеніе того, что мы давно замѣчали.

И на моихъ собственныхъ дѣтяхъ, и на нѣкоторыхъ другихъ лицахъ, знакомыхъ мнѣ съ ихъ дѣтства, я рано видѣлъ немало намековъ о будущихъ ихъ нравахъ и склонностяхъ; но теперь только, когда, вмѣсто трехъ—четырехъ-лѣтнихъ дѣтей, я вижу предъ собою тридцатилѣтнихъ мужчинъ и женщинъ, только теперь я увѣряюсь изъ опыта, какъ вѣрны и ясны были эти намеки. Поумнѣвъ заднимъ умомъ, я вижу теперь, что не только о нравахъ, но и о будущихъ міровоззрѣніяхъ всѣхъ этихъ лицъ я могъ бы уже имѣть довольно ясное

понятіе еще за двадцать-пять лѣтъ, еслибы умѣлъ прочесть „мани, факелъ, фаресъ“ въ ихъ дѣтскихъ поступкахъ.

Что и сколько мы приносимъ съ собою на свѣтъ и что и сколько потомъ получаемъ отъ него, этого мы никогда не узнаемъ, а потому и увѣренность—воспитаніемъ нашимъ дать ребенку все то, что мы желаемъ дать—я считаю однимъ самообольщеніемъ.

Я не отвергаю, что Песталотци, Фрѣбель и другіе передовые педагоги и фанатики своего дѣла дали хорошее воспитаніе своимъ питомцамъ; но не вѣрю, чтобы искусственные способы и систематическое ихъ примѣненіе, предложенные этими педагогами, произвели благотворное дѣйствіе на массы людей и на все общество.

Главная сила искусственного, строго-систематическаго воспитанія, есть болѣе отрицательная; какъ бы рано оно ни начиналось, дѣйствуя однообразно и односторонне на различнѣйшія индивидуальности, оно можетъ многое, конечно, и худое уничтожить; но развить что-либо въ нравственномъ отношеніи можетъ оно только извнѣ. Конечно, и это одно можно назвать положительнымъ результатомъ, но такимъ, который годенъ только для какой-либо односторонней, то-есть отрицательной для другихъ сторонъ, цѣли.

А разныхъ сторонъ нашего нравственнаго бытія немало; заставить, на примѣръ, четырехъ-пятилѣтнихъ дѣтей, по Фрѣбелю, играть въ опредѣленный часъ такъ, въ другой часъ иначе, осмыслять каждую его игру и забаву—не значить ли дѣйствовать отрицательно, и систематически отрицательно, на свободу такихъ его дѣйствій, которыя, по существу и цѣли, требуютъ наибольшей свободы? Я, по крайней мѣрѣ, не жалѣю, что жилъ ребенкомъ въ то время, когда еще неизвѣстны были Фрѣбелевы сады. Но, конечно, общества, приготовляющія себя къ соціальному перерожденію, не могутъ не увлекаться воспитаніемъ, общающимся сдѣлать изъ людей манекеновъ свободы.

Главная немощь духа есть, именно, односторонность его стремленій на пути прогресса.

Вездѣ, начиная отъ моды и дохода до фанатизма, мы испытываемъ вліяніе этой немощи.

Но если намъ не суждено узнать всестороннюю истину и всестороннее добро, то мы должны, по крайней мѣрѣ, не слишкомъ довѣрять нашему всегда одностороннему прогрессу. Особливо же осторожно надо относиться къ практическимъ примѣненіямъ добытыхъ имъ истинъ.

Надо помнить, что излюбленное передовыми умами, а за ними и цѣлымъ обществомъ, направленіе истины всегда временно и, отживъ свой срокъ, уступаетъ мѣсто другому, нерѣдко совершенно противоположному.

Реакція и въ политикѣ, и въ наукѣ, и въ искусствѣ—вездѣ необходимое зло и неизбежное слѣдствіе немощи духа.

Я прожилъ только семьдесятъ лѣтъ, — въ исторіи человѣческаго прогресса это одинъ мигъ, — а сколько я уже пережилъ системъ въ медицинѣ и дѣлѣ воспитанія! Каждое изъ этихъ проявленій односторонности ума и фантазіи, каждое примѣнялось по нѣскольку лѣтъ на дѣлѣ, волновало умы современниковъ и сходило потомъ съ своего пьедестала, уступая его другому, не менѣе одностороннему. Теперь, при появленіи новой системы, я могъ бы сказать то же, что отвѣтилъ одинъ старый чиновникъ Подольской губерніи на вопросъ новаго губернатора:

— Сколько лѣтъ служите?

— Честь имѣлъ пережить уже двадцать начальниковъ губерніи, ваше превосходительство!

О медицинѣ скажу послѣ; а въ дѣлѣ воспитанія я засталъ еще крупные остатки средневѣковой школы, видалъ въ прусскихъ регулятивахъ и временный ея рецидивъ; былъ знакомъ и съ остатками ланкастерской (еще существовавшей при мнѣ въ одесскомъ округѣ); присутствовалъ при возобновленіи нагляднаго ученія Песталоцци; былъ современникомъ „Ясной Поляны“, псевдоклассицизма и псевдореализма (настоящими я ихъ не называю потому, что они вступали въ школы съ заднею мыслью).

Все было и сплыло.

Но не вездѣ и не всегда старые чиновники переживаютъ двадцать губернаторовъ; но не вездѣ и не всегда обстоятельства благопріятствуютъ частымъ смѣнамъ принциповъ, системъ

и лицъ, а главное—не вездѣ и не всегда одностороннее влеченіе ума и фантазіи скоро смѣняется другимъ; оно, какъ мы видимъ, можетъ длиться цѣлыя вѣка, пока на смѣну его явится другое. Мы, русскіе, по крайней мѣрѣ, счастливы тѣмъ, что односторонности нашего и чужого ума у насъ, какъ губернаторы въ Подольской губерніи, недолго (относительно) начальствуютъ. Мы—не евреи и не западные народы: у насъ нѣтъ традицій воспитанія. Мы всѣ учились „понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь“.

Подожду, однако-же, говорить о школѣ,—я еще не въ школѣ, и прежде чѣмъ попаду туда, посмотрю, чтѣ дало мнѣ домашнее воспитаніе въ возрастѣ отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, воспоминанія о которыхъ остались въ моей памяти уже болѣе отчетливыми и связными.

Судя по нимъ, я былъ живой и разбитной мальчишъ, но, должно быть, не очень большой шалунъ; не помню, по крайней мѣрѣ, за собой никакой крупной шалости и никакого крупнаго наказанія за шалости. Вообще, я ни дома, ни въ школѣ не былъ ни разу сѣченъ; помню только три наказанія отъ матери: пощечину (однажды) за пощечину; я ударилъ въ щеку какого-то мальчика, а матушка, бывшая свидѣтельницею самоуправства, расправилась точно такъ же сама со мною. Я нахожу это весьма логичнымъ и педагогичнымъ; хотя эта расправа и не излечила меня отъ самоуправства радикально, но нерѣдко удерживала поднятую уже руку, припоминая мнѣ въ-время, что и на меня можетъ подняться болѣе сильная рука.

Два другія наказанія дѣлались, сколько помню, не за шалости, а за капризы; помню, какъ однажды горько и безутѣшно рыдалъ, выведенный въ переднюю съ запретомъ входить въ другія комнаты; но самое непріятное впечатлѣніе осталось у меня отъ удара рукою матери, попавшаго мнѣ нечаянно прямо подѣ ложечку; сразбѣгу я вскочилъ неожиданно въ комнату, гдѣ матушка была чѣмъ-то занята съ сестрами; сгорая она вскочила, и я прямо животомъ ударился объ ея размахнутую руку. Я какъ теперь помню, что мнѣ захватило духъ, и я повалился на полъ. Скверно было

то, что у меня послѣ этого нечаяннаго удара оставалась долго на душѣ какая-то злоба на мать.

Игры, забавы и занятія въ этомъ возрастѣ должны быть уже весьма внушительны для зоркаго наблюдателя; на нихъ можно основать немало-вѣроятную прогностику.

Изъ моихъ домашнихъ занятій (до школы), мнѣ кажется, я не давалъ преимущества ни одному, кромѣ чтенія; считать не особенно любилъ, но четыремъ правиламъ ариметики научился еще до школы; любилъ также собирать и сушить цвѣты, разсматривать изображенія животныхъ и растений и картинки историческаго содержанія, особливо изъ войны 1812-го года, бывшія тогда въ большомъ ходу. Латинская и французская грамматики не возбуждали моего сочувствія; но разборъ частей рѣчи изъ русской грамматики былъ для меня очень занимателенъ, и я помню, что просиживалъ надъ нимъ охотно цѣлые часы. Личность учителей играла тутъ главную роль; учителя русскаго языка я и до сихъ поръ еще вспоминаю, хотя только по воротничкамъ, панталонамъ и рацеѣ; но изъ двухъ другихъ, занимавшихся со мною латынью и французскою грамматикою, одного совсѣмъ забылъ, а другой мелькаетъ въ памяти какъ тѣнь какого-то маленькаго человѣчка.

Вообще, въ домашнемъ воспитаніи до двѣнадцати лѣтъ я занимался только тѣмъ, что само по себѣ было для меня занимательно, а культурою моею внимательности никто и не думалъ заниматься,—и это я считаю главнымъ пробѣломъ моего первоначальнаго воспитанія, тѣмъ болѣе, что и потомъ, въ школѣ и университетѣ, никто, не исключая и меня самого, на развитіе этой способности не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Слѣдствіемъ этого пробѣла было, какъ я испыталъ впоследствии, то, что я, отъ природы любознательный и склонный къ труду, во многомъ остался невѣждою и не приобрѣлъ, когда могъ, тѣхъ знаній, которыя мнѣ впоследствии были крайне необходимы.

Отъ недостатка въ культурѣ внимательности, она потомъ слишкомъ сосредоточилась, и я едва не сдѣлался одностороннимъ по принципу.

Но объ этомъ послѣ, когда буду говорить о моей юности.

Замѣчательно, однако же, что я очень долго не замѣчалъ

слѣдствій этого пробѣла, пока, наконецъ, додумался до сути. Знай я это прежде, то и при воспитаніи моихъ дѣтей поставился бы болѣе о развитіи этой основной способности человѣческаго знанія, болѣе, чѣмъ всѣ другія, поддающейся нашей культурѣ.

Изъ моихъ дѣтскихъ игръ и забавъ памятны мнѣ очень двѣ главныя; одна изъ нихъ была моею любимою въ школѣ, съ моими сверстниками, безъ участія которыхъ она не могла бы и быть,—это игра въ войну; какъ видно, я былъ храбръ, потому что помню рукоплесканія и похвалы старшихъ учениковъ за мою удалъ.

Но другая игра весьма замѣчательна для меня тѣмъ, что она какъ будто приподнимала мнѣ завѣсу будущаго. Это была странная для ребенка забава и называлась домашними игрою въ лекаря. Происхожденіе ея и исторія ея развитія такія.

Старшій братъ мой лежалъ больной ревматизмомъ; болѣзнь долго не уступала леченію, и уже нѣсколько докторовъ поступали на смѣну одинъ другому, когда призванъ былъ на помощь Ефремъ Осиповичъ Мухинъ, въ то время едва-ли не лучший практикъ въ Москвѣ.

Я помню еще, съ какимъ благоговѣніемъ готовились всѣ домашніе къ его приему; конечно, я, какъ юркій мальчикъ, бѣгалъ въ ожиданіи взадъ и впередъ; наконецъ, подѣхала къ крыльцу карета четвернею, ливрейный лакей открылъ дверцы, и какъ теперь вижу высокаго, сѣдовласаго господина, съ сильно выдавшимся подбородкомъ, выходящаго изъ кареты.

Вѣроятно, вся эта внѣшняя обстановка, приготовленіе, ожиданіе, карета четвернею, ливрея лакея, величественный видъ знаменитой личности—сильно импонировали воображенію ребенка; но не настолько, чтобы тотчасъ же возбудить во мнѣ подражаніе, какъ обыкновенно это бываетъ съ дѣтьми: я сталъ играть въ лекаря потомъ, когда присмотрѣлся къ дѣйствіямъ доктора при постели больного и когда результатъ леченія былъ блестящій.

Такъ, по крайней мѣрѣ, я объясняю себѣ начало игры, послѣ глубокаго, еще памятнаго и теперь, впечатлѣнія, про-

изведеннаго на все семейство быстрымъ успѣхомъ леченія. Послѣ того какъ, несмотря на всѣ усилія пяти—шести врачей, болѣзнь все болѣе и болѣе ожесточалась, и я ежедневно слышалъ стоны и вопли изъ комнаты больного,—не прошло и нѣсколькихъ дней Мухинскаго леченія, а больной уже началъ поправляться. Вѣрно, тогда всѣ мои домашніе, пораженные какъ будто волшебствомъ, много толковали о чудодѣйствіи Мухина; я заключаю это изъ того, что до сихъ поръ сохранились у меня въ памяти рассказы о подробностяхъ леченія. Говорили: „Какъ только посмотрѣлъ Ефремъ Осиповичъ больного, сейчасъ обратился къ матушкѣ:

— „Пошлите сейчасъ же, сударыня,—сказалъ онъ,—въ москательную лавку за сассапарельнымъ корнемъ, да велите выбрать такой, чтобы давалъ пыль при разломѣ: сварить его надо также умѣючи въ закрытомъ и на-глухо замазанномъ тѣстомъ горшкѣ; парить его надо долго; велите также тотчасъ приготовить сѣрную ванну“,—и такъ далѣе.

Конечно, такой рассказъ, съ варіаціями, я долженъ былъ слышать неоднократно, а потому долженъ былъ и хорошо его запомнить.

Словомъ, впечатлѣніе, неоднократно повторенное и доставленное мнѣ и глазами, и ушами, было такъ глубоко, что я, послѣ счастливаго излеченія брата, попросилъ однажды кого-то изъ домашнихъ лечь въ кровать, а самъ, принявъ видъ и осанку доктора, важно подошелъ къ мнимо-больному, пощупалъ пульсъ, посмотрѣлъ на языкъ, далъ какой-то совѣтъ, вѣроятно также о приготовленіи декокта, распрощался и вышелъ чрезвычайно изъ комнаты.

Это я отчасти самъ помню, отчасти же знаю по рассказамъ, но весьма отчетливо уже припоминаю весьма часто повторявшуюся впослѣдствіи игру въ лекаря; къ повторенію побуждали меня, вѣроятно, внимательность и удовольствіе зрителей; подъ вліяніемъ такого стимула, я усовершенствовался и началъ уже разыгрывать роль доктора, посадивъ и положивъ нѣсколько особъ, между прочими и кошку, переодѣтую въ даму; переходя отъ одного мнимо-больного къ другому, я садился за столъ, писалъ рецепты и толковалъ, какъ принимать лекарства. Не знаю, получилъ ли бы я такую охоту играть въ лекаря,

еслибы, вмѣсто весьма быстраго выздоровленія, братъ мой умеръ. Но счастливый успѣхъ, сопровождаемый эффектною обстановкою, возбудилъ въ ребенкѣ глубокое уваженіе къ искусству, и я, съ этимъ уваженіемъ именно къ искусству, началъ въ послѣдствіи уважать и науку.

Игра моя въ лекаря не была дѣтскимъ паясничаньемъ и шутовствомъ. Въ ней выражалось подражаніе уважаемому, и только какъ подражаніе она была забавна, да и то для другихъ, а для меня болѣе занимательна.

Не знаю, почему бы, въ самомъ дѣлѣ, уваженіе и возбуждаемый имъ интересъ, привязанность и любовь къ уважаемому предмету не могли быть мотивомъ дѣтскихъ игръ, когда на немъ основаны игры взрослыхъ. Чему, какъ не этому мотиву, обязаны своимъ происхожденіемъ представленія въ лицахъ изъ жизни Спасителя у католиковъ, сцены изъ библейской исторіи на театрѣ прошедшихъ вѣковъ, и теперь еще разыгрываемыя евреями въ праздникъ Аммана?

Какъ бы то ни было, но игра въ лекаря такъ полюбилась мнѣ, что я не могъ съ нею разстаться и вступивъ (правда, еще ребенкомъ) въ университетъ.

Увидѣвъ случайно, въ первый же годъ моего пребыванія въ университетѣ, камнесѣченіе въ клиникѣ, я на сваткахъ у однихъ знакомыхъ вздумалъ потѣшить присутствующихъ молодыхъ людей демонстраціею на одномъ изъ нихъ видѣнной мною недавно операціи; я досталъ гдѣ-то бычачій пузырь, положилъ въ него кусокъ мѣла, привязалъ пузырь между ногъ, въ промежности одного смиренника между гостями, пригласилъ его лечь на столъ, раздвинувъ бедра, и, вооруженный ножомъ и какимъ-то еще — не помню — домашнимъ инструментомъ, вырѣзалъ, къ общему удовольствію, кусокъ мѣла съ соблюденіемъ Цельзова: *tuto, cito et jucunde*.

Я вступилъ въ школу одиннадцати — двѣнадцати лѣтъ, зная хорошо только читать, писать, считать по 4-мъ первымъ правиламъ ариметики и кое-что переводить изъ латинской и французской хрестоматій; но я былъ бойкій, нелѣпный и любившій ученые мальчишья.

Родители, и именно мать моя, имѣли, судя по нынѣшнему,

болѣе чѣмъ странное понятіе о цѣляхъ образованія. Мать считала его необходимымъ въ высшей степени для сыновей и вреднымъ для дочерей. Мальчики, по ея мнѣнію, должны бы были образованнѣе своихъ родителей, а дѣвочки не должны были, по образованію, стоять выше своей матери; въ послѣдствіи она горько раскаявалась въ своемъ заблужденіи. Отдавая такое предпочтеніе мальчикамъ, родители не пожалѣли своихъ, въ то время уже довольно ограниченныхъ, средствъ для обученія насъ двоихъ (меня и брата Амоса) въ частныхъ школахъ.

Меня отдали въ частный пансіонъ Кряжева, помѣщавшійся недалеко отъ насъ, въ томъ же приходѣ, въ знакомомъ мнѣ уже давно, по наружности, большомъ деревянномъ домѣ съ садомъ.

Какъ странна выдержка дѣтскихъ впечатлѣній! Въ эту минуту, когда я вспоминаю о пансіонѣ Кряжева, неудержимо приходитъ на память и сосѣдній домикъ дьякона, и алебастровая урна съ воткнутымъ въ нее цвѣткомъ въ окнѣ мезонина, и дьяконъ Александръ Алексѣевичъ Величинъ за обѣдней, на амвонѣ, въ башмакахъ и черныхъ шолковыхъ чулкахъ. Онъ идетъ мимо меня съ кадиломъ и щиплетъ меня мимоходомъ за щеку, а его племянникъ, студентъ-медикъ Божановъ, выставляетъ на окнѣ, къ великому соблазну молебщиковъ, возлѣ урны черепъ—и киваетъ имъ, заставляя браниться и креститься проходящихъ въ церковь и изъ церкви людей; вслѣдъ за этимъ тотчасъ же припоминается и старый, страдавшій пляскою св. Вита, священникъ Троицы въ Сыроматникахъ; онъ едва стоитъ, безпрестанно вздрагиваетъ, что-то мычитъ про себя, а все служить и служить.

Почему и для чего уцѣлѣли всѣ эти впечатлѣнія, да такъ, что воспоминаніе объ одномъ неминуемо влечетъ за собою и цѣлый рядъ другихъ? Отчего многое другое, несравненно болѣе значительное по содержанію и слѣдствіямъ, безвозвратно исчезло изъ хлама никому ненужныхъ, пошлыхъ впечатлѣній дѣтства?

Но вотъ я представляюсь Василью Степановичу Кряжеву; предо мною стоитъ, какъ теперь вижу, небольшой, но плот-

ный господинъ съ краснымъ, какъ піонъ, лицомъ; волоса съ просѣдью; на большомъ, усаженномъ угрями, носѣ серебряные очки; изъ-подъ нихъ смотрятъ на меня блестящіе, умные, добрые, прекрасные глаза, и я люблю вмѣстѣ съ ними и это багровое, какъ піонъ, лицо, и бѣлыя руки, задававшія не разъ пали моимъ рукамъ; слышу симпатичный, но провзительный и сотрясающій дѣтскія сердца голосъ; и, слыша этотъ грозный нѣкогда голосъ, вижу себя, какъ на-яву, прыгающимъ по классному столу, подъ аплодисменты сидящихъ по обѣимъ сторонамъ стола зрителей: это ученики, соскучившіеся ждать учителя; вижу—дверь разверзается, очки, красное лицо; несутся по классу приводящіе въ ужасъ звуки; я проваливаюсь чрезъ столъ, и затѣмъ уже ничего не помню:—пали линейкою и стояніе на колѣняхъ безъ обѣда сливаются въ памяти съ подобными же наказаніями за другіе проступки.

Да, В. С. Кряжевъ, какъ я теперь понимаю, былъ замѣчательный педагогъ въ свое время; энергическій, но гуманный; онъ сѣкъ, и то только два раза въ годъ, не болѣе, двухъ, уже извѣстныхъ намъ, другимъ ученикамъ, своею склонностью къ этого рода наказаніямъ; когда эти два искателя сильныхъ ощущеній вызывались изъ класса наверхъ къ Василию Степановичу, мы знали уже, въ чемъ дѣло, и, ухмыляясь или же скорчивъ серьезную мину, посматривали другъ на друга.

Пали линейкою по ладонямъ, впрочемъ въ умѣренныхъ пріемахъ, стояніе на колѣняхъ, оставленіе безъ одного кушанья, рѣдко безъ всего обѣда, и, наконецъ, арестъ въ классной комнатѣ во время прогулокъ и игръ въ саду,—вотъ всѣ наказанія, которымъ мы подвергались, и я не помню ни разу, чтобы мы роптали на несправедливость или жестокость.

В. С. Кряжеву было уже за пятьдесятъ; женатъ былъ на нѣмкѣ такихъ же лѣтъ и бездѣтенъ. Жена его Анна Ивановна, съ важною фізіономіею, также въ серебряныхъ очкахъ, какъ и самъ Кряжевъ, памятна мнѣ по двумъ впечатлѣніямъ, сдѣланнымъ на меня: во-первыхъ, ея дебелыми и выставленными для лобызанія руками; къ нимъ прикладывались всѣ мы ежедневно послѣ обѣда; а во-вторыхъ—добродушною ласкою, расточавшеюся этою почтенною дамою всѣмъ оставленнымъ безъ прогулки или безъ обѣда ученикамъ.

Анна Ивановна Кряжева считала себя неразлучною съ пансіономъ особою. Шли ли мы за обѣдъ, или въ церковь— Анна Ивановна была всегда тутъ-какъ-тутъ, вмѣстѣ съ мужемъ или одна.

Я былъ полупансіонеръ и обѣдалъ въ пансіонѣ. Училище наше, вѣрно, пользовалось порядочною репутаціею въ Москвѣ; въ немъ учились дѣти значительныхъ дворянскихъ фамилій и богатыхъ купцовъ. Я засталъ Мельниковыхъ (братьевъ бывшаго министра путей сообщенія), Ключарева, князя Волконскаго. Обликъ всѣхъ ихъ сохранился ясно въ моей памяти, можетъ быть, потому, что Мельниковы (изъ нихъ одинъ уже не учился, а только жилъ въ пансіонѣ) отличались отъ меня лѣтами,—они уже были юноши лѣтъ шестнадцати-семнадцати,—занятіями и искусствомъ танцовать матлотъ; Ключаревъ — близорукостью и искусствомъ рисовать головки; а Волконскій—пажескимъ мундиромъ, въ который онъ облакался въ торжественные дни, и весьма интимнымъ знакомствомъ съ незнакомыми мнѣ вовсе розгами; не проходило мѣсяца, въ который бы онъ не призывался Васильемъ Степановичемъ наверхъ для экзекуціи.

Наши учителя, сколько я могу судить теперь, были всѣ очень порядочные люди, и за исключеніемъ священника и учителя рисованія, какого-то Евграфа Степановича,—и порядочные педагоги. Самъ Кряжевъ умѣлъ такъ учить, что нѣкоторые его уроки мнѣ и теперь еще памятны. Какъ будто слышу еще его декламацію изъ Лафонтэна.

Triomphez, belle rose, vous montez seule les caresses de Zéphyr.

Знанія новыхъ языковъ Василья Степановича были для насъ предметомъ удивленія; онъ издалъ учебники французскаго, нѣмецкаго, англійскаго и едва-ли еще не итальянскаго языковъ; самъ преподавалъ намъ эти языки, и я въ теченіе года, благодаря его урокамъ, могъ уже довольно свободно читать, то-есть читать и понимать неизбѣжнаго „Телемака“ и другія дѣтскія книги. Ученье нѣмецкому языку шло какъ-то вяло; но все-таки я узналъ его настолько, что кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ и съ помощью лексикона, могъ добратъся иногда до

смысла и въ нѣмецкой книжкѣ. И вдругъ, при такомъ слабѣйшемъ знакомствѣ съ языкомъ, Богъ знаетъ какъ и почему, заучилась и осталась съ тѣхъ поръ въ памяти одна строфа изъ Шиллера:

So willst du treulos von mir scheiden, etc.

Странное дѣло! Я Шиллера читалъ въ первый разъ въ Дерптѣ въ 1830-хъ годахъ; въ московскомъ университетѣ я не читалъ ни одной нѣмецкой книги, и когда поѣхалъ въ Дерптъ, то съ трудомъ могъ прочесть безошибочно нѣсколько строкъ, а между тѣмъ навѣрное знаю и помню, что, пріѣхавъ въ Дерптъ, я зналъ наизусть семь, восемь этихъ стиховъ изъ Шиллера. Откуда взялась такая выскочка въ памяти?

Учителя исторіи, географіи и математики, братья Терехины, были вѣрно не худые педагоги, если и то небольшое, что я узналъ отъ нихъ въ два года, не совсѣмъ еще вышло изъ памяти, несмотря на то, что цѣлый десятокъ лѣтъ послѣ выхода изъ училища я не бралъ въ руки ни одной исторической и математической книги; а то, что я потомъ узналъ самоучкою, рѣзко могу еще и теперь отличить въ моей памяти отъ моего школьнаго запаса; помню еще рассказы Терехина объ Аннибалѣ, Сципіонѣ, о причинахъ второй пунической войны; до императоровъ я въ пансіонѣ не дошелъ, и познакомился съ ними гораздо позже.

Изъ уроковъ математики Терехина осталось, правда, еще менѣе въ моемъ запасѣ; но это потому, что въ школѣ я былъ лучшимъ ученикомъ исторіи и русской словесности, а не математики. Между тѣмъ едва-ли у меня нѣтъ математической жилки; но она, мнѣ кажется, развивалась медленно, съ лѣтами, и когда мнѣ захотѣлось, и даже очень, знать математику—было уже поздно.

Основываясь на собственномъ опытѣ и на многихъ другихъ примѣрахъ, я считаю математику такую наукою, склонность и способность къ которой не всегда, какъ полагаютъ многіе, развивается въ раннихъ лѣтахъ; ея изученіе требуетъ особаго рода внимательности, слишкомъ разсѣянной у способныхъ дѣтей, и чѣмъ живѣе способный ребенокъ, чѣмъ болѣе предметовъ, препатствующихъ сосредоточенію его вниматель-

ности, тѣмъ легче можно ошибиться въ діагнозѣ, не узнавъ въ-время и его способности къ математикѣ. Между тѣмъ развить въ-время у способнаго ребенка математическую жилку— важное дѣло, сильно вліяющее на будущность.

Сколько я помню, мнѣ особливо не нравился урокъ алгебры. И можно ли возбудить внимательность ребенка отвлеченнымъ предметомъ, не объяснивъ его значенія и нагляднаго примѣненія, да еще въ наукѣ, не допускающей воздѣйствія на внимательность словомъ? Еслибы меня не учили въ одно и то же время и извлеченію кубическихъ корней, и алгебрѣ, и геометріи, а заняли бы мое вниманіе постепенно однимъ предметомъ за другимъ, то я убѣжденъ, что изъ меня вышелъ бы не плохой математикъ, каковъ я есмь.

Геометрію я любилъ, но, усталый отъ непонятной алгебры, пропускалъ многое безъ вниманія и на урокъ геометріи; а то, чтѣ слушалъ со вниманіемъ, удержалъ въ памяти и до сихъ поръ, и на вступительномъ экзаменѣ въ московскій университетъ получилъ даже отъ Чумакова, профессора математики, похвалу за то, что безъ доски, чертя рукою по воздуху, объяснялъ свойства параллельныхъ линій и Пифагоровыхъ штановъ.

Въ ученіи географіи былъ, въ то время, огромный пробѣлъ, сильно тормазившій распространеніе знаній о землѣ въ учащемся поколѣніи. Тормазъ этотъ существовалъ еще и чрезъ тридцать лѣтъ послѣ того, какъ я вышелъ изъ школы.

Физическая географія, самая инструктивная и основная, какъ знаніе, была въ полномъ пренебреженіи со стороны учебного вѣдомства. Въ то время, когда еще читались и были въ ходу такіа книги, какъ „Разрушеніе Коперниковой системы“ (изданное въ Москвѣ священникомъ Сокольскимъ), въ школахъ мы получали какія-то отрывочныя понятія о земномъ шарѣ, и никто изъ воспитателей не обращалъ нашего вниманія на сводъ неба.

Я ни разу не помню, чтобы кто-нибудь въ лунную и звѣздную ночь указалъ намъ на небесный сводъ; самый земной шаръ, хотя и изображенный на классномъ глобусѣ, былъ для насъ скорѣе чѣмъ-то отвлеченнымъ, нежели нагляднымъ. О вѣмныхъ картахъ, планетахъ и т. п. не было и помину.

Нельзя себѣ представить, съ какимъ живымъ любопытствомъ я, черезъ двадцать-пять лѣтъ послѣ моего выхода изъ школы, въ первый разъ въ жизни, рассмотрѣлъ нѣмыя карты частей свѣта, и какъ новы показались мнѣ представленія земли отъ взгляда, брошеннаго на эти карты.

И долго еще и послѣ того пригоднѣйшая для развитія дѣтскаго соображенія и внимательности наука была еще въ непонятномъ пренебреженіи и забыти.

Что, казалось бы, всего проще, естественнѣе и дѣльнѣе, какъ не обращеніе перваго же вниманія ребенка на обитаемую имъ мѣстность, на кругозоръ, небесный сводъ, на то именно, что подъ нимъ, вокругъ его и надъ нимъ; на настоящее, а не на прошедшее; между тѣмъ именно географія позже всѣхъ другихъ наукъ сдѣлалась воспитательною. Это не даромъ,—есть причина. Какая?

Начать съ того, что географія, въ современномъ ея видѣ, наука относительно новая, а способы ея изученія почти ново-рожденные, тогда какъ другіе предметы дѣтскаго и школьнаго образованія стары и, за исключеніемъ немногихъ, ровесники европейской цивилизаціи.

Сверхъ того, математическая сторона географіи требуетъ нѣкотораго умѣнья ориентироваться и представлять себѣ отношенія различныхъ величинъ и разстояній; а въ раннемъ дѣтствѣ, если и можно у ребенка развить эти способности, то не иначе, какъ черезъ-чуръ сосредоточивая его внимательность туда именно, куда она всего менѣе влечется.

Чувственная внимательность въ раннемъ возрастѣ, сама по себѣ, вся обращена на ближайшіе, окружающіе ребенка, или кажушіеся ему близкими, предметы; а въ то же время развивающееся воображеніе привлекаетъ ее въ отдаленное пространство и время, то-есть въ недѣйствительность; происходитъ нѣчто въ родѣ антагонизма между двумя влеченіями или токами внимательности. Съ одной стороны, глазъ ребенка занятъ разсматриваніемъ новыхъ или привлекательныхъ для него формъ, цвѣтовъ, движеній окружающихъ предметовъ; а съ другой стороны—слово увлекаетъ его въ далекія страны и въ давно прошедшія времена,—вонъ изъ окружающей дѣйстви-

тельности. Слишкомъ напрямъ на одну сторону или сосредоточить внимательность въ этомъ періодѣ развитія—значило бы насиловать ее и мѣшать нормальному ходу ея развитія.

Слово, съ самыхъ раннихъ лѣтъ, оказывало на меня, какъ и на большую часть дѣтей, сильное вліяніе; я увѣренъ даже, что сохранившимися во мнѣ до сихъ поръ впечатлѣніями я гораздо болѣе обязанъ слову, чѣмъ чувствамъ. Поэтому немудрено, что я сохраняю почти въ цѣлости воспоминанія объ урокахъ русскаго языка нашего школьнаго учителя Войцеховича; у него я, ребенокъ двѣнадцати лѣтъ, занимался разборомъ одъ Державина, басенъ Крылова, Дмитріева, Хемницера, разныхъ стихотвореній Жуковскаго, Гнѣдича и Мерзлякова. О Пушкинѣ въ школахъ того времени, какъ видно, говорить не позволялось.

Войцеховичъ умѣлъ отлично занимать насъ рассказами изъ древней и русской исторіи, заставляя насъ къ слѣдующему уроку написать, чтѣ слышали, и изложить свое мнѣніе о героѣ разсказа, его дѣйствіяхъ, характерѣ, и т. п. Ни на одинъ урокъ я не шелъ такъ охотно, какъ въ классъ Войцеховича; въ немъ все было для меня привлекательно. Серьезный, задумчивый, высокій и нѣсколько сутуловатый, съ добрыми голубыми глазами, Войцеховичъ (кандидатъ московскаго университета) одушевлялся на урокѣ такъ, что одушевлялъ и насъ; я былъ, судя по отличнымъ отмѣткамъ, которыя онъ мнѣ всегда ставилъ въ классномъ журналѣ, лучшимъ изъ его учениковъ и, должно быть, этимъ держалъ на караулѣ мою внимательность.

На урокахъ же Войцеховича я познакомился съ „Письмами русскаго путешественника“ и русскою исторіею Карамзина (тогда еще новинкою), „Пантеономъ русской словесности“, и читалъ потомъ, въ не-классное время, съ увлеченіемъ эти книги. Я могу сказать, что и русскую исторію узналъ почти впервые изъ уроковъ русскаго языка; особаго преподавателя русской исторіи, сколько помню, не было въ пансіонѣ Кряжева.

Нашъ славный, добрый Войцеховичъ, должно быть, не уцѣлѣлъ; я его видѣлъ потомъ въ университетской клиникѣ съ костоѣдою (вѣроятно, туберкулезною) тазобедреннаго сустава; посѣщеніемъ моимъ онъ былъ и тронутъ, и удивленъ, услы-

шавъ, что я пошелъ по медицинскому, а не по словесному факультету.

Но если я не могу равнодушно вспомнить о педагогическихъ достоинствахъ Войцеховича и всегда съ благодарностью произношу его имя, то такъ же неравнодушно, только съ другой стороны, вспоминаю учителя латинскаго языка, попа, — имени не помню; за доброту и чрезмѣрную мягкость души, пожалуй, приличнѣе бы было его величать священникомъ, но за ученье онъ не стоитъ названія и попа, а развѣ только попики. Это было какое-то вялое, безжизненное, хотя и добрѣйшее существо, среднихъ лѣтъ и довольно благообразное въ своей темно-лиловой шолковой рясѣ. Боже мой! чтѣ это были за уроки! Если бы я самъ, любя — почему? и самъ не знаю — латинскій языкъ, не занимался дома; не зубрилъ грамматики Кошанскаго, многого вовсе не понимая, и не переводилъ кое-чего изъ Корнелія Непота и латинской хрестоматіи, съ помощью лексикона Өомы Розанова, то вѣрно не зналъ бы и того немногаго изъ латыни, съ которымъ я поступилъ въ московскій университетъ.

Между тѣмъ, къ моему горю, я убѣжденъ, что могъ бы быть порядочнымъ латинистомъ; впоследствии, познакомившись нѣсколько съ римскими классиками, я одинъ, безъ руководителя, съ наслажденіемъ читалъ ихъ; не прощу, однако-же, никогда ни попу-учителю, ни Горацію за трудъ, истраченный мною безуспѣшно въ пріискахъ сокровеннаго смысла его стиховъ.

Впрочемъ, къ утѣшенію моему, я убѣдился, что не меня одного ничему не научили попы; въ московскомъ университетѣ я встрѣчалъ потомъ и старыхъ семинаристовъ, не больше моего успѣвшихъ въ пониманіи Горація. Какъ предъ собою вижу стараго студента изъ семинаристовъ, медика Тихомірова, памятнаго для меня, тогда безусаго мальчика, и по темно-синему цвѣту выбритыхъ щекъ и подбородка; я, шестнадцатилѣтній мальчишка, вздумалъ составлять по какимъ-то старымъ книгамъ руководство къ химіи для студентовъ и, написавъ предисловіе, показалъ его другому товарищу-студенту; тотъ, какъ видно, бывъ гораздо умнѣе меня, написалъ на заглавномъ листѣ моей рукописи: *popum prematur in annum, Horat.*, только промах-

нулся на ореографіи, и вмѣсто аппим хватилъ: аппим. Прочитавъ это, я погрузился въ размышленіе: чтѣ сей сонъ значить, и приглашаю на совѣтъ стараго Тихомірова; онъ, читая, также погружается въ раздумье.

— „Знаете, — говоритъ мнѣ, — вѣдь это неловко, сально выходитъ: prematur, знаете, прижимается какъ бы или втискивается, что-ли, а потомъ in аппим; это, это—сально; не обращайтесь съ этимъ господиномъ, онъ долженъ быть свинья“.

Такъ мы и не разобрали Горація, и только черезъ нѣсколько дней послѣ этого происшествія я раскусилъ, въ чемъ дѣло, и поблагодарилъ разумнаго, хотя и незнакомаго съ римскою ореографіею, товарища за добрый совѣтъ.

Казалось бы, каждый учитель, прошедшій самъ школу, долженъ и по себѣ знать, какъ долго, на цѣлую жизнь нерѣдко, остаются въ памяти добрыя и худыя дѣла наставниковъ; а между тѣмъ большей части наставниковъ отъ этого ни тепло, ни холодно, и такіе попы, какъ мой школьный учитель латыни, и теперь еще не рѣдкость.

Про законъ Божій я и не говорю; уже, конечно, не катехизисомъ и не священной исторіею, въ ея школьномъ нарядѣ, могъ онъ привлечь мое вниманіе, когда не умѣлъ этого сдѣлать классицизмомъ.

Изъ этого обзора моихъ школьныхъ занятій я заключаю, что первоначальное мое ученіе не основывалось ни на какомъ привципѣ; оно не было ни классическимъ, ни реальнымъ. Всего болѣе знанія я вынесъ по двумъ языкамъ: русскому и французскому: на обоихъ могъ я читать и понимать читанное, могъ и писать. Къ нашему позору, насъ учили также и говорить по-французски, давая марки, оставляя безъ одного кушанья и безъ гулянья за несоблюденіе правила говорить внѣ классовъ между собою по-французски.

Да, я считаю позоромъ для насъ, русскихъ, что наши родители, воспитатели и само правительство поощряли эту поскудную, пошлую и вредную мѣру. Говорить дѣтямъ и недѣтямъ одной народности между собою на иностранномъ языкѣ, безъ всякой необходимости, для какого-то безцѣльнаго упраж-

ненія—это, по-моему, верхъ нелѣпости, и, главное, нелѣпости вредной, мѣшающей развитію и мысли, и отечественнаго языка. Много я думалъ объ этомъ при воспитаніи моихъ дѣтей; я имѣлъ средства воспитать ихъ въ упражненіяхъ на французскомъ діалектѣ и, вѣроятно, этимъ повліялъ бы благотворно на ихъ будущую карьеру въ нашемъ обществѣ; но я не могъ преодолѣть въ себѣ отвращенія отъ этого нелѣпаго способа образованія дѣтей. Мыслить на двухъ и трехъ языкахъ, и даже мыслить на винегретѣ изъ трехъ языковъ, каждому изъ насъ возможно; но чтобы мыслить всесторонне, ясно и отчетливо на чужомъ языкѣ, нужно знать его съ пеленокъ, точно такъ же, какъ свой родной, и, пожалуй, лучше своего, или же изучить этотъ чужой языкъ глубоко, какъ изучить его тотъ, кто видитъ въ немъ единственное средство къ приобрѣтенію какого-нибудь знанія или къ достиженію какой-либо цѣли жизни.

Такъ, два и три языка дѣлаются родными для жителей пограничныхъ провинцій, для дѣтей смѣшанныхъ браковъ; а изъ обитателей окраинъ современные евреи мыслятъ и говорятъ на какой-то смѣси семитическаго и двухъ или трехъ арійскихъ нарѣчій.

Такъ, въ прошлыхъ вѣкахъ, всѣ почти ученые и передовые люди разныхъ націй, изучившіе глубоко латинскій языкъ, и мыслили на немъ, и писали, и говорили между собою.

Русскія дѣти не подходятъ ни подъ одно изъ этихъ условий; всѣ почти учатся разговорному чужому языку въ пяти—восьмилѣтнемъ возрастѣ у боннъ, гувернантокъ и гувернеровъ. Между тѣмъ, еще задолго до этого возраста, какъ только ребенокъ начинаетъ лепетать,—родное слово вступаетъ въ неразрывную связь съ племенной мыслью (о наслѣдствѣ въ юности которой едва-ли можно сомнѣваться). Возможно ли же чужому слову нарушать это право родного языка безъ вреда для процесса мышленія и не нарушая его нормальнаго развитія?

Вредъ состоятъ въ томъ, что внимательность ребенка, вмѣсто того, чтобы постепенно углубляться и сосредоточиваться на содержаніи предметовъ, и тѣмъ служить къ развитію процесса мышленія, остается на поверхности, занимаясь новыми именами знакомыхъ уже предметовъ.

Такимъ образомъ, стараясь сдѣлать для дѣтей языкъ своимъ или почти роднымъ, мы въ большей части случаевъ достигаемъ одного изъ двухъ результатовъ. Или ребенокъ, излагая что-либо на чужомъ языкѣ, будетъ только приискивать слышанныя и затверженныя имъ иностранныя слова и фразы, для замѣны ими словъ и выраженій родного языка; въ этомъ случаѣ внимательность ребенка привыкаетъ останавливаться на одномъ внѣшнемъ, на формѣ слова, и оставляетъ содержаніе въ сторонѣ, нетронутымъ; въ послѣдствіи это направленіе внимательности можетъ сдѣлаться привычнымъ, а мышленіе—поверхностнымъ и одностороннимъ. Или же ребенокъ, дѣйствительно, начнетъ думать не на одномъ своемъ, а на разныхъ языкахъ; но на каждомъ изъ нихъ, въ большей части случаевъ, кругозоръ мышленія едва-ли можетъ быть всестороннимъ и неограниченнымъ.

Только гениальные люди, и то въ исключительныхъ случаяхъ, могли мыслить и излагать свои мысли о различныхъ предметахъ знанія на чужомъ языкѣ такъ же полно, такъ же глубокомысленно и ясно, какъ и на своемъ родномъ.

Но и даровитые люди, изучавшіе съ малолѣтства практически и научно французскій языкъ, думали и писали на немъ, какъ на родномъ, только въ извѣстномъ, ограниченномъ кругѣ мышленія. Пушкинъ, на примѣръ, писавшій и говорившій по-французски не хуже природнаго француза, былъ бы, вѣрно, плохимъ французскимъ поэтомъ.

Бисмаркъ при мнѣ говорилъ, что ему такъ же легко написать дипломатическую ноту по-французски, какъ и по-нѣмецки, хотя ему легче говорить и писать на родномъ языкѣ. И про себя я знаю, что во время моей профессуры въ Дерптѣ мнѣ легче было читать и писать о научныхъ (медицинскихъ) предметахъ по-нѣмецки, чѣмъ по-русски; читая и пиша, я и думалъ по-нѣмецки; нѣмцамъ, читавшимъ писанныя мною лекціи, приходилось исправлять весьма немногое, только нѣкоторые падежи и незначительныя слова,—между тѣмъ говорить и писать по-нѣмецки о другихъ предметахъ я могъ не иначе, какъ переводя съ русскаго на нѣмецкій языкъ.

Я полагаю, что такой степени знанія иностраннаго языка совершенно достаточно для каждаго, видящаго въ языкознаніи

лишь одно научное средство къ обладанію знаніемъ самаго предмета. Достигнуть же этой степени знанія языка можно и не рискуя нарушить у ребенка нормальный ходъ развитія внимательности и мышленія. Я вынесъ изъ школы только одну нѣмецкую грамоту, да и то произношеніе мое было черезчуръ неправильно, и несмотря на это, начавъ учиться по-нѣмецки, — уже бывъ лекаремъ въ семнадцать лѣтъ, — я въ теченіе пяти лѣтъ могъ уже читать, говорить и писать по-нѣмецки весьма порядочно.

И я остаюсь убѣжденнымъ въ томъ, что нашъ обычный способъ обученія малолѣтковъ — едва не грудныхъ младенцевъ — французскому и англійскому языкамъ — нелѣпъ; онъ позоритъ національное чувство, нисколько не содѣйствуя къ распространенію научныхъ знаній и къ расширенію мыслительнаго кругозора въ нашемъ отечествѣ. Этотъ способъ можно бы было предоставить только однимъ готовящимся съ пеленокъ вступать въ ряды извѣстнаго рода спеціалистовъ (дипломатовъ, драгомановъ, посланниковъ и царедворцевъ).

Можно ли ждать быстрого прогресса въ развитіи родного языка, племенной мысли, науки и искусства въ странѣ, гдѣ около трона, въ высшихъ кругахъ, въ салонахъ, дѣтскихъ, будуарахъ, слышится говоръ туземцевъ на чуждомъ имъ языкѣ и гдѣ знаніе его сдѣлалось не средствомъ, а цѣлью образованія?

Это превращеніе временнаго средства въ конечную цѣль лишило насъ научной и классической литературы, послуживъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, препятствіемъ распространенію охоты къ чтенію на русскомъ языкѣ. Научались европейскимъ языкамъ съ малолѣтства только въ верхнихъ слояхъ общества и только для себя, для своего круга, для салона, для карьеры, такъ какъ знаніе иностраннаго языка было вывѣскою образованія; а кто изъ этого класса хотѣлъ читать, тому, конечно, не нужны были книги на русскомъ языкѣ. А когда къ образованію начали стремиться и низшіе общественные слои, не имѣвшіе возможности познакомиться съ европейскими языками въ дѣтствѣ, то нечего было читать; научная и классическая литература не существовала на русскомъ языкѣ; въ ней не было породы бѣлой кости.

И вотъ культурная часть нашего общества распалась на два слоя: верхній, обладавшій всѣми средствами къ прочному образованію, но, по своему рожденію, положенію, предразсудкамъ и т. п., не призванный къ серьезному научному труду, не нуждающійся ни въ отечественно-научной литературѣ, ни въ переводѣ на русскій классическихъ произведеній другихъ народовъ; другой слой, нижній, почти цѣликомъ составился изъ пролетаріата; безъ знанія европейскихъ языковъ, безъ всякихъ средствъ, послѣ нелѣпой школьной подготовки, вступала молодежь этого слоя въ высшія учебныя заведенія, и, желая научиться, для изученія какого бы то ни было предмета, не находила ни одного порядочнаго руководства на русскомъ языкѣ. Но на эту тему мнѣ придется еще говорить потомъ не мало.

Впрочемъ, и то сказать,—виновато въ нелѣпостяхъ нашихъ системъ образованія не столько общество, сколько внѣшнія обстоятельства при высшихъ соображеніяхъ, а чаще, кажется, при недостаткѣ и даже полномъ отсутствіи здраваго смысла.

Сверхъ многихъ незнаній, я вынесъ изъ школы и еще одно, благодаря Бога, не повредившее мнѣ въ жизни; это было незнаніе танцевальнаго искусства. Въ мое оправданіе я скажу, что еслибы нашъ танцмейстеръ Лилѣвъ и нашъ учитель-попъ перемѣнялись своими ролями, то я вѣрно бы умѣлъ и танцевать, и переводить Горациа, вступая въ московскій университетъ. Хотя для обученія латинскому языку и не требовались толстыя ляжки и икры Лилѣва, а для танцевъ лиловая ряса попа не только не была нужна, но даже препятствовала бы движенію ногъ въ антраша и матлотѣ, я убѣжденъ, однако-же, что строгая выдержка, систематическая, чисто научная, послѣдовательность и энергія, которыя нашъ танцмейстеръ прилагалъ къ обученію насъ въ искусствѣ дѣлать разныя па, произвели бы на меня совершенно другое дѣйствіе, еслибы были примѣнены къ урокамъ латинскаго языка. И наоборотъ, еслибы въ танцевальномъ классѣ, гдѣ свирѣпствовалъ Лилѣвъ, предо мною явился нашъ тихій и мягкосердечный попикъ, я не бѣгалъ бы и не скрывался отъ танцевальныхъ уроковъ, какъ отъ грозы небесной.

Такимъ я остался и до сихъ поръ (1881 г.), что не могу

смотреть на предметы забавы и разсѣянія какъ на серьезныя дѣла. Поэтому, вѣрно, я не учился играть въ шахматы и въ карты. Картъ, исключая игры въ мельники и дурачки (въ мельники я игралъ вѣкогда, именно въ студенческіе годы, въ Дерптѣ, въ семействѣ Мойера, съ энтузіазмомъ и мастерски), я избѣгалъ и по другой причинѣ.

Когда за гробомъ отца я шелъ съ старшимъ братомъ, то онъ, со слезами на глазахъ, глубоко взволнованный, схватилъ меня за руку и сказалъ:

— „Слушай, Николай, клянись мнѣ на гробѣ отца, что не будешь никогда играть въ карты! Онѣ погубили меня“.

Я поклялся, и всю жизнь мою ни разу не садился играть ни въ какую денежную или азартную игру, и ни одной изъ нихъ не знаю; въ дураки же и мельники я умѣлъ играть еще въ дѣтствѣ.

Во время моего двухъ-лѣтняго школьнаго ученія на нашемъ семействѣ стряслась не одна бѣда.

Сначала умерла, послѣ родовъ, старшая замужняя сестра, потомъ, чрезъ годъ, умеръ въ кори мой братъ Амосъ; другой старшій братъ, Петръ, чѣд-то накуралесилъ по службѣ, проигравшись въ карты, женился на какой-то невзрачной особѣ безъ позволенія отца. Наконецъ, пришла бѣда, въ конецъ разорившая насъ.

Отецъ мой, несмотря на свою службу въ комиссаріатскомъ военномъ вѣдомствѣ, навѣрное не бралъ взятокъ. Онъ получалъ хорошій доходъ отъ частныхъ дѣлъ, которыя онъ умѣлъ, какъ я слыхалъ потомъ, вести хорошо.

Существованіе наше до страсшихся надъ нами бѣдъ было вполне обезпеченное, но кутежи, мотовство и растрата казенныхъ денегъ братомъ стоили отцу не мало денегъ и заботъ, а тутъ вдругъ, неожиданно-негаданно, падаетъ, какъ снѣгъ, на его озабоченную голову воровство комиссіонера Иванова, отправленнаго куда-то на Кавказъ съ порученіемъ отвезти туда 30.000 рублей. Ивановъ исчезаетъ съ деньгами, и—не знаю, на какомъ основаніи—присуждается казначей,—мой отецъ,—къ взносу значительной части этой суммы. Было ли тутъ со стороны отца какое упущеніе или несоблюденіе формальностей—

до меня не дошло, но помню, что отецъ горько жаловался на несправедливость. Въ концѣ концовъ пришлось уплатить, а для этого пришли описывать все имѣніе и все наличное въ казну; описали домъ, мебель, платье; помню, какъ матушка и сестры плакали, укладывая въ сундуки разный хламъ.

Послѣ этой катастрофы отецъ вышелъ въ отставку, занялся исключительно частными дѣлами по имѣніямъ; но прежняя энергія уже не возвращалась; пришлось войти въ долги, и въ перспективѣ открывалась бѣдность; только съ трудомъ хватало средствъ на мое образованіе, и мнѣ приходилось скоро оставить школу.

Нравственность моя много потерпѣла во время этихъ бѣдъ.

Какъ ни любила меня семья, но, разстроенная и горемычная, она не могла услѣдить за поведеніемъ живого, рѣзвого и нервнаго мальчика; къ тому же это была пора рановременнаго развитія моихъ половыхъ отправленій; меня начали интересоваться портреты женщинъ, описываемые въ повѣстяхъ и романахъ, картинки съ изображеніемъ женскихъ прелестей; а тутъ подвернулся еще молодой писарь отца, какъ видно—обожатель женскаго пола, для оболъщевія котораго онъ пускалъ въ ходъ гитару съ припѣвомъ: „взвейся, выше понесися, сизокрылый голубокъ“. Имя этой твари—Огаревъ—сохранилось въ моей памяти до сегодня; оно пережило и тѣ скверныя впечатлѣнія, которыми онъ развращалъ меня; рассказы его интересовали меня новизною содержанія, и я искалъ случая поговорить съ нимъ наединѣ. Какихъ сальностей ни слышался я отъ этого пошляка! Чего ни показывалъ онъ мнѣ, и табакерки съ сальными изображеніями въ серединѣ, подъ крышкою...

Въ школѣ, которую я въ то же время посѣщалъ, шли нерѣдко, въ внѣ-классные часы, разговоры такого же рода; мы, мальчишки, толковали о прелестяхъ дѣвушекъ, видѣнныхъ нами въ церкви, въ гостяхъ, пересказывали о занятіяхъ и свойствахъ своихъ сестеръ; сообщались и болѣе глубокія свѣдѣнія о различіи половъ; оказывалось, что каждый изъ насъ, учениковъ, успѣлъ уже приобрѣсти дома порядочный запасъ

сальныхъ свѣдѣній, которыя и сообщалъ охотно и, сколько можно, наглядно своимъ товарищамъ.

Казалось бы, что, воспитанный въ домѣ весьма набожной семьи, я долженъ былъ найти въ религіи сильный внутренній оплотъ противъ напора внѣшнихъ развращающихъ меня побужденій. Но, во-первыхъ, я сказалъ уже, что эти внѣшнія побужденія совпали съ раннимъ развитіемъ половыхъ инстинктовъ. Что же касается до религіознаго вліянія, то оно было *sui generis*. Это важнѣйшая статья въ моей жизни.

Послѣдователи Галловой краніоскопіи вѣрно нашли бы у меня немало развитымъ органъ теософіи.

Мои религіозныя убѣжденія имѣли нѣсколько фазисовъ, и каждый изъ нихъ совпадалъ съ извѣстнымъ возрастомъ и съ нравственными и житейскими переворотами. Но не буду забывать впередъ и останавлиюсь сначала на моей религіи при вступленіи въ юношескій возрастъ (отъ двѣнадцати до четырнадцати лѣтъ), еще живо сохранившейся въ моей памяти.

Я сказалъ, что вся наша семья была очень набожна, и всѣ ея члены, за исключеніемъ меня (а можетъ быть, и старшаго брата, умершаго пятидесяти лѣтъ отъ холеры, въ 1849 г.), — отецъ, мать и сестры — такими же набожными оставались и до самой смерти.

Покойница-матушка, умирая въ 1851 году на моихъ рукахъ, соборовалась передъ смертію, и послѣднія ея слова были: „вѣрно, я страшная грѣшница, что такъ долго мучаюсь предъ смертію“; сказавъ это, она издала послѣдній вздохъ и скончалась.

И отецъ, и мать проводили цѣлые часы за молитвою, читая по требнику, псалтирю, часовнику и т. п. положенные молитвы, псалмы, акафисты и каноны; не пропускалась ни одна заутреня, всенощная и обѣдня въ праздничные дни. Я долженъ былъ строго исполнять то же.

Я помню, какого труда мнѣ стоило осилить акафистъ Иисусу Сладчайшему; помню, какъ непонятнымъ, но неизбѣжно-необходимымъ представлялось мнѣ чтеніе: „блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, и, живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ (я читалъ: въ крови) Бога небеснаго водворится“.

Помню, какъ меня, полусоннаго, заспаннаго, одѣвали и вѣдрили къ заутренямъ; не разъ, отъ усталости и ладаннаго чада въ церкви, у меня кружилась голова, и меня выводили на свѣжій воздухъ.

О соблюденіи постовъ и постныхъ недѣльныхъ дней и говорить нечего. Чистый понедѣльникъ, сочельники, великій пятокъ считались такими днями, въ которые не только ѣсть, но и подумать о чемъ-нибудь не очень постномъ считалось уже грѣхомъ. Мяса въ великій постъ не получала даже и моя любимица, кошка Машка.

Евангеліе въ зеленомъ бархатномъ переплетѣ съ изображеніями на эмали четырехъ евангелистовъ, закрытое серебряными застежками, стояло предъ бивотомъ съ образами. Мнѣ его не читали ни дома, ни въ школѣ. Иногда только я видалъ отца читавшимъ изъ Евангелія во время молитвы, но потомъ оно закрывалось, цѣловалось и ставилось снова подъ образа.

Упражняясь ежедневно въ чтеніи часовника за молитвою, я зналъ наизусть много молитвъ и псалмовъ, нисколько не заботясь о содержаніи заученнаго. Значеніе славянскихъ словъ мнѣ иногда объяснялось; но и въ школѣ отъ самого законоучителя я не узналъ настолько, чтобы понять вполне смыслъ литургіи, молитвъ и т. п. Заповѣди, символъ вѣры, „Отче нашъ“, катехизисъ,—все это заучивалось наизусть, а комментаріи законоучителя хотя и выслушивались, но считались чѣмъ-то неидущимъ прямо къ дѣлу и несущественнымъ. Съ ранняго дѣтства внушено было убѣжденіе другого рода.

Слова молитвъ, также какъ и слова Евангелія, слышавшіяся въ церкви, считались сами по себѣ, какъ слова, святыми и исполненными благодати Святого Духа; большимъ грѣхомъ считалось переложить ихъ и замѣнить другими; духъ старообрядчества, только уже Никоновскаго старообрядчества, былъ господствующимъ. Самые слухи о переложеніи святыхъ книгъ или молитвъ на общепонятный русскій языкъ многими принимались за грѣховное навожденіе.

И вотъ, воспитанный въ такомъ религіозномъ направленіи, я до четырнадцати лѣтъ не слышалъ положительно ничего вольнодумнаго; только однажды, помню, В. С. Кряжевъ ска-

залъ намъ въ классѣ, что Апокалипсисъ есть произведеніе поэта и не можетъ считаться священною книгою.

Несмотря, однако-же, на мое, вселенное во мнѣ съ колыбели, благочестіе, несмотря на набожность родителей и примѣрно хорошія отношенія ко мнѣ всей семьи, я все-таки успѣлъ научиться въ послѣдніе два года (отъ двѣнадцати до четырнадцати) такимъ вещамъ, которыя, казалось бы, должны были возбудить во мнѣ отвращеніе, а не любопытство. Вѣдь не притворялся же я, совершая ежедневно умиленные молитвы, не смѣя и подумать о чемъ противномъ нашей обрядной вѣрѣ и церкви! Нѣтъ, это было — я помню навѣрное — самое искреннее и глубокое уваженіе ко всѣмъ таинствамъ вѣры и непритворное вѣншее богопочитаніе. И въ тѣ же самые дни, когда я, утромъ и вечеромъ, горячо молился предъ иконами, клалъ земные поклоны и просилъ избавленія отъ лукаваго, этотъ безшабашный господинъ увлекалъ меня слушать мерзкія повѣствованія писаря Огаркова и пахабныя пѣсни кучера Семена, не вытирающіяся, какъ глубоко въѣвшаяся грязь, еще до сихъ поръ изъ моей памяти.

Какое же заключеніе можно сдѣлать изъ такихъ психическихъ странностей?

Умъ простой, практическій, народный, ищущій причину вблизи дѣйствія и факта, объяснить легко этого рода странности. Онъ найдетъ ихъ причину въ злѣ, залѣзающемъ въ насъ откуда-то извнѣ или же родящемся вмѣстѣ съ нами; а самое это зло тотчасъ же олицетворить, сдѣлаетъ летучимъ или ползучимъ существомъ, сидящимъ, напримѣръ, съ роду, на лѣвомъ плечѣ ребенка и нашептывающимъ ему разныя пакости. Умъ поповскій объяснить это, ссылаясь на непреложный для него авторитетъ, допотопнымъ происшествіемъ, случившимся у древа познанія добра и зла, чтò, въ сущности, выйдетъ одно и то же, только въ другомъ видѣ, — на рожденное намъ и извнѣ, когда-то, взошедшее въ насъ зло.

Я полагаю, что основаніемъ всѣхъ этихъ объясненій служить всѣми нами и каждымъ изъ насъ испытанное и постоянно испытываемое ощущеніе.

Какъ скоро я моимъ дѣйствіемъ и даже мыслью выхожу изъ обыкновенной колеи, удовлетворяя какому-либо минутному

влеченію или всецѣло поддаваясь ему, это влеченіе производить на меня ощущеніе чего-то внѣшняго, не моего, и меня болѣе или менѣе, хотя бы и не безъ наслажденія, насилующаго. Немудрено, что на первыхъ порахъ каждому, не отдавшемуся всецѣло этимъ влеченіямъ, они кажутся посторонними, извнѣ дѣйствующими силами и существами; нетрудно потомъ фантазіи придать имъ и страшный, хотя бы и все-таки человѣческій видъ или хоть какое-нибудь человѣческое свойство, и это, вѣроятно, потому, что мы, и обманутые ощущеніемъ внѣшности, не перестаемъ все-таки чувствовать его и внутри себя. „Я не хочу дѣлать зло и дѣлаю его“, сказалъ бывшій талмудистъ, а потомъ вдохновенный апостолъ;—а кучеръ Николай, убившій корчмаря-еврея въ Виницѣ, на вопросъ аптекаря Якубовскаго (знавшаго этого Николая давно за челоуѣка добраго и смирнаго) какъ это могло случиться? отвѣчалъ: — „Чортъ попуталъ; больше ничего, какъ одинъ чортъ; ничего другого не знаю“.

И дѣйствительно, всѣ увѣрили, что кучеръ Николай никогда не былъ ни пьяницею, ни воромъ, служилъ у одного хозяина долго и честно, въ деньгахъ не нуждался, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, ночью пошелъ на край города въ корчму, убилъ, взялъ нѣсколько рублей изъ корчмы и ушелъ.

Эта тяга, влекущая насъ къ выходу изъ обыкновенной, проложенной нами самими или другими для насъ, колеи, есть, по моему, чисто органическая, и когда результатомъ этой тяги бываетъ зло, то и зло такое проявится также на почвѣ органической. Въ такомъ случаѣ воспитанію приходится вести борьбу съ организмомъ. До поры и до времени борьба эта можетъ вестись весьма удачно; нерѣдко воспитатель поздравляетъ уже себя съ благополучнымъ окончаніемъ своей задачи, какъ вдругъ, неожиданно, случается катастрофа.

Органическія влеченія, дремавшія въ полуразвитыхъ органахъ, пробуждаясь, заявляютъ о себѣ, какъ будто случайно, при самыхъ незначительныхъ обстоятельствахъ.

Но, можетъ быть, именно то религіозное направленіе, въ которомъ я воспитывался, не въ состояніи было предотвратить зло, нанесенное моею нравственности извнѣ; можетъ быть, другое религіозное направленіе, менѣе обрядное и болѣе за-

душевное, отстранило бы отъ меня искушеніе и одержало бы верхъ надъ развившеюся чувственностью?

Не думаю.

Религія, и именно религія христіанская, вліяетъ на нравственность дѣтей только двумя путями: вселяя въ ребенка искреннюю любовь къ Богу, страхъ божій. Я не помню, какъ и въ какой степени вселяли въ меня любовь къ Богу, и увѣренъ, что развитіе этого благодатнаго чувства въ душѣ ребенка не зависитъ отъ догматовъ и исповѣданія той или другой религіи.

Но если несомнѣнно, что начало премудрости есть страхъ Господень, то несомнѣнно и то, что это начало мнѣ было сообщено.

Я почиталъ и боялся.

Но, конечно, въ моемъ понятіи Богъ, церковь, таинства, служители церкви и обряды составляли нераздѣльное цѣлое. Полагаю, что понятіе о Богѣ и у дѣтей другихъ исповѣданій не яснѣе моихъ бывшихъ.

Я помню еще до сихъ поръ, съ какимъ страхомъ и трепетомъ я, рыдая, просилъ однажды прощенія у Бога за то, что, по увѣренію старшей моей сестры, оскорбилъ Его, отозвавшись ей—не помню, въ какихъ выраженіяхъ—о замѣченномъ мною вкусѣ причастія Св. Тайнъ, послѣ приобщенія. Какъ ни вѣшне было мое богопочитаніе, но оно, несомнѣнно, наполняло мою ребяческую душонку священнымъ трепетомъ, шедшимъ изъ глубины ея самой.

Изъ біографій итальянскихъ разбойниковъ довольно извѣстно, какъ глубокое и, конечно, своеобразное, богопочитаніе уживается въ душѣ съ самымъ жестокимъ звѣрствомъ и гнуснѣйшими пороками. Не странно послѣ этого, что и у ребенка, какимъ я былъ лѣтъ почти шестьдесятъ тому назадъ, религіозное, весьма развитое, чувство не помѣшало разной нечисти пробраться въ душу и загрязнить ее, прежде, чѣмъ она окрѣпла.

Рѣшителями судебъ въ нашемъ воспитаніи являются, какъ я убѣдился изъ опыта, индивидуальность и жизнь.

Только то воспитаніе сулитъ наиболѣе шансовъ на успѣхъ, въ которомъ воспитатели сѣмѣютъ приспособиться къ инди-

видуальности своихъ воспитанниковъ и ее приспособить къ жизни.

Но жизнь не осилишь, а отъ воспитателя нельзя требовать, чтобы каждый изъ нихъ, — по призванію и по-неволѣ, опытный и неопытный, умный и глупый, — вникалъ и досконально разузнавалъ всѣ особенности каждой воспитываемой имъ особи.

Поэтому и остается только одно наиболѣе надежное средство къ достиженію цѣли воспитанія, это — приспособленіе его не къ личной, а къ племенной, расовой или народной особенности (племенной индивидуальности).

Кто сдумаетъ это сдѣлать, тому и книга въ руки. И это дѣло нелегкое, но все же гораздо возможнѣе приспособленія воспитанія каждой особи.

Такой взглядъ нисколько не противорѣчитъ, какъ я покажу, моему высшему, общечеловѣческому идеалу воспитанія. На эту тему придется мнѣ говорить потомъ; теперь же я ее покуда оставляю и займусь предметомъ, гораздо глубже касающимся меня.

Я сказалъ уже, кажется, что мои религіозныя убѣжденія не оставались въ теченіе моей жизни одними и тѣми же. И вотъ, для уясненія себѣ всего процесса развитія этихъ убѣжденій, я долженъ себѣ ясно представить его крайніе фазисы; я припомнилъ уже, кажется, все, чтò знаю о первоначальномъ періодѣ моихъ вѣрованій; теперь исповѣдуюсь у самого себя и уясню себѣ, во чтò и какъ я вѣрую въ настоящую минуту моего бытія.

Послѣ этого изложенія, надѣюсь, мнѣ разъяснится, какими путями дошелъ я до настоящаго моего вѣрованія и какимъ колебаніямъ и переворотамъ подвергались мои религіозныя убѣжденія въ разныя времена моей жизни.

Послѣ смерти знаменитаго Іоганна Мюллера (берлинскаго фізіолога) носились слухи, что онъ лишилъ себя жизни, принявъ ядъ, и причину самоубійства приписывали какому-то сдѣланному открытію въ области низшихъ организмовъ, поколебавшему, будто-бы его, религіозныя убѣжденія.

Іоганнъ Мюллеръ былъ ревностный католикъ (какъ это я

узналъ отъ моего стараго пріятеля, Карла Липгардта, бесѣдовавшаго нерѣдко съ Мюллеромъ). Біографъ его, Дюбуа-Ремонъ, опровергаетъ вѣрность слуха о самоубійствѣ. Но вѣренъ ли былъ или невѣренъ этотъ слухъ, онъ доказываетъ, какое огромное значеніе придаетъ все культурное общество вѣрованіямъ и такимъ ученымъ, спеціальность которыхъ не имѣетъ ничего общаго съ церковными догматами.

И дѣйствительно, какимъ бы предметомъ ни занимался человѣкъ науки, всѣ знаютъ, что онъ никакъ не отдѣляется отъ назойливаго вопроса: во чтѣ онъ вѣритъ; а этотъ вопросъ — самый главный: согласны ли его вѣрованія съ убѣжденіями, добытыми имъ путемъ науки?

Въ отношеніи религіозныхъ убѣжденій можно раздѣлить всѣхъ людей науки на три категоріи: къ одной принадлежатъ люди, какъ покойный Рудольфъ Вагнеръ (фізіологъ, спорившій съ Карломъ Фохтомъ), въ наукѣ скептики, въ дѣлѣ вѣры искренно вѣрующіе прихожане приходскихъ церквей; такіе встрѣчаются и между католиками, и между протестантами, и православными. Были знаменитые математики изъ іезуитовъ и такихъ искренно вѣрующихъ католиковъ, которые вполне были убѣждены, что Пресвятая Дѣва помогала имъ въ разрѣшеніи трудныхъ задачъ и къ изобрѣтенію новыхъ геніальныхъ формулъ.

Къ другой категоріи принадлежатъ ученые, старающіеся примирить свои научныя убѣжденія съ религіозными; когда же они не достигаютъ такого примиренія, то переходятъ въ третій лагерь — ни во чтѣ не вѣрующихъ, охотно открывающій къ себѣ доступъ и только-что сошедшимъ со школьной скамьи.

И вотъ, я полагаю, что каждый человѣкъ науки, и тѣмъ болѣе, конечно, и автобіографъ, обязанъ прежде всего рѣшить чистосердечно главный вопросъ жизни: къ которой изъ трехъ категорій онъ причисляетъ себя, во чтѣ онъ вѣруетъ и чтѣ признаетъ? Но, задавая себѣ этотъ вопросъ, не надо робѣть передъ собою, вилять хвостомъ и пятиться назадъ и отвѣчать самому себѣ двусмысленно.

Вилянье, нерѣшительность и неоткровенность непремѣнно приведутъ къ пагубному разладу съ самимъ собою, къ несогласію дѣйствій съ убѣжденіями, упрекамъ совѣсти и къ само-

убійству, нравственному и физическому. И прежде всего этотъ вопросъ требуетъ, чтобы его всякій для себя рѣшилъ ab ovo;— уяснилъ бы себѣ предварительно самую суть дѣла, а это значитъ—отвѣтилъ бы себѣ прямо и откровенно: вѣруеть ли онъ въ Бога и признаеть ли Его существованіе?

Съ церковной точки зрѣнія, это вопросъ, конечно, дерзновенный; но въ переживаемое нами время и церковь, и государство, и общество должны мириться, въ собственныхъ интересахъ, какъ съ дерзостью вопроса, такъ и съ откровенностью отвѣта.

Было время, когда вопросъ о существованіи Бога рѣшался въ Гостинномъ Дворѣ, при встрѣчѣ двухъ знакомыхъ:

— „Слышали ли, Петръ Ивановичъ, что Бога нѣтъ?“

— „Что вы! какъ это можно?“

— „Говорю вамъ, что нѣтъ: мнѣ Иванъ Ивановичъ сказывалъ вчера“.

Эго было, кажется, въ Фонтъ-Визинскія времена, а то и не такъ давно (въ 1850-хъ годахъ), задавали такого рода вопросы ученикамъ (я самъ это слышалъ въ фельдшерской школѣ второго сухопутнаго госпиталя въ Петербургѣ):

— „А почему ты знаешь, что Богъ есть?“—и получали не менѣе умный отвѣтъ:—„Такъ стоитъ написано въ катехизисѣ“.

Во времена, когда возможны бываютъ такія проявленія грубаго кощунства въ разныхъ слояхъ общества, конечно, находятъ, пожалуй, еще оправданіе и запретительныя мѣры противъ соблазна. Культурное общество не можетъ допускать безцеремоннаго обращенія ни съ кѣмъ и въ особенности съ Богомъ.

Другое дѣло—область современной науки; тутъ не можетъ быть рѣчи о грубости нравовъ, неуваженіи къ святынѣ, а потому въ этой области никакія церковныя и государственныя запрещенія не должны, да и не могутъ, нарушать свободу совѣсти, мысли и научнаго разслѣдованія. Церковь—паству, а государство—современное общество могутъ оберегать отъ излишковъ и злоупотребленій свободомыслія только нравственными мѣрами. Эго указываютъ знаменія времени. Свободомысліе никогда не слѣдуетъ одному направленію, и свободомыслящіе люди

науки всегда будутъ раздѣлены на нѣсколько разныхъ лагерей, а потому они не столько опасны, какъ насиліе и произволъ мѣръ, могущіе только соединить разномыслящихъ и сдѣлать пропаганду мнѣній болѣе вліятельною.

Итакъ, съ Богомъ—о Богѣ.

Хотя это былъ великій язычникъ, — *der grosse Heide*, — (какъ называли Гёте), сказавшій, что онъ говоритъ о Богѣ только съ Богомъ, но я, и христіанинъ, слѣдую его мудрому правилу и избѣгаю распространяться о моихъ душевныхъ вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ даже и съ близкими ко мнѣ людьми: святое—святымъ.

Изъ моего міровоззрѣнія, откровенно изложеннаго въ этомъ дневникѣ, я заключаю, что существованіе верховнаго разума, а слѣдовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимымъ и неминуемымъ (роковымъ) требованіемъ (постулатомъ) моего собственнаго разума, такъ что еслибы я и хотѣлъ теперь не признавать существованіе Бога, то не могъ бы этого сдѣлать, не сойдя съ ума.

Къ такому твердому убѣжденію пришелъ мой семидесятилѣтній умъ послѣ разныхъ блужданій, доходившихъ до полнаго отрицанія.

Другой старческій умъ, но иного полета и высшаго разряда, сильно волновавшій мою раннюю юность, утверждалъ, что нужно бы было выдумать или изобрѣсти Бога, еслибы Онъ не существовалъ.

Несмотря на мое прежнее пристрастіе и уваженіе къ талантамъ этого старца, мнѣ все-таки было бы жаль согласиться съ нимъ и признать какое-либо сходство нашихъ убѣжденій и вѣрованій.

Онъ принималъ свой взглядъ обязательнымъ для всего образованнаго свѣта; его „выдумать, изобрѣсти“ и его „еслибы“ предполагаютъ не только возможность, но даже нѣкоторую вѣроятность несуществованія Бога. Я не навязываю никому моего убѣжденія, выработаннаго не безъ труда въ ограниченномъ складѣ моего ума. Я говорю также: еслибы, но мое еслибы предполагаетъ не возможность несуществованія Бога, а только возможность моего сумасбродства.

Воля и хотѣніе нерѣдко бываютъ безумны. Но какъ могло

придти мнѣ на мысль выраженіе ставить себя, свой образъ мыслей и выраженій, въ параллель съ изреченіями властителя думъ прошлаго столѣтія? Это я дѣлаю потому, что понятія о Богѣ не признаю спеціальностью мудрецовъ вѣка, а считаю неотъемлемою и самою дорогою собственностью каждаго мыслящаго человѣка.

То, что называется свободою ума и мысли, не есть какой-то безшабашный и беззаконный произволъ. Умъ всегда долженъ на чемъ-нибудь останавливаться и находить точку опоры; его станціи, можетъ быть (не знаю навѣрное), и безпредѣльны, то-есть могутъ переноситься въ безграничныхъ предѣлахъ, но все-таки будутъ для ума современнаго (сущаго въ извѣстное опредѣленное время) предѣльными.

Но эта конституція ума не въ силахъ уничтожить въ немъ стремленіе въ безвыходную безпредѣльность, и вотъ онъ самъ, управляемый своимъ *habeas corpus*, долженъ самъ же слѣдить за его исполненіемъ, обуздывая свое стремленіе къ безпредѣльной свободѣ; оно такъ сильно, что въ переживаемое нами время я слышалъ отъ молодыхъ людей даже вопросы въ родѣ слѣдующаго:

— „А почему мнѣ необходимо принимать, что дважды два—четыре? почему я не свободенъ думать иначе?“—И это не въ шутку.

Опытъ жизни и примѣры большинства обуздываютъ въ единичныхъ случаяхъ разгулъ мнимо-беззаконной свободы ума; но періодически эта тяга къ безвыходному положенію съ непреодолимою силою увлекаетъ умы цѣлаго общества.

Дѣйствіе конституціи нашего ума и его стремленія находить новыя исходныя или опорныя точки, то-есть, стремиться все далѣе и далѣе въ безпредѣльность, всего яснѣе проявляются въ рѣшеніи главныхъ вопросовъ жизни. Смотри по тому, которое изъ двухъ направленій беретъ перевѣсъ, и главный вопросъ жизни,—вопросъ о Богѣ,—рѣшается умомъ (умомъ, — не вѣрою,—*nota bene!*) различно.

Умъ конституціонный, ищущій постоянно исходныхъ точекъ и несклонный блуждать въ безпредѣльности, приходитъ скоро къ рѣшенію; для этого онъ находитъ исходную точку въ самомъ себѣ, переноситъ ее внѣ себя, въ самую непре-

дѣльность, но, не оставляя своей опоры, останавливается, — *plus ultra*. Гдѣ приходится остановиться, ближе или дальше отъ себя, это будетъ зависть отъ склада конституціоннаго ума, насколько этотъ складъ допустить развиваться стремленію ума въ безпредѣльность.

Умъ конституціонный и положительный можетъ быть только деистомъ и пантеистомъ. И тотъ, и другой—свою исходную точку находятъ въ творческой силѣ; но одинъ переноситъ ее внѣ міра, а другой—въ самый міръ.

Умъ, повидимому, не менѣе положительный, можетъ останавливаться и ближе, принявъ самую вселенную за Бога; въ сущности, это было бы колебаніе между пантеизмомъ и атеизмомъ, между желаніями остановиться и блуждать въ безвыходномъ хаосѣ. Между тѣмъ такое міровоззрѣніе весьма заманчиво для юнаго ума.

Я расскажу впослѣдствіи, какъ нѣкогда я самъ былъ поборникомъ этого воззрѣнія; современная философія безсознательнаго (которой я, признаюсь, не читалъ), вѣроятно, безсознательный творческій міровой умъ (или міровую жизнь) полагаетъ также въ самую вселенную. Для чего—думалось мнѣ во времена дны—служить предположеніе о существованіи Бога? Чтò объясняется въ мірозданіи? Развѣ матерія не можетъ и не должна быть вѣчною? Къ чему же лишній ипотезъ, ничего не объясняющій?

Мнѣ было 25 лѣтъ, когда эти назойливые вопросы волновали меня и—скажу въ мое оправданіе—навязались ко мнѣ *malgré moi*, а я въ то время былъ отчаяннымъ специалистомъ моей науки.

Но лѣта, а съ ними и другой образъ жизни, и другія, какъ я увѣренъ, болѣе прочныя думы убѣдили меня въ полной неосновательности этого міровоззрѣнія и наносимомъ имъ (рефлексивномъ) вредѣ самому уму. Если и всякое размышленіе требуетъ исходныхъ точекъ, то при размышленіи о предметахъ отвлеченныхъ умъ, не находящій нигдѣ самой крайней и, такъ сказать, неприступной опоры, не можетъ сдѣлать ни шагу впередъ, не подвергаясь опасности потерять ее и заблудиться.

Основать же точку опоры на вселенной—значить, строить зданіе на пескѣ. Главная суть вселенной, несмотря на всю

ея безпредѣльность и вѣчность, есть проявленіе творческой мысли и творческаго плана въ веществѣ (матеріи); а вещество подвержено измѣненію (въ составѣ и видѣ) и чувственному (научному) разслѣдованію.

Все же измѣняющееся (какъ и въ чемъ бы то ни было) должно имѣть не одни положительныя, но и отрицательныя свойства; а все подлежащее чувственному анализу и разслѣдованію не можетъ считаться за нѣчто законченное, абсолютно вѣрное и опредѣленное.

Но молодой умъ, также какъ и желудокъ молодыхъ людей, все переваривающій, легко усваиваетъ себѣ, какъ я узналъ изъ опыта, и пантеистическое міровоззрѣніе, не ощущая, — до поры и до времени, — несносныхъ колебаній, ни сотрясеній отъ шаткости основы.

Верховный разумъ и верховная воля Творца, проявляемые дѣлсообразно, посредствомъ мірового ума и міровой жизни, въ веществѣ, — вотъ *pes plus ultra* человѣческаго ума, вотъ то прочное и неизмѣнное, абсолютное начало, далѣе котораго нельзя идти положительному уму, не сбившись съ толку и съ пути.

Такимъ представляется оно моему складу ума, блуждавшаго немало въ непроходимыхъ дебряхъ и топяхъ.

Къ чести моего ума, я долженъ упомянуть, однако-же, что онъ, и блуждая, никогда не грязнулъ въ полнѣйшемъ отрицаніи недоступнаго для него и святого.

Мой бѣдный умъ, и останавливаясь на вселенной (вмѣсто Бога), благоговѣлъ предъ нею, какъ предъ безпредѣльнымъ и вѣчнымъ началомъ.

Никогда онъ, то-есть мой умъ, не доходилъ до обожанія случая, и только теперь, уже состарѣвшись, онъ съ удивленіемъ и отвращеніемъ узнаетъ, что такой апотеозъ и осуществимъ на дѣлѣ.

Юные и зрѣлые современники моей старости, живя и дѣйствуя въ эпоху лотерей, азіотажъ, рулетки и биржевой игры, приучили себя видѣть въ случаѣ одинъ изъ главныхъ рычаговъ жизни. Немудрено, что и основу всего мірозданія и исходную точку своихъ міровоззрѣній современное поколѣніе можетъ легко перенести на случай.

При случайномъ степені благопріятныхъ условій, изъ первобытной клѣтки (яйца) развивается первобытный организмъ; онъ, при новомъ случайномъ степені другихъ внѣшнихъ обстоятельствъ, принимаетъ тотъ или другой видъ; этотъ видъ, въ свою очередь, случайно встрѣтивши въ окружающей его средѣ или удобство, или препятствіе, принимаетъ то высшую организацію, то, лишаясь того или другого органа, переходитъ въ другой видъ или же и исчезаетъ. Уродилось ли случайно въ какомъ-нибудь органическомъ видѣ болѣе крѣпкихъ и здоровыхъ особей, подборъ вышелъ удачнымъ—и побѣда въ борьбѣ за существованіе за этимъ видомъ.

Такъ случай за случаемъ доводитъ, переходами изъ одного вида въ другой, до вида млекопитающаго, а отсюда — рукой подать и до человѣка, умъ котораго открываетъ ему, наконецъ, что клѣтка, произведшая его (то-есть человѣкъ, а потому, пожалуй, и умъ), ничѣмъ существеннымъ не отличаясь отъ другой животной клѣтки, только благодаря окружающей средѣ, случаю и времени, вывела на свѣтъ его или ему сродственную обезьяну.

Не мнѣ быть критикомъ, противникомъ или защитникомъ и приверженцемъ современнаго ученія; въ немъ очевидна геніальность наблюдателя, умѣвшаго придать глубокое научное значеніе добытымъ имъ фактамъ и разслѣдованіямъ явленій.

Доктрина, обязанная своимъ происхожденіемъ такому геніальному наблюдателю, не могла не дать повода къ новымъ взглядамъ на органическій міръ и къ новымъ его изслѣдованіямъ.

Все это, однако-же, не сдѣлаетъ меня легковѣрнымъ. О перерожденіи и переходахъ животныхъ видовъ и родовъ говорилось не со вчерашняго дня. Извѣстно, какъ Гёте изумилъ всѣхъ своимъ восклицаніемъ, когда начался объ этомъ дѣлѣ знаменитый споръ во Французской Академіи между Кювье и Жоффруа Сент-Илеромъ; подумали, что восклицаніе это относилось къ какому-либо міровому политическому событію.

Тамаркъ, если не ошибаюсь, говорилъ или, лучше, намекалъ и о происхожденіи человѣка отъ обезьяны; по крайней мѣрѣ этотъ взглядъ былъ въ ходу и въ 1830-хъ годахъ; я помню, какъ однажды мой дерптскій учитель, профессоръ хирургіи

Мойеръ (въ 1832 году), ѣхавъ со мною за городомъ, удивилъ меня вопросомъ: „А какъ вы думаете, Пирововъ: не происходимъ ли мы всѣ отъ обезьянъ?“

Такъ, зная, что доктрина, занимающая современные умы, не была *terra incognita* и для предшественниковъ, какъ-то держишь себя осторожнѣе отъ увлеченій.

Впрочемъ я нисколько не скандализируюсь происхожденіемъ человѣка отъ обезьяны; тѣмъ болѣе чести уму какого бы то ни было существа, если оно сумѣло выйти, хотя бы и случайно, въ люди. Для меня, однако-же, не менѣе вѣроятнѣе и обратный переходъ человѣка въ обезьяну, — совершающійся почти на нашихъ глазахъ.

И почему, въ самомъ дѣлѣ, въ тѣ до-историческія времена, когда наша планета производила ихтиозавровъ, мамонтовъ и другихъ великановъ, она не могла произвести и допотопнаго человѣка-гиганта, съ огромнымъ мозгомъ? А такъ какъ умъ нашъ — мозговой, то почему бы и онъ не могъ быть огромнымъ? Въ такомъ случаѣ это былъ бы совершеннѣйшій изъ людей: великъ и уменъ. Ихтиозавры и мамонты перевелись и переродились, и человѣкъ-гигантъ могъ также перевестись и переродиться въ шимпанзеевъ, орангутанговъ, буммасовъ, обитателей Новой-Гвиней и т. п.

Принимая весьма хладнокровно взглядъ на происхожденіе мое отъ обезьяны, я не могу слышать безъ отвращенія и перенести ни малѣйшаго намека объ отсутствіи творческаго плана и творческой цѣлесообразности въ мірозданіи; а потому никогда не допущу, чтобы первобытная клѣтка и даже первобытная протоплазма не заключала въ себѣ творческой мысли о ея конечномъ назначеніи и творческаго (цѣлесообразнаго) предопредѣленія всѣхъ формъ, прототипъ которыхъ долженъ былъ изъ нея развиться.

Не странно ли, однако, что прежде вовсе нетруднымъ казалось вѣрить въ происхожденіе людей и всего животнаго царства отъ нѣсколькихъ паръ и даже отъ одной; а теперь также безъ труда вѣрять въ переходы и перерожденія самыхъ отдаленныхъ типовъ животныхъ?

Причину легковѣрія въ обоихъ случаяхъ я нахожу въ задней

мысли, всѣмъ подсказывающей, что самая суть дѣла ни въ томъ, ни въ другомъ взглядѣ не выясняется.

Пара ли готовыхъ уже животныхъ, или одна безформенная протоплазма вышли впервые на свѣтъ, — въ обоихъ случаяхъ остается иксъ: что заставило атомы вещества складываться въ обформенное существо, способное къ самостоятельному бытію, къ борьбѣ за существованіе, наслѣдственности и произведенію новыхъ себѣ подобныхъ или несходныхъ съ собою (Generationswechsel) существъ.

Могу ли же я легко убѣдиться въ непогрѣшимости доктрины, увлекающіеся приверженцы которой готовы, пожалуй, поставить на пьедесталъ случай, замѣнивъ имъ Бога и отвергнувъ, какъ лишній хламъ, и планъ, и цѣлесообразность въ мірозданіи? По моему, это значило бы признать себя какими-то бастардами отъ случки случая съ случайною же природою. Но современное міровоззрѣніе имѣетъ для естествознателя ту привлекательную сторону, что въ немъ предполагаемое прошлое согласено съ настоящимъ и соотвѣтствуетъ ему пока, т.-е. до поры и до времени, болѣе, чѣмъ въ другихъ міровоззрѣніяхъ.

Все рождено, не сотворено. Не опредѣленная, по предначертанному творческою мыслью плану, типичность органическихъ формъ, не творческая цѣлесообразность въ устройствѣ типическихъ организмовъ и переходныхъ формъ занимаютъ первое мѣсто въ современномъ міровоззрѣніи, а внѣшнія физическія условія и случайная индивидуальность, и такъ какъ искусство перерожденія и размноженія животныхъ и растительныхъ организмовъ, съ практическою цѣлью улучшенія разныхъ продуктовъ, не достигало еще такого совершенства, какъ въ переживаемое нами время, то понятно, что добытые практическимъ путемъ весьма наглядные результаты не могли не повліять и на умственные отвлеченія.

Отвлеченное творчество, творческіе планъ и мысль, предначертанная цѣлесообразность типовъ въ мірозданіи, все это ушло на задній планъ, и что достигается искусствомъ современныхъ культиваторовъ органическихъ расъ, породъ и видовъ, то въ натурѣ поручилось дѣлать случайному подбору особей и случайному стеченію разныхъ физическихъ условій.

И вотъ уже слышится и мораль переживаемаго: „а ларчикъ просто открывался“.

Но чтò же такое это случай? Какой это простой *deus ex machina*, играющій такую видную роль въ нашихъ дѣлахъ и мысляхъ?

Едва-ли не придется мнѣ отвѣтить на это: не знаю.

Одно изъ двухъ мнѣ кажется несомнѣннымъ: или нѣтъ во-все случая, или между случаемъ и тѣмъ, съ кѣмъ онъ случился, есть какое-нибудь отношеніе; впрочемъ оба предположенія въ конечномъ результатѣ сводятся на одно и то же.

Видя на каждомъ шагѣ связь между дѣйствіями и причинами, отыскивая по безсознательному (невольному) требованію разсудка вездѣ причину, гдѣ есть дѣйствіе, мы неминуемо, роковымъ образомъ, приходимъ къ заключенію, что и между всѣми дѣйствіями и всѣми причинами существуетъ неразрывная, вѣчная связь.

При такомъ взглядѣ случай будетъ не болѣе, какъ дѣйствіе, причина или причины котораго намъ еще неизвѣстны, а для многихъ событій — можно утверждать *a priori* — и никогда не будутъ извѣстны. Это почему? А потому, что стеченіе обстоятельствъ въ одну бьющую точку, — случай, — бываетъ до того сложно, что для опредѣленія его понадобилось бы невозможное знаніе всего прошлаго и настоящаго.

Мы такъ привыкли къ случайностямъ, что случай кажется намъ самымъ обыкновеннымъ, естественнымъ дѣломъ, — и это слава Богу; не живя въ миражѣ обыкновеннаго и незаслуживающаго вниманія, мы бы нажили себѣ галлюцинацію висѣщаго надъ нами Дамоклова меча.

Но какъ только мы остановимся, почему бы то ни было, хотя на одномъ самомъ обыкновенномъ событіи, касающемся насъ лично, то не избѣгнемъ невольнаго вопроса: при чемъ я тутъ? зачѣмъ оно коснулось именно меня?

По большей части причины нашей прикосновенности къ какому-нибудь событію для насъ ясны и просты, то-есть кажутся для насъ такими; но нерѣдко причины отношеній моихъ къ событію для меня скрыты, а не быть имъ нельзя.

Молнія ударила въ мой домъ; почему именно въ мой? Я нахожу причину въ стоявшемъ возлѣ деревѣ; у меня на крышѣ

не было отвода, а на сосѣднемъ домѣ былъ. Я довольствуюсь такимъ объясненіемъ; еще болѣе буду имъ доволенъ, если молнія, градъ, саранча и тому подобныя прелести повредили не только мои, но и сосѣднія поля; тутъ ясно кажется, что существовали, хотя и неизвѣстныя, физическія условія, притянувшія сюда грозовыя облака.

Но я выигралъ въ лотереѣ билетъ; почему? Тутъ уже стой! стопъ машина! Что мой № 20 подвернулся, а не другой, это, положимъ, еще можно будетъ когда-нибудь объяснить, распутавъ узелъ разныхъ физическихъ обстоятельствъ; но почему именно мнѣ попался въ руки № 20? а между тѣмъ не можетъ быть, чтобы онъ не имѣлъ какого-либо отношенія ко мнѣ, прежде, чѣмъ онъ сдѣлалъ меня владѣтелемъ 100.000 руб., которые, выигравъ, я прокутилъ, проигралъ и въ концѣ концовъ застрѣлился. И меня послѣ этого, то-есть не послѣ, а прежде, будутъ увѣрять, что я и мой № 20 не имѣли между собою ничего общаго; я могъ купить и 10, и 100, могъ выиграть и 25, и 30; да, возможное только, — случилось такъ, — могло и не случиться; но если разъ случилось, такъ какъ же безъ причины, само по себѣ? Это былъ бы нонсенсъ, нелѣпость, абсурдъ.

Значить, случай — *asylum ignorantie*; но незнаніе наше — съ душкомъ; оно не хочетъ прямо сказать: не знаю, — а, замѣняя свое „не знаю“ словомъ: случай, оно хочетъ этимъ сказать: что я-де покуда не знаю, или не хочу знать почему; или же: это ясно для всѣхъ, почему? потому что, видите ли, случай...

Такъ что же послѣ этого ты — казуистъ или фаталистъ что-ли? — задаю себѣ вопросъ.

Я — независимый, то-есть независимый отъ предвзятыхъ мнѣній и доктринъ. Въ сужденіяхъ объ отвлеченныхъ предметахъ, въ примѣненіи ихъ къ практической жизни не нужно добиваться, во что бы то ни стало, послѣдовательности.

Сказать, что случай все рѣшаетъ въ жизни — нелѣпо; но считать нелѣпымъ прежнее убѣжденіе, что и маловажныя, по-видимому, событія могутъ имѣть роковыя послѣдствія — еще болѣе нелѣпо.

Какое дѣло, что маловажному событію предшествовалъ цѣлый рядъ другихъ, скрытыхъ, но болѣе существенныхъ обстоя-

тельствъ? рѣшающимъ, и именно въ данный моментъ времени, было все-таки то, что называется невидною случайностью.

Скалу подтачивала цѣлые вѣка вода; зданіе гнило и подтачивалось подъ землею; вдругъ, отъ небольшого сотрясенія, въ одинъ прекрасный день они падаютъ. Что тутъ рѣшающее обстоятельство? Все ли равно, упади скала и зданіе днемъ ранѣе или днемъ позже? Всѣ правы, признавая самымъ главнымъ, рѣшающимъ моментомъ тотъ, когда случается роковое событіе.

У Наполеона спотыкается конь о маленькій камушекъ; Наполеонъ падаетъ и, вставъ, говоритъ, что этотъ камушекъ могъ сдѣлаться рѣшителемъ судебъ Европы. Наполеонъ былъ совершенно правъ, дѣлая рѣшителемъ судебъ въ этотъ моментъ не себя, а камень.

Случай, часто и однообразно повторяющійся, перестаетъ, въ нашихъ глазахъ, быть случаемъ по двумъ причинамъ: мы получаемъ болѣе времени и средствъ для изслѣдованія и узнаемъ причину, или же мы просто привыкаемъ,—и прежде случайное, рѣдкое и необыкновенное дѣлается обыкновеннымъ и насущнымъ.

Узнавъ, что бѣлая часть браковъ совершается осенью, не трудно было догадаться, почему; но, узнавъ по статистическимъ даннымъ, что ежегодно встрѣчается почти одна и та же цифра ошибочныхъ адресовъ на письмахъ, мы перестаемъ этому удивляться, хотя и не знаемъ причины, почему люди всегда въ извѣстной мѣрѣ разсѣянны при отправкѣ своихъ писемъ на почту.

Еще необъяснимѣе для насъ случающееся весьма нерѣдко счастье въ азартныхъ играхъ, лотереяхъ, рулеткѣ и, наконецъ, вообще счастье въ жизни; но мы только завидуемъ этому, но не удивляемся.

Необыденность, разнообразность и безпричинность — вотъ признаки случайнаго событія.

Чѣмъ чаще повторяется одно и то же случайное, то-есть безпричинное событіе, тѣмъ невѣроятнѣе кажется намъ, что оно опять повторится; о томъ, кто всякій разъ попадаетъ въ цѣль или выигрываетъ, мы не безъ злорадства думаемъ: авось (въ авось всегда заключается извѣстная степень вѣроятности)

промахнется или проиграетъ; если дождь льется цѣлыя недѣли, то съ каждымъ днемъ мы все болѣе надѣемся и увѣряемся, что онъ перестанетъ.

Но всѣ наши предположенія тотчасъ же принимаютъ другой характеръ, какъ скоро мы открываемъ или только подозрѣваемъ причину событія.

Тогда, при сужденіи, мы уже не на то смотримъ—часто или рѣдко оно случается; все вниманіе наше перемѣщается съ событія на его причину.

Но причинность цѣлаго легіона міровыхъ событій и явленій можетъ быть разслѣдована только по двумъ направленіямъ: мы можемъ перемѣщать наше предположеніе объ этой причинности то въ самый субстратъ, то-есть въ вещество, служащее субстратомъ явленія, то—внѣ его; это перемѣщеніе зависитъ отъ степени точности нашихъ знаній; чѣмъ они точнѣе, тѣмъ болѣе перемѣщаемъ мы и причину внѣ явленія, всему, однако-же, есть предѣлъ; чѣмъ болѣе дѣлаемъ мы, напримѣръ, причину какого-либо явленія въ органическомъ мірѣ внѣшнюю, тѣмъ болѣе сообщаемъ ей случайный характеръ. Поэтому-то я въ современномъ міровоззрѣніи на органической міръ и нахожу, что въ немъ случаю предоставлена слишкомъ главная роль.

Уже давно отважные пловцы въ полярныхъ странахъ мышленія заставляли случай приводить въ порядокъ разсѣянные или скученные въ хаосѣ атомы вещества; Цицеронъ, сколько я помню, занимался уже опроверженіемъ этой знаменитой доктрины. Мнѣ кажется, въ наше время мы недалеко отъ подобнаго же ученія, только съ болѣшими притязаніями на точность и фактичность.

Но какъ бы ни были прогрессивны и точны наши свѣдѣнія, лишь только мы отвергнемъ присутствіе въ атомахъ первобытной органической образовательной силы, влекущей ихъ къ извѣстнаго рода группировкамъ, намъ придется все дѣло передать въ руки случая.

Еслибы въ самые первые моменты творенія, при самомъ первомъ зарожденіи органическаго вещества, атомы его не имѣли этого влеченія къ группировкѣ въ опредѣленные типическіи формы, то кто же, какъ не стихійныя силы, случайно произ-

водили тотъ или другой типъ, случайно же способствуя переходамъ и превращеніемъ одного въ другой? Откуда бы взяться различію особей одного и того же типа, еслббы случайное стеченіе разныхъ условій не благоприятствовало развитію одной особи и не задерживало развитія другой? Чему-нибудь да нужно дать предпочтеніе—предопредѣленію или случаю.

Я—за предопредѣленіе.

По моему, все, чтѣ случается, должно было случиться и не быть не могло.

Все случающееся связано неразрывно цѣпью причинъ съ случившимся. Эта навсегда отъ насъ скрытая цѣпь соединяетъ причины случая съ тѣмъ, чтѣ случается. Значить—фатализмъ. Да, какъ умозрѣніе, наиболѣе уживающееся въ моемъ умѣ и потому кажущееся мнѣ наиболѣе логичнымъ и послѣдовательнымъ.

Изъ этого не слѣдуетъ, однако-же, что и въ жизни, на дѣлѣ, надо проявлять это умозрѣніе и быть фаталистомъ. Во-первыхъ, не накурившись опіа и не наѣвшись гашиша, нельзя быть послѣдовательнымъ фаталистомъ; во-вторыхъ, случай, несмотря на предопредѣленіе, все-таки будетъ существовать для насъ, на практикѣ, такъ какъ причинная связь событий и явленій намъ навсегда останется невѣдомою; мы всегда будемъ жить въ миражѣ; всегда будетъ намъ казаться, что все происходящее могло быть и не быть. Безъ этого миража, безъ нашего незнанія причиной связи всѣхъ событий, мы были бы самыя несчастныя существа,—фаталисты не по убѣжденію, а по-неволѣ.

Магометанинъ,—фаталистъ по убѣжденію,—не считаетъ, напримѣръ, вовсе противнымъ своему убѣжденію воевать и завоевывать, слѣдовательно дѣйствовать; а послѣдовательно строгое примѣненіе въ жизни ученія о предопредѣленіи должно вести къ полному бездѣйствію. Это лежитъ въ натурѣ всѣхъ отвлеченныхъ понятій: что, проведенныя послѣдовательно до самой крайности умозрѣніемъ, они дѣлаются непримѣнными въ жизни и оканчиваются тѣмъ, чтѣ французы называютъ *aveuglement logique* (логическое ослѣпленіе)..

Для жизни необходимы миражи и галлюцинаціи, и мы галлюцинуемъ, не замѣчая этого, безсознательно; только

галлюцинаціи внѣшнихъ чувствъ (зрѣнія, слуха и пр.) намъ замѣтны, а галлюцинаціи воображенія, памяти, самаго ума,—замѣчаются нами только въ домахъ умалишенныхъ; между тѣмъ именно эти постоянные, бессознательные, родившіеся съ нами на свѣтъ миражи и составляютъ одну изъ главныхъ пружинъ нашего общественнаго и нравственнаго быта; живя въ этихъ миражахъ съ колыбели до могилы и потому не имѣя возможности отличить кажущееся отъ дѣйствительнаго, мы по-неволѣ,—не имѣя возможности поступать иначе,—осуждены считать кажущееся дѣйствительнымъ; увѣренность въ дѣйствительное миража, къ нашему счастью, такъ сильна въ насъ, что мы готовы за него и жертвовать самою жизнью.

По временамъ, и то при извѣстномъ складѣ ума, мы, отвлекаясь отъ практической жизни, желаемъ составить себѣ о ней стройное и послѣдовательное понятіе,—и оно-то выходитъ всегда противорѣчащимъ тому, что мы считаемъ дѣйствительнымъ; такъ, умозрѣніе приводитъ насъ къ одному изъ двухъ выводовъ: или нѣтъ случая, и все, что есть, должно быть; или что есть—могло быть и не быть; соединить эти два вывода между собою и принять и то, и другое логически—абсурдъ; а въ жизни этотъ абсурдъ встрѣчается на каждомъ шагу, и встрѣча съ нимъ насъ нисколько не смущаетъ и не коробитъ; мы спокойно продолжаемъ шествовать и жить припѣваячи. И развѣ это не миражъ: разсудокъ приводитъ къ умозаключенію противорѣчащему или наполовину, или вовсе дѣйствительному?

Выходитъ одно изъ двухъ: или нашъ умъ, съ его способностью отвлеченія и умозрѣнія, не приспособленъ къ дѣйствительности, и потому ненормаленъ, и отвлеченія его ненормальны; или же кажущееся намъ дѣйствительнымъ не таково. Я соглашаюсь скорѣе жить въ миражѣ, чѣмъ считать способность и потребность ума къ отвлеченію чѣмъ-то ненормальнымъ, хотя я и не прочь подозрѣвать въ излишкахъ этой способности удаленіе отъ нормы со всѣми его послѣдствіями.

Стопъ машина!—Я началъ за здравіе,—свелъ за упокой.

Но, бесѣдуя съ самимъ собою, почему не дать простора ходу мыслей?

И не прочитывая задовъ, я помню, что остановился на переходѣ изъ дома и школы въ жизнь, и прежде всего въ уни-

верситетскую жизнь. И вотъ теперь семидесятилѣтній старикъ, требуя отчета о вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ четырнадцатилѣтняго студента, считаетъ нужнымъ сначала раскрыть свои старческія,—и это для того, чтобы, сравнивъ ихъ съ своими же юношескими, представить себѣ наглядно, какимъ переворотамъ и перипетіямъ суждено было имъ подвергнуться въ теченіе шестидесяти-пятилѣтняго срока.

Но все, что я высказалъ до сихъ поръ о моихъ теперешнихъ взглядахъ на жизнь и мірозданіе, относится къ разряду убѣжденій, основанныхъ на умозрѣніи и знаніи. А это не вѣрованіе. Нужно уяснить себѣ главное въ практической жизни: во что я вѣрую?

Начну съ того, что вѣрую я считаю такою психическою способностью человѣка, которая болѣе всѣхъ другихъ отличаетъ его отъ животныхъ. Чувственные и пріобрѣтаемыя опытомъ знанія, а слѣдовательно и задатки ума, существуютъ и у животныхъ; память и воображеніе—также; соображеніе и разсудочность приспособлены у животныхъ къ ихъ жизненнымъ потребностямъ и инстинктамъ; о волѣ и говорить нечего: безъ нея животное приближается къ переходу въ растеніе. Чувства любви, надежды, радости, печали—всѣ они проявляются, хотя *in statu nascente*, и у животного. Но вѣры нѣтъ и слѣда—почему?

Причина лежитъ, по моему, какъ въ свойствахъ сознательности животного, такъ и въ свойствахъ нашей способности вѣровать. Животное, безъ сомнѣнія, обладаетъ сознаніемъ; оно ощущаетъ свое бытіе и свою индивидуальность (личность); но животное не сознаетъ, какъ мы, своего чувственного сознанія, и потому представленіе и понятіе его о своей индивидуальности не такъ ясны и отчетливы, какъ у насъ. Личность животного сливается въ его представленіи болѣе, чѣмъ у насъ, съ окружающимъ его міромъ; это потому, что намъ объ ощущеніи нашего личнаго бытія напоминаетъ безпрестанно сознаніе этого болѣе или менѣе сознательнаго ощущенія; эту-то нашу способность сознавать, что мы сознаемъ себя, и нужно назвать самосознаніемъ; его нѣтъ у животного, только въ смыслѣ ощущенія сознающаго свое бытіе; а между этимъ

чувственнымъ сознаніемъ личнаго бытія и тѣмъ, которое знаетъ свое чувственное сознаніе бытія (самосознаніе), не мало разстоянія.

Вѣра безъ самосознанія немыслима. Свойства же нашей способности вѣровать таковы, что она проявляется для насъ какъ бы отрѣшившеюся отъ всѣхъ другихъ чувственныхъ представлений; конечно, это миражъ. Чувства, необходимыя для нашего бытія и самосознанія, безусловно необходимы и для осуществленія въ насъ способности вѣровать; но какъ скоро, при развитіи этой способности, самосознаніе наше, отвлекаясь отъ чувственного сознанія, перестаетъ слѣдить за нимъ и сосредоточиваетъ свою дѣятельность въ другой области представлений, — отвлеченное (болѣе или менѣе) отъ чувственного самоощущенія и какъ бы сосредоточенное въ самомъ себѣ, наше самосознаніе творитъ внѣ-чувственные идеалы. Къ нимъ, къ этимъ сверхъ-чувственнымъ идеаламъ, приводитъ неминуемо наша способность вѣровать, въ высшемъ ея развитіи; на низшихъ же степеняхъ развитія она еще напоминаетъ, какъ и все человѣческое, о безусловной зависимости отъ чувственного.

Поэтому-то я и утверждаю въ моемъ міровоззрѣніи, что *cogito ergo sum* Декарта справедливѣе замѣнить: *sentio ergo sum*. Наше *sum*, или „я есмь“ — только рефлексъ ощущенія бытія: съ нимъ сходны звуки, издаваемые животными, свидѣтельствующіе объ ощущеніи ими также личнаго бытія. А наше *cogito* есть уже самосознаніе, то-есть сознаніе ощущенія бытія, которое можетъ быть и не вполнѣ сознательное (какъ у животныхъ и у насъ при ненормальномъ состояніи тѣла или психическихъ способностей).

Если верховный разумъ Творца заблагоразсудилъ произвести человѣческій родъ отъ обезьяны, то, несомнѣнно, вѣра въ человѣкъ развилась постепенно, въ теченіе вѣковъ, изъ грубыхъ чувственныхъ представлений, взятыхъ имъ изъ окружающей природы.

Но родословная наша еще не скрѣплена и не въ рукахъ точной науки; поэтому возможно еще и невѣроятное. Въ такомъ случаѣ возможна и маловѣроятная для современной науки гипотеза о происхожденіи первобытнаго человѣческаго типа, теперь уже выродившагося, принесшаго съ собою на

свѣтъ всѣхъ задатки высшихъ способностей души, въ томъ числѣ и вѣры.

Какъ бы то ни было, но божествомъ каждого культурнаго общества въ историческія времена всегда были и будутъ или идеалъ, или абсурдъ. Этимъ и отличается также вѣра отъ знанія; если вѣра и не есть непремѣнный антагонистъ знанія, а положительная (догматическая) даже требуетъ его, — основныя ихъ начала несходны между собою и никогда не сойдутся. Сомнѣніе — вотъ основа знанія.

Безусловное довѣріе къ избранному идеалу — вотъ начало вѣры. Нѣтъ нужды, если онъ будетъ абсурдомъ. *Credo quia absurdum est.* Въ этомъ изреченіи Тертулліана, одного изъ столповъ церкви, — глубокая правда. Истинно вѣрующему нѣтъ дѣла до результатовъ положительнаго знанія. Эта черта проводится нами замѣтно и въ простыхъ житейскихъ дѣлахъ. Если я получаю почему-либо полное довѣріе къ какой-нибудь личности, то я не разбираю болѣе — знающая она, образованная, интеллигентная или нѣтъ; я вѣрю ей на-слово, вѣрю и безъ словъ, однимъ, такъ сказать, взмахомъ души. Такъ знаніе и глубокомысленность уживаются въ одной душѣ вмѣстѣ съ вѣрою, не нуждающеюся въ знаніи. Способность познавать, основанная на сомнѣніи, не допускаетъ вѣры; но вѣра не стѣсняется знаніемъ и идетъ своимъ путемъ. Идеалъ, служащій основаніемъ вѣры, даже абсурдный, не допуская и тѣни сомнѣнія, становится выше всякаго знанія и помимо его стремится къ достиженію истины.

Карлъ Фохтъ смѣялся надъ возможностью соединить вѣру и знаніе, противорѣчащее въ своихъ результатахъ догматамъ вѣры; онъ называлъ это двойною бухгалтеріею души. Правда, глубина и многосторонность знанія, по принципу, препятствуютъ не только полету, но и развитію идеаловъ, если они не требуютъ точно-научнаго знанія. Но и то правда, что наша разсудочная послѣдовательность ограничена.

Строго послѣдовательными могутъ быть, и то относительно, только два сорта людей: крѣпкіе духомъ и ограниченные, одно-сторонніе спеціалисты. Когда я считалъ спеціализмъ главною цѣлью жизни, я подписалъ подъ моимъ портретомъ, литографированнымъ въ Дерптѣ, что быть послѣдовательнымъ для меня —

главное, и я былъ тогда дѣйствительно послѣдовательнымъ до чертиковъ; но по мѣрѣ того, какъ я знакомился съ жизнью и наукою — и міровоззрѣніе мое дѣлалось менѣе ограниченнымъ, я прозрѣлъ и убѣдился, что, не принадлежавъ къ разряду *esprits forts*, нельзя быть вполне послѣдовательнымъ. Чтò я говорю? Можно. Но какъ? сдѣлавшись подлецомъ передъ Богомъ и передъ собою.

Да, не иначе: *esprit fort*, — и вѣрующій, и невѣрующій (онъ можетъ быть и тѣмъ, и другимъ) — въ сущности, всегда во что нибудь да вѣрующій, по малой мѣрѣ убѣжденный въ чемъ-нибудь до *plus ultra*; вѣруя же, онъ можетъ быть и по-евангельски нищимъ духомъ, — и нищій бываетъ и крѣпкимъ, и сильнымъ.

Самая характерная черта крѣпкаго духомъ — та, что онъ, счастливый и несчастный, больной и здоровый, живя и умирая, продолжаетъ безтрепетно, спокойно, безъ всякаго разлада съ самимъ собою, вѣрить или не вѣрить; а не вѣрить для *esprit fort* — значить, по моему, вѣрить въ ничто, то-есть въ абсурдъ, *credit quia absurdum est*. Поэтому истинный, непритворный и неподдѣльный отрицатель не можетъ не быть *esprit fort*.

Если все это такъ, то крѣпкій духомъ не можетъ не быть и одностороннимъ; и потому онъ сходится съ разрядомъ одностороннихъ и ограниченныхъ специалистовъ, которые, въ свою очередь, не есть еще евангельскій нищій духомъ.

Другое дѣло — съ людьми, не принадлежащими къ этимъ двумъ разрядамъ; между ними есть также и вѣрующіе, и невѣрующіе, приобрѣвшіе глубокія научныя знанія, и невѣжды, и неучи. Для такихъ людей — а имя имъ легионъ — неуступчивая, неупругая и несокрушимая послѣдовательность немыслима, и какъ ни различенъ складъ ума большинства людей изъ этого разряда, всѣ они имѣютъ то общее имъ свойство, что могутъ вести у себя и съ собою двойную бухгалтерію, какъ это названо К. Фохтомъ. Это значить, что личность, принадлежащая къ этой категоріи, можетъ быть въ одно и то же время и чело-вѣкомъ науки, и чело-вѣкомъ вѣры, — и въ вѣрѣ, и въ наукѣ вполне искреннимъ; идеалъ вѣры, — собственный или сообщен-ный, — мирится въ такой личности съ результатами, получен-

ными путемъ науки; спокойствіе, поселяемое въ душѣ вѣрою въ идеалъ, хотя бы абсурдный, съ научной точки зрѣнія не нарушается несовпаденіемъ итоговъ двойной бухгалтеріи. Какъ не благодарить Бога тому, кто своевременно разузнаетъ въ себѣ эту чудную, примиряющую способность души; но нечего роптать, сѣтовать, сомнѣваться и насмѣхаться и тому, кто не понимаетъ или не хочетъ понять возможности существованія этого психическаго свойства.

И едва-ли крайняя послѣдовательность принадлежитъ къ нормальнымъ свойствамъ человѣческаго духа. Бѣда, если ее захочетъ себѣ навязать человѣкъ не сильный духомъ или не ограниченный: онъ неминуемо сподличаетъ. Подлецъ, въ моихъ глазахъ, передъ Богимъ и передъ собою — тотъ, кто, отвергнувъ всѣ идеалы вѣры и ставъ въ ряды атеизма, въ бѣдѣ измѣняетъ на время свои убѣжденія, и всего хуже, если дѣлаетъ еще это тайкомъ, а убѣжденія свои разглашаетъ открыто. А такихъ господъ не мало. Къ нимъ принадлежалъ нѣкогда и я самъ, пока не познакомился съ собою хорошенько. Да, трудно простить себѣ такую подлость, хотя бы и временную, и невольную; въ продолженіе моей автобіографіи я не утаю отъ себя ничего, чтѣ заслуживаетъ самобичеванія, и постараюсь напомнить себѣ, когда и какъ я былъ подлецомъ предъ Богомъ и предъ собою.

Теперь, когда я убѣдился, что люди моего склада ума не могутъ и не должны стремиться къ достиженію крайнихъ предѣловъ послѣдовательности, я сдѣлался искренно вѣрующимъ, не утративъ нисколько моихъ научныхъ, мыслью и опытомъ приобрѣтенныхъ, убѣжденій.

Какой же идеалъ моей вѣры?

То, чтѣ называется вѣрить въ Бога, можетъ быть названо только въ томъ случаѣ, когда умъ не дошелъ еще до необходимости признавать Бога исходною точкою, своимъ *pes plus ultra*. Мой бѣдный, не разъ блуждающій умъ остановился на этомъ признаніи; для меня существованіе Верховнаго Разума и Верховной Воли сдѣлалось такою же необходимостью, какъ мое собственное умственное и нравственное существованіе. Но остановиться на этомъ требованіи ума еще не значило бы

для меня быть вѣрующимъ,—это значило бы быть деистомъ; а деизмъ, по-моему, еще не вѣра, а доктрина.

Для нравственного моего быта необходимъ былъ идеалъ болѣе человѣческій, болѣе близкій ко мнѣ. Входя все глубже и глубже въ себя во время разныхъ испытаній жизни, я понималъ, наконецъ, почему культурныя племена, дошедъ до известной степени человѣчности, такъ нуждаются въ идеалѣ Богочеловѣка. Слабость тѣла и духа, болѣзнь, нужда, горе и бѣды считаются главными рассадниками вѣры.

Мой знакомый докторъ Груби въ Парижѣ утверждалъ даже, что основу всякой религіи нужно отыскивать въ патологии человѣка. Гораздо вѣрнѣе этого известно: *weg nicht sein Brod mit Thränen ass*, и проч.

Но какъ ни сильны эти мотивы, не одинъ, однако-же, плачъ и скрежетъ зубовъ приводитъ насъ къ утѣшительному идеалу Богочеловѣка; и радость, въ двухъ ея видахъ, увлекаетъ насъ невольно къ этому же самому идеалу. Когда на душѣ тишь да гладь, да Божья благодать, или когда душа восторженна и торжествуетъ, она всегда находитъ въ этихъ двухъ видахъ радости причину сближенія съ другимъ, и непремѣнно высшимъ, какъ будто ей сочувствующимъ существомъ, началомъ,—не знаю съ чѣмъ-то.

Это сочувствующее всему человѣческому и болѣе чѣмъ знакомое со всѣми нашими слабостями, нуждами, печальми и радостями начало—такъ свойственно намъ, что олицетвореніе его дѣлается неминуемо потребностью нашего духа; олицетворенное дѣлается звеномъ, соединяющимъ насъ съ тѣмъ, предъ чѣмъ останавливается нашъ умъ, какъ предъ непостижимымъ для него абсолютъ.

Верховный вселенскій Разумъ и Верховная Воля дѣлаются доступнѣе для насъ въ лицѣ Богочеловѣка. Идеалъ вѣры въ Богочеловѣка до того кажется мнѣ теперь свойственнымъ человѣческой душѣ, что и примѣненіе къ нему известнаго изреченія Вольтера я не считалъ бы такимъ кощунствомъ, какимъ оно мнѣ представляется въ отношеніи къ Богу. Не даромъ высшія культурныя племена все свое бопочитаніе основывали на идеалѣ олицетворенія не только божества, но и каждаго изъ его свойствъ.

Олицетвореніе неминуемо входило въ идеалу вѣръ какъ политеизма, такъ и монотеизма. Іегова евреевъ, боровшійся подъ видомъ человѣка съ Іаковомъ, былъ не только Богомъ, принимавшимъ участіе въ дѣлахъ человѣческихъ вообще, но еще и Богомъ національнымъ еврейскаго народа.

Да и какъ возможно бы было человѣку, разъ принявшему существованіе Бога необходимымъ, остановиться неподвижно на одномъ деизмѣ? Это, какъ я самъ испыталъ на себѣ, значило бы насиловать себя, оставаться холоднымъ и равнодушнымъ къ Тому, Кого нашъ же умъ призналъ за начало началъ; а чтобы не быть къ Нему безразличнымъ, чтобы любить или ненавидѣть Его—необходимо дѣлается признать въ Немъ какія-либо нравственныя или матеріальныя отношенія къ себѣ. И въ самыхъ тайникахъ человѣческой души рано или поздно, но неминуемо долженъ былъ развиваться осуществленный идеаль Богочеловѣка.

Воплощеніе же этого, задолго передъ тѣмъ уже предчувствованнаго идеала, выпало и утѣшительнѣйшаго изъ идеаловъ,—не могло не внести въ сердца людей новыя (и едва-ли до того испытанныя) чувства мирнаго блаженства и торжественнаго восторга, такъ поражающія насъ въ жизни неофитовъ и мучениковъ за вѣру. Вѣровать, что среди насъ жилъ человѣческою же жизнію нашъ Спаситель, испытавъ на себѣ муки и радости этой жизни, было такимъ, еще никогда неиспытаннымъ счастьемъ, что всѣ проникнутые этою вѣрою не могли не ставить ее выше всѣхъ другихъ чувствъ и способностей души.

Что умъ съ его развѣдающимъ анализомъ и сомнѣніемъ? Развѣ онъ успокоивалъ, подавалъ надежду, утѣшалъ и водворялъ миръ и упованіе въ душѣ? А вотъ осуществленный идеаль вѣры—онъ проникъ всю душу, не оставивъ въ ней мѣста для сомнѣній, анализовъ и, разомъ овладѣвъ ею, вселяетъ блаженство и восторгъ.

Вотъ и я, грѣшный, хотя и поздно, но убѣдился, наконецъ, что мнѣ, при складѣ и емкости моего ума, не слѣдовало попадать въ коленъ крѣпкихъ духомъ и одностороннихъ специалистовъ. Жизнь-матушка привела, наконецъ, къ тихому пристанищу. Я сдѣлался, но не вдругъ, какъ многіе неофиты, и не безъ борьбы, вѣрующимъ. Къ сожалѣнію, однако-же,

еще и до сихъ поръ, на старости, умъ разъѣдаетъ по временамъ оплоты вѣры. Но я благодарю Бога за то, что по крайней мѣрѣ успѣлъ понять себя и увидаль, что мой умъ можетъ ужиться съ искреннею вѣрою. И я, исповѣдая себя весьма часто, не могу не вѣрить себѣ, что искренно вѣрую въ ученіе Христа Спасителя.

Прежде меня слишкомъ занимала историческая сторона христіанства. Теперь я убѣдился, что это—дѣло науки, слѣдовательно требующее и научныхъ пріемовъ; но въ наукѣ я всегда былъ и буду за полную свободу изслѣдованія, самаго чистаго и свободнаго отъ всякой задней мысли. Для того же, кто, какъ я, ищетъ въ ученіи Христа мира и утѣшенія, вся суть не въ исторіи.

Самъ Спаситель ничего не оставилъ намъ документальнаго въ научно-историческомъ смыслѣ. Мы узнаемъ о Его жизни и ученіи изъ книгъ, писанныхъ Его послѣдователями. Эти письма дошли до насъ чрезъ тьму вѣковъ, и какихъ еще вѣковъ—язычества, сектантства, варварства, фанатизма! Кто по современно-научнымъ понятіямъ рѣшить теперь—что апокрифъ, что нѣтъ; безъ строгой исторической критики теперь немислима стала никакая исторія, даже и священная. А къ какимъ результатамъ можно придти, изслѣдуя строго и свободно научно-историческіе документы христіанскаго ученія, можно узнать отъ тюбингенской школы, отъ Штрауса и Ренана, и еслибы пришлось выбирать между двумя послѣдними, то я все-таки предпочелъ бы изъ двухъ золь выбрать меньшее, по моему мнѣнію,—это Штрауса (т.-е. его книгу: „Жизнь Иисуса Христа“, а не смерть самого Штрауса, кажется, рехнувагося совсѣмъ при концѣ жизни).

Для меня главное въ христіанствѣ—это недостижимая высота и осващающая душу чистота идеала вѣры; на немъ цѣлые вѣка тьмы, страстей и неистовствъ не оставили ни единого пятна; кровь и грязь, которыми міръ не разъ старался осквернить идеальную святость и чистоту христіанскаго ученія, стекали потоками назадъ, на осквернителей.

Смѣло и несмотря ни на какія историческія изслѣдованія, всякій христіанинъ долженъ утверждать, что никому изъ смертныхъ невозможно было додуматься и еще менѣе дойти

до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которыя содержатся въ ученіи Христа; нельзя не прочувствовать, что оно не отъ міра сего. Это не мораль, какъ желаютъ представить идеаль ученія отвергающіе божественную натуру учителя. Мораль (отъ *mos*—нравъ, обычай) зависима отъ нравовъ, а нравы мѣняются со временемъ. Положительнаго, неизмѣннаго нравственного кодекса всего человѣчества нѣтъ, и онъ проявится развѣ когда будетъ едино стадо и единый пастырь. Но это возможно только въ томъ случаѣ, если пастыремъ явится Богочеловѣкъ,—а тогда люди обойдутся, пожалуй, и безъ кодекса.

Хотя тюбингенская школа и бросила тѣнь историческаго сомнѣнія на евангеліе Іоанна, но слова или смыслъ словъ: „законъ (то-есть нравственный) Моисеевъ, благодать же и истина Іисусомъ Христомъ даны“—для каждаго христіанина должны быть словами истиннаго благовѣстителя. И для меня непонятно, почему протестантскіе ультра-раціоналисты, причисляя себя къ пастырямъ христіанской церкви, становятся на точку зрѣнія Ревана и древнѣйшихъ ересіарховъ, вышедшихъ изъ паганизма и талмудизма: имъ могъ слѣдовать въ своемъ невѣріи такой протестантскій государь, какъ Фридрихъ Второй, считавшій Евангеліе только моралью,—но не пастыри каковаго бы то ни было христіанскаго исповѣданія. Для современнаго—именно для современнаго—христіанина призваніе божественной натуры Спасителя должно быть краеугольнымъ камнемъ его вѣры. Этимъ признается непреложность, непогрѣшимость, благодатная внутренняя истина идеала, служащаго основою христіанскаго ученія. Этимъ же оно и отличается отъ измѣнчивой, внѣшней, хотя и вполне законной мірской морали. Благодатная, не подлежащая ни сомнѣнію, ни разслѣдованію истина можетъ сдѣлаться моею собственною внутреннею истиною только тогда, когда я извлекаю ее изъ высшаго источника и вѣрую, что она сообщается мнѣ путемъ благодати. Только при такой вѣрѣ я и въ состояніи отличить внѣшнюю и научную правду, требующую умственнаго анализа и свободнаго разслѣдованія, отъ той высшей, вѣчной, исполненной благодати правды, которая служитъ идеаломъ моей вѣры,—вѣры, а не одного убѣжденія.

Я убѣдился на себѣ, что, не отличая истины, добываемой путемъ анализа и разслѣдованія, отъ другой, доставляемой намъ вѣрою, нельзя быть настоящимъ вѣрующимъ. И прежде всего нужно увѣровать въ высшую благодать. Недостигаемая высь и чистота идеала христіанской вѣры дѣлають его истинно благодатнымъ; это обнаруживается необыкновеннымъ спокойствіемъ, миромъ и упованіемъ, проникающими все существо вѣрующаго въ краткія молитвы и бесѣды съ самимъ собою, съ Богомъ.

Обуреваемый сомнѣніемъ и невѣріемъ, мой умъ еще нерѣдко заставляетъ меня думать и во время этихъ бесѣдъ:— не миражъ ли все это? Мы живемъ въ какомъ-то заколдованномъ кругу, изъ котораго намъ нѣтъ выхода;—какъ тутъ отличишь: чтѣ дѣйствительность, чтѣ миражъ, да и зачѣмъ стараться различать неразличимое? Это—то, чтѣ одинъ отецъ церкви назвалъ *curiositas inutilis*. А если, наконецъ, и удалось бы постигнуть, гдѣ кончается наша иллюзія и гдѣ начинается дѣйствительность, то не будемъ ли мы самыми несчастными существами, сдѣлавшись, чрезъ такое открытіе, изъ мнимоздоровыхъ мнимо-больными? Представимъ себѣ каждаго изъ насъ лично и наглядно убѣдившимся, что его я—миражъ, его ощущеніе свободной воли—тоже миражъ; свобода мысли—иллюзія; представленія о безпредѣльности времени и пространства—галлюцинаціи фантазіи; идеалы вѣры, любви, красоты—такія же галлюцинаціи, иллюзіи и миражи;—чтѣ вышло бы изъ личности, наглядно узнавшей и окончательно убѣдившейся, что она живетъ постояннымъ обманомъ чувствъ, ощущеній и представлений? Не привело ли бы такое знаніе къ другому, еще болѣе сумбурному, убѣжденію, что самый способъ, которымъ мы дошли до нашей истины, основанъ на такихъ же иллюзіяхъ и миражахъ?

Мнѣ кажется, что въ предметахъ психологіи, для изслѣдованія которыхъ необходимо субъективныя ощущенія дѣлать въ то же время и объектами сужденія, сомнительная догадка вѣрнѣе и во всякомъ случаѣ практичнѣе мнимо-твердаго убѣжденія.

Итакъ, если Творцу угодно было, произведя насъ отъ обезьянъ, скрыть наше происхожденіе иллюзіями, увлекающими

насъ къ Нему въ безпредѣльность и вѣчность,—то не намъ накладывать руки на себя и не намъ найти ту истину, которая не назначена быть истиною для насъ. Все это я привожу въ припадкѣ сомнѣнія противъ моего невѣрія, отъ котораго не легко было отдѣлаться и самому Петру.

Всеобъемлющая любовь и благодать Святого Духа, это два самые существенные элементы идеала вѣры Христовой, отличающей ее отъ морали, какъ небо отъ земли. Недаромъ у всѣхъ сектаторовъ христіанства благодать служить болѣе или менѣе основою толковъ и раскола. Настоящая, искренняя вѣра не можетъ быть не идеальною; а идеаль не можетъ быть достижимымъ, какъ недостижима для насъ и всеобъемлющая истина. А недостижимою высокою и святостію идеала христіанская вѣра, очевидно, превосходитъ всѣ другія; сущность же этого высокаго идеала такова, что приближеніе къ нему невозможно. И вотъ желающіе приблизиться къ нему и ищущіе въ вѣрѣ примиренія съ собою, прежде всего не должны полагаться на собственныя силы и нравственныя (моральныя) достоинства, а должны увѣровать, что вѣра есть даръ неба, благодати и всеобъемлющей любви. Это для меня самая характерная черта христіанской вѣры, превосходно выраженная въ моей умилительной для меня молитвѣ: „Чертогъ Твой вижу, Спасе мой, и одежды не имамъ, да вниду въ оны“.

Разбойникъ на крестѣ, блудный сынъ, фарисей и мытарь, слова, сказанныя Марей, Маріи и юношѣ, исполнившему, по его мнѣнію, всѣ заповѣди закона, доказываютъ, какое значеніе придавалъ Спаситель прямому, чистосердечному и полному раскаянію и вѣры обращенію къ Нему. Два великіе учителя церкви —апостолъ Павелъ и блаженный Августинъ—видѣли также въ благодати одно изъ главныхъ средствъ къ спасенію.

Но существуетъ въ моихъ глазахъ еще и другая характерная черта христіанскаго ученія—это многосторонность, отличающая его отъ ограниченныхъ или одностороннихъ стремленій религій, основанныхъ на одной морали. И аскетъ, бѣгущій отъ прелестей міра, и мірянинъ, подвергающій себя испытаніямъ, и человѣкъ, ставящій свои дѣйствія въ зависимость отъ предопредѣленія, и тотъ, кто основываетъ ихъ на свободѣ воли, ищущій усердною молитвою и постомъ удостоиться бла-

годати, равно какъ и тотъ, кто и все свое время посвящаетъ дѣламъ добра,—всѣ, всѣ могутъ найти въ христіанскомъ ученіи основу своихъ убѣжденій, стремленій и дѣйствій.

Одно мнѣ кажется несомнѣннымъ съ духомъ ученія Христа, это—догматизмъ и доктринерство. Конечно, церковь, какъ собраніе вѣрующихъ, должна была возникнуть на первыхъ же порахъ христіанства, а согласіе и единство взглядовъ должны были соединять собраніе вѣрующихъ; но это еще далеко отъ обязательной догмы. Обязательная, а потомъ и принудительная догма должна была явиться съ появленіемъ на свѣтъ государственной, или, по-просту, казенной церкви. И вотъ опять доказательство той многосторонности ученія Христа, о которой я говорилъ.

Какъ скоро христіанство выступило на государственную и политическую арену, въ немъ находили опору и императоры, и демагоги. Мало этого: церковь, во времена паганизма, не переставая быть въ сущности христіанскою, могла дѣлать уступки язычеству, слѣды котораго сохранились въ нѣкоторыхъ церквяхъ еще и до сихъ поръ. Это и не могло быть иначе, когда неземной—„не отъ міра сего“—идеаль долженъ былъ осуществляться, вѣрнѣе—приближаться къ осуществленію въ мірѣ, пропитанномъ насквозь чувственностью. Развѣ могъ кто изъ смертныхъ, —хотя бы и власть имѣющихъ,—велѣть любить врага и ненавистника, платить за обиду кротостью и смиреніемъ, всѣмъ жертвовать изъ любви?! Мѣсто запрещенія и отрицанія, служащихъ основою закона, обязательнаго для всего общества, и мѣсто: не дѣлай того или другого, не убей, не воруй, не пожелай, замѣняетъ верховный и неземной призывъ къ сокровеннымъ и самымъ глубокимъ чувствамъ души—любви и вѣрѣ, дѣлая ихъ главными мотивами нашихъ дѣлъ и дѣйствій. Очевидно, ни еврейскій монотеизмъ, ни политеизмъ древняго міра не могли сразу понять и прочувствовать глубокой смыслъ и значеніе недосягаемаго идеала Новаго Завѣта.

И первая государственная церковь Христа едва-ли была образцовая. Императоры, принявшіе христіанство, снѣшили воспользоваться ею для своихъ политическихъ цѣлей, старались сдѣлать ее торжественною въ глазахъ народа, привыкшаго къ великолѣпнѣю языческихъ храмовъ и торжественнымъ процес-

сіямъ жрецовъ, которыхъ должна была замѣнить для народа іерархія священнослужителей, епископовъ, патріарховъ и т. п. И вотъ, вѣрованіе, въ основѣ котораго лежитъ полная свобода совѣсти, то-есть сознаніе истины въ идеалѣ самоотверженія изъ любви и вѣры въ всеобъемлющую любовь Бога,—дѣлается постепенно обязательнымъ, вазаннымъ, внѣшнимъ. Обязательность, связь церкви съ властью, государственные перевороты, наплывъ новыхъ племенъ на развалины древнихъ государствъ, всѣ эти обстоятельства не могли не способствовать къ искаженію чистоты идеала новой вѣры и къ пороженію самыхъ уродливыхъ толковъ, ересей, подлоговъ, преданій, письменныхъ документовъ, и т. п.

Тогда оказался необходимымъ для государственной церкви и обязательный догматизмъ вѣры; и цѣлый рядъ вселенскихъ соборовъ устанавливаетъ догмы и формулы догмъ, предписываетъ, какъ и чему вѣрить, чтобы быть христіаниномъ. Свобода совѣсти отходитъ на задній планъ. Мѣсто глубоко прочувствованнаго идеала вѣры и свободного полета души, желающей сближенія съ нимъ, заступаютъ символическіе обряды, мистеріи, игравшіе такую видную роль въ политеизмѣ, и т. п.

Дошло, наконецъ, до того, что вмѣсто недостижимо-высокаго идеала, нареченнаго быть мотивомъ всѣхъ нашихъ дѣлъ и нравственныхъ стремленій, выступили на первый планъ всѣ эти церковные обряды и требы. Вмѣсто смиренныхъ, исполненныхъ благодати и любви, учителей, явились непогрѣшимые папы-государи и надменные патріархи, заводившіе споры о первенствѣ.

Иногда, смотря на нашихъ владыкъ, я думалъ: какъ бы мнѣ было совѣстно передъ собою и передъ Христомъ, если-бы я сдѣлался архіереемъ;—мнѣ невозможно бы было не помнить, что именно архіереи синаedrіона были судьями не на животъ, а на смерть Общавшаго Царство Божіе своимъ избраннымъ. А эти книжники, противъ которыхъ Онъ такъ возставалъ,—развѣ это были не догматики и развѣ между ними не было приписывавшихъ себѣ власть и авторитетъ только потому, что они получили ихъ по преданію въ наслѣдство, и развѣ самые близкіе къ Христу не должны были для авторитета производить Его родословную отъ царя Давида? Не то ли же

самое повторяется съ іерархами, папами и даже попами, приписывающими себѣ духовную власть по преемству или наслѣдству?

И знаю, однако-же, и хорошо понимаю, что я увлекаюсь, говоря такъ о церкви и ея служителяхъ. Но я говорю теперь о христіанствѣ съ моей индивидуальной и ограниченной точки зрѣнія. Послѣ погрома моей обрядной религіи, которую исповѣдывалъ съ дѣтства, и послѣ того, какъ убѣдился, что не могу быть ни атеистомъ, ни деистомъ, я искалъ успокоенія и мира души, и, конечно, пережитое уже мною, чисто внѣшнее вліяніе таинствъ церковныхъ богослуженій и обрядовъ, не могло успокоить взволнованную душу. Вся внѣшняя сторона вѣры оказывала на меня вмѣсто успокоивающаго и примирающаго дѣйствія—другое, противоположное. Мнѣ нуженъ былъ отвлеченный, недостижимо-высокій идеалъ вѣры. И принявшись за Евангеліе, котораго я никогда еще самъ не читывалъ, — а мнѣ было уже 38 лѣтъ отъ роду, — я нашелъ для себя этотъ идеалъ.

Въ нашей обрядной церкви, по крайней мѣрѣ во время моего дѣтства, а въ деревняхъ, какъ вижу, и теперь еще, — Евангеліе считается попами и прихожанами священнымъ не по содержанію, не по мыслямъ и изложенному въ немъ ученію, а священнымъ какъ предметъ, формально; такъ и слова молитвъ считаются священными какъ слова: слышанныя, прочитанныя—должны оказывать благодатное и спасительное дѣйствіе на слушателя и читателя.

Съ этой стороны только я и зналъ Евангеліе, а слѣдовательно и ученіе Христа, пока былъ подросткомъ. Потомъ все это забылось и, какъ старый хламъ, сдано былъ мною въ архивъ памяти, пока мнѣ не стукнуло 38 лѣтъ и внутренняя тревога не овладѣла мною. Послѣ этого я не удивляюсь, что сужу такъ рѣзко о современной (да и прежней) христіанской церкви.

Между тѣмъ я долженъ сказать, что какъ ни слабою, съ историко-критической точки зрѣнія, кажется мнѣ историческая сторона начала христіанства, я, какъ человѣкъ, вѣрящій въ предопредѣленіе и не допускающій ничего случайнаго по принципу, вижу въ исторіи развитія церкви событіе роковое, по-

вліявшее существенно на развитіе культурнаго общества. И именно то обстоятельство, что христіанство, вмѣсто не нуждавшагося ни въ какой внѣшней обстановкѣ исповѣданія, дѣлается государственною религіею, утвержденною на догматахъ, и обезпечиваетъ дальнѣйшее его развитіе, его судьбы и вліяніе на народныя массы.

Весьма страннымъ кажется мнѣ мнѣніе Бокля, что культурное общество обязано своимъ прогрессомъ исключительно распространенію научныхъ знаній, а со стороны нравственнаго его быта не послѣдовало никакого улучшенія. И другое мнѣніе, что будто бы не христіанство, а выступленіе на поприще цивилизаціи германскихъ племенъ было главною причиною прогресса, мнѣ кажется не менѣе одностороннимъ, и я не понимаю, какъ можно отрицать въ идеалѣ Христовой вѣры глубокіе задатки къ улучшенію нравственнаго быта общества, а потому отвергать и вліяніе христіанства на нравы и стремленія людей.

Вѣруя, что основной идеалъ ученія Христа, по своей недосыгаемости, останется вѣчнымъ и вѣчно будетъ вліять на души, ищущія мира, чрезъ внутреннюю связь съ Божествомъ, мы ни минуты не можемъ сомнѣваться и въ томъ, что этому ученію суждено быть неугасимымъ маякомъ на извилистомъ пути нашего прогресса.

Но если идеалъ вѣченъ и не отъ міра сего, а путь прогресса не прамъ, а извилисть, то возможно ли было человечеству, въ переходныя эпохи его жизни, усвоить себѣ и глубоко прочувствовать всю суть христіанской вѣры? Чего не встрѣчало оно на своемъ земномъ поприщѣ?

Христось, какъ человѣкъ, былъ еврей; очевидно, любилъ свое земное племя, не опровергалъ закона Моисеева, соблюдалъ и требовалъ соблюденія заповѣдей, совершалъ еврейскіе обряды, но преслѣдовалъ фарисейство и садукейство, то-есть преслѣдовалъ доктринерство, внѣшнюю обрядность, внутреннюю ложь и грубую чувственность садукейства, и, вѣроятно, отдавалъ предпочтеніе сектѣ ессеевъ (аскетовъ).

Но государственному строю евреевъ суждено было существовать уже недолго, и предопредѣленіе — не случай — вывело христіанство, послѣ паденія Іерусалима, но вмѣстѣ съ

разсѣяніемъ еврейства, на всемірное поприще, и предопредѣлено было вывести его на это поприще при наступившемъ наплывѣ въ древній міръ свѣжихъ варварскихъ племенъ. Если первобытные христіане-евреи, а съ ними и римляне, — какъ видно изъ Тацита, — смотрѣли на ученіе Христа болѣе съ своей, еврейской, точки зрѣнія, то немудрено, что язычники-греки и римляне, дѣлаясь христіанами, вносили съ собою въ новое ученіе свои прежніе языческіе понятія и обряды. Политеизму и жречеству не легко было оставаться безъ олицетвореній и жертвъ. Толкованія вѣры Христа сдѣлались одно превратище и темнѣе другого, а восточные народы ввели и дуализмъ, не чуждый, впрочемъ, и монотеизму.

Наконецъ, христіанской церкви, обратившей варваровъ въ христіанъ, суждено было самой сдѣлаться государствомъ въ государствахъ, стать во главѣ правленій и спуститься съ высоты своего идеала низко, низко, на землю.

Можно ли же полагать, что первые вѣка христіанства должны служить образцомъ чистоты ученія Христа? Можно ли утверждать, что ученіе это, вышедъ изъ устъ Спасителя, тотчасъ же было принято, усвоено и прочувствовано народами во всей его идеальной чистотѣ? Не противорѣчить ли этому то, что самые близкіе ученики не всегда понимали Учителя, и общаемое Имъ Царство Божіе переносили въ Іудею? Не былъ ли самъ Спаситель въ глазахъ многихъ изъ своихъ современниковъ сыномъ плотника изъ Назарета, отъ которой нельзя было ожидать ничего особеннаго? Не говоря уже о римлянахъ, незнакомыхъ съ религіею евреевъ, не придававшихъ, очевидно, никакой важности ученію Христа, могло ли и большинство самихъ евреевъ признать въ своемъ соотечественникѣ Іегову-Мессію, когда онъ допустилъ себя, какъ преступника, опозорить, осмѣять и распять?

Обыкновенно принимаютъ, что чѣмъ старѣе вѣра, тѣмъ лучше. И это правда; для вѣры необходимъ консерватизмъ болѣе всего, чтобы дѣйствовать ею на массы. Вѣра отцовъ — для нихъ магическое слово. Поэтому для государства важное дѣло — поддерживать старую вѣру, какъ сильно-дѣйствующее средство консерватизма. Въ интересахъ жрецовъ государственной вѣры и церкви также лежитъ держаться, сколько можно

крѣпче, прежнихъ взглядовъ на вѣру, установленныхъ вѣками догматовъ, обрядовъ и обычаевъ.

Но, несмотря на все это, мнѣ кажется, христіанину нельзя сомнѣваться. Вѣчный, неземной и никогда недостижимый идеалъ его вѣры долженъ постепенно освобождаться отъ на-ростовъ времени и дѣлаться болѣе и болѣе яснымъ для людей всѣми его благодатными слѣдствіями. И я полагаю, какъ ни извилистъ путь человѣческаго прогресса, христіанство, несмотря на препятствія, встрѣченныя имъ на этомъ пути, и на временныя реакціи невѣрія, грубой чувственности и звѣрства, много, чрезвычайно много очистило нравственность и прояснило наши міровоззрѣнія, взаимныя отношенія народовъ и государствъ.

Свобода совѣсти, свобода разслѣдованія истины, уничтоженіе рабства и невольничества, возвышеніе личности, снисхожденіе и милосердіе къ побѣжденному врагу, дѣла общественной благотворительности, — все это дѣлалось и дѣлается, въ теченіе 18-ти слишкомъ вѣковъ, подъ эгидою христіанства. Поэтому, какъ бы догматизмъ и обязательности государственной церкви, іерархизмъ, обрядность мнѣ лично ни казались противными духу ученія Христа, я не долженъ увлекаться моими личными склонностями и не въ правѣ не признать всѣ эти явленія на почвѣ христіанства необходимыми. По-неволѣ приходится убѣждаться, что все существующее разумно, то-есть причинно.

Правила и кодексы нравственности, къ которымъ приравниваютъ иногда ученіе Христа, такъ отличны отъ него по своимъ цѣлямъ и тенденціямъ, что не знаешь, чему болѣе удивляться—близорукости ли взгляда, или желанію, во что бы то ни стало, унижить и профанировать высочайшіе изъ идеаловъ.

Всѣ нравственныя правила, древнія и новыя, основаны на одной внѣшней правдѣ; за отклоненіемъ отъ нихъ слѣдуетъ наказаніе или непосредственно, или когда проступокъ обнаружится для другихъ. Не воруй, — а украдешь, то штрафъ; не убей, — а убьешь, то самого повѣсятъ; главное правило—не дѣлай другому, чего не хочешь, чтобы сдѣлано было тебѣ самому. Если же отклоненіе твое отъ главнаго правила нрав-

ственности и не будетъ никѣмъ открыто, то и тайное оно повлечетъ наказаніе для тебя въ видѣ недовольства, угрызенія совѣсти. Если же,—прибавляетъ кодексъ,—причинивъ зло ближнему, ты обошелся безъ наказанія и безъ угрызенія совѣсти, то не забудь—есть Немезида и правосудіе на землѣ. Рано или поздно зло будетъ наказано, добро награждено. За Богомъ молитва, за царемъ служба не пропадаетъ.

Повидимому, и въ нравственныхъ кодексахъ дѣло идетъ не объ одной внѣшней правдѣ; говорится и о внутреннемъ недовольствѣ, о совѣсти, даже о божественномъ правосудіи. Въ сущности, идеаль нравственности остается внѣшнимъ, прикованнымъ къ землѣ, и потому всегда болѣе или менѣе достижимымъ. Спаситель и не отвергалъ его. Тому богатому юношѣ, который для своего спасенія спрашивалъ, чтѣ ему дѣлать, Христосъ прежде всего совѣтовалъ исполнить нравственный законъ Моисея, и только когда послѣдовалъ высокоумѣрный отвѣтъ: „я все это исполнилъ“, сказано было: „раздай все и ступай во слѣдъ Меня“. Это и значить: исполнивъ внѣшнія требованія нравственности и закона, ступай далѣе и возносишься выше, если можешь; а не можешь, то и тогда еще не теряй упованія. Отъ Бога все возможно, сказано ученикамъ, сомнѣвавшимся въ возможности спастись богатому челоуѣку.

И вотъ, выше законовъ нравственности, непостоянныхъ, нетвердыхъ, подлежащихъ толкованіямъ, обходамъ, уступкамъ и разнаго рода лазейкамъ, поставленъ былъ совершенно въ другой сферѣ идеаль неземной и вѣчный,—будущая жизнь и безсмертіе. Признаніе идеала вѣры вѣрующимъ должно быть полное и безусловное. А для врача, ищущаго вѣры, самое трудное—увѣровать въ безсмертіе и загробную жизнь. Это потому, во-первыхъ, что главный объектъ врачебной науки и всѣхъ занятій врача есть тѣло, такъ скоро переходящее въ разрушеніе; во-вторыхъ, врачъ ежедневно убѣждается наглядно, что всѣ психическія способности находятся не только въ связи съ тѣломъ, но и въ полной отъ него зависимости; въ-третьихъ,—принимая существованіе въ насъ безсмертнаго духа, мы должны принять и въ высшихъ классахъ животныхъ присутствіе подобнаго же элемента, такъ какъ присутствіе многихъ душевныхъ способностей у животныхъ неоспоримо, и это пред-

положеніе будетъ тѣмъ необходимѣе для насъ, чѣмъ болѣе мы будемъ убѣждаться въ происхожденіи нашемъ отъ животнаго. Вольтеръ грубо, но мѣтко выразилъ это, свойственное всѣмъ врачамъ, сомнѣніе: „находили ли вы когда-нибудь, докторъ, при вашихъ изслѣдованіяхъ, безсмертную душу между моче-вымъ пузыремъ и прямою кишкою?“ Вопросъ нелѣпъ и смѣшнъ; но онъ непремѣнно, въ томъ или другомъ видѣ, представляется анатомамъ, фізіологамъ и практикамъ.

Да, врачу,—да, пожалуй, и большинству культурнаго общества, привыкшимъ основываться на индукціи и наглядности, не легко повѣрить въ загробную жизнь, тѣмъ болѣе, что по изслѣдованіямъ нервной системы оказывается, что и жить-то тамъ некому; существованіе особеннаго духовнаго начала въ организмѣ есть только гипотеза, принимаемая еще наукою какъ *x*, покуда ничѣмъ не замѣненный.

Но, въ сущности, еще ни одно изъ этихъ сомнѣній не убѣдительно, пока мы не узнаемъ точно научнаго различія между жизнью и смертію, или не узнаемъ, чтѣ такое жизнь. Объ атомахъ вещества мы уже знаемъ, что они безсмертны, хотя и не знаемъ, чтѣ они такое. А когда передъ нашимъ все-разъѣдающимъ анализомъ вещественные атомы дѣлаются, наконецъ, отвлеченіемъ (абстрактомъ), то кто рѣшитъ: гдѣ границы между вещественнымъ и духовнымъ элементомъ?

Врачу,—я сужу, впрочемъ, по себѣ,—знающему по опыту, какъ легко остановить механизмъ животной машины на полномъ его ходу, всего скорѣе можетъ придти мысль о зависимости этого механизма отъ присутствія какого-то невѣдомаго, чего-то въ родѣ электрическаго тока или свѣтового эѳира, колебаніями атомовъ котораго поддерживалось и дѣйствіе всего механизма. У однѣхъ особей эти колебанія невѣсимаго элемента въ животномъ механизмѣ совершаются какъ будто скорѣе, у другихъ—медленнѣе; у однѣхъ колеблющіеся атомы невѣсимаго проникаютъ какъ будто всѣ ткани глубже и, соединяясь какъ будто тѣснѣе съ ними, дѣлаютъ всю машину прочнѣе и способнѣе противостоять разрушенію и смерти; у другихъ же особей связь невѣсимаго съ организмомъ до того слаба и, такъ сказать, поверхностна, что малѣйшее насиліе легко ее прерываетъ и губитъ жизнь. Эта гипотеза не можетъ ка-

заться странною уже и потому, что она соотвѣтствуетъ и понятію (по крайней мѣрѣ моему) о сущности самого вещества. Умственный анализъ, разлагая матерію до крайнихъ ея предѣловъ, превращаетъ ея атомы въ какія-то математическія точки или центры, до того отличные отъ подлежащаго нашимъ чувствамъ вещества, что различіе между нимъ и тѣмъ, что мы называемъ силою, духомъ, — исчезаетъ.

Я знаю, что такой взглядъ не соотвѣтствуетъ философскому и религіозному взглядамъ на духъ, подъ именемъ котораго разумѣютъ отвлеченное и совершенно противоположное матеріи начало. Косность, инерція, измѣняемость, дѣлимость и т. п. свойства вещества несообразны съ свободою, неизмѣнностью, безпредѣльностью и т. п. духа. И для меня невозможно сдѣлалось остановиться на анализѣ одной матеріи и отвергнуть необходимость существованія высшаго духовнаго начала, какъ источника разума, воли, чувства и жизни. Но объ этомъ, принимаемомъ по необходимости умомъ, абстрактѣ мы не можемъ уже имѣть никакого представленія. Принять же, что это требованіе нашего ума, это чисто отвлеченное начало, названное духомъ только по обманчивому и ложно воображаемому сходству съ чѣмъ-то летучимъ, похожимъ на воздухъ, газъ, дыханіе, паръ и т. п., приходитъ прямо и непосредственно въ тѣсную связь съ грубымъ веществомъ, — мнѣ кажется абсурдомъ.

Умъ моего склада гораздо легче допускаетъ, что связь, не подлежащая сомнѣнію, вещественнаго организма съ отвлеченнымъ началомъ, ускользящимъ отъ нашего представленія, происходитъ посредствомъ особаго, такъ-сказать, переходнаго начала, болѣе близкаго, по своимъ свойствамъ, къ веществу, и потому легче представляемому нами, но ускользящему отъ точнаго научнаго разслѣдованія.

Я иду еще далѣе и представляю себѣ не-невозможнымъ, что атомы невѣсимаго элемента (икса), оставляя органическую машину безъ дѣйствія, сами могутъ удержать на себѣ ея обликъ и нѣкоторыя ея психическія свойства, изображая собою какъ бы отпечатокъ того организма, который они оживляли своими колебаніями. Какъ ни фантастично это представленіе, но нельзя же не имѣть никакого представленія о предметѣ, такъ близко

и глубоко касающемся насъ. Правда, мое: „ни Богу свѣчка, ни чорту радость“, прежде всего, оно болѣе или менѣе напоминаетъ о мистицизмѣ. Чтѣ за дѣло, — словъ пугаться нечего. Чтѣ такое мистицизмъ? Такое же свойство человѣческой души, какъ и вѣра вообще. Вѣрить и можно только въ неразгаданное, какъ не разгадано и самое свойство вѣры. Мы знаемъ только навѣрное, фактически, что есть въ человѣкѣ современномъ (про будущаго человѣка мы еще ничего не знаемъ) потребность вѣрить, любить, надѣяться; а откуда она берется, ея источникъ, мы ищемъ по-неволѣ тамъ, гдѣ-то выше насъ, потому что въ насъ самихъ, въ нашихъ нервныхъ центрахъ или другихъ органахъ, служащихъ только къ проявленію этой потребности, мы источника ея не обрѣтемъ. Еще, къ нашему счастью, намъ дана способность привыкать къ часто повторяющимся впечатлѣніямъ и не заниматься ими, и поддаваться постояннымъ иллюзіямъ и миражамъ; не будь этого, мы всѣ бы сдѣлались такими же мистиками, какъ современные ультра-спириты или какъ Эккартсгаузенъ и мадамъ Крюднеръ.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ все окружающее насъ намъ дѣйствительно понятно и ясно? Мы только привыкли къ нему, и постоянная иллюзія, съ которою мы наслаждаемся жизнью, не думая о ея непроницаемой таинственности, предохраняетъ насъ отъ увлеченій вѣры въ чудесное, ведущихъ къ душевной тревогѣ и сумасшествію.

Да, слава Богу, что болѣшая часть того, чтѣ мы ощущаемъ и сознаемъ, кажется намъ простымъ, яснымъ и естественнымъ. А сверхъестественнаго, при такомъ убѣжденіи, и существовать не должно; такимъ было бы, по теперешнимъ нашимъ понятіямъ, не только то, чтѣ противорѣчитъ извѣстнымъ уже намъ законамъ естества, а и впредь имѣющимъ сдѣлаться извѣстными.

Но нѣтъ такой эпохи въ исторіи развитія культурнаго общества, въ которую не проявлялось бы періодически, въ видѣ душевной эпидеміи, влеченіе къ чудесному. Весьма характерно при этомъ то, что степень вѣрованія въ чудесное, въ эти періоды, вовсе не соотвѣтствуетъ степени пріобрѣтенныхъ уже наукою или передовыми ея людьми знаній. Кто могъ бы, на примѣръ, повѣрить, что въ концѣ XIX-го вѣка люди науки

вполнѣ вѣрять въ то, чему никто не повѣрилъ бы въ началѣ этого вѣка? Такъ знанія наши о предметахъ, сильно затрогивающихъ наше я, непрочны и поколебимы.

Отвергать одно, потому что мы убѣждены въ несомнѣнности противоположнаго ему другого,—дѣло опасное. Какъ бы то ни было и какъ бы недовѣрчиво мы ни относились къ спиритизму, съ одной стороны, и къ ученію церкви о загробной жизни—съ другой, я, не отвергая ни того, ни другого, считаю не-невозможнымъ признать нѣчто вещественное (въ моемъ смыслѣ) въ нашей загробной жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣрую—по крайней мѣрѣ стараюсь вѣрить и прошу Бога даровать мнѣ эту вѣру—въ духовную загробную жизнь, и какъ отвлеченіе для насъ непостижимую.

Такъ вѣрить я обязанъ какъ христіанинъ; она—внѣцъ ученія Христа; идеаль вѣры въ загробную жизнь поставленъ Имъ; не умирая, мы не достигаемъ конечной цѣли нашей жизни. Вотъ суть ученія. Мы не судьи нашихъ дѣйствій. Истину узнаемъ только за гробомъ; тамъ и узнаемъ, соотвѣтствовала ли наша жизнь ея истинной цѣли. Органическія страсти съ ихъ увлеченіями и чувственность вещественнаго бытія, переставъ существовать, дадутъ возможность намъ стать къ истинѣ лицомъ къ лицу; это не то, что стоять лицомъ къ лицу съ нашею совѣстью здѣсь, живя вещественно: тамъ придется имѣть дѣло съ самою истиною, которой мы такъ добиваемся здѣсь и вмѣстѣ съ тѣмъ стараемся ея избѣгнуть.

Ученіе Христа, въ примѣненіи его отвлеченнаго и загробнаго идеала къ нашей жизни, на каждомъ шагѣ встрѣчается съ громадными и непреодолимыми препятствіями для вѣрующаго. Это и не могло быть иначе; это зависѣло и отъ свойствъ идеала. Онъ долженъ остаться недостижимымъ и вѣчнымъ. Идти далѣе и выше его нельзя уже, нѣкуда. Понятна отъ этого чрезвычайная трудность примѣненія къ практической жизни. Блудный сынъ, блудница и разбойникъ на крестѣ показываютъ, однако-же, какъ самъ Учитель относился къ неисполнимости Его ученія на дѣлѣ.

Странно,—когда я сомнѣвался и не вѣрилъ, я болѣе дѣлалъ добра,—вѣрнѣе, дѣлалъ его безкорыстнѣе, безъ всякаго

мотива или только изъ любви къ наукѣ. Такъ, бесплатная практика была у меня въ то время дѣломъ научнаго интереса. Самопожертвованія для общей пользы я рѣшался дѣлать также безкорыстно. Но любви къ людямъ и жалости или милосердія въ сердцѣ тогда у меня не было. Все это пришло, какъ опишу въ моей біографіи (въ 1830—1850 годахъ), постепенно, вмѣстѣ съ развитіемъ потребности вѣровать; но именно съ того же времени опытъ жизни развилъ во мнѣ, при всемъ желаніи дѣлать добро, какой-то страхъ быть обманутымъ.

Въ этомъ страхѣ и недовѣріи, невольно проникающихъ въ душу, я вижу слабую сторону примѣненія ученія Христа къ практической жизни. Стремясь всѣми силами души творить добро ненавидящимъ насъ, жертвовать собою изъ любви къ другимъ, немногіе не сознаютъ внутренне опасности принести себя въ жертву не добру, а злу. Только искренніе аскеты, равнодушно смотрящіе на практическую жизнь съ ея добрыми и злыми влеченіями, могутъ безъ всякой задней мысли, безъ страха и опасности, изъ чистой, отвлеченной любви, творить добро и жертвовать для другихъ собою. Между тѣмъ при міровоззрѣніи не-христіанскомъ самопожертвованіе и другіе подвиги добродѣтели совершаются съ мѣньшимъ насиліемъ надъ собою; напримѣръ, отмстить за другого или за цѣлое общество, возстановить права народа, принеся себя въ жертву, фанатику не-христіанину будетъ стоять мѣньшаго труда и насилія надъ собою, чѣмъ христіанину.

Слова Спасителя: „вы злы“ — живымъ упрекомъ ложатся на моей совѣсти, когда страхъ быть обманутымъ удерживаетъ меня сдѣлать добро. И этотъ заслуженный упрекъ, вмѣстѣ съ недовѣріемъ къ дѣлаемому добру, раздираютъ душу, такъ что практическому христіанину едва-ли можно быть недвоядушнымъ, — конечно, не въ крайне худомъ значеніи этого слова.

Между тѣмъ ученіе Христа, помимо его недостижимаго идеала, имѣетъ, очевидно, и практическое назначеніе. И вотъ тутъ-то, на жизненномъ его поприщѣ, мы встрѣчаемся съ самыми разнорѣчивыми, доходящими до нелѣпости, воззрѣніями и примѣненіями на практикѣ всѣхъ этихъ воззрѣній. Каждое изъ нихъ ищетъ и находитъ себѣ основаніе въ текстѣ самого Евангелія. Самыя туманныя и угрожающія полнымъ разруше-

ніемъ существовавшихъ испоконъ вѣка основъ общества доктрины созидались на ученіи Христа. Если не ошибаюсь, въ первыхъ вѣкахъ христіанства была распространена знаменитая доктрина: „все мое — твое“; нѣчто подобное, но на болѣе научномъ фундаментѣ, созидается и въ наше время; причемъ, смотря по надобности, зодчіе новаго соціального зданія могутъ также указать, подобно ихъ предшественникамъ, на ученіе Христа.

Какъ на контрастъ этой соціальной нивелировки всѣхъ благъ земныхъ, можно указать на разъясненіе—словами Спасителя: „отдайте кесарю кесарево и божіе Богу“—отношеній церкви къ государству и подданныхъ къ разновѣрнымъ властямъ.

Богачи, разживающіеся на счетъ бѣдняковъ, могутъ утѣшиться изреченіемъ: „имущему дастся, отъ неимущаго отнимется“. Даже враги и ненавистники могутъ сослаться на пророческія слова изъ Евангелія: „вношу не миръ, а вражду брата противъ брата, сына противъ отца“.

Мало этого: грубѣйшія уродованія здраваго смысла и тѣла, какъ самооскопленіе, и тѣ ищутъ себѣ оправданія въ словахъ Евангелія. Не даромъ же папство. такъ неохотно допускало распространеніе Евангелія и Библии на народномъ языкѣ; хотя замѣна религіознаго фанатизма идіотизмомъ повела еще къ большему оглущенію народной фантазіи.

Всѣ эти нелѣпыя стремленія къ поискамъ въ ученіи Христа основъ для нелѣпыхъ и безобразныхъ произведеній фантазіи теряютъ свой *raison d'être* для того христіанина, который, увѣровавъ въ божественную натуру Учителя, тѣмъ самымъ признаетъ за Нимъ и высшій (верховный) разумъ. Хотя нѣкоторые и толкуютъ слова Спасителя о нищихъ духомъ такъ, какъ будто бы они (т.-е. слова) относились исключительно къ французскому *esprit*. Но, по нашему, нищій духомъ есть не нищъ умомъ. И умный можетъ быть смиренъ, кротокъ и простодушенъ. Поэтому я и никогда не соглашусь, изъ богопочитанія, думать, что Верховный Разумъ обѣщалъ блаженство только дуракамъ.

Почитая источникомъ нашего ума міровой, вселенскій и Верховный Разумъ, вѣруя, что онъ же самый, въ видѣ Бого-

человѣка, просвѣтилъ и насъ, христіанъ, своимъ ученіемъ, я не могу признать основаннымъ на этомъ ученіи ничего такого, что простой, но здравый нашъ умъ находить глупымъ, пошлымъ, нелѣпымъ, уродливымъ, отвратительнымъ и безобразнымъ. Правда, можно вѣрить и въ абсурдъ. Но абсурдъ, въ смыслѣ Тертуліана, не есть еще пошлая нелѣпость и уродливая безобразность невѣжественной фантазіи. Абсурдомъ можетъ быть и самое высокое, если оно противорѣчитъ нашимъ современнымъ и, какъ исторія убѣждаетъ, измѣнчивымъ міровоззрѣніямъ. Абсурдъ, напимѣръ, дьяволъ, какъ противникъ и антагонистъ верховнаго разума, добра и верховной воли Творца; но вѣрить въ этотъ абсурдъ, и не признавая его умомъ, можно. Самъ Христосъ, какъ равви евреевъ, не могъ не вѣрить въ дьявола и, сообразуясь съ понятіями современнаго и соплеменнаго ему народа, долженъ былъ и изгонять бѣсовъ изъ бѣспующихся (а по нашимъ понятіямъ — душевно-больныхъ). Слѣдуетъ ли изъ этого, что и современный намъ христіанинъ долженъ также вѣрить въ бѣснованіе, заклинаніямъ бѣсовъ и т. п.?

Но уже не абсурдомъ, а нелѣпостью было бы полагать, что Спаситель, обѣщавшій вѣрнымъ послѣдователямъ Его ученія Свое Царство „не отъ міра сего“, вмѣстѣ съ тѣмъ предлагалъ и коренной социальный переворотъ, заставивъ богатыхъ раздать свое имущество нищимъ и сдѣлаться всѣмъ нищими. Это предлагалось, очевидно, однимъ избраннымъ для Царства не отъ міра сего, сверхъ исполненія закона стремящимся всею силою души достигнуть неземнаго идеала ученія. Еще бессмысленнѣе было бы полагать, что Верховный Разумъ, сотворившій природу, одобрялъ бы грубое нарушеніе законовъ природы.

Мнѣ кажется большою ошибкою, что наши христіанскіе учителя оставляютъ какъ-то въ сторонѣ, по моему мнѣнію, главное,—это различіе между божественно-идеальными основами ученія Богочеловѣка, вѣчными, непоколебимыми и недостижимыми въ этой земной жизни Христа, какъ человѣка и еврея. Не надо забывать, что жизнеописанія Его, составленные также евреями, большею частію, по преданіямъ и разсказамъ, не могли дойти до насъ въ ихъ первобытномъ видѣ.

Несмотря на это, божественный идеалъ ученія ясно продолжаетъ свѣтить черезъ тьму вѣковъ. Эта-то самая свѣтлая и неприкосновенная сторона божественнаго ученія и должна служить свѣточемъ вѣрующаго.

Блаженъ кто вѣруетъ, — тепло ему на свѣтѣ. Эти, хотя не совсѣмъ кстати и въ насмѣшливомъ тонѣ сказанныя, слова потрафили въ самую суть. Да, именно, тепло вѣрующему на свѣтѣ.

Ему нѣтъ надобности въ искусственномъ топливѣ для согрѣванія души. Кто хотя разъ почувствовалъ эту благодатную теплоту, тотъ не перестанетъ вѣровать, хотя бы пришлось ему выдерживать, ежедневно и по нѣскольку разъ въ день, напоръ сомнѣній и мучительную качку между небомъ и землею. Сомнѣнія и качка эти сопровождаютъ и дѣла, и мотивы, являются и днемъ, и ночью. Испытавъ ихъ, можно себѣ составить нѣкоторое понятіе о происхожденіи дьявола.

Я думаю, всякій испыталъ на себѣ, какъ внезапно и безотчетно, подобно сновидѣніямъ, злыя, поскудныя и подлѣйшія мысли выплываютъ изъ какого-то омута въ тотъ самый моментъ, когда думаешь о чемъ-нибудь другомъ, нисколько не подходящемъ къ категоріи этихъ фантомовъ мышленія. Иногда онѣ исчезаютъ такъ же быстро, какъ появились; но иногда остаются на поверхности настолько долго, что невольно обращаютъ на себя наше вниманіе. — Неужели же — спрашиваешь тогда себя — я такой подлецъ и злодѣй, что во мнѣ могутъ скрываться такіа позорныя мысли? Начинаешь раздумывать на эту тему; — очевидно, ложь, клевета на себя; оказывается, что не подавалъ никогда ни малѣйшаго повода себѣ такъ думать о себѣ; чтѣ то постороннее, какъ будто извнѣ пришлое, явилось, чортъ знаетъ зачѣмъ, пошевелилось минуточку и исчезло.

Не то ли же самое намъ сообщается съ раннихъ лѣтъ объ искушеніяхъ дьявола? При простомъ умѣ и фантазіи, низшей степени образованія и другихъ условіяхъ, кажущаяся виѣшность и посторонность такихъ внезапныхъ, ничѣмъ не объясняемыхъ, мыслей можетъ достигнуть того, что олицетвореніе (то есть полное отчужденіе отъ себя) дѣлается неизбѣжнымъ.

Что касается до меня лично, то — появляются ли эти призрачныя мысли во время занятій или во время молитвъ — я, первымъ дѣломъ, стараюсь не обращать на нихъ ни малѣй-

шаго вниманія, — тогда онѣ исчезаютъ недосказанными на полу-словѣ; тутъ много значить также знакомство съ собою; зная себя, можно своевременно не дать вниманію поймать себя въ подставленную воображеніемъ ловушку. Богомольцы и дьячки поступаютъ вовсе не такъ глупо, какъ это кажется, повторяя по сорока разъ: „Господи помилуй“; они механическимъ способомъ не даютъ своему вниманію сосредоточиться на какой-либо мысли, и для нихъ одни слова оказываются спасительныѣ мысли.

Человѣкъ, разсматривающій себя какъ двурукое животное, можетъ легко успокоиться насчетъ злыхъ мыслей, невольно и неизвѣстно откуда къ нему приходящихъ. Для животнаго, какъ и для Верховнаго, Вселенскаго Разума, *les extrémités se touchent*, — нѣтъ добра и зла; различіе добра отъ зла исчезаетъ даже и для менѣ разумныхъ властителей, государственныхъ людей и завоевателей. Откуда же взялась такая надобность различать доброе отъ злого для людей средней руки? Не видятъ ли несчастные мученики своихъ идей, что слѣдствія того, что имъ кажется зломъ, совершенно различны, и что послѣ громаднаго зла они могутъ быть и очень благія.

Разсматривая такъ это кажущееся зло съ разныхъ сторонъ, можно, пожалуй, придти и къ философіи доктора Панглосса. Но можно и, наоборотъ, такимъ же способомъ сдѣлаться и отъявленнымъ пессимистомъ. Значить, произволь, какъ хочешь, — можно и такъ, и этакъ. Не лучше ли бросить всѣ эти ни къ чему не ведущія попытки, сдѣлаться позитивистомъ и философствовать только о томъ, что подлежитъ точному разслѣдованію и знанію, то-есть всю жизнь основать на положительномъ знаніи и оставить неразрѣшимое въ покоѣ, какъ ему и быть надлежитъ, — неразрѣшеннымъ?

Прекрасно, но что же дѣлать тому, чей складъ ума не укладывается въ эту рамку? Господа, господа реформаторы и властители нашихъ думъ! позаботьтесь сначала, для культуры вашихъ ученій, уничтожить эту прискорбную индивидуальность, столь препятствующую обожаемому и ожидаемому вами прогрессу! А пока вы еще не придумали способа производить на свѣтъ людей одинакими, до тѣхъ поръ не удастся ихъ и стричь подъ одинъ гребень. Пока стадныя свойства и стихійныя силы, не знающія никакой индивидуальности и стригущія все

подъ одинъ гребень, не осилили еще человѣческой личности, до тѣхъ поръ всѣ индивидуальныя свойства будутъ искать себѣ простора и права на жизнь. Такъ и съ желаніемъ узнать, что добро, что зло, знакомомъ, какъ полагаютъ евреи, еще прародительницѣ Евѣ. Народы поняли необходимость этого неугомоннаго желанія прежде мудрецовъ.

Въ этомъ отношеніи весь міръ распадается на два противоположныхъ лагеря; одинъ, все нивелирующий, не дѣлаетъ и не знаетъ никакого различія; другой по-неволѣ стремится различить добро отъ зла, не зная и чувствуя, что никогда не узнаетъ искомага. И вотъ борьба. Съ одной стороны, стихійныя силы, стадныя и животныя инстинкты, съ другой—разумное человѣческое понятіе, стремящееся проникнуть въ сущность каждаго явленія, найти его законы и *raison d'être*.

Я сказалъ, что для животнаго нѣтъ добра и зла,—разумнаго понятія о добрѣ и злѣ,—служащаго основою нашей нравственности. Но это самое понятіе, названное въ книгѣ Бытія познаніемъ, основано на чувствѣ, свойственномъ и животному; я думаю,—не обинуясь, можно сказать, какъ только органическое вещество получаетъ способность ощущать, оно съ тѣмъ вмѣстѣ уже содержитъ въ себѣ *in statu nascente* чувства добра и зла.

Понятію, конечно, должно предшествовать чувство, и снабженное чувствомъ вещество (органическое) дѣлается для самого же себя пробнымъ камнемъ, на которомъ оно испытываетъ содержаніе добра и зла въ стихійныхъ началахъ. Первые слѣды чувства добра и зла являются подъ видомъ пріятныхъ и непріятныхъ ощущений, свойственныхъ, какъ видно, самымъ низшимъ организмамъ. Безсознательно и невольно стремится, слѣдуя пріятному или непріятному ощущенію, организмъ животнаго, и эти инстинктивныя его стремленія принимаютъ чисто стихійный характеръ, подъ видомъ стадныхъ свойствъ и борьбы за существованіе. Стремясь къ ощущенію пріятнаго, сопровождающему удовлетвореніе органическихъ потребностей стада, и стада животныхъ идутъ, плывутъ, бѣгутъ, летятъ напроломъ, не разбирая уже и не отличая, стихійно. Поэтому стадно-инстинктивныя свойства животнаго организма, хотя основанныя на томъ же началѣ, какъ и наше понятіе о добрѣ и злѣ, я отношу къ одному лагерю съ стихійными.

Существованіе зла уже ясно ощущается организмомъ, получившимъ печальную способность страдать. Наконецъ, ощущеніе это усваивается нами уже какъ понятіе, когда мы научаемся страдать душевно. И сколько я ни думалъ бы, мнѣ кажется, не придумаю лучшаго опредѣленія злу съ нравственной точки зрѣнія, какъ назвавъ его душевнымъ горемъ, душевнымъ страданіемъ и душевною мукою (смотря по степени). Все то, значитъ, внѣ и въ насъ зло, что причиняетъ намъ страданіе, и, судя по себѣ, мы должны признать то же самое и для другихъ, намъ подобныхъ; мы, какъ внѣшніе для нихъ, можемъ сдѣлаться сами для нихъ носителями зла.

Въ концѣ концовъ зло есть прежде всего органическое, а потому и душевное свойство. Но, признавая необходимость существованія духа, какъ начала, не имѣющаго ничего общаго съ свойствами вещества, мы должны тѣмъ самымъ признать, что для духа нѣтъ зла, и разумъ, отличающій его отъ добра, дѣлаетъ это потому только, что онъ нашъ, и не можетъ судить, не ощущая и не завися отъ вещества. Что же, послѣ этого заключенія, могу я думать о томъ значеніи, которое придаетъ ученіе Христа различію добра отъ зла; не служить ли оно основнымъ камнемъ ученія въ примѣненіи его къ жизни?

И самая загробная жизнь, по ученію Христа, не будетъ ли продолженіемъ того же понятія о добрѣ и злѣ, которое составлено нами въ здѣшней жизни? Но какъ же въ то невещественное наше существованіе послѣдуетъ за нами понятіе, пріобрѣтенное вещественно, чрезъ ощущеніе? Да мало ли вопросовъ возбуждаетъ „скепсисъ“ умственнаго анализа въ дѣлѣ вѣры!

Но вѣра съ ея высшимъ идеаломъ такъ сильна, что идетъ своимъ путемъ, не обращаясь къ развѣдающему анализу. Спасителю никто не могъ предложить скептическихъ вопросовъ; Онъ училъ не въ средѣ греческихъ софистовъ и въ Своемъ откровеніи сообразовался съ понятіями народа, которому благовѣствовалъ; на вопросы же книжниковъ отвѣчалъ или уклончиво, или, по восточному обычаю, притчами, иносказаніями и сентенціями; невѣрующихъ же поражалъ Своими дѣлами. Спаситель не вдавался въ догматическія толкованія, предоставлялъ свободу мысли послѣдователямъ Своего ученія, требуя только

чистосердечія, искренней и горячей любви, сочувствія и ревности къ распространенію душеспасительнаго ученія.

Разсужденія и толки о душѣ, предполагавшейся у животныхъ, и о душѣ и духѣ, предполагавшихся въ человѣкѣ (апостоль Павелъ) предопредѣленіемъ, присоединены къ ученію Христа въ послѣдствіи апостолами и отцами церкви. Поэтому я въ правѣ утверждать, что и вѣрящіе въ предопредѣленіе, и основывающіе всѣ наши дѣйствія, а слѣдовательно и свое спасеніе, на свободной волѣ человѣка—одинаково могутъ опираться на ученіе Христа, не нарушая основъ вѣры.

Свобода! Свобода! Прекрасное волшебное слово, волнующее народы, что ты такое?

Опять то же—ощущеніе, и очень пріятное сначала, какъ и всѣ ощущенія на свѣтѣ, органическое, потомъ духовное. Пока оно остается первымъ (т.-е. органическимъ), еще не трудно найти и его отношенія къ вещественной подкладкѣ; но какъ скоро оно теряетъ эту прочную почву и начинаетъ превращаться въ духовную свободу, анализъ дѣлается шаткимъ, хотя ощущеніе этой свободы и остается сходнымъ съ тѣмъ, которое возбуждаетъ въ насъ органическая свобода.

Но если свобода есть одно ощущеніе, то воля есть и ощущеніе, и дѣйствіе. Мы—когда чего хотимъ, то чувствуемъ свободными не только наше желаніе, но и слѣдующія за нимъ дѣйствія. Тутъ, однако-же, при анализѣ является цѣлая масса недоразумѣній.

Свободна ли воля?

Вопросъ собственно неразрѣшимый; чтобы рѣшить его, надо сдѣлать себя въ одно и то же время и субъектомъ, и объектомъ; надо самому обстоятельно распотрошить себя, не говоря уже о необходимости и другихъ вспомогательныхъ вивисекцій, источникахъ изслѣдованій нервно-центральныхъ элементовъ и т. п.

Воля, какъ ощущеніе, бываетъ и сознательная, и бессознательная. Какъ мыслить, такъ и хотѣть, мы можемъ бессознательно. Это понятно,—но на дѣлѣ выходитъ такъ или какъ будто такъ; мы во многихъ случаяхъ и мыслимъ (правильно), и хотимъ, и въ слѣдствіе этого дѣйствуемъ, не сознавая, то-есть, не чувствуя, не ощущая, что сознаемъ. Вотъ тутъ-то и оказы-

вается, что у насъ есть не только сознание, но и ощущение сознания (самосознание) или, пожалуй, сознание сознания, отличающее насъ отъ животныхъ, о чемъ я уже говорилъ выше.

Я различаю, можетъ быть, и неосновательно, но для меня внятно: хотѣть, желать. Хотѣть можно и сознательно, и безсознательно, но всегда съ дѣйствіемъ; желать же можно только сознательно и строго анализируя, всегда безъ дѣйствія. Недаромъ въ царствованіе Николая Павловича я никогда и ни отъ одного солдата въ госпиталѣ не слыхалъ слова: „я хочу“. „Хочешь ѣсть?“ —спросишь, бывало; „не желаю, ваше превосходительство“, —слышишь отвѣтъ.

Не можетъ же быть, чтобы это было случайно. Да, желать можно только сознательно и, собственно, безъ дѣйствія; но переходъ отъ „я желаю“ къ „я хочу“ такъ можетъ быть быстръ, что его не всегда можно уловить, и потому иногда и желаніе (какъ хотѣнье) можетъ быть дѣйствующихъ. Я замѣчаю мелькомъ яблоко на деревѣ, и мнѣ приходитъ желаніе его сорвать; тотчасъ, вслѣдствіе этого желанія, начинаютъ дѣйствовать у меня глаза и руки; это значитъ—желаніе мое передалось тѣмъ частямъ мозга, въ которыхъ локализируется способность приводить въ движеніе мышцы моихъ глазъ и рукъ и направлять ихъ на желаемый предметъ.

Въ чемъ же состоитъ локализациа, если она такъ несомнѣнна, какъ это можно полагать, судя по современнымъ изслѣдованіямъ?

По моему, локализируется въ мозгѣ не только механизмъ (въ родѣ гальваническаго прибора), возбуждающій къ дѣйствію ту или другую группу мышцъ, но локализована еще и самая воля надъ дѣйствіемъ этого механизма. Если такъ, то желаніе, какъ функція сознания, передается локализированной волѣ, а она, то сознательно, то безсознательно для насъ, закрываетъ или открываетъ гальваническія цѣпи приборовъ и приводитъ въ движеніе мышцы глазъ и рукъ. Движеніями же моихъ глазъ, управляемыхъ безсознательно волею и мыслию, я соразмѣряю пространство и положеніе яблока, а сознательными уже движеніями рукъ направляю ихъ къ яблоку, чтобы его сорвать.

Но и сознающееся нами дѣйствіе, также какъ и безсознательное, можетъ быть слѣдствіемъ несвободной воли. Я хочу

поднять руку, ногу; могу и не хотѣть; или могу сейчасъ же захотѣть и тотчасъ же расхотѣть.

Значить, я свободенъ хотѣть.

Да такъ ли? Вотъ вопросъ. Могу ли я не хотѣть именно того, чего хочу? Не обязанъ ли неминуемо, не долженъ ли я, прикованный цѣпью всего предшествовавшаго, хотѣть именно такъ, какъ хочу? Во-вторыхъ, допустивъ возможность не-желать, „имѣть желаніе“ остается весьма сомнительнымъ: можно ли, желая чего-нибудь, хотѣть или не хотѣть этого желанія? то-есть, можетъ ли сформированное ясно желаніе быть и не быть перенесеннымъ на локализованный въ мозгу приборъ воли?

Вѣдь самое главное—могу ли я не сознать себя произвольно по собственной волѣ? Конечно, нѣтъ. Сознаніе для меня обязательно въ нормальномъ состояніи, значить—обязательно и все то, что подлежитъ сознанію, что находится въ его вѣдомствѣ. Поэтому я и не могу не хотѣть, насколько воля моя сознательна. Воля моя, сверхъ этой зависимости отъ моего сознанія и отъ вѣшнихъ условій, вліяющихъ на сознаніе, а потому и на волю, зависитъ еще, равно какъ и мысль, отъ неуловимаго, но несомнѣнно существующаго вліянія различныхъ органовъ на центры локализованной въ разныхъ частяхъ мозга воли.

Духъ свободенъ, и не можетъ не быть такимъ, но его органъ играетъ только такъ, какъ допускаетъ его устройство и все предшествовавшее этому устройству. Но намъ нельзя бы было ни жить, ни дѣйствовать по нашему, безъ благотѣльной иллюзіи, заставляющей насъ твердо вѣрить, что мы свободны желать, мыслить и даже поступать произвольно, вѣрнѣе—волесвободно; произвольно, это *arbitraire*, а *spontané*, *freiwillig*,—это волесвободно. А свобода эта—невидимая и неоощаемая нами цѣпь.

Какъ, въ самомъ дѣлѣ, могло бы быть свободнымъ существо, по устройству своего организма осужденное ощущать и сознать себя непроизвольно?

Правда, оно можетъ прекратить такое подневольное существованіе, но свободы ему здѣсь на землѣ все-таки это не дать.

Итакъ, все обязательно предопредѣлено, механизмъ машины

заведенъ; слѣдуетъ повиноваться и жить въ мирномъ самообольщеніи.

Что же тогда вѣра, упованіе, благодать и молитва?

Отвѣтъ: такое же обязательное предопредѣленіе. Вѣруй въ любовь и уповай въ благодать Высшаго Предопредѣленія; молись всеобъемлющему Духу любви и благодати о благодатномъ настроеніи твоего духа. Блаженство, счастье, миръ души, — все въ этомъ настроеніи. Ни для тебя, ни для кого другого, ничто не переменится въ свѣтѣ, — не стихнутъ бури, не усмирятся бушующіе элементы; но ты, по настроенію твоего духа можешь быть измѣнено полетомъ души, окрыленной вѣрою въ благодать Святого Духа.

Дѣйствіе молитвы на меня, я полагаю, въ центробѣжныхъ и центростремительныхъ колебаніяхъ души, то увлекающейся куда-то въ высь, то новою силою возвращающейся въ себя. И изъ всѣхъ молитвъ самая благодатная завѣщана намъ Спасителемъ; произнося ее, я призываю имя и царство божіе къ себѣ и молю сообщить мнѣ то настроеніе души, которое охранило бы меня отъ искушенія и зла.

Но если все предопредѣлено и неизмѣнно, то задняя мысль о несостоятельности молитвы развѣ не нарушитъ мира и спокойствія души въ то самое время, когда молишься? Нѣтъ, и еще разъ нѣтъ, если проникнешься вѣрою въ благодать и ея благодѣтельное дѣйствіе на настроеніе души.

И вотъ, когда ни одно предопредѣленное горе, ни одна предопредѣленная бѣда не могутъ быть устранены отъ тебя, ты все-таки можешь остаться спокойнымъ, если благодать молитвы сдѣлаетъ тебя менѣе впечатлительнымъ и болѣе твердымъ къ перенесенію горестей и бѣдъ.

Не безумно ли, не безчеловѣчно ли отнимать у себя и у другихъ вѣдомо-цѣлебное средство, потому только, что оно не укладывается въ рамки доктрины, еще далеко не раскрывшей правды? Да какъ бы ни было точно и неоспоримо ученіе, основанное на чувственномъ представленіи (опытѣ) и на анализѣ ума, мы не можемъ и не должны, посвящая себя этому ученію, оставлять нетронутыми и неразвитыми другія потребности духа; онѣ, поправныя и пренебреженныя, рано или поздно громко заявятъ о восстановленіи своихъ правъ. Это я испыталъ

на себѣ и откровенно сознаюсь себѣ; но знаю много примѣровъ, изъ которыхъ заключаю, что и несознающіеся не менѣе моего потерпѣли фіаско, стараясь оставаться послѣдовательными принятому однажды ученію.

Если я спрошу себя теперь: какого я исповѣданія? то отвѣчу на это положительно: православнаго, — того, въ которомъ родился и которое исповѣдывала вся моя семья.

Но, утверждая это, я не могу не различить два для меня не совсѣмъ тождественныя понятія. Я полагаю, что каждый гражданинъ государства, имѣющаго свою государственную (господствующую) церковь, если онъ родился въ лонѣ этой церкви, обязанъ остаться ей вѣрнымъ на цѣлую жизнь, — какъ гражданинъ; его внутреннія убѣжденія, его сомнѣнія, его міровоззрѣніе, не соотвѣтствующее догматамъ исповѣданія, даннаго ему при рожденіи, тутъ ни-при-чемъ.

Если вся исторія и жизнь государства требовали отъ него признанія господствующей церкви, то-есть требовали не допускать полнѣйшей свободы совѣсти и вѣротерпимости, то, по моему, не только противозаконенъ, но и внутренне несправедливъ будетъ измѣняющій свое исповѣданіе.

Неполная свобода совѣсти въ государствѣ какого бы то ни было христіанскаго исповѣданія есть только дѣло времени; она не можетъ не быть, и если не существуетъ, то только по однимъ политическимъ (и обыкновенно невѣрнымъ) соображеніямъ, противорѣчащимъ слишкомъ явно духу ученія Христа, и потому временнымъ и преходящимъ.

Грѣхъ ли же это передъ Богомъ, если я отличаю, какъ гражданинъ и какъ человѣкъ, догматическое исповѣданіе ученія Христа, принявшее государственную, такъ сказать, оболочку, отъ духа, идеала и сути самаго ученія? Вѣдь и церковь, и исповѣданіе, къ которымъ я отъ роду моего принадлежу, не будутъ отвергать идеалъ и духъ ученія Христа, — это всеобъемлющая любовь къ Богу и ближнему, вѣра въ благодать Духа Святого, въ божественную натуру Спасителя, безсмертіе души и загробную жизнь.

Неужели же господствующая церковь, въ такомъ случаѣ, не будетъ руководствоваться правиломъ того же ученія: „кто

не противъ насъ, тотъ за насъ“ (т.-е. нашъ)? Не слѣдовать этому правилу—значило бы признать за собою полную невѣро-терпимость и принужденіе совѣсти, ни въ чемъ тутъ не повинной.

Какъ я самъ,—несмотря на мое міровоззрѣніе, отличное отъ церковнаго,—признаю себя все-таки сыномъ господствующей церкви, по рожденію и подданству, считая несправедливымъ и противозаконнымъ покидать ея лоно, такъ и самая церковь, вѣрно, не захотѣла бы насиловать мою совѣсть, требуя отъ меня отреченія отъ моихъ убѣжденій и вѣрованій, которыхъ я достигъ послѣ долговременной и лютой борьбы съ самимъ собою.

Пора убѣдиться и іерархамъ, что непогрѣшимости нѣтъ на землѣ.

Былъ Одинъ—нравственно непогрѣшимый и безгрѣшный, но Его мучительно убили іерархи же прежнихъ временъ, и тѣмъ доказали, что непогрѣшимость—не для земли. Оставшійся послѣ того и переданный намъ Новый Завѣтъ, „не отъ міра сего“, основанный Непогрѣшимымъ, не требуетъ ни отъ кого непогрѣшимости, допуская къ себѣ все искреннее и чистосердечное, хотя бы оно шло отъ блудныхъ дѣтей и преступныхъ.

Мнѣ останется всегда памятнымъ мнѣніе преосвященнаго Іеринарха (архіепископа бессарабскаго), во время моего попечительства въ Одессѣ). „Притчу о блудномъ сынѣ,—сказалъ мнѣ преосвященный,—я считаю самою главною и наиболѣе поясняющею духъ ученія Христова“. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ, когда и какимъ моралистомъ и догматикомъ предпочитался блудный, глубоко падшій, сынъ благонравному брату? Только горячо любящее сердце отца могло поступить такъ; только всеобъемлющая любовь могла оправдать блудницу и распятаго разбойника; а что, взаимны этой цѣлебной любви, могутъ дать непогрѣшимость догматическихъ церквей, папы, синоды и іерархи?

Каждому гражданину, отъ рожденія уже причисленному къ одному изъ христіанскихъ исповѣданій, предстоитъ едва-ли разрѣшимый когда-нибудь вопросъ: какъ соединить въ себѣ самую полную, самую искреннюю свободу совѣсти, требуемую

отъ него по духу ученія Христа, съ чистосердечною вѣрою въ непогрѣшимый авторитетъ догматической церкви?

Правда, при полной вѣротерпимости протестантства, каждому гражданину не запрещенъ переходъ въ другое исповѣданіе, но, къ какой бы церкви онъ ни причислил себя, авторитетъ ея, а слѣдовательно и исповѣдуемыхъ ею догмъ, должно будетъ признать надъ собою въ цѣлости. Но найдется ли хотя одно изъ существенныхъ исповѣданій, догмы, обряды и правила котораго каждый членъ церкви могъ бы признать чистосердечно непогрѣшимыми, вполне соответствующими духу ученія Христа?

Индивидуальный складъ души такъ безконечно различенъ, что и самые близкіе къ Спасителю ученики понимали ученіе Его не всѣ одинаково. Мы видимъ и теперь, какой сумбуръ вѣрованій и убѣжденій существуетъ между протестантскими духовными; многіе изъ нихъ, усвоивъ себѣ точку зрѣнія Штрауса и Ренана или подобную ей, все-таки причисляютъ себя (конечно, изъ политическихъ и матеріальныхъ цѣлей) къ христіанскимъ законоучителямъ и служителямъ алтаря; какъ ни слабы ихъ мотивы и какъ ни скаредны ихъ цѣли, но они правы; прежде всего — чистосердечіе и искренность, безъ которыхъ нѣтъ настоящей вѣры въ Христа и Его ученіе; истина Его не можетъ быть для искренно-вѣрующаго только внѣшнею: она должна быть внутреннею истинною правдою, которой не даетъ ни одно догматическое исповѣданіе.

Рѣзкія противорѣчія нѣкоторыхъ догматовъ, странность обрядовъ, одностороннія обращенія то къ одному уму, то къ одному чувству, отличающія разныя христіанскія исповѣданія одно отъ другого, очевидно, не безразличны для разнаго склада души; но еслибы взрослому и культурно-развитому гражданину пришлось свободно выбирать одно изъ существующихъ христіанскихъ исповѣданій, то онъ поставленъ бы былъ въ весьма затруднительное положеніе.

Выборъ, конечно, зависѣлъ бы отъ индивидуальности; но будь избиратель челоуѣкъ не черствый, нормально развитой и не односторонній, онъ, вѣрно, колебался бы между двумя мощными авторитетами: совѣсти и ума. Авторитету ума другого легче покориться. Мы покоряемся ему, довѣряя его знаніямъ,

силѣ мысли, опытности, оставляя, впрочемъ, и для своего ума лазейку—пересѣдлатъ и перейти въ другой лагерь, какъ скоро явится новый, болѣе убѣдительный для насъ, авторитетъ.

Другое дѣло—авторитетъ совѣсти. Чужая совѣсть—нашей собственной не указъ. Къ чужой можно прибѣгнуть только въ случаѣ, за неимѣніемъ ничего лучшаго;—это дѣлается на судѣ присяжныхъ. Опытъ убѣдилъ, что совѣсть хотя бы и чужая, въ дѣлахъ совѣсти, т.-е. внутренней правды,—вѣрнѣе внѣшняго ученаго суда. Но когда человѣку надо бываетъ судиться съ самимъ собою,—и только съ собою,—тутъ иное дѣло. Тутъ судья—всевидающее Око,—другого нема.

Исповѣданіе и государственная церковь хотя и ставятъ себя на мѣсто этого судьи, но внушить свободному избирателю вѣру въ свою непогрѣшимость исповѣданіе и церковь могутъ не иначе, какъ путемъ ума, ученія, науки. И вотъ, сильнѣйшій авторитетъ, совѣсть въ дѣлѣ совѣсти, подчиняется слабѣйшему.

Правда, церковь не государственная, а „единая святая соборная и апостольская“ имѣетъ за собою еще и благодать Святого Духа; но, чтобы удостоиться наитія благодати, нужно быть избраннымъ (предопредѣленнымъ) свыше или уже вѣрующимъ и принятымъ въ лоно церкви; а тутъ свобода совѣсти ни-при-чемъ, и вольный избиратель исповѣданія и церкви остается въ прежней нерѣшимости, что избрать; умъ серьезный, разсудочный, холодный, конечно, остановится, прежде всего, на протестантствѣ. Онъ скоро убѣдится, что это исповѣданіе легче всѣхъ другихъ уживается съ свободою совѣсти, научнаго изслѣдованія и критики ума.

Но если умъ избирателя не одностороненъ и допускаетъ нормальное развитіе и другихъ способностей и стремленій души,—то онъ также скоро убѣдится, что протестантство, въ сущности, не вѣра, и даже не вѣроисповѣданіе, а исповѣданіе болѣе или менѣе сильныхъ убѣжденій, основанныхъ на знаніи и ученіи; а открывая свободный путь научному анализу и критикѣ, протестантство неминуемо ведетъ къ чистому раціонализму (ультра-раціонализму), въ область чистаго разума, замкнутую для чистой вѣры.

Съ другой стороны, свободный избиратель нашего времени

найдетъ единую святую соборную и апостольскую церковь уже не единою, а потому и сообщенную ей свыше благодать уже несомнѣнно пребывающую въ той или другой изъ раздѣлившихся церквей; сверхъ этого, неполная свобода мысли, чрезмѣрный, несоотвѣтствующій сущности ученія Христа, догматизмъ, безграничная обрядность и внѣшность богочитанія, стѣсняющая и отвлеченныя стремленія души, и, наконецъ, подтверждаемая церковью вѣра въ существованіе—почти матеріальное—злого духа,—все это едва-ли привлечетъ свободнаго избирателя къ благодати вѣры въ Христа и Его всеобъемлющую любовь, завѣщанной церкви Новаго Завета.

Испытавъ колебаніе и нерѣшительность въ выборѣ, вольный избиратель, вѣрно, позавидуетъ каждому изъ насъ, съ самаго рожденія принятому въ лоно государственной церкви; намъ нечего колебаться въ выборѣ. Вопросъ совѣсти рѣшенъ не нами и прежде насъ. Остается рѣшить другой.

Можно ли, оставаясь, такъ сказать, врожденнымъ членомъ государственной церкви: православной, католической или протестантской, въ то же время придерживатися авторитета собственной совѣсти, подчиненной одному Всевидящему Оку?

Вопросъ, я полагаю, опять чисто индивидуальный, не научный, не юридическій, рѣшаемый не внѣ насъ, не людьми, даже не самими нами, а совѣстью, вѣрующею въ ея верховное начало—Бога. Протестанту, пользующемуся полною свободою совѣсти, мысли и научнаго разслѣдованія, трудно согласиться на это раздвоеніе духа (двойную бухгалтерію, по К. Фохту); ему ничего нѣтъ легче, какъ выписаться изъ членовъ своей церкви и приписаться къ другой, болѣе соотвѣтствующей его міровоззрѣнію. Но самый передовой католикъ не затруднится, въ одно и то же время, быть и свободнымъ, научнымъ мыслителемъ, и благочестивымъ прихожаниномъ своего прихода. И я полагаю, что церковь можетъ и должна допускать эту, неизбежную для вѣрующаго мыслителя двойственность. Авторитетъ церкви, пока она останется государственною, этимъ нисколько не нарушается. Ея главная сила—въ христіанскомъ же принципѣ: кто не противъ насъ, тотъ за насъ.

Самая трудная задача для современной государственной церкви—это избѣжать крайностей консерватизма и прогресса.

Церковь по своему существу—самое консервативное учреждение.

Она обязана сохранять чистоту вѣры; но, какъ государственная, главнымъ предметомъ своихъ заботъ она должна имѣть не столько вѣру, сколько религію.

Есть значительное различіе между этими понятіями, обыкновенно принимаемыми за одно и то же: государственная церковь есть представительница государственной религіи; церковь общинная—вѣры. Дѣло религіи—это поддержаніе и упроченіе общественныхъ связей посредствомъ нравственно-духовнаго начала.

Вѣра—это чистое отвлеченіе души: тутъ нѣтъ никакихъ мірскихъ цѣлей и задачъ. Вѣра необходима, какъ самая глубокая потребность души, индивидуально, для каждого болѣе, чѣмъ для общества. Въ душѣ каждой человѣческой особи есть частичка не отъ міра сего, ищущая себѣ и духовной пищи; но какъ скоро изъ особей составляется общество, то его главнымъ *raison d'être* дѣлается уже: быть отъ міра сего. Для государственной религіи можетъ быть необходимымъ не допускать вѣянія никакихъ прогрессивныхъ началъ, удерживать и освящать самые несвоевременные обычаи, обряды и вѣрованія.

Народное вѣрованіе въ матеріальное существованіе чорта, несмотря на діаметрально-противоположные выводы науки, государственная, консервативная, церковь не можетъ не поддерживать, основываясь на древнемъ міровоззрѣніи. Но церкви нѣтъ надобности преслѣдовать научное ученіе о добрѣ и злѣ, какъ о понятіи, основанномъ на законахъ органической и психической натуры человѣка. Какое дѣло церкви—какъ я представляю себѣ дьявола? Такъ и о другихъ моихъ понятіяхъ. Если я не стремлюсь выйти изъ лона государственной церкви, не встаю противъ нея, оказываю ей полное уваженіе, словомъ—не трогаю религіи народной и государственной, къ которой отношу и себя, и свою семью, то какое кому дѣло до моей индивидуальной вѣры о которой дамъ отчетъ не здѣсь? Здѣсь же я старался только изложить самому себѣ то духовное міровоззрѣніе, о которомъ мнѣ придется нѣкогда дать отчетъ.

Теперь перейду ко времени моего вступленія въ московскій университетъ.

— Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait... Вотъ самое приличное motto для этого вступленія.

Я изобразилъ мой теперешній внутренній бытъ; каковъ же онъ былъ 56 лѣтъ тому назадъ? Посмотримъ, насколько память передастъ о немъ, сравнимъ; и сходства, и различія, можетъ быть, объяснятся потомъ описаніемъ того, чѣмъ выполненъ 56-лѣтній промежутокъ жизни.

Я уже говорилъ о бѣдствіи, нанесенномъ отцу воровствомъ комисіонера Иванова. Описанное въ казну имѣніе, долги, семейное горе отъ потери дочери и сына, все это не могло не подѣйствовать на человѣка, любившаго свою семью и желавшаго ей всевозможнаго счастья. Отецъ видѣлъ ясно, что умри онъ сегодня—и завтра же мы всѣ пойдемъ по міру. А время не терпѣло, и онъ рѣшился взять меня изъ пансіона Кряжева, платить которому за меня не хватало средствъ, а испортить карьеру мальчика, по отзывамъ учителей—способнаго, не хотѣлось. Въ гимназію отдать казалось поздно, да гимназіи въ Москвѣ тогда какъ-то не пользовались хорошою репутаціею, и вотъ мой отецъ вздумалъ обратиться за совѣтомъ къ Ефр. Осипов. Мухину, уже поставившему одного сына на ноги,—авось, поможетъ и другому.

Непремѣнно предопредѣлено было Е. О. Мухину повліять очень рано на мою судьбу. Въ глазахъ моей семьи онъ былъ посланникомъ Неба; въ глазахъ 10-лѣтняго ребенка, какимъ я жилъ въ 1820-хъ годахъ нашего вѣка, онъ былъ благодѣтельнымъ волшебникомъ, чудесно исцѣлившимъ лютыя муки брата. Родилось желаніе подражать; надивившись на доктора Мухина, началъ играть въ лекаря; когда мнѣ минуло 14 лѣтъ, Мухинъ, профессоръ, совѣтуетъ отцу послать меня прямо въ университетъ, покровительствуетъ на испытаніи, а по окончаніи курса онъ же приглашаетъ вступить въ профессорскій институтъ. И за все это чѣмъ же я отблагодарилъ его? Ничѣмъ. Скверная черта, но она не могла не проявиться во мнѣ. Почему,—скажу потомъ. Si la jeunesse savait! Теперь бы я готовъ былъ наказать себя поклономъ въ ноги Мухину; но его

давно и слѣдъ простылъ. Si la vieillesse pouvait! Такъ на каждомъ шагѣ придется восклицать то же самое. Даже не вѣрится—я ли былъ тогда на моемъ мѣстѣ.

Отецъ, внявъ совѣту Е. О. Мухина, тотчасъ же взялъ меня изъ пансіона и нанялъ, для приготовленія меня къ университету, по рекомендаціи секретаря правленія (кажется, Кондратьева, навѣрное не знаю), студента медицины, кончавшаго курсъ, Θεоктистова, порядочную дубинку, впрочемъ добраго и смирнаго человѣка. Я разстался съ моими школьными товарищами, еще наканунѣ игравшими со мною въ саду въ солдаты, причемъ я отличился изумительною храбростью, разорвавъ нѣсколько сюртуковъ и надѣлавъ не мало синяковъ; прощаясь, я не могъ не замѣтить насмѣшливой зависти, съ которою товарищи слушали мои рассказы о предстоящемъ поступленіи въ студенты; замѣтивъ же это,—чтобы подразнить завистниковъ,—кой-что и прихвастнулъ. Занятія съ Θεоктистовымъ, студентомъ изъ семинаристовъ, поселившимся у насъ въ домѣ, ограничивались латинскою грамматикою, переводами съ латинскаго и кое-чѣмъ еще.

Что же я былъ такое за штука за нѣсколько дней до вступительнаго университетскаго экзамена? Нравственность моя была не такъ распущена, какъ прежде; я сдѣлался сдержаннѣе, пересталъ ходить тайкомъ для бесѣдованія съ писарями и кучерами; но я многое зналъ такого, чего въ мои лѣта не слѣдовало бы знать; чувственность моя была также слишкомъ рано развита.

Знанія были менѣе ограниченныя для моего возраста; вкусъ къ искусствамъ мало развитъ,—только любовь къ изящному слову и стиху была сильна; съ другой стороны, остались неутраченными еще и дѣтская наивность, и дѣтская вѣра, и любовь къ занятію и труду.

Вѣра была, какъ и прежде, въ первомъ дѣтствѣ, чисто обрядная и формальная; наивность дѣтская была еще такъ велика, что я съ наслажденіемъ слушалъ еще сказки Прасковьи Кирилловны, крѣпостной служанки матери, плотной, коренастой дѣвки, съ толстыми, красными, какъ гусинныя лапы, руками, съ истыканнымъ до невѣроятности оспою и усыяннымъ

веснушками лицомъ, но мастерской сказочницы, — и я какъ теперь помню ея двѣ сказки: одну — о Водѣ-Водогѣ, такъ названномъ потому, что родился отъ какой-то чудесной воды, данной волшебницею его матери; а другую — о трехъ человѣчкахъ: бѣломъ, черномъ и красномъ. Водѣ-Водогѣ воевалъ съ разными лицами, всегда сопровождаемый цѣлымъ звѣринцемъ разныхъ животныхъ, пойманныхъ имъ на охотѣ; во время опасности онъ обращался къ нимъ съ крикомъ: „охотушка, не выдай!“ — и звѣри бросались опротивѣть на непріятеля. А три человѣчка были посланцы старой бабушки (Яги); она лежить, какъ слѣдуетъ, на печкѣ; къ ней приходитъ маленькая внучка. „Что же ты видѣла по дорогѣ?“ — спрашиваетъ бабушка. „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, — отвѣчаетъ внучка, — бѣлаго мужичка, на бѣленькой лошаdkѣ, въ бѣленькихъ саночкахъ“. — „То мой день, то мой день, — говоритъ глухимъ басомъ бабушка. — А еще что?“ — „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, чернаго мужичка, на черненькой лошаdkѣ, въ черненькихъ саночкахъ“. — „То моя ночь, то моя ночь. Еще что?“ — „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, краснаго мужичка, на красненькой лошаdkѣ, въ красненькихъ саночкахъ“. — „То мой огонь, то мой огонь! — заревѣла бабушка. — Говори, еще что?“ — „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, что у васъ ворота пальцемъ заткнуты, кишкою замотаны“. — „То мой замкъ, то мой замкъ. Ну, а еще что?“ — рычитъ уже бабушка. — „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, у васъ въ сѣняхъ рука полъ мететь“. — „То моя слуга, то моя слуга. Еще что? говори скорѣй!“ — огрызнулась бабушка. — „Видѣла я, бабушка, видѣла я, сударыня, тутъ, возлѣ васъ, голова чья-то виситъ у печки“. — „То моя колбаса, то моя колбаса!“ — заревѣла и заскрежетала зубами бабушка, схватила внучку, — и уже не помню, что сдѣлала: съѣла ли, или въ печь бросила.

Откуда наша Прасковья Кирилловна брала эти побасенки, одному Богу извѣстно; читать она не умѣла, вѣрно, — одною наслышкою; мнѣ потомъ нигдѣ не приходилось читать слышанныя отъ нея сказки, и, я думаю, она составляла сама и импровизировала, компилируя изъ нѣсколькихъ, слышанныхъ ею прежде. Вѣрно, память у нея была отличная; я помню,

отъ нея слыхалъ и разные стихи, какъ, напримѣръ, сатиру на прїѣздъ шведскаго посланника въ Москву:

„Солнце къ вечеру стремится,
Тѣмъ каретъ въ вокзалъ катится“, и проч.

Часто, часто приходилось мнѣ потомъ повторять моимъ и чужимъ дѣтямъ сказки Прасковьи о трехъ мужичкахъ, и даже съ тою же интонаціею въ голосѣ, съ которою Прасковья старалась наглядно мнѣ изобразить свирѣпую бабушку и наивную внучку. И всегда сказки Прасковьи Кирилловны производили эффектъ на слушавшихъ меня дѣтей.

Другая черта, свидѣтельствовавшая о моей дѣтской наивности въ ту пору, была привязанность къ моей старой нянѣ. Эта замѣчательная для меня личность называлась Катериною Михайловною; солдатская вдова изъ крѣпостныхъ, рано лишившаяся мужа и поступившая еще молодою къ намъ въ домъ, слишкомъ 30 лѣтъ оставалась она нашимъ домашнимъ человекомъ, хотя и не все это время жила съ нами; горевала вмѣстѣ съ нами и радовалась нашими радостями. Я сохранилъ мою привязанность, вѣрнѣе — любовь къ ней до моего отъѣзда изъ Москвы въ Дерптъ. Видѣлъ ее и потомъ еще раза два; но въ послѣдніе годы она начала сильно зашибать; и прежде это добрѣйшее существо съ горя и съ радости иногда прибѣгало къ рюмочкѣ, — но уже одна рюмка вина сейчасъ выжимала слезы изъ глазъ. „Михайловна заливается слезами“: это значило, что Михайловна, съ горя или съ радости, выпила рюмку. Мы—и дѣти, и взрослые—всѣ это знали, и, зная, иногда съ нею же плакали, не зная о чемъ. Все существо этой женщины было пропитано насквозь любовью къ намъ, дѣтямъ, вынаннымъ ею.

Я не слыхалъ отъ нея никогда ни одного браннаго слова; всегда любовно и ласково останавливала она упрямство и шалость; мораль ея была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила изъ любящей души. „Богъ не велитъ такъ дѣлать, не дѣлай этого, грѣшно!“ — и ничего болѣе.

Помню, однако-же, что она обращала вниманіе мое и на природу, находя въ ней нравственные мотивы. Помню какъ теперь Успеневъ день, храмовой праздникъ въ Андронье-

вомъ монастырѣ; монастырь и шатры съ пьянымъ, шумящимъ народомъ, раскинутые на зеленомъ пригоркѣ, передо мною какъ на блюдечкѣ, а надъ головами толпы—черная грозовая туча; блещетъ молнія, слышатся раскаты грома. Я съ нянею у открытаго окна и смотримъ сверху. „Вотъ, смотри“,—слышу, говорить она:—„народъ шумить, буянить и не слышитъ, какъ Богъ грозить; тутъ шумъ да веселье людское, а тамъ, вверху, у Бога—свое“.

Это простое указаніе на контрастъ между небомъ и землею, сдѣланное кстати любящею душою, запечатлѣлось навсегда, и всякій разъ какъ-то заунывно настраиваетъ меня, когда я встрѣчаю грозу на гуляньѣ. Бѣдная моя нянька, какъ это нерѣдко случается у насъ съ чувствительными, простыми людьми, начала пить, и, не перенося много вина, захирѣла, и такъ, что собралась уже умирать; не знаю уже почему, но рѣшено было поставить промывательное; я былъ тогда уже студентомъ и въ первый разъ въ жизни совершилъ эту операцію надъ моею нянею; она удивилась моему искусству и послѣ сюрприза тотчасъ же объявила; „ну, теперь я выздоровлю“. Черезъ три дня она, дѣйствительно, поднялась съ постели и жила еще нѣсколько лѣтъ; прожила бы, можетъ быть, и болѣе, еслибы, на свою бѣду, не нанялась у Авдотьи Егоровны Драгутиной, молодой жены пожилого мужа-купца. Былъ у нихъ сыночекъ, Егоринька; къ нему и взяли мою няню, а черезъ няню познакомилась и наша семья съ Драгутиными.

О tempora, o mores! Цицеронъ, котораго я тогда не читалъ,—кажется, всегда и вездѣ кстати.

Замоскворѣчье; хорошенькая, веселенькая, красиво меблированная квартира во второмъ этажѣ. Хозяйка, лѣтъ 25, красивая, всегда наряженная, брюнетка съ притязаніемъ на интеллигенцію, съ замѣтною и для меня, подростка, склонностью къ мужскому полу, съ ранняго утра до ночи одна съ маленькимъ сыномъ, нянею и учителемъ, кандидатомъ университета, рослымъ и виднымъ мужчиною, Путиловымъ. Мужъ, угрюмый, нѣсколько напоминающій медвѣдя, впрочемъ не изъ дюжинныхъ и добропорядочный во всѣхъ отношеніяхъ, цѣлый день

въ лавкѣ, въ гостиномъ дворѣ; домъ какъ полная чаша; чай пьется разъ пять въ день, кстати и некстати.

Мужъ, возвращающійся поздно домой, усталый, идетъ прямо къ себѣ въ комнату, пьетъ чай, ужинаетъ и ложится спать. Ребенокъ уходитъ спать въ дѣтскую съ нянею. Хозяйка и учитель остаются наединѣ, въ двухъ большихъ комнатахъ, пьютъ чай, запираютъ и входныя, и выходныя двери, — и такъ на цѣлую ночь до разсвѣта. Ежедневно одна и та же исторія.

— Да чтѣ же они тамъ дѣлаютъ одни? — любопытствовалъ я узнать отъ моей няни.

— „Да кто же ихъ, батюшка, знаетъ; никого не пускаютъ къ себѣ, — какъ тутъ узнаешь?“

— Да вѣдь слышно же что-нибудь черезъ двери? — продолжаю я спрашивать.

— „Слышно, что то говорятъ, то молчатъ“.

— А мужъ чтѣ?

— „Мужъ спитъ“.

Такъ продолжается цѣлыя годы. Я охотно посѣщалъ этотъ домъ, забавлялся и съ мальчикомъ, шутилъ и сплетничалъ съ Авдотьей Егоровною, и всегда въ присутствіи няни (не упускавшей меня изъ виду) пилъ чай, кофе, шоколадъ, сколько въ душу влѣзало. Однажды прихожу — молчанье, темнота, шторы спущены. Чтѣ такое? Авдотья Егоровна что-то нездорова. Смотрю — моя Авдотья Егоровна лежитъ на полу, въ одномъ спальномъ бѣльѣ; въ комнатѣ чѣмъ-то летучимъ пахнетъ. Слышу — что-то бормочетъ; няня около нея и дѣлаетъ мнѣ какіе-то знаки, чтобы я вышелъ. Чтѣ за притча! Оказалось, что эта милая дамочка чиститъ себѣ зубы табакомъ и потомъ упивается гофманскими каплями, бывшими тогда въ большомъ употребленіи, какъ домашнее средство противъ всѣхъ лихихъ болѣзней. Потомъ гофманскія капли замѣнились полынною, а наконецъ и простякомъ.

Учитель кончилъ курсъ. Хозяинъ обрюзгъ болѣе прежняго и сдѣлался еще неприступнѣе; а хозяйка, спившись съ круга, увлекла въ запой и мою добрую, милую няню, Катерину Михайловну.

Кстати уже, говоря о чисто-дѣтской наивности, памятной мнѣ въ то время, какъ готовился уже къ изученію медицины,

не забуду напомнить себѣ и еще трехъ занимавшихъ меня тогда и нравившихся мнѣ, вслѣдствіе этой же самой ребяческой простоты, знакомыхъ. Это были Григорій Михайловичъ Березкинъ, Андрей Михайловичъ Клаусъ и Яковъ Ивановичъ Смирновъ. Первые оба — изъ врачебнаго персонала, старые сослуживцы московскаго воспитательнаго дома; оба не доктора и не лекаря. Березкинъ, циникъ, съ замѣтною наклонностію къ спиртнымъ напиткамъ, занималъ меня разсказами, очевидно иностраннаго (нѣмецкаго) происхожденія о Петрѣ Первомъ. „Мы должны, говорятъ нѣмцы“, — такъ сказывалъ мнѣ Березкинъ, — „Богу молиться на Петра да свѣчки ему ставить, — вотъ чтѣ“. Изъ медицины Григорій Михайловичъ сообщалъ мнѣ также что-то, тогда меня крѣпко интересовавшее, но уже не припомню, чтѣ именно; подарилъ какой-то писанный на латинскомъ языкѣ сборникъ съ описаніемъ, въ алфавитномъ порядкѣ, растительныхъ веществъ, употребляемыхъ въ медицинѣ; я много узналъ и наизусть запомнилъ научныхъ терминовъ: *emeticum*, *drasticum*, *diureticum*, *radix ipecacuanhae*, *jalaprae* и т. п.

За годъ и болѣе до вступленія на медицинскій факультетъ, я уже зналъ массу названій и терминовъ, и это мнѣ много пригодилось впослѣдствіи. Но дѣтская привязанность къ словохотному Березкину у меня основывалась, конечно, не на расчетѣ профитировать отъ него что-нибудь, а на потѣшавшихъ меня шуточкахъ и прибауткахъ; ими изобиловала наша бесѣда.

— „Ну-те-ка, ну-те“, — бормочетъ скороговоркою Григорій Михайловичъ: — „напишите-ка: во-ро-бей“.

Я и пишу, и, написавъ послѣдній слогъ, вдругъ получаю щелчокъ по головѣ.

— Это чтѣ?

— „Самъ же просилъ: прочти послѣдній слогъ!“ — отвѣчаетъ, заливаясь отъ смѣха, Григорій Михайловичъ. — „А хочешь, спою пѣсенку?“

— Какую?

— „Ай ду-ду“.

Я притворяюсь, будто не знаю значенія этой пѣсни, уже не разъ испытаннаго моимъ лбомъ.

— Ну-ка, спойте.

— „Ай ду-ду, ай ду-ду“, — затягивает хриплымъ голосомъ Березкинъ, — „сидитъ баба на дубу“.

Полный текстъ таковъ: „Ай ду-ду, сидитъ баба на дубу; прилетѣла синица—что станемъ дѣлать? пива что-ли намъ варите? сына что-ли намъ жените? Ай, сынъ мой, отдай бабѣ голову, ударь бабу по лбу... отдай мою голову, ударь бабу по лбу!“... Я убѣгаю со смѣхомъ. Березкинъ промахнулся—я не баба, и лобъ не получилъ щелчка.

— „А вотъ, латинистъ, отгадай-ка, что такое“:—и опять стоккато: „Si caput est, currit; ventrem adjunge, volabit; adde pedes, comedes; sine ventre, bibes“.

Отвѣчаю, не запинаясь:

— Mus, musca, muscatum, mustume.

— „А, знаешь уже; а отъ кого узналъ?“

— Да не отъ васъ (я лгу),—я и прежде зналъ.

— „То-то, прежде зналъ; отчего же прежде не говорилъ?“

— Да я нарочно.

А всего пріятнѣ моему дѣтски-наивному тщеславію было слышать отъ старика, какъ онъ меня хвалилъ и величалъ; вѣрно, и я для него былъ занимателенъ. „Ну, смотри, братъ, изъ тебя выйдетъ, пожалуй, и большой человекъ; ты умникъ, вонъ не тому, не Хлопову, чета“. Хлоповъ—это былъ ученикъ изъ пансіона Кряжева, жившій нѣкоторое время у насъ, грубоватый и какъ-то свысока обходившійся съ Березкинымъ.

Андрей Михайловичъ Клаусъ—оригинальнѣйшая и многимъ тогда въ Москвѣ извѣстная личность. Это былъ знаменитый оспопрививатель еще екатерининскихъ временъ. Аккуратнѣйшій старикашка, въ рыжемъ парикѣ, съ красною добройшею физиономіею, въ короткихъ штанишкахъ, прикрѣпленныхъ пряжками выше колѣнъ, въ мягкихъ плисовыхъ сапогахъ, не доходившихъ до колѣнъ; между черными штанами и сапогами виднѣлись бѣлые чулки.

Всей нашей семьѣ въ теченіе многихъ лѣтъ Андрей Михайловичъ привилъ оспу, и потому считалъ своею обязанностію ежегодно навѣщать насъ въ табельные дни, завтракалъ, съ особеннымъ аппетитомъ кушалъ буттербродтъ, зимою—съ сыромъ, а весною (на Святой)—съ радиской.

Меня лично онъ занималъ, кромѣ своей оригинальной на-

ружности, маленькимъ микроскопомъ, всегда находившимся при немъ въ карманѣ. Раскрывался черный ящичекъ, вынимался крошечный, блестящій инструментъ, брался цвѣтной лепестокъ съ какого-нибудь комнатнаго растенія, отдѣлялся иглою, клался на стеклышко,—и все это дѣлалось тихо, чинно, аккуратно, какъ будто совершалось какое-то священнодѣйствіе. Я не сводилъ глазъ съ Андрея Михайловича и ждалъ съ замираніемъ сердца минуты, когда онъ приглашалъ взглянуть въ его микроскопъ.

— Ай, ай, ай, какая прелесть! Отчего это такъ видно, Андрей Михайловичъ?

— „А это, дружокъ, тутъ стекла вставлены, что въ 50 разъ увеличиваютъ. Вотъ, смотри-ка“. — Слѣдовала демонстрація.

Третій входилъ въ нашъ домъ и занимательный для меня знакомый, Яковъ Ивановичъ Смирновъ, сослуживецъ отца, привлекалъ мою ребяческую наивность собственно глупостью. Не то чтобы онъ самъ былъ глупъ, но какой-то точно словый; неповоротливый, высокій, прямой какъ шесть. Когда онъ, поздоровавшись, садился, я тотчасъ же являлся возлѣ его стула и приготовлялся смотрѣть, какъ Яковъ Ивановичъ начнетъ вынимать изъ кармана свой клѣтчатый синій платокъ, складывать его въ кругленькій комочекъ, а потомъ поднесетъ къ носу, утрется и подержитъ его въ рукѣ съ полчаса, прежде чѣмъ опять положить въ карманъ. Яковъ Ивановичъ (сынъ священника, учился когда-то въ семинаріи) рассказываетъ матушкѣ,—а она крестится отъ содроганія,—что попы частицы вынутыхъ просфоръ собираютъ, сушатъ и ѣдятъ со щами.

— Чтѣ это, Яковъ Ивановичъ, вы рассказываете за ужасы, да еще и при дѣтяхъ,—какъ вамъ это не грѣхъ?

— „Помилуйте, сударыня, да тѣ ли еще дѣлаютъ наши попы; они грѣха не знаютъ. А чтѣ, вотъ ты“,—обращается Яковъ Ивановичъ ко мнѣ,—„учишься по-латыни, а знаешь ли, чтѣ значитъ: *circa culina* (читай: Акулина) *scit quid perdit*“,—и, обращаясь къ матушкѣ, которая съ удивленіемъ слышитъ сальные слова отъ Якова Ивановича, думая, не охмѣлѣлъ ли онъ, Яковъ Ивановичъ говоритъ:—„Это такъ по-латыни выходитъ, сударыня; ужъ извините, если оно немного того“...

Я разражаюсь смѣхомъ и убѣгаю отъ стыда, не понявъ смысла сказаннаго.

Потомъ Яковъ Ивановичъ объясняетъ, что онъ нарочно такъ произнесъ, какъ будто бы это была Акулина, а не латинское *culina*, сирѣчь: мельница.

— „Напрасно сконфузились“, — говоритъ онъ матери и мнѣ: — „теперь выходитъ просто: кривая мельница знаетъ, чтѣ теряетъ. Ну, а вотъ переведи-ка славную поговорку; за нее насъ вѣрно и маменька похвалитъ: *amicus. certus in re incerta cernitur*“.

Я перевожу.

Василій Феклистычъ Феклистовъ — такъ звали наши домашніе студента Теокистова — доставлялъ мнѣ также чисто дѣтскую радость. Я дѣтски радовался, что готовлюсь въ университетъ и занимался прилежно съ Теокистовымъ; мнѣ доставлялъ наслажденіе и осмотръ его медицинскихъ книгъ — какой-то старинной анатоміи съ картинками, какой-то терапіи съ рецептами, но всего болѣе и съ какимъ-то невыразимо-пріятнымъ трепетомъ сердца, — это я какъ будто еще теперь чувствую, — разбиралъ я принесенный однажды Теокистовымъ каталогъ университетскихъ лекцій.

— Какія лекціи буду я слушать? Вотъ Юстъ Христіанъ Лодеръ — анатомія человѣческаго тѣла. Буду?

— „Непремѣнно“.

— Вотъ Ефремъ Осиповичъ Мухинъ — фізіологія по Ленгоссеку. Это чтѣ такое? Да Мухинъ, чтѣ бы ни читалъ, буду, непремѣнно буду слушать. Василій Михайловичъ Котельницкій — фармакологія или врачебное веществословіе. Василій Теокистычъ! Это что за наука?

— „Да о дѣйствіи лекарствъ“.

— Ахъ, вотъ любопытно-то: какъ дѣйствуетъ рвотное, какъ слабительное; а я вѣдь уже знаю, что *radix ipecacuanhae* — *emeticum*; *radix jalappae* — *drasticum*.

— „А почему это вы знаете? откуда это вы взяли?“

— А вотъ позвольте, я сейчасъ принесу вамъ книжку Григорія Михайловича Березкина, — все, все есть, преинтересная.

Приношу и показываю. Теокистовъ, съ важнымъ видомъ и презрительно улыбаясь (эту улыбку я воображаю, когда пишу

эти строки, диктуемые воспоминаніемъ), перелистываетъ драгоценный даръ Березкина и, отдавая мнѣ назадъ, говорить:

— „Старье! старье! Будете студентомъ, такъ просите папеньку купить вамъ фармакологию Іовскаго, переводъ съ нѣмецкаго Шпренгеля“.

— А дорого она стоитъ?

— „Да рубля три или четыре“.

— Попрошу непременно.

Между тѣмъ время идетъ. Мы сходили къ Троицѣ помолиться. Теокистовъ съ нами; экскурсія продолжалась дня четыре и служила отдыхомъ, хотя, по правдѣ сказать, ни я, ни Теокистовъ не уставали отъ нашихъ занятій. Въ этой экскурсіи мы не останавливались въ Мытищахъ и Троицкую ризницу не посѣщали; поэтому все, что я говорилъ прежде о моихъ дѣтскихъ воспоминаніяхъ о Троицѣ, относится, несомнѣнно, къ прежнему времени (т.-е. къ моему 7—8-лѣтнему возрасту, къ 1817—1818 гг.).

Наконецъ, настало время и вступительнаго экзамена.

Я не помню рѣшительно ничего о томъ, что я чувствовалъ, когда ѣхалъ съ отцомъ въ университетъ на экзаменъ; но, вѣрно, ни надежда, ни страхъ не волновали меня черезчуръ; я живо помню, напримѣръ, мой первый экзаменъ въ пансіонѣ Кряжева; волненіе, съ которымъ я отвѣчалъ тогда на заданные вопросы, какъ только вспомню о немъ, кажется мнѣ неулегшимся еще до сихъ поръ; вижу, какъ въ отдаленномъ туманѣ, Дружинина (директора гимназіи, присутствовавшего на экзаменѣ), сидящаго въ большихъ, для него нарочно приготовленныхъ, креслахъ; смотрю на проходящаго съ подносомъ толстаго пансіоннаго дядьку, плутовски улыбающагося мнѣ мимоходомъ и подмигивающаго однимъ глазомъ. Помню живо чью-то добрую усмѣшку и колкое замѣчаніе священника на мое слишкомъ наглядное изложеніе сновидѣній фараона. „Ему грезилось“,—повторялъ я нѣсколько разъ въ моемъ одушевленномъ жестахъ разсказѣ. „Снилось, снилось, снилось“,—замѣчалъ, останавливая меня каждый разъ на полусловѣ, законоучитель. И все это было два года ранѣ моего перваго университетаго испытанія.

Вступленіе въ университетъ было такимъ для меня громад-

нымъ событіемъ, что я, какъ солдатъ, идущій въ бой, на жизнь или смерть, осилилъ и перемогъ волненіе и шелъ хладнокровно. Помню только, что на экзаменѣ присутствовалъ и Мухинъ, какъ деканъ медицинскаго факультета, что, конечно, не могло не ободрять меня; помню Чумакова, похвалившаго меня за воздушное рѣшеніе теоремы (вмѣсто черченія на доскѣ, я размахивалъ по воздуху руками); помню, что спутался при извлеченіи какого-то кубическаго корня, не настолько, однако-же, чтобы совсѣмъ опозориться.

Знаю только навѣрное, что я зналъ гораздо болѣе, чѣмъ отъ меня требовали на экзаменѣ. Въ приѣмной меня ожидали, послѣ окончанія экзамена, отецъ, секретарь правленія—Кондратьевъ и рекомендованный имъ мой приготовитель—Θеоктистовъ. Отецъ повезъ меня изъ университета прямо къ Иверской и отлужилъ молебень съ колѣнопреклоненіемъ. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили изъ часовни: „Не видимое ли это Божіе благословеніе, Николай, что ты уже вступаешь въ университетъ? кто могъ этого надѣяться!“

Затѣмъ мы заѣхали въ кондитерскую Педотти, гдѣ и послѣдовало угощеніе меня шоколадомъ и сладкими пирожками.

Это было въ сентябрѣ 1824 г. Съ этого дня началась новая эра моей жизни. Но странно: вѣдь я собственно не увѣренъ—было ли это въ 1824 году? Справляться не стоитъ; а странно именно то, что мнѣ кажется теперь, будто отецъ мой долѣе жилъ послѣ вступленія моего въ московскій университетъ, чѣмъ оказывается по разсчету. Навѣрное, отецъ мой умеръ почти за годъ до смерти государя Александра I, т.-е. за годъ до 1825 г. Не вступилъ же я въ московскій университетъ въ 1823 году, 13-ти лѣтъ отъ роду!

Пережитое время, оставаясь въ памяти, кажется то болѣе короткимъ, то болѣе долгимъ; но обыкновенно оно укорачивается въ памяти. Прожитыя мною 70 лѣтъ, изъ коихъ 64 года навѣрное оставили послѣ себя слѣды въ памяти, кажутся мнѣ иногда очень короткимъ, а иногда очень долгимъ промежуткомъ времени. Отчего это? Я высказалъ уже, какое значеніе я придаю иллюзіямъ. Намъ суждено—и, я полагаю, къ

нашему счастью—жить въ постоянномъ миражѣ, не замѣчая этого.

Можно, пожалуй, утверждать, что еще счастливѣе тотъ, кто не только не подозреваетъ, но и не имѣетъ никакого понятія о существованіи чувственныхъ и психическихъ миражей.

Въ сущности же, все равно: выгоды незнанія равняются невыгодамъ. Больному врачу плохо бываетъ иногда отъ его знанія, а здоровому—это же знаніе бесполезно для его здоровья.

Такъ и убѣжденіе въ существованіи постоянного, пожизненнаго миража, съ одной стороны, не очень вредно, потому что убѣжденіе это все-таки не уничтожаетъ благотѣльной иллюзіи, и, убѣжденные и неубѣжденные въ ней, мы будемъ продолжать жить по прежнему, все въ томъ же миражѣ. Сколько лѣтъ прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ намъ сдѣлалось извѣстно, что „das Ding an und für sich selbst“ для насъ навсегда останется terra incognita; такъ нѣтъ же! Мы все-таки продолжаемъ думать и дѣйствовать въ жизни такъ, какъ будто бы это „das Ding an und für sich selbst“ было намъ досконально извѣстно и коротко знакомо.

Такъ вотъ и представленіе наше о прожитомъ нами времени такъ же миражно, какъ и все прочее въ жизни.

Когда я обращаю усиленное вниманіе на какой-нибудь отрывокъ изъ прожитаго времени, т.-е. направляю мою внимательность на память (съ чѣмъ бы сравнить это? вотъ, я дѣлаю это въ настоящую минуту, когда пишу эти строки: я какъ будто внимательно роюсь въ моей памяти, не то смотрю въ нее, не то силюсь, будто-бы, что-то открыть и вынуть... нѣтъ, ни съ чѣмъ не сравнишь),—тогда мнѣ представляется этотъ вынутый изъ памяти отрывокъ чрезвычайно близкимъ ко мнѣ, къ моему настоящему, какъ будто все припоминаемое происходило вчера.

Вотъ живые портреты припоминаемыхъ лицъ, ихъ платье, ихъ манеры, голосъ, усмѣшка, все какъ есть... чудеснѣйшій миражъ! А начини только дѣйствовать, окунись въ водоворотъ жизни—и все куда-то далеко, далеко ушло, исчезло,—новый миражъ! Существовавшее представляется какъ будто-бы несуществовавшимъ.

Такъ, съ той минуты, когда мы съ отцомъ вышли изъ часовни Иверской,—отъ нея, отъ этой минуты, остались въ

памяти только слова отца,—и до того страшнаго мгновенія, когда я увидѣлъ его на столѣ посинѣвшимъ трупомъ,—какъ будто отца и вовсе не было у меня; едва, едва въ густомъ туманѣ мелькаетъ предо мною его блѣдный обликъ и усталая поступь, видѣнные мною въ послѣдніе дни его жизни. А все-таки протекшее между двумя уцѣлѣвшими въ памяти значками время мнѣ кажется теперь очень долгимъ, такъ долгимъ, что сомнѣваюсь, было ли это менѣе двухъ лѣтъ.

Началось посѣщеніе лекцій. Выдали матрикулъ безъ всякихъ церемоній. Приходъ Троицы въ Сыромятникахъ не близокъ къ университету,—будетъ съ часъ ходьбы; положено было оставаться въ обѣденное время у Θεоктистова, и только въ 4—5 часовъ вечера возвращаться на извозчикѣ.

Θеоктистовъ былъ казенно-коштный студентъ и жилъ вмѣстѣ съ пятью другими студентами въ 10-мъ номерѣ корпуса квартиръ для казенно-коштныхъ.

Надо остановиться на воспоминаніи о 10-мъ номерѣ и объ извозчикѣ.

Немудрено, что воспоминанія эти сохранились. 10-й номеръ я посѣщалъ ежедневно, нѣсколько лѣтъ сряду, а на извозчикѣ ѣздилъ, пока нужда не заставила ходить пѣшкомъ,—и 10-й номеръ, и вечерняя ѣзда на извозчикѣ совпадаютъ съ первымъ выходомъ на поприще жизни; дебюты не забываются.

Вхожу въ большую комнату, уставленную по стѣнамъ пустыми кроватями со столиками; на каждомъ столикѣ наложены кучки зеленыхъ, желтыхъ, красныхъ, синихъ книгъ и пачки тетрадей; вижу—лежитъ на одной кровати чья-то фуражка, дномъ наружу; на днѣ—надпись; читаю: „Hunc pil...—тутъ стерто, не разберу—*Fur rapidis manibus tangere noli: possessor cujus fuit semperque erit Tschistof, qui est studiosus quam maxime generosus*“.

Понимаю. Гдѣ же этотъ г. Чистовъ? А вотъ, онъ входитъ въ дверь; испитой, съ густыми темными волосами, свинцоваго цвѣта лицомъ, темно-синею, выбритою гладко, бородою; за нимъ приходитъ съ лекціи и мой Θεоктистовъ; дверь начинаетъ безпрестанно отворяться и затворяться; являются одно за другимъ все новыя и новыя лица, рекомендуются, привѣтливо обра-

щаются ко мнѣ; вотъ г.-Лейченко, самый старшій, — дѣйствительно, — на видѣ лѣтъ много за 30; вотъ Лобачевскій, длинный, рыжій, усѣянный, должно быть, веснушками по всему тѣлу, судя по лицу и рукамъ, и еще человѣкъ шесть нумерныхъ и постороннихъ.

Начинаются бесѣды, закуриваніе трубокъ; говорятъ всѣ разомъ, — ничего не разберешь; дымъ поднимается столбомъ: слышится по временамъ и брань неприличными словами.

Мой бывшій наставникъ, Θεоктистовъ, представляется мнѣ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, не тѣмъ, какимъ я его зналъ до сихъ поръ: онъ тутъ передъ нѣкоторыми просто пасъ, — тиге воды, ниже травы.

Вотъ хоть бы Чистовъ, обладатель фуражки съ латинскими стихами, — тотъ беретъ со стола книгу, ложится на кровать и, обращаясь ко мнѣ (я стою вблизи его кровати), спрашиваетъ: „съ какими римскими авторами вы знакомы?“ Я враспѣю. „Что же? Θεоктистовъ, вѣрно, вамъ немного сообщилъ; гдѣ же ему: онъ и самъ ничего не понимаетъ въ латыни. Садитесь-ка вотъ здѣсь, — я вамъ кое-что прочту изъ Овидія; слышали о „Метаморфозахъ“ Овидія? А? слышали?“ — „Да, немного слыхалъ“. — „Ну, слушайте-же!“ — И Чистовъ началъ скандировать плавно и съ увлеченіемъ, и тутъ же я научился у него больше, чѣмъ во все время моего приготовленія къ университету отъ Θεоктистова. Оказалось потомъ, что Чистовъ былъ, дѣйствительно, знатокъ римскихъ классиковъ; я рѣдко видалъ его за медицинскими книгами; всегда, бывало, лежитъ и читаетъ своего любимаго Овидія Назона или Горація.

Родомъ изъ духовныхъ, воспитанникъ семинаріи, Чистовъ отличался, однако-же, рѣзко отъ другихъ сотоварищей, по большей части тоже семинаристовъ; это была мебель изъ еловаго, а онъ изъ краснаго дерева и, должно быть, поэтъ въ душѣ.

Чего я не насмотрѣлся и не наслышался въ 10-мъ нумерѣ!

Представляю себѣ теперь, какъ все это видѣнное и слышанное тамъ дѣйствовало на мой 14—15-лѣтній умъ. Является, напримѣръ, какой-то гость Чистова, хромой, блѣдный, съ растрепанными волосами, вообще страннаго вида на мой взглядъ, — теперь его можно бы было, по наружности, причислить къ нигилистамъ, — по тогдашнему это былъ только вольнодумецъ.

Говорилъ онъ какъ-то захлебываясь отъ волненія и обдавая своихъ собесѣдниковъ брызгами слюны.

Въ разговорахъ быстро, скачками переходитъ отъ одного предмета къ другому, не слушая или не дослушивая никакихъ возраженій. „Да чтѣ Александръ I,—куда ему,—онъ въ сравненіе Наполеону не годится. Вотъ геній, такъ геній!.. А читали вы Пушкина „Оду на вольность“? А? Это, впрочемъ, винигреть какой-то. По нашему не такъ; révolution, такъ révolution, какъ французская—съ гильотиною!“ И услыхавъ, что кто-то изъ присутствующихъ говорилъ другому что-то о бракѣ, либераль 1824—1825 гг. вдругъ обращается къ разговаривающимъ: „Да чтѣ тамъ толковать о женитьбѣ! чтѣ за бракъ! на чтѣ его вамъ? кто вамъ сказалъ, что нельзя по-просту спать съ οποю женщиною.....? Вѣдь это все ваши проклятые предразсудки: натолковали вамъ съ дѣтства ваши маменьки, да бабушки, да нянюшки, а вы и вѣрите. Стыдно, господа, право, стыдно!“—А я-то, я—стою и слушаю, ни одного слова не проронивъ.

Вдругъ соскакиваетъ съ своей кровати Катоновъ, хватаетъ стулъ и—бацъ его по срединѣ комнаты! „Слушайте, подлецы!“ кричитъ Катоновъ: „кто тамъ изъ васъ смѣетъ толковать о Пушкинѣ? слушайте, говорю!“—вопилъ онъ во все горло, потрясая стуломъ, закатывая глаза, скрежеща зубами:

„Тебя, твой родъ я ненавижу,
Твою погибель, смерть дѣтей
Я съ злобной радостію вижу,
Ты ужасъ міра, стыдъ природы
Упрекъ ты Богу на землѣ“...

Катоновъ, восторженный обожатель Мочалова, декламируя, выходитъ изъ себя,—не кричитъ уже, а вопить, реветъ, шипитъ, размахиваетъ во всѣ стороны поднятымъ вверхъ стуломъ, у рта пѣна, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горятъ. Изступленіе полное. А я стою, слушаю съ замираніемъ сердца, съ нервною дрожью; не то восхищаюсь, не то совѣщусь.

Ревъ и изступленіе Катонина, наконецъ, надоѣдаютъ; на него насккиваетъ рослый и дюжій Лобачевскій. „Замолчишь ли ты, наконецъ, скотина!“ кричитъ Лобачевскій, ста-

раясь своимъ крикомъ заглушить ревъ Катонova. Начинается схватка; у Лобачевского ломается высокій каблукъ. Паденіе. Хохоть и аплодисменты. Бросаются разнимать борющихся на полу.

Не проходило дня, въ который я не слыхалъ бы или не увидѣлъ чего-нибудь новенькаго, въ родѣ описанной сцены, особенно памятной для меня потому только, что она была для меня первою невидалью; потомъ все вольнодумное сдѣлалось уже дѣломъ привычнымъ.

За исключеніемъ одного или двухъ, обитатели 10-го нумера были всѣ изъ духовнаго званія, и отъ нихъ-то, именно, я слышался такихъ вещей о полахъ, богослуженіи, обрядахъ, таинствахъ и вообще о религіи, что меня на первыхъ порахъ, съ непривычки, морозъ по кожѣ подиралъ...

Всѣ запрещенные стихи, въ родѣ „Оды на вольность“, „Къ временщику“ Рылѣева, „Гдѣ тѣ, братцы, острова“, и т. п., ходили по рукамъ, читались съ жадностью, переписывались и перечитывались сообща при каждомъ удобномъ случаѣ.

Читалась и барковщина, но весьма рѣдко; ее замѣняла въ то время болѣе современная поэзія, подобнаго же рода, студента Полежаева.

О Богѣ и церкви сыны церкви изъ 10-го нумера знать ничего не хотѣли и относились ко всему божественному съ полнымъ пренебреженіемъ.

Понятій о нравственности 10-го нумера, несмотря на мое короткое съ нимъ знакомство, я не вынесъ ровно никакихъ. Разгулъ при наличныхъ средствахъ, полный индифферентизмъ къ добру и злу при пустомъ карманѣ, — вотъ вся мораль 10-го нумера, оставшаяся въ моемъ воспоминаніи.

Вотъ настало первое число мѣсяца. Получено жалованье. Нумеръ накапливается. Дверь то-и-дѣло хлопаетъ. Солдатъ, старикъ Яковъ, ветеранъ, служитель нумера, озабоченно приходитъ и уходитъ для исполненія разныхъ порученій. Являются чайники съ кипяткомъ и самоваръ.

Входятъ разомъ человѣка четыре, двое нумерныхъ студентовъ, одинъ чужой и высокій, здоровенный протодьяконъ. Шумъ, крикъ и гамъ. Протодьяконъ что-то баситъ. Всѣ хохочутъ. Яковъ является со штофомъ подѣ черною печатью за пазу-

хою, въ рукахъ несетъ колбасу и паюсную икру. Печать со штофа срывается съ восклицаніемъ: „Ну-ка, отецъ дьяконъ, бѣлаго панталоннаго хватимъ!“— „Весьма охотно“, глухимъ басомъ и съ разстановкою отвѣчаетъ протодьяконъ. Начинается попойка. Приносится Яковомъ еще штофъ и еще,—такъ до положенія ризъ.

— „Знаете-ли вы,—говорить мнѣ кто-то изъ жильцовъ 10-го нумера,—что у насъ есть тайное общество? Я членъ его, я и масонъ“.

— Чтò же это такое?

— „Да такъ, надо же положить конецъ“.

— Чему?

— „Да правительству, ну его къ чорту!“

И я, послѣ этого открытія, смотрю на господина, сообщившаго мнѣ такую любопытную вещь, съ какимъ-то подобострастіемъ.

Масонъ! Членъ тайнаго общества? То-то у него книги все въ зеленомъ переплетѣ. А я уже прежде гдѣ-то слыхалъ, что у масоновъ есть книги въ зеленомъ переплетѣ.

— „А слышали, господа: наши съ Полежаевымъ и хирургами (студентами московской медико-хирургической академіи) разбили вчера ночью б....ъ на Трубѣ? Вотъ молодцы-то!“

Начинаются рассказы со всѣми сильными подробностями. И это откровеніе я выслушиваю съ тѣмъ же наивнымъ любопытствомъ, какъ и сообщенную мнѣ тайну объ обществѣ и масонствѣ.

— Ну, братцы, угостилъ сегодня Матвѣй Яковлевичъ!

— „А что?“

— Да надо ручки и ножки его расцѣловать за сегодняшнюю лекцію. Не даромъ сказалъ: „Запишите себѣ отъ слова до слова, чтò я вамъ говорилъ; этого вы нигдѣ не услышите. Я и самъ недавно узналъ это изъ Бруссе“. И пошелъ, и пошелъ...

— „Теперь уже, братцы, Франковъ, и Петра, и Іосифа, по-боку; теперь подавай Пинеля, Бишя, Бруссе!“

— А въ клиникѣ-то, въ клиникѣ какъ Мудровъ отдѣлалъ старье! Про тифознаго-то чтò сказалъ! „Вотъ, говоритъ, смотрите, онъ уже почти на ногахъ послѣ того, какъ мы по-

ставили слишкомъ 80 пивницъ къ животу; а пропиши я ему, по прежнему, валеріану да арнику, онъ бы уже давно былъ на столѣ“.

— „Да, Матвѣй Яковлевичъ молодецъ, геній! Чудо, не профессоръ. Читаетъ божественно!“

— Говорятъ, въ академіи хорошъ также Дидковскій. Наши ходили его слушать. Да гдѣ ему противъ Мудрова! Онъ недосыгаемъ.

— „Ну, ну! а Лодеръ Юстъ-Христіанъ?“

— Да, не велика птичка, старичокъ невеликъ, да ность востѣрь. Слышали, какъ онъ оберъ-полиціймейстера отдѣлалъ? Ыдетъ это онъ на парадъ въ каретѣ, а оберъ-полиціймейстеръ подсказалъ и кричитъ кучеру во все горло: „пошелъ назадъ, назадъ!“ Лодеръ-то высунулся изъ кареты, да машетъ кучеру—впередъ-моль, впередъ. Полиціймейстеръ прямо и къ Лодеру. „Не вѣлю,—кричитъ,—я оберъ-полиціймейстеръ“. — „А я,—говоритъ тотъ,—Юстъ-Христіанъ Лодеръ; васѣ знаетъ только Москва, а меня—вся Европа“. Вчера-то—слышали—какъ онъ на лекціи спохватился?

— „А что?“

— Да началъ - было: „Sapientississima (Лодеръ шамкалъ немного) natura“, — да, спохватившись, и прибавилъ: „aut potius, Creator sapientissimae naturae voluit“.

— „Да, нынѣ, братъ, держи ухо востро“.

— А что?

— „Теперь тамъ въ Петербургѣ, говорятъ, министръ нашъ Голицынъ такія штуки выкидываетъ, что нѣ-поди“.

— Чтѣ такое?

— „Да, говорятъ, хочетъ запретить вскрытіе труповъ“.

— Неужели? чтѣ ты!

— „Да у насъ чего нельзя,—вѣдь деспотизмъ. Послалъ, говорятъ, во всѣ университеты запросъ: нельзя ли обойтись безъ труповъ, или замѣнить ихъ чѣмъ-нибудь?“

— Да чѣмъ тутъ замѣнишь?

— „Извѣстно, ничѣмъ,—такъ ему и отвѣтять“.

— Толкуй! а не хочешь картинами или платками?

— „Чѣмъ это? чтѣ ты врешь, какъ сивый меринъ!“ — слышу чѣй-то вопросъ.

— Нѣтъ, не вру; уже гдѣ-то, сказываютъ, такъ дѣлается. Профессоръ-то анатоміи привяжетъ одинъ конецъ платка къ лопаткѣ, а другой—къ плечевой кости, да и тянетъ за него; „вотъ,—говорить,—посмотрите: это *Deltoides*“.

Дружный хохотъ; кто-то плюнулъ съ остервенѣніемъ.

Да, номеръ 10-й былъ такой школою для меня, уроки которой, какъ видно, пережили въ моей памяти много другихъ, болѣе важныхъ воспоминаній.

Впослѣдствіи почувались и въ 10-мъ номерѣ вѣянія другого времени: слышались чаще имена Шеллинга, Гегеля, Окэна. При ежедневномъ посѣщеніи университетскихъ лекцій и 10-го номера все мое міровоззрѣніе очень скоро измѣнилось; но не столько отъ лекцій остеологіи Терновскаго (въ первый годъ Лодера не слушали) и физиологіи Мухина, сколько, именно, отъ образовательнаго вліянія 10-го номера.

На первыхъ же порахъ, послѣ вступленія моего въ университетъ, 10-й номеръ снабдилъ меня костями и гербаріемъ; кости конечностей, нѣсколько реберъ и позвонковъ были, по всѣмъ вѣроятіямъ, краденныя изъ анатомическаго театра отъ скелетовъ, чѣмъ доказывали проверченныя на нихъ дыры, а кости черепа, отличавшіяся бѣлизною, были, вѣрно, украдены у Лодера, раздававшего его слушателямъ на лекціяхъ остеологіи.

Когда я привезъ кулекъ съ костями домой, то мои домашніе не безъ душевной тревоги смотрѣли, какъ я опорожнивалъ кулекъ и раскладывалъ драгоценный подарокъ 10-го номера по ящикамъ пустого комода, а моя нянюшка, Катерина Михайловна, случайно пришедшая въ это время къ намъ въ гости, увидѣвъ у меня человѣческія кости, прослезилась почему-то,—и когда я сталъ демонстрировать,—очень развязно поворачивая въ рукахъ лобную кость, бугры, вѣчный шовъ и надбровныя дуги,—то она только качала головою и приговаривала: „Господи, Боже мой, какой ты вышелъ у меня безстрашникъ!“

Что касается до пріобрѣтенія гербарія, то оно не обошлось мнѣ даромъ. Надо знать, что это былъ дѣйствительно замѣчательный для того времени травникъ, хотя Москва и могла считаться истиннымъ отечествомъ травниковъ всякаго рода, только не ботаническихъ, а ерофѣчевыхъ; гербарій же 10-го номера

былъ, очевидно, не соотечественный. Вѣроятно его составлялъ какой-нибудь ученый аптекарь, нѣмецъ; онъ собралъ около 500 медицинскихъ растений, прекрасно засушилъ, наклеилъ каждое на листъ бумаги, опредѣлилъ по Линнею и каждый листъ съ растеніемъ вложилъ въ листъ пропускной бумаги. Чисто, аккуратно, красиво. Когда студентъ 10 нумера, Лобачевскій, показалъ мнѣ въ первый разъ это, принадлежавшее ему, сокровище, я такъ и ахнулъ отъ восхищенія. Лобачевскій предложилъ мнѣ купить эту, по моимъ тогдашнимъ понятіямъ, драгоценную вещь за 10 рублей, разумѣется, ассигнаціями, и сверхъ того привезти ему еще на память полковый шнурокъ для часовъ, вязанный сестрою; Лобачевскій былъ *galant homme* и гдѣ-то видѣлъ моихъ сестеръ. Я, не возражая и не торгуясь, внѣ себя отъ радости приобрѣтенія, попросилъ тотчасъ же уложить гербарій въ какой-то старый лубочный ящикъ; старый Яковъ связалъ ящикъ веревкою, стащилъ внизъ и положилъ въ сани къ извозчику.

Въ мечтахъ, наслаждаясь разсматриваніемъ гербарія, я и не замѣтилъ, какъ доѣхалъ до дому; тутъ только взяло меня раздумье; а что, какъ мнѣ денегъ-то не дадутъ, что тогда? да не можетъ быть!—Ну, а если?... Ахъ, Боже мой, какъ же это такъ я и не подумалъ прежде! Ну, будь что будетъ!

— „Прасковья! Прасковья! Ульяна! да подите сюда, помогите вытащить ящикъ изъ саней!“

Тащатъ. Вхожу въ комнаты уже ни живъ, ни мертвъ отъ волненія.

— Что это такое?—спрашиваютъ сестры.

— „Да это гербарій“.

— Что такое гербарій?

— „Ботаника“.

— Да вѣдь у тебя есть уже ботаника.

— „Какая?“

— Да ты развѣ не помнишь, сколько сушилъ разныхъ цвѣтотъ?

— „Ахъ, это совсѣмъ не то; это настоящій, какъ есть ботаническій гербарій, и все медицинскія растенія. Просто чудо, драгоценнѣйшая вещь, рѣдкость!“

— Да откуда же ты досталъ?

А я между тѣмъ распаковываю ящикъ, вынимаю пачки пропускной бумаги.

— „А вотъ посмотрите-ка сначала, каково, а? вотъ смотрите-ка *Atropa Belladonna*, нездѣшная, у насъ не растетъ. Эта красавица—ядъ страшный; а вотъ это растетъ и у насъ, видите: *Hyosciamus niger*. L.; это значить Линней, по Линнею—бѣлена. Чтѡ? Каково?“

— Кто же тебѣ подарилъ?

— „Вотъ тебѣ разъ: подарилъ! прошу покорно! Да гдѣ найдешь такихъ благодѣтелей, чтобы все дарили вамъ? Я купилъ“.

— Купилъ! а деньги гдѣ?

— „Буду просить“.

А о шнуркѣ я ни гу-гу.

Начинаются переговоры и пересуды. Мать узнаетъ и называетъ мою покупку самоуправствомъ, легкомысліемъ, расточительностію; угрожаетъ, что отецъ не дастъ денегъ. Я—въ слезы, ухожу къ себѣ, ложусь въ постель и плачу навзрыдъ,—и такъ на цѣлый вечеръ, нейдю ни къ чаю, ни къ ужину; приходятъ сестры, уговариваютъ, утѣшаютъ. Я угрожаю, что останусь дома и не буду ходить на лекціи. Обѣщаютъ, во что бы то ни стало, достать къ завтрашнему дню 10 рублей. А про шнурокъ я все-таки ни гу-гу. Такъ, благодаря ходатайству сестеръ, дѣло и уладилось. Я принесъ Лобачевскому, на другой день 10 рублей, а про шнурокъ что-то сболтнулъ, не помню; только Лобачевскій его никогда не получалъ, хотя при каждомъ удобномъ случаѣ и напоминалъ мнѣ о моемъ обѣщаніи; а я, въ досадѣ на свою легкомысленность, посылалъ Лобачевского внутренно ко всѣмъ чертямъ.

Съ этихъ поръ гербарій доставлялъ мнѣ долго, долго неописанное удовольствіе; я перебиралъ его постоянно и, не зная ботаники, заучилъ на память наружный видъ многихъ, особливо медицинскихъ, растений; лѣтомъ ботаническія экскурсіи были моимъ главнымъ наслажденіемъ, и я непременно сдѣлался бы порядочнымъ ботаникомъ, еслибы нашелъ какого-нибудь знающаго руководителя; но такого не оказалось, и мой драгоценный гербарій, увеличенный мною и долго забавлявшій меня, сдѣлался потомъ снѣдью моли и мышей; однако-же цѣлыхъ

16 лѣтъ онъ просуществовалъ, сберегаемый безъ меня матушкою, пока она рѣшилась подарить его какому-то молодому студенту.

Кромѣ костей и гербарія, я принесъ еще домой изъ 10-го нумера и мое новое міровоззрѣніе, удививъ и опечаливъ этимъ не мало мою благочестивую и богомольную матушку. Въ церковь къ заутренямъ и даже всенощнымъ я продолжалъ еще ходить, соблюдалъ посты и всѣ обряды; но при каждомъ случаѣ, когда заходила рѣчь съ матерью и домашними о святости вѣшняго богопочитанія, о страшномъ судѣ, мукахъ въ будущей жизни, и т. п., я сильно протестовалъ, глумился надъ повѣствованіями изъ Четы-Минеи о дьяволѣ и его проказахъ, и пр.

— „Да разсудите, сдѣлайте милость, маменька, сами“, — доказывалъ я логически: — „какъ же это можетъ быть? Вѣдь Богъ, вы знаете, всевѣдущъ, всевидящъ, правосуденъ, милосердъ; поэтому Онъ знаетъ навѣрное, что мы будемъ злы, и все-таки накажетъ насъ потомъ за то, что мы были злы, — гдѣ же тутъ справедливость и милосердіе?“

— Да вѣдь тебѣ Богъ далъ волю; выбирай, не дѣлай зла.

— „А, позвольте, къ чему же мнѣ эта воля, когда Богу заранѣе было извѣстно, — вѣдь Онъ всевѣдущъ, — что я согрѣшу и буду грѣшникомъ?“

Такъ резонировалъ я съ моею старушкою (тогда она не была еще такъ стара), и замѣчу кстати, что этимъ же самымъ пошленькимъ резонерствомъ я затыкалъ не однажды ротъ православнымъ догматикамъ изъ семинаристовъ.

Я помню, что съ старымъ товарищемъ по профессорскому институту (онъ былъ годами 20-ю старше меня) я цѣлые часы, ночью, болталъ на эту тему. И ни ему, ни мнѣ не приходило въ башку, что ни о всевѣдѣніи, ни о правосудіи, ни о милосердіи творческомъ намъ не суждено знать, и не намъ, не нашему человѣческому уму судить о свойствахъ абсолюта.

Когда наше нравственное начало ищетъ себѣ опору въ Божествѣ, то мы неминуемо должны остановиться на откровеніи и вѣрить Христу, разрѣшавшему подобныя моимъ сомнѣніямъ, что невозможное для человѣка — возможно для Бога.

Справедливо кто-то замѣтилъ, что двумъ мало-мальски

образованнымъ русскимъ нельзя сойтись вмѣстѣ, чтобы не заговорить тотчасъ же объ отвлеченныхъ предметахъ.

Это должно быть признакъ молодости нашей культуры; все ново, зелено, незрѣло, не передумано, не пережито, не осмыслено. Такъ и со мною: лишь только я выскочилъ изъ дома на волю и сблизился съ университетскою молодежью, — тотчасъ же давай слушать, судить и рядить о матеріяхъ отвлеченныхъ. Почти съ того же давняго времени у меня составилось и крѣпло вѣрованіе, и я началъ убѣждаться въ предопредѣленіи.

Сначала оно мнѣ представлялось въ видѣ нравственнаго Немезиса, а потомъ сдѣлалось роковымъ логическимъ выводомъ. При складѣ моего ума, я никогда не могъ себѣ представить ни физическаго, ни нравственнаго міра безсвязнымъ и безцѣльнымъ; а потому и предопредѣленіе я основываю на непрерывной и безконечной связи зависящихъ другъ отъ друга причинъ и слѣдствій.

Немудрено, что, при моемъ складѣ ума, при моемъ воспитаніи, при моемъ возрастѣ, формація моего міровоззрѣнія, тотчасъ же по вступленіи въ университетъ, началась не снизу; ломка началась сверху. Сначала я сталъ потихоньку мести мою лѣстницу съ верхнихъ ступеней; но выбрасывать соръ не смѣлъ. Обрядность и внѣшность богочитанія сохранялись мною отчасти по привычкѣ, отчасти изъ страха. Но если прежнее дѣло оставалось *in statu quo*, то прежняя мысль уже сильно потрясалась и рушилась.

— „Какой, право, Яковъ Ивановичъ (Смирновъ, о которомъ я говорилъ, кажется) пересудникъ и зубоскаль, — говоритъ матушка: — какъ можно такъ отзываться о священнослужителяхъ!“

Я. — Да, послушали бы вы, что поповскіе сынки въ университетѣ говорятъ о своихъ батюшкахъ, такъ другое бы и сами подумали о попахъ; вѣдь это жрецы.

Матушка. — Что ты, Богъ съ тобою! вѣдь у насъ безкровная жертва.

Я. — Да что же, что безкровная? Все-таки и наши попы надуваютъ народъ, какъ жрецы прежде надували.

Матушка. — Какъ это можно такъ сравнивать!

Я. — Да отчего же не сравнивать? Вѣдь религія вездѣ, для всѣхъ народовъ, была только уздою (это выраженіе я слышалъ наканунѣ разговора отъ одного стараго семинариста на лекціи); а попы и жрецы помогали затягивать узду.

Матушка. — Религія — вѣдь это значить вѣра; такъ неужели же теперь, по вашему, и вѣры не надо имѣть?

Я. — Послушали бы вы, маменька, чтѣ говоритъ вонъ нѣмецкій философъ Шеллингъ (я только-что слышалъ о немъ въ 10-мъ номерѣ отъ одного яраго поклонника—профессора петербургской медико-хирургической академіи Велланскаго).

Матушка. — Да я читала его „Угрозы Свѣтовостоковъ“.

Я (съ насмѣшкою). — Да это не Шеллинга, а Штиллинга вы читали. Гдѣ же вамъ, маменька, понять Шеллинга; его и не всякій ученый пойметъ. Это натурфилософъ.

Матушка. — Да ты, Николаша, уже не хочешь ли сдѣлаться масономъ?

Я. — А что же такое масонъ? У насъ, тамъ, въ университетѣ, между нашими студентами есть и масоны (я намекаю на сдѣланное мнѣ втайнѣ сообщеніе изъ 10-го номера).

Матушка (крестится). — Ну, Богъ съ тобою! Съ тобою теперь не сговоришь. Вотъ время-то какое настало! Куда это свѣтъ идетъ?

Я. — Да куда же ему идти, и чтѣ такое время? Прошедшее невозможно; настоящаго не существуетъ; его не поймашь,—оно то было, то будетъ; а будущее неизвѣстно.

Эта послѣдняя тирада понравилась матушкѣ, и она долго послѣ напоминала мнѣ всегда: „А помнишь ли, какъ ты мнѣ говорилъ, что прошедшее не возвратишь, настоящаго нѣтъ, а будущее неизвѣстно. Эго такъ, такъ“.

Десятый номеръ остался мнѣ памятнымъ навсегда не только потому, что воспоминаніе о немъ совпадаетъ у меня съ развитіемъ перваго въ жизни міровоззрѣнія, но и потому еще, что слышанное и виданное мною въ этомъ номерѣ, въ теченіе цѣлыхъ трехъ лѣтъ, служило мнѣ съ тѣхъ поръ всегда руководною нитью въ моихъ сужденіяхъ объ университетской молодежи. 10-й номеръ 1824 года, перенесенный въ наше время, навѣрное считался бы притономъ нигилистовъ. И тогда почти все отрицалось; Бога не нужно было; религія была вредною уздою;

не отрицались только свобода, вольность и даже буйство, при полученіи жалованья. Формы, конечно, измѣнились. Отъ революціи, пожалуй бы, и не прочь, на словахъ, но систематическое осуществленіе принциповъ было не по силамъ. Осуществлять что-либо задуманное и передуманное, дѣйствовать, — это не нашего поля ягода; это нѣчто западное, пришлое къ намъ вмѣстѣ съ паромъ и желѣзными колеями.

Но университетское воспитаніе молодежи, предоставленное до 1824 года почти исключительно силамъ природы, едва-ли не дало, въ нравственномъ отношеніи, лучшіе плоды, чѣмъ позднѣйшее, искусственное.

Что вышло изъ всѣхъ этихъ энтузіастовъ вольности, этихъ отрицателей божества, вѣры и поклонниковъ Вольтера, натур-философіи, революцій и т. п.? То же самое, что выходитъ изъ всѣхъ ультрабуршей въ германскихъ и въ нашемъ дерптскомъ университетахъ. Я встрѣчался не разъ въ жизни съ прежними обитателями 10-го нумера и съ многими другими товарищами по московскому и дерптскому университетамъ, закоснѣлыми приверженцами всякаго рода свободомыслія и вольнодумства, и многихъ изъ нихъ видѣлъ потомъ тише воды и ниже травы, на службѣ, семейныхъ, богомольныхъ и посмѣивавшихся надъ своими школьными (какъ они называли) увлеченіями. Того господина, напримѣръ, изъ 10-го нумера, который горланилъ во всю ивановскую „Оду на вольность“, я видѣлъ потомъ типайшимъ штабъ-лекаремъ, женатымъ, игравшимъ довольно шибко въ карты и служившимъ отлично въ госпиталѣ.

Про германскихъ и дерптскихъ буршей и про нашихъ кутиль-студентовъ и говорить нечего. Извѣстное и переизвѣстное дѣло, что этотъ разрядъ университетской молодежи даетъ въ послѣдствіи значительный контингентъ отличныхъ доцентовъ, чиновниковъ-бюрократовъ, пасторовъ, докторовъ и пр. Перебьются — и людьми стануть. Die Jugend muss austoben. Правда, это поговорка нѣмецкая, а что для нѣмца здорово, то русскому, пожалуй, и не въ-прокъ. Вѣдь русскіе, поступавшіе, въ бытность мою въ Дерптѣ, студентами прямо изъ нашихъ училищъ, спивались съ кругу перѣдко, и очень немногіе изъ нихъ вышли

въ люди. Но молодежь каждой націи должна перебѣситься по своему, и русской надо перебѣситься по-своему, по-русски.

Вотъ, въ 1824—1825 годахъ, мнѣ кажется, такъ и дѣлалось. Тогда университетская молодежь, предоставленная самой себѣ, жила, гуляла, училась, бѣсилась по-своему. Не было ни попечителей, ни инспекторовъ, въ современномъ значеніи этихъ званій. Попечителя, князя Оболенскаго, видали мы только на актѣ, разъ въ годъ, и то издали; инспекторы тогдашніе были тѣ же профессора и адъюнкты, знавшіе студенческой бытъ потому, что сами были прежде (иные и не такъ давно) студентами.

Экзаменовъ курсовыхъ и полукурсовыхъ не было. Были переключки по спискамъ на лекціяхъ и репетиціи,—у иныхъ профессоровъ и довольно часто; но все это дѣлалось такъ себѣ, для очищенія совѣсти. Никто не заботился о результатахъ. Между тѣмъ аудиторіи были биткомъ набиты и у такихъ профессоровъ, у которыхъ и слушать было нечего, и нечему научиться. Проказъ было довольно, но чисто студенческихъ. Болтать, даже и въ самыхъ стѣнахъ университета, можно было вдоволь, о чемъ угодно, и вкривъ, и вкось. Шпіоновъ и наушниковъ не водилось; университетской полиціи не существовало; даже и педелей не было; я въ первый разъ съ ними познакомился въ Дерптѣ. Городская полиція не имѣла права распоряжаться съ студентами, и провинившихся должна была доставлять въ университетъ. Мундировъ еще не существовало. О какихъ-нибудь демонстраціяхъ никогда никто не слыхалъ. А надо замѣтить, что это было время тайныхъ обществъ и недовольства; всѣ грызли зубы на Аракчеева; запрещенныя цензурою вещи ходили по рукамъ, читались студентами съ жадностью и во всеуслышаніе; чего-то смутно ожидали.

Правда, общественная жизнь того времени не была еще, какъ теперь, взбаломученнымъ моремъ. О меньшей братіи не было еще толковъ. Культурный слой заботился только о себѣ и смотрѣлъ вверхъ, а не внизъ. Буржуазія еще стояла на пьедесталѣ. Но развѣ все это не было для насъ гораздо натуральнѣе и проще? Тогда, какъ и теперь, всѣмъ извѣстно было, что въ сущности, чтѣ бы тамъ ни говорилось, всякій заботится исключительно о себѣ; но тогда люди были, должно быть, от-

кровеннѣе и, заботясь о себѣ, не толковали о меньшей братіи и не поступали такъ, какъ будто бы изъ кожи лѣзутъ для другихъ. Всесвѣтное горе, Weltschmerz, не волновало еще умы людей и не было моднымъ занятіемъ тѣхъ, кому нечего было дѣлать. Правда, и тогда знали, что во времена дны Сынъ Человѣческій скорбѣлъ этимъ горемъ не для Себя; но знали также, что то былъ Единный, Непогрѣшимый, Безгрѣшный, имѣвшій власть отпускать и грѣхи другихъ; а потому, считая самоотверженіе и безкорыстное служеніе общему благу не дѣломъ во грѣхѣ рожденныхъ сыновъ человѣческихъ, подозрительно смотрѣли на вожаковъ и агентовъ вспомошествованія всесвѣтному горю.

Конечно, молодежь, какъ самый чувствительный къ вѣяніямъ времени барометръ, всегда обнаруживаетъ замѣтнѣе признаки небывалыхъ стремленій; такъ, немудрено, что современная молодежь, при появленіи на свѣтъ новыхъ соціальныхъ ученій, тотчасъ же изъявила готовность донкихотствовать и окунаться въ взбаломученное море.

Я убѣжденъ, однако-же, что не тяготѣй надъ нашими студентами съ 1826 года, цѣлыхъ 30 лѣтъ, систематическій гнетъ попечительствъ, инспекторствъ, и т. п., молодежь встрѣтила бы вѣянія новаго времени совсѣмъ инымъ образомъ. Несмотря на мою незрѣлость, неопытность и дѣтски-наивное равнодушіе къ общественнымъ дѣламъ, я все-таки тотчасъ же почувствовалъ начинавшійся съ 1825 года гнетъ въ университетѣ.

Гнетъ этотъ, какъ извѣстно, усиливался crescendo и даже до сегодня, съ нѣкоторыми перемежками, — слѣдовательно, не 30, какъ я сейчасъ сказалъ, позабывъ, что дѣлалось въ послѣднія 20 лѣтъ, — а цѣлыхъ 50 лѣтъ. Довольно времени, чтобы, исковеркавъ *lege artis* молодую натуру и ожесточивъ нравы, перепортить и погубить многія сотни и тысячи душъ.

Вотъ куда зашелъ я изъ 10-го нумера, и забылъ, что хотѣлъ еще говорить о московскихъ извозчикахъ, возившихъ меня почти ежедневно съ Неглинной (университетъ, по понятіямъ тогдашнихъ извозчиковъ, находился на Неглинной) къ Троицѣ въ Сыромятники. Species моихъ возницъ именовалось волоч-

ками, и я имѣлъ удовольствіе, въ теченіе цѣлаго года, по вечерамъ ѣздить изъ университета домой на волочкахъ.

Этотъ, теперь не существующій, родъ возницъ перетаскивалъ человѣческія тѣlesa на дровняхъ. Незатѣйливый экипажъ, волочка, дѣйствительно, былъ не что иное, какъ большія дровни, покрытыя какимъ-то подобіемъ подушки; садились на эти дровни сбоку; ноги оставались свѣшенными на землю, и если были очень длинны, то едва не волочились по землѣ; когда было грязно, то предлагались для прикрытія колѣнъ и голеней дерюга или мѣшокъ, нисколько, впрочемъ, не оправдывавшіе возлагавшихся на нихъ надеждъ.

Какъ бы современному прогрессу ни казались ненормальными извозчики московскія волочки 1825 года,—но онѣ вполне гармонировали съ тогдашнимъ состояніемъ столичныхъ переулковъ и моего кармана. За 10 и за 5 копѣекъ,—смотря по тому, гдѣ я садился на волочки,—онѣ везли меня цѣлыхъ 8 верстъ, въ темные, осенніе вечера, по непроходимой грязи различныхъ переулковъ и закоулковъ, путешествіе пѣшкомъ по которымъ было сопряжено съ опасностью для жизни, и я это испыталъ нѣсколько разъ, когда мнѣ приходилось отправляться по инфантеріи.

Разъ, въ безлунный, темный, осенній вечеръ, я, не желая передать извозчику болѣе пятачка, загрязъ по щиколки въ какомъ-то глухомъ закоулкѣ и былъ атакованъ собаками; перепугавшись не на шутку, я кричалъ во все горло, отбивался бросаніемъ грязи, и, наконецъ, кое-какъ выкарабкался изъ нея, весь испачканный и съ потерей галопъ.

Извозчики и учащаяся молодежь—это два самые вѣрные барометра культурнаго общества: по нимъ узнается очень скоро и настроеніе, и степень культуры общества. Иначе и не могло быть. Чѣмъ дѣятельнѣе обмѣнъ веществъ, тѣмъ живѣе и совершеннѣе организмъ. Чѣмъ дѣятельнѣе обмѣнъ идей, а съ ними и умственныхъ и матеріальныхъ произведеній, тѣмъ культурнѣе и совершеннѣе общество. А кто, какъ не школа и молодежь, укажетъ намъ прямо и вѣрно умственную жизнь общества, его стремленія, силу и скорость обмѣна господствующихъ въ немъ идей? Кто, какъ не извозчики и главный ихъ

raison d'être—пути сообщенія, покажетъ намъ силу и скорость обмѣна въ матеріальномъ бытѣ общества?

Прошло менѣе года, судя по расчету времени, и гораздо болѣе, судя по однимъ воспоминаніямъ, съ тѣхъ поръ, какъ я вступилъ въ московскій университетъ, и страшное горе-злосчастіе разразилось надъ нашею семьею.

Уже года два тянулась исторія съ покражею казенныхъ денегъ комиссіонеромъ Иваковымъ; домъ и имѣніе были уже описаны въ казну, были и частные долги; но отецъ умѣлъ вести дѣла, былъ повѣреннымъ по разнымъ дѣламъ и между прочими и по имѣнію генерала Николая Мартыновича Сипягина, женатаго на богатой Всеволожской.

Въ теченіе этого времени, помню, толковали много у насъ о пріѣздѣ въ Москву для ревизіи комиссаріата какого-то грознаго Аббакумова; называли его арачьевцемъ. Онъ упекъ многихъ подъ судъ; отецъ, однако-же, избѣжалъ суда и вышелъ по-просту въ отставку; мы продолжали жить почти-что по прежнему, какъ въ бывше счастливые дни. Я помню еще, какъ отецъ, вышедъ въ отставку, въ первый разъ надѣлъ темно-коричневый, съ темными пуговицами, фракъ и сапоги съ кисточками; помню, кажется мнѣ, и то, что онъ сталъ какъ-то задумчивѣе, неподвижнѣе; прежде мы только по вечерамъ его видали дома; теперь мы заставляли его нерѣдко посреди дня спать на диванѣ; онъ чаще сталъ жаловаться на головныя боли, и характеръ его, должно быть, измѣнился; вспыльчивый и горячій по природѣ, отецъ сдѣлался равнодушнымъ. Какъ теперь вижу,—онъ сидитъ и брѣтается; входитъ низенькая, толстая фигура бавыщика и торговца дровами и начинаетъ тянуть предлинную канитель объ уплатѣ денегъ за купленные у него дрова и, замѣтивъ, наконецъ, равнодушіе отца къ его доводамъ, говоритъ: „нѣтъ, я уже теперь вижу, придется идти мнѣ не къ Ивану Ивановичу (моему отцу), а къ Александру Алексѣвичу“ (т.-е. къ московскому оберъ-полицеймейстеру Шульгину съ жалобою на должника). На всю тираду бавыщика отецъ не отвѣчаетъ ни полслова; я стою и слушаю,—и, вѣрно, слушалъ очень внимательно, если до сихъ поръ помню.

Въ половинѣ апрѣля отецъ приходитъ изъ бани и выпиваетъ стаканъ квасу. Ночью въ домѣ тревога. Захватило духъ; посылаютъ за лекаремъ, пускаютъ кровь, затѣмъ слѣдуетъ облегченіе; отецъ чрезъ нѣсколько дней встаетъ съ постели, прохаживается по саду, но не выздоравливаетъ; лекарь изъ воспитательнаго дома, Кашкадаловъ, призываетъ на консилиумъ все того же Ефр. Осип. Мухина, нашего стараго знакомаго и добродѣя.

Вспоминаю два разсужденія по поводу этого консилиума. Оканчивавшіе курсъ изъ 10-го нумера, услыжавъ отъ меня, что Ефремъ Осиповичъ прописалъ отцу *magnesia sulfurica* въ растворѣ, рѣшили съ самоувѣренностію, что они сдѣлали бы то же самое, что и Мухинъ; а мой почтенный подлекарь Григ. Мих. Березкинъ, съ нависшими бровями, полузакрытыми глазами, хриплымъ голосомъ, скороговоркою и отрывисто, какъ-то подѣвъ носъ себѣ, бормоталъ: „тутъ бы, эдакъ, надо бы амага, амага *goborantia* бы, эдакъ“. И я, вспоминая блѣдно-желтоватый, безкровный обликъ въ послѣдній разъ въ жизни видѣннаго отца, невольно думаю: старикъ Березкинъ правъ былъ...

Насталъ день 1 мая, гулянье въ Сокольникахъ, день прехорошный, солнечный, теплый; мы вздумали вывезти отца за городъ на нѣсколько часовъ; условились, чтобы я воротился изъ университета къ часу, и мнѣ помнится, какъ будто отецъ, вставъ поутру въ этотъ день, говорилъ намъ, что во снѣ кто-то ему сказалъ очень внятно: „слышалъ ли, что Иванъ Ивановичъ Пироговъ умеръ“. Не берусь рѣшить навѣрное, слышалъ ли я это изъ устъ самого отца, какъ мнѣ кажется, или узналъ послѣ изъ разсказовъ отъ домашнихъ.

Радостно я уходилъ въ университетъ, въ надеждѣ, возвратившись, тотчасъ же поѣхать съ отцомъ за городъ; грустно было мое возвращеніе, — и теперь, 56 лѣтъ спустя, сердце поетъ, когда привожу на память, что я увидѣлъ, возвратившись домой.

Что-то зловѣщее чуялось мнѣ, когда я приближался къ дому. У воротъ стояло нѣсколько человѣкъ и ворота были отперты; слышался шумъ и бѣготня. Меня забыли или не могли предупредить. Чуя что-то недоброе, я пробѣжалъ чрезъ дворъ въ сѣни и переднюю, и лишь только отворилъ дверь въ боль-

шую комнату (залу), мнѣ представился столъ, а на столѣ — темно-багровое, раздутое лицо отца, окаймленное воротникомъ мундира; у меня закружилась голова, сердце сжалось, ноги подкосились, и я упалъ на руки къ подбѣжавшимъ ко мнѣ сестрамъ.

Одна изъ нихъ рассказала потомъ мнѣ, что, не болѣе, какъ за часъ до моего прихода, она подала отцу ложку съ лекарствомъ; онъ сидѣлъ на стулѣ, и лишь только поднесъ ложку ко рту, какъ побагровѣлъ, захрапѣлъ и повалился со стула. *Aprolétie foudroyante.*

Остановлюсь на наслѣдственныхъ характерныхъ чертахъ нашей семьи. Современный вопросъ о вліяніи наслѣдственности на организмъ только тогда рѣшится удовлетворительно, когда соберется достаточный и надежный матеріалъ изъ описаній наслѣдственной характеристики огромнаго числа семей и особей.

Въ нашемъ семействѣ весьма рѣзко выразились два различные типа; одна часть мужского и женскаго поколѣнія (братья и сестры) была почти черноволосая, долголицая, съ продолговатыми носами, темно-кариими глазами, густыми волосами на головѣ и тѣлѣ; другая половина, напротивъ, была круглолица, съ черепомъ болѣе широкимъ, чѣмъ высокимъ, сплюснутымъ широкимъ носомъ, нѣсколько выдавшимися скулами, свѣтлыми и голубыми глазами, свѣтло-русыми и жидкими волосами на головѣ; мужское поколѣніе этого типа плѣшиво, — плѣшь начинается со лба, а не съ макушки головы, — но борода окладистая и густая.

Изъ шести оставшихся на моей памяти членовъ нашей семьи (трехъ братьевъ и трехъ сестеръ) только двое принадлежали къ первому типу долголицыхъ (братъ и сестра), тогда какъ нашъ отецъ, мать и четверо насъ остальныхъ дѣтей (двое братьевъ и двѣ сестры) были представителями второго типа.

Дѣда и бабушку мою я не помню, но, судя по рассказамъ, дѣдъ принадлежалъ также къ этому разряду, хотя и былъ на старости совершенно плѣшивъ; находили нѣкоторое сходство между нимъ и старшимъ моимъ братомъ, Петромъ.

Разсказывали, что дѣдъ Иванъ Михайловичъ былъ высокій плотный мужчина и жилъ болѣе ста лѣтъ; увѣряли даже, что передъ смертью у него начали прорѣзываться новые зубы!??

Онъ служилъ прежде въ арміи и помнилъ еще многое изъ временъ Петра Перваго, потомъ поселился въ Москвѣ, завелъ какую-то, для того времени новую, пивоварню, женился и былъ строгимъ мужемъ; бабушка въ послѣдніе годы жизни помѣшалась, капризничала, бранилась и дралась съ мужемъ.

Помѣшательство перешло по наслѣдству и на старшую сестру мою, какъ рассказывали, очень похожую лицомъ на бабушку. Я наблюдалъ эту болѣзнь сестры съ самаго начала ея развѣтія, съ 1841 г., а смерть постигла сестру въ 1869 году.

Все наше семейство было характера вспыльчиваго и горячаго; но вспышки нивогда не продолжались долго. Эти черты нрава перешли отъ дѣда и бабки къ отцу, отъ отца—къ намъ. Мать моя принадлежала, какъ сказано уже, ко второму типу, имѣла характеръ сходный съ отцовскимъ, но отличалась большею сдержанностью; зато и гнѣвъ ея не проходилъ такъ скоро, какъ отцовскій, а расположеніе духа не такъ быстро мѣнялось, какъ у отца; она была и расчетливѣе, и бережливѣе.

Мнѣ кажется, я многое наслѣдовалъ отъ нея и съ физической, и съ нравственной стороны, и между прочимъ—тонкія руки и ноги, худощавость, наклонность къ катаррамъ, шумъ въ ушахъ, религіозное настроеніе духа, охоту къ занятіямъ и бережливость.

2-го марта 1881.

Сегодняшняя потрясающая новость заставляетъ придать моей хроникѣ снова прежнюю форму дневника. Нельзя не передать бумагѣ мысли глубоко взволнованной души. Только что получилъ отъ исправника изъ Винницы приглашеніе къ панихидѣ по Александрѣ II-мъ, съ извѣщеніемъ, что онъ скончался отъ ранъ, нанесенныхъ ему 1-го марта двумя взрывчатыми снарядами. Семь разъ было покушеніе на жизнь; едва-ли въ исторіи найдется другой примѣръ такъ часто (въ теченіе 15-ти лѣтъ) повторявшихся попытокъ отнять жизнь у государя, добраго въ душѣ и желавшаго, безъ сомнѣнія, добра государству, конечно, по своему личному убѣжденію. За что же? За что такая злая ненависть и злодѣйское упорство? Вопросъ не-легкій и глубокій, по его нравственно-историческому значенію. Будь я не русскій, а чужеземецъ, я не затруднился бы тотчасъ

же отвѣчать слѣдующимъ соображеніемъ: „Россія-моль долго ждала съ освобожденіемъ крестьянъ; ему надо бы было совершиться еще при Николаѣ; онъ, съ своею энергію, сдумѣлъ бы произвести давно реформу, ееслибы онъ не былъ обманутъ своимъ отвращеніемъ ко всему, чтѣ имѣло какой-либо видъ народной свободы въ государствѣ“, и т. д., и т. д.

„Запоздавшая эманципація пришла-моль поэтому въ самое неудобное время; съ одной стороны—еще не затертые слѣды кровавой войны, кончившейся постыднымъ миромъ; натянутыя до-нельзя пружины административнаго произвола, заправлявшаго всѣмъ въ государствѣ; крайняя потребность для существованія государства въ радикальныхъ экономическихъ реформахъ; съ другой же—броженіе умовъ во всей Европѣ, подъ наплывомъ новыхъ соціальныхъ доктринъ, угрожающее уже переходомъ отъ идеи къ дѣйствительному осуществленію на опытѣ,—и все это при неожиданныхъ, слѣдовавшихъ одно за другимъ и весьма знаменательныхъ политическихъ событіяхъ (освобожденіе Италіи, польское возстаніе, освобожденіе невольниковъ и междоусобныя войны Америки).

При такихъ обстоятельствахъ нельзя-моль было ожидать совершенно мирнаго и правильнаго, съ соблюденіемъ общихъ интересовъ (частныхъ и государственныхъ), исхода эманципаціи“...

Вѣроятно, такъ и объясняли себѣ американцы первое покушеніе на жизнь государя Каракозова, сравнивая его съ убійцей президента Линкольна. Конечно, намъ, русскимъ, такое сравненіе кажется уродливымъ. Но обыкновенно всѣ, даже и самые безпристрастные судьи, всегда ищутъ причину преступленій тамъ, гдѣ существуютъ или могутъ существовать какіе-либо мотивы къ совершенію преступленій.

Посторонній судья, узнавъ о часто случавшихся покушеніяхъ на жизнь особы государя, непременно задастся вопросомъ: да въ чьихъ же интересахъ было убить его? кому вредила или чье мщеніе возбуждала эта столь дорогая для цѣлаго государства жизнь? И у посторонняго судьи отвѣтъ не замедлитъ бы явиться . . .

Мы, русскіе, конечно, укажемъ постороннему судѣ прямо на шайку крамольниковъ, воспользовавшихся снятіемъ гнета и

проявляющихъ свою пагубную дѣятельность именно съ тѣхъ поръ, когда главою государства была дана большая свобода мысли и слова. Мы приведемъ и неоспоримые факты, укажемъ на связь нашихъ крамольниковъ съ интернаціоналкою, на значительный контингентъ евреевъ, принимающихъ участіе въ крамолѣ, и пр. и пр. Все это, я полагаю, не будетъ, однако, убѣдительно для чужеземнаго наблюдателя и оцѣнщика событій въ нашемъ отечествѣ

Но мы должны знать еще и многое другое, существенно измѣняющее взглядъ чужеземнаго наблюдателя на причины и мотивы нашей современной (1881 г.) общественной и государственной неурядицы. Я пишу откровенно, какъ думаю, безъ всякой задней мысли, а главное, какъ человѣкъ независимый, ничего не ищущій, отжившій свой вѣкъ, но все еще любящій отчизну и желающій ей добра. Я располагалъ помѣстять мой взглядъ на наши общественныя дѣла въ моемъ дневникѣ вполнѣ слѣдствіи; но теперь представился къ тому прискорбный случай. Онъ не даетъ говорить и думать о чемъ-нибудь другомъ. Пожалуй, задохнешься отъ наплыва взволнованныхъ чувствъ и мыслей, если не дашь имъ вылиться на бумагу; она, какъ извѣстно, все терпитъ, — вытерпитъ и этотъ напоръ. Хотя онъ и временный, и случайный, но наплывшія мысли родились не сейчасъ.

Погибъ отъ преступной руки самодержавный государь на улицѣ, охраняемый стражею, окруженный толпою народа. Безпристрастная исторія оцѣнитъ вполнѣ его заслуги предъ Россією; онъ были необыкновенныя, вѣковыя. И самъ цареубійца (если онъ былъ не подлый рабъ и наемникъ) предъ судомъ своей совѣсти будетъ оправдываться развѣ тѣмъ только, что онъ сдѣлалъ для Россіи такъ, какъ бы это надо было сдѣлать по мнѣнію единомышленниковъ самого убійцы.

Но вѣнка безсмертія убійство не сорветъ съ головы Александра II-го. Это должны признать и самые злѣйшіе его враги, если въ нихъ осталась хотя одна тѣнь безпристрастія и любви къ правдѣ.

Кого же изъ мыслящихъ и любящихъ истину людей не заставитъ задуматься это упорное подпольное преслѣдованіе государя, такъ много сдѣлавшаго для своего государства, — и

зато въ теченіе 15-ти лѣтъ семь разъ подвергавшагося покушеніямъ на свою жизнь.

Причина, вѣрно, не одна; какъ всегда, причину важныхъ событій нужно искать въ совпаденіи различныхъ обстоятельствъ; они, какъ разсѣянные лучи теплоты, собираются какимъ-то зажигательнымъ стекломъ въ фокусѣ и устремляются на одну предназначенную точку.

Посмотрю съ самаго начала, какъ мнѣ, незнакомому ни съ государственною, ни съ закулисною стороною современной жизни, представляется весь ходъ событій съ того, именно, момента, когда новый государь дѣлаетъ первый крупный шагъ на пути прогресса.

Но когда рѣчь идетъ о личномъ, болѣе или менѣе субъективномъ взглядѣ на дѣло, то прежде всего нужно уяснить себѣ, каковъ глазъ, которымъ смотришь.

Я вотъ уже смотрю на четвертое царствованіе. На первое я смотрѣлъ дѣтскими глазами и видѣлъ только окончаніе его университетскимъ подросткомъ; второе пришлось мнѣ созерцать юношею, въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ; третье застало меня уже отцомъ подрастающихъ дѣтей, уже многое испытавшимъ, но еще готовымъ на борьбу и новую жизнь; наконецъ, четвертое я встрѣчаю одряхлѣвшимъ, но не отжившимъ нравственно старикомъ. Итакъ, я обращаю мой старческий взглядъ назадъ, на то, что я видѣлъ и что мнѣ казалось въ самую пору моей умственной зрѣлости.

Что вызвало эманципацію крестьянъ въ Россіи, какъ начало началъ нашего прогресса, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣхъ современныхъ событій? Послѣ печальныхъ дней севастопольскаго погрома вѣсть объ эманципаціи была первою зарею новой эры...

Надо молиться и надѣяться, что финалы другихъ актовъ будутъ болѣе во вкусѣ честныхъ и здравомыслящихъ сыновъ Россіи!

Я былъ въ то время попечителемъ одесскаго учебнаго округа, когда первая вѣсть объ эманципаціи доставлена была туда брюссельскою газетою „Indépendance Belge“. Студенты лица достали гдѣ-то нумеръ этой газеты, прочли новость, и тотчасъ же нѣсколько изъ нихъ отправились въ гостиницу

пить вино за здоровье государя и крестьянъ. Жандармскій генералъ тотчасъ же донесъ о происшествіи въ Петербургъ и сообщилъ мнѣ о случившемся; а я зналъ это уже прежде него отъ самихъ студентовъ и не находилъ въ этомъ ничего худого; узнавъ, однако-же, что о томъ писано въ Петербургъ, принужденъ былъ извѣстить министра Норова о происшедшемъ, съ моимъ оправдательнымъ комментариемъ. Къ счастью, генералъ-губернаторъ Строгановъ посмотрѣлъ, неожиданно для меня, какъ-то слегка на происшествіе, можетъ быть и потому, что генералъ, котораго онъ не жаловалъ, слишкомъ поторопился безъ него.

„Одесскій Вѣстникъ“ того времени былъ переданъ генералъ-губернаторомъ черезъ меня лицу. Я поручилъ редакцію проф. Богдановскому и Георгіевскому, и когда въ столичныхъ періодическихъ изданіяхъ начали появляться статьи, затрогивавшія крестьянскій вопросъ, то и редакція „Одесскаго Вѣстника“ издавала коснулась этого горячаго матеріала. Боже мой, поднялась какая тревога!

Несмотря на самыя глухіе, самыя неопредѣленные намеки о нѣкоторыхъ выгодахъ улучшенія крѣпостного быта (какъ называли тогда официально предстоящую эманципацію, полетѣли на меня въ Петербургъ съ разныхъ сторонъ донесенія. Два изъ нихъ, самыя главныя, пересланы были потомъ мнѣ: одно изъ министерства внутреннихъ дѣлъ (отъ Ланского), а другое—изъ министерства народнаго просвѣщенія (отъ Ковалевскаго). Первое настрочено было на пяти листахъ... (имя этого почтеннаго дѣятеля я уже позабылъ, да, по правдѣ, оно и не стоило того, чтобы о немъ помнить); тамъ я сравнивался, буквально, съ Маратомъ, Прудономъ, и т. п. Другое донесеніе шло на „Одесскій Вѣстникъ“ отъ самого генералъ-губернатора, т.-е. также на меня, какъ предсѣдателя цензурнаго комитета, хотя эта газета не могла, по закону, выходить въ свѣтъ безъ предварительной цензуры генералъ-губернатора.

Въ Кіевѣ, куда я перешелъ попечителемъ изъ Одессы,—другая исторія: тамъ польскіе помѣщики жаловались на студентовъ, своихъ соплеменниковъ, за ихъ сближеніе съ народомъ, на хохломановъ, подстрекающихъ народъ противъ пановъ.

Кіевскій генералъ-губернаторъ Васильчиковъ сообщилъ

мнѣ, что одинъ богатый польскій помѣщикъ (кіевской губерніи) — отецъ — донесъ ему на своихъ сыновей за ихъ сближеніе съ крестьянами. А въ то же время „Колоколъ“ Герцена звонить во всю ивановскую; запрещенный до того, что цензура не пропускала даже его имени, онъ читался всѣми, не исключая и учениковъ гимназій, на-расхватъ; какъ утаить отъ дѣтей, чтѣ занимало такъ сильно ихъ стцовъ и старшихъ братьевъ!!

Бѣду въ Петербургъ, призванный на съѣздъ попечителей 1860 г.; — глазамъ и ушамъ не вѣрю, чтѣ вижу и слышу. Въ Твери, гдѣ я останавливался по дѣламъ моего тверского имѣнія, я нашелъ вечеромъ человѣкъ 50 и болѣе, — и чтѣ тамъ говорилось почти публично, и въ какихъ выраженіяхъ проявлялось недовольство, — этого я никогда не забуду; и за что же? Это были не крѣпостники, а прогрессисты, недовольные прогрессомъ, называвшіе его анархіею.

Пріѣзжаю въ самый Петербургъ. Еще хуже: недовольство еще ярче. Тутъ является ко мнѣ одинъ изъ сосѣдей по тверскому имѣнію, застаетъ у меня Н. Х. Б., назначеннаго тогда въ ректоры кіевского университета и участвовавшаго въ редакціонной комиссіи. Я не зналъ, куда дѣваться, когда сосѣдъ напалъ на члена ненавистной ему комиссіи. „Вы хотите, молъ, крови! — восклицалъ онъ: — она польется рѣками!“ и т. п.

Но это былъ, по крайней мѣрѣ, крѣпостникъ и потому недовольный ех officio. Вечеромъ въ тотъ же день приходитъ ко мнѣ докторъ Шульцъ, имѣвшій входъ въ банкирскіе дома, знакомый коротко со многими художниками, вообще человѣкъ довольно смѣтливый. — „Ну, — говоритъ онъ мнѣ, — всѣ увѣрены, что въ Россіи должна быть революція; при этомъ государь — опытные люди полагаютъ — она еще не вспыхнетъ, но послѣ него непременно“. — „Полноте, любезный, молоть чепуху!“ отвѣчаю я. — „Поживите въ Петербургѣ, такъ увидите сами, какая перемѣна вышла въ 4 года!“ (я выѣхалъ изъ Петербурга собственно въ 1857 г.) были послѣднія слова Шульца.

Я прожилъ недѣли три въ Петербургѣ, и, дѣйствительно, не зналъ, чему удивляться: распущенности ли, съ одной стороны, или безалаберности, съ другой; то слышались довольно громко, почти публично, самые яркіе бредни и вызовы, то запрещались весьма скромныя журнальныя статьи. Вообще,

предшествовавшее непосредственно эманципации время оставило у меня впечатлѣніе чего-то смутнаго, неопредѣленнаго, не позволяющаго понять, должно ли радоваться тому, что предстоит, или только рукой махнуть.

Все это я привожу себѣ на память въ доказательство того, что общественное мнѣніе сильно расшевелилось вопросомъ объ эманципации; но изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что вопросъ былъ расшевеленъ общественнымъ мнѣніемъ. Онъ былъ поднятъ, несомнѣнно, сверху. Причинъ къ тому, какъ всѣ мы знаемъ, было не мало въ то время.

Только три рода людей изъ культурнаго класса встрѣчалъ я, въ то время не одобравшихъ эманципации: во-первыхъ, взятыхъ и неисправимыхъ крѣпостниковъ изъ эгоизма и личныхъ интересовъ; во-вторыхъ — крѣпостниковъ по принципу. „Все государство рухнетъ — говорили эти — безъ крѣпостныхъ людей“.

„Повѣрьте, Николай Ивановичъ, — говорили мнѣ въ Бессарабіи, — это все придумываютъ наши враги, французы и англичане; они, пожалуй, вставили такой крючокъ и въ мирный договоръ, зная, что ничѣмъ такъ не ослабишь Россію, какъ уничтоживъ или ослабивъ связь между простымъ народомъ и дворянствомъ“. — „Вотъ увидите, ваше превосходительство, помяните мое слово, увидите, что государство ужасно потерпитъ, — говорилъ мнѣ одинъ окружной начальникъ: — когда сократятся, послѣ эманципации, помѣщичьи запашки, вывозъ зерна уменьшится такъ, что на заграничные доходы нечего болѣе рассчитывать“.

Къ третьему роду противниковъ эманципации принадлежали люди, хотя и близорукіе, но не такъ ограниченные; они очень наивно утверждали, что нужно прежде образовать, а потомъ освобождать. Любопытно, что и между самими крестьянами — по крайней мѣрѣ нашей юго-западной окраины — встрѣчались противники эманципации, въ томъ смыслѣ, что, молъ, „нехай будетъ по прежнему, чтобы еще горше не было“. Это случалось и мнѣ не разъ слышать.

За эманципацию были всѣ ученые, учащаяся молодежь, люди, именуемые передовыми 1840-хъ годовъ; всѣ крестьяне, не очень забытые, особливо же дворовые, и, наконецъ, интел-

лигентная и передовая часть дворянства, надѣявшаяся и мечтавшая... Государь же и правительство, конечно, усматривали въ уничтоженіи крѣпостного права самое главное и самое современное средство къ поднятію экономическаго быта всего государства, къ увеличенію его доходовъ и къ сближенію съ западными государствами, сдѣлавшемуся крайне необходимымъ для культуры отсталой отъ Запада во всѣхъ отношеніяхъ Россіи.

Вопросъ объ эманципаціи былъ, какъ извѣстно, не новый. Еще при Александрѣ I-мъ рассказывали, что онъ хотѣлъ, послѣ уничтоженія крѣпостного права въ прибалтійскомъ краѣ, сдѣлать то же самое на сосѣдней псковской губерніи, и только, будто бы, опасеніе какого-то покушенія на жизнь государя и заговора, открытаго рижскимъ генераль-губернаторомъ Паулучи, остановили Александра.

При Николаѣ I-мъ не разъ проносились слухи о непремѣнномъ намѣреніи императора освободить крестьянъ и въ юго-западномъ краѣ. Бибиковъ введеніемъ инвентарей, очевидно, подготовлялъ актъ освобожденія.

При Николаѣ I-мъ же происходило не мало возмущеній между крестьянами (въ концѣ 1840-хъ годовъ). Одно изъ нихъ, витебское, я помню, надѣлало много шума въ Петербургѣ; рассказывали, что какой-то подрядчикъ, недовольный помѣщиками, разѣзжалъ, переодѣтый въ генеральскій мундиръ, по деревнямъ, выдавая себя за наслѣдника, и объявлялъ крестьянамъ, чтобы они шли въ Петербургъ къ самому государю, указъ котораго объ освобожденіи скрытъ помѣщиками и попами; крестьяне, какъ мнѣ сказывали, въ числѣ 10.000, двинулись, не послушавъ и самого начальника края, и только военною силою были остановлены на полпути.

Между тѣмъ въ волжскихъ провинціяхъ и до крымской войны ходили прокламаціи, присланныя изъ-за границы

Итакъ, причинъ, и причинъ самыхъ жгучихъ, для уничтоженія крѣпостного права въ Россіи, вскорѣ послѣ несчастной крымской войны, было довольно. Это ясно какъ божій день. Но и безъ того запоздалая эманципація должна была явиться еще въ такое тяжелое время, когда вездѣ скоплялся горючій матеріалъ для рѣшенія и другихъ взрывчатыхъ вопросовъ. Затронувъ одинъ, можно было поджечь и другіе.

При такихъ обстоятельствахъ, уничтожая крѣпостное право, нельзя было упустить изъ виду и другихъ сторонъ государственной жизни....

Крестьянство, какъ бы оно, по своему существу, ни было консервативно, есть все-таки стихійная сила; освобожденное самодержавною властью отъ вѣкового гнета, оно, несомнѣнно, могло служить опорой порядку; но прочно опираться на одно стихійное начало невозможно. Оригинальное представленіе о какомъ-то „мужицеомъ царствѣ“, пущенное въ ходъ, если не ошибаюсь, нашими славянофильскими фантазерами и слышанное мною не разъ въ началѣ 1860-хъ годовъ, едва-ли бы могло осуществиться въ XIX столѣтіи. Чтобы управлять „мужицкимъ царствомъ“, не распатавъ его въ основаніи и не предоставляя его историческихъ миссій и задачъ на произволъ стихійныхъ силъ народа, понадобились бы также другія интеллигентныя силы,—а гдѣ взять ихъ, если между властью и стихійнымъ крестьянствомъ не будетъ никакого посредствующаго сословія? А его-то у насъ и не доставало при освобожденіи крестьянъ.

Къ тому же съ 1848 года ненависть французскихъ демагоговъ къ буржуазіи вошла и у насъ въ моду между культурною молодежью; но такъ какъ у насъ французскихъ буржуа на лицо не оказалось, то эта ненависть перешла на кулаковъ и вообще зажиточныхъ людей, тѣмъ болѣе, что большинство нашей культурной и школьной молодежи принадлежить къ пролетаріату.

Когда на Западѣ порядокъ переставалъ опираться на одно сословіе, то на смѣну его являлся другой уже готовый классъ,—интеллигентный и дѣятельный.

Наше чиновничество, нашъ ученый и учебный пролетаріатъ, духовенство, мѣщанство и купечество, всѣ порознь, безъ всякой солидарности, не имѣли никакихъ задатковъ для управленія освобожденною отъ крѣпостного гнета страной. До того она управлялась, такъ сказать, механически; одно колесо, болѣе сильное, вращало другое поменьше и послабѣе; главную роль играли администрація и сословныя привилегіи, а на случай всегда у нихъ подъ рукою была военная сила.

Итакъ, главные опоры порядка до уничтоженія крѣпостного права были: администрація, бюрократія, военная сила

и привилегированное сословіе; а когда понадобилось перемѣнить центр тяжести, то опорами остались только бюрократія съ администраціею и военная сила. Правда, стихійное крестьянство можетъ быть организовано и управляемо до извѣстной степени; но тогда пришлось бы уже совсѣмъ сойти съ пути государственнаго и общечеловѣческаго прогресса.

Сверхъ этого новыя западныя ученія, демократизмъ и тому подобныя стремленія новаго времени, при прогрессивномъ починѣ въ извѣстной степени сверху, не могли не проникнуть и въ эти двѣ оставшіяся опоры порядка. Мало того: оказалась даже надобность въ демократическихъ принципахъ. Прежде всего они понадобились администраціи. Новое переустройство крестьянства послѣ эманципаціи и послѣ польскаго возстанія въ западныхъ губерніяхъ потребовало много новыхъ, свѣжихъ силъ, достаточно интеллигентныхъ для веденія такого сложнаго дѣла. И значительный контингентъ такихъ силъ доставила, именно, наша доморощенная въ эпоху 40-хъ годовъ демагогія разныхъ оттѣнковъ. Мѣста посредниковъ, чиновниковъ, въ новой администраціи по крестьянскимъ дѣламъ, особливо въ западныхъ губерніяхъ послѣ запрещенія принимать на службу лицъ польскаго происхожденія, потомъ слѣдователей, мировыхъ судей, чиновниковъ при губернаторахъ, и т. п., были отданы людямъ, прибывшимъ частію изнутри Россіи, а частію и туземцамъ, систематически вооруженнымъ противъ большого землевладѣнія, неравенства состояній, и т. п.

Одинъ, на примѣръ, изъ такихъ предсѣдателей сѣзда мировыхъ посредниковъ на самомъ сѣздѣ весьма наивно и во всеуслышаніе объявилъ мнѣ, что право наслѣдственное есть весьма сомнительное право, что земля не есть и не можетъ быть настоящею собственностью, что люди земли и воли необходимы для правительства въ западномъ краѣ, и т. п.

Кто жилъ въ западномъ краѣ въ 60-хъ годахъ, тотъ можетъ поразсказать многое о продѣлкахъ этихъ дѣятелей. Въ Бренеловскомъ имѣніи мировой посредникъ вышелъ на мостъ и, показавъ толпѣ крестьянъ помѣщичью усадьбу, крикнулъ: „Это все ваше, все должно отойти къ вамъ!“ Другой посредникъ въ моемъ имѣніи, въ бытность мою за границую, по свидѣтельству самихъ крестьянъ, предлагалъ имъ жаловаться

на выкупной, уже за два года утвержденный, актъ и помогаль имъ писать въ жалобѣ небывалыя вещи. Другой же посредникъ предлагалъ мнѣ уладить все это дѣло, заплативъ землемѣру мирового съѣзда за новый планъ крестьянскаго надѣла; и этотъ самый господинъ потомъ, подгулявъ за обѣдомъ у предсѣдателя, заявилъ во всеуслышаніе, что лучшее средство — перерѣзать всѣхъ пановъ. О такомъ пассажѣ нельзя уже было не донести по начальству, и этого посредника прогнали изъ Винницы, но потомъ гдѣ-то опять дали другое мѣсто.

Одинъ изъ ярыхъ защитниковъ крестьянскихъ интересовъ, между посредниками, сдѣлался такимъ демофиломъ, содравъ за годъ до эманципаціи съ крѣпостныхъ своей жены (въ херсонской губерніи) за одинъ личный выкупъ по 150 руб. съ души, убѣдивъ ихъ приписаться въ мѣщане или наняться въ кабалу у купцовъ и поповъ; такимъ образомъ этотъ рылый демагогъ, получивъ съ своихъ обезземеленныхъ крестьянъ (до 100 душъ) тысячъ 15, продалъ потомъ тысячи двѣ десятины пустопорожней земли и переѣхалъ въ юго-западный край благодѣтельствовать крестьянамъ на чужой счетъ.

Были, наконецъ, между господами посредниками этого края и отъявленные мазурики, и даже одинъ уголовный преступникъ. И то сказать: кто бы изъ уважающихъ себя личностей рѣшился подчинять себя полнѣйшему произволу начальства. Одинъ изъ смѣненныхъ такъ, *par l'ordre de moufti*, — предсѣдатель мирового съѣзда, — писалъ ко мнѣ передъ отѣздомъ изъ Винницы, прося моего ходатайства у генералъ-губернатора: „я занялъ 25 руб. на выѣздъ, а меня оклеветали во взяточничествѣ. Я отнялъ у помѣщиковъ винницкаго уѣзда слишкомъ 15.000 десятинъ въ пользу крестьянъ, и все еще не угодилъ краснымъ, засѣдающимъ въ Кіевѣ“.

Не помню, этотъ ли самый, или другой демократъ, однажды, на мое замѣчаніе о томъ, что крестьяне, какъ сосѣди помѣщиковъ, все-таки предпочтутъ лучше имѣть дѣло съ нами, чѣмъ съ чиновниками, — также весьма наивно объявилъ мнѣ: „въ такомъ случаѣ для правительства полезнѣе было бы отдать помѣщичьи земли намъ, а помѣщиковъ сдѣлать чиновниками“. Это почти такъ и случилось въ западной окраинѣ;

имѣнія конфисковались, помѣщики административно высылались, а чиновники и начальники края надѣлялись.

Когда эманципация крестьянъ повлекла за собою учрежденіе земствъ и новыхъ судовъ, то правительство обратилось, за неимѣніемъ надежнаго стараго, къ новому поколѣнію, и также не могло быть разборчивымъ; поэтому и въ земскую, и въ судебную области не могли не проникнуть современныя демагогическія стремленія, хотя проявленія ихъ и не могли быть безшабашны и грубы, какъ въ мировыхъ учрежденіяхъ западныхъ окраинъ послѣ польскаго мятежа.

Между тѣмъ новый порядокъ не могъ же въ новыхъ учрежденіяхъ создать себѣ оппозицію, а потому необходимо было стараться, сколько можно ограничить ихъ дѣйствія администраціею.

И вотъ, являются, съ одной стороны, соотвѣтствующія современнымъ требованіямъ преобразованія государственной машины, потребовавшія, въ свою очередь, и введенія въ дѣйствіе новыхъ понятій, новыхъ міровоззрѣній и новыхъ силъ, а съ другой стороны, понадобились прежніе, задерживающіе новый механизмъ, приборы.

Но и въ этотъ старинный регуляторъ нашей государственной машины, въ администрацію, вѣянія времени внесли-таки новые элементы, а съ тѣмъ вмѣстѣ и недовольство, притворство и ненормальное положеніе.

Всякому здравомыслящему ясно, что въ государствѣ, выступившемъ на новый путь, неустроенная смѣсь новыхъ учрежденій съ старыми, отжившими,—самое вредное и опасное дѣло. Всякій здравомыслящій видитъ, конечно, и чрезвычайную трудность регулировать тотчасъ и точно отношенія новаго къ старому, по мѣрѣ каждаго нововведенія. Зная это, надо готовиться на-встрѣчу съ препятствіями и, встрѣтивъ ихъ, не терять головы, не выходить изъ себя, не увлекаться въ выборѣ средствъ для борьбы съ препятствіями. Безъ сомнѣнія, каждый русскій, любящій свое отечество, не пожелаетъ ослабленія государственной мощи и власти; это было бы равносильно желанію видѣть Россію распавшеюся на части; но средства для усиленія этой власти могутъ быть часто обоудо-

остры: энергическія на видъ, на дѣлѣ они могутъ произвести эффектъ противоположный ожидаемому.

Я полагаю, что главное средство для усиленія власти состоитъ въ томъ, чтобы не сходить ни разу въ сторону съ предначертаннаго однажды пути, другими словами—знать хорошо и вѣрно, чего хочешь. Колебаться,—это опасно для власти.

4-го марта 1881 года.

Третьяго-дня, 2-го марта, я взялъ перо подъ наплывомъ разныхъ чувствъ и мыслей, стараясь уяснить себѣ, почему случилось,—а я отвергаю случай,—что одинъ изъ нашихъ лучшихъ государей погибъ преждевременно отъ насильственной смерти. Я старался припомнить себѣ изъ прожитаго теперь 25-лѣтія все, что казалось мнѣ имѣющимъ хотя бы и отдаленную связь съ катастрофою. Но, припоминая, я не могъ не привести себѣ на память и предшествовавшаго царствованію Александра II-го 25-лѣтія, и что же?

Ненормальная склонность въ нашей интеллигентной молодежи къ насильственнымъ мѣрамъ идетъ изъ той эпохи. Все не занимавшіе политикою въ 1840-хъ годахъ, я удивлялся и не понималъ ясно мотивовъ той затаенной странной злобы, которую встрѣчалъ нерѣдко въ откровенныхъ бесѣдахъ и у молодыхъ людей; помню, что и тогда еще мнѣ случалось слышать шипучія рѣчи о готовности собесѣдниковъ всадить ножъ или пулю всякому угнетателю, нарушающему человѣческое достоинство. Я полагалъ тогда, что это юношескія вспышки, подобныя тѣмъ, которыхъ я слышался въ 10-мъ номерѣ, въ 1820-хъ годахъ; но тонъ былъ уже иной, и, очевидно, гнетъ ощущался сильнѣе и отчетливѣе.

Къ концу 40 хъ годовъ прибавилось къ этому еще и новое, небывалое стремленіе интеллигентной молодежи къ сближенію съ меньшею братіею, проявившееся потомъ въ дѣлѣ Петрашевскаго.

При вступленіи на престолъ Александра II-го, я, сдѣлавшись попечителемъ, уже ясно замѣчалъ развитіе и ростъ этихъ стремленій по мѣрѣ того, какъ вопросъ объ эманципаціи приближался къ своему окончанію.

Но кто въ то время не увлекался и не волновался? По почину правительства, даже и равнодушнѣйшіе чиновные консерваторы считали обязанностью хоть немного да увлечься. Учащаяся молодежь рвалась къ сближенію съ освобождаемымъ народомъ, а тутъ еще рѣчь зашла и объ эманципаціи полевъ.

И вотъ мнѣ живо представляется арена со всѣми аксессуарами тайной и явной борьбы, возникшей между новыми, вызванными эманципаціею на свѣтъ, стремленіями и государственною властью,—то, по необходимости, поощряющей,—то подавляющей вызванныя ею на свѣтъ стремленія.

Арена эта—освобожденное отъ крѣпостного права, но еще не свободное крестьянство. На ней дѣйствуютъ, съ одной стороны, власть, по своему естественному праву стремящаяся укрѣпить и усилить себя освобожденною ею стихійною силою, съ другой же стороны—новое, еще не дозрѣвшее поколѣніе, съ новыми, пришлыми, извѣстными стремленіями, ищетъ въ этой же самой стихійной силѣ почвы и матеріала для осуществленія своихъ стремленій. Борьба неравная. Власть располагаетъ администраціею и новыми земскими и судебными учрежденіями. Но и администрація и учрежденія оказываются уже не прежними безотвѣтно-повинующимися силами; онѣ или ослабѣли, или прониклись сами новыми, несподручными элементами.

У власти есть еще и обаяніе, и военная сила; но первое сильно при довольствѣ; ко второй всякая государственная власть прибѣгаетъ только въ крайнемъ случаѣ, когда надо нанести разомъ рѣшительный ударъ, *coup d'état*; въ хронической внутренней неурядицѣ она—опасное средство. Но, съ другой стороны, вся сила—въ увлеченіи, настоящемъ или напускномъ и вынужденномъ.

Можно вообразить себѣ, какую тревогу въ свѣтѣ причинили бы выпущенные изъ всѣхъ домовъ умалишенные, еслибы сумасшествіе было у всѣхъ одно и то же и дѣлало всѣхъ этихъ мономановъ солидарными при осуществленіи общей имъ *idée fixe*!

Можно ли бы было поручиться, что солидарные мономаны не достигнутъ, наконецъ, своей фантастической цѣли или не

заразять своими галлюцинаціями и здоровыхъ? Примѣровъ было не мало въ исторіи. Мы всё живемъ подъ вліяніемъ психическихъ повѣтрій, охватывающихъ цѣлыя общества и уклоняющихъ ихъ далеко отъ прямого пути.

Не мало способствуетъ силѣ этой стороны и то, что она принуждена дѣйствовать подземно, подпольно, изъ-за угла и втихомолку. Никакая государственная власть одна, сама по себѣ, безъ содѣйствія всѣхъ и каждаго, не справится съ подпольною крамолою, какъ скоро она успѣла хотя нѣсколько организоваться.

Итакъ, государственная власть стремится по праву удержать за собою стихійную силу, и освобожденную ею для своей опоры и мощи на будущее время, а новое поколѣніе пролетаріевъ, авантюристовъ, недовольныхъ, софтовъ—стремится, изъ увлеченія, ненависти къ государственной власти, корыстныхъ цѣлей, гоньбы за эффектомъ, и т. п., привлечь къ себѣ эту же самую стихію, усматривая и чуя найти въ ней мощное средство, чтобы не допускать до усиленія государственную власть, поставить все верхъ дномъ и передѣлать весь свѣтъ по своему, на свой ладъ.

На помощь скрытой крамолѣ является общее недовольство, отчасти ею же самой возбужденное.

Прежде всего, недовольство учащейся молодежи. Съ самаго начала не сумѣли у насъ успокоить возбужденную молодежь.

Духовенству, въ свою очередь, также не посчастливилось отъ преобразованій. Повидимому, новый оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода съ 1866 г. весьма старался о коренной реформѣ быта всего нашего духовенства; но на дѣлѣ эта реформа отозвалась всего болѣе опять-таки недовольствомъ нашихъ софтовъ.

Семинаристамъ запретили входъ въ университетъ, намѣреваясь этимъ привлечь ихъ въ духовную академію. Ничего не бывало; вышло противное: радикальнаго улучшенія нравственно-культурнаго и матеріальнаго быта духовенства, благодаря всѣмъ преобразованіямъ прокурора, не послѣдовало, а подпольная крамола въ это время приобрѣла, вѣрно, не мало дѣятельныхъ членовъ изъ семинаристовъ. Самые крестьяне, изъ всѣхъ сословій

наиболѣе облагодѣтельствованные великою реформою, не оза-
лись довольными и счастливыми въ такой мѣрѣ, какъ этого слѣдо-
вало бы ожидать

Крестьянину, понятно, главное—какъ можно менѣе платить
въ казну; а тутъ плати не только въ казну, да еще волостному
старостѣ, писарю, на духовенство, на мировыя учрежденія, на
рекрута. Какъ же не послушать благодѣтелей въ кабакахъ,
толкующихъ, что царь скоро дастъ всю землю крестьянамъ, а
помѣщиковъ посадитъ на жалованье или просто прогонитъ и
велитъ бить? Чигиринское крестьянское дѣло доказываетъ, до
какой дерзости могли дойти дѣйствія крамольниковъ и какъ
легко поддаются крестьяне юго-западнаго края искушеніямъ.

А недовольство, легковѣріе, податливость и невѣжество
крестьянъ всего болѣе на руку той части культурной молодежи,
которая ищетъ, во чтѣ бы то ни стало, сближенія съ меньшею
братіею.

Да, это вѣяніе времени замѣчательно и, по моему мнѣнію,
заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія и не одной админи-
страціи, а истинно государственныхъ людей.

Причину этого курьезнаго стремленія, кромѣ интернаціо-
нальной, социалистической пропаганды, я нахожу, главное, въ
томъ, что у насъ нѣтъ настоящаго культурнаго сословія. Наше
facsimile культурнаго сословія—трень-брень: кое-какое чинов-
ничество, кое-какое купечество, кое-какое духовенство, все
частичное; есть особи такого сословія, но самого сословія нѣтъ!
И вотъ, культурная наша молодежь, которая, при вступленіи
Россіи, послѣ эманципаціи, на торную дорогу европейскаго
прогресса (другого мы въ XIX вѣкѣ не знаемъ), должна бы
представлять самый надежный контингентъ къ образованію на-
стоящаго интеллигентнаго сословія, за неимѣніемъ кадровъ
этого сословія, поворотила въ сторону и ищетъ соединить свои
будущіе интересы съ будущими же крестьянскими.

Для привлеченія сбитой съ толку молодежи на прямой,
надежный, не-химерическій путь прогресса недостаетъ двухъ
средствъ: во-первыхъ, нѣтъ организованныхъ кадровъ, а во-
вторыхъ,—чтѣ не менѣе важно,—нѣтъ и никакихъ приманокъ-
гарантій со стороны правительства, для привлеченія молодежи
хотя въ какіе ни на есть кадры этого сословія. А для этого,

по моему, не надо бы было слишком затруднять входъ въ высшія и среднія учебныя заведенія и дѣлать и жизнь, и ученье въ нихъ тягостными.

Надо надѣяться, что съ каждымъ годомъ будетъ увеличиваться контингентъ культурнаго сословія, если само правительство обратитъ наибольшее вниманіе на развитіе и организацию этого необходимаго класса общества.

А развитіе его требуетъ прежде всего льготъ самоуправленія и значительныхъ обезпеченій самостоятельности, что, въ свою очередь, при существующемъ еще значеніи и силѣ административной власти—немыслимо.

Наконецъ, война, казалось бы, могла содѣйствовать къ успокоенію крамолы, сблизивъ всѣ сословія; но, именно, тотчасъ же послѣ окончанія послѣдней войны, и начали слѣдовать одно за другимъ crescendo преступныя дѣйствія крамолы, поражавшія всѣхъ неслыханною дотошъ дерзостью предпріятій.

Мнѣ кажется и это объясняется тѣмъ, что крамольники рассчитывали на возросшее послѣ войны 1877—1878 годовъ недовольство въ различныхъ классахъ общества, вслѣдствіе упадка курса, неудачнаго мира, появленія чумной заразы, злоупотребленій интендантства, и т. п.

Какъ могла бы шайка злоумышленниковъ причинить столько зла сильному государству, еслибы всѣ классы, всѣ сословія были довольны, насколько вообще возможно общественное довольство? Все волновалось только послѣ каждой попытки къ преступленію, какъ будто изъ одного любопытства, а потомъ смотрѣло на происходящее только съ боязнью за себя, чтобы какъ-нибудь не быть вовлеченнымъ въ отвѣтственность, или же сѣтовало, и не безъ причины, на стѣснительныя административныя мѣры, аресты, обыски, ссылки, и проч. И это недовольство было, очевидно, на руку крамольникамъ; общество, наконецъ, не знало уже, кого ему болѣе ненавидѣть за произволъ и насиліе: крамолу или администрацію? А крамолѣ это было какъ нельзя болѣе на руку.

И вотъ, дошло до того, что гнусная и нравственно-ненавистная честному обществу крамола оказывалась нравственно же связанною съ нимъ сѣтью неумовимыхъ впечатлѣній.

Дѣло въ томъ, что крамола, какъ видно изъ разныхъ су-

дебныхъ изслѣдованій, есть только послѣднее слово соціальной утопіи. А утопія эта имѣетъ столько разныхъ оттѣнковъ, что умѣреннѣйшій изъ утопистовъ составляетъ незамѣтный переходъ къ простымъ прогрессистамъ

Какой же внутренній смыслъ ужаснаго царевубійства 1-го марта?

Или, можетъ быть, оно не имѣетъ никакого смысла и есть просто звѣрскій поступокъ злодѣя, рукою котораго управляла личная скотская злоба, фанатизмъ, корысть, безуміе?

.

Но ненависть шайки, основывавшаяся также на недовольствѣ извѣстной части молодежи, раздутая до ярости ложными утопіями, пропагандою коммунарковъ и коммунистовъ, корыстью и т. п., была едва-ли личная.

Александръ II, какъ человѣкъ, былъ такою личностью, которую нельзя было ненавидѣть; то была скорѣе ненависть къ государственности. Посягая на жизнь царя, и самые ограниченные изъ крамольниковъ, вѣрно, знали, что они убиваютъ не самодержавіе, а только одного изъ лучшихъ его представителей. Но они рассчитывали, что, возбуждая своими преступленіями смуты, безпорядки и недовольство въ обществѣ, они все-таки содѣйствуютъ къ разстройству и потрясенію ненавидимаго ими государственнаго строя, вообще—всякаго.

Государство—это разбойникъ, по ихъ ученію; въ замѣну государства придумалось даже—за неимѣніемъ ничего лучшаго—казачество.

Настолько, впрочемъ, эта ненависть могла быть и личною, что Освободитель не такъ освободилъ, какъ имъ хотѣлось; и какъ будто не исполнилъ обѣщаннаго, то-есть того, что имъ хотѣлось, что они сами обѣщали себѣ.

Мстили, можетъ быть, лично и за возрастающую по мѣрѣ преступленій строгость каръ. Крамольники (по крайней мѣрѣ, ихъ вожаки), надо полагать, рассчитывали всего болѣе, и не безъ основанія, на недовольство, хотя и знали, что оно никогда не было личнымъ, противъ особы царя. Они питали и раздували всѣми силами это недовольство,—находили себѣ, вѣрно, не безъ злорадства, немалую подмогу въ произволѣ и промахахъ администраціи.

Итакъ, вдумываясь въ прожитое прошедшее, я нахожу, что спертый до-нельзя, въ теченіе многихъ лѣтъ, и выпущенный въ послѣднее 25-лѣтіе на свободу духъ нашего времени проявилъ себя у насъ тотчасъ же борьбою съ властью. Духъ времени, выпущенный на волю, оказался у насъ, какъ и слѣдовало ожидать, похожимъ на степную, табунную лошадь, спущенную съ аркана.

Удобства почвы, избранной утопистами для борьбы съ властью, очевидны.

Нѣтъ ни одного государства въ Европѣ наименѣе муниципальнаго, чѣмъ Россія. У насъ выдумали даже русскаго государя называть въ похвальномъ смыслѣ „мужицкимъ царемъ“ и, конечно, Россію — „мужицкимъ царствомъ“. „Идти къ мужичкамъ“, сближаться съ крестьянскимъ людомъ, изучать деревню во всѣхъ отношеніяхъ — сдѣлалось моднымъ и любимымъ занятіемъ многихъ.

Я это говорю, конечно, не въ упрекъ; я самъ живу 15 лѣтъ безвыѣздно въ деревнѣ и интересуюсь, и по-волѣ, и по-неволѣ, крестьянскимъ бытомъ.

Я указываю на это стремленіе нашего культурнаго общества какъ на знаменіе времени. Стремленіе такое имѣть, какъ и все на свѣтѣ, не одну сторону. Оно почтенно, крайне полезно и необходимо для государства, въ особенности же для нашего, не-муниципальнаго. Но сближеніе съ меньшею братіею имѣть въ себѣ, какъ мнѣ кажется, много дутаго, напускного, ненормальнаго. Мнѣ кажется, многіе изъ молодежи ищутъ сближенія съ крестьянами безъ всякой программы и потомъ уже увлекаются жожаками; многіе вербуются *ad hoc*, а многіе только подражаютъ.

Я наблюдалъ это при первомъ открытіи воскресныхъ школъ въ Кіевѣ. Это было время, когда Миржевскій (пріѣхавшій самъ, разумѣется, *incognito* и разѣзжавшій по юго-западному краю съ русскою подорожною) пустилъ въ ходъ между польскою молодежью влеченіе къ меньшей братіи. Студенты всполошились и начали сближаться по-своему: пошли доносы, аресты, и т. п.

Учрежденіе воскресныхъ школъ при такихъ обстоятель-

ствахъ казалось мнѣ самымъ законнымъ и самымъ надежнымъ средствомъ къ устраненію и увлеченій, и подозрѣній.

Студенты, — именно малороссы, изъ польскихъ никто, — бросились учить въ этихъ школахъ, и учили, подъ надзоромъ инспектора училищъ, дѣльно.

Тутъ я и видѣлъ, какъ различны были мотивы стремленій молодежи къ сближенію съ народомъ.

Извѣстна участь воскресныхъ школъ въ Россіи: вслѣдствіе увлеченій, принявшихъ уродливое направленіе, онѣ были закрыты. Но безобразіе и произошло именно отъ того, что никто не занялся сначала регулированіемъ новыхъ отношеній молодежи и общества къ темной массѣ. А регулированіе этихъ отношеній на открытомъ полѣ много содѣйствовало бы къ укрощенію подпольной борьбы.

Несмотря на то, что главныя ея проявленія сосредоточились въ послѣднее время въ нашихъ муниципіяхъ (въ подражаніе Западу), нельзя не видѣть, что цѣлью ея служить все-таки почва, на которой легче поднять стихійныя силы и разжечь хищническіе инстинкты.

А эта почва — крестьянство и, конечно, не одно деревенское, а также мѣщанское и фабричное. И увлеченные, и злонамѣренные, и корыстные утописты не безъ основанія разсчитываютъ на нищету, темноту, непониманіе самыхъ основныхъ началъ общества, неуваженіе къ чужой собственности и многія стадныя свойства нашихъ, еще не вполне свободныхъ (прикрѣпленныхъ къ землѣ), крестьянъ.

Понятія нашихъ крестьянъ, насколько я могу судить по тѣмъ изъ нихъ, съ которыми я имѣлъ дѣло прежде, какъ мировой посредникъ, и имѣю теперь, какъ помѣщикъ, весьма оригинальны о царскихъ законахъ. Все, что нравится, что доставляетъ въ законѣ матеріальную выгоду крестьянамъ, то они считаютъ дѣйствительно отъ царя, и то, впрочемъ, если приносимая имъ выгода растолкована понятнымъ для нихъ языкомъ; но какъ только законъ имъ не по шерсти, то и сомнѣніе не далеко: да впрямь ли онъ царскій?

Такое безграничное довѣріе къ благодати царской власти, безъ сомнѣнія, доказываетъ преданность цѣлаго крестьянскаго сословія самодержавной волѣ; но оно же имѣетъ для прави-

тельства и весьма опасную сторону. Я был однажды свидетелем сцены, поразившей меня до того, что я не зналъ, вѣрить ли мнѣ моимъ ушамъ. Подольскій губернаторъ, Брауншвейгъ, при мнѣ (я былъ посредникомъ) увѣщевалъ собравшихъ въ Винницу крестьянъ и старостъ принимать уставныя грамоты, увѣрялъ ихъ, что это непремѣнная царская воля, и т. п. Крестьяне, слушая губернатора, одѣтаго въ мундиръ и окруженнаго исправниками, становыми и т. п., слушали, кланялись, не возражали, соглашались; но какъ только вышли со двора, гдѣ собирались передъ губернаторомъ, на улицу, какъ тутъ же начали толковать съ евреями, что тѣ, пожалуй, былъ и не губернаторъ, а переряженный панъ,—и грамоты потомъ все-таки не принимали.

Съ ихъ стороны это было, пожалуй, и не глупо; потомъ, при обязательномъ выкупѣ, имъ досталось больше отъ посредниковъ, явно и безъ зазрѣнія совѣсти грабившихъ польскихъ пановъ; но для закона и для законной власти, мнѣ кажется, въ этомъ пассажѣ нѣтъ ничего хорошаго.

Этими же полумиѳическими понятіями крестьянства о царскихъ повелѣніяхъ объясняется, конечно, и невѣроятный успѣхъ подпольной пропаганды между крестьянами въ чигиринскомъ уѣздѣ (дѣло съ золотою грамотою), и много другихъ прежнихъ дѣяній. И вотъ мы дѣлаемся свидѣтелями весьма страннаго явленія.

Борьба утопистовъ и крамольниковъ съ государственною властью ведется, болѣе или менѣе, во имя крестьянства и меньшей братіи,—и кѣмъ же?—людьми, большая часть которыхъ, по своему положенію и образованію, могла бы быть отнесена къ культурному сословію, если бы таковое у насъ существовало, какъ сословіе; между тѣмъ интересы этого класса людей не имѣютъ ничего общаго съ крестьянскими интересами.

Изъ-за чего же добровольные защитники такъ усердно дѣйствуютъ? Изъ любви къ ближнимъ, евангельской или платонической? Можетъ быть, нѣкоторые изъ нихъ—выспія натуры; но уже вѣрно не тѣ, которые считаютъ позволненнымъ всякое средство. Изъ-за идеала? Да, вѣра въ утопію можетъ быть фанатическая, изступленная, мученическая; но туманный, не-

оформулированный идеаль, это — не идеаль еще, а фантомъ, призракъ...

Невѣроятно, однако-же, чтобы вся крамола состояла изъ такихъ и такъ заблуждающихся личностей; гораздо естественнѣе принять, что это — зловѣщее для государства общество изъ разномыслящихъ и разнохарактерныхъ лицъ, соединенныхъ между собою разномотивнымъ недовольствомъ и на правитель-ство, и на государство, и на общество.

Меньшая братія для большинства или, по крайней мѣрѣ, для вожаковъ, — это предлогъ, избранный по своимъ удобствамъ для веденія борьбы.

Въ современномъ культурномъ обществѣ накопилось теперь довольно взрывчатого матеріала; онъ готовъ воспламениться и отъ незамѣтной, неуловимой причины. Изъ такого матеріала, вѣроятно, состоитъ и ужасающая наше общество крамола.

Динамитомъ, пирокселиномъ и нитроглицериномъ орудуешь не менѣе взрывчатый матеріаль. Онъ взрывается потому, что это лежитъ въ его натурѣ. Ему нужно разрушеніе. Творчество — не его дѣло. Изъ разрушеннаго пусть будетъ, чтѣ будетъ.

Только вожаки и передовые видятъ цѣль, но какую? А какую имѣлъ „бичъ божій“, огнемъ и мечомъ разрушавшій все, встрѣчавшееся ему на пути.

Культурное общество не боится уже болѣе божіихъ бичей, посылавшихся на него съ востока; наступаетъ, можетъ быть, время испытанія своего собственного бича. Кто проживетъ — увидитъ. Но покуда, мнѣ кажется, пришла пора для нашего правительства направить всѣ наличныя силы и средства земскихъ, общественныхъ учреждений для прочной организаціи и культуры низнихъ, основныхъ слоевъ общества.

Пора, пора обратить вниманіе на регулированіе стихійной силы, оставшейся и послѣ ея освобожденія такою же стихійною, какъ и прежде, а потому и служащей столько времени приманкою для утопистовъ и злонамѣренныхъ людей. Для нея законъ — это администрація и самая нелѣпая — администрація прощальгъ-писарей, безграмотныхъ и пьяныхъ старостъ, тунеядцевъ-посредниковъ, грубыхъ становыхъ урядниковъ и горлодеровъ сходовъ. Это плоды 20-лѣтняго режима провинціаль-

ной администраціи, начальниковъ края, крестьянскихъ присутствій, и т. п.

Теперь должна наступить новая эра для Россіи. Недовольство исчезнетъ, какъ скоро чрезмѣрная административная власть будетъ правильно регулирована судебною властью.

5-го—6-го марта 1881.

Съ 2-го марта до сегодня я писалъ, потому что не могъ не писать. Скопившіяся, подъ вліяніемъ страшнаго событія, и волновавшіяся мои чувства и мысли безъ удержа лились на бумагу. А я, по обыкновенію или, вѣрнѣе, по зарокѣ, не читалъ потомъ написаннаго, и всѣ поправки, помарки и вставки дѣлалъ въ то же самое время, какъ писалъ.

Сегодня въ первый разъ, опомнясь, задаю себѣ вопросъ: моего ли ума дѣло—судить о причинахъ настоящаго смутнаго состоянія Россіи и дѣлать предположенія о средствахъ къ выходу изъ него? Да развѣ—спрашиваю я теперь себя—ты можешь взглянуть на дѣло сверху, съ птичьяго полета, какъ великіе міра сего? развѣ ты имѣешь для этого достаточно средствъ и знаній? Сознаюсь,—не имѣю, а потому сознаюсь, что и все, съ 2-го по 4-е марта, вырвалось изъ-подъ пера у меня невольно, и потому есть болѣе сердечное, чѣмъ головное убѣжденіе

Голова доставила только воспоминанія прошлаго, пережитаго мною, и нѣкоторыя отрывочныя мысли, все остальное есть произведеніе сильно взволнованнаго чувства.

Что же: не лучше ли разорвать въ куски это произведеніе? Могутъ ли соображенія о важномъ дѣлѣ, вызванныя на свѣтъ взволнованнымъ чувствомъ, не быть ошибочными и ложными? Въ клочки, въ огонь!.. Нѣтъ, стой! Пусть все останется, какъ есть; ошибка прилична человѣку, и—мало того: она—его элементъ.

Мы осуждены, и чувствуя, и умствуя, безвыходно жить въ миражѣ. И бываютъ минуты въ жизни, когда чувство ориентуруется вѣрнѣе мысли въ этомъ миражѣ.

Это случается въ тѣ минуты, когда въ душѣ мыслящаго человѣка внезапно дѣлается приливъ и скопленіе самыхъ разно-

родныхъ чувствъ. Это и было со мною 2-го марта. Приливъ длился три дня. Анализируя сегодня его элементы, я вижу, что мой анализъ опоздалъ. Изъ составныхъ началъ прилива уже многое улетучилось и прошло. Въ этой скопившейся въ душѣ массѣ чувствъ и представленій теперь не найдешься. Тутъ были и ужасъ, и скорбь, и стыдъ, и гнѣвъ, и отчаяніе, и надежда. Если въ эти роковыя минуты умъ не теряетъ еще способности мыслить, то мы должны, мы обязаны пользоваться ими, не упускать, ловить ихъ на-лету и, сохранивъ самообладаніе, замѣчать, чтѣ принесло оно намъ съ собою.

Я это и сдѣлалъ.

И было бы глупою слабостью для 70-тилѣтняго старика стыдиться того, рвать и жечь, чтѣ онъ изложилъ на бумагѣ въ эти дни прилива взволнованныхъ чувствъ и мыслей. Пусть остается на память. Если ошибся, такъ ошибся,—не бѣда; отъ этой ошибки никому ни холодно, ни тепло.

Я писалъ совершенно спокойно мою автобіографію, когда услышалъ вѣсть о страшномъ событіи 1-го марта. Я собирался когда-нибудь высказаться въ моемъ дневникѣ о настоящемъ положеніи Россіи, какимъ я себѣ его представляю, при сравненіи съ пережитымъ прошлымъ.

И вотъ, внезапная вѣсть о кровавой катастрофѣ, закончившей по-истинѣ величественную эпопею царствованія Александра II-го!!.. Можно ли было удержать приливъ внезапныхъ, встревоженныхъ чувствъ и скопленныхъ, хотя еще и не разработанныхъ, мыслей?

Теперь я успокоился, но не настолько, чтобы снова приняться за мое собственное жизнеописаніе. Психическія бури проходятъ не разомъ. И чтѣ ни начнешь дѣлать, мысленная тревога все тянетъ думать о томъ же, чтѣ волновало чувство и мысль цѣльхъ три дня. Невольно обращаюсь опять къ своему образу положенію русской земли.

Я не знаю, какъ современные ученые опредѣляютъ, чтѣ такое государство. Помню, прежде всѣ опредѣленія мнѣ казались то странными, то невѣрными. Но до доктринерства ли теперь, когда почти всѣ—и культурныя, и не-культурныя—государства обрѣтаются не въ своей тарелкѣ ?!

Интересы современного общества такъ различны, спутаны, сложны, что тотъ, кому достается разматывать этотъ клубокъ, невольно дѣлается какъ бы антагонистомъ, то-есть разрушителемъ путаницы.

И интересы его поэтому не могутъ быть тѣ же самые, изъ которыхъ вить клубокъ. Клубокъ требуетъ одного: разматывай, но не рви. И если это соблюдается, то и при различныхъ интересахъ дѣло идетъ хорошо.

Но въ наше время антагонизмъ общества съ современнымъ порядкомъ доходитъ до того, что явилась уже на свѣтъ цѣлая фаланга людей, готовыхъ разорвать клубокъ и выравнять всѣ спутанныя нити. А когда интересы всѣхъ и каждого будутъ одни и тѣ же, то государству нечего будетъ разматывать; его роль сдѣлается отрицательною,—только не давать, чтобы ровныя нити опять спутались и склубились.

Уравнять интересы, уравнять и стремленія; сбить маковыя головки, выросшія выше другихъ; пьедесталы опрокинуть, почву выровнять. Все человѣчество должно сдѣлаться однимъ огромнымъ человѣкомъ, ростомъ до неба. Вотъ финалъ современныхъ социальныхъ утопій съ ихъ множествомъ оттѣнковъ и вариаций.

Вѣдь, мнѣ кажется, я не брежу. Миражъ существуетъ не только въ фантазіи, но служилъ уже мотивомъ для дѣйствій. И я сравниваю, живо представляю себѣ, и обаяніе умовъ, увлекающихся этимъ миражемъ, и положеніе современной Россіи.

Мы странны, національно странны, и въ нашей оригинальности, и въ нашемъ подражаніи. Въ оригинальности мы хотимъ перещеголять всѣхъ другихъ, выдумать разомъ что-нибудь такое, что другимъ никакъ бы не могло придти на умъ. Въ подражаніи мы или рабски подражаемъ, или же стараемся попасть, опять-таки разомъ, на самую послѣднюю ступень,—и то, чего другіе достигали медленно, переходя съ одной ступени на другую, мы хотимъ одолѣть разомъ.

Въ наше оправданіе мы не безъ основанія можемъ привести: „время не терпитъ“, и это вѣрно, но не вездѣ и не всегда.

Иномамъ приходится переходить отъ временного ружья къ шасспѣ и пибоди.

Но именно, когда необходимъ такой быстрый переходъ, мы

и пасуемъ; дѣлаясь осторожными и бережливыми охранителями пустыхъ интересовъ; начинаемъ изъ прежнихъ, старыхъ ружей выкраивать новыя.

Зато, гдѣ нужно соображеніе и здравый смыслъ, чтобы понять, что до многого хорошаго у другихъ нельзя достигнуть, не переживъ сначала всѣхъ фазъ его развитія,—тамъ мы пасъ.

И послѣ удивляемся, не вѣримъ, жалуемся, что у насъ не вышло хорошо.

На Западѣ, положимъ, идетъ отлично ассоціація труда и капитала.

Мы сейчасъ же такъ соображаемъ. У насъ есть и теперь уже на-лицо важный задатокъ—община; она такъ прямо, цѣликомъ и затенетъ за поясъ ассоціацію. А то нипочемъ, чтѣ пережило на Западѣ общество, чтѣ перечувствовало, переиспытало прежде, чѣмъ дошло до ассоціаціи?

Такъ и въ погонѣ за классицизмомъ. Такъ и въ социальномъ переустройствѣ общества и государства.

На Западѣ, и то не вездѣ, родился цѣлый классъ людей, ненавидящихъ буржуазію и бюргерство.

И намъ это нужно, то-есть не средній классъ нуженъ, а нужна ненависть къ нему,—ненависть къ тому, чего еще нѣтъ, и быть ему не нужно: мы—мужицкое царство.

На Западѣ есть представительство и преимущественно изъ средняго класса. Намъ не нужны ни этотъ классъ, ни это представительство. Намъ нужно что-то другое, болѣе радикальное, свое, оригинальное, и даже не конституція. А чтѣ же? Формулы еще нѣтъ; она явится впоследствии, а теперь надо только разрушать старое. Новое, лучшее, народится потомъ само собою. Нужна только земля, да воля, да общины. Съ меньшею братією надо слиться, и имущіе должны все раздать неимущимъ. Тогда заживемъ на славу!

Неужели не настанетъ для насъ всѣхъ время, когда мы поймемъ всю скудость нашего здраваго смысла? И, къ сожалѣнію, я не могу отнести этотъ вопросъ только къ одному нашему обществу, къ утопистамъ, къ незрѣлой молодежи.

7-го марта 1881.

Когда мнѣ было лѣтъ 17, я велъ дневникъ, потомъ куда-то завалившійся; отъ него осталось только нѣсколько листовъ; я помню, что записалъ въ немъ однажды приблизительно слѣдующее: „Сегодня я гулялъ съ Петромъ Григорьевичемъ (Рѣдкинъ;—это было въ Дерптѣ); мимо насъ проскакала карета и забрызгала насъ грязью. Петръ Григорьевичъ какъ-то осерчалъ, и съ досады сказалъ: „Ненавижу до смерти видѣть кого-нибудь ѣдущимъ въ каретѣ, когда я иду пѣшкомъ“. А я, помолчавъ немного, ни съ того, ни съ сего, говорю ему: „А знаешь ли: вчера въ темнотѣ я попалъ въ грязь около дома (въ глухой улицѣ); вдругъ слышу—скачетъ во весь опоръ, прямо на меня, съ пѣснями, извозчикъ, везетъ пьяныхъ и самъ, видно, пьяный; ну, думаю, какъ бы не задавилъ. Не успѣлъ я собраться съ мыслями, а онъ уже наскочилъ и тотчасъ же круто повернулъ отъ меня, значитъ, въ человѣческомъ сердцѣ есть врожденная доброта; зачѣмъ извозчику, да еще хмельному, было сворачивать, а не скакать прямо на меня; вѣкто бы и не пикнулъ, и я остался бы лежать въ грязи“.

— „Это, братъ, не врожденная доброта, а страхъ, — замѣтилъ Петръ Григорьевичъ:—*timor Domini*. только не божій, а государевъ“.

Почему этотъ пассажъ изъ моего стараго дневника приходитъ мнѣ теперь, черезъ 53 года, на память? А *propos des bottes*? Почему еще и тогда этотъ незначашій разговоръ нашъ, двухъ молодыхъ людей, сдѣлалъ на меня такое впечатлѣніе, что я внесъ его въ мой дневникъ? Мало этого: этотъ незначашій разговоръ приходилъ мнѣ въ голову каждый разъ, когда я думалъ, говорилъ или читалъ о современныхъ доктринахъ или соціальныхъ утопіяхъ.

Это, можетъ быть, глупо и не стоило бы теперь вносить въ мою автобіографію. Но вѣдь я пишу ее для себя, рѣшившись не скрывать отъ себя и того, что самъ нахожу *schwach*. Не хочу же я казаться самому себѣ умиѣе? Дѣло въ томъ, что у меня, по странной ассоціаціи идей, давнишній, гроша не стоящій, разговоръ сдѣлался какимъ-то нагляднымъ выраженіемъ послѣдствій или дѣйствій на человѣческую природу двухъ правъ: естественнаго и государственнаго (или вообще юриди-

ческаго права). Одно выразилось, конечно, въ одномъ моемъ представленіи, только основанномъ на словахъ Петра Григорьевича, — чувствомъ ненависти, другое — чувствомъ страха. Съ тѣхъ поръ мнѣ всегда казалось, что знаменитое *droit de l'homme* возбуждаетъ, и на самомъ дѣлѣ, только ненависть, а юридическое право — боязнь. Странно, ненаучно и потому, можетъ быть, нелѣпо. Но такъ мнѣ кажется. Кто знаетъ это пресловутое *droit de l'homme*? На какихъ скрижаляхъ и кѣмъ оно начертано? Самъ человѣкъ приписываетъ себѣ, то-есть изобрѣтаетъ для себя права, и, значить, все зависитъ отъ того, какъ онъ на себя посмотреть — снизу, сверху, сбоку, и потомъ какъ еще всѣ эти стороннія воззрѣнія соединить, и какъ ихъ комментировать. Даже самое главное, — право правъ, — право на жизнь и смерть, и то онъ можетъ и присвоивать себѣ, и отвергать у себя. Но, присвоивъ себѣ то или другое право, чувство ненависти и непріязни для него дѣлается неизбежнымъ, какъ скоро этимъ правомъ онъ почему-нибудь не въ состояніи будетъ пользоваться. Такъ, это право правъ, право на жизнь, есть не болѣе какъ комментарий, нашъ собственный комментарий факта; мы живемъ, — *ergo*, имѣемъ право жить.

Но не миражно ли это право, когда самый фактъ, на которомъ оно основано, можетъ каждую минуту прекратиться и кончиться? Хорошо право, которое ежеминутно можетъ быть отнято у каждаго изъ насъ! И жизнь дѣлается всего скорѣе ненавистною, когда она разсматривается какъ наше право. Не ближе ли къ правдѣ, не нормальнѣе ли та жизнь, которою мы пользуемся вовсе не по праву и не какъ правомъ, а по-просту, безъ затѣй. Живемъ, потому что живемъ, и такъ надо быть, таково наше предопредѣленіе, какъ слѣдствіе причины причинъ. Вольно намъ подводить это подъ категорію правъ!

Но если на жизнь нѣтъ права, а есть только сама жизнь, какъ роковой фактъ, то чтò же наше право на смерть? Да это право сильнаго. Воля, какъ намѣреніе, осуществленное въ дѣйствіи, — продуктъ жизни, — сильнѣе жизни, и потому можетъ ее прекратить на каждомъ шагѣ. Такихъ правъ не мало на свѣтѣ! И человѣкъ, съ его милою логикою, не задумался назвать и проявленіе силы — правомъ. Да не потому ли, что каждый мыслитель, толкуя о правѣ, невольно сознавалъ суть права въ силѣ?

А правда? А справедливость? А нравственный законъ?

Да, на аналитическихъ вѣсахъ мыслителя эти противовѣсы сильно опускаютъ одну чашку, но стоить только силъ слегка прикоснуться къ другой — и вѣсы покажутъ другое.

Что же значать всѣ другія статьи пресловутаго *droit de l'homme*? Если уже права на жизнь никто намъ не давалъ, и мы пользуемся ею *Dei gratia*, — то что такое право на равенство, свободу, братство? Не чистые ли миражи эти права? Они возбуждаютъ только ненависть, потому что недостижимы; за ними гоняются, а ихъ нѣтъ.

Право можемъ мы себѣ творить и утверждать только на то, что можемъ себѣ дать, и собственно, побожьи, что можемъ дать не насильно. Право собственности и право личности, наследственности, — всѣ они искусственны, созданы человѣкомъ, но именно потому они и есть права; ихъ можно было дать и признано было за лучшее для человѣческаго общества ихъ дать ему.

И, давъ эти права, было естественно и справедливо требовать, чтобы ихъ никто не нарушалъ. Нарушитель долженъ былъ страшаться. И вотъ, искусственныя права, возбуждающія чувства опасенія и страха, оказались благотѣльнѣе тѣхъ естественныхъ правъ, недостигаемость которыхъ порождаетъ ненависть и злобу. Кто, въ самомъ дѣлѣ, можетъ намъ дать свободу, равенство и братство, когда ихъ нѣтъ такихъ, какими они представляются гоняющимися за ними? Странное недоразумѣнiе, искони присущее человѣческому обществу! Библейское столпотворенiе — вѣрный символическій образъ этого рокового недоразумѣнiя. Мы, окруженные безысходнымъ, но благотѣльнымъ миражемъ жизни, не можемъ понять, какъ наша мысль и наша воля могутъ быть несвободными, когда мы чувствуемъ такъ живо свободу нашей мысли и нашей воли. И, обольщенные этимъ ощущенiемъ, стремимся къ полной свободѣ дѣйствiй, — и зная, и не зная, что ея никогда не достигнемъ.

Это-то стремленiе мы и назвали правомъ, а давъ названiе, — стремимся еще неукротимѣе.

Если мы произошли отъ обезьянъ, то отъ нихъ мы и получили стадное свойство стремиться сообща къ свободѣ дѣйствiй.

Но у насъ, въ прибавокъ къ этому, чисто животному, свой-

ству, выработалось еще, — уже не знаю почему: отъ естественнаго подбора или чего другого, — рѣзко отличающее насъ отъ животныхъ свойство индивидуальности.

Ни у одного животнаго эта особенность такъ не развита, къ нашему счастью и несчастью, какъ у насъ. Вотъ эти два свойства — стадность и индивидуальность — и борются между собою въ человѣческихъ обществахъ. И общества, и государства учреждаются на основаніи междоусобной борьбы стадныхъ и индивидуальныхъ свойствъ людей. Въ стадѣ — неудержимое стремленіе дѣйствовать сообща; человѣческая особь неудержимо стремится дѣйствовать лично, особнякомъ, по мѣрѣ своихъ силъ и способностей, или, какъ принято писать въ дѣловыхъ бумагахъ, — по крайнему своему разумѣнію. Борьба борьбою, а во время нея стадныя свойства сообщаются индивидуальнымъ, индивидуальныя — стаднымъ.

Стадное свойство требуетъ равенства и братства; индивидуальное — хочетъ свободы и врагъ равенства. При полномъ равенствѣ особь теряетъ свой *raison d'être*. Чтѣ дѣлать бѣдному человечеству въ этой междоусобицѣ его самыхъ закадычныхъ стремлений и свойствъ? Оно изобрѣтаетъ разныя средства, чтобы кое-какъ выйти, не погибнувъ въ борьбѣ

Чтѣ такое, въ самомъ дѣлѣ, современное движеніе утопистовъ, какъ не вызовъ на борьбу съ человѣческою индивидуальностью? Крайности сходятся. И культурному обществу, въ апогеѣ его развитія, предстоитъ перспектива усовершенствованнаго стаднаго состоянія. Развѣ это не такъ? Стремленіе къ полной свободѣ, самое индивидуальное изъ всѣхъ стремлений, должно уступить мѣсто — въ будущемъ государствѣ утопистовъ — вынужденному дѣйствию для общаго блага.

Вся забота власти должна будетъ сосредоточиться на борьбѣ съ индивидуальностью. Нормальный антагонизмъ общества и государства, искусственно раздуваемый въ настоящее время адептами утопій, потомъ долженъ прекратиться. И общество, и государство должны сдѣлаться сообща стадными, лишенными индивидуальности. На мѣсто юридическаго гражданскаго права, продукта человѣческой индивидуальности, должно выступить естественное стадное право равенства и братства. Ни личная,

индивидуальная свобода, ни права личной собственности и наслѣдія—не должны препятствовать общему благоденствію, опредѣленному стадными законами. Индивидуальный талантъ долженъ употребиться на общее благо; ни геній, ни дарованіе—не должны быть личною собственностью. Нивелировка, разумѣется, должна начаться не съ этого, а съ болѣе существеннаго—съ кармана.

Примѣняя все сказанное къ себѣ, къ намъ, къ нашему государству, я не могу отъ себя скрыть, что замѣчаю въ немъ еще много стаднаго. Индивидуализмъ развитъ у насъ, относительно, въ миніатюрѣ. И это, конечно, на-руку современнымъ нивелировщикамъ. Еще болѣе заманчивъ для нихъ нашъ недостатокъ буржуазіи и вообще муниципальнаго западнаго элемента и избытокъ аграрнаго, стаднаго. Немудрено, что наша государственная власть, перенесшая, въ царствованіе Александра II-го, точку опоры въ будущемъ и на это аграрное сословіе, встрѣтилась тотчасъ же на этой почвѣ съ современными утопистами.

Достопамятное царствованіе Александра II-го, ознаменованное цѣлымъ рядомъ великихъ предпріятій, конечно, не могло въ 20 лѣтъ (считая съ 1861 года) каждое изъ нихъ довести до конца; но существенный недостатокъ, существенно вредившій благимъ начинаніямъ царя, было колебаніе и переходы одной системы правленія къ другой въ самое переходное время національной жизни. Нивелировщики не преминули пользоваться этими недостатками и всегдашнее слѣдствіе колебаній—недовольство—раздуть въ свою пользу; а правительство, занятое переходами и постоянными колебаніями, не успѣвало способствовать индивидуализированію стаднаго общества и группировать мелкія индивидуализированныя группы въ болѣе крупныя. А въ этомъ, именно, и лежитъ оплотъ противъ напора современныхъ утопій.

Если приведенное мною воззрѣніе на исторію развитія общества справедливо, то задача наша въ настоящее время должна состоять въ томъ, чтобы способствовать всѣми силами развитію индивидуализма, еще угнетеннаго стадными свойствами. Какъ эти свойства общества ни пригодны и ни выгодны для разныхъ государственныхъ цѣлей, въ первобытномъ или на-

чальномъ состояніи культурнаго государства, но потомъ, въ періоды дальнѣйшаго развитія, они дѣлаются обоюдоострымъ орудіемъ и могутъ оказаться настолько же за, насколько и противъ него.

Пусть современная утопія, если она осуществима, осуществится на мѣстѣ своего источника. Тамъ началась уже—пока умственная—борьба труда съ капиталомъ. Надо надѣяться, что и перейдя на практическую почву, эта борьба будетъ все-таки болѣе осмысленная, чѣмъ у насъ. Индивидуализмъ на Западѣ успѣлъ развиться и подавить стадныя свойства народовъ гораздо болѣе, чѣмъ у насъ. Бисмаркъ говоритъ даже, что каждый нѣмецъ хочетъ имѣть непременно своего короля. Богъ у каждаго уже другой. Индивидуализмъ давно уже раздробилъ общество на мелкія группы, соединяющіяся теперь насущными потребностями существованія. Многое индивидуальное пережито, передумано и перечувствовано. У насъ иная почва. И если заговору, пропагандѣ и крамолѣ удалось бы своими миражами увлечь неиндивидуализированныя массы, то опасность была бы другого рода. Увлеченія и другого пошиба, наши собственные, доморощенные, мнѣ кажутся безвредными въ настоящее время. Любовь къ отечеству, къ русскому народу и къ славянскому племени вообще, какъ это чувство ни высоко, не должны туманить нашъ здравый смыслъ. Намъ не миновать процесса общечеловѣческаго развитія.

Откуда бы такая благодать, да еще и благодать ли? Но всего хуже противодѣйствовать тому, чтѣ уже сдѣлано на пути этого развитія, хотя бы и ложномъ, съ точки зрѣнія нашей національной утопіи. Вѣдь это значитъ бѣжать съ одной, уже избранной, дороги, не имѣя ни силъ, ни средствъ, ни знаній перейти на другую, болѣе надежную. Какая такая эта другая дорога, кто ее укажетъ и куда она поведетъ, когда оставшіеся ея слѣды указываютъ болѣе на стадныя свойства по ней шедшихъ?

Развитіе индивидуальной личности и всѣхъ присущихъ ей свойствъ—вотъ, по моему мнѣнію, талисманъ нашъ противъ недуговъ вѣка, клонящагося къ закату. Средствъ къ этому развитію не мало, была бы добрая и твердая воля.

Громада великъ человѣкъ!—горланить теперь на мірскихъ

сходкахъ стадное свойство крестьянъ. Пусть каждый изъ нихъ скажетъ про самого себя просто: я—человѣкъ и знаю мои права и мои обязанности.

Мірское горлодерство, огульная косность и огульно-стадная сила инерціи и сопротивления были единственными средствами у темныхъ массъ противъ произвола и насилія. И пока стадныя свойства массъ будутъ обременять стремленіе къ прогрессивной индивидуализаціи, они останутся приманками для всѣхъ желающихъ ловить рыбу въ мутной водѣ. А между тѣмъ, послѣ эмансипаціи массъ, цѣлыхъ 20 лѣтъ ничего не сдѣлано существеннаго для индивидуализаціи. Всѣ—и благомыслящіе прогрессисты, и вліятельные администраторы, и западники, и славянофилы, и наша молодежь—какъ будто помѣшались на какомъ-то обожаніи стихійныхъ силъ. Всѣ какъ будто забыли, что на этомъ конькѣ ѣздить и современные утописты. Пусть бы утопии ихъ находили себѣ на Западѣ оцѣнку и поддержку; тамъ національная культура, можетъ быть, и выработаетъ для себя что-нибудь дѣльное изъ миража. Но намъ, съ нашею Азіею на плечахъ, проводить, хотя бы и съ самыми благими намѣреніями, нѣчто сходное и какъ будто бы сочувственное западнымъ современнымъ утопіямъ, по малой мѣрѣ, странно. Чтѣ подѣлаешь съ стихійными силами племенъ въ странѣ обширной, малолюдной, на востокъ—азиатской и кочевой, не мало еще и вездѣ пропитанной азиатскимъ элементомъ? Какъ управлять и организовать управленіе, если стадныя свойства будутъ находить поддержку со стороны правительства и культурнаго общества? Возможно ли, не способствуя нисколько развитію индивидуализма, а, напротивъ, устраняя его, утверждать, что племенные стадныя свойства вдругъ или незамѣтно перейдутъ въ какую-то интеллигентную ассоціацію? Не утопія ли это также своего рода?

Зло, достигшее крайнихъ предѣловъ, отрезвляетъ умы. Хуже этого ничего не можетъ быть—есть такое убѣжденіе, которое и фаталиста пройметъ. Мы дошли до этого. Нашей гражданственности на пути прогресса нанесенъ жестокий ударъ тѣмъ, что порядокъ, одинъ изъ главныхъ атрибутовъ гражданственности, потрясенъ до основанія насильственною смертію главы государства, какъ главнѣйшаго представителя порядка. Не можетъ быть, чтобы не было глубокой органической причины зла

внутри самого государства, привлекавшей къ себѣ и зло извнѣ. Великое и мощное извнѣ государство, сильная власть, могущественная, по даннымъ ей правамъ, администрація и самыя крупныя ея мѣры, — ничто не помогло. Д-ръ Санградо сказалъ бы, пожалуй, на это: „не помогало потому, что пускали кровь, да мало; слѣдовало бы пускать, не останавливаясь“. Такіе Санградо найдутся и между нами

По моему мнѣнію, одна изъ причинъ, повліявшихъ сильно на развитіе преступной пропаганды и подпольной крамолы, было именно обширное поле, оставленное тотчасъ послѣ эманципаціи открытымъ для ихъ дѣятельности; оно манило ихъ постоянно, обнадеживая блестящимъ успѣхомъ; а когда эта иллюзія осуществлялась не такъ быстро и не такъ успѣшно, какъ бы этого хотѣлось пропагандистамъ, то явилась, вѣроятно, и мысль о цареубійствѣ, какъ самомъ надежномъ средствѣ къ возбужденію стихійныхъ силъ и стадныхъ свойствъ предоставленнаго себѣ народа.

И вотъ, три дѣла кажутся мнѣ самыми существенными въ настоящемъ положеніи государства. Это: организація народныхъ массъ, распространеніе довольства въ обществѣ и поднятіе международнаго вопроса о существующей безнаказанности участія эмигрантовъ въ уголовныхъ государственныхъ преступленіяхъ...

Проживая въ краѣ, гдѣ нѣтъ еще земства, и окруженный крестьянами, я ежедневно убѣждаюсь, какъ ничтожна еще организація этого огромнаго класса, какъ онъ безразсудно предоставленъ своимъ стаднымъ инстинктамъ, и какъ мало заботится кто-нибудь о его просвѣщеніи и развитіи индивидуализма; онъ проявляется между тѣмъ самъ, но безобразно, въ видѣ семейныхъ раздѣловъ, споровъ и дракъ съ перепоємъ. Всякая нелѣпость можетъ найти легко вѣру въ массѣ, руководимой инстинктами стяжанія, борьбы за существованіе и поживы чужимъ добромъ.

При эманципаціи все вниманіе дѣятелей было обращено на землю. Полагали, какъ видно, имѣя въ виду, какъ образецъ, Францію, что стоитъ только обезпечить крестьянство мірскою землею, и все пойдетъ какъ по маслу; а забыли, что Россія—

не Франція и даже не прежняя Россія, въ которой можно было на каждомъ шагѣ вести залежное общинное или отдѣльное хозяйство. Чтѣ земля теперь безъ капитала? У мужика—скажутъ—вмѣсто капитала есть руки, ноги и, пожалуй, кое-какая голова на плечахъ. Да, это деньги, но такія, которыя безъ желудка не достаются, а желудокъ, въ свою очередь, требуетъ также денегъ.

Мужику дали землю и, конечно, не даромъ,—это было бы вопіющимъ насиліемъ надъ прежними землевладѣльцами; давъ ее,—благословили и сказали *ога et labora*. Не плати мужикъ ни за землю, ни подушнаго, а только молись и трудись, то, можетъ быть,—и только можетъ быть,—онъ зажилъ бы припѣваючи; ковырялъ бы кое-какъ свою пашню, кормилъ бы кое-какъ на общемъ выгонѣ скотину, по временамъ запускалъ бы ее и въ сходное поле, потравить его для себя, платилъ бы попомъ за разныя требы, чтѣ и значило бы для счастливца трудиться и молиться.

Можетъ быть, еще лучше, а можетъ быть, и еще хуже шло бы дѣло въ общинномъ хозяйствѣ—Богъ его знаетъ! Чтобы понять всѣ его превосходства, надо быть или самому давнишнимъ, исконнымъ общинникомъ, или же глубокомысленнымъ философомъ. Не бывъ никогда ни тѣмъ, ни другимъ, я разсматриваю наше общинное хозяйство какъ временное, неизбѣжное *pis aller*, которое нужно пока предоставить силамъ природы, не замать.

Чтѣ же вышло черезъ 20 лѣтъ послѣ эманципаціи? То, что теперь всякій, знающій деревню не со вчерашняго дня и самъ занимающійся полевымъ хозяйствомъ, предсказалъ бы навѣрное. Гдѣ земля еще кое-какъ родить безъ особенной тщательной подготовки, гдѣ для скотины кое-что еще вырастаетъ на выгонахъ и выкосахъ на стернѣ, гдѣ сверхъ этого имѣются еще вблизи крестьянскихъ хозяйствъ заработки (заводы, помѣщичьи хозяйства и желѣзныя дороги), тамъ дѣло идетъ до поры, до времени, то-есть пока не стрясется какая-нибудь бѣда надъ полями: градъ, засуха, жучки или просто неурожай, Богъ вѣсть отчего. А приди такая бѣда, да къ тому еще не случись пригодныхъ заработковъ, такъ бѣда неминуема. Положимъ, эти естественныя, неминуемыя бѣды грозятъ всякому

хозяйству, всякому предпріятію и человѣческой дѣятельности. Но въ хорошо организованномъ хозяйствѣ, — въ которомъ, кромѣ почвы, личнаго труда, ума, принимаютъ главное участіе основной и оборотный капиталы, — неудача одного года или двухъ лѣтъ вознаграждается избыткомъ урожая другихъ годовъ.

На этомъ основаніи — и весь расчетъ. Иначе пришлось бы все бросить и капиталъ перенести туда, гдѣ ему лучше везетъ. Но гдѣ же что-нибудь подобное этой гарантіи въ крестьянскомъ хозяйствѣ? Современное полевое хозяйство ничѣмъ не отличается, въ сущности, отъ фабричнаго и кустарнаго промысловъ. Пахотныя поля, это — фабрики безъ крышъ подъ открытымъ небомъ; обработанная и подготовленная почва этихъ полей — огромный резервуаръ, съ разными химическими составами, въ которомъ совершается броженіе посѣва. Наше крестьянское хозяйство, если оно подворное, представляетъ родъ кустарнаго промысла, а общинное — ничѣмъ другимъ не можетъ быть, какъ плохую фабрикою, безъ оборотнаго капитала, безъ предпримчивости, безъ дальновиднаго расчета.

Я, конечно, самъ первый бы подаль голосъ за освобожденіе съ землею; это было *conditio sine qua non* въ Россіи для благополучнаго выхода изъ стараго строя, но не надо было намъ увлекаться нашимъ общимъ незнаніемъ свободнаго полевого хозяйства; до 1860-хъ годовъ никто не имѣлъ о немъ яснаго, на опытѣ основаннаго, представленія. Всѣ мечтали: одни — злорадно, другіе — ненавистно, третьи — радушно и наивно. А теперь, когда суть дѣла выступила мало-по-малу наружу, всѣ стали сѣтовать, обвинять и заподозрѣвать другъ друга, сантиментальничать и заигрывать съ меньшею братіею, ругать на чемъ свѣтъ стоитъ кулаковъ, кабатчиковъ, какъ будто все это не должно было быть силою вещей и какъ будто тутъ, въ самомъ дѣлѣ, кто-нибудь лично виноватъ! Неужели же можно обвинять кого-нибудь за то, что онъ не добродѣтеленъ, не настоящій христіанинъ, эксплуатируетъ слишкомъ искусно сподручную для его ума почву? Мнѣ кажется, всѣхъ болѣе виноваты увлеченія вышнихъ и передовыхъ дѣятелей.

Мнѣ кажется, первымъ дѣломъ, при эманципаціи съ землею, должна была быть правильная организація только-что вышедшаго изъ крѣпостной зависимости сословія. На бѣду, одни на

него смотрѣли съ трепетомъ и нерѣдко съ ненавистью, другіе—съ какими-то розовыми надеждами принялись его кажолить; и я самъ, признаюсь, былъ изъ числа послѣднихъ, хотя и зналъ про себя, что увлекаюсь. Такое было время 1861-й годъ. Намъ, современникамъ царствованія Александра II-го, надо быть снисходительными и безпристрастными и къ другимъ, и къ себѣ. Эманципированнымъ дали тотчасъ же право на выборы (выборное право). Они могли тотчасъ же выбирать себѣ непосредственныхъ своихъ начальниковъ: администраторовъ, старостъ, старшинъ, и даже имѣли право на выборы своихъ судей.

Эманципированнымъ дали, до извѣстной степени, самоуправленіе, тогда какъ и культурные классы общества не имѣли еще ни своихъ выборныхъ судей, ни самоуправления. Для эманципированныхъ же тотчасъ придумали особенный, таже выборный, институтъ мировыхъ посредниковъ, и на него-то возлагались всѣ надежды организаторовъ крестьянства. И онъ-то, именно, и сдѣлалъ полнѣйшее фіаско. Выборное начало таже не пошло въ прокъ. Старосты, старшины, писаря, добросовѣстные и судьи—оказываются вообще порадочною дрянью, обворовываютъ общество, берутъ взятки, пьянствуютъ зачастую. Это я вижу на опытѣ, слышу весьма часто и нерѣдко читаю о томъ же въ газетахъ. Неграмотность и незнаніе своихъ правъ и обязанностей — общая черта со стороны старшинъ и старостъ.

Давнее наше крючкотворство, мошенничество и взяточничество — характерная черта большей части волостныхъ писарей. Тунеядство, безразличное отношеніе къ крестьянскому дѣлу, съ оттѣнкомъ вымогательства, отличаютъ многихъ коронныхъ (не-выборныхъ) посредниковъ, существующихъ еще у насъ въ западномъ краѣ. Странная была, мнѣ кажется, мысль поставить эманципированное крестьянство какимъ-то особнякомъ, прикрѣпленнымъ на нѣсколько лѣтъ къ землѣ, съ своимъ самоуправленіемъ, съ своимъ вѣчемъ (сходками) и даже съ своими законами относительно собственности, наслѣдія и т. п. Этотъ-то 20-милліонный особнякъ, съ его, къ тому еще, и бытовыми особенностями и обычаями, есть что-то въ родѣ *status in statu*.

Онъ привыкъ дѣйствовать огульно, корпоративно, привыкъ имѣть свое отдѣльное міровоззрѣніе, во многомъ противоположное общимъ государственнымъ и культурнымъ воззрѣніямъ. Словомъ, это міръ, живущій отдѣльною и непонятною для насъ жизнію. Не даромъ онъ такъ заманчивъ и, къ сожалѣнію, не для однихъ только этнографовъ, литераторовъ и экономистовъ. Все, желающее половить рыбу въ мутной водѣ, свиваетъ легко гнѣздо въ этой удобной для разнаго рода эксплуатаціи почвѣ. Не знаю, въ какихъ рукахъ обрѣтается эманципированная громада тамъ, гдѣ развилось и пустило корни земское самоуправленіе; но у насъ въ юго-западномъ краѣ что бы тамъ ни говорили администраторы и разные ревизоры, крестьянство, на мой взглядъ, въ плохихъ рукахъ. Коронные его властители, — по крайней мѣрѣ, тѣ, которыхъ я знаю, — не надежны ни въ какомъ отношеніи. Уже одно то, что они мѣняются начальствомъ какъ пѣшки, не говорить въ ихъ пользу.

Впрочемъ не они одни, — и главнымъ начальникамъ юго-западнаго края не счастливится. Въ теченіе 20 лѣтъ перемѣнилось, на моей памяти, 6 генераль-губернаторовъ (по 3 года и 3 мѣсяца управленія на каждого) и 8 губернаторовъ подольской губерніи (по 2¹/₂ года на каждого). На такой важной по своему исключительному положенію окраинѣ по 2 или по 3 года управленія среднимъ числомъ на каждого начальника едва-ли можетъ дать благіе результаты.

Мысль объ оставленіи нашего крестьянства въ его изолированномъ видѣ, кажется, еще не оставлена. Правда, въ губерніяхъ съ земскими учрежденіями крестьяне привлекаются и въ гласные, и въ присяжные; но, во-первыхъ, цѣлыхъ 9 большихъ губерній исключены изъ этого, а во-вторыхъ, если земство учреждено всесословнымъ, то почему же волость, какъ единица земства не всесословная, а исключительно крестьянская, и, въ-третьихъ, наконецъ, всесильная администрація, налагающая свою тяжелую руку и на земство, не можетъ способствовать никакой правильной и стойкой организаціи ни земства, ни крестьянства. О просвѣщеніи темныхъ массъ и говорить нечего.

Съ 1866 года я не рѣшался и прикоснуться къ школѣ въ моихъ имѣніяхъ, и жену отговаривалъ, чтобы не заподозрѣли въ какой контрабандѣ...

Но не одно крестьянство осталось, послѣ эманципаціи, почти неорганизованнымъ, — и среднему сословію не повезло; между тѣмъ оно, очевидно, формируется. Среднія училища, несмотря на разныя скачки съ препятствіями, поляются. Но эта главная основа культурнаго общества у насъ находится также въ ненормальномъ состояніи. Часть этого сословія у насъ — чистый пролетаріатъ; часть (какъ, напримѣръ, еврейство) не пользуется всѣми правами, а часть — хотя, по своему положенію и средствамъ, и должна бы принадлежать къ среднему сословію — вовсе не культурна: это многіе довольно зажиточные мѣщане, купцы, кулаки. Какъ кажется, у насъ немного заботятся о развитіи этого класса. Вибаломученная, съ одной стороны, пропагандою, съ другой — произволомъ администраціи, наша молодежь, вмѣсто стремленія кверху, ищетъ сближенія съ крестьянствомъ для распространенія современныхъ соціаль- ныхъ доктринъ

Про нѣмецкихъ солдатъ я читалъ въ газетахъ, а про французскихъ слышалъ отъ одного изъ бывшихъ членовъ нашего посольства въ Парижѣ, что тамъ даже въ арміяхъ оказывается вліяніе пропаганды; лицо, сообщившее мнѣ о парижскихъ дѣлахъ, рассказывало, что оно слышало отъ самихъ офицеровъ въ Парижѣ, какъ они боятся, чтобы солдаты ихъ при первыхъ же движеніяхъ коммуны не разбѣжались и сами бы не сдѣлались коммунарами. *Relata referto*. Правда ли это, нѣтъ ли, но очевидно, что самыя крайнія и разрушительныя стремленія коммуны, какъ бы число послѣдователей ихъ ни было пока ограничено, находятъ подкрѣпленіе и въ другихъ, менѣе радикальныхъ доктринахъ коммунизма, такъ какъ коммунары и коммунисты, сколько мнѣ извѣстно, расходятся только въ отношеніи средствъ, но не въ основныхъ принципахъ. Мнѣ странна и непонятна политика государствъ, терпящихъ и отчасти охраняющихъ самыя гибельныя, безправственныя и вредныя для общечеловѣческаго прогресса доктрины. Чтѣ это — чрезмѣрное уваженіе буквы закона, тупое равнодушіе или трусость? Откуда взялось такое государственное убѣжденіе, что уголовное преступленіе, совершенное по почину частныхъ лицъ съ государственной цѣлью, перестаетъ быть

преступленіемъ? Вѣдь по этой логикѣ никто не безопасенъ. Я имѣю другое убѣжденіе; я опасенъ новой доктринѣ; я могу повредить ей; я уже вреденъ по другой версіи и тѣмъ, что не раздѣляю убѣжденія; меня надо убить. Къ такой логикѣ придти вовсе легко, стоитъ только опериться и почувствовать себя силою. Можно ли, при существующихъ неоспоримыхъ фактахъ, сомнѣваться въ возрастающей силѣ дѣйствій пропаганды и можно ли въ такомъ случаѣ ссылаться на одни собственные государственные интересы—странамъ, терпящимъ у себя дѣателей тлетворной для всего человѣчества пропаганды? Да развѣ чуть не всѣ государства не выгоняють іезуитовъ за неразборчивость, яко-бы, средствъ, считаемыхъ у нихъ дозволенными для достиженія цѣли? Пусть будетъ дѣломъ ни до кого не касающейся внутренней политики Франціи, что она вернула къ себѣ съ торжествомъ коммунаровъ и прогнала со скандаломъ поповъ; тутъ неодобряющій такой политики можетъ только примѣнить къ французскому правительству нашу поговорку: „умень какъ попъ Семень,—книги продалъ да карты купилъ“. Но другое дѣло, когда къ средѣ домашнихъ коммунаровъ примкнула еще фаланга людей разныхъ „племенъ, на-рѣчій, состояній“, не только проповѣдывающихъ, съ торжествомъ и пѣньемъ, убійства и всякаго рода разрушенія, да еще и дѣйствительно убивающихъ тѣхъ, которые, по ихъ мнѣнію, препятствуютъ осуществленію ихъ же доктрины.

Что кто ни говори, но это—безобразнѣйшее уродство изъ уродствъ. Откуда взялись такіе принципы международного права, которые допускають, терпятъ и косвенно прикрываютъ такое вопіющее нарушеніе человѣческаго и нравственнаго права? Я думаю, что государства съ ихъ допотопными политическими принципами сами служили образцами и разсадниками этимъ уродствамъ.

Евангеліе писано для царствъ не отъ міра сего; поэтому христіанскія царства слѣдуютъ той же политикѣ, какъ и языческія. Что считается безнравственнымъ въ жизни частнаго человѣка, то нисколько не безнравственно въ политикѣ. Самый новѣйшій матадоръ государственной политики провозглашалъ желѣзо болѣе полноправнымъ, чѣмъ самое право. Конечно, нельзя отрицать, что древнее рабство военноплѣнныхъ—древ-

нее „*vae victis*“—исчезло под влиянием христианского учения, и, как бы взамен древняго безчеловѣчія, наше время водрузило красный крестъ, какъ символъ христианства и въ международныхъ отношеніяхъ. Но какъ бы ни была велика эта заслуга новаго времени, она все-таки касается болѣе области „соматической“ и имѣетъ главною цѣлью облегченіе и уничтоженіе тѣлесныхъ страданій; другая же, чисто нравственная, сторона международной политики осталась такою же недоступною для введенія началъ христианскаго учения, какъ и во времена дны. И вотъ, мы видимъ въ наше время, что страна, прославившая себя инициативою учрежденій „Краснаго Креста“, такъ много уже облегчившихъ людскія страданія и муки, вмѣстѣ съ этимъ служитъ притономъ и рассадникомъ самаго губительнаго для общечеловѣческой нравственности комплота убійцъ и крамольниковъ. Да, христианскія государства съ ихъ беззащитною внутреннею и международною политикою эгоизма и права сильнаго не мало сами содѣйствуютъ къ народженію убійственныхъ для нравственности и постыдныхъ для челоѣчества общественныхъ явленій. Всѣ знаютъ это; всѣ убѣждены, что современныя отношенія государствъ между собою ненормальны и на каждомъ шагѣ угрожаютъ подвластнымъ народамъ неизмѣримыми бѣдствиями и катастрофами; что же мудренаго, если при такомъ натянутомъ положеніи международнаго дѣла растетъ и крѣпнетъ противогосударственная и анти-соціальная пропаганда съ ея разрушительными стремленіями, ея ненавистью къ существующему порядку вещей и ея кровавыми піонерами? Громадные капиталы народнаго богатства и цѣлыя массы молодого, цвѣтущаго народонаселенія употребляются непроизводительно, стоя подъ ружьемъ, наготовѣ. Можетъ ли коммунистическая пропаганда не воспользоваться указаніями народамъ на это ненормальное положеніе государствъ и націй, не возбудить въ нихъ ненависти и противогосударственныхъ стремленій? А между тѣмъ самыя арміи, собранныя для предстоящей борьбы, заражаются отъ бездѣйствія пропагандою и общимъ недовольствомъ. Видя все это, конечно, не съ птичьяго полета,—который не предоставленъ простымъ смертнымъ,—не одни только пессимисты, какъ это было въ 1840-хъ годахъ, усмотрятъ въ будущемъ средніе вѣка съ нашествіемъ

варваровъ, не чужихъ, а доморожденныхъ, и не одни пессимисты упрекнутьъ государства въ ихъ близорукое эгоизмъ, ведущее, въ концѣ концовъ, къ средневѣковому варварству.

Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, антитоды противъ распространения социальныхъ міазмъ? Арміи и полиціи? Какъ будто арміи и полиціи формируются не изъ людей, или изъ людей другого закала, нисколько не прикосновенныхъ и не подверженныхъ заразы!

Что, впрочемъ, толковать о радикальныхъ презервативахъ и антитодахъ противъ будущихъ, еще не разсвирѣпѣвшихъ повѣтрій, когда предъ нашими глазами совершаются уже самыя безнравственныя дѣла и неслыханныя преступленія, нисколько не измѣняющія международныхъ отношеній и законовъ, несмотря на то, что злодѣянія совершаются преступниками одной страны противъ властей другой, по названію дружественной.

Къ какой націи фізіологически принадлежать эти преступники, очевидно, все равно; они—скитальцы и должны считаться подданными или гражданами той страны, которая ихъ пріютила и охраняетъ, а потому оставлять ихъ участіе въ уголовныхъ преступленіяхъ, совершенныхъ въ другомъ государствѣ, неразслѣдованнымъ и ненаказаннымъ только потому, что эти преступленія не нанесли никакого вреда интересамъ протектора,—безнравственно. Да не говоря уже о нравственности, эта эгоистическая политика и безразсудна, и когда-нибудь вредно отзовется на всемъ обществѣ. Зло рождаетъ зло; это законъ, его же не преjdeши. Между государственнымъ и простымъ убійствомъ нѣтъ никакого различія. Судить, осуждать, низвергать государственную власть—по естественному праву—можетъ только само государство. Всѣ цареубійцы, не исключая и прославленнаго убійцы Цезаря, берутъ на себя роль государственныхъ палачей самовольно или отъ имени никѣмъ непризванныхъ людей; чѣмъ же—спрашивается—преступленіе ихъ отличается отъ простого убійства, и почему какой бы то ни было государственный режимъ можетъ отказаться у себя отъ судебного разслѣдованія дѣяній пришельцевъ, подозрѣваемыхъ другимъ государствомъ въ участіи? Развѣ только по принципу: *vivat justitia pereat mundus!*

Но откуда взялось у насъ стремленіе, по общему убѣжденію вовсе не свойственное ни исторіи развитія, ни духу нашего общества? Съ Запада? Но почему эти антисоціальныя западныя доктрины именно у насъ проявились въ самомъ отвратительномъ видѣ? Причинъ тутъ, конечно, не одна. И какъ бы ничтожна ни была шайка злоумышленниковъ, нечего себя этимъ успокоивать; не малочисленность дѣятелей зла, а размѣръ причиненнаго ими зла обществу обращаетъ на себя вниманіе всякаго мыслящаго человѣка.

Наполеонъ, запертый на островѣ Св. Елены, сказалъ, — разумѣется, изъ ненависти къ Россіи, — что „черезъ 50 лѣтъ во всей Европѣ будетъ или республика, или казаки“. Другой — его же — фразѣ о царубійствѣ служили, конечно, основаніемъ наши прежніе дворцовые перевороты послѣ Петровскаго царствованія. Но въ этихъ переворотахъ главными участниками были одни лично въ томъ заинтересованные.

Современныя государственныя преступленія имѣютъ совершенно другой характеръ. Они не могли и не могутъ быть тайными не только для исторіи, но и для народа. Безъ сомнѣнія, съ этою, именно, цѣлью они и совершаются. Дѣятелями являются не лично заинтересованные въ переворотахъ, не иностранцы интриганы, а разночинцы и даже простолюдины, лично, повидимому, нисколько не заинтересованные.

Какія же приманки, именно у насъ въ Россіи и въ наше время, привлекли такихъ ревностныхъ адептовъ и дѣятелей къ ужасной доктринѣ? Упорство, настойчивость, выдержка, самоотверженіе и вообще энергія зла — замѣчательны въ этихъ дѣятеляхъ, — въ этомъ надо имъ отдать полную справедливость. Откуда все это? Совсѣмъ не узнаешь своихъ соотчичей въ этихъ адски-энергическихъ дѣятеляхъ. Чужеземный элементъ между ними, повидимому, незначителенъ; нѣсколько семитовъ, еще менѣе поляковъ, немного другихъ не-славянскаго племени; но большинство — великоруссы и малороссы; сословія и состоянія также весьма различны; образованіе, по большей части, школьное и недоконченное; есть между ними и дворяне, и крестьяне, богатые и бѣдные, но послѣднихъ, вѣрно, больше, чѣмъ первыхъ; исповѣданіе, конечно, также въ большинствѣ православное; люди молодые, не достигающіе еще и средняго возраста;

занятія весьма различныя до вступленія въ комплотъ, но потомъ, конечно, спеціальнымъ дѣломъ пропаганды—крамола и терроръ.

Что соединяетъ этихъ разнохарактерныхъ дѣятелей, имѣющихъ между собою общаго только возрастъ и извѣстную степень образованія? Убѣжденія?

Но мы до послѣдняго времени не отличались твердостью и глубиною нашихъ убѣждений, — ни въ добрѣ, ни въ злѣ. Откуда же у нашихъ юныхъ современниковъ вдругъ явилась склонность къ убѣжденію? Справедливость требуетъ, конечно, признать и въ насъ склонность къ фанатичности въ убѣжденіяхъ или—правильнѣе—вѣрованіяхъ. Это доказываютъ наши раскольники и сектанты. Неужели же наши пропагандисты, нигилисты, анархисты, коммунисты, и т. п., принадлежать къ классу фанатически-вѣрующихъ въ свои доктрины?

Врядъ-ли это такъ, по крайней мѣрѣ для большинства. Уже одно то, что большинство заговорщиковъ—молодые и даже очень молодые люди, говорить противъ этого предположенія.

Шекспиръ, въ одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ произведеній своего генія — „Бурѣ“, изобразилъ намъ наглядно, въ лицѣ Калибана, звѣрскую натуру человѣка, удерживаемую въ постоянномъ рабствѣ умомъ и при малѣйшемъ послабленіи всегда готовую войти въ заговоръ противъ своего властелина. Это прирожденное человѣку звѣрство есть одно изъ стадныхъ его свойствъ, уступающее и подчиняющееся только одному развитію индивидуализма въ обществѣ. Умъ, конечно, различнаго склада, есть свойство чисто индивидуальное, и потому, именно, онъ и различенъ, противенъ всегда и у всѣхъ одинакому стадному звѣрству. Правительство наше 1840-хъ годовъ погрѣшало тѣмъ и противъ общества, и противъ самого себя, что оно оставляло почти нетронутыми стадныя свойства, подавляя развитіе личности и индивидуальныхъ свойствъ. Препедржащія власти того времени были убѣждены, что одною внѣшнею силою онѣ справятся съ стаднымъ звѣрствомъ.

Внѣшняя сила, и въ самомъ дѣлѣ, такъ могущественна и была, и есть, что ей, пожалуй, не трудно справиться съ проявленіями стадныхъ свойствъ въ массахъ. Но на сцену вышло другое, неожиданное дѣло: это проявленіе неистовѣйшаго изъ стадныхъ свойствъ — звѣрства, въ видѣ Калибановъ, не пора-

бощенныхъ умомъ и вступившихъ тотчасъ же въ заговоръ противъ индивидуальнаго ума, долго остававшагося подъ гнетомъ. Вышло противное тому, чѣмъ должно быть нормою для правительства и обществъ. Въмѣсто свободы личнаго ума вышла свобода звѣрства. Звѣрство не могло быть работою несвободнаго и стѣсненнаго ума. Калибанъ почувствовалъ себя освобожденнымъ и выступилъ на сцену.

Чѣмъ менѣе значеніе особи въ государственномъ строѣ, тѣмъ опаснѣе положеніе государства въ наше время

Одно изъ самыхъ лучшихъ свойствъ нашего народа, уваженіе и полное довѣріе къ верховной власти, но еще не индивидуализированное при другихъ стадныхъ свойствахъ народныхъ массъ, есть все-таки обоюдоострое орудіе, которымъ не трудно пользоваться и врагамъ верховной власти. А сверхъ этого, наша народная стихія, на которую возлагаютъ столько розовыхъ надеждъ доморощенные наши утописты и славянофилы, представляетъ возмутителямъ и анархистамъ еще и другую, не менѣе привлекательную сторону; она съ давнихъ временъ была не безопасна для государства, устроеннаго на общеевропейскій ладъ; эманципация должна была уничтожить предстоявшую опасность; но предпринятая слишкомъ поздно, и потому безъ предварительной подготовки, она увеличила опасность, хотя и временно.

И вотъ почему: коммунизмъ нашего времени беретъ, я полагаю, свое начало еще съ первой французской революціи. Извѣстно, какъ tiers-état сбило съ позиціи аристократію, подпало потомъ само подъ вліяніе террора, военного деспотизма, бурбонской реакціи, и все-таки и развивалось, и богатѣло; и вотъ мы видимъ, что изъ этого знаменитаго tiers-état, бывшаго нѣкогда идеаломъ прогресса, образовалась ненавистная современнымъ ультрапрогрессистамъ буржуазія, считаемая самымъ главнымъ антагонистомъ новаго и кореннаго преобразованія общества въ коммуны.

Съ упадкомъ владѣтельной аристократіи идеаломъ благополучія для этой буржуазіи сдѣлалось владѣніе землею; крестьянство, конечно, по своей натурѣ, не менѣе стремилось къ земле-владѣнію. Крупныя владѣнія размельчали. Земля раздѣлилась

на самые мелкіе участки, и все-таки стремленіе къ обладанію хотя бы крошечнымъ кускомъ земли продолжается.

Нѣкоторые утверждаютъ даже, что и народонаселеніе Франціи не увеличивается по этой причинѣ: всякій хочетъ не только самъ владѣть кускомъ земли, но и оставить еще въ наслѣдство; и такъ какъ дѣлить миниатюрнаго земельного наслѣдства болѣе невозможно, то никто будто бы не хочетъ имѣть много дѣтей, женится поздно, и т. п.

Можетъ быть, эта страсть къ обладанію поземельною собственностью обязана своимъ происхожденіемъ ученію фیزیократовъ, господствовавшему незадолго до первой революціи.

Какъ бы то ни было, но изъ Франціи, я полагаю, перешло преувеличенное значеніе земли и къ намъ. Земля у насъ до эманципаціи была нипочемъ, цѣнилась только рабочая сила. По числу душъ цѣнились имѣнія. Это была другая крайность, невѣрная не менѣе современной.

Между тѣмъ издавна мы привыкли называть наше отечество государствомъ земледѣльческимъ, житницею Европы, и вотъ, узнавъ, что французы придаютъ огромное соціальное значеніе земельной собственности и что городской пролетаріатъ во Франціи точить зубы на своихъ буржуа и аграровъ, слишкомъ возлюбившихъ поземельную собственность, мы взбурдажились при эманципаціи нашихъ крестьянъ и задались неразрѣшимою задачею предотвращать у себя всѣ ожидаемыя во Франціи и въ Европѣ бѣдствія отъ развитія пролетаріата и его ненависти къ имущимъ и богатымъ.

Пріѣзжавшіе изъ Парижа, въ началѣ 1860-хъ годовъ, наши соотечественники, жившіе тамъ нѣсколько лѣтъ, рассказывали (я слышалъ самъ одинъ изъ такихъ потрясающихъ рассказовъ отъ покойнаго Ханыкова) съ ужасомъ о страшныхъ фیزیоміяхъ пролетаріевъ, останавливающихся на бульварахъ передъ кофейнями и съ звѣрскою завистью смотрѣвшихъ на напитки, которыми прохлаждались посѣтители кофеент. И эта ненависть пролетаріата къ буржуа, и эта страсть буржуа къ обладанію землею понятны въ странѣ многолюдной, муниципальной, мануфактурной, какъ Франція, съ ея благословеннымъ и превосходнымъ, для культуры цѣнныхъ растений, климатомъ, при легкости сбыта всѣхъ произведеній земли на мѣстѣ, съ

отличными водяными и сухими путями сообщенія, избыткомъ легко-обращающагося капитала, развитою интеллигенціею. Не полный ли это контрастъ съ Россіею?

Какія пространства земли были бы достаточны у насъ для благосостоянія каждаго изъ крестьянъ въ настоящее время, и какія бы пространства понадобились еще для обезпеченія каждаго изъ нихъ въ будущемъ, если сдѣлать одну земельную собственность?

То, что французъ извлекаетъ теперь изъ одного гектара своей земли, своимъ виноградомъ, огородомъ и фруктовымъ садикомъ, произведеніямъ которыхъ онъ тотчасъ же находитъ выгодный сбытъ, этого каждый изъ насъ не извлечетъ и изъ 20 десятинъ при нашемъ климатѣ и нашемъ хозяйствѣ и сбытѣ. А кому изъ крестьянъ на умъ придетъ рисковать введеніемъ другихъ искусственныхъ системъ хозяйства?

Правда, земли у насъ еще много,—хватить, пожалуй, на всѣхъ, если раздѣлить поровну; ну, а разстоянія, а почва, а климатъ, требующій, чтобы полгода сидѣли на печи, а вредныя для культуры растенія континентальныя свойства этого климата, а недостатокъ рукъ, а трудность сбыта, а дороговизна и неподвижность капиталовъ, а хищничество и неуваженіе къ собственности, проявляющіяся на каждомъ шагѣ и въ стадныхъ свойствахъ народонаселенія, и въ плохой администраціи, и даже въ окружающихъ насъ стихійныхъ силахъ?

Какъ же тутъ основать народное благосостояніе на одной земельной собственности!

Предполагалось, кажется, нашими доморощенными фізіократами, что земельная собственность у насъ безъ всякаго затрачиванія капитала, съ помощью однихъ рукъ и кое-какой животины безъ хорошихъ кормовъ, должна и прокормить крестьянскую семью, и выкупить себя, и дать еще прибыль для уплаты податей и для сбереженія на черный день. Когда же эти воздушные замки улетучились, то начались сѣтованія, скорбь, часто весьма сомнительнаго свойства, дутая и нерѣдко приторная, о меньшей братіи,—а затѣмъ и сочувствіе современнымъ утопіямъ.

Что это я говорю? Какъ осмѣливаюсь, хотя бы и для самого себя только, писать подобную ересь! Напечатай я это,

что будет со мною?! Въѣдъ Аскаченскій, читая мои „Вопросы жизни“, находилъ въ нихъ іезуитизмъ и безбожіе; Добролюбовъ, боявшійся инстинктивно розогъ, узрѣлъ въ моемъ регламентѣ о наказаніяхъ дикое и бессмысленное варварство; а теперь я вѣрно попалъ бы—за мой взглядъ на эманципацію—въ самые закоренѣлые крѣпостники и ретрограды. Но, слава Богу, я пишу для себя и не боюсь крика и брани. — Нѣтъ, господа,—отвѣтилъ бы я, можетъ быть, крикунамъ:—я первый, жива 15 лѣтъ безвыѣздно въ деревнѣ, не захотѣлъ бы ни за какія коврижки жить въ сосѣдствѣ съ обезземеленными крестьянами!

Земли нельзя было не дать нашимъ крестьянамъ при эманципаціи. Посадите кого угодно на привязь, на одно мѣсто, на сотни лѣтъ, и всякій,—если не самъ, то его потомки,—будетъ считать это мѣсто своимъ, то-есть — не себя къ нему, а его къ себѣ прикрѣпленнымъ. Это одно; а другое—то, что не въ кочевниковъ же превратить осѣдлыхъ поселянъ, считавшихъ землю, на которой они сидѣли, мірскою.

Итакъ, не въ томъ дѣло, что крестьяне наши освобождены были съ своею мірскою землею (тамъ какъ бы то ни было, тотчасъ же или потомъ); дѣло—въ принципъ; я возстаю противъ него и утверждаю, что заботы нашихъ социаль-экономистовъ фізіократовъ о предохраненіи государства отъ пролетаріата посредствомъ надѣла крестьянъ землею ни къ чему не ведутъ. Что бы бюрократы, доктринеры и утописты ни придумывали противъ этого исконнаго зла человѣческаго общества, все повредить только настоящему, — это главное; а для отдаленнаго будущаго безпрестанно ломать и перестраивать неустановившіяся еще порядкомъ настоящія преобразованія — нелѣпо, — да мало что нелѣпо, — преступно.

Эта-то ломка, при которой я присутствую почти 20 лѣтъ на окраинѣ Россіи, эта невѣрность и шаткость настоящаго положенія земельныхъ собственниковъ и соединеннаго съ этимъ колебанія въ мѣропріятіи привели насъ въ то по-истинѣ безотрадное положеніе, въ которомъ мы теперь находимся.

Мнѣ кажется, какая-то мономанія пролетаріазма обуяла часть нашего общества, — и надо бы было благодарить Бога, когда бы она была религіознаго свойства; богатые стали бы

раздавать свое имущество — по-евангельски — нищимъ, во имя Господне. Такъ нѣтъ: мономанія чисто социальная, quasi-научная. Хотятъ, во что бы то ни стало, сдѣлать Россію на будущее время счастливѣе всей остальной Европы, Азіи, Африки, Америки и Австраліи.

Талисманъ уже найденъ, — это земля; теперь идетъ дѣло только о томъ, какъ до него всѣмъ и каждому добраться.

Рецептъ простой: чѣмъ больше каждому придется на долю, тѣмъ лучше. У мужика теперь мало земли, да и ту онъ не можетъ порядочно обработать, чтобы извлечь изъ нея что можно и что нужно, у него нѣтъ ни средствъ, ни умѣнья. Слѣдуетъ дать ему вдвое, втрое, вдесятеро больше, — и онъ справится. Откуда же эта логика? Она, мнѣ кажется, вышла изъ залежной системы хозяйства, процвѣтавшей еще на юго-восточныхъ окраинахъ Россіи при введеніи эманципаціи. Земля тамъ неплодородная, почва почти дѣвственная, народу мало, скотъ дешевъ и кормы въ степяхъ даровые. Валяй на просторѣ! Еще и теперь въ Бессарабіи и въ Болгаріи я самъ видѣлъ, какъ сѣется и отлично родится пшеница и кукуруза безъ плуга и пахоты. По стернѣ, послѣ снятія кукурузы, по оставшимся отъ нея клочкамъ, ходитъ братушка и молдаванинъ и сѣетъ осенью пшеницу, безъ всякой подготовки, а потомъ зараливаетъ какимъ-то допотопнымъ раломъ, парюю буйволовъ; а то такъ родятъ и такъ падающія зерна, при снятіи жатвы.

Первобытное повѣрье въ неисчерпаемое плодородіе залежи служить, мнѣ кажется, основаніемъ и нашихъ современныхъ социальныхъ убѣжденій. Да, нашъ народъ вѣритъ еще въ землю, чуть не въ божество земли. „Наша земля, — говорилъ мнѣ одинъ крестьянинъ въ моемъ имѣніи (подольской губ.), — не любитъ желѣза: перестанетъ родить, если ее много желѣзомъ трогать“. — А навозъ? — „Навоза тоже не хочетъ, бурьяномъ покрывается. Значитъ, землю не тревожь, она разсердится“. — Повѣрья, очевидно, ведущія свое начало отъ временъ залежного, переходнаго, полукочевого земледѣлія. Снялъ урожай три, четыре, — довольно; земля не очень возлюбляетъ желѣзо, — ступай на другое, свѣжее мѣсто.

Нѣмцы наши, колонисты, переселившіеся въ юго-восточныя наши степи изъ культурной страны, знакомые уже съ искус-

ственной системой полеводства, прибывшіе къ намъ съ нѣкоторыми денежными средствами, притомъ народъ трезвый, бережливый, грамотный, протестантъ и даже меннонитъ, да, сверхъ того, получившій льготы отъ нашего правительства (освобожденіе отъ податей, рекрутской повинности),—колонисты, говорю, несмотря на всѣ эти благопріятныя условія, все-таки, какъ люди опытные и знакомые съ дѣломъ, не поддались иллюзіямъ и, несмотря на большіе земельные надѣлы,—по нѣскольку десятинъ дѣвственной почвы на каждого хозяина,—черезъ нѣсколько лѣтъ учредили у себя майораты.

Около Одессы я зналъ нѣсколько такихъ колоній (напримѣръ, Люстдорфъ). Чтобы не дробить хозяйства на мельчайшіе участки, по смерти отца, поступалъ весь его земельный надѣлъ и инвентарь въ наслѣдство меньшому сыну, а другія дѣти получали отъ брата наслѣдника выплату деньгами и движимостью.

Вслѣдствіе этихъ порядковъ старшіе сыновья готовились быть ремесленниками, учителями и т. п., и отрывались отъ земли. Пролетаріатъ отъ этого не образовался. Намъ столько еще нужно умѣлыхъ людей, что всякій, сколько-нибудь ознакомившійся съ какимъ-нибудь дѣломъ, долго еще можетъ избѣгать пролетаріата. Слѣдуя же укоренившейся у насъ вѣрѣ въ землю, какъ единственный талисманъ противъ нищеты и пролетаріата, мы все-таки не предотвратимъ пагубнаго раздробленія земельныхъ надѣловъ, отнимемъ у многихъ тысячъ людей новаго поколѣнія вѣрный хлѣбъ и средства къ наживѣ ремесломъ и ученіемъ, принудивъ заниматься земледѣліемъ безъ оборотнаго капитала при истощенной уже почвѣ и неблагопріятныхъ климатическихъ условіяхъ. Не надо забывать, что земледѣліе изъ года въ годъ, по мѣрѣ истощенія почвы, дѣлается все болѣе и болѣе сходнымъ съ фабричнымъ или, по крайней мѣрѣ, кустарнымъ ремесломъ и требуетъ все болѣе и болѣе денежныхъ затратъ и оборотнаго капитала.

Конечно, если бы можно было надѣлить всѣхъ поровну по 500 или 1,000 десятинъ на каждое крестьянское хозяйство, то, вѣроятно, опасность пролетаріата отдалилась бы отъ насъ на цѣлыя столѣтія, хотя тогда, вѣрно, не мало бы явилось охотни-

ковъ продать лишнюю землю, съ которою имъ не подѣ силу было бы справиться.

Теперь въ земледѣліи едва-ли уже не дошло, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, до того, что сбываются слова Евангелія: имущему дастся, а у неимущаго отнимется. Чтò, въ самомъ дѣлѣ, предпринять бѣдняку съ своимъ надѣломъ, если у него нѣтъ семьи, — всѣ померли, — или и есть семья, да только со ртами, а не съ рабочими руками?

Надѣлъ, даже въ количествѣ, опредѣленномъ въ Сводѣ Законовъ для крѣпостныхъ, въ 8 десятинъ, не вложивъ въ него, кромѣ своего личнаго труда, еще рублей 150 — 200, не только не выплатитъ себя, но и не всегда прокормитъ семью. Поэтому, если хотятъ предотвратить, хотя бы въ ближайшемъ будущемъ, пролетаріатъ, основавъ все настоящее и будущее благосостояніе крестьянства на землѣ, то надо, вмѣстѣ съ достаточнымъ надѣломъ землею, еще придать и оборотный капиталъ или, по крайней мѣрѣ, не брать податей первые годы. Это — по теоріи; на практикѣ вышло бы, вѣроятно, другое: и оборотный капиталъ, розданный по рукамъ, и прощенные подати не пошли бы въ прокъ, такъ, какъ бы этого хотѣлось доктринерамъ.

Весьма отличительная черта въ характерѣ русскаго народа, отличающая его отъ западныхъ націй и даже отъ южныхъ славянъ, это — совершенное отсутствіе бережливости. Встрѣчается иногда скряжничество, циническая скупость, но склонности къ сбереженію нѣтъ.

Пожалуй, скажутъ на это, что нечего беречь; но это далеко не всегда главная причина: неразсчетливость и чисто восточный фатализмъ мѣшаютъ бережливости и тамъ, гдѣ есть чтò беречь. Извинительная отговорка, приписываемая спившемуся съ круга мужику, — также въ восточномъ вкусѣ. Онъ пропиваетъ, будто-бы, послѣднюю копейку потому, что ее не урежешь, или беречь не стоитъ.

Въ имѣніи моемъ я знаю одного мужика, Савву Кривокурова; тотъ, вѣрно, пьянствуетъ не отъ нищеты; онъ однажды, поработавъ у себя и у меня въ полѣ, рѣшился, по собственнымъ его словамъ, попытать, какая такая есть свобода на свѣтѣ, и пересталъ работать, лежалъ на печи, ѣлъ, пока были

харчи, и ходилъ въ кабакъ. Этотъ опытъ надъ свободою продолжался чуть-ли не полгода, пока Савва все пропилъ и пошелъ на заработки.

Иногда я его встрѣчалъ, лежащаго на улицѣ, иногда въ рубищѣ, а теперь, недавно, встрѣтилъ—что-то везетъ на парѣ своихъ лошадей: вѣрно, покончилъ свой экспериментъ съ свободою. Замѣчательно, что болгары, жившіе такъ долго подъ игомъ турецкаго фатализма, менѣе фаталисты, чѣмъ наши крестьяне. Эти наши братики—по всему видно было намъ въ Болгаріи — чрезвычайно бережливы, трезвы и не прочь при всякомъ случаѣ надуть своихъ сѣверныхъ братьевъ.

Но существуетъ,—если вѣрить нашимъ социалистамъ и славнофиламъ, — волшебное средство избѣжать пролетаріата и нищеты, основавъ благосостояніе на поземельномъ надѣлѣ и безъ затраты капитала. Это средство — наша старинная русская община. Дай Богъ! Съ этою общиною я не имѣлъ никакихъ дѣлъ, и знаю ее только по описанію. Мнѣ не вѣрится, однако-же, чтобы она устояла или прямо бы перешла въ организованную на западный манеръ ассоціацію, или коммуну, или во что-нибудь подобное. Мнѣ кажется потому, что ее не слѣдовало бы ни уничтожать, гдѣ она существуетъ, ни поддерживать искусственными мѣрами. А гдѣ нѣтъ общины, какъ, на примѣръ, у насъ на юго-западѣ, тамъ ее уже не введешь.

Я незамѣтно увлекся въ объясненіе, почему эманципація, предпринятая у насъ слишкомъ поздно и потому безъ подготовки, увеличила опасность волненій, представивъ для нашихъ анархистовъ и утопистовъ весьма заманчивую сторону. Первымъ ихъ лозунгомъ послѣ эманципаціи было: „земля и воля“, — и мнѣ сдается, что чѣмъ болѣе въ правительственныхъ сферахъ будутъ ковырять на всѣ лады земельный вопросъ, тѣмъ болѣе онъ будетъ дѣлаться растравленнымъ мѣстомъ, привлекательнымъ для хищныхъ наѣзниковъ. Я полагалъ бы, что гораздо надежнѣе и существеннѣе для пользы народа и самого государства, вмѣсто разныхъ искусственныхъ и принудительныхъ мѣръ для снабженія всѣхъ и cadaго изъ крестьянъ земельными надѣлами, было бы уменьшеніе тягости прямыхъ налоговъ, выкупныхъ платежей, свобода обращенія и пріисканіе

средствъ къ снабженію земледѣльца оборотнымъ капиталомъ, регулированіе свободы переселенія и т. п.

22-го марта 1881.

Событіе 1-го марта еще не даетъ мнѣ спокойно продолжать мою біографію. До себя ли, до прошедшаго ли, когда въ государствѣ, и, можетъ быть, вблизи себя, творится весьма недоброе и возмутительное?!

Я съ дѣтства любилъ мое отечество, вѣрно служилъ ему, всегда почиталъ верховную власть не въ видѣ лица, — лично я не имѣлъ счастья знать ни одного государя, — но какъ главу государства; всегда считалъ для Россіи жизненно-необходимою сильную верховную власть; всегда имѣлъ отвращеніе отъ заговора и всякаго тайнаго общества.

Поэтому я, положивъ руку на сердце, не могу ни въ чемъ, противъ правительства, упрекнуть себя, если только не назовутъ противоправительственнымъ независимый образъ мыслей, приводившій меня къ анализу и неодобренію разныхъ правительственныхъ мѣръ и распоряженій. Но я всегда былъ убѣжденъ, что ни правительству, ни верховной власти не опасны честные люди съ независимымъ и свободнымъ образомъ мыслей. Правительство можетъ смотрѣть на нихъ какъ на откровенную, добросовѣстную оппозицію, а такая оппозиція, я полагаю, при всякомъ образѣ правленія полезна и необходима.

Такъ и теперь, въ настоящее, смутное и тяжелое для всѣхъ, время, я не считаю подсказываемыхъ мнѣ моимъ свободомысліемъ соображеній для кого бы то ни было вредными или опасными. Правительственная власть въ государствѣ, очевидно, находилась не въ нормальномъ состояніи. Она оказывалась безсильною противъ шайки злоумышленниковъ, какъ принято выражаться оффиціально.

Глава государства, послѣ нѣсколькихъ, самыхъ дерзкихъ, покушеній, убитъ посреди бѣлаго дня и, очевидно, злоумышленникомъ изъ окружавшей государя (вышедшаго изъ экипажа на улицу) уличной толпы.

Дерзость и энергія зла заговорщиковъ дошли до неслыханныхъ размѣровъ. Они изготовляютъ у себя въ лабораторіяхъ

взрывчатыхъ вещества, дѣлають длинныя подземныя подкопы и т. п.

Можно ли все это отнести къ признакамъ прочно и правильно организованной правительственной власти? И въ какое время? Именно, когда Россія, выдвинутая на новый путь, требовала всего болѣе спокойствія для своего развитія.

Не для ослабленія же власти считалось необходимымъ введеніе такихъ преобразованій, которыя наиболѣе соотвѣтствовали современнымъ требованіямъ культурныхъ государствъ?!

Почему же эти современныя реформы вооружили противъ себя и противъ личной, вводившей ихъ, власти, такую странную ненависть, злобу и мщеніе въ горсти людей?

Мнѣ сдается, что ни одно изъ преобразованій прошлаго царствованія не было ведено въ такомъ духѣ и направленіи, которые сообщены были этимъ реформамъ при ихъ появленіи на свѣтъ. Всѣ онѣ, казалось, обѣщали нѣчто другое, отличное отъ того, чѣмъ онѣ сдѣлались въ послѣдствіи.

24-го марта 1881.

Начавъ съ крестьянскаго вопроса, вездѣ можно прослѣдить болѣе или менѣе значительныя уклоненія отъ перваго, даннаго въ началѣ этимъ реформамъ, направленія. Такъ, крестьянскій вопросъ, несмотря на прошедшій уже 10-лѣтній срокъ, остается еще неоконченнымъ; часть крестьянъ, болѣе милліона, еще на издѣльной повинности и могутъ еще считаться не свободными, а прикрѣпленными къ землѣ. Другая часть (въ юго-западномъ краѣ) хотя и совершенно освобождена и снабжена надѣлами, но не разверстана отъ помѣщичьихъ владѣній и пользуется еще прежними сервитутами.

Винный откупъ уничтоженъ, но злоупотребленія едва-ли не сильнѣе прежнихъ, хотя и въ другомъ родѣ, и одинъ изъ самыхъ значительныхъ доходовъ государства основанъ все-таки на кабакахъ и пьянствѣ народа.

Въ земствѣ главные принципы, вложенные въ него при основаніи, — всесословное представительство, самоуправленіе и гласность, — сильно поколеблены... Вялость, безразличное отноше-

ніе земскихъ дѣателей и общества къ земскому дѣлу и бюрократизмъ были слѣдствіями измѣнивагося духа и направленія земскихъ учреждений.

Въ судебной реформѣ—то же самое.

Въ обще-военной повинности также потребовалось, не предусмотрѣнное закономъ, значительное стѣсненіе и сокращеніе льготъ; вообще же эта реформа не оказала на крестьянство и духъ народа ожидавшагося отъ нея благодѣтельнаго результата, хотя ею и сократился срокъ службы въ войскахъ.

Свобода, данная печати, до сихъ поръ остается еще не окончательно узаконенною.

Конечно, существовали весьма важныя причины, побудившія правительство измѣнить и духъ, и первоначальное направленіе этихъ великихъ реформъ прошедшаго царствованія; но въ такомъ случаѣ не въ правѣ ли общество предполагать—или то, что введеніе этихъ преобразованій было сдѣлано несвоевременно,—или что они не были основаны на точномъ и положительномъ, всестороннемъ знаніи дѣла,—или же, наконецъ, что взглядъ и образъ мыслей верховнаго реформатора измѣнились впослѣдствіи. Мнѣ кажется, я не ошибусь, если допущу всѣ три возможности и на первомъ планѣ поставлю послѣднюю изъ трехъ.

Можно, я думаю, съ вѣроятностію предположить, что врожденные покойному государю дары божіи—гуманный духъ, искреннее челоѣколюбіе и сердечный либерализмъ—развились и получили благое направленіе подъ руководствомъ и наблюденіемъ его воспитателя-поэта; Василій Андреевичъ Жуковскій, извѣстный мнѣ и лично, но еще болѣе чрезъ его почтеннѣйшую сестру, Екатерину Аванасьевну Протасову (урожд. Бунину), память о которой для меня всегда останется священной,—В. А. Жуковскій—говору—не могъ не сообщить своему царственному воспитаннику высокихъ, чисто поэтическихъ свойствъ своей прекрасной души. Это была именно душа, способная вліять благотворно. Поэтому мнѣ представляется весьма естественнымъ, что государь приступилъ къ задуманнымъ имъ преобразованіямъ въ прекрасномъ и истинно гуманномъ настроеніи духа, и съ полною надеждою наслаждаться еще во время своего царствованія благими результатами.

Когда же надежды не осуществились, а возвратъ къ прежнему сдѣлался невозможнымъ, то уклоненія съ проложеннаго пути казались единственнымъ средствомъ къ восстановленію нарушеннаго равновѣсія.

Не сердечное, а только добытое умственнымъ анализомъ добро идетъ твердо, между страхомъ и надеждою, на пути къ совершенству. Но если мы въ правѣ предположить, что государь-преобразователь и освободитель возлагалъ на исполненіе своихъ высокихъ намѣреній гораздо болѣе надеждъ, чѣмъ сколько ихъ исполнилось на дѣлѣ, то несомнѣнно, что множество умовъ изъ молодого поколѣнія еще болѣе ожидали самыхъ несбыточныхъ результатовъ отъ предпринятыхъ государемъ преобразованій.

А ложныя и обманутыя надежды гораздо болѣе, чѣмъ всякій гнетъ и насиліе, возбуждаютъ недовольство и раздражаютъ незрѣлый умъ и порочное сердце

Долго, долго еще событіе 1-го марта будетъ занимать умы и по своимъ слѣдствіямъ, и по своимъ причинамъ, и врядъ-ли когда-нибудь удастся исторіи выяснить его вполнѣ.

Мнѣ причины и слѣдствія этого событія представляются такъ, какъ я изложилъ здѣсь откровенно передъ самимъ собою. Вѣрно, будутъ пущены въ ходъ различныя версіи

Не забудемъ, что мы живемъ въ такое время, когда личности въ родѣ Брутовъ, Зандовъ и Равальяковъ уже успѣли популяризоваться и сомкнуть подъ покровительствомъ новаго ученія. А такой громадный успѣхъ зла, какого оно достигло событіемъ 1-го марта, долженъ сильно повліять на судьбы этой зловѣщей общины; она нравственно,—вѣрнѣе, злонравственно,—окрѣпнетъ и привлечетъ къ себѣ новыхъ сподвижниковъ. И если государства не примутъ заблаговременно радикальныхъ мѣръ къ ослабленію господствующаго антагонизма съ обществомъ, то вербовка въ ряды недовольныхъ анархистовъ и коммунаровъ будетъ расти все болѣе и болѣе, пока они не сформируютъ *status in statu*. На ихъ сторонѣ—тотъ же могущественный своимъ злонравіемъ принципъ, который сдѣлалъ непобѣдимыми и іезуитовъ,—съ тѣмъ только отличіемъ, что у

іезуитовъ благая цѣль оправдываетъ худыя средства, а у новыхъ адептовъ анархизма и нигилизма и цѣль, и средства сливаются вмѣстѣ и быють въ одну точку—разрушеніе существующаго порядка.

Какъ же не соединиться противъ такого сильнаго врага государству и обществу, стараясь взаимно ослабить существующій антагонизмъ?.. Спѣшите! Dixi.

Пора, однако-же, перестать. Я высказалъ все накопившееся въ душѣ и вызванное наружу событіемъ 1-го марта. Не знаю, возвращусь ли я еще разъ въ моемъ дневникѣ къ этому предмету. А теперь пора возвратиться къ моей біографіи.

28 марта 1881 года.

Но прежде, чѣмъ возвращусь къ моей біографіи, замѣчу, что прошлаго года я въ эту пору сильно озабоченъ былъ о состояніи моихъ полей; я велъ тогда дневникъ о погодѣ и температурѣ. Нынѣшній годъ было не до того. Я покупалъ новое имѣніе и дѣлалъ завѣщаніе;—замѣтно старѣюсь. Прошлаго года выпавшій въ ноябрѣ снѣгъ на талую землю угрожалъ озими большимъ вредомъ; всѣ боялись, что густые, какъ войлокъ, всходы вымокнутъ; но въ декабрѣ начались сильные морозы, и хотя снѣга навалило цѣлые сугробы—земля замерзла подъ нимъ на аршинъ и болѣе. Когда снѣгъ, лежавшій до конца марта, стаялъ, то озими оказались нетронутыми и, какъ осенью, густыми и зелеными. Урожай прошлаго, 1880, года былъ у меня, однако-же, не плохой и, если бы не дожди во время цвѣта пшеницы, былъ бы еще лучше; отъ этихъ дождей пострадалъ умолоть, но все-таки урожай пшеницы вообще у меня былъ самъ-восемь.

Сильные весенніе морозы, въ мартѣ до 20⁰ слишкомъ R., погубили множество деревьевъ въ саду; пострадали особливо вишни, сливы, груши; у меня изъ 2,000 погибло до 200. 5-го мая выпалъ снѣгъ и лежалъ два дня: пострадалъ виноградъ; не было ни яблоковъ, ни грушъ.

Про нынѣшній годъ еще труднѣе предсказать. Снѣгъ не падалъ на талую землю. Но снѣга вообще было мало до весны, и онъ зимою два раза сходилъ совсѣмъ, тогда какъ прошлаго

года не сходилъ ни разу. Отличныя осеннія всходы озими, густыя, какъ и прошлогодніе, стояли по недѣлямъ открытыя, безъ снѣжнаго покрова. Впрочемъ сильныхъ морозовъ не было. Въ цѣлую зиму разъ или два доходило до 20⁰ слишкомъ, и то на нѣсколько часовъ. Зато теперь мартъ необыкновенно холодный и сыръ. Падалъ раза три снѣгъ и одинъ разъ лежалъ около двухъ недѣль, защитивъ всходы отъ мартовскихъ вѣтровъ.

Тепла болѣе 10—12⁰ еще не было. Всходы не зеленые, какъ прошлогодніе, а сѣрые, желтоватые, но отъ дождей и мокраго снѣга начинаютъ зеленѣть; боюсь, не повредили бы имъ морозы въ 2—5⁰ на мокрую землю, не пострадали бы корни всходовъ.

Перехожу опять къ дѣламъ давно прошедшихъ дней. Не прошло и мѣсяца послѣ внезапной смерти отца, какъ мы всѣ, мать, двѣ сестры и я, должны были предоставить нашъ домъ и все, что въ немъ находилось, казнѣ и частнымъ кредиторами. Приходилось съ кое-какими крохами идти на улицу и думать о слѣдующемъ днѣ. Въ это время явилась неожиданная помощь. Троюродный (если не ошибаюсь) братъ отца, Андрей Филимоновичъ Назарьевъ, самъ обремененный семействомъ,—у него было на рукахъ три дочери (одна уже взрослая, двѣ подростки),—служившій засѣдателемъ въ какомъ-то московскомъ судѣ (помѣщавшемся близъ Иверскихъ воротъ), предложилъ намъ переѣхать къ нему. Онъ съ семействомъ жилъ у Прѣсненскихъ прудовъ, въ приходѣ Покрова въ Кудринѣ, въ собственномъ маленькомъ домикѣ, внизу, въ четырехъ комнатахъ, помѣщалось семейство Назарьевыхъ, а мезонинъ съ тремя комнатами и чердачкомъ предоставленъ былъ намъ. Окна одной изъ комнатъ выходили на Дѣвичье поле, виднѣлись Воробьевы горы, и я, смотря на этотъ ландшафтъ, вспоминалъ подобный же видъ изъ верхняго этажа нашего прежняго дома на Андроньевъ монастырь. Но вспоминать было нелегко,—впрочемъ не мнѣ собственно, а старшимъ. Что я тогда? Развѣ 14-лѣтнему подростку знакома бываетъ продолжительная грусть и недовольство судьбою?

Жизнь моя пошла попрежнему, какъ заведенныя часы. Два раза въ день я путешествовалъ въ университетъ по Ни-

китской, что брало болѣе 2 часовъ времени въ день; объ извозчикахъ, и даже розвальняхъ, теперь и подумать нельзя было.

Лѣтомъ, въ сухую погоду, куда ни шло, — я бѣгалъ по Никитской исправно; но въ грязь, осенью, ночью, ой, ой, ой, какъ плохо приходилось мнѣ, бѣдному мальчику. Мой дядюшка, — такъ я называлъ, — Андрей Филимоновичъ, былъ добрѣйшее и тишайшее существо тогдашняго чиновничьяго міра; небольшого роста отъ природы, да еще согнувшійся отъ постоянного писанья, онъ былъ истинный типъ небольшого чиновника-муравья. Дома я его никогда иначе не видывалъ, какъ за бумагами, цѣлую кипу которыхъ онъ приносилъ съ собою изъ суда, а въ судѣ, разумѣется, другого дѣла также не было; весь вѣкъ свой добрѣйшій Андрей Филимоновичъ писалъ, писалъ и писалъ, за что и награжденъ былъ владимірскимъ крестомъ; про него не помню, но другой такой же типическій чиновникъ удивлялъ меня всегда не на шутку вѣшаніемъ своего владимірскаго креста, за 30-лѣтнюю службу, передъ образомъ, по возвращеніи домой изъ присутственнаго мѣста. Андрей Филимоновичъ говорилъ мало и тихо; всѣ его наслажденія ограничивались слушаніемъ птичьяго пѣнія во время письменной работы, покуриваніемъ табаку изъ длиннаго чубука съ перышкомъ вмѣсто мундштука и чаепитіемъ. Эта добрѣйшая и тишайшая душа поила иногда и меня чаемъ въ ближайшемъ трактирѣ, когда я заходилъ въ судъ у Иверскихъ воротъ, отвозилъ меня иногда на извозчикѣ изъ университета домой, и однажды, — этого я никогда не забывалъ, — замѣтивъ у меня отставшую подошву, купилъ мнѣ сапоги.

Въ семействѣ дядюшки Назарьева съ жениной стороны, именно у сестры его жены, водились нечистые духи. Я почти всякій день слышалъ рассказы о разныхъ продѣлкахъ домовыхъ, обитавшихъ, по общему убѣжденію, въ квартирѣ Надежды Осиповны (такъ звали невѣстку дяди); я было забылъ всѣ слышанныя тогда рассказы, какъ небылицы, но, прочитавъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ статью профессора Вагнера о чудесахъ одного американскаго спирита, чрезъ 50 лѣтъ вспомнилъ снова о пресловутыхъ похожденияхъ Надежды Осиповны. Живо вспоминаю теперь, какъ и она сама, и ея домашніе повѣствовали о томъ, что у нихъ происходило дома по ночамъ

и по вечерамъ: стукъ, шумъ, трескотня разнаго рода, порохи и ползанье по стѣнамъ и за обоями, переставливаніе съ мѣста на мѣсто мебели по ночамъ, катаніе какихъ-то клубковъ и темныхъ массъ по полу.

Перемѣна квартиры не помогала, и въ этомъ-то я и нахожу сходство Надежды Осиповны съ американскимъ спиритомъ. И онъ, и она, какъ медиумы, вызывали однимъ личнымъ присутствіемъ духовъ изъ невидимаго міра. И я помню также, что родственники Надежды Осиповны считали ее не то тронушеюся, не то какою-то чуднѣю, и посмѣивались надъ нею, и какъ будто побаивались ея. Она была уже очень пожилая женщина, лѣтъ за 50, сухоощавая, и пересказывала все испытываемое ею и ея домашними по ночамъ весьма наивно, какъ будто все это такъ и должно было быть. Жаль, что я тогда ничего не смыслилъ о медиумахъ: я бы подробнѣе вникнулъ въ странную личность Надежды Осиповны; а то я слушалъ ея розсказни какъ интересныя сказки, смѣялся отъ души, когда она описывала продѣлки своихъ домовыхъ, — и только. То вѣрно, что это не была обманщица: не изъ чего и некого было обманывать. Вѣроятно также, что она подвергалась галлюцинаціямъ; но вопросъ, для меня нерѣшенный и въ отношеніи къ Надеждѣ Осиповнѣ, и въ отношеніи къ современнымъ медиумамъ, тотъ — не свойственно ли нѣкоторымъ личностямъ сообщать свои чисто субъективныя галлюцинаціи и другимъ воспріимчивымъ особамъ?

Мы жили въ домѣ дяди, не платя ничего за квартиру, болѣе года. Послѣ, въ 1837 году, сдѣлавшись профессоромъ въ Дерптѣ, я считалъ себя обязаннымъ отблагодарить добраго Андрея Филимоновича, и, признаюсь, не столько за даровой пріютъ, сколько за сапоги. У дяди, къ тому времени, подростъ маленькій сынишка, лѣтъ 10-ти, и я предложилъ отпустить его со мною въ Дерптъ, для ученья на мой счетъ. Мальчикъ учился у какого-то попа и кое-какъ мараковалъ грамоту. Признаюсь, я потомъ не радъ былъ жизни, что взялъ на себя такую обузу, не сообразивъ, насколько я въ состояніи былъ справиться съ нею. Я увидѣлъ потомъ, но поздно, что я тогда ничего не понималъ въ дѣлѣ воспитанія, считая его дюжиннымъ дѣломъ. Я сдѣлалъ изъ неудавшагося мнѣ воспитанія мальчика На-

зарьева одно заключеніе, которое, я думаю, относится и не ко мнѣ только, а и ко многимъ другимъ, а именно: молодому неженатому человѣку не нужно браться за воспитаніе ребенка; это опасное предпріятіе для нравственности воспитанника.

Я хотѣлъ приготовить маленькаго Николая къ гимназіи въ Дерптѣ, и, по совѣту какого-то педагога, помѣстилъ его полупансіонеромъ въ приготовительное училище Лазанда.

Меня не бывало по цѣлымъ днямъ дома, и мальчикъ, приходившій изъ школы, оставался на рукахъ жившей у меня въ услуженіи очень почтенной и богомольной женщины (латышки и піетистки). Вскорѣ узналъ я отъ нея, что мой Николай воруетъ. Вѣроятно, онъ привезъ эту привычку уже съ собою изъ Москвы. Родные, отпуская его со мною, дали нѣсколько денегъ мнѣ на сохраненіе, и какъ мальчикъ ни въ чемъ не нуждался, то я и заперъ его деньги, въ его присутствіи, вмѣстѣ съ моими, въ ящикъ комода. Служанка моя, почтенная Лена, чрезъ нѣсколько же дней послѣ нашего пріѣзда, увѣдомила меня, что Николай что-то долго оставался возлѣ комода, и она нашла потомъ ключъ отъ ящика, гдѣ были деньги, на комодѣ; но могло быть, что я и самъ забылъ ключъ на комодѣ. Стали наблюдать. Лена ухитрилась всунуть маленькую бумажку въ замочную дыру ящика, положила ключъ на прежнее мѣсто, сочли хорошенько мелкія деньги. На другой же день нашли бумажку вынутую и — дефицитъ. Потомъ накрыли воришку, и en flagrant délit.

Лена совѣтовала непремѣнно его высѣчь на мѣстѣ преступленія, увѣривъ меня, что это очень помогаетъ. Я, въ первый разъ въ жизни, произвелъ эту операцію, и весьма неловко; Лена была слишкомъ слаба, чтобы хорошенько поддержать мальчишку, оравшаго во все горло и брыкавшаго и руками, и ногами; я горячился, и розга не попадала по назначенію. Воровство, впрочемъ, прекратилось. Но ученіе шло, видимо, плохо, и мѣсто воровства заступила другая привычка, уже не знаю, привезенная ли также изъ Москвы, или дерптскаго происхождения.

Однажды Лена увѣдомила меня, что нашъ Николай что-то пасмуренъ и часто уходитъ въ нужное мѣсто; посмотрѣвъ пристальнѣе мальчику въ лицо, я замѣтилъ также что-то нехоро-

шее во взглядѣ: какую-то тусклость и смущеніе. „Что съ тобою?“ спрашиваю. вмѣсто отвѣта — слезы. „Боленъ?“ Отвѣта нѣтъ: слезы. „Онъ что-то рукою за нижнее мѣсто хватаетъ“, говоритъ мнѣ при немъ Лена. „Спусти штаны; покажи“. Открывается рагарфимозис и сильная опухоль члена. Я кладу мальчика на постель и сейчасъ же вправляю. Услышавъ, что этого рода занятіямъ онъ предавался и въ школѣ Лаланда, я взялъ его оттуда и отдалъ въ пансіонъ въ городѣ Верро, пользовавшійся большою извѣстностью въ то время.

Когда, черезъ годъ, я переѣхалъ въ Петербургъ, женился и поселился вмѣстѣ съ женою, матерью и сестрами, то Николая я снова привезъ къ себѣ въ домъ и помѣстилъ полупансіонеромъ въ гимназію, въ надеждѣ, что пребываніе его въ хорошемъ учебномъ заведеніи перемѣнитъ его къ лучшему, а жизнь въ семействѣ окончательно исправитъ. Бился съ нимъ я тутъ уже не одинъ: и жена, и мать, и сестры принимали участіе. Но ученіе не шло на ладъ, а въ головѣ были постоянныя шалости, какое-то тупое упрямство, а потомъ явилось и желаніе идти въ солдаты. „Голь, да соколъ буду“, возражалъ Николай на всѣ представленія. Такъ, побившись съ нимъ еще годъ, мы, наконецъ, принуждены были отправить его опять въ Москву. Что изъ него вышло — не знаю; кто-то, кажется, говорилъ мнѣ, что мой воспитанникъ получилъ мѣсто въ московской полиціи. Могъ ли я ожидать, что сдѣлаюсь воспитателемъ квартальныхъ!

И другой плетенецъ изъ семейства моего добраго Андрея Филимоновича, сынъ его старшей дочери, вышедшей замужъ за какого-то офицера, по фамиліи Солонина, и потомъ овдовѣвшей, попалъ ко мнѣ на руки, когда я былъ уже попечителемъ въ Кіевѣ.

Считая себя все еще въ долгу у этой семьи за доброту ея отца, я рѣшился еще разъ попробовать счастья въ воспитаніи чужихъ дѣтей, и принялъ маленькаго Солонину къ себѣ, къ своимъ дѣтямъ, которыя были старше его и могли готовить нѣсколько дикаго и безграмотнаго ребенка.

Но и на этотъ разъ не было удачи. Солонина, и по наружности очень похожій на Николая Назарьева, не поддавался нашей культурѣ. Я самъ, конечно, не имѣлъ досуга за-

ниматься воспитаніемъ Солонины, но жена, сестры и на этотъ разъ еще мои мальчики ничего не могли вдолбить; ученіе на дому не шло, а въ школу я боялся его отдать, чтобы не испортить еще болѣе. Такъ и возвратилъ я и этого питомца обратно на руки его матери, не достигнувъ никакого результата отъ моей культуры.

Я включилъ эти два образчика неудачи въ мою біографію потому, что они доказываютъ, во-первыхъ, какъ трудно быть истинно благодарнымъ, т.-е. принести пользу своею благодарностью тому, кто указалъ намъ нѣкогда истинное благодѣяніе; во-вторыхъ, они подтверждаютъ печальную истину, что добрый примѣръ и добрая воля воспитателей не ведутъ еще къ достиженію благихъ результатовъ въ дѣлѣ воспитанія. На дѣлѣ выходитъ совершенно противное тому, чего мы хотѣли достигнуть, подавая примѣръ дѣтямъ собственною жизнью и собственными дѣлами; объ этомъ я буду имѣть случай еще многое сказать впослѣдствіи, а о трудности быть благодарнымъ скажу теперь еще слѣдующее.

Неуваженіе къ заслугамъ, а еще болѣе неблагодарность, представлялись всегда моему воображенію въ видѣ самыхъ отвратительныхъ гадинъ. Въ душѣ я никогда не былъ неблагодарнымъ но, увы! на дѣлѣ я не сумѣлъ или даже не захотѣлъ (кто доберется до правды, роаясь въ хламѣ стараго сердца!) быть благодарнымъ именно тамъ, гдѣ благодарность была священнымъ долгомъ.

Правда, во всей моей жизни я нахожу не болѣе трехъ случаевъ такого долга. Объ одномъ изъ нихъ я сейчасъ разскажалъ. Въ другомъ я имѣлъ твердое намѣреніе отблагодарить,—и не однажды,—но судьба не дала мнѣ этого сдѣлать. Этотъ случай касается цѣлаго періода моей дерптской жизни; здѣсь скажу только, что я считалъ себя обязаннымъ благодарностью почтенному семейству дерптскаго профессора Мойера, и именно его почтеннѣйшей тещѣ, Еватеринѣ Аванасьевнѣ Протасовой, урожденной Буниной (сестрѣ по отцу Вас. Андр. Жуковскаго). Я былъ принятъ въ этомъ семействѣ какъ родной и, занявъ потомъ профессуру Мойера, мечталъ о женитьбѣ на его дочери, сыновней благодарности, и пр. и пр. Ме-

чтамъ юности не суждено было осуществиться, и я, по-неволѣ, остался въ долгу у незабвенной Екатерины Аонасьевны.

Наконецъ, третій и самый священный долгъ, оставшійся не такъ выполненнымъ, какъ бы мнѣ теперь (но, увы, поздно!) хотѣлось это сдѣлать, былъ долгъ благодарности къ моей матери и двумъ старшимъ сестрамъ. Со смерти отца, съ 1824 по 1827 годъ, эти три женщины содержали меня своими трудами. Кое-какія крохи, оставшіяся послѣ разгрома отцовскаго состоянія, недолго тянулись; и мать, и сестры принялись за мелкія работы; одна изъ сестеръ поступила надзирательницею въ какое-то благотворительное дѣтское заведеніе въ Москвѣ и своимъ крохотнымъ жалованьемъ поддерживала существованіе семьи.

Переѣхавъ черезъ годъ изъ дома дяди Андрея Филимоновича на наемную квартиру, мать рѣшила отдавать одну половину квартиры въ наймы нахлѣбникамъ; одинъ, и очень порядочный, человѣкъ скоро нашелся; это былъ студентъ математическаго факультета Жемчужниковъ (бывшій потомъ вице-губернаторомъ въ Каменецъ-Подольскѣ, гдѣ я его и встрѣтилъ черезъ 37 лѣтъ, въ 1862 г.). Жемчужниковъ былъ человѣкъ достаточный, и потому могъ платить за квартиру въ двѣ комнаты, столъ, чай и пр. 300 руб. ассигнаціями, т.-е. 75 руб. сер. въ годъ; а мать за всю квартиру (и, если не ошибаюсь, съ отопленіемъ) платила 300 руб. ассигн. ежегодно; таковы были цѣны въ то время!

Уроковъ я не могъ давать,—одна ходьба въ университетъ съ Прѣсенскихъ прудовъ брала взадъ впередъ часа четыре времени, да мать и не хотѣла, чтобы я на себя работалъ, и еще менѣе того, чтобы я сдѣлался стипендіатомъ или казеннокоштнымъ; куда это—и руками, и ногами противъ казенныхъ обязанностей! Это считалось, какъ будто, чѣмъ-то унижительнымъ: „ты будешь,—говорилось,—чужой хлѣбъ заѣдать; пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на нашемъ“. Такъ и перебивались, какъ рыба объ ледъ. Къ счастью нашему, въ то блаженное время не платили за лекціи, не носили мундировъ, и даже когда введены были мундиры, то мнѣ сшили сестры изъ стараго фрака какую-то мундирную куртку съ краснымъ воротникомъ, и я, чтобы не обнаружить несоблюденія формы,

сидѣть на лекціяхъ въ шинели, выставяя на видъ только свѣтлыя пуговицы и красный воротникъ.

12-го сентября 1881.

Какъ я или—лучше—мы проищенствовали въ Москвѣ во время моего студенчества, это для меня осталось загадкою. Квартира и отопленіе были, правда, даровыя у дяди въ теченіе года; а содержаніе? а платье? Двѣ сестры, мать и двѣ служанки, и я на прибавку. Сестры работали; продавались кое-какіе остатки, но какъ этого доставало—не понимаю. Иногда, только иногда, въ торжественные праздники, присылались чрезъ меня или другимъ путемъ вспомошествованія; помогаль иногда мой крестный отецъ, Сем. Андр. Лупутинъ; помогали кое-какіе старые знакомые.

Однажды матушка, узнавъ, что генераль Сипягинъ женится на второй женѣ послѣ вдовства, уговорила меня пойти къ нему съ поздравленіемъ и' поднести хлѣбъ-соль на новоселье. Сипягинъ былъ одно время патрономъ отца, завѣдывавшаго нѣкоторое время его дѣлами по имѣніямъ; я было заказалъ большой сдобный крендель и явился по утру къ генералу, поздравилъ его, передалъ хлѣбъ-соль; а онъ, поблагодаривъ довольно любезно, приказалъ своему казначею выдать мнѣ 25 рублей, но не сказалъ ассигнаціями, а просто: 25 рублей. И каково же было мое изумленіе, когда этотъ казначей потребовалъ съ меня 2 рубля (четвертакъ) сдачи съ бѣлой бумажки, ходившей въ то время съ лажемъ и стоимшей потому не 25, а 27 рублей!..

Черезъ годъ наше положеніе нѣсколько поправилось тѣмъ, что мы наняли квартиру побольше и стали сами держать на-хлѣбниковъ изъ студентовъ.

Порядочное помѣщеніе и сытный столъ доказываютъ, что въ то благодатное для бѣдняковъ время можно было учиться, несмотря на бѣдность. Зато и ученье было таковское—на мѣдныхъ деньги.

Между тѣмъ московскій университетъ того времени могъ похвалиться именами такихъ ученыхъ, какъ Юстъ-Христіанъ Лодеръ (анатомъ), Фишеръ (зоологъ), Гофманъ (ботаникъ);

такихъ практиковъ-врачей, какъ М. Я. Мудровъ, Е. О. Мухинъ, Федоръ Андр. Гильдебрандтъ (хирургъ); такихъ знатковъ русскаго слова и русской старины, какъ Мерзляковъ и Каченовскій.

Къ сожалѣнію, не всѣ изъ этихъ извѣстныхъ профессоровъ пеклись о полномъ изложеніи своего предмета, а главное (за исключеніемъ Лодера), не владѣли достаточными научными средствами для преподаванія своей науки; а сверхъ того, несравненно бѣльшая часть профессоровъ московскаго университета составляли живой и уморительный контрастъ съ своими знаменитыми коллегами.

Теперь нельзя себѣ составить и приблизительно понятія о томъ господствѣ комическаго элемента, который я засталъ еще въ университетѣ.

Мы, мальчиками 14—17 лѣтъ, ходили на лекціи своего и другого факультетовъ нерѣдко для потѣхи. И теперь безъ смѣха нельзя себѣ представить Вас. Мих. Котельницкаго, идущаго въ нанковыхъ бланжевыхъ штанахъ въ сапоги (а сапоги съ кисточками), съ кулькомъ въ одной рукѣ и съ фармакологіею Шпренгеля, переводъ Іовскаго, подъ мышкою. Это онъ, Вас. Мих. Котельницкій (проживавшій въ университетѣ), идетъ утромъ съ провизіею изъ Охотнаго ряда на лекцію. Онъ отдаетъ кулекъ сторожу, а самъ ранехонько утромъ отправляется на лекцію, садится, вынимаетъ изъ кармановъ очки и табакерку, нюхаетъ звучно, съ храпомъ, табакъ и, надѣвъ очки, раскрываетъ книгу, ставитъ свѣчку прямо передъ собою и начинаетъ читать слово въ слово и при томъ съ ошибками. Василій Михайловичъ, съ помощью очковъ, читаетъ въ фармакологіи Шпренгеля, переводъ Іовскаго: „Клещевинное масло, *oleum ricini*,—китайцы придаютъ ему горькій вкусъ“. Засимъ кладетъ книгу, нюхаетъ съ вхрапываніемъ табакъ и объясняетъ намъ, смиреннымъ его слушателямъ: „вотъ, видишь ли, китайцы придаютъ клещевинному-то маслу горькій вкусъ“. Мы между тѣмъ, смиренные слушатели, читаемъ въ той же книгѣ: вмѣсто китайцевъ: „кожицы придаютъ ему горькій вкусъ“. У Василя Михайловича на лекціи—что ни день, то репетиція. „Ну-те-ка, ты тамъ, Пешэ, обращается онъ въ одному студенту (сыну нѣмецкаго шляпнаго мастера), ты приходи;—по-

стой-ка, я тебя вотъ изъ Тенара жигану. А! чтò? небось, замаялся; а еще нѣмецъ! Ну-те-ка ты, Пироговъ, скажи-ка мнѣ, какъ французская водка по-латыни?“

— Spiritus gallicus.

— „Молодецъ!“

Другой экземпляръ, curiosum своего рода, Алекс. Леонтьев. Ловецкій, адъюнктъ знаменитаго Фишера, проф. естественной исторіи на медицинскомъ факультетѣ, дѣлаетъ съ нами ботаническія экскурсіи на Воробьевыхъ горахъ, то-есть гуляетъ, срываетъ нѣсколько цвѣтковъ, называетъ ихъ по имени, а когда мы приносимъ ему нашу находку и просимъ опредѣлить растеніе, мы уже знаемъ по опыту, что отвѣтъ одинъ: „отдайте ихъ моему кучеру, я потомъ дома у себя опредѣлю“. Этотъ же ученый вдругъ возжелалъ демонстрировать на лекціи половые органы пѣтуха и курицы (прежде за нимъ этого не водилось, — онъ демонстрировалъ иногда только картинки). Помощникъ его приготовляетъ ему препаратъ для демонстраціи. Препаратъ лежитъ на тарелкѣ, обвернутой вокругъ салфеткою. Алексѣй Леонтьевичъ беретъ тарелку и, не отнимая салфетки, объясняетъ своей аудиторіи устройство половыхъ органовъ пѣтуха; но на самой срединѣ демонстраціи помощникъ, сконфуженный и изумленный, приближается къ нему и говоритъ вполголоса:

— „Алексѣй Леонтьевичъ! вѣдь это курица“.

— Какъ курица? развѣ я не велѣлъ вамъ приготовить пѣтуха?

Со стороны помощника — возраженія; аудиторія чрезвычайно довольна сюрпризомъ.

— Пойдемте, господа, смотрѣть, какъ сегодня такой-то или такой-то профессоръ будетъ выгонять чужаковъ изъ аудиторіи.

Такого рода чужейдовъ было нѣсколько и въ нашемъ факультетѣ, и въ другихъ. Отправляемся.

Большая аудиторія амфитеатромъ. Входимъ. Какое зрѣлище! Профессоръ сидитъ на кафедрѣ, а по скамьямъ аудиторіи бѣгаютъ слушатели, гоняясь гурьбою одинъ за другимъ съ восклицаніями: „чужакъ, чужакъ, гони его! а-ту!“

А въ другомъ случаѣ слушатели, зная антипатію профес-

сора къ чужимъ посѣтителямъ его аудиторіи, сначала сидятъ тихо и даютъ набраться нѣсколькимъ чужакамъ, а въ самомъ разгарѣ профессорскаго чтенія подсылаютъ къ профессору одного изъ его приближенныхъ сказать:

— Василій Петровичъ! (или Григорій Васильевичъ!) есть много чужаковъ!

Лекція прекращается. Начинается розыскъ. Нетерпимость и ненависть къ чужакамъ были какимъ-то повѣтріемъ. Комизмъ, соединенный съ преслѣдованіемъ чужаковъ на лекціяхъ, доходилъ по-истинѣ до чудовищныхъ размѣровъ. Студенты эксплуатировали эту странную антипатію профессоровъ: къ одному совершенно глухому профессору (кажется, если не ошибаюсь, Гаврилову) набралась однажды полная аудиторія студентовъ; предвидѣлась потѣха, спектакль; на лекцію былъ приведенъ гарнизонный офицеръ изъ бурбоновъ (въ мундирѣ сѣраго цвѣта съ желтымъ воротникомъ) и былъ посаженъ на самую заднюю скамью. Какъ только началась лекція, репетиторъ (студентъ, державшій списокъ слушателей для переключекъ) подходитъ къ глухому профессору и кричитъ ему на ухо: „На лекціи есть чужакъ“. Начинается конверсація.

— „Гдѣ?“ — спрашиваетъ профессоръ.

Въ это время задніе ряды студентовъ раздвигаются, и взору изумленнаго профессора представляется военный чинъ, сидящій смиренно и прямо на скамьѣ.

— Вставайте, вставайте скорѣе! — шепчутъ ему сосѣдистуденты.

Гарнизонный офицеръ вытягивается въ струнку, руки по швамъ.

— „Зачѣмъ вы здѣсь?“ — спрашиваетъ лекторъ.

— Говорите, — подсказываютъ студенты офицеру, — что лекціи въ университетѣ публичныя, и всякій имѣетъ право ихъ посѣщать.

Офицеръ бормочетъ сквозь зубы подсказанное.

Профессоръ ничего не слышитъ; репетиторъ во всеуслышаніе громко передаетъ ему слова офицера.

— Онъ говоритъ, Вас. Петров., что лекціи публичныя.

— „Такъ что же, что публичныя, а въ аудиторіяхъ для порядка не должны быть терпимы чужаки“.

Конверсація въ такомъ духѣ продолжается нѣкоторое время. Наконецъ, студенты, сидящіе около офицера, шепчутъ ему: „Уходите, уходите, дѣлать нечего“.

Ряды сидящихъ раздвигаются, и гарнизонный офицеръ маршируетъ чрезъ всю аудиторію мимо кафедры къ выходу, а аудиторія, пользуясь абсолютною глухотою наставника, сопровождаетъ ретирату офицера громогласнымъ пѣніемъ: „изыдите, изыдите, нечестивіи!“ или чѣмъ-то въ этомъ родѣ. Профессоръ продолжаетъ читать.

У другого профессора слушатели приводятъ нѣсколькихъ товарищей, лежавшихъ въ клиникѣ и уже выздоравливающихъ, въ больничномъ костюмѣ; сажаютъ ихъ также въ заднихъ рядахъ и во время лекціи объявляютъ, что какіе-то больные забрались на лекціи изъ госпиталя. Опять спектакль. Больные изгоняются съ шумомъ и скандаломъ.

Элементъ смѣшного, впрочемъ, свойственъ былъ въ то время всѣмъ коллегіямъ не въ одной Москвѣ: и въ европейскихъ университетахъ встрѣчались курьезные оригиналы между учеными; но у насъ оригинальность была не только смѣшна, но и глупа, потому что была отставшею отъ времени и науки. Дѣйствительно, отсталость того времени была невообразимая; читали лекціи по руководствамъ 1750-хъ годовъ, и это тогда, какъ у самихъ студентовъ, по крайней мѣрѣ у многихъ, ходили уже по рукамъ учебныя книги текущаго столѣтія. Правда, были и новаторы, и даже между пожилыми профессорами; но тутъ, опять на бѣду, примѣшивались къ новаторству какая-то не по лѣтамъ горячность и пристрастность. Такъ, М. Я. Мудровъ вдругъ пересѣдлся—и изъ броуниста сдѣлался отчаяннымъ бруссизмомъ.

Мало или почти вовсе незнакомый, по его собственному признанію, съ патологическою анатоміею, онъ хотѣлъ увѣрить свою аудиторію и, дѣйствительно, увѣрилъ, не хуже самого Брусса, въ существованіи воспаленія слизистой кишечнаго канала тамъ, гдѣ его вовсе не было.

Но Мудровъ едва-ли былъ не единственнымъ исключеніемъ изъ профессоровъ. Потомъ уже, когда я кончилъ курсъ, обуяла нѣсколькихъ изъ молодыхъ философія Шеллинга; но она уже не была новостью въ Европѣ, тогда какъ бруссизмъ былъ,

дѣйствительно, еще животрепещущею новизною, и притомъ философію Шеллинга привозили къ намъ изъ Германіи посланные туда отъ университета молодые ученые; а Мудровъ, сидя дома, и притомъ въ 50-лѣтнемъ возрастѣ, напалъ на бруссѣизмъ.

Наглядность ученія и демонстрацію можно было найти только на лекціяхъ Лодера; но и при изученіи анатоміи отъ студентовъ вовсе не требовали обязательнаго упражненія на трупахъ. Я, во все время моего пребыванія въ университетѣ, ни разу не упражнялся на трупахъ въ препаровочной, не вскрылъ ни одного трупа, не отпрепарировалъ ни одного мускула и довольствовался только тѣмъ, что видѣлъ приготовленнымъ и выставленнымъ послѣ лекцій Лодера. И странно: до вступленія моего въ дерптскій университетъ я и не чувствовалъ никакой потребности узнать что-нибудь изъ собственнаго опыта, наглядно.

Я довольствовался вполне тѣмъ, что изучилъ изъ книгъ, тетрадокъ, лекцій.

И сказалъ сейчасъ, что это странно. Нѣтъ, вовсе не странно, когда большая часть моихъ наставниковъ была того же убѣжденія. Вотъ, на кафедрѣ стоитъ Петръ Иллар. Страховъ, прорѣ. химіи, медіц. факультета, — человекъ, очевидно, начитанный и изъ книгъ много знающій. Онъ читаетъ намъ, какъ дѣлаютъ термометры, чертитъ мѣломъ на доскѣ, распространяется; а у него въ аудиторіи сидятъ много такихъ, которые еще и въ жизни не имѣли термометра въ рукахъ, а видѣли его только издали. Идетъ ли дѣло объ оксигенѣ, Петръ Иллар. опять распространяется цѣлыхъ двѣ лекціи, опять чертитъ мѣломъ, приноситъ на лекцію французскія книги съ рисунками, но самаго кислорода мы не видимъ.

И такъ-то цѣлый курсъ: ни одного химическаго препарата въ натурѣ; вся демонстрація состоитъ въ черченіи на доскѣ. Только на послѣднемъ году курса, съ вступленіемъ въ университетъ профессора Геймана (молодого, живого и практичнаго еврея), я первый разъ въ жизни увидѣлъ въ натурѣ оксигенъ и гидrogenъ.

Но не на одномъ медицинскомъ факультетѣ химія читалась по книгамъ, безъ опытовъ; и на естественномъ факуль-

тетѣ проф. Рейсъ читаль ея по своимъ тетрадамъ, да еще вдобавокъ читаль-то намъ и не химію, а какое-то ученіе о міровомъ эфирѣ на латинскомъ языкѣ; зато этотъ ученѣйшій, какъ полагали, профессоръ и былъ самаго высокаго мнѣнія о себѣ, такого, что, по его собственному выраженію: *primus — Deus, secundus — Reus, tertius — adjunctus meus*.

Физика на математическомъ факультетѣ преподавалась гораздо нагляднѣе. На лекціяхъ у Двигубскаго слышалось хлопанье, трескъ, когда его лаборантъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и въ трезвомъ состояніи; въ медицинскомъ же факультетѣ и физику д-ръ Веселовскій читаль по тому же способу, какъ Страховъ химію; математическія формулы и черченіе разныхъ машинъ и приборовъ изслѣдовались ежедневно на черной доскѣ.

Физиологія, — ну, она въ первую половину текущаго столѣтія излагалась демонстративно только передовыми физиологами Франціи и Германіи. Физиологи 20-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія во всей Европѣ, за нѣкоторыми исключеніями, кажется, совсѣмъ потеряли изъ виду великаго ихъ предшественника — Галлера, хотя и ни одинъ изъ нихъ не могъ не отдать ему преимущества предъ всѣми другими. Рудольфи въ Берлинѣ, въ 1828—1830 годахъ, говариваль слушателямъ: „если вы спросите у профессоровъ физиологіи, какая физиологія лучшая, каждый изъ нихъ непременно отвѣтитъ: во-первыхъ, моя, а во-вторыхъ, Галлера; выходитъ математически вѣрно, что физиологія Галлера и есть до сихъ поръ все еще лучшая“. Нечего и говорить, что физиологія въ московскомъ университетѣ того времени преподавалась по книгѣ; а книга была физиологиста Ленгоссэка на латинскомъ языкѣ, перепечатанная въ Москвѣ съ прибавленіями и комментаріями Е. О. Мухина. Сей ученый мужъ, которому я, какъ уже высказаль, лично такъ много обязанъ, собственно былъ врачъ-практикъ и, сколько мнѣ извѣстно, самоучка (разсказывали въ то время, что онъ участвовалъ фельдшеромъ въ арміи Суворова при осадѣ Очакова); въ физиолога же онъ превратился, вѣроятно, потому, что, бывъ сначала профессоромъ анатоміи въ московской медико-хирургической академіи, тутъ онъ издалъ свою извѣстную анатомію, конкурировавшую въ Москвѣ съ петербургскою анатоміею За-

горскаго, но отличавшуюся от сей послѣдней тѣмъ: 1) что всѣ анатомическіе термины были переведены на невозможный русскій языкъ; 2) къ шести частямъ анатоміи Загорскаго прибавлена 7-я, вновь изобрѣтенная Ефремомъ Осиповичемъ, часть: ученіе о мокротныхъ сумочкахъ; 3) бедренная артерія названа была Ефремомъ Осиповичемъ артерією баронета Виллье, *arter. cruralis, s. femoralis, s. Willie*, съ примѣчаніемъ внизу, что баронетъ Виллье, при помѣщеніи анатомическаго театра въ московской медико-хирургической академіи, называлъ эту артерію своею любимую, или какъ-то въ этомъ родѣ. А къ физиологіи Ленгоссэка Е. О. Мухинъ присоединилъ еще ученіе о стимулахъ. Лекціи же Ефр. Осип. Мухина для меня тѣмъ достопамятны, что я, посѣщая ихъ аккуратно въ теченіе 4-хъ лѣтъ, ни разу не усомнился въ глубокомысліи наставника, хотя и ни разу не могъ дать себѣ отчета, выходя съ лекціи, о чемъ собственно читалось; это я приписывалъ собственному невѣжеству и слабой подготовкѣ.

Только впослѣдствіи, пріѣхавъ въ Москву на время, послѣ окончанія курса въ Дерптѣ, и нарочно сходявъ на лекцію Мухина, я убѣдился въ моей невинности. Я слушалъ цѣлую лекцію съ большимъ вниманіемъ, не пропустивъ ни слова, и къ концу ея все-таки потерялъ нить, такъ что потомъ никакъ не могъ дать себѣ отчета, какимъ образомъ Ефремъ Осиповичъ, начавъ лекцію изложеніемъ свойствъ и проявленій жизненной силы, ухитрился перейти подъ-конецъ „къ малинѣ, которую мы съ такимъ аппетитомъ, въ лѣтнее время, кушаемъ со сливками“. Пропускаю другой приведенный имъ примѣръ „о букашкѣ, встрѣчаемой иногда нами на кусочкѣ льда, которая, отогрѣвшись на солнцѣ, улетаетъ съ хрустальнаго льда, воспѣвая (т.-е. жуужитъ) хвалу Богу“,—пропускаю потому, что догадываюсь о связи жизненной силы съ оттаявшею букашкою въ этомъ примѣрѣ. Мухинъ, однако-же, добросовѣстно, по своему, конечно, исполнялъ обязанности профессора и прочитывалъ свою физиологію на лекціяхъ отъ доски до доски, и если что изъ своихъ лекцій откладывалъ, то потомъ не оставался въ долгу у слушателей; откладывалъ же онъ постоянно чтеніе о половыхъ женскихъ органахъ, приходившееся обыкновенно въ великій постъ: „Намъ слѣдовало бы теперь говорить,—

повторялъ онъ ежегодно въ это время,—о дѣторожденіи и половыхъ женскихъ органахъ; но такъ какъ это предметъ скромный, то мы и отлагаемъ его до болѣе удобнаго времени“.

Не такъ совѣстлива и пунктуальна была въ изложеніи своего предмета другая московская знаменитость тогдашняго времени—Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ, хотя мнѣ и сказывали, что прежде, придерживаясь Іосифа Фриша, онъ излагалъ въ теченіе года (по 3 часа въ недѣлю) полный *synopsis* терапіи; но при мнѣ, когда онъ пересѣдлся уже въ бруссысты, Матвѣй Яковлевичъ читалъ, что называли, черезъ пень въ колоду, останавливаясь исключительно только на новомъ ученіи о горячкахъ. Онъ много мнѣ принесъ пользы тѣмъ, что безпрестанно толковалъ о необходимости учиться патологической анатоміи, о вскрытіи труповъ, объ общей анатоміи Бинэ, и тѣмъ поселилъ во мнѣ желаніе познакомиться съ этою *terra incognita*.

Но самъ онъ, какъ я и видѣлъ однажды при вскрытіи тифознаго, былъ бѣлоручкою, очевидно незнакомымъ съ этимъ дѣломъ. Когда одинъ студентъ началъ вскрывать кишку, чтобы найти тамъ *inflammatio membranae mucosae gastro-intestinales*, мой Матвѣй Яковлевичъ убѣждалъ на самую верхнюю ступень анатомическаго амфитеатра и смотрѣлъ оттуда, конечно, притворяясь, будто что-нибудь видитъ, и въ извиненіе своего бѣгства отъ патологической анатоміи приводилъ только: „я-де старъ, мнѣ не по силамъ нюхать вонь“ и т. п.

Кромѣ того, что онъ не излагалъ намъ, да и не могъ изложить всей науки, хотя бы въ краткихъ очеркахъ, М. Я. терялъ много времени на разныя *alutria*, часто приходившія ему ни съ того, ни съ сего въ голову. Такъ однажды, бѣлая половина лекціи состояла въ томъ, что онъ какого-то провинившагося кутилу-студента, изъ семинаристовъ, заставилъ читать молитву на Троицынъ-день. Часто пристрастіе свое къ бруссызму онъ обнаруживалъ тѣмъ, что въ длинныхъ рапсодіяхъ начиналъ насмѣхаться надъ броунизмомъ. Сравните-ка наше теперешнее простое и раціональное леченіе тифа съ прежнимъ! Сначала *r. valeriana*, потомъ *serpentariae* и *agnica*, камфора, *moschus* и, наконецъ, когда все это не помогало,—Иверская Божія Матерь.

Чтеніе о добродѣтеляхъ врача и истолкованіе притчи Иппокрита брало отъ научныхъ лекцій также не мало времени. Не забудемъ, что клиника и лекціи были не ежедневно, а только три раза въ недѣлю. Иногда же встрѣчались выходы и другого рода, сокращавшія время преподаванія. Такъ, однажды, мы сидѣли въ аудиторіи, дожидаясь пріѣзда Мудрова; наконецъ, онъ является и велитъ всей аудиторіи идти куда-то за нимъ, надѣвъ шинели (дѣло было зимою). Мы повинемся, и Матвѣй Яковлевичъ ведетъ насъ изъ клиники черезъ дворъ въ анатомическій театръ на лекцію къ Лодеру. Чтò за притча такая? Мы вваливаемся цѣлою массою въ аудиторію и видимъ, что Лодеръ сидитъ съ аннинскою звѣздою на фракѣ. Мудровъ—мы видимъ—становится передъ новымъ кавалеромъ (Лодеръ, какъ мы узнали потомъ, только-что получилъ звѣзду), вынимаетъ изъ кармана листокъ и читаетъ гласомъ проповѣдника: „красуйся свѣтлостію звѣзды твоея, но подожди еще быть звѣздою на небесѣхъ“ и проч., и проч.

Лодеръ, нѣсколько сконфуженный, принимается, наконецъ, обнимать Мудрова и чтò-то, не помню, отвѣчаетъ ему на привѣтствіе по-латыни.

Мудровъ не былъ закоренѣлымъ противникомъ нѣмцевъ, какъ Е. О. Мухинъ; былъ большимъ почитателемъ Лодера и вмѣстѣ съ нимъ и нѣкоторыми другими профессорами придерживался, вѣроятно, только для вида, а можетъ быть, и по своему происхожденію изъ духовныхъ, господствовавшего въ то время (при министерствѣ Голицына) мистицизма.

И въ клиникѣ у Мудрова, и въ анатомическомъ театрѣ у Лодера мы читали на стѣнахъ надписи и распятія. Въ клиникѣ при входѣ былъ вдѣланъ въ стѣну крестъ съ надписью: *Per crucem ad lucem*. Нѣсколько далѣе стояла на другой стѣнѣ надпись: *Medice, cura te ipsum* (врачу, исцѣлися самъ). На стѣнѣ въ окнахъ анатомическаго театра красовалось огромными буквами: *Gnothi seauton* (познай самого себя). Въ анатомической аудиторіи, расположенной полукружнымъ амфитеатромъ вверху, у самого потолка, вдоль всей стѣны надпись огромными золотыми буквами гласила: „Руде Твоя создаста мя и сотвориша мя, вразуми мя, и научуся заповѣдемъ Твоимъ“.

Не надо забывать, что все это было во времена дны, когда хоронились на кладбищах съ отпѣваніемъ анатомическіе музеи (въ Казани, во времена Магницкаго) и когда былъ поднятъ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія или въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ вопросъ: нельзя ли обходиться при чтеніи анатомическихъ лекцій безъ труповъ, и когда въ нѣкоторыхъ университетахъ (въ Казани) и дѣйствительно читали міологию на платахъ.

Профессоръ анатоміи—разсказывали мнѣ его слушатели—привяжетъ одинъ конецъ платка къ асгоміон и спинкѣ лопатки, а другой—къ плечевой кости, и увѣряетъ свою аудиторию, что это *musculus deltoideus*.

Хирургія,—предметъ, которымъ я почти вовсе не занимался въ Москвѣ,—была для меня въ то время наукою неприглядною и вовсе непонятною. Объ упражненіяхъ въ операціяхъ надъ трупами не было и помину; изъ операцій надъ живыми мнѣ случилось видѣть только нѣсколько разъ литотомію у дѣтей и только однажды видѣлъ ампутированную голень. Передъ лекарскимъ экзаменомъ нужно было описать на словахъ или на бумагѣ какую-нибудь операцію на латинскомъ языкѣ, и только Фед. Андр. Гильдебрандтъ, искусный и опытный практикъ, особливо литотомистъ, умный острякъ, какъ профессоръ, былъ изъ рукъ вонъ плохъ. Онъ такъ сильно гнулъ, что, стоя въ двухъ-трехъ шагахъ отъ него на лекціи, я не могъ понимать ни слова, тѣмъ болѣе, что онъ читалъ и говорилъ всегда по-латыни. Вѣроятно, профессоръ Гильдебрандтъ страдалъ хроническимъ насморкомъ и курилъ постоянно сигарку. Это былъ единственный индивидуумъ въ Москвѣ, которому разрѣшено было курить на улицахъ. Лекціи его и его адъюнкта Альфонскаго состояли въ перефразированіи изданнаго Гильдебрандтомъ краткаго, и краткаго до *non plus ultra*, учебника хирургіи на латинскомъ языкѣ.

И такъ я окончилъ курсъ; не дѣлалъ ни одной операціи, не исключая кровопусканія и выдергиванія зубовъ, и не только на живомъ, но и на трупѣ не сдѣлалъ ни одной и даже не видѣлъ ни одной, сдѣланной на трупѣ, операціи.

Отношенія между нами, слушателями, и профессорами огра-

ничивались одни́ми лекціями; только съ нѣкоторыми молодыми адъюнктами и нами иногда отношенія принимали болѣе интимный характеръ. Я, напримѣръ, нерѣдко навѣщалъ по вечерамъ ад. химіи Іовскаго, только-что возвратившагося изъ-за границы; онъ рассказывалъ мнѣ про университетскую научную жизнь въ Германіи и Франціи, подтрунивая вмѣстѣ со мною надъ отжившими и отсталыми нашими учеными; но потомъ, какъ я слышалъ, и самъ попалъ въ эту же колею.

На лекціяхъ же отношенія наставниковъ нашихъ,—по крайней мѣрѣ чистокровныхъ русскихъ,—были весьма патріархальныя; многіе изъ профессоровъ, какъ-то: Мудровъ, Котельницкій, Сандуковъ и др., говорили студентамъ „ты“, Мудровъ—съ прибавкою: „ты, душа“; допускались на лекціяхъ и патріархальныя остроты надъ отдѣльными личностями и надъ цѣлою аудиторіею. Такъ, Мудровъ однажды, на своей лекціи о нервной психической болѣзни учителей и профессоровъ, обнаруживающейся какою-то непреодолимою боязнью, при входѣ въ аудиторію, сказалъ своимъ слушателямъ: „а чего бы васъ-то бояться,—вѣдь вы бараны“, и аудиторія наградила его за эту остроту общимъ веселымъ смѣхомъ.

Зато и слушатели, какъ видно изъ приведенныхъ мною авантюръ на лекціяхъ, не церемонились—и съ чудаками чудачествовали и проказили на лекціяхъ. Кромѣ приведенныхъ, приведу и еще два похожденія такого же рода.

Одинъ изъ профессоровъ-чудаковъ былъ такъ слабъ глазами, что безъ очковъ не могъ ни одной буквы прочесть въ своей тетрадкѣ, а вся лекція у него и состояла въ прочтеніи слушателямъ своей тетрадки.

Ясно было, что лишить его очковъ—значило сдѣлать лекцію для него вполнѣ невозможною. Слушатели, замѣтивъ, что онъ, приходя на лекцію, прежде всего снимаетъ свои очки и кладетъ ихъ на кафедру, умудрились устроить такъ, что положенныя очки должны были неминуемо провалиться въ пустоту кафедры на самое ея дно. Положеніе профессора было критическое; онъ, видимо, потерялъ голову и не зналъ, что ему дѣлать. Тогда тѣ же слушатели явились предъ нимъ совѣтниками на помощь; одинъ изъ нихъ, долго не думая, притащилъ отъ сторожа кочергу, запустилъ ее въ провалъ и на-

чалъ, къ ужасу профессора, ковырять ею во всё стороны такъ безжалостно, что очкамъ, очевидно, грозила опасность полного разрушенія. Вся аудиторія между тѣмъ собралась около кафедръ и злополучнаго наставника; совѣтамъ, толкамъ, сожалѣніямъ не было конца, и вотъ, наконецъ, общимъ совѣтомъ рѣшили, что нѣтъ другого, болѣе надежнаго средства сдѣлать лекцію возможною, то-есть достать очки, какъ перевернуть кафедру верхъ дномъ и вытрясти ихъ оттуда. Принялись за дѣло, увѣнчавшееся успѣхомъ: вытрясли полуразрушенныя ко-чергою очки; когда достигли этого результата и профессоръ разсматривалъ уныло нарушеніе цѣлости своего зрительнаго инструмента, въ аудиторію вошелъ другой профессоръ и осто-бенѣлъ при видѣ необыкновеннаго зрѣлища. Такимъ обра-зомъ, лекціи, то-есть прочтенію тетрадки, къ удовольствію мно-гихъ слушателей, не суждено было состояться.

У другого профессора того же (если не ошибаюсь, словес-наго) факультета было заведено въ началѣ лекціи читать про-токолъ прошедшей, и это чтеніе поручалось имъ одному репе-титору. Всѣ знали, что репетиторъ этотъ непременно скажетъ въ началѣ чтенія протокола, и многіе изъ другихъ факульте-товъ являлись изъ любопытства на лекцію, чтобы услышать заранѣе извѣстный всѣмъ *curiosum*. *Curiosum* состоялъ въ томъ, что репетиторъ начиналъ чтеніе протокола всегда слѣдующими словами:

„На прошедшей лекціи 182... года, такого-то числа, Ва-силій Григорьевичъ такой-то, надворный совѣтникъ и кавалеръ, излагалъ своимъ слушателямъ то-то и то-то“. Профес-соръ же постоянно и непременно всякій разъ прерывалъ чте-ніе репетитора замѣчаніемъ, что онъ дѣйствительно надворный совѣтникъ, но вовсе не кавалеръ. На это замѣчаніе, въ свою очередь, репетиторъ всякій разъ отвѣчалъ: „Какъ же, Василій Григорьевичъ, вы удостоены медали за 1812-й годъ на владимірской лентѣ“.

Но, несмотря на комизмъ и отсталость, у меня отъ пре-быванія моего въ московскомъ университетѣ, вмѣстѣ съ курьё-зами разнаго рода, остались впечатлѣнія глубоко, на цѣлую жизнь, врѣзавшіяся въ душу и давшія ей извѣстное направ-леніе на всю жизнь. Такъ, лекціи Лодера, несмотря на мое

полное незнакомство съ практическою анатоміею, поселили во мнѣ желаніе заниматься анатоміею, и я зазубривалъ анатомію по тетрадкамъ, кое-какимъ учебникамъ и кое-какимъ рисункамъ. Даже обычныя выраженія Лодера „*Sapientissima natura, aut potius Creator sapientissimæ naturæ voluit*“, не остались безъ вліянія на меня.

Я и теперь еще, чрезъ 50 слишкомъ лѣтъ, какъ будто слышу ихъ. Но и самыя надписи на стѣнахъ анатомическаго театра и клиники слились у меня какъ бы въ одно цѣлое съ начатками моихъ научныхъ свѣдѣній въ Москвѣ. Мистическаго и мистицизма никто не искоренить изъ глубины человѣческаго духа. Монотонность и односторонность никогда не будутъ ему свойственны, и я не вѣрю, чтобы человѣческое общество когда-нибудь остановилось на одномъ избранномъ имъ направленіи, и всего менѣе вѣрю, чтобы оно когда-нибудь слѣлалось позитивистомъ.

Студенческая жизнь въ московскомъ университетѣ, до кончины императора Александра I-го, была привольная. Мы не видывали попечителя—кн. Оболенскаго. Я его только разъ видѣлъ на актѣ, да и съ ректоромъ—Прокоповичемъ—Антонскимъ—встрѣчались вступающіе въ университетъ кутилы и забіяки. Я его видѣлъ также только на актѣ. Мундировъ тогда еще не было у студентовъ. Несмотря на это, я не помню ничего особенно неприличнаго или рѣзко выдававшегося въ наружномъ видѣ студентовъ. Скорѣе выдавалась и поражала насъ наружность у профессоровъ, такъ какъ одни изъ нихъ въ своихъ каретахъ, запряженныхъ четверкою, съ ливрейными лакеями на запяткахъ (какъ М. Я. Мудровъ, Лодеръ и Е. О. Мухинъ), казались намъ важными сановниками, а другіе—инфантеристы или ѣздившіе на ванькахъ во фризowych шинеляхъ—имѣли видъ преслѣдуемыхъ судьбою паріевъ.

Но съ вступленіемъ на престолъ Николая I-го, послѣ декабрьскихъ, дней, и мы почувствовали перемену въ воздухѣ.

Слышимъ, что назначается новый попечитель, военный генералъ Писаревъ; слышимъ, что новый государь, во время пребыванія его въ Москвѣ, посѣтитъ почти инкогнито уни-

верситетъ и университетскій пансіонъ, разсердился страшно, увидѣвъ имя Кюхельбекера, написанное золотыми буквами на доскѣ въ залѣ университетскаго пансіона; Антонскій не догадался снять доску или стереть ненавистное имя бунтовщика, бывшаго отличнымъ ученикомъ.

Антонскій,—говору,—намъ сказывали, былъ смѣненъ за эту недогадливость, а прежній фрячный попечитель былъ замѣненъ мундирнымъ.

Мы слышали также, что государь, пріѣхавъ на дрожкахъ въ университетъ и узанный только сторожемъ, отставнымъ гвардейскимъ солдатомъ, пошелъ прямо въ студенческія комнаты, велѣлъ при себѣ переворачивать тюфяки на студенческихъ кроватяхъ и подъ однимъ тюфякомъ нашелъ тетрадь стиховъ Полежаева.

Полежаевъ угодилъ въ солдаты.

Вскорѣ послѣ этого посѣщенія были введены студенческіе мундиры,— для меня и, вѣрно, для многихъ другихъ, кое-какъ перебивавшихся,—новъй расходъ.

Сестры ухитрились смастерить мнѣ изъ стараго фрака какую-то мундирную куртку съ краснымъ воротникомъ и свѣтлыми пуговицами, но неопредѣленнаго цвѣта, и я, пользуясь позволеніемъ тогдашняго добраго времени, оставался на лекціяхъ въ шинели и выставлялъ на-показъ только верхнюю, обмундированную, часть тѣла.

Не замедлил явиться предъ нами въ аудиторіяхъ и мундирный попечитель, тотчасъ же при своемъ появленіи прозванный, по свойству его рѣчи, фяготомъ. Дѣйствительно, рѣчь была отрывистая, рѣзкая. Я видѣлъ и слышалъ этого фягота, благодареніе Богу, только два раза на лекціяхъ: одинъ разъ на лекціи у профессора химіи Геймана, другой разъ—у Мухина, и оба раза появленіе было сопровождаемо нѣкотораго рода скандаломъ.

У Геймана на лекціи фяготъ,—высокій, плечистый генераль въ военномъ мундирѣ, входившій всегда съ шумомъ, въ сопровожденіи своихъ драбантовъ,—встрѣтилъ моего прежняго нахлѣбника, Жемчужникова, въ странномъ для него костюмѣ: студенческій незастегнутый мундиръ, какія-то уже вовсе немундирныя панталоны и съ круглою шляпою въ рукахъ.

— „Это что значитъ?—произнесъ фаготъ самымъ рѣзкимъ и провзительнымъ голосомъ, нарушившимъ тишину аудиторіи и вниманіе слушателей, прикованное къ химическому опыту Геймана.—Такихъ надо удалять изъ университета“,—продолжалъ такимъ же голосомъ фаготъ.

Жемчужниковъ всталъ, сдѣлавъ шагъ впередъ и, поднимая свою круглую шляпу, какъ бы съ цѣлью надѣть ее себѣ тотчасъ же на голову, прехладнокровно сказалъ: — „Да я не дорожу вашимъ университетомъ“,—поклонился и вышелъ вонъ.

Фаготъ не ожидалъ такой для него небывалой выходки подчиненнаго лица и какъ-то смолкъ.

Въ аудиторію Мухина фаготъ ввалился однажды и сказалъ уже такую глупость, которая, вѣрно, не прошла ему даромъ.

Надо знать, что въ началѣ царствованія Николая, почему-то, — а можетъ быть, именно благодаря разнымъ безтактнымъ выходкамъ фагота,—русскіе наши нѣмцефды, видимо, стали на дыбы, полагая, что пришелъ на ихъ улицу праздникъ. Начались разныя, не совсѣмъ приличныя, выходки и противъ такой высокостоящей во всѣхъ отношеніяхъ личности, какъ Юстъ-Христіанъ Лодеръ.

Мухинъ всполошился особенно и какимъ-то образомъ достигъ на нѣкоторое время того, что даже началъ читать лекціи въ анатомическомъ амфитеатрѣ, прежде ни для кого, кромѣ Лодера, недоступномъ. Это продолжалось, однако-же, недолго. Мухинъ почему-то снова перешелъ на лекціи въ прежнюю аудиторію свою, въ зданіи университета, также въ довольно пространную (человѣкъ на 250), но не такъ удобную.

Вотъ въ эту-то переполненную аудиторію и ввалился съ шумомъ фаготъ.

— „Почему же вы не читаете тамъ?“—спрашиваетъ онъ Мухина, указывая рукою по направленію анатомическаго театра.

— Да тамъ, ваше высокопревосходительство, Лодеръ раскладываетъ кости и препараты предъ своими лекціями.

— „А! если такъ, то я его самого разложу“,—отвѣчаетъ громко, на всю аудиторію, фаготъ.

Лодеру донесли объ этомъ глупомъ фарсѣ. И вскорѣ мы услышали, что самъ король прусскій довелъ до свѣдѣнія госу-

даря о проискахъ противъ маститаго ученаго. Съ тѣхъ поръ его оставили въ покоѣ, и чрезъ нѣсколько времени послѣ этого, происшествія явилась и аннинская звѣзда у Лодера, послужившая поводомъ къ сочиненію рацеи М. Я. Мудрова.

Наконецъ, наступилъ и 1827-й годъ, принесшій намъ на свѣтъ высочайше утвержденный проектъ академика Паррота. Первое сообщеніе, болѣе метафорическое, чѣмъ официальное, мы услышали на лекціи Мудрова. Пріѣхавъ однажды ранѣе обыкновеннаго на лекцію, М. Я. Мудровъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, начинаетъ намъ повѣствовать о пользѣ и удовольствіи отъ путешествій по Европѣ, описываетъ восхождение на ледники альпійскихъ горъ, рассказываетъ о бытѣ-житѣ въ Германіи и Франціи, о пуховикахъ, употребляемыхъ вмѣсто одѣялъ нѣмцами, и проч. и проч. Чтѣ за притча такая? думаемъ мы, ума не приложимъ, къ чему все это клонится. И только къ концу лекціи, проговоривъ битый часъ, М. Я. Мудровъ объявляетъ, что по высочайшей волѣ призываются желающіе изъ учащихся въ русскихъ университетахъ отправиться, для дальнѣйшаго образованія, за границу.

Я какъ-то разсѣяннo прослушалъ это первое извѣщеніе.

Потомъ я гдѣ-то, кажется, на репетиціи, приглашаюсь уже прямо Мухинымъ.—Опять Е. О. Мухинъ!

— „Вотъ, поѣхалъ бы! приглашаются только одни русскіе; надо пользоваться случаемъ“.

— Да я согласенъ, Ефремъ Осиповичъ,—бухнулъ я, нисколько не думая и не размышляя.

Какъ объяснить эту неожиданную для меня самого рѣшительность? Тогда я не наблюдалъ надъ собою, а теперь нельзя рѣшить навѣрное, чтѣ было главнымъ мотивомъ. Но, сколько я себя помню, мнѣ кажется, что главною причиною скорого рѣшенія было мое семейное положеніе.

Какъ ни былъ я тогда молодъ, но помню, что оно нерѣдко меня тяготило. Мнѣ уже 16 лѣтъ, скоро будетъ и 17, а я все на рукахъ бѣдной матери и бѣдныхъ сестеръ. Положимъ, получу и степень лекаря, а потомъ чтѣ? Нѣтъ ни средствъ, ни связей, не найдешь себѣ и мѣста. Въ то же время было и неотступное желаніе учиться и учиться.

Московская наука, несмотря на свою отсталость и поверхностность, все-таки оставила кое-что, не дававшее покоя и звавшее впередъ.

— „Выбери предметъ занятій, какую-нибудь науку“, — говоритъ Е. О. Мухинъ.

— Да я, разумѣется, по медицинѣ, Ефремъ Осиповичъ.

— „Нѣтъ, такъ нельзя; требуется непременно объявить, которую изъ медицинскихъ наукъ желаешь исключительно заняться“, — настаиваетъ Ефремъ Осиповичъ.

Я, не долго думая, да и брякнулъ такъ: — Физиологію.

Почему я указалъ на физиологію? — спрашивалъ я послѣ самого себя.

Отвѣтъ былъ: во-первыхъ, потому, что я въ моихъ ребяческихъ мечтахъ представлялъ себѣ, будто я съ физиологію знакомъ болѣе, чѣмъ со всѣми другими науками. А это почему? А потому, что я зналъ уже о кровообращеніи; зналъ, что есть на свѣтѣ химусъ и хилусъ; зналъ и о существованіи грудного протока; зналъ, наконецъ, что желчь выдѣляется въ печени, моча — въ почкахъ, а про селезенку и поджелудочную железу не я одинъ, а и всѣ еще немногое знаютъ; сверхъ этого, физиологія немыслима безъ анатоміи, а анатомію-то уже я знаю, очевидно, лучше всѣхъ другихъ наукъ.

Но все это во-первыхъ, а во-вторыхъ — кто предлагаетъ мнѣ сдѣлать выборъ предмета занятій: развѣ не Ефремъ Осиповичъ, не физиологъ? Уже вѣрно мой выборъ придется ему по вкусу. Но не тутъ-то было. Ефремъ Осиповичъ сдѣлалъ длинную физиономію и коротко и ясно рѣшилъ:

— „Нѣтъ, физиологію нельзя; выбери что-нибудь другое“.

— Такъ позвольте подумать...

— „Хорошо, до завтра; тогда мы тебя и запишемъ“.

Дома я ничего не объявилъ ни матери, ни сестрамъ, а началъ обдумывать все дѣло, уже почти рѣшенное, то-есть дѣйствовать по нашему, по-русски, заднимъ умомъ, и, право, поступилъ не худо; дѣйствуя переднимъ, я, вѣроятно, не попалъ бы въ профессорскій институтъ, и жизнь сложилась бы на другихъ началахъ, и Богъ вѣсть — какихъ. На чтѣ же — спрашиваю я себя — далъ я мое согласіе? На то, чтобы ѣхать за границу учиться. Да на какихъ же условіяхъ? Вѣдь, не зная

ихъ, попадешь, пожалуй, и въ кабалу. Да, впрочемъ, Богъ съ ними, съ этими условіями, хуже не будетъ.

Бѣгу въ университетъ, справляюсь, прислушиваюсь, совѣтуюсь; наконецъ, кое-что узнаю и рѣшаюсь: такъ какъ фізіологію мнѣ не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатоміи, по моему мнѣнію, есть одна только хирургія, я и выбираю ее. А почему не самую анатомію? А вотъ, поди, узнай у самого себя — почему? Навѣрное не знаю, но мнѣ сдается, что гдѣ-то издалека, какой-то внутренній голосъ подсказалъ тутъ хирургію. Кромѣ анатоміи, есть еще и жизнь, — и, выбравъ хирургію, будешь имѣть дѣло не съ однимъ трупомъ.

Меня интересовали, однако-же, не мало и другія науки. Я ужасно любилъ химію, особливо послѣ Геймановскихъ лекцій. Фармакологія мнѣ представлялась также, — несмотря на всю несостоятельность ея представителя въ московскомъ университетѣ, В. М. Котельницкаго, — весьма занимательною. Когда я сообщилъ о моемъ желаніи посвятить себя не одной, а нѣсколькимъ наукамъ моимъ товарищамъ, то они, конечно, трунили надо мною, не подозревая, что я черезъ годъ или два сдѣлаюсь отчаяннымъ, самымъ отчаяннымъ адептомъ спеціализма въ наукѣ, а потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, перекочую снова въ другой лагерь.

Въ этотъ же день я явился въ правленіе, нашелъ тамъ Е. О. Мухина (декана), объявилъ ему мой выборъ и тотчасъ же былъ имъ подвергнутъ предварительному испытанію, изъ котораго я узналъ положительно, что цѣль отправленія насъ за границу есть приготовленіе къ профессорской дѣятельности; а какъ для профессора прежде всего необходимо имѣть громкій голосъ и хорошіе дыхательные органы, то предварительное испытаніе и должно было рѣшить вопросъ: въ какомъ состояніи обрѣтаются мои легкія и дыхательное горло. За неимѣніемъ въ то время спирометровъ и полнаго незнакомства экзаменаторовъ съ аускультациею и перкуссіею, Ефремъ Осиповичъ заставилъ меня громко и не переводя духа прочесть какой-то длиннѣйшій періодъ въ изданной имъ фізіологіи Ленгоссэка, что я и исполнилъ вполне удовлетворительно.

Тотчасъ же имя мое было внесено въ списокъ желающихъ,

то-есть будущихъ членовъ профессорскаго института. Только покончивъ все это дѣло, я возвратился домой и объявилъ моимъ домашнимъ торжественно и не безъ гордости, что—„ѣду путешествовать на казенный счетъ“.

Въ это время случился тутъ сосѣдъ портной, позванный для исправленія моей шинели; услыхавъ, что я ѣду путешествовать, онъ глубокомысленно замѣтилъ: „Знаю, знаю, слыхалъ: значить, ѣдете открывать неизвѣстные острова и земли“.

Я не старался разубѣждать его, и былъ очень радъ тому, что мать и сестры, хотя и опечаленныя неожиданнымъ извѣстіемъ, не оказали никакого противодѣйствія; матушка, по обыкновенію, набожно перекрестилась, поцѣловала меня и сказала: „Благослови тебя Богъ! Когда же ѣдешь?“

— Послѣ лекарскаго экзамена, мѣсяца черезъ два.

Между тѣмъ, по собраннымъ свѣдѣніямъ и слухамъ, дѣло настолько выяснилось, что я узналъ подробности о цѣли и объ условіяхъ. Дополнилъ собранныя свѣдѣнія тѣмъ, чтѣ я узналъ впослѣдствіи.

Я представляю себѣ исторію развитія профессорскаго института, въ который меня завербовалъ exproptio Е. О. Мухинъ, въ слѣдующемъ видѣ:

Академикъ Парротъ былъ свидѣтелемъ въ Дерптѣ и С.-Петербургѣ смутныхъ и выходящихъ изъ ряду вонъ событій, постигшихъ наши университеты въ концѣ царствованія Александра I-го (при министерствахъ кн. А. И. Голицына и Шишкова и попечительствѣ Магницкаго, и проч.), а вмѣстѣ съ этимъ, узнавъ въ подробности отъ извѣстныхъ иностранныхъ профессоровъ казанскаго и друг. университетовъ о печальномъ состояніи нашей университетской науки,—воспользовался своимъ исключительнымъ положеніемъ и намѣреніями новаго государя преобразовать всю учебную часть въ государствѣ. Новому государю было извѣстно, что Парротъ пользовался особеннымъ расположеніемъ и довѣріемъ Александра I-го, имѣя къ нему всегда свободный доступъ.

Парротъ (родомъ изъ Эльзаса и сотоварищъ знаменитому Кювье) былъ долго профессоромъ физики въ дерптскомъ университетѣ; а послѣ своего перехода изъ Дерпта въ с.-петербургскую академію наукъ, онъ былъ, вѣрно, очень радъ назна-

ченію князя Ливена, бывшаго попечителя дерптскаго университета, на мѣсто Шишкова—министромъ народнаго просвѣщенія при самомъ началѣ царствованія Николая.

Это назначеніе, какъ я полагаю, много содѣйствовало успѣху проекта Паррота, главнѣйшимъ и самымъ существеннымъ пунктомъ котораго было подготовленіе русскихъ молодыхъ людей, кончившихъ курсъ въ разныхъ университетахъ, въ дерптскомъ университетѣ, для дальнѣйшихъ занятій наукою за границею.

Дерптскій университетъ въ это время, послѣ позорной катастрофы съ производствомъ въ доктора какихъ-то темныхъ личностей, достигъ небывалой еще научной высоты, и достигъ именно при попечительствѣ князя Ливена, тогда какъ другіе русскіе университеты падали со дня на день все ниже и ниже, благодаря обскурантизму и отсталости разныхъ попечителей.

Число русскихъ, посылаемыхъ для подготовки на два, на три года изъ нашихъ университетовъ въ дерптскій, опредѣлялось 20-ю.

Послѣ двухлѣтняго пребыванія въ Дерптѣ, они должны были отправляться еще на два года въ заграничныя университеты и потомъ прослужить извѣстное число лѣтъ профессорами въ вѣдомствѣ министерства народнаго просвѣщенія. Содержаніе въ Дерптѣ назначалось въ 1,200 руб. ассигн. ежегодно (нѣсколько болѣе 300 руб. сер.); на путевыя издержки полагалась тоже особая сумма. Молодые люди разныхъ университетовъ, собранные въ С.-Петербургѣ, должны были, по прибытіи въ С.-Петербургъ, подвергнуться предварительному еще испытанію въ академіи наукъ.

Я началъ готовиться къ лекарскому экзамену. Онъ прошелъ очень легко для меня, даже легче обыкновеннаго, весьма поверхностнаго, можетъ быть, потому, что мое назначеніе въ кандидаты профессорскаго института считалось уже эквивалентомъ лекарскаго испытанія.

Что же я везъ съ собою въ Дерптъ?

Какъ видно, весьма ничтожный запасъ свѣдѣній и свѣдѣній болѣе книжныхъ, тетрадныхъ, а не наглядныхъ, не прибрѣтенныхъ подъ руководствомъ опыта и наблюденія. Да и эти книжныя свѣдѣнія не могли быть сколько-нибудь удовлетвори-

тельны, такъ какъ я въ теченіе всего университетскаго курса не прочелъ ни одной научной книги, ни одного учебника, что называется, отъ доски до доски, а только урывками, становясь въ пень предъ непонятными мѣстами; а понять многого безъ руководства я и не могъ.

Хорошъ я былъ лекаръ съ моимъ дипломомъ, дававшимъ мнѣ право на жизнь и смерть, не выдавъ ни однажды тифознаго больного, не имѣвъ ни разу ланцета въ рукахъ! Вся моя медицинская практика въ клиникѣ ограничивалась тѣмъ, что я написалъ одну исторію болѣзни, видѣвъ только однажды моего больного въ клиникѣ, и для ясности прибавивъ въ эту исторію такую массу вычитанныхъ изъ книгъ припадековъ, что она поневолѣ изъ исторіи превратилась въ сказку.

Поликлиники и частной практики для медицинскихъ студентовъ того времени вовсе не существовало, и меня только однажды случайно пригласили къ одному проживавшему въ одномъ съ нами домѣ больному чиновнику. Онъ лежалъ уже, должно быть, въ агоніи, когда мнѣ предлагали вылечить его отъ послѣдствій жестокаго и продолжительнаго запоя. Видя мою несостоятельность, я, первое дѣло, счелъ необходимымъ послать тотчасъ же за цирюльникомъ; онъ тотчасъ явился, принесъ съ собою, на всякій случай, и клистирную трубку. Собственно я и самъ не зналъ, для чего я пригласилъ цирюльника; но онъ зналъ уже *par distance*, что нуженъ клистиръ и, раскусивъ тотчасъ же, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, объявилъ мнѣ прямо и твердо, что тутъ безъ клистира дѣло не обойдется.

— „Пощупайте сами животъ хорошенько, если мнѣ не вѣрите,—утверждалъ онъ, отведя меня въ сторону:—вѣдь онъ такъ вздутъ, что лопнуть можетъ“.

Я, пощупавъ животъ, тотчасъ же одобрилъ намѣреніе моего мною же импровизированнаго коллеги. Дѣло было ночью; что произошло потомъ съ клистиромъ—не помню; но помню, что больного къ утру не было уже на свѣтѣ.

Въ благодарность за мои труды вдова прислала мнѣ черный фракъ покойнаго, въ который могли бы влѣзть двое такихъ, каковъ я. Этотъ незаслуженный гонораръ былъ очень кстати; передѣланный портнымъ, полагавшимъ, что я ѣду от-

крывать острова и земли; фракъ этотъ поѣхалъ со мною и въ Дерптъ и прожилъ со мною еще и тамъ цѣлыхъ пять лѣтъ.

Второй и послѣдній случай моей частной практической дѣятельности въ Москвѣ былъ тоже такой, въ которомъ клистиръ игралъ главную роль.

Заболѣла весьма серьезно чѣмъ-то, не знаю, моя старая нянька, Екатерина Михайловна; помню, лежитъ, не двигается, стонетъ, говорить: „умираю“; не ѣстъ, не пьетъ, не испражняется, не спитъ, все стонетъ. Не знаю, чтѣ ей тамъ давали изъ домашнихъ средствъ, только помощи не было; проходить недѣля, другая, — все то же; старуха исхудала, пожелтѣла, — очевидно, плохое дѣло. Мнѣ ее ужасно жалко, хотѣлось бы помочь, но чѣмъ руководствоваться? А вотъ постой, думаю, вѣдь она не ходитъ на низъ цѣлыхъ 10—12 дней: дай, поставлю ей клистиръ.

Предлагаю на обсужденіе мой проектъ моимъ домашнимъ и самой больной.

— „Да, батюшка мой, вѣдь я ничего не ѣмъ, не пью, почти двѣ недѣли у меня крохи во рту не было“.

— Нужды нѣтъ, все-таки поставимъ.

— „Да какъ же это? да кто же поставитъ? да гдѣ же взять?“

— Не беспокойся.

И вотъ, я достаю трубку, варю ромашку съ мыломъ и постнымъ масломъ, надѣваю переважно фартукъ, поворачиваю старуху на лѣвой бокъ и въ первый разъ въ жизни ставлю клистиръ самоучкою.

Все обошлось благополучно. Клистиръ вышелъ потомъ не одинъ, и—кто могъ думать!—моя старая няня съ этого же дня начала поправляться, спать, кушать, а дней черезъ 10 была уже на ногахъ. Вотъ чтѣ значитъ искренняя любовь и привязанность, руководившія мною въ первый разъ въ жизни и въ діагнозѣ, и въ терапіи, и въ хирургическомъ пособіи при постели больной!

Моя нравственная сторона ѣхала изъ Москвы въ Дерптъ такъ же мало культивированною, какъ и научная.

Моя дѣтская вѣра было потрясена тѣмъ слабымъ знаніемъ, которое я приобрѣлъ въ университетѣ. Почему же это могло

случиться съ такимъ бѣднымъ и малообразованнымъ школьникомъ, какимъ я былъ, тогда какъ величайшіе и свѣтлые умы, обогащенные громадными свѣдѣніями, нерѣдко соединяли въ себѣ глубокое знаніе съ искреннею вѣрою? То, я полагаю, болѣзнь нашего вѣка, въ которомъ немного найдется такихъ исключеній, какъ Іоганнъ Мюллеръ или Рудольфъ Вагнеръ; первый—ревностный католикъ, второй—протестантъ, и оба знаменитые естествоиспытатели, успѣвшіе и въ наше время примирить знаніе съ вѣрою. Эта болѣзнь нашего вѣка зависитъ, я полагаю, отъ того, что именно въ наше время знаніе, и, конечно, поверхностное, быстро распространилось въ массахъ, недовольно подготовленныхъ къ воспринятію науки и знанія предшествовавшими вѣками.

Яркій свѣтъ современной науки ослѣпилъ и вскружилъ голову ходившимъ прежде въ потемкахъ. Вышедшему быстро изъ потемокъ на свѣтъ, съ перваго взгляда, покажется все, конечно, слишкомъ яснымъ и потому несомнѣннымъ; а тутъ являются еще и просвѣтителѣ, которые, для эффекта, подпускаютъ все болѣе и болѣе свѣта, хотя бы и искусственнаго.

Если я, возвращаясь теперь къ моему давно-прошедшему, только подумаю, что заставило меня покинуть мои дѣтскія вѣрованія, что заставило перестать молиться съ дѣтскимъ усердіемъ, что внесло въ молодую душу разъѣдающій червь сомнѣнія и способствовало съ необыкновеннымъ усердіемъ его дальнѣйшему развитію,—то я не нахожу другой причины, какъ именно эти двѣ. Съ одной стороны, меня озарилъ вдругъ свѣтъ естествознанія, тогда какъ я не былъ подготовленъ къ его принятію никакимъ другимъ положительнымъ знаніемъ, а просвѣтителѣ моими оказались люди, такъ же, какъ и я самъ, ослѣпленные слишкомъ быстрымъ переходомъ отъ тмы невѣдѣнія къ свѣту науки. Не мучимый никакими сомнѣніями и, при моемъ обрядно-религіозномъ воспитаніи, не имѣвшій даже почвы для сомнѣнія, я вдругъ выступилъ на поприще, требовавшее постоянной работы мысли. А все приобретаемое умственнымъ анализомъ неминуемо проходитъ чрезъ цѣлый рядъ сомнѣвій. Могъ ли же я, мальчишка, не вскружить себѣ голову, не охмѣлѣть и не перенести тотъ же самый способъ достиженія истины и на другую, для него вовсе непригодную,

почву? Я видѣлъ, что такъ дѣлають всѣ и болѣе опытные меня.

Знаніе, и тѣмъ болѣе научное, дѣлаеть человѣка до того самодовольнымъ, что онъ, приобрѣтя это знаніе, тотчасъ старается распространить его на всѣ области своей духовной жизни, отвергая, что между ними есть и нѣкоторыя имѣющія мало общаго съ научнымъ, т.-е. приобрѣтеннымъ путемъ анализа, знаніемъ.

Развѣ тотъ не живетъ и не достоинъ имени человѣка, кто твердо вѣрить, крѣпко надѣется, горячо любить и просто, т.-е. ненаучно, и, такъ сказать, безсознательно знаетъ? Неужели мы въ правѣ назвать такую жизнь не жизнью потому только, что этой личности недоставало средствъ и способовъ развитію другую, умственную, сторону своей жизни? Не должны ли мы всѣ стремиться къ приведенію нашей жизни въ гармоническое цѣлое, то-есть къ равномѣрному развитію разныхъ сторонъ нашей умственной и духовной жизни? Такая высокая цѣль—не утопія. Напротивъ, утопія—то, когда мы полагаемъ облагодѣтельствовать человѣческое общество, ведя его по одному пути знанія къ невѣдомой и недостижимой цѣли.

Какъ счастливы были бы мы, если бы наши юноши, выступая на научное поприще, были вполнѣ внутренне убѣждены, что нельзя безнаказанно для самого себя пересаживать приобрѣтенное научнымъ анализомъ на другую сторону нашей духовной почвы! Зная это твердо, многіе, очень многіе изъ насъ избѣгли бы жестокаго внутренняго погрома, который приходилось имъ не однажды переживать, мужаясь и старѣясь.

Моя университетская жизнь въ Москвѣ показала мнѣ недостатки той обрядной религіи, въ которой я воспитывался; но разрушенное не было замѣнено ничѣмъ лучшимъ; въ область вѣры было внесено отрицаніе, границъ котораго уже нельзя было опредѣлить. Молодой умъ съ тѣхъ поръ началъ бродить по всѣмъ закоулкамъ отрицанія. Полное невѣріе и атеизмъ уже охватывали душу. Къ счастью моему, я не былъ *esprit fort*; я не могъ не обращать взоръ на небо въ тяжкія минуты жизни, а быть подлецомъ въ отношеніи къ самому себѣ,—

отвергать что бы то ни было въ счастья и прибѣгать къ его помощи въ бѣдѣ,—казалось мнѣ несомнѣстимымъ съ достоинствомъ человѣка.

Если такъ шатка была у меня религіозная сторона, то и понятія мои о нравственности въ эту эпоху жизни также не были крѣпки. И какая нравственность возможна безъ идеала! Тѣ обманываютъ и себя, и другихъ, которые полагаютъ основы нравственности въ взаимныхъ интересахъ, эгоизмѣ, и т. п. Они берутъ одни внѣшнія проявленія, одну, такъ сказать, обрядную сторону нашего нравственнаго быта и не даютъ себѣ труда заглянуть глубже внутрь самихъ себя, а можетъ быть, и дѣйствительно находятъ въ себѣ не то, что слѣдовало бы еще отыскивать. Наша бѣда именно въ томъ и состояла, и состоитъ, что отцы наши не успѣли и не сѣумѣли вывести на свѣтъ какой-либо руководящій идеалъ, передъ которымъ необходимо было бы остановиться съ глубокимъ уваженіемъ.

Теперь этого уже не сдѣлаешь: поздно; а было время, когда реализмъ не господствовалъ еще такъ надъ умами, какъ теперь, и идеалы не срывались такъ насильственно съ ихъ пьедесталовъ.

У меня не было ни положительной религіи, ни руководствующаго идеала, именно, въ то опасное время жизни, когда страсти и чувственность начинали заявлять свои права. Но до 18-ти лѣтъ я избѣжалъ сношенія съ женщинами. 16-ти лѣтъ, незадолго до отбѣзда моего въ Дерптъ, я былъ только платонически влюбленъ въ дочь моего крестнаго отца, дѣвуху старѣе меня. Въ это же самое время я почитывалъ съ однимъ товарищемъ купленное на толкучкѣ „Ars amandi“ Овидія, понимая его съ грѣхомъ пополамъ.

Предметъ моей платонической первой любви была стройная блондинка съ тонкими чертами, чрезвычайно мелодическимъ и звучнымъ голосомъ и голубыми, улыбающимися глазами. Эти глаза и этотъ голосъ, сколько я помню, и плѣнили мое сердце. Чѣмъ же обнаруживалась моя любовь? Во-первыхъ, тѣмъ, что во всякое свободное время леталъ, хотя и пѣшкомъ, изъ Кудрина къ Ильѣ Пророку, въ Басманную; во-вторыхъ, не упускалъ при этомъ ни одного удобнаго случая, чтобы не завить волосы барашками. Какъ страннымъ кажусь

я теперь самому себѣ, когда представляю себѣ, что моя плѣшивая голова нѣкогда могла быть покрытою завитыми пучошками!!.. Въ-третьихъ, я не упускалъ также ни одного случая, чтобы не поцѣловать тонкую, нѣжную ручку, какъ, на-примѣръ, играя съ нею въ мельники, фанты и подавая ей что-нибудь со стола, и однажды, — о, блаженство! — когда я хотѣлъ поцѣловать ея руку, подававшую мнѣ буттербротъ, она загнула ее назадъ и поцѣловала меня въ щеку, возлѣ самыхъ губъ.

Наконецъ, когда я оставался ночевать въ гостяхъ у моего крестнаго отца, то любовь будила меня рано утромъ и выгоняла въ садъ, — конечно, не зимою; тогда я садился противъ оконъ спальни, выходившихъ въ садъ, мечталъ и ожидалъ съ нетерпѣніемъ, когда она встанетъ и появится въ бѣлой утренней одеждѣ у окна. Предметъ моей любви пѣлъ очаровательные два французскіе романса, изъ которыхъ одинъ: „Vous allez à la gloire“, я не могъ слушать безъ слезъ.

Самые ея недостатки, изъ которыхъ одинъ дѣлалъ на меня особенное впечатлѣніе, мнѣ нравились; это была необыкновенная и какая-то прозрачная синева подъ глазами.

Когда я былъ въ Москвѣ теперь на моемъ юбилеѣ, я не зналъ, ѣхать ли мнѣ, или нѣтъ, навѣстить мою первую любовь? Братъ ея былъ у меня и сказалъ мнѣ, что онъ живетъ вмѣстѣ съ нею, и что она хромаетъ послѣ перелома ноги. Но ѣхать я раздумалъ.

Если мои прежнія пучошки на головѣ и голый черепъ настоящаго времени дѣлаютъ меня для меня какимъ-то страннымъ, на себя непохожимъ, двойникомъ, то идти посмотреть на другую развалину — равносильно было бы поѣздкѣ на кладбище.

Но *memento mori* для старика вездѣ много. О взаимности, конечно, не могло быть и рѣчи. Она была дѣвушка-невѣста извѣстной въ Москвѣ фамиліи почетнаго гражданина, тогда еще владѣвшаго довольно хорошими средствами (прежняго миллионера); я — мальчишка, только что кончившій курсъ въ университетѣ, безъ средствъ и бравшій иногда подаваніе отъ ея отца.

Воспоминанія этой любви, то-есть настоящія любовныя

воспоминанія, продолжались недолго. Новая жизнь, новая обстановка, новые люди скоро внесли въ душу цѣлый рой другихъ, болѣе глубокихъ впечатлѣній.

Въ маѣ мѣсяцѣ намъ предписано было отправиться въ С.-Петербургъ.

Выдали отъ университета по мундиру и шпагѣ на брата и прогонныя. Везти насъ, — подѣ присмотромъ, — поручено было адъюнкту-профессору математики Щепкину. Отправлялись изъ Москвы: Шиховскій (Ив. Ос., уже докторантъ медицины — по ботаникѣ); Сокольскій (также докторантъ — по терапіи); Рѣдкинъ (Петръ Григорьевичъ ¹⁾), — по римскому праву); Коргухтроцкій (лекаръ — по акушерству), Коноплевъ (кандидатъ по восточн. яз.), Шуманскій (по исторіи) и я.

Собрались всѣ въ университетскомъ зданіи и выѣхали на перекладныхъ по-двое; Щепкинъ — въ своемъ экипажѣ.

Мнѣ пришлось ѣхать съ Шуманскимъ.

Приходится замѣтить въ общихъ чертахъ характеристику моихъ товарищей. Они стѣятъ того.

За исключеніемъ Коноплева, оставшагося въ С.-Петербургѣ, я съ другими провелъ цѣлыхъ пять лѣтъ вмѣстѣ въ Дерптѣ и поневолѣ изучилъ. Во-первыхъ, Шуманскій (гдѣ-то онъ, живъ ли? о немъ послѣ Дерпта я уже ничего не слыхалъ; съ тѣхъ поръ онъ для меня какъ въ воду канулъ) былъ замѣчательная личность; я потомъ не встрѣчалъ ни разу подобной, и едва-ли гдѣ-нибудь, кромѣ Россіи, встрѣчаются такого рода особы.

Шуманскій былъ старѣ меня однимъ или двумя годами; но лицо и особливо свѣтло-голубые, нѣсколько на выкатѣ глаза были не молодые глаза; ростъ приземистый; сложеніе довольно крѣпкое. Способность къ языкамъ и знаніе языковъ отличное. Онъ говорилъ и писалъ на трехъ новѣйшихъ языкахъ (французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ) въ совершенствѣ; по-латыни и по-гречески научился въ Дерптѣ въ два года. Память необыкновенная; прочитанное онъ могъ пере-

¹⁾ Нынѣ членъ государственнаго совѣта.

давать иногда тѣми же словами тотчасъ по прочтеніи. Къ своей наукѣ (исторіи) показывалъ много интереса. Профессора въ Дерптѣ оставались чрезвычайно довольными его успѣхами. И несмотря на все это, Шуманскій, пробывъ около двухъ лѣтъ въ Дерптѣ, въ одно прекрасное утро, ни съ того, ни съ сего, объявляетъ, что онъ болѣе учиться въ Дерптѣ не намѣренъ, профессоромъ быть не хочетъ и уѣзжаетъ домой, уплативъ въ казну за всѣ причиненныя имъ издержки.

И никто, никто не узналъ, какая собственно причина такъ внезапно произвела такой переворотъ. Онъ скоро собрался и съ тѣхъ поръ исчезъ.

Шуманскій былъ сынъ помѣщика, получилъ очень хорошее домашнее воспитаніе; съ своею семьею онъ, вѣроятно, былъ не въ ладахъ, когда учился въ московскомъ университетѣ и поступилъ въ профессорскій институтъ; этимъ можно объяснить, почему онъ избралъ учебное поприще вовсе не по желанію, а потомъ, при измѣнившихся обстоятельствахъ, тотчасъ же пересѣдлся. Къ тому еще онъ и попивалъ.

Я, считаясь его пріятелемъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы сдѣлали поѣздку изъ Москвы въ Петербургъ вмѣстѣ, не хотѣлъ отставать отъ него, и въ первое время нашего пребыванія въ Дерптѣ я сходилъ иногда съ нимъ и пилъ вмѣстѣ Kümmel, и нѣсколько разъ, какъ я вспоминаю къ моему ужасу, до опьяненія.

Еще одно поражало меня въ Шуманскомъ. Это какая-то особенная религіозность. Не то, чтобы онъ былъ набоженъ,—иногда онъ позволялъ себѣ и свободомысліе,—но у него былъ своеобразный культъ. Онъ почему-то имѣлъ особое почтеніе и довѣріе къ храму Вознесенія въ Москвѣ, на улицѣ (забылъ названіе, хотя приходилось ходить по ней изъ Кудрина въ университетъ по четыре раза въ день), тогда модной въ Москвѣ, славившемуся изящными манерами священнослужителя, про котораго рассказывали, что онъ, проходя во время служенія мимо дамъ, всегда извинялся по-французски: „excusez, mes-dames“. Этому-то храму Вознесенія Шуманскій возсылалъ иногда теплыя молитвы на французскомъ языкѣ, и я читалъ у него нѣсколько импровизированныхъ молитвъ этого рода, записанныхъ потомъ въ тетрадку.

Второй оригиналъ изъ моихъ московскихъ товарищей былъ Петръ Григорьевичъ Коргухтроцкій. Что-то необычайно угловатое и комическое лежало уже въ его наружности. Сутуловатый брюнетъ, съ чертами и цвѣтомъ лица, дѣлавшими его на видъ гораздо старѣе, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, съ сѣдломъ на носу и рѣзкимъ, гнусливымъ голосомъ, Коргухтроцкій не могъ не обращать на себя вниманія съ перваго же взгляда. И дѣйствительно, это была личность *sui generis*.

Въ Москвѣ между студентами, и даже прежде еще между гимназистами, онъ былъ извѣстенъ за хорошаго ботаника; и дѣйствительно, по разсказамъ товарищей, занимался ею съ увлеченіемъ. Но, разсудивъ, какъ онъ самъ сознавался, что ботаника не накормить, онъ выбралъ для занятія предметъ болѣе прибыльный. Къ этому, по словамъ Троцкаго, много содѣйствовалъ также знакомый ему и въ то время извѣстный въ Москвѣ акушеръ Карпинскій.

— „Посмотри на меня, — говорилъ ему Карпинскій, — у меня, слава Богу, есть чтѣ ѣсть: а потому мнѣ щипцы накладывать — все равно, что орѣхи щелкать“.

И вотъ, Коргухтроцкій отправляется въ Дерптъ по акушерству.

Первый мѣсяцъ ничего; все идетъ какъ надо. Профессоръ акушерства въ Дерптѣ — старикъ Дейтшъ. У него въ первый разъ въ жизни Коргухтроцкій приглашается тушировать беременных чухонекъ, нанимавшихся для этой цѣли отъ клиники.

Безъ смѣха не могу вспомнить пластическіе разсказы Коргухтроцкаго, какъ онъ приступалъ къ невиданному и совершенно для него незнакому дѣлу, какъ палецъ его заблудился, какъ онъ, сколько ни искалъ, не могъ достать маточной шейки, а потому и наговорилъ какую-то чушь, реферируя Дейтшу о результатѣ своихъ поисковъ. Услыхалъ онъ также намеки профессора о необходимости взять у него *privatissimum*, то-есть заплатить, вмѣстѣ съ другими, нѣсколько десятковъ рублей. Это былъ ножъ острый. Расходоватьсѣ Коргухтроцкій не любилъ. „Этакъ, пожалуй, братъ, тутъ безъ штановъ останешься, прежде чѣмъ научишься чему-нибудь“. Къ счастью для него, не прошло и мѣсяца послѣ нашего прибытія въ Дерптъ, какъ насъ потребовали на *tentamen* по разнымъ

предметамъ я преимущественно по естественнымъ наукамъ и греческому языку. Дѣлалось это для того, чтобы узнать подробности въ нашихъ свѣдѣніяхъ и потомъ дать намъ возможность замѣнить ихъ.

И вотъ, акушеръ мой Коргухтроцкій экзаменуется у знаменитаго профессора ботаники Ледебура вмѣстѣ съ нами. Даютъ намъ нѣсколько растений для опредѣленія. Мы—ни въ зубъ толкнуть, а онъ удивляетъ Ледебура точностью своего опредѣленія. Ледебуръ въ восхищеніи и говоритъ ему нѣсколько лестныхъ словъ. И мы узнаемъ, черезъ нѣсколько дней, что акушерство замѣнено у Коргухтроцкаго ботаникою. Странно также, что этотъ, уже тогда старообразный человѣкъ лѣтъ 25-ти, чрезъ 20 слишкомъ лѣтъ женится на дочери одного изъ самыхъ младшихъ нашихъ товарищей (Котельникова, который былъ только годомъ или двумя старше меня).

Третій московскій оригиналъ между нами былъ Григорій Ивановичъ Сокольскій, пріобрѣвшій между нами извѣстность постоянными сраженіями съ профессорами и вообще съ начальствомъ. Отъ М. Я. Мудрова Сокольскій получилъ какую-то особенную привязанность къ бруссизму. Чтеніе нѣсколькихъ сочиненій Бруссэ привело его въ восхищеніе своею наглядностью, простотою и логичностью. Онъ привезъ съ собою изъ Москвы диссертацию: „de dyssenteria“, и возился съ нею въ Дерптѣ нѣсколько лѣтъ, пока, послѣ разнаго рода передѣлокъ и ограниченій бруссизма, факультетъ въ Дерптѣ разрѣшилъ ея защищеніе. Стараясь отклонить отъ себя упрекъ въ пристрастіи къ Бруссэ, Сокольскій сослался на Тацита: „Galba, Otho, Vitellius mihi nec beneficio neque injuria sunt cogniti“. Но за его выходки противъ нѣмецкихъ профессоровъ они его сильно прижали и не выслали вмѣстѣ съ нами за границу, а отослали въ Петербургъ, для дальнѣйшаго усовершенствованія, къ Карлу Антоновичу Мейеру, въ Обуховскую больницу, которому онъ потомъ такъ насолил столкновеніями при постели больныхъ, что тотъ радъ былъ отъ него отдѣлаться, и черезъ годъ Сокольскій явился къ намъ въ Берлинъ, а здѣсь выкинулъ весьма рискованную для того времени штуку, уѣхавъ изъ Берлина безъ паспорта въ Цюрихъ, къ Шенлейну, и въ Парижъ...

Григорій Ивановичъ былъ человѣкъ недюжинный; я его любилъ за его особеннаго рода юморъ. Онъ былъ сынъ того московскаго священника, который въ 1820-хъ годахъ вздумалъ написать опроверженіе Коперниковой системы; отъ отца перешла склонность къ оригинальности и къ сыну. Въ Москвѣ онъ также не ужился въ университетѣ и вышелъ въ отставку до эмеритуры, больно съостривъ на одномъ экзаменѣ надъ попечителемъ Голохвастовымъ.

Замѣчательна у этого нашего товарища была охота къ изученію механизма часовъ, который онъ зналъ необыкновенно точно, а потому умѣлъ довольно вѣрно опредѣлять достоинство часовъ. Въ Болгаріи, въ 1877 году, я встрѣтился съ однимъ врачомъ изъ московскаго университета, знавшимъ Сокольскаго, и услышалъ, что и до сего дня эта охота къ часамъ не прошла у Сокольскаго. По рассказамъ, въ его комнатѣ виситъ болѣе дюжины часовъ, механизмъ которыхъ онъ такъ регулировалъ, что они всѣ бьютъ въ одинъ моментъ.

Жаль, что на юбилей въ Москвѣ мое здоровье и хлопоты не позволили мнѣ навѣстить Сокольскаго.

Я послалъ ему мою карточку съ стихами Тредьяковскаго, которые Сокольскій любилъ распѣвать нѣбогда:

Когда бы мнѣ сто устъ и столько же языковъ,
Столь сильный гласъ былъ данъ...
То и тогда-бъ всѣхъ глупостей родовъ
Не могъ измыслить я обильно.

Судьба моихъ товарищей,—ихъ было 21,—собранныхъ по первому призыву въ профессорскій институтъ, меня интересуетъ нерѣдко.

Со многими изъ нихъ я не встрѣчался ни разу съ тѣхъ поръ, какъ мы поѣхали за границу; съ нѣкоторыми видѣлся потомъ въ Москвѣ и Петербургѣ; но въ дружествѣ или товариществѣ ни съ кѣмъ изъ нихъ не былъ впослѣдствіи.

Въ живыхъ изъ 21-го еще—сколько мнѣ извѣстно: П. Г. Рѣдкинъ, Сокольскій, Мих. Куторга, Коргухтроцкій, Котельниковъ, Ивановскій и покуда я еще,—шестеро, и то не навѣрное; значить, смерть похитила въ теченіе 53 лѣтъ 15,—вѣроятно, и болѣе. Двое умерли еще въ Дерптѣ; Шкляревскій, чудный парень и поэтъ (с. петербургскаго универси-

тета), — отъ чахотки, и одинъ ипохондрикъ довольно ограниченныхъ способностей, изъ Харькова, — отъ холеры; остальные потомъ, — и изъ нихъ одинъ, Чивилевъ, бывшій наставникомъ у покойнаго наслѣдника Николая Александровича, — сгорѣлъ въ царскосельскомъ дворцѣ.

Измучившись ѣздою на перекладной, никогда еще не ѣздивши по дорогамъ съ перекладинами изъ бревенъ, которыя замѣняли въ то время во многихъ мѣстахъ шоссе, мы остановились сначала въ какой-то гостинницѣ, едва-ли не „Демуть“, въ С.-Петербургѣ, а потомъ для насъ отвели пустопорожнее помѣщеніе въ тогдашнемъ университетскомъ домѣ, кажется, у Семеновскаго моста.

Первый визитъ былъ хозяину Щучьяго Двора, какъ его тогда звали, директору департамента народнаго просвѣщенія (Д. И. Языкову), какому-то молчаливому и натянтому бюрократу; приглашены были къ нему на обѣдъ; обѣдали скучно и безмолвно, а потомъ представились и самому министру народнаго просвѣщенія, князю Ливену — генералу-нѣмцу, говорившему весьма плохо по-русски, піетисту по убѣжденію.

Назначенъ былъ, наконецъ, экзаменъ въ академіи наукъ.

Для насъ, врачей, пригласили экзаменаторовъ изъ медико-хирургической академіи, и именно Велланскаго и Буша.

Бушъ спросилъ у меня что-то о грыжахъ, довольно слегка; я ошибся только *per lapsum linguae*, сказавъ вмѣсто: *art. epigastrica* — *art. hypogastrica*. А я, признаться, трусилъ. Гдѣ, думаю, мнѣ выдержать порядочный экзаменъ изъ хирургіи, которою я въ Москвѣ вовсе не занимался! Радость послѣ выдержанія экзамена была, конечно, большая. Слава Богу, назадъ не воротятъ. Вообще экзаменъ въ академіи для всѣхъ нашихъ сошелъ хорошо съ рукъ, за исключеніемъ Петра Григорьевича Рѣдкина. Его, несчастнаго, отдѣлалъ тогда академикъ Грефе напропалую и далъ такой строгій относительно *judicium*, что рѣшили не посылать П. Г. Рѣдкина въ Дерптъ. Онъ, однако-же, хорошо сдѣлалъ, что не послушался такого варварскаго рѣшенія и поѣхалъ съ нами на свой счетъ. Въ Дерптѣ чрезъ нѣсколько времени рѣшили иначе.

Въ Дерптѣ я ѣхалъ втроемъ съ Рѣдкинымъ и Сокольскимъ на долгихъ; ночевали въ Нарвѣ; впервые въ жизни

видѣли водопадъ и кусокъ моря и прибыли въ заѣзжій домъ къ Фрею въ Дерптѣ, за нѣсколько дней до начала осенне-зимняго семестра.

Въ Дерптѣ мы все должны были поступить подъ команду Вас. Мих. Перовощикова, профессора русскаго языка.

Перовощиковъ перешелъ въ Дерптъ изъ Казани, гдѣ онъ былъ профессоромъ во времена Магницкаго, положившаго глубокой отпечатокъ на всю его дѣятельность и даже на самую физиономію.

Квартиры для насъ были уже наняты, и я помѣстился вмѣстѣ съ Коргухтроцкимъ и Шиховскимъ въ довольно глухомъ мѣстѣ, почти наискосокъ противъ дома профессора хирургіи Мойера.

Вас. Мих. Перовощиковъ игралъ нѣкоторую роль въ моей жизни, и я долженъ остановиться на этой личности. Съ самаго начала между нами пробѣжала черная кошка, и отношенія мои къ Перовощикову могли бы впослѣдствіи имѣть для меня весьма печальныя послѣдствія. Перовощиковъ былъ типъ сухого, безжизненнаго, скрытнаго или, по крайней мѣрѣ, ничего не выражающаго бюрократа; самая походка его, плавная, равномерная и какъ бы предусмотрѣнная, выражала характеръ идущаго. Цвѣтъ лица пергаментный; щеки и подбородокъ гладко выбриты; рѣчь, какъ и походка, плавная и монотонная, безъ малѣйшаго повышенія или пониженія голоса. Перовощиковъ повелъ насъ гурьбою по профессорамъ. По-нѣмецки онъ не говорилъ почему-то, и краткая бесѣда велась или на французскомъ, или на смѣшанномъ языкѣ. Спрашивали по-французски—отвѣчали по-нѣмецки; спрашивали по-нѣмецки—отвѣчали по-французски. Для меня самое отрадное посѣщеніе было дома Мойера.

Иванъ Филипповичъ (такъ его звали по-русски) Мойеръ, эстляндецъ, но происхожденія по отцу голландскаго, былъ профессоръ хирургіи въ дерптскомъ университетѣ.

Съ именемъ Мойера въ памяти у меня сохранились разныя чувства. Да, чувства сохраняются въ памяти такъ же, какъ и знанія. И эти чувства—не одиночныя. Я сохраняю къ Мойеру: во-первыхъ, чувство безпредѣльной благодарности и вмѣстѣ съ

нею досады и на себя, и на него; досаду и на себя, и на него; почему это глубокое чувство благодарности осталось въ душѣ не вполне чистымъ и безупречнымъ—это объяснить мой дальнѣйшій рассказъ, а теперь пока надо отдѣлаться отъ Перовощикова.

Какъ теперь его вижу, идущаго съ нами по улицамъ; этотъ сжатый ротъ, эта кисточка на шапкѣ, эта медленная, — въ тактъ, — поступь и эта скрытая злость противъ мальчишки, ему вовсе незнакомаго!

Перовощиковъ имѣлъ, конечно, инструкцію слѣдить за нашею нравственностью, и онъ, какъ формалистъ, полагалъ, что ничѣмъ не можетъ онъ предъ начальствомъ показать такъ свою заботу о нашей нравственности, какъ посѣщая насъ въ разное время и врасплохъ. Онъ это и дѣлалъ въ началѣ нашего пребыванія въ Дерптѣ. Однажды онъ приходитъ къ намъ (въ домъ Реберга, напротивъ дома Мойера); я въ это время былъ на лекціи. Перовощиковъ садится въ проходной комнатѣ, ведущей въ наши спальни, и бесѣдуетъ съ моими товарищами (Шиховскимъ и Коргухтроцкимъ). Я, не ожидая такого посѣщенія, вхожу прямо со двора, по обыкновенію, въ шапкѣ и иду прямо въ мою комнату, и, только отворивъ дверь въ нее, примѣчаю, что въ другомъ углу сидитъ Перовощиковъ. Но было поздно. Перовощиковъ видѣлъ, что я вошелъ въ шапкѣ и не скинулъ ея тотчасъ же передъ нимъ, и объяснилъ это себѣ моимъ неуваженіемъ къ начальству. И мало того, что онъ объяснилъ такъ себѣ, но донесъ это, какъ я послѣ узналъ, и въ Петербургъ, по начальству. Мнѣ въ голову не могло придти что-нибудь подобное; тѣмъ болѣе, что я, оправивъ мой туалетъ, вышелъ изъ моей комнаты въ общую и принялъ участіе въ общей бесѣдѣ съ Перовощиковымъ и товарищами; онъ не показалъ и виду, что недоволенъ мною. Но къ концу семестра Перовощиковъ призываетъ меня къ себѣ въ кабинетъ, тщательно запираетъ дверь за собою, садится близко меня и тайнственно, вполголоса, спрашиваетъ меня, по обыкновенію, медленно, съ разстановкою:

— „Скажите, Пироговъ, какую рекомендацію о вашемъ поведеніи я долженъ сдѣлать высшему начальству?“

Я остолебѣлъ. Наконецъ, собравшись съ духомъ, говорю:

— Какую вамъ угодно, Василій Михайловичъ; я тутъ ничего не могу.

— „Но послѣ тѣхъ знаковъ неуваженія къ начальству, которые я имѣлъ случай замѣтить, судите сами, могу ли я васъ рекомендовать съ хорошей стороны?“

Это чтò же такое?—думаю я, и ума не приложу, къ чему это онъ ведетъ. Я прошу объясненія. Причина объясняется. Тогда я оправился, и какъ ни былъ я еще молодъ, но, видя, что имѣю дѣло или съ злымъ умысломъ, или съ мономаніей, я встаю и смѣло говорю:

— Василій Михайловичъ, вы, конечно, можете очернить предъ высшимъ начальствомъ кого вамъ угодно; но одно, мнѣ кажется, я имѣю право требовать отъ васъ, чтобы вы мотивировали вашу рекомендацію обо мнѣ тѣмъ фактомъ, на которомъ вы основываетесь. — Сказавъ это, я распрощался, и съ тѣхъ поръ—къ Демьяну ни ногой.

Въ Петербургъ пошло донесеніе Перовощикова неизвѣстно въ какомъ видѣ. Изъ Петербурга прислано мнѣ черезъ Перовощикова же строгое замѣчаніе, но я его не слыхалъ отъ него. Обстоятельства перемѣнились. И я съ тѣхъ поръ Перовощикова встрѣчалъ только иногда на улицахъ. Не помню даже, отдалъ ли я ему прощальный визитъ, когда онъ былъ уволенъ, послѣ скандала, сдѣланнаго ему студентами на лекціи. Онъ былъ ими выбарабаненъ (ausgetrommelt) также вслѣдствіе его подозрительности, мелочности и безтактной обидчивости.

Семейство Мойера, защитившаго меня отъ навѣтовъ нашего аргуса, состояло изъ трехъ особъ: самого профессора, его тещи Екаторины Аѳанасьевны Протасовой (урожд. Буниной) и семи-восьмилѣтней дочери Мойера — Кати. Жены Мойера, старшей дочери Протасовой, уже давно не было на свѣтѣ, и Мойеръ остался до конца жизни вдовцомъ.

Это была личность замѣчательная и высоко-талантливая. Уже одна наружность была выдающаяся. Высокій ростомъ, дородный, но не обрюзглый отъ толстоты, широкоплечій, съ крупными чертами лица, умными голубыми глазами, смотрѣвшими изъ-подъ густыхъ, нѣсколько нависшихъ бровей, съ густыми, уже сѣдыми нѣсколько, щетинистыми волосами, съ длинными

красивыми пальцами на рукахъ, Мойеръ могъ служить типомъ виднаго мужчины. Въ молодости онъ, вѣроятно, былъ очень красивымъ блондиномъ. Рѣчь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекціи отличались простотою, ясностью и пластичною наглядностью изложенія. Талантъ къ музыкѣ былъ у Мойера необыкновенный; его игру на фортепіано—и особенно пьесъ Бетховена — можно было слушать цѣлые часы съ наслажденіемъ. Садясь за фортепіано, онъ такъ углублялся въ игру, что не обращалъ уже никакого вниманія на окружающихъ его. Нѣсколько близорукій, носилъ постоянно большія серебряныя очки, которыя иногда снималъ при производствѣ операцій.

Характеръ Мойера нельзя было опредѣлить однимъ словомъ; вообще же можно сказать, что это былъ талантливый лѣнивонецъ. Лѣность или, вѣрнѣе, квіэтизмъ Мойера иногда доходилъ до того, что, начавъ какой-либо занимательный разговоръ съ знакомымъ, онъ отледадывалъ дѣла, не терпяція отлагательства; переимѣнить свое *in statu quo*, начать какую-нибудь новую работу или заняться разборомъ давно уже ждавшаго его дѣла,—это сущая напасть для Мойера. Онъ подходилъ къ дѣлу съ разныхъ сторонъ, приближался, опять отходилъ и снова предавался своему квіэтизму. Въ наше время Мойеръ имѣлъ уже много занятій по имѣнію своей дочери въ орловской губерніи, ѣздилъ иногда туда въ вакаціонное время и къ своей наукѣ уже былъ довольно холоденъ; читалъ мало; операцій, особливо трудныхъ и рискованныхъ, не дѣлалъ; частной практики почти не имѣлъ, и въ клиникѣ нерѣдко большая часть кроватей оставались незамѣщенными.

Повидимому, появленіе на сцену нѣсколькихъ молодыхъ людей, ревностно занимавшихся хирургіею и анатоміею, къ числу которыхъ принадлежали, кромѣ меня, Иноземцевъ, Даль, Лингардъ, нѣсколько оживили научный интересъ Мойера. Онъ, къ удивленію знавшихъ его прежде, дошелъ въ своемъ интересѣ до того, что занимался вмѣстѣ съ нами по цѣлымъ часамъ препарированіемъ надъ трупами въ анатомическомъ театрѣ.

Но, несмотря на охлажденіе къ наукѣ и его квіэтизмъ, Мойеръ своимъ практическимъ умомъ и основательнымъ обра-

зованіемъ, приобрѣтенымъ въ одной изъ самыхъ знаменитыхъ школъ, доставлялъ истинную пользу своимъ ученикамъ. Онъ образовался преимущественно въ Италіи, въ Павіи, въ школѣ знаменитаго Ант. Ок. Скарпы, и это было во времена апогея славы этого хирурга. Посѣщеніе госпиталей Милана и Вѣны, гдѣ въ то время находился Рустъ, докончило хирургическое образованіе Мойера.

Возвратясь въ Россію, онъ прямо попалъ хирургомъ въ военные госпитали, переполненные ранеными въ отечественной войнѣ 1812 года. Какъ операторъ, Мойеръ владѣлъ истинно хирургическою ловкостью, несуетливой, неспѣшной и негрубой. Онъ дѣлалъ операціи, можно сказать, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкою. Какъ врачъ, Мойеръ терпѣть не могъ ни лечить, ни лечиться, и къ лекарствамъ не имѣлъ довѣрія. И изъ наружныхъ средствъ онъ употреблялъ въ леченіи ранъ почти однѣ припарки.

Екатерина Аѳанасьевна Протасова была приземистая, сгорбленная старушка, лѣтъ 66, но еще съ свѣжимъ, пріятнымъ лицомъ, умными сѣрыми глазами и тонкими, сложенными въ улыбку губами. Хотя она носила очки, но видѣла еще такъ хорошо, что могла вышивать по канвѣ и была на это мастерица; любила чтеніе, разговаривала всегда ровнымъ и довольно еще звучнымъ голосомъ; страдала съ давнихъ поръ, по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ, мигренями, и потому подвязывала голову всегда сверхъ чепца шелковымъ платкомъ.

Вотъ эта-то почтенная особа, заинтересованная, вѣроятно, моею молодостью и неопытностью, и стала моею покровительницею. Она интересовалась моею прежнею жизнью въ Москвѣ, часто спрашивала меня про житье-бытье моей семьи, оставшейся въ Москвѣ, и, узнавъ отъ Мойера о замѣчаніи, полученномъ изъ Петербурга о моемъ поведеніи по доносу Перовщикова, заставила меня откровенно рассказать въ подробности о случившемся.

Изъ-за меня, — конечно, не по моей винѣ, — сдѣлался и нѣкоторый разладъ между двумя домами; жена Перовщикова (если не ошибаюсь, урожд. Княжевичъ, Екатер. Матвѣевна) и дочь ея, посѣщавшія прежде нерѣдко Екатерину Аѳанасьевну, прекратили свои посѣщенія. Когда, къ концу семестра, вы-

шелъ срокъ найму моей квартиры въ домѣ Реберга, то Екат. Аѳанасьевна предложила мнѣ переѣхать къ нимъ въ домъ, гдѣ я и жилъ нѣсколько мѣсяцевъ, пока не очистилось помѣщеніе въ клиникѣ, въ которомъ я и оставался вмѣстѣ съ Иноземцевымъ до самаго отъѣзда за границу. Мойеръ при заступничествѣ Екат. Аѳанасьевны, вѣроятно, нашелъ средства оправдать меня; такъ или нѣтъ, но доносъ Перовщикова не имѣлъ для меня никакихъ худыхъ послѣдствій, тѣмъ болѣе, что въ это же время я принялся серьезно работать надъ заданною факультетомъ хирургическою темою о перевязкѣ артерій, награжденной потомъ золотою медалью. Я торжествовалъ, и не безъ причины. Я работалъ. Дни я просиживалъ въ анатомическомъ театрѣ надъ препарированіемъ различныхъ областей, занимаемыхъ артеріальными стволами, дѣлалъ опыты съ перевязками артерій на собакахъ и телятахъ, много читалъ, компилировалъ и писалъ.

Латынь помогла мнѣ обработать товарищи-филологи (покойные Крюковъ и Шкляревскій); признаюсь, для красоты слога жертвовалъ иногда и содержаніемъ; но диссертация въ 50 писч. листовъ, съ нѣсколькими рисунками съ натуры (съ моихъ препаратовъ), вышла на славу и заставила о себѣ заговорить и студентовъ, и профессоровъ.

Рисунки съ моихъ препаратовъ артерій надъ трупами, снятые съ натуры, въ натуральной величинѣ, красками, хранятся и до сихъ поръ—я слышалъ—въ анатомическомъ театрѣ въ Дерптѣ.

Добрѣйшая Екатерина Аѳанасьевна пригласила меня обѣдать постоянно съ ними, и я съ тѣхъ поръ былъ, въ теченіе почти пяти лѣтъ, домашнимъ человѣкомъ въ домѣ Мойера. Тутъ я познакомился и съ Василиемъ Андреевичемъ Жуковскимъ. Поэтъ былъ незаконный сынъ (отъ плѣнной турчанки) ея отца Бунина, воспитывался у нея въ домѣ, влюбился въ свою старшую племянницу, которая вышла потомъ замужъ за Мойера (Екат. Аѳанасьевна не дала согласія на бракъ влюбленныхъ, считая это грѣхомъ).

Я живо помню, какъ однажды Жуковскій привезъ манускриптъ Пушкина „Борисъ Годуновъ“ и читалъ его Екатер. Аѳанасьевнѣ; помню также хорошо, что у меня пробѣжала

дрошь по спинѣ при словахъ Годунова: „и мальчики кровавые въ глазахъ“.

Въ воспоминаніи сохранилось у меня, несмотря на протекающія уже съ тѣхъ поръ 50 слишкомъ лѣтъ, съ какимъ рвеніемъ и юношескимъ пыломъ принялся я за мою науку; не находя много занятій въ маленькой клиникѣ, я почти всецѣло отдался изученію хирургической анатоміи и производству операцій надъ трупами и живыми животными. Я былъ въ то время безжалостенъ къ страданіямъ.

Однажды, я помню, это равнодушіе мое къ мукамъ животныхъ при вивисекціяхъ поразило меня самого такъ, что я, съ пожемы въ рукахъ, обратившись къ ассистировавшему мнѣ товарищу, невольно вскрикнулъ:

— „Вѣдь такъ, пожалуй, легко зарѣзать и человѣка“.

Да, о вивисекціяхъ можно многое сказать и за, и противъ. Несомнѣнно, онѣ—важное подспорье наукѣ, и оказали, и окажутъ ей несомнѣнныя и неоцѣненныя услуги. Права человѣка дѣлать вивисекціи также нельзя оспаривать послѣ того, какъ человѣкъ убиваетъ и мучаетъ животныхъ для кулинарныхъ и другихъ цѣлей. Кодекса для этого права нѣтъ и не писано. Но наука не восполняетъ всецѣло жизни человѣка: проходитъ юношескій пылъ и мужеская зрѣлость, наступаетъ другая пора жизни, и съ нею—потребность сосредоточиваться все болѣе и болѣе и углубляться въ самого себя; тогда воспоминаніе о причиненномъ насиліи, мукахъ, страданіяхъ другому существу начинаетъ щемить невольно сердце. Такъ было, кажется, и съ великимъ Галлеромъ; такъ, признаюсь, случалось и со мною, и въ послѣдніе годы я ни за чтѣ бы не рѣшился на тѣ жестокіе опыты надъ животными, которые я нѣкогда производилъ такъ усердно и такъ равнодушно. Это своего рода *memento mori*.

Пріѣхавъ въ Дерптъ безъ всякой подготовки къ экспериментальнымъ научнымъ занятіямъ, я бросился, очертя голову, экспериментировать, и, конечно, былъ жестокимъ безъ нужды и безъ пользы; и воспоминаніе мое теперь отравляетъ еще болѣе то, что, причинивъ тяжкія муки многимъ живымъ суще-

ствамъ, я часто не достигалъ ничего другого, кромѣ отрицательнаго результата, т.-е. не нашелъ того, что искалъ.

Современнымъ экспериментаторамъ, можетъ быть, не придется испытывать на старости тяжелыхъ воспоминаній отъ вивисекцій. Теперь значительная половина вивисекцій производится надъ лягушками, а эти хладнокровныя рептиліи не внушаютъ того чувства, которое привязываетъ человѣка къ теплокровному животному. Потомъ, современные опыты надъ живыми производятся почти всѣ съ помощью хлороформа. Но и одно насильственное лишеніе живого, беззащитнаго существа жизни, съ какою бы то ни было эгоистическою (хотя бы и высокою) цѣлью, не можетъ оставить въ насъ пріятныхъ и успокоительныхъ воспоминаній; немудрено, что тѣ, надъ чѣмъ я нѣкогда смѣялся — вегетаризмъ, теперь кажется мнѣ вовсе не такъ смѣшнымъ.

Къ концу семестра 1827 г. явились и послѣдніе члены нашего профессорскаго института, — харьковцы, въ числѣ четырехъ. Одинъ изъ нихъ, Ф. И. Иноземцевъ, былъ, какъ и я, по хирургіи, съ тѣмъ только различіемъ отъ меня, что, въ первыхъ, это былъ уже человѣкъ лѣтъ подъ 30, не менѣе 27-ми, 28-ми, а во-вторыхъ, онъ былъ несравненно опытнѣе меня и болѣе, чѣмъ я, приготовленъ. Въ харьковскомъ университетѣ въ то время училъ весьма дѣльный профессоръ хирургіи — Н. И. Еллинскій. Иноземцевъ не только ассистировалъ ему при разныхъ операціяхъ, но и самъ уже дѣлалъ одну операцію (ампутацію голени). Это разомъ ставило его головою выше меня и въ моихъ глазахъ, и въ глазахъ другихъ товарищей.

Иноземцевъ и съ внѣшней стороны былъ гораздо представительнѣе меня. Высокій и довольно ловкій брюнетъ, съ черными блестящими глазами, съ безукоризненными баками, одѣтый всегда чисто и съ нѣкоторою претензіею на элегантность, Иноземцевъ легко дѣлался вхожимъ въ разныя общества и вездѣ умѣлъ заслужить репутацію любезнаго и милаго человѣка, добраго товарища и отличнаго парня.

Немудрено, что я началъ ему завидовать. Это скверное

чувство особливо выражалось въ моемъ дневникѣ, который я нѣкоторое время велъ тогда очень аккуратно.

Сверхъ зависти меня возмутило противъ Иноземцева и еще одно: однажды,—я жилъ тогда еще у Мойера,—я простудился и заболѣлъ. Мойеръ приходитъ навѣстить меня и намекаетъ мнѣ довольно ясно, что я порчу себя питьемъ водки; послѣ такого намека, я, взволнованный и еще больной, являюсь къ Екатеринѣ Аванасьевнѣ Протасовой и говорю, что я не могу долѣе оставаться въ ихъ домѣ, такъ какъ я запозрѣлъ въ пьянствѣ.

Старушка ахнула: — „Откуда это, батюшка, такое взялъ?“ — Я рассказалъ. Потомъ вышло, что Иноземцевъ стороною намекнулъ что-то, гдѣ-то, какъ-то, что я склоненъ къ злоупотребленію спиртными напитками.

Дѣйствительно, Иноземцевъ видѣлъ меня раза два навеселѣ вмѣстѣ съ Шуманскимъ, отъ котораго я въ первый разъ и узналъ вкусъ водки. Долго я не могъ простить Иноземцеву этой сплетни. Мы жили съ нимъ четыре слишкомъ года вмѣстѣ въ одной (довольно просторной) комнатѣ въ клиникѣ; но наши лѣта, взгляды, вкусы, занятія, отношенія къ товарищамъ, профессорамъ и другимъ лицамъ были такъ различны, что, кромѣ одного помѣщенія и одной и той же науки, избранной обоими нами, не было между нами ничего общаго.

Меня досаждало еще то, что вечеромъ къ Иноземцеву приходили, по крайней мѣрѣ разъ или два въ недѣлю, въ гости три или четыре товарища изъ нашихъ или и другихъ русскихъ, которые всѣ знакомы были коротко съ Иноземцевымъ. При чаепитіи, куреніи табака (котораго я тогда не терпѣлъ) начиналась игра въ вистъ, продолжавшаяся за полночь и мѣшавшая мнѣ читать или писать.

Я долженъ покаяться, вспоминая объ Иноземцевѣ. Я теперь и самъ бы себѣ не повѣрилъ или, лучше, не желалъ бы вѣрить; но что было, то было. Я нерѣдко, по недостатку денегъ къ концу мѣсяца, оставался день или два безъ сахара, и вотъ, въ одинъ изъ такихъ дней, меня чортъ попуталъ взять тайкомъ три-четыре куска сахара изъ жестянки Иноземцева. Онъ какъ-то замѣтилъ это и заперъ жестянку. О, позоръ! дорого бы я далъ, чтобы это не было былью. Кстати, повинюсь

еще и въ воровствѣ съ книгами. Я во всю мою жизнь утаилъ, т.-е., взявъ, не отдалъ три книги; а потомъ, когда хотѣлъ ихъ возвратить, то было некому, или я отъ стыда откладывалъ все и откладывалъ возвращеніе. Потомъ большая часть моей библіотеки поступила въ пользу студенческой библіотеки.

Во время нашего пребыванія въ Дерптѣ университетъ пользовался большою славою въ Россіи. И дѣйствительно, большая часть каедръ была замѣщена отличными людьми, съ знаменитымъ ректоромъ Эверсомъ (историкъ) во главѣ: Струве (астрономъ), Ледебуръ, Парротъ (сынъ академика), Ратке (физиологъ), Клоссеусъ (юристъ), Эйсгольцъ (зоологъ); между медиками отличались необыкновенною начитанностью и ученостію проф. Эрдманъ, прежде бывшій въ Казани, но изгнанный оттуда, вмѣстѣ съ проф. математики Бартельсомъ (товарищемъ короля Луи-Филиппа, когда они оба были учителями въ Швейцаріи). Изгнаніе нѣмецкихъ ученыхъ изъ казанскаго университета было совершенно погромомъ Магницкаго. Во время пребыванія профессорскаго института въ Дерптѣ присылались молодые русскіе люди и изъ другихъ вѣдомствъ; отъ академіи наукъ были присланы Загорскій (физиологъ) и Шпереръ (химикъ), какъ элены. Профессоромъ астрономіи Струве прислано было человѣкъ 10 штабныхъ или свитскихъ и морскихъ офицеровъ для занятій при обсерваторіи.

Учрежденіе императрицы Маріи прислало изъ воспитательнаго дома человѣкъ 6 или 7; наконецъ и частныя лица пріѣзжали для образованія или такъ, по наслышкѣ, по модѣ; такъ, въ наше время пріѣхали учиться Карамзинны—три брата, гр. Соллогубъ, Муравьевъ, графы Витгенштейны (2 брата), Тутолминъ, Матвѣевъ и еще до насъ прибылъ пѣвецъ студенческихъ попоекъ и кутежей—Языковъ и другіе.

Большая часть изъ нихъ не окончили университетскаго курса, но почти всѣ носили студенческій костюмъ: длинные сапоги—Stiefeln, Kragen, т.-е. длинные воротники отъ шинелей вмѣсто плащей, маленькія фуражки на головѣ.

Мундиръ студенческій въ Дерптѣ, можетъ быть, также служилъ приманкою; это былъ не то, что поскудный мундиръ того времени въ другихъ русскихъ университетахъ; у дерптскаго

студента воротникъ на мундирѣ горѣлъ золотомъ; это былъ воротникъ черный бархатный (на синемъ мундирѣ) съ выши-тыми золотомъ дубовыми вѣтвями, занимавшими бо́льшую по-ловину воротника. И на балахъ, и въ театрѣ мундиръ этотъ производилъ эффектъ.

Когда императоръ Николай проѣзжалъ черезъ Дерптъ, во время турецкой кампаніи, то ему приготовлена была почетная стража изъ студентовъ; одѣтые въ эти свои мундиры, бѣлые штаны въ натяжку, ботфорты, рослые и красивые студенты-стражники обратили вниманіе на себя самого Николая, и такъ какъ онъ ничего не заявилъ противъ этой обмундировки, то она и признавалась законною.

За исключеніемъ насъ, присланныхъ въ Дерптъ уже по окончаніи курса въ русскихъ университетахъ, и двухъ или трехъ другихъ русскихъ, всѣмъ прочимъ пребываніе въ Дерптѣ не пошло въ прокъ. Карамзины и Соллогубъ едва-ли вы-несли что-нибудь изъ дерптской научной жизни, кромѣ зна-комства съ разными студенческими обычаями; другіе, какъ, на-примѣръ, Языковъ, воспитанники изъ учрежденій императрицы Маріи и пріѣзжіе изъ Москвы и Петербурга полу-русскіе и полу-нѣмцы просто сливались съ кругомъ и уѣзжали чрезъ нѣ-сколько лѣтъ въ весьма плохомъ видѣ; только двое изъ нихъ, Оедоровъ Вас. Оед., и Кантеміровъ, вышли-было въ люди, но не надолго. Оедоровъ, весьма дѣльный астрономъ-наблюда-тель, сдѣлалъ экспедицію съ Парротомъ на Араратъ, потомъ въ Сибирь, потомъ сдѣлался профессоромъ астрономіи въ Кіевѣ и ректоромъ университета, но не оставилъ привычки попить и скоро умеръ, еще далеко не старый; Кантеміровъ вышелъ докторомъ медицины, былъ за границею, но, до крайности без-кровный и худосочный, также скоро умеръ еще въ молодыхъ лѣтахъ.

Въ Дерптѣ русская поговорка приходилась наоборотъ. Въ Россіи говорятъ: „что русскому здорово, то нѣмцу—смерть“; а въ Дерптѣ надо было, наоборотъ, сознаться: „что нѣмцу здо-рово, то русскому—смерть“. Нѣмецкіе студенты кутили, вли-вали въ себя пиво, какъ въ бездонную бочку, дрались на дуэ-ляхъ, цѣлые годы иногда не брали книги въ руки, но потомъ какъ будто перерождались, начинали работать такъ же прилежно,

какъ прежде бражничали, и оканчивали блестящимъ образомъ свою университетскую карьеру.

Мы, русскіе, изъ профессорскаго института, Professur-Embryo-nen, — какъ насъ звали нѣмецкіе студенты, — мы всё, слава Богу, учѣли; но мы не сходились ни съ однимъ студенческимъ кружкомъ, не участвовали ни въ коммерсахъ, ни въ другихъ студенческихъ препровожденіяхъ времени; и я, напримѣръ, несмотря на мою раннюю молодость, даже вовсе и не имѣлъ никакой охоты знакомиться съ студенческимъ бытомъ въ Дерптѣ. Только два раза я изъ любопытства съѣздилъ на коммершъ, и то въ послѣдствіи, по окончаніи курса.

Но какъ ни страненъ въ наше время этотъ анахронизмъ, который представляетъ студенческая жизнь, съ ея средневѣковыми обычаями, для посторонняго наблюдателя, нельзя не согласиться, что она имѣетъ многое въ свою пользу: во-первыхъ, самое вопіющее зло въ обычаяхъ этой жизни — дуэль, дѣлаетъ то, что ни въ одномъ изъ нашихъ университетовъ взаимныя отношенія между студентами не достигли такого благочинія, такой вѣжливости, какъ между студентами въ Дерптѣ. О дракахъ, зашеніяхъ, площадной брани и ругательствахъ между ними не можетъ быть и рѣчи.

Дуэли стоили жизни нѣсколькимъ десяткамъ молодежи; это, безъ сомнѣнія, очень прискорбно, и родители, потерявшіе на дуэли безвременно своихъ сыновей, имѣютъ полное право возставать противъ этого варварскаго обычая. Но что же дѣлать, если въ человѣческомъ обществѣ нерѣдко приходится выпирать клинъ клиномъ, за неимѣніемъ лучшаго средства противъ зла? А грубость нравовъ и обращеніе въ студенческой жизни между товарищами портитъ также жизнь и есть не меньшее зло, чѣмъ дуэль. Въ московскомъ университетѣ я былъ свидѣтелемъ отвратительныхъ сценъ изъ студенческой жизни, зависѣвшихъ всецѣло отъ грубости и неурядицы взаимныхъ отношеній между товарищами. Кулачный бой, синяки и фонари, площадная ругань и матерщина были явленіями незаурядными.

Вотъ предо мною стоитъ — вспоминаю — студентъ изъ семинаристовъ, Марсовъ, и дѣйствительно — верзило чуть не въ сажень, обросшій весь, какъ щетиною, волосами. Я иду мимо въ аудиторію, пробираясь съѣсть на мѣсто.

— „Ты что тутъ, поросенокъ, таскаешься? Знаешь, какого шлепка задамъ!“

Другіе хохочутъ. Что тутъ подѣлаешь? Этакой верзило и взаправду хватилъ бы,—всѣ снова засмѣялись бы, и дѣло съ концомъ. Гдѣ существуетъ такъ называемая студенческая *Comment*, тамъ буйство, посрамленіе человѣческаго достоинства грубою обидою немислимы,—есть судъ товарищей, рѣшающихъ, что дѣлать,—и вотъ человѣкъ смолоду пріучается къ благородству, уваженію личнаго достоинства и общественнаго мнѣнія; а это едва-ли не стѣить нѣсколькихъ жизней.

Впрочемъ, студенческія общества всегда старались сдѣлать дуэли наименѣе опасными для жизни; извѣстно, какія предосторожности берутся въ студенческихъ дуэляхъ къ защищенію головы, шеи и т. п. противъ ударовъ. Но замѣтно, что каждый разъ, съ увеличеніемъ строгости противъ обыкновенныхъ студенческихъ дуэлей, увеличивались болѣе опасныя дуэли на пистолетахъ. Въ теченіе пяти лѣтъ были только два случая опасныхъ дуэлей между студентами. Въ одномъ случаѣ студенческой *Schläger* (родъ палаша) попалъ на 3-й грудинный хрящъ, перерубилъ его и повредилъ титечную внутреннюю артерію (*art. mammaria interna*); собравшійся около раненаго факультетъ—надо признаться—опозорился. Когда образовался плевритъ раненой плевры съ выпотомъ и значительнымъ кровотеченіемъ изъ раны, до тѣхъ поръ некровоточивой, то трое профессоровъ погрязли въ предположеніяхъ: одинъ говорилъ, что тутъ ранено легкое; другой—что ранена легочная вена; но ни одинъ не узналъ плевритическаго выпота въ нѣсколько фунтовъ вѣсомъ. Въ такомъ-то жалкомъ положеніи въ то время находилось изслѣдованіе грудныхъ органовъ въ нашихъ университетахъ.

Другіе два случая были пистолетныя дуэли; въ обѣихъ раны были очень опасныя, но исходъ былъ благополучный. Въ одномъ случаѣ пуля пронизала шею около сонныхъ артерій насквозь, задѣвъ горло; кровотеченія, однако-же, не было, и раненый только долго не могъ говорить.

Въ другомъ случаѣ пуля зашла въ лобной кости, у соединенія ея съ теменною, и была вытрепанена Мойеромъ весьма ловко. Раненый, конечно, выздоровѣлъ.

Занятія мои съ каждымъ годомъ увеличивались; особливо занимался я разработкою фасцій и отношеній ихъ къ артеріальнымъ стволамъ и органамъ таза. Это предметъ былъ совершенно новый въ то время. Обыкновенно анатомы бросали фасціи; въ Германіи занимались ими очень мало, и только у англичанъ и французовъ можно было найти описаніе и изображеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Я дѣлался съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе специалистомъ, предаваясь по временамъ изученію самостоятельно одной какой-либо ограниченной спеціальности. Дошло до того, что я пересталъ посѣщать лекціи по другимъ наукамъ, кромѣ хирургіи.

Это было глупо съ моей стороны, и я много такого, что могло бы быть очень полезнымъ впослѣдствіи, пропустилъ и потерялъ. До Мойера начали доходить жалобы другихъ профессоровъ о моемъ непосѣщеніи лекцій. Профессоръ химіи, Гебель, прижалъ меня и на семестровомъ экзаменѣ. Мойеръ дѣльно увѣщевалъ меня не пренебрегать другими науками, и былъ правъ.

Но меня смущало то, что, слушая лекціи, я неминуемо краду время отъ занятій моимъ спеціальнымъ предметомъ, который какъ ни спеціаленъ, а все-таки заключаетъ въ себѣ, по крайней мѣрѣ, три науки. А сверхъ того, я, дѣйствительно, тяготился слушаніемъ лекцій, и это неумѣнье слушать лекціи у меня осталось на цѣлую жизнь. Посвятивъ себя одиночнымъ занятіямъ въ анатомическомъ театрѣ, въ клиникѣ и у себя на дому, я, дѣйствительно, отвыкъ отъ лекцій; приходя на нихъ, дремалъ или засыпалъ и терялъ нить; демонстративныхъ лекцій въ то время на медицинскомъ факультетѣ, за исключеніемъ хирургическихъ и анатомическихъ, вовсе не было; ни фیزیологическія, ни патологическія лекціи не читались демонстративно. Зачѣмъ же—думалъ я—тратить время въ дремотѣ и свѣ на лекціяхъ? Наконецъ, я дошелъ до такого абсурда, что объявилъ однажды Мойеру о моемъ рѣшеніи не держать окончательнаго экзамена, т.-е. экзамена на докторскую степень, такъ какъ въ то время отъ профессоровъ не требовали еще докторскаго диплома; а если понадобится,—думалъ я,—такъ дадутъ и безъ экзамена дѣльному человѣку.

Мойеръ, конечно, отговорилъ меня отъ такого поступка и увѣрилъ, что экзаменаторы примутъ непремѣнно во вниманіе мои отличныя занятія анатомією и хирургією и будутъ потому весьма снисходительны.

Но я забѣжалъ слишкомъ впередъ въ моемъ разсказѣ.

Насъ послали въ Дерптъ только на два или три года, а мы между тѣмъ пробыли тамъ цѣлыхъ пять лѣтъ. Это сдѣлала для насъ польская революція 1830—1831 годовъ.

Черезъ годъ послѣ нашего прибытія въ Дерптъ началась турецкая война 1828 года, и намъ пришлось распрощаться съ нѣкоторыми изъ вашихъ новыхъ дерптскихъ знакомыхъ. На эту войну уѣхалъ отъ насъ Владиміръ Ивановичъ Даль (впослѣдствіи писатель подъ псевдонимомъ: „Казакъ-Луганскій“).

Это былъ замѣчательный человѣкъ, сначала почему-то не нравившійся мнѣ, но потомъ мой хорошій пріятель. Это былъ прежде человѣкъ, что называется, на всѣ руки. За чтѣмъ ни брался Даль, все ему удавалось усвоить. Съ своимъ огромнымъ носомъ, умными сѣрыми глазами, всегда спокойный, слегка улыбающійся, онъ имѣлъ рѣдкое свойство подражанія голосу, жестамъ, минѣ другихъ лицъ; онъ съ необыкновеннымъ спокойствіемъ и самою серьезною миною передавалъ самыя комическія сцены. Подражалъ звукамъ (жуужанію мухи, комара и пр.) до невѣроятія вѣрно. Въ то время онъ не былъ еще писателемъ и литераторомъ, но онъ читалъ уже отрывки изъ своихъ сказокъ. Какъ извѣстно, прежде лейтенантъ флота—Даль долженъ былъ оставить морскую службу отчасти потому, что страдалъ постоянно на кораблѣ морскою болѣзнію, а отчасти за памфлетъ въ стихахъ, написанный имъ на адмирала Грейга. Даль пересѣдлалъ изъ моряковъ въ лекаря; менѣе чѣмъ въ четыре года выдержалъ отлично экзаменъ на лекаря и поступилъ въ военную службу. Находясь въ Дерптѣ, онъ пристрастился къ хирургіи и, владѣя, между многими способностями, необыкновенною ловкостью въ механическихъ работахъ, скоро сдѣлался и ловкимъ операторомъ; такимъ онъ и поѣхалъ на войну; потомъ онъ сдѣлалъ и польскую кампанію, гдѣ отличился какъ инженеръ и піонеръ; а по окончаніи—вступилъ ординаторомъ въ военно-сухопутный госпиталь и вскорѣ

пересѣдлалъ изъ врачей въ литераторы, потомъ въ администраторы и кончилъ жизнь ученымъ, посвящавшимъ много лѣтъ составленію своего лексикона, матеріалъ къ которому, въ видѣ пословицъ и поговорокъ, онъ началъ собирать еще, кажется, до Дерпта.

Въ его, читанныхъ намъ тогда, отрывкахъ попадалось уже множество собранныхъ имъ, очевидно, въ разныхъ углахъ Россіи поговорокъ, прибаутокъ и пословицъ.

Первое наше знакомство съ Далемъ было довольно оригинально. Однажды, вскорѣ послѣ нашего пріѣзда въ Дерптъ, мы слышимъ у нашего окна съ улицы какіе-то странные, но не незнакомые звуки: русская пѣснь на какомъ-то инструментѣ. Смотримъ—стоитъ студентъ въ вицъ-мундирѣ; всунулъ онъ голову черезъ открытое окно въ комнату, держитъ что-то во рту и играетъ: „здравствуй, милая, хорошая моя“, не обращая на насъ, пришедшихъ въ комнату изъ любопытства, никакого вниманія. Инструментъ оказывается органчикъ (губной), а виртуозъ—В. И. Даль; онъ, дѣйствительно, игралъ отлично на органчикѣ.

Послѣ Дерпта я встрѣтился съ Далемъ въ 1841 году въ С.-Петербургѣ, когда онъ служилъ у министра внутреннихъ дѣлъ Перовскаго, и нерѣдко сходилъ съ нимъ въ нашемъ обществѣ, составленномъ изъ дерптскихъ пріятелей.

Польская революція шла рука-объ-руку съ французскою, послѣ которой Николай Павловичъ осерчалъ на французовъ и запретилъ русскимъ ѣздить во Францію. Да мало того: до 1833 года насъ никуда за границу не хотѣли пускать. Такъ мы и просидѣли въ Дерптѣ сверхъ положенныхъ еще два года; мыѣ, однако-же (впрочемъ и другимъ), зачислили эти годы въ пенсію, послѣ моего ходатайства у военного министра въ 1850-хъ годахъ.

Вмѣстѣ съ польскою революціею явилась и первая холера въ Россіи. Мы только слушали и ждали. Наконецъ, она добралась и до Дерпта. Первый случай встрѣтился между нами; одинъ изъ насъ, нѣкто Шрамковъ, изъ харьковскаго университета (фармакологъ), странный иппохондрикъ, чернолицый, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, вдругъ, къ вечеру, занемогъ чисто

азиатскою холерою, и ночью, черезъ шесть часовъ, Богу душу отдалъ.

Мы, медики, были неотлучно при постели больного; растирали, грѣли, дѣлали, чтò могли; привели двухъ профессоровъ: Замена (терапіи) и Эрдмана (фармакологіи). Ничего не помогло. Заменъ даже, кажется, струсиль немного, и ушелъ какъ-то очень скоро, но Эрдманъ, старикъ, остался вмѣстѣ съ нами. Послѣ того холера появилась въ инвалидномъ лазаретѣ, въ концѣ города.

Вообще, однако-же, она была умѣренная и продолжалась не болѣе шести недѣль (въ октябрѣ). Я, пришедъ домой, поутру, отъ покойника Шрамкова, вдругъ какъ-то внутренно струсиль, почувствовалъ какое-то непріятное ощущеніе тоски и страха прямо подѣ ложечкою. Мнѣ казалось, что меня скоро начнетъ рвать или же что я упаду въ обморокъ. Я взялъ тотчасъ же теплую ванну, принялъ нѣсколько опійныхъ капель, напился чаю, согрѣлся и заснулъ. Всталъ здоровымъ. Уже на другой день я сталъ ходить въ инвалидный лазаретъ и почти ежедневно вскрывалъ холерные трупы. Въ это время прибыли въ Дерптъ, изъ Москвы и Петербурга, два французскіе врача. Оба они присутствовали при моихъ вскрытіяхъ въ лазаретѣ; увидѣвъ ихъ (т.-е. вскрытія холерныхъ) едва-ли не въ первый разъ, тотчасъ же принялись записывать найденное, и очень были изумлены, когда я, желая отличиться и похвастаться предъ иностранцами, принялся препарировать узлы сочувственнаго нерва, солнечное сплетеніе и т. п. Французы не ожидали, что русскій въ состояніи будетъ легко и скоро обнаружить предъ ними для изслѣдованія почти всѣ главные узлы груди и живота. Они выразили мнѣ свое удовольствіе тѣмъ, что начали приглашать въ Парижъ.

Наконецъ, я рѣшилъ идти на докторскій экзаменъ, и, полагаясь на увѣреніе Мойера, что онъ (т.-е. экзаменъ) будетъ для меня снисходителенъ, я къ нему вовсе не приготовлялся. Но, желая, по упрямству, показать факультету, что иду на экзаменъ не самъ, а меня посылаютъ насильно, я откинулъ весьма неприличную штуку.

Въ Дерптѣ дѣлались тогда экзамены на степень на дому у декана. Докторантъ присылалъ на домъ къ декану обык-

новенно чай, сахаръ, нѣсколько бутылокъ вина, тортъ и шоколадъ для угощенія собравшихся экзаменаторовъ (т.-е. факультета, свидѣтелей и т. п.). Я ничего этого не сдѣлалъ. Деканъ Ратке принужденъ былъ подать экзаменаторамъ свой чай. Жена профессора Ратке, какъ мнѣ рассказывалъ потомъ педель, бранила меня за это на чемъ свѣтъ стоитъ. Но экзаменъ сошелъ благополучно, и оставалось только приняться за диссертацию. Но она взяла времени болѣе года.

Меня уже прежде интересовала, и въ хирургическомъ, и въ физиологическомъ отношеніяхъ, перевязка брюшной аорты, сдѣланная тогда только однажды на живомъ человѣкѣ Астлеемъ Куперомъ.

Случай этотъ окончился смертью. Но оставалось рѣшить, дѣйствительно ли эта операція можетъ быть произведена съ надеждою на успѣхъ. Я сталъ дѣлать опыты надъ большими собаками, телятами и баранами. Всѣхъ долѣе послѣ этой перевязки жилъ у меня одинъ баранъ въ имѣніи Штапельберга, въ которомъ я гостилъ лѣтомъ у Мойера, верстъ 15 отъ Дерпта.

Результатомъ всѣхъ моихъ опытовъ и наблюденій было то, что въ большей части случаевъ перевязка брюшной аорты, замедляя внезапно кровообращеніе въ большихъ брюшныхъ артеріальныхъ стволахъ, причиняетъ смерть чрезъ онѣмѣніе спинного мозга (параличъ нижнихъ конечностей) и приливами крови въ сердцу и легкому. Но кровообращеніе послѣ перевязки аорты не прекращается въ нижнихъ конечностяхъ, и кровь тотчасъ же послѣ перевязки струится изъ ранъ бедренныхъ артерій; а перевязка аорты, сдѣланная постепенно (черезъ постепенное сдавливаніе артеріи помощью ручного прибора), хотя переносится довольно хорошо, даетъ, однако-же, поводъ къ послѣдовательнымъ кровотеченіямъ.

Диссертациія вышла для молодого докторанта не плохая.

Потомъ, въ бытность мою въ Берлинѣ, когда я представилъ ее знаменитому тогда Опицу, то онъ тотчасъ же велѣлъ перевести ее на нѣмецкій языкъ (она была писана на латинскомъ, подъ именемъ: „Num vinctura aortae abdominalis in aneurismate ingunali adhibitu facile actutum sit remedium“ и

напечаталъ ее въ журналѣ („Journal der Chirurgie und der Augenheilkunde“ v. Dr. Graefe und Prof. von Walther).

Мойеръ чѣмъ дѣлался старѣе, тѣмъ болѣе и облѣнивался. Въ послѣдній годъ нашего пребыванія въ Дерптѣ онъ поручалъ мнѣ дѣлать многія операціи. Однажды я перевазаль бедренную артерію, вылуцилъ бьющуюся аневризму височной артеріи, вылуцилъ ручную кисть, сдѣлалъ отнятіе губного рака. Самъ онъ, видимо, уклонялся въ послѣднее время отъ большихъ операцій. Но въ городѣ (частной практики), когда случалось, отъ операціи нельзя было отдѣлаться.

Послѣднею операціею Мойера въ городѣ была мнѣ памятная литотомія у дерптскаго тогдашняго богача Шульца. Мойеръ дѣлалъ ее, находясь, очевидно, не въ своей тарелкѣ. Насъ нѣсколько, — разумѣется, и мы двое (я и Иноземцевъ), — ассистировали Мойеру. Иноземцевъ меня увѣрялъ, что онъ видѣлъ собственными глазами, какъ Мойеръ, отойдя куда-то въ сторону передъ операціею, перекрестился; было это такъ: Иноземцевъ разсказалъ Мойеру, что знаменитый московскій литотомистъ-операторъ Венедиктовъ всегда передъ операціею крестился и клалъ земные поклоны.

— „Что же, это не худо“, — замѣтилъ Мойеръ, отошелъ и перекрестился.

Операція у Шульца была сдѣлана изъ рукъ вонъ плохо. Мойеръ оперировалъ Скарповскимъ горжеретомъ; я держалъ зондъ, и когда горжеретъ былъ введенъ, показалась моча, я вынулъ зондъ. Мойеръ повелъ пальцемъ по горжерету, въ пузырь не попалъ и разсердился на меня, зачѣмъ я вынулъ зондъ рано; „nun wird es eine Geschichte“; но Geschichte никакой не было.

Иноземцевъ ввелъ легко зондъ опять въ пузырь. Мойеръ полѣзъ снова горжеретомъ. Больной былъ толстѣе, и инструментъ для его запылившей жиромъ промежности оказался недостаточно длиннымъ, однако-же, дѣло все-таки кое-какъ сладилось; но вотъ брызнула съ шипѣньемъ изъ глубины струйка артеріальной крови.

— „Это чтѣ еще такое?“ — вскрикнулъ Мойеръ; но и эта неожиданность обошлась.

Наконецъ, извлечены два камня.

Я послѣ операціи, не утерпѣвъ, сболтнулъ между товарищами пошлую остроту: „wenn diese Operation gelingt, so werde ich den Steinschnitt mit einem Stock machen“. Это передали Мойеру, но добрякъ Мойеръ не разсердился и смѣялся отъ души; а Шульцъ выздоровѣлъ.

Особенно Мойеръ сталъ бояться вырѣзыванія наростовъ; и когда—не помню, по какому случаю—я предлагалъ ему сдѣлать такую операцію, Мойеръ сказалъ мнѣ:

— „Послушайте, я вамъ расскажу, что случилось однажды съ Рустомъ. Когда я былъ,—продолжалъ Мойеръ,—въ Вѣнѣ у Руста, пріѣхавъ туда отъ Скарпы изъ Италіи, Рустъ показалъ мнѣ въ госпиталѣ одного больного съ опухолью подъ колѣномъ“ (въ подколенной ямѣ). „А что бы тутъ сдѣлалъ старикъ Скарпа?“ спросилъ у меня Рустъ. — Я, изслѣдовавъ опухоль, отвѣтилъ, что старикъ Скарпа въ этомъ случаѣ предложилъ бы больному ампутацію. „А я вырѣжу опухоль“, сказалъ мнѣ Рустъ. Подлипалы и подпѣвалы Руста уговаривали его показать прыть предъ ученикомъ Скарпы; и Рустъ, ассистуемый этими прихвостнями, началъ дѣлать операцію тутъ же, въ моемъ присутствіи. Наростъ оказывается сросшимся съ костью, кровь брызжетъ струею со всѣхъ сторонъ; ассистенты, со страху, одинъ за другимъ расходятся. Я помогаю оторопѣвшему Русту перевязывать артерію въ глубинѣ; больной истекаетъ кровью. Тогда Рустъ говоритъ мнѣ:

— „Этихъ подлецовъ мнѣ не надо бы было слушать,—они первые же и разбѣжались; а вы отсвѣтовали мнѣ, и все-таки меня не кинули; я этого никогда не забуду“.

Занимаясь диссертациею, я велъ въ Дерптѣ пріятную жизнь: днемъ—въ клиникѣ и въ анатомическомъ театрѣ, гдѣ дѣлалъ мои опыты надъ животными; вечеромъ—въ кругу нѣсколькихъ новыхъ знакомыхъ изъ нѣмцевъ; я узнавалъ много новаго о студенческой жизни и ея обычаяхъ.

Вѣрно, нигдѣ въ Россіи того времени не жилось такъ привольно, какъ въ Дерптѣ. Главнымъ начальствомъ города былъ ректоръ университета.

Старикъ полиціймейстеръ Ясенскій съ десяткомъ обо-

рванныхъ казаковъ на тощихъ лошаденкахъ, которыхъ студенты, при нарушеніи общественнаго порядка, удерживали на мѣстѣ, цѣпляясь за хвосты, — полиціймейстеръ, говорю, этотъ держалъ себя какъ подчиненный передъ ректоромъ; жандармскій полковникъ встрѣчался только въ обществахъ за карточнымъ столомъ. Университетъ, профессоры и студенты господствовали. Студенты по временамъ, пользуясь своимъ положеніемъ, терроризировали общество и особливо общество бюргеровъ, извѣстныхъ у студентовъ подъ именемъ „кнотовъ“.

Ни одно собраніе въ мѣщанскомъ клубѣ не обходилось безъ какого-нибудь смѣшного скандала. Особливо отличались скандальными выходами студентовъ маскарады въ этихъ клубахъ. Впускались только замаскированные; и вотъ одинъ студентъ является въ красныхъ сапогахъ, съ длинною палочкою краснаго сургуча во рту, пучкомъ перьевъ на самой задней части тѣла и на головѣ; когда члены клуба не хотятъ его впустить, то онъ поднимаетъ шумъ, врывается въ залу и объясняетъ, что онъ замаскированъ въ аиста.

Другой (теперь извѣстный генералъ) дошелъ до того, что является въ бюргерскій маскарадъ въ костюмѣ Адама, прикрытомъ чернымъ домино, и, ставъ передъ кружкомъ дамъ въ позу, прехладнокровно открываетъ полы домино; дамы вскрикиваютъ, разбѣгаются; сзади стоящіе мужчины, ничего не вида, кромѣ чернаго домино, не понимаютъ, въ чемъ дѣло; наконецъ догадываются, и будущій генералъ изгоняется *mit Pomp heraus*.

Особливую знаменитость пріобрѣли между студентами нѣсколько проказниковъ и оригиналовъ. Такъ, Анке, потомъ профессоръ фармакологіи московскаго университета и деканъ медицинскаго факультета, славился своими остротами и проказами. Уже одна наружность дѣлала его оригинальнымъ. Чрезвычайно подвижная и вмѣстѣ съ тѣмъ старческая, нѣсколько смахивающая на фізіономію обезьяны, — какая-то юркость и скорость движеній и неистощимый юморъ придавали всѣмъ проказамъ и остротамъ Анке оригинальный характеръ.

Помню, напримѣръ, такого рода проказу. Жилъ-былъ университетскій берейторъ Даву, а у него былъ сынъ, видный парень, хорошо объѣзжавшій лошадей, но непозволительно глупый. Чтобы характеризовать его глупость, стоитъ рассказать

только такого рода пассажъ. Даву услыхалъ однажды, что студентъ, по имени Фрей, влюбившійся въ одну дѣвушку, сдѣлалъ ей предложеніе въ такомъ видѣ: „wilst Du Frei werden, oder frei bleiben?“ Это очень понравилось Даву, и онъ, по совету Анке, написалъ и своей возлюбленной: „wilst Du Dаву werden, oder Dаву bleiben?“

Вотъ между этимъ-то смертнымъ и Анке вспыхиваетъ война, — разумѣется, придуманная самимъ же Анке. Подговоренные товарищи убѣждаютъ Даву, что онъ не долженъ сносить обиды такого проходимца, какъ Анке, и долженъ непременно съ нимъ стрѣляться, если хочетъ остаться благороднымъ человекомъ. Наконецъ, Даву рѣшается на пистолетную дуэль, отдавшись совершенно въ распоряженіе подговоренныхъ секундантовъ. Даву, какъ обиженный, долженъ стрѣлять первый. Пистолетъ его, конечно, зарядили не пулею. Даву стрѣляетъ. Анке падаетъ и кричитъ, что онъ тяжело раненъ. Друзья подбѣгаютъ, раздѣваютъ. О, чудо! прострѣленъ боковой карманъ въ штанахъ; въ карманѣ — табакерка Анке съ табакомъ, въ табакеркѣ — пуля. Даву такъ и ахнулъ отъ радости, что такъ счастливо и такъ мѣтко выстрѣлилъ.

Въ другомъ родѣ оригиналъ между старыми студентами въ Дерптѣ, но также, какъ и Анке, неудобозабываемый, былъ Яко, или Іоко, Кизирецкій. Студенческій типъ, представившійся Кизирецкимъ, уже вымеръ давно. Даже и въ то время этотъ типъ встрѣчался только на сценѣ. Помню, въ Берлинѣ, въ одной нѣмецкой пьесѣ, извѣстный актеръ Шнейдеръ (фаворитъ государя Николая Павловича) неподражаемо изобразилъ этотъ типъ.

Въ длинныхъ ботфортахъ (Kanonen-Stiefeln) со шпорами, въ крагенѣ (студенческій плащъ), въ студенческой корпорационной шапкѣ на маковкѣ, съ длиннымъ чубукомъ въ зубахъ, студентъ-романтикъ прохаживается журавлинымъ шагомъ по сценѣ и декламируетъ какимъ-то замогильнымъ голосомъ изъ Шекспира: „Seyn, oder nicht seyn?“

Іоко Кизирецкій былъ въ этомъ родѣ. Это былъ студенческій Донъ-Кихоть, хотя и не высокій ростомъ, какъ Донъ-Кихоть, но такъ же, какъ онъ, истощенный, сухой, всегда серьезный и нахмуренный, въ крагенѣ, ботфортахъ, шапочкѣ на ма-

ковѣ; Кизирецкій таялъ только передъ дамами, сочинялъ имъ стихи и однажды издалъ цѣлую книжку своихъ стихотвореній съ посвященіемъ: „Rosen und Lilien, gewidmet von Kieserezky“.

Іоко являлся всегда въ траурѣ на улицахъ въ дни кончины Вашингтона и Боливара. На вопросъ, по комъ это надѣлъ трауръ, Іоко принималъ величественную позу, возводилъ глаза къ небу и торжественно провозглашалъ: „сегодня день кончины великаго сына свободы!“

Въ то время въ Дерптѣ не существовалъ еще 5-лѣтній срокъ для окончанія курса наукъ въ университетѣ, и я засталъ еще многихъ, такъ называемыхъ, *bemooste Häupter*, — сирѣчь, мхомъ обросшихъ головъ. Мнѣ показывали одного, сынъ крестный котораго оканчивалъ уже курсъ, а крестный папенька отца все еще числился между студентами.

Другого я зналъ, предобрѣйшую душу и вовсе не глупаго человѣка, вступившаго въ университетъ года за четыре до нашего прибытія въ Дерптъ и уѣхавшаго съ кучкою дѣтей; онъ держалъ уже у меня экзаменъ на лекаря, когда я поступилъ на профессорскую кафедру въ Дерптѣ. Между старыми студентами пользовался также извѣстностью и спецификъ-Шульцъ. Никогда я не видѣлъ человѣка болѣе похожаго на птицу, какъ Шульца-специфика: длинный, заостренный носъ, узкій черепъ, короткое туловище, длинная шея, длиннѣйшія, какъ шесты, ноги, походка журавлиная, студенческій костюмъ.

— Шульцъ! сколько вамъ лѣтъ? — былъ постоянный вопросъ знакомыхъ и незнакомыхъ.

— Тридцать-два года, если не считать четыре года, проведенные въ приготовленіи пилюль и порошковъ, — былъ постоянный отвѣтъ Шульца-специфика.

Бѣднѣйшій, — сидѣлъ-сидѣлъ, ходилъ-ходилъ по лекціямъ въ университетъ, да такъ и не кончилъ курса; черезъ 20 слишкомъ лѣтъ я встрѣтилъ его учителемъ нѣмецкаго языка въ одной школѣ кievскаго учебнаго округа.

Свободная провинціальная жизнь того времени и корпоративное устройство дерптскаго студенчества придавали ему особое значеніе. И университетское начальство, и городское общество сознавали это значеніе, и въ своихъ отношеніяхъ къ сту-

денчеству держали себя весьма осторожно, соблюдали деликатность въ обращеніи съ студентами и не допускали ни малѣйшихъ экивоковъ въ отношеніи къ чести и достоинству студенчества.

Даже трактирщики и купцы не позволяли себѣ большой требовательности въ уплатѣ долговъ, опасаясь студенческой анаеммы — *Verschiess'a*. Вѣроятно, незнакомый хорошо съ тѣмъ настроеніемъ или, просто, слишкомъ понадѣявшись на свою наглость, Оаддей Булгаринъ попалъ однажды въ большой просякъ. Булгаринъ владѣлъ возлѣ самаго города мызою (дачею) Карловомъ, и проживалъ тамъ по цѣлымъ мѣсяцамъ съ своею женою и знаменитою „тантою“. Я нерѣдко встрѣчалъ его у Мойера. Булгаринъ старался всюду проникнуть и со всѣми познакомиться, фрапируя каждого своею развязностью, походившею на наглость. Во время годовой ярмарки онъ ходилъ по лавкамъ заѣзжихъ петербургскихъ и московскихъ купцовъ, и когда они не уступали въ цѣнѣ, то грозилъ имъ во всеуслышаніе, что разругаетъ ихъ въ „Сѣверной Пчелѣ“.

Сошедшись въ первый разъ (это было въ моемъ присутствіи) съ какими-то нѣмцами, онъ увѣрялъ ихъ, что тѣ, чтѣ русскому здорово, нѣмцу смерть, и въ доказательство приводилъ примѣръ, какъ одинъ обѣвшійся солдатъ удивилъ нѣмцевъ въ Лейпцигѣ. Всѣ думали, что онъ помретъ, обѣвшись, и всѣ рты разинули отъ удивленія, когда онъ въ ихъ же присутствіи очистилъ свой желудокъ въ количествѣ, по объему и вѣсу никѣмъ изъ присутствовавшихъ невиданномъ и неслыханномъ.

Словомъ, Оаддей Венедиктовичъ и въ Дерптѣ не скрывалъ своего таланта. Однажды, за приглашеннымъ обѣдомъ у помѣщика Липгардта, въ присутствіи многихъ гостей и между прочими одного студента, Булгаринъ, подгулявъ, началъ подсмѣиваться надъ профессорами и университетскими порядками. Студентъ передалъ потомъ этотъ разговоръ, конфузившій его за обѣдомъ, своимъ товарищамъ. Поднялась буря въ стаканѣ воды. Начались корпоративныя совѣщанія о томъ, какъ защитить поруганное публично Оаддеемъ достоинство университета и студенчества. Порѣшили преподнести Булгарину въ Карловѣ кошачій концертъ. Слишкомъ 600 студентовъ съ горшками,

плошками, тазами и разною посудю потянулись процессіею изъ города въ Карлово, выстроились предъ домомъ и, прежде чѣмъ начать концертъ, послали депутатовъ къ Булгарину съ объясненіемъ всего дѣла и требованіемъ, чтобы онъ, во избѣжаніе непріятностей кошачьяго концерта, вышелъ къ студентамъ и извинился въ своемъ поступкѣ. Булгаринъ, какъ и слѣдовало ожидать отъ него, не на шутку струсиль, но, чтобы уже не совсѣмъ замарать польскій гѣдноръ, вышелъ къ студентамъ съ трубкою въ рукахъ и началъ говорить, не снимая папки, не поздоровавшись. „Mütze herunter! шапку долой!“ — послышалось изъ толпы.

Булгаринъ снялъ шапку, отложилъ трубку въ сторону и сталъ извиняться, увѣряя и клянясь, что онъ никакого намѣренія не имѣлъ унижить достоинство высокоуважаемаго имъ дерптскаго университета и студенчества.

Тѣмъ дѣло и кончилось; студенты разошлись, но по дорогѣ встрѣтили еще экипажъ Липгардта, окружили его и тоже потребовали объясненія, которое и было дано съ полною готовностью.

Начальство университета, т. - е. ректоръ (въ то время Парротъ), зная, что Булгаринъ и жандармскій полковникъ не смолчатъ, тотчасъ собралъ сеніоровъ корпорацій, потребовалъ объясненій, оказавшихся жожаками и распорядителями посадилъ въ карцеръ, и все дѣло уладилось безъ дальнѣйшихъ послѣдствій.

Да, корпоративное устройство студенчества—важное дѣло въ отношеніи порядка и благочинія. Въ этомъ я достаточно убѣдился въ бытность мою въ Дерптѣ учащимся и профессоромъ. Съ неорганизованною, безпорядочною и разношерстною толпою молодыхъ людей ничего не подѣлаешь. По - моему, просто безуміе со стороны начальниковъ разглагольствовать съ собравшеюся толпою студентовъ. Это значитъ вести и себя, и молодежь въ бѣду, безъ всякой пользы для общаго дѣла.

Учрежденіе корпорацій въ нашихъ русскихъ университетахъ, по образцу дерптскаго, конечно, немыслимо. Въ Дерптѣ, какъ и въ германскихъ университетахъ, корпоративное дѣло есть дѣло традиціонное. А у насъ нѣтъ для него почвы. Но,

тѣмъ не менѣе, пока въ нашихъ университетахъ не придумаютъ учредить, тѣмъ или другимъ способомъ, студенческаго представительства, правильно организованнаго,—пусть университетское начальство не рассчитываетъ на свое вліяніе и воздѣйствіе на учащуюся молодежь.

Тогда ничего не остается иного, какъ—начальство университета, профессора, ректоры сами по себѣ, а студенты—сами по себѣ, а для порядка и благочинія—городская полиція. Это неминуемо. Но нравственно-научное значеніе университета многое утратитъ. А мы, старые студенты, именно дорожимъ тѣми воспоминаніями, которыя, по прошествіи цѣлыхъ 50 лѣтъ, все еще связываютъ насъ съ прошлымъ университетскимъ житьемъ-бытьемъ. А воспоминанія эти дороги именно потому, что они не были бы для насъ такими, если бы мы не чувствовали могучаго и живучаго вліянія университета на весь нашъ внутренній бытъ, на все человѣческое въ насъ.

Университеты наши перестаютъ теперь быть университетами въ прежнемъ (и, я полагаю, настоящемъ) значеніи этого слова, сбитые съ толку политическимъ сумбуромъ. Но въ 1820-хъ и даже въ началѣ 1830-хъ годовъ студенчество въ Германіи и въ самомъ Дерптѣ не было чуждо политическихъ тенденцій. Правда, тенденціи того времени не были такія разрушительныя и радикальныя, какъ современныя. Tugendbund, прельщавшій и увлекавшій студентовъ, былъ нравственнымъ и національнымъ призывомъ къ прогрессу. Однако-же, послѣ Зандовскаго убійства, германскія власти не на шутку всполошились, и корпорація студентовъ—Burschenschaft—была сильно скомпрометтирована. Эта корпорація была строго-на-строго запрещена и въ Дерптѣ; существовала, однако-же, довольно явно. Всѣ эти политическія теоріи между студентами того времени, потребовавшія множество арестовъ, заключеній въ тюрьмахъ и даже крѣпостяхъ, не уничтожили корпорацій и не препятствовали имъ существовать. Правительство убѣдилось, что занятіе корпорацій своими студенческими нуждами, потребностями и злобою дня не только не было опасно, но даже отвлекало броженіе умовъ и приковывало ихъ къ интересамъ дня и дѣйствительности.

Я полагаю, что и въ наше время, если бы кому-нибудь

изъ излюбленныхъ ученыхъ людей удалось, при учрежденіи студенческаго представительства, положить въ основаніе его вопіющіе интересы, нужды и заботы студенческой труженической жизни, и этимъ внести въ представительство практическую, жизненную дѣятельность,—то большинство учащихся перестало бы бѣсноваться и бить лбомъ въ стѣну, теряя безвозвратно и непроизводительно для себя самое золотое время жизни.

Во время пребыванія моего въ Дерптѣ я сдѣлалъ двѣ поѣздки: одну въ Ревель, другую въ Москву.

Поѣздка въ Ревель съ товарищами Шиховскимъ и Котельниковымъ. Для чѣго? А такъ, здорово живешь. Вздумали и поѣхали.

Было лѣтнее, вакаціонное время и предпоследній годъ нашего пребыванія въ Дерптѣ. Случились также,—и это главное,—какъ-то случайно лишніе деньги.

Наняли Planwagen, т.-е. длинную телѣгу, крытую парусиною, съ входомъ и выходомъ сбоку. Въ Ревелѣ посмотрѣли на море, на Катериненталь, нѣсколько разъ выкупались въ морѣ и познакомились съ слѣдующими оригинальными личностями.

Во-первыхъ, съ учителемъ русскаго языка Бюргеромъ, бывшимъ студентомъ московскаго университета, приобрѣвшимъ себѣ громкую—и, увы! печальную—извѣстность у ревельцевъ своимъ эффектнымъ переходомъ изъ протестантства въ православіе. Это случилось подѣ благотѣльнымъ вліяніемъ Магницкаго, проживавшаго тогда (въ изгнаніи) въ Ревелѣ.

— „Бюргеръ,—разсказывали намъ ревельскіе нѣмцы,—шелъ по улицѣ, въ сопровожденіи толпы, въ православную церковь, надѣлъ на себя какую-то бѣлую сорочицу, привязалъ на шею себѣ веревку, плевалъ на западъ, и т. п.“—Весь церемоніаль выкопали откуда-то изъ-подъ спуда временъ.

Во-вторыхъ, познакомились у Бюргера съ другимъ русскимъ же учителемъ, изъ семинаристовъ, женившимся, съ годъ тому назадъ, на молоденькой, 15-лѣтней нѣмочкѣ, до того еще наивной, что послѣ свадьбы она не хотѣла ложиться спать съ мужемъ, а потомъ до того погрузилась въ наслажденія медоваго мѣсяца, что мужъ чуть не помѣшался.

Это любопытное происшествіе сообщилъ намъ, въ первый же день нашего знакомства, самъ супругъ.

Въ-третьихъ, насъ пригласили непременно посѣтить собраніе рѣдкостей какого-то стародавняго аптекаря, прославившагося въ Ревелѣ своими археологическими познаніями. Чего только ни собралъ въ своемъ музеѣ этотъ знаменитый ревельскій археологъ! Тутъ были, между древностями, и чучелы животныхъ, и анатомическіе препараты. Но всего интереснѣе показалась мнѣ бутылка съ невскою водою отъ петербургскаго наводненія 1824 года.

Въ-четвертыхъ, мы узнали или увидали и нѣсколькихъ нѣмецкихъ, ревельскихъ, оригиналовъ. Одинъ изъ нихъ, напри-мѣръ, замѣчательнъ былъ тѣмъ, что носилъ для поддержанія животной теплоты длинный кусокъ фланели только на спинѣ, основываясь на томъ, что и у свиней щетина растетъ преимущественно на хребтѣ, а не на брюхѣ.

Другой, вѣроятно, одержимый галлюцинаціей органа осязанія,—впрочемъ совершенно здоровый и свѣтскій человѣкъ,—преслѣдовалъ постоянно у себя вшей на тѣлѣ. Иногда онъ вскакивалъ со стула, бѣжалъ къ окну и встряхивался на улицѣ. Ему казалось, что вши гурьбою, безъ зазрѣнія совѣсти, ползаютъ по немъ.

Весьма интересною личностію въ Ревелѣ оказался также докторъ Винклеръ (и отецъ, и сынъ). Сынъ Винклера, тогда еще молодой человѣкъ, былъ уже оригиналенъ—въ отца. Такихъ онъ остался и на цѣлую жизнь. Онъ всегда вслухъ разсуждалъ самъ съ собою, не стѣсняясь присутствіемъ своихъ паціентовъ. Разспросивъ паціента о его болѣзни, докторъ, къ изумленію всѣхъ и cadaго, начиналъ вслухъ разсуждать съ собою о способѣ леченія. „Что же я долженъ вамъ прописать?“ разсуждаетъ докторъ вслухъ. „Если я вамъ дамъ теперь, примѣрно, камфору, то, пожалуй, бѣду наживу; а если пропишу, напротивъ, каломель, то, можетъ статься, еще и хуже будетъ. А? Не такъ ли, какъ вы думаете? Подождемъ-ка лучше, или постоитъ, попробуемъ-ка вотъ это средство, старинное; отецъ очень любилъ его“.

Паціенты знали особенности своего врача, любили, уважали его,—Винклеръ былъ, дѣйствительно, типъ честнѣйшаго

и добросовѣстнѣйшаго врача,—довѣряли и охотно лечились у него.

Весьма замѣчательна одна мистическая черта въ жизни доктора или, вѣрнѣе, всей его фамилии.

И отецъ, и—особливо—сынъ считали огонь непріязненною для нихъ стихіею. И старикъ, если я не ошибаюсь, и дѣдъ умерли отъ огня; но особливо огня боялся сынъ-докторъ. Я помню, съ какимъ душевнымъ волненіемъ онъ строилъ себѣ домъ въ Ревелѣ; первымъ дѣломъ считалъ онъ поставить на своемъ домѣ,—скорѣе, домикѣ,—громовые отводы; но, поспѣшивъ поставить ихъ нѣсколько, онъ не успѣлъ соединить ихъ съ землею, а тѣмъ временемъ поднялась гроза. Мой Винклеръ былъ внѣ себя отъ ужаса, ожидая ежеминутно разрушенія своего дома; все, однако-же, обошлось на этотъ разъ благополучно. Но Винклеру готовилось другое, болѣе сердечное горе. Отъ простуды или чего другого, Винклеръ почувствовалъ себя нездоровымъ и легъ въ постель, а на другой же день пригласилъ къ себѣ, на совѣщаніе, пріятеля д-ра Эренбуша (отъ него я и узналъ эту исторію).

— „Другъ!—обратился больной Винклеръ къ Эренбушу:—со мною происходитъ что-то неладное, неестественное“. Эти слова были сказаны таинственно, шопотомъ.

— Ну, что еще такое? дай пульсъ! Пульсъ ничего, спокойный, жара нѣтъ; что же тутъ неестественнаго?

— „Да не то. Слушай. Вотъ уже вторую ночь сряду я вижу во снѣ дьявола, и не только ночью, а и днемъ; лишь закрою глаза, онъ тотчасъ же мнѣ представляется“.

— Да какой же онъ, дьяволъ-то твой? — спрашивалъ Эренбушъ.

— „Ну, черная, страшная фигура, сидитъ въ огнѣ; но, главное, что меня тревожитъ, это то, что дьяволъ держитъ у себя на колѣняхъ моего младшаго ребенка“.

Эта галлюцинація длилась еще нѣсколько дней, потомъ прошла. Винклеръ началъ вызжаты и уже, казалось, забылъ случившееся. И вдругъ—ужасное событіе. Ребенокъ Винклера, видѣнный имъ на колѣняхъ у дьявола, обжегся, сидя у топившейся печки, на смерть; на немъ загорѣлась рубашка, и онъ прожилъ послѣ обжога только нѣсколько часовъ.

Возвращаясь изъ Ревеля въ Дерптъ, нашъ возница заѣхалъ по дорогѣ въ корчму. Не успѣлъ онъ войти въ корчму, какъ мы услышали русскую площадную ругань, крикъ и гвалтъ. Раскраснѣвшійся извозчикъ, — видимъ, — бѣжитъ къ намъ опрометью, а за нимъ гонится какой-то пьяный, босой и оборванный стрекулистъ; онъ подбѣгаетъ къ намъ, бормочетъ что-то несвязное и начинаетъ ругать и насъ.

— Да знаешь ли, — кричали мы, сидя въ планвагенѣ, — съ кѣмъ ты имѣешь дѣло?

— „Съ жидами“, — отвѣчаетъ стрекулистъ, и снова принимается за ругань.

— Въ полицію его представить, связать! Хозяинъ, давай сюда веревокъ! Ты видишь, онъ лѣзетъ на драку. Это безпаспортный прощальга, а можетъ и воръ.

— „Какъ! я—безпаспортный прощальга! А вотъ вамъ, чистайте, коль умѣете. Знайте-ка, кто я!“ — и вслѣдъ за этимъ къ намъ въ планвагенъ летитъ смятый и скомканный дипломъ московскаго университета на званіе дѣйствительнаго студента.

Мы узнаемъ земляка и бывшаго сотоварища по университету, казеннаго студента, отправленнаго потомъ въ Эстляндію уѣзднымъ учителемъ. Онъ былъ изъ семинаристовъ и спился на дешевой и крѣпкой картофельной, нѣмецкой, водкѣ. Послѣ этого открытія буянъ тотчасъ же стихъ, залился слезами и побѣжалъ въ корчму за водкою для угощенія земляковъ. Но мы поспѣшили уѣхать, не дожидаясь угощенія.

Такая печальная участь ожидала въ то время почти каждаго казеннаго учителя русскаго языка въ прибалтійскихъ провинціяхъ.

Потомъ, когда я былъ профессоромъ въ Дерптѣ, ко мнѣ не разъ являлись за пособіемъ бѣдствующіе русскіе учителя, безъ сапогъ и безъ заднихъ ногъ. Причина этого нерадостнаго явленія была та, что университетское начальство высылало въ прибалтійскія провинціи поскребки. Кто изъ казеннокоштныхъ плохо учился, кутилъ или пилъ горькую, и только изъ состраданія помилованъ, кое-какъ окончивъ курсъ, — тотъ посылался учителемъ въ Эстляндію или Лифляндію; а тутъ, незнакомый ни съ языкомъ, ни съ обычаями, непринятый нигдѣ въ обществѣ сверстниковъ, подвергаемый насмѣшкамъ и злымъ шут-

камъ отъ мальчиковъ-учениковъ, выдавшихъ его не разъ пьянымъ, злосчастный педагогъ окончательно спивался и бѣдствовалъ. Кромѣ позора русскому имени, русскіе учителя того времени ничего не вносили въ край, и русская грамота оставалась въ нѣмецкихъ и остзейскихъ школахъ дѣвственницею.

Заговоривъ о судьбахъ русскаго языка въ прибалтійскомъ краѣ, кстати скажу и объ отношеніяхъ нѣмецкаго элемента къ русскому, эстонскому и латышскому.

Въ первые годы моего пребыванія въ Дерптѣ нѣмцы и все нѣмецкое производили на меня какое-то удручающее впечатлѣніе. Мнѣ казались нѣмцы надутыми и натянутыми педагогами, свысока, недоброжелательно и съ презрѣніемъ относящимися ко всему русскому, а слѣдовательно и къ намъ. Они, скучные и бездарные учителя, — казалось мнѣ, — не могли возбудить въ насъ ни малѣйшаго сочувствія къ своей наукѣ. Напротивъ того, французы казались народомъ избраннымъ, даровитымъ, симпатичнымъ. Въ моемъ дневникѣ, который я велъ тогда, безпрестанно встрѣчались порою страстные лирическіе возгласы то противъ моего однокашника Иноземцева, то противъ нѣмецкихъ профессоровъ. Это предубѣжденіе мы, русскіе, выносили съ собою изъ дома и изъ нашихъ университетовъ. Наши отцы и учителя были такого же мнѣнія, какъ и мы, о нѣмцахъ и французахъ. И, надо сказать правду, нѣмецкая наука того времени, — между прочими, конечно, и врачебная, — была не очень привлекательна для молодого русскаго. Мы, не пріученные ни въ школахъ, ни въ университетахъ сосредоточивать вниманіе, слѣдить и заниматься самостоятельно и самостоятельно научными предметами, — мы, говорю, не могли сочувственно относиться къ длиннымъ, переполненнымъ вставками, періодамъ тогдашней нѣмецкой рѣчи. Все казалось съ перваго взгляда туманнымъ, сбивчивымъ, неяснымъ. То ли дѣло у француза — все ясно, чисто, гладко, наглядно. А тутъ еще такія имена, какъ Бишъ, Desault, Dupuytren. Пожалуй, вонъ, педагогъ нѣмецъ Эрдманъ и называетъ Bronssais мальчишскою въ сравненіи съ нѣмцемъ же Reil'емъ; да вѣдь это говорить нѣмецкая же зависть и тупоуміе.

Такъ думалось въ то время.

И остзейскіе нѣмцы своими отношеніями къ русскимъ во-

обще поддерживали антипатію, — не хотѣли знать ничего русскаго; покровительствуемые и отличаемыя правительствомъ, они и къ нему только тогда относились сочувственно, когда оно оказывало имъ явное предпочтеніе и соблюдало ихъ нѣмецкіе интересы.

Современныя натянутыя отношенія руссофиловъ къ нѣмцамъ берутъ свое начало съ того еще времени, когда прибалтійскій край пользовался особымъ почетомъ и предпочтеніемъ; и въ натянутости отношеній не мало виновата и безтактность остзейцевъ, искавшихъ только того, чтобы пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ, и не умѣвшихъ или не хотѣвшихъ искать сближенія съ русскою національностью.

Но кто отнесется, какъ опытъ и время меня научили относиться, безпристрастно и добросовѣстно къ обѣимъ сторонамъ, тотъ, я полагаю, отдастъ, вмѣстѣ со мною, полную справедливость многимъ прекраснымъ, высокимъ и образцовымъ свойствамъ германскаго духа и германской науки.

Вѣдь не можемъ мы, въ самомъ дѣлѣ, винить націю, — и націю, очевидно, даровитую и высоко-культурную, — что она предпочитаетъ и старается предпочитать свое — чужому. Когда свое дѣйствительно и существенно хорошо, то вопросъ: насколько лучше его чужое — трудно рѣшить. Мы не должны судить по себѣ. Намъ не трудно быть безпристрастными къ чужому. У насъ свое дѣйствительно и существенно хорошее — рѣдкая птица; правда, рѣдкую птицу тоже нелегко оцѣнить безпристрастно, но рѣдко встрѣчающаяся оцѣнка не вредитъ обиходному безпристрастію.

И мы, по крайней мѣрѣ нашъ культурный слой, вообще, къ своему русскому не пристрастены. Но и нашъ культурный слой не безпристрастно сравниваетъ одно чужое съ другимъ чужимъ.

Французамъ, напримѣръ, мы отдаемъ преимущество, какъ я убѣдился на собственномъ опытѣ, вовсе не сознательно.

Еще съ прошедшаго столѣтія французскій языкъ вошелъ у насъ въ моду, сдѣлался вывѣскою образованія, хорошаго тона; онъ открываетъ входъ и къ сильному міра. Столица Франціи считается столицею европейскаго міра; французы — народъ обходительный, ловкій, веселый, остроумный, и пр. и пр.

все въ этомъ родѣ. Но, прослѣдивъ себя и французовъ глубже, русскому культурному человѣку — я полагаю — можно бы было убѣдиться, что складъ русскаго ума имѣетъ мало общаго съ французскимъ складомъ и скорѣе склоняется на сторону германскаго. Недаромъ изъ славянъ вышло не мало цѣльныхъ ученыхъ въ нѣмецкомъ духѣ.

Я думаю даже, что мы именно потому и менѣе сочувствуемъ нѣмцамъ, что съ ними сходимся по обычаямъ, образу жизни въ холодныхъ странахъ. И развѣ духъ германской поэзіи не болѣе сроденъ духу нашей, чѣмъ французской?

И вотъ, чѣмъ долѣе я оставался въ Дерптѣ, чѣмъ болѣе знакомился съ нѣмцами и духомъ германской науки, тѣмъ болѣе учился уважать и цѣнить ихъ. Я остался русскимъ въ душѣ, сохранивъ и хорошія, и худыя свойства моей національности, но съ нѣмцами и съ культурнымъ духомъ нѣмецкой націи остался навсегда связаннымъ узами уваженія и благодарности, безъ всякаго пристрастія къ тому, чтѣ въ нѣмцѣ дѣйствительно нестерпимо для русскаго, а можетъ быть и вообще для славянина. Непріязненный, нерѣдко высокомерный, иногда презрительный, а иногда завистливый взглядъ нѣмца на Россію и русскихъ и пристрастіе ко всему своему нѣмецкому мнѣ не сдѣлались пріятнѣе, но я научился смотрѣть на этотъ взглядъ равнодушнѣе и, нисколько не оправдывая его въ цѣломъ, научился принимать къ свѣдѣнію, не сердясь и безъ всякаго раздраженія, справедливую сторону этого взгляда. — Перейду къ фактамъ.

Въ 1830-хъ годахъ прибалтійскіе дворяне, а съ ними и все культурное остзейское общество, очень гордились свободою своихъ крестьянъ.

— „У васъ тамъ, въ Россіи, есть еще крѣпостные, — хвастались нѣкоторые студенты, — а у насъ уже ихъ давно нѣтъ. У насъ всѣ свободны; это потому, что нашъ край — голова Россіи“.

— „Кто это, господа, выдумалъ, — слыхалъ я также въ Дерптѣ, — что будто бы русское правительство заложило остзейскія провинціи у заграничныхъ банкировъ? Какая нелѣпость!

Закладываютъ имѣнія, земли, но гдѣ слыхано, чтобы кто закладывалъ свою голову и свои глаза!“

Гораздо остроумнѣе и справедливѣе, хотя и не менѣе печальный для русскаго самолюбія, отвѣтъ Мойера Ѳаддею Булгарину—по слѣдующему случаю:

Ѳаддей Венедиктовичъ, по обыкновенію, подгулявъ здорово за однимъ обѣдомъ у дерптскаго помѣщика, началъ молоть вздоръ безъ всякаго соображенія и такта.

— „Вотъ постоитъ,—кричалъ онъ:—еще увидите, что русскія знамена будутъ развѣваться на берегахъ Рейна!“

Всѣ взбуторажились. „Какъ! Чтѣ? Да это уже слишкомъ нагло!“ Шумъ, крикъ. Булгаринъ радъ-радешенекъ, что ему удалось разозлить нѣмцевъ. Когда шумъ немного стихъ, Мойеръ, присутствовавшій на обѣдѣ и считавшійся, по своему родству и близкому знакомству съ русскими, какъ бы полу-русскимъ,—вдругъ обращается тихо и спокойно къ шумѣвшимъ и къ Булгарину.

— „Что же, господа, это дѣйствительно возможно: русская армія можетъ завоевать Рейнъ; а знаете ли, Ѳаддей Венедиктовичъ, чтѣ потомъ будетъ?“—обратился Мойеръ къ Булгарину.

Ѳаддей Венедиктовичъ уже радовался, что нашелъ въ Мойерѣ еще подпору,—нѣсколько замаялся.

— „Хотите, я вамъ скажу?—продолжалъ Мойеръ:—будетъ то, что виноградныя лозы на Рейнѣ выдернуть, а на мѣсто ихъ посадятъ лукъ“.

Не правда ли, что мѣтко? И всякій безпристрастный русскій скажетъ, что вѣрно. Глупое, заносчивое, а главное, поддѣльное самохвалство упившагося Ѳаддея не могло быть лучше отдѣлано.

Въ другой разъ Мойеръ защитилъ русское правительство противъ нѣмецкаго-либерализма.

Французская революція 1830-го года вскружила и нѣмцамъ голову, и вотъ одинъ изъ нихъ, въ гостяхъ у Мойера, новопріѣзжій, началъ восхвалять новое французское правительство на счетъ Россіи.

— „Чтѣ вы мнѣ толкуете!—воскликнулъ Мойеръ:—я всегда предпочту быть съѣденнымъ лучше львомъ, чѣмъ искусаннымъ до смерти кучею муравьевъ“.

Дѣйствительно, Мойеръ любилъ и уважалъ новаго государя (Николая Павловича). „Александръ I-й былъ похожъ на французскаго маркиза, по словамъ Моейра,—а Николай—это настоящій государь, какъ надо быть“.

Въ бытность свою въ Петербургѣ Мойеръ съ восхищеніемъ рассказывалъ мнѣ про извозчика, на которомъ онъ куда-то ѣхалъ.

„Вдругъ вижу,—говорилъ Мойеръ,—что мой извозчикъ снялъ шапку и ѣдетъ съ открытою головою.

— Что ты?—спрашиваю его.

— „А тамотко онъ самъ проѣхалъ, онъ самъ!“

— Вотъ такъ отвѣтъ; лучшаго имени государю не придумаешь!“

Но какъ ни хвастались предъ нами прибалтійскіе культурные люди 1830-хъ годовъ свободою своихъ крестьянъ, видно было, что это дѣло свободы не совсѣмъ ладное. Нищету сельскаго люда нельзя было скрыть; да и помѣщики не очень блаженствовали, и имѣнія то-и-дѣло переходили въ руки арендаторовъ (напоминавшихъ мнѣ съ виду польскихъ арендаторовъ юго-западнаго края). Причину приписывали тупости и идиотизму эстонскаго мужика. Не знаю, какъ теперь, но въ то время было въ ходу множество рассказовъ о врожденной тупости и ограниченности эстовъ. Передавали, напримѣръ, за достовѣрный фактъ, что одинъ крестьянинъ, слыхавшій о томъ, что можно деньги класть въ ростъ и получать годовые проценты, закопалъ скопленные имъ сто рублей въ землю на цѣлый годъ; по прошествіи этого времени, вынувъ ихъ опять и сосчитавъ нѣсколько разъ, этотъ предприимчивый эстъ бѣжитъ къ сельскому судѣ, реветъ и жалуется, что его обокрали.

— Да что же и сколько у тебя украли?—спрашиваетъ судья.

— „А я знаю,—отвѣчаетъ эстъ,—я знаю только, что я закопалъ сто рублей“.

— Ну, а сколько же опять вынулъ?—спрашиваютъ его.

— „Да опять только сто“.

— Такъ на что же и на кого ты жалуешься?

— „Да отложенныя деньги, меня увѣрили, должны расти

и прибавляться, а почему же мои цѣлый годъ пролежали и ничего не выросли?“

Неумѣные эстовъ считать и легко соображать, дѣйствительно, бросалось въ глаза.

Яйца, раки и т. п. покупались у крестьянъ на рынкѣ не иначе, какъ отсчитывая за каждую штуку по одной мѣдной монетѣ. Куплены яйца по копѣйкѣ за штуку: покупатель беретъ одно яйцо и кладетъ копѣйку, беретъ потомъ другое и опять выкладываетъ копѣйку. Это я и самъ видѣлъ.

Въ клиникѣ встрѣчались также презабавныя *qui pro quo*, свидѣтельствовавшія не въ пользу эстонской сообразительности.

Отпущенныя больнымъ крестьянамъ лекарства весьма нерѣдко перемѣнялись, такъ что наружныя употреблялись внутрь и внутреннія—снаружи. Рассказывали даже презабавную исторію о лечебномъ дѣйствіи аптекарскихъ пробокъ на чухонцевъ. Одинъ больной крестьянинъ получилъ изъ клинической аптеки какое-то лекарство и послѣ того не являлся. Черезъ мѣсяцъ онъ приходитъ опять въ клинику и проситъ того же самаго лекарства, по его словамъ, какъ рукою снявшаго болѣзнь; а такъ какъ она опять воротилась, то онъ и пришелъ опять попросить цѣлебнаго снадобья. Справились въ клиническихъ книгахъ, въ аптекѣ, у практикантовъ, наконецъ у самаго аптекаря, который хорошо помнилъ больного, и лекарство отпустили. Крестьянинъ послѣ этого является въ клинику опять и увѣряетъ, что лекарство отпущено ему не то, не прежнее, сразу его вылечившее; ему отпускаютъ опять то же лекарство, но въ усиленномъ приѣмѣ. Все не помогаетъ.

— Да дайте мнѣ, ради Христа, то, что я съѣлъ въ первомъ лекарствѣ!—проситъ больной, кланяясь низко.

— „Какъ съѣлъ? да вѣдь лекарство было жидкое!“

— Правда, что жидкое,—былъ отвѣтъ;—да въ жидкомъ-то плавали какіе-то корешки; вотъ они-то самые мнѣ и помогли, когда я ихъ съѣлъ.

— „Что за притча!“

Рассказъ больного заинтересовалъ клиницистовъ; началось разслѣдованіе. Наконецъ, аптекарь догадался, въ чемъ дѣло, и сначала какъ-то мялся и что-то скрывалъ, но потомъ не выдержалъ и признался, что у него было нѣсколько старыхъ

большихъ склянокъ съ оставшимися въ нихъ пробками. Вотъ въ одну-то изъ такихъ склянокъ и было налито лекарство, надѣлавшее столько шуму.

Не свидѣтельствуемъ въ пользу чухонскаго остроумія и колокольчикъ отъ дуги, хранившійся въ мое время въ клиническомъ кабинетѣ и вытасченный Мойеромъ изъ заднепроходной кишки эстонца. Онъ страдалъ запоромъ и, вмѣсто того, чтобы способствовать выходу задержаннаго наружу, попалъ на мысль — забить еще клинъ снаружи. Колокольчикъ ушелъ глубоко и не безъ труда былъ извлеченъ черезъ нѣсколько дней.

Но, разумѣется, всѣ эти свидѣтельства чухонскаго тупоумія не доказывали еще, что тупоуміе и есть главная причина нищеты сельскаго люда. Во-первыхъ, уже потому — нѣтъ, что эстъ, несмотря на свою неразвитость, не лѣнивъ, настойчивъ и терпѣливъ; это могъ каждый изъ насъ замѣтить, вышедъ въ поле и наблюдая, съ какимъ настойчивымъ трудомъ надо было орать пахарю на почвѣ, усѣянной валунами. Потомъ, прибалтійскій край населенъ не одними эстами; а другое его населеніе — латы, латыши — уже не похожи на чухонъ. Недаромъ языкъ латыша весьма близокъ къ санскритскому; латышъ гораздо ближе и къ славянскому племени. Его нѣтъ не назовешь идіотомъ.

Съ перваго же дня нашего приѣзда въ Дерптъ, къ намъ нанялись въ служеніе пара супруговъ; мужъ — эстъ, жена — латышка. Мужъ, Іоганнъ, типъ чухонства, — нерасторопный, тяжелый, непонятливый, впрочемъ, очень честный и работащій, — годился бы собственно для ношенія однихъ тяжестей; онъ былъ сильный, коренастый парень. Смѣшонъ до крайности своею неповоротливостью и свойственною всѣмъ эстамъ невозможностью произносить букву *c* передъ *t*: стаканъ выходитъ „такантъ“; Stiefel — „Tiefel“. Совершенно другое существо была жена Іоганна, латышка Лена: подвижная, всегда чѣмъ-нибудь занятая, чистоплотная, аккуратная, всегда въ чистомъ бѣломъ чепцѣ и фартукѣ, Лена могла вездѣ успѣть и всюду поспѣть въ два раза скорѣе своего мужа; зная хорошо по-нѣмецки, она говорила за мужа; знала хорошо считать и читать. Лена была пѣтистка, и утреннее время по праздникамъ проводила въ молитвенномъ домѣ, въ чтеніи и пѣніи псалмовъ; иногда же, оставаясь одна

въ комнатѣ, она пѣла вполголоса молитвы. Лена служила мнѣ цѣлыхъ десять лѣтъ; пять лѣтъ служила мнѣ и Иноземцеву, когда мы жили вмѣстѣ въ клиникѣ, и пять лѣтъ — когда я былъ профессоромъ въ Дерптѣ; тогда на ней одной лежало все мое домашнее хозяйство, — другого слуги у меня не было; даже и тогда (правда, очень рѣдко), когда собирались у меня на профессорскій вечеръ, Лена успѣвала всегда и вездѣ одна. Ни разу не было ни пропажи, ни потери; никогда я не ссорился съ Леною, и ни я ей, ни она мнѣ ни однажды не сказали ни одного грубаго слова. Когда она служила намъ вмѣстѣ съ Иноземцевымъ, то надо было удивляться ея такту и находчивости въ присутствіи молодыхъ людей, собиравшихся нерѣдко у Иноземцева и позволявшихъ себѣ говорить разныя нескромности. Лена, прислуживая, дѣлала такъ, какъ будто не слышитъ и не обращаетъ никакого вниманія; если же кто заходилъ слишкомъ далеко, обращаясь къ ней прямо съ болтовнею, того она такъ ловко и учтиво обрѣзывала, что онъ тотчасъ же прикусывалъ языкъ.

Для меня всегда были замѣчательны отношенія эстовъ и летовъ къ нѣмецкому культурному слою. Какъ только эстъ или леть дѣлался горожаниномъ, ремесленникомъ, школьникомъ городского училища, онъ превращался или старался превратиться въ чистокровнаго нѣмца. И сколько уже дѣльныхъ и талантливыхъ врачей и мастеровъ съ нѣмецкими и не-нѣмецкими именами перешло изъ эстовъ и летовъ въ нѣмецкую интеллигенцію!

Многіе изъ перешедшихъ, въ мое время, забыли и старались хорошо забыть свое происхожденіе, скрывая его или относясь къ своему народу свысока. Теперь, кажется, обнаруживается нѣкоторая реакція. Я же слыхалъ только отъ прислуги о розни между господами и народомъ. Лена сказывала мнѣ, что крестьяне не долюбиваютъ саксовъ (господъ); но о себѣ она умалчивала, относя себя уже къ другому, болѣе культурному слою.

Ненависть или, по крайней мѣрѣ, непріязнь сельскаго люда къ ихъ саксамъ начала проявляться къ концу 1830-хъ годовъ, преимущественно во время голодовки, и тогда же слышнѣе заговорили и о недостаткахъ, пробѣлахъ и промахахъ въ аграр-

номъ дѣлѣ. Русскіе, знакомые съ устройствомъ сельскаго люда въ прибалтійскомъ краѣ, заговорили первые, что нищета и недовольство зависятъ не отъ лѣности и тупоумія народа, а отъ того, что его обезземелили при эманципаціи. Это такъ; но наши народолюбцы забыли, и теперь еще забываютъ, что за 60 и болѣе лѣтъ тому назадъ у насъ иначе и невозможно бы было освободить крестьянъ отъ крѣпостной кабалы, какъ оставивъ всю землю за помѣщиками. Крѣпостники и крѣпостничество того времени были не чета нынѣшнимъ.

Въ Лифляндіи я слыхалъ отъ старожиловъ, что Александръ I, освободивъ крестьянъ въ прибалтійскомъ краѣ, хотѣлъ-было испробовать эту мѣру и въ сосѣдней псковской губерніи; но по пріѣздѣ въ эту губернію былъ предувѣдомленъ рижскимъ генералъ-губернаторомъ Паулуччи о заговорѣ противъ жизни императора; собирались, будто бы, отравить его ядомъ.

Заговоръ устрасилъ, будто бы, императора, и намѣреніе эманципировать псковскихъ крестьянъ было оставлено.

Какими бы ни были отношенія крестьянъ къ интеллигенціи прибалтійскаго края въ началѣ и срединѣ 1830-хъ годовъ, тѣ вѣрно, что ни крестьяне, ни горожане, ни интеллигенція остзейскихъ провинцій въ то время не питали расположенія и симпатіи ни къ чему русскому. По-эстонски русскіе и татары имѣли одно и то же названіе; русскій языкъ въ школахъ былъ въ пренебреженіи, и имъ,—конечно, по винѣ самого правительства,—никто не занимался; русское общество, и безъ того малочисленное, оставалось совершенно изолированнымъ. Только нашъ профессорскій институтъ какъ будто намекалъ на нѣкоторую связь прибалтійской интеллигенціи съ нашею отечественною. Край управлялся своими провинціальными законами, ландтагами, ландратами и т. п. Даже деньги были провинціальныя, *suī generis*, кожаныя и картонныя. Намъ выдавали жалованье изъ уѣзднаго казначейства пачками кожаныхъ и картонныхъ четырехугольныхъ листковъ, величиною въ обыкновенныя визитныя карточки.

Не знаю, кто—городскія или губернскія власти и общества имѣли право выпускать эту монету; но она не была выше 2-хъ рублей (четвертаковъ) и ниже 50-ти копѣекъ (ассигн.)

Не мудрено, что о русских законах и русском правосудіи имѣлось въ краѣ весьма нелестное понятіе.

Мойеръ, проходя однажды со мною по улицѣ, увидалъ чухонца, колотившаго напропалую палкою свою лошаденку; она застряла въ грязи съ возомъ дровъ. Смотрю—мой Мойеръ, всегда спокойный и разумный, вдругъ бросается на мужика и даетъ ему нѣсколько подзатыльниковъ, что-то крича по-чухонски и, очевидно, заступаясь за несчастную лошадь. Я стою на троттуарѣ и смотрю съ удивленіемъ на эту неожиданную сцену.

Мойеръ, возвратившись ко мнѣ, говоритъ: „So ist mit Gerechtigkeit in Russland!“ (Можно безнаказанно драться на улицѣ).

„Значить,—подумалъ я,—по-твоему, не тотъ виновать, кто человекъ бьетъ за лошадь, а тотъ, кто этого не допустить не въ силахъ“.

— „Herr Doktor Wachter, Sie sind dummer, als die russischen Gesetze dieses erlauben“,—говорилъ на своихъ лекціяхъ другой профессоръ.

Это былъ оригиналъ, закоренѣлый нѣмецъ, остроумный и даровитый, съ необыкновенною памятью (онъ наизусть почти зналъ „Оберона“ Виланда), но горькій пьяница, профессоръ анатоміи Цихоріусъ, старый холостякъ, день и ночь сидѣвшій у себя въ домѣ съ закрытыми ставнями. День и ночь горѣла свѣча. Въмѣсто мебели сложены были въ комнатахъ груды порожнихъ бутылокъ. Вотъ этотъ геній и находилъ, что его профессоръ, австріецъ д-ръ Вахтеръ, превзошелъ ту степень глупости, которая допускается русскими законами.

А д-ръ Вахтеръ отвѣчаетъ ему:

— „Herr Hofrath, ich kenne die russischen Gesetze nicht“.

Вотъ какъ жили при Аскольдѣ наши дѣды и отцы!

Уже встати о д-рѣ Вахтерѣ. Онъ былъ моимъ пріятелемъ, насколько 50 — 60-лѣтній, стараго покроя, австрійскій подданный могъ быть пріятелемъ русскаго юноши, искавшаго прогресса чутѣмъ.

И послѣ, когда я сдѣлался профессоромъ въ Дерптѣ, я былъ единственный изъ профессоровъ, котораго навѣщалъ и

съ которымъ знакомъ былъ д-ръ Вахтеръ. Какъ кажется, именно австрійское Вахтера происхождение и католическое вѣроисповѣданіе и были мотивами нашего сближенія. Протестанты, сѣверяне, доктринеры—смотрѣли свысока на австрійскаго лекаря-католика, не учившагося въ нѣмецкомъ университетѣ. „Isti propheti“,—называлъ онъ ихъ мнѣ на своемъ латинскомъ діалектѣ, завидѣвъ гдѣ-нибудь профессора.

Д-ръ Вахтеръ, послѣ отставки Цихоріуса, читалъ анатомію по найму и былъ, дѣйствительно, чудакъ не малой руки. Онъ выстроилъ себѣ какой-то невиданной архитектуры домъ, похожій на восточные дома, съ плоскою крышею, углубленный въ землю, одноэтажный, кирпичный, окнами только на дворъ, а съ улицы представлявшійся проходящимъ низкою и глухою кирпичною стѣнкою. Въ этомъ жилищѣ д-ръ Вахтеръ обиталъ съ своею небольшою семьею; вставалъ очень рано, пилъ вмѣсто кофе и чая водку, закусывалъ ячменною кашею, бралъ въ зубы спичку вмѣсто сигары и отправлялся въ анатомическій театръ, гдѣ одинъ, безъ помощниковъ, препарировалъ и читалъ лекціи громко и внятно, шокируя и смѣша слушателей своимъ австрійскимъ діалектомъ. Со мною, гдѣ и какъ только можно, Вахтеръ говорилъ по-латыни, отпуская при каждомъ удобномъ случаѣ какой-нибудь латинскій экспромптъ. Увидитъ ли докторъ гдѣ-нибудь собравшихся на улицѣ бабъ, онъ непременно скажетъ мнѣ:

Quando conveniunt
Catherina, Rosina, Sybilla
Sermonem faciunt
Et de hoc, et de hoc, et de illa.

Д-ръ Вахтеръ былъ и анатомъ, и врачъ-практикъ; дѣлалъ операціи, на которыхъ я ему обыкновенно ассистировалъ; лечилъ, большею частію, въ домахъ вѣнцовъ, ремесленниковъ низшаго разряда.

Студенты пускали въ ходъ множество забавныхъ анекдотовъ изъ практики д-ра Вахтера. Какъ онъ, напримѣръ, увѣрялъ своего больного, что у него солитеръ сталъ поперекъ кишки, а прописанное лекарство непременно поворотитъ глисту и распрямитъ ее въ длину.

Но лекарствъ изъ аптеки д-ръ Вахтеръ не любилъ пропи-

сывать и предпочиталъ имъ, гдѣ только можно, домашнія; изъ нихъ любимымъ для д-ра былъ ромашковый чай. Разсказываютъ, что, позванный однажды ночью къ трудно-больному, д-ръ Вахтеръ идетъ прямо къ постели, стоявшей во мракѣ, и прямо даетъ больному свой обыкновенный совѣтъ: „Trinken Sie mal Camomillenthee, es wird schon gut werden“, — а затѣмъ щупаетъ пульсъ и, не нашедъ его на похолодѣвшей уже рукѣ, спокойно извиняется:

— „Ah, so! Verzeihen Sie, Sie sind schon todt“.

Таковъ былъ Вахтеръ. Но пусть вѣрятъ или не вѣрятъ мнѣ, а я полагаю, что онъ, Вахтеръ, принесъ мнѣ своими анатомическими демонстраціями пользы не менѣе знаменитаго Лодера. Не мало изъ слышанныхъ мною въ нѣмецкихъ и французскихъ университетахъ частныхъ лекцій (*privatissima*) не принесли мнѣ столько пользы, какъ *privatissimum* у Вахтера, въ первый же семестръ моего пребыванія въ Дерптѣ. Вахтеръ прочелъ мнѣ одному только вкратцѣ весь курсъ анатоміи на свѣжихъ трупахъ и спиртовыхъ препаратахъ. Съ тѣхъ поръ мы и стали пріятелями.

Я уже сказалъ, что нѣмцы въ Дерптѣ, въ первое время моего пребыванія, за исключеніемъ, можетъ быть, одного только Мойера, произвели отталкивающее впечатлѣніе. И прежде чѣмъ время, опытъ и разсудокъ успѣли измѣнить мой ошибочный и пристрастный взглядъ, неожиданный случай указалъ мнѣ на личность, совершенно непохожую на другихъ и сразу же оказавшую на меня привлекательное дѣйствіе.

Въ Дерптѣ жилъ въ то время богатый лифляндскій помѣщикъ Липгардтъ. Сынъ его — молодой Карлъ von Liphardt, получилъ домашнее и, что важно, вовсе не нѣмецкое образованіе; — онъ учился у швейцарца. По смерти дѣда, Карлъ Липгардтъ получилъ значительное наслѣдство и, сдѣлавшись самостоятельнымъ, захотѣлъ усовершенствовать свое образованіе университетомъ, но приватно и не поступая въ университетъ студентомъ. Съ этою цѣлью онъ обратился прежде всего къ профессору математики Бартельсу. Математика интересовала Липгардта, и онъ ею прилежно занимался. Бартельсъ, очень занятый высшею математикою, сначала не повѣрилъ, чтобы молодой человѣкъ домашняго воспитанія былъ въ состояніи

понимать уроки Бартельса изъ высшей математики, и, чтобы доказать это молокососу, задалъ ему для пробы какую-то хитросплетенную задачу. Липгардтъ тихо и скромно принялся, въ присутствіи же Бартельса, за рѣшеніе. Профессоръ изумился. У него и студенты, оканчивающіе курсъ, не рѣшали такъ своеобразно, какъ это сдѣлалъ Липгардтъ.

— „Молодой человѣкъ, — сказалъ тогда Бартельсъ: — я вижу, у васъ есть талантъ; приходите, я охотно буду давать вамъ уроки“.

Но талантъ Карла Липгардта былъ не односторонній; его начинала интересовать не одна математика; онъ скоро явился и въ анатомическій театръ, таща съ собою анатомическій атласъ F. Cloquet (тогда самый новый и самый лучшій). Тутъ-то и было наше первое свиданіе. К. Липгардтъ принялся съ юношескимъ пыломъ за анатомію. Препарированіе на трупахъ, чтеніе Бишэ, лекціи — заняли все время. Вотъ тогда-то и Мойеръ, познакомившись съ Липгардтомъ, къ удивленію его прежнихъ слушателей, принялъ дѣятельное участіе въ нашихъ работахъ.

Я не зналъ въ жизни ни одного человѣка, имѣвшаго такъ много разнообразныхъ научныхъ и притомъ глубокихъ свѣдѣній, какъ Карлъ Липгардтъ. Старіеъ профессоръ Эрдманъ имѣлъ тоже весьма многостороннее образованіе, говорилъ полатыни какъ Цицеронъ, былъ хорошій ботаникъ и физикъ; рассказывали, что онъ ежегодно проходилъ у себя и для себя курсъ медицинскихъ и естественныхъ наукъ; но знанія Эрдмана относились все-таки къ одной категоріи наукъ, тогда какъ молодой Липгардтъ, бывъ математикомъ и имѣвъ, по свидѣтельству профессора Бартельса, замѣчательный математическій талантъ, съ такимъ же успѣхомъ занимался анатоміею, фізіологіею и хирургіею. Въ Берлинѣ Липгардтъ очень сблизился съ Іоганномъ Мюллеромъ, въ Дерптѣ и Кенигсбергѣ — съ профессоромъ Ратке, и въ то же самое время предавался изученію изящныхъ художествъ: живописи и скульптуры; потомъ, уѣхавъ въ Италію, посвятилъ цѣлыя годы изученію этихъ предметовъ, а возвратясь въ Дерптъ, началъ заниматься, какъ мнѣ сказывали, изученіемъ теологіи и древностей. Въ послѣдній разъ я увидѣлъ моего стараго пріятеля, не менѣе меня поста-

рѣвшаго, въ Штутгартѣ, его интересовало тогда изученіе средневѣковыхъ готическихъ зданій, и онъ мнѣ съ восторгомъ указывалъ на нѣкоторые изъ нихъ въ Штутгартѣ. За политикою Липгартъ слѣдилъ неустанно, еще учась съ нами въ Дерптѣ.

Во всемъ прибалтійскомъ краѣ никто не имѣлъ такой огромной и многосторонней библіотеки и такого собранія картинъ, гравюръ, статуй и слѣпковъ, какъ Липгартъ. При всемъ этомъ—ни малѣйшаго педантства и чрезвычайная скромность. Мнѣ казалось только, что женитьба на католичкѣ въ Боннѣ нѣсколько измѣнила его міровоззрѣніе.

Я остановился въ моемъ дневникѣ на Липгартѣ въ особенности потому, что изъ знакомыхъ мнѣ людей Карлъ Липгартъ всѣхъ болѣе доказалъ мнѣ, какъ различны между собою двѣ способности человѣческаго духа: ёмкость ума и его производительность (*Capacität und Productivität*); отъ первой зависитъ способность приобрѣтать самыя разностороннія свѣдѣнія, отъ второй — способность извлекать изъ приобрѣтенныхъ свѣдѣній нѣчто свое самодѣльное и самостоятельное.

Количество и разнообразіе знаній весьма вліяютъ на произведеніе, но не на самую производительность.

Ёмкость и производительность не находятся въ прямомъ отношеніи. Не свѣдѣнія, не знанія, приобрѣтенныя ёмкостью ума, а какая-то, не каждому уму свойственная, *vis a tergo* толкаетъ его къ новой работѣ, извлеченію этого чего-то, своего, изъ запаса знаній. Такъ Липгартъ былъ несравненно образованнѣе и по ёмкости ума гораздо умнѣ меня, умнѣ и многихъ ученыхъ, способствовавшихъ ему приобрѣтать многостороннія знанія; но Липгарту недоставало этой самой *vis a tergo*. Люди съ умами этой категоріи рождаются для умственныхъ наслажденій приобрѣтаемыми такъ легко для нихъ богатствами свѣдѣній; но уму, кромѣ огромной ёмкости, необходима еще и большая производительная сила, чтобы сдѣлаться Гумбольдтовскимъ.

Моя первая поѣздка изъ Дерпта въ Москву была задумана уже давно. Въмѣсто двухъ лѣтъ я уже пробылъ четыре года въ Дерптѣ; предстояла еще поѣздка за границу,—еще два года; а

старушка-мать, между тѣмъ, слабѣла, хирѣла, нуждалась и ждала съ нетерпѣніемъ. Я утѣшалъ, общалъ въ письмахъ скорое свиданіе, а время все шло да шло. Нельзя сказать, чтобы я писалъ рѣдко. У матушки долго хранился цѣлый пукъ моихъ писемъ того времени. Денегъ я не могъ посылать, — собственно, по совѣсти, могъ бы и долженъ бы былъ высылать. Квартира и отопленіе были казенныя; столъ готовый, платье въ Дерптѣ было не дорогое и прочное. Но тутъ явилась на сцену борьба благодарности и сыновняго долга съ любознательностію и любовью въ наукѣ. Почти все жалованье я расходовалъ на покупку книгъ и опыты надъ животными; а книги, особливо французскія, да еще съ атласами, стоили не дешево; покупка и содержаніе собакъ и телятъ сильно били по карману. Но если по тогдашнему моему образу мыслей я обязанъ былъ жертвовать всѣмъ для науки и знанія, а потому и оставлять мою старушку и сестеръ безъ матеріальной помощи, то зато ничего не стоившія мнѣ письма были исполнены юношескаго лиризма.

Тотчасъ же по приѣздѣ въ Дерптъ, подъ вліяніемъ совершенно новыхъ для меня путевыхъ впечатлѣній, я распространился въ моихъ письмахъ въ описаніи красотъ природы, въ первый разъ видѣннаго моря, Нарвскаго водопада, освѣщеннаго луною, прогулокъ въ лодкѣ по Финскому заливу, характеристики моихъ новыхъ товарищей, произведенныхъ уже мною въ званіе друзей, и т. п. Помню, что не забылъ при этомъ тогда же отправить и письмецо туда, гдѣ молодое сердце въ первый разъ зашевелилось при взглядѣ на улыбавшіеся женскіе глаза. Какъ же было не написать и не напомнить о себѣ, о послѣднемъ прощальномъ днѣ, когда я явился въ кандидатскомъ мундирѣ, при шпагѣ, и по моей просьбѣ былъ спѣтъ романсъ:

*Vous allez à la gloire,
Mon triste cœur suivra vos pas;
Allez, volez au temple de mémoire,
Suivez l'honneur, mais ne m'oubliez pas...*

Тотъ, къ кому относилось это: „vous allez à la gloire“, — это, конечно, я, я самъ.

И вотъ, прошло цѣлыхъ четыре года. Какъ не повидать мѣсть, гдѣ мы „впервые вкусили сладость бытія“, и къ тому же

какъ не показать и себя, и свое перерожденное и перестроенное на другой ладъ я! Пусть-ка посмотрятъ на меня мои старые знакомые и родные и подивятся достигнутому мною прогрессу; пусть во-очію на мнѣ убѣдятся, что значитъ культурная западная сила!

Экзаменъ докторскій сданъ, диссертация наполовину уже готова, и предстоятъ рождественскіе праздники; путь санный.

Надо сначала распорядиться, а для этого надобны деньги. Кое-что наберется, за мѣсяцъ впередъ можно взять жалованье, — но по расчету все еще не хватаетъ взадъ и впередъ на дорогу, да и въ Москвѣ не жить же даромъ на счетъ матери. Вотъ и придумываю средства. У меня есть старые серебряные часы, весьма не надежные, по свидѣтельству знатока Г. И. Сокольскаго; есть „Иллиада“ Гнѣдича, подаренная Екатериною Аванасьевною; есть и еще ненужныя книги, русскія и французскія, кажется; есть еще и старый самоварчикъ. Давай-ка, сдѣлаемъ лотерею. Предложеніе принято товарищами. Предметовъ собралось съ дюжину; билетовъ надѣлано рублей на 70; угощеніе чаемъ. Съ вырученными лотереею деньгами набралось болѣе сотни рублей. Главное есть. Надо теперь прискаты самый дешевый способъ перемѣщенія своей особы изъ Дерпта въ Москву. Случай рѣшаетъ. Изъ заѣзжаго дома Фрея является подводчикъ изъ московской губерніи, привозившій что-то въ Лифляндію и отправляющійся на дняхъ порожнемъ опять въ московскую. Лошадей тройка. А экипажъ? — Есть кибиточка. Укроемъ и благополучно доставимъ, — увѣряетъ подводчикъ. Цѣна? — Двадцать рублей. — По рукамъ.

И вотъ, въ пасмурный, но не морозный, декабрьскій день, въ послѣобѣденное время, я, одѣтый въ нагольный полушубокъ, прикрытый сверху вывезенною еще изъ Москвы форменною (сѣрою съ краснымъ, университетскимъ, воротникомъ) шинелью на ватѣ, и въ валенкахъ, сажусь въ кибитку и отправляюсь на-долгихъ въ Москву.

Мой возница спускается на рѣку, и черезъ нѣсколько часовъ по Эмбаху мы выѣзжаемъ на озеро Пейпусъ, направляясь къ Пскову. Между тѣмъ стемнѣло. Мѣсяца не видать. Небо заволочено облаками. Мы все ѣдемъ и ѣдемъ. Раздаются пушечные выстрѣлы, какъ будто возлѣ насъ. Это трескается ледъ

на Пейпусѣ и образуются полыньи. Вдругъ—стопъ. Чтò такое? Громадная полынья; вывороченныя массы льда стоятъ горою; а возлѣ нихъ широчайшая полоса воды. Слава Богу, что еще не въѣхали прямо въ воду. Чтò же это такое? какъ же тутъ быть? Вдали ни зги не видать, подѣ ногами вода.

— „Да лѣшій пошутилъ: съ сѣзжей дороги сбился, а я по ней сколько разъ ѣзжалъ“,—увѣряетъ мой возница.—„Да чтò теперь-то подѣлаешь? Сѣмъ-ка я побѣгу, да развѣдаю; дорога-то должна быть тутъ близко“.

Я остаюсь одинъ съ лошадьми. Сижу, сижу, — дѣлается жутко; въ ночной тиши раздаются кругомъ выстрѣлы; мнѣ показалось въ темнотѣ, что какъ будто огоньки; думаю, уже не волчьи ли глаза; выскакиваю изъ кибитки, поднимая крикъ и стукъ палкою о кибитку; бѣгаю вокругъ кибитки, чтобы согрѣться: начинаетъ пробираться. Ничего не видно и не слышно. Ямщика и слѣдъ простылъ. Просто бѣда. Прошло, вѣрно, не менѣе часа, а мнѣ показалось по крайней мѣрѣ часа четыре; наконецъ, слышу гдѣ-то вдали, въ сторонѣ, какъ будто человѣческій голосъ. Я отзываюсь и кричу, чтò есть мочи. Голосъ приближается. Показались опять и какъ будто прежніе огоньки, напугавшіе меня. Наконецъ, является, едва переводя духъ отъ усталости, и мой возница.

— Ну, чтò?

— „Да чтò, дороги-то не нашель; а вотъ мы повернемъ назадъ, да немного вбокъ; тамъ доѣдемъ до деревушки на берегу“.

— На какомъ же это берегу? значить, мы уже недалеко отъ Пскова?

— „Куда, баринъ, до Пскова; мы тутъ все плутали по озеру, а далеко отъ берега не отѣзжали, Вонъ тамъ я видѣлъ деревушку; до разсвѣта переночуемъ въ ней“.

Дѣлать нечего, ѣдемъ. Проходитъ еще не менѣе часа, пока мы доѣхали до какого-то жилья. Пѣтухи уже давно какъ пропѣли; достучались въ какой-то лачугѣ; впустили. Но, Господи, чтò это было за жилье, и чтò за люди! Въ Дерптѣ являлись изрѣдка въ клинику какіе-то, носившіе образъ чело-вѣка, звѣри, съ дикимъ, бессмысленнымъ выраженіемъ на желто-смугломъ лицѣ, косматые, обвязанные лоскутами и не гово-

рившіе ни на какомъ языкѣ. Это и были обитатели глухихъ и отдаленныхъ прибрежій Пейпуса, финскаго племени; полагали, однако-же, что между ними встрѣчались и выродившіеся наши раскольники, загнанные полицейскимъ преслѣдованіемъ съ давняго времени въ самыя глухія и непроходимыя мѣста.

Всѣ занятія этого заглохшаго населенія заключались въ рыболовствѣ; они питались только рыбою; понимали только то, что касалось до рыбной ловли, и могли говорить только о рыбѣ и рыболовствѣ. Языкъ ихъ, состоявшій изъ ограниченного числа словъ, былъ помѣсью финскаго и испорченнаго русскаго. Вотъ къ этому-то племени судьба, въ видѣ подводчика Макара, и занесла меня на нѣсколько часовъ. Но эти нѣсколько часовъ до разсвѣта показались мнѣ вѣчностью.

На дворѣ начинало морозить, а въ лачугѣ непривычному человѣку невозможно было оставаться; грязь, чадъ, смрадъ; какія-то мефитическія испаренія дѣлали изъ лачуги отвратительнѣйшій клоакъ. Я видѣлъ и самыя невзрачныя курныя чухонскія и русскія избы, но это были дворцы въ сравненіи съ тѣмъ, что пришлось мнѣ видѣть на прибрежьи Пейпуса. Какъ я провелъ часа 4 въ этомъ клоакѣ, я не знаю; помню только, что я безпрестанно ходилъ изъ лачуги на дворъ и дремалъ, стоя и ходя. Любопытно бы знать, насколько современныя вѣянія измѣнили жизнь въ трупобахъ того давняго времени?

На другой день, при свѣтѣ, легко объяснилось наше блужданіе по необозримому озеру, на которомъ зимою, кромѣ неба и снѣжной поверхности съ огромными трещинами и сугробами, ничего не было видно; только цѣлыя стаи воронъ съ хриплымъ карканьемъ носились надъ прорубями и полыньями, высматривая себѣ добычу.

Гораздо труднѣе было бы объяснить незнакомому съ русскою натурою, какъ рѣшился москвитянинъ Макаръ переѣзжать по льду Пейпуса ночью, проѣхавъ черезъ него, какъ я узналъ потомъ отъ самого же Макара, только одинъ разъ въ жизни, и то въ обратномъ направленіи, т.-е. отъ Пскова къ Дерпту.

Мудрено ли, что мы ночью сбились, когда и днемъ мой Макаръ постоянно у каждаго встрѣчнаго спрашивалъ о дорогѣ въ Псковъ.

Но землякъ мой, москвитянинъ Макаръ, ознаменовалъ нашу поѣзду не однимъ только геройскимъ переѣздомъ черезъ Пей-пустъ.

Избѣгнувъ неожиданно гибели въ полыньяхъ Пейпуса, Макаръ ухитрился-таки погрузить насъ, то-есть меня, кибитку и лошадей, въ полыню какой-то рѣчки. Это было на разсвѣтъ, кажется на пятый день моей Одиссеи. Я спалъ, закутавшись подъ рогожею кибитки. Вдругъ пробуждаюсь, — чувствую, что кибитка остановилась; я откидываю рогожу, и что же вижу: лошади стоятъ по шею въ водѣ, Макара нѣтъ, кибитка — также въ водѣ, и холодная струя добирается чрезъ стѣнки кибитки и къ моимъ ногамъ.

Не понимая съ просонья, что все это значить, я инстинктивно бросаюсь изъ кибитки вонъ и попадаю по поясъ въ воду; въ это мгновеніе является откуда-то Макаръ съ людьми съ берега. Вытаскиваютъ и меня, и кибитеу, и лошадей. Пришлось залечь на печь, раздѣться донага, вытереться горѣлкою и сушиться.

Такъ шло время въ путешествіи на-долгихъ съ Макаромъ; оно продолжалось чуть не двѣ недѣли; въ эти дни и ночи я насмотрѣлся на жизнь на постоянныхъ дворахъ.

Случалось ночевать вмѣстѣ съ подводчиками въ томъ же покоѣ постоялаго двора. Всего болѣе удивляла меня необыкновенная ёмкость желудка этихъ добрыхъ людей. Ъли они напропалую, и ѣда была на-славу. То были рождественскіе праздники, и на столъ подавалась всегда громадная деревянная чаша съ жирными, густыми щами изъ свинины; чаша опростовывалась чуть не залпомъ, когда принимались изъ нея черпать 10 или 12 ложекъ; снова наполнялась, снова опростовывалась; потомъ являлась не менѣе жирная свинина, а затѣмъ гречневая каша съ свинымъ саломъ. При этомъ выпивался штофъ сивухи, и все общество, 10, 12 и болѣе дюжихъ подводчиковъ, вставало изъ-за стола, молилось на образа и укладывалось спать по лавкамъ и на печи. Начиналось громкое и неумолкаемое храпѣніе, и вмѣстѣ съ нимъ происходила поочередно, то тамъ, то здѣсь, шумная эксплуатація газовъ, заставлявшая меня невольно просыпаться и громко смѣяться. На границахъ московской губерніи Макаръ предложилъ мнѣ за-

ѣхать на ночлегъ, вмѣсто постоялаго двора, къ его отцу, церковному старостѣ одного придорожнаго села. Я согласился.

На ночь явились къ старостѣ сельскій попъ, дьячокъ и еще пара крестьянъ. Принесенъ былъ штофъ сивухи. Пили, ѣли, болтали и пошли всѣ спать. Рано утромъ уѣхали попъ и дьячокъ, а потомъ и гости-крестьяне. Мы съ Макаромъ тоже снарядились въ путь; только, вижу, мой Макарь что-то суетится и ищетъ.

— Чтò пропало?

— „Кнутъ“.

— Куда дѣвался?

— „Да гдѣ ему быть, — вопить Макарь, — какъ не у попа. Ужъ извѣстно: у поповъ глаза большіе; а кнутъ былъ новенькій, съ иглочки, только-что въ Торжкѣ купилъ, и то все приберегалъ“.

Такъ первое подозрѣніе о кражѣ 20-копѣчнаго кнута мужикъ, да къ тому еще сынъ церковнаго старосты, свалилъ на попа, хотя вмѣстѣ съ попомъ угощались и мужики. Меня, отвыкшаго въ Дерптѣ отъ нравовъ родины, поразила глубоко эта исторія съ кнутомъ; я принялся увѣщавать Макара и настаивать его. Но онъ остался непреклоненъ.

— „Ужъ я знаю, не миноваль мой кнутъ поповскихъ рукъ“, — повторялъ Макарь, не соглашаясь ни на какія разглагольствованія объ уваженіи къ старшимъ и священнослужителямъ.

Наконецъ, — я въ Москвѣ, у Калужскихъ воротъ, на квартирѣ матушки, жившей у отставнаго комиссаріатскаго чиновника, называвшаго себя полковникомъ.

Въ то время жизни, когда человѣкъ, переставъ быть ребенкомъ, не достигъ еще и полной мужеской зрѣлости, проявляется нерѣдко въ несложившемся еще характерѣ рѣзкая, непріятная черта, портящая много крови и у самого молодого человѣка, и у другихъ. Обстоятельства, внѣшняя обстановка, темпераментъ и т. п. много содѣйствуютъ развитію этой черты.

Всего непріятнѣе то, что заносчивость незрѣлаго возраста колетъ глаза своею безтактностью именно тамъ, гдѣ нѣтъ ни-

какой, ни малѣйшей разумной причины ея проявленія. У меня она проявилась именно въ отношеніяхъ моихъ къ матери, послѣ долгой разлуки, изъ одного только различія въ религіозныхъ убѣжденіяхъ, то-есть именно тамъ, гдѣ я могъ бы и долженъ бы былъ требовать отъ себя сдержанности, терпимости и уваженія къ убѣжденіямъ старыхъ и достойныхъ уваженія людей.

Этого не случилось, и я долго-долго и горько упрекалъ себя за мальчишескую невыдержанность, безтактность и грубость.

Какое мнѣ, молокососу, было дѣло до самыхъ задушевныхъ убѣжденій моей богомольной старухи-матери и для чего было затрогивать самую чувствительную струну ея сердца?

Мотивъ былъ такъ же нелѣпъ и страненъ, какъ и поступокъ.

И въ самомъ дѣлѣ, я не узналъ бы самого себя, если бы сравнилъ то, что я утверждалъ и отчаянно защищалъ предъ всѣми, съ моими страстными выходками противъ нѣмцевъ, записанными въ моемъ дневникѣ три года тому назадъ. Теперь же я явился въ Москву самымъ ревностнымъ защитникомъ всего нѣмецкаго, выставя всякому встрѣчному и поперечному прибалтійскій край образцомъ культурнаго и благоустроеннаго общества. И вотъ, я превозносилъ предъ архи-православною, дряхлою женщиною нѣмецкое протестантство, тогда какъ эта женщина цѣлую жизнь только и находила утѣшенія, что въ своей вѣрѣ и въ своемъ сынѣ.

Въ жизни юношей, — да и зрѣлый возрастъ не свободенъ отъ странностей этого рода, — нерѣдко встрѣчаются рѣзкіе переходы отъ одного міровоззрѣнія къ другому. Неокрѣпшія убѣжденія и увлеченія мѣняются и отъ настроенія, и отъ разныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ.

Одна перемѣна мѣстности и круга знакомыхъ уже способна замѣнить въ незрѣломъ умѣ одинъ образъ мыслей другимъ, совершенно противоположнымъ. Притомъ духъ противорѣчія, свойственный каждому незрѣлому уму, у меня былъ замѣтно выраженъ и склоненъ къ проявленію при всякомъ удобномъ случаѣ. Случай и представился.

Москва, то-есть знакомая мнѣ среда въ Москвѣ, не могла мнѣ не показаться другою.

Вѣдь я провелъ четыре года самой впечатлительной поры жизни на окраинѣ, не имѣвшей ничего общаго съ Москвою; и вотъ, что прежде меня привлекало на родинѣ, потому что извѣстно было только съ одной привлекательной стороны, то сдѣлалось противнымъ черезъ сравненіе, открывшее мнѣ глаза.

И пятинедѣльное мое пребываніе въ Москвѣ ознаменовалось цѣлымъ рядомъ стычекъ. Куда бы я ни являлся, вездѣ я находилъ случай осмѣять московскіе предразсудки, прогуляться насчетъ московской отсталости и косности, сравнять московское съ прибалтійскимъ, то-есть чисто-европейскимъ, и отдать ему явное преимущество.

Матушку я хотѣлъ увѣрить, что нѣмцы-протестанты лучше, что вѣра ихъ умнѣе нашей, и, какъ обыкновенно, одна глупость рождаетъ другую,—то я, споря и горячася, перешагнувъ отъ религіи къ родительской и дѣтской любви, и довелъ любившую меня горячо старушку до слезъ.

— „Какъ это ты не боишься Бога—приравнивать материнскую любовь къ собачьей и кошачьей! Развѣ собака и кошка могутъ любить своихъ щенятъ и котятъ, какъ мать любить своего ребенка? Значить, у васъ теперь мать—все равно что сука или кошка?“

Такъ пеняла мнѣ мать. Наконецъ, мнѣ стало жалъ и стало совѣстно. Споры съ матерью я прекратилъ; разгорячившійся духъ противорѣчія не скоро уgomонишь, и я началъ вымещать его на другихъ, при каждомъ удобномъ случаѣ; а случай представлялся на каждомъ шагу. Сдѣлалъ я визитъ экзаменовавшему меня изъ хирургіи на лекаря профессору Альфонскому (потомъ ректору). Онъ начинаетъ спрашивать про обсерваторію, про знаменитый рефракторъ въ Дерптѣ, въ то время едва-ли не единственный въ Россіи. Я съ восторгомъ описываю видѣнное мною на дерптской обсерваторіи,—а Альфонскій прерывающе говоритъ мнѣ:

— „Знаете что: я, признаться, не вѣрю во всѣ эти астрономическія забавы; кто ихъ тамъ разберетъ, всѣ эти небесныя тѣла!“

Потомъ перешли къ хирургіи, и именно затронули мой любимый конекъ—перевязку большихъ артерій.

— „Знаете что,—говоритъ опять Альфонскій:—я не вѣрю

всѣмъ этимъ исторіямъ о перевязкѣ подвздошной, наружной или тамъ подчлѣвочной артеріи; бумага все терпитъ“.

Я чуть не ахнулъ вслухъ.

Ну, такой отсталости я себѣ и вообразить не могъ въ ученомъ сословіи, у профессоровъ.

— По вашему, Аркадій Алексѣевичъ, выходитъ,—замѣтилъ я иронически,—что и Астлей Куперъ, и Эбернети, и нашъ Арендтъ—все лгуны? Да и почему вамъ кажутся эти операціи невозможными? Вотъ я пишу теперь диссертацию о перевязкѣ брюшной аорты, и нѣсколько разъ перевязалъ ее успѣшно у собакъ.

— „Да, у собакъ“,—прервалъ меня Альфонскій.

— Пожалуйте кушать!—прервалъ его вошедшій лакей.

Отъ Альфонскаго я пошелъ съ визитомъ къ Ал. Ал. Іовскому, редактору медицинскаго журнала, вскорѣ погибшаго преждевременною смертію.

Я послалъ изъ Дерпта въ этотъ, тогда чуть-ли не единственный медицинскій журналъ одну статью,—хирургическую анатомію паховой и бедренной грыжи, выработанную мною изъ монографій Скарпы, Ж. Клоке и Астл. Купера.

Іовскій, принадлежавшій уже къ молодому поколѣнію, не обнаружилъ большой склонности къ прогрессу по возвращеніи изъ-за границы; вмѣсто химіи—принялся за практику, и теперь обнаруживалъ предо мною равнодушіе къ наукѣ.

Я началъ по-своему возражать, поставляя ему тотчасъ же въ примѣръ дерптскій университетъ.

— „Да съ нашими подлецами ничего не подѣлаешь“, былъ отвѣтъ.

Пришелъ навѣстить одного стараго знакомаго, офицера-хохла, бывшаго нашего сосѣда по квартирѣ. Нашелъ у него другихъ офицеровъ въ гостяхъ. И тутъ, слово за слово, я перешелъ къ изложенію всѣхъ преимуществъ прибалтійскаго края. Прежде всего, конечно, описалъ слушателямъ высокое состояніе науки, оставшей въ Москвѣ, по крайней мѣрѣ, на четверть вѣка.

— „Позвольте вамъ замѣтить, —остановилъ меня толстѣйшій гарнизонный маіоръ:—вотъ я лечился у разныхъ докторовъ, вездѣ побывалъ, совѣтовался съ разными знаменитостями,

но толку не было; а вотъ у насъ, въ Москвѣ, мнѣ одинъ старичокъ посовѣтовалъ принять лекарство Леру. Такъ я вамъ скажу, оно меня такъ прочистило, что все, что во мнѣ лѣтъ десять уже скопилось, наружу вывело; съ тѣхъ поръ, слава Богу, какъ видите, здравствую“.

Возражать было нечего.

Перешли къ сужденію о семейной и общественной жизни.

Я опять сталъ распространяться о превосходныхъ сторонахъ общества и семьи въ прибалтійскомъ краѣ,—коснулся, конечно, и нѣмокъ.

— „Замѣчу вамъ,—заговорилъ опять тотъ же маіоръ,—я достаточно знакомъ съ женскимъ поломъ. Имѣлъ на своемъ вѣку дѣло и съ нѣмками, и съ французенками, и съ цыганками. Большого различія не нашель: всѣ поперечки“.

При этомъ замѣчаніи все общество покатилося со смѣху, а я умолкъ, бросивъ презрительный взглядъ на всю эту, не подходившую для меня, компанію.

На другой день меня пригласили также къ старому знакомому моего отца, помѣщику Матвѣеву, человѣку съ большими средствами и получившему отличное образованіе. Пригласили же меня въ особенности за тѣмъ, чтобы посовѣтоваться о сынѣ Матвѣева, подросткѣ лѣтъ 16-ти; его воспитывали дома гувернеры-иностранцы, и надо было рѣшить теперь—какъ и чѣмъ закончить домашнее воспитаніе.

Я засталъ отца (еще очень моложавого и разбитного) и сына упражняющимися въ фехтовальномъ искусствѣ.

Молодой Матвѣевъ, изящно одѣтый, съ цѣлымъ лѣсомъ бѣлокурыхъ волосъ на головѣ, тщательно завитыхъ и припосаженныхъ, свободный въ обращеніи, украшавшій разговоръ цитатами изъ русскихъ поэтовъ, представлялъ собою что-то искусственное, поддѣльное, невиданное мною въ Дерптѣ. Отецъ Матвѣева также вставлялъ въ разговорѣ стихи изъ „Евгенія Онегина“, изъ „Горе отъ ума“, называлъ предразсудкомъ соблюденіе религиозныхъ обрядовъ—и въ то же время крестился, сядясь за столъ; онъ сказывалъ, что сынъ его требуетъ только нѣкоторой подготовки въ древнихъ языкахъ для вступленія въ университетъ, и восхищался, вмѣстѣ съ сыномъ, моими разсказами о жизни въ Дерптѣ, объ университетской дѣятельности

и готовъ былъ сейчасъ же летѣть въ Дерптъ. Я радовался, что нашелъ въ Москвѣ хотя одно прогрессивно настроенное семейство, и радъ былъ еще болѣе тому, что могъ самъ способствовать прогрессу, притянувъ юношу къ серьезному университетскому образованію.

Едва я, однако-же, покончилъ мою бесѣду съ отцомъ и сыномъ, какъ меня позвали на другую половину, къ женѣ и матери.

— „Здравствуйте, monsieur Пироговъ! Скажите—вы изъ Дерпта? Вы говорили съ мужемъ? Видѣли сына? Какъ вы полагаете? Неужели вы посовѣтуете отправить сына въ Дерптъ? Вѣдь тамъ студенты всѣ—якобинцы. Это ужасно! Онъ можетъ совсѣмъ пропасть“.

Все это, сказанное залпомъ еще нестарою, но, очевидно, взбалмошною дамою, меня крайне раздосадовало, и я принялся доказывать ей всю нелѣпость мнѣнія, составленнаго ею о Дерптѣ, и, въ свою очередь, не давалъ уже ей раскрывать рта до самыхъ тѣхъ поръ, пока не взялся самъ за шапку.

Матвѣевы (отецъ и сынъ) потомъ пріѣзжали на своихъ лошадяхъ въ Дерптъ. Сынъ вступилъ въ университетъ; но много ли изъ него вынесъ, не знаю. Что-то тоже русское, замазанное снаружи, проглядывало въ этомъ выровненномъ и вытянутомъ подросткѣ. Отецъ же его, обольстивъ какую-то московскую барышню, удралъ съ нею и съ деньгами отъ жены за границу и возвратился оттуда безъ денегъ, безъ барыни и съ ракомъ желудка, черезъ 12 лѣтъ, въ Петербургъ, гдѣ я его и навѣстилъ въ гостинницѣ, сильно страдавшаго. Сынъ разошелся съ нимъ и не хотѣлъ болѣе знать отца.

Каждое посѣщеніе моихъ московскихъ знакомыхъ давало только пищу обуявшему меня духу противорѣчія. Все въ моихъ глазахъ оказывалось отсталымъ, пошлымъ, смѣшнымъ.

Я попробовалъ пойти въ гости къ незнакомымъ.

Мой товарищъ, И. О. Шиховскій, просилъ меня непременно навѣстить его закадычнаго пріятеля, какого-то университетскаго бюрократа. Я навѣстилъ и получилъ приглашеніе на вечеръ. Тутъ все общество и его болтовня показались мнѣ уже до того несносными, что я, не простившись, потихоньку уѣхалъ.

Началось съ бесѣды съ профессоршею, женою преподавателя Терновскаго, у котораго я цѣлый годъ слушалъ лекціи остеологіи и синдесмологіи. Это былъ не послѣдній изъ категорій забавлявшихъ насъ чудаковъ. Чахоточный, сухощавый до нелзя, черномазый, весь обросшій густыми темными, щетинистыми волосами, съ впалыми, желтобураго цвѣта, глазами, тоненькими ногами, въ штанахъ въ обтяжку въ сапоги, въ сапогахъ съ кисточками; зимою на лекціи всегда въ огромной, бураго цвѣта, медвѣжьей шубѣ, крытой истертымъ и полинялымъ сукномъ, Терновскій являлся на лекцію какъ-то исподтишка, скрытно, какъ будто боялся, чтобы его не прогнали, и исчезалъ, вмѣстѣ съ десяткомъ своихъ слушателей, въ огромномъ амфитеатрѣ (на 300—400 мѣстъ).

Осматриваясь подозрительно вокругъ себя, Терновскій тайно вынималъ изъ-за пазухи лобную или височную кость и, покашливая, потихоньку подходилъ къ каждому изъ насъ, демонстрировалъ и намекалъ по временамъ, какъ трудно ему доставать кости отъ Лодеровскаго прозектора.

Вотъ съ супругою этого-то господина я случайно и встрѣтился на вечерѣ и узналъ отъ нея, что мужъ ея, г. Терновскій, — имени и отчества не помню, — есть извѣстный всей Европѣ ученый.

Я чуть не фыркнулъ съ смѣха. Откуда это взяла она? Самъ ли онъ такъ отрекомендовалъ себя, или она изобрѣла изъ любви. Чтò было отвѣчать? Чтобы не ляпнуть какую-нибудь дерзость, я прекратилъ бесѣду; но, къ довершенію зла, замѣтилъ что-то какъ-бы давно знакомое въ фізіономіи одного претолстѣйшаго господина, сидѣвшаго за картами; справившись, кто это, я узналъ моего дядю по матери, Новикова, при жизни отца нерѣдко посѣщавшаго нашъ домъ, а по смерти не преминувшаго забыть досконально о нашемъ существованіи. И какъ скоро все это промелькнуло въ моемъ воспоминаніи, я тотчасъ же и отретировался, чтобы не встрѣтиться лицомъ въ лицу съ почтеннымъ дядюшкою и не быть заключеннымъ въ его жирныя объятія.

Это былъ финалъ моего пребыванія въ Москвѣ; оно убѣдило меня окончательно въ преимуществѣ и высотѣ нравственнаго и научнаго уровня въ Дерптѣ.

Въ Дерптѣ не водятся профессора, считающіе астрономическія наблюденія пустою забавою; хирургическія операціи, давно вошедшія въ практику — невозможными; всѣхъ своихъ коллеговъ — подлецами; нѣтъ и дамъ, усматривающихъ въ каждомъ студентѣ якобинца, а въ своихъ супругахъ — европейскія знаменитости!

Передъ отъѣздомъ изъ Москвы я старался уничтожить тягостное впечатлѣніе мое, оставшееся въ душѣ отъ глупыхъ пререканій съ матушкою; но только потомъ, пріѣхавъ въ Дерптъ, я просилъ искренно прощенія въ письмѣ къ матери и сестрамъ. Назадъ возвратился изъ Москвы на почтовыхъ, уже на второй недѣлѣ великаго поста.

Житье-бытье матушки и сестеръ въ Москвѣ я нашелъ немного лучшимъ прежняго. Одна сестра нашла себѣ мѣсто надзирательницы въ какомъ-то женскомъ сиротскомъ домѣ, къ другой приходили ученицы на домъ; матушкѣ выхлопотала одна знакомая небольшую пенсію; братъ мой, не имѣвшій чѣмъ заплатить взятія у матушки когда-то деньги, теперь поправился и уплачивалъ понемногу, я также кое-что прибавилъ. Матушка занимала небольшую квартиру въ три комнаты, вмѣстѣ съ одною сестрою и двумя крѣпостными служанками.

Я, пробывъ четыре года въ прибалтійскомъ свободномъ краѣ, конечно, не могъ равнодушно смотрѣть на двухъ рабынь, старую и молодую. Я настоялъ у матушки, чтобы ихъ отпустили на волю.

— „Да я и сама уже давно бы ихъ отпустила, — сказала мнѣ матушка, — если бы не боялась попасть подъ судъ“.

— Какъ? За что?

— „Да просто потому, что у меня нѣтъ никакихъ документовъ на крѣпость, Богъ знаетъ, куда они дѣвались, и гдѣ ихъ теперь возьмешь?“

И дѣйствительно, дѣловые люди не совѣтовали начинать дѣла, а предоставить все времени и волѣ божіей. Такъ и случилось. Молодая раба, довольно красивая собою, чуть было не попавшая въ руки какого-то московскаго клубничника, вышла благополучно замужъ безъ всякихъ документовъ. Другая, уже старуха, Прасковья Кирилловна, та самая, сказки которой о

бѣломъ, черномъ и красномъ человѣчѣ я не забылъ еще и теперь,—пріѣхала потомъ съ сестрами ко мнѣ въ Петербургъ въ 1840 году. И тутъ только я, съ помощью 25 рублей, преподнесенныхъ квартальному надзирателю, успѣлъ, наконецъ, дать вольную этой—столько лѣтъ не по найму служившей—личности.

Таково было крѣпостное право: и желавшіе горячо отъ него отдѣлаться—не легко этого достигали!

Въ 1833 году докторская моя диссертация была окончена и защищена. Оставалось только дожидаться рѣшенія изъ министерства о поѣздкѣ за границу.

Эти нѣсколько мѣсяцевъ были самыми пріятными въ жизни. Къ тому же въ это время у Мойера, или, вѣрнѣе, у Екатерины Аванасьевны, проживали молодыя дѣвушки—Лаврова и Воейкова. Откуда взялась первая—не знаю; но Екатерина Аванасьева интересовалась ею, занималась съ нею чтеніемъ и женскими работами. Семейство Мойера, а съ нимъ я, жило тогда въ деревнѣ (Садорфъ, верстъ 12 отъ города). Лаврова, лѣтъ 16—17-ти, брюнетка, смуглянка, имѣла что-то странное въ выраженіи глазъ, впрочемъ красивыхъ и черныхъ. Она и въ самомъ дѣлѣ была какая-то странная, почти всегда восторгавшаяся, торжественно и нараспѣвъ говорившая о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ. Она (Лаврова) осталась у меня въ памяти потому, что однажды подралась со мною.

Много тогда смѣялись видѣвшіе драку,—правда, не на-кулачки, а скорѣе борьбу молодого человѣка съ молодой, красивою дѣвушкою.

Дѣло вышло изъ-за какихъ-то пустяковъ; о чемъ-то заспорили; я сказалъ что-то въ родѣ: „это очень глупо!“—и вдругъ Лаврова кидается на меня съ особеннымъ, почти безумнымъ выраженіемъ своихъ черныхъ глазъ, беретъ меня за плечи и хочетъ повалить. Я защищаюсь, и видя, что она не унимается, беру ее за плечи и начинаю, что есть силы, трясти; тогда она—въ слезы и навзрыдъ.

Кое-какъ ее успокоиваютъ, но она снова бросается на меня.

— „Я женщина!—кричитъ она:—я женщина! вы должны имѣть уваженіе ко мнѣ“.

— Я мужчина!—кричу я въ свою очередь:—и вы поступайте такъ, чтобы я васъ могъ уважать.

Слѣдуетъ новая схватка, и тогда уже насъ разводятъ.

На другой день—какъ будто ничего не бывало; но Лаврова дѣлаетъ снова глупую выходку: бѣжитъ въ переднюю подавать шинель пріѣзжавшему на прощанье Александру Витгенштейну.

— „Что это ты, матушка, твое ли это дѣло!“—замѣчаетъ ей потомъ Екатерина Аѳанасьевна.

— Да почему же не подать шинель сыну такого знаменитаго полководца, какъ князь Витгенштейнъ!—воскликаетъ восторженно Лаврова.

Другая интересная особа, къ которой нельзя было оставаться равнодушнымъ, Катя Воейкова, была внучка Екатерины Аѳанасьевны Протасовой, дочь извѣстнаго, не съ привлекательной стороны, поэта Воейкова-Вулкана (Воейковъ былъ хромъ), уступившаго свою очаровательную Венеру воинственному Марсу.

Только-что окончившая курсъ ученія въ Екатерининскомъ институтѣ, Воейкова переѣхала на житье къ бабушкѣ въ Дерптъ. Не красавица, но очень милая и интересная, Воейкова была всегда весела и смѣшлива.

До отъѣзда моего за границу она нерѣдко занимала мое воображеніе, но не производила глубокаго впечатлѣнія. Недостатки институтскаго воспитанія и поверхностнаго міровоззрѣнія не окупались другими внѣшними достоинствами.

Тѣмъ не менѣе, и я, и многіе другіе желали нравиться и угождать милой и интересной дѣвушкѣ. Устраивали домашній театръ; играли „Недоросля“; я представлялъ Митрофанушку, и очень былъ доволенъ: игрою своею вызывалъ смѣхъ и рукоплесканія Воейковой.

Въ другихъ семействахъ я не былъ знакомъ; женское общество было мнѣ чуждо, и потому появленіе всякаго новаго женскаго лица въ знакомомъ мнѣ домѣ не могло не производить на меня весьма пріятнаго впечатлѣнія.

Въ Дерптѣ былъ въ то время обычай между студентами пріискивать себѣ, во время университетскаго курса, невѣсту

между дочерьми бюргеровъ, чиновниковъ, профессоровъ. Женихъ и невѣста дожидались спокойно нѣсколько лѣтъ. Былъ случай, что женихъ, казенный стипендіантъ, выдержавъ экзаменъ на лекаря, долженъ былъ отправиться куда-то въ казаскую трущобу. Онъ увѣдомилъ невѣсту о своемъ мѣстопробываніи, и она, 18-лѣтняя дѣвушка, никуда не выѣзжавшая никогда изъ дома, сѣла на перекладную и, не боясь ѣхать вмѣстѣ съ попутчиками, молодыми юнкерами и офицерами, явилась живою и здоровою къ жениху въ захоluste, гдѣ и поѣхались.

Зато былъ и другой случай.

Одна невѣста, долго ждавшая и не знавшая, гдѣ находится ея женихъ, не устояла и сдѣлалась невѣстою другого.

Вдругъ является первый женихъ, узнаетъ объ измѣнѣ и, встрѣтивъ бывшую свою невѣсту на балѣ въ клубѣ, задаетъ ей пощечину и исчезаетъ.

Насъ, русскихъ, не соблазнялъ этотъ нѣмецкій обычай. Только одинъ Филмофитскій (профессоръ физиологіи въ Москвѣ) вздумалъ жениться, передъ поѣздкою за границу, на Марьѣ Петровнѣ, воспитой Языковымъ:

Да здравствуетъ Марья Петровна,
И ручка, и ножка ея!

—слышалось нерѣдко и на улицѣ, и въ сборищахъ русскихъ студентовъ, какъ торжественный гимнъ, воспѣваемый въ честь русской красавицы, и при словахъ:

Блаженъ, кто, законно мечтая,
Зоветь ее дѣвой своей!
Блаженный избранника рая—
Бурсакъ, полюбившійся ей!

Филмофитскій, вѣрно, не причислялъ себя и взаправду къ избранникамъ рая.

Да, я забылъ еще Степана Куторгу, — тотъ влопался въ дочку директора училища, въ домѣ котораго онъ квартировалъ. „Allein kann man nicht sein auf der Erde“, — приводилъ въ свое извиненіе Куторга.

И еще одинъ — мой старый пріятель Загорскій (элевъ академіи наукъ) — женился въ Дерптѣ на дочери г-жи Эксъ и

жилъ съ нею очень долго и счастливо И такъ, изъ 23-хъ русскихъ (21 изъ профессорскаго института и 2 элевовъ академіи) пережились въ Дерптѣ 3, а умерло только 2.

Не помню, анализировалъ ли я себя передъ отъѣздомъ за границу изъ Дерпта; дневника я тогда уже не велъ цѣлый годъ и болѣе; но мнѣ кажется мой духовный бытъ того времени—не знаю, почему—чрезвычайно яснымъ по истеченіи цѣлыхъ 48 лѣтъ.

Я убѣжденъ даже, что теперь, въ настоящее время (1881 г.), мой анализъ будетъ вѣрнѣе и отчетливѣе того, прежняго, можетъ быть, и не существовавшаго. Едва-ли этотъ прежній былъ бы такъ безпристрастенъ, какъ теперешній.

Начну съ главнаго, съ моего тогдашняго міровоззрѣнія.

Оно,—несмотря на идеализмъ, еще замѣтно господствовавший и въ германской наукѣ, и въ германскомъ міровоззрѣніи, —сильно склонялось къ матеріализму и, конечно, самому грубому, вслѣдствіе грубаго незнанія самой матеріи. Обрядно-религіозное направленіе, вывезенное еще изъ Москвы, потерпѣло полное фіаско. Полное незнакомство съ духомъ христіанскаго ученія и, вслѣдствіе этого, незнаніе или нежеланіе знать основъ христіанства изъ евангелія и апостольскихъ посланій; полное отрицаніе загробной жизни, какъ предразсудка и ни на какомъ фактѣ неоснованной иллюзіи. Стоицизмъ долженъ быть религіей ученаго.

А между тѣмъ весь этотъ религіозный радикализмъ не давалъ душѣ твердости и стойкости на самомъ дѣлѣ. Это чувствовалось, хотя и не сознавалось. Чувствовалось, что первая же бѣда, первое серьезное испытаніе потрясетъ все это зданіе до самаго основанія. Чтобы заглушить въ себѣ это внутреннее противорѣчіе, надо было искать самозабвенія въ научныхъ занятіяхъ, такъ какъ для другихъ чувственныхъ наслажденій организмъ былъ слишкомъ слабъ, слишкомъ нервнъ, и потому не терпѣлъ пресыщенія и съ отвращеніемъ ощущалъ всякій избытокъ въ наслажденіи.

Желудокъ, приученный къ прѣсной пищѣ, не переносилъ ни обжорства, ни пьянства. Только два раза въ жизни я былъ настоящимъ образомъ пьянъ, и оба раза страдалъ нѣсколько

дней не на шутку. Мой отецъ также не переносилъ спиртныхъ напитковъ, и получалъ сильную рвоту отъ нѣсколькихъ рюмокъ вина. Сверхъ этого, въ Дерптѣ я началъ періодически страдать катарромъ кишекъ, сдѣлавшимся потомъ моею постоянною болѣзнью.

Въ Дерптѣ къ развитію моей болѣзни служило еще одно. Я занемогъ простудой, и Иноземцевъ вздумалъ мнѣ прописать какія-то горькія, и, сколько помню, металлическія пилюли. Я принималъ это снадобье полгода, и въ одно прекрасное утро пожелтѣлъ какъ лимонъ, почувствовалъ тяжесть въ животѣ, отвращеніе отъ пищи. Я продолжалъ, однако-же, выходить и заниматься въ анатомическомъ театрѣ. Дѣло было зимою. Наконецъ, пришло не-втерпѣжъ: я принужденъ былъ остаться дома и началъ брать у себя въ клиникѣ теплыя мыльные ванны, всякій день на ночь, пить чай съ клюквеннымъ морсомъ,—и моя желтуха постепенно исчезла. Съ тѣхъ поръ кишечный катарръ началъ чаще возвращаться и долѣе продолжаться, иногда почти цѣлый мѣсяцъ. Надо замѣтить, что въ Дерптѣ солитеръ составляетъ обыкновенную эпидемическую болѣзнь; почти не встрѣчается ни одного вскрытаго трупа, при которомъ не нашли бы цѣлые клубки солитера въ кишкахъ. Поэтому я полагалъ сначала, что это глиста причиняетъ мнѣ катарръ,—но, ни разу не нашедъ у себя кусковъ солитера, я долженъ былъ оставить это мнѣніе. Впрочемъ, и кромѣ кишечнаго катарра, я страдалъ еще нерѣдко катарромъ бронхій,—а можетъ быть и бугорками; тогда, по крайней мѣрѣ, я былъ убѣжденъ, что страдаю уже началомъ бугорчатой чахотки. При кашлѣ, длившемся иногда по 5, по 6 недѣль, я, смотря въ зеркало, постоянно слѣдилъ за краснымъ пятномъ на лѣвой щекѣ, принимая его за признакъ изнурительной лихорадки. Мойеръ и товарищи, знавшіе о моихъ подозрѣніяхъ, насмѣхались надо мною; но мой дневникъ того времени ясно свидѣтельствуетъ (онъ сохранился одно время у жены), что убѣжденія мои были не шуточныя. Въ дневникѣ я съ грустью ни о чемъ болѣе не мечталъ, какъ прожить еще до 30 лѣтъ, а тамъ, говорю, пора костямъ и на мѣсто.

Это было писано въ 1831 году.

Этотъ дневникъ свидѣтельствовалъ еще и о томъ, что не

одни гастрономическія наслажденія не шли мнѣ въ-прокъ,—и половья возбуждали потомъ отвращеніе и тоску. Въ одномъ мѣстѣ дневника того времени, послѣ одного меланхолическаго пассажа, прибавлено: „omne animal post coitum triste“. Наконецъ, и табакъ, какъ средство къ легкому самозабвенію, не переносился въ то время организмомъ.

Имѣя весьма плохое обоняніе (я могу пронюхать только острыя летучія вещества), я не имѣлъ никакой потребности курить при моихъ занятіяхъ надъ трупами, и только на 31-мъ году жизни, въ первый разъ послѣ тяжелой болѣзни, почувствовалъ желаніе выкурить сигарку, и съ тѣхъ поръ сталъ курить,—и по временамъ очень сильно.

Итакъ, не имѣя отъ природы призванія къ чувственнымъ наслажденіямъ, не перенося пресыщенія, я уже по этой одной причинѣ долженъ былъ посвящать себя исключительно научнымъ занятіямъ. А къ этому еще влекло и сильно развитое любознание.

Моя, рано развившаяся во мнѣ, любовь къ наукѣ имѣла только ту опасную и худую сторону, что послужила къ раннему же развитію и самонадѣянности, заносчивости и самолюбія.

Пріѣхавъ, напримѣръ, въ Дерптъ совершеннымъ невѣждою въ офталмологіи, я, прочитавъ на первыхъ же порахъ одно только руководство Веллера, вздумалъ-было вступить въ споръ съ Мойеромъ объ одномъ глазномъ больномъ въ клиникѣ. Мнѣ почудилось, что—по Веллеру—надо было назвать болѣзнь не такъ, какъ ее называлъ Мойеръ. Потомъ я самъ крѣпко смѣялся надъ собою. Въ другомъ случаѣ мое самомнѣніе поставило меня въ чистые дураки, не допустивъ меня хорошенько осмыслить и обсудить то, что я предлагалъ.

Случай этотъ мнѣ памятенъ до сегодня и до сихъ поръ еще бросаетъ меня въ краску, когда я вспомню о предложенной мною, въ кругу товарищей и въ присутствіи Мойера, безсмыслицѣ.

Еще въ Москвѣ я слышалъ мелькомъ отъ кого-то о вырѣзываніи суставовъ и образованіи искусственныхъ суставовъ. Прибывъ въ Дерптъ съ полнымъ незнаніемъ хирургіи, я, на первыхъ же порахъ, нигдѣ ничего не читавъ о резекціяхъ

суставовъ, вдругъ предлагаю у одного больного въ клиникѣ вырѣзать суставъ и вставить потомъ искусственный. Предложеніе это я дѣлаю одному товарищу.

— „Что такое, что такое?“ — спрашиваетъ Мойеръ, слышавшій нашъ разговоръ вполголоса.

Товарищъ передалъ Мойеру, что я видѣлъ или слышалъ въ Москвѣ, что вставляютъ искусственные суставы изъ слоновой кости на мѣсто вырѣзанныхъ.

Мойеръ покачалъ головою и началъ трунить надо мною, что я повѣрилъ такой нелѣпицѣ. А нелѣпицу эту я самъ изобрѣлъ. Я долженъ былъ прикусить языкъ и смѣяться надъ собственною же нелѣпостью. Тутъ играло главную роль не столько невѣжество и грубое незнаніе, сколько безразсудность отъ самомирія, мѣшавшаго разсуждать и всесторонне обдумывать, что хочешь сказать или сдѣлать.

Послѣ пятилѣтняго пребыванія въ Дерптѣ я уже безъ самонадѣянности и безъ самомирія въ правѣ былъ считать себя достаточно приготовленнымъ къ дальнѣйшему самостоятельному образованію наукою. Изъ анатоміи я изучилъ нѣкоторые предметы такъ основательно, что, напримѣръ, въ изученіи о фасціяхъ едва-ли кто-нибудь могъ быть опытнѣе меня. Въ этомъ убѣдились потомъ и въ Берлинѣ проф. Шлеммъ и Іоганнъ Мюллеръ. Хирургію я изучилъ по монографіямъ, и всегда при помощи хирургической анатоміи, которую изучалъ на трупахъ.

Недостатокъ труповъ въ Дерптѣ былъ, по крайней мѣрѣ, тѣмъ полезнѣе, что принуждалъ пользоваться тщательно личнымъ матеріаломъ. Немудрено, что, получая въ свое распоряженіе трупъ, возились съ нимъ день и ночь, не бросая ничего даромъ и стараясь сохранить какъ можно долѣе.

Трупы получались большею частью изъ Риги, по почтѣ, зимою почти всегда замерзшіе. Вспоминаю при этомъ забавное происшествіе, случившееся съ однимъ изъ моихъ товарищей. Онъ препарировалъ промежность (perinaeum) на полузамерзшемъ трупѣ, загнулъ его бедро къ животу и приподнявъ ноги вверхъ. Дѣло было ночью, и потому на ноги и на животъ трупа поставили нѣсколько свѣчъ въ низенькихъ подсвѣчникахъ. Препарирующій углубился всецѣло въ свою работу;

вдругъ онъ получаетъ отъ невидимой руки затрещину, свѣчи падаютъ, потухли, и въ комнатѣ дѣлается совершенно темно. Можно себѣ представить удивленіе и испугъ оставшагося въ темнотѣ и съ болью въ щекѣ молодого анатома! Онъ поднимаетъ крикъ,—является аптечный служитель со свѣчею, и дѣло разомъ объясняется. Полузамороженный трупъ оттаялъ, и тотчасъ же поднятыя вверхъ ноги спустились, столкнули свѣчи и даютъ плюху сидѣвшему между ногъ съ нагнутою внизъ головою анатому.

Въ маѣ 1833 года рѣшено было отправиться намъ за границу.

Всѣ медики должны были ѣхать въ Берлинъ, естествоиспытатели—въ Вѣну; всѣ другіе (юристы, филологи, историки)—также въ Берлинъ. Во Францію и почему-то и въ Англію никого не пустили.

Я отправился вмѣстѣ съ однимъ дерптскимъ пріятелемъ (потомъ служившимъ врачомъ въ московскомъ воспитательномъ домѣ), Самсономъ фонъ-Гиммельштерномъ, и съ товарищемъ изъ профессорскаго института—Котельниковымъ.

На Котельниковѣ надо остановиться,—вѣдь онъ не мало былъ предметомъ моего любопытства.

Въ нашемъ профессорскомъ институтѣ было двое чахоточныхъ въ послѣднемъ періодѣ болѣзни: Шеляревскій и Котельниковъ. Первый, на видъ здоровый, полный блондинъ, съ хорошо развитою грудью, говорившій всегда громко, началъ харкать кровью и умеръ отъ скоротечной чахотки. Это былъ поэтъ съ прекрасною, высокою душою. Въ стихотвореніяхъ его проглядывалъ мистическій отблескъ; въ одномъ изъ нихъ (на новый годъ, на примѣръ) Шеляревскій говорилъ собравшимся товарищамъ:

Было время, одинокою
Каждый шествовалъ тропой,
Сквозь туманъ и глушь, далекою
Увлекаемый звѣздой;
Но грядый незримо съ чадами
Слилъ пути въ единый путь,
Взгляды встрѣтились со взглядами
И къ груди прижалась грудь.

Пути наши, казавшіеся восторженному юношѣ уже слитыми, не слились, какъ показало время.

Иначе могло ли бы случиться, чтобы объ иныхъ изъ насъ не было лѣтъ 30 ни слуху, ни духу. Вотъ о Котельниковѣ, наприимѣръ, я 40 лѣтъ ничего не знаю. Ошибаюсь, впрочемъ: слышала, что дочь его (послѣ меня — самаго младшаго изъ членовъ профессорскаго института) вышла замужъ за Коргух-троцкаго, который, по малой мѣрѣ, лѣтъ на 7 — 8 былъ старѣе Котельникова. И еще знаю о нихъ обоихъ, что они были профессорами въ Казани, а если не ошибаюсь, кажется, видалъ и визитную карточку Котельникова у себя въ Берлинѣ.

Этотъ юноша, — такимъ онъ былъ 48 лѣтъ тому назадъ ¹⁾, былъ тогда какимъ-то феноменомъ въ моихъ глазахъ. Теперь мнѣ стало извѣстно изъ опыта, что съ 17—21-лѣтними юношами совершаются иногда непостижимыя перемѣны и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи; но въ 1830-хъ годахъ нашего вѣка, Котельниковъ, изможденный какъ скелетъ, едва переводившій духъ, страдавшій цѣлые мѣсяцы изнурительною лихорадкою, задыхавшійся отъ кровохарканья и скоплавшейся въ кавернахъ мокроты, и потомъ — тотъ же Котельниковъ, кутившій съ нами въ Ригѣ и наслаждавшійся потомъ *dolce far niente* въ Берлинѣ, для меня, — говорю, — тогда эти два образа не могли умѣститься въ одномъ и томъ же Котельниковѣ. Это съ физической стороны; а съ духовной — снова два разные лица.

Одинъ Котельниковъ — больной и хилый, но гениальный математикъ, по увѣренію профессоровъ Струве и Бартельса и по увѣренію товарищей; онъ день и ночь сидитъ надъ математическими выкладками, онъ изучилъ всѣ тонкости небесной механики Лапласа; отъ Котельникова всѣ ожидаютъ, что онъ займетъ высшее мѣсто (выше самого Остроградскаго) въ ряду русскихъ математиковъ; объ этомъ намекаетъ и самъ Штруве. Одна бѣда — разстроенное здоровье. Но вотъ здоровье неожиданно поправляется. Котельниковъ воскресаетъ изъ мертвыхъ, и что же — черезъ два года онъ неузнаваемъ въ нравственно-духовномъ отношеніи.

Ежедневно можно было встрѣтить Котельникова въ конди-

¹⁾ Писано въ 1881 г.

терскихъ, загородныхъ гуляньяхъ или просто на улицахъ Берлина, или читающимъ какую-нибудь газету, или же, всего чаще, ничего не дѣлающимъ; книги, лекціи, все оставлено. Я помню, Котельниковъ создавался мнѣ, что еще ни разу не былъ на лекціи одного изъ извѣстныхъ тогда математиковъ.

Женскія лица начали дѣйствовать на Котельникова обаятельно, но попрежнему платонически, и, несомнѣнно, Котельниковъ, гуляка и глазѣйщикъ, остается дѣвственнымъ.

— Чтѣ съ тобою приключилось? — часто спрашивалъ я его, когда онъ, отъ нечего-дѣлать, заходилъ ко мнѣ.

— „У меня, вотъ тутъ,—говорилъ онъ, показывая на лобъ,— что-то лежитъ, въ родѣ камня, а иногда мнѣ душно дѣлается; я ночью растворяю оENO, становлюсь въ рубашкѣ противъ вѣтра или бѣгу, сломя голову, на улицу“.

Разговоръ объ этомъ не тянулся и переходилъ на злобу дня. Такъ прошли два года въ Берлинѣ. Я любилъ доброй-душую этого чудака-товарища, и съ нимъ же отправился и обратно изъ Берлина въ Россію.

Я потомъ опишу это путешествіе, а теперь скажу только, что въ Ригѣ я, несмотря на постигшую меня тяжелую болѣзнь, не могъ удержаться отъ смѣха, глядя на чемоданъ Котельникова; глядя, я вспоминалъ о забавной гримасѣ, видѣнной мною на лицахъ нѣмецкихъ почтарей, когда они, перекладывая и перенося чемоданъ Котельникова, замѣчали въ немъ стукъ отъ перекатыванія какого-то твердаго тѣла изъ одного угла въ другой. Въ Ригѣ же я узналъ, что чемоданъ ничего болѣе не содержалъ въ себѣ, какъ старье, поношенные сапоги Котельникова.

Можно себѣ представить, какъ пріятенъ былъ мнѣ путь изъ Дерпта въ Ригу. Будущее, розовыя надежды, новая жизнь въ разсадникахъ наукъ и цивилизациі, пріятное общество двухъ товарищей, прекрасная весенняя погода, все веселило и радовало молодую душу.

Ко многимъ моимъ недостаткамъ и слабостямъ того времени я отношу еще неумѣнье и нежеланье вести счетъ деньгамъ. Несмотря на мою бѣдность, несмотря на то, что, живя въ семействѣ, я долженъ бы былъ знать цѣну деньгамъ, изъ которыхъ ни одна копейка не проходила и не пропадала даромъ,

я не хотѣлъ и не умѣлъ считать, когда деньги поступали въ полное мое распоряженіе.

Получивъ въ началѣ мѣсяца жалованье, я никогда не могъ свести концы съ концами, и нерѣдко случалось въ Дерптѣ, что къ концу мѣсяца я сидѣлъ безъ чая или безъ сахара; въ такомъ случаѣ чай замѣнялся ромашкою, мятою, шалфеемъ. Когда, при отѣздѣ за границу, намъ выдана была впередъ довольно значительная для насъ сумма,—кромѣ денегъ на дорожныя издержки, мы получили впередъ за полгода наше заграничное жалованье (800 талеровъ въ годъ),—то съ этими деньгами случилось у меня то же самое, что и съ мѣсячнымъ жалованьемъ въ Дерптѣ.

Пріѣхавъ въ прибалтійское Эльдorado—Ригу, всѣ ощутили какую-то неудержимую потребность покутить; а потомъ, вмѣсто того, чтобы спѣшить къ мѣсту назначенія, кто-то предложилъ ѣхать въ Берлинъ черезъ Копенгагенъ моремъ, а потомъ на Гамбургъ и Любекъ. Ни мы, ни наше университетское начальство, ни министерство не знали, что отправляться весною въ заграничныя университеты для слушанья курсовъ весьма нерасчетливо и непроизводительно.

Лѣтній семестръ, начинающійся послѣ Святой, весьма коротокъ и неудобенъ. Надо отправляться за границу для ученія только осенью, въ срединѣ октября.

Продливъ время нашего путешествія избраніемъ пути черезъ Копенгагенъ, мы могли пріѣхать въ Берлинъ только въ концѣ мая; семестръ же продолжался только до половины августа, а гонораръ за лекціи мы должны были внести все-таки полный, семестральный. Ѣхать въ Берлинъ черезъ Копенгагенъ, значило въ то время искать случая, то-есть искать паруснаго купеческаго судна въ Ригѣ.

На это понадобились еще два дня, что съ двумя другими, проведенными въ кутежѣ, хотя и далеко не безшабашномъ, составило уже четыре дня, канувшихъ въ Лету не только безъ пользы, но и съ вредомъ для кармана. Нашлось парусное датское судно, отправлявшееся обратно въ Копенгагенъ, сколько помню, почти ненагруженное. Насъ отправилось человѣкъ восемь, и всѣ въ первый разъ въ жизни дѣлали путешествіе моремъ.

Оно, конечно, началось прежде всего морскою болѣзнию.

На другой день всё мы лежали въ лёжку, проклиная тотъ часть, когда рѣшена была эта поѣздка. Еще день—и еще хуже. Поднимается штормъ и страшная качка; кажется, что вотъ, вотъ, и наше судно развалится, лопнетъ, разобьется въ щепки. Кто-то изъ насъ выползъ на палубу и умоляетъ капитана воротиться назадъ куда-нибудь къ берегу; другіе, несмотря на плачевную обстановку, смѣются вмѣстѣ съ капитаномъ надъ наивнымъ предложеніемъ товарища. Наступаетъ темная, бурная ночь, и мы (кажется, около Борнгольма)—на краю опасности, признаваемой и самимъ капитаномъ. Снасти трещать во всю ивановскую; волны играютъ судномъ, какъ мячикомъ; сверху льетъ ливня, вокругъ туманъ и не видать ни зги. Насъ заперли внизу, всѣхъ въ одной большой каютѣ, вылѣзть на палубу запретили.

Ужасъ да и только! Тянется, тянется и нескончаема кажется ночь; а ночью—трескъ, вой, свистъ, плескъ волнъ кажутся еще страшнѣе и зловѣщѣе! Цѣлыхъ три дня длилась буря, а потомъ цѣлый день былъ штиль, и только черезъ недѣлю мы пріѣхали въ Копенгагенъ.

Первый разъ въ жизни—въ заграничномъ городѣ. Какое же первое впечатлѣніе? Помню ясно, что меня поразила всего болѣе какая-то невиданная еще мною городская опрятность, а затѣмъ—высокіе цилиндрическіе тополи, придававшіе городу также необычайный для меня видъ. Я тотчасъ же отправился по госпиталямъ, сдѣлавъ предварительно визиты директорамъ госпиталя и клиникъ. Приѣмъ былъ очень радушный; видно было, что датскіе профессора еще не скучали отъ наплыва любознательныхъ иностранцевъ. Только одинъ, не профессоръ, а извѣстный въ то время въ Копенгагенѣ операторъ (именно литотомистъ), видимо изумленный моимъ посѣщеніемъ, отказалъ мнѣ присутствовать при его операціяхъ, сказавъ коротко и ясно, что этого нельзя допустить.

Уже и въ то время явно обнаруживалась ненависть датчанъ къ нѣмцамъ. Очевидно было присутствіе двухъ враждебныхъ лагерей и въ ученомъ сословіи. Нѣсколько докторовъ и прозекторовъ, изъ датчанъ, очень любезно отнесшихся ко мнѣ, при первомъ же удобномъ случаѣ раскрывали мнѣ душу, полную ненависти къ нѣмцамъ.

— „Всѣхъ, всѣхъ мы готовы принять по-дружески, только не нѣмцевъ,—нашихъ злѣйшихъ враговъ“.

Мнѣ живо припомнились эти слова, очень живо, въ Берлинѣ, въ 1863 году.

Я въ почтовой каретѣ ѣду изъ Гамбурга въ Берлинъ. Для чего это я—думаю я по дорогѣ—накупилъ столько фуляровъ въ Гамбургѣ? Мнѣ нравится утирать носъ фуляромъ, и при томъ мой Мойеръ всегда носилъ въ карманѣ фуляръ. Да онъ нюхалъ табакъ, и потому не употреблялъ бѣлыхъ носовыхъ платковъ; а тебѣ зачѣмъ,—вѣдь ты не нюхаешь? Ну, да, впрочемъ, чтѣ же, развѣ много истрачено? Однако же, давай-ка считать. И вотъ, едва-ли не въ первый разъ въ жизни я принялся сводить приходъ съ расходомъ. Вѣдь такъ, пожалуй, не хватитъ и на полгода того, чтѣ осталось въ карманѣ. Ну, это еще что? Давай-ка, сочтемъ, благо никого нѣтъ изъ пассажировъ. Начинаю вынимать изъ бокового кармана: во-первыхъ, что это? а, датскій паспортъ! Вотъ подлецы: слупили чуть-ли не 3 талера за паспортъ, а на чорта его! еще, пожалуй, съ нимъ бѣды наживешь. Вѣдь это такое нахальство — навязывать проѣзжимъ иностранцамъ свои датскіе паспорта, чтобы содрать 2—3 лишнихъ талера! Тутъ, стопъ! остановка; дверцы кареты отворяются, влѣзаетъ офицеръ. Милости просимъ. Счетъ деньгамъ приходится отложить. Посмотримъ, чтѣ за особа. Молчаніе.

— „Вы, вѣрно, русскій?“ — слышу вопросъ.

— Да, я изъ Россіи.

— „Я узналъ это по запаху“.

— Какъ! неужели отъ меня пахнетъ?

— „Нѣтъ, не отъ васъ, а отъ вашихъ сапогъ и вашего бумажника, который вы держите въ рукахъ“.

Тутъ я обращаю вниманіе на мой бумажникъ и прячу его скорѣе въ карманъ.

— „Я познакомился недавно со многими русскими изъ высшего круга“, — продолжалъ офицеръ, смотря на меня въ упоръ, чтобы не упустить изъ виду Knalleffect, неизбѣжный, по его мнѣнію, для всякаго русскаго, когда онъ слышитъ отъ нѣмца о знакомствѣ его съ высшимъ кругомъ.

— „Да, я танцевалъ также съ вашею государынею. Ея императорское величество, дочь нашего короля, была очень

благосклонна къ намъ, прусскимъ офицерамъ, и изъявила желаніе протанцовать съ каждымъ изъ насъ“.

Сказавъ это, прусскій офицеръ какъ-то особенно поднялъ голову, бросилъ на меня выразительный взглядъ и, предложивъ мнѣ безъ результата сигарку, закурилъ и погрузился въ думу.

А я, не успѣвъ счесть содержимое въ моемъ пахучемъ бумажникѣ, принялся считать въ умѣ—и постоянно сбивался въ счетѣ, задремалъ и заснулъ.

Въ Берлинѣ мы были поручены нашимъ министромъ, княземъ Ливеномъ, нѣкоему ученому піетисту, профессору Кранихфельду. Это былъ окулистъ, завѣдывавшій частною главною клинкою и вмѣстѣ съ тѣмъ профессоромъ, если не ошибаюсь, гигіены или чего-то въ этомъ родѣ. Первымъ дѣломъ Кранихфельда было приглашеніе насъ къ нему на чай. Мы нашли у него, за чайнымъ обществомъ, кромѣ жены, трехъ или четырехъ дамъ и еще двухъ или трехъ пожилыхъ господъ. Тутъ изъ разговоровъ мы узнали, что Кранихфельдъ придерживается гомеопатіи.

— „Представьте себѣ,—говорилъ онъ намъ,—какъ случайные факты и наблюденія подтверждаютъ иногда ученія, въ глазахъ скептиковъ и вольнодумцевъ кажушіяся невѣроятными. Мы недавно вечеромъ сидѣли въ саду подъ кустомъ цвѣтущей бузины, и на другой же день всѣ получили насморкъ и небольшой катарръ: *similia similibus*. По моему опыту, нѣтъ болѣе надежнаго средства противъ простудныхъ катарровъ, какъ бузиновый цвѣтъ“.

Поговоривъ и напившись чаю, и притомъ чисто нѣмецкаго (русскій чай былъ тогда еще рѣдкостью въ Берлинѣ, и продавался дорого, вмѣстѣ съ икрою, сладкимъ горошкомъ, въ одной только русской лавкѣ), мы принялись, по предложенію Кранихфельда, за пѣніе псалмовъ; намъ роздали какія-то брошюрки, одна изъ дамъ сѣла за фортепіано, и всѣ начали подпѣвать, кто какъ умѣлъ.

Это занятіе, съ нѣкоторыми паузами, продолжалось безъ малаго часа два и стало намъ прискучивать, но дѣлать было нечего, — пришлось оставаться до конца. Наконецъ мы рас-

простились съ твердымъ намѣреніемъ не приходить болѣе на чай къ Кранихфельду.

Все, что онъ для насъ сдѣлалъ во время своего инспекторства, состояло въ томъ, что онъ познакомилъ насъ съ нѣкоторыми изъ профессоровъ. Самый главный изъ нихъ былъ старикъ Гуффеландъ, сроднившійся съ нашимъ извѣстнымъ Стурдзою:

Я на Стурдзу гляжу библическаго,
Вокругъ Стурдзы хожу монархическаго.

(Пушкинъ).

Физиономія всѣхъ этихъ господъ уже съ перваго взгляда обращала на себя вниманіе выраженіемъ какого-то торжественнаго спокойствія; у иныхъ это выходило съ натажкой и было болѣе продуктомъ искусственнымъ, а у другихъ шло изнутри. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Гуффеландъ. Высокій, сѣдой, нѣсколько блѣдный, съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ, онъ импонировалъ своимъ лбомъ, виднѣвшимся выше зонтика, и подбородкомъ. Онъ говорилъ торжественно и спокойно. Спрашивалъ кое-что о Дерптѣ. Гуффеландъ въ то время не держалъ уже клиники и былъ на покой, въ кругу своей семьи.

Кранихфельдъ водилъ насъ, медиковъ, также къ Русту; но этотъ не принялъ насъ; мы узнали потомъ, что Кранихфельдъ былъ ему непонутру. Впрочемъ жена Руста приняла насъ и объявила, что мужъ, послѣ подагрическаго припадка, лежитъ въ истерикѣ и принять насъ не можетъ; а мы хотѣли было испросить у него позволенія посѣщать Charité во время утреннихъ и вечернихъ визитовъ ея ординаторовъ (штабъ-лекарей, Stabsärzte), что никому изъ учащихся не дозволялось.

Вскорѣ Кранихфельдъ не преминулъ отличиться слѣдующими подвигами.

Во-первыхъ, онъ распорядился втайнѣ у хозяевъ нашихъ квартиръ, чтобы они не давали на руки ключей отъ входныхъ дверей, какъ это обыкновенно дѣлалось, когда квартирантъ отлучался вечеромъ и не надѣялся возвратиться рано домой. Всѣ ли наши хозяева получили отъ Кранихфельда эту инструкцію—не знаю, но одинъ изъ насъ, Крюковъ (потомъ профессоръ филологіи въ Москвѣ), случайно сдѣлалъ открытіе. Хозяйка его, на требованіе Крюкова выдать ему ключъ отъulich-

ной двери на ночь, сказала, что собственно она не должна бы этого дѣлать.

— Это почему?—спросилъ Крюковъ.

— „Да профессоръ Кранихфельдъ запретилъ“,—отвѣчала она, улыбаясь.

Крюковъ не утерпѣлъ, побѣждалъ къ Кранихфельду за объясненіемъ.

— „Я узналъ, — говорилъ ему Кранихфельдъ, — что вы часто отлучаетесь изъ дома ночью“, — да потомъ, слово за слово, встрѣчая противорѣчія, вдругъ и бухни:

— „Вотъ такіе-то русскіе, г. Крюковъ, какъ вы, и дошли до самаго страшнаго изъ преступленій: до цареубійства!“

— Цареубійства!—воскликаетъ Крюковъ:—да мы, русскіе, никогда и не слыхивали у насъ о такомъ преступленіи.

— „А смерть.....?“—возражаетъ Кранихфельдъ.

— Какъ, чтѣ вы говорите, г. профессоръ! — горячится Крюковъ:—да развѣ это могло быть? Мы объ этомъ ничего не знаемъ и никогда не слыхали.

Кранихфельдъ одѣпенѣлъ, увидѣвъ, что попалъ въ просакъ.

Съ тѣхъ поръ онъ оставилъ и Крюкова, и всѣхъ насъ въ покоѣ.

Я опасался также встрѣтить въ Кранихфельдѣ второго Василія Матвѣевича Перевощикова, но, напротивъ, Кранихфельдъ не могъ нахвалиться моимъ прилежаніемъ въ посѣщеніи госпиталей, анатомическаго театра и лекцій.

Лекціи Кранихфельда даже для того времени, когда еще сильно господствовали въ умахъ разныя философскія бредни, считались допотопными. Разсказывали, напримѣръ, о такого рода пассажахъ.

— „Природа, — утверждалъ Кранихфельдъ на одной лекціи, — представляетъ намъ всюду выраженіе трехъ основныхъ христіанскихъ добродѣтелей: вѣры, надежды и любви. Такъ, цѣлый классъ млекопитающихъ служить представителемъ первой изъ нихъ — вѣры; земноводныя какъ бы олицетворяютъ надежду, а птицы — любовь“.

Этотъ мистическій сумбуръ въ головѣ Кранихфельда не препятствовалъ ему, однако-же, быть довольно порядочнымъ окулистомъ того времени. Онъ дѣлалъ отчетливо и довольно хо-

рошо извлеченіе катаракта (хрусталика) и круга глазного зрачка, и т. п.

Владычество Кранихфельда надъ нами продолжалось недолго. Съ отставкою князя Ливена и съ вступленіемъ въ министерство гр. С. С. Уварова, уволенъ былъ отъ насъ и Кранихфельдъ. Мѣсто его заступилъ генераль Мансуровъ; при немъ мы получили прибавку жалованья и освободились совершенно отъ нравственной опеки.

Во время нашего пребыванія въ Берлинѣ пріѣзжалъ императоръ Николай, остановился у посла Рибопьера и велѣлъ явиться туда всѣмъ русскимъ.

Я занемогъ въ это время простудою, и не могъ явиться.

Явилось много другихъ, и между прочими нѣкоторые полaki; на одномъ изъ нихъ остановился взоръ императора.

— „Почему это вы носите усы?“ — спросилъ строго государь, подойдя близко къ сконфуженному усачу.

— Я съ Волыни, — отвѣтилъ онъ чуть слышно.

— „Съ Волыни или не съ Волыни, все равно; вы — русскій, и должны знать, что въ Россіи усы позволено носить только военнымъ“, — громкимъ и внушительнымъ голосомъ произнесъ государь.

— „Обрить!“ — крикнулъ онъ, обратясь къ Рибопьеру и показывая рукою на несчастнаго волынца.

Тотчасъ же пригласили этого раба божьяго въ боковую комнату, посадили и обрили.

.

Въ Берлинѣ, прежде всего, мнѣ надо было распорядиться съ домашнею жизнью. Денегъ оказалось, по моимъ соображеніямъ, — несмотря на излишнюю покупку фуляровъ въ Гамбургѣ, — достаточно до конца семестра, то-есть до новаго жалованья. Я нанялъ квартиру въ улицу Charité, у вдовы какого-то мелкаго чиновника. Помѣщеніе мое состояло изъ одной, но весьма просторной комнаты, отдѣленной на-глухо забитою дверью отъ хозяйскаго помѣщенія. Семейство вдовы состояло изъ подростковъ, одной дочери и мальчика сына, настоящаго

берлинскаго Strassenjunge, подававшего надежду сдѣлаться впоследствии настоящимъ Berliner Louis.

Мебель моя состояла изъ кровати, софы, пяти-шести стульевъ, шкафа, стола и комода, — увы! какъ оказалось послѣ—плохо заправлявшагося. Въ этотъ злосчастный комодъ я и положилъ, вмѣстѣ съ другими вещами, бумажникъ съ прусскими ассигнаціями, пересчитавъ ихъ предварительно не одинъ разъ. Что касается до пищи и питья, то оказалось, что я гораздо легче могъ найти себѣ пріютъ, чѣмъ отыскать хотя сколько-нибудь сносный способъ питанія моего тѣла.

Въ Дерптѣ, на Мойеровскомъ столѣ, простомъ и питательномъ, я отвыкъ отъ трактирной кухни, и одно воспоминаніе о рисовой кашѣ съ снятымъ молокомъ, водянистомъ супѣ и твердомъ, какъ подошва, жаркомъ, доставлявшихъ намъ въ трехъ глиняныхъ судкахъ изъ трактира Гекштетера, въ первый семестръ нашего пребыванія въ Дерптѣ, — уже одно, говорю, воспоминаніе объ этихъ кулинарныхъ прелестяхъ возбуждало во мнѣ отвращеніе къ пищѣ и тошноту, и я радъ былъ услышать отъ моей хозяйки, что она бралась приготовить мнѣ обѣдъ.

Вскорѣ, однако-же, оказалось, что Гекштетеръ въ Дерптѣ былъ, по крайней мѣрѣ, въ томъ отношеніи добросовѣстенъ, что онъ замѣнялъ малую питательность отпускавшейся имъ неудобоваримой пищи поистинѣ огромнымъ количествомъ съѣстного матеріала. Хозяйка же моя въ Берлинѣ умудрилась такъ распорядиться, что, отпуская для моего обѣда: а) супъ, еще болѣе водянистый, чѣмъ Гекштетеровскій, б) мясо вареное и жареное, еще менѣе ѣдомое и с) блинчики, уже вовсе неѣдомые и иногда замѣняемые кускомъ угря (Aal) весьма подозрительнаго свойства, — вмѣстѣ съ тѣмъ и количеству не давала выступать изъ самыхъ ограниченныхъ размѣровъ.

Промучившись такъ около двухъ недѣль на хозяйскомъ столѣ, утоляя дефицитъ питанія чѣмъ ни попало, но съ двойнымъ ущербомъ для кармана, я наконецъ рѣшился, по совѣту товарищей, абонироваться на мѣсяцъ въ трактиръ. Предстояла, однако-же, трудность выбора. Въ одномъ изъ нихъ, предназначенномъ исключительно для учащейся братіи, абонементъ былъ 3 талера въ мѣсяцъ, то-есть по 3 Silbergroschen за обѣдъ. Въ дру-

гомъ,—Unter den Linden,—абонировались за 5 талеровъ (по 5 Silbergroschen за обѣдъ); и въ томъ, и въ другомъ абонентъ имѣлъ право выбирать по картѣ 3 кушанья. Послѣ многихъ колебаній, я избралъ абонементомъ Unter den Linden.

Отъ водянистаго супа, однако-же, я и тутъ не ушелъ; только онъ тутъ явился подѣ французскимъ наименованіемъ: bouillon clair. И вотъ, тарелка этого чистѣйшаго водяного раствора, кусокъ boeuf à la mode или Rindenbrust naturel и порція Mehlspeise съ ягоднымъ сокомъ составляли мой обѣдъ въ теченіе цѣлаго мѣсяца и болѣе.

Такъ какъ я былъ всегда худощавъ, то не знаю, можно ли было замѣтить истощеніе тѣла отъ недостаточнаго питанія; я чувствовалъ, однако-же, ежедневно къ вечеру,—набѣгавшись отъ стараго анатомическаго театра (за Garnison-Kirche) въ Charité и оттуда въ Ziegelstrasse,—неудержимую потребность ѣды, удовлетворялъ ее разною дрянью въ родѣ лимбургскаго сыра, колбасы и т. п., какъ наименѣе бывшей по карману. Такъ я рассчитывалъ пробиться до конца семестра; но суждено было не то.

Однажды я иду въ комодъ за деньгами, вынимаю бумажникъ, смотрю—и не вѣрю глазамъ: пачка прусскихъ ассигнацій въ 5 талеровъ, еще не такъ давно довольно пузастая и тѣмъ поддерживавшая во мнѣ надежду, показалась мнѣ необыкновенно исхудавшею. Я принимаюсь считать, и—Боже мой, чтѣ же это такое? мнѣ такъ не хватитъ и на 2 мѣсяца, а до конца августа—еще 3, да, сверхъ того, я долженъ еще внести за privatissimum у профессора Шлемма. Какъ же я могъ такъ ошибиться въ расчетѣ? А считалъ ли я всякій день, чтѣ расходовалъ, повѣрялъ ли отложенныя въ бумажникѣ деньги, и когда ихъ повѣрялъ? Велъ ли хоть какую-нибудь приходу-расходную тетрадь? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. А между тѣмъ я навѣрное знаю или, лучше, чувствую, что обворованъ.

Входя нечаянно въ свою комнату, я не разъ видѣлъ, что будущій Berliner Louis шпался въ ней непрошенный и бывалъ вблизи комода. Замокъ комода оказался также незапертымъ хорошо. Я позвалъ хозяйку и объявилъ ей о пропажѣ денегъ. Она взбурчала, разъ десять прокричала: „Kreutz Donnerwetter!“ отвергала всякое малѣйшее подозрѣніе на своего сы-

нишку. Объявили полиціи. Но гдѣ доказательства, что пропажа дѣйствительно существовала? Поговорили, покричали, побранились,—тѣмъ и кончилось. Чтѣ тутъ дѣлать? Я крѣпко призадумался, началъ остатокъ уцѣлѣвшихъ денегъ носить постоянно съ собою, сократилъ еще болѣе мелочные расходы; но все это, я видѣлъ ясно, не дастъ мнѣ средствъ къ жизни до конца семестра.

Иду къ Garrison-Kirche, въ анатомическій (старый) театръ, чтобы уплатить, пока еще есть деньги, профессору Шлемму за *privatissimum* (хирургическія операціи надъ трупами). Смотрю и вижу тамъ нѣсколько знакомое лицо, узнавшее и меня.

Это—студентъ дерптскаго университета, сынъ богатаго пестербургскаго аптекаря старика Штрауха.

Молодой Штраухъ, не окончивъ медицинскаго курса, долженъ былъ оставить университетъ и бѣжать за границу. Онъ опасно ранилъ на пистолетной дуэли того студента, о ранѣ котораго на шеѣ я уже рассказывалъ прежде. И вотъ, этотъ Штраухъ, получавшій отъ отца большое содержаніе, оставивъ Россію и съ нею невѣсту, пріѣхалъ въ Берлинъ доганчивать курсъ.

— „Вотъ встрѣча-то какъ нельзя кстати!—говоритъ мнѣ Штраухъ:—знаете ли, мнѣ бы хотѣлось жить и заниматься вмѣстѣ съ кѣмъ-нибудь, кто бы могъ быть мнѣ полезнымъ въ занятіяхъ; не согласитесь ли вы? Я вамъ предлагаю квартиру у себя, особую комнату, содержаніе, удовольствія и развлеченія, которыми я самъ пользуюсь, а отъ васъ ничего другого не требую, какъ помочь мнѣ совѣтомъ или объясненіемъ тамъ, гдѣ не хватитъ своего ума“.

Я съ радостью далъ самое душевное согласіе.

Въ Провидѣніе я тогда,—ко вреду для самого себя,—не вѣрилъ, и счелъ встрѣчу съ Штраухомъ за счастливый случай.

На другой же день я переѣхалъ къ Штрауху, и былъ ему искренно благодаренъ. Я жилъ съ нимъ вмѣстѣ, кажется, болѣе года. И Штраухъ, и я сдержали слово. Онъ мнѣ ни въ чемъ не отказывалъ; всякое воскресенье водилъ онъ меня въ театръ. Тогда были въ ходу классическія пьесы Шекспира, Шиллера, Лессинга и Гёте, а Штраухъ былъ отъявленный меломанъ. Мы обыкновенно приносили съ собою въ театръ переводъ Шек-

спира и слѣдили по немъ за дикцією актеровъ, между которыми Лемъ, Ротъ, Крелинчеръ были любимцами берлинской публики.

Питаніе моего тѣла также нѣсколько исправилось,—я пилъ каждодневно пиво съ Штраухомъ, до котораго онъ былъ охотникъ. Хотя мы всего чаще обѣдали по 3-хъ-талерному абонементу, въ чисто-студенческомъ ресторанѣ, но кушанья выбирали получше, приплачивая, да къ тому же еще нерѣдко и вечеромъ заходили съѣсть порцію чего-нибудь.

Въ этомъ ресторанѣ всѣ блюда были на подборъ во истину студенческія. Главную роль играла свинина съ тертымъ горохомъ. Это кушанье съѣдалось студентами въ ужасающихъ размѣрахъ, запиваемое берлинскою пивною бурдою (такъ называемое Weissbier или Blonde); не малую роль, но уже какъ деликатесь, игралъ сельдерейный салатъ (Sellerysalat).

Этотъ деликатесь мнѣ памятенъ еще и потому, что онъ предложенъ былъ однимъ бѣднымъ еврейчикомъ какъ нѣжное питательное средство.

Это предложеніе, о которомъ и теперь не могу вспомнить безъ смѣха, было сдѣлано въ клиникѣ Грефе.

Знаменитый профессоръ имѣлъ обыкновеніе иногда спрашивать практикантовъ въ его клиникѣ о діетѣ, необходимой для того или другого больного; при этомъ онъ требовалъ иногда отъ практиканта и довольно подробнаго меню для случаевъ изъ частной практики. Рѣчь шла о режимѣ для какой-то слабой и безкровной дамы.

— „Какое бы вы предложили нѣжное и вмѣстѣ съ тѣмъ питательное кушанье для этой ослабѣвшей и деликатной особы?“ —спрашивалъ Грефе у практиканта-еврейчика, котораго я нерѣдко встрѣчалъ въ нашемъ ресторанѣ.

— Sellerysalat, — отвѣчалъ онъ, въ полной увѣренности, что болѣе приличнаго блюда для его больной никто не предложитъ.

Я, съ своей стороны, искренно, отъ души помогалъ Штрауху въ его занятіяхъ, демонстрируя ему изъ хирургической анатоміи, оперативной хирургіи, читалъ съ нимъ и репетировалъ, словомъ,—дѣлалъ, чтò могъ. Черезъ два года Штраухъ выдержалъ въ Дерптѣ экзаменъ на доктора, и я, возвратясь въ

Дерптѣ, имѣлъ еще удовольствіе попотчивать гостей на его докторскомъ банкетѣ черепаховымъ супомъ, заставляющимъ меня, не менѣ сельдерейнаго салата, смѣяться при воспоминаніи о немъ.

Я зналъ слабость Штрауха похвастать и отличиться. А угостить настоящимъ черепаховымъ супомъ въ Дерптѣ большое общество на званомъ обѣдѣ—это чего-нибудь да стоить.

Случилось такъ, что какъ нарочно къ банкету прислали въ анатомическій театръ изъ Гамбурга огромную морскую черепаху, уже, конечно, давно отдавшую Богу душу; при раскупоркѣ ящика обнаружился довольно пронзительный запахъ, и прозекторъ поспѣшилъ очистить скорѣе мясо отъ костей, назначавшихся для скелета. Отпрепарированное мясо хотѣли уже, за негодностью, схоронить, какъ мысль о черепаховомъ супѣ для банкета дала этому матеріалу болѣе высокое назначеніе.

Поваръ въ рестораціи Пашковского счумѣлъ придать миеологическимъ останкамъ черепахи такой необыкновенный вкусъ, что всѣ гости на банкетѣ Штрауха, и всего болѣе, конечно, онъ самъ, были восхищены дотошъ невиданнымъ въ Дерптѣ деликатесомъ. Мы, я и прозекторъ (Шульцъ), знавшіе, въ какой степени разложенія мышцы черепахи служили къ изготовленію супа, посматривали только другъ на друга и удивлялись, какъ это и гости, и мы могли находить вкусною такую дрянь.

1 октября 1881.

Отъ 1-го листа до 79-го, то-есть университетская жизнь въ Москвѣ и Дерптѣ, писана мною отъ 12-го сентября по 1-е октября (1881 г.), въ дни страданій: *Dies illae, dies irae...*

Благодарю моего Господа Бога, что страданія не лишили меня способности живо вспоминать старое, думать и писать.

Да будетъ воля святая Твоя!

Дотяну ли еще до дня рожденія (до ноября 13-го)? Надо спѣшить съ моимъ дневникомъ.

Наука въ Берлинѣ въ 1830-хъ годахъ была въ переходномъ состояніи. Послѣ смерти Гегеля германская философія

уже не могла найти себѣ подобныхъ, какъ онъ, вожаковъ, заставившаго значительную часть культурнаго общества въ Европѣ смотрѣть на міръ божій не иначе, какъ чрезъ изобрѣтенные имъ консервы. Теперь трудно себѣ и вообразить, до какой степени и въ Германіи, и у насъ вѣровали — именно, вѣровали — въ философію Гегеля.

Ни голосъ такихъ геніальныхъ личностей, какъ Гумбольдтъ, не оправдывавшій господствовавшаго тогда увлеченія, ни примѣръ англичанъ и французовъ, слѣдовавшихъ чисто реальному направленію въ наукѣ, ничто не помогало противъ обаянія и увлеченія гегелизмомъ.

Медицина того времени стояла въ Германіи на распутіи.

Самая сущность этой науки препятствовала ей отдаться въ руки Гегелевой философіи, но, тѣмъ не менѣе, это философское направленіе всѣхъ наукъ того времени препятствовало и медицинѣ слѣдовать спокойно и неуклонно путемъ чистаго наблюденія и опыта.

Трансцендентализмъ былъ слишкомъ моднымъ. Даже во Франціи, и въ такой наукѣ, какъ хирургія, Лисфранкъ кричалъ во все горло о себѣ, что у него можно найти „*cette chirurgie suprême et transcendendale!*“

Время моего пребыванія въ Берлинѣ было именно временемъ перехода германской медицины — и перехода весьма быстро — къ реализму; начиналось торжественное вступленіе ея въ разрядъ точныхъ наукъ, празднуемое фанатиками реализма еще до сихъ поръ.

Но я засталъ еще въ Берлинѣ практическую медицину почти совершенно изолированную отъ главныхъ реальныхъ ея основъ: анатоміи и физиологіи. Было такъ, что анатомія и физиологія — сами по себѣ, а медицина — сама по себѣ. И сама хирургія не имѣла ничего общаго съ анатоміею. Ни Рустъ, ни Грефе, ни Диффенбахъ не знали анатоміи.

Рустъ, говоря однажды на своей клинической лекціи объ операціи Шопарта, сказалъ весьма наивно: — „Я забылъ, какъ тамъ называются эти двѣ кости стопы: одна выпуклая, какъ кулакъ, а другая вогнутая въ суставъ; такъ вотъ отъ этихъ двухъ костей и отнимается передняя часть стопы“.

Грефе, при большихъ операціяхъ, приглашалъ всегда про-

фессора анатоміи Шлемма и, оперируя, справлялся постоянно у него: „не проходят ли тутъ стволъ или вѣтвь артерій?“

Диффенбахъ просто игнорировалъ анатомію и подшучивалъ надъ положеніемъ разныхъ артерій. Опасеніе повредить надчревную артерію при грыжахъ считалъ праздною выдумкою. — „Das ist ein Hirngespennst!“ — говорилъ онъ своимъ ученикамъ про надчревную артерію (a. epigastrica).

Мало этого, Диффенбахъ до такой степени былъ чуждъ поверхностныхъ анатомическихъ понятій, что однажды послалъ Иог. Мюллеру кусочекъ, вырѣзанный имъ изъ языка у зайки, прося, чтобы Мюллеръ опредѣлилъ, какой это мускулъ?

О профессорахъ терапіи и патологіи, о клиницизмѣ по внутреннимъ болѣзнямъ—и говорить нечего.

Объективный экзаменъ. при постели больного почти не существовалъ у терапевтовъ; постукиваніе и послушиваніе употреблялось болѣе какъ *desoium*.

Вскрытій труповъ сами профессора не дѣлали и не присутствовали при нихъ, да и присутствіе ихъ тамъ ни къ чему бы не повело, при ихъ полномъ незнаціи патологической анатоміи.

Однажды я увидѣлъ въ рукахъ у студента, вскрывавшаго трупъ, довольно замѣчательный образецъ аневризмы легочной артеріи, впрочемъ плохо вырѣзанной изъ трупа; я обратилъ вниманіе студента на рѣдкость случая и посоветовалъ ему представить препаратъ профессору терапіи Горну (Horn), въ клиникѣ котораго находился передъ смертію страдавшій аневризмомъ.

— „Да чтѣ же тутъ нашъ Горнъ пойметъ?“ — отвѣчалъ наивно студентъ.

Изъ всѣхъ занимавшихся стѣтоскопомъ былъ только одинъ молодой человѣкъ, д-ръ Филиппъ, предлагавшій себя и для *privatissimum*, но охотниковъ не являлось.

Патологическая анатомія, въ современномъ смыслѣ и даже въ смыслѣ тогдашней французской школы, существовала въ Германіи только въ одномъ университетѣ—вѣнскомъ. Во всѣхъ другихъ университетахъ профессора патологической анатоміи ограничивались изложеніемъ и классификаціей разнаго рода уродствъ, и самъ Иог. Мюллеръ въ Берлинѣ, въ первое время,

читая патологическую анатомію, ограничивался этимъ изложеніемъ.

Впрочемъ, я засталъ уже Фроріена въ Берлинѣ, недавно сюда приглашеннаго. При такомъ научномъ направленіи, о точной и правильной діагностикѣ не могло, конечно, быть и рѣчи. Нѣмцы съ пренебреженіемъ отзывались тогда о французскихъ врачахъ, говоря, что это не врачи, а только діагносты.

Признаюсь, въ этомъ упрекѣ много правды.

Но нѣмцы не предвидѣли, что черезъ нѣсколько лѣтъ этотъ упрекъ можетъ коснуться и ихъ самихъ.

И вотъ, въ это время являются на сцену: Иог. Мюллеръ въ Берлинѣ, братья Веберы въ Лейпцигѣ, Шенлейнъ, бѣжавшій по политическимъ дѣламъ изъ Баваріи въ Цюрихъ, и Рокитонскій—въ Вѣнѣ.

Иог. Мюллеръ даетъ новое, или по крайней мѣрѣ забытое послѣ Галлера, направленіе фізіологіи. Микроскопическія изслѣдованія, исторія развитія, точный физическій экспериментъ и химическій анализъ кладутся Мюллеромъ въ основы германской фізіологіи.

Владычество Мюллера въ фізіологіи, обильное богатыми результатами, потомъ, какъ царство Александра Македонскаго, распадается на нѣсколько областей, управляемыхъ его полководцами. Это и не могло быть иначе; но было время, когда Иог. Мюллеръ властвовалъ почти одинъ въ этой области знанія. Только братья Веберы раздѣляли съ нимъ власть нѣкоторое время.

Цюрихская клиника Шенлейна гремѣла тогда на всю Германію славою геніальнаго врача, соединившаго реальное направленіе съ смѣлыми теоріями, не даромъ же господствовавшими такъ долго въ умахъ передовыхъ врачей. Не прошло потомъ и двухъ лѣтъ, какъ Шенлейнъ былъ уже приглашенъ изъ Цюриха въ Берлинъ. Не многіе изъ передовыхъ дѣятелей этой науки заслуживали себѣ такое имя, какъ Шенлейнъ, не оставивъ послѣ себя ни одного сочиненія, кромѣ небрежно составленныхъ учениками лекцій.

Братья Веберы въ Лейпцигѣ избрали самостоятельно тотъ же самый путь, какъ и Мюллеръ. Но труды ихъ едва-ли не превосходятъ точностью результатовъ и самыя работы Мюллера.

Особенно гениаленъ былъ братъ физикъ (потомъ профессоръ физики въ Геттингенѣ). Никогда я не видалъ человѣка, у котораго высшій умъ и необыкновенныя научныя достоинства вмѣщались бы въ такомъ невзрачномъ тѣлѣ, какъ у этого брата Вебера. Наконецъ, Вѣна была въ 1830-хъ годахъ единственнымъ мѣстомъ въ цѣлой Германіи, въ которомъ патологическая анатомія изучалась на дѣлѣ, т.-е. чрезъ вскрытіе труповъ, подъ руководствомъ опытнаго наставника (Рокитанскаго). Но объ этомъ мало знали или, вѣрнѣе, этимъ мало интересовались въ Германіи, и только иностранцы ѣхали въ Вѣну для изученія патологической анатоміи.

Въ первомъ же семестрѣ я записался у Шлемма для упражненій надъ трупами (*privatim*) и для упражненія въ хирургическихъ операціяхъ надъ трупами (*privatissimum*); у Руста на клинической лекціи въ *Charité*, у Грефе какъ практикантъ въ его клиникѣ (*Ziegel-Strasse*), въ глазной клиникѣ въ *Charité* и у Диффенбаха *privatissimum* изъ оперативной хирургіи. Нѣкоторыя изъ этихъ лекцій, какъ, напр. *privatissimum* Диффенбаха, я отсрочилъ до слѣдующаго (зимняго) семестра. Эти же самыя занятія продолжались и всѣ остальные семестры моего пребыванія въ Берлинѣ. Только иногда улучалъ я госпитировать, т.-е. быть гостемъ и на другихъ лекціяхъ.

Съ перваго же раза я, еще молокососъ (23 лѣтъ), и пожилой проф. Шлеммъ полюбили другъ друга. Онъ видѣлъ во мнѣ иностранца, любившаго его любимыя занятія и притомъ знавшаго много изъ той части анатоміи, которою онъ мало занимался. Онъ очень хвалилъ мои работы тазовыхъ и паховыхъ фасцій, артеріальныхъ влагалищъ и проч.

Шлеммъ былъ первостепенный техникъ; его тонкіе анатомическіе препараты (сосудовъ и нервовъ) отличались добросовѣстностью и чистотою отдѣлки. Онъ мнѣ рассказывалъ о своемъ знаменитомъ спорѣ съ Арнольдомъ. Шлеммъ не вѣрилъ въ открытіе ушнаго узла (*gangl. oticum*) Арнольда и считалъ этотъ узелокъ за простую кѣтчатку. Арнольдъ прислалъ ему свой препаратъ съ ушнымъ узломъ. Шлеммъ, разбирая этотъ препаратъ, открылъ своимъ косымъ и острымъ глазомъ на мѣстѣ узелка тоненькую шелковину, связывавшую его съ

нервною вѣточкою. Пошли пререканія, и только Іог. Мюллеръ, пользовавшійся полнымъ уваженіемъ Шлемма, уладилъ споръ, доказавъ Шлемму микроскопомъ, что узелокъ былъ дѣйствительно нервный, а шелковинка была употреблена Арнольдомъ для прикрѣпленія случайно оторвавшейся отъ узелка нервной вѣточки.

Шлеммъ былъ не только превосходнымъ техникомъ по анатоміи, но и отлично оперировалъ на трупахъ. На живомъ онъ никогда не оперировалъ, вѣроятно, слѣдуя Галлеровскому: „не possem veritus“. Ровный, всегда спокойный и положительный, Шлеммъ былъ очень любимъ. Можно бы было его распѣловать за его спокойное и привѣтливое: „sehen Sie wohl“, которымъ онъ начиналъ каждую рѣчь. „Sehen Sie wohl, meine Herren“—еще и теперь пріятно звучитъ въ моемъ воспоминаніи.

Я, несмотря на близкое знакомство съ Шлеммомъ и проводя съ нимъ ежедневно по нѣскольку часовъ, никогда не видалъ его взволнованнымъ и сердитымъ.

Я удивился однажды, съ какою неподражаемою флегмою отдѣлалъ онъ одного молодого шелкопера, сына довольно зажиточнаго торговца виномъ, пріѣхавшаго къ Шлемму съ письмомъ отъ отца изъ провинціи. Шлеммъ прочиталъ письмо и, нисколько не стѣсняясь, преспокойно далъ слѣдующій отвѣтъ: „Sehen Sie wohl—то, о чемъ проситъ вашъ отецъ, я готовъ исполнить. Онъ проситъ, чтобы я допустилъ васъ къ слушанію моихъ лекцій безъ гонорара и сверхъ того попросилъ еще и моихъ товарищей, чтобы они дозволили вамъ слушать у нихъ курсы безденежно. Хорошо, я согласенъ; но въ такомъ случаѣ попрошу и вашего батюшку, чтобы онъ мнѣ отпускалъ вино изъ своего магазина даромъ, а сверхъ того попросилъ бы и своихъ товарищей отпускать даромъ“.

Шлеммъ и Мюллеръ работали въ одномъ и томъ же зданіи (старомъ анатомическомъ театрѣ), никуда негодномъ, впоследствии замѣненномъ новымъ анатомическимъ театромъ, подъ дирекцію моего хорошаго пріятеля Рейхердта. Я часто видалъ тамъ Мюллера и окружавшую его плеяду: Генлэ, Свана и другихъ.

Курсъ фізіологіи у Мюллера мнѣ не удалось выслушать:

часы совпадали съ клиниками, а я не хотѣлъ пожертвовать ни одною. Впрочемъ необходимо бы было посѣтить преимущественно тѣ лекціи, на которыхъ Мюллеръ демонстрировалъ на животныхъ (преимущественно на лягушкахъ) и подъ микроскопомъ; все другое можно было прочесть потомъ въ его фізіологіи.

Изъ его опытовъ надъ лягушками всего болѣе надѣлалъ въ то время шума опытъ, подтверждавшій несомнѣнно открытія Ш. Бея различныя функціи двухъ нервныхъ корней (передняго и задняго). По мнѣнію Мюллера, никакой опытъ надъ теплокровнымъ животнымъ (разъ это дѣлали до него и другіе) не можетъ такъ ясно показать двѣ различныя функціи (чувствительную и двигательную) спинныхъ нервныхъ корней, какъ опытъ надъ лягушкою. Дѣйствительно, до Мюллера, по крайней мѣрѣ въ Германіи, никто не вѣрилъ положительно въ знаменитое открытіе Ш. Бея.

Мюллеръ былъ весьма расчетливъ на своихъ лекціяхъ: онъ никого не допускалъ посѣщать ихъ, не внеся гонорара (весьма значительнаго по тогдашнему времени), и, читая лекцію, зорко слѣдилъ за каждымъ входящимъ въ аудиторію. Однажды онъ вдругъ встаетъ съ кафедры и, подошедъ къ только-что вошедшему посѣтителю, громко спрашиваетъ его: „а имѣете входной билетъ? покажите!“ Билета не оказалось, и посѣтитель долженъ былъ ретироваться, а служитель у входа, отбавившій билеты, былъ удаленъ.

Физиономіи Шлемма и Мюллера означали, съ перваго же взгляда на нихъ, два различныхъ характера:—луна и солнце. Круглое, широкое, спокойное лицо Шлемма смотрѣло на васъ полною луною. Лицо Іог. Мюллера поражало васъ своимъ классическимъ профилемъ, высокимъ челомъ и двумя межбровными бороздами, придававшими его взгляду суровый видъ и дѣлавшими нѣсколько суровымъ проницательный взглядъ его выразительныхъ глазъ. Какъ на солнце, неловко было новичку смотрѣть прямо въ лицо Мюллера.

Клиники Руста въ Charité считались тогда молодыми нѣмецкими врачами едва-ли не самыми образцовыми въ цѣлой Германіи. И дѣйствительно, Рустъ былъ, въ извѣстномъ смыслѣ, наиболѣе реалистъ между врачами тогдашняго времени. Онъ

хотѣлъ основать свою діагностику исключительно на однихъ объективныхъ признакахъ болѣзни, и потому требовалъ въ своей клиникѣ отъ практикантовъ, прежде разспроса больного объ анализѣ и субъективныхъ признакахъ, изслѣдованія того, что можно видѣть и осязать собственными чувствами. Принципъ превосходный. Разспросы и рассказы больного, особливо не-образованнаго, нерѣдко служатъ, вмѣсто раскрытія истины, къ ея затемненію. Но медицина, не говоря уже о временахъ Руста, и до сихъ поръ не владѣетъ еще такимъ запасомъ надежныхъ физическихъ или органическихъ, т.-е. объективныхъ, признаковъ, на который можно было бы положиться, не прибѣгая къ разспросамъ больного и не полагая ихъ въ основу распознаванія. И вотъ, Рустъ, въ своей самонадѣянности, при маломъ запасѣ вѣрныхъ физическихъ признаковъ болѣзней, поневолѣ допускалъ цѣлую кучу мечтательныхъ.

Не имѣя, по тогдашнему состоянію патологической анатоміи, прочной органической почвы подъ ногами, Рустъ ввелъ въ діагностику весьма сомнительные признаки и различія болѣзней по дискразіямъ и помѣсамъ дискразій. „Rheumatischer, arthritischer, scrophulöser Natur“, — эти эпитеты постоянно слышались при опредѣленіи болѣзней въ клиникѣ Руста. Мало этого: Рустъ, изъ привязанности къ своему принципу — *pro majore (non Dei, sed Rustii) gloria*, прибѣгалъ въ своей клиникѣ къ шарлатанству. Его ординаторы (*Stabsärzte*) доносили ему, до клинической лекціи, о свойствахъ болѣзней вновь поступившихъ больныхъ, а онъ діагностицировалъ потомъ передъ слушателями, какъ будто бы по однимъ объективнымъ признакамъ, и попадалъ иногда въ просакъ. Однажды ординаторъ Руста доложилъ ему о поступленіи двухъ больныхъ въ *Charité*: одного съ переломомъ ключицы, а другого съ онѣмѣніемъ плеча отъ удара молніей. Вывели обоихъ ихъ въ аудиторію.

— „Что это такое?“ — спрашиваетъ Рустъ у практиканта, показывая на одного изъ больныхъ, придерживающаго локоть одной руки другою.

Практикантъ хочетъ изслѣдовать.

— „Не надо тутъ изслѣдовать! — восклицаетъ Рустъ: — тутъ съ перваго же взгляда, *par distance*, можно вѣрно опредѣлить, въ чемъ дѣло“.

Всѣ напрягли вниманіе, слушаютъ и смотрятъ.

— „Это переломъ ключицы, несомнѣнно, — утверждаетъ Рустъ:—это видно изъ положенія тѣла“...

Въ это время тихо подходитъ къ нему его ординаторъ и что-то шепчетъ ему на ухо.

— „Гм... гм...—спохватился Рустъ: — да, это вотъ тотъ больной, другой, а этотъ парализованъ отъ удара молніей“.

Если бы въ то время было дозволено посѣщеніе больныхъ слушателями въ самыхъ палатахъ Charité, то, вѣрно, діагностическіе промахи всплывали бы гораздо чаще наружу, а то учреждено было такъ, что вновь поступившаго больного присылали въ клиническую аудиторію; здѣсь опредѣляли болѣзнь, назначали леченіе, потомъ уносили больного, и о немъ—ни слуху, ни духу. Но, несмотря на эти предосторожности, случалось все-таки не очень рѣдко, что язва, опредѣленная Рустомъ по всѣмъ правиламъ его знаменитой гелкологіи (Helcologie), т.-е. по всѣмъ объективнымъ признакамъ, какъ несомнѣнно артритическая (ulcus arthriticum), изъ разспросовъ больного оказывалась безъ всякихъ другихъ признаковъ артрита. Это не мѣшало, однако-же, признавать такую язву и лечить ее какъ артритическую, на томъ основаніи, что другіе припадки подагры могутъ появиться впоследствии.

Ходить, между прочимъ, еще одинъ забавный *qui pro quo* изъ Рустовской клиники, вѣроятно, выдуманный (*è bene trovato*).

Сынъ Руста, молодой докторантъ, ограниченный до глупости, записанный въ практиканты, получилъ для опредѣленія болѣзни вновь поступившаго въ Charité старика, страдавшаго большою кровоточивою (вѣроятно, варикозною) язвою на ногѣ.

По Рустовской гелкологіи, такая язва непременно должна была быть геморроидальною; между тѣмъ молодой Рустъ ломаетъ себѣ голову; старый Рустъ хочетъ вывести сына изъ затрудненія и помогать ему въ діагнозѣ разными намеками. Ничто не помогаетъ. Наконецъ, старый Рустъ говоритъ сыну:

— „Да вспомни, чѣмъ твой отецъ такъ часто страдалъ въ жизни; по его обычной болѣзни назови и эту язву на ногѣ“.

— *Ulcus syphiliticum!*—вдругъ выпалилъ сыночекъ.

— „Schaafskopf!“ (болванъ!) — пробормоталъ отецъ и вы- звалъ другого практиканта.

Несмотря на всѣ эти недостатки, Рустовъ способъ діагноза былъ въ то время такъ привлекателенъ своею кажущеюся положительностью и точностью, что принять былъ и другими клиницистами. Я и самъ, признаюсь, въ первые годы моей клинической дѣятельности въ Дерптѣ держался этого способа и увлекалъ имъ молодежь. И теперь, когда объективизмъ въ медицинѣ сдѣлался гораздо точнѣе и надежнѣе, предварительный діагнозъ по однимъ объективнымъ признакамъ, до разспроса больного, я считаю болѣе надежнымъ; никому, однако-же, изъ молодыхъ врачей не посоветую основываться на этомъ одномъ предварительномъ распознаваніи болѣзни, считая необходимымъ, послѣ разспроса и разсказовъ больного, снова повторить свой объективный діагнозъ, нерѣдко послѣ этихъ разспросовъ требующій еще и новаго разслѣдованія.

Рустъ въ помощники себѣ въ Charité выбралъ Диффенбаха и поручилъ ему оперативную часть. Едва-ли когда самъ Рустъ былъ хорошимъ операторомъ; можетъ быть, онъ былъ смѣлымъ, но ему не доставало ни ловкости, ни анатомическихъ свѣдѣній. Въ мое время онъ уже не оперировалъ; только однажды какъ-то, въ отсутствіе Диффенбаха, онъ взялъ ножъ въ руки для операціи большой ущемленной грыжи.

— „Я вамъ покажу, — сказалъ онъ слушателямъ, — какъ старикъ Рустъ оперируетъ“, — и махнулъ смѣло ножемъ по грыжевому мѣшку.

Предполагалъ ли онъ омертвѣніе уже кишки и хотѣлъ ли вскрыть ее вмѣстѣ съ грыжевымъ мѣшкомъ, — не знаю; этого не зналъ никто, смотря на всю процедуру издали; но фактъ тотъ, что вслѣдъ за смѣлымъ Рустовскимъ надрѣзомъ со свистомъ вылетѣли вѣтры и ручьемъ полились испраженія. О больномъ, по обыкновенію, не было потомъ ни слуху, ни духу.

Диффенбахъ, въ то время еще не разсорившійся съ Рустомъ, шелъ въ гору. Его пластическія операціи пріобрѣли ему тогда славу и имя. И дѣйствительно, это былъ геній-самородокъ для пластическихъ операцій.

Изобрѣтательность Диффенбаха въ этой хирургической спеціальности была безпредѣльная.

Каждая изъ его пластическихъ операцій отличалась чѣмъ-нибудь новымъ, импровизированнымъ. И это необыкновенное искусство—при весьма ограниченныхъ научныхъ свѣдѣніяхъ, при полномъ незнаніи анатоміи и фізіологіи! Кромѣ пластическихъ операцій, Диффенбахъ хорошо и счастливо дѣлалъ грыжесѣченія; но прочія операціи выходили у него вовсе не мастерски сдѣланными. Рассказывали, что Диффенбахъ приобрѣлъ большую ловкость въ шиваніи ранъ, бывъ долго такъ-называемымъ фликеромъ (Fliecker) при студенческихъ дуэляхъ въ Кенигсбергѣ; тамъ же онъ практиковалъ и въ берейторской школѣ. Диффенбахъ отлично ѣздилъ верхомъ.

Съ виду это былъ приземистый, широкоплечій мужчина, лѣтъ 40, съ умнымъ, красивымъ лицомъ, высокимъ лбомъ, римскимъ носомъ, небольшими, изъ глубины смотрѣвшими, умными глазами, но очень тонкимъ и слабымъ, не соответствующимъ широко-сложенной груди, голосомъ. *Privatissimum* Диффенбаха, стоявшее дорого (4 большихъ фридрихсдора съ cadaго изъ 7—8 слушателей), было мнѣ только тѣмъ полезно, что доставило мнѣ случай видѣть нѣсколько замѣчательныхъ (и тогда еще новыхъ) пластическихъ операцій; а все другое, излагавшееся намъ Диффенбахомъ на этомъ *privatissimum*, не стоило и выѣденнаго яйца. Онъ показалъ нѣсколько своихъ пластическихъ операцій на трупѣ, мямля по обыкновенію и выпускающая изъ горла намъ, и то неохотно, одно слово за другимъ; въ ораторы онъ не годился. Его надо было видѣть какъ оператора-специалиста, но не слушать, что онъ говоритъ.

Съ Грефе, а потомъ и съ Рустомъ, Диффенбахъ былъ на ножахъ.

Съ Грефе — потому, что это былъ человѣкъ совершенно другой масти; а съ Рустомъ—потому, что тотъ не давалъ ему хода въ *Charité*; да къ тому еще на консультаціи у барона фонъ-Альтенштейна, болѣвшаго карбункуломъ, Рустъ (самъ) перемѣнилъ безъ всякихъ объясненій съ другими врачами, способъ леченія, сказавъ Диффенбаху, какъ бы въ извиненіе своей неучливости: „*Sie sind doch meine Leute*“ ¹⁾, на что Диффенбахъ замѣтилъ: „*Ich bin kein Leibeigener*“ ²⁾.

¹⁾ Вы все-таки мои люди.

²⁾ Я вовсе не крѣпостной.

Послѣ ссоры Диффенбахъ при насъ ругалъ иногда Charité на чемъ свѣтъ стоитъ:

— „Das ist eine Mordgrube!“ ¹⁾—и онъ былъ правъ.

Charité во все время нашего пребыванія было резервуаромъ госпитальной нечисти (госпитальнаго антонова огня) и гнойнаго зараженія.

Да и долго спустя послѣ того, въ 1864 году, при посѣщеніи клиники профессора Юнгкена въ Charité, госпитальная нечисть не исчезла; Jungken, для предохраненія отъ нея, прижигалъ еще свѣжія раны послѣ операций раскаленнымъ желѣзомъ. При мнѣ, послѣ извлеченія большого секвестра изъ бедровой кости, онъ прижегъ все душло, изъ предосторожности, раскаленнымъ желѣзомъ.

И самому Русту не мало тогда доставалось отъ Диффенбаха. Онъ не женировался насмѣхаться надъ Рустомъ во всеуслышаніе, гдѣ только могъ.

Наружность Руста, дѣйствительно, немногихъ располагала въ его пользу. Это былъ старый подагрикъ, приземистый, низенькій ростомъ, съ сѣдыми длинными и густыми волосами, рѣзко отдѣлявшимися на красномъ, какъ піонъ, фонѣ широкаго, грубаго лица; глаза только не потеряли своего блеска, и умно и бойко смотрѣли изъ-подъ сѣдыхъ нависшихъ бровей и сверху надвинутыхъ на нихъ большихъ серебряныхъ очковъ; голову прикрывалъ зеленый суконный картузь, въ которомъ Рустъ сидѣлъ и въ клинической аудиторіи. На ногахъ—нерѣдко плисовые сапоги, подъ ногами—всегда коврикъ.

Не мудрено, что такая оригинальная наружность подвергалась ѣдкимъ сарказмамъ непріятелей. Диффенбахъ на одномъ многолюдномъ вечерѣ, гдѣ много говорилось о старинѣ, на рассказъ одного профессора о томъ, что еще не очень давно называли Руста „Gelbschnabel“ (молокосось), Диффенбахъ замѣтилъ, что гораздо приличнѣе было бы для Руста названіе „Blauschnabel“ ²⁾.

Не одинъ Диффенбахъ, впрочемъ, выбиралъ Руста предметомъ насмѣшекъ. Самъ наслѣдный принцъ, любившій Руста

¹⁾ Это могила.

²⁾ Зоол.—вьюрокъ китайскій.

и пожаловавши его въ свои лейбъ-медики, издалъ на него презабавную карикатуру, долго выставлявшуюся на окнахъ магазиновъ Подъ-Липами.

Рустъ былъ защитникомъ карантинной системы во время холеры и возбудилъ этимъ противъ себя все народонаселеніе. Вотъ по этому-то случаю и явилась карикатура, изображающая большого воробья съ фізіономією Руста, запертаго въ клѣтку съ надписью:

„Passer rusticus“.
„Der gemeine Landsperling“.

Вся острота—въ словахъ rusticus и Sperling.

Landsperre—это карантинная система.

Диффенбахъ, во время нашего пребыванія въ Берлинѣ, ѣздилъ въ Парижъ и тамъ дебютировалъ въ клиникѣ Лисфранка, передъ парижскою аудиторією, съ своею блефаропластикой (искусственное образованіе нижняго вѣка). Возвратясь, видимо польщенный хорошимъ приемомъ у французовъ, онъ рассказывалъ намъ какъ любезенъ былъ съ нимъ Лисфранкъ и друг., какъ вся аудиторія рукоплескала ему за сдѣланную имъ еще невиданную нигдѣ операцію.

Зато Диффенбаху очень не понравились Вельпо и англичане.

— „Вельпо, — сказывалъ намъ Диффенбахъ, — это какой-то *anatomicus chirurgicus*“, — по мнѣнію Диффенбаха, это была самая плохая рекомендація для хирурга, — „а англичане—это настоящіе бифштексы“.

— „Вообразите, — говорилъ Диффенбахъ: — старый Астлей Куперъ, проѣзжавшій черезъ Парижъ, полагалъ, что я французскій докторъ изъ госпиталя St. Louis; такъ онъ и отнесся ко мнѣ, никогда прежде ничего не слыжавъ обо мнѣ“.

Вельпо не остался, впрочемъ, въ долгу у Диффенбаха. Когда я посѣтилъ его, въ 1837 г., въ бытность мою въ Парижѣ, Вельпо такъ отнесся о берлинскомъ геніѣ:

— „Знакомы ли вы съ значеніемъ нашего слова *gascon* ¹⁾ и—*gasconade*?“

¹⁾ Хвастунъ.

— Знаю.

— „Ну, так m-r Diffenbach показался мнѣ gascon'омъ, а его разные подвиги—гасконадами“.—Въ этомъ замѣчаніи Вельпо нельзя не признать значительную долю правды.

Проф. Юнгкенъ, окулистъ и клиницистъ Charité, принадлежалъ также къ сторонникамъ Руста; такимъ онъ остался, если не ошибаюсь, до конца. Это былъ настоящій и чистокровный доктринеръ. Онъ представлялъ и своимъ ученикамъ, и, какъ я полагаю, самому себѣ современное ученіе,—то-есть до чего дошелъ Рустъ и онъ самъ,—чѣмъ-то законченнымъ, не подлежащимъ сомнѣнію; прогрессъ могъ быть только въ томъ же самомъ направленіи. Такъ, по крайней мѣрѣ, выходило изъ его клиническихъ лекцій. Ни малѣйшаго скептицизма не допускалось. Все было ясно и точно, какъ дважды два—четыре. Глазныя бленорреи должны были лечиться только однимъ противовоспалительнымъ способомъ.

Разбирая однажды передъ нами случай сильнѣйшей глазной бленорреи, Юнгкенъ, назначивъ свое обыкновенное леченіе—пѣвки и ледяныя примочки, съ необыкновенною самонадѣянностью объявилъ намъ: „Ich breche den Stab über den Kopf desjenigen Arztes, der nicht im Stande ist eine solche Blenorhoe zu kuriren!“ (Я ломаю палку о голову того врача, который не въ состояніи вылечить такую бленоррею!)

Черезъ три дня оба глаза оказались пропавшими отъ изъязвленія роговой оболочки, и Юнгкенъ, стоя возлѣ постели несчастнаго слѣпца, молча пожималъ только плечами. Но Юнгкенъ былъ честный и добросовѣстный врачъ,—онъ не скрылъ отъ насъ этого несчастнаго случая, хотя и могъ бы, какъ другіе, легко это слѣлать.

Національность Грефе едва-ли можно было опредѣлить по его наружности, она свидѣтельствовала настолько же о нѣмецкомъ, насколько и о славянскомъ происхожденіи. Противники Грефе распускали даже слухъ и о семитскомъ его происхожденіи.

Несомнѣнно только—это признавалъ и самъ Грефе,—что онъ былъ родомъ изъ Польши и тамъ провелъ свою молодость.

Гораздо характернѣе фizioноміи была прическа Грефе—unicum въ своемъ родѣ: длинные, почти черные, съ просѣдью

волосы гладко-на-гладко зачесывались и примазывались справа налево и закрывали значительную часть лба, чуть не до густых черных бровей. Круглому, полному лицу эта прическа сообщала какой-то странный, похожий на куклу, видъ.

Отличительною чертою Грефе была изысканная учтивость со всѣми. Къ слушателямъ онъ обращался не иначе, какъ съ эпитетомъ: „meine hochgeschätzte, meine verehrte Herren“ (высокоуважаемые, высокопочитаемые господа); къ больнымъ изъ низшихъ классовъ: „mein liebster Freund“ (любезнѣйшій другъ).

Но когда дѣлалось что-нибудь не по немъ, то онъ легко выходилъ изъ себя. Видно было, что учтивость и кажущаяся невозмутимость были искусственныя.

Человѣкъ былъ хорошо выдержанъ, и въ этомъ и во всемъ остальномъ Грефе былъ полный контрастъ съ Рустомъ; недаромъ и жили они какъ кошка съ собакой. Причесанный, какъ прилизанный, всегда элегантно одѣтый или затянутый въ синій мундиръ съ толстыми эполетами, Грефе входилъ тихо и сѣменя ногами, походкою табетиковъ, въ аудиторію, раскланивался во всѣ стороны и, обводя всю аудиторію глазами, начиналъ пѣть: — „Meine hochgeschätzte Herren“...

Рустъ являлся въ своемъ старомъ зеленомъ картузѣ, съ висѣвшими изъ-подъ него по плечамъ растрепанными сѣдыми волосами, съ тростью, которой не выпускалъ изъ рукъ, и жестикулировалъ ею во все время лекцій. — „А это что за опухоль? а это что за краснота?“ — спрашивалъ Рустъ, указывая издали своею палкою на больное мѣсто пациента.

Вмѣсто сладкопѣнія и деликатнаго обращенія являлись на сцену: „Donner Wetter, sind Sie toll!“ etc. (чортъ возьми, вы одурѣли! и проч.).

Въ клинику Руста всѣ шли, чтобы слышать оракульское изреченіе врача-оригинала. Про операціи, дѣлавшіяся въ Charité, самые неопытные студенты говорили, что тамъ надо учиться — какъ не дѣлать операціи. И Рустъ имѣлъ болѣе самыхъ фанатическихъ приверженцевъ между молодыми врачами и слушателями.

Въ клинику Грефе ходили, чтобы видѣть истиннаго маэстро, виртуоза-оператора. Операціи удивляли всѣхъ ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенною скоростью производства.

Ассистенты Грефе, и именно главный д-ръ Ангельштейнъ, уже пожилой и опытный практикъ (онъ имѣлъ и въ городѣ значительную практику), знали наизусть всё требованія и всё хирургическія замашки и привычки своего знаменитаго маэстро.

У Ангельштейна вездѣ были натыеканы инструменты Грефе, ему не надо было говорить: „сдѣлай то или другое“, во время операцій,—все дѣлалось само собою, безъ словъ и разговоровъ. Грефе для каждой операціи повывдумывалъ много разныхъ инструментовъ, теперь уже почти забытыхъ, но во времена оны расхваленныхъ и всегда употреблявшихся самимъ изобрѣтателемъ. Онъ только самъ и умѣлъ владѣть ими. Въ клиникѣ Грефе было въ особенности то хорошо, что практиканты всё могли слѣдить за больными и оперированными и сами допускались къ производству операцій, но не иначе какъ по способу Грефе и инструментами его изобрѣтенія.

Мнѣ, какъ практиканту, досталось также сдѣлать три операціи: вырѣзать два липома и вылущить большой палецъ руки изъ сустава. Грефе былъ доволенъ, но онъ не зналъ, что всё эти операціи я сдѣлалъ бы вдесятеро лучше, если бы не дѣлалъ ихъ неуклюжими и мнѣ несподручными инструментами.

Грефе былъ, безъ сомнѣнія, отъ природы ловокъ и сноровистъ; иначе,—безъ всякаго знанія анатоміи, безъ упражненій надъ трупами, которыя Грефе считалъ совершенно неподходящими къ операціямъ на живыхъ,—какъ могъ бы онъ сдѣлаться истиннымъ виртуозомъ хирургіи?

Между тѣмъ пальцы его—мясистые, закругленные и короткіе — вовсе не свидѣтельствовали объ особенной ловкости.

Ежегодно, въ день рожденія Грефе, его слушатели и практиканты, большею частію иностранцы, дѣлали складчину, покупали кубокъ или другую какую вещь съ приличною надписью и подносили своему маэстро.

Это былъ едва-ли не единственный способъ изъявленія признательности и уваженія наставнику. Болѣе задушевнымъ сочувствіемъ своихъ, и именно туземныхъ, учениковъ маэстро не пользовался. Онъ задавалъ обыкновенно банкетъ въ день своего рожденія, на которомъ онъ угощалъ своихъ гостей разными деликатесами и винами, а гости угощали его лъстивыми тостами, называя его „Unser deutscher Dupuytren“, и. т. п.

Послѣ одного такого банкета Грефе позвалъ меня въ кабинетъ, гдѣ, оставшись наединѣ со мною, спросилъ: не знакомъ ли мнѣ одинъ окулистъ въ С.-Петербургѣ, пріобрѣтшій такую знаменитость, что его императоръ Николай рекомендуетъ настоятельно королю для наслѣднаго ганноверскаго принца? Надо знать, что во время пребыванія Николая Павловича въ Берлинѣ туда пріѣхалъ для консультаціи и леченія глазной болѣзни наслѣдный ганноверскій принцъ. Грефе, какъ лейбъ-медикъ или лейбъ-хирургъ прусскаго короля, назначилъ операцію искусственнаго зрачка, дѣлая ее безъ успѣха, если не ошибаюсь, два раза у принца, хотѣлъ-было дѣлать потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, и въ третій разъ, поѣхалъ съ этой цѣлью въ Ганноверъ, но по дорогѣ занемогъ тифомъ и умеръ.

Я очень удивился, услышавъ отъ Грефе, что нашъ императоръ настойчиво предлагаетъ въ конкурренты съ маэстро Грефе своего вѣрноподданнаго. Въ такомъ случаѣ этотъ вѣрноподданный, дѣйствительно, уже знаменитость. Кто же это такой былъ? Ума не приложу. Въ первый разъ слышу. Наконецъ, я узналъ, что сія знаменитость, рекомендованная императоромъ королю прусскому, былъ не кто иной, какъ с.-петербургскій мѣщанинъ Орѣшниковъ.

Въ С.-Петербургѣ, на Васильевскомъ Островѣ, этотъ гражданинъ открылъ, съ разрѣшенія правительства, глазную больницу для приходящихъ.

Орѣшниковъ прежде всего запасася огромнымъ увеличительнымъ стекломъ съ длинною рукояткою, и объявилъ себя самымъ ярымъ противникомъ извѣстнаго въ то время петербургскаго окулиста Василія Васильевича Лерхе. Экзаменуя своихъ больныхъ черезъ увеличительное стекло, Орѣшниковъ спрашивалъ у каждого, не былъ ли онъ на Моховой у Лерхе, и когда больной отвѣчалъ утвердительно, то Орѣшниковъ интересовался знать, какъ опредѣлилъ болѣзнь д-ръ Лерхе. — „Да что, сказалъ, что полуда“, — такъ, примѣрно, рассказывалъ пациентъ. На такой отвѣтъ Орѣшниковъ качалъ головою, снова наводя на глаза пациента увеличительное стекло, снова качалъ подозрительно головою и говорилъ во всеуслышаніе: — „Ай, Василій Васильевичъ, опять маху далъ! Какая же это тутъ по-

луда? Это просто бѣльмо. Не безпокойся, дружокъ, будешь видѣть; вотъ тебѣ моя примочка“.

Грефе, нѣсколько, какъ мнѣ казалось, встревоженный настойчивою рекомендаціею какъ будто изъ земли выросшаго конкуррента такою особою, какъ императоръ всероссійскій, потомъ успокоился, когда узналъ, что Орѣшниковъ не былъ операторъ, а въ Германіи давно и всѣмъ уже было слишкомъ извѣстно, что только операціею можно возстановить зрѣніе принца.

Какъ ни полезны и какъ ни поучительны были для меня занятія у Шлемма и въ клиникахъ Грефе, Руста и Юнгкена, но всего нагляднѣе была для меня польза, принесенная мнѣ упражненіями въ оперативной хирургіи надъ трупами въ Charité.

Однажды я узналъ отъ студентовъ, что въ Charité можно присутствовать иногда при вскрытіи труповъ; мнѣ показали и мѣсто, гдѣ производятся эти вскрытія. Я отправился, прихожу — и не вѣрю тому, что вижу.

Въ маленькой комнатѣ, помѣщавшей въ себѣ два стола, на каждомъ изъ нихъ лежало по два—три трупа, и у одного стола — вижу — стоитъ женщина, сухощавая, въ чепцѣ, въ клеенчатомъ передникѣ и такихъ же зарукавникахъ, вскрывая чрезвычайно скоро и ловко одинъ трупъ за другимъ. Тогда еще не видано и не слыхано было, чтобы женщины посвящали себя анатомическимъ занятіямъ; видя, что меня не гонять, и кромѣ меня никого нѣтъ изъ студентовъ, я приблизился къ интересной дамѣ и весьма учтиво поклонился.

— „Wünschen Sie was von mir?“ (угодно вамъ что отъ меня?) — спрашиваетъ она меня.

— Да, мнѣ хотѣлось бы присутствовать чаще при вскрытіяхъ, — отвѣчаю я.

— „Что же! приходите хотя каждый день; кромѣ меня до сихъ поръ никто еще не вскрывалъ. Только недавно назначенъ профессоръ Фроріепъ“.

— А другіе клиническіе профессора Charité?

— „Что вы! да развѣ они что понимаютъ въ этомъ дѣлѣ? Вотъ, еще вчера, никто мнѣ не вѣрилъ, что при вскрытіи одного

трупа я найду огромный экгудать въ груди, а за милою видно было, что вся половина груди растянута. Я имъ и показала“.

— Позвольте узнать ваше имя?

— „Я—madame Vogelsang“.

— Такъ вотъ что, madame Vogelsang: не можете ли вы доставить мнѣ случай упражняться на трупахъ?

— „Почему не такъ. Ко мнѣ приходили иногда иностранцы, и я имъ показывала операціи на трупахъ. У меня для этого есть и хирургическіе инструменты“.

— Такъ потрудитесь объявить мнѣ ваши условія,—заявляя я.

— „У меня опредѣлено 1 талеръ за цѣлый трупъ—тогда вы можете сдѣлать на немъ какія вамъ угодно операціи—и 15 Silbergroschen за перевязку артеріи на конечностяхъ и за вылуцненіе изъ суставовъ, но съ тѣмъ, чтобы не дѣлать никакихъ лоскутовъ“ (то-есть не обрѣзывать совсѣмъ вылуцненнаго изъ сустава члена)...

Дѣло рѣшено. Я выдаю задатокъ 3 талера. Дни и часы назначаются г-жею Фогельзангъ всякій разъ съ вечера; она будетъ присылать нарочнаго или скажетъ сама въ клиникѣ Руста.

M-me Vogelsang—эта интересная особа прежде была повивальною бабкою, а потомъ изъ любви къ искусству, какъ она увѣряла, посвятила себя анатоміи и практически знала ее бойко. Вылуцнить суставъ по всѣмъ правиламъ искусства, найти артерію на трупѣ—это было легкое дѣло для m-me Vogelsang.

Въ то время Берлинъ былъ экзаменаціоннымъ „rendez-vous“ для всѣхъ врачей прусскаго королевства, и каждый изъ нихъ, на такъ-называемомъ государственномъ экзаменѣ (Staats-Examen), обязанъ былъ демонстрировать предъ экзаменаторами внутренности груди, живота in situ.

Вотъ этотъ-то экзаменъ in situ и заставлялъ прибѣгать экзаменующихся къ анатомическимъ знаніямъ г-жи Фогельзангъ.

Она достигла совершенства въ разъясненіи и наглядномъ опредѣленіи положенія грудныхъ и брюшныхъ внутренностей, а также мозга и основанія черепа.

Никто не былъ такъ вхожъ ко мнѣ, какъ m-me Vogelsang. И рано утромъ, и поздно вечеромъ она являлась ко мнѣ съ

какимъ-нибудь препаратомъ въ рукахъ или съ извѣстіемъ о предстоящемъ упражненіи на трупѣ въ „Charité“.

Я не зналъ ни одного женскаго лица менѣ красиваго и болѣе оригинальнаго фізіономіи г-жи Vogelsang. Уже лѣтъ за 40, съ волосами на головѣ, похожими на паклю, съ сухимъ, изрытымъ глубокими бороздами, но необыкновенно подвижнымъ лицомъ, m-me Vogelsang очень смахивала на проворную, юркую обезьяну.

Но она доставила мнѣ для упражненій не одну сотню труповъ, и потому я ее считалъ дорогимъ для себя человѣкомъ.

Въ одно время съ нами прибыли въ Берлинъ нѣсколько русскихъ изъ Москвы и Петербурга, впоследствии занявшихъ должности ординаторовъ въ разныхъ столичныхъ госпиталяхъ; изъ нихъ всѣхъ болѣе сблизился со мною Вл. Аѳ. Караваевъ (родомъ изъ Вятки).

Караваевъ окончилъ курсъ въ казанскомъ университетѣ. Познакомившись въ этомъ университетѣ только по слухамъ съ хирургіею (профессоръ хирургіи въ то время, если не ошибаюсь, Фогель, имѣлъ скорченные отъ предшествовавшей болѣзни пальцы и не могъ держать ножа), онъ отправился въ Петербургъ и опредѣлился ординаторомъ въ Маріинскій госпиталь, гдѣ и видѣлъ въ первый разъ нѣсколько операцій, произведенныхъ Буяльскимъ.

Несмотря на такую слабую подготовку, Караваевъ чувствовалъ въ себѣ особое влеченіе къ хирургіи; это я замѣтилъ при первомъ же нашемъ знакомствѣ. Я посоветовалъ ему тотчасъ же заняться анатоміею и отправиться по адресу къ m-me Vogelsang.

Цѣлый годъ онъ былъ моимъ неизмѣннымъ спутникомъ при упражненіяхъ надъ трупами, а потомъ по моему же совету отправился въ Геттингенъ, къ Лангенбеку.

Въ 1837 году Караваевъ явился въ Дерптъ, держалъ еще у меня экзаменъ, до отъѣзда моего въ этомъ же году въ Парижъ, дѣлалъ вмѣстѣ со мною опыты надъ животными по вопросу, много меня интересовавшему въ то время, — о признакѣ развитія гнойнаго зараженія крови (піеми).

Этотъ вопросъ я и посоветовалъ Караваеву выбрать предметомъ его докторской диссертации. Я могу по праву считать

Каваева однимъ изъ своихъ научныхъ питомцевъ: я направилъ первые его шаги на поприще хирургіи и сообщилъ ему уже избранное мною направленіе въ изученіи хирургіи.

Лѣтнею вакаціею 1834 года я воспользовался для посѣщенія Геттингена и, чтобы застать еще лекціи, отправился изъ Берлина еще задолго до окончанія семестра.

Меня интересовалъ въ Геттингенѣ, разумѣется, всего болѣе Лангенбекъ. Ученики его, пріѣзжавшіе иногда въ Берлинъ, относились съ искреннимъ энтузіазмомъ о своемъ знаменитомъ учителѣ всей Германіи того времени. Лангенбекъ былъ единственный хирургъ-анатомъ. Знанія его анатоміи были такъ же обширны, какъ и хирургіи.

Кромѣ этихъ двухъ категорій хирурговъ-анатомовъ и хирурговъ-техниковъ (которыхъ Лисфранкъ въ Парижѣ очень мѣтко называлъ *chirurgiens menuisiers*), — въ 1830-хъ годахъ можно было различить и еще двѣ категоріи, имѣвшія въ то время не менѣе важное значеніе. Въ то время анестезированіе и анестезирующія средства еще не были введены въ хирургію, и потому немаловажное было дѣло для страдающаго человѣчества претерпѣть какъ можно меньше мученій отъ производства операцій. Быстротечная, почти скоростигшая смерть постигала иногда оперируемаго вслѣдствіе нестерпимой боли.

Операція, какъ и всякій другой пріемъ, могла причинить смертный *shock* отъ одной только боли у особъ чрезвычайно раздражительныхъ. Итакъ, не мудрено, что значительная часть хирурговъ поставила себѣ задачею способствовать всѣми силами быстрому производству операцій. Но какъ усовершенствованіе хирургической техники въ этомъ направленіи (т.-е. съ цѣлью уменьшить сумму страданій быстрымъ производствомъ операцій) весьма трудно, даже невозможно для многихъ, и, сверхъ того, скорость производства нерѣдко можетъ сдѣлать операцію невѣрною, ненадежною и небезопасною, то, понятно, многіе изъ хирурговъ сильно вооружены были противъ всякой спѣшности въ производствѣ, а нѣкоторые дошли до того, что объявили себя защитниками противоположнаго принципа, утверждая, что чѣмъ медленнѣе дѣлана будетъ операція, тѣмъ болѣе она дастъ надежды на успѣхъ.

Французскій хирургъ Ру укорялъ всѣхъ англійскихъ хирурговъ въ ненужной и мучительной медленности при производствѣ операцій.

Въ Германіи къ категоріи хирурговъ, по принципу стоявшихъ за быстрое производство операцій, можно было отнести именно двухъ корифеевъ — Грефе и Лангенбека. Первый достигалъ этого врожденною ловкостью и разными техническими приёмами; второй — отчетливымъ знаніемъ анатомическаго положенія частей и основанными на этомъ знаніи, имъ изобрѣтенными, оперативными способами.

Хотя я и отношу Лангенбека и Грефе къ одной категоріи, имѣя въ виду только одну сторону ихъ искусства, но въ самомъ производствѣ операцій существовало громадное различіе, и это не могло быть иначе, потому что не было двухъ людей, менѣе сходныхъ между собою.

Грефе оперировалъ необыкновенно скоро, ловко и гладко. Лангенбекъ оперировалъ скоро, научно и оригинально.

Грефе отъ природы получилъ ловкость руки; но ни устройство руки, ни строеніе всего тѣла не свидѣтельствовали объ этой врожденной ловкости.

Лангенбекъ, напротивъ, былъ отъ природы такъ организованъ, что не могъ не быть ловкимъ и подвижнымъ. Атлетъ ростомъ и развитіемъ скелета и мышцъ, онъ былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, необыкновенно пропорціонально сложенъ. Ни у кого не видалъ я такъ хорошо сложенной и притомъ такой огромной руки. Лангенбекъ на своихъ анатомическихъ демонстраціяхъ укладывалъ цѣлый мозгъ на ладонь, раздвинувъ свои длинные пальцы; рука служила ему вмѣсто тарелки, и на ней онъ съ неподражаемою ловкостью распластывалъ мозгъ ножомъ. По истинѣ, это былъ хирургъ-гигантъ. Ампутируя по своему овално-коническому способу бедро въ верхней трети, Лангенбекъ обхватывалъ его одною рукою, поворачивался при этомъ, съ ловкостью военнаго человѣка, на одной ногѣ и приспособлялъ все свое громадное тѣло къ движенію и дѣйствію рукъ.

На его *privatissimum* я первый разъ видѣлъ это замѣчательное искусство приспособленія при операціяхъ движенія ногъ и всего туловища къ дѣйствію оперирующей руки; и это

дѣлалось не случайно, не какъ-нибудь, а по извѣстнымъ правиламъ, указаннымъ опытомъ.

Впослѣдствіи мои собственныя упражненія на трупахъ показали мнѣ практическую важность этихъ приѣмовъ.

И Лангенбекъ былъ не прочь похвалиться своею силою и ловкостью. Но это было не хвастовство фата, не смѣшное тщеславіе.

Къ Лангенбеку какъ-то шла похвала себѣ; такъ онъ разсказывалъ мнѣ, по-своему, отрывисто, съ удареніемъ на каждомъ словѣ, какъ онъ изумилъ одного англійскаго хирурга во время французской кампаніи. Этотъ сынъ Альбіона никакъ не хотѣлъ вѣрить Лангенбеку, что онъ по своему способу вылушиваетъ плечо изъ сустава только въ три минуты; представился случай послѣ одной битвы: раненаго француза (если не ошибаюсь) посадили на стулъ. Англичанинъ сталъ приготовляться къ наблюденію и надѣвать очки; въ это мгновеніе что-то пролетѣло передъ носомъ наблюдателя и выбило у него очки изъ рукъ; это нѣчто было вылущенное уже Лангенбекомъ и пущенное имъ на воздухъ, прямо въ Ому невѣрующаго, плечо.

Все, что сообщалъ намъ на лекціяхъ и въ разговорахъ Лангенбекъ, было интересно и оригинально.

Со многимъ нельзя было согласиться, но, и не соглашаясь, нельзя было не удивляться человѣку замѣчательному и по наружности, и по особенному складу ума, и по знанію дѣла. Лангенбекъ былъ, вѣрно, красавцемъ въ молодости, — такъ пріятно выразителенъ и свѣжъ былъ весь его обликъ. За версту можно было уже слышать его громкій и звонкій голосъ.

Къ характеристикѣ Лангенбека, какъ хирурга, относится еще одна весьма важная и оригинальная черта. Онъ возводилъ въ принципъ — при производствѣ хирургическихъ операцій избѣгать давленія рукою на ножъ и пилу.

— „Ножъ долженъ быть смычкомъ въ рукѣ настоящаго хирурга“.

— „Kein Druck, nur Zug“ ¹⁾.

И это были не пустыя слова.

Лангенбекъ научилъ меня не держать ножа полною рукою,

¹⁾ Не нажимъ, а тяга.

кулакомъ, не давить на него, а тянуть какъ смычокъ по разрываемой ткани. И я строго соблюдалъ это правило во все время моей хирургической практики вездѣ, гдѣ можно было это сдѣлать. Ампутаціонный ножъ Лангенбека былъ имъ придуманъ именно съ тою цѣлью, чтобы не давить, а скользить тонкимъ, какъ бритва, и выпуклымъ и дугообразно-выгнутымъ лезвѣемъ.

На нашемъ *privatissimum* случилась однажды бѣда съ этимъ ножомъ. Досадно было Лангенбеку, что передъ иностранцемъ, да еще и пріѣхавшимъ изъ Берлина, должна была случиться такая неудача. Дѣло въ томъ, что Лангенбекъ, одѣтый въ лѣтніе бланжевые брюки, башмаки и чулки, дѣлая передъ нами свою ампутацію бедра на трупѣ и по обыкновенію приговаривая при этомъ громко и внушительно: „nur Zug, kein Druck“, вдругъ со всего размаху попадаетъ остриемъ ножа себѣ въ икру. Кровь выступаетъ на бланжевыхъ брюкахъ и льетъ въ чулокъ и на полъ. Рана была довольно глубокая, зажила, однако-же, безъ послѣдствій. Лангенбекъ, вѣрно, угадывалъ наши мысли по случаю этого происшествія.

Конечно, мы не могли не думать такъ: уже если самъ маэстро дѣлаетъ съ своимъ ножомъ такіе промахи, такъ, значитъ, дѣло не ладно. И дѣйствительно, и Лангенбекъ, и Грефе, по свойственной всѣмъ людямъ слабости, изобрѣли не мало такихъ хирургическихъ процедуръ и инструментовъ, которые оставались употребительными только въ ихъ собственныхъ рукахъ. Но, разумѣется, ни Грефе, ни Лангенбекъ не отказывались отъ своихъ изобрѣтеній и продолжали отдавать имъ преимущество.

Жизнь въ маленькомъ провинціальномъ германскомъ университетѣ была въ то время довольно, а иногда таки и очень, патриархальная. Сближеніе съ профессорами было гораздо легче, чѣмъ въ столичномъ университетѣ; поэтому не мудрено, что я скоро и легко познакомился съ біографіею, міровоззрѣніями и даже причудами нѣкоторыхъ изъ геттингенскихъ профессоровъ.

Про самого Лангенбека не трудно было узнать, что онъ вставалъ очень рано, занимался почти цѣлый божій день, то

въ анатомическомъ театрѣ, то въ клиникѣ, то на дому. Одинъ студентъ, изъ курляндцевъ, жившій недалеко отъ Лангенбека, сказывалъ мнѣ, что, по его наблюденіямъ, Лангенбекъ бываетъ въ веселомъ расположеніи духа преимущественно, когда еврей-мѣняла, являвшійся обыкновенно по утрамъ, оставался на квартирѣ профессора долгое время.

Молодымъ, собиравшимся вокругъ Лангенбека, людямъ онъ любилъ говорить о встрѣченныхъ имъ въ жизни трудностяхъ, невзгодахъ и препятствіяхъ, побѣжденныхъ энергіею и здравымъ смысломъ. „Frisch in's Leben hinein! Frisch in's Leben hinein!“—это было его любимымъ афоризмомъ. „Kein Leichtsinn, aber einen leichten Sinn“—также было его правиломъ жизни.

Про другихъ, болѣе устарѣлыхъ, профессоровъ рассказывались разныя легенды. Про знаменитаго Блуменбаха, дожившаго, напримѣръ, едва-ли не до 90 лѣтъ, говорили, что онъ не можетъ, безъ вреда для своего организма, не читать лекціи, и онъ исполняетъ эту, сдѣлавшуюся для него уже органическою, функцію чрезвычайно добросовѣстно; приходитъ въ аудиторію, садится на кафедру, вынимаетъ тетрадку и читаетъ по ней не спѣша и съ разстановкою. Слушатели, не менѣе профессора привыкшіе къ его лекціямъ, нерѣдко, однако-же, бывали поражены quasi-замѣтками маститаго ученаго, произносимыми съ обычною медленностью и разстановкою: „hier muss ich ein Witz sagen“. Сначала никто не могъ въ толкъ взять, что означали эти отрывочныя афористическія замѣтки. Наконецъ, дѣло объяснилось. Тетрадки существовали еще съ того давняго времени, когда знаменитый ученый,—во цвѣтѣ лѣтъ и одаренный юморомъ,—острилъ на своихъ лекціяхъ и заблаговременно отмѣчалъ на поляхъ тетрадки, гдѣ и при какомъ случаѣ острога казалась ему уместною. Пришла старость. Содержаніе острогъ исчезло изъ памяти, а указаніе на острогу, оставшееся еще на поляхъ тетрадки, передавалось аудиторіи добросовѣстнымъ профессоромъ.

Во время моего пребыванія въ Геттингенѣ я познакомился съ племянникомъ Лангенбека, тогда еще молодымъ докторантомъ, ассистентомъ дяди, а потомъ занимавшимъ мѣсто Диффенбаха и Грефе въ Берлинѣ.

Молодой Лангенбекъ мнѣ памятенъ не потому только, что

я видѣлъ его постоянно при дядѣ, но еще по отрывочнымъ воспоминаніямъ.

Въ операционную залу къ старому Лангенбеку принесли больного съ некрозомъ бедра; профессоръ сталъ отыскивать се-квестръ и сдѣлалъ знакъ племяннику, чтобы онъ подалъ что-то (вѣроятно, зондъ или корнцангъ и т. п.), и вдругъ, къ моему удивленію, я вижу, что молодой Лангенбекъ подаетъ ампу-таціонный ножъ. „*Noch zu früh!*“ (еще рано),—замѣтилъ ему дядя.

Второе воспоминаніе совпадаетъ съ моею болѣзью. Я за-немогъ въ Геттингенѣ сильною жабою, перешедшею въ на-рывъ. Но прежде, чѣмъ нарывъ вскрылся, ему суждено было, —противъ моего желанія,—пройти черезъ руки хирурга. Опу-холь была очень сильная, и я, видѣвъ уже не разъ и въ Дерптѣ, и особливо въ Берлинѣ, леченіе жабы рвотнымъ, хотѣлъ уже принять его, какъ мой знакомый курляндецъ, струсивъ за меня, увѣдомилъ о моей болѣзни Лангенбека. Оба—дядя и племян-никъ,—были такъ любезны, что тотчасъ же пришли ко мнѣ на квартиру.

Старикъ Лангенбекъ, осмотрѣвъ мою пасть, тотчасъ же взялъ скальпель и всадилъ его почти на одинъ дюймъ въ опу-холь: вышло нѣсколько крови, но матеріи не показалось. Ночью на другой день нарывъ лопнулъ самъ по себѣ, и я скоро вы-здорѣлъ.

Странно: когда, въ 1864 году, я, по прошествіи 30 лѣтъ, въ первый разъ свидѣлся въ Берлинѣ съ моимъ старымъ зна-комымъ (Лангенбековымъ племянникомъ), то онъ тотчасъ же припомнилъ мнѣ мою болѣзнь, но при этомъ настойчиво увѣ-рялъ, что онъ самъ вскрылъ мнѣ нарывъ и выпустилъ гной. Мнѣ кажется, что я обязанъ въ этомъ случаѣ вѣрить болѣе моей, чѣмъ чужой памяти. Воспоминаніе о причиненной мнѣ бесполезной боли и о брани, которою я внутренне осыпалъ обоихъ Лангенбековъ и моего знакомаго курляндца за ихъ непрошенное вмѣшательство, сохранилось слишкомъ живо въ моей памяти, и я, испытавъ на себѣ хирургическій промахъ, старался потомъ, насколько могъ, предохранять другихъ людей отъ моихъ промаховъ.

Съ тѣхъ поръ рвотное служило мнѣ гораздо чаще ножа

къ вскрытію нарывовъ послѣ жабы. Изъ оперативныхъ способъ, предложенныхъ Лангенбекомъ, весьма немногіе сохранились еще въ современной хирургіи. Справедливость требуетъ еще замѣтить, что операціи Лангенбека изумляли не только быстротою, но и чрезвычайною, въ то время еще неслыханною, вѣроятностію и точностію производства. Мойеръ сказывалъ мнѣ, что его учитель, старый Ант. Скарпа, услышавъ про вылущеніе матки, сдѣланное успѣшно (безъ поврежденія брюшины), сказалъ:

— „Если это правда, то я готовъ ползти на колѣняхъ въ Геттингенъ къ Лангенбеку“.

Во второй категоріи нѣмецкихъ хирурговъ, то-есть къ защитникамъ медленнаго, по принципу, производства операцій, надо отнести, по преимуществу, Текстора въ Вюрцбургѣ.

У Текстора принципъ медленности доведенъ былъ до крайнихъ размѣровъ. Его аудиторія нерѣдко могла наслаждаться такого рода зрѣлищемъ. Больной лежитъ на операціонномъ столѣ, приготовленъ къ отнятію бедра. Профессоръ, вооруженный длиннѣйшимъ скальпелемъ, вскалываетъ его, какъ можно тише и медленнѣе, насквозь (спереди назадъ) черезъ мышцы бедра. Вколотый ножъ оставляется въ этой позиціи, и профессоръ начинаетъ объяснять слушателямъ, какое направленіе намѣренъ онъ дать ножу, какую длину и т. п.

Потомъ, выкроивъ одинъ изъ лоскутовъ, по мѣрѣ и какъ можно медленнѣе, снова начинается сужденіе объ образованіи второго лоскута. При этомъ профессоръ обращается нѣсколько разъ къ своей аудиторіи съ наставленіемъ:

— „So muss man operiren, meine Herren“.

И это все дѣлалось безъ анестезированія, при вопляхъ и крикахъ мучениковъ науки или, вѣрнѣе, мучениковъ безмозглаго доктринерства!

Что касается до меня, то мой темпераментъ и пріобрѣтенная долгимъ упражненіемъ на трупахъ вѣрность руки сдѣлали мнѣ, поистинѣ, противною эту злую медленность по принципу.

И въ послѣдствіи, когда анестезированіе, повидимому, дѣлало совершенно излишнимъ Цельсово „cito“,—и тогда, говорю, я остался все-таки того мнѣнія, что напускная медленность мо-

жетъ оказаться вредною: продолжительностью антестэзирования и травматизма.

Не одинъ механизмъ въ производствѣ операцій, не одна только техническая часть хирургіи рѣзко отличали клиники главныхъ представителей германской хирургіи.

Мы имѣли случай наблюдать, въ этихъ клиникахъ, и разные способы леченія ранъ. И именно, операторы по преимуществу: Лангенбекъ, Грефе и Диффенбахъ — всего болѣе ставили въ заслугу свои способы леченія ранъ.

Лангенбекъ терпѣть не могъ, когда иностранные и другіе врачи, посѣщавшіе его клинику, объясняли ему, думая сказать ему пріятное, что они издалека пріѣхали посмотреть на его операціи. Тогда онъ нарочно ждалъ и не дѣлалъ.

— „Die Kerls wollen, — говаривалъ онъ потомъ, — dass er schneidet. Er schneidet aber nicht“.

Въ мое время въ клиникѣ Лангенбека почти всѣ раны, — и послѣ большихъ ампутацій, — лечились черезъ нагноеніе, и когда вся полость раны была уже устлана мясными сосочками, края ея сближались и соединялись липкими пластырями.

У Диффенбаха можно было болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, видѣть превосходные образцы заживленія ранъ первымъ натяженіемъ. Никто изъ современныхъ Диффенбаху хирурговъ не сумѣлъ такъ отлично вести этотъ способъ на дѣлѣ. Этому способствовали введенный Диффенбахомъ шовъ и сноровка въ принятіи мѣръ предосторожности противъ сильнаго натяженія частей. Притомъ самая рана не завязывалась ни пластырями, ни повязками.

Въ клиникѣ Грефе, отличавшейся отъ Рустовской счастливыми результатами леченія послѣ большихъ операцій, раны послѣ такихъ операцій лечились своеобразно. За исключеніемъ англійскихъ хирурговъ, едва-ли кто изъ современныхъ Грефе хирурговъ въ Германіи и Франціи лечилъ эти раны такъ, какъ онъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что Грефе болѣе всѣхъ приближался къ современнымъ герметическимъ способамъ леченія большихъ ранъ. Грефе тщательно перевязывалъ при операціи всѣ кровоточивые сосуды, тщательно соединялъ края раны (то швомъ, то множествомъ липкихъ пластырей) наглухо, клалъ потомъ на закрытую уже рану корпію и по ширинѣ

маленькіе крестики, и все это тщательно укрѣплялъ нѣсколькими бинтами.

Повязки оставались большею частью нѣсколько дней и безъ нужды никогда не снимались до нагноенія.

Ассистентъ Грeфе, д-ръ Ангельштейнъ, отличался искусствомъ въ наложеніи повязки. Онъ зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы матерія не просачивалась черезъ повязку.

Сидѣлки, двѣ чистокровныя нѣмки, знали это, но по нерешеству и лѣности попадали нерѣдко въ просакъ.

— „Komm, Grethe, her!“ — слышалось бывало: — „Angelstein macht Spectakl“.

И дѣйствительно, шелъ спектакль; Ангельштейнъ визитировалъ больныхъ и перемѣнялъ повязки съ бранью и крикомъ на растерявшихся сидѣлокъ.

— „Sau bist du!“ — ругалъ онъ, избѣгая мужескаго рода: Schwein, такъ какъ его ругань была обращена къ дамамъ.

Результатъ этого леченія ранъ въ клиникѣ Грeфе былъ, дѣйствительно, весьма счастливый.

Тщательное прикрытіе и закрытіе большихъ и глубокихъ ранъ, съ методическимъ давленіемъ на окололежащія части, считались весьма важными условіями для усиленнаго заживленія раны. Случай съ извѣстнымъ тогда актеромъ (кенигштадтскаго театра), Бекманомъ, доказалъ преимущество этого способа леченія ранъ и тѣмъ не мало причинилъ досады Диффенбаху.

Диффенбахъ принялъ огромную опухоль на бедрѣ Бекмана за злокачественный наростъ и побоялся операціи, зная изъ опыта, съ какими опасностями и страхами для больного соединено обыкновенно леченіе глубокихъ междумышечныхъ ранъ. Грeфе былъ другого мнѣнія: онъ опредѣлилъ опухоль какъ Lipomosteatom, вырѣзалъ ее и тотчасъ же послѣ операціи тщательно закрылъ глубокую рану, наложивъ методически на всю конечность ad hoc приготовленную компрессионную повязку.

Результатъ былъ блестящій: любимецъ берлинской публики, Бекманъ, скоро выздоровѣлъ.

Теперь трудно себѣ вообразить, какъ мало германскіе врачи и хирурги того времени были знакомы, а главное, какъ мало они интересовались ознакомиться съ самыми основными патологическими процессами.

Между тѣмъ въ сосѣдней Франціи и Англіи въ это время извѣстны уже были замѣчательные результаты анатомо-патологическихъ изслѣдованій Крювелъе, Тессе, Брейта, Бульо и друг.

Такъ, самый опасный и убійственный для раненыхъ и оперированныхъ патологическій процессъ — гнойнаго зараженія крови (pyaemia), похищающій еще и до сегодня значительную часть этихъ больныхъ, — былъ почти вовсе неизвѣстенъ германскимъ хирургамъ того времени. Во все время моего пребыванія въ Берлинѣ я не слышалъ ни слова, ни въ одной клиникѣ, о гнойномъ зараженіи, и въ первый разъ узналъ о немъ изъ трактата Крювелъе.

Изъ Крювелъе и оперативной хирургіи Вельпо, только изъ чтенія этихъ книгъ, я получилъ понятіе о механизмѣ образованія метастатическихъ нарывовъ послѣ операціи и при поврежденіи костей. Правда, Фрике въ Гамбургѣ написалъ статью о травматической, злокачественной перемежающейся лихорадкѣ (*febris intermittens perniciosa, traumatica*), но не разъяснилъ сущности этой болѣзни, смѣшавъ настоящіе травматическіе пароксизмы съ пароксизмами піѣмическими.

Изъ Геттингена я отправился пѣшкомъ черезъ Гарцъ въ Берлинъ; побывалъ на Броккенѣ, не сдѣлавшемъ на меня особеннаго впечатлѣнія. Гораздо оригинальнѣе показались мнѣ и болѣе понравились: Роостракъ и сталактическая пещера Баумана; растительность на Ростренѣ представляетъ осенью — и поражаетъ глазъ — собраніе самыхъ яркихъ цвѣтовъ, начиная отъ яркореднаго до самаго темнаго.

Здоровье мое послѣ геттингенской жабы скоро поправилось, но признаки безкровія были еще такъ замѣтны, что проводникъ мой, весьма разговорчивый старичокъ, часто повторялъ мнѣ:

— „Herr, Sie haben eine schwache Constitution“

Это онъ говорилъ каждый разъ, когда мы сажались, хотя вовсе не я, а онъ самъ предлагалъ отдыхъ, и я каждый разъ опережалъ его при всходахъ и спускахъ.

Я полагаю, что старикъ часто повторялъ мнѣ о моей слабости только для того, чтобы показать мнѣ свое знакомство съ иностраннымъ словомъ, которое онъ произносилъ на разные лады: Constation, Constution, но всегда невпопадъ.

Я не помню уже, доѣхалъ ли я или дошелъ пѣшкомъ отъ Гальбершtedта до Берлина; знаю только, что возвратился безъ гроша денегъ, не рассчитавъ, какъ всегда, аккуратно путевыхъ издержекъ.

Въ Берлинѣ въ то время публика, повидимому, вмѣстѣ съ королемъ, сочувственно относилась къ Россіи, то-есть не къ націи, а къ русскому государю. Портретъ его, сдѣланный Крoгеромъ и изображавшій въ натуральной величинѣ государя и всю его свиту верхами, былъ выставленъ напоказъ, и вокругъ него всегда толпилась публика и слышались хвалебные отзывы объ осанкѣ, о мужественной твердости, о семейныхъ его добродѣтеляхъ, и проч.

Своимъ правительствомъ берлинцы, по крайней мѣрѣ молодое поколѣніе, не очень восхищались; впрочемъ одни хвалили скромную жизнь стараго короля и его двора, а другіе возлагали надежды на наслѣднаго принца.

Наслѣдный принцъ, впослѣдствіи король, — романтикъ и ученый, — угощалъ по временамъ будущихъ своихъ подданныхъ остротами, сходными съ тѣми, которыми насъ нѣкогда награждалъ одинъ изъ покойныхъ князей. Одну изъ остротъ наслѣднаго принца я запомнилъ, потому что она касалась косвенно насъ, русскихъ.

Когда прусскіе офицеры, приглашенные по случаю какого-то торжества въ С.-Петербургъ, возвратились въ Берлинъ, украшенные орденами и преимущественно моднымъ тогда орденъ Станислава, наслѣдный принцъ предложилъ своимъ придворнымъ вопросъ:

— „Чѣмъ отличаются теперь гвардейскіе офицеры отъ рядовыхъ? Хотите, вамъ скажу?—*Der gemeine Soldat hat gewöhnliche Läuse, aber die Garde-Officiere haben jetzt Stanisläuse*“.

По части остротъ не оставались иногда въ долгу и прусскіе подданные.

Я помню, какъ однажды одинъ магазинъ Подъ-Липами выставилъ новую картину, имѣвшую, ничѣмъ, впрочемъ, не мотивированное названіе: „*Lügner und sein Sohn*“ (лжецъ и его сынъ). Провисѣвъ въ витринѣ дня три, эта картина была замѣнена новыми эстампами. Выставлены были два новые портрета короля и наслѣднаго принца; но ихъ расположили такъ, что

они оба прикрывали прежнюю картину, за исключеніемъ только надписи подъ нею: „Lügner und sein Sohn“, красовавшейся теперь подъ портретами короля и наслѣдника. Это названіе имъ присвоивалось за то, что еще не дана была общанная въ отечественную войну конституція.

Мы, русскіе того времени, имѣли почему-то невысокое мнѣніе о прусскомъ правительствѣ. Даже наши лифляндцы, эстляндцы и курляндцы, пріѣзжавшіе въ Германію, не называли себя нѣмцами, а все—русскими, разумѣя, конечно, подъ этимъ свое русское подданство. Слышалъ я нерѣдко и то, какъ пріѣзжавшіе въ Дерптъ изъ Германіи профессора, обжившіе нѣсколько времени въ Дерптѣ, называли въ разговорѣ наше русское правительство и русскую армію—„unsere Regierung, unsere Armee“ (наше правительство, наша армія); когда же дѣло шло о наукѣ, мануфактурахъ и тому подобномъ, то „unsere Wissenschaft, unsere Fabrik“ значило у этихъ господъ: наша нѣмецкая наука, наши нѣмецкія фабрики.

Какъ и жившіе тогда въ Берлинѣ смотрѣли на прусское правительство—можно заключить изъ слѣдующаго случая.

Товарищъ мой, Гр. Ив. Сокольскій, посланный за границу изъ Петербурга, долго по прибытіи въ Берлинъ не получалъ изъ Москвы жалованья; вуждаясь, онъ обратился, конечно, прежде всего къ Кранихфельду; тотъ прочелъ ему нѣсколько душеспасительныхъ наставленій, но помощи никакой не далъ.

Сокольскій, узнавшій отъ какого-то нѣмца, что къ королю можно отнести письмо по городской почтѣ, немного думая, взялъ, да и написалъ его величеству письмо, въ которомъ онъ просилъ обратить вниманіе на бѣдственное его положеніе. Положимъ, что Гр. Ив. Сокольскій былъ оригиналъ, но и онъ, вѣрно, не посмѣлъ бы и подумать въ Россіи о перепискѣ съ главою государства по частному дѣлу.

Я отговаривалъ Сокольскаго, но потомъ чрезвычайно удивился, когда услышалъ, что на другой же день полученъ былъ черезъ статсъ-секретаря отвѣтъ короля: Сокольскому предлагалось обратиться къ русскому посланнику,—что было испробовано имъ уже давно, но безъ успѣха.

Сравнивая теперь тогдашній до-конституціонный режимъ

прусскаго правительства съ нашимъ, напимѣрь, начала 1860-хъ годовъ, я нахожу, что нашъ режимъ того времени въ одномъ отношеніи стоялъ уже гораздо выше, чѣмъ прусскій въ 1833-мъ и 1834-мъ годахъ, а въ другомъ оставался попрежнему далеко позади.

Такъ, въ 1833—1834-мъ годахъ правительственные органы увѣряли всѣхъ пруссаковъ, что „beschränkte Unterthanenverstand“ (ограниченный умъ подданныхъ) не можетъ имѣть надлежащаго понятія о цѣляхъ и намѣреніяхъ правительства, а потому и не долженъ разсуждать объ этихъ дѣлахъ.

У насъ же въ началѣ 1860-хъ годовъ разрѣшено было, въ извѣстной мѣрѣ и въ извѣстныхъ границахъ, говорить о правительственныхъ проектахъ и обсуждать ихъ. Зато въ это же самое время у насъ не было еще отмѣнено ни одно изъ тѣхъ мѣстныхъ стѣсненій свободы, которыя я сравниваю съ уколами булавокъ; между тѣмъ въ 1833 и 1834-мъ годахъ въ Берлинѣ никому не запрещалось носить бороду, усы, курить на улицѣ табакъ и жить дома безъ полицейскаго надзора.

Не могу еще не упомянуть о неслыханномъ мною кредитѣ, которымъ пользовались въ то время мы, русскіе, у нѣмецкихъ купцовъ и ремесленниковъ. Мнѣ покоя не давалъ одинъ портной, отпустившій всѣмъ нашимъ новаго платья въ кредитъ на нѣсколько тысячъ талеровъ. Этотъ портной, и вмѣстѣ содержатель магазина, непремѣнно хотѣлъ, чтобы и я у него заказалъ въ долгъ платья, хоть бы сотни на двѣ талеровъ; книжный продавецъ отпускалъ мнѣ также въ кредитъ, на нѣсколько сотъ талеровъ, различныхъ книгъ и журналовъ.

Время уплаты долга не опредѣлялось; векселя и гарантіи никакихъ не требовалось...

Приближался срокъ нашего пребыванія за границую. Я, кажется, забылъ упомянуть, что вмѣстѣ съ нами (членами профессорскаго института) присланы были въ Берлинъ и юристы отъ Сперанскаго, — все семинаристы; къ юристамъ гр. Сперанскаго причислялись, впрочемъ, и двое изъ нашихъ: Калмыковъ и Рѣдкинъ (не-семинаристы).

Изъ нихъ (числомъ 21) были только трое — Сокольскій, Скандовскій и Филомафитскій — лица духовнаго происхож-

денія, но оба уже нѣсколько шлифованные университетскимъ образованіемъ, тогда какъ юристы Сперанскаго (за исключеніемъ Калмыкова и Рѣдкина) были все чистокровные бурсаки; изъ нихъ наиболѣе выдающеюся личностью былъ, въ моихъ глазахъ, Ник. Ив. Крыловъ. Я любилъ его угловатую оригинальность, и при случаѣ расскажу о немъ кое-что.

За нѣсколько времени до нашего отъѣзда мы получили отъ министерства Уварова запросъ: въ какомъ университетѣ каждый изъ насъ желалъ бы получить профессорскую кафедру? Я, конечно, отвѣчалъ, не запинаясь: въ Москвѣ, на родинѣ; увѣдомилъ объ этомъ и матушку, чтобы она заблаговременно распорядилась съ квартирою и т. п.

Въ маѣ 1835 года я и Котельниковъ сѣли въ почтовый прусскій дилижансъ, отправлявшійся въ Кенигсбергъ и Мемель. На почтовомъ дворѣ къ намъ подошелъ какой-то господинъ, весьма порядочный на видъ, съ молодою дѣвушкою, и, узнавъ, что мы русскіе, обратился прямо ко мнѣ съ просьбою взять на свое попеченіе до Кенигсберга молодую швейцарку изъ Гренобля, отправляющуюся на мѣсто гувернантки въ Кенигсбергъ.

Я принялъ съ охотою предложеніе. Дѣвушка не говорила по-нѣмецки и была еще почти ребенокъ, лѣтъ 16-ти, чрезвычайно наивная и разговорчивая.

Она всю дорогу развлекала насъ своими разсказами, и, вѣрно, понравилась бы мнѣ еще болѣе, если бы я дорогою не занемогъ.

Еще дня два до моего отъѣзда изъ Берлина я почувствовалъ себя не совсѣмъ хорошо, и взялъ теплую ванну.

Полагая, что дорога (какъ это нерѣдко со мною случилось) благотѣльно на меня подѣйствуетъ, я сѣлъ въ дилижансъ безъ всякихъ опасеній.

Но спертый воздухъ и духота дилижанса, въ которомъ сидѣло насъ шестеро, сильно разстроили меня; я не спалъ цѣлую ночь, утомился до крайности; сильная жажда мучила меня, и я едва-едва высидѣлъ въ дилижансѣ еще одну ночь, а на утро оказался вовсе несостоятельнымъ для продолженія пути. Меня высадили на станціи въ какомъ-то, не помню, городкѣ.

Всѣ пассажиры засвидѣтельствовали, что я дѣйствительно заболѣлъ на пути; это было необходимо для того, чтобы имѣть право на бесплатный проѣздъ до мѣста назначенія, т.-е. за проѣздъ уплаченного уже мною въ Берлинѣ пространства. Котельниковъ не хотѣлъ оставить меня одного на дорогѣ, и высадился вмѣстѣ со мною. На станціи, для утоленія жажды, я просилъ Христомъ Богомъ дать мнѣ скорѣе чаю, и въ забытїи отъ утомленія и безсонной ночи съ нетерпѣніемъ жаждалъ промочить чашкою чая засохшее горло.

Принесли, наконецъ, чайникъ. Я бросаясь налить себѣ чашку, съ жадностью пью, но не успѣлъ выпить и половины, какъ начинаю чувствовать тошноту и отвратительнѣйшій вкусъ во рту.

Оказалось, что вмѣсто настоящаго чая мнѣ подали какое-то снадобье, составленное изъ разныхъ травъ и извѣстное подъ именемъ аптекарскаго чая.

Хозяйка станціи, въ цѣлую свою жизнь ни разу не имѣвшая случая угощать чаемъ пассажировъ и имѣвшая вообще смутное понятіе о чаѣ, какъ напитокѣ, не могла, конечно, вообразить, что больной пассажиръ можетъ требовать другого чая, а не аптекарскаго. Желая быть человѣколюбивою, благодарная хозяйка станціи, услышавъ мое требованіе, тотчасъ же и послала въ аптеку за чаемъ. Судя по отвратительному вкусу и по тошнотворному дѣйствию, это была смѣсь ромашки, бузины, липовыхъ цвѣтовъ, солодковаго корня и другихъ неразгаданныхъ мною веществъ.

Проклявъ это снадобье и замѣнивъ его, насколько позволяли средства и обстоятельства, теплымъ лимонадомъ, я, наконецъ, кое-какъ успокоился и крѣпко заснулъ послѣ двухъ безсонныхъ ночей. Сонъ нѣсколько возстановилъ меня, такъ что я рѣшился продолжать дорогу, на другой же день, съ проходившимъ черезъ станцію почтовымъ дилижансомъ.

Мѣста для меня и Котельникова оказались, и мы добрались до Мемеля и, отдохнувъ тамъ еще разъ, наняли извозчика до Риги. Дорогу до Риги я перенесъ относительно не худо. Но получилъ, къ несчастію, кашель; я почувствовалъ утромъ на разсвѣтѣ какой-то нестерпимый зудъ въ одномъ ограниченномъ мѣстѣ гортани, съ позывомъ на кашель. Съ этой минуты ка-

шель, не переставая, началъ меня мучить день и ночь, при томъ сухой и нестерпимый. Въ такомъ состояніи я добрался до Риги.

Мы остановились въ какомъ-то заѣзжемъ домѣ за Двиною (за мостомъ). Отъ слабости я едва передвигалъ ноги; впрочемъ пульсъ мой не былъ лихорадочный. Я чувствовалъ, что далѣе мнѣ ѣхать невозможно, а между тѣмъ деньги и у меня, и у Котельникова вышли,—вышли всѣ до послѣдней копѣйки. Непредвидѣнные обстоятельства, какъ извѣстно, не берутся въ соображеніе въ молодости, или только на словахъ берутся. Но въ Ригѣ жилъ попечитель дерптскаго университета и онъ же остзейскій генераль-губернаторъ. Пишу письмо къ нему и посылаю съ письмомъ самого Котельникова. Не помню чтѣ, но, судя по результату, я, должно быть, въ этомъ письмѣ наваялъ что-нибудь очень забористое. Не прошло и часа времени, какъ ко мнѣ прилетѣлъ отъ генераль-губернатора медицинскій инспекторъ, докторъ Леви, съ приказаніемъ тотчасъ принять всѣ мѣры къ облегченію моей участи.

Докторъ Леви привезъ деньги и тотчасъ же послалъ за каретою, для переѣзда въ большой загородный военный госпиталь. Тамъ велѣно было отвести для меня особое отдѣльное помѣщеніе, приставить ко мнѣ особаго фельдшера и служителей. Докторъ Леви былъ еврейскаго происхожденія и принадлежалъ къ тому высоко-классическому типу евреевъ, который далъ образы Леонарду да-Винчи для изображенія въ его „Тайной Вечери“ одиннадцати вѣрныхъ учениковъ Спасителя.

Это была душа, рѣдко встрѣчающаяся и между христіанами, и между евреями. Холостой и уже пожилой, докторъ Леви, посвящая всю свою жизнь добру, помогалъ всѣмъ и каждому, чѣмъ только могъ. Кто видѣлъ хотя однажды этотъ черепъ, гладкій какъ мраморъ и какъ мраморъ сохранившій на себѣ черты, намѣченныя врожденною добротою души, тотъ, вѣрно, не забывалъ его никогда.

Даже баронетъ Виллье, увидѣвши однажды доктора Леви при посѣщеніи военнаго госпиталя (въ которомъ Леви служилъ ординаторомъ), не удержался и невольно повелъ рукою по гладко вышліфованному и блестящему, какъ солнце, черепу доктора. Погладить что-нибудь, а не ударить рукою; было у

грубаго баронета признакомъ удовольствія и благоволенія, и другіе ординаторы едва-ли не позавидовали тогда классическому черепу.

Меня помѣстили въ бельэтажѣ громаднаго госпитальнаго зданія, въ просторной, свѣтлой и хорошо вентилированной комнатѣ; явились и доктора, и фельдшеры, и служители. Если бы я захотѣлъ, то, я думаю, мнѣ прописали бы цѣлую сотню рецептовъ не по госпитальному каталогу. Но я просилъ только, чтобы меня оставили въ покоѣ и дали бы только что-нибудь успокоительное, въ родѣ миндальнаго молока и лавровишневой воды, противъ мучительнаго сухого кашля.

Чѣмъ былъ я боленъ въ Ригѣ?

На этотъ вопросъ я такъ же мало могу сказать что-нибудь положительное, какъ и на то, чѣмъ я болѣлъ потомъ въ Петербургѣ, Кіевѣ и за границую.

Сухой, спазмодическій, сильный, съ мучительнымъ щекотаньемъ въ горлѣ, кашель; ни малѣйшей лихорадки; сильная слабость; полное отсутствіе аппетита, съ отвращеніемъ и къ пищѣ, и къ питью; бессонница—цѣлыя ночи напролетъ безъ сна нѣсколько недѣль сряду; запоры, продолжавшіеся по цѣлымъ недѣлямъ. Вотъ припадки. Болѣзнь длилась около двухъ мѣсяцевъ, а облегченіе началось тѣмъ, что кашель сдѣлался нѣсколько влажнѣе; въ ногахъ же появились нестерпимыя боли, такъ что малѣйшее движеніе ноги отзывалось сильнѣйшею болью въ подошвахъ; потомъ показался аппетитъ къ молоку и явились твердыя испражненія, послѣ простыхъ клистировъ, прежде вовсе не дѣйствовавшихъ. Съ каждымъ днемъ аппетитъ къ молоку началъ все болѣе и болѣе усиливаться и дошелъ до того, что я ночью вставалъ и принимался по нѣсколько разъ за молоко; аптекарскаго, выписываемаго по фунтамъ, уже не хватало; всѣ обитатели госпиталя, ординаторы, смотрителя и комиссары начали снабжать меня молокомъ; къ нему я присоединилъ потомъ, также инстинктивно, миндальныя конфекты, но порой ѣлъ ихъ съ молокомъ по цѣлымъ фунтамъ. Наконецъ, дошелъ чередъ и до мяса. Мнѣ начали приносить кушанья изъ городского трактира. А однажды, когда я былъ уже на ногахъ, но еще кашлялъ (съ мокротою), посѣтилъ меня генераль-губернаторъ.

Я искренно поблагодарилъ его; а онъ успокоилъ меня увѣреніемъ, что онъ обо мнѣ сносился уже съ министромъ, и чтобы я не торопился отъѣздомъ; къ этому прибавилъ—и самое главное—ассигновку на полученіе жалованья, назначеннаго всѣмъ намъ впредь до занятія профессорскихъ должностей.

Мой Котельниковъ уже тѣмъ временемъ давно уѣхалъ, получивъ также на проѣздъ; а я написалъ въ Дерптъ изъ госпиталя къ моей почтеннѣйшей Екатеринѣ Аванасьевнѣ (Протасовой), увѣдомивъ ее, что лежу больной какъ собака (не знаю почему я написалъ такъ). Моя добрая Екат. Аванасьевна, вѣрно, подумала, что я лежу въ госпиталѣ какъ собака, и скорѣ прислала мнѣ рублей 50 денегъ и бѣлья.

Какъ только я оправился, является ко мнѣ въ одно прекрасное утро безносый цирюльникъ и проситъ меня, чтобы я сдержалъ данное ему обѣщаніе.—Какое?—удивился я. И цирюльникъ припомнилъ мнѣ, что я обѣщалъ сдѣлать ему носъ. Дѣло было такъ: кто-то въ госпиталѣ рекомендовалъ мнѣ взять изъ города очень искуснаго клистирнаго мастера.

При моей болѣзненной раздражительности мнѣ, дѣйствительно, не всякій могъ угодить въ такомъ щекотливомъ дѣлѣ, какъ клистиръ, и я терпѣлъ по цѣлымъ недѣлямъ, и ни за что не согласился припускать къ себѣ госпитальныхъ фельдшеровъ.

Прибывшій же изъ города оказался дѣйствительно исполнявшимъ свою обязанность по Цельзу: „tuto, cito et jucunde“.

Вотъ ему-то, по его увѣренію, я, послѣ одного отлично поставленнаго клистира, и обѣщался сдѣлать носъ, когда выздоровѣю.

Но слабость силъ ослабила, вѣрно, и память; я совсѣмъ забылъ обѣщаніе и физиономію.

— Ну, чтѣ же? если обѣщалъ, такъ надо исполнить.

Носъ не существуетъ ex toto; но лобъ превосходный, гладкій, словно мраморный.

Безносый, плотный, здоровый мужчина, лѣтъ 40, семейный.

Но мнѣ неясно было, чтѣ могло побудить человѣка женатаго и не совсѣмъ молодого принять такъ къ сердцу пущенныя на-вѣтеръ и въ шутку слова неизвѣстнаго больного.

Можетъ быть, предчувствіе, но вѣроятно же то, что этотъ

безносый брадобрей, однако же, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и со-держателемъ публичнаго дома. А провалившійся носъ у хо-зяина такого заведенія—не приманка, а потрясающее memento mori для посѣтителей.

Изъ прекраснаго лба вышелъ прекрасный носъ; долго хра-нился у меня портретъ моего перваго и самаго удачнаго носа.

Второй носъ, сдѣланный вскорѣ послѣ перваго, въ Ригѣ же, у одной дамы, былъ гораздо неудачнѣе и накрывалъ де-фектъ только отчасти. Затѣмъ начали слѣдовать оперативные случаи одинъ за другимъ: литотоміи, вырѣзыванія опухолей, изъ которыхъ одинъ—вылущеніе огромнаго оплотнѣвшаго (стеа-томатическаго) жировика—произвелъ большую сенсацію въ го-родѣ.

Дама, страдавшая этою опухолью, была многимъ знакома въ городѣ. Опухоль росла у нея уже десятки лѣтъ, и нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ туземный хирургъ взялся-было за опе-рацію, но, убоаясь бездны премудрости, возвратился вспять;—онъ остановился съ вырѣзываніемъ, перевязалъ кусокъ опу-холи почти посерединѣ и отрѣзалъ перевязанный кусокъ.

Мнѣ представилась застарѣвшая болѣзнь уже въ другомъ видѣ. У разжирѣвшей до громаднхъ размѣровъ женщины опу-холь, имѣвшая нѣсколько этажей или доль, достигла величины огромной тыквы, занимая всю ягодичную область и промежность правой стороны; но очевидно было, что нарость шель далеко въ тазъ, между прямою кишкою, влагалищемъ и маткою, а старый рубецъ, послѣ недоконченной операціи, прикрѣплялъ къ ней кожу и мышцы. Для новичка это былъ хорошій проб-ный камень, и ни одна операція не радовала меня столько, какъ эта.

Приступивъ къ ней, я шибко боялся за глубокій рубецъ, лежавшій на дорогѣ; боялся еще болѣе средняго нароста въ глубинѣ въ тазу съ брюшиною.

Но все обошлось какъ нельзя лучше.

Почти половину опухоли, величиною также съ добрую тыкву, надо было вытаскивать изъ таза. Огромная, глубокая рана зажила еще задолго до отъѣзда моего изъ Риги.

Въ военномъ госпиталѣ также не оказывалось оператора. При мнѣ встрѣтились два случая: одинъ съ камнемъ мочевого

пузыря, а другой—требовавший отнятія бедра въ верхней трети. Въ обоихъ случаяхъ никто не рѣшался въ госпиталь дѣлать операцію, и оба предоставлены были въ мое распоряженіе.

Ординаторы госпиталя, познакомившись со мною, стали просить меня показать имъ нѣкоторыя операціи на трупахъ и прочесть нѣсколько лекцій изъ хирургической анатоміи и оперативной хирургіи. Одинъ изъ старыхъ ординаторовъ, нѣмецъ, копчившій курсъ въ Іенѣ, сдѣлалъ мнѣ за мои лекціи слѣдующій комплиментъ, тогда очень польстившій почему-то моему самолюбію и потому оставшійся у меня въ памяти.

— „Вы насъ научили тому, чего и наши учителя не знали“.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ (1835 г.) я собрался, наконецъ, въ дорогу.

Мой добрѣйшій д-ръ Леви, бывшій во все время моего пребыванія въ Ригѣ моимъ геніемъ-хранителемъ, и теперь не хотѣлъ отпустить меня въ дорогу безъ теплой одежды; вечера уже были очень прохладны, и онъ притащилъ мнѣ свою ентовую шубу, хотя и старую, но еще довольно благовидную и для ношенія въ столицѣ, и требовалъ отъ меня, чтобы я ее непременно взялъ и не обижалъ его присылкою назадъ изъ Петербурга.

Уговаривая меня, Леви такъ горячился и такъ неосмотрительно бѣгалъ за мною по комнатѣ, что, наконецъ, зацѣпилъ ногою за что-то и упалъ, растанувшись предо мною. Это было какъ-то такъ и смѣшно, и трогательно, что я бросился его поднимать, обнимать, цѣловать, и мы разстались оба со слезами на глазахъ.

Я отправился въ Петербургъ хотя и на почтовыхъ, но не спѣша. Ночевалъ ночи на станціяхъ и заѣхалъ на нѣсколько дней въ Дерптъ.

Надо было поблагодарить почтеннѣйшую Екатерину Аванасьевну (Протасову), повидаться съ Мойеромъ и съ знакомыми.

Первая новость, услышанная мною въ Дерптѣ, была та, что я покуда остался за штатомъ и прогулялъ мое мѣсто въ Москвѣ. Я узналъ, что попечитель московскаго университета, Строгановъ, настоялъ у министра объ опредѣленіи на кафедру хирургіи въ Москвѣ Иноземцева.

Первое впечатлѣніе отъ этой новости было, сколько помню, очень тяжелое. Недаромъ же у меня никогда не лежало сердце къ моему товарищу по наукѣ. Недаромъ въ моемъ дневникѣ раздражался я противъ него разнаго рода жалобами и упреками и вмѣстѣ съ тѣмъ завидовалъ ему.

Это онъ назначенъ былъ разрушить мои мечты и лишить меня, мою бѣдную мать и бѣдныхъ сестеръ перваго счастья въ жизни! Сколько счастья доставляло и имъ, и мнѣ думать о томъ днѣ, когда, наконецъ, я явлюсь къ нимъ, чтобы жить вмѣстѣ и отблагодарить ихъ за всѣ ихъ попеченія обо мнѣ въ тяжкое время сиротства и нищенства! И вдругъ всѣ надежды, всѣ счастливыя мечты, все прошло прахомъ!

Но чѣмъ же тутъ виноватъ Иноземцевъ?

Да развѣ онъ не зналъ моихъ намѣреній и надеждъ? развѣ онъ не слыхалъ отъ меня, что старуха-мать и двѣ сестры ждутъ меня съ нетерпѣніемъ въ Москву? Развѣ ему не извѣстно было, что я отвѣчалъ на послѣдній вопросъ въ Берлинѣ изъ Москвы?

Но онъ не могъ устоять противъ требованія и желанія Строганова? Во-первыхъ, это, вѣрно, не такъ: Иноземцевъ умѣлъ сдѣлать себя пріятнымъ и отъ природы снабженъ былъ средствами для этой цѣли; а во-вторыхъ, развѣ совѣсть и долгъ чести не требовали отъ товарища, чтобы онъ отказался отъ предлагаемаго, если на это предложеніе имѣлъ гораздо болѣе правъ не онъ, а другой?

И какова заботливость начальства!

Оно само выбираетъ, само назначаетъ человѣка, само узнаетъ отъ него, что онъ желаетъ дѣйствовать именно въ томъ университетѣ, гдѣ онъ получилъ образованіе и гдѣ онъ былъ избранъ для дальнѣйшаго усовершенствованія,—и что же: лишь только пришла бѣда, болѣзнь, его забываютъ и спѣшатъ его мѣсто замѣнить другимъ! Да, этотъ другой понравился, имѣлъ счастье понравиться его сіятельству; а кто знаетъ, понравился ли бы еще я? Пожалуй, могло быть и еще хуже,—могло быть, что мнѣ, и здоровому, и прибывшему въ Петербургъ, вліятельный графъ предпочелъ бы моего товарища.

„Слава Богу, что еще этого не случилось. Ну, пусть будетъ, что будетъ“.

„Всѣмъ управляетъ слѣпой случай; утѣшенія искать негдѣ, если не найдешь его въ самомъ себѣ. Вотъ сюда, къ себѣ, и обратись“.

Такъ я разсуждалъ въ то время. Провидѣнія для меня тогда не существовало. Идеала Богочеловѣка, поправшаго чрезъ воплощеніе юдолю человѣческихъ бѣдствій, также не существовало.

Оставалось, конечно, одно прибѣжище—собственное я. И хорошо еще, что это я было, по милости божіей, не дюжинное и не слишкомъ высокомерное. Оно знало себѣ мѣру.

Теперь спѣшить было некуда. Одно дѣйствіе на сценѣ жизни кончилось, занавѣсъ опустился. Отдохнемъ отъ испытанныхъ волненій и подождемъ терпѣливо другого.

Я помѣстился на квартирѣ стараго товарища, всегда ассистировавшаго мнѣ при опытахъ надъ животными, помощника прозектора Шульца.

Мойеръ въ это время былъ ректоромъ и плохо ладилъ съ студентами. Они однажды пустили ему за что-то кирпичъ въ окно и сильно перепугали старушку Екатерину Аѳанасьевну.

Видно было по всему, что Мойеръ ждалъ съ нетерпѣніемъ срока 25-тилѣтія, чтобы уѣхать изъ Дерпта въ орловское имѣніе; клиники онъ, по служебнымъ занятіямъ ректора, не посѣщалъ и предоставилъ почти всецѣло своему ассистенту, молодому Струве (потомъ профессору въ Харьковѣ).

Я принялся посѣщать ее, и, какъ нарочно, къ этому времени собрались въ клиникѣ четыре интересные случая: мальчикъ съ камнемъ въ пузырь—рѣдкая птица въ Дерптѣ; огромный саркоматозный полипъ, застлавшій всю полость носа и зѣва; скорбутная опухоль подчелюстной железы, величиною съ кулакъ, и сухая гангрена, отъ обжога всего предплечія, у эпиплентика.

Мойеръ поручилъ мнѣ распорядиться по моему усмотрѣнію съ этими больными, а самъ долженъ былъ рѣшиться на литотомію у одного толстаго-претолстаго старика-пастора, помѣстившагося также въ клиникѣ.

Операція шла не лучше той у дерптскаго богача Шульца,

о которой я уже говорилъ прежде. Пасторъ былъ еще толще Шульца и кричалъ безпрестанно: „wenn ich nur harnen könnte!“ Горжереть Скарпы, которымъ все еще, какъ и прежде, оперировалъ Мойеръ, оказался слишкомъ короткимъ для толстой (въ цѣлую ладонь) промежности; побѣжали, во время операціи, искать другого инструмента—не нашли; но, наконецъ, кое-какъ горжереть прошелъ—таки въ пузырь, и извлечены были три камня (ураты).

Черезъ нѣсколько дней была моя операція (литотомія) у мальчика. Штраухъ, мой сожитель въ Берлинѣ, пріѣхавшій въ Дерптъ еще до мая для экзаменовъ, выдержалъ уже его и писалъ теперь диссертацию; онъ успѣлъ уже рассказать о нашихъ подвигахъ въ Берлинѣ и, между прочимъ, о необыкновенной скорости, съ которою я дѣлаю литотомію надъ трупами. Вслѣдствіе этого набралось много зрителей смотрѣть, какъ и какъ скоро сдѣлаю я литотомію у живого. А я, подражая знаменитому Грефе и его ассистенту въ Берлинѣ—Ангельштейну, поручилъ ассистенту держать наготовѣ каждый инструментъ между пальцами по порядку. Зрители также приготовились, и многіе вынули часы. Разъ, два, три—не прошло и двухъ минутъ, какъ камень былъ извлеченъ.

Всѣ, не исключая и Мойера, смотрѣвшаго также на мой подвигъ, были видимо изумлены.

— „In zwei Minuten, nicht einmal zwei Minuten, das ist wunderbar!“ (въ двѣ минуты, даже менѣе двухъ, это удивительно!)—слышалось со всѣхъ сторонъ.

Я дѣлалъ операцію литотомомъ (lithotome caché), и именно тѣмъ самымъ, единственнымъ тогда въ Дерптѣ, который я привезъ Мойеру изъ Москвы. Но быстрота операціи зависѣла не отъ этого инструмента и ни отъ чего другого, какъ отъ формы и положенія камня въ пузырь. Это былъ уро-фосфатъ въ видѣ продолговатой сосульки, лежавшей однимъ концомъ прямо въ шейкѣ пузыря; камень тотчасъ же попалъ всею своею длиною между щечекъ щипцовъ и легко извлекся.

Не менѣе эффектно для посѣтителей клиники, уже давно не выдавшихъ никакой серьезной операціи, было извлеченіе громаднаго полипа вмѣстѣ съ костями (носовыми раковинами и стѣною верхнечелюстной пазухи) черезъ большой разрѣзъ носа.

Диффенбаха шовъ (Insectennaht), наложенный потомъ на разрѣзанный носъ, былъ также новостью.

Съ этого времени начали почти ежедневно являться въ клинику оперативные случаи, всецѣло поступавшіе въ мое распоряженіе. Клиника—по словамъ студентовъ—оживла. Черезъ нѣсколько дней Мойеръ приглашаетъ меня къ себѣ и дѣлаетъ мнѣ нѣчто, никогда не думанное и не гаданное мною и потому чрезвычайно меня поразившее.

— „Не хотите ли вы, — предлагаетъ мнѣ Мойеръ, — занять мою кафедру въ Дерптѣ?“

Я остолбенѣлъ.

— Да какъ же это можетъ быть? да это невысказимо, невозможно! — или что-то въ такомъ родѣ.

— „Я хочу только знать, желаете ли вы?“ — повторяетъ Мойеръ.

— Что же, — говорю я, собравшись съ духомъ: — кафедра въ Москвѣ для меня уже потеряна: теперь мнѣ все равно, гдѣ я буду профессоромъ.

— „Ну, такъ дѣло въ шляпѣ. Сегодня я предлагаю васъ факультету и извѣщу потомъ министра; а когда узнаю, какъ онъ посмотритъ на это дѣло, то предложеніе пойдетъ и въ совѣтъ, а вы пока подождите здѣсь въ Дерптѣ, а потомъ поѣзжайте въ Петербургъ ждать окончательнаго рѣшенія“.

Въ это время домъ Мойера былъ очень привлекателенъ для молодого человѣка. Двѣ его племянницы (внучки Е. А. Протасовой), Екатерина и Александра Воейковы, и нѣсколько русскихъ молодыхъ дамъ, Марья Николаевна Рейцъ (урожденная Дирина), Екатерина Николаевна Березина (моя будущая теща) и др., составляли очень пріятное общество, подъ эгидою почтенной лѣтими, но чрезвычайно любезной, умной и интересной Екатерины Афанасьевны. Весело было проводить вечера и послѣобѣденное время въ этомъ привлекательномъ обществѣ. Являлись и другіе русскіе и нѣкоторые нѣмцы, и время шло какъ нельзя лучше.

Я написалъ о случившемся матушкѣ, стараясь ее утѣшить; но самъ я не получалъ ни отъ кого писемъ, — какъ будто меня уже и на свѣтѣ не было. Поѣхалъ, молъ, занемогъ на дорогѣ,

да такъ и сгинулъ—и концы въ воду. Жалованье, однако-же, хотя неаккуратно, а все-таки выдавалось.

Узнаю, наконецъ, что факультетъ выбралъ меня, по предложенію Мойера, единогласно въ экстраординарные профессоры.

Пришло потомъ извѣщеніе отъ министра народнаго просвѣщенія, что онъ не имѣетъ ничего противъ избранія меня на кафедру хирургіи въ Дерптѣ.

Надо было теперь отправляться въ С.-Петербургъ, представиться министру и ждать тамъ окончательнаго рѣшенія объ избраніи меня совѣтомъ университета.

Я спилъ себѣ на заказъ въ Дерптѣ какую-то фантастическую теплую фуражку, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы она служила мнѣ и вмѣсто подушки. Это было нѣчто въ родѣ суконнаго шара, подбитаго ватою на шелковой подкладкѣ, съ длиннымъ и мягкимъ (суконнымъ же) козырькомъ и двумя наушниками, такъ прилаженными, что ихъ можно было *ad libitum* (по благоусмотрѣнію) и опускать внизъ на уши, и загигать вверхъ.

Я распространяюсь объ этой шапкѣ потому, что къ избрѣтенію ея, какъ мнѣ кажется теперь (прежде я, вѣрно, не сознался бы въ этомъ и самому себѣ), послужилъ поводомъ зеленый картузъ, постоянно красовавшійся на головѣ Руста и почему-то мнѣ нравившійся; теперь, когда мнѣ предстояло избраніе въ профессора русско-нѣмецкаго университета, мнѣ казалось, и шапка, подобная картузу Руста, будетъ весьма умѣстна на моей головѣ. И цвѣтъ этой шапки былъ также зеленый.

Впрочемъ это только предположеніе, пожалуй, и не совсѣмъ вѣроятное; но почему-то мнѣ кажется теперь, что существовало что-то подобное этому предположенію въ моемъ воображеніи.

Уже былъ настоящій зимній путь, когда я отправился изъ Дерпта въ С.-Петербургъ. Въ Петербургъ пріѣхавъ ночью, я не зналъ, куда дѣваться. Ямщикъ возилъ меня по разнымъ заѣзжимъ домамъ и гостинницамъ часа три, и нигдѣ не находилось порожняго нумера. Я приходилъ въ отчаяніе уже, какъ наконецъ,—не знаю, въ какомъ-то захолустѣ на Петербургской

Сторонѣ, — нашлась одна комната съ голою кроватью, прикрытою рогожей. Я, какъ вошелъ въ этотъ притонъ, такъ и повалился на кровать, не раздѣваясь, въ енотовой шубѣ Леви и въ моей зеленой оригинальной шапкѣ. Повалился и заснулъ. На другой день, съ помощью д-ра Штрауха, я отыскалъ себѣ комнату съ маленькою прихожею, вверху, въ 3-мъ этажѣ, въ домѣ Варварина, у Казанскаго собора. Помѣщеніе было довольно порядочное, но входъ съ улицы отвратительный: лѣстница узкая, грязная, залитая замерзлыми помоями и ночью темная.

Министръ Уваровъ принялъ меня утромъ одного у себя въ кабинетѣ и не заставилъ долго ждать. Онъ былъ ужъ совершенно одѣтъ, за исключеніемъ фрака, вмѣсто котораго былъ надѣтъ шелковый халатъ. Время моего представленія министру совпадало съ двумя событіями, составлявшими предметъ разговоровъ и сплетенъ въ Петербургѣ.

Въ это время былъ при смерти боленъ Шереметевъ, и по рукамъ ходили стихи Пушкина; читая ихъ, всякій узнавалъ въ умирающемъ Лукуллѣ Шереметева, а въ жадномъ наслѣдникѣ, крадущемъ дрова и накладывающемъ печати на наслѣдство, — С. С. Уварова.

Второе же составляло появленіе Уварова въ домѣ Фандеръ-Флита и основанная на этихъ посѣщеніяхъ связь съ красавицею-дочерью. Можетъ быть поэтому, а можетъ быть и напрасно, мнѣ показался министръ чѣмъ-то озабоченнымъ и какъ бы разсѣяннымъ. По крайней мѣрѣ рѣчи его, обращенныя ко мнѣ, были несвязны. Не сказавъ мнѣ ни полслова о томъ, почему я, воспитанный московскаго университета, объявившій, по его же требованію, о своемъ желаніи имѣть профессуру въ Москвѣ, остался за штатомъ, министръ началъ хвалить меня, говоря, что слышалъ обо мнѣ съ разныхъ сторонъ хорошіе отзывы. Почему же бы, казалось, ему нельзя было нѣсколько повременить и не отдавать мнѣ назначеннаго мѣста другому? Потомъ Уваровъ началъ бранить студентовъ дерптскаго университета и превозносить профессоровъ.

Впослѣдствіи я узналъ причину и порицанія, и похвалы. Уваровъ, поступивъ на мѣсто кн. Ливена, отправился, едва-ли не прежде всего, въ Дерптъ, прикинулся другомъ нѣмцевъ, говорилъ, что и университетъ, и старая библіотека, и все въ

Дерптѣ напоминаютъ ему то незабвенное время, когда онъ штудировалъ классиковъ въ геттингенскомъ университетѣ. Вѣроятно, восхищенію его не было бы конца, и онъ съ нимъ такъ и уѣхалъ бы въ С.-Петербургъ, если бы не приключился ночью того же дня студенческій скандалъ, впрочемъ весьма невиннаго содержанія.

Уваровъ остановился въ квартирѣ, назначенной для попечителя (котораго еще тогда не было), на рынкѣ. Ночью не спалось министру, и на разсвѣтѣ, услышавъ шумъ на улицѣ, онъ вышелъ на балконъ. Въ это время проходило по рынку нѣсколько подгулявшихъ на коммершѣ студентовъ, и двое изъ нихъ, увидѣвши стоящаго на балконѣ господина въ ночной одеждѣ съ лорнетомъ въ рукѣ, вынули ключи отъ дверей своихъ квартиръ, навели ихъ и стали смотрѣть на балконъ черезъ кольцо ключа, замѣнивъ имъ лорнетъ. Это ужасно не понравилось Уварову, полагавшему, что его пріѣздъ и расточаемыя имъ похвалы должны были привлечь къ нему всѣ сердца *Dogpatenser*’овъ.

Вотъ и причина, почему Уварову не нравились именно студенты.

А теперь вотъ и причина, почему онъ такъ возлюбилъ профессоровъ.

Этотъ рассказъ сообщилъ мнѣ впоследствии (въ 1838 г.) Мойеръ.

Астрономъ Струве, знаменитый не по однимъ своимъ наблюденіямъ и открытіямъ въ области астрономіи, но и своими необыкновенно чуткими житейскими способностями, хлопоталъ въ началѣ министерства Уварова объ обсерваторіи въ Пулковѣ. Надо было, во что бы то ни стало, расположить Уварова въ свою пользу. Струве воспользовался для этого пріѣздомъ министра въ Дерптъ. Уваровъ посѣтилъ утромъ, по приглашенію Струве, дерптскую обсерваторію. Главнымъ дѣломъ былъ, конечно, знаменитый въ то время рефракторъ дерптской обсерваторіи.

— „Къ сожалѣнію, — говоритъ ему Струве, — все это время стоитъ погода плохая, и потому я не осмѣлился утруждать васъ посмотрѣть въ нашъ рефракторъ ночью; теперь же взглянуть въ него можно развѣ только для того, чтобы составить себѣ

понятіе о чрезвычайной чувствительности инструмента къ малѣйшему движенію“.

Уваровъ остановился и смотреть.

— Позвольте, однако-же, — говоритъ онъ: — я что-то вижу; мнѣ кажется, звѣзду.

— „Не можетъ быть, Hohe Excellenz!“ — восклицаетъ Струве.

— Да, вотъ, посмотрите сами, — возражаетъ Уваровъ.

Струве, въ свою очередь, смотреть, молчать, еще смотреть, и, принявъ изумленный и восторженный видъ, громко зоветъ:

— „Позвольте принести вамъ мое поздравленіе, Hohe Excellenz: вы сдѣлали открытіе. Необыкновенно, непостижимо, какъ это случилось, что вамъ суждено было увидѣть въ первый разъ одну изъ неизвѣстныхъ еще неподвижныхъ звѣздъ; отнынѣ она будетъ включена въ списокъ ново-открытыхъ неподвижныхъ звѣздъ“.

И въ этотъ же вечеръ, въ собраніи профессоровъ на ученомъ вечерѣ, куда былъ приглашенъ и министръ, Струве читалъ о новооткрытой его высокопревосходительствомъ неподвижной новой звѣздѣ.

Не знаю только, окрестилъ ли ее Струве именемъ Уварова, какъ окрещенъ этимъ именемъ одинъ минералъ (уваровикъ), или новая звѣзда осталась безымянною. Уваровъ, конечно, былъ на седьмомъ небѣ, и не воображалъ, да и не хотѣлъ воображать, что онъ вовсе не былъ случайнымъ открывателемъ, а звѣзда была уже прежде подмѣчена тонкимъ дипломатическимъ гениемъ Струве.

Послѣ разныхъ прелюдій о необходимости исправленія нравственного быта дерптскихъ студентовъ, — оказавшихся въ последнее время образцами нравственности для другихъ русскихъ студентовъ, — Уваровъ, ни съ того, ни съ сего, обращается ко мнѣ съ слѣдующей напутственной рѣчью:

— „Знайте, молодой человѣкъ, при вступленіи вашемъ на новое поприще, что министръ народнаго просвѣщенія въ Россіи — не я, не Серг. Сем. Уваровъ, а императоръ Николай Павловичъ. Знайте это и помните. До свиданія!

Вотъ тебѣ на! не онъ, а государь — министръ народнаго просвѣщенія! Чтѣ бы это значило? Къ чему это онъ мнѣ такую штуку всучилъ?

Однако-же, сидѣть сложа руки въ С.-Петербургѣ скучно, а придется не мало сидѣть у моря и ждать погоды,—и я отправляюсь посѣщать петербургскіе госпитали.

Всего болѣе я слыхалъ объ Обуховской больницѣ.

Беру Ваньку и ѣду туда.

Вдругъ, проѣзжая по Сѣнной площади, чувствую, что кто-то меня хватилъ преисправно кулакомъ по головѣ, то-есть по моей шаровидной зеленой шапкѣ à la Rust. Я былъ закутанъ въ поднятый воротникъ енотовой шубы Леви. Невольно вскрикиваю и оглядываюсь; вижу уже вдали бѣгущаго по тротуару мастерового парня въ затрепанномъ халатѣ и безъ шапки. На бѣгу,—я видѣлъ,—онъ, подпрыгивая, дѣлалъ разныя трели ногами и задѣвалъ прохожихъ. Чтò же—спрашиваю себя—заставило этого сорванца ударить по головѣ, и довольно внушительно, проѣзжаго незнакомца? А то же самое, я полагаю, чтò заставило нѣкогда баронета Виллье погладить ладонью лоснившуюся на солнцѣ и кругло выпяченную плѣшь д-ра, статскаго совѣтника Леви. Внѣшній видъ, круглость, цвѣтъ, блескъ, т. п., привлекли и обратили на себя глазъ баронета, а отъ глаза непроизвольно и безсознательно перешло рефлексивное движеніе и на руку. А такъ какъ „рукамъ воли не давай“, „oculis, non manibus“ (глазами, а не руками) Лодера и „руки прочь“ Гладстона—были неизвѣстными для баронета правилами нравственнаго кодекса, то рука, побуждаемая рефлексомъ, и дотронулась до соблазнительной плѣши.

То же самое было причиною и нанесеннаго мнѣ удара кулакомъ. Выбѣжавшій изъ мастерской парень, какъ вырвавшійся изъ клѣтки звѣрь, пришедъ въ соприкосновеніе съ мною свободою, собственно же почувствовать на себѣ дѣйствіе одной только уличной (и то петербургской) свободы, заржалъ, запрыгалъ и, завидѣвъ на бѣгу шаровидный зеленый куполъ на головѣ проѣзжаго, непроизвольно и рефлексивно сжалъ кулакъ и ударилъ имъ по куполу. „Не давай воли рукамъ“—мастеровому, конечно, было такъ же мало извѣстно, какъ и баронету.

Въ Обуховской больницѣ я радушно былъ встрѣченъ ординаторами, особливо же бывшими студентами дерптскаго университета. Изъ нихъ докторъ Гете, уже довольно извѣстный прак-

тикъ того времени, занимавшійся въ хирургическомъ отдѣленіи госпиталя, сблизился со мною, познакомилъ меня съ главнымъ докторомъ Карломъ Антоновичемъ Майеромъ (семитическаго происхожденія), а потомъ и съ главнымъ консультантомъ госпиталя, Н. Ф. Арендтомъ.

Съ каждымъ днемъ—новыя знакомства съ врачами и профессорами. Во-первыхъ, ex officio, надо было познакомиться съ Ив. Тим. Спасскимъ; онъ уже игралъ нѣкоторую роль у министра Уварова, въ послѣдствіи же былъ членомъ отъ министерства по медицинской части въ медицинскомъ совѣтѣ. Добрыѣйшая душа, расположенный ко мнѣ и цѣнившій меня, Иванъ Тимоѣевичъ не имѣлъ твердыхъ убѣжденій и былъ притомъ разбѣянъ. О немъ придется мнѣ еще говорить въ послѣдствіи.

Медицина и хирургія того времени въ С.-Петербургѣ имѣли весьма дѣльныхъ представителей: Бушъ, Арендтъ, Саломонъ, Буяльскій, Зейдлицъ, Раухъ, Спасскій пользовались заслуженною репутаціею и въ публикѣ, и между врачами того времени.

Конечно, въ полномъ смыслѣ научными врачами, то-есть знакомыми съ современною медицинскою литературою и современнымъ направленіемъ науки, были только немногіе изъ нихъ. Но въ то время слѣдить за современнымъ направленіемъ науки не такъ легко было, не только у насъ, но и на Западѣ. Я уже сказалъ объ отсталости медицины этого времени въ самой Германіи. Поэтому я ужасно удивился, когда узналъ, что въ С.-Петербургѣ приглашенъ былъ ко двору ея императорскаго высочества Елены Павловны профессоръ (одного небольшого университета), докторъ Мандтъ.

Надо не забыть того, что годъ тому назадъ профессоръ Шлеммъ въ Берлинѣ привелъ на мою квартиру въ Dorotheen Strasse неизвѣстнаго мнѣ высокаго и худоцаваго господина и, назвавъ его профессоромъ докторомъ Мандтомъ, объявилъ мнѣ, что этотъ господинъ, получивъ приглашеніе ѣхать въ Россію, желаетъ познакомиться со мною и проситъ меня сообщить ему нѣкоторыя свѣдѣнія о Россіи.

У меня въ это время былъ какой-то анатомическій препаратъ подъ руками; я извинился передъ незнакомцемъ, вымылъ руки и предложилъ себя въ услугамъ. Мандтъ вынулъ запис-

ную книжку, и первый его вопросъ ко мнѣ былъ о чинахъ въ Россіи. Я могъ ему перечислить классное значеніе только нѣкоторыхъ чиновъ. Мандтъ записалъ.

— „Мнѣ предлагаютъ чинъ Hofrath'a, — спросилъ онъ: — имѣетъ ли онъ значеніе въ Россіи?“

— Какъ вамъ сказать? — отвѣчалъ я: — конечно, статскій совѣтникъ выше и почета больше.

— „Ну, а касательно содержанія?“

— Жизнь въ Петербургѣ мнѣ совсѣмъ незнакома, и я ничего не могу вамъ сообщить положительнаго объ этомъ дѣлѣ.

Потомъ, рассказавъ мнѣ нѣсколько о своей хирургической дѣятельности въ Грейфсвальдѣ, Мандтъ раскланялся и ушелъ.

Не прошло и года съ тѣхъ поръ, какъ я неожиданно для меня встрѣчаю Мандта за обѣдомъ у аптекаря Штрауха (брата доктора Штрауха). Мандтъ познакомилъ меня съ своею красивою женою, бывъ уже объявленъ лейбъ-медикомъ ея высочества великой княгини Елены Павловны, и за обѣдомъ, сидя возлѣ меня, имѣлъ безстыдство сказать во всеуслышаніе, что врачи въ Россіи гоняются за чинами; о своей записной книжечкѣ онъ уже забылъ, о нашемъ знакомствѣ въ Dorotheen Strasse — ни слова.

— „Представьте, — разглагольствовалъ онъ за обѣдомъ: — я сегодня приѣзжаю къ доктору Арендту, спрашиваю у швейцара, дома ли докторъ, а онъ мнѣ въ отвѣтъ: „генерала нѣтъ дома“. Ха, ха, ха, „генерала!“

Скоро послѣ того о подвигахъ Мандта узналъ Петербургъ. Еще не разъ придется говорить и объ этой, впрочемъ, недюжинной личности.

Н. Ф. Арендтъ былъ человѣкъ другого разбора. Образование Арендта было весьма недалекое. Онъ, кромѣ медико-хирургической академіи еще Павловскихъ временъ, не посѣщалъ никакого другого высшаго научно-медицинскаго учрежденія; почтительный, но, какъ нѣмецъ (собственно, финляндецъ), не любимый вздорнымъ баронетомъ Вилле, молодой Арендтъ прокладывалъ самъ себѣ дорогу на военно-медицинскомъ поприщѣ, во времена Наполеоновскихъ войнъ въ Россіи, 1812—1814 гг. Въ молодости и среднихъ лѣтахъ онъ былъ предприимчивымъ и смѣлымъ хирургомъ; но искусство его, не основанное на

прочномъ анатомическомъ базисѣ, не выдерживало борьбы съ временемъ.

Стремленія ненаучнаго свойства еще задолго до старости взяли верхъ, и во время моего пребыванія въ Петербургѣ Н. Ф. Арендта уже никакъ нельзя было назвать научнымъ дѣятелемъ. Это былъ очень занятый практикъ, дѣйствовавшій налету и любимый за доброту души. Что касается до меня, то я, ни тогда, ни послѣ, ни разу не слыхалъ отъ Н. Ф. Арендта научно дѣльнаго совѣта при постели больного.

По всему видно было, что Арендтъ не получилъ серьезнаго научнаго образованія, и мысль всегда оставалась на поверхности. Иной разъ, видя его дѣйствія при постели больныхъ и выслушавъ нѣсколько его мнѣній, невольно приходило въ голову, что Арендтъ есть представитель врачебнаго легкомыслія.

Когда я былъ ему представленъ въ первый разъ въ Обуховской больницѣ, то онъ пользовался еще довѣріемъ государя какъ лейбъ-медикъ.

Извѣстно было, что этого довѣрія Арендтъ достигъ кровопусканіемъ, но недостаточно былъ хитеръ и проницателенъ, чтобы удержать до конца нравственную власть въ своихъ рукахъ. Мандтъ показалъ всѣмъ лейбъ-медикамъ, какъ они должны поступать, чтобы имѣть прочное и мощное вліяніе на коронованныхъ паціентовъ и ихъ царедворцевъ...

Въ Петербургѣ, какъ и въ Ригѣ, госпитальные врачи, при первомъ же нашемъ знакомствѣ, изъявили желаніе выслушать у меня курсъ хирургической анатоміи. Наука эта, у насъ и въ Германіи, была еще такъ нова, что многіе изъ врачей не знали даже ея названія.

— Что это такое, хирургическая анатомія?—спрашиваетъ одинъ старый профессоръ медико-хирургической академіи своего коллегу:—никогда-съ не слыхалъ-съ, не знаю-съ.

Но въ русскомъ царствѣ нельзя, бывало, прочесть и курса анатоміи при госпиталѣ, не доведя объ этомъ до свѣдѣнія главы государства, и Н. Ф. Арендтъ взялся испросить разрѣшеніе государя.

Оно было дано съ тѣмъ, чтобы употреблять для демонстраціи трупы только тѣхъ больныхъ, къ которымъ при жизни

не являлись никакіе родственники въ больницу. Это, конечно, разумѣлось само собою.

Лекціи мои продолжались недѣль шесть.

Слушателями были, кромѣ врачей Обуховской больницы, самъ Н. Ф. Арендтъ, не пропускавшій, къ моему удивленію, буквально ни одной лекціи, профессоръ медико-хирургической академіи Саломонъ, многіе практики-врачи. Обстановка была самая жалкая.

Покойницкая Обуховской больницы состояла изъ одной небольшой комнаты, плохо вентилированной и довольно грязной. Освѣщеніе состояло изъ нѣсколькихъ сальныхъ свѣчъ. Слушателей набиралось всегда болѣе двадцати. Я днемъ изготовлялъ препараты, обыкновенно на нѣсколькихъ трупахъ, демонстрировалъ на нихъ положеніе частей какой-либо области и тутъ же дѣлалъ на другомъ трупѣ всѣ операціи, производящіяся на этой области, съ соблюденіемъ требуемыхъ хирургическою анатоміею правилъ. Этотъ наглядный способъ особливо заинтересовалъ слушателей; онъ для всѣхъ нихъ былъ новъ, хотя почти всѣ слушали курсы и въ заграничныхъ университетахъ.

Изъ чистокровныхъ русскихъ врачей никто не являлся на мой курсъ. И я читалъ по-нѣмецки. Да въ то время въ с.-петербургскихъ больницахъ между ординаторами рѣдко встрѣчался русскій: всѣ были или петербургскіе, или остзейскіе нѣмцы. Да и откуда было взяться русскимъ? Русскіе студенты медико-хирургической академіи того времени (единственнаго, какъ и теперь, высшаго учебно-медицинскаго учрежденія) были почти всѣ казенно-коштные, бѣдняки и поповичи; окончивъ курсъ, они поступали тотчасъ на службу, въ полки, уѣздные города, и т. п. Въ Петербургѣ же оставались только сыновья петербургскихъ обывателей, а изъ петербургскихъ обывателей только нѣмцы посылали сыновей своихъ учиться въ академію, и это были дѣти докторовъ, чиновниковъ, учителей, ремесленниковъ, вообще изъ болѣе культурныхъ классовъ.

И между практиками-врачами въ С.-Петербургѣ того времени нельзя было насчитать болѣе дюжины извѣстныхъ русскихъ именъ, включая сюда и имена нѣкоторыхъ профессоровъ-практиковъ медико-хирургической академіи.

Время мое все уходило на посѣщеніе госпиталей и при-

готовленія къ лекціямъ. Не мало операцій въ госпиталяхъ Обуховскомъ и Маріи Магдалины было сдѣлано мною въ это время, и я, — какъ это всегда случается съ молодыми хирургами, — былъ слишкомъ ревностнымъ операторомъ, чтобы отказываться отъ сомнительныхъ и безнадежныхъ случаевъ. Меня, какъ и всякаго молодого оператора, занималъ не столько самъ случай, то-есть самъ больной, сколько актъ операціи, — актъ, несомнѣнно, дѣятельнаго и энергичнаго пособія, но взятый слишкомъ отдѣльно отъ слѣдствій.

Мнѣ казалось въ то время несправедливымъ и вреднымъ для научнаго прогресса судить о достоинствѣ и значеніи операціи и хирурговъ по числу счастливыхъ, благополучныхъ исходовъ и счастливыхъ результатовъ.

Что дѣлать, когда сужденіямъ молодыхъ людей суждено быть иными и отличными отъ сужденій зрѣлаго возраста и стариковъ!

Несмотря на усиленную дѣятельность съ ранняго утра до поздней ночи, меня не тяготила эта жизнь; мнѣ жилось привольно въ своемъ элементѣ. Цѣлое утро въ госпиталяхъ — операціи и перевязки оперированныхъ, потомъ въ покойницкой Обуховской больницы — изготовленіе препаратовъ для вечернихъ лекцій.

Лишь только темнѣло (въ Петербургѣ зимою между 3—4 час.), бѣгу въ трактиръ на углу Сѣнной и ѣмъ пироги съ подливкой. Вечеромъ, въ 7 — опять въ покойницкую и тамъ до 9-ти; оттуда позовутъ куда-нибудь на чай, и тамъ до 12-ти. — Такъ изо дня въ день.

Однажды кто-то изъ докторовъ (кажется, Задлеръ) пригласилъ меня посѣтить большой сухопутный военный госпиталь на Выборгской. И госпиталь, и, въ особенности, завѣдывавшій имъ главный докторъ представились мнѣ чѣмъ-то фантастическимъ, изъ „Тысячи и одной ночи“.

Старое зданіе госпиталя показалось мнѣ цѣлымъ городомъ; тутъ были и огромныя каменные постройки, и деревянные дома, и домики, занимавшіе цѣлыя улицы, и все это было переполнено больными, фельдшерами, служителями; по корридорамъ каменныхъ зданій и изъ одного дома въ другой шмыгалъ безпрестанно этотъ многочисленный персоналъ, носилъ, приносилъ, переносилъ, шумѣлъ, бранился.

Но главный *curiosum* былъ самъ главный докторъ. Откуда у насъ выкопали такое допотопное,—нѣтъ, не допотопное, а просто невозможное животное, какимъ представлялся мнѣ докторъ Флоріо,—едва-ли кто рѣшить путемъ историческаго дознанія.

Мнѣ извѣстно было только, что Флоріо, родомъ итальянецъ, принять на русскую службу, вѣроятно, еще въ 1812—1813 гг., любимецъ баронета Виллье, дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ.

Постороннія лица, входившія во время докторскаго визита въ одну изъ огромныхъ палатъ сухопутнаго госпиталя, нѣрѣдко могли быть свидѣтелями слѣдующей сцены.

Между рядами коекъ съ больными идетъ задомъ напередъ фельдшеръ, немного останавливается передъ каждою койкою и скороговоркою, нараспѣвъ, рапортуетъ названіе болѣзни и лекарство, въ такомъ родѣ, напримѣръ:

Pleuritis — Tartarus emeticus gr. jiiij, infus... Unc. sex; febris cattarrhalis — Sles ammoniaci drach. unam, decocti altheae unc. sex, и т. п.

Обращенный лицомъ къ лицу фельдшера (идущему, какъ сказано, задомъ напередъ), идетъ главный докторъ; онъ держитъ въ рукѣ палку, на палкѣ надѣта его форменная фуражка; докторъ вертитъ палкою, съ которою вертится и фуражка, ногою притопываетъ въ тактъ и припѣваетъ громкимъ голосомъ съ итальянскимъ акцентомъ: „Сью, вью, Катерина! Сью, вью, Катерина!“

При каждой встрѣчѣ съ ординаторами и съ посторонними, докторъ пускается въ рассказы разныхъ сальностей на ломаномъ русскомъ языкѣ, съ постояннымъ повтореніемъ крѣпкаго русскаго слова.

Къ намъ, новымъ посѣтителямъ, докторъ Флоріо былъ, по-своему, очень любезенъ и безпрестанно старался выказать свои научныя знанія. „C'est une fièvre, une inflammation de la membrane gastrointestinale“. Это „inflammation de la membrane gastrointestinale“, долженствовавшее свидѣтельствовать о принадлежности доктора Флоріо къ бруссеистамъ, повторялось на каждомъ шагѣ, и на каждомъ шагѣ слышалась ординація: „*venaesection... ad libram unam, десять пиявицъ*“.

Проходитъ мимо старикъ-ординаторъ, въ мундирѣ и безъ носа.

— „Остановитесь! — кричитъ Флоріо: — вотъ, рекомендую вамъ, господа, — обращается онъ къ намъ: — статскій совѣтникъ Сим.....; думаетъ еще жениться и увѣренъ, что въ первую ночь исполнить свои обязанности; но эго онъ, увѣряю васъ, напрасно такъ думаетъ. А! встати, вотъ и другой, какъ видите, молодой, красивый человѣкъ, господинъ К....; этотъ ничего лучшаго не знаетъ, какъ проводить все время въ Большой Мѣщанской съ прекраснымъ поломъ“.

И все эго скороговоркою на ломаномъ русскомъ языкѣ.

Приходитъ въ женское отдѣленіе Флоріо, подходитъ прямо къ одной женщинѣ, солдаткѣ.

— „Чѣмъ, еще не выздоровѣла? а?“ — и затѣмъ, обращаясь къ палатному дежурному (унтеръ-офицеру): — „а зачѣмъ ты съ нею ночью не спишь, а?... Сейчас выздоровѣетъ!“

Ничего подобнаго я, вѣрно, не увижу никогда и видѣлъ только разъ въ жизни; поэтому и считаю необходимымъ сохранить воспоминаніе о такомъ чудѣ-юдѣ въ моемъ дневникѣ.

Петербургскій климатъ и мои занятія не преминули-таки повліять на мой организмъ. И я опять занемогъ, но, слава Богу, другою, не рижскою, болѣзнию и не надолго. Это была навѣрное скрытая перемежающаяся лихорадка, протерзавшая меня дня четыре въ постели.

И. Т. Спасскій, навѣщавшій меня съ другими врачами во время болѣзни, извѣстилъ меня отъ министерства, что черезъ недѣлю назначено мнѣ чтеніе пробной лекціи въ академіи наукъ; я долженъ былъ самъ выбрать тему. Я выбралъ ринопластику; купилъ у парикмахера старый болванъ изъ *parier maché*, отрѣзалъ у него носъ, обтянулъ лобъ кускомъ старой резиновой галоши и отправился съ этимъ сокровищемъ въ академическую залу, чтобы демонстрировать ринопластику по индѣйскому способу, модифицированному Диффенбахомъ.

Искусственный носъ былъ выкроенъ мною изъ резины на лбу и пришитъ *lege artis*. Я цитировалъ мои случаи въ Ригѣ и Дерптѣ, и ссылался на Диффенбаха.

Впечатлѣніе, произведенное моею лекціею на молодыхъ и

старыхъ посѣтителей, было, повидимому, различное. Молодые всѣ отзывались съ большимъ сочувствіемъ и похвалою; нѣкоторые же изъ старыхъ отнеслись, какъ мнѣ казалось, недовѣрчиво къ сообщеннымъ мною фактамъ.

Рѣшенія изъ Дерпта о выборѣ меня въ совѣтъ все еще не было. Я началъ терять терпѣніе и написалъ къ Мойеру. Мойеръ долго не отвѣчалъ, а потомъ съ обычною своею флегмою объявилъ мнѣ, что „Guttes Ding will Weile haben“, и извѣщалъ, что скоро самъ пріѣдетъ въ Петербургъ. Оня, дѣйствительно, вскорѣ пріѣхалъ, но этимъ дѣло не ускорилося.

Уваровымъ Мойеръ остался очень недоволенъ, и, странно, почему-то ему болѣе пришлось по сердцу Ширинскій-Шихматовъ, тогдашній директоръ департамента министерства народного просвѣщенія.

Впослѣдствіи я слышалъ, что и государь Николай Павловичъ былъ очень доволенъ направленіемъ Ширинскаго-Шихматова и за это сдѣлалъ его министромъ.

И Мойеръ сказалъ мнѣ однажды въ Петербургѣ, что Уваровъ „ist ein Katzen-Schvanz, mann kann sich nicht auf ihn verlassen“ (льстецъ, на него нельзя положиться; а про Ширинскаго сказалъ: „das ist ein positiver Mann, er ist reel“ (это человѣкъ положительный, человѣкъ дѣла).

Прошло еще два мѣсяца, и я началъ уже бомбардировать Мойера письмами, объявивъ ему, наконецъ, что рѣшаюсь принять кафедру въ Харьковѣ, предложенную мнѣ черезъ Арендта попечителемъ, гр. Головкинымъ.

Около этого времени (это было на масленицѣ) разыгралась въ Петербургѣ извѣстная катастрофа съ балаганомъ Лемана; я побѣжалъ въ Обуховскую больницу, куда свезли до 150 обгорѣлыхъ, большею частію уже труповъ. Изъ нихъ сдѣлали выставку въ покойницкой и на дворѣ госпиталя, для родственниковъ погибшихъ. Привезенные въ больницу живыми были въ страшномъ видѣ. Ни прежде, ни послѣ мнѣ не приходилось видѣть у живыхъ еще людей ожоги, достигшіе такой степени разрушенія. Нѣкоторые, съ совершенно обуглившеюся отъ огня головою, жили еще по цѣлымъ недѣлямъ. У нѣкоторыхъ вся голова до самой шеи представляла громадный кусокъ угля; отъ

него можно было отнимать цѣлыя пласты обугленныхъ тканей, и странно было слышать голосъ и произносимыя слова, выходящія изъ куска угля.

Между тѣмъ, до меня доходили слухи, что выборъ меня въ совѣтъ былъ бурей въ стаканѣ воды.

Противъ меня возстали преимущественно теологи. Говорили, что дерптскіе богословы открыли какой-то законъ перваго основателя дерптскаго университета, Густава-Адольфа шведскаго, по которому одни только протестанты могли быть профессорами университета.

Существовалъ ли такой законъ, или нѣтъ, Богъ его знаетъ; но при Николаѣ Павловичѣ на него нельзя было ссылаться. Это понимали, вѣроятно, не хуже другихъ и дерптскіе богословы.

Тѣмъ не менѣе, однако-же, яблоко раздора было кинута, и совѣтскіе споры длились до конца февраля 1836 г. Наконецъ, въ мартѣ я получилъ извѣстіе о моемъ избраніи въ экстраординарные профессоры.

Матушку и сестеръ я не рѣшался перевезти изъ Москвы въ Дерптъ. Такой переходъ—мнѣ казалось—былъ бы для нихъ въ послѣдствіи непріятенъ. И языкъ, и нравы, и вся обстановка были слишкомъ отличны, а мать и сестры слишкомъ стары, а главное, слишкомъ москвички, чтобы привыкнуть и освоиться.

Святую 1836 г. я уже встрѣчалъ въ Дерптѣ. Незадолго до моего прибытія прибылъ туда и вновь назначенный изъ Петербурга попечитель, гвардейскій генераль-маіоръ Крафтштремъ. Я предсталъ предъ этого сына Марса и былъ имъ очень любезно принятъ. Онъ привѣтствовалъ меня, какъ перваго русскаго, избраннаго университетомъ въ профессоры чисто научнаго предмета. До сихъ поръ русскіе профессоры въ Дерптѣ избираемы были только для одного русскаго языка, и то за неимѣніемъ нѣмцевъ, знакомыхъ хорошо съ русскою литературою.

На этомъ указаніи, что я первый изъ русскихъ и что этотъ первый примѣръ совпадаетъ съ попечительствомъ его, Крафтштрема, все это и было предметомъ нашего разговора

въ теченіе добрыхъ полчаса. Не надо было болѣе полчаса, чтобы узнать, какого духа новый дерптскій попечитель...

Фронтоникъ до мозга костей, Крафтштремъ, вообще какъ попечитель, оказался не худымъ человѣкомъ; могъ бы быть гораздо хуже, поступивъ съ сѣдла на попечительство.

Онъ былъ поэтому и предметомъ постоянныхъ насмѣшекъ, въ видѣ юмористическихъ анекдотовъ, изобрѣтавшихся на его счетъ студентами и отчасти и профессорами. Міровоззрѣніе Крафтштрема было, дѣйствительно, невозможное. Наука въ его воззрѣніи была трехъ сортовъ: полезная до извѣстной степени, вредная, — если не унять, то, пожалуй, и очень вредная, — и годная, и даже необходимая, для препровожденія времени и для забавы людей со средствами.

Вотъ какъ однажды Крафтштремъ отнесся съ-глазу-на-глазъ объ астрономіи. Это было по дорогѣ изъ Дерпта въ Петербургъ; Крафтштремъ ѣхалъ вмѣстѣ съ профессоромъ русскаго языка Росбергъ, къ которому имѣлъ особое довѣріе въ то время. Лунная, прекрасная ночь; Росбергъ смотритъ на луну, припоминаетъ видѣнное имъ черезъ рефракторъ въ дерптской обсерваторіи и начинаетъ объяснять Крафтштрему видѣнныя имъ горы и пропасти на лунѣ.

Слушалъ, слушалъ его Крафтштремъ, да потомъ и говорить:

— Послушайте, любезный другъ: неужели вы вѣрите всѣмъ этимъ бреднямъ?

— „Какъ! — восклицаетъ удивленный Росбергъ: — да вѣдь это все неоспоримые факты, дознанные наукою!“

— Полноте, пожалуйста, — успокоиваетъ Крафтштремъ, — какіе тамъ факты, когда никто еще не бывалъ на небѣ, и никто поэтому ничего и знать не можетъ.

Росбергъ, видя, что съ научной стороны Крафтштрема не проймешь, началъ съ другого бока.

— „Да какъ же это, ваше превосходительство: сталъ бы самъ государь такъ заботиться о постройкѣ пулковской обсерваторіи и отпускать такія громадныя суммы, если бы онъ не былъ увѣренъ, что астрономы дѣйствительно сдѣлали чрезвычайно важныя открытія?“

— Э, любезнѣйшій! — замѣтилъ на это Крафтштремъ: — развѣ

вы не знаете, что у государей, какъ и у насъ всѣхъ, есть свои забавы? У насъ — небольшія, по средствамъ, а у царей, конечно, не по-нашему, дорогія. Почему же и нашему царю не потѣшить себя громадною, дорого стоющею обсерваторіею?

Обстановка моя въ Дерптѣ продолжалась недолго и обошлась мнѣ дешево. Рублей 200 за квартиру въ 4 комнаты въ годъ и по 10—12 рублей въ мѣсяцъ за столъ. Можно было за столъ платить и дороже, и я это дѣлалъ, но за увеличенную плату увеличивалось только количество отпускаемой пищи, а не качество. Для прислуги явилась ко мнѣ опять моя добрая латышка Лена, прослужившая мнѣ цѣлыхъ пять лѣтъ.

Вотъ я, наконецъ, профессоръ хирургіи и теоретической, и оперативной, и клинической. Одинъ, нѣтъ другого.

Эго значило, что я одинъ долженъ былъ: 1) держать клинику и поликлинику, по малой мѣрѣ, 2^{1/2}—3 часа въ день; 2) читать полный курсъ теоретической хирургіи 1 часъ въ день; 3) оперативную хирургію и упражненія на трупахъ—1 часъ въ день; 4) офтальмологію и глазную клинику—1 часъ въ день; итого—6 часовъ въ день.

Но шести часовъ почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо болѣе времени, и приходилось 8 часовъ въ день. Положивъ столько же часовъ на отдыхъ, оставалось еще отъ сутокъ 8 часовъ, и вотъ они-то, всѣ эти 8 часовъ, и употреблялись на приготовленія къ лекціямъ, на эксперименты надъ животными, на анатомическія изслѣдованія для задуманной мною монографіи и, наконецъ, на небольшую хирургическую практику въ городѣ.

Въ теченіе пяти лѣтъ моей профессуры въ Дерптѣ я издалъ:

- 1) Хирургическую анатомію артеріальныхъ стволовъ и фасцій (на латинскомъ и нѣмецкомъ).
- 2) Два тома клиническихъ анналовъ (на нѣмецкомъ).
- 3) Монографію о перерѣзаніи ахиллесова сухожилія (на нѣмецкомъ).

И сверхъ этого—цѣлый рядъ опытовъ надъ живыми животными, произведенныхъ мною и подъ моимъ руководствомъ, до-

ставилъ матеріалъ для нѣсколькихъ диссертаций, изданныхъ во время моей профессуры, а именно:

- 1) О скручиваніи артерій.
- 2) О ранахъ кишекъ.
- 3) О пересаживаніи животныхъ тканей въ серозныя полости.
- 4) О вхожденіи воздуха въ венозную систему.
- 5) Объ ушибахъ и ранахъ головы.

Диссертация на послѣднія двѣ тѣмы при мнѣ не были еще окончены.

Справедливость требуетъ замѣтить, что все сказанное совершенно не въ 5 лѣтъ собственно, а въ 4 года, потому что я цѣлыхъ 9 мѣсяцевъ оставался (въ 1837—1838 гг.) въ Парижѣ и потомъ въ Москвѣ, и цѣлыхъ 3 мѣсяца проболтался, такъ что не могъ ничѣмъ серьезно заняться.

Итакъ, неоспоримо, существуютъ доказательства моей научной дѣятельности съ самаго же начала вступленія моего на учебно-практическое поприще.

Но другое дѣло—вопросъ: былъ ли я тогда дѣйствительно тѣмъ, кѣмъ казался, или, вѣрнѣе, кѣмъ долженъ былъ быть, то-есть, былъ ли я настоящимъ, дѣйствительнымъ — не кажущимся — профессоромъ хирургіи?

У насъ, въ Россіи, кандидатами на каѳедру бываютъ только два сорта ученыхъ: во-первыхъ, заслуженные профессора, то-есть, большею частью, старые или очень пожилые люди; во-вторыхъ, молодые люди, только-что окончившіе курсъ наукъ. Людей, подготовлявшихся довольно продолжительное время къ занятію каѳедры, у насъ или вовсе нѣтъ, или они такъ рѣдки, что почти никогда не являются конкуррентами на занятіе каѳедры.

О первомъ сортѣ кандидатовъ на каѳедры нечего распространяться; изъ 10-ти случаевъ въ 9-и заслуженный профессоръ, остающійся на новое 5-тилѣтіе, дѣлаетъ это вовсе не изъ любви и не изъ привязанности къ наукѣ, а для полученія увеличеннаго вдвое оклада. Другой же сортъ кандидатовъ, къ которому принадлежалъ и я, грѣшный, при вступленіи моемъ на каѳедру хирургіи въ Дерптѣ, поистинѣ не соответствуетъ, да и не можетъ соответствовать, своему призванію.

Откуда могла взяться та опытность, которая необходима для клиническаго учителя хирургіи? Правда, я за 4 года до вступленія на кафедру перешелъ за хирургическій Рубиконъ, сдѣлавъ мои двѣ первыя операціи въ клиникѣ Мойера: вылу-щеніе руки и перевязку бедреной артеріи (въ одно и то же время). Но ловко сдѣланная хирургическая операція еще не даетъ права на званіе опытнаго клинициста, которымъ долженъ быть каждый профессоръ хирургіи. Мало того, что молодой человѣкъ, какъ бы онъ даровитъ ни былъ, не можетъ имѣть достаточныхъ знаній, ему еще труднѣе приобрѣсти добросовѣстную опытность.

Молодость, и именно даровитая, еще болѣе, чѣмъ посредственная, заносчива, самолюбива, а еще чаще—тщеславна.

Она, выступая на практическое поприще жизни, заботится всего болѣе о своей репутаціи,—и это естественнo и даже похвально,—но она заботится не такъ, какъ слѣдуетъ: не хлопотеть приобрѣсти имя и почетъ внутренними своими, настоящими достоинствами, а только внѣшнимъ образомъ, лишь бы хвалили и удивлялись, а за что—это не главное.

Вотъ этотъ зудъ похвалы и тщеславія и портитъ все въ молодости.

Служеніе наукѣ, вообще всякой—не иное что, какъ служеніе истинѣ.

Но въ наукахъ прикладныхъ служить истинѣ не такъ легко.

Тутъ доступъ къ правдѣ затрудненъ (для насъ) не одними только научными препятствіями, то-есть такими, которыя могутъ быть и удалены съ помощью науки. Нѣтъ, въ прикладной наукѣ, сверхъ этихъ препятствій, человѣческія страсти, предрасудки и слабости съ разныхъ сторонъ вліяютъ на доступъ къ истинѣ и дѣлаютъ ее нерѣдко и вовсе недоступною.

Бороться за истину съ предрасудками, страстями и слабостями людей невозможно. Можно только лавировать; но не менѣе трудно бороться и съ собственными страстями и слабостями, если мы въ юности, съ самаго дѣтства, не развили въ себѣ способности владѣть собою, а владѣть собою иначе нельзя, какъ черезъ познаніе самого себя.

Итакъ, для учителя таковой прикладной науки, какъ медицина, имѣющей дѣло прямо со всѣми атрибутами человѣче-

свой натуры (какъ своего собственнаго, такъ и другого, чужого я), для учителя—говорю—такой науки необходима, кромѣ научныхъ свѣдѣній и опытности, еще добросовѣстность, приобретаемая только труднымъ искусствомъ самосознанія, самообладанія и знанія человеческой натуры.

Дѣло ли это молодости? „*Chirurgus debet esse adolescens*“ (хирургомъ долженъ быть взрослый), по словамъ Цельза.

Конечно, старость, притупляющая чувства, дѣлаетъ хирурга неспособнымъ.

И ничто не препятствуетъ молодымъ людямъ быть хирургами, но не учителями хирургіи. Эго не одно и то же, и напрасно думать, что всякій ловкій и искусный хирургъ можетъ быть и хорошимъ наставникомъ хирургіи.

Есть время для любви;
Для мудрости—другое.

Какъ самоѣдъ, я не могъ не видѣть и не чувствовать, какъ много мнѣ недостаетъ знанія, опытности и самообладанія, чтобы быть настоящимъ наставникомъ хирургіи. Я не былъ такъ недобросовѣстливъ, чтобы не понимать, какую громадную отвѣтственность передъ обществомъ и передъ самимъ собою (Бога и Христа у меня тогда не было) принимаетъ на себя тотъ, кто, получивъ съ дипломомъ врача нѣкоторое право на жизнь и смерть другого, получаетъ еще и обязанность передавать это право другимъ.

Но молодость легко устраняетъ нравственныя затрудненія и миритъ противорѣчія въ себѣ.

Я сознавалъ свои недостатки, но не могъ ихъ сознавать такъ, какъ теперь, когда я пережилъ ихъ и всѣ ихъ слѣдствія.

Да и теперь, анализируя, я сознаюсь, какъ трудно рѣшить, что было въ томъ или другомъ случаѣ главнымъ мотивомъ моихъ дѣйствій: суетность или истинное желаніе помочь и облегчить страданіе.

Ахъ, какъ это трудно рѣшить для человѣка, преданнаго своему искусству всею душою, когда вся цѣль этого искусства состоитъ въ леченіи и облегченіи людскихъ страданій!

Какъ ни мало вѣроятенъ успѣхъ операціи, какъ ни опасно для жизни ея производство, если оно васъ интересуетъ, какъ искусство, вы уже не можете совершенно безпристрастно взвѣ-

сить шансы и опредѣлить, что вѣроятнѣе въ данномъ случаѣ: успѣхъ или гибель.

И чѣмъ моложе, чѣмъ ревностнѣе дѣятель, чѣмъ болѣе приверженъ онъ къ своему искусству, тѣмъ легче онъ упускаетъ изъ виду цѣль искусства и тѣмъ болѣе расположенъ дѣйствовать искусствомъ для одного искусства.

Да, да, „не poserim veritus“ (да не поврежу сознательно) Галлера, запрещавшее ему—опытнѣйшему анатому и физиологу—дѣлать операціи на живыхъ людяхъ, — это есть выраженіе во-очію нравственнаго чувства.

Каждый хирургъ долженъ бы былъ съ своимъ „не poserim veritus“ приступать къ операціи.

Но это значило бы подчинить интересъ науки и искусства всецѣло высшему нравственному чувству.

Да, такъ должно бы быть; но тутъ являются другія соображенія, дѣлающія невозможнымъ рѣшеніе вопроса: какъ поступить въ сомнительномъ случаѣ; а такихъ случаевъ не десятки, а сотни.

Старикашка Рюль былъ правъ, когда онъ требовалъ отъ госпитальныхъ хирурговъ, чтобы они не иначе предпринимали операціи, какъ съ согласія больныхъ. Онъ раздосадовалъ меня однажды, явившись въ Обуховскую больницу въ тотъ самый моментъ, когда я приступалъ къ операціи аневризмы, и спросилъ больного, желаетъ ли онъ операціи.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ онъ.

— „Въ такомъ случаѣ, — рѣшилъ Рюль, — нельзя оперировать противъ желанія“.

Всѣ мы, молодые врачи, смѣялись надъ пуританствомъ Рюля, называли его козодоемъ, *caprimulgus europensis*, на котораго онъ былъ дѣйствительно похожъ, *hosentrompetr'омъ*; говорили также про него, что онъ приобрѣлъ себѣ почетъ въ петербургскомъ медицинскомъ мірѣ только тѣмъ, что умѣлъ ловко ставить промывательныя;—все это говорилось и болталось только потому, что отжившій старикъ осмѣливается вмѣшиваться въ дѣла науки и искусства и вредить научнымъ интересамъ.

— Такъ, — говорили, — дойдетъ, пожалуй, до того, что у больныхъ въ госпиталяхъ надо будетъ испрашивать согласія на кровопусканіе, ставленіе банокъ и мушекъ.

Но всѣ понимали, однако-же, что никто бы изъ насъ не захотѣлъ, чтобы его безъ спроса подвергли какой-либо опасной процедурѣ, хотя бы и съ цѣлью спасти жизнь. А съ другой стороны, развѣ кто-нибудь былъ бы въ претензiи за то, что спасли ему жизнь безъ его спроса, подвергнувъ его опасной процедурѣ?

Я предвижу, что больной непремѣнно, не нынче—завтра, изойдетъ отъ кровотеченiя изъ аневризмы, подвергаю его, не спрося его согласiя, операцiи — и спасаю.

Такъ я и разсуждалъ, приступая къ операцiи, отмѣненной Рюлемъ за то, что не спросилъ сначала согласiя больного.

Кто правъ, кто виновать?

Въ такихъ случаяхъ только голосъ собственной совѣсти можетъ рѣшить вопросъ для cadaго, и, конечно, для cadaго рѣшить по-своему.

Рюль былъ несомнѣнно правъ, ибо дѣйствовалъ несомнѣнно по глубокому убѣжденiю въ томъ, что никто—больше самого больного,—не имѣетъ права на его здоровье.

Я, можетъ быть, былъ также правъ. Можетъ быть, — говорю, — потому что не знаю теперь, былъ ли я тогда убѣжденъ въ неминуемой опасности для больного потерять жизнь отъ кровотеченiя, и притомъ былъ ли я убѣжденъ, что опасность для жизни больного отъ кровотеченiя изъ аневризмы превышаетъ опасность отъ операцiи.

Да, собственная совѣсть—другого средства нѣтъ—должна рѣшать для истинно-честнаго хирурга вопросъ объ операцiи, когда опасность, съ нею соединенная, для жизни кажется ему столько же значительною, какъ и опасность отъ болѣзни, противъ которой направлена операцiя. Но хирургъ въ этомъ случаѣ не всегда можетъ полагаться и на собственную совѣсть.

Научныя, не имѣющiя ничего общаго съ нравственностью, занятiя, пристрастiе и любовь къ своему искусству дѣйствуютъ и на совѣсть, склоняя ее, такъ сказать, на свою сторону. И совѣсть, въ такомъ случаѣ, рѣшая вопросъ о степени опасности, становится на сторону научнаго предубѣжденiя. Совѣсть играетъ тутъ роль судьи или присяжнаго, основывающаго свое сужденiе на мнѣнiи эксперта, а экспертъ тутъ—научныя свѣдѣнiя того же самаго лица, совѣсть котораго призвана

быть судьбою. Тутъ предубѣжденію дорога открыта съ разныхъ сторонъ.

Съ одной стороны, предубѣжденіе легко проникнетъ въ за-пасъ свѣдѣній; съ другой стороны, черезъ это и самая совѣсть легко предубѣждается.

Современная наука нашла, какъ будто, болѣе надежное средство противъ предубѣжденій въ практической медицинѣ, — это медицинская статистика, основанная на цифрѣ. И совѣсти хирурга какъ будто сдѣлалось легче рѣшать безъ предубѣжденій.

Вотъ болѣзнь; отъ нея умирають, по статистикѣ, 60⁰/о; вотъ операція, уничтожающая болѣзнь; отъ нея умирають только 50⁰/о.

Совѣсти не трудно, значить, рѣшить по совѣсти, что опасно: болѣзнь, предоставленная самой себѣ, или операція.

Но вотъ загвоздка.

Во-первыхъ, эта статистика не есть еще нѣчто вполне определенное и не подлежащее ни сомнѣнію, ни колебанію; а во-вторыхъ, почему же я буду знать, что въ данномъ случаѣ мой больной принадлежитъ именно къ числу 60 умирающихъ изъ 100, а не къ числу 40, остающихся въ живыхъ? И кто мнѣ сказалъ, что въ случаѣ операціи мой больной будетъ относиться къ числу 50⁰/о выздоравливающихъ, а не къ 50 умирающихъ?

Въ концѣ концовъ, не трудно убѣдиться, что и эта, повидимому такая вѣрная, цифра только тогда будетъ имѣть важное практическое значеніе, когда ей на помощь явится индивидуализированіе — новая, еще не початая отрасль знанія.

Когда изученіе человѣческихъ особей настолько подвинется впередъ, что каждую особь можно, по надежнымъ признакамъ, отнести къ той или другой рѣзко обозначенной категоріи, а свойства каждой категоріи противостоятъ вѣшнымъ и органическимъ (внутреннимъ) вліяніямъ будутъ извѣстны, — тогда и статистика съ ея цифровыми данными получитъ иное значеніе.

Могъ ли же я, молодой, малоопытный человѣкъ, быть настоящимъ наставникомъ хирургіи?!

Конечно, нѣтъ, — и я чувствовалъ это.

Но, разъ поставленный судьбою на это поприще, что я могъ сдѣлать?

Отказаться? Да для этого я былъ слишкомъ молодъ, слишкомъ самолюбивъ и слишкомъ самонадѣянъ.

Я избралъ другое средство, чтобы приблизиться, сколько можно, къ тому идеалу, который я составилъ себѣ объ обязанностяхъ профессора хирургіи.

Въ бытность мою за границей я достаточно убѣдился, что научная истина далеко не есть главная цѣль знаменитыхъ клиницистовъ и хирурговъ.

Я убѣдился достаточно, что нерѣдко принимались мѣры въ знаменитыхъ клиническихъ заведеніяхъ не для открытія, а для затемненія научной истины.

Было вездѣ замѣтно стараніе продать товаръ лицомъ. И это бы еще ничего. Но съ тѣмъ вмѣстѣ товаръ худой и недоброкачественный продавался за хорошій, и кому? Молодежи — неопытной, незнакомой съ дѣломъ, но инстинктивно ищущей научной правды.

Видѣвъ все это, я положилъ себѣ за правило, при первомъ моемъ вступленіи на кафедру ничего не скрывать отъ моихъ учениковъ, и если не сейчасъ же, то потомъ и немедленно открывать передъ ними сдѣланную мною ошибку, будетъ ли она въ діагнозѣ или въ леченіи болѣзни.

Въ этомъ духѣ я и написалъ мои клиническіе анналы, съ изданіемъ которыхъ я нарочно спѣшилъ, чтобы не дать повода моимъ ученикамъ упрекать меня въ намѣреніи выиграть время для скрытія правды.

Описавъ въ подробности всѣ мои промахи и ошибки, сдѣланные при постели больныхъ, я не щадилъ себя, и, конечно, не предполагалъ, что найдутся охотники воспользоваться моимъ положеніемъ и въ критическомъ разборѣ выставить снова на видъ выставленные уже мною грѣхи мои. Охотники, однакоже, нашлись. Мой хорошій петербургскій пріятель, д-ръ Задлеръ, написалъ огромную критическую статью въ одномъ нѣмецкомъ журналѣ.

Въ этой большой статьѣ нашлось для меня одно полезное замѣчаніе, это — русская пословица, приведенная Задлеромъ въ концѣ его критики:

„Терпи, казакъ, — атаманомъ будешь“.

Старикъ Хеліусъ въ 1862 году напомнилъ мнѣ объ этой

пословицѣ, переведенной Задлеромъ для нѣмцевъ такъ: Geduld, Kosak, wirst Ataman werden.

Черезъ годъ, вскорѣ послѣ выхода первыхъ выпусковъ моей „Хирургической анатоміи“, я былъ уже избранъ въ ординарные профессоры.

Для изданія этого труда мнѣ нужны были: издатель-книгопродавецъ, художникъ-рисовальщикъ съ натуры и хорошій литографъ.

Не легко было тотчасъ же найти въ Дерптѣ трехъ такихъ лицъ.

Къ счастью, какъ нарочно въ тому времени, явился въ Дерптъ весьма предприимчивый (даже слишкомъ, и послѣ обанкротившійся) книгопродавецъ Клуге. Ему—конечно, безденежно—я передалъ все право изданія, съ тѣмъ лишь, чтобы рисунки были именно такими, какіе я желалъ имѣть. Художникъ-рисовальщикъ—этотъ рисовальщикъ былъ тотъ же г. Шлатеръ, котораго нѣкогда я отыскалъ случайно для рисунковъ моей диссертациі на золотую медаль. Это былъ не геній, но трудолюбивый, добросовѣстный рисовальщикъ съ натуры. Онъ же, самоучкою, работая безъ устали и съ самоотверженіемъ, сдѣлался и очень порядочнымъ литографомъ. А для того времени это была не шутка. Тогда литографовъ и въ Петербургѣ былъ только одинъ, и то незавидный. Первые опыты литографскаго искусства Шлатера и были рисунки моей „Хирургической анатоміи“. Они удались вполнѣ.

Съ попечителемъ Крафтштремомъ, въ началѣ ко мнѣ весьма благоволившимъ, я не долго жилъ въ ладу, впрочемъ не по моей винѣ.

То было время дуэлей въ Дерптѣ. Періодическія дуэли то усиливались (и едва-ли не тогда, когда ихъ преслѣдовали), то уменьшались.

Крафтштрему и ректору дуэли, разумѣется, были не по сердцу, особливо случившіяся вскорѣ одна послѣ другой: одна мнимая, другая—дѣйствительная.

Русскій студентъ, сорви-голова, Хитрово безнадежно вляпался въ одну пріѣзжую замужнюю женщину. Желая всѣми силами обратить на себя вниманіе этой дамы, Хитрово при-

думалъ такую штуку: увидѣвъ предметъ своей любви на одномъ концертѣ, онъ бросился стремглавъ къ ректору съ донесеніемъ, что убилъ одного студента на дуэли въ лѣсу, и предаеть себя произвольно въ руки правосудія.

Ректоръ отправилъ Хитрово въ карцеръ, а самъ съ фонарями, педелами и полиціей отправился въ лѣсъ отыскивать трупъ убитаго.

Проискали цѣлую ночь, и ничего не нашли.

На другой же день оказалось, что вся эта исторія—выдумка взбалмошнаго влюбленнаго.

Другая же, дѣйствительная, даже надѣлала много хлопотъ Крафтштрему.

Нашли, дѣйствительно, убитаго студента въ лѣсу и, несомнѣнно, убитаго на пистолетной дуэли. Разыскивали не мало, но все оставалось шитымъ и крытымъ.

Въ это самое время ѣхалъ черезъ Дерптъ за границу государь Николай Павловичъ. Можно себѣ представить, какъ струсилъ Крафтштремъ! Онъ явился съ докладомъ государю на почтовую станцію; государь не выходилъ изъ кареты, и когда Крафтштремъ донесъ ему о случившемся, то государь прямо объявилъ ему:

— „Ну, что же; такъ разгони факультетъ“.

Вотъ тебѣ разъ! Чтò тутъ подѣлаешь? Разгони факультетъ! да какой,—ихъ цѣлыхъ четыре,—и какъ его разгонишь?

Вотъ въ это-то тревожное время и случилась еще одна дуэль на студенческихъ геберахъ.

Рана была грудная и опасная. Меня позвали на третій день, когда уже развилось сильное воспаленіе плевры. Я дня два посѣщалъ раненаго, вскорѣ затѣмъ отдавшаго Богу душу.

Меня призываютъ къ Крафтштрему.

— „Вы лечили раненаго на дуэли?“—спрашиваетъ онъ меня.

— Я.

— „Вы знали, что онъ былъ раненъ на дуэли?“

— Я могъ бы вамъ отвѣтить, что не зналъ, такъ какъ никто мнѣ не докажетъ, что я зналъ; но я не хочу вамъ лгать, и потому говорю: зналъ.

— „А когда знали, то почему не донесли по закону? Вы будете отвѣчать“...

— „Назначается судъ, не университетскій, не домашній, а уголовный. Затѣмъ, прощайте“, — прибавилъ онъ.

Судъ, дѣйствительно, начался, и меня притянули къ нему.

На судѣ я сказалъ то же самое, что мнѣ никто не докажетъ, что я зналъ о дуэли, но я сознаюсь, что зналъ; а не донесъ потому, что, во-первыхъ, твердо былъ увѣренъ въ существованіи доноса о дуэли и помимо меня; а во-вторыхъ, считалъ для раненаго вреднымъ судебное дознание, неизбежное, если бы я донесъ при жизни больного, находившагося въ опасности; по смерти же я, дѣйствительно, доносилъ по начальству о приключившейся отъ грудной раны смерти, вслѣдствіе воспаленія въ плеврѣ.

Итакъ, эта дуэль разстроила меня съ Крафтштремомъ. Я пересталъ посѣщать его. Встрѣчаясь на улицѣ, мы не кланялись другъ другу. Я получилъ черезъ совѣтъ выговоръ отъ министра.

Натянутыя мои отношенія къ попечителю продолжались нѣсколько мѣсяцевъ.

Появленіе на свѣтъ 1-й части моихъ клиническихъ анналовъ доставило мнѣ, почти въ одно и то же время, пріятность и выгоду. Пріятны, чрезвычайно пріятны были для меня привѣтъ и дружеское пожатіе руки профессора Энгельгардта.

Энгельгардтъ (профессоръ минералогіи), цензоръ и ревностный піетистъ, неожиданно является ко мнѣ, вынимаетъ изъ кармана одинъ листъ моихъ анналовъ, читаетъ вслухъ, взволнованнымъ голосомъ и со слезами на глазахъ, мое откровенное признаніе въ грубѣйшей ошибкѣ діагноза, въ одномъ случаѣ причинившей смерть больному; а за признаніемъ слѣдовалъ упрекъ своему тщеславію и самолюбію. Прочитавъ, Энгельгардтъ жметъ мою руку, обнимаетъ меня и, разстроганный донельзя, уходитъ.

Этой сцены я никогда не забуду; она была слишкомъ отрадна для меня.

Выгода, доставленная мнѣ анналами, получена съ другой, почти противоположной, стороны.

Въ то время, когда я писалъ свои анналы, въ Дерптѣ

былъ распространенъ сифилисъ въ значительныхъ размѣрахъ между студентами и бюргерскою молодежью.

Полицейскихъ санитарныхъ мѣръ не существовало. Я, въ статьѣ о сифилисѣ, настаивалъ на безотлагательномъ введеніи этихъ мѣръ, говоря, что нельзя если предохранить слабыхъ дѣтей отъ паденія, то надо, по крайней мѣрѣ, сдѣлать паденіе это какъ можно менѣе вреднымъ.

Пошли толки, и я услышалъ, что Крафтштремъ читалъ эту статью нѣкоторымъ изъ вліятельныхъ городскихъ людей, причемъ хвалилъ меня за правду и нелицемѣріе.

Это случилось именно въ то время, когда я намѣревался воспользоваться университетскою суммою, назначенною для ученыхъ экспедицій, — поѣхать въ Парижъ для осмотра госпиталей. Это дѣло должно было идти черезъ попечителя. Я и отправился къ нему, обнадеженный слухами о расположеніи его ко мнѣ.

Пріемъ былъ, дѣйствительно, очень радушный; Крафтштремъ обѣщалъ мнѣ полное содѣйствіе въ министерствѣ.

Въ январѣ 1837 г. я и отправился въ Парижъ, получивъ пособіе отъ университета на путевыя издержки.

Тринадцать дней и ночей я ѣхалъ, не отдыхая ни разу, изъ Дерпта до Парижа на Полянгенъ, Франкфуртъ-на-Майнѣ, Саарбрюкенъ и Мецъ. И несмотря на 13 ночей, проведенныхъ въ экипажѣ, я, по пріѣздѣ въ Парижъ, тотчасъ же отправился осматривать городъ.

Парижъ не сдѣлалъ на меня особенно благопріятнаго впечатлѣнія въ хирургическомъ отношеніи. Госпитали смотрѣли угрюмо; смертность въ госпиталяхъ была значительная.

Самое пріятное впечатлѣніе произвелъ на меня изъ всѣхъ парижскихъ хирурговъ Вельпѣ. Можетъ быть, нравился онъ мнѣ и потому, что на первыхъ же порахъ сильно пощекоталъ мое авторское самолюбіе. Когда я пришелъ къ нему въ первый разъ, то засталъ его читающимъ два первые выпуска моей „Хирургической анатоміи артерій и фасцій“. Когда я ему рекомендовался глухо: — *Je suis un médecin russe* (я русскій врачъ), — то онъ тотчасъ же спросилъ меня, не знакомъ ли я съ *le professeur de Dorpat, m-r Pirogoff*, и когда я ему объявилъ, что

я самъ и есть Пироговъ, то Вельпо принялся расхваливать мое направленіе въ хирургіи, мои изслѣдованія фасцій, рисунки, и т. д., и тогда же познакомилъ меня съ англійскимъ специалистомъ въ наукѣ о фасціяхъ и, по мнѣнію Вельпо, весьма компетентнымъ въ этомъ дѣлѣ. Это былъ нѣкто Томсонъ, участвовавшій въ заговорахъ чарлистовъ и бѣжавшій изъ Англіи въ Парижъ.

Дѣйствительно, весьма дѣльный анатомъ, онъ называлъ себя, по своей спеціальности „fascia Tom“, но чудака пре-оригинальнѣйшій. Всю жизнь свою въ Парижѣ онъ посвятилъ двумъ спеціальностямъ: изслѣдованію фасцій, съ изготовленіемъ превосходныхъ препаратовъ, и преслѣдованію профессоровъ. Для этой послѣдней цѣли онъ предпринялъ публикованіе разныхъ брошюръ, выходившихъ почти ежедневно въ свѣтъ съ литографскаго станка. Брошюры были составляемы самимъ Томсономъ и нѣкоторыми весельчаками-студентами и разносились ими же самими по знакомымъ.

Мнѣ онъ надавалъ ихъ цѣлую груду, одну забористѣе другой: „L'art d'engraisser les professeurs“ (искусство откармливать профессоровъ). „Soi pour soi et chacun pour soi“ (всѣ для себя и каждый тоже), etc. etc. Въ каждой изъ нихъ было собраніе скандаловъ, случившихся съ профессорами. Тутъ фигурировали особенно Бретгардтъ, анатомъ Бреше, молодой Шассеньякъ, получившій однажды пощечину отъ Томсона и судившійся съ нимъ въ police correctionnelle.

Послѣ Вельпо, нѣсколько молодыхъ хирурговъ (учениковъ Дюпюитрѣна) могли считаться настоящими представителями современной хирургіи: Бландэнъ — Hôtel Dieu; Жоберъ — Hôpital St. Louis; Робертъ. Специалисты по литотрипсѣ — Амюссá, Сивіаль и Леруа d'Etoile — составляли истинную славу тогдашней французской хирургіи (Heutereloup фигурировалъ въ то время въ Лондонѣ). Амюссá пригласилъ меня на свои домашнія хирургическія бесѣды. Онѣ были весьма интересны, но на французскій ладъ, какъ всѣ курсы въ Парижѣ: привлекательны, но фразисты и нерѣдко пустопорожни.

Услыхавъ на этихъ бесѣдахъ, куда приглашались Амюссá всѣ прїѣзжавшіе въ Парижъ иностранные врачи (между прочими Астл. Куперъ, Диффенбахъ), что Амюссá все еще под-

держиваетъ свое ложное мнѣніе о совершенно прямомъ направленіи мочевого канала (у мужчинъ), я заявилъ ему о результатѣ моего изслѣдованія направленія мочевого канала на замороженныхъ трупахъ, совершенно противорѣчащихъ мнѣнію его; и когда онъ голосовно отвергъ результаты моихъ изслѣдованій, то я предложилъ ему состязаніе на слѣдующей лекціи, для которой я взялся и изготovitъ препараты, которые должны доказать справедливость моего убѣжденія. Я и притащилъ на слѣдующую лекцію разрѣзы таза, которыми я доказывалъ ему нелѣпость его воззрѣній на отношеніе мочевого канала къ предстательной железнѣ.

Конечно, Амюссá, несмотря на всю наглядность моихъ доказательствъ, не соглашался. Люди, а особливо ученые и еще особливѣе тщеславные французы, съ предвзятымъ мнѣніемъ, никогда не сознаются въ ошибкахъ и заблужденіяхъ. Но для меня довольно было и того, что я видѣлъ, какъ новъ былъ для Амюссá мой способъ изслѣдованія. Я доволенъ былъ еще и тѣмъ, что остальная часть присутствовавшихъ на этомъ состязаніи молодыхъ врачей не была на сторонѣ его.

Не отрадное впечатлѣніе произвели на меня и двѣ другія хирургическія знаменитости—Ру и Лисфранкъ.

Лисфранкъ, какъ профессоръ, былъ, въ полномъ смыслѣ, французскій нахаль и благодѣтель-крикунъ, рослый, плечистый, одаренный голосомъ такимъ, который можно слышать за версту. Лисфранкъ тѣмъ только и привлекалъ на свои клиническія лекціи, что кричалъ во все горло, въ самыхъ грубыхъ выраженіяхъ, противъ всѣхъ своихъ товарищей по ремеслу.

— „Ces per-r-roquets de la médecine“ (обезьяны медицины),—раздавалось безпрестанно въ его аудиторіи, когда онъ говорилъ не о себѣ, а о другихъ.—„Ce brigand du bord de l'eau“ (береговой разбойникъ),—это было прозваніе, данное имъ нѣкогда Дюпюитрэну.—„Ce chirurgien menuisier“—это былъ Ру; Velpeau назывался на языкѣ Лисфранка „vil-peau“ (подлая шкура) и т. п.

Несмотря на все это, Лисфранкъ былъ, дѣйствительно, замѣчательный хирургъ и клиницистъ своего времени, хотя и скрывавшій зачастую свои промахи и ошибки.

Что касается до Ру,—данное ему Лисфранкомъ прозвище

„столяра“ было, надо сознаться, весьма мѣтко. Огромная, полувѣковая опытность не сообщала знаменитому оператору никакого строго-научнаго авторитета.

Гораздо выше стояла въ то время научная дѣятельность французскихъ діагностовъ и клиницистовъ по внутреннимъ болѣзнямъ: Андраль, Луи, Шомель, Рустэнъ, Крювелле и даже увлекавшійся до крайности Бульо — были истинными представителями научной медицины того времени.

Всѣ *privatissima*, взятые мною у парижскихъ спеціалистовъ, не стоили выѣденнаго яйца, и я понапрасну только потерялъ мои лудоры.

Лица, дававшія *privatissima*, большею частію *agregés* (адъюнкты-профессоры), не имѣли никакого права на доставленіе своимъ слушателямъ разныхъ демонстративныхъ пособій — труповъ, препаратовъ, клиническихъ случаевъ, и всѣ лекціи ихъ заключались въ одномъ говореньи или нелѣпыхъ упражненіяхъ на какомъ-нибудь импровизированномъ фантомѣ, какъ, наприкладъ, у литотритера Labut, на сухомъ бычачьемъ пузырьѣ, съ вложеннымъ въ него кускомъ мѣла; а одинъ изъ этихъ господъ (*m-r* Beaux) ухитрился читать мнѣ свое *privatissimum* о стѣтоскопії у себя на квартирѣ, передъ пылающимъ каминомъ. Я не окончилъ слушанія ни одного *privatissimum* и не имѣлъ терпѣнія выдержать болѣе половины назначеннаго числа лекцій.

Мои занятія въ Парижѣ состояли исключительно въ посѣщеніи госпиталей, анатомическаго театра и бойни для вивисекцій надъ больными животными (лошадьми)

Это былъ единственный *privatissimum* Амюссá съ демонстраціями на живыхъ животныхъ. Но самъ Амюссá рѣдко являлся на живодерню. И вотъ, чтобы воспользоваться рѣдкимъ у насъ случаемъ вивисекцій на больныхъ животныхъ, я и нѣсколько молодыхъ американскихъ врачей устроили между собою маленькое общество, съ тѣмъ, чтобы производить вивисекціи въ живодернѣ на общій счетъ.

Тутъ я имѣлъ случай, въ первый разъ въ жизни, присмотрѣться къ разнымъ, для насъ невѣдомымъ и чуждымъ, свойствамъ американцевъ.

Ѣдемъ мы, наприкладъ, вмѣстѣ на живодерню, мимо какой-

нибудь мясной лавки. „Стой!“ — кричат извозчику американцы, и выскакивают смотрѣть на сегодняшнюю таксу на мясо, начинают торговаться, спорить съ мясникомъ. Пріѣхали мы на бойню, начинается споръ изъ-за таксы съ извозчикомъ, и мнѣ никакъ не позволялось уплатить что-нибудь лишнее, лишь бы отдѣлаться поскорѣе отъ извозчика.

А вотъ однажды такъ и со мной заводить исторію одинъ американецъ изъ-за кроваваго пятна, которое я нечаянно сдѣлалъ на рукавѣ его байкового пиджака. Едва я могъ укротить взбѣшеннаго моею неосторожностью янки, клянясь ему, что не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія его оскорбить или причинить ему изъязнъ, и готовъ тотчасъ же вознаградить его за причиненный ему убытокъ, — такъ называю я кровавое пятно на рукавѣ поношеннаго темно-бураго байкового пиджака.

Кромѣ Парижа, я дѣлалъ нѣсколько разъ экскурсіи изъ Дерпта въ Москву (три раза), Ригу и Ревель.

Побывавъ въ Москвѣ, я имѣлъ случай сравнить мое дерптское житье-бытье съ житьемъ въ Москвѣ старыхъ товарищей.

Разумѣется, всего болѣе интересовала меня жизнь моего прежняго товарища по хирургіи, Иноземцева, тѣмъ болѣе, что ему суждено было занять назначенное для меня мѣсто. Оказалось, что Иноземцевъ пошелъ въ гору по практикѣ и дѣлался однимъ изъ первыхъ врачей-практиковъ Бѣлокаменной. Рассказывали потомъ, что онъ учредилъ у себя на Никитской (гдѣ онъ жилъ) товарищество изъ молодыхъ врачей, раздѣлявшихъ съ нимъ практику въ городѣ; а по случаю этого товарищества сказывали, какъ относилась къ нему публика гостиного двора и Охотнаго ряда. Одинъ гостинодворецъ, — повѣствовали мнѣ, — страдавшій весьма упорною язвою на ногѣ, обратился въ клинику профессора Овера, который и отнесся съ вопросомъ къ больному, гдѣ онъ до сихъ поръ и какъ лечился, на что и получилъ весьма характерный отвѣтъ:

— „Да были у меня разъ нѣсколько молодцовъ съ Никитской, а потомъ и хозяинъ самъ былъ“.

Иноземцевъ не былъ научно-раціональный врачъ, въ современномъ значеніи, хотя онъ и толковалъ постоянно о раціонализмѣ, мыслящихъ врачахъ и т. п.

Но Иноземцевъ отъ природы былъ хорошій практикъ, имѣлъ тактъ, споровку и смекалку. Иноземцевъ былъ терапевтическій діагностъ; я послѣ когда-нибудь скажу, что подъ этимъ названіемъ разумѣю я.

Особливо одинъ, дѣйствительно, замѣчательный случай возвысилъ Иноземцева въ медицинскомъ практическомъ мѣрѣ. Это было всѣмъ извѣстное лицо, прошедшее черезъ руки всѣхъ петербургскихъ и большей части московскихъ врачей. Больной страдалъ кровавою рвотою, съ болями подъ ложечкой и слабостью.

Профессоръ Бушъ и другіе врачи въ Петербургѣ считали болѣзнь за ракъ желудка. Иноземцевъ узналъ изъ тщательнаго анализа, что больной страдалъ прежде болями и припухлостью большого пальца ноги, принявъ болѣзнь за arthritis, поставилъ мушку на большой палецъ ноги, прежде болѣвшій, и хроническая рвота прекратилась; больной выздоровѣлъ.

Второй случай, доказавшій способность Иноземцева находить правильныя показанія къ употребленію того или другого способа леченія, встрѣтился у него въ клиникѣ и описанъ былъ въ нѣкоторыхъ журналахъ.

Это былъ громадный модулярный саркомъ глаза, постепенно атрофировавшійся при употребленіи амигдалина (?) (внутрь) въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Гипсовый слѣпокъ съ этого больного я видѣлъ при посѣщеніи мною клиники Иноземцева.

Въ первое время своей профессуры въ Москвѣ Иноземцевъ не былъ счастливъ. Спустя два года послѣ занятія этой каведры, Иноземцевъ проѣзжалъ за границу, черезъ Петербургъ, гдѣ мы и встрѣтились; онъ до такой степени показался мнѣ тогда жалкимъ и убитымъ, что я искренно пожалѣлъ о немъ, хотя въ глубинѣ души невольно думалось: „вотъ, ништо тебѣ, это за то, что отбилъ мѣсто и пошелъ не на свое!“

Право, мнѣ казалось тогда, что Иноземцевъ былъ не въ своемъ умѣ,—до того странны были его рассказы о причиняемыхъ ему каверзахъ: оперированные у него умирали въ клиникѣ оттого, что ассистенты нарочно портили раны и отправляли больныхъ, и т. п. Потомъ вся эта мономанія прошла безслѣдно, но онъ остался такимъ, какимъ и прежде былъ,—фанатикомъ разныхъ предположеній, и этотъ-то фанатизмъ онъ

и считалъ медицинскимъ раціонализмомъ. Этотъ фанатическій раціонализмъ и заставилъ Иноземцева быть періодическимъ приверженцемъ различнѣйшихъ способовъ леченія. Одно время онъ восторженно превозносилъ lapis haemostriticus противъ всѣхъ возможныхъ кровотеченій; а другое время—amygdalin (?) дѣлался панацеею противъ раковъ, а во время холеры нашлись капли, извѣстныя и до сихъ поръ подъ именемъ „Иноземцевскихъ“, которыми онъ, по его мнѣнію, спасалъ всѣхъ больныхъ отъ холеры, если только успѣвалъ въ-время захватить болѣзнь.

Этими знаменитыми каплями снабдилъ онъ и меня при нашемъ послѣднемъ свиданіи въ Москвѣ въ 1854 году.

Я заѣхалъ тогда къ Иноземцеву проѣздомъ черезъ Москву въ Севастополь; обѣдалъ у него, послѣ обѣда почувствовалъ схватки въ животѣ, вслѣдствіе чего и получилъ на дорогу драгоцѣнную панацею съ наставленіемъ, какъ ее употреблять противъ холеры. Иноземцева съ тѣхъ поръ я не видалъ уже болѣе ни разу, а бутылку съ его каплями привезъ нетронутою изъ-подъ стѣнъ Севастополя.

Однажды, въ бытность мою въ Москвѣ, товарищи посовѣтовали мнѣ сдѣлать визитъ попечителю Строгонову, увѣривъ меня, что это будетъ ему очень пріятно. Я рѣшился; но Строгоновъ принялъ меня, профессора другого университета, такъ, какъ будто онъ стоялъ предо мною на высотѣ трона,—стоя, не пригласивъ сѣсть,—за чѣмъ я и самъ сталъ на дыбы, отвѣчалъ отрывисто, прекратилъ разговоръ почти на серединѣ, раскланялся и ушелъ.

Нашъ дерптскій Крафтштремъ, хотя и неотесанный фронтоникъ, не пріучилъ насъ къ такому приему.

О моихъ ежегодныхъ экскурсіяхъ въ вакаціонное время въ Ригу и Ревель я долженъ упомянуть, что онѣ оставили у меня много разнаго рода воспоминаній. Одинъ изъ моихъ пріятелей называлъ эти экспедиціи, по множеству проливавшейся въ нихъ крови, Чингисханскими нашествіями. Но оставшіяся у меня воспоминанія вовсе не кровавыя,—кровавыя помѣщались въ хирургическихъ анналахъ,—а тихія и пріятныя.

Впрочемъ, поѣздка въ Ригу могла бы сдѣлаться памятною на цѣлую жизнь; но тихою ли и пріятною, это одному Богу извѣстно.

Дѣло въ томъ, что въ Ригѣ, въ 1837 году, я чуть-было не сдѣлалъ предложенія одной дѣвушкѣ, вовсе еще не расположенный такъ рано жениться. Тотчасъ по прїѣздѣ въ Ригу, я познакомился съ семействомъ главнаго доктора военнаго госпиталя (родомъ серба). Семейство его состояло изъ жены доктора, очень умной и образованной вѣмки, и трехъ дочерей.

Однажды, подгулявъ за обѣдомъ, даннымъ мнѣ рижскими врачами, мы съ главнымъ докторомъ отправились къ нему въ госпиталь; расположенный послѣ шампанскаго къ болтовнѣ, я вдругъ задаю моему спутнику вопросъ: какъ онъ думаетъ, хорошо ли я поступлю, сдѣлавъ предложеніе одной мнѣ знакомой и ему извѣстной барышнѣ?

Конечно, онъ не могъ не замѣтить, о комъ шла рѣчь. Но отвѣчалъ весьма уклончиво, въ такомъ родѣ, что, молъ, такъ, черезъ годъ, когда вы опять сюда прїѣдете, будетъ удобіе.

Я прикусилъ языкъ и тотчасъ же перемѣнилъ разговоръ.

Съ той минуты не было и помину о предложеніи.

На другой годъ, проѣзжая черезъ Ригу въ Парижъ, я сдѣлалъ визитъ этому семейству, и отецъ, старый докторъ, замѣтно употреблялъ разные маневры, чтобы снова возбудить во мнѣ охоту сдѣлать предложеніе. Но было поздно; я притворился, что ничего не замѣчаю, отобѣдалъ, распростился и уѣхалъ. Богъ знаетъ, кто изъ насъ двоихъ былъ глупѣе: отецъ невѣсты или я.

Мои лѣтнія экспедиціи въ Ревель продолжались и тогда, когда я переѣхалъ изъ Дерпта въ Петербургъ. Я любилъ Ревель; въ немъ и послѣ Дерпта, и послѣ Петербурга я отдыхалъ и тѣломъ, и душою.

Я цѣлыхъ 30 лѣтъ, не пропуская почти ни одного года, купался въ морѣ (прежде въ Балтійскомъ, потомъ въ Черномъ и, наконецъ, въ Средиземномъ), и чувствовалъ себя всегда укрѣпленнымъ и поздоровѣвшимъ послѣ купаній; только въ Сорренто, около Неаполя, морскія купанья подѣйствовали на меня неладно и взволновали мой кишечный катарръ, можетъ быть, и оттого, что они были соединены съ непривычнымъ режимомъ (горячительнымъ виномъ, пищею на прованскомъ маслѣ, съ разными итальянскими приправами).

Но, кромѣ купаній, Ревель оставилъ во мнѣ пріятныя воспоминанія на цѣлую жизнь тѣмъ, что я проводилъ въ немъ время и какъ женихъ съ невѣстою, при первой моей женитьбѣ, и съ молодою женою и дѣтьми, послѣ моего второго брака.

Въ Ревелѣ жило семейство моего хорошаго пріятели по университету, д-ра Эренбуша. Мы проводили пріятно время вмѣстѣ въ его загородномъ домѣ (въ Екатериненталѣ); въ Ревелѣ знакомился я ежегодно съ интересными личностями, пріѣзжавшими изъ Петербурга.

Такъ, однажды, я познакомился въ Ревелѣ съ графиней Растопчиной (поэтомъ), и у нея же узналъ князя Вяземскаго и Толстого.

Это былъ весьма замѣчательный годъ наплывомъ разныхъ знаменитостей изъ Петербурга, между прочими одного богача-откупщика, страшно безобразнаго, съ какимъ-то жирнымъ, лоснящимся, отвратительнымъ лицомъ, и г-на Ш....., директора или инспектора одного изъ военныхъ учебныхъ заведеній и любимца Ростовцева, также пріѣзжавшаго въ тотъ годъ въ Ревель.

Растопчина весьма изумила меня своею привычкою жевать бумагу. Передъ нею на столѣ ставилась всегда коробка съ длинными полосками тонкой почтовой бумаги, и графиня, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняясь, постоянно несла одну бумажку въ ротъ вслѣдъ за другою. Мы разговорились за столомъ объ этой оригинальной страсти жевать бумагу, и каждый сталъ предлагать средства противъ этой страсти.

— Я вамъ скажу самое вѣрное, — замѣтилъ Толстой: — попросите откупщика NN, чтобы онъ вашею бумагою вытеръ себѣ лицо, и я увѣренъ, что тотчасъ же отвыкнете жевать ее.

Ш..... съ откупщикомъ не ладили; послѣ объяснилась причина: и Ш....., и откупщикъ были очень уродливы. И тотъ, и другой, взятые вмѣстѣ, составили бы одного порядочнаго Квазимоду.

Уроженецъ Кавказа, Ш..... усвоилъ себѣ тамъ нѣжное обращеніе съ мальчиками, и потому не любилъ женскаго пола. Откупщикъ, напротивъ, какъ телецъ упитанный, живущій себѣ всласть, постоянно болталъ о женскомъ полѣ и позволялъ себѣ всякаго рода сальности. Ему не могло не казаться стран-

нимъ это отвращеніе отъ женщинъ, и онъ вѣрно догадывался о причинѣ. Съ другой стороны, и Ш..... была не по нутру догадливость откупщика.

Могъ ли я, находясь ежедневно въ обществѣ этихъ двухъ господъ и проводя съ Ш..... цѣлые часы въ прогулкахъ, подозревать, что этотъ умный, талантливый и весьма образованный уродъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ будетъ уличенъ въ самомъ безнравственномъ уголовномъ преступленіи!

Любимецъ Ростовцева, любимецъ вел. кн. Михаила Павловича, Ш..... въ одно прекрасное утро попался en flagrant délit и былъ уличенъ своими питомцами въ половыхъ сношеніяхъ съ ними, систематически имъ организованныхъ. Итакъ, родители будущихъ сыновъ Марса узнали въ одно прекрасное утро, что архипедагогъ учебныхъ заведеній, фаворитъ великихъ міра сего, посвящалъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, цѣлыя поколѣнія своихъ питомцевъ въ мистеріи греческой любви.

И какъ обворожителенъ, остроуменъ, любезенъ онъ былъ въ обществѣ—только не дамъ; о чемъ вамъ угодно, о всѣхъ возвышенныхъ предметахъ говорилъ умно, отчетливо и горячо этотъ замѣчательный рахитикъ. У Ш....., кромѣ искривленія колѣнъ, и голова, и позвоночный столбъ носили на себѣ явные слѣды англійской болѣзни.

Дѣло Ш....., надѣлавшее столь много шума, вскорѣ заглохло...

При Николаѣ Павловичѣ не любили долго распространяться о скандалахъ съ участіемъ лицъ отъ правительства. Я долго послѣ этой исторіи вспоминалъ загадочныя циническія усмѣшки и подмигиванія откупщика при взглядѣ на Ш....., такъ злившія его въ Ревелѣ.

Говоря о моихъ знакомствахъ въ Ревелѣ, я забѣгаю впередъ и кстати уже говорю и о тѣхъ, которыхъ я дѣлалъ потомъ, пріѣзжая въ Ревель изъ Петербурга. Къ такимъ я отношу одно интересное знакомство съ семействомъ Моллера и Глазенапа.

Федоръ Моллеръ (сынъ бывшаго морского министра), сначала военный (адъютантъ Паскевича), потомъ художникъ (живописецъ), замѣчательнъ былъ для меня тѣмъ, что правая рука, владѣвшая такъ прекрасно кистью, была поражена давно

костянымъ наростомъ (osteide), занявшимъ все запястье и всю пясть этой руки. Сверхъ этого, Моллеръ, впрочемъ крѣпкій на видъ, здоровый и красивый мужчина, пріѣхавъ изъ Италіи на сѣверъ, схватилъ сильную невральгію сѣдалищнаго нерва (ischias); я помогъ ему холодными душами, послѣ того какъ онъ перепробовалъ безъ пользы множество другихъ средствъ.

При этомъ-то случаѣ я познакомился и съ сестрою Моллера, Эмилиєю Амосовною Глазенапъ. Въ этотъ годъ скончался старикъ Моллеръ, министръ, — и Эмилиа Амосовна, очень любившая отца, впала въ нервно-истерическое состояніе, заставлявшее ее поминутно, безъ всякой видимой причины, плакать; сверхъ этого, это была особа отъ роду необыкновенно впечатлительная и притомъ увлекающаяся донельзя и разсѣянная. Примѣры ея увлеченій и разсѣянности встрѣчались на каждомъ шагѣ. То вдругъ, при самомъ обыкновенномъ разговорѣ, она вскакивала и вскрикивала: „нѣтъ, нѣтъ, c'est impossible, c'est plus qu'impossible!“ то восхищалась такъ же неожиданно какимъ-нибудь выраженіемъ.

Э. А. Глазенапъ страстно любила музыку, сама играла и пѣла; но въ пѣніе она вкладывала, увлекаясь, столько чувства, что искусство ея казалось для посторонняго человѣка чѣмъ-то напускнымъ, неестественнымъ, пересоленнымъ.

Такъ во всемъ. Братъ ея мнѣ рассказывалъ, что Эмилиа Амосовна однажды, на большомъ домашнемъ концертѣ, стоя за стуломъ піаниста, до того увлеклась гармонією, что, забывшись, начала пальцами водить по головѣ артиста, потомъ зацѣпилась чѣмъ-то за длинные его волосы и, къ ужасу всѣхъ присутствующихъ, обнажила его плѣшивую голову. Приподнятый съ головы парикъ висѣлъ на крючкѣ платья Эмилиі Амосовны.

Прибывъ вмѣстѣ съ больнымъ еще братомъ въ Ревель, Эмилиа Амосовна хотѣла полечить и себя отъ несносной истерической тоски; мужъ, капитанъ-лейтенантъ Богданъ Александровичъ Глазенапъ, былъ гдѣ-то при флотѣ за границую. Я ей посовѣтовалъ морскія купанья и какъ можно болѣе движенія на чистомъ воздухѣ. А между пріѣзжими я считался знатокомъ по части ревельскихъ прогулокъ; и дѣйствительно, я исходилъ пѣшкомъ всѣ ближнія окрестности и зналъ всѣ хотя

сколько-нибудь живописныя мѣста. Такимъ образомъ мы и составляли ежедневно trio (Э. А. Глазенапъ, Федоръ Моллеръ и я) для прогулокъ за городомъ. Къ намъ присоединялся иногда и докторъ Н. Ф. Здекауеръ.

Прогулки приносили очевидную пользу: истерическіе припадки и грустное настроеніе духа прошли; а между тѣмъ ревельскіе и петербургскіе сплетники и сплетницы подсмѣивались надъ нашими прогулками, называя ихъ, въ насмѣшку, „ботаническими экскурсіями доктора Пирогова и m-me Глазенапъ“. Это глупое хихиканье дошло и до двора. Въ то время проѣзжала черезъ Ревель одна изъ княгинь; встрѣтивъ Богдана Александровича на пароходѣ, она обратилась съ усмѣшкою къ нему и спрашивала: слышалъ ли онъ, что его жена занимается ботаническими экскурсіями съ докторомъ Пироговымъ? Хорошо, что Богданъ Александровичъ зналъ отлично нравы и обычаи жены, и потому, нисколько не сконфузаясь, отвѣчалъ какою-то шуткою.

Семейство Глазенапъ (мужъ и жена) оставались долго нашими добрыми пріятелями все время, пока мы жили въ Петербургѣ; потомъ пространство раздѣлило насъ. Архангельскъ (гдѣ Глазенапъ былъ губернаторомъ) и Одесса или Кіевъ (гдѣ я былъ попечителемъ, потомъ Германія, гдѣ я жилъ четыре года), Николаевъ, гдѣ Глазенапъ былъ военнымъ губернаторомъ; наконецъ, подольская губернія (мое имѣніе) и Петербургъ, гдѣ Глазенапъ и теперь еще (октябрь 1881 г.) служить,—это все такая даль, такіа разстоянія, что давно уже, лѣтъ 15, мы не видались.

Въ Ревелѣ же, наконецъ, возобновилъ я старое знакомство съ моимъ товарищемъ по Берлину, и вмѣстѣ съ нимъ завелъ новое съ лицомъ не менѣе интереснымъ, какъ и мой старый товарищъ, но крайне подозрительнымъ.

Какъ-то нечаянно я встрѣчаю въ морскихъ купальняхъ знакомое лицо; всматриваюсь и узнаю, что это Н. Ив. Крыловъ, профессоръ римскаго права въ московскомъ университетѣ.

— Ба, ба, ба! ты зачѣмъ здѣсь очутился? — спрашиваю я его.

— „Да, вотъ, проѣздомъ изъ Петербурга, хочу попробовать выкупаться въ морѣ. Я чай, вода-то тутъ у васъ холодная,

прехолодная? А? (Эта частица „а“ прибавлялась Крыловымъ къ каждому періоду).

— А вотъ, рекомендую моего друга, главнаго врача при морскихъ купальняхъ и ваннахъ, доктора Эренбуша. Познакомьтесь, господа: мой старый товарищъ—профессоръ Крыловъ.

— „Очень рады“.

— Ну, чтò, Эренбушъ, сегодня вода въ морѣ,—спросилъ я, подмигнувъ Эренбушу,— холодна?

— „О, нѣтъ!—отвѣчаетъ Эренбушъ:—очень пріятная, въ самую пору“.

Мы раздѣваемся и идемъ купаться. Первый входитъ въ воду Крыловъ, но какъ только окунулся, такъ сейчасъ же благимъ матомъ назадъ; трясаясь, какъ осиновый листъ, посинѣвъ, Крыловъ бѣжитъ изъ воды, крича дрожащимъ голосомъ:

— „Подлецы — нѣмцы!“

Мы хохотали до упаду при этой суетѣ. Это было такъ по-русски, и именно по-московски: „нѣмцы подлецы“—зачѣмъ вода холодна!—нѣмцы подлецы, жида подлецы, всѣ подлецы, потому что я глупъ, потому что я неостороженъ и легковѣренъ.

Потѣха продолжалась цѣлый день потомъ.

Съ Крыловымъ нельзя было не смѣяться. Онъ сталъ рассказывать намъ свое похождение съ генераломъ Дубельтомъ. Крыловъ былъ цензоромъ, и пришлось имъ въ этотъ годъ цензировать какой-то романъ, надѣлавшій много шума. Романъ былъ запрещенъ главнымъ управленіемъ цензуры, а Крыловъ вызванъ къ петербургскому шефу жандармовъ, Орлову. Вотъ объ этомъ-то дѣлѣ и надо было подсунуть представленіе. Крыловъ пріѣзжаетъ въ Петербургъ, разумѣется, въ самомъ мрачномъ настроеніи духа и является прежде всего къ Дубельту, а затѣмъ, вмѣстѣ съ Дубельтомъ, отправляются къ Орлову. Время было сырое, холодное, мрачное.

— Проѣзжая по Исаакіевской площади, мимо монумента Петра Великаго, Дубельтъ, закутанный въ шинель и прижавшись къ углу коляски, какъ будто про себя,—такъ рассказывалъ Крыловъ,—говорить:

— „Вотъ бы кого надо было высѣчь, это Петра Великаго, за его глупую выходку: Петербургъ построить на болотѣ“.

Крыловъ слушаетъ и думаетъ про себя: „понимаю, понимаю, любезный, не надуетъ нашего брата, ничего не отвѣчу“.

И еще не разъ пробовалъ Дубельтъ по дорогѣ возобновить разговоръ, но Крыловъ оставался нѣмъ, яко рыба. Пріѣзжаютъ, наконецъ, къ Орлову. Пріемъ очень любезный.

Дубельтъ, повертѣвшись нѣсколько, оставляетъ Крылова съ-глазу-на-глазъ съ Орловымъ.

— „Извините, г. Крыловъ,—говоритъ шефъ жандармовъ,—что мы васъ побеспокоили почти понапрасну. Садитесь, сдѣлайте одолженіе, поговоримъ“.

— А я,—повѣствовалъ намъ Крыловъ,—стою ни живъ, ни мервъ, и думаю себѣ, чтò тутъ дѣлать: не сѣсть — нельзя, коли приглашаетъ, а садъ у шефа жандармовъ, такъ, пожалуй, еще и высѣченъ будешь. Наконецъ, дѣлать нечего, Орловъ снова приглашаетъ и указываетъ на стоящее возлѣ него кресло. Вотъ я,—разсказывалъ Крыловъ,—потихоньку и осторожно сажусь себѣ на самый краешекъ кресла. Вся душа ушла въ пятки. Вотъ, вотъ, такъ и жду, что у меня подъ сидѣньемъ подушка опустится и — извѣстно чтò... И Орловъ, вѣрно, замѣтилъ, слегка улыбается и увѣряетъ, что я могу быть совершенно спокоенъ, что въ цензурномъ промахѣ виноватъ не я. Чтò ужъ онъ мнѣ тамъ говорилъ, я отъ страха и трепета забылъ. Слава Богу, однако-же, дѣло тѣмъ и кончилось. Чортъ съ нимъ, съ цензурствомъ!— это не жизнь, а адъ.

Въ этотъ же день познакомилъ насъ мой пріятель Эренбушъ и еще съ двумя личностями, оставшимися у меня въ памяти. Почему?

Одна изъ этихъ личностей, германскаго происхожденія, обязана горошинѣ тѣмъ, что я ее еще помню, хотя другіе, болѣе меня интересующіеся классицизмомъ и царедворствомъ, вспоминаютъ о профессорѣ д-рѣ Гриммѣ по его, нѣкогда весьма извѣстной у насъ, учебно-придворной дѣятельности. Гриммъ былъ учителемъ вел. кн. Константина Николаевича; а потомъ и наслѣдника вел. кн. Николая Александровича; этотъ знатокъ древнихъ языковъ и біографъ покойной императрицы Александры Феодоровны, глухой на одно ухо отъ роду (какъ онъ самъ полагалъ), пріѣхавъ съ государынею въ Ревель, обра-

тился къ доктору Эренбушу, боясь, чтобы не оглохнуть на другое ухо.

Но какъ же и Гриммъ, и всѣ мы были удивлены, когда, послѣ нѣсколькихъ спринцовокъ теплою водою, изъ глухого отъ роду уха выскочила горошина! А съ появленіемъ горошины на свѣтъ Гриммъ тотчасъ же вспомнилъ, какъ онъ, еще неразумный ребенокъ, играя въ горохъ, засадилъ себѣ одну горошину въ ухо.

Другая личность, также болѣе или менѣе патологическая, только въ другомъ родѣ, былъ графъ Гуровскій, присланный въ Ревель изъ С.-Петербурга по распоряженію шефа жандармовъ, чего мы, однако-же, тогда еще не знали. Гуровскій съ жадностью, можно сказать, принялъ знакомство съ нами, и, частью на французскомъ, частью на ломаномъ русскомъ языкѣ, затянулъ съ нами нескончаемую канитель о могуществѣ Россіи, ея богатствахъ, открытыхъ соплеменникомъ Гуровскаго, Тенгборскимъ, и т. п.

При этомъ онъ утверждалъ, что правительство наше не должно допускать слишкомъ интимнаго сближенія русской молодежи съ польскою. Были случаи, впослѣдствіи напомнившіе мнѣ это правило Гуровскаго.

Послѣ діарреи словъ, продолжавшейся нѣсколько часовъ сряду, мы разошлись, и первое, чтò мнѣ и Крылову пришло въ голову—что съ Гуровскимъ намъ надо быть осторожнымъ. Одно только насъ озадачило: какъ полякъ Гуровскій, замѣшанный въ революціонной пропагандѣ, могъ сдѣлаться нашимъ русскимъ пресмыкающимся?

Впослѣдствіи это объяснилось: Гуровскій имѣлъ родственницу, чуть-ли не сестру, замужемъ за шталмейстеромъ Фридрихсомъ, очень приближенную къ государынѣ императрицѣ Александрѣ Феодоровнѣ и очень ею любимую.

Ревель, вмѣсто или подъ видомъ ссылки, послужилъ Гуровскому мѣстомъ службы, да еще какой—основанной на обширной довѣренности къ вѣрноподданническимъ чувствамъ и патріотизму служащаго. Гуровскій, по-свойски, по-польски, позволялъ себѣ иногда зазнаваться.

Мнѣ, напримѣръ, и Крылову онъ прямо объявилъ, что писалъ уже о насъ, куда слѣдуетъ, въ Петербургъ и очень радъ былъ найти въ насъ людей вполне благонадежныхъ.

„Вотъ шельма-то!“ — думаю я: — „едва только самъ съ висѣлицы сорвался, а беретъ уже на себя смѣлость быть судьей другихъ, ничѣмъ не провинившихся передъ правительствомъ“.

И что же? Къ моему удивленію, Гуровскій получилъ предлинное посланіе отъ одного изъ главныхъ рептилій, въ которомъ, сверхъ благодарности Гуровскому, заключались еще отеческія наставленія разнаго рода. Письмо это Гуровскій показывалъ, и не оставалось никакого сомнѣнія у меня, что кривой, никогда не скидающій своихъ синихъ очковъ, польскій аристократъ-революціонеръ (впослѣдствіи родственникъ, если не ошибаюсь, испанской королевской фамиліи) принадлежалъ, по волѣ судьбы, къ классу пресмыкающихся нашего обширнаго государства.

А графъ Гуровскій покончилъ свое пребываніе въ Ревелѣ тѣмъ, что набралъ разныхъ вещей въ лавкахъ, за поручительствомъ Эренбуша, и въ одно прекрасное утро безъ вѣсти исчезъ.

Потомъ, какъ слышно было, этотъ высокорожденный авантюристъ и рептилія появился въ Испаніи.

Въ мою послѣднюю экскурсію въ Ревель я вдругъ занемогъ тогда непонятною еще для меня болѣзнію.

Однажды, сидя за обѣдомъ въ Екатериненталѣ, я вдругъ почувствовалъ какую-то страшную, никогда небывалую, боль въ лѣвой чревной области. Сначала это была скорѣе какая-то неловкость при движеніи всего тѣла, чѣмъ боль; но потомъ непріятное чувство дѣлалось все сильнѣе и сильнѣе и превратилось въ нестерпимую боль, не позволявшую мнѣ разогнуться; кое-какъ я всталъ изъ-за стола и, въ сопровожденіи Эренбуша, поѣхалъ къ нему на квартиру; по дорогѣ мы заѣхали въ заведеніе ваннъ, поставили мнѣ сухія банки и положили на больное мѣсто горячіе компрессы.

На квартирѣ у Эренбуша я почувствовалъ тошноту, потомъ и рвоту; принялъ рицинное масло, положилъ теплую припарку, заснулъ и всталъ совершенно здоровый.

Но по приѣздѣ въ Дерптъ боль по временамъ стала навѣщать меня и не давала мнѣ покоя тѣмъ, что я никогда не

могъ быть увѣренъ, что не почувствую внезапно боли и не буду принужденъ бѣжать домой. Это мѣшало моимъ занятіямъ мѣсяца два и болѣе, пока я не слегъ отъ слабости.

Однажды ночью я просыпаюсь и чувствую, что боль прошла и въ то же самое время показался *corpus delicti*: чрезвычайно острый, величиною съ ячменное зерно, почечный камушекъ и, какъ показалъ анализъ, чистый оксалатъ.

Образованіе его я приписалъ тогда постоянному употребленію сквернѣйшаго поддѣльнаго французскаго вина. Воды эмбахской я не переносилъ, колодезная разстроивала также мой желудокъ, къ пиву я никогда не могъ привыкнуть, и поневолѣ пилъ прокислое, дешевое вино.

Не прошло и двухъ мѣсяцевъ послѣ моего выздоровленія, какъ началась другая напасть: это мой прежній кишечный катарръ, уже нѣсколько лѣтъ оставившій меня въ покоѣ.

Оттого ли, что я, опасаясь вина, началъ опять пить воду, или же отъ патологической связи страданій двухъ органовъ — почекъ и кишечнаго канала, — только никогда еще разстройство желудка не обнаруживалось у меня съ такою силою и упорствомъ, какъ послѣ страданія почекъ... Я пересталъ лечиться и держать діету.

Научныя занятія мои продолжались попрежнему; имъ суждено было, однако-же, принять другое направленіе и другіе размѣры.

Отдаленною тому причиною былъ случившійся въ с.-петербургской медико-хирургической академіи казусъ, заставившій ее перевернуться верхъ дномъ.

Положеніе этого единственнаго въ С.-Петербургѣ учебно-медицинскаго высшаго учрежденія было весьма странное: оно состояло въ вѣдомствѣ министерства внутреннихъ дѣлъ; президентомъ его былъ главный военно-медицинскій инспекторъ, баронетъ Виллье, а назначеніе заключалось преимущественно въ приготовленіи военныхъ врачей. Вслѣдствіе этого назначенія, президентъ академіи Виллье счелъ даже ненужнымъ учрежденіе женской и акушерской клиникъ.

— „Солдаты не беременѣютъ и не родятъ, — говорилъ

баронетъ, — и потому военнымъ врачамъ нѣтъ надобности учиться акушерству на практикѣ“.

Всѣ профессора медико-хирургической академіи были изъ воспитанниковъ этой же академіи, что, конечно, не могло не способствовать развитію nepотизма между профессорами, и, какъ это нерѣдко случается, nepотизмъ дошелъ до такихъ размѣровъ, что въ профессора начали избираться исключительно почти малороссы и семинаристы одной губерніи.

За исключеніемъ нѣсколькихъ немногихъ профессоровъ, пріобрѣвшихъ себѣ почетное имя въ русской наукѣ, остальная, большая часть, ни въ научномъ, ни въ нравственномъ отношеніяхъ, ничѣмъ не опережала золотую посредственность.

Въ послѣднее время, однако-же, небольшая нѣмецкая партія профессоровъ медико-хирургической академіи, поддерживаемая немногими русскими, причислила въ профессора терапевтической клиники завѣдывавшаго морскимъ госпиталемъ, доктора Зейдлица, ученика дерптскаго университета и бывшаго ассистента Мойера, сдѣлавшаго себя уже извѣстнымъ въ наукѣ весьма дѣльнымъ описаніемъ первой холеры въ Астрахани, монографіей о скорбутномъ воспаленіи околосердечной сумки и пріобрѣвшаго себѣ извѣстность въ медицинской петербургской публикѣ своими глубокими практическими свѣдѣніями. (Зейдлицъ первый въ Россіи началъ примѣнять перкуссію и аускультацию въ госпитальной и частной практикѣ).

Но одна — а я полагаю: и двѣ, и три — ласточка еще не дѣлаетъ весны.

Научный и нравственный уровень петербургской медико-хирургической академіи въ концѣ 1830-хъ годовъ былъ, очевидно, въ упадкѣ.

Надо было потрясающему событію произвести переполохъ для того, чтобы произошелъ потомъ поворотъ къ лучшему.

Какой-то фармацевтъ изъ поляковъ, провалившійся на экзаменѣ и приписывавшій свою неудачу на экзаменѣ притѣсненію профессоровъ, принявъ предварительно ядъ (а по другой версіи — напившись до пьяна), вбѣжалъ съ ножомъ (перочиннымъ) въ рукахъ въ засѣданіе конференціи и нанесъ рану въ животъ одному изъ профессоровъ.

Началось слѣдствіе, судъ; приговоръ вышелъ такого рода:

собрать всѣхъ студентовъ и профессоровъ медико-хирургической академіи и въ ихъ присутствіи прогнать виновнаго сквозь строй, а академію, для исправленія нарушеннаго порядка, передать въ руки дежурнаго генерала Клейнмихеля.

Вотъ этотъ-то генераль, по понятіямъ тогдашняго времени, всемогущій визирь, и вздумалъ передѣлать академію по своему.

Какъ ученикъ и бывшій сподвижникъ Аракчеева, — Клейнмихель не любилъ откладывать осуществленіе своихъ намѣреній въ долгій ящикъ, долго уметь и совѣщаться.

Несмотря на это, одна мысль въ преобразованіи академіи Клейнмихелемъ была весьма здравая. Онъ непременно захотѣлъ внести новый и прежде неизвѣстный элементъ въ составъ профессоровъ академіи и замѣстить всѣ вакантныя и вновь открывающіяся кафедры профессорами, получившими образованіе въ университетахъ.

Подсказалъ ли кто Клейнмихелю эту мысль, или она сама, какъ Минерва изъ головы Юпитера, вышла въ полномъ вооруженіи изъ головы могущественнаго визиря, — это осталось мнѣ неизвѣстнымъ. Только въ скоромъ времени въ конференцію вмѣсто одного профессора, получившаго университетское образованіе, явилось цѣлыхъ восемь, и это я считаю важною заслугою Клейнмихеля.

Безъ него академія и до сихъ поръ, можетъ быть, считала бы вреднымъ для себя доступъ чужаковъ въ составъ конференціи.

Но къ здоровымъ понятіямъ такой начальнической головы учебнаго учрежденія, какъ Клейнмихеля, не могло не присоединиться и безсмысліе. Клейнмихель объявилъ, что въ самомъ цвѣтущемъ состояніи академія будетъ находиться тогда, подлѣ его начальствомъ, когда онъ сдѣлаетъ всѣхъ студентовъ казенно-коштными; чтобы ни одного своекоштнаго не было въ академіи. Задавшись этою мыслью, Клейнмихель разослалъ по всѣмъ семинаріямъ имперіи приглашеніе — высылать желающихъ вступить въ академію семинаристовъ, на казенный счетъ, съ тѣмъ, чтобы они подвергались при академіи пробному экзамену, а которые не выдержатъ его, то будутъ отсылаться, на счетъ же академіи, обратно.

Можно себя представить, изъ какихъ элементовъ состоялъ этотъ матеріалъ для казенно-коштныхъ студентовъ. Все, что только было плохого въ семинаріяхъ, монахи и попы сбывали съ рукъ въ академію, благодаря казеннымъ прогонамъ и сурочнымъ. Мало этого: когда начальство академіи, — какъ оно дрябло ни было, — наконецъ, убѣдилось, что изъ наплыва семинарской дряни ничего не выйдетъ, если ее хотя сколько-нибудь не готовить къ принятію человѣческаго образа, то рѣшено было учредить въ академіи приготовительный классъ для обученія семинарскихъ новобранцевъ грамматикѣ, ариметикѣ и, если не ошибаюсь, даже и закону божію.

Для такого новаго попечителя академіи, какимъ былъ сдѣланъ Клейнмихель, конечно, нуженъ былъ и другой президентъ. Профессоръ Бушъ, бывшій вице-президентомъ, вышелъ въ отставку; на мѣсто его, хотя и съ именемъ президента (которое носилъ Вилле), назначенъ былъ самимъ государемъ И. Б. Шлегель; а на кафедре хирургіи, сдѣлавшуюся свободною по выходѣ въ отставку профессора Буша, Зейдлицъ пригласилъ меня.

Я не согласился занять кафедру хирургіи безъ хирургической клиники, которою завѣдывалъ не Бушъ, а профессоръ Саломонъ. Но, отказываясь, я въ то же время предложилъ новую комбинацію, съ помощью которой я могъ бы имѣть соответствующую моимъ желаніямъ кафедру въ академіи. Комбинацію эту я предложилъ въ видѣ проекта самому Клейнмихелю.

Я указалъ въ моемъ проектѣ на необходимость учрежденія при академіи новой кафедры: госпитальной хирургіи.

Молодые врачи, — говорилъ я въ моемъ проектѣ, — выходящіе изъ нашихъ учебныхъ учреждений, почти совсѣмъ не имѣютъ практическаго медицинскаго образованія, такъ какъ наши клиники обязаны давать имъ только главные основныя понятія о распознаваніи, ходѣ и леченіи болѣзней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и дѣлаясь самостоятельными при постели больныхъ, въ больницахъ, военныхъ лазаретахъ и частной практикѣ, приходятъ въ весьма затруднительное положеніе, не приносятъ ожидаемой отъ нихъ пользы и не достигаютъ цѣли своего назначенія. Имѣя въ виду устранить этотъ важный пробѣлъ въ нашихъ учебно-медицинскихъ

учрежденіяхъ, я и предлагалъ, сверхъ обыкновенныхъ клиникъ, учредить еще госпитальныя.

Для казенно-коштныхъ воспитанниковъ, поступающихъ потомъ на военную службу, учрежденіе госпитальной клиники я считалъ уже совершенно необходимымъ.

Въ с.-петербургской медико-хирургической академіи я видѣлъ возможность тотчасъ же приступить въ этому нововведенію, такъ какъ при академіи, почти въ одной и той же мѣстности, находится 2-й военно-сухопутный госпиталь, и оба заведенія—и медико-хирургическая академія, и 2-й военно-сухопутный госпиталь—принадлежать одному и тому же военному вѣдомству. Весь госпиталь, съ его 2,000 кроватями, могъ бы, такимъ образомъ, обратиться въ госпитальныя клиники (терапевтическую, хирургическую, сифилитическую, сыпную, etc.).

Проектъ, какъ меня извѣстили, былъ принять Клейнмихелемъ.

Между тѣмъ наступали рождественскія вакаціи, и я рѣшился воспользоваться ими и отправиться черезъ Петербургъ въ Москву, навѣстить матушку.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, я первымъ дѣломъ отправился на поклонъ къ новому президенту академіи, Шлегелю.

Иванъ Богдановичъ Шлегель былъ человѣкъ нѣмецкаго происхожденія, вступившій въ русскую военную службу во времена Наполеоновскихъ войнъ. Когда я былъ въ Ригѣ, то русскій военный госпиталь былъ еще полонъ воспоминаніями объ энергической дѣятельности Ивана Богдановича. Въ Москвѣ, куда онъ былъ переведенъ изъ Риги, повторилось то же самое, и въ московскихъ госпиталяхъ онъ оставилъ по себѣ также хорошую память. Ему бы и оставаться тамъ главнымъ докторомъ большого военного госпиталя. Это было истинное призваніе Ивана Богдановича.

Шлегель состоялъ когда-то при сыновьяхъ Витгенштейна (Алексѣй и Николаѣ) врачомъ и гувернеромъ; онъ и привезъ обоихъ Витгенштейновъ и Тутолмина въ Дерптъ, когда мы были студентами профессорскаго института.

Къ несчастью для себя, И. Б. Шлегель перемѣнилъ свое призваніе и попалъ въ военно-учено-учебное болото. Аккуратнѣйшій изъ самыхъ аккуратныхъ нѣмцевъ, плохо говорившій

по-русски, И. Б. всегда был на-вытяжѣ. Какъ бы рано кто ни приходилъ къ Шлегелю, всегда находилъ его въ военномъ вицмундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, съ Владиміромъ на шеѣ. Въ такомъ нарядѣ и я засталъ его. Онъ и подѣйствовалъ на меня всего болѣе своею чисто-внѣшнею оригинальностью, военною выправкою, аккуратною прическою волосъ, еще мало посѣдѣвшихъ, огромнымъ носомъ и глазами, болѣе наблюдавшими, чѣмъ говорившими.

Шлегель былъ довольно сдержанъ со мною, и посовѣтовалъ непременно представиться Клейнмихелю, чтѣ я и сдѣлалъ.

Клейнмихель былъ очень любезенъ со мною, уже слишкомъ, чтѣ къ нему не шло; сквозь ласковую улыбку на лицѣ, оловянные глаза такъ и говорили смотрящему на нихъ: „ты, молъ, смотри, да помни, не забывайся!“

Клейнмихель пригласилъ меня къ себѣ въ кабинетъ, посадилъ и очень хвалилъ мой проектъ. Потомъ прямо объявилъ, что все будетъ сдѣлано; препятствіе можетъ встрѣтиться только въ министерствѣ Уварова, которое онъ, Клейнмихель, надѣется, однако-же, уладить.

Я откланялся, вполне довольный, и поѣхалъ къ Ив. Тимоѣ. Спасскому, въ это время весьма довѣренному лицу у С. С. Уварова.

Отъ Спасскаго я узналъ, что мои намѣренія уже извѣстны въ министерствѣ народнаго просвѣщенія, и что Уваровъ ни за что на свѣтѣ не отпуститъ меня. Я просилъ Ив. Тимоѣевича содѣйствовать моему плану, объяснилъ ему мои главные мотивы и, казалось, довольно убѣдилъ его; но я узналъ, что эти убѣжденія непрочны. Между тѣмъ Спасскій, узнавъ, что я на другой день отправляюсь въ Москву, предложилъ мнѣ поѣхать оттуда въ тульскую губернію, въ одно имѣніе, адресъ котораго онъ мнѣ сообщить, для операціи у одной дѣвочки. Я согласился; мы уговорились о времени и поѣздкѣ.

Пробывъ въ Москвѣ около 9—10 дней, я отправился на сдаточныхъ въ имѣніе, — имени помѣщика теперь не помню на-вѣрное: Нацѣпина, Еропина или Полуэхтова, котораго-то изъ столбовыхъ; имѣніе находилось на границахъ тульской губерніи съ орловскою. Послѣ разныхъ продѣлокъ сдаточныхъ ам-

щиковъ, я къ вечеру на другой день въѣхалъ въ огромное барское помѣстье.

Великолѣпный старинный дворецъ въ огромномъ паркѣ. Въ домѣ, гдѣ мнѣ отвели помѣщеніе, было 150 номеровъ, въ каждомъ не менѣе 2-хъ комнатъ, и одна изъ нихъ съ болѣшущею двуспальною кроватью, изъ краснаго дерева, съ золотыми украшеніями.

Надъ кроватью — широкая кисейная розово-зеленоватаго цвѣта палатка; вмѣсто досокъ въ головахъ и ногахъ у кровати — по большому зеркалу.

Пара, ложившаяся въ постель, могла созерцать свои тѣлеса въ разныхъ положеніяхъ отраженными на зеркальныхъ поверхностяхъ и притомъ отсвѣченными зеленовато-розовымъ колеромъ.

Можно представить себѣ, чтѣ творилось во времена дны въ этихъ 150 номерахъ, когда съѣзжались сюда на охоту и на барскія оргіи разнаго рода пары. Теперь, т.-е. не теперь, когда пишу, а когда посѣщалъ этотъ домъ, остались только номера и кровати, но пары уже не съѣзжались болѣе.

Я провелъ ночь въ этой, никогда еще не испытанной мною, обстановкѣ; признаюсь, мнѣ вовсе не было пріятно видѣть себя поутру отражающимся въ двухъ зеркалахъ.

Въ этотъ же день операція — вырѣзываніе миндалевидныхъ железъ у 8-лѣтней дѣвочки — была сдѣлана, и я остался еще на одну ночь у гг. ...

Вечеромъ за чайнымъ столомъ насъ было только трое: хозяинъ (еще довольно бодрый господинъ), хозяйка (очень милая и пріятная дама, лѣтъ около 40) и я. Зашла рѣчь о старинѣ, о томъ, чтѣ бывало и чего не стало. И тутъ услышалъ я отъ хозяина два разсказа, памятные мнѣ и до сихъ поръ, — такъ были необыкновенны для меня тогда событія, составляющія предметъ этихъ разсказовъ.

Въ обоихъ дѣйствующимъ лицомъ былъ самъ разсказчикъ, и потому надо было ему вѣрить на-слово, чтѣ я и сдѣлалъ.

— „У меня не было и ни у кого не будетъ такого вѣрнаго друга, каковъ былъ Толстой (американецъ), — передавалъ мнѣ разсказчикъ-хозяинъ. — Однажды, подгулявъ, я поссорился у него за обѣдомъ съ однимъ товарищемъ, дуэлистомъ

и забіякою; ссора кончилась вызовомъ. Толстой взялся быть нашимъ секундантомъ на другой день рано утромъ.

„Я не спалъ цѣлую ночь и, вставъ съ постели чѣмъ свѣтъ, пошелъ пройтись; а въ назначенный часъ отправился звать Толстого, по уговору.

„Къ удивленію, нахожу ставни и двери его квартиры запертыми; стучусь, вхожу, бужу моего секунданта. Насилу онъ просыпается.

„ — Что тебѣ?

„ — Какъ что мнѣ! развѣ забылъ? а дуэль?

„ — Какой вздоръ! —отвѣчаетъ Толстой:—развѣ я могъ бы, какъ честный хозяинъ, позволить тебѣ драться съ этимъ забіякою и ярыжникомъ! Я вчера же, какъ ты ушелъ, самъ вызвалъ его на дуэль, и вчера же вечеромъ мы дрались. Дѣло поконченное.

„Съ этими словами Толстой повернулся отъ меня на другой бокъ и заснулъ.

„Такихъ людей, какъ Толстой, немного на свѣтѣ“.

Затѣмъ послѣдовалъ—уже не помню, *à propos de quoi*—второй рассказъ.

— „Мы стояли въ Персіи. Скука была смертная, а денегъ было много; придумывали разные забавы. Я жилъ у одного персіанина, отца семейства, и узнавъ, что у него есть дочь - невѣста, вздумалъ посвататься. Сначала, разумѣется, отецъ и слышать не хотѣлъ; но когда онъ провѣдалъ черезъ одного армянина, что я—обладатель цѣлой груды червонцевъ, то мало-по-малу началъ сдаваться и торговаться.

„Наконецъ, дѣло сладили: уговорились, что я женюсь формально, по русскому обряду, при свидѣтеляхъ, и что невѣста сниметъ свое покрывало передъ вѣнчаніемъ. На этомъ въ особенности я настаивалъ, надѣясь покончить все дѣло вздоромъ, если окажется рожа. Я пригласилъ товарищей всего полка на свадьбу. Былъ между ними и подставной попъ, и подставные дьячки. Когда невѣста сняла покрывало, то оказалась такою восточною красавицею, какой нѣкто изъ присутствующихъ никогда еще не видывалъ. Всѣ такъ и ахнули. Послѣ импровизированной свадьбы я зажилъ съ моею красавицею - женою въ домѣ тестя. Жили мы болѣе года, прижили ребенка. Вдругъ—

походъ. Жена моя собралась-было со мною, и ни за что на свѣтъ не хотѣла оставаться у отца. Но я и товарищи, знакомые принялись такъ сильно ее уговаривать, что она, наконецъ, рѣшилась остаться дома и ждать, пока я самъ приѣду за нею“.

Въ это время разсказа я невольно посмотрѣлъ пристально на хозяйку, жену повѣствователя. Смотрю, — кажется, непохожа на персіянку, чисто русскій типъ. Повѣствователь замѣтилъ мой пристальный взглядъ, и сейчасъ же обратился ко мнѣ съ объясненіемъ:

— „Это не она, не она; та далеко, Богъ ее знаетъ гдѣ; съ тѣхъ поръ о ней—ни слуху, ни духу!“

А наша хозяйка спокойно продолжала въ это время разливать намъ чай...

Черезъ сутки я уже былъ въ орловскомъ имѣніи Мойера. Уже давно думалъ я, что мнѣ слѣдовало бы жениться на дочери моего почтеннаго учителя; я зналъ его дочь еще дѣвочкою; я былъ принятъ въ семействѣ Мойера какъ родной. Теперь же положеніе мое довольно упрочено, — почему бы не сдѣлать предложеніе?

Въ имѣніи Мойера я пробылъ дней десять. Екатерину Ивановну (дочь Мойера) нашелъ уже взрослою невѣстою, и рѣшился по возвращеніи въ Москву отнестись съ предложеніемъ письмомъ къ Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ, всегда мнѣ благоволившей. Прощаясь со мною, и Екатерина Аѳанасьевна, и все семейство Мойера просили меня захватить въ Москвѣ къ племянницѣ ея, г-жѣ Елагиной.

Приѣхавъ въ Москву и запасшись письмомъ къ Екатеринѣ Аѳанасьевнѣ (письмо было длинное, сентиментальное и, какъ я теперь думаю, довольно глупое), я отправился къ Елагиной. Домъ ея былъ извѣстенъ всей образованной Москвѣ. Я былъ принятъ очень любезно. Начались разспросы и разсказы о семействѣ Мойера, Буниной, Воейковыхъ и Жуковскомъ, и при этихъ-то разсказахъ я услышалъ отъ самой Елагиной ея чудное свиданіе съ женою Мойера. И Елагина, и жена Мойера (урожденная Протасова, дочь Екат. Аѳ.) были по-другами дѣтства, необыкновенно привязанными другъ къ другу. Обѣ они вышли почти въ одно время замужъ. У Елагиной

былъ грудной ребенокъ, и она только-что успѣла покормить его грудью и слать на руки кормилицѣ, какъ увидала вошедшую къ ней жену Мойера. Елагина бросилась въ объятія неожиданной гостьи и тутъ же почувствовала, что падаетъ въ обморокъ. Придя въ себя, она узнала, что никто не пріѣзжалъ и никто въ комнату не входилъ, а черезъ нѣсколько дней узнала также, что жена Мойера на дняхъ скончалась, и, какъ оказалось по справкамъ Жуковского, скончалась именно въ этотъ день и часъ, когда ее видѣла у себя Елагина.

Прощаясь, я попросилъ Елагину на минуту переговорить со мною однимъ, безъ свидѣтелей, и тутъ же вручилъ ей мое письмо къ Елатеринѣ Аѳанасьевнѣ, объяснивъ притомъ и его содержаніе. Я замѣтилъ, что Елагина, принимая мое посланіе, улыбнулась, и улыбка ея мнѣ показалась, почему-то, сомнительною.

Черезъ мѣсяцъ я получилъ въ Дерптѣ отвѣтъ отъ Екатерины Аѳанасьевны и отъ самого Мойера.

И отецъ, и бабушка Екатерины Ивановны весьма сожалѣли, что должны отказать мнѣ.

Катя ихъ—объяснили они оба мнѣ—уже обѣщана давно сыну Елагиной. Всѣ обстоятельства и родственныя связи благопріятствовали этому браку.

Прочитавъ отказъ, я вспомнилъ про улыбку Елагиной.

Черезъ годъ послѣ этого отказа одна мною высокочтимая дама (Екат. Ник. Дагоновская),—никогда не лгавшая,—разсказывала мнѣ о разговорѣ, который она имѣла съ Екат. Иван. Мойеръ на пароходѣ, при отъѣздѣ за границу.

— „Женѣ Пирогова,—говорила Е. И. Мойеръ, ѣхавшая за границу вмѣстѣ съ Елагиной,—надо опасаться, что онъ будетъ дѣлать эксперименты надъ нею“.

Говоря это, Е. И. Мойеръ, конечно, не знала, что черезъ годъ придется ей писать въ лестныхъ выраженіяхъ поздравительное письмо къ подругѣ своего дѣтства, Екатеринѣ Дмитриевнѣ Березиной, не побоявшейся мучителя дерптскихъ собакъ и кошекъ и выходившей за него безтрепетно замужъ.

Мѣсяцевъ десять прошло въ перепискѣ между министерствами народнаго просвѣщенія и военнымъ и между департаментами

военнаго министерства о моемъ перемѣщеніи и объ учрежденіи новой должности при военномъ госпиталѣ.

Я, между тѣмъ, переписывался съ министромъ Уваровымъ и директоромъ Спасскимъ. Наконецъ, наша взяла.

Уваровъ долженъ былъ уступить Клейнмихелю.

Тѣмъ временемъ произошло и еще новое преобразование въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и въ министерствѣ народнаго просвѣщенія.

Въ первомъ изъ нихъ произошло перерожденіе медицинскаго совѣта, а во второмъ—учрежденіе особой комиссіи по дѣламъ, касающимся медицинскихъ факультетовъ.

Прежній медицинскій совѣтъ министерства внутреннихъ дѣлъ былъ такое странное учрежденіе, что члены его имѣли право дѣлать докторами медицины, безъ экзамена, другъ друга и другихъ лицъ, имъ нравившихся.

Говорятъ, что при учрежденіи этого совѣта, когда его председателю удалось выхлопотать новыя права, происходилъ *in pleno* (въ полномъ засѣданіи) слѣдующій наивный обмѣнъ мыслей:

— „Василій Васильевичъ, честь имѣю васъ поздравить со степенью доктора медицины!“

— А вамъ, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ (примѣрно), желательно быть медико-хирургомъ?

— „Нѣтъ, если бы угодно было вашему превосходительству выхлопотать мнѣ землицы, то я предпочелъ бы это награжденіе наградѣ ученою степенью“, и т. п.

Въ началѣ же 1840-хъ годовъ все перемѣнилось подъ нашимъ зодіакомъ.

Лейбъ-медикъ государыни императрицы сталъ председателемъ медицинскаго совѣта (Мерк. Алекс. Маркусъ), а совѣтъ, липашъ прежняго своего права дарить (безъ экзамена) ученыя степени, сдѣлался чисто лишь административно- и судебно-врачебнымъ учрежденіемъ.

Въ это время и я былъ выбранъ въ члены медицинскаго совѣта.

Медицинская комиссія при министерствѣ народнаго просвѣщенія состояла подъ председательствомъ также Маркуса, изъ

четырехъ членовъ: Спасскаго, лейбъ-медика Рауха, профессора Зейдлица и меня.

Всѣ дѣла и даже выборы медицинскаго факультета всѣхъ русскихъ университетовъ проходили черезъ наши руки. Особливо же вновь учреждавшійся въ то время медицинскій факультетъ кievскаго университета (св. Владиміра) почти всецѣло учреждался и избирался въ нашей комиссіи. Наконецъ, самымъ важнымъ дѣломъ нашей комиссіи былъ пересмотръ статута объ экзаменахъ на медицинскія степени.

Въ старомъ экзаменаціонномъ статутѣ допускались цѣлыхъ шесть медицинскихъ степеней: три степени лекаря (лекарь 1-го, 2-го и 3-го отдѣленія), докторъ медицины, докторъ медицины и хирургіи и медико-хирургъ.

Я предложилъ сокращеніе на двѣ степени: лекаря и доктора медицины; но мой проектъ не прошелъ, и вмѣсто двухъ приняты были три степени (лекарь, докторъ медицины, докторъ медицины и хирургіи).

Я настаивалъ, чтобы при факультетскихъ экзаменахъ на степень требовались отъ экзаменующихъ — вмѣсто разныхъ дробей или отмѣтокъ въ родѣ: „удовлетворительно“, „посредственно“, „хорошо“, „отлично“ и т. п. — только двѣ отмѣтки или двѣ поправки: отвѣта „да“ и „нѣтъ“ на вопросы по каждому предмету: достоинъ степени, на которую экзаменуется, или недостоинъ?

Введеніе демонстративныхъ испытаній изъ анатоміи, терапіи и хирургіи предложено было также мною, и принято единогласно.

Новая катедра госпитальной хирургіи и терапіи, учрежденная по моему проекту въ с.-петербургской медико-хирургической академіи, была принята нашею комиссіею и утверждена министерствомъ народнаго просвѣщенія для всѣхъ русскихъ университетовъ.

Вотъ мои заслуги по дѣламъ медицинской комиссіи министерства народнаго просвѣщенія.

Время моего отъѣзда изъ Дерпта въ Петербургъ мнѣ памятно.

Я не могу назвать себя робкимъ, но есть случаи, повиди-

тому, весьма маловажные, которые могут привести въ сильнѣйшее волненіе мои нервы, — до того сильное, что я невольно начинаю трусить чего-то, самъ не понимаю, чего. Это случилось со мною вообще рѣдко. Но два случая я живо помню.

Одинъ изъ нихъ былъ въ Дерптѣ. Когда я приготовился совсѣмъ къ отъѣзду и опорожнилъ мою квартиру (4 комнаты) отъ всей подвижной собственности, и остался совершенно одинъ, отъ скуки, предстоявшей мнѣ въ теченіе 2—3 дней, я началъ читать романы Гофмана; и лишь только начинался вечеръ, невыразимый страхъ овладѣвалъ мною, и до того сильно, что я не могъ преодолѣть себя, чтобы выйти въ другую комнату. Мнѣ все казалось, что тамъ кто-то сидитъ или стоитъ. Между тѣмъ я уже не разъ читалъ романы Гофмана и другія повѣсти въ этомъ родѣ, и никогда не замѣчалъ надъ собою ничего подобнаго.

Во второй разъ я замѣтилъ надъ собою невыразимый страхъ однажды при путешествіи по Швейцаріи. Я шелъ ночью, часовъ въ 10, въ Интерлакенъ.

Ночь была превосходная, лунная, тихая. На шоссе, по которому я шелъ, мнѣ не повстрѣчался ни одинъ человѣкъ; все было тихо и уединенно. Слышался только шелестъ листьевъ и журчаніе ручейковъ. Сначала я шелъ бодро и весело, но мало-по-малу меня началъ одолѣвать страхъ; мнѣ начало мерещиться, что кто-то идетъ сзади меня въ нѣкоторомъ разстояніи. Это казалось мнѣ до того ясно, что я невольно оставался и ворочался назадъ. Наконецъ, не вытерпѣвъ, отъ страха почти побѣжалъ бѣгомъ, такъ что въ Интерлакенъ пришелъ запыхавшись и весь въ поту.

Пріѣхавъ послѣ праздника (1841 г.) въ Петербургъ, я долженъ былъ представиться, уже какъ подчиненный, Клейнмихелю.

Теперь онъ уже считалъ себя не въ правѣ быть любезнымъ со мною попрежнему, — и принялъ меня уже не въ кабинетѣ, а въ общей пріемной залѣ, вмѣстѣ со многими другими лицами. Оловянные глаза уже смотрѣли иначе, и когда я имѣлъ глупость напомнить имъ объ обѣщанной мнѣ, яко-бы, квартирѣ, то они посмотрѣли на меня не попрежнему. Съ этого

дня я уже не видалъ болѣе ни разу оловянныхъ глазъ моего начальника и, конечно, нимало не сожалѣю объ этомъ.

По присланной мнѣ инструкціи, я назначался завѣдывать самостоятельно всѣмъ хирургическимъ отдѣленіемъ 2-го военно-сухопутнаго госпиталя, съ званіемъ главнаго врача хирургическаго отдѣленія.

Врачебныя и учебныя мои дѣйствія по этому отдѣленію госпиталя, заключавшему въ себѣ до 1,000 кроватей, были совершенно независимы отъ госпитальнаго начальства, и только по дѣламъ госпитальной администраціи я обязанъ былъ сноситься съ главнымъ докторомъ госпиталя.

Вмѣстѣ съ этимъ я назначался профессоромъ госпитальной хирургіи и прикладной анатоміи при медико-хирургической академіи.

Осмотрѣвъ все хирургическое отдѣленіе госпиталя, я убѣдился въ его поистинѣ ужасъ наводящемъ положеніи.

Вся вентиляція огромныхъ палатъ (на 60—100 кроватей) въ главномъ каменномъ корпусѣ основывалась на длинномъ корридорѣ, а вентиляція корридора—на ретирадникахъ. Дѣйствительно, въ корридорѣ несло постоянно изъ ватерклозетовъ. Другія отдѣленія госпиталя, въ нѣкоторомъ отношеніи еще лучшія, помѣщались въ деревянныхъ отдѣльныхъ домахъ, въ каждомъ до 70 и болѣе кроватей. Вентиляція въ нихъ была натуральная, безъ корридоровъ; сырость неисправимая. Въ гангренозномъ отдѣленіи, содержавшемъ въ себѣ еще больныхъ, остававшихся послѣ леченій доктора Флоріо громадными меркуріальными втираніями, сердце надрывалось видомъ молодыхъ, здоровыхъ гвардейцевъ съ гангренозными бубонами, разрушавшими всю брюшную стѣнку. Палаты госпиталя были переполнены больными съ рожистыми воспаленіями, острогнойными отеками и гнойнымъ зараженіемъ крови.

Для операціонныхъ не было ни одного, хотя плохого, помѣщенія.

Тряпки подъ припарки и компрессы переносились фельдшерами, безъ зазрѣнія совѣсти, отъ ранъ одного больного къ другому. Лекарства, отпускавшіяся изъ госпитальной аптеки, были похожи на чтò угодно, только не на лекарства. Вмѣсто хинина, напримѣръ, сплошь да рядомъ отпускалась бычачья

желчь, вмѣсто рыбьяго жира—какое-то иноземное масло. Хлѣбъ и вся вообще провизія, отпущавшіеся на госпитальныхъ, были ниже всякой критики.

Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и комиссары проигрывали по нѣскольку сотъ рублей въ карты ежедневно. Мясной подрядчикъ, на виду у всѣхъ, развозилъ мясо по домамъ членовъ госпитальной конторы. Аптекарь продавалъ на сторону свои запасы уксуса, разныхъ травъ и т. п. Въ послѣднее время дошло и до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые съ ранъ: корпію, повязки, компрессы и проч., и для этой торговой операціи складывало вонючія тряпки, снятыя съ ранъ, въ особыя камеры, расположенныя возлѣ палатъ съ больными.

Главный докторъ госпиталя былъ ст. сов. Лоссіевскій, именуемый у своихъ товарищей Буцефаломъ или Букефаломъ. Хотя извѣстная французская поговорка: „grande tête, grande bête“—и грѣшитъ противъ фізіологіи, но нѣтъ правилъ, даже и фізіологическихъ, безъ исключенія. Въ отношеніи къ головѣ Лоссіевского фізіологія оказалась, дѣйствительно, неправою, какъ это окажется впоследствии.

Такъ какъ госпиталь, вслѣдствіе новыхъ учрежденій, подчинился теперь въ учебномъ отношеніи медико-хирургической академіи, то и Лоссіевскій очутился между двухъ начальниковъ: между президентомъ медико-хирургической академіи (Шлегелемъ) и директоромъ военно-медицинскаго департамента (Дм. Клем. Тарасовымъ).

По осмотру госпиталя, я нашелъ множество больныхъ, требовавшихъ разныхъ операцій, особенно ампутацій и резекцій, вскрытія глубокихъ фистулъ, извлеченія секвестровъ, и т. п.

Эго были все застарѣлые, залежавшіеся въ худомъ госпиталѣ больные, зараженные уже піеміей или пораженные цынгою отъ худого содержанія...

Я сдѣлалъ огромный промахъ и грубую ошибку, сильно отразившуюся потомъ на моей практической дѣятельности. Еще болѣе, чѣмъ промахъ, былъ проступокъ противъ нравственности. И промахъ, и проступокъ состояли въ моемъ приступѣ къ энергическимъ хирургическимъ производствамъ, — не разсмотрѣн-

нымъ и не анализированнымъ достаточно ни съ научной, ни съ нравственной стороны,—множества изъ случаевъ, подвергнутыхъ мною операціи. Съ научной стороны былъ большой промахъ то, что я сообразилъ приняться съ нѣмецкимъ усердіемъ за этихъ больныхъ, не обративъ вниманія на ту неблагоприятную обстановку госпитальной конституціи, при которой я подвергалъ больныхъ операціи.

22-го октября 1881.

Ой, скорѣе, скорѣе! Худо, худо! Такъ, пожалуй, не успѣю и половины петербургской жизни описать...

Начну съ Букефаловой глупости. Это не по порядку.

Прошло уже года два моей госпитальной службы, какъ вдругъ однажды Букефалъ Лоссіевскій призываетъ моего ассистента и ординатора госпиталя, Неммерта, и спрашиваетъ его: не замѣтилъ ли онъ чего особеннаго въ моемъ поведеніи?

Неммертъ говоритъ, что — нѣтъ.

— А почему же онъ (т.-е. я) прописываетъ въ такихъ большихъ приѣмахъ наркотическія средства; онъ однажды прописалъ: *extract. Hyosciami* до 5 гр. *pro dosi*?

— „Я не знаю“,—отвѣчаетъ Неммертъ:—„спросите сами у г. профессора“.

Тогда Лоссіевскій призываетъ Неммерта въ госпитальную контору и приказываетъ ему, какъ подчиненному, расписаться въ принятіи запечатаннаго пакета съ надписью: „секретно“, подъ №...

Неммертъ беретъ. Въ секретной бумагѣ значится:

„Замѣтивъ въ поведеніи г. Пирогова нѣкоторыя дѣйствія, свидѣтельствующія объ его умышленномъ вѣдѣніи, предписываю вамъ слѣдить за его дѣйствіями и доносить объ оныхъ мнѣ. Гл. д-ръ Лоссіевскій“.

Но прежде, чѣмъ вся эта исторія произошла, я получилъ отъ Лоссіевскаго однажды бумагу, въ которой онъ мнѣ писалъ слѣдующее:

„Замѣтивъ, что въ вашемъ отдѣленіи издерживается огромное количество іодовой настойки, которую вы смазываете

напрасно кожу лица и головы, я предписываю вамъ приостановить употребленіе столь дорогого лекарства и замѣнить его болѣе дешевыми. Лоссіевскій“.

Я взялъ эту бумагу, да и отправилъ ее назадъ Лоссіевскому съ слѣдующимъ объясненіемъ:

„На ваше отношеніе №..... честь имѣю увѣдомить ваше высокородіе, что вы не въ правѣ дѣлать мнѣ никакихъ предписаній относительно моихъ дѣйствій при постели больныхъ.“

„Если же вы находите, что я расходую лекарства не по госпитальному каталогу, то вамъ слѣдуетъ обратиться съ извѣщеніемъ о томъ къ нашему общему начальнику, г. президенту медико-хирургической академіи“.

Вотъ эта-то бумага, а не экстрактъ бѣлены, и была причиною секретнаго предписанія Неммерту. А про *extractum Hyosciami* я сказалъ Лоссіевскому: „велите-ка ваши экстракты готовить дѣйствительно изъ наркотическихъ средствъ, а не изъ золы разныхъ растений“.

Когда Неммертъ получилъ бумагу, то онъ принесъ ее ко мнѣ и спрашивалъ: чтѣ дѣлать? Я отвѣчалъ: „ступайте къ президенту Шлегелю и спросите его“.

Шлегель же, по словамъ Неммерта, спросилъ его, улыбаясь: — „Вѣдь вы, однако, ничего не замѣтили?—Ну, любезнѣйшій, такъ оставьте бумагу при васъ и никому не показывайте“.

Когда я узналъ этотъ отвѣтъ, то я просилъ Неммерта одолжить мнѣ бумагу на одинъ часъ времени, обѣщая ему, что это нисколько не повредитъ его служебной дѣятельности.

Неммертъ мнѣ далъ, и я съ этою бумагою въ рукахъ тотчасъ же отправился къ нашему попечителю, дежурному генералу Веймарну, объявивъ ему, что я подаю сейчасъ просьбу объ отставкѣ, если всему этому вопіющему дѣлу не будетъ дано хода.

Веймарнъ былъ видимо смущенъ, но успокоилъ меня обѣщаніемъ, что завтра же будетъ имъ все улажено, и если я и тогда останусь недоволенъ, то могу дать всему законный ходъ.

Сейчасъ за моимъ уходомъ Веймарнъ послалъ фельдгегера за Лоссіевскимъ, и его, раба божія, привезъ фельдгегеръ съ собою въ штабъ. На другой день въ госпиталѣ была получена

бумага, въ которой предписывалось Лоссіевскому, въ присутствіи президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшаго бумагу, и всѣхъ видѣвшихъ ее членовъ госпитальной конторы—просить у меня прощенія въ убѣдительноѣйшихъ выраженіяхъ, и если я (Пироговъ) не соглашусь извинить дерзкій поступокъ Лоссіевскаго, то всему дѣлу будетъ данъ законный ходъ.

На другой день, утромъ, меня пригласили въ контору госпиталя, и тамъ разыгралась истинно позорная, и притомъ дѣтски-позорная, сцена.

Лоссіевскій, въ парадной формѣ, со слезами на глазахъ, дрожащимъ голосомъ и съ поднятіемъ рукъ къ небу, просилъ у меня извиненія за свою необдуманность и дерзость, увѣряя, что впредь онъ мнѣ никогда не дастъ ни малѣйшаго повода къ неудовольствію.

Тутъ же, въ присутствіи президента, я ему показалъ на мерзѣйшій хлѣбъ, розданный больнымъ, и замѣтилъ, что это его прямая обязанность въ госпиталь — наблюденіе за порядкомъ, пищею и всею служебною администраціею.

Тѣмъ дѣло о моемъ упомянутельствѣ и кончилось.

Съ тѣхъ поръ Лоссіевскій сдѣлался тише воды, ниже травы, да впрочемъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ былъ перемѣщенъ въ Варшаву.

Друзья Лоссіевскаго, такіе же, какъ и онъ, *protégés* баронета Виллье, упросили этого медицинскаго сановника замолвить слово о Лоссіевскомъ у фельдмаршала Паскевича.

Когда Паскевичъ пріѣхалъ въ Петербургъ, то ему выслали на показъ двухъ главныхъ докторовъ для Варшавы. Паскевичъ, проходя черезъ пріемный покой, мимоходомъ указалъ на Лоссіевскаго, сказавъ: „вотъ этого“.

Лоссіевскій угостилъ за это своихъ протекторовъ хорошимъ обѣдомъ, на который позванъ былъ и баронетъ. За обѣдомъ Виллье сидѣлъ возлѣ Лоссіевскаго, и во время медицинской бесѣды о трудности въ прощупываніи зыбленія, подставилъ свою заднюю часть тѣла Лоссіевскому, съ громкимъ вызовомъ: „ну-ка, ты, прощупай-ка здѣсь зыбленіе“.

Всѣ, разумѣется, засмѣялись острогѣ баронета, а Лоссіевскій уѣхалъ на лучшее мѣсто въ Варшаву.

Въ Варшавѣ, однако-же, не посчастливилось Будафалу-Вѣрно, онъ слишкомъ разворовался.

Императоръ Николай, разъ наѣхавъ въ варшавскій госпиталь ненарокомъ, разомъ открылъ цѣлую массу злоупотребленій и дневного воровства. Лоссіевскаго засадили на гауптвахту и отдали подъ судъ. Потомъ онъ, разжалованный въ ординаторы, окончилъ жизнь въ Кіевѣ, какъ я слышалъ, отъ запоя.

Моему ассистенту Неммерту пригрозилъ-было при мнѣ Шлегель, послѣ того какъ Лоссіевскій извинился. Но я оставилъ президента словами: „Профессоръ Неммертъ поступилъ тутъ какъ честный и благородный человѣкъ, и я не вижу, за что вы такъ несправедливо относитесь съ выговоромъ къ Неммерту; я могъ бы принять вашъ неумѣстный выговоръ на мой счетъ—и не согласиться, въ такомъ случаѣ, на извиненіе Лоссіевскаго“.

Шлегель прикусилъ языкъ, и съ тѣхъ поръ я не замѣчалъ никакихъ притѣсненій по службѣ.

Неммерта Лоссіевскій звалъ даже ѣхать въ Варшаву!

Кстати скажу нѣсколько словъ о моемъ свиданіи, единственномъ и непродолжительномъ, съ баронетомъ Виллье.

По случаю изданія моей прикладной анатоміи (на русскомъ и на нѣмецкомъ языкахъ—изданіе Ольхина, не окончившееся по причинѣ его банкротства), я въ одинъ и тотъ же день посѣтилъ двухъ нужныхъ людей: министра Канкрина, у котораго надо было испросить разрѣшеніе на ввозъ безпошлинно веленовой бумаги для литографіи, и у Видлье, который могъ способствовать распространенію изданія въ военныхъ бібліотекахъ.

Для обоихъ этихъ господъ я принесъ иллюминированные эземпляры атласа.

Графъ Канкринъ, поглядѣвъ на нихъ, тотчасъ же разрѣшилъ безпошлинный провозъ бумаги, замѣтивъ только о моихъ анатомическихъ рисункахъ: „Es sind sehr schöne, aber auch sehr traurige Dinge“.

Это замѣчаніе было если и не умно, то, по крайней мѣрѣ, не глупо.

Вилле же, посмотрѣвъ на мои рисунки, началъ что-то таторить скороговоркою, чего я никакъ понять не могъ; слышалъ только на ломаномъ русскомъ языкѣ слова: „оксигентъ, артеріальная и венозная кровь“, и т. д.

Что хотѣлъ выразить своимъ страннымъ діалогомъ баронетъ, того я ни тогда, ни послѣ никакъ не могъ себѣ объяснить. Тѣмъ дѣло и кончилось.

Я, видя, что конца не будетъ этой болтовнѣ, поблагодарилъ баронета за его привѣтствіе и ушелъ.

Согласіе на покупку атласа для военныхъ библіотекъ послѣдовало.

А о баронетѣ Вилле самое послѣднее извѣстіе, полученное мною, состояло въ томъ, что кто бы къ нему въ послѣднее время ни являлся, всѣ заставляли его, вмѣстѣ съ однимъ старымъ ординаторомъ, читающимъ послужной списокъ баронета, при чемъ всякій разъ, при прочтеніи какой-либо награды, Вилле заставлялъ это мѣсто прочесть еще нѣсколько разъ, приговаривая при этомъ:

— Это удивительно! Какъ, напримѣръ, Анну 2-й степени за сраженіе подъ Аустерлицемъ? Прочитай-ка мнѣ еще разъ. Это удивительно!

Что старики удивляются и хотятъ удивить другихъ полученными ими орденами, это вовсе не удивительно. Когда, въ 1838 г., я навѣстилъ (вмѣстѣ съ докторомъ Амюссэ) стараго Ларрея въ Парижѣ, то онъ намъ также тотчасъ показалъ свой орденъ съ золотомъ вышитыми на лентѣ словами: „Bataille d'Austerlitz“.

Но Ларрей скрылъ, по крайней мѣрѣ, свое удивленіе, а сказалъ только: „vous voyez, m-r, ce n'est par dans les antichambres que j'ai reçu mes décorations“, намекая этимъ, разумѣется, на современные гражданскіе ордена Франціи.

Въ теченіе цѣлаго года, по прибытіи моемъ въ Петербургъ, я занимался изо дня въ день въ страшныхъ помѣщеніяхъ 2-го военно-сухопутнаго госпиталя, съ больными и оперированными, и въ отвратительныхъ до невозможности, старыхъ баняхъ этого же госпиталя; въ нихъ, за неимѣніемъ другихъ помѣщеній, я производилъ вскрытія труповъ, иногда по 20 въ

день, въ лѣтніе жары; а зимою, во время ледохода (ноябрь, декабрь), переѣзжалъ ежедневно по два раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по два между льдинами.

Въ концѣ лѣта я началъ замѣчать небывалыя прежде явленія послѣ каждого госпитальнаго визита. Я сталъ чувствовать то головокруженіе или легкую лихорадочную дрожь, то схватки въ животѣ, съ желчнымъ, жидкимъ испражненіемъ.

Такъ длилось до февраля 1842 г. Въ этомъ мѣсяцѣ я вдругъ такъ ослабѣлъ, что долженъ былъ лечь въ постель.

Что ни дѣлали д-ра Лерхе, Раухъ и Зейдлицъ—ничто не помогало. Никто изъ нихъ не могъ опредѣлить мою болѣзнь. Одинъ Раухъ еще болѣе другихъ, должно быть, угадалъ, приписавъ ее моимъ госпитальнымъ и анатомическимъ занятіямъ. Трудно, въ самомъ дѣлѣ, сказать, что это было за страданіе и какого органа.

Жара почти не было. Пульсъ былъ скорѣе медленный, чѣмъ учащенный; полное отвращеніе къ пищѣ и питью; продолжительные запоры, бессонница, продолжавшаяся цѣлый мѣсяцъ, слабость.

Вся болѣзнь продолжалась ровно шесть недѣль. Я лежалъ, не двигаясь, безъ всякихъ лекарствъ, потерявъ къ нимъ всякое довѣріе.

Наконецъ, хотя не имѣя бреда, но съ головою не совершенно свободною, я потребовалъ теплую ароматическую ванну. Мои домашніе не посмѣли мнѣ отказать, а дѣло было уже вечеромъ.

Послѣ ванны со мною сдѣлалась какая-то пертурбація во всемъ организмѣ; бреда настоящаго не появилось, но мнѣ казалось, что я леталъ, и что-то постоянно говорилъ. Черезъ нѣсколько часовъ у меня сдѣлался необыкновенно сильный ознобъ. Я чувствовалъ, какъ меня во время сотрясательной дрожи всего приподнимало съ кровати. Затѣмъ вдругъ и сердце начало замирать; я почувствовалъ, что обмираю, и закричалъ, что есть силы, чтобы на меня лили холодную воду. Вылили ведра три и очень скоро. Обморокъ прошелъ и съ тѣмъ вмѣстѣ послѣдовало непроизвольное и чрезвычайно сильное желчное испражненіе, послѣ котораго явился потъ, продолжавшійся

цѣлыхъ 12 часовъ. Тогда наступило быстрое выздоровленіе при помощи хинина и хереса.

Нѣсколько времени послѣ этой болѣзни, когда я купался уже для укрѣпленія въ морѣ (въ Ревелѣ), у меня появился мой прежній (дерптскій) черножелчный поносъ, при чемъ ни аппетитъ, ни общее здоровье нисколько не были нарушены.

Какъ только наступило выздоровленіе, такъ появился вдругъ позывъ къ куренію табаку. До 30-ти лѣтъ я ни разу ничего не курилъ; цѣлые часы проводилъ въ анатомическомъ театрѣ, и ни разу не чувствовалъ позыва къ куренью. А тутъ, вдругъ, захотѣлось, и я началъ курить тотчасъ же довольно крѣпкія сигары.

Во время этой болѣзни мнѣ въ первый разъ въ жизни пришла мысль объ упованіи въ Промыселъ.

Что-то вдругъ, во время ночныхъ бессонницъ, какъ-будто озарило сознаніе, и это слово — „упованіе“ — безпрестанно у меня вертѣлось на языкѣ.

И вмѣстѣ съ упованіемъ зародилась въ душѣ какая-то сладкая потребность семейной любви и семейнаго счастья. И все это при концѣ моей болѣзни.

Я счелъ это за призывъ свыше, и какъ только совсѣмъ оправился, то и поспѣшилъ освѣдомиться, гдѣ живетъ теперь пріятельница дѣтства Екатерины Мойеръ, ея однолѣтка Екатерина Березина. Въ Дерптѣ я видѣлъ семью Березиныхъ — мать, дочь и сына (Сережу) — почти еженедѣльно у Мойера. Дѣти приходили играть, взрослые — говорить. Потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, я встрѣтилъ Екатерину Николаевну (мать) съ дочерью въ С.-Петербургѣ. Онѣ жили уединенно на Васильевскомъ Острову и потомъ уѣхали въ деревню. Съ тѣхъ поръ прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ. Я узналъ, наконецъ, что онѣ обѣ въ деревнѣ у брата Екатерины Николаевны, графа Татищева.

Я сдѣлалъ письменное предложеніе. Получилъ согласіе, но съ тѣмъ, чтобы я испросилъ также согласіе отца, Дмитрія Сергѣевича. Его я вовсе не зналъ. Это былъ человѣкъ особенной породы. Вышедъ въ отставку гусарскимъ ротмистромъ послѣ Отечественной войны, Дмитрій Березинъ страстно влю-

бился въ свою кухню, графиню Екатерину Николаевну Татищеву, и женился на ней тайно и незаконно. Страстная любовь продолжалась, пока не вышло на свѣтъ двое дѣтей (Катя и Сережа). Послѣ этого началась какая-то уродливая борьба съ любовью. Березинъ сталъ сильно ревновать къ женѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ вести жизнь игрока.

Онъ просадилъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ три большихъ имѣнія: 2,000 душъ, доставшихся ему отъ отца, и 4,000 душъ, доставшихся отъ двухъ братьевъ. (Куда дѣвалось все это состояніе?) Кромѣ картежныхъ, имѣлъ онъ еще и другіе долги, но самъ жилъ менѣе чѣмъ роскошно, а жену и дѣтей содержалъ менѣе чѣмъ пристойно. Жена и дочь занимали квартиру въ три комнаты, съ одною служанкою. Правда, сыну, когда онъ подросъ и учился въ школѣ, Березинъ позволялъ дѣлать долги у пирожниковъ, пряничниковъ и у другого люда, навѣщавшаго съ своимъ товаромъ школу; но это дѣлалось изъ какого-то страннаго тщеславія и, именно, когда послѣднее, третье, имѣніе не было еще прокучено. И это все дѣлалось человѣкомъ вовсе не худымъ и не злымъ въ сущности. Жену же онъ имѣлъ какую-то манію преслѣдовать и прижимать безъ всякой къ тому причины.

Екатерина Николаевна Березина была женщина добрая, любившая сына болѣе дочери; а между тѣмъ мужъ ея полагалъ, напротивъ, что она, на зло ему, любитъ дочь болѣе сына.

Отъ этого терпѣла всего болѣе дочь, особливо въ послѣднее время, когда здоровье матери сильно разстроилось, и раздражительность доходила до того, что она толкала и пихала бѣдную дѣвушку, считая ее причиною, почему отецъ не даетъ имъ приличнаго содержанія. Дочь же, напротивъ, не хотѣла оставлять мать.

Существовали забавные рассказы про разныя выходки ревнивца. Жилъ-былъ въ Дерптѣ Александръ Дмитріевичъ Хрипковъ. Кто изъ жившихъ въ наше время въ Дерптѣ не зналъ Хрипкова? Это былъ человѣкъ, въ извѣстномъ отношеніи, не отъ міра сего. Онъ—орловскій помѣщикъ, роздалъ свое имѣніе родственникамъ, сдѣлался артистомъ; уѣхалъ въ Дерптъ на нѣсколько времени и оставался тутъ 20 лѣтъ; доходилъ иногда

до того, что нуждался въ мелочахъ, но былъ со всѣми знакомъ, всѣми любимъ, хотя ни у кого не заискивалъ и всѣмъ за взятое отплачивалъ или своими артистическими произведеніями, или своею дружескою компаніею.

Правда, все это не удержало такого с—та, какимъ былъ Ѳаддей Булгаринъ, показывать на улицѣ пальцемъ на Хрипкова, говоря: „посмотрите, вотъ идетъ господинъ, котораго я, начиная съ шапки, всего экипировалъ, а онъ и ту шапку, которую я ему сшилъ, снимать не хочетъ“.

Но всѣ знали, что это Булгаринскія враки, и что Булгаринъ даромъ ничего не сдѣлаетъ. Но всего страннѣе было въ низкомъ, некрасивомъ и калмыкообразномъ Хрипковѣ то, что онъ влюблялся поголовно во всѣхъ ему знакомыхъ дамъ. Любовь же эта была выше платонической, какая-то уже совершенно отвлеченная, даже не артистическая.

Иногда Хрипковъ былъ влюбленъ и въ нѣсколькихъ въ одно и то же время; а когда изъ города бѣльшая часть ему знакомыхъ уѣзжала, то говорили, что, за неимѣніемъ другихъ, онъ снова влюбленъ въ Екатерину Николаевну.

Вотъ съ этимъ-то невиннымъ любовникомъ всѣхъ дамъ вообще и суждено было сразиться Дм. Серг. Березину.

Екатерина Николаевна поѣхала съ дѣтьми къ одной изъ родственницъ своихъ гостить въ губернію (кажется, псковскую); туда же отправился и Хрипковъ, и засталъ тамъ самого Березина. Это уже было для послѣдняго непріятно.

А за ужиномъ маленькій Сережа, почти всегда сонный къ вечеру, вышелъ изъ-за стола, протислся сначала съ матерью, а потомъ съ Хрипковымъ. Это былъ ножъ острый для Дм. Серг. Онъ разсвирѣпѣлъ, велѣлъ сыну сначала проститься съ нимъ самимъ, — и началась баталія. Она могла бы, пожалуй, кончиться и дуэлью, но, къ счастью, благоразумная родственничиха хозяйка облила Сергѣя Дмитр. водою, а Хрипкова увели въ другую комнату, и тѣмъ покончили войну.

Къ этому-то господину, отцу моей будущей невѣсты, я долженъ былъ ѣхать, испрашивать его согласія. Онъ жилъ у себя въ лужскомъ имѣніи, заложенномъ и перезаложенномъ.

Принялъ онъ меня очень любезно, потому что не ожидалъ отъ меня пріѣзда, а думалъ, что только напишу. Онъ упро-

силъ меня почевать, для того, — говорилъ онъ, — чтобы „я могъ распорядиться по денежнымъ дѣламъ, касающимся вашего брака“.

Это было время, когда Дмитрію Сергѣевичу слѣдовало получить остальные деньги отъ братаина наслѣдства изъ банка.

На другой день мой будущій тесть, давшій полное свое согласіе на бракъ съ его дочерью, сверхъ того преподнесъ мнѣ еще роспись слѣдующаго за нею приданаго и деньгами.

Выходило болѣе 150 тысячъ рублей, съ условіемъ, однако-же, чтобы мать невѣсты отказалась отъ слѣдуемой ей части изъ мужаина капитала.

Это, очевидно, была пика противъ жены; съ какой стати ей, слабой, хилой и постоянно больной женщиной, ожидать, что мужъ умретъ прежде?!

Невѣста моя и мать проживали въ деревнѣ у дяди, верстъ за двадцать. Посланъ былъ нарочный, чтобы онѣ ѣхали въ имѣніе Березина, и чтобы на срединѣ дороги встрѣтились въ одной корчмѣ съ нами.

А мы выѣхали утромъ къ нимъ навстрѣчу и застали ихъ въ корчмѣ.

Я, по настоянію Березина, долженъ былъ прочесть вслухъ роспись, услышавъ которую, Екатерина Николаевна ахнула отъ удивленія, а можетъ быть и невѣрія. Березинъ опредѣлилъ, что жена и дочь останутся съ нимъ до свадьбы дочери. Но всѣ знали, что не пройдетъ и двухъ дней безъ ссоры.

Я предложилъ отправиться моей невѣстѣ съ матерью въ Ревель, на морскія купанья, куда и я долженъ былъ прибыть черезъ мѣсяцъ. Березинъ согласился.

Этотъ мѣсяцъ разлуки былъ для меня тѣмъ замѣчательнѣе, что я въ первый разъ въ жизни почувствовалъ грусть о жизни. Въ первый разъ я пожелалъ безсмертія — загробной жизни. Это сдѣлала любовь. Захотѣлось, чтобы любовь была вѣчна, — такъ она была сладка. Умереть въ то время, когда любишь, и умереть навѣки, безвозвратно, мнѣ показалось тогда, въ первый разъ въ жизни, чѣмъ-то необыкновенно страшнымъ. Потомъ это грустное чувство, это желаніе безпредѣльной жизни, жизни за гробомъ, постепенно исчезло, несмотря на то, что я про-

должалъ любить жену и дѣтей. Современемъ я узналъ по опыту, что не одна только любовь составляетъ причину желанія вѣчно жить...

Вѣра въ безсмертіе основана на чемъ-то еще болѣе высшемъ, чѣмъ самая любовь. Теперь я вѣрю, или, вѣрнѣе, желаю вѣрить въ безсмертіе не потому только, что люблю жизнь за любовь мою—и истинную любовь—ко второй женѣ и дѣтямъ (отъ первой); нѣтъ, моя вѣра въ безсмертіе основана теперь на другомъ нравственномъ началѣ, на другомъ идеалѣ.

Шесть — семь недѣль, проведенныхъ нами въ Ревелѣ, скоро пролетѣли. Но Березинъ такъ распорядился, что моя невѣста съ матерью остались въ лѣтней маленькой квартирѣ до поздней осени, отчего Еватерина Николаевна еще болѣе ослабѣла и заболѣла, чѣмъ

.

К О Н Е Ц Ъ.





Комната, гдѣ скончался Н. И. Пироговъ.



Н. И. Пироговъ на смертномъ одрѣ.



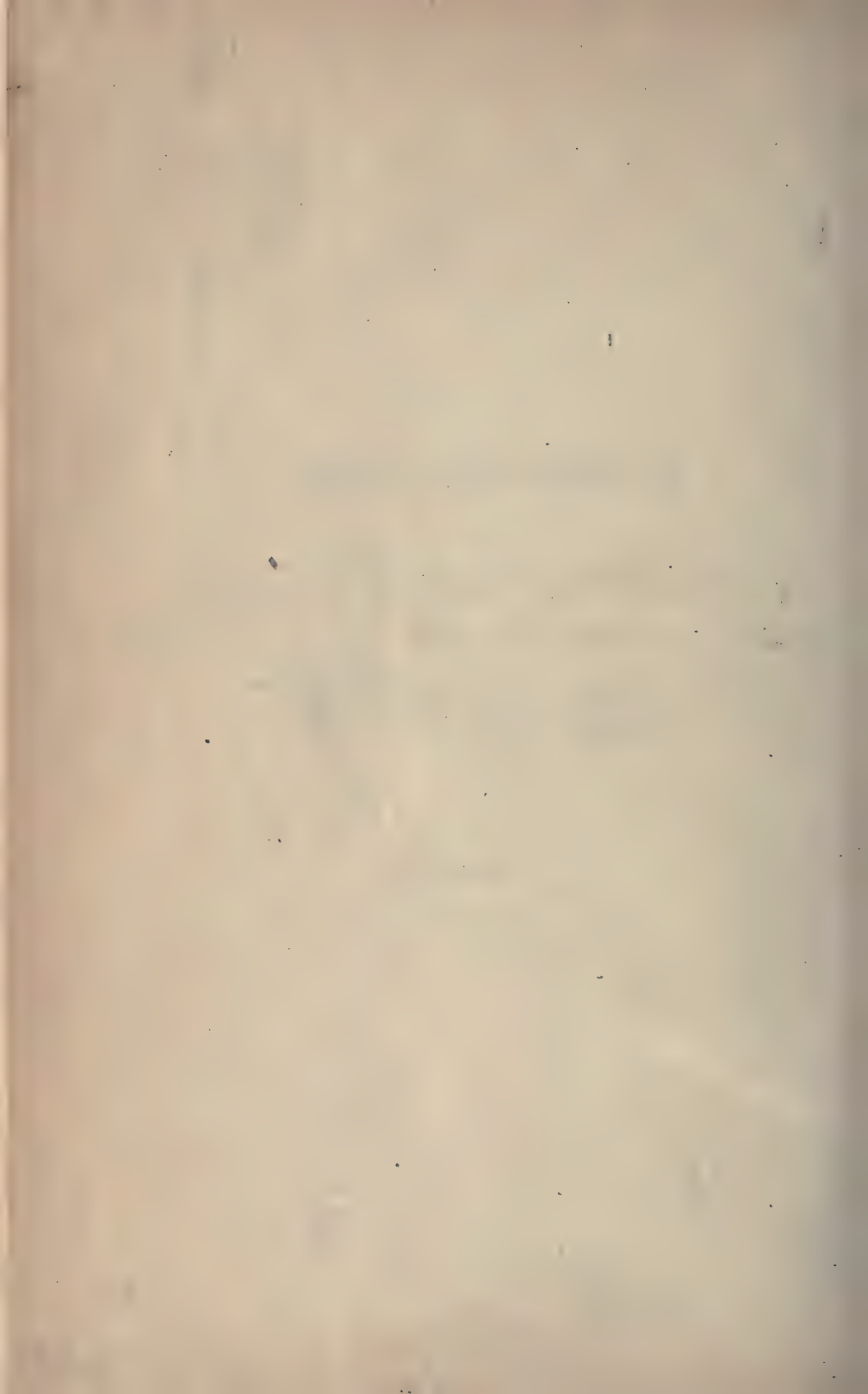
Церковь надъ склепомъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОГО ТОМА.

ПОРТРЕТЪ Н. И. ПИРОГОВА, НАЧАЛА 80-ХЪ ЛѢТЪ.

	СТРАН.
22. Вопросы жизни. Дневникъ стараго врача.	1—525

Рисунки: 1) Комната, гдѣ скончался Н. И. Пироговъ;
2) Н. И. Пироговъ на смертномъ одрѣ;
3) Церковь надъ склепомъ.



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

LB
675
P632
1900

Pirogov, Nikolai Ivanovich
Sochineniia

